

РОССИЙСКИЙ
ЛИБЕРАЛИЗМ:
ИДЕИ
И
ЛЮДИ

РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ: ИДЕИ И ЛЮДИ

Под общей редакцией
доктора философских наук,
профессора
А.А. Кара-Мурзы

ТОМ
I
XVIII-XIX
века

Москва
2018

УДК 329.12(47)
ББК 66.1(2)
Р76



Комитет
гражданских
инициатив

Книга издана при поддержке
«Фонда Кудрина по поддержке
гражданских инициатив»

Российский либерализм: Идеи и люди / 3-е изд., испр. и доп.,
Р76 под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2018. —
Т. 1: XVIII–XIX века. — 680 с.

ISBN 978-5 98379-

Книга представляет собой галерею портретов русских либеральных мыслителей и политиков XVIII–XX столетий, созданную усилиями ведущих исследователей российской политической мысли. Среди героев книги присутствуют люди разных профессий, культурных и политических пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг с другом. Однако предмет их спора состоял в том, чтобы наметить наиболее органичные для России пути достижения единой либеральной цели — обретения «русской свободы», понимаемой в первую очередь как позитивная, творческая свобода личности.

УДК 329.12(47)
ББК 66.1(2)

© Фонд «Либеральная миссия», 2018
© Комитет гражданских инициатив, 2018
© Новое издательство, 2018

ISBN 978-5 98379-

СОДЕРЖАНИЕ

- 9
Предисловие
- 13
НИКИТА ИВАНОВИЧ
ПАНИН
«В России кто
может — грабит;
кто не может —
крадет!»
Нина Минаева
- 23
ДЕНИС ИВАНОВИЧ
ФОНВИЗИН
«Душевного по-
чтения достоин
тот, кто в чинах —
не по деньгам,
а в знати — не по
чинам...»
Надежда Коршунова
- 32
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ГОЛИЦЫН
«Все истинно по-
лезное укореняет-
ся прочнее, когда
его принимает
сам народ, а не
тогда, когда его
вводят путем при-
казания...»
Надежда Коршунова
- 38
СЕМЕН ЕФИМОВИЧ
ДЕСНИЦКИЙ
«Лучше не иметь
иных законов,
нежели, имея,
не исполнять...»
Надежда Коршунова
- 48
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
НОВИКОВ
«Худой человек
всегда бывает
и худой граж-
данин...»
Надежда Коршунова
- 60
АЛЕКСАНДР
РОМАНОВИЧ
ВОРОНЦОВ
«Не под царем,
а рядом с ним...»
Нина Минаева
- 71
ЕКАТЕРИНА
РОМАНОВНА
ДАШКОВА
«Кто исполнил
долг свой... того
несправедливость
людская возму-
тить не может...»
Надежда Коршунова
- 81
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗАВАДОВСКИЙ
«Молчать тяжело,
говорить бед-
ственно...»
Надежда Коршунова
- 90
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
КОЧУБЕЙ
«Свобода и част-
ный прибыток
есть единое
истинное дви-
жущее начало
всякой промыш-
ленности...»
Дмитрий Тимофеев
- 102
ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТРОГАНОВ
«Никакая пра-
вительственная
мера не может
быть принята
в ущерб истин-
ным интересам
нации...»
Надежда Коршунова
- 111
АДАМ
АДАМОВИЧ
ЧАРТОРЫСКИЙ
«Я хотел полити-
ки, основанной на
общем благе и со-
блюденнии прав
каждого...»
Нина Минаева
- 124
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГУРЬЕВ
«Даровать со-
словиям твердое
гражданское бы-
тие...»
Надежда Коршунова
- 131
НИКОЛАЙ
СЕМЕНОВИЧ
МОРДВИНОВ
«Закон свободы
во все времена
и всеми законода-
телями признава-
ем был первей-
шим из законов»
Дмитрий Тимофеев
- 143
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
КАРАМЗИН
«Для существа
нравственного
нет блага без сво-
боды...»
Алексей Кара-Мурза
- 149
МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ
СПЕРАНСКИЙ
«Поменять шат-
кое своеволие на
свободу верную...»
Ирина Худушина
- 157
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
ТУРГЕНЕВ
«Я — космополит
и русский в одно
время...»
Евгения Рудницкая
- 166
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ТУРГЕНЕВ
«Нельзя про-
изнести слово
человек, чтобы
не иметь вместе
с сим понятия
о свободе»
Вадим Парсамов
- 179
НИКИТА
МИХАЙЛОВИЧ
МУРАВЬЕВ
«Масса людей
может сделаться
тираном так же,
как и отдельное
лицо...»
Вадим Парсамов
- 192
МИХАИЛ
СЕРГЕЕВИЧ
ЛУНИН
«Для меня откры-
та только одна
карьера — карье-
ра свободы...»
Вадим Парсамов
- 204
МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФОНВИЗИН
«Рабство есть
главное условие
несовершенства
нашего общест-
венного состава...»
Вадим Парсамов

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
ЯКУШКИН
«Развернуть в че-
ловеке способ-
ность мышления,
а значит, и поли-
тического самосо-
знания...»

Нина Минаева

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
ВЯЗЕМСКИЙ
«Что есть любовь
к Отечеству в на-
шем быту?
Ненависть
настоящего
положения...»

Евгения Рудницкая

НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
СТАНКЕВИЧ
«Надобно проч-
ное сознание
своей духовной
самостоятель-
ности...»

Ольга Жукова

ТИМОФЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ГРАНОВСКИЙ
«Рано или поздно
действительность
догонит мысль...»

Андрей Левандовский

АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРАЕВСКИЙ
«Нужно знать,
что думает Россия
о своих обще-
ственных инте-
ресах...»

Дмитрий Олейников

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ГЕРЦЕН
«Свобода лица —
величайшее дело;
на ней и только
на ней может

вырасти дей-
ствительная воля
народа...»

Алексей Кара-Мурза

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
ТУРГЕНЕВ
«Я всегда был
„постепеновцем“,
либералом старо-
го покроя...»

Алексей Кара-Мурза

МИХАИЛ
НИКИФОРОВИЧ
КАТКОВ
«Основой преоб-
разований должен
быть существую-
щий порядок...»

Владимир Кантор

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
АКСАКОВ
«Фальшь и по-
шлость нашей
общественной
атмосферы давят
нас...»

Дмитрий Олейников

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
КОШЕЛЕВ
«Пуце всего нам
должно избегать
фанфаронить ли-
берализмом...»

Владимир Горнов

КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ КАВЕЛИН
«Наше больное
место — пассив-
ность, стертость
нравственной
личности...»

Владимир Кантор

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ЧИЧЕРИН
«В настоящее вре-
мя в России по-
требны две вещи:

либеральные
меры и сильная
власть...»

Сергей Секиринский

АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ
ГРАДОВСКИЙ
«Самоуправление
требует искрен-
него обращения
к земле, к истин-
ному труду
и к народу...»

Андрей Медушевский

КОНСТАНТИН
НИКОЛАЕВИЧ
РОМАНОВ
«Обратиться
к России, чтобы
она сама собою
правила...»

Татьяна Антонова

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛОВНИН
«Либерал означа-
ет человека, кото-
рый... не допуска-
ет на практике
преобладания
своего произво-
ла над другими
и не подчиняется
сам произволу
других...»

Татьяна Антонова

ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ЗАМЯТНИН
«Верность однаж-
ды сознательно
избранному зна-
мени...»

Виктор Шевырин

ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
МИЛЮТИН
«Предпочитаю
быть кредитором,

чем должни-
ком...»

Валерий Степанов

НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
МИЛЮТИН
«Правительству,
и только ему од-
ному, принадле-
жит всякий почин
в каких бы то ни
было реформах на
благо страны...»

Игорь Христофоров

МИХАИЛ
ХРИСТОФОРОВИЧ
РЕЙТЕРН
«Я всю жизнь
готовился к долж-
ности министра
финансов...»

Валерий Степанов

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
ЛАМАНСКИЙ
«Иностранные
капиталы только
тогда серьезно
обратятся в Рос-
сию, когда сами
русские капиталы
покажут возмож-
ность правиль-
ного употребле-
ния...»

Александр Бугров

НИКОЛАЙ
ХРИСТИАНОВИЧ БУНГЕ
«Калоши и зонтик
мои в поряд-
ке — я готов уйти
отсюда каждую
минуту...»

Валерий Степанов

АЛЕКСАНДР
ИЛЛАРИОНОВИЧ
ВАСИЛЬЧИКОВ
«Укротить порывы
к государственно-
му благоустрой-
ству, покуда

не обеспечено
народное благо-
состояние...»

Игорь Христофоров

472

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
НИКИТЕНКО

«Арена истории
не от тебя зави-
сит, но поприще
внутреннего мира
твое...»

Владимир Кантор

482

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
БЕЛОГОЛОВЫЙ

«Только конститу-
ция возводит жи-
телей государства
в народ...»

Борис Итенберг

489

ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛЬЦЕВ

«Мой девиз: труд
и политическая
свобода...»

Сергей Секиринский

498

МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ
ВЕНУКОВ

«Судьбу свою соз-
давать по своей
воле, а не из-под
палки...»

Валентина Зимица

505

МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ
СТАСЮЛЕВИЧ

«Где правитель-
ство называют
кормильцем
и благодетелем,
то государство
останется навсег-
да в состоянии
детства...»

Нина Хайлова

523

АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ ПОПОВ

«У нас решают
дело совесть
и ум...»

Андрей Егоров

529

КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВИЧ
АРСЕНЬЕВ

«Свобода печати,
свобода совести
и личная непри-
косновенность:
вот три блага,
потребность в ко-
торых чувствуется
все больше...»

Нина Хайлова

571

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ЧУПРОВ

«Предоставьте
простор лично-
сти... и страна
в короткое время
переродится...»

Нина Хайлова

589

ИВАН ИВАНОВИЧ
ИВАНУКОВ

«Определить
условия, при
которых достига-
ется наибольшая
свобода, благосо-
стояние и всесто-
роннее развитие
человека...»

Нина Хайлова

606

ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
СЖАЛОН

«В местном
самоуправлении
лежит вся бу-
дущность нашей
страны...»

Нина Хайлова

620

ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
ГОЛИЦЫН

«Несостоятель-
ность правитель-
ства и несо-
стоятельность
общества ...»

Нина Хайлова

647

ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ
КЛЮЧЕВСКИЙ

«Цари со време-
нем переведутся:
это мамонты, ко-
торые могут жить
лишь в допотоп-
ное время...»

Дмитрий Олейников

661

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕЙДЕН

«Думают реак-
цией водворить
порядок — это
грустное заблу-
ждение еще много
вреда принесет...»

Виктор Шевырин

670

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШИПОВ

«Внутреннее
устройство лич-
ности — главная
основа улучше-
ния и устройства
всего социального
строения...»

Станислав Шелохаев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед читателем — третье, значительно расширенное издание книги «Российский либерализм: идеи и люди», подготовленное фондом «Либеральная миссия» в партнерстве с «Новым издательством». Первое ее издание вышло в 2004 году и включало 46 «интеллектуальных портретов» русских либералов XIX–XX веков: от графа М.М. Сперанского до академика А.Д. Сахарова¹. Книга имела успех у читателей: в 2007-м, в год 90-летия Февральской революции, вышло второе, расширенное издание, которое включило в себя уже 96 имен и открывалось либералами «екатерининской эпохи»: гр. Н.И. Паниным, Н.И. Новиковым, гр. А.Р. Воронцовым².

За прошедшие с тех пор десять лет профессиональный и общественный интерес к отечественной либеральной традиции существенно вырос. Результатом этого стал выход ряда изданий, среди которых выделяется прежде всего фундаментальная энциклопедия «Российский либерализм конца XVIII — начала XX вв.»³. Тексты выдающихся русских либеральных мыслителей широко представлены и в других крупнейших издательских проектах последних лет: «Библиотеке отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века» (рук. проекта А.Б. Усманов) и серии «Философия России первой половины XX века» (гл. ред. Б.А. Пружинин). Надо добавить, что в ряде регионов России вышли свои издания об истории местной либеральной традиции: в Ярославле, Липецке, Рязани, Владимире, Смоленске, Орле, Красноярске и т.д.⁴

К настоящему времени усилиями главным образом фонда «Русское либеральное наследие» почти в 40 регионах России установлены мемориальные знаки выдающимся российским либералам: в Ярославле — кн. Д.И. Шаховскому, кн. С.Д. Урусову, К.Ф. Некрасову; во Владимире — гр. М.М. Сперанскому, кн. Петру Д. Долгорукому, Ф.Ф. Кокоскину, К.К. Черносвитову; в Смоленске — Н.А. Хомякову; в Перми — В.В. Вейдле; в Вязьме — А.С. Посникову; в Ельце — М.А. и А.А. Стаховичам; в Москве — Б.Н. Чичерину, И.С. Аксакову; в Серпухове — Н.Н. Хмелеву; в Воронеже

¹ Российский либерализм: Идеи и люди / Общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2004. 616 с.

² Российский либерализм: Идеи и люди / Общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. 2-е изд. М.: Новое издательство, 2007. 904 с.

³ Российский либерализм конца XVIII — начала XX вв.: Энциклопедия / Общ. ред. В.В. Шелохаева. М.: РОССПЭН, 2010. 1087 с.

⁴ Из истории либерализма на Ярославской земле / Общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М.; Ярославль, 2007; Первые либералы Липецкой земли / Общ. ред. О.Д. Дячкина и А.А. Кара-Мурзы. М.; Липецк, 2007; Из истории либерализма на Рязанской земле / Общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М.; Рязань, 2007; Из истории либерализма на Владимирской земле / Общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М.; Владимир, 2007; Из истории либерализма на Смоленской земле / Общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М.; Смоленск, 2007; Орловские либералы. Люди, события, эпоха / Общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. Орел, 2010; Кара-Мурза А.А. Из истории либерализма в Красноярском крае: В.А. Караулов и С.В. Востротин. М.; Красноярск, 2007.

и Усмани — А.И. Шингареву; в Калуге — Б.К. Зайцеву, кн. С.Д. Урусову; в Саратове — Г.П. Федотову и Н.Н. Львову; в Костроме — В.С. Соколову; в Чаплыгине (бывшем Раненбурге) — кн. Н.С. Волконскому; в Иркутске — А.А. Корнилову, Н.А. Белоголовому; в Енисейске — С.В. Востротину; в Якутске — В.В. Никифорову-Кулумнууру; в Рузе — кн. Павлу Д. Долгорукову; в Брянске — кн. В.Н. и М.К. Тенишевым; в Волоколамске — Д.Н. Шипову; в Землянске (Воронежская область) — П.Я. Ростовцеву, в с. Гулынки (Рязанская область) — А.В. Головнину; в с. Опарино (Московская область) — И.П. Алексинскому; в с. Глубокое (Псковская область) — гр. П.А. Гейдену; в с. Дубасово (Владимирская область) — М.Г. Комиссарову и т.д. Разумеется, осуществить подобный мемориальный проект можно было лишь на основе большой исследовательской работы, в том числе в местных архивах.

За несколько прошедших лет проведены международные и всероссийские конференции, посвященные М.М. Сперанскому, Н.М. Карамзину, Н.В. Станкевичу, Т.Н. Грановскому, А.А. Краевскому, А.И. Герцену, И.С. Аксакову, М.М. Стасюлевичу, В.О. Ключевскому, М.А. Стаховичу, С.В. Паниной, П.Б. Струве, А.В. Тырковой, Б.К. Зайцеву, Ф.А. Степуну, В.В. Вейdle. Делегации российских либералов побывали в исторических местах за рубежом, связанных с историей отечественного либерализма: в русском некрополе Сен-Женевьев де Буа под Парижем (где упокоились многие герои этой книги: Г.Е. Львов, А.И. Коновалов, М.А. Стахович, П.Б. Струве, В.А. Маклаков, Б.К. Зайцев, В.В. Вейdle), на могилах Н.А. Хомякова в Дубровнике (Хорватия), М.В. Родзянко в Белграде (Сербия), И.П. Алексинского в Касабланке (Марокко). Делегация фонда «Русское либеральное наследие» побывала в городке Нови-Лигуре под Генуей (Италия), где в 1840 году скончался Н.В. Станкевич, и т.д.

Новое, третье издание книги «Российский либерализм: идеи и люди» осуществлено фондом «Либеральная миссия» в двух томах (том первый — «XVIII–XIX века»; том второй — «XX век») и представляет теперь 130 имен крупнейших российских либералов прошлого. Расширяя проект, инициаторы имели в виду несколько принципиальных обстоятельств.

В новом издании значительно шире представлен период генезиса отечественного либерализма в годы правления Екатерины II и Александра I. В книге теперь дополнительно представлены очерки о крупнейших либеральных деятелях конца XVIII — начала XIX столетия: Д.И. Фонвизине, Д.А. Голицыне, С.Е. Десницком, Е.Р. Дашковой, П.В. Завадовском, С.П. Кочубее, П.А. Строганове, Д.А. Гурьеве, Н.С. Мордвинове.

В новый двухтомник вошли также очерки о выдающихся деятелях отечественной культуры и науки, чья жизнь (по крайней мере, крупные периоды жизни), а также многие принципиальные сочинения были теснейшим образом связаны с развитием отечественной либеральной традиции: Н.М. Карамзин, Н.В. Станкевич, И.С. Тургенев, С.Н. Трубецкой, М.И. Ростовцев, Б.К. Зайцев.

Значительно расширено в новом издании и представительство той части российских либералов, которые связали свои имена с деятельно-

стью крупнейших либеральных партий начала XX века (Н.Н. Кутлер, Ф.А. Головин, А.М. Колюбакин, А.С. Изгоев, М.Г. Комиссаров). При этом дополнительный упор составителями и авторами двухтомника сделан на мало изученном пока направлении отечественной либеральной традиции, которое можно определить как «либеральный центризм» (очерки об А.Н. Попове, К.К. Арсеньеве, А.И. Чупрове, И.И. Иванюкове, В.Ю. Скалоне, В.М. Голицыне, В.Д. Кузьмине-Караваеве, И.Н. Ефремове, А.М. Рыкачеве и др.).

Несомненно, заинтересуют читателей и «интеллектуальные биографии» таких ярких и противоречивых фигур русского XX века, как И.П. Алексинский и С.О. Португейс. Двухтомник заканчивается очерком о выдающемся российском интеллектуале новейшего времени, нашем современнике, блестящем ученом-социологе Юрии Александровиче Леваде.

Работа по изучению национального либерального наследия будет продолжена. Фонд «Либеральная миссия», в течение многих лет находящийся на переднем крае этой работы, рассчитывает на привлечение новых сторонников и новых авторов.

Алексей Кара-Мурза
доктор философских наук, профессор,
член Совета фонда «Либеральная миссия»

НИКИТА
ИВАНОВИЧ
ПАНИН

«В России кто может —
грабит; кто не может —
крадет!»

Никита Иванович Панин родился 18 сентября 1718 года в Данциге. Его отец, генерал-поручик, служил там в комиссариате, снабжавшем русскую армию. После окончания Северной войны он был переведен в городок Пернов Ревельской губернии, где и прошли детские годы Никиты.

Никите Ивановичу удалось подняться выше всех в роду, хотя фамилия Паниных уходит своими корнями в глубокую старину. В 1530 году, в год рождения великого князя Ивана Васильевича, будущего царя Ивана Грозного, предок Никиты Ивановича — Василий Панин был убит в неудачном Казанском походе. Однако не только при Рюриковичах, но и при Романовых Панины не затерялись. При Михаиле Федоровиче, в 1626 году, другой предок — Никита Федорович — значился в числе дворян, пожалованных прибавкою оклада. На Земских соборах царя Алексея Михайловича звучал голос думского дворянина Панина, по отцу — Никитича.

При дворе Федора Алексеевича знатный дворянин Василий Васильевич Панин, комнатный стольник, участвовал в решении важных дел. И хотя он был близок к Милославским — врагам будущего царя Петра Алексеевича, это не помешало ему отдать своих сыновей на службу молодому государю. Немалые дипломатические способности пришлось применить тогда любящему отцу. Это умение приспособиться к обстоятельствам и одновременно быть на виду, постоять за себя стало родовой чертой Паниных. В походах Петра Великого уже числились генерал-поручик Иван Васильевич Панин и генерал-майор Андрей Васильевич Панин — сыновья ловкого и дальновидного Василия Васильевича.

Отец Никиты Ивановича Панина — Иван Васильевич — пережил опалу при Петре II и снова вошел в фавор при Анне Иоанновне, стал сенатором. Мать, Аграфена Васильевна, урожденная Эверкалова, была племянницей А.Д. Меншикова. Никита — старший сын в семье; далее следовал Петр, продвинувшийся на военном поприще. Одну из сестер Паниных, Александру Ивановну, выдали за князя Александра Борисовича Куракина, масона и блестящего светского шеголя, личного друга Павла Петровича, вместе с которым он воспитывался и часто совершал заграничные путешествия. Другая сестра, Анна Ивановна, была выгодно выдана замуж за Ивана Ивановича Неплюева, русского посланника в Константинополе,

большого знатока Востока и восточной политики. Он прославился также строительством крепостей, позже стал сенатором и начальником Оренбургского края.

Никита Панин начал военную службу при Анне Иоанновне вахмистром конной гвардии, а потом корнетом. При Елизавете Петровне его карьера быстро пошла вверх. Он рано почувствовал вкус к интригам и тайным козням придворного мира и стал опасным соперником А.Г. Разумовскому и И.И. Шувалову. Канцлер А.П. Бестужев-Рюмин поспешил отправить его подальше из столицы — так Никита Панин получил пост русского посланника в Дании.

В Копенгаген он отправился в 1747 году и по дороге, в Берлине, был представлен Фридриху II. Молодой прусский король произвел на него сильное впечатление своим пониманием европейской политики: уже тогда у Панина зародилась мысль о возможном союзе северных европейских государств. В Гамбурге он получил известие о присвоении ему придворного звания камергера и отличительного знака — ключа на голубой ленте, так что в столицу Дании Никита Иванович прибыл вполне представительным дипломатом. Здесь он стал свидетелем открытия датского парламента в Кристианборге, а затем, не успев привыкнуть к европейской жизни и царящим здесь политическим порядкам, в 1748 году был переведен в том же ранге в Швецию. С этой страной императрица Елизавета Петровна вела оживленную дипломатическую переписку. Стокгольм, где Панин провел следующие двенадцать лет, оказал на него большое влияние. Благодаря своей общительности, проницательности и ироническому уму он был радушно принят королевским окружением, стал вхож в королевский дворец, посещал светские рауты, свел знакомство с дипломатами и высшим обществом. Там же, в Стокгольме, его приняли в одну из влиятельных масонских лож.

Масонство проникло в Швецию в 1730-х годах. К моменту прибытия Панина оно достигло такого влияния, что вскоре, в 1753 году, главным мастером был избран сам король Адольф Фридрих. Нигде в Европе масонство не пользовалось столь сильным покровительством царствующего дома; шведская система оказала весьма ощутимое воздействие на соседние страны. К этому времени в России масонство было давно известно. Источники хранят свидетельства о первой ложе, основанной Петром I или его другом Ф. Лефортом в 1698 году. В начале XVIII века здесь уже действовал основатель масонской ложи генерал Джеймс Кейт, брат лорд-маршала Шотландии Джорджа Кейта. На допросе в тайной канцелярии графа Николая Головина в 1747 году выяснилось, что он состоит в масонской ложе, а кроме него масонские взгляды разделяют братья Иван и Захар Чернышевы.

Постепенно европейские масоны развили структуру и порядки вольных каменщиков до целостного общественного учреждения, а «лекции» средневекового цеха стали переливаться в «конституции». Вполне вероятно, что подобную «конституцию» принимал при вступлении в масон-

скую ложу и Никита Панин. Он, по-видимому, был знаком и с главной книгой масонов — знаменитой «Книгой конституций» Дж. Андерсона, датированной 1723 годом. Она вобрала в себя «лекции» и «уставы» немецких вольных каменщиков, увидевшие свет еще в 1459 году, а также другие масонские документы XV–XVI веков.

Столь незаурядная личность, как Н.И. Панин, рано или поздно должна была быть востребована в своем отечестве. И такой момент настал: в 1759 году Никита Иванович был отозван в Россию, а в 1760-м по повелению Елизаветы Петровны назначен воспитателем малолетнего Павла Петровича. К моменту возвращения в Россию у Панина, судя по всему, уже сложился план конституционных преобразований абсолютной монархии в России по шведскому образцу. Казалось, обстановка в стране давала ему шанс.

Вскоре после вступления на престол Петра III (1761) бывший фаворит покойной императрицы И.И. Шувалов начал тайные переговоры с Паниным об отстранении императора и о передаче власти великому князю Павлу Петровичу при регентстве его матери, великой княгини Екатерины Алексеевны. В то время сама Екатерина соглашалась на такое развитие событий. Она признавалась датскому посланнику в Петербурге барону Остену: «Предпочитаю быть матерью императора, а не супругой!»

В результате переворота 28 июня 1762 года победила партия Орловых, которая поддерживала Екатерину Алексеевну именно как абсолютную монархиню, облеченную неограниченной властью. Однако помощь, оказанная в перевороте Паниным и его сторонниками-реформаторами, тоже не осталась без вознаграждения. В Манифест о воцарении Екатерины, по настоянию Панина, было включено положение об «узаконении особых государственных установлений», фактически являвшееся обещанием императрицы ввести в России «твердые законы», т.е. «Конституцию».

Автором подготовленной «Конституции» выступил сам Никита Иванович, а ее идея могла быть навеяна масонскими конституциями, т.е. сводами правил вольных каменщиков. И тайна, которой окутан первый панинский проект, объясняется, возможно, масонской принадлежностью русского вельможи. Достоверно известно, однако, что в основу его легли принципы государственного устройства шведского королевства, где власть монарха какое-то время была ограничена представительным риксдагом.

В 1762 году Никита Панин представил Екатерине свой политический проект. При монархе планировался Императорский совет из шести — восьми советников. При Совете предполагалось иметь четырех статс-секретарей или министров для наблюдения над четырьмя департаментами: иностранных дел, внутренних дел, военного и морского. Тогда же автор информировал императрицу о круге лиц, разделявших его позицию. Среди них был елизаветинский канцлер Бестужев-Рюмин, в 1762 году первоприсутствующий в Сенате. Кроме него, в «партию Панина» входили князь Я.П. Шаховской, граф М.И. Воронцов, генерал Н.В. Репнин (племянник

«В России кто может — грабит, кто не может — крадет!»

братьев Паниных), Е.Р. Дашкова, граф А.Г. Разумовский. В декабре 1762 года императрица, казалось, решила пойти на уступки и скрепить проект своей печатью. Однако во время бурного объяснения с Никитой Ивановичем о полноте ее власти она в гневе надорвала лист с уже готовой подписью и бросила в огонь список сторонников ограничения самодержавия.

Со временем Екатерина постаралась устранить всех единомышленников Панина. Но самого автора проекта, которого она и ценила, и побаивалась, не тронула. Вступив на престол, императрица назначила своего сына Павла Петровича законным наследником и продолжала воспитывать его как цесаревича, как это было еще при Елизавете Петровне. Она считала своим долгом дать наследнику первоклассное европейское образование, для этого требовались опытные воспитатели. Одно время стать наставником русского цесаревича предлагали Ж.Л. Д'Аламберу. Французский просветитель ознакомился с манифестом о воцарении Екатерины II, в котором смерть Петра III приписывалась «геморроидальному припадку», и — отказался от почетного поручения, сославшись на то, что страдает тем же недугом. Его примеру последовали Дидро, Мормонтель и Сорент. Пришлось довольствоваться русскими воспитателями, из которых Панин был, несомненно, самым просвещенным.

После неудачной попытки 1762 года создать при Екатерине Императорский совет Никита Иванович сосредоточился на воспитании ее сына в европейском духе, как монарха, который бы советовался с представительным органом власти. В то время главным авторитетом для Панина был прусский король Фридрих II — именно с ним, участником первого раздела Речи Посполитой, они обсуждали когда-то план политического устройства Польши с Постоянным советом при короле.

В основу разработанного плана воспитания будущего монарха были положены принципы, заимствованные в Швеции. Предусматривались экзамены по главным дисциплинам (иногда в присутствии императрицы): истории, географии, математике и другим наукам. Воспитатель приказал перенести свою кровать в опочивальню подопечного и зорко следил за его самостоятельными занятиями. В этом отношении весьма интересны «Записки» С.А. Порошина — первого учителя Павла, человека простодушного и непосредственного, которого Никита Иванович отгеснил, как и всех прочих, кто стремился влиять на душу цесаревича. Автор «Записок» свидетельствует, что Панин оставался главным воспитателем Павла Петровича вплоть до его совершеннолетия. Получив звание гофмейстера двора Ее Императорского Величества, он беззастенчиво ограничил сферу деятельности других учителей. «Тебе, — обращался он к Порошину, — военные науки, русская история и география Отечества... Не стеснялся граф указывать и другим учителям их скромное место: Андрею Андреевичу Грекову, немцу Францу Ивановичу Эпинусу, тайному советнику Остервальду, французам Гранже и Теду». Все помыслы Панина были связаны с Европой, с приобщением России к европейскому миру; во имя этого он, по словам Порошина, прибегал «к хитростям и интригам».

Английский посланник в Петербурге сэр Гаррис вспоминал: «Сэр Панин — добрая душа, огромное тщеславие и необыкновенная неподвижность, — вот три его отличительные черты». А французский посланник в Петербурге М.Д. де Корберон так характеризовал его: «Величавый по манере держаться, ласковый, честный против иностранцев, которых очаровывал при первом знакомстве, он не знал слова „нет“, но исполнение редко следовало за его обещаниями, и если, по-видимому, сопротивление с его стороны — редкость, то и надежды, возлагаемые на его обещания, ничтожны. В характере его замечалась тонкость, но это вовсе не та обдуманная и странная тонкость Мазарини, которую скорее можно назвать двоедушием. Тонкость Панина более мелочна, соединенная с тысячью приятных особенностей, она заставляет говорящего с ним о делах забывать, она обволакивает собеседника, и он уже в плену обаяния графа, он забывает, что находится перед первым министром государыни; она, эта тонкость, может также заставить потерять из виду предмет дипломатической миссии и осторожность, которую следует соблюдать в этом увлекательном разговоре».

Суждения о личности Никиты Ивановича, истинного сына своего века, сохранились также в мемуарах одного из осведомленных и образованных его современников — Ф.Н. Головина, собеседника Вольтера и французских королей. Он утверждал, что Панин обладал большими достоинствами и «его отличала какая-то благородность в обращении, во всех его поступках... внимательность, так что его нельзя было не любить и не почитать: он как будто к себе притягивал. Я в жизни моей видел мало вельмож, столь по наружности приятных. Природа его одарила сановитостью и всем, что составить может прекрасного мужчину. Все его подчиненные его боготворили».

Желая показать императрице свое усердие, главный воспитатель придумал игру, которая должна была удержать великого князя от шалостей и дурных поступков. Он начал выпускать особые «Ведомости», где в отделе «Из Петербурга» упоминались все проступки Павла Петровича. Панин заверял, что о них будет знать вся аристократия Европы, так как «Ведомости» рассылаются по разным странам.

Сильное влияние гофмейстера на наследника не могло не беспокоить императрицу. Чтобы несколько уменьшить эту опасность, она через год после воцарения назначает его также главой департамента иностранных дел, и в самом деле полагая, что он, благодаря своим европейским связям, наиболее подходит для этой должности.

В 1767 году Екатерина привлекла Никиту Панина к работе Уложенной комиссии (1767–1769), которая была создана ею как бы в осуществление обещанных в Манифесте твердых «государственных установлений». Этот временный коллегиальный сословный орган предусматривал разработку и обсуждение важнейших законов. Он оказался малоэффективен, но работали в нем многие талантливые люди, в том числе Д.И. Фонвизин, в то время уже известный писатель. Там и состоялось его первое знаком-

«В России кто может — грабит, кто не может — крадет!»

ство с Паниным. А в 1769 году Никита Иванович пригласил Фонвизина в департамент иностранных дел. С тех пор их сотрудничество, как по службе в департаменте, так и в качестве соавторов и единомышленников в разработке основных положений «конституции», стало постоянным. К тому же оба принадлежали к масонству, которое в 1760-е годы продолжало влиять на общественную жизнь русской аристократической верхушки.

Росту политического влияния Никиты Панина весьма способствовали обстоятельства подавления восстания Пугачева. 9 апреля 1774 года скончался генерал-аншеф А.И. Бибиков, руководивший всей кампанией. Пугачев набирал силу, была захвачена Казань, разорен Саратов. Требовалось срочно назначить нового опытного командующего карательной армией. Тогда-то ловкий Никита Иванович и напомнил императрице о своем брате — генерале Петре Панине, который пребывал в опале и жил в Москве. После героической битвы и взятия турецкой крепости Бендеры (27 ноября 1770 года) Петра Ивановича наградили орденом Святого Георгия и отстранили от дел. Его оппозиционные настроения были известны императрице. По свидетельству М. Пассек, именно Петр Панин стал инициатором московского восстания («чумного бунта») 15 сентября 1771 года, за что и поплатился. Но теперь, в трудный момент, Екатерина II закрыла на это глаза. А.С. Пушкин, изучая историю Пугачевского бунта, замечал: «В сие время вельможа, удаленный от двора и... бывший в немилости, граф Петр Иванович Панин сам вызвался принять на себя подвиг, недовершенный его предшественником. Екатерина с признательностью увидела усердие благородного своего подданного».

29 июля 1774 года был подписан рескрипт Военной коллегии, объявляющий Петра Панина командующим войсками, направленными против Пугачева. Однако, зная о политических амбициях братьев и не чувствуя себя уверенно, Екатерина одновременно призвала на помощь князя Г.А. Потемкина: она рассчитывала, что именно он первым известит ее о поимке Пугачева. И все-таки генералу Панину удалось послать курьера раньше. Весть об этом облетела всю Россию, и общественное мнение сложилось в пользу Паниных. Правда, спустя некоторое время Петр Иванович, пожалованный за поимку Пугачева должностью «властителя» Оренбургского края, мечом, алмазами украшенным, орденом Святого Андрея Первозванного и 6 тысячами рублей серебром, вновь оказался в опале.

Недоверие Екатерины к братьям Паниным возрастало по мере приближения совершеннолетия цесаревича, связанного с вопросом о его бракосочетании. Мать заблаговременно стала подбирать сыну невесту. Она повела переговоры с ландграфиней Гессен-Дармштадтской насчет смотрин трех ее дочерей. Выбор пал на Вильямину, образованную молодую принцессу, жаждущую известности. В эти переговоры вмешался Никита Панин, в чем и был уличен.

Озлобление сановников и усилившаяся настороженность самой императрицы совпали с новым витком работы Никиты Панина над кон-

ституционным проектом. Торопясь провести свой проект в жизнь, он инспирировал заговор против Екатерины. В эти планы Андрей Разумовский посвятил Вильямину — прямо на борту корабля, на котором принцесса плыла в Россию.

Брак великого князя Павла Петровича и крещенной в православную веру принцессы Вильяminy (Наталии Алексеевны) оказался несчастливым. Вскоре молодая супруга умерла, то ли в результате происков Екатерины, то ли по другим причинам. Впавший в отчаяние Павел раскрыл матери замыслы заговорщиков. Императрица вынудила архиепископа, принимавшего исповедь умирающей, перечислить имена участников заговора. Среди них был назван и Никита Панин. С этого момента его отстранили от должности гофмейстера и воспитателя цесаревича. По своему обычаю императрица сопроводила отставку щедрыми дарами. Но огорчению Панина не было предела: его отлучили от его основного замысла. С досады он роздал часть царских подарков своим секретарям, в том числе Фонвизину — 4 тысячи крепостных крестьян.

Сведения о заговоре 1773–1774 годов скупы. Лишь спустя много лет о нем рассказал племянник Дениса Фонвизина Михаил Александрович Фонвизин, декабрист, участник Союза благоденствия. В своих написанных уже в ссылке воспоминаниях он приводит рассказы отца, очевидца тех событий. Михаил Александрович утверждал: когда великий князь Павел достиг совершеннолетия и женился на Наталии Алексеевне, граф Никита Панин, его брат Петр, княгиня Дашкова, князь Н.В. Репнин, митрополит Гавриил и несколько гвардейских офицеров составили заговор с целью свергнуть Екатерину и посадить на трон наследника, который должен был принять выработанную Паниным «Конституцию». Судя по всему, именно к этой редакции «Конституции» секретарь Панина Д.И. Фонвизин и написал пространное введение — «Рассуждение о непременных государственных законах». В основу его был положен первый панинский проект «конституции» 1762 года. Полностью проект не сохранился: его сожгли во время налета полиции, преследующей масонов в доме другого брата Д. Фонвизина — Павла Ивановича, директора Московского университета. Удалось спасти лишь введение, которое незаметно вынес младший брат Фонвизина — Александр Иванович. Он и сохранил его в своей библиотеке, где позднее с ним познакомились его сыновья-декабристы.

Сохранившаяся часть «проекта Панина — Фонвизина» 1773–1774 годов получила в литературе широкую известность. С нее была снята копия, активно распространявшаяся в обществе. Введение начинается с заявления: «Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных». Далее идет рассуждение в духе идей Просвещения в тесной связи с патримониальным правом: «Государь, подобие Бога на земле... не может равным образом ознаменовывать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как поставя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем и которых не мог бы нарушить сам». Просветительский принцип главенства закона явственно проявляется в следующем

«В России кто может — грабит, кто не может — крадет!»

положении: «Без сих правил... без непременных государственных законов, непрочно ни состояние государства, ни состояние государя».

Было бы заблуждением считать, что «конституция Панина — Фонвизина» полностью оторвана от реальной жизни. Специальный раздел «О злоупотреблениях произвола власти» посвящен порокам общества и государства в России. Примечательно, что именно здесь приведена излюбленная поговорка Никиты Панина: «В России кто может — грабит, кто не может — крадет!» Новый проект исходил из постулата (появившегося лишь в редакции 1773–1774 годов) об определяющей роли дворянского сословия как главной опоры государства. Императорский совет, в раннем варианте состоящий из восьми аристократов, заменялся теперь Верховным сенатом. Часть несменяемых членов его назначалась «от короны», а другая избиралась «от дворянства» дворянскими собраниями в губерниях и уездах. Сенату же передавалась полнота законодательной власти, императору предоставлялась исполнительная власть и право утверждения законов, принятых Сенатом. Спустя полвека Александр I, занимаясь правкой Государственной уставной грамоты 1818–1820 годов, остановил свое внимание именно на том параграфе, где речь шла о компетенции законодательной власти, и оставил ремарку: «Избиратели могут, таким образом, назначать сами кого вздумается: Панина, например!»

Вторая половина 1770-х ознаменовалась в России новым оживлением масонского движения, которое также пропагандировало конституционную политическую идею. На собрании «Ложы Немезиды» в сентябре 1776 года «ложы Рейхеля» слилась с ложами патриарха русского масонства (по английскому обряду) И.П. Елагина. Были определены общие обряды и «акты трех степеней»; великим мастером был избран Елагин, наместным мастером — Никита Панин. Через несколько дней, 30 сентября, князь А.Б. Куракин отправился в Стокгольм, чтобы сообщить королю Швеции о втором браке наследника русского престола Павла Петровича. Куракин вернулся, облеченный особыми масонскими полномочиями, и привез специальную масонскую литературу. Среди книг, которые читал в эти годы Н.И. Панин, обращает на себя внимание сочинение Л.-К. Сен-Мартена «О заблуждениях и истине», вышедшее в 1775 году. Известно, что именно Никита Панин познакомил с этой книгой цесаревича и его новую супругу Марию Федоровну.

Между тем утвердившаяся у власти императрица Екатерина Великая противопоставила панинскому пониманию роли монарха собственное толкование. Осуждая крайние проявления деспотии, она в то же время полагала «неудивительным», что «в России было среди государей много тиранов»: «Народ от природы беспокоен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь, как бы обратить в свою пользу все для них подходящее; надо быть хорошо воспитану и очень просвещену, чтобы отличить истинное усердие от ложного, отличить намерение от слов и эти последние от дел. Человек, не имеющий воспитания, в подобном случае будет или слабым, или тираном по мере его ума; лишь воспитание и знание людей может указать настоящую середину».

Самовластие, облеченное в просвещенные формы, — вот идеал русской власти. В этом своем убеждении Екатерина следовала принципам Фридриха II Великого, который ей покровительствовал, когда она была еще бедной немецкой принцессой Софией-Фредерикой-Августой. От Фридриха восприняла русская императрица и принципы общения с людьми: «Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не веряйтесь им без разбора; отыскивайте истинное достоинство, хоть оно было на краю света: по большей части оно скромно и прячется где-то в отдалении... Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей. Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания; пусть видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись и все уважали. Храните в себе те великие душевные качества, которые составляют отличительную принадлежность человека честного, человека великого и героя».

Итак, между екатерининским представлением о государственной власти и панинскими замыслами преобразования России пролегла глубокая пропасть. Политика «просвещенного абсолютизма» принципиально противоречила идее Никиты Панина о создании «конституционного государства», опирающегося на закон, право и «фундаментальное законодательство».

Последняя, третья редакция «Конституции» Панина относится к 1783 году — году его кончины. Свидетельством ее существования являются две записки, написанные рукой великого князя Павла Петровича после последнего его свидания с бывшим воспитателем. «Рассуждение вечера 28 марта 1783 года» содержит текст Конституции, продиктованный умирающим Паниным своему воспитаннику. Записка открывается положением о главной функции государства, обязанного обеспечить безопасность своим подданным. Далее следует положение о разделении властей: законодательная власть отделена от власти, законы хранящей, и исполнительной. Законодательная власть сохраняется за государем, но «с согласия государства». Власть, законы хранящая, — «в руках всей нации», исполнительная — «под государем». Здесь повторяется мысль о роли дворянства, которое должно активно участвовать в государственном управлении через Сенат и министерства.

Вторая записка посвящена министерской структуре и утверждению нового закона о престолонаследии с «предпочтением мужской персоны». Этой запиской Панин убеждал Павла Петровича в его законных правах на российский престол.

После убийства императора Павла его сын Александр I обнаружил секретный ящик с «важными документами». Историк М.И. Семевский писал по этому поводу: «Все бумаги Павла Петровича после его насильственной

«В России кто может — грабит, кто не может — крадет!»

смерти перепуганный сын его, ставший императором Александром I, поручил разобрать другу Павла Петровича князю Александру Борисовичу Куракину». Сам молодой царь обнаружил «собственную шкатулку отца, наткнувшись на потайной ящик письменного бюро». Куракин собственноручно скопировал эти документы и «озаботился оставлением у себя одной копии».

Известно, что долгое время секретарем при А.Б. Куракине работал молодой М.М. Сперанский, который, судя по всему, подробно ознакомился с «бумагами Павла Петровича». Возможно, именно оттуда, из найденных им конституционных проектов Никиты Панина, берут начало идеи Сперанского-реформатора.

В ночь с 30 на 31 марта 1783 года граф Никита Иванович Панин скоропостижно скончался. Говорили, что цесаревич Павел рыдал над телом покойного. О потере своего друга глубоко скорбел и Денис Фонвизин, сказавший тогда: «Всякий смертью Панина нечто потерял!»

Нечто — это и есть та мечта Никиты Панина о твердых законах в России и об ограничении самовластья, за которую он боролся столько лет, сам не очень веря в быстрое осуществление своего замысла. Его излюбленная поговорка к концу жизни приобрела еще более горький оттенок. Теперь он повторял: «На Руси кто может, тот дерет; кто не может — тот берет; а кто работает — тот страдает!»

«Душевного почтения
достойн тот, кто в чинах —
не по деньгам, а в знати —
не по чинам...»

Мало найдется образованных людей, которые не знают Дениса Фонвизина, автора «Бригадира» и «Недоросля». Писатель, «сатиры смелый властелин», как назвал его А.С. Пушкин, оставил свой след в истории не только бессмертными художественными произведениями: он был еще и мыслителем, очень внимательным наблюдателем окружающей его действительности, которую ярко и с юмором описывал.

Денис Иванович Фонвизин (или фон Визин, как писалась его фамилия при жизни), родился 3 апреля 1744 или 1745 года и происходил из лифляндского рыцарского рода, переселившегося в Москву в XVI веке и совершенно обрусевшего. Как писал один из первых биографов Д.И. Фонвизина П.А. Вяземский, «изыскания родословные не нужны в биографии литератора: дарование не майорат». Однако непривычная русскому слуху приставка «фон» повышает интерес к происхождению писателя и просветителя. Известно, что во время правления Ивана Грозного предок Фонвизина, рыцарь братства меченосцев «Петр барон Володимиров сын Фон-Визин» был взят в плен и так и остался служить русскому царю. При Алексее Михайловиче внук барона принял православие с именем Афанасий, после чего был пожалован царем в стольники.

Д.И. Фонвизин родился в большой семье: у его родителей было восемь детей. Родители его были по тем временам людьми грамотными и просвещенными. Отец Фонвизина, Иван Андреевич, «человек большого здравого рассудка», как охарактеризовал его в последующем сын, прошел военную и гражданскую службу, вышел в отставку в чине статского советника. Мать, Екатерина Васильевна, урожденная Дмитриева-Мамонова, также происходившая из старинного боярского рода, была добродетельной и благоразумной хозяйкой. Семья не могла позволить себе пригласить в дом гувернеров, поэтому начальное образование Денис Фонвизин получил под руководством отца, выучившего его церковнославянскому языку. Именно отец, вероятнее всего, и стал прототипом фонвизинского Стародума. Иван Андреевич Фонвизин понимал, что одного домашнего образования, да еще без учителей-иностранцев, для хорошей карьеры сына мало, поэтому отправил его с братом учиться в только что открытую

гимназию при основанном И.И. Шуваловым и М.В. Ломоносовым Московском университете, недалеко от которого располагался дом Фонвизиных.

С 1755 по 1760 год Денис Фонвизин учился в гимназии при Московском университете, затем в течение двух лет — на философском факультете университета. Уже в студенческие годы он начал печатать в московских журналах переводы басен Гольберта и свои первые литературные произведения.

В годы учения зародилась и его любовь к театру — во время поездки гимназистов в Петербург для представления куратору И.И. Шувалову Фонвизин был на одном спектакле, который произвел на него очень сильное впечатление. «Действия, произведенного во мне театром, — писал он, — почти описать невозможно: комедию, виденную мной, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров — великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие».

В 1762 году Д.И. Фонвизин окончил университет и был определен сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк. Время для начала карьеры было удачное: переворот в пользу Екатерины II, коронация. Однако военная служба сразу же не заладилась, и Фонвизин уже летом (дело открыто 21 июля 1762 года) подал прошение о переводе в Коллегию иностранных дел переводчиком. К прошению были приложены образцы переводов с немецкого, французского и латинского языков. Впечатляет выбор переводов еще очень юного, начинающего писателя: с латыни 18-летний Фонвизин перевел «Речь за Марцелла» Цицерона, а с французского — «Политическое рассуждение о числе жителей у некоторых древних народов». Еще одной причиной, по которой на молодого сержанта гвардии Дениса Фонвизина обратили внимание, была его литературная деятельность. Так, переведенное им еще в студенчестве и опубликованное произведение Вольтера «Альзира» сделало его известным среди образованной элиты Москвы.

Канцлеру М.И. Воронцову приглянулось юное дарование, и Фонвизин был определен в Коллегию иностранных дел «переводчиком капитан-поручичья чина». По воспоминаниям самого Дениса Ивановича, ему сразу же начали доверять и «поручать важнейшие бумаги, отдавая именно для перевода мне». Фонвизину поручали делать переводы, требующие серьезного осмысления: он, в частности, перевел трактат И.-Г. фон Юсти «О правительствах». Находясь в должности переводчика-дипломата, в 1762 году Фонвизин впервые побывал за границей в Гамбурге и Шверине.

В начале октября 1763 года в его карьере снова произошли изменения: по указу императрицы Фонвизину надлежало, числясь при иностранной коллегии, «быть для некоторых дел при нашем статс-советнике Елагине», который состоял при кабинете императрицы «для принятия челобитен». Иван Перфильевич Елагин — личность незаслуженно забытая: историк, литератор, директор придворных театров. Исследователи его творчества склоняются к мысли, что именно он был главным редактором трудов Екатерины II.

Поначалу Фонвизину было сложно привыкнуть к столичной жизни. С присущим ему юмором он писал сестре 10 августа 1763 года: «Здесь знакомства еще не сделал. С кадетским корпусом не очень обхожусь тем, что там большая часть солдаты, а с академией — затем, что там большая часть педанты». Тем не менее Денис Иванович завел новые знакомства, среди которых были И.А. Дмитриевский, В.А. Аргамаков (позже женившийся на его сестре), князь Ф.А. Козловский.

Уже в это время Фонвизин твердо встает на позицию просветительства. В 1765 году, готовя второе издание переводных басен Гольберга, он дополнил книгу переводом 42 новых произведений. В басне «Пан делает учреждение» Фонвизин зло высмеивает сильных мира сего. Вывод автора почти революционен: «Давать старшинство не по природе, а по внутреннему достоинству, добродетели, прилежанию, через что приносят они людям истинную пользу».

В 1769 году Фонвизин вступил в «вольнодумное» литературно-офицерское общество, руководил которым кн. Ф.А. Козловский. Активным участником его был также Иван Дмитриевский — актер, переводчик, при этом член Российской академии наук. Сам Федор Козловский был известным литератором, одним из членов Комиссии по составлению проекта нового Уложения. Он, как и Фонвизин, учился в Московском университете, и, по-видимому, Денис Иванович был знаком с ним со студенчества. По выражению Фонвизина, «лучшее препровождение времени» в этом обществе «состояло в богохулии и кошунстве». Так он писал, уже разбитый параличом, в конце жизни. Однако в молодости критичное отношение к церкви было характерно для литературных кругов, а все ближайшее окружение Фонвизина были масонами, хотя сам Денис Иванович так и не вступил в ложу. Под влиянием этого кружка в 1769 году он создает сатирическое произведение «Послание к слугам моим — Шумилову, Ваньке и Петрушке». Здесь представлена не самая лицеприятная картина российской действительности: «За деньги самого всевышнего творца готовы обмануть и пастырь, и овца!» В этом произведении Фонвизин сатирическими красками рисует самодержавно-крепостнический режим, который порождает обман, насилие, продажность, и все это освещается церковью.

С 1763 по 1769 год Фонвизин написал и издал ряд других произведений: «К уму моему», «Матюшка-разносчик» и др. В 1764-м была поставлена его новая пьеса «Корион». В одном из писем к сестре он упоминает о стихах, написанных в честь Екатерины II. Не оставляет Фонвизин и переводы: переводит и издает роман Ж.-Ж. Бартеlemi «Любовь Кариты и Полидора», сочинение аббата Куайе «Торгующее дворянство, противоположенное дворянству военному», «Иосиф» г. Битобе и др.

В 1769 году Фонвизин написал комедию «Бригадир», которая сделала его знаменитым и открыла двери домов столичных вельмож. Первый раз он прочитал «Бригадира» в присутствии А.И. Бибикова и Г.Г. Орлова; последний же не замедлил представить его Екатерине II. Фонвизин

«Душевного почтения достоин тот, кто в чинах — не по деньгам, а в знати — не по чинам...»

был приглашен в Эрмитаж, придворный театр императрицы. Похвала Екатерины открыла ему литературную карьеру, а знакомство с графом Н.И. Паниным сформировало его как мыслителя. Именно эта встреча, переросшая в дальнейшем в тесную дружбу, оказала большое влияние на жизнь и судьбу Д.Н. Фонвизина.

«Бригадир» — это первая истинно русская комедия. Ее действующие лица — две семьи провинциальных русских помещиков. Главный герой — Иван, сын бригадира, тупой, жадный, жестокий бездельник. Он презирает все русское, не имеет привязанностей, даже родители для него ничего не значат: «Живу уже двадцать пять лет и имею еще отца, и мать». В образе этого чудовища автор отобразил молодое поколение дворян. Молодые — достойные наследники своих отцов, которые всю жизнь посвятили не служению Отечеству, а наживе. В основе комедии — любовные интриги, но все эти «шашни» вызывают отвращение, так как суть этих любовных похождения — порок. В комедии отсутствуют потасовки, сцены с переодеваниями, что было свойственно произведениям данного жанра, но это не делает ее менее смешной. В «Бригадире» нет ни одного положительного героя, все образы как бы списаны с реальной жизни.

В том же 1769 году Фонвизин оставляет службу при И.П. Елагине и вновь определяется в Коллегию иностранных дел к графу Н.И. Панину: ему поручается обширнейшая переписка с нашими дипломатами при европейских дворах. Служить в ведомстве иностранных дел оказалось непросто. В 1773 году он жалуется в письме сестре на интриги — «...ни в каком скаредном приказе нет таких», — однако это с лихвой компенсируется не просто хорошими отношениями, а завязавшейся дружбой с графом Н.И. Паниным.

В 1773 году, в связи с окончанием обучения великого князя Павла Петровича, Панин был отправлен в отставку, получив богатое вознаграждение, которым он поделился со своими секретарями. Д.И. Фонвизин получил имение в Витебской губернии и 1180 душ крепостных.

В 1774 году Фонвизин женился на Екатерине Ивановне Хлопковой (урожденной Роговиковой). Она была недворянского происхождения, и современники сочли брак мезальянсом. Однако Фонвизин выбрал себе в спутницы жизни женщину, которая разделяла его взгляды, а не по каким-либо иным основаниям. В 1777 году его Екатерина Ивановна серьезно заболела, и для поправления ее здоровья Фонвизины отправились за границу, на юг Франции. По дороге они посетили Варшаву, Дрезден, Лейпциг, Мангейм, Страсбург и Лион. Вернулись они в Петербург осенью 1778 года; эту поездку Фонвизин описал в «Записках первого путешественника».

В 1781 году Фонвизин написал комедию «Недоросль», которая впервые была поставлена в театре 24 сентября 1782 года. Одновременно он пишет «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и оттого о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей», более известное как «Рассуждение о непремен-

ных государственных законах». Это «рассуждение» позднее было опубликовано А.И. Герценом в Лондоне; в России же этот трактат был издан С.Е. Шумигорским как приложение к его книге «Император Павел I. Жизнь и царствование» только в 1907 году.

Комедия «Недоросль» — центральное произведение Фонвизина, одна из вершин русской драматургии, органично связанная с идейной проблематикой «Рассуждений...». В пьесе изображены страшные последствия крепостничества — это «рабство» не только крестьян, но и помещиков, которые в условиях безнаказанности и полной безответственности буквально «оскотиниваются». Впервые на сцене появляются и положительные герои Фонвизина — Стародум и Правдин, которые по своему мировоззрению исповедуют идеалы Просвещения. Императрица Екатерина и ее приближенные встретили комедию «Недоросль» с негодованием.

В 1781 году Фонвизин получил новое назначение — он стал членом правления Почтового департамента (находившегося тогда в ведении Коллегии иностранных дел) и принял активное участие в разработке проекта реформирования почты. Он обозначил три основных направления реформирования. Прежде всего необходимо было обеспечить безопасность почты, «скорое ее хождение», а также «сбор, сохранение и возможное приращение доходов» от почтового дела. Фонвизин писал, что «почта должна быть двойкая: одна легкая — для писем и самых легких и маленьких посылок, а другая тяжелая — для денег, вещей и людей». Эта идея Фонвизина о разделении почтовых отправок была реализована: из Москвы в Петербург и обратно почту стали доставлять два раза в неделю, а не один раз, как ранее.

7 марта 1782 года Фонвизин подал в отставку, решив полностью посвятить себя литературному творчеству. Он чувствовал приближение опалы: ему долго не давали разрешения поставить «Недоросля». Есть и другая точка зрения: что Денис Иванович был отставлен от службы после того, как Екатерине II стало известно о «Рассуждении...». Ознакомившись с этим произведением, императрица будто бы заявила: «Худо мне жить приходится, уж и господин Фонвизин хочет учить меня царствовать!» Однако достоверных подтверждений этой версии нет. Окончательно Фонвизин вышел в отставку в 1783 году с чином статского советника и с пенсией в 300 рублей.

Он написал много статей и для журнала «Собеседник любителей российского слова», который начал выходить с мая 1783 года. Его редактором числилась княгиня Е.Р. Дашкова, но известно, что за журналом пристально следила сама императрица Екатерина II, печатавшая в нем свои литературные и исторические сочинения. Уже в первом номере был напечатан «Опыт российского сословника», где автор, обличая российскую действительность, пишет о природном равенстве людей. Так, Фонвизин категорически не согласен с трактовкой расхожего понятия «подлый человек»: «Человек бывает низок состоянием и подл душою. В низком

«Душевного почтения достоин тот, кто в чинах — не по деньгам, а в знати — не по чинам...»

состоянии можно иметь благороднейшую душу, равно как и весьма большой барин может быть весьма подлый человек. Слово „низость“ принадлежит к состоянию, а „подлость“ — к поведению». В последующих номерах «Собеседника» Фонвизин помещает свои новые сатиры: «Челобитная российской Минерве», «Путешествие мнимого глухого и немого» и др.

31 марта 1783 года умер Никита Иванович Панин, друг и единомышленник Фонвизина. Именно к этому времени относится создание окончательной редакции «Конституции» — проекта государственных преобразований, реализацию которого Н.И. Панин связывал с воцарением своего воспитанника Павла Петровича.

В 1784–1785 годах Фонвизины для поправки здоровья снова уехали за границу. Они побывали в Германии и Италии, где Денис Иванович анонимно издал на французском языке «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина», нарисовав образ идеального просвещенного вельможи.

Последние годы жизни Д.И. Фонвизин был тяжело болен, но литературных занятий не оставил: начал автобиографическую повесть «Чисто-сердечное признание в делах моих и помышлениях». Он готовил собрание своих сочинений в пяти томах; текст к 1788 году был готов, но запрещен к печати Екатериной II. Не состоялось и задуманное им издание журнала «Московские сочинения». Умер Денис Иванович Фонвизин в Петербурге 1 декабря 1792 года и был похоронен в Александро-Невской лавре.

Жизнь, творчество, общественно-политические взгляды Д.И. Фонвизина переплелись в подлинный калейдоскоп: мало найдется литераторов, да еще в XVIII веке, столь популярных при жизни. Возможно, Екатерина II, несмотря на постоянное недовольство деятельностью и взглядами Фонвизина, не стала его преследовать именно из-за его огромной популярности.

Формирование взглядов Фонвизина во многом происходило во время обучения: школа дала ему знание иностранных языков, умственную дисциплину, благодаря которой он выделяется из среды современных ему литераторов не только талантом, но и систематичностью образования. Большую роль в становлении Фонвизина как мыслителя сыграл Н.И. Панин. Именно с именем графа Панина связано участие Фонвизина в создании знаменитого проекта преобразований, известного под названием «Найденное в бумагах покойного графа Никиты Ивановича Панина Рассуждение о непременных государственных законах». Само существование этого документа обросло легендами. Долгое время подлинник этой рукописи, написанный рукой Фонвизина, был засекречен. Известно, что сохранилось только введение к проекту законов, а полный текст был уничтожен. Единственный источник, повествующий о судьбе этого документа, — сочинения декабриста М.А. Фонвизина, племянника Дениса Ивановича, в его записках «Обозрение проявлений политической жизни в России».

Д.И. Фонвизин был сторонником основанной на законе монархии во главе с просвещенным, добродетельным государем, к числу которых

он не относил Екатерину II. Он полагал, что государства образовались в результате «общественного договора» и поэтому «обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было еще в свете нации, которая насильно принудила бы кого стать ее государем».

Для успешного управления страной, считал Фонвизин, необходимо составить «фундаментальные» законы и строго соблюдать их: без непременно государственных законов «не прочно ни состояние государства, ни состояние государя». Власть монарха, опирающегося на силу и страх, не может быть истинной, потому что «право деспота есть право сильного: но и разбойник то же право себе присваивает... Сила принуждает, а право обязывает». Если же государь — тиран, то «право народа — спасти свое бытие». Закон превыше всего, пишет Фонвизин, его никто не вправе нарушать: ни подданные, ни монарх. Обход законов монархом непременно приведет к такому положению, «где произвол одного есть закон верховный... тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединились бы узлом взаимных прав и обязанностей».

Целью же истинного государя, делает вывод Фонвизин, должна быть «политическая вольность нации». Такая политическая вольность должна быть основана, во-первых, на священных законах, определяющих устройство государства, которые «разумеет мы под именем фундаментальных». Во-вторых, на гарантии исполнения указанных законов и защите от произвола чиновников, «чтоб гражданин не мог страшиться злоупотребления власти». В-третьих, на гарантии прав собственности. «Очевидно, — замечает Фонвизин, — что нельзя никак нарушить вольности, не разрушая права собственности».

Утверждая, что «верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных», Фонвизин считал необходимым усовершенствовать систему государственного управления. В составленном совместно с Н.И. Паниным проекте он предлагал учредить «верховный Сенат, часть несменяемых членов которого назначалась бы от короны, а большинство состояло из избранных дворянством из своего сословия лиц». Синод должен был войти в состав общего собрания Сената. Губернские, областные и уездные дворянские собрания получили бы право совещаться об общественных делах и личных нуждах, докладывать об этом Сенату и рекомендовать ему новые законы. Эти собрания должны были находиться «в иерархической постепенности» в отношении Сената. Выбор как сенаторов, так и местных чиновников должен был проводиться на этих собраниях. Сенат получал полную законодательную власть, а за императором оставалось право утверждать принятые законы и обнародовать их. Ему же принадлежала исполнительная власть. Учреждение верховного Сената, по мысли Фонвизина и его соавтора Панина, дало бы «политическую свободу дворянству». После этого следовало приступить к освобождению крестьянства.

«Душевного
почтения
достоин тот,
кто в чинах —
не по деньгам,
а в знати —
не по чинам...»

Фонвизин доказывал, что истинным государем может быть только добродетельный человек. При этом под «добродетельностью» монарха он понимал строгое соблюдение им условий «общественного договора»: «Он должен знать, что нация, жертвуя частью естественной вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству». Поэтому в управлении государством монарх должен опираться исключительно на законы, направленные на защиту интересов народа, а не на собственные прихоти или случайных «любимцев». Если же монарх не будет следовать условиям «общественного договора», то народ имеет полное право разорвать такой договор: «Всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства и тиранства, есть власть не от Бога, но от людей, коих несчастья времен попустили, уступая силе, унижить свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, и весьма умно сделает, если разорвет».

Фонвизин никогда не идеализировал политику Екатерины II. В яркой сатирической форме он показал лживость и неискренность двора «Северной Семирамиды». В своей «Придворной грамматике» Фонвизин недвусмысленно писал: «Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать можно». Истинных же служителей отечества власть не жалует, раздавая чины не тем, кто истинно служит, а тем, кто умеет льстить.

Фонвизин был убежденным противником крепостничества. Он считал, что крепостное право, сложившееся в определенных исторических условиях, изжило себя с тех пор, как крестьяне перестали быть прикрепленными к земле, а превратились в абсолютно зависимых от своих хозяев рабов. Он указывал, что «...государство, которое силой и славою своей обращает на себя внимание целого света и в котором мужик одним видом человеческим от скота отличается... где люди составляют собственность людей, пресмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства». Такое положение крепостных аморально и невыгодно экономически. Так, устами героев своей комедии «Недоросль» Стародума и Правдина Фонвизин говорит, что «угнетать рабством себе подобных незаконно» и какое удовольствие для государей управлять свободными душами. Просвещенный государь, далее размышляет Фонвизин, «не допустит поселиться в его голове несчастной и нелепой мысли, будто Бог создал миллионы для ста человек».

Фонвизин постоянно размышлял о необходимости обеспечения равенства людей вне зависимости от чинов или происхождения. Так, еще при Елагине ему был поручен перевод одного французского трактата и составление его краткого пересказа; этот труд Фонвизин озаглавил «Сокращение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». Там он указал, что появление «третьего чина» крайне важно для общественно-го и экономического благосостояния государства и что «сей третий чин

нетрудно учредить и в России». Поэтому, писал далее Фонвизин, необходимо поощрять тех, кто «старается о мануфактурах, устанавливает промывы вещей, оценивает товары». Чтобы разглядеть всех способных людей, необходимо создать такую систему образования, куда допустили бы всех способных учиться, в том числе из крепостных крестьян.

Фонвизин верил, что скоро в России грядут великие изменения: «История нашего века будет интересна для потомков. Сколько великих перемен! Сколько странных приключений! Сей век есть прямое поучение царям и подданным!»

ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ГОЛИЦЫН

«Все истинно полезное
укореняется прочнее,
когда его принимает
сам народ, а не тогда,
когда его вводят путем
приказания...»

История России XVIII века богата просветителями и общественными деятелями, однако и в этом ряду князь Дмитрий Алексеевич Голицын стоит особняком: аристократ, ученый, дипломат, мыслитель и экономист, замечательные письма которого были опубликованы в 1952 году в «Избранных произведениях русских мыслителей второй половины XVIII века». Всю жизнь проживший за границей, он всегда отстаивал интересы собственной страны.

Князь Дмитрий Алексеевич Голицын родился 15 мая 1734 года в Санкт-Петербурге (по другим сведениям, в селе Гиреево Московского уезда). Он происходил из старинного, аристократического, хотя и не очень богатого рода. Его отец Алексей Иванович Голицын служил поручиком в Бутырском полку, расквартированном под Москвой. Там же располагалось и его родовое имение. Известно, что во время правления Анны Иоанновны большой род Голицыных находился в опале, и поэтому его представители предпочитали отсиживаться в своих имениях.

В 1728 году Алексей Иванович Голицын венчался с княжной Дарьей Васильевной Гагариной; с 1729 по 1735 год у них родилось пятеро детей. Однако семейное счастье родителей Дмитрия Голицына было недолгим: в 1739 году отец погиб на Русско-турецкой войне. После воцарения Елизаветы Петровны Дарья Васильевна Голицына переехала в Санкт-Петербург и в 1740 году определила сыновей в недавно открытый Кадетский корпус, где Дмитрий Голицын проучился восемь лет и был выпущен в Коллегию иностранных дел.

Дипломатическая служба была своего рода фамильной привилегией рода Голицыных. В 1760 году скончался русский посланник во Франции М.П. Бестужев-Рюмин, и его заменил князь Дмитрий Михайлович Голицын, троюродный дядя Д.А. Голицына. К нему, в русское посольство в Париже, Дмитрий Алексеевич и был направлен под родственный надзор «министерским делам обучаться». Правда, в мае 1761 года в Париж приехал уже новый посланник — П.Г. Чернышев, «который больше хво-

рал, чем исполнял свои обязанности». В те месяцы пребывания у власти в Петербурге «герmanoфила» Петра III и, соответственно, серьезных осложнений в отношениях России с Францией молодой дипломат Дмитрий Голицын был вынужден чуть ли не ежедневно ездить в Версаль с «визитами вежливости», где его, однако, почти не замечали.

В августе 1762 года, со сменой власти в Петербурге и вступлением на престол Екатерины II, в Париж был направлен очередной посланник, С.В. Салтыков, бывший до этого резидентом в Гамбурге, где прославился главным образом своими любовными похождениями. В 1763 году и он был отозван из Франции...

Князь Дмитрий Голицын приехал во Францию в возрасте 26 лет, когда его общественно-политические взгляды еще не вполне сформировались. Не будучи сильно загружен собственно дипломатической работой, он посещал театры и литературные салоны, где молодого русского аристократа охотно принимали. В салоне мадам Жоффрен он познакомился с Дени Дидро, Жаном Лероном Д'Аламбером, другими энциклопедистами. Большое влияние на формирование его экономических взглядов оказал Дэвид Юм, который в 1763–1765 годах был секретарем британского посольства в Париже. Дмитрия Голицына увлекли взгляды Юма; позднее он писал вице-канцлеру А.М. Голицыну, что «после перевода трудов Юма, имеющих здесь блистательный успех, переводить с английского стало моим любимым занятием».

В 1763 году Екатерина II, оценив по достоинству дипломатические качества 29-летнего Дмитрия Голицына, а также активное участие его брата Петра Голицына в июньском перевороте 1762-го, назначила князя Дмитрия Алексеевича Голицына полномочным министром при версальском дворе. Главой русского посольства в Париже он пробудет до 1768 года.

Оценив также связи Дмитрия Голицына в высшем парижском обществе, Екатерина II, несомненно, рассчитывала сделать его орудием пропаганды собственных идей: именно через него императрица передала Д'Аламберу выпущенную в связи с ее восшествием на престол медаль; с ним же, по просьбе Екатерины, Голицын вел переговоры об издании «Энциклопедии» в России. Через Голицына Екатерина договорилась и о покупке у Дидро его библиотеки, которая была привезена в Россию после смерти мыслителя-энциклопедиста.

Голицын приобретал произведения живописи для петербургского Эрмитажа. Тот же Дидро с похвалой писал о Голицыне: «Я как следует почувствовал нынешний упадок живописи лишь после приобретений, сделанных Голицыным для Ее Величества и приковавших мое внимание к старинным картинам... Князь невероятно преуспел в познании искусств. Вы сами удивитесь, как он разбирается, чувствует, судит. И от этого у него высокие помыслы и прекрасная душа».

Основной письменный источник, свидетельствующий о становлении и эволюции общественно-политических взглядов князя Д.А. Голицына, — его переписка с вице-канцлером Александром Михайловичем Голицыным.

Несмотря на специфику жанра, в этих текстах можно найти вполне стройную программу российских реформ. Переписка между Голицыными велась с 1765 по 1771 год — в ранние годы правления Екатерины II, время написания ею знаменитого «Наказа» и работы Комиссии по подготовке проекта нового Уложения. Достоверно известно, что Екатерина внимательно читала и даже рецензировала письма своего посла во Франции, поэтому десять ответов ему вице-канцлера можно отчасти считать и мнением самой императрицы. То, что Екатерина во многом была автором ответов во Францию, можно заключить из многочисленных собственноручных пометок императрицы.

Переписывался Д.А. Голицын и с Вольтером — с 1765 по 1775 год. Сохранились письма Вольтера Голицыну: вероятнее всего, они были лично близко знакомы. Так, в письме от 25 января 1769 года Вольтер писал Дмитрию Голицыну: «Я проникнут воспоминаниями о Вашем сиятельстве...»

По рекомендации Голицына в Санкт-Петербург был приглашен Этьен Фальконе для создания памятника Петру Великому, и именно князь подписал официальный контракт со скульптором от имени российского правительства. 10 января 1767 года Голицын был избран почетным членом Петербургской академии художеств.

В 1768 году Голицын был отозван из Франции (в знак протеста России против «неуважительного отношения» французского двора к Екатерине II) и пожалован чином тайного советника и камергера. В январе 1769-го он был назначен посланником в Голландию и в том же году прибыл в Гаагу.

Еще после завершения своей миссии в Париже Голицын для «поправления здоровья» побывал в немецком городе Ахене, известном своими сероводородными источниками. Там он познакомился с дочерью прусского фельдмаршала С. фон Шметтау Адельгейдой-Амалией. Дружба переросла в нежные чувства, тем более что Амалия была весьма образованной девушкой и увлекалась трудами французских энциклопедистов. 14 августа 1768 года они обвенчались. Поначалу семейная жизнь Голицыных складывалась очень счастливо. На свет появились дети — Марианна и Дмитрий. Однако «жизнь по протоколу» быстро надоела Амалии, и в 1774 году она удалилась в деревню близ Гааги, где занялась воспитанием детей. До конца 1780 года супруги хотя и редко, но общались, а потом Амалия Голицына переехала в город Мюнстер в Вестфалии, и встречи супругов прекратились. Одной из причин было увлечение А.С. Голицыной католическим мистицизмом, чего категорически не мог принять ее муж. Правда, до самой ее смерти они переписывались. Любопытна судьба их сына Дмитрия Дмитриевича Голицына. В 17 лет он принял католичество и посвятил себя миссионерской деятельности: основал земледельческую колонию Лоретто в Северной Америке, в Пенсильвании, где и прожил всю жизнь.

Находясь в Голландии, Д.А. Голицын перевел на русский язык книгу Гельвеция «О человеке, его умственных способностях и воспитании», издал ее в 1773 году за свой счет в Гааге, посвятив Екатерине II. В том же году он редактировал книгу профессора Кералио «История войны России

с Турцией», в частности материалы, посвященные кампании 1769 года. Эта работа вышла в Санкт-Петербурге на французском языке в одном томе с родословной князей Голицыных.

В Гааге Д.А. Голицын представлял интересы России во время войны североамериканских колоний за независимость. Симпатии князя с самого начала конфликта были на стороне американских колоний, что, впрочем, тогда в целом совпадало с позицией российского двора. Голицын был лично знаком с Джоном Адамсом, который в донесении из Гааги 4 сентября 1782 года писал о нем: «Это порядочный и правдивый человек. Он очень сдержан и ведет себя крайне осмотрительно».

Голицын стал одним из авторов «Декларации о вооруженном нейтралитете». В письме Н.И. Панину от 18 февраля 1780 года он подробно обосновывал необходимость подписания союзного договора с Голландией, Данией и Швецией по вопросам защиты торговли и мореплавания при сохранении нейтралитета по отношению к воюющим сторонам. Видимо, своим письмом он убедил Екатерину II в необходимости подписания Декларации и заверил в союзническом расположении Голландии. Подтверждением этому служит тот факт, что письмо Голицына было зарегистрировано в канцелярии Коллегии иностранных дел 26 февраля, а 27-го Екатерина II подписала «Декларацию о вооруженном нейтралитете».

В конце 1782 года Д.А. Голицын был отозван из Голландии с присвоением ему ордена Св. Анны I-й степени и назначением посланником в Турин, столицу Сардинского королевства, что было расценено им как почетная ссылка. Одной из причин подобной немилости явилась, по-видимому, слишком независимая позиция российского дипломата, а также его чересчур тесное знакомство с американскими лидерами, да еще и в обход российского двора. Косвенным доказательством этому служит письмо А.А. Безбородко к И.А. Остерману, где он указывал на необходимость поставить Голицына в известность, что не следует принимать от американцев подарков и писем. В 1783 году Д.А. Голицын счел за лучшее выйти в отставку и полностью посвятить себя науке.

Первое время после отставки Голицын жил в Гааге. В 1785 году он перевел на французский язык и издал книгу К.И. Габлица «Физическое описание Таврической области по ее местоположению и по всем трем царствам природы» со своими комментариями. Опубликовал он и несколько работ по электричеству: «Письмо о некоторых предметах электричества», «Наблюдения за естественным электричеством посредством воздушного змея».

Заинтересовавшись минералогией, Голицын занялся сбором образцов и в 1792 году предложил собственную классификацию минералов. Его «Трактат, или Сокращенное и методическое описание минералов» выдержал в Европе пять изданий. В 1793 году Голицын переехал в город Брауншвейг в Нижней Саксонии, где и умер 23 февраля 1803 года.

Имя князя Дмитрия Алексеевича Голицына было хорошо известно в научных кругах Европы. Еще во время дипломатической работы 15 октября

«Все истинно полезное укореняется прочнее, когда его принимает сам народ, а не тогда, когда его вводят путем приказаний...»

1777 года он был избран членом-директором Голландского общества наук; 3 апреля 1778-го — иностранным членом Брюссельской академии наук и художеств; 13 октября 1778-го — почетным членом Петербургской академии наук. В дальнейшем Голицын серьезно занимался физикой, химией, минералогией, создал свою экспериментальную лабораторию, изобрел самую мощную в то время электростатическую машину. Он составил и уникальную коллекцию минералов, которую в 1802 году подарил Йенскому минералогическому музею, написал один из первых минералогических словарей.

Научная слава Д.А. Голицына возрастала: в 1788 году он был избран иностранным членом Шведской академии наук; в 1793-м — членом Берлинской академии наук; в 1798-м — членом Лондонского королевского общества; в 1799-м — почетным членом Минералогического общества в Йене, а затем в том же году стал его президентом. В 1798 году Д.А. Голицын был избран членом Российского Вольного экономического общества, в сборниках трудов которого опубликовал немало статей.

Общественно-политические интересы Д.А. Голицына сосредотачивались главным образом в области экономики — он был убежденным сторонником учения физиократов. Взгляды Голицына на закономерности развития любого, в том числе и российского общества нашли отражение в его капитальном труде «О духе экономистов, или Экономисты, оправданные от обвинения в том, что их принципы легли в основу Французской революции». Само название книги ясно говорит о том, что написать ее автора побудило желание опровергнуть начавшее распространяться тогда мнение, что именно учение «физиократов» (или «экономистов», как они сами себя называли) стало причиной Великой французской революции.

Согласно Голицыну, для процветания любой страны, роста ее богатства и культуры необходимо в первую очередь поддерживать земледелие. Для этого прежде всего следует повысить производительность труда, что возможно сделать только предоставлением личной свободы и права собственности непосредственному производителю. Причем наиболее важна здесь именно собственность: «Свобода распоряжаться избытками или, точнее, богатством является движущей причиной плодородия полей, разработки недр, появления изобретений, открытий и всего того, что может сделать нацию цветущей». При этом Голицын советовал четко определить, что такое собственность, и в обязательном порядке закрепить право собственности за непосредственными землепользователями, т.е. крестьянами.

Основная идея программы Голицына по решению проблемы крепостничества — необходимость правового регулирования отношений между помещиками и крестьянами. Это могло быть достигнуто дарованием крестьянам собственности, под которой Голицын понимал: 1) освобождение крестьян, т.е. «обеспечение их права собственности на собственную личность, без которого немислимы все другие виды собственности»; 2) «собственность движимую, то есть пожитки и пр.»; 3) «позволение тем, кто

в силах, покупать землю на собственное имя и владеть ею подобно нам, господам, что со временем образовало бы их поземельную собственность...».

Однако при существующих законах и порядках в России невозможно защитить крестьянина от тирании помещика; крестьянская собственность осталась бы призрачной даже в случае ее признания. Потому, размышлял далее Голицын, за дарованием права собственности должно последовать учреждение контролирующего института «странствующих судей», обязанности которых будут состоять «единственно в том, чтобы защитить крестьян от тирании помещика». Таким образом, Голицын задумывался и о практической реализации своих идей. Правда, он полагал, что для успеха начинания пример должна подать сама императрица, освободив своих собственных крестьян. Тогда, по мнению Голицына, и большинство русских дворян последовали бы царскому примеру. Будучи убежденным противником крепостничества, Голицын предлагал освобождение крестьян без земли, с тем чтобы те, арендуя у помещиков землю, которую до этого и обрабатывали, платили ему арендную плату.

Екатерина II, вмешавшись в переписку Голицына с его кузеном, вице-канцлером А.М. Голицыным, усомнилась в практической осуществимости идей своего посла. Она высмеяла его, предложив осуществить подобные преобразования на его собственных землях. Д.А. Голицын отвечал, что в одной частной вотчине невозможно произвести серьезные изменения, а тем более освободить крестьян без политической воли верховной власти, которая предварительно должна сделать три вещи: первое — отменить взыскания для беглых, второе — освободить помещика от поставки рекрутов и третье — законодательно расширить свободную торговлю продуктами земли. Голицын письменно заверял своего кузена (а через него — и императрицу), что постарается сделать так, чтобы его крестьяне могли не только обеспечивать себя и исправно платить подати, но и получать с земли прибыль. И он, Дмитрий Голицын, был бы счастлив, если бы в конце концов его разбогатевшие крестьяне выкупились на волю.

Конечно, «программа преобразований» Д.А. Голицына едва ли могла быть осуществлена в то время в России. Скорее всего, это были не более чем размышления образованного русского аристократа, почти всю жизнь прожившего за границей. Тем не менее взгляды князя Голицына высоко оцениваются историками. Так, известный историк Н.Н. Болховитинов писал, что «в отличие от многих своих коллег — тупых и самодовольных сановников — Д.А. Голицын не только придерживался самостоятельных взглядов по ряду важных вопросов, но и систематически подавал советы в Санкт-Петербург Н.И. Панину, И.А. Остерману и самой Екатерине II (не говоря уже об А.М. Голицыне), что не часто встречалось в дипломатической практике того времени...»

«Все истинно полезное укореняется прочнее, когда его принимает сам народ, а не тогда, когда его вводят путем приказаний...»

СЕМЕН
ЕФИМОВИЧ
ДЕСНИЦКИЙ

**«Лучше не иметь иных
законов, нежели, имея,
не исполнять...»**

Семен Ефимович Десницкий по праву считается основателем российской юриспруденции. Его труды сформировали основу отечественной правовой системы и одновременно положили начало изучению правовых дисциплин в России. Он первый переработал нормы русского законодательства в правовые определения и юридические конструкции и выстроил стройную систему российского государственного права. Несмотря на то что архив Десницкого полностью сгорел в Москве в пожаре 1812 года (не осталось даже его портрета), вклад в развитие российского права этого выдающегося ученого был настолько велик, что следы его плодотворной деятельности сохранились во множестве иных источников.

Точной даты рождения С.Е. Десницкого не сохранилось; известно лишь, что он родился в старинном городе Нежине Черниговской губернии не ранее 1740 года и происходил из малороссийских нежинских мещан. Детство Десницкого прошло на Украине, он хорошо знал украинский язык и быт. Первоначальное образование получил в духовной семинарии при Троице-Сергиевой лавре.

В 1759 году ему предложили место «казеннокоштного» (т.е. обучающегося за счет казны) студента в гимназии при Московском университете. Уже в апреле 1760 года Десницкий был переведен в число студентов философского факультета, где одновременно с ним учились И.А. Третьяков, Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин и многие другие будущие общественные деятели.

В конце 1760 года С.Е. Десницкий и И.А. Третьяков были вызваны куратором Московского университета И.И. Шуваловым для подготовки их к продолжению обучения за границей. По совету «господ англичан» был избран университет города Глазго, где Десницкий и Третьяков обучались в течение шести лет — с 1761 по 1767 год.

Преподавание велось в основном на латыни, однако недостаточное знание английского языка поначалу сильно мешало обучению. В университете Глазго, как и в других английских университетах, студенты слушали авторские курсы профессоров. Так, в письме Десницкого декану и членам правления университета от 31 декабря 1765 года он указывает, что они с Третьяковым прошли «курс у доктора Смита», в течение трех лет посещали «курс мистера Дж. Миллара по гражданскому праву». Так-

же они прослушали годовой курс химии у профессора Дж. Блэка, изучали математику и «купеческую арифметику». Особое влияние на формирование мировоззрения Десницкого оказали лекции Адама Смита по «нравственной философии», а также курс гражданского права у отличавшегося либеральными политическими взглядами Джона Миллара.

Получив каждый в 1765 году степени «магистра искусств и свободных наук», Десницкий и Третьяков обратились в правление университета с вопросом, не дает ли им основания «предложить себя в качестве кандидатов на степень доктора права и сдать экзамены, необходимые для получения этой степени» то, что они прослушали курс этики и юриспруденции у доктора Адама Смита и трехгодичный курс по гражданскому праву у Дж. Миллара. В тот же день обращение было рассмотрено, Дж. Миллар частным порядком проэкзаменовал Десницкого и Третьякова, и, после того как оба магистра показали высокие результаты, они вышли на публичный экзамен, успешно выдержав его 16 января 1766 года. Уже 8 февраля ими были представлены диссертации, которые после внимательного прочтения английскими профессорами были рекомендованы к публикации.

Московские студенты задержались в Англии. Сразу после получения ими степени магистров из России пришел приказ возвращаться на родину, но Десницкий и Третьяков были исполнены желания завершить свое образование. 7 апреля 1767 года они обратились с письмом к декану и ученому совету университета Глазго, где писали, что поскольку получили приказ отбыть на родину как можно скорее, то просят позволить им пройти оставшиеся испытания, полагающиеся для претендентов на степень доктора права: «Не соблаговолят ли поэтому distinguished декан и ученый совет назначить день, чтобы просители смогли подвергнуться упомянутым испытаниям, и присудить им искомую степень, если они этого заслуживают».

Их просьба была рассмотрена 20 апреля 1767 года: «Рассмотрев прошение Третьякова и Десницкого, в котором они сообщают, что получили приказ отбыть на родину как можно скорее, совет считает возможным обойтись без публичной защиты ими их диссертаций (как было решено на прошлом совете) и, будучи удовлетворен теми знаниями в области гражданского права, которые они выказали, отдает распоряжение, чтобы вице-канцлер присудил им степень доктора права, когда сочтет это удобным». Таким образом, Десницкий и Третьяков стали первыми иностранцами, получившими эту ученую степень в университете Глазго.

11 июня 1767 года Десницкий и Третьяков прибыли в Петербург. Там к их зарубежным сертификатам отнеслись с недоверием и потребовали пересдачи экзаменов по математике и юриспруденции. 13 августа состоялся экзамен, на котором присутствовала сама императрица Екатерина II. Из протокола заседания становится ясно, что Десницкий прошел экзамен успешно, и уже 17 августа 1767 года ему было поручено читать студентам «римское право по институциям, с применением к русскому праву отдельных законов».

Десницкий с воодушевлением приступил к работе. Первым делом он решил добиваться права читать лекции на русском языке у куратора Московского университета В.Е. Адодурова. Сначала Десницкий читал свой курс, как было принято, на латыни, а с 1768 года — на русском языке. 8 мая 1768 года ему было присвоено звание «экстраординарного профессора», которое уже давало право принимать участие в заседаниях университетской конференции, а спустя шесть лет он стал «ординарным профессором». Пост профессора юриспруденции Московского университета С.Е. Десницкий занимал с 1768 по 1787 год.

Для работы со студентами Семен Ефимович потребовал выписать 25 экземпляров «Corpus juris civilis» с различными комментариями: по его мнению, студенты должны были судить о римском праве не по пересказам преподавателей, а по первоисточникам. Он добился учреждения кафедры русского законоведения и возглавлял ее с 1773 года, а после разделения кафедры на теоретическую и практическую стал первым преподавателем курса русского права, которое фактически сам и создал. Десницкий настоял, чтобы русскому праву было отведено одно из главных мест в учебной программе. Кроме того, в 1783–1786 годах Десницкий преподавал в Московском университете английский язык; им же была составлена грамматика английского языка для русских студентов.

В 1783 году С.Е. Десницкий был избран действительным членом только что созданной Российской академии наук. От Академии он был привлечен к работе над «Русским словарем»: ему было поручено сделать выборку и дать толкование юридических терминов из основных сводов российских законов. Эти толкования использовались многими последующими поколениями русских историков и юристов и оказали большое влияние на развитие русского права.

Принимал Десницкий участие и в работе Вольного российского собрания, основанного при Московском университете в 1771 году. Он придавал также большое значение изданию материалов судебных архивов. Переводил труды английских ученых с подлинников, а не французских аналогов, как это делалось ранее. Так, он перевел «Истолкования английских законов» У. Блэкстона и снабдил их своими комментариями.

В 1787 году Семен Ефимович серьезно заболел и вышел в отставку, а через два года, 15 июня 1789 года, скончался в Москве.

С.Е. Десницкий разработал свою теорию происхождения государства. Вслед за А. Смитом и Дж. Милларом он считал, что власть и государство произошли не в результате «общественного договора», а из появления собственности и необходимости ее защиты — главной обязанности верховной власти. На основании этого Десницкий указывал, что права человека начинаются с прав обладания собственностью.

В основу концепции Десницкого о происхождении государства была положена идея смены «состояний рода человеческого», через которые проходят все народы. Он выделил четыре таких состояния: «из них первобытным почитается состояние народов, живущих ловлей зверей и питаю-

щихся плодами, самородящимися на земле; вторым — состояние народов, живущих скотоводством, или пастушеское; третьим — хлебопашественное; четвертым и последним — коммерческое». По мнению Десницкого, такие состояния присущи всем «первоначальным народам»; именно исходя из этих критериев, или «четверояким народов состояниям», необходимо изучать «их историю, правление, законы и обычаи и измерять их различные преуспевания в науках и художествах».

Критерием развития обществ, согласно Десницкому, следует считать отношение народов к собственности. По его мнению, обеспечение прав собственности — главный критерий соблюдения законности в обществе: «Лишать человека владения или препятствовать ему в употреблении своей вещи есть явное беззаконие, и владеющий оною имеет право употреблять ее по своему произволению и исключать прочих всех от владения и употребления своей вещи». Именно поэтому разные народы в разных состояниях постепенно «достигают» понятия собственности. Фактически именно Десницкий ввел этот термин в систему российского права: то понятие, которое позднее использовал М.М. Сперанский при составлении «Свода законов», мало чем отличается от рассуждений Десницкого. «Собственность, — писал Десницкий, — включает в себя: 1) право употреблять свою вещь по произволению; 2) право взыскивать свою вещь от всякого, завладевшего оною несправедно; 3) право отчуждать свою вещь, кому кто хочет, при жизни и по смерти».

В своем труде «Юридическое рассуждение о начале и происхождении супружества у первоначальных народов и о совершенстве, к какому оное приведенным быть кажется последовавшими народами просвещеннейшими» Десницкий тесно связал происхождение государства, семьи и отношение к собственности. На первой стадии развития человечества семьи не было, а связи мужчин и женщин носили беспорядочный характер. Семьи или «семейства», писал Десницкий, возникают только тогда, когда появляются первые «хозяйства». Меняется и роль женщины. Если в первоначальном состоянии ее положение было близко к рабскому, то в дальнейшем, особенно в земледельческом состоянии, статус женщин повышается, появляется парный брак.

Происхождение государства, по мнению Десницкого, связано с природой человека. В труде «Рассуждение о происхождении власти и старшинства в народах, от которого происходит правление» он выделяет три причины возникновения власти отдельных людей над остальными членами общества. Это «превосходство в физической силе, превосходство духа и превосходство в богатстве». Первое преобладало на заре человечества «в непосвященном веке», но встречается и сейчас, например в школьных компаниях. Власть физически более сильного основывается не только на страхе, считал ученый, но и на желании слабых найти выгоду и покровительство. По той же причине с древних времен имеют власть люди «превосходных душевных дарований». Однако ни того, ни другого не достаточно для постоянного властвования: «Единственно також посредством

«Лучше не иметь иных законов, нежели, имея, не исполнять...»

превосходного богатства и в нынешних народных правлениях правительствующие удерживают свое достоинство, величество и власть».

Одновременно с властью возникают правовые нормы. На первых порах законы были «простые и немногие». Так продолжалось до тех пор, пока отдельные члены общества не сосредоточили в своих руках значительные богатства. За этим последовало появление законов, охраняющих собственность: «Как скоро польза и надобность вещей движимых и недвижимых стала народом столь чувствительна, что многие через потеряние оных в разорение приходили стали; то отсюда начали в обществе происходить тяжбы, ссоры и смертоубийства, для отвращения которых законы сысканы, показующие, в чем святость прав и в чем принадлежащая всякому собственности и наследие состоит». Появление законов позволило закрепить власть одних членов общества над другими, что и привело к образованию государств. Таким образом, делает вывод Десницкий, происхождение собственности «соединено с непосредственным происхождением и самих правлений государственных».

С.Е. Десницкий был сторонником «законной монархии». В отличие от многих других просветителей, он не высказывал напрямую критических замечаний в адрес Екатерины II, а предлагал реформировать систему государственного управления на основе разработанной им теории. В основу классификации государственных учреждений Десницкий положил «природные права человека»: право на жизнь, здоровье, честь и собственность, — а также «приобретенные», связанные с особенностью государственного строя в конкретный исторический период. Десницкий одним из первых заговорил о необходимости признания и охраны данных «природных» прав человека, реализация которых не должна зависеть от воли монарха. На основании этого он как юрист считал необходимым пересмотреть действующую классификацию преступлений по степени их тяжести, поставив на первое место преступления против личности и собственности, а не против религии и государства, как это было принято.

«Природные права человека» Десницкий положил в основу классификации не только отдельных сословных групп, но и государственных учреждений, которые он разбил на категории: публичные персоны в собственном смысле; политические корпорации; корпорации, преследующие специальные цели. В группу публичных персон Десницкий отнес монарха и органы «совещательной» и «исполнительной» власти: Сенат, Синод и Коллегии — военную, адмиралтейскую и иностранных дел. Относя монарха к категории «публичных лиц», Десницкий тем самым причислял императорскую власть к учреждениям «внутри» (а не вне) системы государственного управления, что было безусловным шагом вперед по сравнению с господствовавшими в тот момент в России представлениями.

«Публичным лицам» Десницкий противопоставлял корпорации, или «корпуса», преследующие специальные цели и обладающие известной автономией, например Университет, Академия наук, Академия художеств,

Медицинская коллегия, «политические корпуса» и т.д. К последним Десницкий относил традиционные сословия мещан и купцов, получившие некоторые зачатки самоуправления при Петре I, и еще только складывавшиеся во второй трети XVIII века группы поставщиков, «кумпанейщиков» и откупщиков. По сути, Десницкий указывал на необходимость создания зачатков гражданского общества — институтов, автономных от государства.

В организации государственной власти Десницкий был сторонником разделения властей. Свою концепцию он изложил в «Представлении об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи». Это «Представление...» оказалось столь радикальным для своего времени, что было опубликовано только в 1905 году. Однако весьма вероятно, что данный документ был известен Екатерине II. Есть точка зрения, что источником XXII главы «Наказа», посвященной финансово-экономическим вопросам, были именно работы Семена Ефимовича Десницкого: «Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи», «Третье отделение о нижнем роде», «Управление духовное», «Литера А второй части плана» и «Об управлении финансовом». Например, в ст. 588 «Наказа Комиссии для сочинения проекта нового Уложения» Екатерины II мы читаем: «Считают пять предлогов, на которые обыкновенно делается накладка (то есть налог): а) лица; б) имения; в) произрастания домашние, употребляемые людьми; г) товары отвозные и привозные; д) действия». Нечто подобное есть и у Десницкого: «Считают пять предлогов, на которые можно учинить накладку: 1) лица; 2) имения; 3) произрастания домашние, потребляемые народом; 4) товары отвозные и привозные; 5) действия. От чего происходит другое распределение податей на принужденные и добровольные».

Основная идея «Представления...» сформулирована в предисловии к нему, где Десницкий пишет, что «законы делать, судить по законам и производить суд во исполнение — сии три должности составляют три власти, то есть законодательную, судительную и наказательную, от которых властей зависит все почти чиновложение и все главное правление в государствах». В примечаниях, ссылаясь на Ш. Монтескье, Десницкий указывает, что не он первый заговорил о трех ветвях власти, но постарался «приноровить» их к российской ситуации. Более того, как истинный ученик английских либеральных философов, он предостерегает власть от излишне поспешных преобразований. Он подчеркивает, что при проведении реформ «надобно осторожность иметь, чтоб одна власть не выходила из своего предела в другую и чтоб при том всякая из сих властей имела своих надзирателей, которых опасению она была всегда подвержена».

Десницкий выдвигает положение о первенстве законодательной власти и отмечает, что в своем трактате стремился учесть особенности политического строя России, главной из которых он считает полноту власти русского самодержца. Поэтому «...законодательная власть всех прочих

«Лучше не иметь иных законов, нежели, имея, не исполнять...»

высшею представляется», так как в Российской империи, «кроме монархов, никто в полном значении не может иметь в своем ведении этой власти». Однако монарху в деле законотворчества «необходима помощь».

Организовать государственное управление Десницкий предлагал следующим образом: превратить Сенат в однопалатное представительное учреждение, состоящее из «шести или восьми сот человек». Сенаторы должны избираться от землевладельцев, купечества и «художественных людей», из «духовных и училищных мест» с тем, чтобы всякая губерния, провинция и «корпуса» имели в законодательной власти своего представителя. Право избирать обуславливалось имущественным цензом. Еще более высокий ценз устанавливался для кандидатов в сенаторы. Они должны быть настолько обеспечены имуществом, чтобы могли выполнять обязанности сенатора «на своем иждивении». Данное положение должно было коснуться всех сенаторов: и дворян, и купцов, и представителей церкви, университетов и различного рода «корпусов».

Избирать сенаторов Десницкий предлагал на пять лет с правом переизбрания на второй срок. Ограниченность срока службы сенаторов он объяснял заботой об их материальном благополучии. Так как эта служба должна быть бесплатной, то при длительной работе сенаторы могут разориться. Переизбрание в третий раз Десницкий предлагает запретить, аргументируя это положение тем, что «...от такого запрещения та польза отечеству воспоследует, что многие, а не одни только люди будут иметь больше случаев оказать свои услуги отечеству и научиться управлению и законоискусству в сенаторской должности».

Внутри Сената все его члены, полагал Десницкий, должны пользоваться равными правами, независимо от сословной принадлежности: «Дворянству ж в заседании совокупно с разночинцами в сенате согласным не быть причины нет. У них во всех не приватный интерес, но целого отечества польза и благосостояние должно всегда за главное правило в наблюдении поставляемо быть». Фактически, не заявляя об этом прямо, Десницкий поставил вопрос об ограничении Сенатом власти монарха. Однако он размышлял о необходимости «судительной и наказательной власти» скорее как юрист, чем как государственный деятель. Из «Записки» видно, что гарантии «законности» Десницкий видел не в принципе разделения властей, а лишь в ограничении «законностью» верховной власти.

Впервые в русской политической мысли Десницкий высказался о необходимости не только отделения суда от администрации, но и об установлении принципа независимости и несменяемости судей. Он писал, что судебная власть должна быть относительно независимой от воли монарха, хотя право назначать судей должно остаться за ним. В то же время судья не может быть снят со своего поста и должен пребывать на нем пожизненно, «...притом ему полная власть дана... судить всякого без изъятия так, что и апелляции на него делать никому б не дозволялось, разве в случае, когда он явно против закона кого осудит». Но и в этом случае монарх не выносит решение о судьбе нарушившего свой долг судьи: дело разбирается

Сенатом, а монарху предоставляется лишь право в случае установления факта виновности подвергнуть судью штрафу и наказанию.

Несмотря на то что автор «Представления...» декларирует право монарха назначать судей, в то же время он стремится поставить это право в определенные рамки. Так, судьей может стать лишь тот, кто сдаст экзамен профессорам юридического факультета, а затем — корпорации адвокатов. После сдачи экзаменов кандидат в судьи должен еще не менее пяти лет практиковать в качестве адвоката. Дела рассматриваются судьей с участием 15 присяжных — автор называет их «свидетелями». Таким образом, выработанные Десницким положения, касающиеся «судительной власти», в случае их реализации могли способствовать превращению судебной власти в институт, который вполне мог бы противостоять изменчивой воле монарха.

Основной задачей «наказательной власти» Десницкий считает «спокойство и тишину наблюдать в порученных себе местах, то есть воров, разбойников и подобных сим в тюрьму брать», «осужденных в тюрьме содержать и приказанном судьями месте казнить», «собирать подушное и пошлыны из земельных владельцев». «Наказательная власть», согласно проекту Десницкого, возлагается на «воевод», назначаемых монархом. За воеводами устанавливается строгий судебный контроль. Жалобы на их действия должны рассматриваться в Сенате, после чего воевода может быть подвергнут «произвольному монарха штрафу или наказанию».

Для охраны правопорядка Десницкий разработал вопросы организации «полиции», которая должна «показывать все то, что принадлежит до благоустройства и благосостояния, удобного содержания и безопасности обывателей, и рассуждать о средствах, надобных к предупреждению внутренних волнений и к защищению от неприятельских нападений».

В «Представлении...» Десницкий также разработал положения о необходимости введения местного самоуправления: «Сия власть поручена должна быть таким людям, которые в городе живут и у которых больше дел отправляется в городе. Следовательно, такую власть иметь можно дозволить гражданам, а более еще купцам и художественным людям». Это представительство должно было в столичных городах состоять из 73, а в губернских и больших провинциальных — из 12 человек, избираемых на два года, но только из купцов и дворян.

В проектируемых им органах гражданской власти Десницкий отводил преобладающую роль купечеству. Так, из 73 членов городского самоуправления в столицах на долю купцов приходится 55 мест, а на долю дворян — только 18, в губернских и провинциальных из 12 членов купцов — семь, а дворян — пять. Не менее характерно, что членами городского самоуправления как в столицах, так и в провинции должны назначаться только купцы первой гильдии.

Полномочия проектируемых Десницким органов «общественного управления» ограничивались вопросами местного хозяйства (продовольственное дело, городское строительство, дорожное дело и местные

«Лучше не иметь иных законов, нежели, имея, не исполнять...»

финансы). На исполнительные органы этой гражданской власти возлагалась обязанность рассматривать дела об административных нарушениях, но под контролем суда. Обиженные могли жаловаться на постановления этих органов «судительной власти».

С.Е. Десницкий был противником крепостного права — прежде всего в силу его экономической неэффективности. Он не говорил о необходимости немедленной отмены крепостного права, но указывал, что следует как можно скорее ограничить личное рабство крестьян. Екатерине II Десницкий предлагал принять законы, запрещающие продажу крестьян без земли и разрушение их семей, так как это вредит не только крестьянам, но и самим помещикам. В приложении к своему труду «Представление...» Десницкий писал: «Противны человеколюбию, пагубны для государства, вредны самим помещикам ныне чинимые продажи крестьян в розницу или хотя и семьями, но без земель». Да и сам перевод в дворовые даже без последующей продажи является нежелательным для земледельческого хозяйства, самого помещика и крестьянской семьи. Поэтому данный процесс также следует регламентировать. Десницкий предлагает обязать помещиков самим, а не через посредников, отбирать дворовых, ограничить срок нахождения в этом состоянии, а также установить определенную компенсацию для семьи, которая лишается рабочих рук. Правда, исполнения всех своих проектов Десницкий ожидал от просвещенных помещиков в добровольном порядке. Главным шагом к освобождению крестьян должно было стать предоставление им права собственности на орудия их труда.

Десницкий ввел в научный обиход термин «финансы». В его работе дано первое в отечественной науке определение этого понятия: «Финансы имеют предлогом доставление государству надельных и довольных по его надобностям доходов». При этом Десницкий подчеркивал, что финансы — это не просто синоним русского слова «казна»: они включают в себя «издержки государства на доходы оного». В проекте реформирования финансового законодательства «Об узаконении финансов» Десницкий предложил постепенно перейти от подушной подати, налагавшейся только на крестьян и посадских людей, к косвенным налогам, которые, как он говорил, «более касаются для всех вообще государственных жителей». Это позволило бы облегчить положение беднейших граждан страны, более справедливо перераспределив налоговые тяготы и лишив необоснованных преимуществ высшие слои общества.

Известно, что Десницкий был сторонником «нравственной философии» и одним из первых стал рассматривать правовые и этические проблемы в их единстве. Он считал, что «нравоучительная философия», или этика, — это «первый способ к совершению наших чувствований, справедливости и несправедливости», поэтому ее соединение с «натуральной» юриспруденцией должно стать основой для всех юридических конструкций, или составить «первоначальное учение законоискусства».

46 Таким образом, взгляды Десницкого принципиально отличались от го-

сподствующей тогда доктрины, авторами которой были прежде всего немецкие юристы, и в частности С. Пуфендорф, утверждавшие приоритет формальных конструкций права.

Десницкий считал, что в России необходимо расширять сеть образовательных учреждений, в которых можно было бы получить юридическое образование. Он считал, что не знающий закона человек не сможет быть истинно свободным, так как не будет в состоянии, в силу безграмотности, сам защитить свои права. Особенно важны юридические знания для уездных заседателей и депутатов Уложенной комиссии, или «участников законоположения», как он их называл. Как может участник Комиссии принять новый закон, если он «не разумеет старого»? По мнению Десницкого, юристу необходимы четыре науки: нравоучительная философия, натуральная юриспруденция, римское право и отечественное право; последние следует изучать на основании сравнительно-исторических данных.

Почетный гражданин города Глазго Семен Ефимович Десницкий вписал свое имя в историю европейской юриспруденции: известный российский историк-либерал Александр Кизеветтер справедливо назвал его «самым блестящим украшением университета в XVIII веке».

НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
НОВИКОВ

«Худой человек
всегда бывает и худой
гражданин...»

Николай Иванович Новиков (1744–1818) — один из ярчайших русских просветителей, был наделен огромным литературным, журналистским и издательским талантом, а его судьба отразила все противоречия истории России последней трети XVIII — начала XIX века.

Н.И. Новиков родился 27 апреля 1744 года в селе Тихвинское-Авдотьино Коломенского (затем Бронницкого) уезда Московской губернии, в семье небогатого помещика. Как было принято в то время, начальное образование он получил дома: грамоте и арифметике его научил дьячок местной церкви. Однако его отец, Иван Васильевич, счел такое образование недостаточным и в 1755 году определил Николая во французский класс гимназии при Московском университете. Обучение длилось пять лет. Первый год — русская школа (русский язык, арифметика, латынь); второй и третий — французская школа (арифметика, география, история, геометрия, французский язык, «штиль российский и сочинение писем»); четвертый и пятый — школа «первых оснований наук» (география, геометрия, история, языки и философия). Французскую школу Новиков окончил в 1758 году с отличием, что было отмечено в газете университета «Московские ведомости». Но в дальнейшем учеба шла не так гладко: за «леность и нехождение в классы» Н.И. Новикова 3 июня 1760 года отчислили из гимназии. (По другим сведениям, из-за болезни отца он с середины 1760 года жил в деревне и не мог посещать занятия.) В дальнейшем Николай Иванович утверждал, что школьные философы просто «не лезли в его голову».

В начале 1762 года Н.И. Новиков был определен рядовым в лейб-гвардии Измайловский полк. В ночь переворота в пользу Екатерины II он стоял часовым у подъемного моста измайловских казарм, за что произведен в унтер-офицеры. Во время не слишком обременительной военной службы Новиков начал проявлять интерес к книжному делу: издал две переводные французские повести и сонет.

17 августа 1767 года, уже в звании каптенармуса, он, в числе других гвардейских офицеров, был определен «держателем дневной записки» в Уложенную комиссию. По должности ему полагалось вести журналы общего собрания депутатов и Малой комиссии «О среднем роде людей»,

а также докладывать Екатерине II о состоянии дел Комиссии (благодаря чему Новиков и познакомился с ней лично). Именно работа в Уложенной комиссии сыграла ключевую роль в формировании его мировоззрения.

После завершения работы Большой комиссии, 1 января 1768 года, Новиков перевелся из гвардии в армию в чине армейского поручика и 17 февраля был зачислен в Муромский пехотный полк Севской дивизии, однако к новому месту службы так и не прибыл. На год он задержался в Москве для оформления и сдачи документов по комиссии, а к маю 1769 года оформил свою отставку с военной службы и возвратился в Петербург. В 1770–1773 годах Новиков числился переводчиком Коллегии иностранных дел, однако сам никогда не упоминал об этой службе.

Не чувствуя в себе призвания к государственной службе вообще, в 1773 году Николай Иванович вышел в отставку в чине поручика. «Всякая служба, — писал он позднее, — не сходна с моей склонностью... военная — кажется угнетающей человечество... приказная — надлежит знать все пронырства... придворная — надлежит знать все притворства». В течение ряда последующих лет он занимался изданием сатирических журналов: «Трутень» (с 5 мая 1769 года по 27 апреля 1770-го), «Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772–1773) и «Кошелек» (с 8 июля по 2 сентября 1774 года). Главную задачу журналистики Новиков видел в том, чтобы давать «сатиру на лицо», т.е. указывать на конкретного носителя зла: «Меня никто не уверит в том, чтобы Молиеров Гарпагон писан был на общий порок. Всякая критика, писанная на лицо, по прошествии многих лет обращается в критику на общий порок».

На создание «Трутня» Н.И. Новикова отчасти вдохновил официальный журнал «Всякая всячина», где впервые в печати прозвучало моральное осуждение жестокого обращения с крепостными. Одной из главных тем нового издания стала проблема чиновничьего и судебного произвола. Был затронут также очень важный и щекотливый вопрос о превращении крепостного права в систему личного рабства; трутень — это крепостник-помещик. Эпиграфом для своего детища Николай Иванович избрал фразу из притчи Сумарокова: «Они работают, а вы их труд ядите».

Естественно, острая сатира «Трутня» не шла ни в какое сравнение с легкой иронией екатерининских журналов, поэтому вскоре он был закрыт. Однако Новиков не собирался расставаться с журналистикой. В июне 1770 года он, теперь через подставное лицо, фон Фока, начинает ежемесячное издание под нейтральным названием «Пустомеля». Хотя в нем должны были печататься произведения не только критического, но и положительного характера, все-таки два номера оказались слишком острыми. В одном из них были помещены две смелые театральные рецензии, в другом — «перевод с китайского А.Л. Леонтьева... Завещание Юнджена, китайского хана, к его сыну». В этой статье говорилось о долге и обязанностях государя и вельможи перед народом «в Китае»...

Свой следующий журнал — «Живописец» — Новиков посвятил Екатерине II («неизвестному» сочинителю комедии «О, время!»). Первоначально

в нем высмеивались Наркис Худовоспитанник, Кривосуд, Молокосос, Волокита и др. Появились даже несколько статей самой Екатерины. Но от номера к номеру издание приобретало все более выраженную антикрепостническую направленность («Отрывок путешествия в*** И*** Т***», «Письма к Фалалею»). Правда, кроме чисто сатирических статей «Живописец» помещал также материалы о событиях в России и за рубежом: вероятно, Новиков получал их благодаря своим связям с Коллегией иностранных дел. Так, на его страницах были опубликованы письма Доминика Диодати о «Наказе» Екатерины II (1771) и Самуила Миславского к Е.А. Щербинину о заведении типографии в Харькове; перепечатано «Слово» Д.И. Фонвизина на выздоровление великого князя Павла Петровича и др. С журналом сотрудничали Е.Р. Дашкова, П.С. Потемкин, В.Г. Рубан. Однако из-за начавшейся войны с восстанием Пугачева и это издание было закрыто.

Н.И. Новиков нашел новое применение своим талантам. Он приступает, да к тому же при финансовой поддержке императрицы, к изданию ежемесячной (в течение 1773–1775 годов) «Древней российской вивлиофики». Это первый периодический источниковедческий журнал, где публикуются княжеские грамоты и договоры XIV–XVI веков, дипломатическая переписка и т.п. Самый древний документ, попавший в «Вивлиофику», — Устав князя Владимира Святославича «О церковных судах, и о десятинах, и о церковных людях». Материалы издатель получал из Московского архива Коллегии иностранных дел, находил рукописные памятники в библиотеках: Академии наук, Патриаршей, Успенского собора в Москве, Киево-Печерской лавры. Разумеется, проделать такую работу в одиночку невозможно. С Новиковым сотрудничали М.М. Щербатов, Г.Ф. Миллер, Н.Н. Бантыш-Каменский, текстолог и библиограф Дамаскин (Д.Е. Семенов-Руднев), а также владельцы личных библиотек.

Кроме того, Н.И. Новиков издал «Опыт исторического словаря о российских писателях», составив его «из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий». В подготовке ему помогли историк Г.Ф. Миллер и поэт А.П. Сумароков. «Словарь» включал 317 биографий (с X по XVIII век), а также перечень главных произведений каждого автора с раскрытием их содержания. Новиков считал необходимым «дать имена всех наших писателей», даже тех, кто опубликовал всего лишь одно произведение. Таким образом он хотел доказать, что русская история и культура ни в чем не уступают европейской: «Россия о преимуществах в науках спорит с народами, целые веки учением прославлявшимися; науки и художества в ней распространяются, а писатели наши прославляются». «Опыт исторического словаря...» получил широкую известность. Примечательный факт: Д. Дидро вывез его во Францию в числе других лучших русских книг.

Тогда же Новиков задумывает очередной сатирический журнал «Кошелек». Но теперь он решает несколько изменить направление своей сатиры: заняться порицанием галломании и космополитизма и, напротив, — про-

славлением национальных достоинств, «древних российских добродетелей». Название имело двойной смысл: мешочек для денег и кожаный или тафтяной мешок, куда укладывалась коса парика. В новом журнале были опубликованы «Разговоры» русского с французом и француза с немцем, «Письмо» из Парижа в защиту французов (явно новиковского сочинения); в этих статьях сопоставляются «добродетели» разных народов. Императрица начинанием заинтересовалась и рекомендовала присылать ей листы для просмотра. Однако Николай Иванович вскоре понял, что издавать журнал самостоятельно он не сможет. Существует также точка зрения, что «Кошелек» был запрещен цензурой по протесту французского посланника.

За эти пять лет журналистской деятельности сформировались взгляды Н.И. Новикова на воспитание граждан, общество, государство и крепостничество. Одновременно с изданием словарей и журналов он пробует себя и как книгоиздатель. Созданное им первое в России объединение «Общество, старающееся о напечатании книг» с девизом «Согласием и трудами» существовало с 1773 по 1775 год. Среди членов «Общества» были Н.А. Радищев, Д.Е. Семенов-Руднев, Я.Б. Княжнин и др. В течение двух лет удалось выпустить двадцать четыре книги: сочинения по истории и этнографии России, прозаические и драматические произведения французских, немецких, английских авторов (среди них «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, трагедии П. Корнеля «Сид» и «Смерть Помпеи», «Размышления о греческой истории» Г. Мабли).

В 1775 году Н.И. Новиков вступил в масонскую ложу «Астрея». Одной из главных причин обращения к масонству стало, безусловно, разочарование в политике Екатерины II, а также открывающиеся финансовые возможности. В 1779-м Николай Иванович переехал в Москву и в том же году получил предложение от одного из кураторов Московского университета, М.М. Хераскова, взять в аренду университетскую типографию. Он тут же взялся за дело и даже вступил в «Вольное Российское собрание». Однако рамки «Собрания» оказались издателю тесны, и поэтому 6 ноября 1782 года он открыл собственное «Дружеское ученое общество», ставившее перед собой обширные просветительские задачи. В 1783 году, после выхода указа, разрешающего иметь частные типографии, Новиков распустил «Общество» и 1 сентября 1784 года создал на его базе Типографическую кампанию. Сам он, с присущим ему юмором, так объяснял свой поступок: «Что касается до собственного моего побуждения к сему, то, признаваясь искренне, скажу, что хотя любовь к литературе и великое в сем подвиге участие имел, но главнейшее побуждение было, конечно, гордость и корыстолюбие; ибо я видел, что типография была в крайне худом состоянии, и я, по знанию моему, надеялся в скором времени ее поправить и тем себя высказать». И действительно, он серьезно обновил оборудование, выписал из-за границы новые шрифты и бумагу.

Занимаясь просветительской и издательской деятельностью, Новиков объединил около ста авторов, переводчиков, редакторов, книготорговцев.

«Худой человек всегда бывает и худой гражданин...»

Он выпустил в свет труды как русских авторов (Я.Б. Княжнина, А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина), так и известных западных писателей и философов (П. Корнеля, Ж.Б. Мольера, Дж. Свифта, Г. Мабли, Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, Д. Дидро и др.). Помимо научной и художественной литературы, в большом количестве выходили учебные книги, азбуки, грамматики, книги для чтения, а также труды по педагогике (Х.В. Геллерта «О нравственном воспитании детей», Дж. Локка «О воспитании детей», Р. Досли «Учитель, или Всеобщая система воспитания»).

Параллельно шло издание журналов просветительско-философской направленности: «Утренний свет» (с сентября 1777 по август 1780 в Петербурге, а с мая 1779 по 1780 — в Москве), «Московское издание» (1781), «Покоящийся трудолюбец». Издавал Новиков и газету «Московские ведомости». А в качестве журналов-приложений к ней выходили: «Экономический магазин» (1780–1789), «Прибавление к Московским ведомостям» (1783–1784), первый журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1789), первый журнал для сельского населения «Городская и деревенская библиотека, или Забавы и удовольствие разума и сердца в праздное время, содержащая в себе как истории и повести нравоучительные и забавные, так и приключения веселые, печальные, смешные и удивительные» (1782–1786).

Одним из редакторов «Детского чтения» был Н.М. Карамзин. Впечатляет богатство и разнообразие тем: кроме нравоучительных повестей, рассказов и театральных пьес, печатались статьи по физике, астрономии, географии и древней истории, биографии и изречения мудрецов древности. При этом журнал имел собственное направление, основанное на любви и гуманизме.

«Утренний свет» явился первым в своем роде нравственно-философским журналом и, как другие новиковские издания, впоследствии был переиздан. Его девиз — «Познай самого себя». Деньги, полученные от этого предприятия, шли на содержание двух училищ — Александровского для мальчиков и Екатерининского для девочек. На страницах журнала появлялась информация об успеваемости учащихся, а также имена меценатов, которые помогали изданию. На средства масонов и на доходы от журналистской и книгоиздательской деятельности при участии Новикова в 1779 году была основана также учительская семинария при Московском университете — первое в России педагогическое учебное заведение.

Этот деятельный человек оказался новатором и еще в одной сфере: в 1779 году он инициировал «Модное ежемесячное издание, или Библиотеку для дамского туалета» — первый женский журнал в России. Издание было начато в Петербурге (с января по апрель), а затем (с мая по декабрь) продолжено в Москве, куда переехал Новиков. Свою цель он определил так: «доставить прекрасному полу в свободные часы приятное чтение, почему и будут в оном помещаться только такие сочинения или переводы, кои приятны или забавны», а также информация «о новых парижских модах». Всего вышло двенадцать книжек с сатирическими иллюстрациями

«Щеголиха на гулянье», «Счастливым щеголь», «Убор а-ля белль пуль», «Чепец победы» и т.д.

Крупных работ по общественно-политической проблематике Н.И. Новиков не написал, но много размышлял на эти темы, анализируя в первую очередь природу человека. Подобно французским просветителям, он считал, что в «естественном состоянии» человек был слаб и беззащитен, «скитался в страхе и грубости... спасаясь от жадности себе подобных, от свирепства диких зверей». Сторонник теории «договорной природы государства», он полагал, что «с течением времени опыт показал выгоды нечаянного соединения», так как «после опасного своевольтва следовала, по счастью, всеобщая тишина».

Наиболее приемлемым государственным устройством для России Новиков считал «истинную монархию» во главе с просвещенным монархом, который следует «премудрым законам» и заботится о «народном благе». Только таким образом можно и спокойно править, и обеспечить спокойное преемство своей власти. Напротив, «всякий государь, утверждающий власть свою на неправосудии, скрывает пропасть, которою он или его преемники поглощены будут. Самые великие и жесточайшие возмущения не от чего иного произошли, как от своенравия и жестокостей государей». Поэтому Новиков и осуждал деспотизм в любых его проявлениях: «Если ж вместо пастыря народного... сделается монарх расхитителем оного, то покорность сему тирану учинится изменою против рода человеческого». В одном из своих произведений, «Фортуна велика, да ума мало», он рисует ужасные последствия нерадивого правления склонного к роскоши и удовольствиям правителя Лавида. По собственной неграмотности, не думая об общественной пользе, он повелел «не мешаться родителям в дела детей, мужьям в дела жен, бедным искать у богатых покровительства и самим собой обид им не делать, впрочем, жить каждому по своей воле: почитать меня... бояться и слушать. Кто сей закон нарушать станет, того лишать жизни, а имение взять на государя». Все эти распоряжения приводят к волнениям, и только смерть монарха спасает народ от разорения.

Впоследствии, разочаровавшись в политике Екатерины II, Новиков стал отходить от идеала «просвещенного самодержавия», склоняясь к идее конституционной монархии, где власть монарха определяется не только его личными добродетелями, но и строгими законами. Много внимания в своих работах он стал уделять проблеме воспитания «добрых граждан», счастливых и полезных отечеству. По убеждению Новикова, «причина всех заблуждений человеческих есть невежество, а совершенства — знание», поэтому целью его жизни стало максимальное распространение просвещения в самом широком смысле этого слова. Он полагал, что «процветание государства и благополучие народа зависит не отменно от доброты нравов, а доброты нравов — не отменно от воспитания». Если в обществе повреждены нравы, то перестают быть добродетельными законодательство, религия, благочиние, науки и искусства. «Стремительная волна разрушений, — размышлял Новиков, — обессилит

«Худой человек всегда бывает и худой гражданин...»

законы, обезоружит религию, прекращает успех всякой полезной науки и делает художества рабами глупости и роскоши». Только воспитание — подлинный творец нравов. У воспитанного человека появляется привычка к порядку. На истине и знании основывается его гордость за свой народ. Через воспитание человек получает любовь к простоте «со всеми человекодружескими, общественными и гражданскими добродетелями».

Достижение совершенства в воспитании ведет, по мнению Новикова, к идеальному состоянию общества, и «законы успевают тогда сами собою: религия в величестве своем исполнена простоты, пребывает тем, чем вечно ей быть надлежало, душою всякой добродетели и твердым успокоительным предметом духа». Науки являются настоящим источником выгод для государства, ремесла способствуют украшению жизни. При совершенном воспитании люди всякого сословия с успехом выполняют свои обязанности, отличаются трудолюбием, хорошим ведением хозяйства. Воспитание юношества — необходимая и первая забота правителя страны, каждого отца семейства. И хотя этим занимаются сама императрица и родители, результаты далеки от совершенства. А беспечность и небрежность в таком деле недопустимы; именно из-за недостатка просвещенности и воспитания «нередко бывают худые люди и негодные граждане». Огромные затраты не идут на пользу воспитуемым, ибо деньги часто употребляют на то, чтобы «сообщить им некоторые знания и способности, которыми они могли бы блистать в свете», а воспитанием добродетели пренебрегают, делая «сердце их чувствительным только к малостям или совсем к глупостям или пороку», а не к добру, благородству и величеству. От этого и появляются Безрассуды, Недоумы, Змеяны, Забылчести и др. Основное их занятие — есть, пить и спать. Так, сын одного дворянина из Каширы, писал просветитель, «упражняется в весьма полезных делах для пользы земных обитателей, ибо он взыскивает, может ли боец-гусь победить на поединке лебеда». Мало проку и от обучения дворянских детей за границей: развращенные невежеством и ленью дома, молодые люди, обучаясь там, предаются больше веселью и праздному времяпрепровождению, нежели овладению науками. В своих сатирических ведомостях Н.И. Новиков предлагал желающим обратить внимание на «молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользой, возвратился уже совершенно свиньей».

Писатель попытался ответить на вопрос, какими же должны быть воспитание и образование молодого поколения. В своем трактате «О воспитании и наставлении детей» он отмечал, что оно должно включать в себя как физическое воспитание («дабы дети были здоровы и имели крепкое телосложение»), так и воспитание нравственное. Ибо человек не может стать «добрым гражданином», если «сердце его волнуется беспорядочными пожеланиями, доводящими его либо до пороков, либо до дурачества, если благополучие ближнего возбуждает в нем зависть, или корыстолюбие заставляет его домогаться чужого имени, или сладострастие обес-

силивает его тело, или честолюбие и ненависть лишают его душевного покоя, без которого не можно иметь никакого удовольствия». Главная цель воспитания — просвещение или образование разума, которое необходимо человеку для исполнения обязанностей перед обществом и государством. Именно Новиков впервые употребил слово «педагогика», под которым он понимал «особую и важную науку... о воспитании тела, разума и сердца».

Николай Иванович одним из первых обратил особое внимание на ребенка как маленького человека, у которого есть не только обязанность повиноваться старшим: «Оно (дитя. — Н.К.) имеет такие же права, как и мы, с тем только различием, что ему более, нежели нам, нужна чужая помощь». Одним из ошибочных методов воспитания того времени Новиков считал требование беспрекословного подчинения. По его убеждению, основой должно стать формирование личности ребенка как будущего гражданина, полезного для общества и государства: «Воспитайте детей наших не ласкательными невольниками, но свободно и благородно мыслящими людьми, умеющими ценить себя, любящими паче всего истину и не боящимися ее сказать, когда их должность или благо других людей того требует. Верьте, что ни один чистосердечный, честный и откровенный человек не раскаялся еще в том, что он чистосердечен, честен и откровенен, что он враг всякого притворства и ласкательства... ибо худой человек всегда бывает и худой гражданин».

В своей воспитательной программе Новиков выступал против официальной доктрины образования детей. Во-первых, обучать и воспитывать всех детей необходимо одинаково, «без различия состояний». Во-вторых, семейное воспитание играет не меньшую роль, чем общественное. Особенно при этом важен положительный пример родителей: «ничего не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера, а между другими примерами ничей другой в них не впечатляется глубже и тверже примера родителей». (Велики, конечно, роль и значение грамотного учителя; более того, истинный учитель должен быть человеком высоких моральных качеств, добронравным и высокопрофессиональным, «иметь ясное и основательное знание тех языков и наук, которые обучать должен».) В-третьих, нужен комплексный подход к обучению детей, который предполагает получение не только теоретических, но и практических знаний.

«Худой человек всегда бывает и худой гражданин...»

Н.И. Новиков был ярким противником крепостничества, особо отмечая его бесчеловечность и экономическую нецелесообразность. Он писал, что подавляющее большинство помещиков не заботится о своих крестьянах; в деревнях и в поместьях нет тех идиллических патриархальных отношений, какие представляет официальная пропаганда. Крестьяне — это «питатели России», в то время как помещики (Змеяны, Безрассуды, Злорады и т.п.) — «изверги человечества».

Крепостная система жестко критикуется, например, в «Отрывке путешествия в*** И*** Т***»: «В три дня путешествия ничего не нашел я похва-

лы достойного. Бедность и рабство повсюду встречались со мной в образе крестьян». Они как «младенцы», которые «спокойно взирают на оковы свои» и требуют только «пропитания... чтобы не отнимали у них жизнь, чтобы не мучили». Помещики же, по мнению автора, «больны мнением, что крестьяне не суть человеки». А ведь помимо того, что это неверно по сути, им даже экономически выгодно заботиться о них: чем богаче крестьяне, тем богаче будет и их хозяин.

Масштабная книгоиздательская деятельность показала не только просветительский и организаторский, но и предпринимательский талант Н.И. Новикова. Работа большой типографии и создание сети книжных магазинов по всей стране требовали обширных хозяйственно-экономических знаний и навыков. Вероятно, именно этим обстоятельством объясняется интерес издателя к вопросам торговли. В начале 1780-х годов в руководимой им типографии вышел ряд сочинений на эту тему: «Историческое описание российской коммерции», «История об английской торговле, мануфактурах, селениях и мореплавании оныя в древние, средние, новейшие времена до 1776 года, с достоверным показанием справедливых причин нынешней войны в Северной Америке» и т.д. В своей газете «Московские ведомости» Новиков также стал постоянно публиковать информацию по торгово-экономическим вопросам: вексельный курс, сводки цен на продукты и товары в Москве, а также статьи о торговле в отдельных европейских странах.

В течение нескольких лет (1780–1789) дважды в неделю выходило приложение к «Московским ведомостям» — журнал «Экономический магазин», а в 1783–1784 годах еще и «Прибавление к Московским ведомостям», где много внимания уделялось хозяйственным вопросам, «опытам» в сельском хозяйстве, наставлениям, рецептам, «весьма полезным деревенским жителям». Редактором «Экономического магазина» и его главным автором был агроном А.Т. Болотов; полный комплект журнала составил сорок томов, и первые восемь вскоре были переизданы.

В первом номере «Прибавлений к Московским ведомостям» разъяснялось, что «купечество российское от сих „Прибавлений“ получить может пользу; ибо оно от сего чтения приобретает достаточное сведение о всех продуктах и товарах, в каких местах получить их можно в большом количестве и с большими выгодами перед другими городами». Кроме того, Новиков сам пишет большую программную статью «О торговле вообще», в которой размышляет «о полезном влиянии торговли в благосостояние государства». Судя по тексту, он был знаком с произведениями известных экономистов XVIII века — А. Смита, Рейнталя и др. — и в целом разделял их взгляды. Статья состоит из трех разделов. «В первом будем говорить о происхождении торговли в политических обществах. Во втором определим понятие о торговле, различные рейды ее и учрежденный в оных распорядок. В третьем представим исторически выгодные действия торговли в знатнейших торговых государствах. В четвертом, наконец, покажем то, каким образом торговля, имея влияние во все средства пропитания и в со-

вокупленное с ними упражнение граждан, приводит чрез то благополучие гражданское в государстве в цветущее состояние».

Размышляя о происхождении торговли, автор статьи говорит, что первоначально, в древнем обществе, произошло разделение труда между земледельцами и ремесленниками. Обмен продукции между ними происходил в результате мены, например пропитания на одежду. Постепенно все основные потребности оказались удовлетворенными, но «скоро преступлены были сии пределы» и появилась потребность в роскоши. Все это привело к возникновению денег, что облегчило распространение товаров. Н.И. Новиков одним из первых в России дал определение денег, определив их как «всеобщий масштаб цены товаров и замена всему, что продать можно». Кроме того, посредниками между производителями и потребителями товаров стали купцы. Их функция состояла в том, чтобы приобрести товар, поменяв его на деньги: «Вместо того чтоб суконщику должно было разносить свои сукна ко сту человек, имеющих нужду в оных, дабы получить от них деньги или другие потребности, которые ему надобны или которые должен он равным образом паки променять на другие, вместо всего сего ходит он к купцу, который принимает от него его товары на кредит или за наличные деньги гуртом и продает опять свои припасы порознь употребляющим оные».

Во втором разделе Новиков рассуждает о природе торговли в целом. Под торговлей он понимает «упражнение, имеющее предметом выгодную мену всех потребностей». Суть любой торговли, по его мнению, в том, чтобы рано или поздно получить прибыль. Третий раздел статьи посвящен выгоде «торгующих народов». На примере истории европейских и азиатских стран автор доказывал, что процветание многих государств было обусловлено активной внешнеторговой деятельностью. Наконец, в четвертой части подробно проанализировано, каким образом торговля «действует на благополучие государства». По мнению Новикова, «всеобщее действие или следствие торговли в отношении государства» заключается: «1) в производстве кредита, 2) обращения денег, 3) относительного богатства; 4) в умножении процветания прилежания и 5) государственной экономии; 6) в роскоши; 7) во нравственном просвещении и утончении; 8) в упражнении граждан; 9) в умножении народа и 10) в свободе». Таким образом, для того чтобы торговля действительно приносила прибыль государству, необходимо создать соответствующие условия: систему банков и кредитов, урегулированную внутреннюю и внешнюю торговлю. Новиков указывал, что следует развивать торговлю теми товарами, которыми богата страна: «в государстве, где граждане упражняются в земледелии, нужно привести в процветание сию ветвь торговли», как это делается в европейских странах. При этом он подчеркивал, что любая роскошь вредна государству, так как ведет к разорению.

Кроме вопросов собственно хозяйственных, Новикова занимает также вопрос о наилучшей системе управления экономикой, необходимой для процветания торговли. По его словам, налоги в государстве долж-

«Худой человек всегда бывает и худой гражданин...»

ны быть соразмерны доходам, в противном случае население разорится. В целом он на различных примерах прославлял «торговые республики»; это позволяет говорить, что к 1780-м годам идеалом правления для него стала именно республика, где опорой служит разумно устроенная экономическая система.

Будучи видным масоном и одним из организаторов ложи «Гармония», идеологом масонства Н.И. Новиков не являлся. Возможности масонских лож, главным образом финансовые, он использовал для просветительской и издательской деятельности. Тем не менее масонские учения, прежде всего мартинизм, оказали влияние на его религиозно-нравственное мировоззрение. Новиков считал, что истинное масонство — в просвещении, к которому можно прийти «стежами христианского нравоучения»; однако современные люди «забыли истинное христианство», заменив Христа золотом и плотскими удовольствиями. Вернуться же к Богу можно только через любовь и обретение Христа внутри самого себя: «Древние прекрасно сие изъясняли; они даже в человеке находили извлечение из трех миров и учили, что человек состоит из тела, души и духа. Отсюда произошло то, что они поставляли надпись над дверьми храма: Познай себя». Поэтому внутреннее счастье человека заключается только в совершенстве его духа, и то, что нельзя понять с помощью разума, доступно пониманию с помощью чувств.

В последнем своем журнале «Покоящийся трудолюбец» (1784–1785) Новиков спрашивал читателя: «Почему кто старается уменьшить силу разума с тем намерением, чтобы возвысить откровение, тот уменьшает свет обоих и как бы лишает человека очей, для того чтобы удобным посредством телескопа приблизить вдаль простирающиеся лучи невидимой планеты?» По его мнению, официальную церковь больше заботит внешнее проявление благочестия, а не совершенство духа. Поэтому своей жизненной задачей писатель считал просвещение и исправление заблуждений народа в духе «истинного христианства».

В 1789 году Н.И. Новиков не смог продлить аренду университетской типографии, а в 1791-м вынужден был полностью прекратить работу Типографической компании. В апреле 1792 года против Новикова и других масонов началось следствие, которое закончилось обвинением в «гнусном расколе», корыстных обманах, сношениях с герцогом Брауншвейгским и другими иностранцами. 1 августа 1792 года императрица подписала указ о заключении Новикова в Шлиссельбургскую крепость на пятнадцать лет. Он содержался в нижнем этаже тюрьмы, в камере № 9, вместе со слугой и врачом. А в 1796 году, уже при Павле I, был освобожден. Как писал потом Н.М. Карамзин, «император Павел в самый первый день своего восшествия на престол освободил Новикова, сидевшего около четырех лет в душной темнице; призывал его к себе в кабинет, обещал ему свою милость, как невинному страдальцу, и приказал возвратить конфискованное имение... несожженные книги».

Формально с Новикова были сняты все обвинения, однако разрешения продолжать издательское дело он не получил. Разоренный и больной, он

провел последние годы жизни в Тихвинском-Авдотьине, лишь изредка посещая Москву. В 1805 году Николай Иванович пытался вернуться к книгоиздательской деятельности и вновь взять в аренду Московскую университетскую типографию, но это ему не удалось. После этого к общественной жизни он уже не возвращался и основал в своем селе суконную фабрику, заняв деньги в Опекуновском совете с обещанием «пособия и подкрепления со стороны правительства». Правда, дела шли не очень успешно, и Новиков постоянно нуждался. Несмотря на все свалившиеся на него невзгоды, он вел активную переписку (с А.Ф. Лабзиным, Д.П. Руничем и др.), с его мнением продолжали считаться. Карамзин, например, отправил в подарок Новикову свои сочинения, с просьбой высказать о них свое мнение.

Общественно-политическая и издательская деятельность Н.И. Новикова оказала большое влияние на общественное мнение России конца XVIII — начала XIX века. Так, его журнал «Живописец», пользуясь большой популярностью у читателей, выдержал пять переизданий. Даже князь А.А. Прозоровский, который курировал следственное дело Новикова как московский генерал-губернатор, написал о нем в письме: «лукав до бесконечности, бессовестен и смел, и дерзок». В.О. Ключевский так объяснял популярность этого общественного деятеля: он думал, что «удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо под платье», как порой предлагала верховная власть. А В.Г. Белинский, оценивая вклад Новикова в развитие культуры и образования в России, писал: «Этот человек, столь мало у нас известный и оцененный (по причине почти совершенного отсутствия публичности), имел сильное влияние на движение русской литературы и, следовательно, русской образованности... Благородная натура этого человека постоянно одушевлялась высокою гражданскою страстью — развигивать свет образования в своем Отечестве».

«Не под царем, а рядом
с ним...»

Граф Александр Романович Воронцов (1741–1805) — один из крупных государственных деятелей Российской империи рубежа XVIII–XIX веков, оставивших значительный след в истории модернизации страны. Дипломат, меценат, собиратель редких рукописей, художественных и исторических ценностей, он слыл известным «вольтерьянцем». Его усилиями собрана богатейшая Вольтеровская библиотека. Воронцов был почитателем, корреспондентом и русским переводчиком Вольтера: в «Автобиографии», написанной в 1805 году, в самом конце жизни, он поделился мыслями о причинах своего увлечения и о важности распространения идей французского философа в русском образованном обществе.

В архиве Воронцовых хранятся тексты политических памфлетов, среди которых имеется уникальный документ — «Всемиловнейшая Жалованная Грамота, российскому народу жалуемая» (1801). По существу, это Конституция, вторая в истории русской конституционной мысли, после Конституции Н.И. Панина — Д.И. Фонвизина XVIII века. Грамота была создана в качестве Правительственного Манифеста к воцарению нового императора Александра Павловича Романова, но так и не увидела свет.

Воронцовы — древний русский дворянский род, ведущий свое начало от легендарного Симона Африкановича, выехавшего из варяжской земли в Киев в 1027 году. Непосредственный основатель рода — Федор Васильевич Воронцов (около 1400). С половины XV и до конца XVII века Воронцовы служили воеводами, стряпчими стольниками, окольными и боярами. Михаил Илларионович Воронцов, генерал-поручик, в 1740-м был пожалован в графское достоинство императором Священной Римской империи (австрийским эрцгерцогом), тем самым, который вел войны за Испанское наследство. М.И. Воронцову дозволено было и в России пользоваться этим титулом. В 1741 году он — участник переворота и ареста правительства Анны Леопольдовны. При дворе Елизаветы Петровны Михаил Илларионович — камер-юнкер; служил он ей и пером, которым хорошо владел. Императрица пожаловала его камергером и наградила богатыми поместьями за поддержку при восхождении на российский престол. Женился Михаил Илларионович на ее двоюродной сестре — А.К. Скавронской, был близок ко двору, получил пост вице-канцлера, а после отставки А.П. Бестужева-Рюмина занимал в 1758–1762 годах пост канцлера Российской империи.

И братья Михаила Воронцова — старший Роман и младший Иван — были обласканы Елизаветой Петровной. А в 1760 году Франц I, основатель австрийской династии Габсбургов и последний император Священной Римской империи, Роману и Ивану Воронцовым также даровал графское достоинство, которое, однако, было признано в России только в 1797-м, т.е. уже при императоре Павле.

Роман Воронцов — генерал-поручик и сенатор при Елизавете Петровне, генерал-аншеф при Петре III — при Екатерине II попал в опалу. Правда, позже получил от нее место наместника Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний. Его дети, все четверо, заслужили громкую славу. Старшая дочь, Елизавета Романовна, была фавориткой Петра III и позже, при императрице Екатерине, поплатилась за это. Младшая, Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, напротив, поддержала великую княгиню Екатерину Алексеевну и позже получила пост президента Российской академии наук. Семен Романович Воронцов — известный дипломат, был русским послом в Венеции и Лондоне. Англоман и ярый сторонник Конституции, он отличался политическими симпатиями к английской парламентарной монархии. Его сын, Михаил Семенович, участвовал в Кавказской и Русско-турецкой войнах, в Отечественной войне 1812 года, заграничных походах русской армии. За заслуги получил титул светлейшего князя и в 1823 году — пост новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. В 1844–1854 годах занимал пост наместника на Кавказе с неограниченными полномочиями.

Александр Романович Воронцов, старший сын деспотичного Романа Илларионовича и племянник елизаветинского канцлера Михаила Илларионовича, родился 15 сентября 1741 года. Он получил блестящее европейское образование. Учился во Франции, сначала в Страсбургском военном училище; побывал в Париже, где завязал знакомство с энциклопедистами. Жил в Италии, Испании, Португалии. Во время поездки в Испанию составил для дяди-канцлера Михаила Илларионовича «Описание испанского Управления». Потом снова вернулся во Францию, в Версаль, где продолжил образование в Рейтарской школе. Изящную словесность в этом учебном заведении преподавал бывший секретарь самого Вольтера — месье Арну. Воронцов не только прослушал его курс, но и стал брать у него частные уроки. С самим Вольтером он познакомился в Швейцарии в 1757 году, при дворе пфальцграфа в Шветцингене. Эта дружба затянулась на долгие годы; он переписывался с мэтром до конца его жизни, посещал его в поместье Ферней.

В графском архиве сохраняется целый том — «Воронцовский сборник писем Вольтера». И это не было модным увлечением и декларацией, как, например, у императрицы Екатерины II, чье увлечение французскими просветителями А.И. Герцен назвал «чернильным кокетством». Графы Воронцовы действительно возглавили «русское вольтерьянство» — своеобразное просветительское общественное течение.

В 1760 году А.Р. Воронцов был пожалован титулом графа. С 1761 года служил поверенным в делах России в Вене; в 1762–1764 годах был полно-

мочным министром в Лондоне; в 1764–1768 — в Гааге. С 1773 года он — председатель Коммерц-коллегии, с 1779-го — сенатор. Летом 1788 года, в канун революции во Франции, когда явственно ощущалось общественное неблагополучие в стране (массовое бегство крестьян с насиженных мест, повсеместный опустошительный неурожай в провинциях, голод в Париже), Воронцовы присоединили свой голос к тем, кто осуждал абсолютную монархию во главе с Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой. В письме к брату Александру Семен Воронцов рисовал картину распада французских верхов: «Король — глуп, королева — интриганка, без талантов и без твердости, столь же всеми ненавидимая, как ее муж презираем... Французское дворянство деморализовано, разночинцы, третье сословие поднимают головы, но народ всюду невежественен».

Сопоставляя положение в России и во Франции, братья Воронцовы видели многие общие черты загнивания абсолютизма. Но они были далеки от того, чтобы приветствовать революцию, — сословная принадлежность к аристократии оказалась фактором определяющим. В «Записке к графу А.А. Безбородко» по поводу событий 1791 года во Франции Александр Романович писал: «Сей перелом во Французской конституции и все то, что им опрокинуто, заслуживает особого внимания государей, дворянства». Отмена революционным правительством Франции сословных привилегий дворянства, ограничение власти короля цензовой конституцией 1791 года — все эти нововведения Учредительного собрания вызвали и у автора записки, и у Безбородко резкий протест. Эта позиция близка позициям французского либерального дворянства.

В то время сам граф Александр Воронцов предлагал вполне определенную программу действий, созвучную Пильницкой декларации 27 августа 1791 года. (Этот австро-прусский дипломатический документ, подписанный в замке Пильниц в Саксонии, положил начало антифранцузской коалиции, направленной против революционной Франции.) Он призывал канцлера А.А. Безбородко содействовать вступлению России в антифранцузскую коалицию монархических правительств Австрии и Пруссии: «Нужно было бы государям между собой согласиться и по мере могущества, а особливо локального положения каждого государства силе неистовством преграду сделать». В этом документе Александр Воронцов обращается ко всем монархам Европы с призывом издать специальную декларацию, направленную против Французской революции; консолидироваться с венским и иными дворами по охране королевской семьи Людовика XVI; покровительствовать королевской партии и разорвать дипломатические отношения с революционной Францией. Его позиция свидетельствует о полной неприемлемости для него революционных крайностей, опасных и для других европейских стран: «Если сей образ правления и мнимого равенства хоть тень окоренелости во Франции примет, оно будет иметь пагубные последствия и для прочих государств, с тою только разностию, что в одном ранее, в другом позже».

Осуждение Воронцовыми революции еще более обострилось после казни 21 января 1793 года Людовика XVI. «Лучше быть соседями антропо-

фагов, чем ужасной французской республики... Лучше жить в Марокко, чем в этой стране мнимого равенства и свободы», — восклицал в сердцах Семен Романович.

Весь набор политических документов конца XVIII — начала XIX века, принадлежащих перу братьев Воронцовых, свидетельствует об их стремлении создать целостную программу борьбы с революциями. Однако их политическая позиция резко отличалась от официального курса абсолютизма и представляла собой довольно стройную программу модернизации России в рамках закона и современного им понимания политического прогресса.

Сохранилось много материалов, подтверждающих тесные контакты и даже искреннюю дружбу между Александром Романовичем Воронцовым и Александром Николаевичем Радищевым. Более того, некоторые автографы писателя несут на себе след правки и замечаний его патрона и покровителя — с 1776 года Радищев служил чиновником Коммерц-коллегии, председателем которой был Воронцов. Их многолетняя переписка не прервалась даже в годы гонения Радищева. Уже после осуждения Радищева как «политического преступника» Воронцов выразил сочувствие ему и даже симпатию в письме к брату Семену Романовичу в Лондон: «Я не знаю ничего более тяжелого, как потеря друга, в особенности когда не распространяешь широко свои связи... Я только что потерял, правда, в гражданском смысле, человека, пользовавшегося уважением двора и обладавшего наилучшими способностями для государственной службы. Его предполагалось назначить вместо г-на Даля, и на этом поприще его помощь мне была велика. Это господин Радищев; Вы несколько раз видели его у меня, но я не уверен, что вы хорошо знали друг друга. Кроме того, он исключительно замкнут последние семь или восемь лет. Я не думаю, чтобы его можно заменить; это очень печально. Не был ли он вовлечен в какую-то организацию? Но что меня, однако, более всего удивило, когда случившееся с ним событие стало широко известно, это то, что я в течение долгого времени считал его умеренным, трезвым и абсолютно ни в чем не заинтересованным, хорошим сыном и превосходным гражданином... Он только что выпустил книгу под названием „Путешествие из Петербурга в Москву“. Это произведение якобы имело тон Мирабо и всех бешеных Франции».

«Не под парем, а рядом с ним...»

За приведенным выше письмом брату следует длинная цепь переписки А.Р. Воронцова с губернаторами тех городов, через которые пролегал путь политического ссыльного. Граф просит их оказать содействие Александру Николаевичу, дать ему возможность пожить в каждом городе по дороге в Сибирь, получше устроить. Обращает на себя внимание и его переписка с братом Радищева — Моисеем Николаевичем, который жил в Архангельске. К нему были отправлены сыновья ссыльного — Николай и Павел; Воронцов следит за их судьбой, поддерживая и словом, и делом.

Александр Романович интересовался бумагами Радищева и тщательно сохранял их до его возвращения. Из переписки графа со ссыльным писателем следует, что он хорошо знал содержание крамольного «Путешествия».

Несомненный интерес представляет сохранившийся в рукописном собрании А.Р. Воронцова «Разбор книги „Путешествие из Петербурга в Москву“, сделанный императрицей Екатериной». Похоже, внимательный анализ екатерининского «Разбора» важен Воронцову не только для защиты Радищева, но и для прямого оппонирования императрице.

На одной из первых страниц «Разбора» написано: «На каждом листе видно, сочинитель... наполнен и заражен французскими заблуждениями, ищет всячески и защищает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальств». Воронцов на полях рукописи Екатерины помечает, что «Путешествие» писалось до развития бурных революционных событий во Франции. Разбирая комментарии Радищева к положению крепостных крестьян, императрица пишет: «Страницы 126–133 служат к описанию зверского обхождения помещика со крестьянами — суетное умствование...» Но и здесь Воронцов, сам крупный землевладелец, не может с ней согласиться. Граф подчеркивает такие слова Радищева: «Он был царь. Скажи, в чьей голове может быть больше несообразности, если не в царской?» Екатерина резко отреагировала в «Разборе» на эту реплику: «Сочинитель не любит царей и где может к ним убавить любви и почтения, тут жадно прицепляется с редкой смелостью». Воронцов же, судя по пометкам, согласен с радищевской оценкой абсолютизма; впоследствии он не раз выдвигал собственные предложения об ограничении абсолютной власти монарха в России представительным Сенатом.

Связь Воронцова с Радищевым не ослабела и после возвращения писателя из ссылки. С 1794 года граф находился в отставке, но в 1801-м, уже при императоре Александре, снова вернулся на государственную службу. Тогда же, по рекомендации своего покровителя, Радищев получил место в Комиссии составления Законов. Здесь им были подготовлены законодательные акты, включающие положения об узаконении крестьянской частной собственности на движимое и недвижимое имущество, а также положения о неприкосновенности личности, основанные на известном английском законодательном акте XVII века Habeas corpus act. Положения этого источника часто использовались и самим Александром Романовичем.

Как было сказано выше, в 1801 году граф подготовил документ, известный как «Всемилолюбивейшая Жалованная Грамота, российскому народу жалуемая». Текст родился из нескольких предварительных «политических записок о Сенате», который братья Воронцовы предполагали превратить в представительный орган власти, модернизировав таким образом самодержавную империю в конституционную монархию, близкую по форме к английской политической системе. Однако в момент воцарения Александра I, 12 марта 1801 года, уже подготовленная в качестве царского Манифеста «Жалованная Грамота» так и не была обнародована. Вместо этого высокопоставленный чиновник Д.П. Трошинский за одну ночь составил традиционный Манифест, в котором молодой император обещал править

«по уму и сердцу своей великой бабки Екатерины Великой». Огорченный граф Воронцов продолжил работу над «Грамотой», не теряя надежды со временем дать ей ход. Окончательную правку он закончил к августу — ведь в сентябре намечалась коронация в Успенском соборе Московского Кремля. Опираясь на своих сторонников, Александр Романович предложил «Грамоту» в качестве коронационного Манифеста. Но и эта его попытка не увенчалась успехом.

Третья попытка относится к периоду деятельности так называемого «Негласного Комитета», состоящего из близких соратников молодого царя. А.Р. Воронцову удалось расположить в пользу документа двух влиятельных членов Комитета — Н.Н. Новосильцева и В.П. Кочубея. Те, зная о нелюбви императора к вельможе Воронцову, взялись составить краткий доклад — «Articles» — по основным положениям «Грамоты» и представить его как собственное политическое новшество. Но они недооценили подозрительного, осторожного и неуверенного в себе Александра Павловича. «Articles» не прошли даже сам «Негласный Комитет», как, впрочем, и многие другие реформаторские проекты, предложенные на рассмотрение этого странного «теневого» правительственного института.

«Жалованная Грамота» составлена в либерально-дворянском духе, и ее центральным принципом была защита свободы личности — краеугольное положение европейского буржуазного законодательства. В ее более подробной, второй редакции (август — сентябрь 1801), в полном соответствии с английским Habeas corpus act, говорилось: «Если кто будет взят под стражу и посажен в тюрьму, или задержан где насильственным образом, и если в течение трех дней не будет ему объявлено о причине, для которой он взят под стражу, посажен в тюрьму или задержан, и если в сей трехдневный срок он не будет представлен перед законный суд, для учинения ему допроса и для произведения над ним суда, то по единственному его требованию свободы от ближайшего начальства да освободится непременно в тот час, ибо преступление его неизвестно, а потому в законе еще не существует». Освобожденный таким образом «может произвести иск на взявшего его под стражу, или посадившего его в тюрьму, или давшего на то повеление, в оскорблении личной безопасности и убытках, и сей повинен ответствовать в суде в произведенном на него иске».

«Не под парем, а рядом с ним...»

Основной текст «Грамоты», безусловно, составлен А.Р. Воронцовым (это подтверждается данными протоколов «Негласного Комитета», которые вел П.А. Строганов), но в ней есть положения, которые доказывают причастность к авторству и А.Н. Радищева. Впервые это заметили литературоведы и филологи, нашедшие параллели между параграфами «Грамоты» о положении крестьян и такими радищевскими сочинениями, как «Путешествие из Петербурга в Москву» и более позднее «Описание моего владения».

Итак, император отверг «Жалованную Грамоту» в марте 1801 года, а затем, в сентябре, не решился обнародовать ее в качестве Манифеста во время коронации в Москве; документ снова прибыл в Петербург —

с царской пометой «в Архив». Но в это время в канцелярии Александра I уже трудился Михаил Михайлович Сперанский. О несомненной его причастности к «Грамоте» свидетельствуют ремарки на полях «Второй редакции». Как это произошло? Вероятно, Трошинский, получив «Грамоту» в Непременный совет, передал ее статс-секретарю Сперанскому, в 1802 году служившему под его началом. Тот, заинтересовавшись документом и будучи уверенным, что теперь он будет храниться в Государственном архиве до лучших времен, взял на себя смелость добавить в содержание 25-го параграфа свои мысли — карандашная вставка сделана его рукой. Этот параграф утверждает «право частной собственности во всех ее видах и отношениях», упраздняя деление имущества на родовое и благоприобретенное. Сперанский карандашом приписывает: «Желая утвердить право частной собственности во всех ее видах и отношениях, мы отступаем от права, казне присвоенного, на имение последних».

Столь же заинтересованно статс-секретарь отнесся и к перечислению форм крестьянской собственности в том же, 25-м параграфе «Грамоты»: «Сия собственность движимая (орудия пахотные и все то, что принадлежит до его ремесла, как то: соха, плуг, борона, лошади, волы), будучи единая только по нашим законам предоставленная крестьянину (ибо самотичная или недвижимая не суть принадлежащая его сану), — должна тем паче ему так утверждена быть, чтобы никаким образом он не мог оной лишиться, ни казною, за долг податей, ни господином своим».

В свое время к «Жалованной Грамоте» было приложено добавление — «Соображения и замечания к пунктам, предназначенные для составления указа или манифеста о привилегиях, вольностях и т.д.». В этом документе, написанном, по-видимому, главным автором — графом Александром Воронцовым, определены принципы, по которым в дальнейшем следует развивать положение «о поселянах»: предоставление государственным и помещичьим крестьянам права приобретать ненаселенные земли, оформляя купчие на свое собственное имя; расширение круга «движимой собственности» за счет «сельскохозяйственных строений». В дворянские собрания не допускаются дворяне, замеченные в тиранстве по отношению к своим крестьянам и т.д. Введение в «Грамоту» параграфов о крестьянской собственности и некотором правовом статусе помещичьих крестьян придает этому документу особенно новаторский оттенок.

Никаких следов рассмотрения правительством этого, по существу нового, расширенного и дополненного варианта не найдено. Император Александр I не удостоил вниманием документ, вобравший интеллектуальные усилия графа Александра Воронцова, редактуру А.Н. Радищева и М.М. Сперанского, участие крупных сановников: Н.Н. Новосильцева, В.П. Кочубея и, возможно, Адама Чарторыйского.

Анализ текста «Жалованной Грамоты» убеждает, что этот документ отражает ту идеологическую позицию, на которой попытались объединиться ведущие политические силы самого начала XIX столетия: дворянско-олигархическое, просветительское и дворянско-радикальное течения

общественной мысли. Противодействующей силой оставался самодержавно-крепостнический стан; его возглавлял сам император Александр Павлович, испытывавший при этом мучительные колебания переходной эпохи рубежа веков.

В ноябре 1801 года, перед получением почетной должности канцлера (Воронцов занял ее в декабре), Александр Романович выступил с новой инициативой — политическим памфлетом «Записка о России в начале нынешнего века». В подлиннике после заглавия значится: «Из села Андреевского Владимирской губернии» (там автор «Записки» находился во время опалы при Павле и в первые месяцы воцарения наследника). Назначение документа определяет помета Семена Романовича: «Эта памятная записка моего брата императору Александру I».

Стремясь расширить социальную основу монархии в России, граф определяет роль дворянства в условиях нарастающей революционной опасности в Европе. Дворянство наступившего века, в его понимании, — это политическая и культурная сила, с которой нельзя обращаться петровскими методами. Новая роль сословия не позволяет ему быть «под царем», а заставляет встать «рядом с ним». Александр Романович связывал эту новую роль дворянства как советника и сотрудника государя — с новой ролью Сената, должного стать органом представительства дворянства.

А.Р. Воронцов мотивировал необходимость обновления системы управления территориальными приобретениями России к началу XIX столетия: «Столь пространственное государство, каково здешнее, не может в целости оставаться, как под царствованием Государя с большею властью и способами». Из этого утверждения выводится необходимость поднять авторитет Сената, который «пока обращен в большую ничтожность». Непосредственным органом управления должен стать «Непременный Совет», превращенный из недееспособного института в законосовещательный орган при императоре. Ему подлежат дела военные, морские, дипломатические, внутреннего хозяйства: «В Совете все департаментские дела докладываются в присутствии государя... Так Советы во всех монархических порядочных правлениях устроены бывають». Чтобы обосновать свою точку зрения, автор «Записки» прибегает к авторитету европейской политической мысли и европейского общественного мнения: «И Европа увидит, что значит Россия, когда она под порядочным и осторожным правлением находится».

«Не под царем, а рядом с ним...»

Мысль о создании законосовещательного органа находим и в другом документе — «Записке о царствовании Петра III, Екатерины II и вступлении Александра». Развивая положение о Государственном совете, Воронцов мотивирует нецелесообразность государственной реформы морально-нравственными нормами, пространно говорит о совести императора, о его ответственности перед историей, ссылаясь на уроки прошлого. Путь заговора, дворцового переворота, к которому прибегла Екатерина II, «заключал в себе многие неудобства, кои имели влияние на все ее царствование». Вопрос о Сенате в этой «Записке» также не получил еще пространного

развития, хотя вся аргументация подводит к тому, чтобы наделить его чрезвычайными, отличными от прежних, полномочиями.

Мысли о реформе Сената, постоянно присутствующие в бумагах Воронцова, в основном связаны с работой «Негласного Комитета», протоколы которого аккуратнейшим образом вел П.А. Строганов. Формально этот орган просуществовал два с лишним года (24 июня 1801 — 9 ноября 1803); всего было проведено около сорока заседаний. С 12 мая 1802 года по 26 октября 1803-го «Комитет» не собирался ни разу. Наиболее активным стал период с 24 июня 1801-го по 12 мая 1802-го, т.е. неполный год. В «Комитете» обсуждались самые разнообразные темы: отношение к иностранным державам, вопрос о Грузии, о тайной полиции, Московском университете, казаках, военном образовании. И в этом калейдоскопе поверхностно затронутых тем настойчиво поднимался вопрос о Сенате: он обсуждался на восьми заседаниях из сорока.

Из протоколов следует, что расширение прав Сената явилось предметом подробного обсуждения 5 августа 1801 года. Как известно, 5 июля Александр I издал Указ, подтверждающий прежние права Сената, и тем не менее спустя два месяца этот вопрос был снова поднят. Доклады делали сенаторы Г.Р. Державин и А.Р. Воронцов. Судя по всему, император остался непреклонным.

В архиве А.Р. Воронцова найден документ, на основе которого сам Александр Романович выступал в «Негласном Комитете». Это «Мнение о правилах и преимуществах Сената»; документ датирован 19 июня 1800 года; в нем приведены также соображения сенаторов П.В. Завадовского и Г.Р. Державина. Завадовский лаконичен и традиционен: следует оставить все по-старому, восстановить прежнее положение Сената; деятельность Александра I он сравнивает с деятельностью Петра Великого. Более развернуто и обоснованно мнение Державина. Он по-своему раскрывает понятие «общественного блага», которое определяется «просвещенным монархом»: «Петр Великий понимал „общественное благо“ таким образом, чтобы образовать для России „политическое бытие, установя суды нижние и верхние, а над ними — Сенат (Указ 1718 года, декабря 22 дня)“». Но, по мнению Державина, к началу XIX века положение изменилось: «Империя не в том уже нравственном и политическом положении, каким оно было во времена прошедшие... В самодержавном правлении все власти предполагаются в едином лице Государя. А всякий таковой единоначальный властитель или самодержец, не Бог, или, как сам он сказал (Александр I. — Н.М.), не ангел». Так, иносказательно, но Державин поддержал Воронцова в его намерении ограничить Сенатом всевластие монарха.

Обсуждение вопроса о Сенате в «Негласном Комитете» и воронцовский документ обнаруживают много общего. Но главный доклад на эту тему в «Комитете» делал Новосильцев. Строганов пишет в своем протоколе: «Доклад Новосильцева строился на принципах, которыми мы руководствовались в нашем Комитете, а потом почерпая в отдельных мнениях сенаторов то, что было в них лучшего». Лишь некоторые положения из

документов Воронцова попали в круг обсуждаемых; другие серьезно видоизменились. В ходе обсуждения было решено слить все целесообразные идеи в некий «Ордонанс».

Главное предложение графа Воронцова (предоставить Сенату законодательную инициативу) встретило со стороны Новосильцева резкий протест. Он брал контраргументы в истории организации петровского Сената, пугал возникновением нарастающих противоречий между верховной властью и ее службами. Он соглашался лишь на предоставление Сенату судебной функции. В протоколах «Негласного Комитета» имеется также весьма любопытное примечание о чтении самим Александром I «Мемории Воронцова о пределах, которые необходимо положить произвольной власти». Судя по записям Строганова, Александр Романович с его идеей «внести всю власть в Сенат» был слишком радикален, «не подумав, что ему следует предоставить одну судебную власть и ничего больше».

Новое заседание «Негласного Комитета» проходило в Москве в доме П.А. Строганова 11 сентября все того же, 1801 года. Император, как обычно, демонстрировал присущую ему игру в либеральную фразу. Строганов и Новосильцев отстаивали преимущества единоличной власти. Им, безусловным поклонникам самодержавия, понадобилось прибегнуть к авторитету старого наставника императора, Цезаря Лагарпа, чтобы отрезвить молодого царя. Строганов записывает: «Прежде всего, мы убеждали императора, что наша точка зрения совпадает с точкой зрения Лагарпа по этому вопросу и что его принципы находят подтверждение в наших». На это царь отвечал: «Да, Лагарп не хочет, чтобы я отказался от власти», — выдавая свою истинную позицию сторонника единоличного правления.

Вопрос о Сенате возник еще раз на заседании 9 декабря 1801 года. Из доклада графа Воронцова и сенатора Зубова выделили проблему законодательной компетенции Сената, вновь подвергнув ее разбору и отклонению. Здравой признали лишь идею Воронцова составить свод всех действующих узаконений о Сенате.

Следующий важнейший документ графа о политическом значении Сената датируется 3 мая 1802 года — это уже то время, когда Александр Романович занял пост канцлера Российской империи. Документ именуется «О внутреннем положении России». Его автор задается целью разработать проект, «важный во всяком самодержавном правлении: каким образом, не разделяя власти по существу ее, так разделить ее по разным частям государственного управления, чтобы каждая из них имела свое постоянное движение и все бы соединялись в одном средоточии, в особе государя». набросок этой мысли в дальнейшем будет развит М.М. Сперанским в его «Плане государственного преобразования».

В записке «О внутреннем положении России» предложено наделить Сенат функциями верховного правления, где бы соединялись «все части внутреннего государственного управления». Он выступает с инициативой ввести следующие положения в готовящийся указ: «Повысить авторитет Сената предоставлением сенатору права высказывать свое особое мнение,

«Не под царем, а рядом с ним...»

подобно тому как несогласие генерал-прокурора может остановить решение дела... По разномыслию сему дела из департаментов могли переходить в общее собрание Сената, а из оногo, если в нем несогласно решены будут, к государю». В этой же «Записке» Воронцов наделяет Сенат чрезвычайными полномочиями, близкими к решающему законодательному голосу: «Я смею надеяться на предоставление сенатору права вето, — что случаи сии будут редки и государь не будет обременен ими. Но, если по неодолимым причинам необходимо будет большинство голосов, по крайней мере нужно ограничить его степени двумя третями или другим образом». Из этого положения следует, что Воронцов предлагает дать Сенату право «суспенсивного вето», ограниченного двумя третями голосов в проведении нового законопроекта.

Объясняя необходимость наделить Сенат законодательными функциями, Александр Романович ссылается на хорошо ему известный пример Англии. Мажоритарное вето, предусматривающее большинство голосов при обсуждении законопроекта в английском парламенте, используется им как доказательство целесообразности введения элементов западноевропейского права: «Большинство голосов имеется в камерах английского парламента, в прежнем французском парламенте... Сенат должен быть блюстителем закона во всем государстве». Эти идеи графа А.Р. Воронцова нашли затем свое продолжение в законодательных проектах М.М. Сперанского, а также адмирала и сенатора Н.С. Мордвинова.

Но не только конституционные проекты занимали в первые годы XIX века российского канцлера. Менялась внутривнутриполитическая обстановка в Европе: резкое усиление наполеоновской Франции заставляло Россию искать сближения с Англией и Австрией. Старые англофилы Воронцовы немало способствовали разрыву русского императора с Наполеоном в 1804 году. В конце 1804-го престарелый граф Александр Романович Воронцов покинул пост канцлера Российской империи. Скончался он 4 декабря 1805 года.

«Кто исполнил долг свой...
того несправедливость
людская возмутить
не может...»

Перелистывая страницы отечественной истории XVIII–XIX веков, найдешь не много женских образов, равных Екатерине Романовне Дашковой. Наделенная от природы умом и талантами, она сумела развить их, посвятить служению отечеству, оставив неизгладимый след в памяти поколений. Ее биография больше похожа на «мужскую»: участие в перевороте, решение финансовых проблем семьи, государственная служба и общественная деятельность, опала, горячие споры о роли ее личности уже среди современников. Все это с непревзойденным упорством и мужеством вынесли хрупкие женские плечи. Тем интереснее ее жизнь и судьба. Рождение, первые годы жизни, замужество, знакомство с Екатериной II, тогда еще «просто» супругой наследника, — все эти, казалось бы, обычные факты биографии, описанные самой Дашковой в своих мемуарах, со временем обросли легендами.

Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, родилась 17 марта 1743 года в Санкт-Петербурге: в мемуарах она «убавила» себе год, однако точная дата не единожды встречается в служебных документах статс-дамы. Родителями Дашковой были Марфа Ивановна Сурнина и Роман Илларионович Воронцов. Гордившаяся древностью своего рода, Екатерина Романовна редко писала о матери, хотя именно благодаря ее близости с императрицей Елизаветой Петровной, которую она сужала деньгами, их семья оказалась близка ко двору.

Марфа Ивановна умерла 19 апреля 1745 года, оставив пятерых детей: Марию (1738 г.р.), Елизавету (1739), Александра (1741), Екатерину (1743) и Семёна (1744). Старших сестер определили фрейлинами: Марию — к Елизавете Петровне, а Елизавету — к Екатерине Алексеевне, жене наследника. Александра взял на воспитание брат Романа Илларионовича Михаил Илларионович Воронцов, будущий канцлер. Екатерина до четырех лет находилась на попечении бабушки по материнской линии Феодосии Артемьевны Сурниной. Поговаривали, что причина этого решения крылась в подозрении, что отцом Екатерины был не Воронцов, а Никита Иванович Панин, чем и объясняется желание отца отправить Дашкову к бабушке по материнской линии, в то время как остальные дети были пристроены к членам семьи

по отцовской линии. Правда это или сплетни — не так важно, но это явно наложило свой отпечаток на характер Екатерины Романовны и способствовало ее желанию доказать, что она не хуже других.

В четыре года Дашкова была передана «в менее ласковые руки» — в дом своего дяди, Михаила Илларионовича Воронцова, который взял ее в «компаньонки» к своей единственной дочери Анне. Канцлер М.И. Воронцов, как мог, заботился о девочках и постарался дать им лучшее по тем временам образование. Однако Екатерина лишилась заботы любящей бабушки, попав к тому же на положение «младшей родственницы», которую не сочли нужным определить ко двору, как ее сестер. Она начала читать книги, благо М.И. Воронцов располагал большой библиотекой. Любовь к чтению закрепила «прилипчивая болезнь» — корь, для лечения которой Екатерина была отправлена в деревню. Там она запоем читала новейшую французскую литературу из библиотеки дяди-канцлера: П. Бейля, Ш. Монтескье, Вольтера, Н. Буало. Кроме того, Екатерина пользовалась расположением известного мецената И.И. Шувалова, который делился с ней книгами из собственной библиотеки и даже выписывал литературу из-за границы.

1758 год стал судьбоносным для Воронцовой — она познакомилась с великой княгиней Екатериной Алексеевной (будущей Екатериной II) и своим будущим мужем. Отчужденность от семьи предопределила ее раннее даже по тем временам замужество. Сватовство тоже обросло легендами: как писал французский писатель К. Рюльер, долго живший при российском дворе, Екатерина Романовна сама сосватала себе мужа. Он рассказывал, что на одном из обычных приемов красавец-князь Михаил Иванович Дашков сделал ей комплимент, после чего она передала канцлеру, что князь Дашков якобы просит ее руки, и тот не смог ответить отказом. Эта история вряд ли произошла в действительности, но она великолепно характеризует Воронцову-Дашкову. Реальность куда более проста: Екатерина Романовна, не будучи определена ко двору, осталась летом в Петербурге, тогда как вся ее большая семья уехала в Царское Село. На одном из городских приемов она и познакомилась с будущим мужем, также коротавшим лето в городе. Партия была выгодна для обоих: через мужа Екатерина Романовна познакомилась с Н.И. Паниным — родственником Михаила Дашкова и воспитателем великого князя Павла Петровича.

В один из осенних вечеров того же 1758 года Дашкова была представлена великой княгине Екатерине Алексеевне. Екатерина Романовна была совершенно очарована будущей императрицей, увидев в ней черты, необходимые «идеальному государю Отечества». Между двумя Екатеринами началась дружба, в которой будущая императрица постоянно уверяла свою юную подругу.

Клан Воронцовых активно поддерживал претендента на престол, великого князя Петра Петровича (будущего Петра III), в том числе и благодаря дружбе, перешедшей в роман будущего императора с Елизаветой Воронцовой. Конечно, амбициозной великой княгине Екатерине Алексеевне нужен был «свой человек во вражеском стане». Юная, в чем-то

наивная, но далеко не глупая Дашкова подходила для этого как нельзя лучше. В дальнейшем, намекая Дашковой на свои планы занять престол (но не посвящая в технические детали заговора), Екатерина Алексеевна добилась через нее поддержки многих аристократов, критически относящихся к политике последних лет императрицы Елизаветы.

Исследователи творчества Екатерины Дашковой порой упрекают ее в нескромности и преувеличении своей роли в перевороте в пользу Екатерины Алексеевны. Кроме того, они иронизируют по поводу переживаний Дашковой в решающий день переворота: она долго не могла «присоединиться к своей подруге», так как портной вовремя не принес заказанное мужское платье. Понятно, что техническую часть переворота выполняла не юная княгиня, которой на тот момент едва исполнилось 18 лет, — для этого у Екатерины Алексеевны были братья Орловы, поддерживаемые гвардией. Однако будущей императрице была необходима «компаньонка» для соблюдения действующих тогда правил приличия. Да и нейтрализация влиятельных родственников легла на плечи юной заговорщицы.

Переворот успешно завершён, и «компаньонка» превращается в навязчивую советницу. Да еще ее дружба с Н.И. Паниным, который считал, что Екатерина Алексеевна должна была объявить себя всего лишь регентшей при сыне Павле Петровиче. Во время коронации в Москве Дашковой отводят место по чину ее мужа — на галерке с женами полковников. В мемуарах Екатерина Романовна во всем винит Орловых, чье присутствие рядом с Екатериной II «разочаровало ее». Тем не менее Дашкова, как человек умный, безропотно удаляется от нового двора к своей семье.

Что она переживала в душе — можно лишь догадываться: «полуграмотный» Григорий Орлов, развалившись на кушетке в покоях императрицы, распечатывает письма и диктует ответы, а «лучшей подруге» даже не нашлось места рядом с Екатериной на коронации! Обвинения в заносчивости здесь вряд ли уместны, так как у Дашковой действительно были основания для обиды.

В 1762 году, незадолго до переворота и вступления на престол, тогда еще великая княгиня Екатерина Алексеевна писала Дашковой: «Будьте уверены, что с моей стороны Вы всегда встретите самую горячую взаимность. Для меня будет истинным праздником видеть Вас»; накануне переворота «искренне» заверяла, что останется «на всю жизнь верным другом». Но уже через месяц после переворота тон императрицы Екатерины сменился. Так, в письме Станиславу Понятовскому, явно в расчете, что ее слова будут услышаны в Европе, она писала: «Княгиня Дашкова, младшая сестра Елизаветы Воронцовой, хотя и очень желала приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести вследствие своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия... Правда, она очень умна, но с большим тщеславием соединяет взбалмошный характер». Подобная характеристика со стороны императрицы очень скоро стала преобладающей в оценке характера и действий Дашковой.

«Кто исполнил долг свой... того несправедливость людская возмутить не может...»

Екатерина Дашкова удалилась из столицы, желая обрести покой в семье. Однако семейное счастье было недолгим: в 1764 году умер ее муж, и вдове пришлось углубиться в решение хозяйственных вопросов, расплачиваясь с многочисленными долгами супруга. 1765–1767 годы она провела в Москве и своих имениях, поправляя финансовые дела; в 1768-м предприняла трехмесячную поездку по России; в 1769–1771 и 1776–1782 годах совершила два заграничных путешествия.

Первая заграничная поездка была необходима, чтобы поправить здоровье, прежде всего душевное, после смерти мужа и еще более — после разрыва с Екатериной II. Путешествие было по тем временам недолгим: Л.Я. Лозинская, одна из биографов Дашковой, предполагает, что Екатерина Романовна вернулась в Россию специально в преддверии совершеннолетия великого князя Павла Петровича. Декабрист М.А. Фонвизин в своих воспоминаниях писал: «Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 или 1775 году, когда цесаревич достиг совершеннолетия и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Н.И. Панин, брат его, фельдмаршал П.И. Панин, княгиня Е.Р. Дашкова... вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына». Впрочем, кроме этого единичного свидетельства, никаких иных указаний на участие Дашковой в заговоре против Екатерины II мы не находим.

Во второй заграничной поездке, уже не теша себя иллюзиями приобрести вес в России, Дашкова поставила перед собой вполне частную задачу — найти хорошее учебное заведение для своего сына Павла. Она считала, что уже устроила судьбу своей дочери Анастасии, выдав ее замуж за бригадира А.Е. Щербинина. Екатерина Романовна путешествовала по Германии, Англии, Голландии, Франции, Италии и Швейцарии, завела близкое знакомство с Д. Дидро, встречалась с Вольтером, Г. Рейналем и другими видными западноевропейскими мыслителями и государственными деятелями.

Большой интерес представляет длительное знакомство Дашковой с Эдинбургским университетом, который она выбрала для обучения сына. Она прожила в Шотландии с 1776 по 1779 год и была знакома с ректором и историком У. Робертсоном, профессором риторики Х. Блэром, профессором натуральной и моральной философии А. Фергюсоном, экономистом А. Смитом. Дашкова активно интересовалась устройством работы университета, методами обучения студентов; сегодня при Эдинбургском университете действует «Центр Е.Р. Дашковой».

Екатерину Романовну, хотя она путешествовала инкогнито, европейские дворы встречали с большим интересом. О ней были наслышаны благодаря многочисленным рассказам о ее участии в санкт-петербургском перевороте и дальнейшем таинственном исчезновении с политической сцены. При всех встречах и беседах, будь то с философами или монаршими особами, Дашкова на словах горячо поддерживала императрицу Екатерину и ее реформы. Трудно сказать, преследовала ли она какую-либо

личную цель, но результат превзошел ее ожидания. По возвращении в Петербург Екатерина II «возобновила дружбу»: она пожаловала Дашковой 2500 душ крепостных и дом в столице ценой в 30 тысяч рублей. А 23 января 1783 года Дашкова была назначена директором Императорской академии наук и художеств, которую и возглавляла вплоть до ноября 1796 года.

Назначение Дашковой директором Академии — эффектный и продуманный шаг Екатерины II. Ум, способности, в том числе хозяйственные, Екатерины Романовны были использованы в государственной деятельности. В задачи Академии входило покровительство ученым, занимающимся собственно наукой, содержание открытых при ней университета и гимназии, издание научных трудов. От директора такого учреждения требовалось быть и педагогом, и ученым, и хозяйственником. Оценки работы Дашковой во главе Академии неоднозначны, но само наличие многочисленных отзывов говорит о том, что ее труды не прошли даром, были заметны и ощутимы как современниками, так и потомками.

После погашения долгов и стабилизации финансового состояния Академии Дашкова добилась строительства для нее нового специального здания: начатое в 1783-м, уже к 1787 году оно было в основном закончено. А еще ранее, в 1784-м, Екатерина Романовна основала фонд в 30 000 рублей, проценты от которого пошли на оплату труда русским профессорам, читавшим открытые лекции.

При Дашковой заметно оживилась научно-просветительская, учебная и издательская деятельность Академии. Особое внимание Екатерины Романовны привлекла педагогическая работа: еще заботясь об обучении сына в Шотландии, она глубоко задумывалась о преимуществах той или иной системы образования и воспитания. Дашкова пересмотрела учебные планы петербургских студентов и гимназистов, взяв за основу систему Эдинбургского университета, которую она хорошо изучила лично.

Директором был организован строгий порядок сдачи экзаменов: не реже, чем два раза в год — в апреле-мае и сентябре-октябре. Экзаменаторами обычно выступали академики П.Б. Иноходцев, И.И. Лепехин, Г. Крафт, П. Паллас, Н.И. Фусс, Ф.И. Шуберт. Целью экзамена было «аттестовать академических гимназистов и в конце месяца выдвинуть на звание студента тех из них, кто более достоин». Дашкова часто сама присутствовала на экзаменах. Так, после одного экзамена по математике она сделала вывод, что учебный план, по которому учат гимназистов, требует значительной корректировки.

Дашкова была убеждена, что одних сугубо теоретических знаний мало, их необходимо закрепить на практике. «Испытания нас более убеждают, нежели предписания и книги нас уверить удобны», — писала Дашкова в своем трактате «О смысле слова „воспитание“». В частности, студентам нужна была языковая практика, и Дашкова выписывала для этих целей из-за рубежа большое количество книг на иностранных языках. Можно сказать, что Дашкова-педагог совершенствовалась на протяжении всей своей жизни.

«Кто исполнил долг свой... того несправедливость людская возмутить не может...»

При новом директоре Академии активизировалось и издательское дело. По рекомендации Дашковой Екатерина II дала указание всем типографиям государства присылать по одному экземпляру каждого печатного издания в библиотеку Академии наук. Начиная с 1784 года, каждое лето проводили публичные лекции на русском языке; стали регулярно выходить «Труды» Академии. По инициативе Дашковой печатается полное собрание сочинений М.В. Ломоносова, переиздается «Описание земли Камчатки» С.П. Крашенинникова, «Аналитические труды» и «Интегративное исчисление» Л. Эйлера, продолжается публикация «Дневных записок» И.И. Лепехина. Важным достижением стал выпуск «Словаря Академии Российской», осуществленный в 1789–1794 годах: к работе над ним были привлечены Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, М.М. Щербатов, И.И. Лепехин, Н.Я. Озерцкий и др.

Весьма разнообразна и обширна была литературная деятельность Е.Р. Дашковой: она писала стихи на русском и французском языках, пьесы, публицистические статьи, многочисленные «академические речи» (в которых заметно влияние подобных выступлений Ломоносова), переводила сочинения западноевропейских просветителей. Наиболее ярко литературное дарование Дашковой проявилось в «Записках», которые и сделали ее известной как писательницу.

При Академии наук в 1783–1784 годах Дашкова учредила журнал «Собеседник любителей российского слова», который издавался «иждивением Академии наук». Журнал открывался одой Г.Р. Державина «Фелица», публикация которой определила его основное направление — прославление монархии и самой Екатерины II. В «Собеседнике» были опубликованы статьи, содержащие острые сатирические выпады против двора, отдельных вельмож и неустройства общественного быта. Но в журнале печатались произведения и таких писателей, как Д. Фонвизин, Я. Княжнин, Ф. Козельский, С. Бобров, осознававших недостатки екатерининского правления. Самым заметным общественно-политическим выступлением журнала явилась публикация «Вопросов» Д.И. Фонвизина и «Ответов» на них Екатерины II. Свидетельством того, что Дашкова отчасти разделяла точку зрения Фонвизина, стало ее «Послание к слову „Так“», посвященное теме всеобщего угодничества при дворе. В журнале Фонвизин напечатал «Опыт российского сословника» — словаря синонимических выражений.

Сотрудничество Екатерины II с «Собеседником» не означало полного единодушия императрицы и издателя. В некоторых сочинениях Екатерины II в 1780-х годах проявилось ее недовольство Дашковой. Так, в «Собеседнике» была опубликована ее статья «Общества незнающих ежедневная записка» — пародия на заседания Российской академии, а в пьесе «За мухой с обухом» императрица вывела Дашкову под именем Постреловой, особы, безудержно хвастающейся своими заграничными вояжами.

Как директор Академии наук, Дашкова руководила изданием журнала «Новое ежемесячное сочинение» (1786–1796), куда привлекла бывших сотрудников «Собеседника». Основное место в журнале занимали обширные

переводы из сочинений А. фон Галлера, Х.-Ф. Геллерта, Вольтера, Гельвеция и др. Наиболее значительными научными публикациями были статьи В.В. Крестинина по русской истории, А. Фомина по вопросам языкознания, материалы из архива Г.-Ф. Миллера по изучению экономики и географии Севера. Публикации самой Дашковой непосредственно связаны с событиями Французской революции.

В декабре 1792 года Е.Р. Дашкова участвовала в издании альманаха «Российский театр, или Полное собрание всех российских театральных сочинений», который выходил в 1786–1794 годах под редакцией В.А. Ушакова. В альманахе были помещены тираноборческие трагедии «Сорена и Замир» Н.П. Николева, «Вадим Новгородский» Я.Б. Княжнина, сатирические комедии И.А. Крылова, А.И. Клушина и др.

По своему положению и занимаемым должностям Екатерина Романовна имела широкий круг литературных знакомств. Через А.Р. Воронцова она была знакома с А.Н. Радищевым и читала его «Житие Ф.В. Ушакова». Дашкова поддерживала Я.Б. Княжнина, Г.Р. Державина, хотя с последним у нее были довольно сложные отношения. Дашкова была автором нескольких драматических произведений: комедии «Тоисиоков, или Человек бесхарактерный» (1786) для Эрмитажного театра (прототипом главного героя послужил И.И. Шувалов), пьесы «Свадьба Фабиана, или Алчность к богатству наказанная» (1799), написанной в продолжение драмы А. Коцебу «Бедность и благородство души», либретто оперы «Земир и Азор» (1783). В 1788 году вышел ее роман «Новая Евфимия».

К 1794 году у Дашковой вновь обострились отношения с Екатериной II, и ей был предоставлен длительный отпуск. А пришедший к власти император Павел I вообще освободил Дашкову от всех должностей и велел ей жить вдали от Петербурга. Последние 15 лет жизни она провела в подмосковном имении Троицком и в новгородской деревне Кротово (Коротово). При Александре I опала закончилась, но Екатерина Романовна не стала возвращаться к публичной деятельности. В эти годы она занималась хозяйством, вела обширную переписку, интересовалась театром, литературой и политикой. Дашкова была принята в Вольное экономическое общество, Филадельфийское философское общество, стала членом Стокгольмской академии наук.

В 1801 году члены Российской академии письменно пригласили Е.Р. Дашкову вновь занять председательское место, но она, не желая возвращаться к активной деятельности, отказалась. Однако связи ее с литераторами не прерывались. Она участвует в журнале «Друг просвещения» (1804–1806), где публикует заметки просветительного характера: «Нечто из записной моей книжки», «О старинных пословицах», ведет полемику с журналом «Северный вестник» о преимуществах использования вольного труда в помещичьем хозяйстве.

В 1805–1806 годах в Троицком она написала свои «Записки». Их целью Дашкова считала «воссоздать откровенную историю моей жизни». Но это произведение далеко выходит за рамки автобиографии и содержит мно-

«Кто исполнил долг свой... того несправедливость людская возмутить не может...»

жество важных фактических данных и оценок: переворот 1762 года, характеристики Петра III, Екатерины II, Павла I, братьев Орловых, А.Р. Воронцова, Руссо, Дидро, Вольтера, Эйлера, Кауница и др. Впрочем, о ряде событий и фактов автор намеренно умалчивает. «Записки» крайне пристрастны: Дашкова явно завышает свою роль в ряде исторических событий.

Мемуары Дашковой были посвящены ее компаньонке, ирландке М. Вильмот (в замужестве Брэдфорд), с предоставлением ей права публикации «Записок» после смерти автора. Изданию «Записок» в Англии первоначально препятствовал С.Р. Воронцов; английский перевод появился лишь в 1840 году. На его основе А.И. Герцен опубликовал в «Полярной звезде» исторический очерк «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» (1857, кн. 3). А в 1859 году Герцен напечатал в Лондоне «Записки» Дашковой в русском переводе Г.Е. Благодетлова. В России мемуары Дашковой на русском языке были изданы в отрывках в «Русской старине» в 1892 году, а их полное издание появилось только в 1907 году...

На формирование общественно-политических взглядов Дашковой значительное влияние оказали англофильская и либеральная традиции семьи Воронцовых, а также знакомство с графами-реформаторами Паниными. Идеалом государственного устройства для России Дашкова считала ограниченную правом монархию английского или шведского типа: «Англия мне более других государств понравилась», так как «правление их превосходит усиленные опыты других народов в подобных предприятиях, государь подчиняется законам и в некотором роде отвечает перед судом общественного мнения».

Несмотря на личную обиду к императрице, Дашкова публично всегда поддерживала курс Екатерины II не только в России, но, что еще важнее, и за границей. Размышляя о монархии, она писала: «Каждый благоразумный человек, знающий, что власть, отданная в руки толпы, слишком порывиста или слишком неповоротлива, беспорядочна вследствие разнообразия мнений и чувств, желает ограниченного монархического правления с уважаемым монархом, который был бы отцом для своих подданных и внушал страх злым людям».

Дашкова одной из первых осудила многие деяния Петра Великого. По ее мнению, тот менял законы так часто, что казалось, будто его единственная цель — «утверждение своего права обращаться с законами как ему заблагорассудится». Княгиня Дашкова называла Петра «блестящим деспотом» и «невежей», «пожертвовавшим полезными учреждениями, законами, правами и привилегиями своих подданных ради своего честолюбия, побудившего его все сломать и заменить новым, независимо от того, полезно оно или нет».

Дашкова всегда была поклонницей политических идей Ш. Монтескье, считая одинаково незаконными действия как деспота, так и «разбушевавшейся толпы». В событиях Французской революции она увидела лишь «озлобление, борьбу партий и цинизм», которые привели к крушению идеалов просветителей XVIII века. Поэтому революционные действия

Дашкова полагала вредными для общества, а единственным средством, способным привести Россию к «всеобщему благоденствию», считала просвещение. По ее мнению, главной чертой «идеального монарха» должна быть полная и совершенная приверженность общественному благу.

Е.Р. Дашкова признавала ненормальность положения, когда один человек владеет другим, однако считала, что отменять крепостное право в России преждевременно. Хрестоматийно известен записанный в мемуарах Дашковой спор на данную тему между ней и Дидро. По мнению Дашковой, идеальной была бы ситуация, когда между помещиками и крестьянами установятся отеческие отношения: «...так как благосостояние наших крестьян увеличивает наши доходы; следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушать источник наших доходов». Она считала, что существует прямая зависимость между решением крестьянского вопроса и проблемой реализации политических прав дворянства. «Если б государь, разбив цепи, приковывающие крепостных к их помещикам, в то же время ослабил кандалы, наложенные его деспотической волей на дворянское сословие, я первая бы подписала этот договор своею собственною кровью».

Е.Р. Дашкова была убеждена в том, что «помещики образуют переходную власть между престолом и крепостным сословием». Поэтому если прекращается власть помещика над крестьянином, то «начинается произвол правительства или, лучше, самоуправство мелкого чиновника». Исходя из этого, гораздо рациональнее, писала Дашкова, заинтересовать помещиков в улучшении благосостояния своих крестьян. Екатерина Романовна в целом не отрицала необходимости в будущем отменить крепостное право, но прежде следовало заняться народным просвещением. Иначе из-под власти помещиков крестьяне попадут еще в большую зависимость от местных чиновников. Перед тем как освободить крестьян, необходимо их просветить, чтобы они могли достойно воспользоваться этой свободой. Дашкова одной из первых в русской общественной мысли поставила вопрос об ответственности, в том числе нравственной, чиновников на местах.

Проблемы воспитания и образования волновали Е.Р. Дашкову на протяжении всей ее жизни и применительно к собственным детям, и как директора Академического университета и гимназии. На взгляды Екатерины Романовны существенное влияние оказала английская система воспитания, и особенно труды Дж. Локка. Она сама выступила автором ряда статей о проблемах образования и воспитания, в частности «О смысле слова „воспитание“», «Об истинном благополучии», «О добродетели», «Да будут русские русскими». Именно воспитание или просвещение она рассматривала как важнейший фактор формирования человеческой личности. Красной нитью через все ее сочинения проходит тезис о том, что единственный источник благополучия человека и общества — это добродетель, т.е. «то душевное расположение, которое постоянно устремляет нас к деяниям, полезным нам самим, ближним нашим и обществу».

«Кто исполнил долг свой... того несправедливость людская возмутить не может...»

Истинная добродетель достигается только путем воспитания. Грамотное воспитание позволяет создать человека с высокими общественными и нравственными стремлениями. Более того, понятию «добродетель», которая всегда «совершенна и изящна», соответствует «справедливость». «Когда бы человек мог, — писала Дашкова в статье „О добродетели“, — о любящих и ненавидящих его, равно как о себе самом, всегда без пристрастия судить, если бы свои дела судил справедливо, тогда бы все другие добродетели для него не тягостны были; не считал бы тогда жертвою то, что понимал бы должностью себе, и практические добродетели обыкновенными и естественными ему бы казались». Екатерина Романовна предложила учредить ежегодную премию за лучшее сочинение в стихах или прозе, посвященное человеческой добродетели.

Дашкова одной из первых в отечественной мысли поставила вопрос о значении свободы и самодостаточности человеческой личности. При чем одним из важнейших критериев такой независимости она полагала экономическую самостоятельность. Екатерина Романовна считала, что получаемые законным путем доходы должны растрачиваться не на прихоти, а «на пользу себе и обществу». Важна при этом и самооценка личности, умение раскрыть внутренние способности, а не внешняя оценка окружающих, зачастую посторонних людей. «Кто исполнил долг свой по всей пространности одаренного ему понятия и все обязанности свои выполнил, того несправедливость людская возмутить не может...»

Для формирования личности, по мнению Дашковой, необходимо создать такую систему образования, которая совмещала бы обучение и воспитание. Хотя сама Екатерина Романовна дала своим детям образование за рубежом, она считала, что обучение юности должно совмещать европейский опыт и российские традиции, так как одна из главных задач — формирование национального достоинства. Дашкова писала: «Если мы сами себя почитать не умеем или не хотим, то мы не можем ожидать, а тем более еще требовать, чтобы нас почитали».

Сама до 16 лет почти не знавшая русского языка, Дашкова указывала на его огромную значимость в деле просвещения соотечественников: «Русский язык красотою, изобилием, важностью и разнообразными родами мер в стихотворстве, каких нет в других, превосходит многие европейские языки, а потому и сожалительно, что россияне, пренебрегая столь сильный и выразительный язык, ревностно домогаются говорить или писать несовершенно, языком весьма низким для твердости нашего духа и обильных чувствований сердца. До какого бы цветущего состояния довели россияне свою литературу, если бы познали цену языка своего!»

ПЕТР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗАВАДОВСКИЙ

«Молчать тяжело,
говорить бедственно...»

Немного найдется государственных и общественных деятелей со столь сложной и переменчивой судьбой: фаворит императрицы, автор образовательных реформ, один из создателей банковской системы при Екатерине II и Александре I, избежавший опалы при Павле I, первый министр народного просвещения, граф Священной Римской империи (1793), граф Российской империи (1797). При этом — человек, заслуживший самые благосклонные отзывы как современников, так и потомков.

Петр Васильевич Завадовский родился 10 января 1738 года в селе Красновичи Стародубского повета Черниговской губернии. Он происходил из польского дворянского рода, выходцы из которого со второй половины XVII века состояли на российской службе. Отец Петра Завадовского, Василий Васильевич, был близок к гетману Украины К.Г. Разумовскому, служил при нем «бунчуковым товарищем» (адъютантом) сначала в Генеральной войсковой канцелярии, а затем в Генеральной малороссийской счетной комиссии. Мать Завадовского, Мария, была дочерью «подкомория» (судьи) Стародубского повета Михаила Ширая. Семья Завадовских была большая — семеро детей, — поэтому дохода от имения даже в 800 душ крепостных всегда не хватало.

Для облегчения жизни семьи и «для науки» старших детей, Ивана и Петра, взял к себе их дед, М.С. Ширай, известный в свое время собиратель народного фольклора. Дав внукам базовые знания, он не позднее 1747 года отправил Ивана и Петра Завадовских в иезуитское училище в Орше, находившейся тогда на территории Речи Посполитой. Как и в большинстве учебных заведений того времени, основу обучения составляли древние языки — латынь и греческий. Кроме того, в училище преподавали основы физики, математики, истории, географии. Преподавание велось на польском, и юный Петр Завадовский в совершенстве овладел этим языком, что позже дало ему возможность близко общаться с самыми влиятельными польскими аристократами. Около 1753 года Завадовский для завершения образования перешел в Киевскую духовную академию, которая не только готовила кадры для духовенства, но и давала хорошее европейское образование.

В 1760 году П.В. Завадовский поступил на службу в Малороссийскую коллегию в городе Глухове и был назначен «повытчиком» (делопроизводи-

телем) в администрацию последнего гетмана Украины графа К.Г. Разумовского. В 1764 году Екатерина II упразднила гетманскую власть на Украине и восстановила Малороссийскую коллегию, президентом которой стал назначенный генерал-губернатором Малороссии граф П.А. Румянцев. Со своей канцелярией он обосновался в Глухове; ее правителем был назначен будущий канцлер Российской империи А.А. Безбородко, а молодой П.В. Завадовский стал в 1767 году секретарем Малороссийской коллегии. Его и А.А. Безбородко долгие годы связывала затем крепкая дружба.

Когда П.А. Румянцев был назначен главнокомандующим русской армией в войне против Турции (1768–1774), Завадовский, ставший управляющим его «секретной канцелярии», отправился с ним на войну. Этому назначению предшествовала любопытная история: главнокомандующему потребовалось подготовить записку по одному «секретному делу», и Завадовский взял на себя смелость ее составить. Румянцеву записка понравилась, и он отправил ее императрице. Результат превзошел ожидания: Екатерина II написала Румянцеву, что это первая деловая записка, которую она читала с удовольствием. После этого случая Завадовский и получил место управляющего секретной канцелярии.

П.В. Завадовский активно участвовал в русско-турецкой кампании 1769 года. В задачу его отряда входило охранять берега Днепра; 12 октября он участвовал во взятии Бендер, отразил вылазку турок, за что получил звание премьер-майора. Участвовал Завадовский и в сражениях 1770 года при Ларге и Кагуле. В 1771–1772 годах находился при графе Румянцеве в Молдавии, а в 1773-м участвовал в осаде Силистрии, за что получил звание полковника. До конца войны П.В. Завадовский командовал Старооскольским полком, в составе которого участвовал в сражении под Гирсовым, а затем преследовал с казаками неприятеля.

Генерал-фельдмаршал Румянцев высоко ценил боевые и служебные качества Завадовского и поручил ему подготовку редакции мирного договора с Оттоманской Портой. Для этой работы Завадовский привлек начальника штаба армии графа С.Р. Воронцова, совместно с которым составил текст будущего документа, ставшего основой Кючук-Кайнарджийского мирного договора в июле 1774 года.

В 1775 году жизнь Завадовского неожиданно резко изменилась. Граф П.А. Румянцев рекомендовал его императрице Екатерине II, которая вскоре назначила его своим кабинет-секретарем. Молодой полковник пригласился Екатерине II: тот оказался, как тогда говорили, «в случае», заменив отсутствовавшего Григория Потемкина. В январе 1776 года Завадовский был пожалован в генерал-адъютанты, а уже в июне — в генерал-майоры. В то же время он, вместе со статс-секретарями Г.В. Козицким, Г.Н. Тепловым и А.А. Безбородко, принял участие в составлении Уложения о губерниях, утвержденного 7 ноября 1775 года.

Не слишком опытный в любовных делах, Завадовский, как свидетельствуют его переписка с Екатериной II и воспоминания современников, действительно влюбился в императрицу. Так, князь Адам Чарторыйский

писал в своих воспоминаниях: «Он привязался к ней до такой степени, что, лишившись через полгода ее расположения, почувствовал себя глубоко несчастным». Возвращение Г.А. Потемкина изменило положение Завадовского: тот «получил отпуск», был удален от двора и уехал в свое имение Ляличи, получив при этом 80 тысяч рублей единовременно, 5 тысяч рублей пенсии, 1800 крестьян в Малороссии и 2000 — в Польше.

В мае 1778 года Завадовский возвратился на службу в Санкт-Петербург. На него были возложены различные поручения, связанные с присутствием в Сенате и в совете при Высочайшем дворе. В начале 1780 года он получил чин тайного советника и был назначен сенатором и членом совета Воспитательного общества благородных девиц, а в 1782-м — членом Главного комитета училищ. В ноябре 1784 года Завадовский стал председателем Особой комиссии для выработки Положения о порядке канцелярского делопроизводства во всех правительственных учреждениях. Ему также было поручено председательство в комиссиях по сооружению Исаакиевского собора и по народным училищам. В феврале 1785 года Завадовский был назначен «обозревать систему преподавания в Пажеском корпусе», а также и во всех школах ведомства Придворной конюшенной канцелярии, дворцовой и обер-егермейстерской канцелярий. Кроме того, в его обязанности входили освидетельствование успехов воспитанников и выработка «Порядка», который должен был быть введен во всех российских училищах.

Вскоре Завадовский подготовил и представил императрице «План к установлению народных училищ в Российской империи», согласно которому в губернских городах учреждались четырехклассные народные училища, а в уездных — двухклассные малые народные училища. Формально эти школы были всеобщими и содержались за счет государства. После представления планов обучения 26 февраля 1785 года Екатерина II назначила Завадовского заведовать Пажеским корпусом. Параллельно он стал управлять Медико-хирургической школой.

Медицинское образование в России того времени оставляло желать лучшего, и Петр Васильевич решил заняться его серьезным реформированием. Он изучил систему медицинского образования за рубежом. «Теперь в Вене похваляется новозаведенное хирургическое училище, во Франции сия наука процветает; английские же госпитали общее мнение почитают первыми на свете», — писал Завадовский. Он предложил Екатерине II отправить лучших учеников для получения образования за границу, а также преобразовать Медико-хирургическую школу в Хирургическую академию. Совместно с А.М. Вейкартом и И.З. Кельхерном Завадовский написал ее устав; когда же «необходимое строение и у нас поспеет, то можно взять из духовных семинарий и малороссийских школ 150 студентов в ученики на казенное содержание, как в Главном народном училище, и обучать всему, что предписано». Далее в этом же докладе императрице Завадовский доказывал, что «хотя считается за сущую пагубу незнающий лекарь, но сие зло у нас по настоящей бедности медицинского факультета не токмо

«Молчать
тяжело,
говорить
бедственно...»

терпимо, но и распространяется, понеже не лекари мест, а места лекарей ищут». Императрица Екатерина II одобрила план Завадовского, выделила ему на решение указанных задач 10 тысяч рублей, а также обязала специально готовить лекарей для нужд армии и флота.

Как следует из писем Завадовского к Безбородко, главная проблема, с которой он столкнулся, заключалась в полном отсутствии дисциплины, «пренебрежении о должностях»: иные профессора «по несколько месяцев не бывали в школах и оставляли праздными свои классы». Как выяснилось, одной из причин подобного поведения стало то, что профессорам нерегулярно платили жалованье. Завадовский поправил положение, и это отчасти решило проблему.

В 1786 году императрица Екатерина утвердила разработанный под руководством Завадовского «Устав народных училищ», на основании которого были также составлены «Правила для учащихся народных училищ» и «Руководство учителям первого и второго разряда народных училищ Российской империи». Особенностью этой реформы было то, что создавалась единая система светской школы: малое народное училище, главное училище, университет — с единой методикой преподавания и учебными планами. За последующие три года главные народные училища были открыты в 25 губернских городах. Обучение в них было бесплатным.

Петр Васильевич Завадовский стоял у истоков формирования банковской системы в России. В 1781 году, занимая пост директора Санкт-Петербургского дворянского банка, он возглавил комиссию по проверке его деятельности. В процессе работы возник проект обновления этого кредитного учреждения, результатом чего стало создание Государственного заемного банка. В 1786 году Завадовский был назначен его управляющим, а в 1794-м — главным директором.

Заемный банк был создан на основе упраздненных в 1786 году дворянских банков для реализации дарованных жалованными грамотами привилегий дворянству и купечеству. Манифест от 28 июня 1786 года, объявлявший о создании Заемного банка, определил в качестве его главной цели долгосрочное кредитование дворянства и купечества. Кредиты выдавались банком под низкий процент, что должно было избавить заемщиков от произвола ростовщиков. Еще в процессе создания Заемного банка главный директор Ассигнационного банка А.П. Шувалов подсчитал, что Заемный банк принесет казне 19 млн рублей чистого дохода. Однако эти расчеты не оправдались, поскольку основывались на предположении, что весь оборотный капитал банка будет сразу выдан в ссуды, а погашение долгов и выплата процентов по ним будут производиться без промедления. Заемному банку предполагалось предоставить 22 млн рублей для выдачи ссуд дворянам и 11 млн рублей для кредитования городов. Однако хронический дефицит бюджета не позволил осуществить намеченные ассигнования.

Заемный банк в Санкт-Петербурге должен был открыться 1 июня 1787-го, но операции начали проводиться раньше — уже 11 января того года. Банк

выдавал ссуды дворянству и купечеству под 5% годовых. Дворянам кредит выдавался на 20 лет под залог имений с крепостными. При этом размер ссуды должен был быть не менее 1000 рублей. Купцам ссуда выдавалась под залог домов и заводов сроком на 22 года на сумму не более 75% оценки недвижимого имущества. Банк осуществлял также прием вкладов с выплатой 4,5% годовых на срок не менее года. Хотя предполагалось, что новый банк будет кредитовать дворян и купцов по всей России, среди его операций преобладало кредитование столичного дворянства.

С момента своего основания Заемный банк находился в ведении императрицы и Сената. Получив должность его главного директора, П.В. Завадовский внес в организацию этого кредитного учреждения новшества, главное из которых заключалось в формировании нескольких фондов для покрытия убытков. Кроме того, он тщательно следил за аккуратностью ведения банковской отчетности. При нем балансы составлялись регулярно и, в соответствии с указом об учреждении Заемного банка, публиковались и обнародовались на биржах. Помимо П.В. Завадовского, в правление Заемного банка входили пять советников, назначаемых императрицей. Главный директор не всегда председательствовал в правлении, однако в случае решения особо важных вопросов обязательно возглавлял его заседания.

В Заемном банке впервые стало действовать правило неприкосновенности вкладов частных лиц. Ни одно правительственное учреждение не имело права требовать выдачи денежных сумм вкладчиков, а также их конфискации. Это распространялось не только на российских подданных, но и на работавших в России иностранцев. На вклады банк выдавал вкладчикам «передаточные» банковские билеты, которые могли ходить из рук в руки, как векселя. Если вкладчик хотел получить обратно вложенные в банк деньги, то он получал их сразу или по истечении определенного срока, в зависимости от величины суммы. По сохранившимся балансам Заемного банка видно, что объемы его активных операций в конце XVIII века составляли более 30 млн рублей, причем сумма актива была больше суммы пассива. Дело в том, что соблюдение «золотого правила» баланса («актив равен пассиву») в XVIII веке не было обязательным, хотя и считалось желательным. С другой стороны, такая ситуация говорила о долгосрочности выдаваемых банком ссуд и о накопившейся задолженности. Уже в 1789 году правление Заемного банка просило Сенат издать распоряжение о скорейшем возврате дворянских долгов. В 1804-м Государственный совет разбирал вопрос о списании долгов, образовавшихся еще до 1786 года, т.е. до реорганизации дворянских банков в Заемный банк.

30 апреля 1787 года П.В. Завадовский женился на графине Вере Николаевне Апраксиной; этот брак породнил его с самыми аристократическими российскими фамилиями. Он тогда писал своему другу С.Р. Воронцову: «Жену люблю, и она меня взаимно... Со стороны домашнего быта все имею, чтобы быть довольным». Однако несчастьем супругов было слабое

«Молчать
тяжело,
говорить
бедственно...»

здоровье их детей: из десяти рожденных выжили пятеро, а до зрелых лет дожили только трое — два сына и дочь.

31 августа 1787 года П.В. Завадовский получил новое назначение — он стал членом совета при Высочайшем дворе. Через него Екатерина II стала объявлять Сенату свои повеления. В том же году императрица доверила Завадовскому опеку над своим сыном, графом А.Г. Бобринским. 14 мая 1794 года Завадовский был избран почетным членом Императорской академии художеств. Несмотря на множество возложенных на него дел, Екатерина II поручала ему еще и просмотр своих сочинений, многие из которых были посвящены проблемам воспитания, так как «он был очень силен в русском слоге». В 1793 году Петр Васильевич получил орден Св. Александра Невского, а в начале 1795-го — чин действительного тайного советника.

В первые годы правления Павла I карьера П.В. Завадовского еще более пошла вверх: в день своей коронации, 5 апреля 1797 года, император пожаловал Петру Васильевичу графское достоинство, орден Св. Андрея Первозванного и орден Анны I-й степени. Завадовский продолжил заседать в совете при Высочайшем дворе, в Сенате, в Воспитательном обществе, управлять Заемным банком. В 1798 году он был назначен главным директором Ассигнационного банка по личному распоряжению Павла I.

8 января 1799 года Завадовскому был пожалован командорский крест Иоанна Иерусалимского, после чего Павел I посетил бал у Петра Васильевича — по тем временам это был высший знак монаршей милости. Но благосклонность императора Павла, как известно, была переменчива, и уже 6 ноября 1799 года Завадовский был уволен от службы и выслан из Петербурга в свое имение — село Ляличи, где и пребывал до смерти Павла. Там за Завадовским был установлен негласный надзор; из донесений надзирателя мы знаем, что он вел жизнь скромную и тихую, занимаясь хозяйством и домостроительством, а также много читал.

Сразу же после вступления на престол Александра I, 12 марта 1801 года, П.В. Завадовский был вновь вызван ко двору и назначен членом Непременного совета, сенатором, а с 5 июня того же года — председателем Комиссии составления законов. Он активно участвовал в проектировании реформ в первые годы правления императора Александра.

Как сенатору, Завадовскому почти сразу же было поручено подготовить доклад обо всех указах, касающихся деятельности Правительствующего сената с момента его учреждения. Петр Васильевич не только выполнил это поручение, но и подготовил свою записку «О правах и преимуществах Сената», состоявшую из двух частей. Первая часть представляла историю Сената. Правда, автор записки выбрал только те моменты в развитии этого учреждения, которые выражали его собственную позицию по данному вопросу. Он подробно описал историю Сената в первые годы его существования (1711–1718), когда он действительно имел черты верховного органа управления страной. Далее Завадовский красочно разъяснил причины «падения Сената», которые он видел в том, что «властолюбивые лица,

пользуясь доверенностью государевою, стремились к тому, чтоб им, а не местам властвовать в делах». При этом Сенат стал окончательно бессилен перед генерал-прокурором, имеющим право наложения вето на любое решение сенаторов.

Вторая, проблемная, часть представленного документа состояла из 15 статей. В самом ее начале Завадовский подчеркнул, что является сторонником самодержавной власти, которая «должна существовать навсегда существенно и неограниченно». Вместе с тем для стабильного управления столь обширной державой, как Российская империя, в помощь правителю необходим верховный орган, каким может и должен быть Правительствующий сенат. Для этого на Сенат необходимо в полном объеме возложить исполнительные и судебные функции, оставив монарху лишь право помилования: «...должность Сената — предохранять прерогативы монарха, исполнять его волю, следить за осуществлением законов, обеспечить течение правосудия, пекшись о всякой пользе народной». Для поднятия авторитета Правительствующего сената автор проекта предлагал передать сенаторам право назначать чиновников на нижние и средние места, а также «избирать и представлять монарху на утверждение кандидатов на высшие должности губернаторов и президентов коллегий, кроме иностранной, военной и морской».

При анализе представленного проекта становится очевидным, что П.В. Завадовский стремился доказать необходимость контроля высшего аристократического органа, Правительствующего сената, над всеми сферами управления. Хотя он и не раз повторял, что является сторонником самодержавной власти, ряд положений предлагаемого проекта был очевидно направлен на ее ограничение. Так, в данном документе прямо указывалось, что один раз принятое решение становится обязательным для исполнения как Сенатом, так и монархом, причем в равной степени. При этом контроль над исполнением законов также возлагался на Сенат. По предложенному проекту значительно уменьшалась и роль генерал-прокурора, призванного контролировать деятельность Сената.

С учреждением в России министерств, как лучший знаток системы образования, граф П.В. Завадовский 8 сентября 1802 года был назначен министром народного просвещения. Под его руководством были разработаны и 24 января 1803 года обнародованы «Предварительные правила народного просвещения», установившие государственную систему образования в России. Эти «Правила» включали 48 статей, объединенных в три главы: «О заведении училищ», «О распоряжении училищ по учебной части», «О распоряжении училищ по хозяйственной части». «Правилами» была установлена структура и система образования в России: ее ступени, их взаимосвязь, содержание образования, состав материальной части и источники финансирования. Был закреплён центральный орган управления образованием — Министерство народного просвещения. В 1803 году было издано новое положение об устройстве учебных заведений. В основу системы образования были положены принципы бессловных учебных

«Молчать
тяжело,
говорить
бедственно...»

заведений, бесплатности обучения на низших его ступенях, преемственности учебных программ.

По предложению Завадовского все учебные заведения подразделялись на четыре ступени: одноклассные приходские училища, уездные училища с трехклассным обучением, гимназии и университеты. Согласно плану Российская империя была разделена на шесть учебных округов: Петербургский, Московский, Белорусско-Литовский, Дерптский, Казанский и Харьковский. Во главе каждого округа был поставлен университет с его ученой коллегией — советом и попечителем при нем. С университетом были преемственно связаны три ступени образовательных школ: гимназии с четырехлетним курсом, уездные училища с двухлетним курсом обучения и приходские училища с одногодичным курсом, возглавляемые попечителями. Всеми делами в учебном округе ведал университет через посредство ученого совета.

Университетский устав 1804 года предоставлял университетам значительную автономию: выборность ректора и профессуры, собственный суд, право назначать учителей в гимназии и училища своего округа. Основными академическими должностями являлись ординарные (читали основные университетские курсы) и экстраординарные профессора (читали дополнительные университетские курсы), которые по различию наук подразделяются на факультеты или отделения; адъюнкты, магистры (читали дополнительные университетские курсы), а также рядовые учителя языков, приятных искусств и гимнастических упражнений. Уставом определялось, что ректор университета избирается ежегодно общим собранием из ординарных профессоров и представляется Главным училищ правлением через министра народного просвещения на высочайшее утверждение. Одновременно с выборами ректора или проректора ежегодно каждое отделение или факультет общим собранием университета выбирали из числа заслуженных или ординарных профессоров своего старейшину или декана. Кроме всего прочего, при каждом университете создавалась типография с собственной цензурой для всех печатных изданий. Правда, пользоваться университетской библиотекой имели право только профессора и адъюнкты; студентам же это запрещалось. Одним из важнейших органов управления был университетский суд. В его задачи входило решать разногласия и ссоры между преподавателями университета в том случае, если не удастся прекратить их миром. Ректор как председатель университетского правления при созыве университетского суда назначался на должность судьи.

Закон о народном образовании, подготовленный под руководством П.В. Завадовского, был фактически единственным до конца реализованным действительно либеральным законом, принятым в годы правления Александра I. По замечанию историка М.И. Богдановича, деятельность П.В. Завадовского на должности министра народного просвещения была очень плодотворна. При нем были открыты университеты в Харькове и Казани, Педагогический институт в Петербурге. Более того, своих детей

он обучал в открытых по его проектам учебных заведениях. «Знать роптала на него, упрекая, что сыновья самого Завадовского (одиннадцатилетние камер-юнкера, ходившие в гимназию) сидят на скамьях в гимназии вместе с сыновьями сапожников и кучеров», — писал М.И. Богданович.

Именно П.В. Завадовскому принадлежит идея открыть Историческое общество при Московском университете. Он обратился с ней к попечителю Московского университета М.Н. Муравьеву, встретив у него «большое сочувствие». Уже 18 марта 1804 года состоялось первое заседание Исторического общества под председательством ректора университета Х.А. Чеботарева, которое получило название «Общество истории и древностей российских».

11 апреля 1810 года Завадовский был уволен с должности министра народного просвещения в связи с реформированием министерской системы и по состоянию здоровья. На протяжении своей жизни он действительно часто болел, однако ни разу не пожелал уехать лечиться за границу. Петр Васильевич Завадовский умер 10 января 1812 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

О графе П.В. Завадовском сложилось самое благосклонное мнение как у его современников, так и у историков. Например, работавший с ним Н.С. Ильинский писал о нем: «Он был человек добрый, честный, кроткий и, при всем своем уме, не гордый и не надменный». А М.И. Сухомлинов считал, что «время управления Министерством просвещения Завадовским останется навсегда блестящей эпохой в истории народного просвещения в России».

**«Свобода и частный
прибыток есть единое
истинное движущее
начало всякой
промышленности...»**

Виктор Павлович Кочубей (1768–1834) известен не только специалистам, чей профессиональный интерес связан с историей России первой половины XIX века. Его знают практически все, кто изучал, хотя бы в рамках школьной программы, историю царствования Александра I и помнит о либеральном кружке друзей молодого императора, позднее получившем название «Негласный комитет». Одним из его активных участников был Виктор Павлович Кочубей — правнук казненного Мазепой в 1708 году малороссийского генерального судьи Василия Леонтьевича Кочубея и сын обучавшегося в Галльском университете председателя Екатеринославской губернской палаты, статского советника Павла Васильевича Кочубея (1739–1786).

Виктор Павлович родился 11 ноября 1768 года в селении Глухово Черниговской губернии и первоначально получил образование в частном пансионе француза де Вильнева в Санкт-Петербурге. В возрасте восьми лет он, по настоянию отца, был записан капралом в лейб-гвардии Преображенский полк. Уже через несколько месяцев был произведен сначала в унтер-офицеры, а в ноябре 1776 года — в сержанты. Благодаря практике формальной записи дворянских детей в армию на действительную службу В.П. Кочубей поступил в 1784 году уже в чине прапорщика. На его дальнейшую карьеру большое влияние оказал родной дядя по материнской линии — князь А.А. Безбородко, который считал необходимым подготовить племянника к дипломатической службе и содействовал его зачислению в группу офицеров, выполнявших правительственные поручения в Швейцарии. Во время пребывания за границей В.П. Кочубей продолжил свое образование: в 1781–1784 годах он прослушал курс лекций в Женевском университете, а в 1785–1786 годах — в Упсальском университете. После возвращения в Россию его карьера продолжилась: в 1786-м он получил чин подпоручика, а позднее был назначен на должность камер-юнкера двора Ее Императорского Величества.

В 1788 году В.П. Кочубей отправляется в Лондон в составе дипломатической миссии под руководством графа С.Р. Воронцова. При этом, вновь

получив возможность путешествовать по Европе, он побывал в Швейцарии, Голландии, Франции и в качестве вольнослушателя посещал занятия по праву в Лондонском университете (1789–1790), а также лекции Ж.-Ф. Лагарпа по истории литературы в Париже (1791). В Европе Кочубей не только получил опыт практической работы в дипломатическом ведомстве, но и существенно дополнил свои познания. Российский посол в Великобритании С.Р. Воронцов писал об этом периоде его жизни: «Он обогатил свой разум всеми сведениями, кои неотложно нужны, чтоб служить отличным образом в политической службе... На двадцать пятом году он имеет постоянство человека сорока лет».

В 1792 году В.П. Кочубей был отозван из Англии в Санкт-Петербург, а в октябре — назначен чрезвычайным посланником России в Константинополе. Верховная власть по достоинству оценила его дипломатическую работу: в 1795-м он был награжден орденом Св. Владимира 2-й степени, а в начале 1797 года назначен членом Коллегии иностранных дел и удостоен ордена Св. Александра Невского.

Летом 1798 года Кочубей возвратился в Санкт-Петербург и вскоре получил чин действительного тайного советника и назначение на должность вице-канцлера Коллегии иностранных дел. В этом качестве он руководил подготовкой к подписанию договоров России с Неаполем, Англией, Португалией, Баварией. Весной 1799-го император Павел I объявил о даровании Кочубею титула графа, но вскоре, в августе того же года, отстранил его от службы. После выхода в отставку Кочубей несколько месяцев провел в своем имении, а весной 1800 года уехал за границу.

Новый этап в его жизни начинается после прихода к власти молодого императора Александра I. Получив известие о скоропостижной смерти Павла I, Кочубей незамедлительно прибывает в Петербург. С этого момента он меняет направление служебной деятельности и свое основное внимание концентрирует уже не на вопросах внешней политики, а на разработке необходимых России преобразований. Об этом он писал императору в мае 1801 года, предлагая принять ряд мер по упорядочению системы управления и повышению ответственности чиновников. По его мнению, следовало упразднить введенную Павлом практику ежедневных личных приемов министров, что неизбежно способствовало бы повышению их самостоятельности в решении текущих вопросов.

По распоряжению Александра I в июле 1801 года Виктор Павлович был принят на службу в I департамент Сената с особым предписанием — находиться при Его Императорском Величестве. Хотя в сентябре того же года он был вновь назначен вице-канцлером и членом Коллегии иностранных дел, важнейшим для него остается разработка в «Негласном комитете» плана предстоящих преобразований. В состав этого неофициального кружка приближенных друзей императора, как известно, входили граф П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев и А. Чарторыйский. Присоединенный по приглашению Александра I к этому «триумvirату» Кочубей становится активным участником обсуждения вопросов реформирования системы

центральных органов государственной власти, разработки общих подходов к решению крепостного вопроса, определению приоритетных направлений внешней политики.

Император по достоинству оценил умение В.П. Кочубея четко формулировать свои мысли, способность видеть в любом теоретическом положении возможность практического применения, а главное — стремление анализировать вероятные последствия предполагаемых преобразований. Все это способствовало привлечению Кочубея на целый ряд официальных должностей. В соответствии с указом 11 декабря 1801-го он был включен в состав Непременного совета, а в 1802–1807 годах был министром внутренних дел и одновременно председателем Комитета для составления положения о лифляндских и эстонских крестьянах (с 1803-го). С 1805 года Кочубей участвует в работе Комитета для совещания по делам сохранения всеобщего спокойствия и тишины граждан и облегчения народного продовольствия на время отсутствия императора в столице. Позднее, по распоряжению императора от 13 января 1807 года, возглавляет Комитет охранения общественной безопасности. В 1809-м он становится председателем Комитета для изыскания средств к восстановлению равновесия в бюджете, а с начала 1810 года активно участвует в работе Государственного совета.

В 1819-м он был вновь назначен министром внутренних дел и находился в этой должности до 1823 года. Кроме того, с 1820-го руководил рядом особых комитетов и комиссий, в том числе Комитетом по делам Царства Польского, Комитетом по азиатским делам, Комитетом временных пособий белорусским губерниям. За время службы В.П. Кочубей был награжден Большим крестом ордена Владимира 1-й степени (1814), крестом ордена Андрея Первозванного и Анны 1-й степени (1821). Летом 1823 года он подал прошение о предоставлении ему бессрочного отпуска для лечения за границей.

Известия о смерти императора Александра I, а потом — о событиях на Сенатской площади 14 декабря 1825 года Кочубей получил, находясь в Европе. В этих условиях он посчитал необходимым выразить новому императору свою готовность вновь поступить на службу. После его возвращения в Россию Николай I издает указ о назначении его председателем Государственного совета и Комитета министров (1827–1834), а в апреле 1834 года — на должность канцлера по внутренним делам. За многолетнюю службу в 1828 году В.П. Кочубей был награжден алмазными знаками к ордену Андрея Первозванного, а в 1831-м ему и его потомкам был пожалован титул князя. Умер Виктор Павлович 3 июня 1834 года и был похоронен в церкви Святого Духа Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Нередко у тех, кто интересуется историей российского либерализма первой половины XIX века, возникает вопрос: может ли человек, руководивший, например, Министерством внутренних дел или созданным для предупреждения политических слухов и внутренних конфликтов Комитетом охранения общественной безопасности, быть либералом? Ответ

на этот вопрос, как представляется, следует искать не в плоскости формально-должностных обязанностей, а в особенностях мировоззрения человека, которые оказывали непосредственное влияние на его позицию по наиболее актуальным вопросам социально-экономического и политического развития страны.

Либеральные элементы в мировоззрении В.П. Кочубея сформировались под воздействием ряда факторов. Неоднократное пребывание в странах Европы, обучение в Женевском, Упсальском и Лондонском университетах, знакомство с работами А. Смита, Ж.-Б. Сея, Ж.-Ш. Сисмонди — все это, в сочетании с усвоенными с детства чувством собственного достоинства и желанием служить «во имя общего блага», способствовало восприятию принципов свободы личности, неприкосновенности собственности и верховенства закона.

Определяющее влияние на понимание важности либерального принципа неприкосновенности частной собственности оказало наличие у самого В.П. Кочубея крупной родовой и приобретенной собственности (суммарно он обладал около 16 тысячами крепостных крестьян мужского пола). Это обстоятельство, несомненно, укрепило его уверенность в целесообразности данного принципа, а также сформировало заинтересованность в разработке мер по улучшению положения частновладельческих крестьян.

Не менее важный фактор, повлиявший на мировоззрение В.П. Кочубея, — непосредственное участие в обсуждении и выработке решений по вопросам реформирования российской социально-политической и экономической системы. Еще в самом начале царствования императора Александра I, совместно с А.Р. Воронцовым, Н.Н. Новосильцевым и А. Чарторыйским, Кочубей участвовал в составлении проекта «Жалованной грамоты российскому народу», которая должна была быть обнародована во время коронации великого князя Александра Павловича. Этот документ провозглашал верховенство закона, право личности на безопасность и неприкосновенность частной собственности. К сожалению, император не решился обнародовать «Жалованную грамоту» и ограничился изданием традиционного для таких случаев Манифеста о восшествии на престол.

Позже, в рамках подготовки министерской реформы, В.П. Кочубею было поручено заняться разработкой основных положений, определивших порядок работы новых структур управления. В качестве помощника, способного быстро и четко сформулировать основные идеи нового законоположения, он привлекает М.М. Сперанского. С этого момента тот неоднократно выступает в качестве консультанта при составлении целого ряда докладных записок и проектов В.П. Кочубея.

Принадлежность к высшей правительственной элите, участие в работе Государственного совета и Министерства внутренних дел сформировали понимание необходимости проведения преобразований. Обсуждение проектов реформирования Сената и проблемы модернизации российского законодательства, разработка мер по стабилизации государственного

«Свобода и частный прирбок есть единое истинное движущее начало всякой промышленности...»

бюджета и поиск способов правового регулирования взаимоотношений между крестьянами и помещиками — все это открывало доступ к информации о положении в стране, вариантах решения актуальных социально-экономических проблем, а также позволяло предоставлять лично императору не только официальные доклады, но и «особые мнения», записки и проекты реформ.

Следует также учесть, что круг обязанностей министра внутренних дел в годы пребывания на этом посту В.П. Кочубея был значительно шире, чем это обычно представляют. К компетенции министерства относились вопросы управления торговлей и мануфактурной промышленностью, организация медицинского обслуживания населения и почтового сообщения. Кроме того, министр осуществлял взаимодействие с губернскими властями, приказами общественного призрения, казенными палатами и предводителями дворянских губернских собраний. Столь широкий спектр обязанностей обусловил постановку целого комплекса общих вопросов, без которых невозможно было решать текущие задачи: каким образом ускорить экономическое развитие российской экономики; что необходимо сделать для повышения эффективности системы управления; как осуществить своевременное обновление законодательства и обеспечить действительное соблюдение всех нормативно-правовых актов. Для В.П. Кочубея ориентиром для поиска ответов на эти вопросы были либеральные принципы свободы личности, неприкосновенности частной собственности и верховенства закона.

В отношении фабрично-заводской промышленности стратегической задачей правительства он считал создание благоприятных условий для проявления частной инициативы граждан. Так, например, в отчете о работе Министерства внутренних дел за 1802–1807 годы Кочубей предлагал «оставить частным видам промышленности сколь можно свободное течение, не стесняя их ни в выборе предметов, к коим они устремляются, ни в образе их производства и распродажи изделий». В противном случае, по его мнению, многие предприятия могут прийти в упадок, а их владельцы — к разорению. Одной из действенных мер по стимулированию промышленности и торговли, по мнению Кочубея, могло стать оказание необходимой финансовой поддержки гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью. В 1803 году он предложил образовать в Государственном заемном банке ежегодно пополняемый из казны особый фонд, средства которого могли бы выдаваться в виде субсидий и займов частным лицам. В декабре 1814 года во всеподданнейшей записке «О положении империи и мерах к прекращению беспорядков и введению лучшего устройства в разных отраслях, правительство составляющих» он подчеркивал, что для оздоровления финансовой системы и экономического развития России в целом необходимо «прочное установление законов, служащих к основанию кредита».

Не менее важной задачей, стоящей перед российским правительством, В.П. Кочубей считал сокращение дефицита государственного бюджета

и стабилизацию национальной денежной единицы. Непродуманная денежно-эмиссионная политика предшествующих царствований привела к снижению курса ассигнаций, что, по мнению В.П. Кочубея, значительно ухудшило положение российских предпринимателей. Отсутствие финансовых резервов у экономической активной части населения обусловило положение, при котором государство в течение длительного времени не сможет рассчитывать на финансовую поддержку частных лиц в форме каких-либо займов: по словам В.П. Кочубея, «по недостатку доверия к правительству неохотно частные люди вверят капиталы свои». Восстановление доверительных отношений между гражданами и государством в данном контексте представлялось необходимым и взаимовыгодным.

В сложившихся условиях В.П. Кочубей предлагал принять действенные меры по контролю над выпуском новых денежных средств и уменьшению государственных расходов посредством сокращения бюрократического аппарата и армии. В качестве одного из вариантов сокращения военных расходов в мирное время В.П. Кочубей поддержал проект создания военных поселений. В одном из писем А.А. Аракчееву он просил прислать ему «положение о военных поселениях», аргументируя свою просьбу следующим образом: «Успехи опытов воинского поселения не могут не быть приятны всем тем, кои, умея размышлять и зная государство, должны удостоверены быть, что без таковых или иных вспомогательных распоряжений нет никакой возможности содержать от 700 до 900 тысяч войска, всегда готового в продолжение долгого времени». Именно сокращение расходов государства, по мысли Кочубея, позволило бы правительству найти средства для поддержки экономической активной части российского общества. В связи с этим в процессе обсуждения в Государственном совете вариантов решения проблемы дефицита государственного бюджета Кочубей высказывался о нецелесообразности ежегодного повышения налогов и сборов. По его мнению, необходимо было провести детальный анализ расходной части главного финансового документа страны в целях исключения «излишних» затрат государства.

Важным аспектом экономической политики, оказывающим непосредственное влияние на темпы развития экономики страны, Кочубей считал внутреннюю и внешнюю торговлю. По его мнению, любые неоправданные ограничения свободы торговли замедляли движение капиталов в стране и накопление средств для строительства новых предприятий. Особенно важным для поддержания конкуренции, оказывавшей стимулирующее влияние на российских товаропроизводителей, Кочубей считал сохранение «свободного тарифа» во внешней торговле. Конечно, как и большинство современников, он признавал неразвитость российской экономики по сравнению с ведущими странами Европы, но полагал, что конкуренция — «естественное» средство обучения российских предпринимателей с наименьшими затратами производить более качественный товар. Не менее важным аргументом в споре со сторонниками политики протекционизма было утверждение о том, что при свободном тарифе

«Свобода и частный прибыль есть единое истинное движущее начало всякой промышленности...»

возможны приток иностранных инвестиций и активное заимствование новых технологий.

Будучи крупным земельным собственником, во владениях которого проживало более 15 000 крестьян, Кочубей неоднократно обращался к вопросу о необходимости подготовки к освобождению людей, находившихся в личной зависимости как в помещичьих имениях, так и на фабриках и заводах. Впервые свое негативное отношение к бесправному положению крестьян он озвучил в процессе подготовки (совместно с Н.Н. Новосильцевым и А. Чарторыйским) проекта «Жалованной грамоты российскому народу». Наряду с провозглашением принципа личной безопасности в проекте грамоты была зафиксирована норма, в соответствии с которой предлагалось даровать государственным и крепостным крестьянам право приобретения незаселенных земель. Данная мера должна была стать первым шагом на пути придания крестьянам статуса субъекта правоотношений, а в перспективе позволила бы решить крепостной вопрос посредством ряда новых законодательных актов.

На первом этапе, по мнению Кочубея, важно было юридически отделить «собственность на вещи» — «естественное» и неотъемлемое право любого индивида — от исторически сформировавшейся практики обладания людьми. В данном контексте необходимым представлялось, с одной стороны, законодательно закрепить право на неприкосновенность частной собственности, а с другой — признать, что исторически сложившаяся практика управления крестьянами не может быть тождественна праву собственности на населенные земли, а является всего лишь особой формой межличностных взаимоотношений крестьян и помещиков. Такая логика предполагала постепенное правовое регулирование взаимоотношений между помещиками и подвластными им крестьянами как на уровне закона, так и посредством подписания между крестьянами и землевладельцами особого договора, в котором мог бы быть зафиксирован порядок разрешения важнейших социальных и хозяйственных проблем.

Наиболее приемлемым и бесконфликтным способом решения крепостного вопроса в правительственных кругах первой четверти XIX века считалось постепенное освобождение крестьян посредством перехода в «новое состояние». Именно такой сценарий был предложен, например, во всеподданнейшем прошении графа С.П. Румянцева «Об отпуске крестьян целыми селениями» и реализован в указе 20 февраля 1803 года. По решению императора В.П. Кочубею было поручено на основании замечаний и предложений, высказанных при обсуждении проекта С.П. Румянцева, составить «Правила при рассматривании условий между помещиками и крестьянами». В этом документе Кочубей неоднократно подчеркивал необходимость государственного контроля над соблюдением принципа добровольности при заключении договоров, предоставления права приобретения земли не только «всей деревне», но и отдельным крестьянам, а также недопустимость обезземеливания крестьян. В данном контексте принципиально важно было установить четкий порядок исполнения все-

ми заинтересованными сторонами своих финансовых обязательств, что в перспективе могло привести к мирному разрешению крепостной проблемы. Но при всей проработанности представленных Кочубеем «Правил» на практике возникало множество случаев, когда уже после заключения договора крестьяне не могли получить ни земли, ни личной свободы. Особенно часто такого рода инциденты возникали при смене владельца или смерти помещика до окончания сложной процедуры регистрации и высочайшей конфирмации договора. Безусловно, В.П. Кочубей, будучи министром внутренних дел, через которого должны были направляться договоры на подпись императору, знал о существовании этой проблемы. Однако, признавая сложность процедуры и низкую скорость процесса освобождения, он считал возможным распространить принципиальную модель освобождения крестьян посредством перехода в «другое», временное состояние.

Именно такой алгоритм был предложен В.П. Кочубеем в качестве варианта освобождения крестьян, прикрепленных к заводам и фабрикам. Летом 1805 года он представил на обсуждение в Департамент государственной экономии проект перевода фабричных и заводских крестьян в новое состояние «свободных мастеровых». Предложенный им механизм был достаточно прост: все приобретенные для работы на заводах и фабриках крестьяне по истечении 18 лет с момента их появления на производстве становились свободными. Аргументируя необходимость освобождения работников, Кочубей подчеркивал, что данная мера повысит их мотивацию к улучшению качества выпускаемой продукции, а также будет способствовать развитию отечественной промышленности за счет появления в России рынка вольнонаемной рабочей силы. Однако все эти аргументы получили неоднозначную оценку на заседании Департамента государственной экономии 31 июля 1805 года. Большинство участников обсуждения согласилось с предложением Кочубея, но при этом были высказаны опасения, что в случае реализации проекта возникнет потенциальная опасность резкого ухудшения положения крестьян и их дальнейшей пауперизации, так как фабриканты будут заинтересованы в усилении эксплуатации рабочих до их освобождения. В данном контексте показательно особое мнение по этому делу министра коммерции Н.П. Румянцева: он убедительно доказывал, что в условиях, когда будет обозначен точный срок пребывания крестьянина на фабрике или заводе, у владельца предприятия появится дополнительный экономический стимул получить до истечения указанного в законе времени максимально возможную прибыль от безвозмездного труда подневольных крестьян. Очевидно, что подобного рода опасения были вполне оправданы и основывались на представлениях об утилитарном характере мышления фабрикантов. Все это, в совокупности с нерешительностью императора, создало положение, при котором либерально настроенная часть российского общества утверждала, что отмена крепостного права необходима, но эффективный механизм разработки проекта реформы, учитывавшей интересы и крестьянства, и помещиков, так и не был создан.

«Свобода и частный прибыль есть единое истинное движущее начало всякой промышленности...»

Проблема низкой эффективности системы выработки и принятия решений была актуальна не только в контексте крепостного вопроса. Несогласованность действий различных государственных структур, дублирование сфер деятельности и документооборота — все это обусловило поиск современниками более эффективной модели управления. Уже через несколько лет после проведения министерской реформы В.П. Кочубей в записке «Об учреждении министерств», представленной императору Александру I 28 марта 1806 года, писал о том, что внешне стройная министерская система управления требует серьезной доработки.

Новая система управления, по его мнению, была более зависима от личных качеств министров, их способностей и субъективного отношения к исполнению своих обязанностей. Для снижения такой зависимости В.П. Кочубей предлагал законодательно закрепить принцип личной ответственности министров за положение дел в подвластной им отрасли. Данный принцип означал, что министры сохраняли бы возможность проявить необходимую в процессе реформирования инициативу и в равной степени имели право прямого обращения к императору. С другой стороны, в целях предупреждения злоупотреблений властью Кочубей считал нужным «принять за правило», что все министры, вне зависимости от степени личного благорасположения к ним государя, должны были бы в случае, если они не справлялись со своими служебными обязанностями, незамедлительно отстраняться от занимаемых ими должностей.

По мнению В.П. Кочубея, серьезным недостатком проведенной реформы системы управления было не только отсутствие личной ответственности министров за положение дел в подвластной им отрасли, но и несогласованность действий правительства, результатом которой были низкая скорость реализации принятых решений и слабый контроль за их исполнением. Анализируя деятельность правительства за 1802–1806 годы, он призывал императора более четко определить границы компетенции и порядок взаимоотношений различных министров как между «собою, чтоб каждый знал точные пределы своей власти», так и с Комитетом министров, Государственным советом и Сенатом.

В развернутом виде предложения В.П. Кочубея по совершенствованию системы управления были изложены в записке «О положении Империи и мерах к прекращению беспорядков и введению лучшего устройства в разных отраслях, правительство составляющих» (1814). В этом документе он признавал необходимость заимствования отдельных элементов системы управления в развитых странах Европы. Для приведения отечественной системы управления в соответствие с европейскими аналогами в первую очередь нужно было реализовать принцип разделения властей на «законодательство, управление и судоправление». Целесообразность данной меры подтверждалась историческим опытом стран с разными культурными традициями. По словам Кочубея, с небольшими вариациями принцип разделения властей действовал во Франции, Англии и даже в Турции, что подтверждало его применимость, «какова бы ни была форма правительства».

Отсутствие в России разделения властей усиливало тенденцию к чрезмерной бюрократизации всего государственного аппарата и осложняло взаимодействие между Государственным советом, Комитетом министров и Сенатом, деятельность которых имела множество точек пересечения. Предельно четкое разграничение функций различных государственных органов способствовало бы повышению оперативности их работы, а главное, по словам В.П. Кочубея, могло бы в условиях, когда «Государь есть глава всех трех частей правительства», оградить его «от обмана и верных ошибок».

Обладая многолетним опытом работы в Министерстве внутренних дел и Комитете министров, а также участвуя в заседаниях Государственного совета и Сената, В.П. Кочубей настаивал на том, чтобы предельно четко определить сферу деятельности каждого из этих органов власти. В записке на имя императора он предлагал провести реформу системы государственного управления на следующих основаниях: 1) «...сохранить Государственный совет, предоставляя ему исключительно дела законодательные, коих то: новые законы, учреждение толкования законов, определение росписи доходов и расходов государственных»; 2) Сенат становится исключительно высшей судебной инстанцией, без каких-либо дополнительных административных полномочий; 3) высший административный орган исполнительной ветви власти — Совет министров, его основная задача — координация действий всех министерств, подготовка предложений по усовершенствованию российского законодательства императору и Государственному совету.

В целом положительно оценивая работу министерств после повышения в 1810–1811 годах личной ответственности министров, В.П. Кочубей писал о появлении новой негативной тенденции: усложнение порядка делопроизводства привело к излишней бюрократизации исполнительной ветви власти. Для предотвращения этого положения он предлагал упразднить или объединить близкие по своим функциям министерства. Целесообразным представлялось, например, слияние Министерства полиции и Министерства внутренних дел, Министерства народного просвещения и Министерства духовных дел, Министерства финансов и Государственного казначейства. Кроме этого, снижение темпов бюрократизации системы государственного управления, видимым проявлением которой стало повсеместное распространение «ненужной и многочисленной переписки», могло быть достигнуто за счет унификации и упрощения официального порядка делопроизводства. Общей целью всех предложений В.П. Кочубея было создание оперативно действующей и экономической системы управления.

Как и многие представители образованной части российского общества периода царствования Александра I, Кочубей размышлял о необходимости установления в России Конституции. Основой его рассуждений стал тезис о невозможности в силу масштаба страны, ограниченности времени и способностей одного человека, даже если он хорошо подготовлен

«Свобода и частный прибыток есть единое истинное движущее начало всякой промышленности...»

к исполнению обязанностей монарха, единолично управлять Российской империей. В декабре 1814 года, размышляя над проблемой, «как действительно Государю обнять все отрасли управления...», он убеждал русского самодержца в ошибочности распространенного в кругах консервативного дворянства суждения о том, что император всеми делами обязан управлять единолично. Именно «естественная» невозможность одновременно отслеживать разнообразные по своей направленности процессы во внутренней и внешней политике требовала создания системы обратной связи власти и общества. Признание важности формирования такой системы предопределило постановку вопроса о возможности заимствования опыта европейского конституционализма.

Считая Россию частью европейской цивилизации, В.П. Кочубей предполагал, что в неопределенной временной перспективе возможен переход к конституционной монархии, опирающейся на выборные органы сословного представительства. Несвоевременность немедленного изменения политической системы была обусловлена существенными различиями в экономическом и культурном развитии России в сравнении с развитыми европейскими государствами. Главное и принципиально важное отличие нашей страны — «низкая степень просвещения» граждан. Под этим словосочетанием Кочубей понимал не только уровень образования, но и способность личности к всестороннему анализу ближайших и отдаленных последствий принимаемых решений.

Объясняя свою позицию по данному вопросу, В.П. Кочубей писал: «В России... принадлежности законодательства не могут быть вверены никакому иному месту, как Государственному совету. Не могут они присвоены быть депутатам губернским, ибо степень просвещения еще слишком в Империи ограничена, чтоб можно было нам подражать другим». По его мнению, ориентируясь на опыт развитых стран, «следует, не повинуюсь слепо учреждениям чужеземным, соображать свои собственные с настоящим положением Государства и усовершенствовать оные». В этих условиях необходимым признавалось внимательное изучение западноевропейского опыта с последующим заимствованием лишь тех его элементов, которые соответствовали исторически сложившимся особенностям российской социально-политической системы.

Для В.П. Кочубея призыв отказаться от «слепого подражательства» Европе не означал отказа от стратегической цели — установления просвещенной конституционной монархии, опирающейся в своем правлении на мнение народных представителей. Однако продвижение в данном направлении не должно было быть поспешным. Такой подход полностью соответствовал либеральному представлению о прогрессе как постепенном и последовательном процессе развития от простых форм общественной организации к более сложным. В России при реформировании системы управления важно было сохранить способность государства проводить необходимые преобразования, направленные на «просвещение» народа, «восстановление силы закона» и укрепление права собственности. Свое-

временным и безопасным шагом признавалось не немедленное создание выборных органов сословного представительства, аналогичных европейским, а модернизация уже существующих государственных структур.

С этих позиций принципиально важная и первостепенная, по мнению В.П. Кочубея, задача — координация действий императора и просвещенного дворянства посредством установления информационного канала связи между дворянскими собраниями, губернскими администрациями, министерствами и Государственным советом. Подобный алгоритм подразумевал, что император анализирует поступающие к нему от дворянства предложения и на их основе обозначает стратегические цели развития страны. Конкретный же механизм достижения этих целей должны были бы, согласовывая свои действия с указанным самодержцем общим направлением движения, разрабатывать и воплощать в жизнь министры, сенаторы, члены Государственного совета. Такая дифференциация функций императора и «просвещенного» дворянства, с одной стороны, не противоречила традиционному представлению о верховенстве власти российского императора, а с другой — соответствовала идеальной модели просвещенной монархии, управляющей посредством постоянного взаимодействия верховной власти и граждан.

Таким образом, основные элементы социально-политических и экономических представлений В.П. Кочубея достаточно точно отражают противоречивость и синкретичность либеральной системы ценностей в России первой половины XIX века. Представители европеизированной части российского общества выражали приверженность либеральным принципам свободы личности, неприкосновенности собственности и верховенства закона. Однако при этом они подчеркивали необходимость укрепления государственных структур, призванных организовывать и координировать действия российских подданных. Такой патерналистский взгляд основывался на признании неготовности большей части населения страны к проявлению личной инициативы и отсутствию в России общественных институтов, подобных европейским.

ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТРОГАНОВ

«Никакая
правительственная мера
не может быть принята
в ущерб истинным
интересам нации...»

Жизнь и судьба, политические убеждения и взгляды графа Павла Александровича Строганова (1772–1817) представляют собой малоизученную страницу нашей истории. Его политическая биография и творчество «потерялись» на фоне таких современников, как М.М. Сперанский или Н.С. Мордвинов, во многом из-за того, что труды и письма Строганова существуют главным образом на французском языке и малодоступны для изучения историками.

Павел Александрович Строганов происходил из рода богатых купцов-солепромышленников, которые к XVIII веку уже стали дворянами-аристократами. Он родился 7 июня 1772 года в Париже, где в то время жили его родители. Отец, граф Александр Сергеевич Строганов, был известным меценатом, членом Государственного совета, сенатором, президентом Императорской академии художеств, директором Публичной библиотеки. Матерью П.А. Строганова была вторая жена Александра Сергеевича, урожденная княжна Екатерина Петровна Трубецкая. Рождение Павла совпало с пребыванием во Франции наследника-цесаревича, великого князя Павла Петровича, который и стал крестным отцом Павла Строганова.

Граф Александр Сергеевич Строганов был личностью выдающейся. Получил образование в Женеве, где обучался металлургии, но увлекся искусством и в течение жизни собрал огромную коллекцию. Покровительствовал художникам и писателям; в последние годы жизни занимался строительством Казанского собора, сам подбирал для него живописцев. А вот в семейной жизни все складывалось не так удачно. Первым браком он был женат на единственной дочери канцлера М.И. Воронцова. Этот брак продлился четыре года, после чего Анна Михайловна вернулась в родительский дом и потянулся длинный бракоразводный процесс. Не дождавшись его окончания, она умерла, и Александр Строганов вскоре женился на княжне Екатерине Трубецкой, которая, казалось, разделяла его взгляды и любовь к искусству. Они практически сразу после свадьбы отправились путешествовать по Европе, посетили в Фернее престарело-

го Вольтера. Основным местом их жительства стал Париж, где родились дети: сын Павел и дочь София.

Первые семь лет жизни Павел Строганов прожил в Париже, где и получил начальные знания. В 1779 году семья вернулась в Петербург, и образование сына было продолжено. Еще во Франции для Попо (как называли в семье юного Павла) был найден гувернер — им стал Шарль-Жильбер Ромм, которого рекомендовал старинный приятель Строгановых А.А. Головкин. В дальнейшем Ромм стал заметным деятелем Французской революции, депутатом Законодательного собрания и монтаньярского Конвента; он голосовал за казнь короля, стал автором революционного календаря, был лидером последних якобинцев. После Прериальского восстания 1795 года Ромм был приговорен к смертной казни, но не стал дожидаться гильотины и покончил с собой.

В начале 1780 года распалась семья Строгановых: его мать увлеклась бывшим фаворитом Екатерины II, Иваном Римским-Корсаковым, и, когда их роман стал известен, уехала за ним в Москву, бросив сына и мужа. От юного Павла долго скрывали семейную драму; отец, Александр Сергеевич, предоставил в распоряжение своей бывшей супруги и ее нового избранника имение в селе Братцево, разрешив общаться с сыном.

В июне 1781 года Павел Строганов в сопровождении Ромма отправился в продолжительное «образовательное путешествие» по России: они посетили Олонецкую губернию, Ладожский канал, Финляндию, Москву, Нижний Новгород, Казань. Потом направились в Пермскую губернию, где у отца Строганова числилось до 23 тысяч крестьян, ездили дальше — на Алтай и к Байкалу. В 1785 и 1786 годах путешествия по России были продолжены: второе — на Валдай, в Новгород, Москву и Тулу; третье — в Малороссию, Новороссию и Крым.

Осенью 1786 года П.А. Строганов получил чин корнета лейб-кирасирского полка, в списках которого числился с рождения, и был зачислен адъютантом к кн. Г.А. Потемкину. Адъютантская служба дала ему возможность получить разрешение на заграничную поездку для окончания образования. Давно мечтал о заграничном вояже и Ромм, о чем неоднократно писал отцу Павла Строганова.

Они отправились в июле 1786 года через Германию, Швейцарию во Францию, на родину Ромма. В 1787-м к ним присоединился троюродный брат Павла, барон Григорий Строганов со своим учителем Ж. Демишелем; их сопровождал крепостной художник Андрей Воронихин, известный впоследствии академик архитектуры и строитель Казанского собора в Петербурге, — ходили слухи, что он был внебрачным сыном А.С. Строганова.

Это длительное заграничное путешествие и особенно пребывание в революционной Франции оказали большое влияние на формирование взглядов Павла Строганова и выработку его политических убеждений. Поездка началась с посещения Рима, где Ромм навестил свою мать. С ноября 1787-го Павел Строганов жил в Женеве, где учился ботанике у натуралиста и философа Г.-Б. де Соссюра, химии — у П.Ф. Тенгри, физике —

у М.О. Пикте; изучал немецкий язык, упражнялся в фехтовании, верховой езде, плавании. Со своим воспитателем он посетил Швейцарские Альпы, познакомился с минералогией, осматривал заводы, фабрики, копи и другие промышленные предприятия.

В начале 1789 года Строганов и Ромм переехали в Париж, где, как и по всей Франции, происходили выборы в Национальное собрание. В Париже по настоянию Ромма Павел Строганов взял псевдоним и назвался «гражданином Полем Очером» — Очером называлось одно из заводских поселений в пермских владениях Строгановых.

Первоначально даже в революционном Париже Павел Строганов под наставничеством Ромма продолжал занятия. Он писал отцу 12 февраля 1789 года: «Мы здесь часто видим господина de Mailli и у него видели часть привезенных им из России руд, кои доказывают чрез их драгоценность его великим охотником и бывшим в дружестве с теми, которые имеют лучшие рудники в Сибири». Кроме того, в письме от 31 марта того же года он сообщал о встрече с Горацием-Бенедиктом де Соссюром. Однако после начала работы Генеральных штатов и взятия Бастилии ситуация изменилась: Ромма и его ученика увлекла революционная романтика.

С начала 1790 года Павел Строганов регулярно посещал заседания Национального собрания. В Париже Ромм основал клуб «Общество друзей закона» («Amis de la loi»), куда принял и своего ученика — диплом был выдан 10 января 1790 года. Инициатива создания этого клуба принадлежала Теруань де Мерикур — активной участнице похода парижан на Версаль в октябре 1789 года, в которую молодой Строганов страстно влюбился.

Когда Ж. Ромм со своим воспитанником приехали однажды из Парижа в Овернь, псевдоним Строганова был случайно раскрыт. После того как стало известно, что «Очер» — это граф Павел Александрович Строганов, Екатерина II потребовала немедленного его возвращения в Россию, в то время как Ж. Ромму въезд был запрещен. За Павлом отправили родственника и друга семьи Н.Н. Новосильцева, с которым у него в дальнейшем сложились дружеские и хорошие деловые отношения.

Уже перед отъездом в Россию, 7 августа 1790 года, Павел Строганов вступил в члены Якобинского клуба и получил диплом за подписью председателя клуба Барнава. Этот факт нашел отражение в ряде исследований советских историков: русский аристократ-якобинец! Якобинцем Строганов был около недели. При этом он никогда не высказывался в защиту революции как способа решения проблем верховной власти. Более того, Строганов, судя по его дальнейшему творчеству, постепенно пришел к выводу о нежелательности и пагубности революционных потрясений.

«Участие в революции» не прошло П.А. Строганову даром — после возвращения в Россию ему было запрещено проживать в Петербурге. Строганов поселился в подмосковном селе Братцево, где оставался до 1796 года и старался вести себя примерно. Женился на княжне Софье Владимировне Голицыной; в 1795 году у них родился сын Александр. На революционные темы Строганов не высказывался, отношения с Ж. Роммом не поддерживал,

и вскоре ему было разрешено въезжать в столицы. На одном из балов он познакомился с великим князем Александром Павловичем; между молодыми людьми сразу возникло взаимопонимание. С этого времени и в последующие годы граф П.А. Строганов почти постоянно находился в ближайшем окружении великого князя, а впоследствии императора Александра I. Теплые отношения сложились и у Софьи Владимировны Строгановой с великой княгиней (впоследствии императрицей) Елизаветой Алексеевной.

Еще в конце царствования Екатерины II, вместе с Н.Н. Новосильцевым, В.П. Кочубеем и А. Чарторыйским, Павел Строганов вошел в число доверенных лиц великого князя Александра Павловича. Этот «интимный кружок» сохранился и в первые годы царствования Павла Петровича, а после воцарения Александра был воссоздан в виде «Негласного комитета». В период правления Павла I Строганов, единственный из кружка, постоянно находился при великом князе Александре. В это время он и великий князь организовали «Санкт-Петербургский журнал». Строганов принимал активное участие в подборке материалов для журнала и, вероятно, финансировал его издание. В те месяцы Александр Павлович писал своему учителю Лагарпу, что, занимаясь подготовкой будущих реформ, «мы намеревались в течение настоящего царствования (Павла I) поручить перевести на русский язык столько книг, как это только возможно...».

Воцарение Александра I, как считал П.А. Строганов, открывало широкий простор для реформирования страны. Он был одним из инициаторов создания «Негласного комитета», который начал свою работу 24 июня 1801 года после приезда в Петербург остальных членов «интимного кружка» — Чарторыйского и Новосильцева.

Еще до приезда друзей Александр и Строганов определили круг вопросов, которые необходимо было обсудить на заседаниях «Негласного комитета». Сюда они отнесли в первую очередь проблему введения политических прав и свобод, а также серьезное ограничение (или даже отмену) крепостного права, так как считали, что «для того, чтобы исполнить первое, необходимо было разрешить второе». «Волновать дух народа» было опасно, поэтому Строганов предложил создавать проекты законов в абсолютной тайне и проводить их в жизнь без дальнейшего обсуждения, жесткими административными методами. Свои взгляды он изложил в ряде записок, составленных как по заданию императора, так и по собственной инициативе.

Первоначально Строганов предложил самому императору определить цели и задачи их совместной работы: «Не возьмете ли вы на себя труд, Ваше Величество, составить инструкцию комитету, чтобы рассеять все сомнения касательно его цели? Это внесет ясность в мысли всех. Не пожелаете ли Вы просто высказать свои мысли по этому поводу, чтобы можно было составить проект конституции, который будет Вам представлен для внесения изменений и утверждения?» В ответ Александр поручил самому Павлу Александровичу подумать над планом предстоящей работы в «Негласном комитете».

«Никакая правительственная мера не может быть принята в ущерб истинным интересам нации...»

Свои предложения по поводу задач Комитета граф Павел Александрович Строганов изложил в ряде записок: «Опыт изложения системы, которой надо следовать в реформе управления империей», «Принципы императора относительно реформы» и др. В обширных архивах Строганова сохранились две бумаги: «Генеральный план работы с императором над реформой» и «О состоянии нашей конституции», — которые, по всей вероятности, были написаны еще до начала постоянной деятельности «Негласного комитета», в качестве плана его работы. В первой записке определены основные принципы организуемого Комитета. Автор записки считал, что все преобразования должны исходить исключительно от императора, а не какого-либо государственного органа, например Сената. Строганов был убежден, что для глубоких реформ необходимо сначала провести ряд изменений в системе государственного управления: он предлагал начать с преобразования администрации, а уже затем составлять и вводить «конституцию». Базовой идеей, на основе которой необходимо разрабатывать все проекты преобразований, по мнению Строганова, должна быть мысль о незыблемости права частной собственности и права свободы распоряжения ею. Александр I одобрил «Генеральный план» Строганова и предложил использовать его в качестве основы для подготовки будущих реформ.

Именно в первые годы правления Александра I в полной мере раскрылись общественно-политические взгляды П.А. Строганова — в его записках, письмах, протоколах «Негласного комитета». Граф Павел Александрович, будучи в душе «республиканцем», считал наилучшей формой правления для России конституционную монархию. Его позиция по этому поводу нашла отражение в записке «О состоянии нашей конституции».

Конституция, по мнению П.А. Строганова, «есть выраженное в законе признание прав нации и установление способов их осуществления. Незыблемость прав нации должна быть гарантирована, чтобы никакая посторонняя власть не могла воспрепятствовать действию этих прав». Автор указывал, что, «если этой гарантии не существует, цель пользования правами, которая состоит в том, чтобы какая-либо правительственная мера могла быть принята в ущерб истинным интересам нации, — эта цель не будет достигнута, и тогда можно сказать, что нет никакой конституции». Строганов разработал и структуру предполагаемой конституции. Она должна была состоять из трех частей: 1) установление прав; 2) способ их использования; 3) гарантии «незыблемости».

П.А. Строганов подчеркивал, что изданные ранее русскими самодержцами «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам» лишь отчасти установили законы, однако отсутствие гарантий предоставленных прав почти свело их значение на нет. Строганов при этом указывал, что конституционное ограничение прав первого лица не исчерпывает всех проблем: ведь нарушить гражданские права может и временщик, и любой государственный орган, наделенный полномочиями без четкого обозначения его прав и обязанностей. Поэтому для составления Конститу-

ции необходимо первоначально выделить основные, базисные права, которые требуют обязательной и немедленной государственной охраны. Как считал Строганов, это «право собственности» и «свободное право делать с ней все, что не может быть вредным для других». «Конституция» у Строганова — это «закон, определяющий порядок, который следует соблюдать при создании административных законов, которые непременны, поскольку они не требуют видоизменений, объяснений и т.д., должны подвергаться перемене согласно известному, строго определенному, неизменному способу, который закрыл бы дверь всякому произволу и, следовательно, уменьшил бы зло, могущее произойти от различия способностей тех, кто стоит во главе государства».

Свою позицию по поводу необходимых преобразований государственного аппарата П.А. Строганов выразил в документах «Записка о правах Сената» и в проекте конституции под названием «Общий кодекс». Первый из этих документов посвящен вопросу разделения властей. Это черновой набросок с многочисленными карандашными пометками, однако общие проблемы государственного устройства отражены в нем достаточно подробно. По мнению Строганова, «власть Сената может быть ограничена единственно властью Его Императорского Величества», т.е. Сенат необходимо действительно сделать «Правительствующим». Законодательная власть должна быть «организована так, чтобы не была упущена ни одна предосторожность, направленная к тому, чтобы законы являлись плодом самых зрелых размышлений и самого подробного обсуждения». Для повышения эффективности исполнительной власти ее необходимо упорядочить и централизовать. Причем во главе этой власти должен стоять не человек, а учреждение — Совет министров или нечто подобное. Судебную власть, считал Павел Александрович, следует сделать максимально независимой и беспристрастной, ее нельзя смешивать с «охранительной», которая, в свою очередь, по логике построения государственного аппарата, заключена в самой организации управления страной.

Современная ситуация в Российской империи, по мнению П.А. Строганова, далека от идеальной. Ни структура, ни функции Сената не отвечают вышеназванным требованиям. Следовательно, необходимы глубокие преобразования, и не только собственно Сената. Для того чтобы поднять его значение, наделить вышеназванными полномочиями, требуется «обеспечить гражданское существование крестьянства», но это возможно только в перспективе. Строганов предлагал сделать Сенат высшим судебным органом, исполнительную же власть сосредоточить в независимых от него министерствах, которые должны заменить отжившие коллегии: «Благодаря этому все управление постепенно перейдет в руки исполнительной власти, и разделение двух властей будет поставлено на прочную основу».

Свое представление о структуре возможной конституции Строганов изложил в проекте, названном им «Общий кодекс». Несмотря на отрывочность дошедшего до нас документа, со всей определенностью можно сказать, что это достаточно подробно разработанный план государственного

«Никакая правительственная мера не может быть принята в ущерб истинным интересам нации...»

устройства Российской империи, разделенный на 13 глав и 98 статей, хотя большинство из указанных статей лишь обозначены, а не прописаны подробно. Первая статья данного документа гласит, что Россия — это монархия, и глава государства объединяет законодательную и исполнительную власть. При этом Строганов указал на необходимость четкого определения прав и обязанностей самого монарха. Так, российский император должен иметь незыблемое право утверждать и отменять законы, вести войну и заключать мир и т.п. В обязанности же российского монарха должно входить поддержание внутреннего и внешнего спокойствия государства, поддержание религии, охрана собственности и безопасность личности.

Политические преобразования Строганов тесно связывал с положением крепостных крестьян и ратовал за постепенную отмену крепостного права. Он считал, что крепостное право разлагающе действует и на самих крестьян, делая их безынициативными, и на помещиков. Он указывал, что дворянство при этом превращается в невежественный класс, ищущий только выгод на службе и не думающий об Отечестве. Крестьяне, лишённые возможности реализовать свои таланты, «костенеют». Он писал, что «опасность заключается не в освобождении крестьян, а в удержании крепостного состояния». В записке «О состоянии нашей конституции» он указывал, что положение крестьян не отражено четко в законодательстве, фактически крепостные крестьяне не были субъектами социальных отношений. Однако его разработка требует большой осмотрительности, «чтобы неосторожные слова не вызвали бы смятение в умах крестьян и не привели бы к весьма печальным последствиям». В записке «Об установлении состояния крестьян» Строганов доказывал, что крепостным необходимо предоставить свободу и собственность. Правда, он подчеркивал, что применяет данные понятия лишь в условном смысле слова. Речь шла о ликвидации в отношениях помещиков и крестьян элементов рабства, законодательном определении прав помещиков и обязанностей крестьян. Так он предлагал установить такой оброк для крестьян, который соотносился бы с их уровнем доходов и фактическими возможностями. А это, в свою очередь, позволит разбогатеть и крестьянину, и помещику, превратив крестьянина в «хорошего фермера».

Одной из наиболее злободневных тем, которая обсуждалась на заседаниях «Негласного комитета» (и это нашло отражение в протоколах, составляемых Строгановым), была проблема народного образования. Подготовка проекта реформы образования была возложена на Лагарпа, учителя Александра Павловича. Строганов знал об этом, что не мешало и ему самому размышлять и писать о проблеме. Объездив половину России и всю Европу, П.А. Строганов имел общее представление о системе образования в Российской империи и за границей. Сравнение было явно не в пользу отечества. Строганов вообще не увидел образовательной системы в России, назвав ее «хаотичной». По его убеждению, все существующие в стране учебные заведения — частные пансионы, народные школы, кадетские корпуса, университеты — существовали как бы сами по себе, выполняя частные, а не го-

сударственные задачи. Еще хуже, по его мнению, дело обстоит с методикой преподавания. Строганов писал, что «методы, используемые в этих школах, устарели. Науки, которые преподают в школах, те же, что и пятьдесят лет назад. Их нужно преобразовывать в соответствии с системой, меняя плохое на хорошее». Прежде всего необходимо было создать единую систему управления образованием, распространив ее по всей территории империи. Система народного образования, размышлял Строганов, должна иметь несколько уровней. На первом уровне следует обеспечить распространение общих знаний, доступных фактически для всех слоев населения. Второй уровень необходим для тех, кто уже получил первый и готовит себя к общественной деятельности. Для приобретения таких знаний необходимы специальные училища: морское, артиллерийское, горное, инженерное. В качестве примера он привел образование во Франции, где наблюдается «систематический порядок, согласно которому все выстроено».

Итак, граф П.А. Строганов принимал активное участие в политической жизни России начала XIX века, вел протоколы «Негласного комитета», сам был автором ряда проектов реформ. Он был одним из инициаторов реформы Сената 1801 года, министерской реформы 1802 года, реформы цензуры и ряда других. В год учреждения министерств Строганов получил чин тайного советника и был назначен товарищем министра внутренних дел, помощником графа В.П. Кочубея. В его ведении находились третья экспедиция Департамента внутренних дел и медицинское ведомство, которым он управлял более трех лет.

С 1804–1805 годов направленность интересов императора Александра Павловича начала меняться с внутренних преобразований на решение внешнеполитических проблем. П.А. Строганов поддержал его и в этом: в 1805 году он сопровождал Александра I в походе против Наполеона; тогда же он исполнял дипломатические поручения по сношениям с венским, берлинским и лондонским дворами, а в начале 1806 года уехал в Лондон с дипломатической миссией, целью которой были русско-английские договоренности о противодействии Наполеону.

В 1807 году, с открытием новой кампании против наполеоновской Франции, П.А. Строганов поступил в армию простым волонтером — случай исключительный в летописях служилого русского дворянства. Он командовал казачьим полком и 24 мая 1807 года получил боевое крещение: во главе полка форсировал реку Алле и атаковал обозы корпуса маршала Даву. Добычей отряда Строганова в числе прочего стали личные вещи наполеоновского любимца: шляпа и футляр от маршальского жезла. За это сражение П.А. Строганов был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени и получил чин генерал-майора. 27 января 1808 года его назначили командиром лейб-гренадерского полка, в дальнейшем он был прикомандирован к главнокомандующему Южной армией князю Багратиону и уехал на Дунай. Принимал активное участие в Русско-турецкой войне: участвовал в осаде Мачины, сражался в авангарде Платова и с ним 30 августа 1809 года занял Кюстенджи. В 1811 году Строганов был пожалован в генерал-адъютанты.

«Никакая правительственная мера не может быть принята в ущерб истинным интересам нации...»

С началом Отечественной войны граф Павел Александрович Строганов отправился на западную границу и принял командование сводной дивизией, входившей в состав 3-го корпуса генерал-лейтенанта Тучкова. В битве под Бородином дивизия Строганова обороняла деревню Утицы, а после гибели Тучкова, как старший после него по званию, Строганов принял командование 3-м корпусом. Значительны были его заслуги и в битве под Красным, где Строганов помог генералу Милорадовичу истребить корпус маршала Нея.

После кратковременного отпуска для лечения, взяв с собою своего 18-летнего сына Александра, П.А. Строганов снова отправился в действующую армию, которую догнал уже в Германии. В битве под Лейпцигом, находясь в армии Беннигсена, он проявил выдающееся мужество, за что был удостоен ордена Св. Александра Невского. 23 февраля 1814 года участвовал в битве под Краоном, где французскими частями командовал сам Наполеон Бонапарт. В разгар боя Павлу Строганову пришла страшная весть о гибели сына Александра, которому ядром буквально оторвало голову. Князь Адам Чарторыйский писал тогда Н.Н. Новосильцеву: «Слыхали ли вы уже, милый друг, о случившемся несчастье? Бедный Александр Строганов убит почти на глазах своего отца, который в полном отчаянии. Редко что-либо меня так огорчало. Император хочет послать Строганова в Петербург; это было бы самое лучшее. Несчастье этого семейства ужасно; несчастье, которому ничем не помочь и которое постигло друзей, надрывая сердце». П.А. Строганов отправился в Петербург с прахом сына, который был с воинскими почестями захоронен в Александро-Невской лавре.

18 июня 1814 года П.А. Строганов был назначен членом комитета для вспомоществования неимущим увечным воинам. Однако здоровье его было подорвано настолько, что продолжать службу он не смог. В феврале 1817 года выехал для лечения за границу, но по дороге ему стало хуже, и он умер на морском корабле, недалеко от Копенгагена. Тело П.А. Строганова было переправлено в Петербург и погребено рядом с сыном в семейной усыпальнице на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в присутствии императорской семьи.

Граф С.Р. Воронцов, оплакивая кончину Строганова, писал своему сыну 14 августа 1817 года: «Кроме прекрасного характера, он отличался возвышенностью души, весьма редкою в людях, которые живут при дворе и близки по делам к самому Государю. Надо иметь очень твердые начала и особенную душевную крепость, чтобы противостоять дурным примерам, заразе честолюбия, ненасытности в искании власти, богатства, чинов, суетных отличий и всего того, чем так услаждаются министры и фавориты... Граф же Строганов, державшийся начал более возвышенных и имея душу более крепкую и благородную, будет всегда памятен людям, которые его знали и которым горестно видеть, как мало остается у нас людей с твердою волей».

АДАМ АДАМОВИЧ ЧАРТОРЫЙСКИЙ

«Я хотел политики,
основанной на общем
благе и соблюдении
прав каждого...»

Эпоха Наполеоновских войн привнесла много нового в европейскую политику. Французская революция, с ее принципами свободы, равенства и братства, уходила в прошлое. Становилась популярной идея компромисса — мирного соглашения республиканских принципов Французской революции и патримониальной идеи монархических режимов России, Англии, других стран Европы. «Легитимизм» как политическая доктрина компромисса, появившаяся в эпоху Наполеона Бонапарта, проделала значительную эволюцию. На заре своего существования она включала как обязательную часть конституционную идею. Но уже на Венском конгрессе 1814–1815 годов «легитимизм» проявился как форма сохранения феодальных монархий и решительного противодействия революционным и национально-освободительным движениям. В России все перипетии эволюции европейского «легитимизма» ярко отразились в судьбе крупного либерального политического деятеля и дипломата князя Адама Чарторыйского (1770–1861).

Его отец, Адам Казимир Чарторыйский, в 1770-х годах был генерал-губернатором Подолии, владельцем обширных земельных владений. «Партия Чарторыйских», объединявшая значительные круги польской шляхты, вынашивала планы добиться польской короны при посредничестве России, Англии и Австрии и провести ряд крупных государственных преобразований. Ей противостояла другая группировка польских магнатов во главе с Потоцким, искавшая поддержки у Швеции, Франции и Турции.

Отец ориентировал Адама на большую государственную карьеру. Для получения образования и изучения конституционного права он послал сына в Англию. Двадцатилетним юношей тот участвовал в военных столкновениях во время очередного «раздела Польши». На фамильные владения Чарторыйских русскими властями был наложен секвестр, а сами условия существования семьи Чарторыйских стали зависеть теперь от воли русской императрицы Екатерины II. Она выдвинула условием возврата фамильных владений выдачу двух старших сыновей Чарторыйских, Адама и Константина, и дальнейшее их присутствие при русском дворе, фактически в качестве заложников.

Адам Чарторыйский, семью годами старше внука Екатерины II, великого князя Александра Павловича, постепенно стал его близким другом. При этом гордый польский князь остался патриотом своей родины и сторонником ее независимости. В его голове органично сочетались идеи реформ в Российской империи и польского освобождения. Он глубоко продумал план мирного противодействия намерениям Наполеона Бонапарта установить свое господство в Европе. Сильное влияние на Чарторыйского имел прусский канцлер Штейн, в первую очередь его идея создать агрессивным планам Наполеона противовес в виде союза итальянских и германских государств. Адам Адамович соглашался с утверждением Штейна, что «основная идея, способствующая поднятию духа в нации, заключается в преумножении нравственного, патриотического и религиозного начала в народе, что именно эта идея внушает нации мужество, доверие к себе, готовность ко всякой жертве, чтобы отвоевать свою независимость и восстановить честь».

С приходом к власти сына Екатерины, Павла Петровича, положение Чарторыйских изменилось. В 1798 году Павел принял титул Великого магистра Мальтийского ордена, и оба брата, Адам и Константин, были пожалованы титулами кавалеров ордена. Эта милость польским заложникам была оказана благодаря протекции князя Н.В. Репнина. Обещая родителям братьев Чарторыйских «все устроить на берегах Невы», Репнин поручил их особому покровительству князя А.Б. Куракина, личного друга императора Павла. Но еще ранее, 5 марта 1795 года, при жизни Екатерины, был снят секвестр с имений Чарторыйских в Польше, а с 12 августа 1799-го Адама зачислили в российскую Коллегию иностранных дел в чине тайного советника и отправили в качестве императорского посланника в Сардинское королевство.

Наследник русского престола Александр Павлович с ранних лет испытывал искреннее расположение к Адаму. В первые же недели своего воцарения он вернул польского князя из Сардинского королевства, где тот все еще оставался русским послом. Наряду с другими «молодыми друзьями» (Н.Н. Новосильцевым, П.А. Строгановым, В.П. Кочубеем) Адам Чарторыйский вошел в «Негласный Комитет», ставший важнейшим совещательным органом при царе.

По образному выражению Герцена, «Александр явился на царский помост с Лагарпом в голове, окруженный седым догнивающим развратом екатерининской эпохи». Влияние главного воспитателя императора Александра несомненно. В этом отношении характерно письмо, написанное Лагарпу еще наследником-цесаревичем Александром 27 сентября 1797 года: «Наконец-то я мог свободно насладиться возможностью побеседовать с Вами, мой дорогой друг... Письмо это передаст Вам Новосильцев; он едет с исключительной целью повидать Вас и спросить Ваших советов и узаконений в деле чрезвычайной важности — об обеспечении блага России при введении свободной конституции... Я поделился этой мыслью с людьми просвещенными, со своей стороны много думавшими об этом.

Всего-навсего нас четверо, а именно: Новосильцев, граф Строганов, молодой Чарторыйский, мой адъютант, выдающийся молодой человек, и я».

С 1802 года внешнеполитические задачи России решало Министерство иностранных дел, куда канцлером был назначен один из влиятельных сановников — Александр Романович Воронцов, человек независимых суждений и сторонник сенатской конституции. С угасанием «Негласного Комитета» Адама Адамовича перевели на пост помощника министра иностранных дел, а затем, по рекомендации графа Воронцова, — на пост министра иностранных дел Российской империи. Здесь и развернулась реализация планов Чарторыйского на мирную инициативу в эпоху Наполеоновских войн. По мнению выдающегося историка А.А. Кизеветтера, создавшего школу русской либеральной историографии, «время участия России в коалиции против Наполеона составило пору наибольшей близости Чарторыйского к русскому престолу». Сотрудничество их с Воронцовым вполне естественно. Канцлер придерживался английской ориентации и был давним другом и сторонником преобразования российской государственной системы. К концу жизни, уже старый и немощный человек, он увидел в Чарторыйском достойного преемника. Но и Адам Адамович относился к старому графу с большой симпатией. «Канцлер Воронцов, — вспоминал он позже, — обладал высокими свойствами характера, которые располагали к себе даже наиболее враждебно настроенных участников партий. Канцлер говорил всегда спокойно, мягко, с достоинством, не раздражаясь возникшими трудностями».

В молодом окружении Александра I польский князь был наиболее подготовлен к высокой дипломатической миссии. Первое воспитание он получил в Варшавском кадетском корпусе. Среди его учителей был депутат Французского учредительного собрания Дюпон де Немур, который специально для братьев Чарторыйских написал краткий курс политической экономии на основании учения физиократа Франсуа Кенэ. В Германии Адам познакомился с философами и просветителями — Гете и Гердером. Во время учебы в Англии и Шотландии его наставником был флорентиец Симеон Плантонелли. На рубеже XVIII–XIX столетий Чарторыйский вполне усвоил новейшие политические веяния, принял непосредственное участие в борьбе за Польскую конституцию 1791 года. Проведенный русским императором на первые роли в государстве, он вполне отдавал себе отчет в том, с каким врагом во внешнеполитической сфере ему придется иметь дело. «Наполеон, — написано в его мемуарах, — был наиболее велик во время своего консульства... Менее великим представляется он мне за то время, когда облекся он в императорское достоинство, накрылся короной и занялся придворными церемониями, титулами, старинным этикетом. Все, что походит на тщеславие, умаляет истинное величие».

Император Александр видел в Адаме Чарторыйском первого помощника в борьбе с Наполеоном. Пытался он на него опереться и во внутренней политике, поручив составление проекта манифеста, приуроченного к коронации в сентябре 1801 года. Как вспоминал позже сам Чарторыйский,

«Я хотел политики, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого...»

Александр Павлович остался «доволен обо всем, что касалось проведения в жизнь практических идей, о преобразовании Сената, суда, раскрепощения масс, о реформах, удовлетворяющих социальной справедливости, о либеральных учреждениях». Но не решился на те радикальные меры, которые содержались в предложенном проекте, и более об этом никогда не заговаривал.

Однако в отношениях с внешним миром Александр I обойтись без Чарторыйского не мог. Россия все ближе подходила к опасной черте прямого столкновения с наполеоновской Францией. Если в 1795 году Наполеон еще оставался республиканцем, врагом монархии и роялистов по убеждению, то с 1799-го он установил режим личной власти, сосредоточив в своих руках всю ее полноту, а в 1804-м провозгласил себя императором. Адам Адамович тяжело переживал перемены в Европе: «Империя, возникшая на обломках революции, служила доказательством абсурдности так называемых освободительных режимов, которые после сильных и опасных потрясений приводят государство в конце концов к исходному пункту — к восстановлению того порядка вещей, от которого хотели освободиться».

Чарторыйский, как, пожалуй, никто другой из политических деятелей Европы, осознавал цель, преследуемую Наполеоном. «Выступая на мировой арене, — писал он, — Наполеон отбросил все, что могло заставить поверить в его высокую и благородную миссию. Это был Геркулес, не думавший более о гуманности и стремящийся употребить силу на порабощение мира. Все его желания сводились к восстановлению всюду неограниченной власти со всеми ее злоупотреблениями. Он превратился в обыкновенного узурпатора, и было вполне справедливо бороться с ним его же средствами. Наполеона поддерживали те, у кого страх пересиливал все соображения».

Российский министр иностранных дел Адам Чарторыйский поставил перед собой непростую задачу — противостоять Наполеону-Геркулесу. Он внимательно изучил приемы опытного Воронцова, особо отметив, как именно тот понимал сущность русской нации, ее ментальность. «Всякое проявление могущества, — считал Воронцов, — будь оно даже несправедливым, нравится русским... Первенствовать, повелевать, подавлять — потребность их национальной гордости». «Слабым странам, — толковал его слова Чарторыйский, — надо внушать страх перед русским могуществом. Так Россия поступала по отношению к Шведскому королевству. ... Тогдашняя политика Австрии, в особенности после Люневильского мира 1801 года, заключенного в результате разгрома австрийских войск Наполеоном Бонапартом, велась в жалобно-сентиментальном тоне и позволила России внести в свой тон менторские и властные нотки. Отношения с Пруссией держались на близости двух монархов».

Вся континентальная Европа страшилась Наполеона. Россия, хотя и была настроена миролюбиво, взяла тон, демонстрирующий, что она исходит из равенства сил и считает себя независимой. Чарторыйский связывал осуществление своей внешнеполитической программы с опре-

деленной ролью Англии, которая должна была занять ключевые позиции в осуществлении намеченной им программы. Но позиция Англии сдерживалась Амьенским договором, заключенным 27 марта 1802 года между Великобританией и Францией и завершавшим распад второй антинаполеоновской коалиции. Однако мир с Францией оказался недолговечен. В следующем, 1803 году война возобновилась. В этих условиях уже непрекращающейся вражды между Англией и наполеоновской Францией русская дипломатия сочла целесообразным возобновить контакты с Великобританией на новом уровне.

Александр I, сделав Воронцова-старшего канцлером, продолжал настороженно относиться к обоим братьям Воронцовым. Он не доверял и младшему брату — Семену Романовичу, многолетнему послу Российской империи в Лондоне. По мнению и царя, и Чарторыйского, «безграничный поклонник Англии» граф С.Р. Воронцов был не способен объективно оценить опасность, исходившую от Наполеона, и найти опору в новом раскладе политических сил. Александр предпочел отправить в Европу человека из своего окружения, члена «Негласного Комитета», которому мог безгранично доверять. Выбор пал на Н.Н. Новосильцева, получившего теперь неограниченные полномочия. Ему предписывалось руководствоваться инструкцией Министерства иностранных дел, составленной Адамом Чарторыйским. Этот документ и явился тем стержневым планом, который лег в основу внешнеполитической миротворческой инициативы Чарторыйского.

Первостепенная задача миссии Новосильцева в Лондоне состояла в том, чтобы договориться с премьер-министром Уильямом Питтом-младшим, лидером «новых тори» и одним из инициаторов антинаполеоновской коалиции, о системе сопротивления агрессии Наполеона. В инструкции Чарторыйского, содержащей план создания общеевропейской безопасности, отводилось место и плану переустройства Европы без Наполеона. Ее автор предлагал «дружественной Англии» глубокие и серьезные преобразования в международных отношениях, особо подчеркивая миротворческую инициативу России и главного миротворца — императора Александра I. Польский князь хорошо изучил характер самолюбивого русского монарха и льстил его тщеславию, отводя решающую роль на международной арене именно ему. Надо признать, что Чарторыйский в переплетении дипломатических интересов пытался найти точку опоры и для решения судьбы Польши, ее восстановления как самостоятельного государства. Это не мешало ему, однако, блюсти национальные интересы России.

Позднее, уже порвав с Россией, Адам Адамович вспоминал: «Я хотел, чтобы Александр сделался в некотором роде верховным судьей и посредником для всех цивилизованных народов мира, чтобы он был защитником слабых и угнетенных, стержнем справедливости среди народов, чтобы, наконец, его царствование послужило началом новой эры в европейской политике, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого». По существу, эти слова обнаруживают приверженность их автора просветительским ценностям, приверженность, которая опиралась на юно-

«Я хотел политики, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого...»

шеские впечатления, вынесенные из первых лет знакомства с цесаревичем Александром Павловичем. «Моя политическая программа, — писал позже Чарторыйский, — была горячо поддержана императором. План мой касался далекого будущего, оставляя открытое поле воображению и всякого рода комбинациям».

Свой внешнеполитический замысел, продуманный до тонкостей в течение нескольких лет пребывания на дипломатической службе, Чарторыйский изложил в сочинении «Опыт дипломатии». Объединяющей идеей для всех стран Европы он считал пробуждение национальных и патриотических чувств народов, попавших под владычество Наполеона. «Я говорил о постепенном освобождении народов, несправедливо лишенных их политической самостоятельности; я не боялся говорить о греках и славянах, ибо подобная мысль не шла вразрез с взглядами и желаниями русских; однако те же принципы должны быть применены и к Польше... Моя политическая программа вела к постепенному восстановлению королевства. Я избегал произносить имя Польши, идея ее восстановления вытекала сама собой из моей программы и того направления, которое я хотел русской политике».

Идея освобождения угнетенных народов служила доминантой в плане Чарторыйского. Еще будучи посланником в Сардинии, он чутко уловил потребность разобщенных итальянских земель в объединении и создании в будущем национального независимого государства, свободного от иноземного владычества. Он считал необходимым «предохранение государств Италии от завоевательных действий Франции и от порабощения их Австрией», а восстановление независимости, территориальной целостности рассматривал как объективную перспективу. Занимаясь внешней политикой в правительстве Александра I, Чарторыйский выступил с инициативой создания союза итальянских государств, и не ошибся. Именно вокруг Пьемонта (Сардинского королевства) и острова Сардиния позже, в 1870 году, завершился подъем Рисорджименто и произошло объединение Италии. Дж. Берти, автор известной книги «Россия и итальянские государства в период Рисорджименто», решающим считает период второй коалиции — именно то время, когда Адам Чарторыйский был русским посланником в Сардинии. «Рано или поздно, — писал Берти, — эта внешняя политика России, главной защитницы Италии на международной арене, должна была найти поддержку у представителей итальянских правящих классов».

Сам автор миротворческого проекта отводил в нем объединенным итальянским государствам немалую роль. Он призывал оставить в стороне свои частные разногласия и, проникшись лишь общими интересами, образовать итальянским королевствам «своего рода конфедерацию». Первым шагом на этом пути мог бы стать союз Пьемонта и Неаполитанского королевства, к которому позже присоединятся остальные итальянские государства. Замыслы Чарторыйского шли и дальше. Он надеялся, что к союзу итальянских государств присоединятся Испания и Португалия.

Другое направление этого внешнеполитического плана — более традиционное сближение России с германскими государствами. При этом ставка делалась не на Пруссию, что бывало раньше, а на такие германские государства, как Бавария, Вюртемберг и другие мелкие герцогства и графства — в качестве противовеса влиянию Пруссии и Австрии.

Чарторыйский стал одним из первых российских политиков, кто выдвинул идею панславизма и последовательно ее отстаивал. План единения и взаимопомощи всех славян и греков, как единоверцев и братьев по крови, вошел органической частью в его миротворческую доктрину. Предлагавшееся объединение всех славян, в том числе и поляков, давало надежду на предотвращение попыток Наполеона захватить Польшу и на получение прочных гарантий ее независимости.

Три названных компонента плана (конфедерация итальянских государств, федерация германских и союзы славянских и греческого народов) дополнялись весьма существенным политическим заключением (впервые эти идеи были включены в «инструкцию» Н.Н. Новосильцева от 11–23 сентября 1804 года). Предложение Чарторыйского сводилось к созданию «Плана европейской лиги». Предполагалось, что после победы над Наполеоном «умиротворенная Европа» станет жить по новому международному кодексу. «Новые правила», обязательные для всех держав, будут содержать требование не начинать войны, соблюдать мир и следовать миротворческой идее до тех пор, пока не использовано требование третейского посредничества. Те страны, которые признают этот кодекс, могут образовать «Европейскую лигу», в которой Россия и Англия выступили бы гарантами нового международного устройства.

Однако замыслы Чарторыйского не сбылись, ибо они натолкнулись на твердое сопротивление Англии, которая вовсе не собиралась уступать ни в одном из затронутых вопросов. В германских делах англичане собирались опереться именно на Пруссию и Австрию, чтобы предотвратить возрастающее влияние России в германском мире. Противопоставить России сильную Пруссию стало задачей английской дипломатии в начале века. Та же тенденция прослеживалась в отношении намерения создать самостоятельные государства славян и греков на Балканах и Восточном Средиземноморье. Этот регион также начал входить в сферу влияния английской дипломатии. Все осложнения стали очевидны для Чарторыйского в ходе миссии Новосильцева в Лондон. Он с горечью писал А.Р. Воронцову: «Политика Питта уже в 1790 году была проникнута величайшей недоброжелательностью ко всяким новым приобретениям России».

Вскоре и сама миссия оказалась под угрозой срыва. «Я боюсь, что нас хотят провести», — писал Чарторыйский Новосильцеву, который жаловался на несговорчивость англичан. Однако настаивал на продолжении переговоров в Лондоне, и, несмотря на глубокие противоречия и столкновения интересов Англии и России в Центральной Европе и на Балканах, в апреле 1805 года между Лондоном и Петербургом был заключен договор, положивший начало новой антинаполеоновской коалиции.

«Я хотел политики, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого...»

Внешнеполитический план, проникнутый идеей защиты национальных интересов России, далеко не у всех в окружении Александра I встречал одобрение. «Благосклонность ко мне императора, надо признаться, действительно могла подать повод к подозрению, злословию и наговорам, — вспоминал впоследствии Чарторыйский. — Поляк, пользующийся полным доверием императора и посвященный во все дела, представлял явление оскорбительное для закоренелых понятий и чувств русского общества». Князя заподозрили в тайном сочувствии Франции, в желании вовлечь молодого императора в переговоры с Бонапартом и, «так сказать, держать его под очарованием гения Наполеона». Петербургские светские салоны стремились очернить его, возложив на него ответственность за неудачи в европейской политике. Между тем Адам Адамович прекрасно понимал, что Наполеон представлял большую опасность для всех европейских держав, как могущественных, так и второстепенных: «Русские всегда подозревали меня в желании склонить русскую политику к тесной связи с Наполеоном, но я был далек от этой мысли, ибо для меня было очевидным, что всякое соглашение между этими двумя государствами было гибельным для интересов Польши».

Чарторыйский продолжал настаивать на своем плане по преодолению намерений Наполеона завоевать Центральную Европу и распространить агрессию на Польшу и Россию (тому есть свидетельства, рассеянные по разным архивам). Он бережно сохранял дипломатические связи с Сардинией. Налаживая контакты с другими итальянскими государствами, вел с ними активную переписку (уже на посту министра иностранных дел России). Им подготовлен ряд правительственных документов («Проект декларации России и Неаполитанского королевства — 1894 год», «О высадке в Неаполе русского войскового десанта в противовес интересам Бонапарта в 1805 году»), собрана и тщательно сохранена вся корреспонденция по итальянскому вопросу («Записка неустановленного неаполитанца о планах французов в Неаполитанском королевстве 1804 года», «Письмо Александра I королю Сардинии Виктору Эммануилу от 2 января 1805 года с предложением заключить соглашение, преследующее общие антинаполеоновские цели»). Обращает на себя внимание «Инструкция» Александра I, составленная Адамом Чарторыйским 18 февраля 1805 года; ситуация в Италии определяется им как крайне опасная: «Властолюбие французского правительства требует упрочения королевства Неаполитанского». Документ призывает монарха «Королевства обеих Сицилий» к активным действиям; внимание в нем обращено на грозящее присоединение Савойи и Пьемонта к Франции, которая в результате этих захватов получает «недозволенное владычество над всей Италией»: «Король Неаполитанский один довольно долго избегал сего ига, хотя и не в силах противостоять давлению французских войск в его областях. Бонапарт не довольствуется настоящим могуществом Франции, ищет распространить оное на счет владений Оттоманской империи и выйти к Средиземному морю». Заканчивается инструкция сообщением о переводе отряда войск из Корфу в Средиземное море для защиты Неаполя.

Политические события, развернувшиеся в Европе в 1805–1806 годах, не позволили осуществиться замыслам политика. В правящих кругах России все настойчивее звучали голоса, требующие его отставки с поста министра иностранных дел и отзыва Семена Воронцова из Лондона. В сложившихся условиях Чарторыйскому уже нечего было терять, и он подал императору «Записку» (датированную 9 декабря 1806 года) с предложением предоставить Польше автономию и провозгласить ее королевством, мотивируя это опасностью захвата его родины Наполеоном; наследственным королем предлагалось провозгласить русского императора Александра I. Себе автор «Записки» отводил скромную роль «советника». Ответ был резко отрицательным.

Вместо изоляции Пруссии, которую предлагал Адам Адамович, русский император заключил союз с прусским королем Фридрихом Великим. Но окончательно порвать со своим давним другом не решился: накануне возможной войны с Наполеоном России было необходимо заручиться сочувствием Польши. Он посетил Пулавы — родовое имение Чарторыйских, но вслед за этим навестил и Фридриха. Их переговоры определили рамки сотрудничества России и Пруссии. На предстоящее свидание с Наполеоном в Тильзите Александр пригласил в числе других сановников и Чарторыйского, но его советы потонули в хоре голосов других сановников.

После подписания Тильзитского мира 7 июля 1807 года и образования Герцогства Варшавского Чарторыйский покинул пост министра иностранных дел. Он назвал это соглашение гибельным; осудили его и другие «молодые друзья» Александра: В.П. Кочубей просил об отставке, Строганов и Новосильцев стали распространять в Петербурге антитильзитские памфлеты, им вторил и Чарторыйский. Это событие стало ошибкой не только для русского императора. По мнению историка Наполеоновских войн Ф. Меринга, просчитался и Наполеон, думавший, что договор с Россией поможет ему одолеть главного врага — Англию: «Тильзитский мир, казалось, возводил французского императора на вершину могущества, но на самом деле был величайшим грехопадением в его жизни».

Отстранение министра иностранных дел с его поста не означало полного разочарования Александра I в своем многолетнем соратнике. С 1802 по 1822 год Чарторыйский являлся попечителем Виленского учебного округа, где находился знаменитый университет, один из старейших в Европе. Компетентность польского князя в вопросах просвещения не раз была отмечена царем. С 1802 года он числился товарищем министра народного просвещения, занимаясь преимущественно университетской политикой. Он составил Устав для Виленского университета, а позже стал одним из авторов Устава 1804 года для всех университетов Российской империи, который впервые предоставлял этим учебным заведениям автономию.

Виленский университет стал одним из источников вольномыслия в России и Польше. В нем, по приглашению Чарторыйского, сотрудничал граф Стройновский, в свое время получивший золотую медаль от Вольного экономического общества за проект освобождения крестьян и перевода

«Я хотел политики, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого...»

их на найм в помещичьих усадьбах. Здесь преподавал поэт Адам Мицкевич: его поэма «Дзяды», содержащая активный призыв к защите национальных интересов Польши, имела широкое распространение. К тому же времени относятся действия вольнолюбивых обществ филлятов и филоретов, которые близко сотрудничали с тайными организациями русских дворянских революционеров. В Вильно имелись связи и с Польским патриотическим обществом.

Адам Чарторыйский напрямую связывал успехи просвещения с политической сферой деятельности государства. Его отец, Адам Казимир Чарторыйский, в свое время (1773–1794) инициировал создание Эбукационной комиссии по просвещению польского народа: по существу, это первая попытка создания в Европе министерства просвещения. Программа просвещения входила составной частью в миротворческий проект Чарторыйского, который мыслил будущее Европы как демократический союз национальных государств, основанных на широком развитии просвещения.

С 1811 года намечается новое сближение Чарторыйского с Александром I. В самый канун войны Наполеона с Россией неминуемо встал вопрос о Польше. Адам Адамович сам ищет способы обратить на это обстоятельство внимание русского императора. В письме к Марии Федоровне М.М. Алопеус, один из ведущих русских дипломатов, передает просьбу Чарторыйского, связанную с его новым дипломатическим замыслом относительно Польши. Императрица выступает посредницей в передаче письма от 6 января 1811 года Александру I. Его автор советует присоединить к Польше русские пограничные области, «чтобы границей была Двина, Березина и Днепр». Между Чарторыйским и императором возникает переписка, в которой выясняются новые детали воссоздания Речи Посполитой.

Чарторыйский предполагал, что возрождение его родины возможно под скипетром великого князя Михаила Павловича. Но Александр, на словах соглашаясь с этим замыслом, настаивал на сохранении Литвы, Подолии и Волыни в составе собственно России, продолжая рассматривать эти области как исконно русские. В переговорах с Наполеоном русский император всегда выступал против «воссоединения Польши».

Сближение позиций Чарторыйского и Александра I произошло на Венском конгрессе, открывшемся в сентябре 1814 года и завершавшем борьбу коалиции европейских держав с Наполеоном. Император взял с собою ряд советников, в том числе и Адама Чарторыйского как знатока польских проблем: судьбу Польши предстояло решать теперь в Вене.

Распределив вознаграждение между странами-победительницами, Венский конгресс занялся созданием блока монархических государств. В какой-то степени он напоминал план Чарторыйского о союзе германских и итальянских государств начала XIX века. Однако это объединение осуществлялось в новой политической обстановке. Провозглашенная Конгрессом доктрина «легитимизма» сочетала теперь принцип неизменности наследственных монархий с решительным противодействием

революционным и национально-освободительным движениям, несмотря на то что многие из них как раз боролись за возвращение законных наследственных правительств и освобождение от иноземного ига. С другой стороны, Александр I, как и другие монархи Европы, постарался выработать более гибкие методы привлечения на свою сторону либеральной буржуазии посленаполеоновской Европы. Последовательно были введены конституции: Сенатская конституция во Франции (1814), Конституция в Баварии (1816), Конституция в Вюртемберге (1819).

В Вене союзные державы долго спорили не только по территориальным вопросам, но и о будущем статусе Польского государства: сохранить ли национальный суверенитет Польши или обеспечить ее вхождение в состав Российской империи на положении провинции? При несомненном влиянии и участии Адама Чарторыйского в качестве советника при русской миссии на Венском конгрессе в мирный договор было введено положение о предоставлении Польше Конституции и образовании самостоятельного Царства Польского в составе Российской империи. Однако наместником Царства Польского назначили не Адама Чарторыйского, на что тот надеялся до последней минуты, а великого князя Константина Павловича. Чарторыйский получил только должность члена Административного совета и сенатора. Уже не в первый раз Александр I показал себя ловким политиком.

В мае 1815 года вышел Указ русского императора о преобразовании Временного верховного совета Польши во Временное правительство Польши во главе с вице-президентом Адамом Чарторыйским. Казалось, император помнит юношескую дружбу, а тщеславные надежды польского князя сбываются. Действительно, на первых порах он воспринял этот жест как подарок за многолетнюю службу в русском правительстве и как частичное воплощение своего миротворческого плана на европейской международной арене. Однако вскоре пришло разочарование. Параллельно с правительственными учреждениями Польши был создан Военный комитет во главе с Константином Павловичем, в распоряжении которого осталось польское войско. Два конкурирующих учреждения были обречены на острый конфликт. 27 ноября 1815 года царь подписал Конституцию Царства Польского. Проект ее готовила комиссия под председательством Адама Чарторыйского, куда входили аристократы Шанявский и Соболевский. Это обстоятельство в большой степени определяло шляхетский характер Конституции, которую редактировал лично Александр. Большая часть голосов отдавалась землевладельцам, городским плательщикам налогов. Крестьяне, номинально лично свободные по закону Герцогства Варшавского 1807 года, вовсе не допускались до выборов. В результате польский сейм лишился законодательной инициативы, а вся полнота власти принадлежала российскому императору. Он мог переносить сроки созыва сейма, распоряжаться бюджетом, за ним оставалась высшая судебная власть. Сейм имел, скорее, законосовещательную компетенцию.

«Я хотел политики, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого...»

Тем не менее надо отдать должное Польской конституции 1815 года, которая стоит в одном ряду с наиболее прогрессивными современными ей правовыми документами по закреплению буржуазных правовых норм. Вот статья, формулирующая идею народного представительства: «Польский народ будет иметь на вечные времена народное представительство. Оно заключается в Сейме, состоящем из царя и из двух палат (Сенат и Посольская изба)». Провозглашение идеи народного представительства в Европе, среди государств, сохраняющих еще абсолютистские режимы (Россия, Пруссия и др.), само по себе крупное политическое новшество. Но оно вступало в глубокое противоречие с сохранившейся в Европе идеей феодальной государственности.

Важнейшее достижение Польской конституции — принцип разделения властей. Законодательная власть сосредотачивалась в сейме (совместно с монархом). Исполнительная воплощалась в Административном совете, куда входили наместник, пять министров (вероисповедания и народного просвещения, юстиции, внутренних дел и полиции, военного и финансов), чины высшей администрации и лица, назначаемые царем. Исполнительная власть ограничивалась вмешательством наместника, который по Конституции 1815 года возглавлял все управление Царством Польским. Сам он был подотчетен статс-секретарю, назначаемому непосредственно императором.

Специальный раздел Конституции отведен организации судебной власти. «Судебная власть, — гласила статья 138, — конституционно независима». Высшим органом являлся Высший суд, учрежденный в Варшаве. В его состав входили сенаторы и судьи, назначаемые царем пожизненно; в его компетенции находились гражданские и уголовные дела всего Царства Польского. Система судопроизводства на местах допускала довольно широкое привлечение разных слоев населения. В каждом воеводстве действовал и коммерческий суд, решавший торговые дела: Конституция учитывала подъем торгового и промышленного капитала. Выборность судей низшей инстанции свидетельствовала о постепенном движении Конституции в сторону демократизма. Кроме судов высшей инстанции предусматривались суды второй инстанции — апелляционные палаты. Оставались и мировые суды. Особо важные дела о политических государственных преступлениях передавались в специальный Сеймовый суд, состоящий из всех членов Сената.

Польская конституция 1815 года предусматривала некоторые буржуазные права и свободы: гласность деятельности Государственного совета, возможность публиковать отчет о его работе, признание польского языка государственным. Отдельная статья определяла: государственные должности в Царстве Польском могут занимать только лица польской национальности. Предусматривалась и статья о свободе передвижения и перемещения имущества, что отвечало экономическому развитию страны; особо подчеркивался принцип «неприкосновенности частной собственности».

Предложения Адама Чарторыйского при разработке Конституции Польши были учтены, но большей частью его рекомендаций разработчики пренебрегли. Современник событий Бажековский так описывал отношение шляхты к этому документу: «Легко было предвидеть, что Конституция недолго будет соблюдаться и уважаться. Да и как можно было предполагать, что абсолютный монарх, неограниченный властелин пятидесяти миллионов подданных, будет стеснять свою власть. Он прикрыл этот клочок земли конституционной хартией потому, что так предписал поступить политический расчет, но он, естественно, должен был считать свою волю выше всего, тем более что превосходство сил обеспечивало ему победу».

Адам Адамович скоро понял, что остался не у дел. Неудовлетворенность своим положением, ущемление прав поляков, лишение Польши национальной независимости глубоко задевали его. Конституция, исходившая от страны-победительницы, не могла удовлетворить польское общество. Для Чарторыйского свободная, независимая Польша продолжала оставаться заветной мечтой. Некоторое время он еще продержался на русской службе, в 1825 году, как сенатор, вынужден был участвовать в суде над членами польских тайных обществ.

Но уже в 1830-м Адам Чарторыйский принял самое горячее участие в восстании в Польше, возглавил польский Сенат в качестве его президента и стал знаменем Национального правительства. После разгрома Польского восстания 1830–1831 годов он эмигрировал в Англию, а затем переселился в Париж, где и прожил до конца жизни. ОТЕЛЬ «ЛАМБЕР» — центр польской аристократической эмиграции, основанный Адамом Чарторыйским, — возглавил после его смерти в 1861 году его сын Владислав.

ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГУРЬЕВ

«Даровать сословиям
твердое гражданское
бытие...»

Имя Дмитрия Александровича Гурьева известно лишь небольшому кругу специалистов, занимающихся вопросами истории финансов, да еще, возможно, кулинарам — благодаря знаменитой гурьевской каше. Его политическое кредо и жизнь неоднозначно оценивались современниками и потомками, но деятельность Гурьева, в том числе на посту российского министра финансов, была столь масштабна и обширна, что ее никак нельзя обойти вниманием.

Точная дата рождения Д.А. Гурьева неизвестна: в одних источниках указывается 1751 год, между тем как «послужные списки» называют 1758-й. Происходил он из небогатой дворянской семьи: отец, Александр Григорьевич, был бригадиром; мать, Анна Михайловна, принадлежала к старинному дворянскому роду Еропкиных. Первоначальное образование Дмитрий Гурьев получил дома; других сведений о его ранних годах не сохранилось.

17 ноября 1772 года Д.А. Гурьев поступил на службу рядовым в лейб-гвардии Измайловский полк и к началу 1785-го дослужился до капитан-поручика. С этого времени в его жизни происходят значительные изменения. Если верить мемуаристу Ф.Ф. Вигелю, начало взлета карьеры Гурьева связано с его знакомством с графом Павлом Мартиновичем Скавронским, внуком родного брата Екатерины I. Молодые люди подружились, три года совместно путешествовали по Европе. В дальнейшем Гурьев способствовал Скавронскому в женитьбе на племяннице Г.А. Потемкина. В благодарность и «в знак вечной дружбы» он получил в подарок от графа Скавронского три тысячи душ крепостных.

В 1785 году Гурьев женился на Прасковье Николаевне Салтыковой — согласно язвительной характеристике Вигеля, «тридцатилетней девке, уродливой и злой, на которой никто не хотел жениться, несмотря на ее три тысячи душ». Тем не менее этот брак не только ввел Д.А. Гурьева в аристократическое общество, но и существенно повлиял на его карьеру: он перешел на придворную службу и 2 сентября 1786 года получил чин камер-юнкера. В 1794-м был назначен исполняющим обязанности церемониймейстера двора, а в начале 1795 года стал действительным камергером.

С началом правления императора Павла I карьера Д.А. Гурьева резко пошла вверх: в январе 1797 года он был назначен гофмейстером двора

великого князя Александра Павловича, а 20 октября 1799-го стал сенатором. Однако расположение Павла I было переменчивым: уже в феврале 1800 года Гурьев был отстранен от службы. Вероятно, одной из причин такого отстранения стало сближение Дмитрия Александровича с великокняжеским кружком «молодых друзей» будущего императора.

В августе 1801 года, после вступления на престол Александра I, Гурьев был возвращен на службу и назначен управляющим Императорским кабинетом. При учреждении министерств Гурьев получил должность товарища (заместителя) министра финансов А.И. Васильева, а в середине 1806 года возглавил также Министерство уделов.

В 1809 году для решения насущных экономических проблем под руководством императора Александра I был организован Финансовый комитет, в который входили Д.А. Гурьев, товарищ министра юстиции М.М. Сперанский, государственный казначей Б.Б. Кампенгаузен и М.А. Балугьянский.

В начале 1810 года Гурьев получил долгожданную должность министра финансов (которую занимал до 22 апреля 1823-го) и был назначен членом реорганизованного Государственного совета. В течение всего времени руководства министерством Гурьев играл видную роль в формировании всей экономической политики Российской империи.

Д.А. Гурьев был сторонником свободы торговли и фритредерства и, соответственно, противником протекционистских таможенных тарифов. Он считал необходимым поддерживать интенсивное развитие отечественной торговли и промышленности, чтобы военное могущество Российской империи подкреплялось устойчивостью экономики, поддерживаемой государственным кредитом. Хотя план Гурьева был направлен на постепенное сближение принципов устройства российской экономики с экономикой развитых стран Европы, он не разделял взглядов популярного в России в начале XIX века Адама Смита на проблему государственного вмешательства в экономику. Гурьев считал такое вмешательство желательным, и эта позиция была обусловлена отечественными реалиями: неразвитостью фабричного производства и слабостью российской буржуазии. В то же время Гурьев всемерно старался изменить это положение, всячески поощряя русское купечество.

23 декабря 1811 года Д.А. Гурьев выступил в Государственном совете с проектом закона об учреждении особой категории российского населения — так называемых «торгующих крестьян». В представленном документе он доказывал, что многие крестьяне активно занимаются торговлей и заводят мануфактуры: «Они занимаются всякого рода торгами во всем государстве, вступают под именем и по кредиту купцов или по доверенности дворян в частные и казенные подряды, постоянные двory и торговые бани, имеют речные суда и производят рукоделия и ремесла наемными людьми». Однако, поскольку официально им это делать запрещено, «торгующие крестьяне», отмечал Гурьев, не платят тех налогов, которые наложены на купцов и мещан, что могло бы стать ощутимым дополнительным

доходом казны. Иными словами, Гурьев предлагал отказаться от сословных ограничений в сфере торгово-финансовых отношений.

Государственный совет тогда этот проект не поддержал. Тем не менее отдельные предложения Гурьева были учтены. 29 декабря 1812 года именным императорским указом Сенату были введены «Дополнительные правила для дозволения крестьянам производить разными товарами торговлю с получением на сие право свидетельств и с платежом определенных пошлин». По этим правилам крестьянам было разрешено самостоятельно, без каких-либо посредников, заниматься торговлей после получения специальных торговых свидетельств, стоимость которых колебалась от 40 до 2500 рублей.

Несмотря на то что Д.А. Гурьев занимал пост министра финансов, наиболее известный его труд — политический трактат «Об устройстве верховных правительств в России», составленный в 1815 году по поручению Александра I. В этой работе Гурьев проявил себя сторонником просвещенной ограниченной монархии, в которой имеет место разделение властей. Он проанализировал министерскую реформу и проблему разграничения власти между различными высшими государственными структурами, прежде всего Сенатом, Государственным советом и различными министерствами. По его мнению, реформа высшего государственного аппарата была необходима, однако практика показала, насколько сложно новшества входят в российскую жизнь.

Гурьев отметил многочисленные недостатки проведенной министерской реформы. Он указал, что в 1802 году не было проведено четкого разграничения полномочий между Сенатом и созданными министерствами. При этом изданное тогда же «Положение о министерствах» затронуло главным образом общие вопросы в организации новой структуры, но не регламентировало четко внутреннее строение каждого министерства. Гурьев писал, что «министры поступали в управление вверенных им частей различно, каждый по своему разумению и склонности, отчего разрушались единство и порядок в управлении, ослаблялась их собственная власть властью Сената и усиливались произвольные деяния мест подчиненных». К тому же при образовании министерств бывшие коллегии были механически превращены в департаменты или канцелярии министерств, что усилило проволочки при решении конкретных дел и поэтому «только умножило в течение семи лет замешательства в управлении». Конечно, Гурьев указал и ряд положительных сторон первой министерской реформы, которые сводились к «частичному приведению в лучшее устройство и порядок государственных дел». Он отметил, что «в первые два-три года собраны такие статистические сведения о состоянии различных отраслей управления, каких за все время существования Сената и коллегий они не имели». Однако при этом, по мнению Гурьева, «увлекшись» упорядочением верховного управления, правительство Александра I создало несколько государственных органов, функции которых пересекались. Это были прежде всего Государственный совет, реорганизованный Правительствующий сенат, Комитет министров «по всем вообще делам с осо-

быми правами» и, разумеется, сами министерства, «в некоторых случаях подчиненные сим трем сословиям, но входящие в состав их и имеющие право непосредственно испрашивать Высочайшего повеления и указа».

Согласно новому плану реформ, предложенному Гурьевым, министерства, доказавшие свою жизнеспособность и эффективность, необходимо было сохранить, но их должно быть не более восьми. Кроме того, их следовало разделить на департаменты или коллегии и в их рамках учредить окружные управления, которые координировали бы управление на местах. Все министры автоматически должны были войти в Тайный и Государственный советы.

Гурьев подробно обрисовал круг полномочий всех структур государственной власти. Тайный совет следует созывать по инициативе императора, который обязательно на нем председательствует. Гурьев пояснил, что Совет должен рассматривать «дела государственные, предполагающие перемену правил, составляющих основание правления». Далее он дал характеристику Государственному совету, который необходимо было преобразовать в законосовещательный орган, рассматривающий «предметы, требующие нового закона». Он предлагал также поручить Государственному совету «рассмотрение ежегодных смет государственных доходов и расходов, выработать способы их уравнивания». Фактически Гурьев одним из первых задумался о необходимости четкого планирования государственных доходов и расходов, а также создания относительно прозрачного и контролируемого бюджета.

Дмитрий Александрович Гурьев был убежденным противником крепостного права. В 1818 году он возглавил Секретный комитет, в задачу которого входила разработка проектов отмены крепостного права. По поручению Александра I Гурьев подготовил проект реформы состояния государственных крестьян и проект «Положения», предусматривающего отмену в их отношении крепостного права.

Первым делом в представленном документе определялся правовой статус государственных крестьян. По мнению Гурьева, необходимо было «даровать их сословию (т.е. государственным крестьянам. — Н.К.) твердое гражданское бытие, подобно как таковое установлено для дворянства грамотою, всемиловитейше оному пожалованною, а для среднего состояния — Городовым положением». Другими словами, Гурьев предлагал законодательно закрепить права государственных крестьян, предварительно соединив различные категории этого сословия в категорию «казенных поселян». Новому гражданскому сословию, казенным поселянам, предполагалось предоставить следующие права: свободный переход в другие сословия, право собственности на движимое и недвижимое имущество, свободу передвижения, полную свободу в частной жизни, при заключении брака и т.п. Но самое главное, что данный проект гарантировал строгий запрет на передачу казенных поселян в частное владение.

Для обеспечения этих прав, прежде всего права собственности на землю, необходимо было изменить систему общинного землепользования,

«Даровать сословиям твердое гражданское бытие...»

заменяв его «бессрочным содержанием» земельного надела. В проекте было подчеркнуто, что «сегодня все земли казенных поселян под их усадьбами, дворами и всякими сельскими устройствами, а также под пашнею, сенокосами, лугами оставались по-прежнему собственностью казны». После утверждения же предлагаемого постановления пашня должна была перейти в потомственное владение отдельных домохозяев. Остальные земли могли либо использоваться совместно общиной, либо быть разделены, как и пашенные земли. По мнению Гурьева, прекращение общинных переделов — главное условие для «усовершенствования нашего земледелия», потому что «одна только полная уверенность в нерушимом и спокойном пользовании полем навсегда или надолго может заставить земледельца употребить значительный капитал и труды на усовершенствование пашни и отправлять свой промысел на истинно хозяйственных правилах, без чего никогда не достигнет полного успеха земледелие». Для обеспечения подобной уверенности крестьянина в его праве использования земли в проекте давалось четкое определение того, что такое «бессрочное содержание казенной земли», которая должна быть предоставлена казенным поселянам, — это «наследственное право владеть, распоряжаться и пользоваться недвижимым имуществом». Кроме «бессрочного содержания» казенной земли, государственные крестьяне могли купить незаселенные земли в полную собственность. Строго запрещалось дробить наделы — как арендуемые, так и купленные; при наследовании имущества они должны были передаваться старшему сыну, а при отсутствии сына — дочери.

Д.А. Гурьев прекрасно понимал, к чему может привести планируемое им разрушение общинного землепользования и системы наследования земель. Более того, он считал крестьянское расслоение необходимым и стремился законодательно его закрепить. В предложенном проекте закона государственные крестьяне были разделены на две категории: «хозяев», владеющих землей на правах собственности, и «работников», не имеющих собственного земельного надела или не занимающихся промыслами и торговлей.

В своем проекте Гурьев предложил довольно стройную, хотя и несколько громоздкую систему управления казенными поселянами. Во главе ее предлагалось по-прежнему оставить Департамент государственных имуществ при Министерстве финансов, а на уровне губерний — Казенную палату. Хозяйственная экспедиция, непосредственно ведавшая государственными крестьянами, должна быть упразднена, а вместо нее образовано особое отделение из нескольких чиновников: советника, руководителя отделения, фортшмейстера, землемера, заведующего лесами и поверенного или юриста. Данное отделение получало название окружного правления и возглавлялось окружным начальником. На уровне волости для непосредственного управления казенными крестьянами на местах создавалась еще одна структура, названная автором проекта волостным приказом. Он должен был состоять из трех человек: председателя, обязательно

дворянского происхождения, и двух его заместителей, — чтобы реально руководить казенными поселянами конкретной волости. Как рассуждал Гурьев, «вследствие определения управителя в казенную волость правительство приобретает местного начальника, посредством которого может иметь лучший надзор над имуществами своими, сохранить безопасность и благополучие казенных поселян и надеяться скорейшего, порядочнейшего и точнейшего отправления со стороны поселян государственных, земских и мирских повинностей. Но дабы волостной управитель не мог неограниченною властью угнетать казенные поселения, для сего даны ему для совета два заседателя из поселян, с которыми он решает дела и принимает всякого рода меры по единогласию или большинству голосов». На местах органами управления по-прежнему должен был остаться мирской сход и вновь образованный Сельский приказ, состоящий из выборных от крестьян. Таким образом, главной задачей в рамках предлагаемой системы управления государственными крестьянами было «повышение уровня доходности казенных поселян» и оптимальный сбор податей.

По мнению Гурьева, требовалось реформировать и принципы налогообложения, а также организовать охрану государственного имущества, которое не арендовано крестьянами: лесов, пашен, лугов, рыбных ловель и тому подобного, что и было предложено в проекте. Гурьев предлагал вместо подушной подати ввести уравнильное поземельное обложение, т.е. взимать налог не с человека, а с земли, исходя из ее качества и количества. При этом особое внимание автор проекта в этой части документа уделял вопросам контроля над сбором, хранением и расходованием получаемых от крестьян средств. Не менее важен был контроль и над государственным имуществом. Еще при рассмотрении вопроса о продаже части казенных земель выяснилось, что они зачастую даже не имеют внешнего и внутреннего межевания. А как можно охранять собственность, точное количество которой неизвестно? Поэтому Гурьев предложил провести ревизию казенных земель, включающую их межевание, измерение и описание, нанесение на планы. Только это позволило бы создать эффективную систему охраны этих земель, в первую очередь от самовольных захватов. Кроме того, государство могло бы организовать передачу в аренду и продажу таких земель, что было бы выгодно как самой власти, так и крестьянам, постоянно страдающим от малоземелья.

Конечно, в рамках своего проекта Д.А. Гурьев не предлагал наделить казенных крестьян гражданскими правами в полном объеме. Крестьяне не могли передать в аренду, подарить или заложить участки земли «бессрочного содержания»; несмотря на предлагаемый слом общины, сохранялась круговая порука. Сугубо сословный характер носил и сельский полицейский устав. Он строго регламентировал жизнь казенных крестьян. Сельский приказ в рамках полицейского устава мог осуществлять судопроизводство по незначительным делам, назначать и исполнять телесные наказания (от 1 до 20 ударов розог). Однако надо учесть, что все эти «пережитки» были естественны для своего времени, а многие из них сохранились и до конца

«Даровать
сословиям
твердое
гражданское
бытие...»

XIX века. Гораздо важнее было то, что государственным крестьянам предоставлялась гарантия от закрепощения, передавался в аренду участок земли, не подлежащий общинному переделу. Проект Д.А. Гурьева стал своеобразным итогом реформаторской деятельности во времена императора Александра I по крестьянскому вопросу. Основные идеи этого проекта были учтены в дальнейшем П.Д. Киселевым при проведении реформирования положения государственных крестьян.

В 1817 году Гурьев представил в Государственный совет проект учреждения государственного Коммерческого банка. Согласно проекту, основной капитал банка — 50 млн рублей — должен быть сформирован из акций по 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, новый банк был задуман как акционерный. Государственный совет после рассмотрения проекта Гурьева принял решение об открытии в Санкт-Петербурге Коммерческого банка с капиталом 30 млн рублей. Его устав был обнародован в манифесте от 7 мая 1817 года. В 1821-м Гурьев выступил со смелым проектом ликвидации Заемного банка и учреждения на его остаточных капиталах Государственной страховой конторы для кредитования отечественной промышленности. Увы, этот проект Гурьева был отвергнут.

12 декабря 1819 года Д.А. Гурьев получил титул графа Российской империи. С 26 января 1820-го он был назначен членом Комитета азиатских дел, а 28 июня 1821 года — Комитета для рассмотрения отчета М.М. Сперанского по обозрению Сибири и для обсуждения предложенных им мер для будущего устройства этого края. Граф Д.А. Гурьев был почетным членом Российской академии наук (с 10 июля 1818 года), Санкт-Петербургской академии наук (с 14 марта 1821-го) и Императорского Московского общества сельского хозяйства.

Гурьев был известным гурманом и знатоком кулинарии. Так называемая гурьевская каша стала любимым десертом императора Александра III. Известный писатель и журналист В. Гиляровский писал: «Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу...» Надо только добавить, что рецепт гурьевской каши принадлежал не самому графу, а его крепостному повару Захару Кузьмичеву, которого Гурьев, отведав каши у соседа по имени майора в отставке Г.В. Юрисовского, выкупил вместе с семьей и потом возил повсюду, угощая всех его кашей.

Граф Д.А. Гурьев умер 30 сентября 1825 года в Санкт-Петербурге и был похоронен в церкви Спаса Преображения на кладбище Императорского фарфорового завода под Петербургом.

Вдова Д.А. Гурьева Прасковья Николаевна к коронации императора Николая I получила звание статс-дамы. Трое детей Гурьевых достигли высокого положения в обществе: сын Александр был председателем Департамента государственной экономии Госсовета, а сын Николай — послом в Париже; дочь Мария вышла замуж за государственного канцлера, министра иностранных дел, графа К.В. Нессельроде.

Дмитрий
Тимофеев

НИКОЛАЙ
СЕМЕНОВИЧ
МОРДВИНОВ

«Закон свободы
во все времена и всеми
законодателями
признаваем был
первейшим из законов...»

Известный общественный и государственный деятель, автор более 350 разнообразных проектов реформирования России последней трети XVIII — первой половины XIX века, Николай Семенович Мордвинов родился 17 апреля 1754 года в селе Покровское Белозерского уезда Новгородской губернии. Его родители — Семен Иванович Мордвинов и Наталья Ивановна Мордвинова (урожденная Еремеева). Согласно семейным преданиям, история рода Мордвиновых началась с перехода на русскую службу в 1546 году Мурата Мордвинова, потомки которого, участвуя в многочисленных походах и войнах, доказали преданность российским государям.

Дед Николая Семеновича И.Т. Мордвинов погиб во время взятия Нарвы в 1700 году, а отец С.И. Мордвинов в юности был одним из двадцати лучших гардемарин, отправленных в 1716 году на шесть лет во Францию для «усовершенствования в морском деле». По возвращении в Россию С.И. Мордвинов служил на Балтийском флоте, командовал эскадрой, действовавшей против Пруссии во время Семилетней войны 1756–1763 годов, участвовал в работе Комиссии по улучшению флота. Кроме того, он был известен как автор нескольких изобретений, работ по навигации и свода морских сигналов, утвержденного в 1756 году. Вероятно, столь славная история рода и пример отца, который на собственном опыте знал преимущества и «неудобства» жизни в странах Европы, а также неоднократно проявлял личную инициативу по службе, стали основанием для формирования у Николая Мордвинова и чувства собственного достоинства, и представлений о дворянской чести, и стремления активно участвовать в разработке проектов по реформированию отечественной действительности.

Как и многие дворянские дети того времени, Н.С. Мордвинов первоначально получил домашнее образование, а затем продолжил обучение в частном пансионе итальянца Вентурини в Петербурге. Однако в дальнейшем его воспитание заметно отличалось от «типичного сценария» получения образования выходцами из дворянских семей. В возрасте около десяти лет по приказу императрицы Екатерины II он был взят ко двору

для совместного обучения с великим князем Павлом Петровичем. Позднее Николай был направлен в Морской кадетский корпус, по окончании которого в 1768 году произведен в мичманы и принят на действительную военную службу. С 1769 по 1770 год он командовал придворной яхтой «Счастье», потом был назначен на должность флигель-адъютанта в штабе своего отца, а с 31 марта 1771-го стал адъютантом при штабе командующего Дунайской флотилией в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов адмирала Ч. Ноулза.

По распоряжению великого князя Павла Петровича в январе 1774 года Н.С. Мордвинов получил чин капитан-лейтенанта и был для «усовершенствования в морских делах» командирован в Англию. Однако его обучение не ограничилось знакомством с особенностями организации морской службы в Англии. С 1774 по 1777 год Николай Семенович посетил Америку, Францию, Германию, Португалию, где не только обращал внимание на решение военно-технических вопросов, но и активно интересовался особенностями систем государственного управления и экономической политики правительств. На родине его военная карьера успешно продолжалась: осенью 1777-го он был назначен флагманским генеральс-адъютантом; в 1781-м получил чин капитана II ранга, а весной 1783-го — капитана I ранга. В 1782–1783 годах Мордвинов командовал одним из кораблей, участвовавших в «секретной экспедиции» вице-адмирала В.Я. Чичагова в Средиземном море. Вернувшись в Россию в сентябре 1785 года, он служил в Черноморском адмиралтейском правлении в Херсонесе, а в 1786-м стал его председателем. В начале Русско-турецкой войны 1787–1791 годов «за храбрость и умелое командование» Мордвинов был награжден орденом Анны 1-й степени и произведен в чин контр-адмирала.

Однако внешне благополучная карьера сопровождалась серьезными конфликтами и разочарованиями. Как человек принципиальный и во многом даже жесткий при отстаивании своих убеждений, Мордвинов неоднократно вынужден был подавать прошение об отставке. Первый раз это произошло в 1790 году в связи с острыми разногласиями между ним и командующим Черноморским флотом князем Г.А. Потемкиным. Только после смерти последнего Мордвинов представил императрице всеподданнейший доклад о состоянии Черноморского флота и лишь в феврале 1792 года был восстановлен в должности председателя Черноморского адмиралтейского правления. Вскоре Мордвинов был удостоен звания вице-адмирала и назначен командующим Черноморским флотом, а в ноябре 1792 года награжден орденом Св. Александра Невского. В 1793 году он был пожалован орденом Владимира 1-й степени, а в сентябре 1797-го именованным указом императора Павла I произведен в чин полного адмирала.

Второй раз продвижение Н.С. Мордвинова по службе было приостановлено в 1799 году, после взрыва боеприпасов в порту города Николаева. Для выяснения всех обстоятельств он был вызван в Петербург, арестован, но вскоре оправдан. После этого инцидента он ушел в отставку и уехал в свое имение Суук-Сук в Крыму.

С приходом к власти молодого императора Александра I Мордвинов был вновь приглашен на службу и назначен вице-президентом Адмиралтейств-коллегии. Но главное направление его деятельности теперь было связано не столько с военной сферой, сколько с обсуждением и подготовкой либеральных реформ в России. С этого времени он в качестве эксперта-консультанта по финансово-экономическим вопросам несколько раз участвовал в работе «Негласного комитета», а с 25 сентября 1801 года стал постоянным членом Непременного совета (предшественника Государственного совета). С образованием в сентябре 1802 года министерств Мордвинов возглавил Министерство морских сил, но уже через два месяца, в начале ноября 1802-го, снова подал прошение об отставке, объясняя свое решение невозможностью вести работу в обстановке многочисленных интриг. Получив отставку, он жил в Киеве, затем в Москве, где был избран губернским предводителем народного ополчения. За работу на этом посту (с декабря 1806-го по сентябрь 1807-го) Н.С. Мордвинов был награжден Золотой медалью «Земскому войску».

В конце 1809 года, по личному приглашению императора Александра, он вернулся в Петербург и был вновь принят на действительную службу. В соответствии с указом от 1 января 1810 года Мордвинов был включен в состав Государственного совета, а 17 января 1810-го назначен на должность председателя Департамента государственной экономии. Одновременно Мордвинов активно занимался общественной деятельностью: с 1811 года — попечитель и действительный член литературного общества «Беседа любителей русского слова», а с марта 1812 года — почетный член Императорского Харьковского университета.

Однако, несмотря на благожелательное отношение к нему Александра I, 2 апреля 1812 года Николай Семенович подает новое прошение об отставке. Хотя формальным обоснованием для принятия такого решения было несогласие с подготовленным в Государственном совете проектом, согласно которому в условиях дефицита бюджета предполагалось увеличить объем ассигнаций, «бумажных денег», негласным поводом стало увольнение в марте 1812 года М.М. Сперанского.

После отставки с поста председателя департамента Н.С. Мордвинов формально остается членом Государственного совета, но на некоторое время уезжает из столицы. При этом он продолжает составлять различного рода проекты и записки по реформированию российской экономики. В письме В.П. Кочубею Мордвинов писал: «Я препроводил время мое не в праздности и приготовил много бумаг, которые рано или поздно, но могут быть полезными. Я представлял себе Россию готовую к принятию мер великих. Меры мои не насильственны и основаны на благомерном действии времени, которое малое зерно возводит и образует в великое и многополезное древо». Один из составленных им проектов «О мерах, какие нужно употреблять прежде, нежели приступить к нынешнему займу» он направляет Сперанскому, которого всегда считал своим другом и наиболее квалифицированным в России финансистом.

«Закон свободы во все времена и всеми законодателями признаваем был первейшим из законов...»

Возвращение во властные структуры произошло только в январе 1816 года. Указом императора Н.С. Мордвинов был вновь назначен на должность председателя Департамента государственной экономии Государственного совета. Проработав на этой должности два года, Мордвинов попросил императора предоставить ему длительный отпуск и разрешить выехать на лечение за границу. Александр I удовлетворил прошение, и Мордвинов два года жил в Германии, Франции, Англии, Италии.

Вернувшись в Россию в 1820 году, Николай Семенович вновь поступает на государственную службу. По распоряжению императора он включен в состав Комитета финансов и Комитета министров, а в период с июня 1821 года по декабрь 1838 года был председателем соединенного Комитета Департамента гражданских и духовных дел и Департамента государственной экономии Госсовета. Дважды — по указу императора Александра I (1823), а позднее и Николая I (1826) — в связи с отсутствием князя П.В. Лопухина и графа В.П. Кочубея Н.С. Мордвинов исполнял обязанности председателя Государственного совета. Признанием его заслуг стало награждение 12 декабря 1823 года орденом Андрея Первозванного. Одновременно с исполнением всех этих обязанностей Мордвинов продолжает активную общественную работу в Вольном экономическом обществе, президентом которого он был с мая 1823 года по декабрь 1840 года.

Следует отметить, что способности и высокий уровень квалификации Н.С. Мордвинова признавали не только в правительственных кругах. Либеральные взгляды на организацию экономических процессов, предложения о необходимости реформирования системы управления и проекты, направленные на смягчение межсословных перегородок, привлекали внимание членов различных тайных оппозиционных обществ. Возможно, именно поэтому в показаниях декабристов А.Н. Андреева, К.Ф. Рыльева, П.Г. Каховского и С.П. Трубецкого Мордвинов был назван в числе возможных кандидатов в члены планируемого Временного революционного комитета. Эта информация стала формальным основанием для проведения секретного расследования о его причастности к тайным обществам. По результатам работы следственной комиссии все обвинения против Мордвинова были сняты, а материалы расследования уничтожены по приказу Николая I. Более того, 1 июня 1826 года он был назначен членом Верховного уголовного суда по делу декабристов, но стал единственным, кто отказался подписывать решение о смертном приговоре нескольким участникам восстания.

В царствование императора Николая I Мордвинов продолжал оставаться на службе: до декабря 1838 года — в должности председателя Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, с 1833 года — в Комитете об усовершенствовании земледелия в России. При этом он активно участвовал в работе научных и «практических» обществ, деятельность которых была направлена на стимулирование экономики России: в 1827 году избран почетным членом Общества любителей коммерческих знаний; в 1828-м — почетным членом Императорского Московского

общества сельского хозяйства; в январе 1829-го — действительным членом Российской академии наук и т.д.

Деятельность Н.С. Мордвинова была по достоинству оценена верховной властью: в 1829 году он был награжден Алмазным знаком к ордену Андрея Первозванного, в 1834-м ему был присвоен титул графа. Умер Николай Семенович 30 марта 1845 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Все вышеизложенное относится к внешней событийной канве жизни Н.С. Мордвинова. Однако для понимания места и роли этого человека в истории российского либерализма важно реконструировать процесс формирования его мировоззрения и определить содержание его проектов преобразований в экономической и социально-политической сферах.

На процесс формирования либеральных убеждений Мордвинова решающее воздействие оказал комплекс дополняющих друг друга факторов. Одним из них было неоднократное пребывание в ряде европейских стран и установление личных контактов с представителями европейской либеральной мысли второй половины XVIII — начала XIX века. Впервые посетив Англию в возрасте двадцати лет, Мордвинов познакомился с повседневной жизнью и законодательством этой страны. В дальнейшем поддержанию интереса к европейской культуре способствовало вступление Николая Семеновича в 1784 году в брак с дочерью английского консула Генриеттой Кобле в Ливорно. Многие иностранцы, знакомые ранее с ее отцом, посещали дом Мордвиновых и рекомендовали его своим друзьям и родственникам. Именно таким образом в городе Херсоне произошло знакомство с С. Бентамом, братом знаменитого английского философа И. Бентама. Позднее при его посредничестве Н.С. Мордвинов устанавливает дружеские отношения и с самим И. Бентамом. По свидетельству дочери, летом 1819 года он неоднократно встречался с ним в Лондоне. Обсуждение различных вопросов политической экономии и права было продолжено в личной переписке до конца жизни известного английского мыслителя (умер в 1832 году). В 1819-м Мордвинов также посетил Милан, где познакомился с еще одним выдающимся европейцем — автором первой «Экономической энциклопедии» (1815–1817) и «Философии статистики», итальянским экономистом М. Джойя.

Не менее важным фактором формирования мировоззрения Мордвинова стало участие в работе Государственного совета. На заседаниях общего собрания, а также департаментов государственной экономии, гражданских и духовных дел обсуждался широкий спектр как общих, так и частных вопросов. Наряду с поиском способов сокращения дефицита государственного бюджета и методов стимулирования производства, расширения права собственности на землю и свободу торговли рассматривались также конкретные жалобы и прошения представителей различных социальных групп. Все это сформировало устойчивое стремление перевести теоретические знания в практическую плоскость посредством представления в Государственный совет или лично императору многочисленных проектов,

«Закон свободы во все времена и всеми законодателями признаваем был первейшим из законов...»

«особых мнений», «голосов» и записок, содержавших предложения по реформированию российской действительности.

Теоретическим основанием воззрений Н.С. Мордвинова на экономику были принципы свободы экономической деятельности и неприкосновенности частной собственности. Он выступал против установления каких-либо ограничений экономической свободы личности и прямо писал о том, что Россия не сможет стать в один ряд с развитыми странами Европы, «доколе у нас торговля и внутренняя промышленность не получат совершенной свободы, с предоставлением заниматься оными всем сословиям народа без всякого со стороны участия и притязания».

С этих позиций гильдии, цехи, монополии — все это создавало в России дополнительные препятствия частной инициативе. В «Записке по случаю издания дополнительного постановления об устройстве гильдий и прочих состояний» он высказался против установления зависимости между принадлежностью человека к определенной гильдии и суммой банковского кредита. По его мнению, необходимо было не только упразднить разделение купечества на гильдии, но и в целом значительно уменьшить количество регламентов, регулирующих экономическую деятельность. Нецелесообразность мелочной регламентации, по мысли Мордвинова, была очевидна, так как «узаконяемое где-либо от правительства разделение упражнений человеческих во все времена и от всех народов опытами было признано за главнейшую препону к народному обогащению».

Наряду со свободой экономической деятельности обязательным условием развития страны Мординов называл законодательное закрепление принципа неприкосновенности частной собственности. Право собственности — важный способ сохранения результатов труда человека, без которого он не имеет возможности передать их своим потомкам и поэтому не будет заинтересован в росте производительности. Исходя именно из этих соображений, Мординов в «Мнении по случаю поручения комиссии сочинения законов изложить правила для отобрания частной собственности в пользу общественной» писал: «Сочинение правил, разрешающих прикосновение со стороны правительства к частной собственности, причинить может более вреда, нежели пользы... более для частных лиц притеснения, нежели ограждения». Законодательному оформлению могли подлежать только правила разрешения экономических споров, возникавших по вопросам наследования или приобретения собственности.

Для защиты права собственности Н.С. Мординов в 1802 году предложил создать в России систему независимых от власти «коммерческих судов», в компетенцию которых входили бы гражданские и уголовные дела по искам кредиторов к должникам, дела о банкротстве или незаконном присвоении собственности. Они должны были, «отправляя правосудие во всех делах, до коммерции касающихся... давать защиту и покровительство каждому лично против всякого насильственного поступка власти». Подобные суды выступали бы в качестве независимого арбитра как в спорах между гражданами, так и в случае возникновения конфликтов между

личностью и государством. Постановление коммерческого суда должно было быть обязательным для исполнения на всей территории России и не могло быть изменено, приостановлено или аннулировано даже по прямому указанию правительства.

Согласно проекту, коммерческие суды формировались по принципу выборности в два этапа. На первом из них в крупнейших городах Российской империи по согласованию с властями выбирался инспектор коммерции, который отбирал среди местных жителей трех граждан «из самых просвещенных и благомыслящих людей». Отобранные таким образом граждане становились членами коммерческого суда и поочередно, с периодичностью один раз в год, сменяли друг друга на посту председателя. Через шесть лет с начала работы коммерческого суда порядок формирования основного состава изменялся: должность «коммерческого попечителя» упразднялась, а все его члены, включая председателя, избирались общим собранием бывших и действующих на тот момент времени судей коммерческого суда.

Сегодня очевидно, что воплощение на практике проекта Мордвинова о коммерческих судах значительно укрепило бы экономическое положение и правовой статус тогдашних российских предпринимателей. Организационное оформление коммерческого суда, становление его как особого общественного института позволили бы сформировать новую категорию российских подданных — независимых от власти, но наделенных доверием общества судей. Однако данный проект, как и многие другие подобные предложения, стал лишь своего рода декларацией, обозначившей инструменты защиты прав личности. Созданные в действительности с 1808 года в Одессе, Таганроге, а в 1819–1820 годах — в Феодосии и Архангельске коммерческие суды были лишены многих предусмотренных первоначально полномочий: они не могли выносить решения о принудительном взыскании долгов и компенсации материального ущерба. В результате большинство постановлений имели, по сути, рекомендательный характер, что значительно искажало смысл деятельности коммерческих судов и превращало их существование в простую формальность.

Одновременно с установлением правовых гарантий неприкосновенности частной собственности важнейшая задача государства, по мысли Н.С. Мордвинова, — создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. Одним из обязательных элементов для решения этой задачи было развитие в России банковской системы, способной не только удовлетворять финансовые потребности предпринимателей, но и оказывать им необходимую информационную и организационную помощь.

В 1801–1803 годах Н.С. Мордвинов разработал и представил императору проект «О трудопоощрительном банке». Выполняя роль катализатора развития отечественной экономики, «трудопоощрительный банк» должен был быть не просто кредитно-финансовым учреждением: он задумывался как всероссийский центр экономического образования, развития

«Закон свободы во все времена и всеми законодателями признаваем был первейшим из законов...»

производства и внедрения передовых технологий. Предоставляя кредит, банк обязан был оказывать квалифицированную помощь по организации производства. С этой целью он должен был привлекать к сотрудничеству специалистов самого широкого профиля: физиков, химиков, механиков, агрономов, минералогов, каменщиков и др. Необходимую информационную поддержку осуществляла бы собственная типография, в которой издавались бы различные периодические издания о последних мировых достижениях в области управления малыми предприятиями, сельского хозяйства и промышленного производства. Дополнительным стимулом для развития российской экономики должно было стать предоставление льготных условий кредитования проживающим в России иностранцам при условии, что они обучат новым технологиям двух-трех учеников из числа местного населения.

Потенциальный клиент «трудопоощрительного банка» должен был предоставить подписанный губернатором и двумя-тремя дворянами своей губернии подробный план будущего предприятия. Размер кредита и величина ссудного процента устанавливались в зависимости от наличия у предпринимателя собственности и опыта ведения самостоятельной хозяйственной деятельности.

В перспективе деятельность банка должна была привести к значительному подъему производства. Для обеспечения надежности и стабильности «трудопоощрительный банк» должен был находиться под патронажем государства: ежегодно из государственного бюджета на его счета предполагалось переводить до 2 млн рублей. Такая зависимость от государства имела вынужденный характер и была обусловлена отсутствием в России развитой кредитно-банковской системы.

Формообразующим элементом независимой от государства системы кредитования должны были стать частные губернские банки. В «Рассуждении о пользах, могущих последовать от учреждения частных по губерниям банков» (1813) Н.С. Мордвинов изложил проект создания в России разветвленной системы местных банков. Интересно, что по форме собственности и организации управления эти банки должны были быть и не государственными, и не частными в полном смысле этого слова. Весь капитал губернских банков образовывался бы посредством относительно небольших добровольных взносов населения, причем за крепостных крестьян взнос могли делать их помещики. Таким образом обеспечивались бы их самостоятельность и независимость и от крупных монополистов, и от государственных чиновников, так как губернские банки не являлись бы собственностью одного лица, а представляли собой своеобразные банковские кооперативы, в которых каждый вкладчик, пропорционально размеру его финансового участия, считался бы совладельцем банка. Существующие за счет финансовых вложений частных лиц банки стали бы, по мысли автора, местными центрами кредитования и взаимной финансовой поддержки граждан. По мере расширения географии сети губернских банков на территории России им могло быть предоставлено

право эмиссии денежных ассигнаций, которые должны были быть обеспечены коммерческими векселями и свободно обменивались бы на серебро. Так одновременно с кредитованием частного предпринимательства банки могли способствовать восстановлению устойчивости национальной денежной системы.

Предложенный Н.С. Мордвиновым проект был одобрен императором Александром I. По его распоряжению в 1813 году для членов Государственного совета было отпечатано 25 экземпляров «Рассуждения о могущих последовать пользах от учреждений частных по губерниям банков», а в 1816, 1817 и 1829 годах «Рассуждение» было издано для широкого круга читателей. Однако препятствием для реализации этого предложения стала «особая процедура чтения» проекта в Государственном совете: окончательное решение могло быть принято только после составления всеми его членами письменных мнений. В результате рассмотрение проекта многократно откладывалось, а позднее вообще было снято с повестки работы Совета.

Еще один важный инструмент стимулирования экономического развития, о необходимости использования которого писал Н.С. Мордвинов, — налоговая политика. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что в условиях роста дефицита государственного бюджета обязательно введение новых налогов и повышение уже существующих, он предлагал реформировать систему взимания податей таким образом, чтобы необходимые государству платежи не разоряли налогоплательщиков. Анализируя причины роста дефицита бюджета, Мордвинов подчеркивал, что «некоторые из существующих ныне налогов едва ли не составляют прямой причины оказывающегося у нас ежегодного недостатка государственных доходов». Именно поэтому в сложившихся условиях снижение налогов было выгодно не только налогоплательщикам, но и государству. Аргументируя свою позицию, Мордвинов писал: «Самая польза Государственного казначейства требует неукоснительного отстранения... налогов, кои препаинают действия и успехи промышленности, торговли и заводского производства — сих трех главнейших источников народного богатства». В «Мнении о повышении доходов государства путем уменьшения налогов» он призывал при установлении суммы налоговых выплат учитывать «естественное городов различие между собою, по степени местных каждого удобства к стяжанию прибытков», а также фактический уровень платежеспособности как различных групп населения, так и отдельных граждан. Предлагаемая дифференциация разнообразных сборов и податей в соответствии с доходами российских граждан должна была повысить уровень собираемости налогов, а значит, увеличить общий объем поступлений в государственный бюджет.

В тесной взаимосвязи с вопросами экономики Н.С. Мордвинов рассматривал проблему отмены крепостного права в России. Размышляя о возможных вариантах освобождения крестьян, он подчеркивал нетождественность права собственности на землю и права распоряжения людьми. В «Мнении по делу о продаже людей без земли» он писал: «Право

«Закон свободы во все времена и всеми законодателями признаваем был первейшим из законов...»

собственности дает неограниченное обладание над вещами; право начальства имеет свои пределы и взаимное нравственное соотношение между повелителями и повинующимися, между господином и слугою». Подчеркивая условный характер личной зависимости крестьян, Николай Семенович утверждал, что поскольку «право собственности распространяется только на вещи, то человек не может быть собственностью другого человека». Таким образом, помещик мог быть собственником лишь земли, но не крестьян. Однако исторически сложившееся прикрепление крестьян к земле обусловило невозможность одномоментного их освобождения, так как помещичьи имения придут в упадок, а государство не сможет эффективно собирать подати. Именно с учетом этих обстоятельств, по мнению Мордвинова, необходимо было разработать проект отмены крепостного права в России.

В записке «Одна из мер освобождения крестьян от зависимости и с оною возбуждения народной деятельности» (1818) Н.С. Мордвинов предлагал развернутую программу поэтапного освобождения частновладельческих крестьян. Согласно проекту, крепостные освобождались постепенно по мере того, как крестьянин в денежной форме компенсировал помещику потерю рабочих рук. Сумма компенсации, которую помещики могли бы инвестировать в развитие отечественной промышленности и торговли, устанавливалась в зависимости от возраста и трудоспособности каждого крестьянина: дети до 2 лет и крестьяне старше 60 лет освобождались бы бесплатно; от 2 до 5 лет — 100 руб.; 5-10 лет — 200 руб.; 10-15 лет — 400 руб.; 15-20 лет — 600 руб.; 20-30 лет — 1500 руб.; 30-40 лет — 2000 руб.; 40-50 лет — 1000 руб.; 50-60 лет — 500 руб. Заложенная в проекте «растянутость» процесса раскрепощения во времени была необходима для того, чтобы крестьянин смог приобрести новые и, безусловно, необходимые ему после освобождения качества: бережливость, трудолюбие и целеустремленность. Предполагалось, что первыми получат свободу наиболее способные к самостоятельной жизни крестьяне, т.е. те из них, кто научится ставить перед собой цели и находить оптимальные пути их достижения законными способами.

Предлагаемые Н.С. Мордвиновым преобразования в политической сфере были направлены на достижение двух взаимосвязанных целей. Во-первых, необходимой признавалась реализация на практике принципов верховенства закона и неприкосновенности личности. Работая в Департаменте законов и Департаменте гражданских и духовных дел Государственного совета, он неоднократно лично участвовал в расследовании злоупотреблений со стороны местных властей или органов дознания. Многочисленные примеры нарушений закона в отношении подследственных актуализировали проблему обеспечения личной безопасности посредством юридического закрепления презумпции невиновности. С этих позиций в декабре 1821 года Мордвинов писал: «Свидетельство о невиновности всегда должно быть более уважено, нежели свидетельство о преступлении». Подобное правило должно было предотвратить использование

закона для сведения личных счетов или преследования неугодных местным властям граждан.

Одновременно с законодательным оформлением презумпции невиновности Н.С. Мордвинов выступал за соразмерность наказания совершенному преступлению. Чрезмерная жестокость наказания не только противоречила общепризнанным нормам христианской морали, но и не обеспечивала достижение главной цели — предупредить повторение преступных деяний. В данном контексте малоэффективным средством предупреждения преступлений признавались телесные наказания и клеймение лица. Этот способ устрашения не останавливал человека от повторного нарушения закона, а напротив, вновь подталкивал его к совершению преступления, так как причиненные ему увечья формировали негативное отношение к нему окружающих. Подобным образом Николай Семенович критиковал и частичное восстановление практики вынесения смертных приговоров. Аргументируя свою позицию, он не только писал о несовместимости такого наказания с основными христианскими постулатами, но и подчеркивал невозможность с помощью смертной казни снизить количество совершаемых в России преступлений. По его словам, «лишение свободы, прав гражданских и каторжная работа составляют наказание, удерживающее людей от преступлений более, нежели смертная казнь».

Второе направление приложения усилий Н.С. Мордвинова в политической сфере — реформирование системы управления. Первоначально в процессе обсуждения в Государственном совете вопроса о необходимости преобразования Сената Николай Семенович выступал за изменение порядка его формирования. В то время практика назначения сенаторов предопределяла их зависимость от сиюминутной политической конъюнктуры, симпатий и антипатий императора, а также многих других «случайных» факторов. Все это нередко приводило к тому, что при рассмотрении конкретных жалоб и прошений российских подданных одни и те же законодательные нормы трактовались в зависимости от субъективной позиции того или иного сенатора. Для восстановления «силы закона» и одновременно уменьшения вероятности установления деспотического правления или засилья фаворитов целесообразно было введение принципа выборности Сената. В «Мнении о правах Сената» (1801–1802) Н.С. Мордвинов утверждал, что Сенат, призванный стоять на защите законных прав граждан, должен был иметь достаточную для предотвращения злоупотреблений власти поддержку в обществе. Конечно, речь шла не о предоставлении избирательного права неграмотным крестьянам, ремесленникам или купцам. Рассуждая о целесообразности превращения Сената в «тело политическое», автор утверждал, что политические права, концентрированным выражением которых является право избирать и быть избранным, должны принадлежать сословию, обладающему общественным доверием. В современной ему России таким сословием было только дворянство.

Предполагалось, что выборы должны проводиться по аналогии с установленными еще при Екатерине II правилами для избрания губернских

«Закон свободы во все времена и всеми законодателями признаваем был первейшим из законов...»

дворянских предводителей. К началу XIX века, по мысли Н.С. Мордвинова, Россия созрела для дальнейшего усовершенствования прежнего законодательства и «введения избрания сенаторов от каждой губернии». Каждая губерния должна была быть представлена в Сенате двумя депутатами, избираемыми на три года. Главной их обязанностью объявлялось «попечение о благе той губернии, от которой они избраны». При этом особо подчеркивалось, что избранные таким образом сенаторы не получали бы жалованья и должны были относиться к своим обязанностям как к «общественному служению на благо Отечества». В такой трактовке формирование Сената посредством выборов воспринималось как органичное продолжение политики Екатерины II, предоставившей дворянству право «избирать между собою свободно своих судей и предводителей».

Несколько позднее, в 1810–1811 годах, Мордвинов предложил новый проект создания в России выборного органа сословного представительства. Во всеподданнейшей «Записке для составления палат государственных» он обосновывал необходимость создания в России двухпалатного органа представительного правления, наделенного законотворческими функциями. Верхняя палата должна была формироваться по выбору губернских дворянских собраний по 1–2 человека от каждой губернии. Для обеспечения независимости членов верхней палаты они сохраняли свой статус пожизненно и получали фиксированное жалованье из средств государственной казны. К выборам в нижнюю палату могли быть допущены все свободные российские граждане недворянского происхождения, обладавшие собственностью на сумму не менее 10 тысяч рублей серебром. К выборам допускались и бывшие крепостные крестьяне, получившие в соответствии с указом от 20 февраля 1803 года статус «вольных хлебопашцев», при наличии у них в собственности не менее 1000 десятин земли. Общее количество депутатов верхней и нижней палаты российского парламента не должно было превышать 400 человек.

Размышляя о перспективах политического развития России, Н.С. Мордвинов ориентировался на опыт развитых европейских стран с конституционной формой правления. Так, например, в 1816 году, анализируя политическое устройство развитых стран Западной Европы, он писал: «Франция, сделавшись конституционной монархией, очень быстро умножает богатство и могущество, в то время как другие европейские страны, оставшиеся со своими старыми законами, развиваются крайне медленно. Англия, благодаря конституции, которая сделала ее богатой и могущественной, смогла сопротивляться силам Европы, собранным в руках Наполеона...» Отсутствие конституции в нашей стране не позволяло в полной мере реализовать принцип личной свободы, верховенства закона и неприкосновенности частной собственности. С этих позиций Мордвинов констатировал: «Россия, со своим самодержцем, останется долго бедною и слабою и не будет успешно развиваться по сравнению с конституционными странами».

НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
КАРАМЗИН

«Для существования
нравственного нет блага
без свободы...»

Классический труд В.В. Леонтовича «История либерализма в России. 1762–1914», как известно, открывается краткими очерками либеральных преобразований во времена Екатерины II и Александра I, за которыми следует подробное исследование генезиса двух основных линий русского либерализма: линии М.М. Сперанского и линии Н.М. Карамзина. Но если принадлежность к русской либеральной традиции графа Сперанского, несмотря на все метаморфозы его поведения в годы «николаевской реакции», давно никем не оспаривается, то Николаю Михайловичу Карамзину (1766–1826), как замечает Леонтович, «повезло» в этом смысле значительно меньше: многие «правоверные либералы» упорно отрицают свое генетическое родство со знаменитым историком и литератором.

Включение Карамзина в отечественную либеральную традицию представлялось В.В. Леонтовичу абсолютно принципиальным: «Его (Карамзина. — А.К.) идеи, его общий духовный подход и даже его личность сыграли положительную роль в развитии России как раз в либеральном направлении... Он старался всячески расширить те каналы, через которые могли проникнуть и действительно проникали в Россию либеральные идеи... Карамзин, как представитель сентиментального гуманизма, поддерживал как бы кристаллизацию некоторых укорененных в гуманизме предпосылок либерального мышления». Не менее важно, как утверждал В.В. Леонтович, и то, что Карамзин был убежден (и ранний опыт правлений Екатерины и Александра подтверждал это), что «значительные элементы либеральной программы могут осуществляться и в рамках абсолютной монархии». Более того, Карамзин (Леонтович называет его «представителем либерального абсолютизма») «считал для абсолютной монархии возможным принять основные требования либерализма в качестве правительственной программы или даже в качестве основных принципов, на которых построено государство, при этом нисколько себе самой не повредив, и тем самым способствовал тому, чтобы направить русских монархов на путь либеральных реформ». «По мнению Карамзина, — пишет далее Леонтович, — не только возможно, но и необходимо, чтобы абсолютная монархия усваивала принципы либеральной идеологии. Проведение в жизнь либеральных реформ и принятие либеральных методов управления госу-

дарством являются требованием справедливости, а следовательно, и требованием нравственным...»

...Биографы так и не договорились по поводу точного места рождения Н.М. Карамзина. В качестве его «малой родины» называют то село Михайловка Симбирской губернии (ныне Бузулукский район Оренбургской области), то поместье Знаменское Симбирского уезда Казанской губернии, то село Богородское на территории Симбирского наместничества, то сам Симбирск.

Как бы там ни было, детство Карамзина прошло в городе Симбирске и Знаменском — усадьбе его отца М.Е. Карамзина (1724–1783), выходца из среднепоместного рода Карамзиных. Род этот происходил от татарского князя Кара-Мурзы, который «вышел в Москву», принял православие и за верную службу получил от московского государя дворянский титул и земли на Волге: на гербе Карамзиных на голубом фоне изображен полумесяц над двумя скрещенными золотыми мечами. Некий Семен Карамзин числился в дворянах еще при царе Иване Грозном; один из его прапраправнуков, Михаил Егорович Карамзин, отец историка, служил при императрице Елизавете Петровне в Оренбурге, рядом с наместником края Иваном Ивановичем Неплюевым (учеником и любимцем самого Петра Великого), и вышел в отставку капитаном.

Начальное образование Николай Карамзин получил в родительском доме и в частном пансионе француза Пьера Фовеля в Симбирске, а в 12 лет был направлен на учебу в Москву. В сопровождении крепостного дядьки он приехал осенью 1778 года в московскую Немецкую слободу, в частный пансион профессора Московского университета Иоганна Шадена. В судьбе Карамзина четыре года пребывания в московской Немецкой слободе были периодом исключительно важным, фактически его первым путешествием в Европу. Парадокс заключался в том, что эту свою «первую Европу» юный Карамзин нашел не на Западе, а в Москве, причем уже как вполне органичную часть русской жизни. Ведь Немецкая слобода времен Карамзина-подростка — это уже екатерининская Москва, прожившая со времен Петра с его «потешными» катаниями по Яузе-реке и наивно-любопытным подглядыванием за жизнью «немцев» (т.е. всех «немых», не говорящих по-русски чужаков) содержательный период межкультурного синтеза.

Многие источники подтверждают, что Карамзин был лучшим и любимым учеником профессора философии Шадена, который целенаправленно готовил его для поступления в один из немецких университетов — чаще всего обсуждался славный философский факультет Лейпцигского университета. Как известно, Карамзину не довелось стать профессором философии: его отец, отставной офицер, посчитал гуманитарное образование сына законченным и отправил его служить в гвардейский Преображенский полк в Санкт-Петербург, из которого тот, впрочем, быстро вышел в отставку в чине поручика.

О «европейском путешествии» Н.М. Карамзина 1789–1790 годов по Германии, Швейцарии, Франции и Англии мы знаем в основном со слов са-

мого Карамзина из «Писем русского путешественника». Между тем все больше доказательств получает версия, согласно которой это было вовсе не «путешествие», а бегство из Москвы от возможных репрессий — бегство, организованное друзьями Карамзина из масонского кружка Николая Новикова. Не было и никаких «писем путешественника» — Карамзину было запрещено писать, и 14 месяцев он никому не писал из-за границы. Более того, согласно этой версии, осенью 1789 года в Швейцарии, в Женеве Карамзин перенес тяжелейшую душевную болезнь, от которой с трудом оправился. В своих стихах, написанных тогда в Женеве, он считал свое выздоровление «чудом» и «вторым рождением». А то, что спустя 14 месяцев, летом 1790 года он вернулся в Россию, когда направляемые Екатериной II репрессии против его друзей из «кружка Новикова» пошли уже всерьез, было актом большого гражданского мужества...

Нет ни малейших сомнений, что карамзинские «Письма русского путешественника» (название это, повторяем, полно горькой авторской иронии) — книга, по сути, насквозь либеральная и даже либерально-космополитическая. Ведь сам генезис раннего карамзинского мировоззрения пришелся на очень конкретный период отечественной истории. Прошло не так много лет после воцарения Екатерины II, и в русской культуре постепенно закрепились комплиментарная по отношению к «просвещенной императрице», но и весьма историософски содержательная антитеза «тело *versus* душа» в оценке направления нашей истории XVIII века. Когда весной 1770 года в Санкт-Петербургской академии художеств выставили для обозрения модель фальконетовского «Медного всадника», Александр Сумароков сочинил стихотворную надпись «Ко статуе Государя Петра Великого», где выдал запоминающуюся метафору: «Петр дал нам бытие, Екатерина — душу». Похожую формулу находим и в стихотворном послесловии Михаила Хераскова к его роману «Нума Помпилий, или Прозвещающий Рим» (1768): «Петр россам дал тела, Екатерина — душу».

Однако не императрице, а литератору и историку Карамзину было суждено совершить великое дело — вдохнуть живую душу в тело созданной великим Петром империи, наполнить самобытным гуманным смыслом самодержавный контур, не повредив при этом оболочки. Верно заметил на сей счет историк С.М. Соловьев, выступая в актовом зале Московского университета 1 декабря 1866 года, в день 100-летнего юбилея Карамзина: «После тревожной эпохи преобразования и переходного времени... произошла перемена в основном взгляде русских людей; они заявили свое недовольство одним внешним и требовали внутреннего, требовали вложения души в тело (везде выделено мной. — А.К.), и требование было удовлетворено... Вглядимся в эту мягкость черт Карамзина, припомним в нем это сочувствие к чувству, к нравственному содержанию человека, припомним его выражение, что чувством можно быть умнее людей умных умом». Напомним, что дореволюционный критик А.М. Скабичевский советовал всем читателям Карамзина «откинуть в сторону его политические взгляды» и посмотреть на него как на «моралиста-прогрессиста», который «первый, вопреки средне-

«Для существа нравственного нет блага без свободы...»

вековой догматике, начал проповедовать и свободу страстей, и право человека на земное счастье», что было по тем временам неслыханной ересью и вызвало натуральные доносы, где сочинения Карамзина объявлялись «исполненными вольнодумческого якобинского яда».

Разумеется, потрясения европейских революций (прежде всего Французской, которую Карамзин-эмигрант имел возможность наблюдать лично) закономерно привели к переосмыслению им многих проблем, ранее решаемых в чисто либеральном ключе, и существенному «поправению» его политических позиций. Однако сам этот процесс эволюции Карамзина от либерального космополитизма к либерал-консерватизму требует внимательного анализа.

Вообще, либералом человека (ученого, идеолога, политика) делает центрированность его идей и действий на приоритете «блага свободной личности». Кто и что может обеспечить это приоритетное благо — самодержавный монарх, конституция, народное представительство или что-то иное, — вопрос вторичный. Поэтому до тех пор, пока Карамзин в своих мыслях и сочинениях ставил во главу угла приоритет «свободной личности», он был либералом. Очень точно пишет крупнейший российский литературовед Борис Федорович Егоров (родившийся, к слову, в год столетия кончины Карамзина, в 1926 году), ближайший друг и единомышленник покойного Ю.М. Лотмана. В небольшой, но крайне принципиальной статье под характерным названием «Эволюция русского либерализма в XIX веке: от Карамзина до Чичерина» Егоров отмечает: «От талантливой, яркой пропаганды внутренней свободы человека, пропаганды европейского просвещения, что было характерно для молодого Карамзина, художника и публициста, идет прямая дорога к русскому либерализму средней трети XIX века». Соответственно, Карамзин перестает быть либералом, когда вместо «свободной личности» его приоритетом оказывается государство, а «судьба и ценность личностей становится как бы вторичной».

Возможен, однако, и еще один, существенно иной ход размышлений относительно «либерализма Карамзина». Петр Бернгардович Струве, в зрелые годы не устававший подчеркивать свое идейное сродство с Карамзиным, называл его родоначальником либерального консерватизма (понятие, впервые сформулированное другом Карамзина, князем П.А. Вяземским) — «традиции русской, свободолобивой и охранительной в одно и то же время государственной мысли», главным содержанием которой является активное неприятие «засывающего и заманивающего суесловия и блудсловия» (выделено мной. — А.К.). К слову, к продолжателям этой традиции Струве относил Пушкина, самого Вяземского, Бориса Чичерина, «Вехи», «Московский еженедельник» братьев Трубецких и свои собственные очерки из сборника «Patriotica».

Думается, Карамзин согласился бы с такой оценкой своего идейного наследника: за свою жизнь он прооппонировал практически всем «лагерям» и «партиям», и его расхождения с ними были прежде всего дискурсивные, ибо оружием Карамзина было Слово (которое в христианской традиции

суть Бог), а врагами — те самые «суесловие» и «блудословие», с каких бы сторон они ни исходили. На этом пути десакрализации всякого «ложного слова», развенчания любой идеократии Карамзина не могли остановить ни блажь черни, ни лукавство царей, ни даже «скороспелые» заблуждения близких друзей.

Большой потенциал прогрессистского видения исторического процесса заключен в главном труде Н.М. Карамзина — многотомной «Истории государства Российского». В своем анализе истоков русской государственности автор опирался на летописные источники (прежде всего на «Повесть временных лет») о призвании новгородцами в 862 году варяжской дружины Рюрика из племени «россов». Вслед за летописцем, Карамзин считал, что это племя шведского происхождения. Важным элементом его концепции было предположение, что за некоторое время до добровольного призвания варяги-россы уже захватывали эти земли силой, но славяне сумели в тот раз изгнать чужеземцев. Однако принявшие было править местные вожди устроили такую кровавую междоусобицу, что посадские люди приняли решение о «новом призвании» варягов. Вывод нашего первого историографа очевиден: не народы славянские были неспособными к государственности, а местные вожди, в силу эгоизма и алчности, оказались неспособными к эффективному «договорному» правлению.

В конце жизни Карамзин сам подтвердил свое умеренно-либеральное кредо в «Мыслях об истинной свободе», написанных незадолго до смерти, в начале 1826 года. «Можно ли в нынешних книгах или журналах без жалости читать пышные слова? — печально-иронически вопрошает уже больной Карамзин, серьезно простудившийся 14 декабря близ Сенатской площади, где он с ужасом наблюдал вспышку братоубийства. — Настало время истины; истиною всё спасем; истиною всё ниспровергнем... Настало время истины: т.е. настало время спорить об ней!» И далее он раздает «по серьгам» всем своим оппонентам: «Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Вы все Авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод».

Так на чьей же стороне истина? «Для существа нравственного, — заключает свои заметки Карамзин, — нет блага без свободы; но эту свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью Божиею. Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностью к провидению!» Эта глубокая карамзинская формула в его фактически духовном завещании 1826 года о личной свободе, которую каждый человек может подарить «самому себе с помощью Божией», позволяет говорить о Карамзине как об одном из русских зачинателей «христианского либерализма» — учения не столько политического, сколько культуроцентричного.

«Для существа нравственного нет блага без свободы...»

Загадку уникальности Карамзина в нашей культуре, похоже, разгадал П.Я. Чаадаев, в письме А.И. Тургеневу (1838) писавший о том, что он «с каждым днем более и более научается чтить память Карамзина», который становится для него символом победы человеческого ума над «фанатизмом».

Итак, Н.М. Карамзин имеет самое прямое отношение к русской либеральной традиции. Однако как человек предельно честный (его жизнь и труды Пушкин назвал «подвигом честного человека»), Карамзин не мог не видеть легковесности многих современных ему *liberalistes du jour* (либералов «дежурных» или, по определению Ю.М. Лотмана, «скороспелых») — включая, кстати, и прекрасного прожектера-императора Александра I. С другой стороны, Карамзина, как и его прямого наследника — Пушкина, смущала и пугала «толпа» в любых ее проявлениях: и непросвещенная «чернь», способная смести все достижения «свободных личностей»; и сонм придворных «сервилистов», «жадной толпой стоящих у трона» (Лермонтов); и, увы, его молодые современники из во многом возвращенной им самим «либералистской партии».

Вспомним ироничное замечание Карамзина, брошенное им своему младшему другу и воспитаннику кн. П.А. Вяземскому о «либералах, которые нелиберальны даже в разговорах». Прав в очередной раз Ю.М. Лотман: «Карамзин презирал либеральные фразы и высоко ценил человеческое достоинство».

МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ
СПЕРАНСКИЙ

«Поменять шаткое
своеволие на свободу
верную...»

Михаил Сперанский родился 1 января 1772 года в селе Черкутино Владимирской губернии в семье потомственных священнослужителей. В семь лет его отдали во Владимирскую семинарию, где по обычаю, существовавшему в духовном сословии, ему дали фамилию Сперанский (от латинского глагола sperare — «надеяться»). Когда в Петербурге была основана Главная семинария при Александро-Невском монастыре, куда направлялись «надежнейшие в благонравии, поведении и учении» семинаристы, Михаил Сперанский был переведен туда на казенное содержание.

С годами молодого семинариста все больше интересовали философия, право и политическая мысль Запада. Сперанский прочитал в подлинниках сочинения Вольтера, Дидро, Локка, Лейбница, Кондильяка, Канта и многих других популярных в ту пору авторов.

В то время Сперанский готовился к духовному поприщу. Вскоре его первые проповеди были замечены в Петербурге. Услышав некоторые из них, митрополит Санкт-Петербургский Гавриил был поражен их глубиной и логикой изложения. По его распоряжению Сперанского оставили в Главной семинарии преподавателем математики, физики и красноречия, а вскоре назначили преподавателем философии и префектом семинарии. Должность эта предполагала принятие монашества: митрополит понимал, что такие люди, как Сперанский, нужны церкви. Но Сперанский отказался: он мечтал уехать за границу, чтобы продолжить образование. Кто бы мог предположить, что пройдет всего два года — и Сперанский получит потомственное дворянство, а переменчивая Фортуна уже выбрала его своим любимцем.

Богатому екатерининскому вельможе, князю Алексею Борисовичу Куракину, понадобился домашний секретарь для ведения переписки. Выбор пал на Сперанского. На новом месте тот близко сошелся с прибывшим из Пруссии гувернером Брюкнером, отчаянным поклонником Вольтера. Они бесконечно беседовали о Западе и России. Комната гувернера стала тем местом, где идеи будущего реформатора впервые прозвучали вслух.

Взошедший вскоре на престол Павел I пожаловал Куракина, друга своей юности, в сенаторы, а потом и в генерал-прокуроры. На этом поприще

Сперанский был ему необходим. Сановник легко договорился с митрополитом, и Сперанский навсегда оставил Петербургскую семинарию.

В декабре 1799 года двадцатисемилетний Сперанский уже был статским советником, а еще через полтора года — действительным статским советником. Биографы изумлялись, читая его формулярный список: всего за четыре с половиной года бедный попovich из домашнего секретаря влиятельного вельможи достиг чина, соответствующего генеральскому званию.

К тому времени не только бедная юность была позади, но ушло навсегда и счастье: Сперанский овдовел. Юную англичанку, дочь пастора, поразившую его своей красотой, он встретил в 1798 году. Очень скоро двадцатипятилетний Михаил Сперанский и шестнадцатилетняя Елизавета обвенчались. Счастье их длилось всего одиннадцать месяцев. В сентябре 1799 года у Сперанского родилась дочь Елизавета, а у его жены после родов началась быстротечная чахотка. Вернувшись однажды со службы домой, Сперанский застал жену мертвой. Не помня себя от горя, он ушел из дома — только спустя много дней его нашли на одном из невских островов. Дочь вернула его к жизни; работа помогла забыться. Он так и не женился второй раз.

Приход к власти Александра I ознаменовал начало новой эпохи. Закончился XVIII век. Слово «свобода» носилось в воздухе. Тогда, на рассвете александровского царствования, быстрые преобразования казались возможны. Советниками молодого царя были все сплошь «европейцы» — по образованию и убеждениям — граф Павел Александрович Строганов, его двоюродный брат Николай Николаевич Новосильцев, граф Виктор Павлович Кочубей, князь Адам Чарторижский. «Молодые друзья» царя образовали «Негласный Комитет», где обсуждались планы реформирования России. Усилиями «Негласного Комитета» (люди екатерининского века, в частности Г.Р. Державин, называли его не иначе как «якобинской шайкой») были сделаны первые шаги в сторону реформ, например было предоставлено право покупки земли всем свободным гражданам.

Молодые реформаторы, однако, понимали, что главное зло — самодержавие. Сам Александр писал своему учителю Лагарпу, что намерен «сделать невозможным деспотизм в России» и провозгласить «важнейшей задачей своего правления установление прославленных прав граждан».

К началу нового царствования имя бывшего семинариста Сперанского уже было известно в чиновничьем мире. Министр внутренних дел, умный, тонкий и образованный, граф В.П. Кочубей привлек Сперанского к работе в своем ведомстве.

Сперанского ценили за профессионализм и работоспособность. «Молодые друзья» императора могли бесконечно обсуждать государственные проблемы, но придать бумаге вид документа умел только Сперанский. Он, будучи свободным от сословных предрассудков, глядел намного дальше «молодых друзей».

В 1802–1804 годах Сперанский написал целый ряд политических записок, часть которых была написана по заказу Кочубея, часть — по собствен-

ной инициативе. С первых же шагов он проявил себя как сторонник идеи первенства закона над властью самодержца. Сперанский был убежден, что государственный строй, существующий в России, должен измениться: деспотия призвана уступить место «истинной», конституционной монархии. Главным двигателем реформ, по его мнению, должен стать просвещенный государь. Но в отличие от «молодых реформаторов» Сперанский искал силу, способную гарантировать выполнение закона самим государем. Эту силу он находил в «народе» и общественном мнении: «Не правительство рождает силы народные, но народ составляет силы его. Правительство всемошно, когда народ быть таковым ему попускает».

Критикуя систему правления, Сперанский действовал, конечно, в интересах самой власти. Положение, когда три ветви власти соединены в руках самодержца, неэффективно, ибо не обеспечивает правопорядка и даже, как показал опыт, не гарантирует от переворота в верхах. Компетенции Госсовета, Сената, министерств спутаны; общество не уважает законы. Поэтому Сперанский отстаивал мысль о «коренных законах», которыми должны подчиниться все — как монарх, так и общество.

В первый период своей деятельности Сперанский считал, что начинать надо с политической реформы, которая станет гарантом всех дальнейших преобразований в гражданском праве. Такой политический идеализм подкреплялся верой в то, что утверждение «истинной монархии» будет способствовать становлению политической зрелости третьего сословия, а политическая свобода пробудит в гражданах чувство собственного достоинства и даст толчок к развитию общественной деятельности. В этом-то и заключалась уникальность эпохи Александра I: при отсутствии какого бы то ни было движения снизу, в условиях относительной социально-политической стабильности, Россию, казалось, можно было сдвинуть, установить законы, не нарушая при этом прерогатив императора.

Первые политические проекты Сперанского были следствием его размышлений о социальном порядке и человеческой свободе. Вслед за Кантом он полагал свободу изначально данной человеку благодаря его разумной свободной воле. Внутренняя свобода человека — это возможность распоряжаться собой и своими желаниями, т.е. выбор между двумя путями развития личности — «восходящим» и «нисходящим». «К восходящему пути совершенствования принадлежат все явления человеческой жизни, все деяния, посредством коих бытие ограниченное освобождается от пределов, приближается к бытию совершенному...»

Большое значение придавал Сперанский и понятию «внешней свободы», образуемому социальными институтами. Согласно Сперанскому, человек, вступивший в общество и свободно выбравший «восходящий» путь, тем самым усиливает и умножает свою свободу. Он «обращает свой мертвый капитал в доходный, меняет шаткое своеволие на свободу верную. И сколь бы ни была ограничена и свобода, если только она не подавляется рабством, она лучше и вернее естественного состояния». Поэтому Сперанский строго различает положительную «свободу народа», построенную

«Поменять шаткое своеволие на свободу верную...»

на подчинении праву, и отрицательную «свободу черни», стремящейся увильнуть от исполнения гражданских обязанностей. Сознательное самоограничение естественной свободы, воспитанное длительным процессом гражданственности, согласно Сперанскому, — высшая степень свободы. Ее может и должен достичь каждый разумный и законопослушный гражданин, в том числе и монарх.

Между тем ситуация в России и Европе значительно изменилась. Поражение при Аустерлице, подписание невыгодного для России Тильзитского мира, демонстративная дружба со вчерашним врагом — «чудовищем Буонапарте», присоединение к континентальной блокаде Англии и ухудшение в этой связи экономического положения вызвали глубокий кризис российской власти. Шведский посланник при русском дворе Курт фон Стединк докладывал осенью 1807 года королю Густаву IV: «Недовольство императором все более и более растет, повсюду говорят такое, что страшно слушать... Раздаются публичные речи о необходимости перемены правления... Говорят, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена от власти, а так как императрица-мать и императрица Елизавета не обладают соответствующими данными, то на трон хотят возвести великую княгиню Екатерину...» Чтобы укрепить свое положение, Александр I сделал ставку на Сперанского, популярного в придворных кругах и, что было важно для царя, никогда не скрывавшего своих про-французских симпатий.

Император познакомился со своим статс-секретарем еще в 1806 году, когда граф Кочубей во время частых болезней начал посылать для доклада вместо себя Сперанского. Превосходный докладчик, безупречный исполнитель принимаемых решений, умевший на лету ловить и угадывать каждое слово, Сперанский сразу же очаровал императора. Оставив Министерство внутренних дел, он стал работать непосредственно под царским началом. В сентябре 1808 года Сперанский находился на переговорах в Эрфурте в числе лиц, пользовавшихся особым доверием Александра. Тогда и Наполеон оценил таланты секретаря русского императора; согласно воспоминаниям очевидцев, Наполеон, имевший со Сперанским частную беседу, по окончании подвел его к Александру и сказал: «Не угодно ли Вам, государь, променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?»

Рассказывали также, будто в Эрфурте на вопрос царя: «Как тебе нравится Германия?» — Сперанский ответил: «Постановления на немецкой земле лучше наших, но люди у нас умнее». А император будто бы сказал: «Это и моя мысль, мы еще поговорим, когда воротимся». Именно с Эрфуртского конгресса начинается для Сперанского время высшего величия: в декабре 1808 года он был назначен товарищем (заместителем) министра юстиции, а вскоре получил чин тайного советника.

Именно Сперанскому, который занял должности директора Комиссии законов и государственного секретаря учрежденного Госсовета, было поручено окончательное редактирование «Плана государственного образо-

вания», предусматривавшего политическое реформирование государства. Все подробности «Плана» обсуждались лично с императором.

Законы, которые необходимо в короткие сроки установить в России, по мысли Сперанского, в своей совокупности должны были составить Конституцию. Главные принципы ее он видел в следующем: разделение властей, независимость законодательной и судебной власти, ответственность исполнительной власти перед законодательной. «Правление, доселе самодержавное, учреждается на непрременном законе».

К концу 1809 года основной документ преобразовательных планов царствования Александра I был готов. Главное достижение «Плана» Сперанского — разделение властей и предоставление гражданам избирательного права, ограниченного имущественным цензом. Государственная дума образовывалась путем многоступенчатого избрания: сначала волостная дума, потом окружная и губернская и затем уже государственная. Государственная дума, согласно «Плану» Сперанского, не получала права законодательной инициативы — утверждала закон, принятый Думой, высшая власть. Но всякий закон должен быть предварительно, до своего утверждения, принят Думой, и Дума вправе контролировать действия администрации по соблюдению основных законов. «Весь разум сего Плана состоял в том, чтобы посредством законов и установлений утвердить власть правительства на началах постоянных и тем самым сообщить верховной власти более нравственности, достоинства и истинной силы» — так определял значение своей конституции сам М.М. Сперанский.

Реформистский «План» Сперанского не нарушал ни одной привилегии дворянства, полностью оставляя за последним право владения людьми и землями. Но такие положения «Плана», как создание представительных учреждений, подчинение монарха закону, участие населения в законодательстве и местном управлении, возможность перехода из одной социальной группы в другую, — все это в перспективе позволяло России двигаться по направлению к правовому конституционному строю.

Профранцузская ориентация Сперанского дала его влиятельным врагам (силу которых реформатор явно недооценил) повод упрекнуть автора в том, что его проект «сшит из лоскутов» французских конституций 1791–1804 годов. «План» был объявлен «совершенно непригодным» для России. Потенциальная угроза самодержавию, которую нес «План» Сперанского, объединила консервативно настроенные элиты и заставила Александра I отступить. Поздним вечером 17 марта 1812 года, после беседы с царем, в полицейской карете опальный фаворит отправился в ссылку в Нижний Новгород.

Через полгода Сперанский был переведен в Пермь — позднее он увидел в этом решении чуть ли не благодеяние императора. Ведь осенью 1812 года Нижний Новгород стал главным пристанищем бежавших от Наполеона дворянских семей, для которых Сперанский оставался французским шпионом и изменником. Но и в Перми Сперанский оказался без денег, книг, под угнетительным постоянным надзором, в обстановке крайней враждебности.

«Поменять шаткое своеволие на свободу верную...»

О тяжелых условиях пребывания в ссылке Сперанский написал императору. Вскоре пермский губернатор получил указание министра полиции следующего содержания: «Разуметь сосланного государственного секретаря как тайного советника». Приставленные к ссыльному стражи, которые имели право в любой момент войти к нему в кабинет, исчезли, а напуганный городничий со свитой пришли к тайному советнику на поклон. Впрочем, Михаил Михайлович не был злопамятен: он ждал полной амнистии.

30 августа 1816 года Сперанский получил указ о назначении его пензенским гражданским губернатором. Это было прощение, и бывшие недруги поспешили выразить свое почтение бывшему статс-секретарю. Сперанский сразу нашел государственный подход к местному управлению, план реформирования которого он предлагал еще в проектах 1808–1809 годов. Он начал с того, что ввел довольно редкую по тем временам практику: организовал прием граждан по личным вопросам для того, чтобы знать истинное положение вещей. Центру Сперанский предложил ряд мер: усилить власть вице-губернаторов за счет уменьшения нагрузки губернатора, законодательно определить размер повинности, дать крестьянам право судиться с помещиком, запретить продажу крестьян без земли, устранить препятствия для перехода крестьян в вольные хлебопашцы.

22 марта 1819 года Александр I подписал указ о назначении Сперанского генерал-губернатором Сибири. Император давал Сперанскому полтора-два года, чтобы навести порядок в Сибири, вскрыть все злоупотребления и составить предложения по коренному переустройству края. Новые обширные полномочия не могли не льстить самолюбию Сперанского. К тому же из указа было очевидно, что все бывшие подозрения сняты, что возвращение в столицу не за горами и, главное, что император видит его в будущем рядом с собой.

Практическая деятельность Сперанского в Пензе и Сибири не могла не повлиять на его взгляды. Если раньше преобразования он связывал с политическими свободами граждан, то теперь он пришел к выводу, что начинать необходимо с гражданских прав, которые «должны предшествовать преобразованиям политическим». В ряду гражданских преобразований на первое место Сперанский выдвигал реформу губернского управления. Им были разработаны и внесены для утверждения несколько законопроектов, затрагивавших различные стороны управления Сибирью (о компетенции и ответственности генерал-губернатора, о составе и структуре губернских учреждений и т.д.). Образованный царем летом 1821 года специальный Комитет для рассмотрения отчета Сперанского одобрил все его предложения.

Наконец 8 февраля 1821 года Сперанский пустился в долгий обратный путь из Тобольска. 22 марта он был в Петербурге. «К обеду в Царском селе. Встреча Елисаветы. Какая встреча! Странствовал девять лет и пять дней», — записал Михаил Михайлович в дневнике. Сколько всего пережито, а Сперанскому всего 49 лет. За период с 1812 по 1821 год, который

он провел в ссылке и на «выслужении», прошла целая эпоха, грандиозная по своей значимости для России.

Летом 1821 года Сперанский был назначен членом Государственного совета по департаменту законов; ему были пожалованы 3500 десятин земли в любимейшей ему Пензенской губернии. Дочь его Елизавета была произведена во фрейлины. Но этим царские благодеяния ограничились...

Пришедшему на смену брату императору Николаю I посоветовали поручить написание Манифеста о восшествии на престол именно Сперанскому. Ирония судьбы заключалась в том, что в случае своей победы декабристы также планировали обратиться с подобной просьбой к Сперанскому и даже прочили ему место во Временном правительстве. Зная об этом, Николай I устроил Сперанскому проверку, заставив его участвовать в Верховном уголовном суде над декабристами. Все это чрезвычайно тягостно подействовало на Сперанского. Многих активных участников попытки переворота он хорошо знал, а Гавриила Батенькова, который долго жил в доме Сперанского, любил как сына.

Новый император столкнулся с удручающим состоянием российского правосудия. Его по-военному четкий склад ума требовал однозначных ответов, но законодательство, призванное вносить ясность, находилось в состоянии хаоса. Поэтому передача полномочий главы Комиссии составления законов Сперанскому была вызвана не особым доверием, а неотложной необходимостью. В 1830 году под руководством Сперанского было издано 45 томов «Полного собрания законов», содержащих 42 000 статей по истории развития русского законодательства. На основании всего этого под руководством Сперанского была начата работа над новым «Сводом законов», куда вошло только то, что «оставалось неизменным и ныне сохраняет свою силу и действие».

19 января 1833 года на заседании Госсовета было решено, что с 1835 года «Свод законов Российской империи» вступает в силу в полном объеме. Николай I торжественно снял с себя Андреевскую звезду и надел ее на Сперанского.

В начале 1840-х годов Сперанский написал свое итоговое сочинение «Руководство к познанию законов». Это был выстраданный сплав убеждений, памятник эволюции взглядов умеренного либерала-конституционалиста под давлением времени и обстоятельств. Впрочем, провозглашенные Сперанским еще в 1803 году идеи прав личности и частной собственности остались и в тексте 1838 года — только теперь они виделись как неотъемлемые элементы созданного Богом нравственного порядка. Порядок же этот мог быть гарантирован единственно в абсолютной монархии, где самодержец подчиняется суду Божьему и суду своей совести. И только этим и ограничен...

В конце 1838 года простуда спровоцировала тяжелую болезнь. 1 января 1839 года, в день, когда Сперанскому исполнилось 67 лет, ему был пожалован графский титул. В те дни он уже не вставал и держался одним усилием воли.

«Поменять шаткое своеволие на свободу верную...»

Михаил Михайлович Сперанский скончался 11 февраля 1839 года и был похоронен в Александро-Невской лавре, в стенах которой он полвека назад начинал свое поприще бедным семинаристом. При погребении присутствовал император, двор в полном составе и дипломатический корпус. «Другого Сперанского мне уже не найти», — повторял Николай I.

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
ТУРГЕНЕВ

«Я — космополит
и русский в одно время...»

Пушкинисты склонны видеть в Александре Ивановиче Тургеневе один из прообразов Владимира Ленского, привезшего из «Германии туманной» «учености плоды». По-видимому, для этого есть достаточно оснований. Но прежде чем погрузиться в глубины германской учености, его прообраз прошел школу русской духовной культуры.

Александр Иванович Тургенев (1784–1845) происходил из старинного дворянского рода. Его отец — Иван Петрович Тургенев, богатый помещик Симбирской губернии, до 1779 года находился на военной службе. Биография Ивана Петровича как деятеля русской культуры начинается после выхода в отставку, когда, поселившись в Москве, он сближается с прибывшим туда в том же году Н.И. Новиковым. Тургенев — одна из центральных фигур образовавшегося масонско-просветительского кружка, душой которого был Новиков. Высланный в 1792 году после ареста Новикова и разгрома его кружка в свое симбирское имение, Тургенев был возвращен Павлом I. Его окружение, в которое входили и другие масоны, и дистанцировавшиеся от масонских литературно-эстетических установок Н.М. Карамзин и И.И. Дмитриев, становится центром московской интеллектуальной жизни. Роль в ней И.П. Тургенева еще более возрастает с назначением его директором Московского университета (1800–1803). Его сыновья — Андрей, Александр, Николай и Сергей, росшие в духовной атмосфере масонства, с детства впитывали так называемую «науку самопознания», готовность к «принятию мудрости и ко вступлению на путь добродетели и общественного служения». Вместе с тем им было близко то направление русской мысли, выразителем которого стал Карамзин. Возвратившись из путешествия по Европе, он противопоставляет западническим настроениям русских масонов обращение к национальным ценностям и традициям. Синтез двух начал — европейского гуманистического и русского самобытного — во многом сформировал мировоззрение молодых Тургеневых.

Первоначальное образование братья Тургеневы получили под руководством женева Георга Кристофа Тоблера, родственника швейцарского проповедника Лафатера. Не без его влияния они увлекаются немецкой литературой, прежде всего Гёте, которого Тоблер знал лично и с которым переписывался И.П. Тургенев.

В 1797 году Александр Тургенев поступает в Московский университетский благородный пансион, который оканчивает в 1800 году. Именно тогда его старший брат Андрей, одаренный литератор, создает «Дружеское литературное общество»; оно объединит участников литературных кружков, ранее возникших среди воспитанников пансиона и университета. «Дружеское литературное общество» было по своему замыслу прежде всего просветительским объединением. Ознакомление русской читающей публики с германской литературой, ее лучшими образцами воодушевляло всех собравшихся вокруг Андрея Тургенева. В этом объединении дворянской молодежи, с его ярко выраженными просветительскими установками, не было идейного единства. Если для Андрея Тургенева, Андрея Кайсарова, Алексея Мерзлякова общим (по выражению Ю.М. Лотмана) было «стремление рассматривать литературу как средство пропаганды гражданственных, патриотических идей, а сама цель объединения мыслилась не только как литературная, но и общественно-воспитательная», то для Александра Тургенева, его друзей Василия Жуковского и Михаила Кайсарова была характерна устремленность к высокой морали и философии. Это настроение Александра Тургенева отразилось в произнесенной им на собрании Общества речи «О том, что люди по большей части сами виновники своих несчастий и неудовольствий, встречающихся в их жизни». «Источник зла, разлитого во вселенной, — утверждает молодой Тургенев, — ты сам, в тебе источник зла, испорченная воля твоя, твое воображение...»

Геттинген, куда летом 1802 года направился Александр Тургенев вместе с группой других московских студентов, был выбран не случайно. Этот протестантский университет был самым притягательным для русской молодежи в силу высокого научного авторитета. Именно это определило выбор Ивана Петровича Тургенева. Поклонник немецкой учености, он имел давнишние связи с Геттингеном. Среди местных профессоров были ученые, нечуждые новым идеям и теориям, как, например, поклонник Адама Смита профессор политической экономии Георг Сарториус, профессора Арнольд Геерен, Иоганн Эйхгорн, Август Шлецер — люди не только знаменитые своей образованностью, но и обладавшие высоким авторитетом в европейской политике. «Лютер в политике тогдашней», как позже скажет о Шлецере А.И. Тургенев.

Именно в первый — осенний — семестр (1802) Шлецер начал читать «Историю северных государств, наиболее Российской империи». Это был первый университетский курс русской истории. В том же 1802 году вышел первый том его четырехтомного издания начальной летописи — «Нестор».

Тургенева покорила увлеченность Шлецера Россией. «Профессор Шлецер мне отменно полюбился, — писал он родителям, — за свой образ преподавания и за то, что он любит Россию и говорит о ней с такой похвалой и таким жаром, как бы самый ревностный сын моего отечества». Столь же сочувственен был его отклик на трактовку ученым политических уроков истории. Делясь впечатлениями от только что прослушанного курса Шлецера, Тургенев писал: «Основываясь на практической му-

дрости, он сказал, что хотя страждущие от тиранства подданные имеют право на революцию и право ссадить своего тирана, но что действие сие сопряжено всегда с такой опасностью, что лучше оставить и терпеть до тех пор, пока Провидение само захочет освободить народ от железного скипетра... Сколь далеко простирается история, везде почти показывает она, что, хотя мятежи кой-когда и удавались, всегда почти приносили они с собой больше пагубы и бедствий для народа, нежели, сколько бы претерпел он, снося тиранских действий». Мудрость такой оценки исторической целесообразности революций была очевидна для Тургенева как в ранней юности, так и в зрелые годы. Именно здесь, в Геттингене, в политическом сознании Тургенева укоренилась идея верховенства закона в человеческом сообществе.

В те же годы, осмысливая впечатления, вынесенные из путешествия по немецким и славянским землям, где он был свидетелем острого конфессионального и национального противостояния, Тургенев становится убежденным космополитом, сторонником «всеобщего человеческого братства». «Для чего не стараться нам, насколько можно, получить всеобщее чувство и право называться гражданами одного мира, одной церкви? И зачем все сии расколы в христианстве? Неужели человек, любящий свое отечество, свою родину, совершенно потерял всеобщее чувство братства? Неужели физические границы так сильно отделяют его от собрата его как за горами Апеннинскими, так и за ледовитым морем?» — писал он.

Идеям Тургенева о роли разума в деле прогресса оказался близок протестантизм. В августе 1804 года он писал родителям из Будапешта: «Что касается протестантов и католиков, то мудрено ли, что первые умнее и трудолюбивее последних. Их свободный образ мыслей, очищенный от предрассудков, сблизил протестантов более с просвещением, и они смеют пользоваться открытиями других, между тем как католиков намеренно держат в их прежнем невежестве и успехи всеобщего образования у них гораздо медленнее». Тот культ разума, существовавший в масонском кругу отца, оказался глубоко созвучен восприятию Александром Тургеневым протестантизма, этические нормы которого в начале века воспринимались русским образованным обществом в неразрывной взаимосвязи с экономическим и политическим прогрессом.

Итак, если ранний, московский период жизни А.И. Тургенева был отмечен в основном увлечением литературой, то в Геттингене под влиянием лекций университетских профессоров определяется поворот Тургенева к осмыслению проблем русской истории, ее соотношения с историей Европы. Именно в эти годы, в Геттингене, под влиянием лекций Шлецера, берет начало устойчивый интерес Тургенева к русской культурно-исторической традиции и к источникам русской истории, поискам, сбору и публикации которых он впоследствии посвятил большую часть своей жизни. Уже в геттингенский период Тургенев стал тем, кем он был до конца своей жизни. «Космополит и русский в одно время», — говорил он о себе.

«Я — космополит и русский в одно время...»

За время обучения в Геттингене Тургенев неоднократно выступает с докладами, публикует статьи в «Вестнике Европы» и «Северном вестнике». Его научные успехи получили самую высокую оценку геттингенских профессоров. Август Шлецер не мыслил своего русского студента вне науки: он снабдил его перед возвращением в Россию рекомендацией в Императорскую академию наук на должность адъюнкта по историческому классу. Александр Тургенев надеялся совместить занятия наукой и государственную службу. «Что касается до будущего моего определения, — писал он отцу из Геттингена, — я всегда надеялся, что служба не совсем лишит меня времени заниматься и что знание наших законов поможет мне и в самой истории». Как видно, уже тогда было определено, что служба эта будет в сфере законодательной.

Служебная карьера Александра Тургуева началась под счастливой звездой — он оказался востребованным временем. Молодой интеллект, он — знаток современной европейской гуманитарной науки и сторонник новых политических идей — стремился приложить свои знания и убеждения на практике. Именно такие люди нужны были власти, ближайшим сподвижникам Александра I, охваченного идеей реформирования политических устоев России. К их числу принадлежал и Н.Н. Новосильцев, член «Негласного Комитета», товарищ министра юстиции, а фактически глава этого ведомства. Под его началом в 1806 году началась государственная карьера Тургуева — сперва в канцелярии своего шефа, в скромном чине коллежского асессора. Но уже скоро он был зачислен помощником реферндария первой экспедиции с особенным назначением — писать историю русского права и преподавать в школе правоведение при Комиссии составления законов. Начинаящий чиновник был приближен к Александру I, исправляя при нем письменные дела во время поездки в Тильзит на встречу с Наполеоном. Когда в 1808 году Комиссию составления законов возглавил М.М. Сперанский, Тургуев сохранил свои функции сотрудника, занимающегося историческими разысканиями. При его участии в министерстве были составлены такие материалы, как «Евреи в России» и «Историческое и статистическое описание Финляндии». А когда Сперанский стал во главе Великой масонской ложи, филиальные ложи которой должны были быть по всей империи (этот замысел включал формирование идеологии масонских лож и перевоспитание российского общества, создание гражданственности и формирование кадров для государственной системы), в нее наряду с С.С. Уваровым, П.Д. Лодием, М.А. Балугьянским вошел и Тургуев.

Деятельность Сперанского по укоренению масонства отвечала настроениям и пожеланиям императора. Однако ввиду общего ужесточения правительственного курса, как следствия внешнеполитических неудач, император изменил отношение к намерениям Сперанского. Угроза гонений, нависшая над членами ложи, стала причиной перехода Тургуева от Сперанского к князю А.Н. Голицыну, обер-прокурору Синода, возглавившему созданное в 1810 году Главное управление духовных дел иностран-

ных исповеданий со статусом министерства. Директором его, поначалу единственного, департамента становится А.И. Тургенев.

Убеждения Тургенева были во многом созвучны тогдашнему политическому курсу Александра I, официальной идеологией которого была господствующая в Европе социальная концепция «евангельского государства». Эту идеологию питали новые реалии российской государственности, требовавшей интегрирования вновь присоединенного населения западных территорий (Финляндия, польские земли) в состав империи, при стремлении Александра I сохранить либерально-просветительскую позицию первых лет своего правления. Идея «евангельского государства» была ориентирована на достижение новой гражданственности без революций и насилия, путем нравственно-религиозного просвещения и христианской веротерпимости, исходящей из приоритета общехристианских ценностей перед конфессиональными, а общенациональных — перед национальными.

Проводником нового политического курса стал созданный указом Александра I от 6 декабря 1812 года Петербургский комитет Библейского общества, затем ставшего Российским. Во главе его был поставлен А.Н. Голицын; секретарем, неизменно остававшимся на этом посту вплоть до фактической ликвидации Общества в 1825 году, — А.И. Тургенев.

Именно просветительская миссия Библейских обществ, укореняющих нравственные ценности ненасильственными методами, отвечала представлениям Тургенева (видевшего в них «протестантизм в действии») о средствах социального совершенствования. Широчайший размах их издательской и переводческой деятельности, образования народных училищ служил не только задачам межконфессиональной интеграции, но и объединению культурных сил общества. В этой сфере роль Тургенева — интеллектуала высокого класса, энтузиаста, человека неумной энергии и самоотдачи, с его неисчислимыми связями в правительственной и литературной среде — была, конечно, первостепенной.

Между тем Александр I продолжал свой экуменический курс, закрепив его указом 1817 года о соединении всех протестантских церквей России в единую Евангелическую церковь. В том же году было создано соединенное Министерство духовных дел и народного просвещения, духовный департамент которого возглавил А.И. Тургенев.

Тургенев не только играл огромную роль в осуществлении государственной религиозной политики, но и на протяжении почти всего александровского царствования занимал достаточно крупные административные посты в сфере государственно-законодательной. Уже в 1812 году он помощник статс-секретаря Государственного совета по департаменту законов, затем — исправляющий должность статс-секретаря этого департамента; к 1822 году — старший член Комиссии составления законов. То есть один из тех, кто осуществлял проводившуюся в это время работу по кодификации русского законодательства; он придавал ей принципиальное значение, как исходному условию превращения России в правовое государство западного типа.

«Я — космополит и русский в одно время...»

Для понимания Тургенева как деятеля правительственного либерализма существенно его отношение к Александру I. Наиболее эмоционально оно выразилось при известии о смерти императора. В его словах соединились боль от потери небезразличного ему человека («Сердце не переставало верить в него, любить его, не переставало надеяться...») и обращенное к России горестное признание: «Он у себя отнял славу быть твоим благодетелем, народ в рабстве...» Собственно, то же, но уже жестко и укоризненно, писал он в более позднем письме к брату Николаю: «Храбрый и добрейший из царей — всего и всех боялся и все хитрил там, где мог действовать... с простотою величия и с убеждением, что намерение его согласно с пользою России, с любовью к человечеству, с религиею Христа-Искупителя. На что было умничать? Наказан неверием в чистоту его намерений со стороны и добрых и злых и неуспехом во многом, что лежало на душе его и прежде, и во время его царствования». Царь не оправдал надежд Тургенева.

В 1815 году в Петербурге было основано ставшее знаменитым «Арзамасское братство безвестных людей», куда наряду с В.А. Жуковским, Д.Н. Блудовым, С.С. Уваровым, Д.В. Дашковым вошел и Александр Тургенев. Активным членом кружка был и П.А. Вяземский, который видел в петербургском объединении прямое продолжение своего московского «Дружеского литературного общества», членами которого были Жуковский с Тургеневым.

Резвящийся «Арзамас», с его шуткой и отрицанием авторитарности, предметом осмеяния сделал шишковское «Общество любителей русской словесности», олицетворявшее консервативное начало в литературной жизни 1810-х годов. Ему противопоставлялась просветительская «французская» идеология, а в плане литературно-эстетическом — сочинения Н.М. Карамзина.

Письма Александра Тургенева тех лет фиксируют сильное влияние Карамзина (и «Истории государства Российского») на его мировоззрение, в частности на понимание устоев России в ее настоящем и будущем. «История его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, Бог даст, русской возможности конституции...»

Только что вернувшийся из-за границы младший брат Александра Тургенева, Николай, описывая в дневнике под 12 ноября 1816 года свою беседу в «Арзамасе» с Карамзиным, Блудовым и другими о положении в России, резюмирует: «Они... желают цели, но не желают средств. Все отлагают на время». Это относилось и к Александру Тургеневу. Разность его позиции и позиции более радикального Николая стала очевидной сразу: «Он (Н.И. Тургенев. — Е.Р.), — писал Александр Иванович брату Сергею, — возвратился сюда в цветущем состоянии здоровья и с либеральными идеями, которые желал бы немедленно употребить в пользу Отечества. Но над бедным Отечеством столько уже было операций всякого рода, особливо в последнее время, что новому оператору надобно быть еще осторожнее,

ибо одно уже прикосновение к больному месту весьма чувствительно. К тому же надобно не только знать, где и что болит, но и иметь верное средство к облегчению или совершенному излечению болезни. Тщетные покушения только что могут растравить рану...» Перед нами первое развернутое политическое кредо Тургенева. Его смысл скорректирован в подготовленной Вяземским программе журнала, который планировалось выпускать при «Арзамасе».

Сама идея журнала, заявленная А.И. Тургеневым на заседании «Арзамаса», возникла в результате изменения в расстановке сил в этом объединении. В 1817 году в «Арзамас» вступили участники тайных обществ — Н.И. Тургенев, М.Ф. Орлов, Н.М. Муравьев, стремившиеся придать ему политический характер. Программа Вяземского исходила из идеи прогресса как неуклонного движения народов к просвещению и убеждения о первенствующей роли верховной власти в обеспечении и осуществлении этого движения. Успех его, по Вяземскому, обусловлен опорой на общественные силы, однако акцент делался на реформаторских действиях правительства.

Такое понимание «средств» было далеко от «оперативного» вмешательства, отвергаемого Александром Тургеневым. Вместе с тем и кредо Тургенева, и программа Вяземского фиксируют становление общественного либерализма. Идущее от Радищева сочетание принципов свободы и гражданского равенства, одним из главных практических требований которых была отмена крепостного права, становится приоритетным в русском либерализме. Не сиюминутное преобразование политической системы («Бог даст, доживем до русской возможной конституции»), а освобождение от «позорного рабства» — вот неотложная задача, которая стоит перед русским обществом. В этом сошлись и умеренный «арзамасец» Александр Тургенев, и его радикально настроенный брат Николай, для которого, по его словам, дело освобождения крестьян было «всегда важнейшим».

Между тем сам Вяземский благодаря энергичной поддержке А.И. Тургенева получает назначение в канцелярию комиссара императора в Польше Н.Н. Новосильцева. Он надеялся найти здесь применение своим силам, участвуя в реализации реформаторских замыслов Александра I, который намеревался распространить на Россию конституционные учреждения, дарованные Польше. Как и Вяземский, Тургенев надеялся на введение конституции и одновременно сомневался в такой возможности. Впрочем, в первую очередь обоих волновал крестьянский вопрос. Братья Тургеневы стали главными участниками реализации плана Вяземского о создании «Общества для подготовки отмены крепостного права». В мае 1820 года была подготовлена и подана императору «Записка» с просьбой разрешить создать под руководством управляющего Министерством внутренних дел «общество с целью освобождения крестьян». Сообщая об этом брату Сергею, Александр Иванович писал: «Мы предлагаем частное постепенное освобождение, которое бы не только подготовило всеобщее, но и повлекло к оному необходимою силою вещей... Попытки и покушения наши

«Я — космополит и русский в одно время...»

не совсем останутся тщетными...» Александр I, сначала благосклонно принявший предложение, в итоге уступил противодействию высшей бюрократии, и проект был отклонен.

Но братья Тургеневы не оставляли усилий по решению крестьянского вопроса. В декабре того же 1820 года на заседании Государственного совета обсуждался подготовленный Николаем и Александром Тургеневыми (и подписанный последним, как членом Совета Комиссии составления законов) проект ограничения крепостного права — запрещение продажи крестьян без земли. Проект был отклонен Государственным советом. Несмотря на это, пользу постановки крестьянского вопроса на высшем государственном уровне Тургенев видел в общественном резонансе. В личном плане — «умолять соотчичей отречься от рабства; имя наше спасется в летописях либерализма».

В рассуждениях А. Тургенева о современной ему России очевидна приверженность «конституционному порядку», «зелень» которого «везде пробивается»: «Она выживает гниль самовластия и в самой закоснелой почве». Он уподобляет конституционализм по его значимости для человечества появлению христианства и уповает, чтобы в России «хотя бы дети наши дожили до этих дней».

Как и декабристы, Тургенев сочувствует восставшему греческому народу и начавшейся революции в Пьемонте. Однако в России, считал он, «только положительным образом можно действовать, и это положительное отрицательно. Мешать злу — есть у нас одно средство делать добро». Трагическая несоизмеримость «зла» и «добра» не оправдывает, убежден Тургенев, бездействия. Его личный императив — «действовать, то есть говорить и писать, что думаю и чувствую...». И это не фраза, а жизненный принцип, которому он следовал неукоснительно, поражая современников неизбывностью своих усилий оказать поддержку каждому нуждающемуся в ней — от рекрута, крепостного интеллигента, до светил русской литературы. «Он был виртуозом и неутомимым тружеником в круге добра», — писал об Александре Тургеневе Вяземский.

Реакция, определившая политический курс последних лет царствования Александра I, переломила жизнь Тургенева. Отход от идеи «евангелического государства» положил конец фактическому существованию Библейского общества; закончило свои дни и «соединенное министерство». Реванш, который брало реакционное духовенство, донос митрополита Серафима императору на Тургенева поставили точку в его служебной карьере. Летом 1824 года он был отстранен от должности в министерстве и отправлен в отставку. Не случайно она последовала вслед за отставкой Николая Ивановича, связанной с докладом Бенкендорфа императору о тайных политических обществах. В звании камергера и ранге действительного статского советника Александр Иванович вслед за Николаем и вместе с братом Сергеем уезжает за границу. Там их настигли известия о смерти Александра I, событиях 14 декабря, казни пятерых и приговорах другим декабристам.

Для осужденного по первому разряду на вечную каторгу Николая путь на родину стал навсегда закрыт. Сергей, разделявший его радикальные взгляды, был психически сломлен расправой над декабристами и вскоре умер. Александр же ставит своей целью пересмотр приговора брату. Он чередует жизнь за границей с поездками в Россию, перейдя по существу на положение полуэмигранта, политически неблагонадежного для власти человека.

События декабря дали Тургеневу богатую пищу для размышлений. В 1827 году, находясь в Париже и делясь с братом Николаем дошедшими до него слухами о сосланных декабристах, он заметил: «Я вижу благость и в самом бедствии. Мы должны были многое постигнуть, чего без сего опыта и без сего удаления из России, конечно, с такою силою, с таким убеждением, не постигнули». «Сей опыт» извлекался и из новейшей истории Европы, прежде всего Франции, показавшей цену революции. Тургенев писал в дневнике о себе и брате, что они ищут «наставлений для себя, или обогащение идей, или указание общепользных открытий»: «Везде ищем пользы; везде ищем извлекать ее для Отечества, которое для нас выше и дороже всего...»

Этим поиском, собственно, и наполнены последние двадцать лет жизни Тургенева, проведенные в основном за пределами России. Постоянно возвращаясь во Францию, он исколесил Европу. Бывал множество раз в Германии, Англии, Италии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании, Швеции. Везде заводил знакомства со светилами науки, литературы, искусства, государственными мужами и политиками, посещал заседания парламентов и дворцы европейских властителей, доки и фабрики, пристанища для бедных и тюрьмы, училища для народа и университеты, музеи и театры. Работал в архивах и библиотеках, извлекая документы по истории России.

В 1836 году, в один из приездов в Россию, он напишет Вяземскому: «Как мое Европейское обрадовалось, увидев в Симбирске пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахани. Хотя на нем сидели татары и киргизы! Отчизна Вальтера Скотта благоденствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма Шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся». Только на пути общеевропейской цивилизации, интегрируясь с ней духовно и материально, Россия обретет, уверен Тургенев, достойное будущее. Ближайшие задачи: ликвидировать позорное крепостное право, что откроет простор свободному труду и частной инициативе, безотлагательное создание правовой основы жизни государства путем кодификации законодательных норм и актов при учете «просвещенного опыта других народов».

...Александр Иванович Тургенев умер 3 декабря 1845 года, простудившись на Воробьевых горах. Его отпевали при большом стечении народа. Панихиду служил митрополит Московский и Коломенский Филарет. Тургенев похоронен в Новодевичьем монастыре.

«Я — космополит и русский в одно время...»

«Нельзя произнести слово
человек, чтобы не иметь
вместе с сим понятия
о свободе»

Николай Иванович Тургенев (1789–1871) происходил из дворянской семьи, принадлежащей к тонкому слою интеллектуальной элиты России конца XVIII века. Его отец, известный масон и филантроп Иван Петрович Тургенев, занимался литературной деятельностью и одно время был директором Московского университета. Все его четыре сына оставили след в истории русской культуры. Старший, Андрей, рано умерший гениальный поэт, предвосхитил многие направления в развитии русской литературы. Следующий, Александр, был видным общественным и литературным деятелем. Младший, Сергей, дипломат и политик, по своим взглядам ближе всего стоял к Николаю.

Первоначальное воспитание Николай Тургенев получил дома, затем окончил пансион при Московском университете, а завершил образование в Геттингенском университете сразу по трем специальностям: истории, праву и политэкономии. Юношеские дневники дают представление о культурных и психологических факторах, сформировавших его личность и мировоззрение. Разносторонние интересы зрелого Тургенева, впитавшего все достижения европейской культуры, первоначально базировались на французской просветительской литературе XVIII века, с ее благородными идеями добра и справедливости, высокими представлениями о человеческом достоинстве и разуме. Но происходящее в политической жизни Франции и Европы на рубеже XVIII–XIX веков опровергало многое из того, о чем говорилось в книгах. Чтение Вольтера и Руссо сменялось у молодого человека кошмарными видениями: «Мне кажется все, что Бонапарте придет в Россию, — записал он в дневнике 9 декабря 1806 года. — Я воображаю санкюлотов, скачущих и бегающих по длинным улицам Московским; а что мне кажется и что я воображаю, того никогда не случается. Следовательно, и этого не будет». Однако несколько месяцев спустя, 14 июля 1807 года, Тургенев, чувствуя себя оскорбленным только что заключенным Тильзитским миром, сделал приписку: «Это пророчество сбылось, ибо теперь с ними мир».

Кошмары были вызваны, конечно, в первую очередь военными успехами Наполеона, а не чтением произведений просветителей. Но опреде-

ленная связь тем не менее просматривалась. 3 апреля 1807 года Тургенев записывает в дневнике общее мнение, возможно им впервые услышанное: «Вольтер и Руссо были причинами Французской Революции. — И, подумав, добавляет: — Это быть очень может. Я заметил из сочинений Вольтера, что он по крайней мере способствовал к сему». Руссо с его стремлением к целостному и органическому восприятию мира, к растворению личности в природе и социуме, с одной стороны, и Вольтер с его едким скепсисом, разрушающим как веру, так и безверие и заменяющим и то и другое «леденящим душу деизмом» (Чаадаев), — с другой, ставили Тургенева перед глобальными вопросами бытия, на которые он не находил ответа.

Чтение политической литературы помогало накапливать культурный опыт и вместе с тем обостряло восприятие событий в революционной и наполеоновской Франции. Последнее обстоятельство несло разочарование в самом опыте и порождало желание избавиться от него. «Мне кажется, — записано в дневнике 5 апреля 1807 года, — что люди до тех пор не могут быть счастливы (я разумею вообще, а не в особенности, т.е. род человеческий), пока они не придут в натуральное существование, т.е. пока все их поступки, дела важные и мелкие, одним словом, все не будет согласоваться с Природою». Влияние Руссо здесь чувствуется скорее на уровне терминологии, суть же продиктована собственными внутренними ощущениями. Но в силу невозможности бегства от культуры как таковой вина была возложена на культуру французскую, т.е. на то, что находилось ближе всего и полнее всего отождествлялось с культурой в целом.

Так Тургенев объявил войну галломании и в поисках союзника обратился к произведениям А.С. Шишкова. Националистические и галлофобские идеи Шишкова привлекли его в первую очередь своей непохожестью на идеи, бытовавшие в той среде, в которой он был воспитан. Этот поверхностный и непродолжительный «шишковизм» явился своего рода юношеским бунтом против культурного мира отцов: «Напрасно пристрастные, умные и обезьяны-дураки нападают на Шишкова: мнение его о Славянском языке и о Французском совершенно справедливо и не может быть подвержено благоразумной критике». Однако записываться в «дружину славян» (Кюхельбекер) и вставать под знамена Шишкова и К^о Тургенев все-таки не решился. В конечном итоге изначальное воспитание в европейских традициях взяло верх, и Шишков был признан «идеалом откровенной глупости и откровенной подлости».

Три года, проведенные в стенах Геттингенского университета, необычайно много дали Тургеневу и в плане практического знания европейской жизни, и в плане научного развития. До конца жизни он сохранил пиетет перед своими немецкими профессорами, в первую очередь перед историком Геереном и экономистом Сарториусом, чье влияние долго будет сказываться в историко-политических и экономических работах их ученика.

Вернувшись на родину в феврале 1812 года, Тургенев был поражен ее отсталостью от Европы. В дневнике запечатлено это состояние растерянности и душевной подавленности. Он не знает, за что взяться, и находится

перед сложной дилеммой: остаться в России или покинуть ее навсегда. Война 1812 года, обострившая в Тургеневе чувство патриотизма, вывела его из состояния душевной подавленности. А в 1813 году, с началом заграничных походов русской армии, он получил назначение на должность русского комиссара при Центральном административном департаменте, образованном правительствами стран антинаполеоновской коалиции для управления освобожденными от французов территориями. Во главе этого департамента стоял прусский государственный деятель и реформатор барон Штейн. Он придерживался аристократических убеждений, но при этом проводимые им в Пруссии реформы носили сугубо демократический характер. В частности, Штейн осуществил реформу местного самоуправления на основе бессловных выборов, ликвидировал личную зависимость крестьян от помещика и стер различие между помещичьим и крестьянским землевладением.

Общение со Штейном открыло Тургеневу глаза на то, что следует сделать в России. Отныне и навсегда мысль о «реформах сверху» становится для него своего рода *idée fixe*. «Все в России должно быть сделано Правительством; ничто самим народом». Он убежден: главная реформа — отмена крепостного права — должна предшествовать введению конституции. Не договор монарха с нацией, а петровский путь преобразований наиболее оптимален для России. Тургенев создает своего рода «миф» о Петре Великом: либерале, противнике если не самого института крепостного права, то, во всяком случае, его наиболее бесчеловечного проявления — торговли людьми. Эта идея подкреплялась словами царя о запрещении «продавать людей, как скотов, чего во всем свете не водится, и от чего не малый вопль бывает». На этом основании был сделан вывод: «Петр I был либеральнее всех прочих императоров и императриц в сем указе».

Тургенев, европеец по убеждению, не считал Россию европейской страной, по крайней мере изначально: «Россия не Европа. Европейские известия пролетают через Россию и теряются в ней или в степях, ее окружающих», — записывает он 29 августа 1820 года. Но вместе с тем европейские либеральные ценности кажутся ему единственно возможными условиями цивилизованного существования. Россия же не просто неевропейская страна — в ней отсутствуют внутренние потребности в европеизации, и на время здесь полагаться бессмысленно: «Дворяне, за картами и в привычке своей праздности, не будут чувствовать и не чувствуют нужды в просвещении». Поэтому выход один — насильственная европеизация сверху. Правитель, который постиг благотворность европейского пути развития, должен обладать чрезвычайными полномочиями для того, чтобы направить Россию по этому же пути.

Идеалом государственного устройства для Тургенева всегда служила Англия. Поэтому в своих оценках политического состояния России он исходит из английской практики. Различие между Англией и Россией, по его убеждению, заключается в следующем: в Англии просвещение народа и правительства всегда шло синхронно, поэтому монархическое правле-

ние для нее столь же пагубно, как конституционная монархия — для крепостнической России, где «правительство просвещенное народа». Петровская эпоха — ярчайший тому пример. В трактате «Политика» Тургенев, явно имея в виду Петра I, писал: «Чистая монархическая власть, сделавшись достоянием государя мудрого и народолюбивого, может быть весьма благодетельна, направляя народ в успехах гражданственности, искореняя своею силою варварские обыкновения, поддерживаемые эгоизмом, невежеством, предрассудками, созидавая тою же силою новое и прелестное здание общего благополучия народного».

Таким образом, не формальное разделение властей, а наличие механизма, способного с максимальной эффективностью обеспечить управление государством и препятствовать тем злоупотреблениям, которые могут быть проведены в жизнь конституционным путем, является в глазах автора трактата важным признаком благополучия государства. В Англии это обеспечивается ее конституцией. В России это не обеспечивается ничем, кроме личности монарха. Поэтому не формальное подражание английским принципам, а поиск адекватной им формы государственного правления, пригодного для российской действительности, должно, по мнению Тургенева, способствовать движению России по пути прогресса. Однажды он саркастично заметил, что закон «в России играет роль английского короля». Таким образом, Россия оказывается как бы антиподом Англии, и, по обратному принципу, русский царь должен выполнять функции английского закона. Петр, соединяющий в себе силу и разум, как раз и являл собой наиболее адекватное русское соответствие английскому политическому строю.

Наверное, в России (даже в послевоенные годы, когда популярность царя находилась на самом пике) не много нашлось бы людей, столь же лояльных по отношению к Александру I, как Н.И. Тургенев. Он так же боготворил царя, как и отечество: «Имя России не должно быть разделяемо с именем Александра». И тем не менее именно в это время он ведет активную работу по созданию тайного общества. Общество это не должно было быть антиправительственным; напротив, оно призвано было способствовать правительству в проведении реформ. В этом Тургенев опирался на опыт немецкого тайного общества «Тугендбунд» (Союза добродетели): его целью было возрождение и объединение Германии, а также содействие правительству в реформаторской деятельности. «Тугендбунд» тайлся не столько от прусского правительства, сколько от французов, оккупировавших во время наполеоновского господства германские княжества. От кого же должно было таиться общество, замышляемое Тургеневым?

Под влиянием демократических идей XVIII века, и в частности Руссо, Н.И. Тургенев «заметил, что между простыми людьми гораздо более хороших и добрых людей, нежели между людьми, принадлежащими к высшим классам». Эту мысль он пронесет через всю свою жизнь, как и убеждение в том, что «русское дворянство уподобилось племени завоевателей, которое силой навязало себя нации». В этом плане дворяне вполне сопоставимы

«Нельзя
произнести
слово человек,
чтобы не
иметь вместе
с сим понятия
о свободе...»

с французами, оккупировавшими Германию, и являются главными врагами на пути процветания отечества. С ними в первую очередь и должно бороться тайное общество, состоящее из людей, которые не желают мириться с сохранением крепостного права. Потому такая конспиративная деятельность вполне уживалась с лояльностью по отношению к царю.

По возвращении в Россию в 1816 году Николай Иванович был назначен помощником статс-секретаря Департамента экономики Государственного совета. Это ввело его в круг бюрократической элиты страны. И он еще раз мог убедиться, насколько далеки эти люди от «либерального образа мыслей». В их среде Тургенев прослыл якобинцем. В это время он, вместе со своим другом генералом М.Ф. Орловым, пытается создать тайное общество — еще не зная, что такое общество под названием «Союз спасения» уже существует. А в 1818 году, вместе с членами распавшегося к тому времени Союза спасения, они организуют новое общество — Союз благоденствия. С этого момента Тургенев становится одним из главных идеологов декабризма и останется им до своего отъезда за границу в 1824 году. Его истинная роль в тайных обществах до сих пор до конца не выяснена: в существующих источниках слишком много противоречий. Однако, исходя из политического мировоззрения и психологического склада этого человека, можно полагать: идея военного переворота в России если и рассматривалась им всерьез, то как крайнее и нежелательное средство. Идеальный руководитель общества всегда видел свою главную цель в пропаганде либеральных и освободительных идей.

Однако в отличие от французских либералов, сдержанно относящихся к идее немедленного освобождения русских крепостных, Тургенев выступал сторонником самых решительных действий в этом направлении: «Все эти люди, которые таким образом говорят о свободе, не знают, не понимают свободы; они не чувствуют, что свобода так натуральна, так свойственна человеку (*si naturelle, si humaine*), что нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с сим понятия о свободе. Все равно если бы кто сказал о людях между снегов, в вечной ночи живущих: они еще не созрели для того, чтобы греться на солнышке». Просветители XVIII века, не допускавшие самую мысль о праве одних людей владеть другими, казались ему либеральнее современных французских либералов: «Политические писатели того времени... либеральнее наших». Как и они, Тургенев убежден, что не просвещение является источником свободы, а, наоборот, свобода ведет к подлинному просвещению: «Свобода, устройство гражданское производит и образованность, и просвещение». Отсюда мысль о возможности немедленного освобождения крепостных. «Время плохой врач в болезни несчастья народного», — писал Николай Иванович брату Сергею.

Конспиративная деятельность, сколь бы значительной ни пытались ее представить недоброжелатели Тургенева или позднейшие историки, на самом деле ничтожна по сравнению с его общественной и научной работой, преследующей те же освободительные идеи. В 1818 и 1819 годах вышли два издания его книги «Опыт теории налогов». Как установил ав-

торитетнейший знаток Н.И. Тургенева А.Н. Шебунин, она «представляет собой переработку слушанных им в Геттингене финансовых лекций проф. Сарториуса». Для русского читателя, по большей части далекого от немецкой учености, это обстоятельство значения не имело. Книга произвела общественный резонанс, хотя в ней крайне мало говорилось о России — речь шла о европейском опыте налогообложения. Однако на ее страницах последовательно проведены идеи экономического либерализма. На примере средневекового хозяйства автор доказывает, что крепостное право способствовало упадку земледелия, так как крепостные не заинтересованы в результатах своего труда. Любое принуждение в хозяйственной деятельности снижает ее производительность. При этом налоги должны платить не те, кто непосредственно занимается производством, а те, кто получает доход. Применительно к России это означало, что не крестьяне, а дворяне должны стать податным сословием. Противопоставляя две экономические системы XVIII века, «меркантилистов» (которые видели основу национального богатства в деньгах) и «физиократов» (которые видели его в земле и получаемом с нее продукте), исследователь отдает полное предпочтение последней. И не только потому, что истинное благосостояние состоит не в деньгах, а в заменяемых ими предметах непосредственного использования. Дело в том, что меркантилизм с его протекционистской политикой по отношению к национальной экономике лишает ее возможности здоровой конкуренции, а следовательно, искусственно сдерживает ее развитие. «Рассматривая систему меркантилистов, — сказано в книге, — невольно привыкаешь ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности методы делать людей счастливыми вопреки им самим».

Вскоре после выхода второго издания «Опыта теории налогов» Тургенев подал Александру I записку «Нечто о крепостном состоянии в России». В ней не содержалось ничего, что не соответствовало бы взглядам самого царя, и даже известно, что записка произвела на него самое благоприятное впечатление. В теоретической части развивались идеи об экономической неэффективности крепостного хозяйства. Что касается практической стороны вопроса, то декабрист, с учетом адресата, высказывался крайне осмотрительно и не требовал немедленного освобождения. Он лишь обращал внимание на одно обстоятельство: крестьяне в России никогда законодательно не были прикреплены к личности помещика, а лишь к земле, следовательно, все операции по продаже и покупке безземельных крестьян незаконны. Для продвижения крестьянской реформы, помимо запрета продавать людей поодиночке и без земли, Тургенев предлагал: ввести в крепостных деревнях чиновничий надзор за соблюдением интересов крестьян; подтвердить указ Павла I, запрещающий крестьянам работать на помещика более трех дней в неделю; уточнить закон о вольных хлебопашцах (20 февраля 1803 года); ясно прописать условия, на которых помещики могут освобождать своих крепостных. И наконец, разрешить открыто обсуждать крестьянский вопрос в печати, оставаясь при этом в рамках действующего цензурного устава.

«Нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с сим понятия о свободе...»

Подав записку и узнав о согласии императора с высказанными предложениями, Тургенев напрасно ждал от него практических шагов. Причины такого бездействия он склонен был объяснять активным противодействием либеральным идеям со стороны высшей бюрократии. Этому и должно было противостоять тайное общество через сеть своих легальных филиалов: литературных обществ, журнальных редакций и т.д. Однако все попытки оказались столь же безрезультатными, как и прямые обращения к царю. Тайное общество в этих условиях эволюционировало в сторону идеи военного переворота. Николаю Ивановичу подобный путь никогда не казался перспективным. Разочаровавшись как в своей общественной деятельности, так и в тайном обществе, он в 1824 году отправился за границу — официально для поправления здоровья. А уже в следующем году восстание на Сенатской площади закрыло для него дорогу обратно. Верховный уголовный суд заочно приговорил Н.И. Тургенева к смертной казни.

До 1830 года он не терял надежды вернуться на родину, оправдаться перед правительством. И с этой целью написал ряд оправдательных записок, где с позиций современной европейской правовой мысли (а также при непосредственном участии видного французского юриста О.Ш. Ренуара) пытался доказать собственную невиновность. Мол, судить нужно поступки, а не намерения; неучастие в вооруженных восстаниях автоматически делает его невиновным... В одной из оправдательных записок говорилось: «Николай Тургенев приговорен к смертной казни за то, что он был лично знаком с некоторыми обвиняемыми, разговаривал с ними о самых обыкновенных вопросах философии или политических вопросах, мечтал (если хотите) о преобразовании Суда и Народного Образования, но находил осуществление их невозможным и торжественно от них отказался».

Оправдаться важно было не только в глазах Николая I, но и в глазах европейской общественности. Здесь примешивался и глубоко личный мотив. В 1829 году Тургенев попросил руки дочери английского помещика Гарриэт Лоуэлл, но получил отказ: отец невесты потребовал от него оправдательного приговора. Поэтому декабрист намеревался в 1830 году приехать в Россию и представить суду доказательства своей невиновности. Однако Николай I дал ему понять: никакого «пересуда» не будет, и скорее всего его ждет Сибирь. Он отказался гарантировать осужденному безопасность при пересечении границы, а лично от себя («как человек, а не как император») велел передать, что не советует ему приезжать в Россию. Таким образом, в одночасье рухнули надежды и на возвращение, и на семейное счастье. Впрочем, не навсегда. В 1833 году Николай Иванович сочетался браком с Кларой Виарис, дочерью ветерана Наполеоновских войн; возможности вернуться на родину пришлось ждать долгих семнадцать лет.

Вынужденный эмигрант тяжело переживал свое положение: «Убедившись, что доступ в Россию закрыт для меня навсегда, я постарался оторваться от нее духовно, подобно тому, как уже был отторгнут физически. Я старался думать о ней как можно меньше, стереть самое воспоминание

о ней; быть может, мне удалось, сумею я забыть о несчастных, томившихся в Сибири, и о рабах, населяющих империю». Последнее обстоятельство оказалось решающим. Забыть Россию означало для Тургенева не только вычеркнуть из памяти родину и все, что с ней связано, но и примириться с тем, что он ненавидел больше всего на свете: с рабством и бесправием. Он решил продолжать борьбу и по-прежнему настаивать на собственной невинности. Но теперь из ответчика он превращается в истца и перед лицом всей Европы предъявляет иск российскому государственному строю.

Однако невозможно только лишь судить родину: «Впрочем, если я с полным правом мог проклинать официальную Россию, эту варварскую власть, осудившую меня на смерть, то разве я обязан был считать олицетворением родины лишь этот узкий круг причастных к власти? Разве должен был я переносить на всю страну законное отвращение, какое внушали мне некоторые люди, считавшие возможным представлять Россию, только потому, что они управляют ею и говорят от ее имени?» И потому к критике режима, как и в былые времена политической активности, Николай Иванович добавляет так называемые *pia desideria* (благие пожелания), т.е. план реформ, направленных на включение России «в поступательное движение европейской цивилизации».

Все это вместе составило три тома главного литературного труда Н.И. Тургенева «Россия и русские», вышедшего в 1847 году на французском языке во Франции, Бельгии и Голландии и на немецком — в Германии. Первый том посвящен декабристскому прошлому автора. Он важен как либеральная версия декабристского движения, происхождение которого напрямую связывается с общим либеральным курсом Александра I. Тургенев не только отказывает декабристам в революционности, но и вообще исключает из их деятельности антиправительственную направленность. Инициатором реформ выступило правительство, члены тайного общества поверили ему и пошли за ним. Когда же Александр I отказался от преобразований, декабристы лишь продолжили начатое им дело: «Нация шла вперед, государь же, наоборот, двигался вспять». Поэтому в действиях тех, кто не принял участия в восстаниях, нет состава преступления не только с точки зрения европейского правосознания, но и с точки зрения российских законов.

Почему же члены тайных обществ были осуждены? Ответ на этот вопрос читатель должен был получить из второго тома. Россия — страна рабов — эту мысль Тургенев последовательно проводит, анализируя положения всех сословий. Ни одно из них не может считать себя по-настоящему свободным, т.е. защищенным законодательно и судебно от произвола правительства. У высших сословий: дворянства, духовенства и отчасти купечества — свобода заменена привилегиями, существующими по милости царя. Крестьяне же, которые составляют подавляющее большинство населения, мало чем отличаются, несмотря на некоторые различия в их положении (государственные, удельные, арендные, крепостные и т.д.),

«Нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с ним понятия о свободе...»

от настоящих рабов. Венеч этой социальной пирамиды — абсолютный монарх, «который нередко оказывается рабом в еще большей степени, чем последний из его подданных». Декабристы пытались разорвать этот порочный круг. Они выступали против рабства во всех его проявлениях, но рабство оказалось сильнее. И в ходе следствия варварство, свойственное рабскому состоянию, восторжествовало над всеми нормами морали и права, принятыми в цивилизованном обществе.

Какой выход видит Тургенев? Поскольку рабами в России являются все — от царя до последнего подданного, нет таких сословий или даже групп людей, чьим интересам не отвечали бы реформы, избавляющие их от рабского положения. Другое дело, что для представителей привилегированных сословий привилегии нередко оказываются важнее свободы и они субъективно настроены против реформ. Но даже среди них немало здравомыслящих людей, которые руководствуются не узкокорыстными соображениями, а интересами страны. Таковы декабристы, на таких людей следует и в дальнейшем опираться при проведении реформ.

Начинать реформы необходимо с отмены крепостного права — это самый чудовищный и самый опасный для государства вид рабства. Тургенев снова и снова настойчиво повторяет свою излюбленную мысль: крепостничество не только морально разлагает общество, но и препятствует экономическому развитию страны. При этом крепостная зависимость — тот вид рабства, в котором наименее всего заинтересовано правительство. В историческом экскурсе «Введение рабства в России» автор еще раз подчеркивает, что самое ужасное право крепостников — продавать и покупать людей без земли оптом и в розницу — никогда законодательно не было оформлено. «Роковой закон» Бориса Годунова (1593), «навсегда прикрепивший крестьян к земле... не установил, однако, то жестокое крепостничество, какое существует в настоящее время. Крестьяне были прикреплены к земле, подобно приписанным к земле (*glebae adscripti*) в феодальной Европе; но помещик не мог по своей воле отнять их от земли, на которой они жили. Все, что отличает человека, приписанного к земле, от раба — нынешнего русского крестьянина, было установлено позднее». При этом цари, начиная с Петра I, обращали внимание на недопустимость продажи людей без земли, но практика всякий раз оказывалась сильнее.

Тургеневу это дает основание считать, что самодержавное правительство не заинтересовано в сохранении рабства. Ряд законоположений, от указа Александра I о вольных хлебопашцах и вплоть до указа Николая I об обязанных крестьянах от 2 апреля 1842 года, лишь подтверждал его уверенность. Поэтому бывший декабрист по-прежнему убежден, что в России только правительство должно проводить реформы. Этот процесс всегда представлялся ему как развертывание во времени хорошо обдуманного широкого плана преобразований. «Ни одна частная мера не должна вводиться, пока не будет обдуман вопрос о том, какое воздействие она окажет на тех, кто будет ее исполнять. Мало того что реформа хороша сама по себе, она еще должна оказаться кстати, то есть проводить ее надо

в нужное время и в нужном месте; иначе мы не только не извлечем из нее всю возможную пользу и уменьшим ее добрые последствия, но задержим и испортим то, что должно ее увенчать».

Все реформы делятся на гражданские и политические. Первые вполне совместимы с абсолютизмом; более того, при наличии твердой воли у монарха-преобразователя сама неограниченность его власти может ускорить процесс реформирования. Вторые, затрагивающие верховную власть, с абсолютизмом несовместимы. Но и в этом случае монарх, осознавший реальную ограниченность номинально неограниченной власти, захочет сделать ее более эффективной и прочной. А этого можно достичь лишь путем законодательного ограничения самодержавия и введения принципа разделения властей при наделении монарха всей полнотой исполнительной власти. Таким образом, реформы в стране должны проводиться в два этапа. На первом отменяется крепостное право и проводится ряд реформ сопутствующего характера: судебная, военная, образовательная, административная, местного самоуправления и другие, более мелкие. На втором этапе вводится принцип разделения властей и представительное правление.

Вопросом номер один для Тургенева всегда был вопрос крестьянский. «Если у людей есть понятие отечество, — писал он, — если идея соотечественника связана с мыслью о родной земле, то я без колебаний могу сказать, что всегда видел своих соотечественников в крестьянах и особенно в крепостных». В «России и русских» проанализированы два способа отмены крепостного права. Первый — безусловное или личное освобождение. Крестьянин получает свободу плюс то, «чем он обладал, будучи рабом», т.е. «дом, где он живет, домашнюю утварь, лошадей, коров и пр.». Второй способ — так называемый квалифицированный, «и состоит он в том, что вместе со свободой крестьянину даруется в собственность или хотя бы в пользование тот участок земли, который он, будучи рабом, орошал своим потом». Поскольку «освобождение должно не только разбить цепи рабства, но и привить рабам человеческое достоинство», Тургенев заявляет себя сторонником квалифицированного варианта. Однако он отдает себе отчет в дополнительных трудностях, которые связаны с наделением крестьян землей. Без проведения ряда сопутствующих реформ такое освобождение будет невозможно, а следовательно, замедлится весь процесс эмансипации. Поэтому следует двигаться постепенно. Сначала крестьяне освобождаются без земли. На практике это сводится «к предоставлению крепостному праву свободного передвижения, к разрешению покидать одного господина и отправляться жить на земли другого или же искать занятие для обеспечения своего существования». И лишь затем, по мере проведения сопутствующих реформ, крестьяне могут наделаться земельными участками и становиться полноценными собственниками. Один из существенных аргументов в пользу безземельного (на первом этапе) освобождения — общинное землепользование. Потому что земля, если передать ее крестьянам немедленно, поступит не в личную, а в общественную

«Нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с ним понятия о свободе...»

собственность, и это не решит проблемы частного крестьянского землевладения, не приведет к свободной конкуренции, в которой Тургенев видел неперемное условие успешного развития не только сельского хозяйства, но и всей экономики страны.

Второй по важности автор «России и русских» считал судебную реформу. И предсказал многие черты будущей реформы 1864 года: введение независимости судей, гласности судопроизводства и института присяжных. Эти преобразования влекут за собой реформу местной администрации. Крестьянам предоставляется возможность участия в мировых судах и местном самоуправлении. Значение последнего все время растет за счет децентрализации власти. Превращение крестьян в полноправных граждан предполагает предоставление им возможности получать образование, что неизбежно вызовет реформу образовательной системы. То же самое касается и армии. Рекрутские наборы перестают быть исключительной повинностью и приобретают всеобщий характер. При этом в армии, как и всюду, отменяются телесные наказания и срок службы сокращается до восьми лет.

Завершающий этап преобразований — уничтожение абсолютизма. Отмена крепостного права, реформа суда, местного самоуправления и т.д. должны продвинуть Россию по пути к правовому государству и подготовить ее переход к представительному правлению. Поскольку предполагается, что и политические реформы проводит действующее правительство, то Россия превратится в конституционную монархию наподобие Англии. Царь сам дарует стране конституцию, введет принцип разделения властей и установит избирательную систему. Тургенев выступал сторонником прямого, но не всеобщего избирательного права. Наличие образования и собственности для него — необходимые условия для избирателей. Их общее количество он предлагал ограничить миллионом человек; таким образом, в пятидесятимиллионной России лишь каждый пятидесятый получал право голоса.

Здание реформ увенчивалось представительным правлением; на этом процесс вхождения России в число цивилизованных государств можно было бы считать завершенным. В дальнейшем она должна развиваться вместе с передовыми европейскими странами на условиях свободной конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Все попытки контролировать промышленность или социальные отношения со стороны государства Тургенев считал недопустимыми и вредными. Либеральный принцип *laissez faire* он противопоставлял как стремлению самодержавного правительства вмешиваться во все сферы государственной жизни, так и популярным в тогдашней Европе социалистическим идеям.

Книга «Россия и русские» не имела успеха ни за рубежом, где она свободно продавалась, ни в России, куда проникала контрабандой. А.И. Герцен объяснял это тем, что ее автор «не знал той России, которая развилась после 1825 года. Образ мыслей г. Тургенева, к несчастью, не позволял понять положение вещей в России». В этом Герцен прав и не прав.

Действительно, 1840-е годы, с их ожесточенными спорами западников и славянофилов, с увлечением интеллигенции немецкой философией, с поисками путей социалистических преобразований и т.д., никак не отразились в этом обширном труде. Однако прошло десять лет со дня его выхода в свет, и Россия, как в дни тургеневской молодости, опять вступила на путь либеральных реформ. Интеллектуальные отвлеченности уступили место практическим устремлениям. Бывший декабрист остро ощутил параллелизм между началами царствований Александра I и Александра II. Только на сей раз его мысли об освобождении крестьян оказались более востребованными, чем в 1810-е годы. В 1858–1859 годах на страницах герценовских изданий «Колокола» и «Голосов из России», а также «Русского заграничного сборника» Тургенев включился в обсуждение конкретных планов крестьянской реформы. По-прежнему полагая, что освобождение крестьян соответствует как их интересам, так и интересам помещиков, он верил, что реформу можно провести с соблюдением интересов обеих сторон. И предлагал для этого выделить крестьянам треть помещичьих угодий из расчета максимум три десятины на тягло. Понимая, что этого недостаточно, Тургенев сознательно идет на занижение крестьянского надела, чтобы стимулировать крестьян арендовать землю у помещиков и тем самым сохранить общее количество прежней запашки. Никакого выкупа ни за землю, ни тем более за собственную личность крестьяне платить не должны. Государство берет на себя компенсацию помещикам их земельных потерь. Для погашения этого долга предлагалось использовать заложенные дворянские имения.

Н.И. Тургенев дождался своего оправдания. Новый царь вернул ему звание русского дворянина и чин действительного статского советника вместе со знаками отличия. Трижды (в 1857, 1859 и 1864 годах) многолетний изгнанник приезжал в Россию. Высшим моментом в его жизни стала реформа 19 февраля 1861 года — событие не менее важное, чем собственная реабилитация. И пусть далеко не все устраивало Николая Ивановича в этой реформе, сам факт уничтожения рабства стал лучшим оправданием всей его жизни. Не случайно общественное мнение воспринимало этого человека как патриарха в деле крестьянской эмансипации. В 1861 году в православной церкви русского посольства в Париже на торжественном молебне по случаю реформы 19 февраля присутствовали два декабриста: Тургенев и не любивший его С.Г. Волконский. Когда подошло время приложиться к кресту, все присутствующие единодушно, включая и Волконского, предложили Тургеневу «прикладываться к кресту первому, как человеку, положившему почин этому святому делу». Присутствующий при этом И.С. Тургенев писал: «Нам редко случалось видеть нечто более умиленное, как Н. Тургенева, предстоявшего с бегущими по щекам слезами в церкви парижского посольства, во время молебна за государя, когда пришло известие о появлении манифеста 19 февраля».

Николай Иванович прожил долгую жизнь. Рожденный в год Великой французской революции, он дожил до Парижской коммуны. Последние

«Нельзя
произнести
слово человек,
чтобы не
иметь вместе
с сим понятием
о свободе...»

месяцы его жизни оказались омрачены не только этой «междоусобной войной». Еще большие опасения внушали ему немецкая оккупация Франции и усиление Германии. С юности сохраняя самые лучшие воспоминания об этой стране, Тургенев всегда желал ее объединения. Однако, дожив до этого события, он с присущей ему пронизательностью почувствовал, какая страшная угроза исходит от немецкого объединения. «Я всегда, — писал он Д.Н. Свербееву, — видел в объединенной Германии залог мира европейского. Теперь вижу противное. Немцы подражают Наполеону I, которого всегда справедливо проклинали! Такое разочарование для меня истинно горестно».

Умер Н.И. Тургенев 29 октября 1871 года на своей даче под Парижем. По воспоминаниям Свербеева, «за несколько часов до смерти с жаром он беседовал с доктором о предстоящей реформе во Франции народного просвещения».

НИКИТА
МИХАЙЛОВИЧ
МУРАВЬЕВ

«Масса людей может
стать тираном так же,
как и отдельное лицо...»

Никита Михайлович Муравьев (1795–1843) родился в Петербурге в семье известного литератора, педагога и общественного деятеля М.Н. Муравьева. Под его непосредственным руководством и началось домашнее воспитание сына. Особую роль в обучении отводилось истории, в которой М.Н. Муравьев видел собрание нравоучительных примеров, способствующих всестороннему развитию личности. В его изложении истории соединялись характерный для просветителей культ Античности и религиозное морализирование, почерпнутое из Священного Писания. С детства хорошо зная древнегреческий и латинский языки, Никита в оригинале прочел Геродота и Диодора; Плутарх стал его настольной книгой. В пятнадцатилетнем возрасте он перевел «О нравах германцев» Тацита. Античные герои будоражили воображение мальчика, который полностью был погружен в их мир и жил их представлениями. Этому способствовали не только уроки отца, но и сама атмосфера, царившая в доме. В семье Муравьевых, которое, по воспоминаниям В.А. Олениной, было «совершенно семейство Гракхов», «долго еще повторяли слова Никиты Михайловича еще ребенком. На детском вечере у Державиных Екатерина Федоровна заметила, что Никитушка не танцует, пошла его уговаривать. Он тихонько ее спросил: „Мама, разве Аристид и Катон танцевали?“ Мать на это ему отвечала: „Можно предположить, что да, в твоём возрасте“. Он тотчас встал и пошел танцевать». При всем увлечении «характерами Брута, Гракхов etc.», Муравьев, по словам той же В.А. Олениной, «был нервозно, болезненно застенчив и скрытен».

В 1810–1812 годах Никита, углубляя свое домашнее образование, посещал, на правах вольнослушателя, лекции по точным наукам в Московском университете. Война 1812 года подвела черту под детским периодом его жизни. То, что он вырос, Никита Муравьев дал понять сам, причем довольно неожиданным образом. После взятия французами Смоленска он бежал из дома в действующую армию. Этот поступок очень быстро получил широкую огласку и стал одним из символов патриотического воодушевления. Бегство на фронт на первый взгляд не имеет прямого отношения к сугубо гражданскому, домашнему воспитанию. Однако оно очень ярко свидетельствует о его результатах. Проекция книжного воспитания

на жизненную ситуацию стала одним из ярких проявлений юношеского патриотизма военных лет.

Война привела Никиту Муравьева в Париж. Он попал туда почти сразу же по завершении наполеоновских «ста дней», когда в стране свирепствовал террор и шли выборы в печально знаменитую «бесподобную» палату депутатов. К сожалению, источники, касающиеся столь важного периода в идейном развитии Муравьева, крайне скудны. Его письма из Франции матери немногословны и касаются в основном бытовых и культурно-бытовых моментов. По ним, в частности, можно судить о распорядке дня и роде занятий: «Здесь я завтракаю в 11-ть часов утра, обедаю в 6-ть и по здешнему обычаю не ужинаю. Всякий вечер почти, когда только хожу гулять по бульвару, имею случай видеть графиню Шувалову, которой удовольствие сидеть в Café Tortoni, у которого и происходит гулянье и куда идут обыкновенно есть мороженое. Я был здесь в опере, в Varieté, и в трагедии видел Talma, который с тех пор, как мы здесь, только один раз играл». В другом письме содержится намек на более серьезные дела: «Я здесь накупил довольно книг и читаю, также абонировался». Но в целом подобный образ жизни: гулянье, театры, чтение книг и т.д. — ничем не отличается от образа жизни в Париже молодых людей, принадлежащих к тому же кругу интеллектуалов, что и Муравьев. Точно так же жили там братья Н.И. и С.И. Тургеневы. Но если последние оставили дневники, по которым мы можем судить о том, с кем они общались и о чем говорили, то в случае с Муравьевым все это составляет лишь предмет догадок.

В Париже Никита Муравьев остановился в доме бывшего посла в России А. де Коленкура. «Мне дали квартиру, — писал он матери, — у бывшего в Петербурге послом duc de Vincence (Коленкур), отчего издержки мои очень поуменились». Как свидетельствует Н.И. Греч, Муравьев нашел в доме Коленкура не только пристанище, но и общество, в которое пригласил его гостеприимный хозяин. «Общество было очень интересное: оно состояло из бонапартистов и революционеров, между прочими приходил часто Бенжамен Констан. Замечательно во Франции постоянное сродство бонапартизма с революцией: синий мундир подбит красным сукном... В этой интересной компании неопытный молодой человек напитался правилами революции, полюбил республику, возненавидел русское правление». Воспоминания Н.И. Греча подтверждаются и дополняются воспоминаниями другого, тоже довольно точного мемуариста Ф.Ф. Вигеля: «Случай свел его в Париже с Сиэсом и, что еще хуже того, с Грегуаром. Французская революция, точно так же, как история Рима и республик средних веков, читающему новому поколению знакома была по книгам. Все действующие в ней лица унесены были кровавым ее потоком, из них небольшое число ее переживших, молниеподобным светом, разлитым Наполеоном, погружено было во мрак, совершенно забыто».

Таким образом, парижское окружение Муравьева несколько проясняется. Во-первых, это сам хозяин Коленкур, человек близкий к Наполеону и Александру I, знающий немало тайн закулисной политики Франции

и России. Во-вторых, это лидер французских либералов Бенжамен Констан. И наконец, пожалуй, самое удивительное: бывшие якобинцы, чьи имена давно уже стали легендарными, — аббат Сийес и аббат Грегуар. Можно предположить, что именно они, а не Бенжамен Констан, в 1815 году произвели на Муравьева наиболее сильное впечатление. Констан был знаком Муравьеву прежде всего по той сомнительной роли, которую он играл во время «ста дней», и по на шумевшей книге «О духе завоевания и узурпации». Но летом 1815 года Констан находился в очень тяжелом положении: он не знал, чем обернется для него недавняя служба у Наполеона, и готовился эмигрировать из страны. В этих условиях его встреча с Муравьевым вряд ли могла иметь иной характер, кроме мимолетного знакомства. Да и идеи Констан, который негативно оценивал свободу античных республик, не были близки тогда Муравьеву. Другое дело Сийес и Грегуар. Вигель очень точно отметил то впечатление, которое эти люди способны были произвести на Никиту Михайловича, бредившего античными героями. Сама Французская революция, пронизанная духом Античности, даже со сравнительно небольшой временной дистанции казалась трагическим и величественным действием. По словам Вигеля, «встреча с Брутом и Катилиной не более бы поразила наших русских молодых людей, чем появление сих исторических лиц, как будто из гробов восставших, дабы вещать им истину. Все это подействовало на просвещенный наукою, но еще незрелый и неожиданный ум Муравьева; он сделался отчаянным либералом».

По возвращении в Россию Муравьев стал одним из учредителей тайного общества Союз спасения и прошел весь путь — от ранних организаций до Северного общества включительно, играя на каждом этапе движения ведущую роль. Занявшись практической политикой, большое внимание он уделяет осмыслению уроков Французской революции. Не приемля широко распространенную в среде европейских консерваторов концепцию фатальности революции (т.е. представления о ней как о сверхъестественном событии), Никита Михайлович пытается самостоятельно осмыслить ее причины и характер. Появившаяся в 1818 году книга мадам де Сталь «Рассуждения о главных событиях Французской революции» давала обильную пищу для подобных размышлений.

Можно предположить, что именно де Сталь воплощала для будущих декабристов либерализм, хотя формально она не принадлежала ни к одной из либеральных партий Франции. Во всяком случае, декабрист П.Н. Свистунов был убежден, что «слово *libéral* употребила первая г-жа де-Сталь». Это убеждение, несомненно, отголосок тех разговоров, которые велись в России вокруг ее книги на рубеже 1810–1820-х годов. По количеству откликов у декабристов де Сталь занимает лидирующее положение из всех французских мыслителей. Этому способствовали не столько идеи ее произведений, сколько их емкий и афористичный язык, а также ее присутствие в России в 1812 году. «Рассуждения», подобно грибоедовскому «Горю от ума», разошлись на поговорки, любимой из которых стал знаменитый афоризм «Свобода стара, деспотизм нов».

«Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо...»

В Уставе Союза благоденствия сформулировано его литературное кредо, один из пунктов которого гласит: «Объяснять потребность отечественной словесности, защищать хорошие произведения и показывать недостатки худых. Доказывать, что истинное красноречие состоит не в пышном облачении незначущей мысли громкими словами, а в приличном выражении полезных, высоких, живо ощущаемых помышлений». Уже в самой этой программе заложена необходимость «образа врага» — писателя, на чьем отрицательном примере можно было бы направлять развитие литературы. При этом чем значительнее будет враг, тем более впечатляющей станет победа над ним и тем авторитетнее покажется иной, «правильный» путь развития литературы. Такой враг сразу нашелся в лице Н.М. Карамзина. Борьба с ним для декабристов имела характер не только политического спора, она стала также формой политической пропаганды.

Легко понять, почему Н.М. Муравьев начал писать опровержение именно на публикующуюся в то время «Историю» Карамзина. Однако почему он при этом внимательно перечитывает и делает злые пометки на полях «Писем русского путешественника» — произведения, которое наверняка им давно прочитано и которое к 1818 году уже превратилось в достояние литературной истории? Вероятно, повод дал сам Карамзин. 27 августа 1818 года историк в письме к П.А. Вяземскому поделился впечатлениями об упомянутой выше книге де Сталь: «М-ше Сталь действовала на меня не так сильно, как на вас. Неудивительно: женщины на молодых людей действуют сильнее, а она в этой книге для меня женщина, хотя и весьма умная. Дать России конституцию в модном смысле есть нарядить какого-нибудь важного человека в гаерское платье... Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную, и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Самодержавие есть душа, жизнь ее, — как республиканское правление было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае. Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе. Один умный человек сказал: „Я не люблю молодых людей, которые не любят вольности; но я не люблю и пожилых людей, которые любят вольность“. Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить меня, а я вас. Потомство увидит, что лучше или что было лучше для России. Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец, и таким умру».

Письмо это не содержит ничего личного и, по сути дела, является открытым вызовом тем, кого Пушкин позже назовет «молодыми якобинцами». И хотя заканчивалось оно выражением стремления к примирению, это не более чем урок терпимости, который Карамзин преподавал своим молодым друзьям. Можно не сомневаться, что содержание письма стало известно не только Вяземскому, — оно наверняка дошло до того «коллективного адресата», которому и было послано. Содержалась там и еще одна важная мысль. Когда Карамзин писал, что для него «приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов»,

он явно намекал на свое времяпрепровождение в Париже в 1790 году. Тем самым он давал понять молодым людям, что либеральные идеи, которые ими воспринимаются как что-то новое, ему уже давно знакомы, а впечатление от книги мадам де Сталь намного слабее, чем впечатления от Французской революции, увиденной собственными глазами.

Итак, адресат этого письма — круг либеральной молодежи, включающий, кроме Вяземского, младших братьев Тургеневых, А.С. Пушкина, Н.М. Муравьева и др. Эти люди письмо Карамзина не могли воспринять иначе, как вызов, и, вероятно, Муравьев, приняв его, взялся опровергать карамзинские представления о Французской революции.

Из отрывочных заметок, оставленных на полях «Писем русского путешественника» между 1818 и 1820 годами, можно вполне представить позицию их автора. В сознании Никиты Муравьева, хорошо знавшего все творчество Карамзина, «Письма русского путешественника» и «История государства Российского», несомненно, соединены единой историко-политической концепцией. Спор ведется не столько с Карамзиным-историком (это внешний, хотя и, безусловно, важный план), но с Карамзиным — политическим мыслителем. Муравьев ищет истоки исторических воззрений Карамзина и попутно, «для себя» (только этим можно объяснить их бесцеремонный стиль), делает критические замечания. Раздражение, которое при этом испытывает «молодой якобинец», объясняется не столько несогласием с автором «Писем», сколько «неуловимостью» его концепции. Все было бы намного проще, если бы Карамзин объявил себя ярым противником революции и ее идей, но этого-то как раз и нельзя найти в его произведении.

Сложность отношения Карамзина к революции состоит в том, что оно не могло быть описано ни на одном из существовавших тогда политических языков. Все попытки представить это отношение как реакционное, консервативное или даже консервативно-либеральное не дают никаких результатов. Для Карамзина революция — дело человеческих рук, и она такова, каковы люди, делающие ее. Поэтому вместо готовых оценок читателю предлагается описание революционных событий, человеческих характеров, мнений и т.д. Это особенно раздражало Муравьева, который, как следует из заметок на полях «Писем», видел в начале революции не предвестие грядущих бед, а торжество идей свободы и справедливости.

Революция не кажется Муравьеву фатальным событием. Она — порождение несправедливых социальных отношений. В отличие от Карамзина, он видит здесь не проявление злой воли отдельных людей, а вполне законное сопротивление социальному гнету. Такая точка зрения близка мадам де Сталь, которая показала в своей книге целую систему злоупотреблений и притеснений народа в условиях абсолютной монархии. Особое неприятие у Муравьева вызывает позитивная программа Карамзина, направленная на исправление нравов, а не общества: «Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным

«Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо...»

благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот». Комментарий: «Так глупо, что нет и возражений». Против сочувственно сентиментального описания королевской четы Муравьев написал: «Какая дичь — как все это глупо». Подчеркнув в «Письмах» слова: «Народ любит кровь Царскую», он делает пометку: «От глупости». Не могла вызвать его сочувствия и явная идеализация старого режима. «Французская монархия, — пишет Карамзин, — производила великих Государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сенью возрастали науки и художества; жизнь общественная украшалась цветами приятностей; бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком... Но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря: мы лучше сделаем!» Муравьев полемически приписал: «И лучше сделали!», а против всего отрывка — только одно слово: «Неправда». Наибольшее раздражение у него вызвал следующий фрагмент: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку». Подчеркнув эти слова, декабрист написал между ними: «Дурак».

Наблюдая жизнь революционного Парижа, Карамзин прекрасно понимал относительную правду каждой из противоборствующих сторон и не принял ни одну из них. Он стоял выше всех партийных и государственных интересов — «как беспечный гражданин вселенной». Подчеркнув в тексте эти слова, Муравьев написал напротив: «А Москва сгорела!» Этой маргиналией он указал на кажущееся ему противоречие: Карамзин — «гражданин вселенной», пока речь идет о Франции; но как только затронута Россия, «космополит» становится «патриотом». Однако здесь, как и во многих других местах, обнаруживается явное непонимание или нежелание понять позицию Карамзина, чьи патриотические настроения 1812 года вовсе не противоречили космополитическим убеждениям эпохи Французской революции. Взятие Москвы историк переживал так же тяжело, как и разрушение во время революции французских городов, о чем он писал в письме к И.И. Дмитриеву от 17 августа 1793 года: «Мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кихотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю человечество!» Москва, взятая и опустошенная французами, включалась в этот же перечень ран, нанесенных человечеству.

Вопреки Карамзину, видевшему прямую связь между просветительскими идеями и якобинским террором, Никита Муравьев эту связь не хотел замечать сознательно. Отвергая как сам принцип монархического правления, так и возможность каких-либо позитивных моментов в этом правлении, он считал неуместным выказывать сочувствие казненной королевской семье. Отрицание самодержавия как такового свидетельствует о том, что свободу Муравьев связывал, в отличие от Карамзина, не с внутренним миром человека, а с наличием государственно-общественных институтов, способных эту свободу гарантировать.

Да и вряд ли по-другому мог думать человек, замышляющий государственный переворот в России. Свою политическую карьеру заговорщика Никита Муравьев начинает с дорогих ему республиканско-тираноборческих идей. В 1816 году он поддержал идею убийства Александра I «партией в масках» (ее выдвинул М.С. Лунин). Через год сам вызывается на цареубийство, а в 1820-м, солидарно с П.И. Пестелем, на двух совещаниях Коренной управы Союза благоденствия у Ф.Н. Глинки и И.П. Шипова отстаивает республиканскую форму правления, диктатуру Временного правительства и цареубийство. Но очень скоро в его взглядах происходят изменения. Они вызваны тем, что Муравьев, по его собственным словам, «в продолжение 1821-го и 1822-го годов удостоверился в выгодах монархического представительного правления и в том, что введение оногo обещает обществу наиболее надежд к успеху». Причины такого перелома во взглядах, как личного, так и общественно-политического плана, детально проанализировал Н.М. Дружинин. Однако вопрос не только в том, почему менялись взгляды декабриста, но и в том, как это происходило.

Исследователь общественно-политических взглядов свидетельствует о переходе Муравьева на более умеренные позиции; с точки зрения общекультурных представлений можно говорить о смене культурной парадигмы его сознания. Действительно, до 1820 года Никита Михайлович воплощает «римскую модель» культурного поведения. Сама эпоха бурных потрясений и войн, на фоне которых прошли его детство и юность, способствовала воплощению в жизнь высоких книжных образцов. В.А. Оленина вспоминала: «Воспламененный неограниченной любовью к отечеству Цицерона, Катона... потом Римское право, двенадцать таблиц римских (свод римских законов, относящихся к 451–450 годам до н.э. и служивших основой для римского права. — В.П.), римские добродетели и т.д., так разгорячили его сердце и воображение, что он начал писать и начал рефугацией на историю Карамзина, которого он лично не любил». Для более полного понимания личности Муравьева необходимо учитывать, что весь этот «римский» колорит — отнюдь не ходульная поза и не маска, обращенная к обществу, а неотъемлемая часть напряженной внутренней работы.

Если под воздействием античных авторов воспитывались дух патриотизма и идея самопожертвования во имя Отечества, то знакомство с европейской либеральной мыслью порождало представления о правах человека и самодостаточности человеческой личности. На смену римско-республиканскому самоощущению приходит государственно-правовой понятийный аппарат, почерпнутый из изучения конституционного опыта европейских государств и Соединенных Штатов Америки. В отличие от Пестеля, близкого к руссоистской идее безграничности народного суверенитета, Никита Муравьев больше склонялся к гельвецианскому варианту общественного договора, гарантирующему права отдельного индивидуума перед лицом общей воли. Согласно К.А. Гельвецию, общество — это не «коллективная личность», как считал Руссо, а свободное соединение отдельных индивидуумов, сохраняющих свои права на личное счастье:

«Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо...»

«Я утверждаю, что все люди стремятся только к счастью, что невозможно отклонить их от этого стремления, что было бы бесполезно пытаться это сделать и было бы опасно достигнуть этого и что, следовательно, сделать их добродетельными можно, только объединяя личную выгоду с общей».

Никита Муравьев не был согласен и с определением свободы, данным Монтескье в его «Духе законов»: «Свобода есть право делать все, что разрешают законы». Его возражение таково: «Разве я свободен, если законы налагают на меня притеснения? Разве я могу считать себя свободным, если все, что я делаю, только согласовано с разрешением властей, если другие пользуются преимуществами, в которых мне отказано, если без моего согласия могут распоряжаться даже моею личностью? При таком определении русский крестьянин свободен: он имеет право вступать в брак и т.д.» Под «свободой» Муравьев понимает прежде всего гарантию естественных, неотъемлемых прав человека, вступившего в общество. Поэтому законы должны соответствовать «совокупности его физических и моральных сил. Всякий иной закон есть злоупотребление, основанное на силе; но сила никогда не устанавливает и не обосновывает никакого права».

И далее он дает свое понимание общественного договора: «Соединяясь в политические общества, люди никогда не могли и не хотели отчуждать или изменять какое бы то ни было из своих естественных прав или отказываться в какой бы то ни было доле от осуществления этих прав... Они соединены и связаны общественным договором, чтобы свободнее и полезнее трудиться благодаря взаимопомощи и лучше охранять личную безопасность и вещную собственность путем взаимного содействия». Poleмика здесь ведется не с нарушениями общественного договора, а, напротив, с его слишком радикальной трактовкой. Не принимая разделения «общей воли» и «воли всех», что для Руссо принципиально, Муравьев утверждает: «Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо». Он явно имеет в виду события Французской революции и представления якобинцев о своей власти как о выражении безграничности народного суверенитета, что либеральными мыслителями истолковывалось как террор толпы.

Свободе личности, вступившей в общество, на государственном уровне соответствует автономность отдельных территориальных образований в составе государства, т.е. федерализм. После распада «Союза благоденствия» в 1821 году Никита Михайлович, под влиянием различных факторов, как общественного (обострение политической ситуации в Европе, рост революционного движения, усиление реакции), так и личного свойства (сосредоточение на занятиях хозяйством), оказался на более умеренной политической позиции. Разработанный им в течение 1821–1825 годов проект будущего государственного устройства (Конституции) предполагал разделение России на четырнадцать «держав» и две «области». Столицей должен был стать Нижний Новгород, переименованный в Славянск. «Державы» делятся на уезды, а уезды — на волости. Каждой «державой»

управляет свое правительство, представленное независимыми властями: законодательной, исполнительной и судебной. Верховная законодательная власть в государстве принадлежит Народному вече — двухпалатному парламенту, состоящему из Верховной думы, куда входят по три представителя от каждой «державы», и палаты народных представителей, куда посылаются по одному представителю от каждых 50 000 обывателей. Исполнительная власть остается в руках императора. Предусматривались также уничтожение сословий, гильдий и цехов, отмена крепостного права (при сохранении земли в собственности помещиков), сохранение общинного землевладения, введение основных гражданских свобод: слова, печати, вероисповедания, занятий и передвижения.

Федералистские идеи были популярны и во французской либерально-эмигрантской среде. Основанием для превращения Франции в федеративное государство в глазах либералов служило не столько существование сильно различающихся по языку, обычаям и общественному быту провинций, сколько стремление ослабить власть Парижа над остальной страной и тем самым либерализовать систему государственного управления. Лидеры французских либералов де Сталь и Констан высказывались за умеренный федерализм, при котором отдельные департаменты, сохраняя определенную независимость, в то же время составляли бы единое государство. Таким образом, центральную власть ограничивали бы полномочия местных властей, а последние, в свою очередь, зависели бы от центральной власти настолько, чтобы не появлялось угрозы местных деспотий.

Эти идеи, несомненно, оказали существенное влияние на Н.М. Муравьева при написании им Конституции. Ему, как установил Н.М. Дружинин, «были известны конституции всех 23 североамериканских штатов». И тем не менее он далек от мысли автоматически перенести американскую модель федерализма в Россию. Характерно, что К.Ф. Рылеев, который, по его собственным словам, «всегда отдавал предпочтение Уставу Северо-Американских Штатов», склонял Муравьева «сделать в написанной им Конституции некоторые изменения, придерживаясь Устава Соединенных Штатов». Никита Михайлович не только не воспользовался этим советом, но, напротив, от редакции к редакции все больше ограничивал федеральные права составляющих Россию «держав».

Федерализм интересовал его не как отражение многонациональной реальности Российской империи, а как одна из форм государственной гарантии индивидуальных прав и свобод. При этом вопрос о «правах наций» не ставился вообще. Как справедливо заметил Н.М. Дружинин, «Н. Муравьев очень далек от мысли построить союзное государство на договорах отдельных национальностей». Предполагалось, что, если гарантированы права каждого гражданина в отдельности, в дополнительных гарантиях прав национальностей не возникнет необходимости. Когда Муравьев пишет: «Русскими признаются все коренные жители России», слово «русский» здесь является антонимом слову «иностранец», чей ста-

«Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо...»

тус особо оговаривается в Конституции. Что же касается национальных меньшинств, проживающих в России, то, называя их «русскими», Муравьев прежде всего уравнивает их в правах с основной частью населения империи. С его точки зрения, это — бесспорное повышение их статуса, а не одна из форм насилия над ними. Из подданных русского царя они превращаются в свободных граждан России. Возможность каких-то коллизий на этой почве автор явно не предусматривал. Иначе трудно объяснить ту непоследовательность, которая отразилась в его Конституции. Сводить это к слепому копированию идей де Сталь и Констанана ни в коей мере нельзя: Муравьев был слишком хорошо для этого образован и имел весьма широкий выбор базовых идей для своей работы. Федерализм нужен ему лишь как гарантия прав и свобод отдельной личности. В этом он расходился и с Рылевым, мыслившим национальными категориями, и с Пестелем, мыслившим категориями государственными.

Расхождения между Пестелем и Муравьевым ознаменовали начало нового этапа декабристского движения, для которого характерна замена идей римского тираноборчества идеей европейских военных революций. При этом замыслы цареубийства как такового не исчезают совсем — они лишь теряют свою книжную привлекательность. Теперь на первый план в «аттентате» выдвигается фигура жертвы — того, кто должен быть умерщвлен; тот, кто совершает убийство, остается в тени. Отныне члены тайного общества не сами вызываются на цареубийство, а вербуют тех, кто мог бы его совершить. Как правило, поиск ведется либо на периферии декабристских организаций, либо за их пределами. Так родился пестелевский замысел «обреченного отряда»: группа из двенадцати человек, не состоящих в тайном обществе, истребляет всю царскую семью, включая женщин и детей, после чего общество должно казнить убийц «и объявить, что оно мстит за императорскую фамилию». И хотя подбор этой группы и руководство ею поручалось кому-то из членов тайного общества, предполагалось, что в саму группу войдут люди, обладающие качествами наемных убийц. При этом нельзя не заметить: если в «Брутах» тайное общество не испытывало недостатка, то желающих вступить в «обреченный отряд» не нашлось. А.П. Барятинский, на которого возложили обязанность найти цареубийц, велел передать Пестелю, «что все свицкие офицеры пылают ревностью к цели общества; но сие не означало, чтобы можно было составить из них шайку убийц». А М.П. Бестужев-Рюмин предлагал «для нанесения удара Государю... употребить разжалованных в солдаты». Убийство одного царя теперь уже казалось полумерой. Пестель обдумывал замысел истребления всей царской фамилии, чтобы, как он выражался, «иметь чистый дом». Цареубийство с авансцены Истории переместилось за кулисы политиканства — именно это отпугивало от него многих вчерашних «Брутов». Характерно скептическое замечание Пестеля о С.И. Муравьеве-Апостоле: «Он слишком чист».

Отказ Никиты Муравьева от идеи цареубийства связан с началом его работы над Конституцией. Идея законности очень плохо сочетается

с идеей убийства вообще, даже монарха, а система двойных стандартов, которую широко применял Пестель, для Муравьева невозможна. Любое преступление должно караться судом, перед которым равны все граждане, а так как император, по муравьевской Конституции, есть всего лишь «Верховный Чиновник Российского правительства», то он так же подсуден, как и любой гражданин. С другой стороны, цареубийство — такое же преступление против личности, как и любое другое убийство.

Не случайно и то, что Муравьев, который еще недавно высказывался за республику, свою Конституцию создает в монархическом духе. На первый взгляд между республикой и парламентской монархией разница вообще не столь существенна. И там и тут единственным источником власти признается народ, управляющий через своих представителей (у Мабли даже встречается выражение «республиканская монархия»). Однако в контексте тираноборчества различие принципиальное. С республикой, начиная с Античности и до Французской революции XVIII века включительно, ассоциировалась идея цареубийства, в то время как конституционная монархия гарантировала жизнь императору. Мысль о временной диктатуре после революционного переворота Муравьев отставил, как не соответствующую Конституции. Если Пестель допускал нарушение законов и даже кровь при учреждении республики, то Никита Муравьев такой путь исключал. Конституция вводится сразу, как только прекращается самовластие. Будет ли это добровольное согласие царя или же военная революция, не имеет существенного значения. Акцент ставился не на разрушении старого, а на созидании нового. Причем новое должно было зародиться в недрах старого. Подобно тому как Пестель в 1817 году хотел «наперед Энциклопедию написать, а потом уже и к революции приступить», Муравьев считает, что введению конституционного порядка должна предшествовать не диктатура, а широкое обсуждение его проекта Конституции в обществе. Новый порядок родится не в результате смерти старого, а путем его преобразования изнутри: «Мы, безусловно, начнем с пропаганды».

Политическая деятельность Н.М. Муравьева в 1820-е годы постепенно отодвигается на второй план из-за его хозяйственных занятий. После смерти деда по материнской линии, сенатора Ф.М. Колокольцева, оставившего миллионное состояние, тысячи крепостных и десятки тысяч десятин земли в разных губерниях, Никита Михайлович с увлечением принимается за управление этим огромным наследством и очень быстро овладевает современными ему экономическими знаниями. В 1823 году он женится на Александре Григорьевне Чернышевой — одной из самых завидных невест того времени, соединявшей в себе красоту, уникальные душевные качества и богатое приданое. Семья для молодого супруга становится таким же серьезным приложением сил, как политика и экономика. На фоне семейного счастья и успешного ведения огромного хозяйства политическая деятельность начинает все больше его тяготить. Либерально-конституционные убеждения остаются неизменными, но тактика тайных об-

«Масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо...»

шеств, стремящихся к военной революции, уже не привлекает Муравьева. Постепенно им овладевает политическая апатия. Летом 1825 года он берет продолжительный отпуск и покидает Петербург в намерении замкнуться в семейном кругу и хозяйственных делах.

Тем не менее после восстания 14 декабря, которое Никита Муравьев не готовил и не одобрял, он был арестован и осужден по 1 разряду на смертную казнь. По конфирмации казнь заменили двадцатью годами каторги. Вскоре срок заключения был сокращен сначала до пятнадцати, а затем до десяти лет. Александра Григорьевна последовала за мужем в Сибирь. Там у них родилась дочь Софья. Вновь обретенный счастливый мир оказался недолгим: в 1832 году А. Муравьева скончалась в возрасте двадцати восьми лет. Воспитание дочери становится главной заботой декабриста. Благодаря помощи матери в Сибири он не испытывал материальной нужды. В его распоряжении была огромная библиотека, позволявшая вести научную деятельность в самых различных сферах: от чтения лекций по военной тактике товарищам по заключению до внедрения агрономических новшеств в сибирское земледелие.

По выходе на поселение в 1837 году Муравьев избрал местом жительства село Урик неподалеку от Иркутска. Там жил его двоюродный брат и друг М.С. Лунин. Их связывали не только родственные и дружеские отношения. Есть очень много общего и во взглядах этих людей — как на современное положение России, так и на ее прошлое. Одинаковым образом они оценивали также роль тайных обществ в русской истории. Основным занятием Лунина этих лет была публицистика, направленная на опровержение правительственной пропаганды, которая представляла движение декабристов в искаженном виде. Никита Муравьев не только одобрял эту деятельность Лунина, встречающую непонимание в среде многих их товарищей по сибирской ссылке, но и помогал ему своими историческими познаниями. В частности, ему принадлежат обширные комментарии к главному произведению Лунина «Разбор донесения Тайной следственной комиссии». Оба декабриста развенчивают утверждение официального «Донесения» о якобы случайном и подражательном характере тайных обществ в России. С помощью исторических фактов, начиная со времени Ивана Грозного и до вступления на престол Александра I, Муравьев опровергал «ни на чем не основанное мнение, что русский народ не способен, подобно другим, сам распоряжаться своими делами». В Земских соборах он видел зародыш парламентского государства, и если этот путь оказался нереализованным, то причина заключается не в объективном ходе вещей, а в произволе Петра I, «который не собирал Земской Думы, пренебрегая мнением своего народа и отстраняя его от непосредственного участия в своих делах». В этих же комментариях Муравьев впервые в отечественной историографии дал полный перечень дворцовых переворотов в России XVIII века, указав их причины, участников и следствия. В его историко-политической концепции дворцовые перевороты противостоят, с одной стороны, правительственному деспотизму, а с дру-

гой — законной борьбе за ограничение самодержавной власти. Они «любопытны во многих отношениях, но прискорбны для русского». Данный экскурс в недавнюю историю призван проиллюстрировать следующую мысль Лунина: «Тайный союз не мог ни одобрять, ни желать покушений на царствующие лица, ибо таковые предприятия даже под руководством преемников престола не приносят у нас никакой пользы и несовместны с началами, которые Союз огласил и в которых заключалось все его могущество. Союз стремился водворить в отечестве владычество законов, дабы навсегда отстранить необходимость прибегать к средству, противному справедливости и разуму». По мнению Муравьева, «тайное общество заполняло пропасть, которая существовала между правительством и народом». В истории России декабристы, с его точки зрения, пытались сыграть такую же роль, что и английские бароны, заставившие короля Иоанна Безземельного подписать 15 июня 1215 года Великую хартию вольностей.

Н.М. Муравьев умер 28 апреля 1843 года, как и его жена, от случайной простуды. «Смерть моего дорогого Никиты, — писал М.С. Лунин, — огромная потеря для нас; этот человек стоил целой академии».

«Для меня открыта только
одна карьера — карьера
свободы...»

Михаил Сергеевич Лунин (1787–1845) родился в семье богатого и ничем не примечательного отставного бригадира Сергея Михайловича Лунина, типичного хозяйственника-крепостника. Зато его мать, Феодосия Никитична, приходилась родной сестрой выдающегося педагога и литератора Михаила Никитича Муравьева, отца будущего декабриста Никиты Муравьева. В отличие от своего двоюродного брата, Лунин не получил систематического образования. В соответствии с тогдашней модой старший Лунин переложил воспитание сына на гувернеров-иностранцев. Учителями будущего декабриста «были: англичанин Форстер, французы Вовилье, Батю и Картие. Швед Курулф и швейцарец Малерб». От них Михаил получил прекрасное знание иностранных языков и привычку к систематическому самообразованию. Языки для него — не только «ключи современной цивилизации», но и важнейшая религиозно-философская проблема. «Одной из тяжких кар для людей, — напишет он впоследствии, — было смешение языков: „смешаем язык их“ (Быт., II: 7). И одним из величайших благ был тоже дар языков: „начали говорить на разных языках“ (Деян., 2: 4)».

В бурную эпоху Наполеоновских войн молодежь быстро возросла. Семнадцатилетний корнет кавалергардского полка Лунин принял боевое крещение при Аустерлице. Затем была кампания 1806–1807 годов, орден Св. Анны 4-й степени за Фридрихсбург, производство в поручики и возвращение в Россию. Безумная отвага, проявленная на полях сражений, в мирной жизни обернулась лихими поступками человека, презирающего казенщину и серые будни армейской жизни. О проделках юноши, о его дуэлях, успехах у женщин и т.д. ходили легенды. Но это лишь внешняя сторона, скрывающая упорный и постоянный процесс самообразования. Как вспоминал близкий друг Лунина Ипполит Оже, «усиленная умственная деятельность рано истощала его силы».

Война 1812 года стала новой вехой в боевой биографии М.С. Лунина. Вместе со своим кавалергардским полком он проделал путь от Вильно через Москву в Париж, участвовал во всех крупнейших сражениях на полях России и Европы. По возвращении из Франции принял участие в организации одного из первых тайных обществ в России — Союза спасения.

тливой работой по формированию общественного мнения, подготовке конституционных проектов и т.д., а возможностью реализации героического типа поведения. Вызываясь в 1812 году отправиться парламентарем к Наполеону и всадить ему в сердце кинжал, теперь Лунин вызывается проделать то же самое с Александром I. А когда замысел царевубийства отклонило большинство членов тайного общества, он покинул Россию и отправился в Европу.

Наднациональное объединение людей на основе каких-либо высших принципов для Лунина всегда стояло выше национального самоопределения. По свидетельству Ипполита Оже, он говорил: «Гражданин вселенной — лучше этого титула нет на свете». Здесь ключ к пониманию культурной позиции молодого человека. Словосочетание гражданин вселенной — дословный перевод с французского *citoyen de l'univers*, что, в свою очередь, является калькой с греческого *ὁ κόσμου πολίτης*. В XVIII — начале XIX века эта формула, противоположная культурной маске «патриота», была широко распространена. Речь, разумеется, идет не о реальном чувстве любви к родине, которое может быть присуще человеку любых взглядов, как западнику, так и русофилу, а о специфике культурного понимания проблемы «свое — чужое». Патриот в этом смысле тот, для кого границы между своим и чужим пространством жестко обозначены, причем истина всегда связывается со своим, а чужому, соответственно, приписываются лживость и враждебность. Космополит всегда стремится к снятию перегородок между различными культурами и к установлению единой шкалы ценностей. В отличие от фиксированной точки зрения патриота, точка зрения гражданина вселенной подвижна. Он может свое пространство воспринимать как чужое и, наоборот, в чужом видеть свое. Отграниченности национального бытия противопоставляется единство человеческого рода.

Понятие «гражданин мира» встречается уже в «Опытах» Ф. Бэкона: «Если человек приветлив и учтив с чужестранцами, это знак того, что он гражданин мира и что сердце его не остров, отрезанный от других земель, но континент, примыкающий к ним». Эти слова написаны в одну из самых мрачных эпох европейской истории, в эпоху религиозных войн, крайней нетерпимости, костров инквизиции, процессов ведьм и т.д., когда образ врага был навязчивой идеей массового сознания. В такой обстановке космополитические идеи звучали как призыв к терпимости и взаимопониманию. Наибольшее распространение они получили во Франции в середине XVIII века. Тогда сложилась так называемая «Республика философов» — небольшая группа людей, говорящая от имени всего человечества с позиций Разума, грандиозным воплощением которого стала знаменитая «Энциклопедия». Для французских энциклопедистов понятия «философ» и «гражданин вселенной», по сути, тождественны. В этом они идут непосредственно от античной традиции, в частности от Диогена Синопского, который на вопрос, откуда он, отвечал: «Я гражданин мира». Одним из проявлений французского просветительского космополитизма стало восхваление Англии — традиционного врага Франции. Британия

с ее всемирной торговлей и колониями воспринималась как мировая держава, провозглашающая общечеловеческие ценности. Не случайно одно из значительных произведений английской литературы XVIII века называется «Гражданин мира». Автор этого романа О. Голдсмит возводил идею мирового гражданства к Конфуцию: «Конфуций наставляет нас, что долг ученого способствовать объединению общества и превращению людей в граждан мира». Примером практического космополитизма в романе могут служить слова англичанина, который пожертвовал 10 гиней французам, находящимся в английском плену во время Семилетней войны: «Лепта англичанина, гражданина мира, французам пленным и нагим».

Ближайшая к Лунину космополитическая традиция — «Письма русского путешественника» Карамзина, с их основным тезисом: «Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не Славянами». Призывая людей к терпимости, автор отстаивал свое право быть вне политических лагерей и партий, наблюдать, а не участвовать. Покидая революционный Париж, он писал: «Среди шумных волнений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной; смотрел на твое волнение с тихою душою, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни Якобинцы, ни Аристократы твои не сделали мне никакого зла; я слышал споры и не спорил».

Однако гражданин вселенной Лунин в 1816 году далек от «беспечного гражданина вселенной» Карамзина, мирного путешественника, открывающего свою Европу. Его настроению в большей степени отвечали бунтарские идеи другого космополита — голландца по происхождению, прусского барона по социальному положению и французского революционера по убеждению Анархарсиса Клоотса. Во время праздника Объединения, 14 июля 1790 года, Клоотс явился перед Национальным собранием во главе костюмированной процессии, представляющей народы мира, и провозгласил себя «главным апостолом Всемирной республики».

Считая, «что бунт — это священная обязанность каждого», Лунин верит в возможность быстрого освобождения человечества. При этом не имеет особого значения, где бороться за свободу: в Южной Америке или в России. Первое даже предпочтительнее, так как более соответствует общечеловеческим устремлениям Лунина. Его космополитизм окрашивается в «испанские» тона: «Для меня, — говорит он Ипполиту Оже, — открыта только одна карьера — карьера свободы, которая по-испански зовется *libertade*». Понятно, что такой «испанский» космополитизм вызывает соответствующие ассоциации у романтически настроенного собеседника: «Это был мечтатель, рыцарь, как Дон-Кихот, всегда готовый сразиться с ветряною мельницей».

Однако до Южной Америки Лунин так и не добрался. С осени 1816 по весну 1817 года он живет в Париже, занимается литературной деятельностью (пишет по-французски роман «Лжедмитрий»), посещает парижские салоны, общается с иезуитами, революционерами, с еще мало тогда из-

вестным Сен-Симоном. Полгода в Париже значительно расширили политический и общекультурный кругозор молодого человека. Идеи царубийства и быстрого государственного переворота в России теряют в его глазах свою привлекательность. В то же время он не видит возможности в России вести открытую политическую деятельность. Интерес к Франции, явно подогреваемый политическими и католическими симпатиями, все время растет. Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба Лунина, если бы не внезапная смерть отца весной 1817 года, заставившая его срочно вернуться в Россию.

Оставаясь членом тайного общества, Михаил Лунин принял участие в организации Союза благоденствия в 1818 году, стал членом Коренной управы и участвовал в совещаниях 1820 года. Однако его голоса в спорах о путях будущего устройства России, судьбе царской семьи и т.д. не слышно. Все, что непосредственно касается государственного переворота, обсуждается в его присутствии, но без его активного участия. Его роль в тайном обществе в начале 1820-х годов фактически свелась к приобретению станка «с той целью, чтобы литографировать разные уставы и сочинения тайного общества и не иметь труда или опасности оные переписывать». В связи с этим нельзя не отметить, что широкое распространение политических идей в обществе для Лунина становится важнее конспиративной деятельности, направленной на государственный переворот.

В 1822 году М.С. Лунин возвращается на военную службу. Это решение он сам прокомментировал на следствии: «Я действовал, по-видимому, сообразно правилам тайного общества, но сокровенная моя в том цель была отдалиться и прекратить мои с тайным обществом сношения». Лунин определился в Польский уланский полк, дислоцирующийся в Случке. И прослужил там до мая 1824 года, когда был переведен в Варшаву с назначением командиром эскадрона Гродненского гусарского полка. В Варшаве его и арестовали 9 апреля 1826 года. Суд вынес Лунину приговор по второму разряду: пятнадцать лет каторги. Впоследствии срок сократили до десяти лет.

Как глубокий и оригинальный мыслитель М.С. Лунин проявился в полной мере лишь в Сибири. Во многом его сибирские сочинения стали итогом внутренних размышлений, начавшихся в Париже и продолжавшихся на протяжении последующих лет. Как и в молодости, он исходит из идеи единства мировой цивилизации и считает, что «истины не изобретаются, но передаются от одного народа к другому, как величественное свидетельство их общего происхождения и общей судьбы». Однако теперь романтическое бунтарство молодости отступает перед трезвым анализом правительственного курса: «Я не участвовал ни в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам. Единственное оружие мое — мысль, то в ладу, то в несогласии с движением правительственным, смотря по тому, как находит она созвучия, ей отвечающие», — пишет он в одном из сибирских писем.

«Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы...»

«Испанское» понимание свободы сменяется английским правовым сознанием. Не вооруженная борьба за свободу, а последовательное отстаивание прав человека с опорой на существующее законодательство и его постепенное усовершенствование становятся основой новой политической программы Лунина. Не признавая за Россией особенного пути развития и в то же время осознавая ее правовую отсталость от европейских стран, он не без иронии переводит английские политические понятия на язык российской действительности: «Теперь в официальных бумагах называют меня: государственный преступник, находящийся на поселении... В Англии сказали бы: Лунин, член оппозиции». Различие между Россией и Англией соответствует различию между положением сибирского узника и члена британского парламента. Однако из того, что английские оппозиционеры заседают в парламенте, а русские томятся в Сибири, еще не следует, что о последних нельзя рассуждать в системе английской правовой мысли.

«В английской печати, — пишет академик М.П. Алексеев, — декабристов в то время чаще всего изображали как просвещенных офицеров из дворян, воодушевленных идеями западного конституционализма. В стране, достигшей более высокой ступени политической зрелости, полагали английские публицисты, выступление декабристов носило бы характер не вооруженного восстания, но скорее парламентской петиции или обращения к монарху». Именно в таком духе М.С. Лунин пытается представить декабризм европейской общественности. Он много говорит о законности и закономерности появления тайных обществ в России и незаконности суда над их членами. При этом свой «Разбор донесения Тайной следственной комиссии государю императору в 1826 году» пишет на русском, французском и английском языках и просит сестру доставить текст за границу Н.И. Тургеневу для публикации, явно рассчитывая на поддержку европейского общественного мнения. В расчете на помощь Тургенева Лунин декларирует общность его взглядов на декабризм со своими. Как и Тургенев, он связывает возникновение тайных обществ в России с либеральными намерениями Александра I: «Право Союза опиралось также на обетах власти, которой гласное изъятие имеет силу закона в самодержавном правлении. „Я намерен даровать благотворное конституционное правление всем народам, провидением мне вверенным“ (Речь императора Александра на Варшавском сейме 1818 года). Это изречение вождя народного, провозглашенное во услышание Европы, придает законность трудам Тайного союза и утверждает его право на незыблемом основании».

Как и Н. Тургенев, М. Лунин отказывается видеть состав преступления в своих действиях и действиях своих товарищей. Однако если для Тургенева этот аспект является основным, так как служит (или должен служить) его оправданию, то Лунина меньше всего волнует личная судьба. Из идеи законности декабризма вытекает идея его закономерности и неизбежного торжества провозглашенных декабристами принципов:

твердые законы, юридическое равенство граждан, гласность судопроизводства, прозрачность государственных расходов, ликвидация виновных откупов, сокращение сроков военной службы, уничтожение военных поселений и т.д. Все меры были направлены на то, чтобы сравняться с «народами, находящимися в главе всемирного семейства», т.е. англичанами и французами, но при этом «охранять Россию от междоусобных браней и от судебных убийств, ознаменовавших летописи двух великих народов» (имеются в виду казни Карла I и Людовика XVI. — В.П.).

Лунин тщательно разбирает «Донесение Следственной комиссии», анализирует проекты правительственных реформ, ставит под сомнение законность приговора, вынесенного декабристам. И все это — с позиций европейской общественно-политической и правовой мысли, причем без всякой выгоды для себя, без всякого желания оправдаться в чем-либо или же, наоборот, досадить правительству. Он ведет себя так, как будто действительно находится в английском парламенте, а не в далекой Сибири и как будто не его судьба зависит от правительства, а, наоборот, историческая участь Николая I и его министров зависит от того, какой приговор вынесет им сибирский ссылный.

Ощущение собственного превосходства над петербургским двором Лунину давали два обстоятельства. Во-первых, тот факт, что «выдающиеся люди эпохи оказались в сибирской ссылке, а ничтожества во главе событий». Во-вторых, убежденность в том, что «влияние власти должно в конце концов уступить влиянию общественного мнения». На себя декабрист смотрит как на выразителя общественного мнения. На этом основано его противопоставление себя — человека себе же — политическому деятелю: «Как человек, я всего лишь бедный изгнанник; как личность политическая, я являюсь представителем системы, которую легче упразднить, чем опровергнуть».

Принадлежность к определенной политической системе для Лунина служит критерием, позволяющим отличить истинного политика от «политика поневоле» (перефразировка мольеровского «лекаря поневоле»). При этом важно, чтобы система не была единственной. Более того, она только тогда имеет смысл, когда ее представители «восстанавливают борение частей, необходимое для стройного целого... Именно диссонанс в общей гармонии prepares и создает совершенное согласие». В политике таким диссонансом является оппозиция. Как оппозиционер, Лунин отстаивает принципы европейского буржуазного права перед лицом отечественного беззакония: «В нашем политическом строе пороки не злоупотребления, но принципы», т.е. речь идет о порочности самой политической системы. В его глазах это скорее плюс, чем минус, так как изменить систему в целом проще, чем бороться с отдельными злоупотреблениями. Поэтому «появление принципов порядка было бы тем более заметным и успешным». В этом отношении опыт Англии Лунину представляется наиболее продуктивным, так как «англичане заложили основы парламентского правления».

«Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы...»

В «Розыске историческом» М.С. Лунин проводит широкие исторические параллели между Россией и Англией, исходя из общности исторического пути, по которому идут все европейские страны. Движение декабристов он сравнивает с событиями в английской истории начала XIII века, когда, под давлением английских баронов на короля Иоанна Безземельного, была подписана знаменитая Великая хартия вольностей: «Общество озаряет наши летописи, как союз Рюнимедский бытописания Великобритании». Отсюда делается малоутешительный вывод: «В несколько веков нашего политического быта мы едва придвинулись к той черте, от которой пошли англичане». Историческими фактами, почерпнутыми из истории Англии и России, Лунин подробно обосновывает этот тезис. В Сибири у него под рукой был многотомный труд английского историка Дж. Лингарда «История Англии от первого вторжения римлян» на английском языке, из которого он брал фактический материал, давая ему собственную интерпретацию.

Отсчет английской свободы Лунин начинает от Великой хартии вольностей, которая делит историю страны на две полярные части: рабство и свобода. Исследователя больше интересуют события, которые происходили до принятия Великой хартии. Чтобы подчеркнуть правовую отсталость современной России от цивилизованного мира, декабрист уподобляет ее Англии XII века. «В правление англосаксов англичанин на базаре... стоил 4 пенни; но эта цена изменялась, возвышаясь иногда до 3-х манкузов, до серебряного фунта и до золотой Иры... Поселяне с семействами и со всяким имуществом были собственностью лордов. Последние могли произвольно дарить или продавать их... В обыкновенных принудительных местах судопроизводство было источником доходов для правительства и судей. Тяжбы длились иногда по несколько царствований сряду и решались обыкновенно в пользу того, кто больше давал... Граждане не могли ни выезжать из королевства, ни оставаться за границу по делам своим сколько было нужно, без особенного королевского повеления... Когда Генрих III требовал, чтобы бароны собрались в его совет, они отказались, потому что важнейшие места в королевстве розданы были иностранцам, и король более доверял честности последних, чем любви собственных подданных. Эдмон, епископ Терберийский, сопровождаемый важнейшим духовенством, пришел к королю и объявил, что англичане не хотят быть попираемы ногами иностранцев в своей родной земле»...

Такое подробное описание потребовалось Лунину для того, чтобы показать, в каком положении находится Россия в XIX веке и насколько она отстала от Европы: «Эти черты британских летописей сходны с тем, что видим вокруг себя. Русских продают и покупают по разным ценам; дарят, закладывают в кредитных заведениях... Наши тяжбы так же продолжительны и так же разорительны. Лучшее право у нас на звание судьи — одряхлеть в военных и морских чинах, без всякого знания законов и даже русского языка... Без дозволения правительства русские не могут ни выехать из государства, ни жить за границую... Главные места в госу-

дарстве вверены иностранцам, не имеющим никакого права на доверие народное».

Если прошлое Англии есть настоящее России, то ее настоящее есть будущее России: «История должна... путеводить нас в высокой области политики. Наши учреждения очевидно требуют преобразований». Первую попытку таких преобразований с опорой на западноевропейский конституционный опыт, как считает Лунин, предприняли декабристы. Их принадлежность к высшему сословию наложила на них обязанность «платить за выгоды, которые доставляют им совокупные усилия низших сословий», т.е. быть защитниками народных интересов, ибо в силу своей просвещенности они осознают их в большей степени, чем сам народ. Подспудно здесь присутствует еще одна параллель с Англией: Великая хартия вольностей подписана по настойчивой воле английской знати в интересах всего народа.

Лунин всячески подчеркивает мысль, что дело тайного общества «было делом всей России». Считая восстание 14 декабря ошибочным и случайным явлением, ретроспективно он видит конечную цель тайного общества не в свержении самодержавия, а в закреплённом конституцией договоре дворянства, представляющего народ, с монархом. Основанием для этого являются обещания самого Александра I «даровать конституцию русским, когда они в состоянии будут оценить пользу оной». Поэтому задача декабристов заключалась не в подготовке восстания, а в том, чтобы заставить царя выполнить свое обещание, т.е. в подписании документа, подобного Великой хартии.

Своеобразие лунинского англофильства заключалось в стремлении соединить английскую конституцию с католицизмом. Существенным аргументом здесь является то, что Великую хартию приняли в период торжества католической веры. Среди причин, способствовавших нравственному и политическому развитию Англии, Лунин называет католичество, «которое всюду было источником конституционных принципов» и обеспечило «национальные свободы». (Судя по всему, имеется в виду период «реставрации Стюартов», которая прошла под знаком католицизма, а под национальными свободами, скорее всего, подразумевается Habeas Corpus Act.) Он особо подчеркивает, что «в Англии конституция сложилась много раньше 16-го столетия, в лоне католической церкви. Когда Великобритания от нее отделилась, все три власти были независимы, фиска и армия зависели от согласия общин и лордов и т.д. и конституционная монархия уже существовала... Протестантская революция в пользу республики потерпела поражение». Для Лунина протестантизм исключает демократический путь развития («Он потерпел неудачу в республиканских странах»). Республика в Англии не установилась именно потому, что революция носила протестантский характер и уже в силу этого не могла принести позитивных результатов. Конституционная монархия существовала до революции и вскоре была снова восстановлена. Из этого следует, что политические институты, сформированные «в лоне католической церкви», оказываются прочнее протестантских нововведений.

«Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы...»

Анализируя польское восстание 1830–1831 годов, Лунин осуждает поляков за незаконное сопротивление незаконным действиям властей и в качестве прецедента ссылается на опыт Англии. По его мнению, поляки должны были относиться к своей конституции так же, как англичане — к Великой хартии: «Великой хартии присягали и подтверждали ее 35 раз, и, несмотря на это, она была попраана Тюдорами. Однако и в ту политически незрелую эпоху англичане, чтобы защитить ее, не взялись за оружие. Они оценили важность самих форм свободного правления, даже лишенных того духа, который должен их одушевлять; они вынесли гонения, несправедливости, оскорбления со стороны власти, лишь бы сохранить эти формы и дать им время укорениться».

Опыт Великобритании подсказывал мысль о возможной перспективе русско-польских государственных отношений. Не будучи сторонником ни самостоятельного существования Польши как государства, ни ее растворения в составе самодержавной империи, Лунин считает наиболее приемлемой моделью те отношения, которые связывают Англию и Шотландию. «Может ли Польша пользоваться благами политического существования, сообразными с ее нуждами вне зависимости от России? — Не более чем Шотландия или Ирландия вне зависимости от Англии».

Свое пребывание в Сибири М.С. Лунин расценивает не как катастрофу или печальное следствие политических заблуждений, а как результат сознательного выбора. Свои «Записные книжки» (в оригинале «Exegèses») он открывает латинской фразой: «Я возлюбил справедливость и возненавидел несправедливость, поэтому я в изгнании». Источник не указан, однако он легко устанавливается. Это слова папы Григория VII, потерпевшего поражение в борьбе с императором Генрихом IV.

«Ключевым словом христианина, — пишет Анри де Любак, — должно быть не „бегство“, но „сотрудничество“. Христианин призван, трудясь вместе с Богом и людьми, участвовать в осуществлении дела Божия в мире и человечестве. Цель для всех одна, и, лишь стремясь к ней, не проигрывая в одиночку собственную эгоистическую партию, он может приобщиться к окончательному торжеству. Найти свое место в общем спасении: *in redemptione communi* (в общем искуплении)». Эти слова способны стать ключом к лунинскому пониманию соотношения религии и политики. Свой долг христианина он видит в отстаивании принципов законности и порядка в политической и общественной жизни. Вовсе не считая себя при этом одиноким борцом с общественной несправедливостью, хотя в реальных условиях его сибирского заточения именно так оно и было. Вопреки вынужденной изоляции он рассматривает свою миссию как часть общего дела. Руководствуясь высокими примерами Церкви в лице ее святых, Лунин строит свою личность по канонам католической святости. Любимым его чтением в Сибири становится «Acta sanctorum» («Жития святых») — многотомное издание болландистов, растянувшееся на несколько веков. «Мы заблуждаемся, — заносит он в «Записную книжку», — когда отвергаем пример святых, считая его для нас непосильным. Илия был такой же

человек, как мы, подверженный тем же страстям, говорит апостол Иаков. Илия был человек, подобный нам (Посл. Иак. V. 17)».

В то же время как политик Лунин воодушевляется примерами античных героев, подвергшихся тяжелому наказанию, но не павших духом. И делает выписки из сочинений античных авторов о тех, кто даже в изгнании продолжал служить своему отечеству. Правда, следуя их примеру, он делает различие между материализмом язычников и духовными устремлениями христианина: «Последним желанием Фемистокла в изгнании было, чтоб перенесли остатки его в отечество и предали родной земле; последнее желание мое в пустынях Сибирских — чтоб мысли мои, по мере истины в них заключающейся, распространялись и развивались в уме соотечественников».

Политическая борьба и католицизм сливаются для него в конечном итоге в идеале мученичества, которым, по замыслу, должен был завершиться его жизненный путь. М.С. Лунин сознательно шел навстречу уготованной ему гибели. В ночь с 26 на 27 марта 1841 года он был арестован и отправлен в одну из самых страшных тюрем империи — Акатуй. Ему давно уже стали чужды заботы сегодняшнего дня, которыми жило большинство его товарищей. Чем более суровые требования предъявлял к себе Лунин, тем выше становилась стена непонимания, отделяющая его от вчерашних единомышленников. Идея мученичества, последовательно воплощаемая им в жизнь, встретила не меньше толков среди его товарищей по заключению, чем его католицизм.

И.И. Пущин писал И.Д. Якушкину 30 мая 1841 года: «Лунин сам желал быть martyr (мучеником), следовательно, он должен быть доволен. Я и не позволяю себе горевать за него. Но вопрос в том, какая из этого польза и чем виноваты посторонние лица, которых теперь будут таскать?» Слово «мученик», написанное по-французски, выделяется как «чужое слово», взятое автором из лунинского лексикона и указывающее на дистанцированное отношение к нему Пущина. Якушкин отвечал более резко: «Он хотел быть мучеником; но чтобы мочь и хотеть им сделаться, нужно было бы прежде всего быть способным на это. По хорошо известным причинам этого никогда не будет у Лунина. Государственный преступник в 50 лет позволяет себе выходки, подобные тем, которые он позволял себе в 1800 году, будучи кавалергардом; конечно, это снова делается из тщеславия и для того, чтобы заставить говорить о себе». С такой оценкой не согласился князь С.П. Трубецкой: «Тщеславие не может заставить человека желать окончить свой век в тюрьме, тогда как религиозные понятия могут возбудить желание мученичества. И я полагаю, что в Луине было что-нибудь подобное».

М.С. Лунин и его оппоненты живут в различных измерениях, и у каждой стороны своя правда. Легко понять беспокойство Пущина за «посторонних лиц». Однако для Лунина, являющего собой высокий образец религиозного и гражданского служения, жизнь меряется другими критериями. Он живет в согласии с собственным пониманием свободы и сча-

«Для меня открыта только одна карьера — карьера свободы...»

ства, которые имеют для него абсолютный смысл, не связанный с ситуационной реальностью. Свобода соединяет человека с обществом, она внутренне присуща общественному развитию, так как, в терминологии Лунина, является «органической идеей» и в силу этого рано или поздно одержит неизбежную победу над деспотизмом. Свободным можно быть только в свободном обществе. Религиозным коррелятом свободы является счастье. Оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Поэтому счастливым можно быть везде. Более того, в условиях физической несвободы (заключения, ссылки) ощущение счастья даже возрастает, так как ограничение общественных отношений усиливает связь человека с Богом — то единственное, что способно дать человеку счастье. Эта проблема становится одной из центральных в сибирских сочинениях Лунина. «Удивительное дело, — пишет он сестре, — как постепенно приходит счастье! чем ближе конец моего пути, тем более попутен мне ветер... Истинное счастье — в познании любви к бесконечной истине».

Поскольку высшая Истина неподвластна ограниченному рассудку человека, он познает ее через относительные истины, в которых она проявляется. «Положительные истины превышают человеческий разум. Мы постигаем их только отчасти, видим гадательно, как сквозь тусклое стекло (1 Кор., 13: 12). Впрочем, нужно только знать, есть ли они или нет. Для этого мы имеем свидетельства, которые суть относительные истины. Свидетельства ведут к... распознаванию истинной церкви». При этом относительные истины даже при видимом противоречии друг другу не перестают быть свидетельствами истины абсолютной. Главное заблуждение протестантов «не в том, что они следуют чему-то ложному, а в том, что следуют одной истине, отвергая другую». Одним из примеров противоположных истин, приводимых Луниным, является следующее умозаключение: «Католическая церковь непогрешима — люди, к ней принадлежащие, грешны. Эти истины противоположны, но друг друга не исключают».

Истина и счастье не даются человеку в готовом виде, но могут быть обретены везде, где совершается необходимая внутренняя работа и где человек руководствуется высокими примерами церковной истории. В борьбе с собственными страстями, в очищении души от всего земного Лунин выковывал свою личность. И чем тяжелее становились внешние условия, тем ошутимее становились результаты: «Тело мое страждет в Сибири от холода и лишений, но дух, освободившийся от сих жалких пут, странствует по равнинам вифлеемским, делит с пастухами их бдение и вместе с волхвами вопрошает звезды. Всюду нахожу я истину и всюду — счастье».

Политические идеи М.С. Лунина освящались его религиозностью, а вера получала оправдание его политической деятельностью. При этом он никогда не связывал будущее благополучие России с распространением католицизма. Это привело бы к построению очередной религиозно-философской утопии. Между тем сознание Лунина глубоко реалистично. Осуждая зависимость религии от политики, он в то же время не стремится к установлению и обратной зависимости, что делает его мысль свободной

и необычайно гибкой. Поиск истины для него важнее построения законченной идеологической схемы. Это рельефно выделяет лунинские идеи на фоне современных им религиозно-философских и социально-политических систем.

Четыре года длилось акатуйское заключение. Редкие письма, которые Лунину удавалось пересылать Волконским, свидетельствуют о том, что душевная бодрость и работоспособность его не покидали. В одном из писем к Марии Волконской он пишет о своей прекрасной физической форме: «Здоровье мое находится в великолепном состоянии, и силы мои вместо того, чтобы убывать, кажется, увеличиваются. Я поднимаю без усилия девять пудов одной рукой». Поэтому последовавшая вскоре смерть немолодого, но полного жизненных сил человека наводила современников и потомков на мысль о ее насильственном характере.

МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФОНВИЗИН

«Рабство есть главное
условие несовершенства
нашего общественного
состава...»

По биографии Михаила Александровича Фонвизина (1788–1854) можно не только изучать основные вехи российской истории конца XVIII — первой четверти XIX века, но и проследить генетическую связь «удивительного поколения» (А.И. Герцен) с его непосредственными предшественниками. Родной дядя Михаила Александровича, знаменитый драматург и политический деятель Денис Иванович Фонвизин, оставил после себя замечательный памятник раннего российского либерализма «Рассуждение о неперемennых государственных законах» — один из первых в истории России конституционных проектов. Этот документ после смерти автора перешел к его младшему брату Александру Ивановичу, а уже от него — к его сыну-декабристу. Благодаря Михаилу Фонвизину он получит распространение среди членов тайных обществ. Никита Муравьев, переработав «Рассуждения» в соответствии с новыми политическими условиями, делает их одним из важнейших агитационных произведений декабризма.

Образование Михаила Александровича было типичным для дворянской интеллектуальной среды, из которой он происходил: сначала домашнее обучение, затем учеба в немецком Училище св. Петра в Петербурге, затем — в пансионе при Московском университете и, наконец, свободное посещение университетских лекций. С 1805 года, т.е. с начала кампании против Франции, Фонвизин — участник всех военных походов, включая и Русско-шведскую войну 1808–1809 годов. В перерывах между сражениями будущий молодой офицер прилежно и много читает. Среди любимых авторов — Монтескье, Рейналь и Руссо; позже, на следствии, он заявит, что именно у них заимствовал «свободный образ мыслей». Пройдя через все сражения, побывав во французском плену, куда он попал за месяц до окончания войны, Фонвизин вернулся на родину в чине полковника и в должности командира егерского полка. Отечественная война 1812-го и заграничные походы 1813–1814 годов придали его взглядам освободительную направленность.

1816 год открыл декабристскую страницу в биографии М.А. Фонвизина. Штабс-капитан его полка и член Союза спасения И.Д. Якушкин принял его в недавно созданное тайное общество. Через всю жизнь, включая два-

дцать семь лет заключения, каторги и ссылки, Фонвизин пронесет чувство благодарности Якушкину. Спустя много лет, досрочно покидая Сибирь, он поклонится в ноги своему старинному другу — за то, что когда-то тот «принял его в тайный союз». Как выяснится на следствии — и Фонвизин это сам подтвердит, — он был «в числе деятельнейших членов тайного общества». Его фамилию следователи поместят на первое место в списке членов Коренного совета Союза благоденствия.

О специфике фонвизинского декабризма следует сказать несколько слов. В отечественной историографии много десятилетий велась бесплодная полемика о том, либералами или революционерами были декабристы. Теперь она потеряла актуальность. С современной точки зрения, в декабризме выделяются два направления. Одно ориентировано на заговор и захват власти, другое — на широкую филантропическую деятельность и организацию общественного давления на правительство. Впрочем, при необходимости и «филантропы» могли согласиться на насильственные меры по отстранению самодержца от власти, но они никогда не считали их ни главными, ни определяющими в своей практике. Фонвизин, для которого тайная история России XVIII века, с ее дворцовыми переворотами и политической изнанкой, составляла часть семейных преданий, негативно относился к любому насилию. В 1817 году он остужал пыл своего друга Якушкина, готового убить императора и себя вместе с ним. И позже он высказывался против царубийства: «Ни в каком случае цель не освящает средства». Мечтая о конституционном строе и уничтожении рабства в России, Фонвизин принадлежал к тем, наиболее активным, членам Союза благоденствия, которые не желали ждать, пока революционный переворот осчастливит всех, и предпочитали оказывать реальную помощь конкретным людям. На их языке это называлось «практической филантропией». Они собирали средства и выкупали талантливых крепостных крестьян, учили солдат в казармах читать и писать, предавали гласности случаи судебного произвола, а некоторые из них, как, например, И.И. Пущин, шли в судейские и судили людей по совести и закону. Об их честности ходили легенды.

В декабристской историографии утвердилось ошибочное представление, будто в январе 1821 года на московском съезде Союза благоденствия (который, кстати, проходил в доме Фонвизина), Союз был распущен и вместо него образовались Южное и Северное общества. Новые общества действительно возникли (правда, Северным и Южным их назовут позднее), но не вместо Союза благоденствия, а параллельно с ним. На это время приходится одна из самых ярких акций в истории Союза и, пожалуй, в политической биографии Фонвизина. Неурожай 1820 года в ряде центральных губерний обернулся страшным голодом весной 1821-го. Крестьяне, по свидетельствам очевидцев, «ели сосновую кору и положительно умирали с голода». Власти, как всегда в подобных ситуациях, не могли ничего поделать. Тогда члены Союза благоденствия организовали сбор средств. Фонвизин, не добившись толка от московского генерал-

губернатора Д.В. Голицына, вместе с Якушкиным отправился в районы бедствия и через знакомых помещиков, среди которых также нашлись члены Союза, организовал реальную помощь пострадавшим. Характерно, что не факт голода, а помощь голодающим со стороны частных лиц вызвала обеспокоенность правительства. Министр внутренних дел В.П. Кочубей доносил царю: «Я слышал, что когда в Москве была открыта подписка для помощи крестьянам, то некоторые лица, вероятно с целью очернить правительство, пожелали пожертвовать большие суммы и подчеркнуть этим его мнимое участие». Александр I, уже получивший к тому времени донос на членов тайных обществ (имя Фонвизина упоминалось в нем едва ли не чаще других), сразу понял, чьих рук это дело. Размах филантропической деятельности пугал царя больше, чем угроза заговора: «Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства; в прошлом году, во время неурожая в Смоленской губернии, они кормили целые уезды». Известный генерал А.П. Ермолов, у которого Фонвизин во время войны служил адъютантом, назвав его «величайшим карбонарием», заметил о царе: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся».

В 1822 году Михаил Александрович, женившись на своей дальней родственнице Наталье Дмитриевне Апухтиной, вышел в отставку и поселился у себя в имении. Новое направление тайных обществ его не привлекало, хотя он по-прежнему продолжал считать себя членом Союза благоденствия. Осенью 1825-го возобновились его контакты с тайным обществом; он присутствовал на московском совещании, где обсуждалось намерение А.И. Якубовича убить царя. Фонвизин отнесся к этому замыслу резко негативно и, как показывал Н.М. Муравьев на следствии, готов был даже выдать его правительству, если бы поверил в его серьезность. Все московские декабристы с напряженным вниманием следили за событиями, вызванными кончиной Александра I. Когда восстание на Сенатской площади потерпело поражение и до Москвы дошли известия об этом, они еще на что-то рассчитывали, какое-то время им казалось, что не все потеряно. Как и многим членам тайных обществ, внезапная смерть царя представлялась Фонвизину благоприятным моментом для смены государственного строя, и это тревожное время они переживали вместе.

Его арестовали позже других. 30 декабря у следствия собралось достаточно доказательств о принадлежности Фонвизина к тайному обществу, но только 3 января было принято решение об аресте. Верховный уголовный суд так ничего и не смог инкриминировать обвиняемому, кроме того, что в его присутствии велись разговоры о цареубийстве, которое он никогда не одобрял. Но и этого оказалось достаточно, чтобы приговорить его к двенадцати годам каторги; позже срок сократили до восьми лет. Наталья Дмитриевна, оставив двоих детей матери, весной 1828 года приехала к мужу в Сибирь. По окончании каторги Фонвизины сначала были поселены в Енисейске, в 1835 году переведены в Красноярск и, наконец, в 1838-м

осели в Тобольске, где провели пятнадцать лет. Здесь жизнь супругов, претерпевших немало трудностей и испытаний, вошла в нормальное русло. К неугасаемому чувству, которое их связывало, добавились материальный достаток, семейный очаг и т.д. В этот период, наполненный напряженной интеллектуальной работой, Михаил Александрович сформировался как политический и социальный мыслитель, публицист и историк. В его сибирских произведениях отчетливо противопоставляются две смысловые парадигмы: политическая и социальная. В рамках каждой из них одни и те же вопросы нередко имеют различное решение; в первую очередь это касается основной для декабриста, как и для многих отечественных мыслителей, проблемы «Россия и Запад».

В кругу политических сочинений Фонвизина главное место занимает «Обозрение проявлений политической жизни России», написанное на рубеже 1840–1850-х годов: «Много обдумывал я события, которые здесь представил». По жанру это сложный сплав исторического исследования, публицистического трактата и мемуаров. Внешним толчком к созданию «Обозрения» послужила «Философская и политическая история России» французов Эно и Шеншо. В основу их произведения, не имеющего самостоятельного научного значения и написанного не знающими русского языка авторами, легла «История России» Левека и французский перевод «Истории государства Российского» Карамзина. Вероятно, оно оживило в памяти Фонвизина старые споры декабристов вокруг карамзинской концепции русской истории: не случайно практически все «Обозрение» посвящено полемике с запиской Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Главная идея записки, как известно, заключается в утверждении самодержавия как спасительной силы российской истории: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержавием». В «Истории государства Российского» и в цитируемой записке Карамзин исходит из того, что Древняя Русь со своими исторически сложившимися институтами «мудрого самодержавия» была вполне европейской страной и при этом отличалась большей самобытностью, чем вся послепетровская Россия — подражательная и мало похожая на европейское государство. Сохраняя в целом это противопоставление Древней Руси как европейского государства и новой России как идущей по ошибочному пути политического развития, Фонвизин насыщает его иным содержанием.

В политической истории России он выделяет три основных периода. Первый — домонгольский, когда «русские были на высшей степени гражданственности, нежели остальная Европа». Европейскому феодализму противопоставлена политическая и гражданская свобода России: «Общинные муниципальные учреждения и вольности были в древней России во всей силе, когда еще Западная Европа оставалась под гнетом феодализма». «Рабство политическое» и «рабство гражданское» возникли «постепенно и насильственно, вследствие несчастных обстоятельств». Под этими обстоятельствами подразумевается монголо-татарское наше-

«Рабство
есть главное
условие несо-
вершенства
нашего об-
щественного
состава...»

стве. Но и после нашествия в стране сохранялось относительно свободное политическое устройство: «Дух свободы живуч в народах, которых он когда-нибудь одушевлял, не вовсе замер он и в наших предках даже и под игом татар».

Второй период русской истории определен как аристократический; это «подтверждается формулой, которою начинались все правительственные акты того времени: бояре приговорили, и царь приказал». Если древнее вече являлось, по Фонвизину, выражением воли всего народа, то боярская дума и земские соборы выражали интересы в первую очередь боярства. Но вместе с тем «бытие в России государственного собора, или земской думы, имеет характер чисто европейский — никогда ничего подобного не бывало у народов Азии, оцепенелых в своей тысячелетней неподвижности». Итак, Россия сначала опережала Европу, потом, отстав из-за монголо-татарского ига в сфере просвещения, еще какое-то время оставалась европейской страной в плане государственного устройства.

Настоящий деспотизм распространяется в третий исторический период, открывающийся петровскими преобразованиями. Европеизация страны, проводимая Петром, по мнению автора «Обозрения», была лишена внутреннего содержания и направлялась лишь на увеличение материальной силы государства. «Дух законной свободы и гражданственности был ему, деспоту, чужд и даже противен». В этом отношении «Петр Великий едва ли не уступает отцу своему, который, по крайней мере, оставил России Уложение — кодекс, и по сию пору имеющий силу».

Всю русскую историю от Петра I до восстания декабристов Фонвизин рассматривает как борьбу правительственного деспотизма со стремлением установить конституционное правление. Поэтому ключевые моменты послепетровской истории таковы: попытки верховников ограничить власть Анны Иоанновны при ее вступлении на престол, конституционный проект Д.И. Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах», заговор против Павла I. События, связанные с «Рассуждением» Д.И. Фонвизина, его племянник излагает по семейным преданиям; в этом отношении его свидетельства приобретают характер исторического источника. Как своего рода попытка запоздалой реализации этого конституционного проекта излагается и убийство Павла I. В этом событии выделяются две линии. Одна связана с корыстными интересами дворянства, опасавшегося за свое личное положение, другая — с защитой интересов государства. Ее представляют организаторы заговора П.А. Пален и его идейный вдохновитель Н.П. Панин, племянник знаменитого Н.И. Панина. Им Фонвизин приписывает стремление ввести конституционное правление.

И наконец, наиболее подробно в «Обозрении» рассмотрены либеральные начинания Александра I. Автор высоко оценивает моральные качества царя: «Нельзя не удивляться, что Александр, воспитанный бабкою своею, Екатериною II, зараженной неверием энциклопедистов, и посреди сладострастного и равнодушного к вере двора, всю жизнь свою сохранил

религиозные убеждения и истинную набожность». Фонвизин не сомневается в его искренней приверженности к либеральным идеям своего времени и стремлении преобразовать «азиатскую деспотическую державу... в правильную европейскую монархию». Доказательство тому — серия политических мероприятий, начиная с деятельности «Негласного Комитета» и до Варшавской речи 1818 года, в которой царем декларировалось намерение «даровать благотворное конституционное правление всем народам, вверенным провидением моему попечению».

Изменения во внутренней политике объясняются изменениями в политике внешней. Считая, что начало войны России против наполеоновской Франции в 1805 году не являлось необходимостью и было вызвано «честолюбивыми желаниями военной славы» молодого Александра, Фонвизин вместе с тем показывает, что во внешней политике вплоть до 1815 года он руководствовался либеральными идеями. Ситуация изменилась с образованием Священного союза и с возрастающим влиянием на русского царя политической системы Меттерниха. (Автор «Обозрения» так характеризует австрийского канцлера: «Один из самых хитрых и глубоких политиков, но абсолютист и аристократ в душе, враг политического прогресса и свободы народов».) Постепенно это влияние стало сказываться и на внутренней политике Александра I. Этим объясняется расхождение (превратившееся в противостояние) членов тайных обществ и правительства в России.

Декабризм рассматривается в книге как прямое продолжение реформаторских намерений царя: «в первые годы царствования Александра I он, конечно, не задумался бы объявить себя главою Союза благоденствия». Под Союзом благоденствия Фонвизин понимает тайное общество, возникшее в 1817 году вместо Союза спасения и существовавшее до 1825 года. Об изменениях, произошедших после Московского съезда Союза благоденствия, говорится нарочито неопределенно, практически все сведено лишь к усилению конспирации: «Членам его предписано было поступать осторожнее в самой пропаганде, избегать всякой переписки по делам Союза, а ограничиваться одними устными сообщениями чрез путешествующих членов и вообще стараться покрывать существование Союза непроницаемою тайною». Восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге и 29 декабря — 3 января 1825–1826 годов на юге Фонвизин склонен объяснять ситуацией междуцарствия, нелюбовью военных к великому князю Николаю Павловичу, т.е. довольно случайными или субъективными обстоятельствами, не связанными с предшествующим движением. В этом, как и в оценке декабризма в целом, автор почти полностью солидарен с М.С. Луниным и Н.И. Тургеневым. Для изложения именно такой версии событий у него, как и у его товарищей, имелись серьезные причины. Главная — нежелание мириться с тем, что потомство будет судить о них по тенденциозному «Донесению Следственной комиссии», сделавшей все, чтобы представить декабристов заговорщиками, не имеющими корней в родной истории и стремящимися исключительно к царубийству.

«Рабство
есть главное
условие несо-
вершенства
нашего об-
щественного
состава...»

Опровергая эту точку зрения, Фонвизин, как Лунин и Тургенев, старается вписать декабризм в контекст русской истории и показать его связь с реформаторскими намерениями предыдущего царя. При этом он остается в рамках чисто политического решения проблемы свободы и соотношения России и Европы. Свобода для Фонвизина, как и в годы декабристского движения, ассоциируется в первую очередь с конституционным устройством государства, а Западная Европа — с нормальным путем политического развития. Политический же строй России признается аномальным, тяготеющим к восточному деспотизму. Этот взгляд малооригинален; более интересным представляется то, что вполне традиционные представления увязаны здесь с социальными вопросами, которым в декабристский период внимания практически не уделялось.

Почти все идеологи декабризма (пожалуй, за исключением одного Н.И. Тургенева) проекты социального переустройства России подчиняли проектам переустройства политического. В этом не следует усматривать какую-то ограниченность русских мыслителей и политиков александровской эпохи. Такого рода представления объясняются переходным характером революционного и постреволюционного периодов во всей Европе. Социальные последствия Французской революции XVIII века, в отличие от политических, сказались не сразу. Бурная эпоха Наполеоновских войн, тяжелый и во многом неясный период Реставрации, сопровождавшийся быстрой сменой политических курсов и программ, — все это замедляло установление стабильного порядка. Только Июльская революция 1830 года позволила увидеть новые социальные проблемы и поставить их в центр общественной мысли. Именно с этого времени социализм как идейное течение быстро распространяется по Западной Европе и начинает проникать в Россию. Живущий в Сибири декабрист не остался в стороне от этих новых веяний. Его изолированное положение, конечно, замедляло знакомство с новейшими социальными теориями, зато он был более свободен в их оценках и анализе.

В статье Фонвизина «О коммунизме и социализме» (1849–1851) дано иное, по сравнению с его же «Обозрением политической жизни в России», понимание проблемы «Россия — Запад». Если в политическом и гражданском отношении самодержавная и крепостническая Россия отстает от конституционной Европы, то в социальном плане у нее имеются определенные преимущества, объясняемые различием исторических путей России и Европы. В результате изучения современного ему устройства европейских государств и чтения социальной литературы Михаил Александрович приходит к выводу, что установление политических свобод само по себе не гарантирует ни справедливого внутреннего устройства, ни социальной стабильности. Его отношение к социалистическим и коммунистическим идеям двойственно. С одной стороны, он согласен с критикой современного буржуазного строя: «Нельзя не признать основательными упреки их, что везде общество находится не в нормальном состоянии, что интересы страждущего большинства во всех землях

принесены в жертву благосостоянию меньшего числа граждан, которые, по положению своему в обществе, богатству, образованности, если не по праву, то существенно составляют высшее сословие, участвующее в правительстве и имеющее решительное влияние на законодательную, исполнительную и судебную власти». С другой стороны, позитивная часть социалистического учения, направленная на преобразование общества, вызывает у него скепсис: «Это несбыточные мечты-утопии, которые не устоят перед судом здравой критики».

Эпиграфом к статье взяты слова В. Гюго: «Если вы хотите победить социализм, то лишите его смысла существования». Иными словами, Фонвизин, понимая гибельный путь социализма, предлагает не бороться с ним репрессивными мерами, а устранить его исторические причины. Питательную среду для распространения социалистических идей, представляющих главную угрозу социальному порядку, Фонвизин видит в европейском пролетариате: «Пролетарии — эти жалкие бездомники, по большей части почти без религии, без правил нравственности, почти одичавшие... ненавидя настоящий порядок общества, не обеспечивающий ни их настоящее, ни будущее, только и жаждут ниспровержения всего существующего, надеясь в социальном перевороте обрести улучшения своей бедственной участи». Генезис европейского пролетариата усматривается в феодализме, точнее, в истории развития феодальных городов, пользовавшихся относительной свободой и внутренним самоуправлением и предоставлявших убежище селянам от притеснения их со стороны феодальных сеньоров. Попадая в города, эти люди, лишенные собственности, становились городской чернью. В их среде и зарождался современный пролетариат.

В России феодализма не было, и сельское население, живущее общиной, всегда преобладало над городским. Следовательно, в России нет почвы для образования пролетариата. «Станный, однако, факт, может быть, многими и не замеченный — в России, государстве самодержавном и в котором в большом размере существует рабство, находится и главный элемент социалистических и коммунистических теорий (по пословице: *les extrêmes se touchent* [крайности сходятся, фр.] — это право общего владения землями четырех пятых всего населения России, т.е. всего земледельческого класса: факт чрезвычайно важный для прочности будущего благосостояния нашего отечества».

Для Фонвизина община — способ избежать социалистических преобразований. Подобно тому как прививка содержит в себе гомеопатические дозы того вируса, от которого ее делают, община «защищает» организм русского народа от заражения его коммунистическими идеями. То, что на Западе социалисты пытаются создать искусственным путем, в России существует в естественном, историческом виде. Таким образом, если главная проблема Европы заключается в том, чтобы избежать социалистической революции, главная проблема социального переустройства России по-прежнему заключается в отмене крепостного права.

«Рабство
есть главное
условие несо-
вершенства
нашего об-
щественного
состава...»

Происхождение крепостного права Фонвизин, вслед за профессором Дерптского университета И.Ф.Г. Эверсом, относит к эпохе монголо-татарского нашествия: «Крепостное состояние земледельцев в России есть одно из тех мрачных нравственных пятен, которые наложены на наше отечество в бедственную эпоху монгольского владычества». Это ошибочное положение привело и к тенденциозному истолкованию законодательства Московской Руси (Судебники 1497 и 1550 годов) как направленного на облегчение участи крестьян путем предоставления им права свободного перехода в Юрьев день от одного помещика к другому. В действительности же речь шла не о раскрепощении, а о закрепощении крестьян. Однако для Фонвизина, считавшего, что крепостное право может и должно быть отменено только сверху, важно найти прецеденты в родной истории. Утверждая, что «крестьяне окончательно прикреплены к земле» в царствование первых Романовых — Михаила и Алексея, — он объясняет это не только действиями правительства, но и «тем апатическим равнодушием, до которого доведен был народ продолжительным рабством под игом татар».

Полагая, что «рабство есть главное условие несовершенства нашего общественного состава», Фонвизин разрабатывает программу отмены крепостного права, явно рассчитанную на правительство Николая I. Судя по всему, со времен, предшествующих декабристскому восстанию, в его взглядах на проблему освобождения крестьян произошли существенные изменения. Большинство идеологов декабризма видели решение крестьянского вопроса в чисто политической плоскости. По их мнению, достаточно объявить крестьян свободными, чтобы сами собой установились справедливые социальные отношения и Россия превратилась в развитую экономическую страну. Отсюда проекты и попытки безземельного освобождения крестьян Н.М. Муравьева, Н.И. Тургенева, И.Д. Якушкина. Пожалуй, один только Пестель понимал, что решение крестьянского вопроса лежит как в политической, так и в социальной сфере.

Освобождению крестьян, считает Фонвизин, должны предшествовать социальные преобразования в деревне, проведенные правительством. Понимая, что освобождение крестьян с землей может задеть имущественные интересы дворянства, он предлагает ряд мер, способных, по его мнению, компенсировать дворянству материальные потери, а также обеспечить «сохранение его политического значения». Правительству следует, в продолжение известного времени, «скупить по вольной цене всех находящихся в дворянском владении крестьян и дворовых людей с землями, на которых они поселены». Гарантией того, что освобождение крестьян не приведет к массовой пауперизации, служит общинное землевладение. «Упрочится навсегда благосостояние многочисленного класса земледельцев уравнением купленных крестьян с государственными, имеющими в России общественное право владения землями, принадлежащими не частным лицам, а государству: важное, существенное преимущество нашего отечества пред другими европейскими народами, изнемогающими под бременем многолюдного класса бездомников (prolétaires)».

В общине бывший декабрист видел средство избежать революционных потрясений и тем самым продемонстрировать миру особый русский (и, шире, — славянский) путь развития. Полемизируя с Гегелем, отказавшимся, как известно, признать за славянскими народами право считаться историческими, т.е. участвующими в мировом историческом движении, Фонвизин, как ему казалось, нашел для них *raison d'être* в общинном устройстве. Отсюда его идея панславизма: «Может быть, так называемый панславизм, о котором с таким пренебрежением отзываются немцы и французы, не есть порождение фантазии и не пустая мечта, как многие из них утверждают». Однако при этом он не только избежал крайностей славянофилов, но и вступил с ними в полемику. В статье «О подражании русских европейцам», написанной не ранее 1852 года, Фонвизин обратил внимание на то, что либерализация политического режима в России всегда сопровождалась ориентацией правительства на Европу: «Из русских государей Екатерина II и Александр I более всех дорожили мнением Европы и увлекались духом подражания, и зато сколько полезных и блистательных явлений ознаменовали эти два царствования, сколько славного совершилось в них!» Этому противопоставляется николаевское царствование с его «официальной народностью» и критическим отношением к европеизму. Не отделяя славянофилов от теоретиков «официальной народности», автор статьи, в качестве курьеза, показал немецкие истоки их доктрины: «Это есть запоздалое заимствование — подражание немцам, которые в эпоху освобождения Германии от ига Наполеонова с таким жаром толковали о своей народности (*Volkstum*), в стихах и в прозе выхваляли феодальный быт средних веков, проклинали влияние Франции на Германию и страсть немцев, особенно прирейнских, подражать французам. Стало быть, те, которые восстают против подражания иностранному, сами увлекаются духом его, невольно подражая примеру немцев».

Россия, по мнению Фонвизина, достаточно самобытная страна, чтобы пострадать от подражания европейцам. Сам процесс подражания, свойственный юношескому возрасту, как отдельного человека, так и национальных культур в целом, является необходимым историческим этапом. И в этом смысле Петр I принес «России более пользы, нежели вреда». Дальнейшая европеизация русской монархии должна неизбежно привести к отмене крепостного права.

Таким образом, выстраивается сложная система политико-социальных отношений России и Европы. В политическом плане у России нет иного пути, чем у Западной Европы, и на этом пути она явно отстает от конституционных режимов Запада. В социальной же сфере у России свой особый путь, обладающий потенциальными преимуществами перед Западом. Это община, сохранение которой в перспективе позволит избежать как появления пролетариата, так и распространения социализма и коммунизма.

В сочинениях Фонвизина выделяется еще один очень важный для него пласт религиозных идей. Религии отводится значительная роль в социаль-

«Рабство
есть главное
условие несо-
вершенства
нашего об-
щественного
состава...»

ном переустройстве общества. Христианская церковь, особенно первых веков ее существования, по Фонвизину, являлась своего рода социалистической общиной — «святым коммунизмом». В этом смысле христианизация европейской жизни могла сыграть роль той же прививки, что и община — против «заражения» общества социалистическими утопиями. Однако мыслитель прекрасно понимает невозможность повсеместного распространения «святого коммунизма», на который «способны только избранные, облагодатствованные души или отрешившиеся от мира отшельники, заключавшиеся от мира в монастырских стенах, а не целый народ». Чтобы показать различие между «христианином иерусалимской церкви» и «нынешним коммунистом», Фонвизин приводит остроумное замечание одного архиерея: «Первый говорил брату: все мое — твое, а коммунист: все твое — мое». Однако надежд на то, что современная церковь способна совершить христианский переворот, нет: «У нас перед глазами не пастырь, а волк в пастырской одежде». Ограниченности существующих конфессий, будь то католичество или православие, их неспособности удовлетворять духовные потребности людей Фонвизин противопоставлял мистическую идею «высшей, невидимой, внутренней церкви, состоящей в прямом общении с церковью небесной». В этом отношении он надеялся на секты с их ограниченным кругом приверженцев и высокими нравственными требованиями: «И в наше время существует благоустроенный коммунизм в известном религиозном обществе моравских братьев, или генгуторов, которых колонии находятся в разных странах старого и Нового света».

Католицизм и православие представляются Михаилу Александровичу двумя ошибочными путями. Впрочем, это касается не только религиозной сферы, но и вообще европейского и русского путей развития, взятых в их целостности. Прогрессивный в политическом отношении Запад испытает серьезные трудности в социальной сфере. Отсталая в политическом развитии Россия имеет условия для будущего нормального социального развития. Религия — это своего рода благотворный синтез социальной и политической сфер. Когда идеи социализма и коммунизма перестанут быть орудием политических махинаций, и сами политические системы исчезнут, и «не будет ни монархий неограниченных, ни конституционных и т.д., а царствовать будет один Бог: будет истинная теократия, которой прообразом была израильская и первенствующая церковь, — тогда церковь и человеческое общество будет одно».

Таким образом, идеал Фонвизин видит не в политических или социальных преобразованиях самих по себе, а в их соотносительности с распространением «духа Христова». «Царствие Божие настало в некоторых душах, а не мире, а оно должно настать по обетованию, — и мы, по завету самого Спасителя, должны молиться: да придет оно как на небеси, так и на земли».

В отличие от М.С. Лунина, который своими сибирскими сочинениями лишь дразнил правительство, или Н.И. Тургенева, который стремился оправдаться, Фонвизину важнее было нащупать точки соприкосновения

между собственными взглядами и политикой Николая I. С момента поселения в Тобольске он не терял надежды на возвращение в Европейскую Россию и готов был даже отправиться на Кавказ. Однако, несмотря на многочисленные обращения его родственников к царю и даже покровительство тобольского генерал-губернатора П.Д. Горчакова, в его положении никаких изменений не происходило. Только в 1853 году разрешено было ему вернуться домой и жить под надзором в поместье Марьино. Возвращение на родину оказалось безрадостным. К этому времени умерли оба сына Фонвизиных, оставшиеся в России на воспитании брата Ивана Александровича. Сам приезд в Москву омрачился смертью брата, который фактически выхлопотал ссыльному декабристу Высочайшее прощение. В Марьине Михаилу Александровичу было суждено прожить всего одиннадцать месяцев. Он скончался 30 апреля 1854 года.

ИВАН
ДМИТРИЕВИЧ
ЯКУШКИН

«Развернуть в человеке
способность мышления,
а значит, и политического
самосознания...»

Ключом к постижению облика декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина (1793–1857) как нельзя лучше служит короткая пушкинская характеристика:

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...

Но «кинжал» — лишь одна грань его политической позиции. Другой современник — В.А. Жуковский — с присущим ему широким просветительским взглядом, окрашенным религиозным мирозерцанием, дал более усложненную характеристику: «Я читал письма Якушкина к жене и детям из Ялуторовска, и читал их с умилением, и спрашивал себя: этот заблужденный Якушкин, который когда-то произвольно вызвался на убийство и который теперь так христиански победил судьбу земную, дошел ли бы он до этого величия другой дорогою?»

И.Д. Якушкин родился в 1793 году и происходил из старинного польского рода. Его мать, Прасковья Филагриевна (в девичестве Станкевич), умерла вскоре после рождения сына. Рано скончался и отец — Дмитрий Андреевич Якушкин. В раннем детстве Иван воспитывался дома, а с 1808 года — в пансионе профессора Московского университета А.Ф. Мерзлякова. В том же году он был зачислен в число студентов Московского университета на словесный факультет, где слушал лекции по теории словесности Мерзлякова и по международному праву — Л.А. Цветаева. Сохранились его записи цветаевских лекций о правах знатнейших древних и новых народов.

Сведения о студенческой жизни Якушкина скудны. Из формулярного списка узнаем: «По-русски и по-французски читать и писать умеет, географии, математике и истории знает». Достоверно известно, что в университете он был знаком и даже дружен с А.С. Грибоедовым (М.В. Нечкина предположила, что именно Якушкин послужил прототипом Чацкого в комедии «Горе от ума»).

В самом конце 1811 года молодой человек поступил подпрапорщиком в лейб-гвардии гусарский Семеновский полк. Оценивая события, с которых и начинаются его знаменитые «Записки», Якушкин прежде всего считает нужным подчеркнуть, что «война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении».

О жизни в армии свидетельствует его «Дневник», вернее, отрывки из него, сохранившиеся в семейном архиве. Первые фрагменты относятся к начатому 9 марта 1812 года походу Семеновского полка к западной границе, навстречу уже надвигавшейся армии Наполеона. Упомянуты товарищи по походу: М.И. Муравьев-Апостол, братья Михаил и Петр Чаадаевы, князя И.Д. Щербатов, С.П. Трубецкой... Это узкая дружеская группа, члены которой, проникнутые молодым критицизмом, сыграют немалую роль в истории России.

Иван Дмитриевич участвует в сражениях при Бородине, Тарутине, Малоярославце, а в заграничном походе — при Люцене, под Кульмом и Лейпцигом. Вместе с полком он вступает в Париж. Посленаполеоновской Европе посвящены несколько документов, принадлежащих перу Якушкина. Обращает на себя внимание «План статьи о Французской революции и Наполеоне», датированный августом 1814 года. Набросок сделан по живым следам отшумевших военных и политических событий. Сопоставляя его со свидетельствами о тех же событиях в «Записках», можно зафиксировать важные вехи в становлении политических взглядов их автора.

Иллюзии, которые питали офицеры-победители относительно императора Александра, покорившего Париж, рассеялись в прах в родном отечестве. Живописный эпизод запечатлен на страницах «Записок»: «Наконец показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались; но в самую эту минуту почти перед его лошадию перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки... Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было первое во мне разочарование на его счет».

Наблюдения европейских форм жизни, резкий контраст с заскорузлыми российскими порядками уже тогда выработали у Якушкина оппозиционные настроения. Какого рода были эти настроения, можно судить по «Плану статьи о Французской революции». Молодой автор настроен в пользу легитимизма; он — сторонник монархии, но монархии, ограниченной конституцией; он порицает «тиранию» якобинцев и узурпацию власти Наполеоном. Однако совершенно явственно выступают требование отменить крепостное право — «главную язву» отечества — и внимание к конституционным проектам революционной и послереволюционной

Франции (некоторые из них послужили впоследствии прототипами декабристских конституций).

К 1815 году в Семеновском полку, где служил Якушкин, сложилось своеобразное офицерское сообщество — «артель». Подобные объединения («Священная артель» офицеров Генерального штаба, «Орден русских рыцарей» М.А. Дмитриева-Мамонова и М.Ф. Орлова, Кишиневский кружок В. Раевского и др.) постепенно превратились в предекабристские организации и положили начало созданию тайных обществ в русской армии. «Офицерская артель Семеновского полка» объединяла друзей-единомышленников: самого Якушкина, братьев Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов, С.П. Трубецкого, И.Д. Щербатова. Они серьезно обсуждали политические события, внимательно читали и анализировали иностранные газеты, что выделяло их из обычных дружеских собраний офицеров. Вскоре, однако, последовал царский запрет, и «офицерская артель» прекратила свое существование.

Якушкин перешел в 37-й егерский полк, которым командовал полковник М.А. Фонвизин, племянник знаменитого писателя Дениса Фонвизина — соавтора (вместе с Никитой Паниным) первой русской Конституции. Михаил Фонвизин был известен в армии как отличный офицер. Позднее, возмущенный порядками в армии, он вышел в отставку в чине генерал-майора. Вместе с Якушкиным участвовал в декабристских тайных организациях, а в Сибири продолжал глубоко уважать Якушкина и черпал мужество у этого незаурядного и стойкого человека.

Якушкин рассказывает в своих «Записках» об одном дружеском собрании (9 февраля 1816 года): «Трубецкой и я, мы были у братьев Муравьевых-Апостолов, Матвея и Сергея; к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением учредить тайное общество, целью которого стало бы составить „благо России в обширном смысле“». Учрежденное общество стало известно под именем Союза спасения; вскоре в него вошли адъютанты графа Витгенштейна Пестель и Бурцев. Павлу Пестелю и было поручено написать Устав общества. В нем следовало оговорить прежде всего два положения: все ключевые должности военной и гражданской службы по возможности замещаются членами тайного общества; если царствующий император не даст прав независимости своему народу, ни в коем случае не присягать его наследнику, не ограничив предварительно его самодержавие. Устав, несколько перегруженный масонской ритуалистикой, был готов к 1817 году, когда организация получила новое название — «Общество истинных и верных сынов Отечества».

Это время занимает особое место в становлении политических взглядов молодого Якушкина. В конце 1817 года царская семья отправляется в Москву. Еще в августе сюда начала прибывать гвардия, и в числе первых батальонов был начальник штаба генерала Розена — Александр Муравьев, учредитель Союза спасения.

В Москве оказалось большинство членов тайного общества. Их собрания становились все более многочисленными, разгорались жаркие споры.

Обычно друзья собирались у Михаила Фонвизина в его родовом доме или у Александра Муравьева в Хамовнических казармах. Для И.Д. Якушкина перекрестком судьбы стал все более энергично обсуждаемый вопрос о возможности царевубийства.

Координаты этого рокового сочетания — «Якушкин и царевубийство» — были как внешними, так и внутренними. Внешние определило письмо Сергея Трубецкого из Петербурга в Москву товарищам по тайному обществу. Он сообщал, что русский царь даровал Конституцию Польше вопреки несвободе, царящей в России. В разгоряченном воображении Трубецкого, страдающего за судьбу России, рисовались картины попрания прав его отечества, возможное отторжение исконно русских земель в пользу Польши, перенос столицы Империи из Петербурга — в Варшаву. Тогда-то участники тайных совещаний в Москве и решили, что «для предотвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра».

Нетерпение, желание приблизить развязку усугублялись гнетущей общественной атмосферой. Переход царизма к откровенной реакции во время «аракчеевщины», правительственное давление в духовной жизни, засилье иезуитов на самых высоких постах в государственном аппарате, военные поселения, лежащие тяжелым грузом на плечах и без того заданного крестьянства, — все это до крайности раздражало пылких заговорщиков. Среди нескольких энтузиастов, вызвавшихся исполнить акт царевубийства, сильнее других звучал голос Якушкина.

Разумеется, эта идея не была спонтанным порывом, душевным всплеском. Она носилась в воздухе и на более ранних этапах истории декабризма. В 1815 году возник проект Михаила Лунина: отрядом в масках встретить царя на Царскосельской дороге и напасть на него. Сам акт царевубийства не имел самодовлеющего значения — он лишь создавал ситуацию междоусобицы, дающего юридическое право на восстание, так как прерывалась присяга, данная монарху верноподданными.

Но и в 1817 году идея царевубийства не получила поддержки в декабристской среде. Отговорить Якушкина, однако, оказалось не так просто; М.А. Фонвизин употребил на это немало сил. Иван Дмитриевич заверял, что в его намерении нет безнравственного оттенка, что его план — не убийство, а поединок. «Я решился, — вспоминал он позже, — по прибытии Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь войдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих».

И все-таки реакция товарищей заставила Якушкина отказаться от своего замысла. К этому времени он вышел из тайного общества. Между тем история тайного революционного движения вступила в новую фазу. Созрело намерение распустить организацию, о которой стало известно царю, и через год создать новую — формально на легальных началах, а по существу содержащую «сокровенную» цель уничтожения самодер-

«Развернуть в человеке способность мышления, а значит, и политического самосознания...»

жавия и крепостничества. Такой организацией стал Союз благоденствия, во многом воспроизводивший устав и принципы деятельности «Тугендбунда» — Союза добродетели, созданного в Пруссии по инициативе прусского канцлера Штейна для сотрудничества с королевским правительством в период борьбы с Наполеоном. Русский Союз благоденствия, усвоив и обогатив просветительскую сторону «Тугендбунда», имел скрытую радикальную часть, предусматривающую государственный переворот «посредством действия войск». Однако перевороту должен был предшествовать двадцатилетний период подготовки общественного мнения России.

Устав Союза благоденствия — «Зеленую книгу» — Якушкин хорошо знал, но, вероятно, в «потаенную цель» организации, скрытую для рядовых членов, посвящен не был. От этого, по-видимому, и проистекал его общий скептицизм. Правда, отход от товарищей по тайному обществу оказался непродолжительным. В 1818 году Никита Муравьев познакомил его с Пестелем. Не устояв перед силой ума и убежденности признанного лидера тайного общества, Иван Дмитриевич дал согласие на новое вступление в общество. Он признавал, что Пестель «всегда говорил умно и упорно, защищал свое мнение, в истину которого он всегда верил, как обыкновенно верят в математическую истину... Один раз доказав себе, что тайное общество — верный способ для достижения желаемой цели, он с ним слил свое существование». Дальнейшая судьба Якушкина отныне прочно и навсегда слилась с деятельностью тайных организаций.

Выйдя в 1818 году в отставку, Иван Дмитриевич решил заняться одним из мучивших его вопросов — судьбой собственных крепостных крестьян. Он был небогатым дворянином, ему принадлежали всего 120 душ на разоренной наполеоновским нашествием Смоленщине. Еще в 1816-м он попытался освободить крестьян в своем имении Жуково Рославльского уезда. «В то время, — вспоминал он впоследствии, — я не очень понимал, как это можно устроить, ни того, что из этого выйдет; но, имея полное убеждение, что крепостное состояние — мерзость, я был проникнут чувством прямой моей обязанности освободить крестьян, от меня зависящих». В 1819 году, снова отправившись в имение с желанием облегчить участь своих крестьян, он уменьшил величину барской запашки и отменил ряд поборов.

Занявшись «крестьянским вопросом», Якушкин руководствовался в первую очередь этическими мотивами, полагая личную свободу человека естественным правом любого своего соотечественника. Но задумывался и об экономической эффективности, стараясь сделать труд крестьян рентабельным. Он выработал целую программу, которая оставалась одним из самых радикальных и последовательных вариантов решения крестьянского вопроса до появления развернутых программ Северного и Южного обществ декабристов.

На основе действующего Указа о вольных хлебопашцах 1803 года Якушкин предложил освободить крестьян, но, в отличие от царского указа, не за выкуп, а безвозмездно. Кроме того, он считал необходимым предоста-

вить им «их имущество, строение и землю, находящуюся под усадьбами, огородами и выгонами». Всю остальную землю помещик оставлял за собой, предлагая половину из нее обрабатывать вольнонаемным трудом, а другую — отдать в аренду своим же крестьянам. В проект входило и предложение крестьянской общине выкупать пахотную землю.

Переписка Якушкина с Министерством внутренних дел и самим министром О.П. Козодавлевым, личной встречи с которым он с большим трудом добился, не принесла никаких результатов. Да и собственные крестьяне не смогли понять добрых намерений барина. На их вопрос, чьей же будет земля в результате их освобождения, Иван Дмитриевич объяснял, что пашенная земля останется за ним. И крестьяне отвечали: «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы будем — ваши, а земля — наша». Однако натура Якушкина не могла примириться с существованием бесправия — вся его дальнейшая деятельность была направлена на разрушение крепостничества и борьбу за свободу.

В 1824–1825 годах И.Д. Якушкин, проживая попеременно в Москве и Жукове, всерьез увлекся философскими проблемами, собрав вокруг себя единомышленников. В этот «кружок метафизиков» входили И.А. Фонвизин, И.Д. Щербатов, П.Х. Граббе, Н.И. Тургенев, М.И. Муравьев-Апостол. Особые отношения сложились с П.Я. Чаадаевым, активная философская переписка с которым продолжалась многие годы.

Неожиданная смерть императора Александра в декабре 1825 года резко меняет обстановку. Вместе с М.А. Фонвизиным Якушкин замышляет поднять московское восстание в поддержку Петербургу. Между тем в Москву прибывает генерал-адъютант Комаровский с решительным приказом привести к присяге Москву в Успенском соборе Кремля. Иван Дмитриевич демонстративно отказывается присягать новому императору. 10 января 1826 года его берут под арест.

Следствие и суд над декабристами стали беспрецедентным политическим процессом в России. При почти полном отсутствии серьезных навыков конспирации, обремененные условностями дворянской чести и морали подследственные были беззащитны и доверчивы, чем безгранично пользовались высокопоставленные следователи во главе с императором Николаем. Лишь протоиерей Казанского собора П.Н. Мысловский, принимавший исповедь у заключенных, единственный из официального окружения обратился к «государственным преступникам» с искренним словом сочувствия и сострадания. Он растрогал даже неслегкаемого Пестеля, просившего «благословить его в последнюю дорогу». Якушкин доверился Мысловскому и вел через него переписку с родными; от него же он узнал об участии своих товарищей.

12 июля 1826 года Иван Дмитриевич наконец впервые увидел своих друзей в Верховном уголовном суде. Капитан Якушкин отнесен был к 1 разряду виновных и был сначала приговорен к смертной казни отсечением головы. Затем последовала замена смертной казни двадцатилетней каторгой и ссылкой на поселение. Позже срок каторги был сокращен

«Развернуть в человеке способность мышления, а значит, и политического самосознания...»

до пятнадцати лет. После объявления приговора Якушкина с товарищами подвергли гражданской казни — о его голову была сломана шпага. Он отправился в Финляндию, в крепость Роченсальм, а оттуда на остров Форт-Слава. В дороге, в 1827 году, был получен приказ о переводе его в Сибирь. В Ярославле, закованный в кандалы, Иван Дмитриевич увиделся последний раз с женой и своими малолетними сыновьями.

В Сибири Якушкина сначала встретил Читинский острог со всеми тяготами каторжной жизни. Потом — Петровский Завод; к 1830 году там закончилась постройка полуказарм, куда поместили сосланных декабристов. Заключенные зажили артелью: дружеская взаимная поддержка, душевное участие живущих рядом жен-декабристок, самоотверженно помогавших «государственным преступникам», позволяли переносить, казалось, невозможное.

Около двадцати изданий периодической печати получали ссыльные в Петровском Заводе — их общая библиотека насчитывала более шести тысяч книг. Страсть к занятиям особенно реализовалась на поселении, превратившись в действенное средство пропаганды и влияния на местное население. Члены артели прекрасно отдавали себе отчет, во имя чего они это делают: так создавалось «культурное основание» для будущего государственного преобразования России.

На поселение Якушкин попал в Ялуторовск Тобольской губернии, где прожил двадцать долгих лет. Именно там раскрылись новые грани уникального таланта этого человека.

И.Д. Якушкин приехал в Ялуторовск в 1836 году и застал ранее поселенных декабристов — бывших участников Южного общества В.К. Тизенгаузена и А.В. Ентальцева. Вскоре сюда перевели и старого товарища Якушкина Матвея Муравьева-Апостола. Через шесть лет к ним присоединились И.И. Пущин и князь Евгений Оболенский. Наконец, последним прибыл Н.В. Басаргин. «Нас здесь пятеро товарищей, — рассказывал Пущин Е.А. Энгельгардту, — живем мы ладно, толкуем откровенно, когда собираемся, что случается непременно два раза в неделю: в четверг — у нас, а в воскресенье — у Муравьева. Обедаем без больших прихотей вместе, потом или отправляемся ходить, или садимся за винт, чтобы доставить некоторое развлечение нашему старому товарищу Тизенгаузену, который и стар, и глух, и к тому же, может быть по необходимости, охотник посидеть за зеленым столом. Прочие дни проходят в занятиях всякого рода — умственных и механических... В итоге, может быть, окажется что-нибудь дельное: цель облегчает и освещает заточение и ссылку».

В семьях Ентальцева и Муравьева-Апостола бывали молодые учителя уездного училища, сами декабристы тоже посещали дома ялуторовских купцов, в особенности Н.Я. Балакшина: на его имя выписывали журналы, получали письма и деньги от родных. Но больше всего подружился декабристы со священником С.Я. Знаменским, выделявшимся из среды местного духовенства своими интеллектуальными запросами. Он и сыграл важную роль в создании ялуторовской школы.

Иван Дмитриевич жил замкнуто. С Ентальцевым и Муравьевым-Апостолом были их семьи, семья же Якушкина находилась за многие тысячи верст от него (лишь в 1850-х годах сыновья, потерявшие к тому времени мать, приехали к отцу в ссылку). С появлением в Ялutorовске священника Знаменского у декабриста окончательно сложился план организации народной школы с использованием «ланкастерского» метода обучения.

Возникла эта педагогическая система в противовес традиционной системе Песталоцци, требующей больших затрат и рассчитанной на небольшой круг учеников. Английские педагоги Ланкастер и Белль предложили массовый метод взаимного обучения. Он позволял быстрее, дешевле и успешнее вооружить начальной грамотностью широкие слои населения. При подготовке того или другого курса вся масса учащихся распределялась по степени подготовки на несколько «классов» во главе со «старшими» учениками, которые обучали свою группу под наблюдением руководителя школы.

В ялutorовский период Якушкин стал рассматривать «ланкастерскую систему» более широко. «Осмыслить человека, — писал он в своем плане, — развернуть в нем способность мышления, а значит, и политического самосознания». Школа открылась за церковной оградой храма; разрешение от тобольского архиерея получили быстро: у Знаменского имелись налаженные связи с губернским центром и достаточный авторитет в глазах губернского духовенства.

Формально школа должна была «приготавливать детей священников и церковнослужителей, проживающих в городе и окрестностях, к поступлению в семинарию». Такая формулировка имела целый ряд преимуществ: она придавала ялutorовской школе бесспорный легальный статус, обеспечивала ей возможность расширять свою программу и защищала ее от нападков со стороны Министерства народного просвещения. Труднее оказалось обеспечить материальную сторону: Духовная консистория и губернские власти не предусматривали финансирование церковно-приходских школ. «Городское общество» Ялutorовска также было далеко от желания материально поддержать новое дело.

Приходилось ориентироваться на добровольные пожертвования. Особенное внимание Якушкин обратил на купечество. Крупный откупщик и заводчик И.П. Медведев, либеральный купец Н.Я. Балакшин откликнулись на просьбы и внушения энтузиаста. Медведев не ограничился денежными пожертвованиями: он предоставил в распоряжение школы целое здание, расположенное на его стеклоделательном заводе в селении Коптюле. Здание разобрали, перевезли в Ялutorовск, поставив в ограде собора, и приспособили к учебным занятиям. Денежные сборы производились и за пределами города: школе оказывали поддержку декабристы тобольской колонии.

Сам Якушкин приступил к выполнению ответственной задачи — составлению настенных «ланкастерских таблиц» и «вопросов для старших». Знаменский переписал их для употребления в школе, Муравьев-Апостол

«Развернуть в человеке способность мышления, а значит, и политического самосознания...»

наклеивал их на картон, жена Ентальцева вязала шнурки и делала указки; польский повстанец Собаньский вытачивал вешалки. Одновременно Якушкин и Знаменский начали горячо пропагандировать свое начинание (и в городе, и в ближайших деревнях), чтобы обеспечить необходимое число учащихся.

К 7 августа 1842 года все приготовления завершились, и в этот день школа открылась для занятий. Сначала было шесть учеников и два преподавателя — сам Якушкин и законоучитель Знаменский. К концу года количество учащихся достигло сорока двух. Занятия происходили четыре раза в неделю по четыре часа ежедневно: два часа поутру и два — после обеда.

С этого времени, по рассказам ученицы Якушкина А.П. Сазанович, «все остальные занятия Ивана Дмитриевича отодвинулись на задний план». Он присутствовал на уроках, руководил работой «старших» учеников, систематически проверял знания и выступал в активной роли не только учителя, но и воспитателя. Школа помещалась в просторном одноэтажном здании с высокими и светлыми комнатами. Классное помещение оформили по ланкастерской системе: около стены на небольшом возвышении учительская кафедра; против нее, во всю длину комнаты — парты на несколько учеников каждая. Первые два ряда представляли собой неглубокие плоские ящики, засыпанные песком, снабженные палочками для писания и линейками для разравнивания песка; здесь сидели начинающие обучаться грамоте. Следующие два ряда имели аспидные доски с грифелями и губками для стирания; сюда садились более подготовленные. Последние ряды парт имели чернила и предназначались для «старших классов». Около стен располагались несколько железных полукругов, которые особыми крючками пристегивались к стенам петлями: сюда становились группы учащихся для устных занятий под руководством «старших». По стенам были развешаны таблицы, а венчал убранство самодельный глобус над кафедрой учителя.

В дни занятий классная комната наполнялась разновозрастными учениками, которых красочно описывает один из бывших воспитанников ялutorовской школы: «Каких только не было тут костюмов, начиная с франтовской курточки барича, сына губернского прокурора... до двух татарчонков с чисто выбритыми головами в своих национальных костюмах. Были два брата в казацких казакинах и босые; был тут и Васильев в разорванном халате и в сапогах с каблучками на манер бочоночков». Учились сыновья городских жителей, учились крестьянские дети из ближних и более отдаленных деревень. Бывали случаи, когда родители привозили сыновей из Кургана и даже из Тобольска.

Школа начала свою деятельность скромно: русская грамматика и латинский язык — для подготовки мальчиков к духовной семинарии. Постепенно Якушкин расширял программу: ввел арифметику, затем начатки геометрии, механику, географию и русскую историю, греческий язык, чистописание, черчение и рисование. Он настраивал учеников на получение естественно-научного образования и со временем ввел препода-

вание ботаники и зоологии. Объем сообщаемого материала не мог уложиться в два года, и Якушкин сделал курс четырехлетним. Все предметы преподавались по методу «взаимного обучения». Ланкастерская система соблюдалась неукоснительно.

Иван Дмитриевич очень внимательно относился к каждому. Он не ставил себя в положение сурового мэтра; во время перемен не уходил от учеников, старался отвечать на их вопросы, затевал игры во дворе. Его нравственный облик оказывал на детей глубочайшее влияние. По воспоминаниям очевидцев, «дети его, мало того любили, просто обожали и нисколько не боялись». Рассказывает его ученица О.Н. Балакшина: «Весной, летом и осенью после занятий шли в поле, и Якушкин рассказывал на примере жизнь природы, так как он был хорошим ботаником».

Сохранились собственноручные конспекты Ивана Дмитриевича по ботанике и зоологии. Это извлечения из его научных записок, приспособленные для преподавания. Якушкин пользовался своим гербарием, демонстрировал изображения различных животных, давая их систематическое описание, разбирая их анатомическое строение, выявляя деление на «отделы» и «порядки», «классы» и «семейства». В школьную программу входило рисование животных и растений. Полевые занятия, ставшие решительным отступлением от ланкастерской системы, вносили живую струю в непосредственную связь между учителем и учениками, раздвигали кругозор учащихся.

Ялуторовская школа резко контрастировала с порядками в уездных и городских училищах. Отсутствие телесных наказаний ставило ее в совершенно необычное положение. Якушкин пользовался исключительно методами нравственного воздействия. Только в самых крайних случаях прибегали к высшей форме наказания: на провинившегося надевали «лентя», сделанного из бумаги и лент. А выдвинувшийся вперед школьник украшался похвальным ярлыком. Такое сочетание талантливых педагогических приемов делало школу привлекательной и любимой. «Дети собирались в школу как на праздник, — рассказывала А.Н. Сазанович. — Мы учились шутя и нисколько не считали трудом нашу науку».

Вскоре слава о ялуторовской школе разнеслась по всей Тобольской губернии. Количество учеников неизменно возрастало: к концу 1845 года здесь училось уже 102 человека. За пятнадцать лет, с момента открытия и вплоть до отъезда Якушкина, в школе перебивало 594 мальчика. Ежегодно поступало от 25 до 60 человек, оканчивали курс от 15 до 55 учащихся. Население Ялуторовска гордилось своей школой, и популярность Якушкина быстро выросла в глазах сибирского населения.

Однако формально положение Якушкина оставалось неустойчивым и даже опасным. В гражданском отношении он был бесправен — «государственный преступник», лишенный прав и сосланный на поселение. Закон запрещал ему не только руководить школой, но и давать частные уроки отдельным ученикам. Приходилось прибегать к помощи С.Я. Знаменского, который официально считался заведующим ялуторовским учи-

«Развернуть в человеке способность мышления, а значит, и политического самосознания...»

лищем. Это положение породило затяжную борьбу с уездной и губернской администрацией. 2 ноября 1842 года И.И. Пущин, всегда поддерживавший Якушкина, писал ему из Тобольска: «Вы нам ничего не говорите о Ваших школьных делах, между тем Михаил Александрович (Фонвизин. — Н.М.) стороной узнал, что снова было нападение от Лукина (смотрителя уездного училища. — Н.М.) и что по этому акту губернатор писал городничему о запрещении Вашей учебной деятельности... Вывод из этого один: признавая в полной мере чистоту Ваших намерений, я, вместе с тем, убежден, что не иначе можно приводить их в действие, в нашем положении, как оставаясь за кулисами или заставляя молчать тем или другим способом тех, которые могут препятствовать. Во всяком случае легально нельзя доказать своего права быть Ланкастером в Сибири, и особенно когда педагоги уездные не задобрены рюмкой настойки».

Как раз в это время с ревизией в Западную Сибирь прибыл сенатор Н. Толстой, хорошо знакомый со многими декабристами, в том числе и с Якушкиным. Он оказал давление на тобольского губернатора, обеспечив Ивану Дмитриевичу временную «передышку». На унылом фоне сибирской жизни ялуторовская школа — «незаконное детище» сосланного декабриста — была отрадным явлением. В Ялуторовск началось истинное паломничество из разных уголков Тобольского края. Приезжали смотрители уездных училищ из Кургана, Ишима и Тобольска, командировались рядовые учителя для постижения ланкастерской системы. Даже директор местной гимназии, архиерей и губернатор Тобольска навестили школу. Впечатление оставалось неизменно благоприятным. В конце 1842 года смотритель Курганского уездного училища писал Знаменскому: «Господин директор, я от Вашей школы в восхищении, считаю ее образцовой не только в городе, но даже в Сибири... Радуюсь за Вас, радуюсь и тому, что дело правое торжествует и низкие доносы падают».

В мае 1846 года до И.Д. Якушкина дошло известие о смерти его жены Анастасии Васильевны Шереметевой. Под сильным впечатлением от этого события он решил, при поддержке С.Я. Знаменского, открыть новую, первую в Сибири женскую школу — в память о жене. Снова была развернута общественная пропаганда; декабристская артель приняла в кампании самое живое участие. Собрали деньги, и начались хлопоты перед тобольскими властями. С разрешения архиерея, под видом «духовного приходского училища для девиц всех сословий», женское учебное заведение заработало. Местная купчиха Мясникова дала большую сумму на постройку нового школьного здания. Сам Якушкин, руководствуясь своим четырехлетним опытом, разработал новую программу, снабдив ее дополнительными таблицами. К организации дела были привлечены женщины Ялуторовска — жена Матвея Ивановича Муравьева-Апостола и жена местного исправника Ф.Е. Выкрестюк.

Школа открылась 1 июля 1846 года: сначала в ней было только 25 учениц, но к 1850-му их стало уже 56. Сначала девочки обучались грамоте, затем проходили русскую грамматику, первую часть арифметики, краткий

катехизис, географию и историю. Ввели и новые специальные предметы — рукоделие и французский язык. Для оправдания титула духовного училища преподавали и «священную историю», и «изъяснение литургии». Женская школа обратила на себя внимание Министерства внутренних дел, которое под давлением многочисленных ходатайств сосланных декабристов, в особенности М.А. Фонвизина, вынуждено было признать «полезность ялуторовской женской школы» и «определить на ее содержание по 200 рублей серебром ежегодно из городских средств». Якушкин пробивал дорогу женскому образованию в далеком сибирском захолустье, когда еще и в столицах Российской империи не стоял вопрос о допуске женщин к высшему образованию. И.И. Пущин с гордостью писал другу-декабристу Матвею Муравьеву-Апостолу: «Иван Дмитриевич с ланкастерией во главе моих рассказов об Ялуторовске».

Тем не менее опасность для существования ялуторовской женской школы сохранялась, усугубившись с переводом в Ялуторовск нового смотрителя уездного училища Абрамова. Он занял крайне враждебную позицию и начал писать доносы. Насколько тревожное создалось тогда положение, показывает письмо, отправленное Якушкину священником Знаменским 12 октября 1850 года: «Любезный друг, Иван Дмитриевич! На прошлых неделях стало ясно о затруднительном положении насчет ялуторовских наших училищ, которые приказано закрыть... меня призвал к себе архиерей... отношение мое с консисторией самое невыгодное... Пожалуйста, не оскорбляйтесь этим письмом — говорить и мне больно и вам слышать тяжело... Мысленно обнимаю Вас, поклонитесь от меня всем. Прощайте, будьте здоровы; знакомые Ваши кланяются. Письмо это истребите». Якушкину самому пришлось отправиться в Тобольск; тамошние декабристы оказали ему самое энергичное содействие. Под их давлением директор тобольской гимназии Чигиринский перевел злобного Абрамова в Тюмень, заменив его более лояльным смотрителем.

Школы уцелели, но Якушкину строго-настрого запретили преподавать. К счастью, к этому моменту его детище уже достаточно окрепло. Усилиями Якушкина были подготовлены новые преподаватели: в мужском училище уроками руководил диакон Е.Ф. Седачев; в женском — только что окончившие курс ученицы: Августа Павловна Сазанович и старшая дочь купца Балакшина Анисья Николаевна. По свидетельству П.Н. Свистунова, за Якушкиным осталось заочное руководство школами, которое вполне обеспечивало успешное выполнение выработанного плана.

Однако наветы не прошли даром. В годы «николаевской реакции», после 1848 года, школа для мальчиков превратилась из серьезного образовательного центра в одногодичный подготовительный класс при уездном училище, что повлекло за собой немедленное сужение школьной программы. Детище декабриста не выдержало испытания судьбой. Подводя итог своей педагогической и просветительской деятельности, Иван Дмитриевич писал: «Несколько сот мальчиков из крестьян, мещан, солдатских детей, перебывавших в Ялуторовском духовном училище, читая сотни

«Развернуть в человеке способность мышления, а значит, и политического самосознания...»

таблиц и писавши ежедневно со слов старшего или наизусть то, что они перед тем читали, научились порядочно читать, писать и считать, сверх того, во время пребывания своего в училище они очевидно осмыслились; но для них было бы несравненно полезнее научиться читать и писать и осмыслиться по таблицам, содержащим основные принципы предмета им более близкого по их положению и состоянию. Тогда приобретенные ими знания не пришлось бы им впоследствии забыть, как большая часть учеников забывает русскую грамматику и другие предметы, им преподаваемые в низших учебных заведениях».

Манифест императора Александра II от 26 августа 1856 года освободил декабристов из ссылки. Иван Дмитриевич возвратился на родину без права проживания в столицах. Спустя некоторое время сын Якушкина с большим трудом выхлопотал ему разрешение поселиться в Москве. Но декабрист этого не дождался: 12 августа 1857 года он умер на чужих руках в имении Н.Н. Толстого Новинки Тверского уезда.

...Все, к чему прикасалась рука И.Д. Якушкина, было отмечено обаянием его цельной, благородной природы. «Читали ли Вы „Записки“ Ив.Дм. Якушкина? По краткости, ясности и правдивости — это лучшее из всех записок наших товарищей», — вспоминал М.А. Бестужев в 1869 году. А.И. Герцен считал эти «Записки» «шедевром» и неоднократно печатал фрагменты из них в своих лондонских изданиях.

ПЕТР
АНДРЕЕВИЧ
ВЯЗЕМСКИЙ

«Что есть любовь
к отечеству в нашем быту?
Ненависть настоящего
положения...»

«На политическом поприще, если бы оно открылось перед ним, он, без сомнения, был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом». Это суждение о Пушкине принадлежит одному из его ближайших друзей — Петру Андреевичу Вяземскому (1792–1878), человеку, обладавшему, по убеждению Гоголя, «всеми теми качествами, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем». Формула, выведенная Вяземским для Пушкина, в полной мере приложима к нему самому. По масштабу личности, сознанию сопричастности судьбам России, блеску и остроте ума он должен быть назван среди наиболее ярких фигур пушкинского круга последекабристских десятилетий. Собственно, в меньшей мере он принадлежал александровской эпохе. В его умонастроении с особой отчетливостью выявились общие истоки либерального консерватизма и декабризма: их генезис протекал в одной внутривнутриполитической ауре — правительственного либерализма.

Потомок старинного дворянского рода, князь П.А. Вяземский родился в Москве в декабре 1792 года. Его отец, Андрей Иванович Вяземский, принадлежал к верхам служилого дворянства: генерал-поручик, нижегородский и пензенский наместник, сенатор в Москве, он был человеком широких научных и литературных интересов. Мать — ирландка, урожденная О'Рейли. Петр Андреевич формировался в атмосфере французского Просвещения, в среде литераторов — постоянных посетителей родового подмосковного имения Остафьево, с его огромной библиотекой, содержащей богатейшее собрание сочинений французских просветителей. Особое место в жизни Вяземского принадлежало Н.М. Карамзину (женатому на внебрачной дочери А.И. Вяземского), который подолгу жил в Остафьево и в 1807 году стал его опекуном.

Первоначальное образование Вяземский получил в Петербургском иезуитском пансионе, затем в Пансионе Главного педагогического института в Петербурге (1805–1807). В дальнейшем он обучался дома, под руководством профессоров Московского университета. Был зачислен юнкером в Московскую межевую канцелярию и в 1811 году получил звание камер-юнкера. 25 июля 1812 года вступил в ополчение; участвовал в Бородинском

сражении, награжден орденом Станислава 4-й степени. Такова внешняя канва ранней биографии Вяземского. Ее духовную сторону приоткрывает общение с участниками «Дружеского литературного общества» — одного из первых просветительских объединений, созданного Андреем Тургеневым и вобравшего в себя возникшие ранее кружки воспитанников Московского благородного университетского пансиона и Московского университета. Но Вяземский, занимая независимую позицию, создает собственный литературный кружок. Его прямое продолжение он увидел в возникшем в 1815 году в Петербурге «Арзамасском братстве неизвестных людей» — элитной группировке молодых литераторов, в число которых входили Жуковский и Пушкин.

«Дней Александровых прекрасное начало» давало резвящемуся «Арзамасу», с его шутками и отрицанием авторитарности, широкий простор. Объектом острословия равно делались как предметы весьма будничные, бытовые, житейские, так и отнюдь не безобидные, приближающиеся к области политической. Именно такой характер приобретало их неотвязное осмеяние шишковского «Общества любителей российской словесности», олицетворявшего консервативное начало в литературной жизни 1810-х годов. В Вяземском, который сблизился через «Арзамас» с Пушкиным и до конца дней поэта оставался его ближайшим другом, эта подспудная политическая направленность нашла своего яркого выразителя. «Надобно действовать, но где и как? Наша российская жизнь есть смерть. Какая-то усыпительная мгла царствует в воздухе, и мы дышим ничтожеством». Эти слова из его письма 1816 года к Ал.И. Тургеневу отражали умонастроение передовой дворянской общественности.

Стремление Вяземского взорвать «усыпительную мглу», разбудить русское общество оказалось целиком созвучным умонастроениям участников ранних декабристских объединений — Н.И. Тургенева, М.Ф. Орлова и Н.М. Муравьева, вступивших в «братство» в 1817 году. Поэтому он горячо откликнулся на выдвинутый ими проект учредить при «Арзамасе» журнал. Подготовленные Вяземским программа журнала и «Записка в правительство» основаны на идее прогресса как неукротимого движения народов к просвещению и на убеждении в первенствующей роли верховной власти при осуществлении этого движения. Однако реализовать свою историческую миссию власть может лишь при опоре на общественные силы — их сплочению и должно служить будущее издание: «В сей журнал входили бы все виды правительства до облачения их в закон. Сей журнал был бы не только отголоском, но и указателем правительства. Он приучил бы умы к умеренному и полезному исследованию вопросов, возбуждающих участие каждого русского как современника европейских событий и гражданина России».

Следует обратить внимание, что Вяземский делает акцент не на самостоятельности общественных сил; его ставка — на правительственный либерализм, дающий толчок развитию творческого потенциала общества. Журнал создает общественную базу для реформистской деятельности

правительства. Но объективно эта программа смыкалась с установками Союза благоденствия: воздействовать всеми возможными легальными средствами на верховную власть в желаемом направлении. Поэтому отнюдь не случайно стремление Вяземского определиться на службу в канцелярию комиссара императора в Польшу Н.Н. Новосильцева. Польша, получившая в 1815 году из рук Александра I Конституцию, воспринималась им как полигон для реализации своих либеральных устремлений. «Я бежал в Польшу от России... Здесь надеялся я иметь надлежащие средства действовать в своем смысле», — писал он позже.

П.А. Вяземский приехал в Варшаву незадолго до 15 марта 1818 года, когда император в речи на открытии польского конституционного сейма заявил о своем намерении распространить «законно-свободные учреждения» на все подвластное ему население. Он увидел в Александре I силу, которая выступит гарантом либеральных преобразований, и с воодушевлением поставил себя на службу ему. В написанном в Кракове в августе 1818 года стихотворении «Петербург» Вяземский с воодушевлением обращался к императору:

Реши: пусть будет скиптр свинцовый самовластия
В златой закона жезл тобою претворен.
Пусть Александров век светилом незакатным
Торжественно взойдет на русский небосклон,
Приветствуя, как друг, сияньем благодатным
Грядущего еще непробужденный сон.

Однако он ясно отдавал себе отчет в обусловленности пределов правительственного либерализма. «Власть по самому существу своему имеет главным свойством упругость. Будь оно уступчиво, оно перестанет быть властью. Как же требовать, чтобы те, кои, так сказать, срослись с властью, легко поддавались на изменения? Их или им самим себя должно переломить, чтобы... выдать что-нибудь».

Вяземский непосредственно участвовал в подготовке конституции для России (зима 1818/19), а затем осуществлял ее перевод («переливал в русские формы ее французский текст», как он напишет позже). Так что все перипетии, сопутствующие этой работе, ему пришлось испытать на себе. Он понимал характер власти, совершившей подобный зигзаг, и ощущал себя представителем той общественной силы, которая может воздействовать на позицию государя. Имея в виду речь Александра I при открытии польского сейма (Вяземский был официальным ее переводчиком с французского), он писал А.И. Тургеневу: «Пустословия тут искать нельзя: он говорил от души или с умыслом дурачил свет. На всякий случай я был тут, арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он позабудет».

Противоречивость позиции Александра I стала для Вяземского очевидна очень скоро. Он задается вопросом: какая из ролей государя —

«Что есть любовь к Отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения...»

«коренная» или «благоприобретенная» — возьмет верх и «конституция польская умягчит ли русский деспотизм, или русский деспотизм сожмет в когти конституцию польскую?» Моральный долг — свой и своих единомышленников — Вяземский видел в объединении общественных сил для воздействия на царя и для содействия его конституционным намерениям. Как справедливо замечено, он имел в виду довольно широкий фронт современников: от сторонника неограниченной монархии Карамзина до «левых арзамасцев» Н.И. Тургенева и М.Ф. Орлова. О том, насколько далеко «влево» уходил сам Вяземский уже в начале пребывания в Варшаве, говорит его отклик на настойчиво развивавшийся Орловым план издания там журнала (Петру Андреевичу отводилась в нем роль руководителя). Горячо поддерживая план, он хочет, чтобы журнал, который следует назвать «Восприемником», стоял бы «за толпу» и «принял бы из купели новорожденное просвещение и показал бы его народу», способствовал бы преодолению «невежества гражданского и политического».

Философия французского Просвещения определила всю систему мышления Вяземского, его мироощущение, сильно окрашенное религиозным нигилизмом. Это та линия русского вольтерьянства, позже представленная А.И. Герценом, в которой безрелигиозность отнюдь не сопровождалась утратой или снижением нравственного идеала. Оставаясь принципом верховенствующим, нравственность утверждалась на принципах гуманизма, восходящего в своей первооснове к христианской морали. Записные книжки Вяземского испещрены именами Вольтера, Дидро, Монтескье, Рабо де Сент-Этьена — тех, кто писал о пределах монархической власти, о правах народа. Он захвачен современным французским либерализмом, с напряженным, сочувственным вниманием следит за выступлениями Бенжамена Констана в палате депутатов.

Просветительские идеи определили и конституционалистские устремления Вяземского, и его отношение к крепостному праву. В записях 1817 года, где крепостное право уподоблено «наросту на теле государства», вопрос о способе его уничтожения оставался еще открытым. «Свести ли медленными, но беспрестанно действующими средствами?», «Срезать ли его разом?» — это может решить только «совет лекарей»: «пусть перетолкуют они о способах, взвешают последствия, и тогда решитесь на что-нибудь». «От всего сердца и рассудка» радуется Вяземский, что «повстречался... на дороге, которая ведет к великой мечте» с Н.И. Тургеневым, для которого дело освобождения крестьян оставалось, по его словам, «всегда важнейшим». Теперь Вяземский занят планом практического подступа общественности к решению этой проблемы. Он проектирует создание специального общества для разработки плана уничтожения крепостничества, о чем делится с М.Ф. Орловым в письме из Варшавы (середина 1820 года): «Я долго думал о средствах, нам предстоящих, врезать след жизни нашей на этой земле, упорной и нам сопротивляющейся, и нашел, однако: заняться теоретическим образом задачею уничтожения рабства.

зу всех мнений (разумеется, истина будет на нашей стороне), после того... пустить его в ход».

Чем более разочаровывается Вяземский в конституционных намерениях Александра I, тем решительнее он склоняется к тому, что в решении крестьянского вопроса инициатива должна исходить от дворянства, а не от правительства. Это дело не власти, а дворянства, бытие которого «до сей поры только им (крестьянством. — Е.Р.) и держится. Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел?.. Рабство одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим все предбудущие замыслы». Давление на правительство — вот способ действия передовой общественности. Поэтому вполне естественно, что Вяземский оказался в числе тех, кто обратился к царю по поводу крестьянского вопроса (май 1820 года). Акция потерпела полное фиаско, но эта неудача способствовала радикализации позиции Вяземского. Чуждый заговорщицкой установке ранних декабристских организаций (Ордена русских рыцарей и Союза спасения), но стоявший, по существу, на позициях Союза благоденствия, не только в программных, но и в тактических вопросах, он был подхвачен порывом революционных событий, доходивших из Европы.

Если непосредственное соприкосновение с царской администрацией в Польше делало ставку на правительственный либерализм все более шаткой, то революционные события 1820 года в Испании, Португалии, Неаполе, Пьемонте заставили Вяземского сосредоточиться на проблеме революции. Историческая дистанция, отделявшая современный мир от Французской революции конца XVIII века, позволяла беспристрастно подвести итоги. Вяземский решительно отвергает мнение о бесполезности революции и делает общее заключение о социальной справедливости революционного переустройства общества: «Как ни говорите, цель всякой революции есть на деле или в словах уравнивание состояний, обезоружение сильных притеснителей, ограждение безопасности притесненных — предприятие в начале своем всегда священное, в исполнении трудное, но не невозможное, до некоторой степени».

Допуская революцию с общеисторических позиций, Вяземский считал ее злом для России. Он убежден, что для его отечества всякое политическое действие, идущее не от правительства, приведет только к новой пугачевщине. Но и «деспотизм с каждым днем удаляет народ от возможности быть достаточным свободой здоровой». Приверженность монархическому началу все определеннее сочетается с демократическим умонастроением Вяземского. Тем, кто говорит о неготовности русского народа к конституционному устройству, он возражает: «Народ никогда не может быть незрелым до конституции» — она «должна быть более содержанием (*regime*) тела народного, предохраняющим его от болезней и укрепляющим его сложение, чем лечением, когда болезнь уже в теле свирепствует». Таков принципиально важный смысл его политической позиции начала 1820-х годов. Как отметил Ю.М. Лотман, основной конфликт эпохи для Вяземского —

«Что есть любовь к Отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения...»

не столкновение свободолобивой личности с деспотизмом, а борьба властей и народов. Это шаг в направлении от либерализма, в его сущностном содержании, к демократизму, который по своему идейному наполнению адекватен революционности, в данном случае дворянского типа.

Именно разочарование в Александре I и его политике на международной арене и внутри страны было первопричиной, положившей конец службе Вяземского в Польше и вообще надолго прервавшей его служебную карьеру. Он неоднократно повторял, что принял решение об отставке прежде того, как был отстранен от должности по повелению царя. «Вся жизнь моя одно негодование», — напишет Вяземский вслед за конгрессом в Троппау-Лайбахе. «Негодование» — так называется стихотворение, ставшее вершинным в политической лирике Вяземского и широко разошедшееся в списках. Автор определяет свое место в размежевании общественных сил: в своем последовательном либерализме он осознает себя на стороне народа — «брачный союз наш с народом». Он левее, и ясно осознает это, своих друзей «арзамасцев» В.А. Жуковского и А.И. Тургенева. Но не пользуется недозволенными средствами в противостоянии с правительством, не переступает границ законности — это делало невозможным его участие в заговорщических политических организациях. Не случайно мысль Вяземского неоднократно возвращается к Радищеву, который издавна его интересовал. Он говорит о нем: это один «из малого числа мыслящих писателей наших. В оде его „Свобода“ есть звуки души мужественной. Во многих его прозаических отрывках — замашки, если не удары мысли». Речь, конечно, о «Путешествии из Петербурга в Москву». «Негодование» он прямо сближает с запретным творением: «Угодил ли своим „Негодованием“ Николаю Ивановичу? — спрашивает он А.И. Тургенева, брата Н.И. Тургенева. — Пусть возьмет один список с собою в diligence и читает его по дороге. Только не доехать бы ему таким образом от Петербурга до Москвы и далее, как Радищеву».

В августе 1821 года, оскорбленный бесцеремонностью, с какой перед ним закрыли дверь в Варшаву, Вяземский писал, что к этому времени он «из рядов правительства очутился... не тронувшись с места, в ряду противников его: дело в том, что правительство перешло на другую сторону». Каков бы ни был повод отстранения от службы, оно связано с его резко критической позицией по отношению к правительственной политике, которая не осталась тайной для царской администрации в Польше. В Москве над Петром Андреевичем устанавливается негласный полицейский надзор. Как справедливо отмечено в литературе, вместе с М.Ф. Орловым и В.Ф. Раевским он стал первой жертвой правительственного наступления на декабризм.

Финал движения декабристов, расправа над участниками восстания — личная трагедия Вяземского. Но он не был сломлен. Напротив, в первые последекабристские годы он испытывает самое резкое неприятие власти, напрямую переходившее к признанию права на ее насильственное низвержение. С этой точки зрения он задается вопросом о характере

выступления 14 декабря 1825 года: «Достигла ли Россия до степени уже несносного долготерпения, и крики мятежа были ли частными выражениями безумцев или преступников, совершенно по образу мыслей своих отделившихся от общего мнения, или отголоском... общего ропота, стенаний и жалоб?» Его ответ однозначен: «Дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка общего неудовольствия... исправительное преобразование ее (России. — Е.Р.) есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан; но правительства забывают, что народы рано или поздно, утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству молитв вооруженных».

Как видим, диагноз Вяземского в отношении декабризма и перспектив, ожидающих Россию, исторически взвешенный и провидческий. Чем более очевидной становилась для него грозная перспектива, тем более укреплялся он на либерально-консервативных позициях. Он склоняется к необходимости «действовать в духе правительства», «в духе нашего правления». Последняя формулировка относится уже к 1829 году, когда в обществе устоялось представление о новом царе как продолжателе дела Петра I, самодержце, преисполненном реформаторских устремлений.

Бросается в глаза, что в направленности и содержании деятельности Вяземского разных лет нет принципиальной разницы. И до выступления декабристов, и после него ему свойственна установка на просвещение, в какой бы форме оно ни выражалось: учреждение ланкастерской школы, литературная и журналистская деятельность, перевод политических сочинений французских авторов, намерение издать осуществленный им русский перевод польской конституции или создать общество переводчиков (проект Н.И. Тургенева).

14 декабря 1825 года не изменило отношения Вяземского к конституционализму, но в силу присущего ему исторического реализма он перенес практические установки на «оживотворение» идеи просвещенной монархии. И в этом отношении был последователен, приняв участие в журнале Н.А. Полевого «Московский телеграф». Его литературно-общественную позицию характеризовала приверженность идеям, сама постановка и разработка которых обнаруживала в нем человека широких и передовых взглядов. Конституционализм и социальный реформизм, вопреки представлению властей, видевших в опальном аристократе «революционера и карбонара», у Вяземского в принципе антиреволюционны, противопоставлены революции и призваны служить средством ее предотвращения. В его письме к Пушкину, датированном августом 1825 года, точно выражено самоощущение независимо мыслящего человека, который сознает невозможность политического противостояния власти: «Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях». Причина: «Она не в цене у народа... Хоть будь в кандалах: их звук не разбудит ни одной новой мысли в толпе,

«Что есть любовь к Отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения...»

в народе, который у нас мало чуток». Это отношение народа Вяземский связывает с общим уровнем развития России.

Деятельное участие в «Московском телеграфе» питалось принципиальной установкой Вяземского, который воспринимал литературу через призму ее общественного назначения — ее очищающей и направляющей роли в духовной жизни общества. Отсюда и личное восприятие себя на этом месте: «Я вхожу в журнал, как в церковь, как в присутствие. Почтеннейшего места нет мне, где бы высказаться как следует... В журнале... на печатной бумаге я весь тут, я делаю свое, а не берусь за чужое». Он рассматривает журнал прежде всего как общественную трибуну — отсюда острая публицистическая устремленность выступлений Вяземского, которой отмечены все его литературно-критические статьи того периода.

Уже в одном из первых своих выступлений, «Замечаниях на краткое обозрение русской литературы 1822 года», Вяземский поднимает самую животрепещущую проблему современности — проблему народности. Он подходит к ней не отвлеченно, не умозрительно, а с точки зрения практической оценки современной русской литературы, понимаемой как «русское просвещение». И сразу четко обозначает свою позицию (она останется для него неизменной): литература обязана следовать принципу народности, которая «должна быть выражением характера и мнений народа». И вместе с тем — принципиально западническая установка: «искать источники благосостояния народов и правительств, учиться тайнам государственной науки в тех странах, где преподается она издавна и всенародно». На этом Вяземский в «Московском телеграфе» стоит твердо. И опровергает хулителей чужеземного влияния на русскую литературу, противопоставляет односторонности подобного взгляда творчество Пушкина и Жуковского как «яркие примеры литературного патриотизма». Комментируя уже в 1876 году приведенные выше строки, он демонстрирует непоколебимость своего понимания проблемы национального начала: «Литературная ли национальность, политическая ли, принятая в смысле слишком ограниченном, ни до чего хорошего довести не может».

Раскрытие темы народности и самобытности в ее соотношении с западной культурой, взгляд на нее тесно увязываются с подходом Вяземского к патриотизму — другой стороне народности. Обсуждение национальных погрешностей с «патриотическим соболезнаванием, а не по расчету личной суетности» — вот позиция истинного патриота в противоположность «лакейскому патриотизму» (как называл его Тюрго), которому Вяземский нашел русский эквивалент — «квасной патриотизм». Это, по словам автора, «шуточное определение», обретшее бессмертие со времени его обнародования в «Московском телеграфе» (1827), корреспондирует с афористичной записью в «Дневнике»: «Что есть любовь к отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения». Формула Вяземского — ключ к его общественной позиции рубежа 1820–1830-х годов. Ее можно считать наиболее сильным выражением дворянской оппозиционности после поражения декабристов. Наряду с суждениями об истинном

и «квасном» патриотизме стихотворение «Русский Бог» (1828) — одна из самых разящих инвектив российской действительности:

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных —
Вот он, вот он Русский Бог!

Беспощадность обличения сочетается у Вяземского с глубокой приверженностью русскому национальному чувству. Патриотизм, который с течением времени будет принимать у него все более охранительный характер, уживается с убежденным западничеством, олицетворявшимся Просвещением. Н.М. Карамзина Вяземский воспринимал через его формулу: «Все народное ничто пред человеческим. Главное дело — быть людьми, а не славянами». Личная позиция Вяземского иная: «Для того чтобы быть европейцем, должно начать быть русским». Тем не менее в плане общественно-политическом утверждение начал западного Просвещения оставалось для него первичным и незыблемым.

Вяземский все более отходил от «Московского телеграфа». Сближение Полевого с Булгариным и Гречем, присущие ему антидворянские настроения предопределили его место в литературной борьбе 1830-х годов. Пушкинскому кругу, «литературной аристократии», олицетворявшей позицию дворянской интеллигенции, носительницы исторически сложившихся культурных национальных ценностей, противостояло «торговое» направление, болгаринские издания, исполненные охранительно-мещанского, псевдонародного духа.

П.А. Вяземский искал самостоятельной литературно-публицистической деятельности, которая позволила бы ставить серьезные общественные проблемы. Все его просветительские замыслы окончились неудачей, и это заставило его сосредоточиться на давно задуманном труде о Д.И. Фонвизине, дававшем богатую возможность обосновать свои взгляды на природу и социальную функцию русского просвещения, его носителей и двигателей.

Осуществленный в конце концов труд не имел прецедента в русской литературе — это первое историко-литературное сочинение, воссоздающее жизнь и творчество писателя в контексте не только русской, но и европейской истории, в контексте литературного процесса. Такой подход обусловил размах и идейную насыщенность сочинения, потребовал выявления документального материала и погружения в XVIII столетие — русское и европейское. Сквозная идея автора — утверждение взгляда на литературу как общественную функцию. Отсюда и возникла необходимость выявить связь литературы с историческим процессом. Эта общая установка имела конкретную направленность: обоснование сущности и роли дворянской культуры в России — тема, к началу 1830-х годов получившая общественное звучание и вызвавшая перегруппировку сил в журналистике.

«Что есть любовь к Отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения...»

Наряду с капитальной разработкой русского литературного процесса на протяжении XVIII столетия, автор рассматривает проблему национальной самобытности России, ее соотношения с западным Просвещением. Прокламируя приверженность «европейскому космополитству», Вяземский сопрягает его с «условиями русского происхождения»: «Для того чтобы европейцем быть, должно начать быть русским. Россия, подобно другим государствам, соучастница в общем деле европейском и, следовательно, должна в сынах своих иметь полномочных представителей за себя. Русский, перерожденный во француза, француз в англичанина и т.д., останутся всегда сиротами на родине и не усыновленными чужбиною».

Тема русского Просвещения получила новое преломление в откликах Вяземского на состоявшуюся в 1831 году первую в Москве и вторую в России мануфактурную выставку. Он видит в отечественной промышленности «дело общее и частное», прямое продолжение начатого Петром. Общественно-историческая функция дворянства выходит за рамки только носителей национальных культурных ценностей — дворянство трактуется здесь как деятельная промышленная и торговая сила. Россию Вяземский с удовлетворением ставит в ряд ведущих промышленных стран мира. Он говорит о «практическом просвещении» как отличительной черте современной эпохи: успехи на поприще образованности применяются «к пользам общественного и частного благосостояния». Это веха на пути человечества, «стремящегося к цели, назначенной Провидением, к цели усовершенствования». Как бы ни сложились в дальнейшем судьбы Европы, «успехи, совершенные духом предприимчивого трудолюбия, духом промышленности, не погибнут... Они останутся навсегда началом новой достопамятной эры в истории общественной гражданственности». Успехи просвещенного ума, направленные на приумножение естественных богатств природы, для Вяземского — дело общечеловеческое, противодействующее отчуждению народов друг от друга. Но здесь у него прорывается нота, периодически звучащая с начала 1830-х годов в русской общественной мысли, — об определенном преимуществе отсталости России, о ее потенциально «оздоровляющей» роли по отношению к странам Западной Европы. Член общечеловеческой семьи, Россия по сравнению с другими, более древними народами — «новый мир», «свежая в полном цвете прививка к нему». В ее исторической молодости Вяземский выделяет вместе с тем два неоднозначных обстоятельства. Первое — отрицательное: неизбежное отсутствие «согласия и единства в проявлении нравственных и умственных сил», невыработанность национального самосознания. Второе — положительное: Россия «доступнее к принятию практического просвещения, которое и скорее водворяется, и зависит более от воли и способов правительства».

Таким образом, в русских политических условиях, в единой законотворческой воле монарха, служащей поощрению торговли и промышленности, выявляется роль самодержавия как единственной силы прогресса в России. Употребляя понятие «практическое просвещение»

(как усвоение экономических и хозяйственных достижений западных народов), Вяземский как бы снимал идеологический аспект проблемы самобытности России. Он недвусмысленно выступает за следование по социально-экономическому пути, проложенному западноевропейскими народами; он действует как прагматик западной ориентации, чуждый идее «народного духа», которая пронизывает историко-философские построения будущих славянофилов. С другой стороны, Вяземский развивает мысль о нравственном несовершенстве России. Эта мысль высказана им в статье о московской выставке, а также в письме от 18 ноября 1831 года к начальнику Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов (где Петр Андреевич начал незадолго перед тем служить): «Все знают, что Россия ростом велика, но этот факт не добродетель, а обязанность. Следовательно, говорите, проповедайте о том, что должно России делать, чтоб нравственный и физический рост ее были равновесными». Это суждение прозвучит и в том столкновении мнений и позиций, которые вызвало к жизни начавшееся в ноябре 1830 года восстание в Польше.

Польское восстание возбудило в пушкинском кругу острые идейные споры. Они касались прежде всего имперских прав России и русской державности в их неразрывной связи с проблемой «Россия и Запад», русское и европейское просвещение. Самым непримиримым по отношению к державно-пафосной позиции Пушкина («Клеветникам России») оказался именно Вяземский. Его исходная посылка антагонистична пушкинской: «Раздел Польши есть первородный грех политики».

«Нельзя избежать роковых следствий преступления», — вносит он в записную книжку 4 декабря 1830 года, вскоре после получения известия о восстании в Варшаве. И стоит на этом до конца. 14 сентября 1831 года, когда взрыв патриотических чувств был в полной силе, он записывает в дневнике: «Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее, следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас, нам должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить царство Польское... Пускай Польша выбирает себе род жизни». Прочитав «Клеветникам России», он обратил в своем дневнике вопрос к Пушкину: «За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движении народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней».

Пафос Пушкина для него — «географические фанфаронады». Вяземский, собственно, повторяет свою мысль, высказанную более сдержанно в статье о первой московской мануфактурной выставке, — мысль о нравственном несовершенстве России. Ему абсолютно чужда идея мессианства; далека она и Пушкину, но, в отличие от него, современная Европа и происходящие в ней процессы не вызывают у Вяземского гневных инвектив — напротив, она представляется ему «возрождающейся». Он, несомненно, имел в виду национальное возрождение народов после-

«Что есть любовь к Отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения...»

наполеоновской Европы, сопровождавшееся в ряде стран установлением демократических институтов. Россия оставалась в стороне от этих процессов — национальное возрождение было заблокировано сохранением крепостного права. Вяземский отнюдь не считал за благо перенесение в Россию политических завоеваний европейских народов. Он неизменно оставался при убеждении об особости русских политических условий: «В отличие от других стран, у нас революционным является правительство, а консервативной — нация».

Собственно, эта парадигма оставалась неизменной, определяя общественную позицию Вяземского, на протяжении всей его долгой жизни, вместившей царствование трех императоров. Внешне он неуклонно поднимался по бюрократической лестнице. В августе 1855 года был назначен товарищем министра народного просвещения и возглавил цензурное ведомство; его деятельность на этом поприще вызвала резко негативное отношение со стороны как консервативных, так и леворадикальных кругов. После отставки в 1858 году Вяземский причислен к Сенату; в 1866-м — назначен членом Государственного совета. Глубоко неудовлетворенный своей государственной деятельностью, он продолжает размышлять над историей России, становится одним из основателей Русского исторического общества. Поздние размышления фиксируют неизменность либеральной первоосновы его общественно-политических убеждений при решительном осуждении любых форм экстремизма.

Один из самых блестящих людей пушкинского круга литераторов, П.А. Вяземский преломил и выразил целую эпоху русской общественно-политической жизни. Разгром декабризма, став пиком его политической оппозиционности, оказался в то же время началом «примирения» с действительностью, все большего укоренения на позициях консерватизма, подчас отделенного от реакционности только зыбкой границей. В отличие от Пушкина, он шел не к сближению, а к противостоянию с нарождавшейся демократической идеологией, уже лишенной той мещанской окраски и ориентации, которой была отмечена болгаринская струя в литературно-общественной жизни 1830-х годов. Вместе с тем Вяземский всегда оставался на позициях приверженности общеевропейскому гуманизму, органично совмещавшемуся в его мировоззрении с идеей национальной самобытности.

НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
СТАНКЕВИЧ

«Надобно прочное
сознание своей духовной
самостоятельности...»

Николай Владимирович Станкевич родился 27 сентября (9 октября) 1813 года в городе Острогожске Воронежской губернии. Старший сын в многодетной семье отставного поручика Ахтырского гусарского полка Владимира Ивановича Станкевича и дочери штаб-лекаря Екатерины Иосифовны Крамер, он горячо любил своих родных и был к ним глубоко привязан. Его дед Иван Станкевич, серб из венецианского города-крепости Зары (Задара) — форпоста Республики дожей на восточном побережье Адриатики, — в возрасте двадцати двух лет приехал в Россию, принял российское подданство и поступил на военную службу. Прослужив тринадцать лет в гусарских полках, Иван Станкевич получил дворянство и вышел в отставку с чином капитана в 1770 году. Исполнял гражданские должности в Острогожском уезде, был пожалован чином коллежского асессора. Его сыновья Владимир и Николай большим состоянием не обладали. Владимир Иванович после женитьбы вышел в отставку и жил в Острогожске, в доме отца. Брал подряды на строительство и ремонт дорог и мостов, смог купить имение Удеревка под Острогожском, где совместно с братом построил винокуренный завод.

Владимир Иванович Станкевич уделял большое внимание воспитанию и образованию детей: сыновей отдал в гимназию, для девочек приглашали учительниц и гувернанток. В семье был культ чтения, за вечерним столом собиралась вся семья; особенно почитали немецких авторов — часто звучали Гофман и Шиллер. Станкевичи любили и музыку: Николай играл на фортепиано, старшие сестры прекрасно пели.

С 1823 по 1825 год Николай Станкевич учился в Острогожском уездном училище, а затем в течение пяти лет находился в частном пансионе П.К. Федорова и А.А. Попова в Воронеже. В 1830-м он поступил в Московский университет на словесный факультет, который окончил в 1834 году со степенью кандидата.

Н.В. Станкевича помнят и почитают как вдохновителя, идейного и нравственного лидера литературно-философского кружка, созданного им в студенческий период жизни. «Кружок Станкевича» — крупное явление русской культуры первой половины XIX века. Он связан с развитием важного направления общественной мысли, в котором была представлена попытка

ка синтеза ценностей европейского модерна и национальной культуры. Возле Станкевича собралась думающая молодежь России, творчески настроенная, чуткая к искусству, устремленная к философскому поиску истины, красоты, стремящаяся к постижению смысла истории. Роль этого кружка в истории русского либерализма определяется началами «западничества» — умственного движения, которое получило в отечественной истории творческое и идейно-политическое выражение, оформившись в самостоятельное интеллектуальное направление русского европеизма. В своей первоначальной культурно-просветительской версии (а позже и в политической) русский европеизм был неразрывно связан с опытом борьбы за свободу и права личности в России. Творчество Н.В. Станкевича помогает выявить генезис русского либерализма, понять пути трансляции и переосмысления эстетических и философско-политических идеалов европейского модерна на русской почве.

Европейский модерн с его философской и научной традицией рациональности, с эстетически развитыми формами светской культуры и авторского творчества осваивался в России, особенно в эпоху «дополитическую», прежде всего не на уровне политических установлений и институтов, а на уровне культурного опыта русских интеллектуалов. Главным «социальным институтом» в России оказывалась Личность, опирающаяся на знание, разум, интеллектуальную волю, духовно-нравственный опыт, развитое эстетическое чувство. Мотивационным стержнем ее творческой и общественной активности служила ответственность перед собой, своей совестью, людьми, Историей, Богом. Именно такой личностью предстает Николай Станкевич, видевший в ценностях культуры и образования путь европеизации русского общества и залог поступательного эволюционного развития России.

Роль Станкевича в отечественной либеральной традиции уникальна. Можно сказать, что русская философия культуры и свободы рождается из космоса личности романтически настроенного интеллектуала-аристократа, увлеченного Шеллингом и Гегелем. В интеллектуальной биографии Станкевича сильна романтическая линия судьбы поэта и философа, трагически оборванная ранней смертью. Молодой человек, в юном возрасте проявивший склонность к сочинительству, получивший образование в воронежском Благородном пансионе, а затем — на словесном факультете Московского университета, ставший центром и душой интеллектуального общения неравнодушной к философским проблемам бытия и познания молодежи, продолжает обучение в Германии. Увлекается Шиллером, Шеллингом, Гегелем, читает Фихте и Канта, приобщает друзей к достижениям немецкой философии, выступая в качестве наставника и учителя для своих ровесников, и... умирает от туберкулеза, находясь на лечении в Италии, не достигнув 27-летнего возраста, оставляя после себя некоторые философические рассуждения и обширную переписку. И начинается жизнь после жизни: каждый из его соратников и друзей в той или иной мере несет на себе «печать» образа Станкевича, развивает сложную

драматургию обсуждавшихся идей, насущных жизненных, исторических и социальных вопросов, воплощает их на практике, иногда радикально видоизменяя первоначальные представления и смыслы.

Выдающиеся современники Станкевича — К.С. Аксаков, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, И.С. Тургенев — вспоминают недавние события, с упорным постоянством возвращаясь «к временам Станкевича». Как будто бы от правильного понимания этого исторического момента в жизни русского образованного общества зависит все дальнейшее развитие их собственной биографии, а вместе с тем и судьбы реальных людей и героев, которых они делают предметом своего художественного изображения и мемуарного творчества.

Воспоминания о Станкевиче — мотив, звучащий рефреном для многих русских интеллектуалов, в том числе родившихся и значительно позже николаевской эпохи. В.В. Розанов в статье «Женский университет в Москве», опубликованной в «Новом времени» 16 апреля 1906 года, в ответ на сообщение о проекте женского университета писал: «Иной незаметный образованный человек, без печатных трудов и ученых заслуг, распространяет такой образовательный свет вокруг себя, какому хоть позавидовать и Ломоносову. Вспомним Станкевича... — выдерживает мемориальную паузу Розанов. — Вот пример в мужчине чисто „женственного“ влияния...» Под «женственным влиянием» Розанов, конечно, подразумевает великий просветительский вклад Станкевича в дело русской образованности — то влияние, под воздействием которого формировалась целая плеяда русских мыслителей и общественных деятелей России 1840–1860-х годов.

Сравнение Станкевича с Ломоносовым неслучайно. Научно-образовательная модель университета, созданная умом и волею «русского Леонардо», заложила основу системы классического образования в России и дала мощный импульс социальному и культурному развитию державы-гиганта, которая догоняла европейские страны и одновременно соперничала с ними, во многом остававшимися донорами знаний и технологий для России. Со времен Петра Великого новая европейская империя пыталась встать вровень со странами, продвинувшимися в своем общественно-культурном и политико-экономическом устройстве. Светский характер культуры, система общественного договора, конструкция правового государства, защита прав частной собственности, индивидуальная экономическая инициатива «третьего сословия» — вот ценности модерна, которые были легитимизированы эпохой Просвещения.

Станкевич воспринял результаты Просвещения как в русской, так и в европейской версии, пройдя через университетскую систему образования в России и слушая лекции в Берлине. Его творчество определяется, с одной стороны, общей атмосферой среды, преимущественно дворянско-аристократической, продуцировавшей запрос на творческую личность, способную поддерживать салонное и приватное общение на высоком интеллектуальном уровне, демонстрировать широкий кругозор знаний по литературе, искусству, музыке, философии, ориентироваться и критически оценивать

«Надобно прочное сознание своей духовной самостоятельности...»

текущие художественные события. С другой стороны, феномен «кружка Станкевича» определяется силой дарования и особым душевным складом личности самого поэта и мыслителя, талантом общения и дружбы, деликатного наставничества при абсолютной установке на взаимоуважение — бескорыстной заинтересованности в даре другого. Этот дар Станкевич всегда рад был выявлять, способствовать его развитию, демонстрируя незаурядный педагогический такт, даже в том случае, когда необходимо было покровительствовать в каком-то смысле сопернику, как это было с сыном воронежского прасола, будущим поэтом Алексеем Кольцовым.

В интеллектуальном развитии Станкевича и его друзей отчетливо просматривается европейский вектор. Но Европу Станкевич воспринимает скорее как культурный образец и источник актуального знания, в первую очередь философского, в котором сконцентрированы усилия по «производству» новых смыслов лучших европейских умов. Европеизм и либерализм Станкевича — это культурный, интеллектуально-творческий запрос личности на смыслы, выраженные искусством, литературой, философией, исторической наукой. По Станкевичу, личность должна находиться в постоянном духовном развитии, обладать свободой морального выбора, самостоятельностью мнения и суждения. Эти смыслы, полагал Станкевич, сначала нужно постичь, а затем осуществить их творческий синтез, применив свои интеллектуальные и духовные открытия к русской жизни.

В своем поиске Станкевич оказался не одинок. Он значим как представитель общественного движения, показавшего творческое возрастание интеллектуальных сил России на пути к самой себе, к пониманию своей цивилизационной идентичности, к русскому европеизму. Станкевич принадлежал к поколению людей, которые подготавливали будущее России распространением мысли и просвещения. Эта работа шла по линии литературной, философской, ученой и педагогической деятельности.

В истории русской мысли «ненаписанное» наследие Станкевича, артикулированное не текстом и не абстрактной мыслью, а философией жизни, опытом внутренней свободы и способом проживания в культуре, во многом сродни «антропологическому перевороту», совершенному Сократом в истории античной мысли. Подобно афинскому философу, Станкевич совершил «персоналистический» переворот в русской мысли, задал новый вектор развития всей русской интеллектуальной культуре, положив начало национально ориентированному направлению мысли либеральной — христианскому либерализму, что подчеркивает его особенное место в интеллектуальной истории России.

Литературно-философский кружок, возглавляемый Станкевичем, возник зимой 1831/32 года в Москве. В него входили Я.М. Неверов, И.П. Ключников, В.И. Красов, А.А. Беер, П.Я. Петров, О.М. Бодянский, присоединились также В.Г. Белинский, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, В.П. Боткин. Позже в Германии Станкевич сблизился с Т.Н. Грановским. Молодые интеллектуалы вели беседы на эстетические, философские и жизненно-практические темы.

Особые личностные качества Станкевича сделали его душой общества. Даровитых молодых людей подкупала в нем природная мягкость и умная тактичность, стилистически придававшие заметный романтический оттенок всему происходящему. Умея привлечь людей особым расположением, по словам И.С. Тургенева, он внушал к себе «уважение, граничащее с благоговением». Тургеневу вторит Белинский: Станкевич «никогда и ни на кого не налагал авторитета, а всегда и для всех был авторитетом потому, что все добровольно и невольно сознавали превосходство его натуры над собою».

О нравственном облике кружка Станкевича вспоминает старший из братьев Аксаковых, лидер славянофилов К.С. Аксаков: «Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек». О том, как проводила время собиравшаяся там молодежь, он сообщает: «На вечерах Станкевича выпивалось страшное количество чая и съедалось страшное количество хлеба». Именно Станкевичу, по мнению К. Аксакова, удавалось гармонизировать полярность мнений и охранять общие суждения от крайних, радикальных направлений в их развитии: «Стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и, когда Станкевич уехал за границу, быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности».

Лидер западников А.И. Герцен, отмечая определенное сходство в умонастроениях своего круга и круга Станкевича, проведет границу между философской созерцательностью юных последователей Шеллинга, Фихте и Гегеля и более радикально настроенной молодежью, которая образцом для подражания выбрала дело, начатое декабристами: «В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших».

Философский идеализм и эстетическая созерцательность поклонников Шеллинга и Гегеля, не устраивавшие Герцена в Станкевиче и его друзьях, действительно отличали интеллектуальный стиль кружка. Он развивался, как и другие гегельянские кружки, по определению исследователя русской философии В.В. Зеньковского, в рамках внецерковного эстетического гуманизма. Характеризуя период 1830–1840-х годов в истории русской мысли, Зеньковский справедливо замечает, что «Шеллинг и Гегель оба вдохновляют русскую мысль в рамках шиллерянизма (как и сами вначале вдохновлялись Шиллером)». Зеньковский отмечает, что «это была атмосфера философской культуры; в широких кругах русского общества интересовались и жили философскими вопросами». Под влиянием профессора Московского университета М.Г. Павлова, физика и поклонника натурфилософии Шеллинга, Станкевич стал шеллингианцем, но воспринял идеи немецкого

«Надобно прочное сознание своей духовной самостоятельности...»

философа сквозь призму сочинений Шиллера. «Станкевич, конечно, во всю свою недолгую жизнь был романтиком, хотя в нем с чрезвычайной силой стала развиваться позже строгая мысль», — заметит Зеньковский.

Эта романтическая настроенность души проявилась в художественных опытах Станкевича — он достаточно рано стал «изъясняться стихами». Поэтическое умонастроение мало выделяло юного барина среди иных юношей его круга, многие из которых также увлекались сочинительством. Однако у Станкевича стремление получить признание, попробовать себя на поприще литературы отличалось заметной активностью и самостоятельностью. С 1829 года, сначала в петербургском журнале «Бабочка», а затем в московских — «Телескопе», «Молве», «Атенее», — он публикует свои стихи, отдавая предпочтение жанру элегии. Романтические мотивы, превращающие юношу, питавшего некогда надежды, в одинокого странника «пустыни мира» («Два пути», «Не сожалей», 1832), как и специфический для романтизма набор космических и потусторонних образов («Ночные духи», 1831; «Избранный», 1830; «Филин», 1831, и др.), говорят, с одной стороны, о подражательной зависимости от доминирующей эстетики, а с другой — о стремлении персонализировать используемую стилистическую систему образности. В схожей юношеской романтической тональности, окрашенной в патриотические тона, написана и трагедия «Василий Шуйский». Шестнадцатилетний автор стремился пятистопным ямбом выразить свои патриотические чувства, заклеить «козны и крамолы» врагов отечества, которые «народ из низкой зависти и злобы развращают». Интересно, что анонимный рецензент, которым оказался А.А. Дельвиг, отмечая незрелость сочинения молодого сочинителя, оценил этот опыт весьма серьезно, предполагая в Станкевиче определенный талант и литературную будущность.

К подобной творческой удаче можно отнести стихотворения «Мгновение» (1832), где лирический герой созидает «новый мир души», и «Подвиг жизни» (1833), в котором повзрослевший автор говорит о подвиге причастности к «жизни повсюдной», достигаемым трансцендентным усилием преодоления «предела земного». Характерный для Станкевича познавательно-волевой мотив, который можно считать его программой духовного поиска и личностного совершенствования, определен философской формулой «И все наполнится тобой». Именно эта программа будет приложена и реализована в изучении гениев немецкой мысли. Но прежде она будет раскрыта опять-таки в литературном произведении — в повести «Несколько мгновений графа Т***», опубликованной в 1834 году под псевдонимом Ф. Зарич и посвященной другу Станкевича, Я.Н. Неверову, который является прототипом героя. Однако повесть носит биографический характер, и настоящий герой данного произведения — сам автор повести, что входило в его замысел.

Духовная эволюция героя связана с поиском истины. Станкевич показывает, как период философской рефлексии, сомнения и скепсиса преодолевается героем, который обретает готовность к подвигу. Он пытается

применить свои творческие силы на практике, но неудачно. Очевидно, что этот момент отражает факт биографии Станкевича, после окончания университета некоторое время бывшего почетным смотрителем Острогского уездного училища. Большого удовлетворения деятельность смотрителя Станкевичу не принесла, и в 1835 году он вернулся в Москву. Для героя повести, как и для автора, жизненная неудача преодолевается обращением к искусству, в первую очередь к музыке. Интеллектуальное восхождение завершается художественно-эстетическим апофеозом: абсолютная красота и истина открываются герою в искусстве и музыке. Именно искусство и музыка воспринимаются им как образы абсолютного, выступающая своего рода «представителями неба на земле». Они дают творческой личности не только душевное прибежище, но и духовный прообраз совершенства. Согласно устойчивой романтической схеме, в конце повести герой умирает, обретая любовь, которая его обновляет.

Духовный поиск истины и смысла жизни не ограничивался для Станкевича и членов его кружка художественно-эстетической формой выражения. Кружок Станкевича на русской почве знаменовал собой начало расцвета специфического типа личности, возможного в культуре с доминантой метафизических ценностей, но с ограниченным социальным полем практического приложения сил. Этот тип «практических метафизиков» хорошо известен в русской истории по своему радикальному, революционному крылу. Но в эпоху расцвета кружка, бывшего по составу идей и умонастроений далеко не однородным, это размежевание эстетических и революционных идеалистов не было столь очевидным.

Идейно кружковцев объединяли поиски вселенского метафизического смысла, а психологически их сближала неподдельная искренность душевных порывов. В то же время участники кружка всячески культивировали критический, трезвый взгляд на текущие интеллектуально-художественные и социальные процессы, вырабатывая принципы новой эстетики и критики, отвергавшей ложно-патетическую интонацию и излишнюю аффектацию. Это позволяло им бороться с литературными авторитетами и производить «переоценку ценностей», пересматривая творчество А.А. Бестужева-Марлинского, Н.В. Кукольника, В.А. Каратыгина, царивших на Олимпе литературной и театральной славы. Поиск подлинного в искусстве позволил Станкевичу разглядеть в молодом поэте Алексее Кольцове несомненный талант и способствовать утверждению не только нового имени в русской поэтической традиции, но и новой народно-песенной эстетики. Станкевич, с которым Кольцов встретился в 1830 году, опубликовал его стихи с коротким предисловием в «Литературной газете». Благодаря Станкевичу Кольцов познакомился с Белинским, оказавшим на него большое влияние, с Жуковским, Вяземским, Одоевским и Пушкиным, опубликовавшим в своем журнале «Современник» стихотворение Кольцова «Урожай».

Широкий круг интересов, как и внимание к литературным событиям, создал благоприятную почву для философского опыта. Но встречей-

«Надобно прочное сознание своей духовной самостоятельности...»

откровением, поражающей воображение, для Станкевича стала философия Фридриха Шеллинга. Именно Шеллинг помог ему обнаружить бытийную связь человека с миром природы и культуры, понять, что в человеке «действует разумная жизнь всей природы». Это позволило молодому философу приблизиться к пониманию главной цели жизни каждого человека — осознанию своего назначения. В одном из писем Станкевич формулирует свой тезис: «Вся природа есть лестница, по которой „Я“ идет к полному разумению в человеке». Достоинство человека напрямую связано с совершенствованием, воспитанием и преображением души. Проецируя эту задачу на будущее, Станкевич, уже в духе Гегеля, вменял ее не только человеку, но и целым народам. Важнейшим инструментом совершенствования он полагал философию, трактуя ее как «могущество ума, одушевленного добрым чувством». Эта мысль высказана и в письме к другу М.А. Бакунину от 24 ноября 1835 года: философия «...показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расширяет ум его. Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение; потом, узнав это, хочу указать людям их достоинство и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки воодушевить единою мыслью».

Вторым главным кумиром Н.В. Станкевича после Шеллинга стал Гегель, хотя он высоко ценил и Фихте, увлекшего его идеей философии как строгой науки, и Канта, удвоившего его интерес к трансцендентализму. В гегелевский период философских увлечений мировоззрение Станкевича словно бы обретает недостающее звено. Показательно, что в 1835 году он поместил в «Телескопе» (№ 13–15) перевод «Опыта философии Гегеля» Г. Вильма со своими примечаниями. Отзвуки Гегеля слышны в двух собственно философских сочинениях Станкевича: «Моя метафизика» (1840) и «Об отношении философии к искусству» (1840). В своем эстетическом наброске он отрицает автономию искусства. Станкевич развивает гегелевский тезис о соответствии или «совпадении» исторических этапов художественного процесса с «эпохами общего духовного развития человечества»: «Искусство... получает мировое значение, оно является целым, которое живет с духом и из духа, переживает с ним все судьбы его».

Гегеля Станкевич понимал очень лично, интерпретируя его философию абсолютного духа с точки зрения концепции духовного саморазвития личности. Он считал, что у Гегеля личность не поглощается абсолютом, а как часть процесса самораскрытия духа проявляет свое творчество в истории и природе. Эти персоналистические идеи в системе представлений Станкевича, конечно, были глубоко психологически мотивированы. Он верил в любовь, в этот индивидуальный, спасительный путь жизни, который как «зародыш всякого знания и всякой деятельности» определяет меру человеческого в человеке!

Чувствуя потребность в серьезных профессиональных занятиях философией и историей, Станкевич в 1837 году отправился за границу. Он поехал в Берлин, где была сосредоточена научная мысль Европы. Поездка имела еще одну важную цель: семья отправила его на лечение — он бо-

лен туберкулезом. После отъезда Станкевича кружок без своего лидера и вдохновителя просуществовал еще около двух лет.

Отпуская сына за границу, родители не переставали беспокоиться не только о его физическом здоровье, но и о том, какое направление принимает его образ мыслей, боясь, видимо, что европейская жизнь может оторвать молодого человека от родной почвы, увлечь модными учениями, поколебать в основах веры. В ответ на вопросы родителей Станкевич счел необходимым сформулировать свою нравственно-философскую позицию, осветив главные вопросы современности: отношение к родине, проблему веры и неверия, влияния сторонних учений и идей на русскую душу и ум.

Свое жизненное кредо он выразил в письме от 15 (27) января 1838 года из Берлина: «Насчет моего образа мыслей прошу вас быть вполне покойным — хоть бы я даже был и не в Берлине. Та религия и та любовь к отечеству, которые могут подвергнуться какой-нибудь опасности от обстоятельства, не стоят ни гроша и рано или поздно должны испытать перелом. Моя религия, напротив, тверда, потому что я получил ее не от девки Параньки, потому что не боялся об ней думать и не боялся знать, что говорено было против нее: она во мне чиста, чужда суеверия и непоколебима». «В наше время всякий человек с порядочным образованием и с душою признает ее за основу жизни, — решительно заявляет Станкевич. — Любовь к отечеству также тверда во мне, потому что я люблю в нем хорошее, не считаю нужным восхищаться соложенным тестом и терпеливо смотрю на недостатки, которые должны изгладиться временем и образованием. Демагоги всего менее могут сбить меня с толку: я уважаю человеческую свободу, но знаю хорошо, в чем она состоит, и знаю, что первое условие для свободы есть законная власть».

«В Германии, — развивает свой тезис Станкевич, — при общем стремлении к свободе мысли законная власть уважается больше, нежели где-нибудь, это следствие ее основательного образования. Вот вам искренняя исповедь в моих правилах, которых ничто не переменит. Есть чувства, которые нельзя сохранить укупоркою, — как ни засмаливай, воздух пройдет и они испортятся; но, если они основаны на прочном убеждении, нечего бояться постороннего влияния. Чтобы быть твердым в своих правилах, надобно убедиться в нелепости противных». «К этому случай есть везде: шаткому человеку в России так же точно опасно жить, как и за границей, — заключает Станкевич. — Я счел за нужное распространиться об этом, чтоб успокоить Вас однажды навсегда на счет независимости моих мнений». Стараясь еще раз подчеркнуть свою основную мысль, в письме от 2 (14) февраля 1838 года он добавляет: «Я человек с родиной и с родными, а не пролетный дупель».

Станкевич продолжил занятия философией и историей в Берлинском университете, где находился в постоянном общении со своими друзьями — Т.Н. Грановским, будущим профессором всеобщей истории Московского университета, и Я.М. Неверовым, впоследствии начальником Кавказского учебного округа и членом Совета министра народного про-

«Надобно прочное со- знание своей духовной самостоятельности...»

свещения. Своей главной задачей Станкевич видел духовно-интеллектуальное развитие личности. Этот своеобразный личностный нравственный императив, определяющий христианско-либеральный дискурс его философии, он отчетливо сформулировал в письме от 8 марта 1838 года из Берлина к брату Александру: «Притом, чтобы наслаждаться настоящим не как животное, надобно его расширить, надобно заключить в нем прошедшее и будущее, надобно прочное сознание своей духовной самостоятельности, которая равна себе вчера и сегодня, — словом, надобно духовное развитие, которого ты не мог еще вполне достигнуть, которого достигнуть я, может быть, мог бы уж, но еще не достиг».

Болезнь Станкевича вступила в активную фазу. Во второй половине 1839 года для лечения от туберкулеза он посетил курорты Чехии, Южной Германии, Швейцарии, а затем направился в Италию. Станкевич путешествовал вместе с А.П. Ефремовым, товарищем по Московскому философско-литературному кружку и Берлинскому университету, будущим доктором философии и профессором географии.

В 1840 году Станкевич познакомился в Риме с молодым Тургеневым, для которого стал наставником и проводником в мир итальянской культуры. По воспоминаниям И.С. Тургенева, Станкевич, даже будучи тяжело больным, не переставал быть источником новых знаний и духовно-художественных открытий для не искушенного в этих вопросах молодого дворянина. «Мы разъезжали по окрестностям Рима вместе, осматривая памятники и древности. Станкевич не отставал от нас, хотя часто плохо себя чувствовал; но дух его никогда не падал, и все, что он ни говорил — о древнем мире, о живописи, ваянии и т.д., — было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости», — тепло вспоминал Тургенев.

Переписка Станкевича римского периода содержит ценные суждения о сущности искусства, раскрывает его философско-эстетическую систему, уточняет взгляды на природу красоты, христианский идеал, выраженный талантом художника непосредственно в образе. Не случайно П.В. Анненков, биограф Станкевича, подчеркивает значение Рима в творческом опыте русского мыслителя. В этом городе, способном собрать все нравственные силы человека, развитие Станкевича, по мнению Анненкова, достигло своей вершины. Эту мысль подтверждают два фрагмента из писем к семье Фроловых, свидетельствующих как об эстетических, так и о духовно-нравственных установках Станкевича. Он спешит поделиться своими впечатлениями с Н.Г. и Е.П. Фроловыми, зная, что в лице этой умной и доброй четы он найдет дружескую поддержку и понимание. Письмо от 19 марта 1840 года содержит выразительное историко-культурное толкование феномена центра римского католицизма — собора Св. Петра. Примечательно также письмо от 5 апреля 1840 года с описанием статуи Моисея Микеланджело в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи. Передавая свои впечатления от встречи с гениальными творениями итальянского искусства, Станкевич выводит формулу творчества: если в искусстве нет боже-

ства, то в нем отсутствует жизнь, полнота которой находит свое воплощение в любви — благом и прекрасном образе абсолютной истины. Этот тезис, сформулированный по поводу произведений искусства, выражает квинтэссенцию философских взглядов Станкевича — мыслителя-поэта и человека христианской культуры, синтезирующего веру и разум в опыте познания на пути интеллектуального восхождения личности к Абсолюту.

В Рим к Станкевичу приехала В.А. Дьякова (урожденная Бакунина), младшая сестра его умершей от чахотки невесты Любви Бакуниной. В начале июня 1840 года Станкевич, Ефремов и Дьякова покинули Рим и отправились сначала во Флоренцию, затем в Геную и далее в Милан. Целью их путешествия было озеро Комо. Но едва они отъехали от Генуи, как на первой же стоянке, в городке Нови-Лигуре (в сорока милях к северу от Генуи), в ночь с 24 на 25 июня 1840 года Николай Станкевич умер. В церкви св. Николая в Нови-Лигуре состоялось первое прощание с покойным. Его тело было перевезено в Геную и там временно захоронено в одной из церквей. Через некоторое время гроб погрузили на корабль, следующий из Генуи в Одессу, затем переправили в родовое имение Станкевичей Удерева Воронежской губернии (ныне территория Белгородской области), где тело Станкевича было предано земле.

«Станкевич — человек гениальный... Я никого не знаю выше Станкевича», — произнесет сакраментальную фразу В.Г. Белинский, говоря о еще живом человеке. И позднее признается в письме к В.П. Боткину от 5 сентября 1840 года, вспоминая недавно умершего друга и наставника: «Что был каждый из нас до встречи со Станкевичем?.. Нам посчастливилось, вот и все...»

Талант и «гениальность» Станкевича — в его личности, которая служит примером моральной и интеллектуальной честности. Своим поиском истины и красоты он окрылил философскую мысль России, помог многим образованным русским людям осознать свою сопричастность общей философской и художественной культуре христианской цивилизации Запада и Востока. В этом, пожалуй, и заключается главная заслуга Станкевича как человека христианско-либерального типа, в творчестве которого определяются важнейшие мотивы русской общественной и религиозно-философской мысли, с ее поиском универсальных начал жизни через позитивный синтез религии, искусства и философии — через опыт интеллектуальной свободы и духовного развития.

ТИМОФЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ГРАНОВСКИЙ

«Рано или поздно
действительность догонит
МЫСЛЬ...»

Тимофей Николаевич Грановский (1813–1866) — один из самых ярких лидеров русского «западничества» 1840-х — начала 1850-х годов, ставшего важнейшим источником позднейшего русского либерализма. Интересно, однако, что при том огромном интересе, который вызывал, вызывает и, несомненно, будет вызывать русский либерализм, западничество как цельное историческое явление до сих пор мало изучено.

Причина, по-видимому, в тех вполне объективных трудностях, с которыми сталкивается каждый исследователь, обращающийся к русскому западничеству. Размытость, незавершенность этого явления очевидна, а отсутствие четких организационных форм и недвусмысленно сформулированных программных документов бросается в глаза (в этом отношении более поздних либералов-политиков, например кадетов или октябристов, изучать, наверно, легче).

При исследовании сообщества незаурядных людей, с одной стороны, объединенных общими идеями и схожим мировоззрением, а с другой — ревниво отстаивающих собственную духовную свободу, всегда возникает множество проблем. Иметь дело с яркими индивидуальностями гораздо труднее, чем с дисциплинированной партийной «командой», состоящей, за исключением нескольких лидеров, из посредственностей.

Если проводить возрастные аналогии, западничество можно уподобить младенчеству русского либерализма. Известно, что в детстве мир кажется совсем иным, чем во взрослом состоянии: он текуч, изменчив и неустойчив. Окружающая действительность воспринимается непосредственно, тогда как в мире взрослых господствуют сухие рациональные правила и догмы. Поэтому детство — возраст волшебный, когда от мира ждут чудес. С годами это проходит, жизнь входит в свою колею, будничные, рутинные проблемы наполняют существование. На этой упорядоченной стадии бытия воспоминания о детстве приобретают еще более сказочный, мифологический характер — и в то же время становятся все более необходимыми.

Все эти рассуждения, с моей точки зрения, подчеркивают сложность понимания западничества, с одной стороны, и необходимость преодолеть эту сложность — с другой. Нелегко представить, каким образом уче-

ный-медиевист, университетский лектор, никогда и ни в чем не отклонявшийся от своих профессиональных занятий (ни памфлетов, ни листовок, ни какой-либо другой антиправительственной деятельности), превращается в одного из самых авторитетных лидеров общественной оппозиции. Хочется понять, как он становится кумиром нескольких поколений русских образованных людей, подготовившим их к борьбе за преобразование крепостной России. Сейчас подобная история действительно кажется похожей на сказку; ее и рассказывать хочется особым образом.

В качестве зачина можно предложить пару фраз из «Былого и дум» А.И. Герцена, которые, по-моему, вполне отвечают этому назначению: «Тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчишками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и земель; а в них было наследие 14 декабря — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего вулкана...» Одним из этих «мальчишек» и был Тимофей Николаевич Грановский.

Уподобление России времен Николая I «непростывшему вулкану» выглядит, возможно, несколько выспренным, однако для тех, кто представлял собой «Россию будущего», оно было вполне оправданно. Утвердившись на престоле в результате вооруженной схватки со своими противниками-декабристами и беспощадно расправившись с ними, Николай Павлович положил максимум усилий на то, чтобы навести в России жесткий, единообразный порядок. Осуществляя это намерение, царь, естественно, не ограничился мерами административно-полицейскими: усилением бюрократического контроля над населением, созданием единой, хорошо организованной политической полиции (III отделение собственной канцелярии и корпус жандармов), предельным ужесточением цензуры и т.п. Все это было важно и в то же время вторично.

Главное заключалось в том, что чиновникам всех ведомств, тем же жандармам и цензорам, необходимо было дать четкое — без противоречий — руководство к действию, которое позволило бы им отличать хорошее от плохого, добро от зла, благонамеренного россиянина от скрытого смутьяна. «Силы порядка» нуждались в простой и ясной идеологической схеме. С.С. Уваров, долговременный министр просвещения при Николае I, создал именно то, что требовалось: в рамках своей теории «официальной народности» он связал в единое целое русский народ, православную веру и самодержавное государство.

Пафос этой теории был ясен. «Уваровская триада» стремилась подчинить жесткому канону все стороны жизни российского обывателя любой социальной принадлежности. Россиянин должен быть тих, смирен и кроток, регулярно посещать церковь, исполнять все предписанные обряды и почитать Господа. В еще большей степени от него требовались законопослушность, верноподданность, безоговорочное выполнение всех

требований администрации, почитание государя. Добросовестное отправление обязанностей по отношению к власти духовной и светской гарантировало полное благополучие. Прекрасно эту мысль выразил в своих заметках один из самых ярких «охранителей», бессменный управляющий III отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии Л.В. Дубельт: «Уж ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно, в России. Это зависит от тебя; только не тронь никого, исполняй свои обязанности и тогда не найдешь такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в Царствии небесном...»

Теория «официальной народности» была сочинена как апология николаевского режима, который полагался властями «идеалом существования» русского человека. В той России все было устроено как должно, «по-божески», в полном соответствии с духом народа. Она представляла собой единый, цельный монолит, который в рамках официальной идеологии резко противопоставлялся бестолковому, злокозненному, разлагавшемуся на глазах Западу. Любая попытка в какой бы то ни было форме воспротивиться существующему порядку вещей почти автоматически воспринималась представителями власти как результат воздействия «гниющего Запада», искажающего благую природу русского человека, превращающего его во врага своего собственного народа. Естественно, верховная власть вменяла себе в обязанность беспощадную борьбу с любыми отклонениями от официоза, с любыми проявлениями злостного «инакомыслия».

Теория «официальной народности» стала главным фактором, определявшим условия жизнедеятельности и тех, кто составлял, по словам Герцена, «образованное меньшинство» русского общества, тех, кто пытался жить, размышляя и творя... Сохранить себя эти «мальчишки 1825-го года», ставшие юношами в 1830-х, могли только в последовательном противостоянии официозу, подчинение которому лишало их существование всякого смысла. И эти несколько десятков человек в конце концов взяли верх над идеологической системой, поддерживаемой всей мощью самодержавно-бюрократической власти и оттого казавшейся несокрушимой... Роль Т.Н. Грановского в этой борьбе и победе невозможно переоценить.

Определяющую роль в судьбе Т.Н. Грановского сыграла, несомненно, поездка за границу и стажировка в Берлинском университете в 1836–1839 годах, позволившая ему найти верный путь реализации своего уникального таланта. Раньше такой возможности не представлялось.

Отпрыск небогатой провинциальной дворянской семьи (Грановский родился 9 мая 1813 года в Орле), он получил самое безалаберное воспитание в детстве и такое же образование в юности. Учеба в Петербургском университете, который в первой половине 1830-х годов еще не оправился от погрома, устроенного там властью в конце царствования Александра I, по собственному признанию Грановского, также не дала ему почти ничего. А вот поездка в Берлин за счет Министерства народного просвещения «для усовершенствования в науках», с тем чтобы впоследствии занять кафедру

зарубежной истории в Московском университете, — событие, случившееся благодаря счастливому стечению обстоятельств, — в корне изменило всю жизнь Грановского. Ему довелось испытать «немецкой премудрости» из первоисточника — будущий духовный лидер западничества и кумир студенческой молодежи постигает философию Гегеля, закладывая тем самым мощный фундамент всей своей последующей деятельности.

Нужно иметь в виду, что для поколения Грановского немецкая философия (и прежде всего гегельянство) стала важнейшим интеллектуальным фактором, существенно изменившим духовную жизнь общества. Восстание декабристов не могло не привести к переоценке ценностей у поколения, вступавшего в жизнь после событий на Сенатской площади. Грановскому и его друзьям уже казались банальными традиционно-прямолинейные вопросы философии в духе «века Просвещения» и такие же ответы на них. У молодежи появились новые кумиры — в поисках ответов на «проклятые вопросы» она обращается не к Монтескье и Тьюго, а к Шеллингу и Гегелю.

Недаром в истории русской общественной мысли такое важное место занимает кружок Н.В. Станкевича. Небольшой по численности, очень «камерный», он стал своеобразным органом восприятия гегельянства в России. Именно со Станкевичем, тоже совершившим паломничество в Берлин — гегельянскую Мекку, Грановский подружился и сблизился. Этот в высшей степени незаурядный человек (к несчастью, очень рано умерший) оказал на Грановского огромное влияние. Совместное посещение лекций в Берлинском университете, изучение философии и истории, горячие дискуссии — все это чрезвычайно много дало Грановскому.

Собираясь стать историком, он был настроен на то, чтобы «философией проверить историю». В то время Грановский, ставший убежденным гегельянцем, писал одному из близких друзей: «Есть вопросы, на которые человек не может дать ответа. Их не решает Гегель, но все, что теперь доступно знанию человека, и само знание у него чудесно объяснено...» Среди профессоров Берлинского университета его кумиром становится профессор-гегельянец Леопольд фон Ранке, про которого Грановский написал: «Он понимает историю...»

Что же давало гегельянство для объяснения действительности и понимания истории? Грановского и его современников в этой философской системе привлекала прежде всего присущая ей диалектика. Их покорила та последовательность, с которой Гегель рассматривал все сущее, и убедительность, с которой он раскрывал закономерности процессов развития. Выяснялось, что действительность не поддается своевольному произволу, не является пластичной массой, из которой сильная личность способна вылепить все, что пожелает. Эта действительность существует и развивается в соответствии с объективными, не зависящими от воли человека законами. Но человек способен эти законы познать (чему прежде всего и учил Гегель) и, познав их, действовать разумно, плодотворно работая на будущее, как бы сотрудничая с высшей силой — Абсолютом.

«Рано или поздно действительность догонит мысль...»

Подобный подход позволял дать ответы на многие тревожившие современников вопросы, например о причинах неудачи декабристского восстания... А главное, гегельянство, воодушевляя, порождало уверенность в своих силах и позволяло с надеждой смотреть в будущее. Недаром Грановский все в том же письме приятелю, терзавшемуся сомнениями и жаловавшемуся на «горестное состояние духа», писал: «Займись, голубчик, философией... Учись по-немецки и начинай читать Гегеля. Он упокоит твою душу».

Тут самое время напомнить, что подобную философскую систему, ставшую диалектикой во главу угла, с почти религиозным воодушевлением воспринимала молодежь страны, государственная власть которой отрицала всякое развитие в принципе. Ведь теория «официальной народности» провозглашала Россию неким заповедником, где неизменно царит самодержавно-православное благоденствие, круто замешенное на крепостном праве... И здесь, наверное, снова уместно привести слова Герцена: «Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от преданий, переживших себя...»

«...Четверть часа прошла уже после звонка. Вся аудитория в каком-то ожидании. Разговоры смолкли, и все вышли на лестницу, ведущую в аудиторию. — „Будет ли?“ — говорит один из студентов. — „Будет“, — отвечает другой. — „Должно, не будет“, — замечает третий, смотря на часы. — „Приехал!“ — кричит снизу швейцар, как будто отвечая на нетерпеливое ожидание. — „Идет...“ — и вся толпа двинулась в аудиторию, все спешат заполнять места. Глубокая тишина воцарилась в зале». Начинаясь лекция Грановского...

Грановский оказался феноменальным лектором. Впрочем, здесь точнее будет употребить глагол не «оказался», а «стал». Грановский, которого некоторые современники укоряли в лености, потратил массу сил на то, чтобы овладеть ораторским искусством. «Круглым числом, — писал он Станкевичу в начале своей профессорской деятельности, — я занимаюсь по десять часов в сутки. Польза от этого постоянного, упрямого труда (какого я до сих пор еще не знал) очень велика — я учусь с каждым днем...»

Надо сказать, что Грановский не обладал эффектной внешностью (хотя и был очень обаятелен в общении), имел слабый голос и к тому же слегка шепелявил («шепелявый профессор» — обычное его прозвище в дружеском кругу). Лекции в чем-то походили на самого лектора: Грановский не терпел никаких внешних эффектов. «При изложении, — писал он сам, — я имею в виду... самую большую простоту и естественность и избегаю всяких фраз. Даже тогда, когда рассказ в самом деле возьмет меня за душу, я стараюсь охладить себя и говорить по-прежнему...»

Студенческие записи вполне подтверждают слова Грановского: его лекции чрезвычайно сдержанны по тону — пафос в них отсутствует напрочь. Нельзя сказать, что Грановский совершенно пренебрегал яркими характеристиками исторических деятелей и выразительными историче-

скими эпизодами, — но он ни в коем случае не злоупотреблял этим. Не было в его лекциях и подобия намеков политического характера, прозрачных аналогий и т.п. При первом знакомстве с текстом лекций Грановского (во всяком случае, в несовершенных студенческих записях) они кажутся несколько монотонными и суховатыми. Но это впечатление решительно опровергается массой свидетельств: Грановский, без сомнения, был самым популярным лектором Московского университета за всю историю его существования... На его лекции собирались студенты со всех факультетов; здесь постоянно были заполнены все места, и занимать их приходилось заранее. Опоздавшие пристраивались на ступеньках у кафедры. Во время лекции в аудитории царил мертвая тишина: слушатели ловили каждое слово, произнесенное негромким голосом «шепелявого профессора».

Нужно внимательно вчитаться в студенческие записи, чтобы понять, в чем была сила Грановского-лектора, каким образом он удерживал аудиторию в состоянии напряженного внимания. Главным и по сути дела единственным героем лекционного курса был исторический процесс как таковой. Ощущение, которое владело слушателями на лекциях Грановского, много лет спустя в своих воспоминаниях великолепно выразил один из них: «Несмотря на обилие материалов, на многообразие явлений исторической жизни, несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, повидимому, могли бы отвлечь слушателя от общего, слушателю всюду чувствовалось присутствие какой-то идущей, вечно неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел и отходил, а выработанное им с поразительной яркостью выступало и воспринималось другим. История у Грановского действительно была изображением великого шествия народов к великим целям, постановленным Провидением...»

Своим лекционным курсом, посвященным истории европейской цивилизации (хронологически ее было дозволено освещать лишь до Реформации, т.е. до XVI века), Грановский, с одной стороны, чрезвычайно искусно приобщал слушателей к пониманию этой цивилизации. Он нигде и ни в чем не льстил Западной Европе, не идеализировал ее истории. В то же время он последовательно показывал эту историю как путь — путь тернистый, но, несомненно, ведущий от худшего к лучшему, имеющий в перспективе осуществление некоего идеала, который с каждым веком становился все яснее. «Мы видели, — говорил Грановский в заключительном слове к одному из курсов лекций, — что мысль не всегда ладит с действительностью. Она идет впереди действительности, и все попытки великих двигателей человечества остаются не вполне осуществленными. Но рано или поздно действительность догонит мысль».

С другой стороны, Грановский постоянно давал понять, что описываемый им процесс исторического развития един для всего человечества, в том числе и для России... Это следовало из общего хода его рассуждений. По воспоминаниям слушателя, Грановский избегал говорить об этом открыто: в России, считал он, «отзываются все великие идеи». Другими словами, Запад, по Грановскому, медленно, но верно идет по пути про-

«Рано или поздно действительность догонит мысль...»

гресса, прокладывая его и для всего остального человечества. Не миновать этого пути и России...

Трудно представить себе в николаевской России культурный фактор, резко противостоящий официальной идеологии, — разве что «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Письмо это, не отличавшееся, на мой взгляд, ни особой глубиной мысли, ни доказательностью, произвело мощное, но разовое действие. Грановский же читал лекции на протяжении полутора десятилетий. Искусно оперируя фактическим материалом, избегая тенденциозности, он заставлял своих слушателей самостоятельно осознать свою концепцию истории, делая студентов ее убежденными сторонниками.

Надо сказать, что и слушатели у Грановского оказались достойные. Совершенно очевидно, что они осознали его лекции по истории как акт общественной борьбы. Здесь не только изучали прошлое, но и учили мыслить и действовать так, как должно достойному человеку, — вот и набивалось в аудитории молодежи что сельдей в бочку... Когда же зимой 1844/45 года Грановскому удалось добиться дозволения прочитать (впервые в России) публичный курс по истории западного Средневековья, успех был еще грандиознее. Светская публика в течение нескольких месяцев до отказа заполняла большой актовый зал Московского университета, внимала лектору, затаив дыхание, и неизменно провожала его бурной овацией. П.Я. Чаадаев, недолюбливавший Грановского и не согласный с его концепцией западной истории, тем не менее совершенно справедливо назвал сами чтения явлением «историческим».

Для студенчества же Грановский стал настоящим кумиром. Б.Н. Чичерин вспоминал, как его репетитор, студент юридического факультета, восклицал, рассказывая о магистерском диспуте Грановского: «Вы знаете, ведь для нас Тимофей Николаевич — это почти что божество...» После выпуска из университета его слушатели расходились по всей России. «Ученик Грановского» — этим званием гордились до конца жизни. А оно между тем ко многому обязывало. Недаром в сохранившемся благодаря одному из слушателей напутственном слове своим выпускникам Грановский призывал их «осуществить в жизнь то, что вынесли отсюда»: «Не для одних разговоров в гостиных, может быть, умных, но бесполезных посвящаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и деятельными членами человечества. Возбуждение к практической деятельности — вот назначение историка».

Один из современников удачно назвал Грановского «профессором по преимуществу». Действительно, именно в университете, на кафедре, он состоялся как личность, более того, — как исторический деятель. И все же только этим роль Грановского в истории русского общественного движения не исчерпывалась: он чрезвычайно много сделал для развития этого движения в целом и для становления российского западничества в особенности. При этом характерно, что сам Грановский на лидирующую роль где бы то ни было и в чем бы то ни было нисколько не претендовал. Все

дело было в условиях эпохи и в удивительно симпатичной и благородной натуре Грановского...

Я уже писал выше о кардинальных различиях между политической партией и дружеским кружком, объединяющим людей, стремящихся сохранить свою внутреннюю свободу. В любой политической партии начала XX века человек с характером и устремлениями Грановского неизбежно был бы на вторых ролях. В среде же «людей 1840-х» его почти не с кем сравнить в плане организующей, консолидирующей деятельности. А.И. Герцен написал по этому поводу несколько строк, которые прекрасно характеризуют и самого Грановского, и его роль в обществе, и те требования, которые предъявляло общество 1840-х годов к своим лидерам: «Грановский был одарен удивительным тактом сердца. У него все было далеко от неуверенной в себе раздражительности, так чисто, так открыто, что с ним было удивительно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного „все равно“. Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех „волосных“, нежных, бегущих шума и света сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним не страшно было говорить о вещах, о которых трудно говорить с самыми близкими людьми... В его любящей и покойной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик самолюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись...»

Все сказано верно и точно. Буквально сразу же после возвращения из-за границы в 1839 году Грановский начал играть роль миротворца, с удивительным тактом стабилизирующего человеческие отношения, иной раз почти безнадежно испорченные. Так, Грановский не только спас от полного развала кружок Станкевича, переживавший после ранней кончины своего лидера очень тяжелые времена, но и способствовал его выходу на новый уровень бытия. Грановский стал связующим звеном между остатками кружка — В.Г. Белинским, В.П. Боткиным и другими — и своими коллегами по университету, блестящими молодыми профессорами-гегельянами Д.В. Крюковым, П.Г. Редкиным, Н.И. Крыловым. Так, на переломе 1830–1840-х годов и родилось западничество... Именно Грановский на какое-то время крепко привязал к этому направлению А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Мало того, Грановский какое-то время довольно легко находил общий язык с вечными оппонентами западничества — славянофилами (с братьями Киреевскими во всяком случае).

И не вина Грановского, а общая беда, порожденная особым характером николаевской эпохи, что это столь желанное единство надолго сохранить не удалось. Лишенная возможности в какой бы то ни было степени реализовать свои взгляды, занятое прежде всего острыми, захватывающе интересными, но бесплодными дискуссиями, задыхающееся в своем узком, искусственно ограниченном кругу «образованное меньшинство» было обречено на распад.

«Рано или поздно действительность догонит мысль...»

В конце 1844 — начале 1845 года произошел полный разрыв между западниками и славянофилами (причем ссора была такой силы, что чуть не привела к дуэли между людьми, которые, казалось, воплощали в себе дух миролюбия, — Грановским и Петром Киреевским). Затем, в 1846 году, порвались духовные связи между Грановским и другими умеренно настроенными западниками, мечтавшими о мирном приобщении России к современной им западной цивилизации, с одной стороны, и западниками-радикалами, жаждавшими социального переворота, — с другой.

Этот последний разрыв Грановский переживал очень тяжело, как личную драму. Действительно, после потери радикального крыла (Герцен с Огаревым вскоре эмигрировали, а Белинский умер) западничество измельчало. Рядом с Грановским не осталось ни одного человека его уровня, и «шепелявый профессор», хоть и постоянно окруженный студентами, стал ясно ощущать свое духовное одиночество. В то же время с конца 1840-х годов в связи с европейскими революциями резко усилились гонения власти на «образованное меньшинство»; под особый надзор попали Москва, Московский университет, прогрессивно настроенная профессура. До открытых репрессий дело не дошло, но разнообразных придинок было великое множество. Грановскому, в частности, суждено было пройти «испытание в законе нашем» (т.е. в православной вере) перед московским митрополитом Филаретом. Все обошлось благополучно, но противно было донельзя...

Все это, несомненно, ускорило кончину Грановского, человека чрезвычайно впечатлительного и легко уязвимого. «Не одни железные цепи перетирают жизнь», — справедливо писал по этому поводу Герцен. 4 октября 1855 года Грановский скончался. Он умер, пережив на полгода Николая I, накануне перемен, успев ощутить, пусть и смутно, то «движение внутренних пластов истории», о котором он так вдохновенно говорил в своих лекциях и для свершения которого сам сделал немало. «Хорошо умереть на заре» — такими словами со свойственным ему красноречием откликнулся на смерть своего старого друга Герцен.

АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРАЕВСКИЙ

«Нужно знать, что
думает Россия о своих
общественных
интересах...»

Андрей Александрович Краевский (1810–1889), журналист и издатель известнейших периодических изданий, имел полное право сказать, что его биография запечатлена в рукописях, которые он редактировал и издавал в течение пятидесяти лет. Краевский, начинавший в скромной должности корректора, к концу своей карьеры заслужил звания «Патриарха, Мафусаила, Нестора русской журналистики», «руководителя общественного мнения в течение полстолетия». Трудолюбие Краевского, его умение ладить не только с авторами, но и с властями, личное везение, пожалуй, объясняют успех его изданий, сопутствовавший им и в «замечательное десятилетие» 1838–1848 годов, и в последовавшее за ним «мрачное семилетие», и в эпоху Великих реформ — вплоть до воцарения Александра III. Сама история жизни Краевского во многом история его журналов и газет.

Выпускнику Московского университета Андрею Краевскому, побочному сыну дочери екатерининского вельможи полицмейстера Архарова, давшего жизнь понятию «архаровцы», пришлось приложить немало усилий для того, чтобы не остаться обычным чиновником. После недолгой службы в московской гражданской канцелярии он был направлен в канцелярию Владимирского губернского правления, однако сумел попасть в Петербург, как он сам говорил, «с радужными надеждами, но в единственных старых штанах». Все, на что в начале 1832 года мог рассчитывать двадцатидвухлетний Краевский, — место незначительного канцелярского чиновника и частные уроки. Однако хорошее образование (философский факультет) и талант педагога сравнительно быстро сделали Краевского известным не только в литературных кругах, но и в высшем свете. Через четыре года Краевский получил преподавательскую должность в Пажеском корпусе, работу в Археографической комиссии; стал сотрудничать в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара. Впрочем, для его дальнейшей судьбы важнее оказалось то, что он стал корректором в пушкинском «Современнике» — конкуренте журналов литературных «братьев-разбойников» Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина.

В 1837 году Краевский — редактор «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“». Именно здесь и благодаря Краевскому на фоне общего

молчания русской прессы прозвучал единственный опубликованный (а ныне хрестоматийный) некролог на смерть Пушкина «Солнце русской поэзии закатилось!». В дальнейшем Краевский станет единственным прижизненным публикатором «дозволенного» и одним из распространителей «недозволенного» Лермонтова. Именно через Краевского общество узнало его знаменитое стихотворение «Смерть поэта».

Взлет «Отечественных записок» — журнала, история которого становится «историей всей русской литературы на протяжении полувека», — пожалуй, самая большая заслуга Андрея Краевского. Он реализовал идею, в «торговый» период русской литературы владевшую многими: создать журнал, одновременно популярный и качественный. В эпоху, когда Булгарин и Греч топили конкурентов всеми доступными способами, когда император Николай ставил на прошениях об издании новых журналов категоричное «и без того много», Краевский придумал удачный ход. Он выкупил право на издание захиревшего журнала «Отечественные записки» у благонамеренного, умеренно-патриотичного издателя П.П. Свинына, избежав таким образом убийственной волокиты с получением разрешения на новый журнал.

Первые известия о подготовке новых «Отечественных записок» относятся к лету 1838 года. Тогда Краевский писал критику и публицисту В.С. Межевичу: «Составляется уже компания денежная для издания... журнала под моею редакциею (высочайшее позволение мы уже имеем), и собираются сотрудники... Это последняя надежда честной стороны нашей литературы; если „Отечественные записки“ не будут поддержаны, то владычество Сенковского, Булгарина, Полевого и прочей сволочи утвердится незыблемо, и тогда горе, горе, горе!» В упомянутую «компанию денежную для издания» Краевский привлек людей самых разных воззрений и вкусов. Достаточно сказать, что с помощью одного из соучредителей В.А. Владиславлева (издателя альманаха «Утренняя заря» и адъютанта в корпусе жандармов) журнал «Отечественные записки» первое время распространялся при содействии III отделения.

Основные цели и задачи «Отечественных записок» подробно изложены в письме Краевского писателю Г.Ф. Квитко-Основьяненко: «Назначение „Отечественных записок“, цель их совершенно особенные от других, книгопродавских журналов. Это издание, которое восстановило бы в отечественной литературе права здравого вкуса, уничтожило бы это убийственное пренебрежение ко всему, что только есть высокого в искусстве и в науке, и останавливало бы низкие попытки литературных промышленников обманывать публику взаимным восхвалением своих жалких талантиков, которые скорее годились бы на дело торговое, чем литературное, а известно: торговля и литература — огонь и вода, холодный расчет и пылкое чувство, коварство и благодушие — вещи несовместимые».

Девиз на латинском языке, помещенный на первой странице обложки «Отечественных записок», в русском переводе звучит так: «Истинно

блаженны те, кто внимает не голосу, звучащему на площадях, но голосу, в тиши учащему истине».

П.В. Анненков вспоминал, как Краевский добивался возможности «противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями». «Клич, который он тогда кликнул с одобрения самых почетных лиц петербургского литературного мира ко всем, еще не попавшим под позорное иго журнальных феодалов, отличался, — замечал Анненков, — и очень верным расчетом, и признаками полной искренности и благонамеренности».

В Москве даже литераторы консервативно-славянофильского толка восприняли программу «Отечественных записок» как «слишком благонамеренную». Но в этом и проявился Краевский-дипломат. Он играл с бюрократической машиной по правилам николаевской эпохи: главное — запустить журнал, и тогда останавливать его будет довольно непросто. Действительно, журнал пережил немало цензурных бурь и был потоплен охранителями (и то «с некоторой боязливостью») только в 1884 году.

Выход первого номера «Отечественных записок» 1 января 1839 года напоминал первый спуск на воду хорошо оснащенного и вооруженного корабля: это была «книжица» вдвое толще самой популярной тогда «Библиотеки для чтения» О.И. Сенковского. Соучредитель журнала И.И. Панаев по этому поводу приводил строку из пушкинской «Осени»: «Громада двинулась и рассекает волны...»

Сильная сторона «Отечественных записок» заключалась в том, что литераторы разных поколений сумели сделать содержание журнала более разнообразным по сравнению с его главным конкурентом — «Библиотекой для чтения» Сенковского, имевшей не менее 5000 подписчиков. «В возобновленных „Отечественных записках“, — писал Панаев, — допевали свои лебединые песни лучшие из наших беллетристов и блистательно начали свои дебюты молодые люди, только что вступившие на литературное поприще». Например, в 1839 году в журнале печатались произведения В.Ф. Одоевского, В.А. Соллогуба, М.Ю. Лермонтова, В.И. Даля, А.В. Кольцова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского. Потом будут Ф.М. Достоевский, А.Ф. Писемский, Т.М. Грановский, А.И. Герцен, М.Н. Катков... Краевский сумел привлечь в возрожденный «толстый» журнал лучших авторов — от В.А. Жуковского до подающей надежды молодежи из круга московских западников, в том числе В.Г. Белинского.

Картинка эпохи: на Невском проспекте Фаддей Булгарин впервые встречается с только приехавшим из Москвы Виссарионом Белинским и, с любопытством осматривая его щуплую фигуру с головы до ног, произносит: «А! Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?» Позже Белинский будет возмущаться жесткой требовательностью Краевского: «Краевский стоит с палкою и погоняет...» Но сам же и признает: «И то сказать, без этой палки я не написал бы никогда ни строки...»

Отношение Краевского к сотрудникам как к «пролетариям умственного труда», обязанным по точно данным указаниям вовремя поставлять

«Нужно знать, что думает Россия о своих общественных интересах...»

известное количество качественной работы, не всем было по вкусу. Тем не менее именно такое отношение формировало дисциплину интеллектуальной деятельности и создавало журналистов-профессионалов, уважающих и себя, и читателей. «Брось он журнал, — признавался Белинский, — и у него будет прекрасное место, деньги, чины... Но его Бог наказал страстью к журналистике... Это человек, который из всех русских литераторов один способен крепко работать и поставить в срок огромную книжку, способен один талантливо отваять Греча, Булгарина или Полевого... Наконец, это честный и благородный человек, которому можно подать руку, не боясь запачкать ее».

Конкуренты не раз пытались применить против Краевского испытанное оружие — доносы (мол, хитрец Краевский «умнее Марата и Робеспьера» и прячет в толще своих изданий «идеи коммунизма, социализма и пантеизма»). Но издатель «Отечественных записок» хорошо изучил противника и заранее подготовился к такому повороту событий. В числе «соучредителей», т.е. пайщиков журнала, были старший чиновник II отделения Б.А. Враский и адъютант шефа жандармов Л.В. Дубельт В.А. Владиславлев. Это оказалось надежным защитным ходом: в самых напряженных ситуациях Дубельт мог вызвать Краевского и «намылить голову за либерализм», но в итоге объявить, что «ничего из этого не будет...». Позже Булгарин сменил (точнее, разнообразил) тактику: он предложил Краевскому просто «присоединиться к союзу журнальных магнатов и сообща с ними управлять делами литературы». Краевский, как тогда говорили, «устранил предложение».

Борьба с «торговым направлением» журналистики, не стесняющимся писать на конкурента доносы в III отделение, приносила, как это ни странно, доход. Число подписчиков журнала составило 8000 — огромная цифра для России того времени. И тогда Краевский принялся за работу с газетами. В результате — всплеск успеха «Русского инвалида» в 1843–1852 годах, а затем превращение «Санкт-Петербургских ведомостей» из вялого академического листка в прекрасную газету, к тому же приносящую официальному издателю — Академии наук — 50 000 рублей годового дохода. Число подписчиков выросло до небывалого уровня — 12 000 (для сравнения: сверхпопулярный «Колокол» имел в лучшие годы 3000). Небывалое процветание газеты академические мужи отнесли исключительно к достоинствам самой академии и по истечении срока договора с Краевским в 1862 году поспешили подыскать нового арендатора, общественно-политическую газету. Идея немислимая в предшествующую николаевскую эпоху и весьма непростая по исполнению в эпоху «гласности».

Андрей Краевский хотел назвать новую газету «Голос народа», и, хотя такое название не разрешили, выраженная в нем идея издания не изменилась. «Нужно знать, что думает Россия о своих общественных интересах, что ей нравится, что не нравится, что ею отвергается, — писал Краевский. — Мне кажется, что настала пора проявления своих нужд и стремлений, своего горя и радости, а гласным органом служит пока только журналистика».

Выходу газеты способствовали связи Краевского в высших слоях петербургской либеральной бюрократии. Издатель понимал, что высшие чиновники, «константиновцы» (т.е. приверженцы лидера либерального лагеря великого князя Константина Николаевича), сменившие «николаевцев» на самых ответственных постах, должны искать способ влияния на общественное мнение через прессу. И он был готов к сотрудничеству с либералами в правительстве.

«Насколько сил хватит у русского печатного органа, — писал Краевский своему старому другу В.Ф. Одоевскому, — он должен поддерживать всякую прогрессивную меру правительства, выражая собой одобрение лучшей, образованнейшей части общества, и побивать всеми своими кулаками всякое поползновение к ретроградности».

В итоге его идею об издании газеты поддержали министр внутренних дел П.А. Валуев, министр финансов М.Х. Рейтерн и особенно министр народного просвещения А.В. Головнин, предложивший Краевскому помощь в первый же день своего назначения на министерский пост. Валуев добился высочайшей поддержки начинания Краевского, рапортуя, что издатель «согласен подчиниться влиянию III отделения и Министерства внутренних дел, если ему будет оказано пособие...», а Головнин окончательно определил на содержание газеты весьма приличную сумму — 12 000 рублей в год. Деньги выдавались «помесячно, регулярно, безотчетно». Он же редактировал программу газеты, появившуюся в первом номере «Голоса» 1 января 1863 года. «Мы стоим за деятельную реформу, — говорилось в ней, — но не желаем скачков и бесполезной ломки... Мы не хотим льстить правительству, не желаем льстить и народу, не намереваемся заискивать в той среде, которая известна под именем «юной России» (т.е. радикалов. — Д.О.)... Постараемся усвоить те обильные последствия блага, которыми дело реформы успело уже обозначиться...» Огарев из эмиграции отозвался на это довольно зло: «Голос влажный, голос невский; Головнинский, валуевский; Издает Андрей Краевский...»

Не менее желчно реагировали голоса «справа» — конкурент от консерватизма М.Н. Катков, издатель «Московских ведомостей», извещал читателей и о сумме, и о времени ее выдачи Краевскому, обвинял «Голос» в официозности, а значит, в подкупе. В ответ Краевский заявлял, что «официоз» лучше «полуофициоза», намекая на то, что и катковская газета имеет своих покровителей (в частности, увековеченного А.К. Толстым Тимашева). Газетно-публицистическая война Краевского и Каткова, «Голоса» (23 000 подписчиков) и «Московских ведомостей» (6000 подписчиков) была войной двух направлений внутренней политики — либерального и консервативного.

В действительности Андрей Краевский не был марионеткой высшей бюрократии. Он умело находил сторонников на самом верху пирамиды власти и не мешал им думать, что они направляют политику газеты. При этом Краевский мог и избегать официального курса. Недаром министр внутренних дел Валуев в секретной переписке с министром финансов

«Нужно знать, что думает Россия о своих общественных интересах...»

Рейтерном обвинял Краевского в «некотором уклонении» от того направления, «которое обязательно для газеты, получающей правительственную субсидию», и просил приостановить выдачу денег для «Голоса» в качестве наказания. Именно Валуев, отчаявшись в установлении полного контроля над Краевским, добился полного прекращения государственного финансирования «Голоса» после 1865 года. В том же 1865 году Краевский был «удостоен чести» получить одно из первых цензурных предостережений, согласно новым правилам о печати. Спустя год, когда цензура вновь набрала силу, он, также один из первых, подвергся судебному преследованию и попал под «строгий домашний арест» за публикацию статей о положении раскольников (всего за время выхода газеты Краевский получил более шестидесяти цензурных взысканий). Однако к этому времени Краевский уже добился устойчивого финансового положения и создал корреспондентскую сеть не только в столицах, но и в провинции и за рубежом. Он же стоял у истоков первого информационного агентства печати в России — Русского телеграфного агентства (РТА), созданного в 1866 году. Многие материалы изданий Краевского начинаются словами о том, что информация получена из первых уст: «мы слышали», «нам говорят»...

В «Голосе» постоянно сотрудничали самые именитые авторы. «В доме на Литейном, — вспоминает очевидец, — в этой редакции можно было встретить не только одних генералов литературных, но и настоящих генералов». В «Голосе» печатались даже министры (настоящие и будущие) — как Победоносцев, Валуев, Дмитрий Милютин, Головин, Тимашев...

Осведомленность «Голоса» иногда приводила к курьезам. Например, в начале 1873 года газета объявила о готовящейся реорганизации Министерства государственных имуществ, Министерства внутренних дел и III отделения. Министр внутренних дел узнал об этом только из «Голоса», связался с министром государственных имуществ и выяснил, что тот вообще ничего не знает. Министры настояли на публикации официального опровержения сведений, и тут об упомянутой реорганизации открыто заговорили император и шеф жандармов.

За рубежом «Голос» Краевского считали официозом русского Министерства иностранных дел, причем в конце 1870-х годов именно в этом качестве министр Горчаков и лично Александр II рекомендовали газету Бисмарку.

Связи Краевского в бюрократических верхах и наличие корреспондентов по всей России позволили газете стать авторитетным изданием сторонников реформ «без скачков и бесполезной ломки». «Прошу писать так, как будто цензура не существовала, мне нужно знать дело так, как оно происходило в действительности», — обращался Краевский к авторам и корреспондентам. «Продолжайте писать в этом направлении, хотя бы это стоило мне тысячи подписчиков» — это было сказано в 1876 году, в дни патриотического восторга, связанного с грядущим победным «переигрыванием» на Балканах Крымской войны. Краевский был против вовлечения России в войну, поскольку предвидел, что внешний успех будет куплен

ценой больших потерь, внутреннего экономического и политического кризиса, дипломатических поражений от Европы...

Опасения Краевского сбылись: Россия на рубеже 1870–1880-х годов испытала тяжелые потрясения, названные много позже «второй революционной ситуацией». В эти трудные годы Краевский и «Голос» выступили на стороне «диктатуры сердца» М.Т. Лорис-Меликова, поддержали политику министра и повели осторожную пропаганду «модернизации государственного строя путем привлечения к законодательству выборных представителей». Чаения первых деятелей российского самоуправления Краевский знал и передавал не понаслышке, а как гласный Петербургской городской думы (с 1879 года).

После убийства Александра II Краевский оказался одним из тех немногих, кто не побоялся возложить часть вины за «гнусные злодеяния последних дней» на правительство, и газета получила очередное цензурное предупреждение. Для Александра III Краевский был представителем враждебной партии реформаторов, одним из олицетворений «зареформированной» эпохи. «И поделом этому скоту...» — было собственноручно начертано императором на всеподданнейшем докладе о предупреждении «Голоса» за «вредное направление». Оно, по мнению власти, выражалось как в «суждениях о существующем государственном строе», так и в «подборе и неверном освещении фактов», долженствующем «породить смуту в умах». О соредакторе Краевского в 1871–1883 годах В.А. Бильбасове царь отозвался в том же духе: «Тот самый скот, который вместе с Краевским издавал „Голос“...» Как тут не вспомнить реакцию Александра III на конституционную попытку Лорис-Меликова: «Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?..»

Согласно новым «Временным правилам о печати» 1882 года, издание «Голоса» было приостановлено на полгода после получения третьего за год цензурного предупреждения. Краевский снова стал первым в ряду тех издателей, к кому была применена новая мера наказания. По истечении полугодия Краевскому было предложено представлять каждый номер газеты в предварительную цензуру, и не позже одиннадцати часов вечера накануне дня выхода газеты в свет. Это было убийственное правило: оперативность, главное достоинство ежедневной газеты, сводилась этой охранительной мерой на нет. Усиливший свое влияние в верхах Катков, давний конкурент Краевского, попытался сделать «Голос» своим филиалом. Он писал влиятельному Е.М. Феоктистову, начальнику Главного управления по делам печати: «При всей гнусности своей, благодаря интригам, „Голос“ стал большой силой, и было бы, конечно, хорошо овладеть этой силой и направить ее иначе». Эту идею поддержал и новый министр внутренних дел Д.А. Толстой. Уже начал тайно составляться капитал для покупки газеты «вместе с потрохами» (типографией). Но Краевский газету не продал и похоронил ее со всеми возможными приличиями. «Голос» прекратил свое существование не в громовых раскатах скандала, а как бы «в своей постели» — как издание, «не появлявшееся в качестве периоди-

«Нужно знать, что думает Россия о своих общественных интересах...»

ческого в течение более года» (так гласило официальное постановление).

Семьдесят три года, миллионный капитал (Краевский был одним из крупнейших владельцев акций Царскосельской железной дороги) — казалось бы, самое время, чтобы насладиться покоем, и не под петербургским солнцем. Но Краевский выбирает новое поприще общественной деятельности. В качестве председателя комиссии по народному образованию при Петербургской городской думе он буквально вступает в борьбу с властями за каждый грош для народных школ. Не может выбить ассигнований — помогает школам собственными средствами. И в итоге: вместо 16 школ — 260, вместо 1000 учащихся — 15 000! И до начала тяжелой болезни (в 1886 году) Краевский осуществляет контроль над проведением уроков и экзаменов и одновременно заботится о праздниках, елках, увеселениях...

В память о Краевском остались учрежденные им стипендии студентам-юристам Московского и Петербургского университетов, капиталы для Общества поощрения художеств и Литературного фонда (Краевский был одним из организаторов Общества для пособия нуждающимся литераторам). Богатая библиотека Краевского перешла по завещанию городским училищам. Все документы о долгах Краевскому (а должников исчисляли тысячами) были объявлены недействительными...

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
ГЕРЦЕН

«Свобода лица —
величайшее дело; на ней
и только на ней может
вырасти действительная
воля народа»

В свое время большевистские пропагандисты немало преуспели в том, чтобы записать русское свободомыслие XIX века в собственную, коммунистическую родословную. Декабристы, Герцен, демократическое разночинство — все это, оказывается, служило лишь необходимым прологом к появлению ленинского, а затем сталинского большевизма. Следует признать, что это было неглупо задумано и с усердием реализовано. Последствия подобной фальсификации ощущаются и сегодня: многие относящие себя к либералам, например, до сих пор с некоторым подозрением относятся к Герцену, смутно припоминая его критический взгляд на современную ему Европу, а также приверженность некоей «русской общинности». Пора наконец признать, что политическая реабилитация жертв большевизма, при всей своей непоследовательности и неполноте, все же значительно опередила у нас процесс интеллектуальной реабилитации тех, чьи убеждения, вера, борьба были противоправно искажены коммунистическим агитпропом и встроены в контекст чуждой большевистской традиции. И одним из первых в ряду тех, кто нуждается в подобной реабилитации, стоит Александр Иванович Герцен (1812–1870) — выдающийся мыслитель, политик и публицист.

А.И. Герцен родился 6 апреля 1812 года в Москве. Он был внебрачным сыном богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гааг, которую отец Герцена, возвращаясь после многолетнего путешествия по Европе, взял с собою. В 1833 году Александр Герцен окончил Московский университет со степенью кандидата и серебряной медалью. В следующем году за участие в молодежных кружках его арестовали, и девять месяцев молодой человек провел в тюрьме. Он вспоминал: «Нам прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки». Ссылку Герцен отбывал в Перми, Вятке, Владимире и Новгороде. В 1842–1847 годах жил в Москве, где занимался литературной деятельностью; с 1847-го — в эмиграции. Скончался Александр Иванович от пнев-

монии, 21 января 1870 года в Париже, не дожив до пятидесяти восьми лет. Похоронен в Ницце, рядом с рано умершей женой Н.А. Захарьиной...

Еще в ранней своей работе «Двадцать осмое января» (1833) Герцен задавался ключевым для цивилизационной идентификации России вопросом: «Принадлежат ли славяне к Европе?» И недвусмысленно отвечал: «Нам кажется, что принадлежат, ибо они на нее имеют равное право со всеми племенами, приходившими окончить насильственной смертью дряхлый Рим и терзать в агонии находившуюся Византию; ибо они связаны с нею ее мощной связью — христианством; ибо они распространились в ней от Азии до Скандинавии и Венеции».

Но далее с необходимостью вставал другой вопрос: если существует славяноевропейское генетическое сродство, почему так велико и разительно различие между наличной Россией и Европой? В той же работе 1833 года автор развивает мысль о том, что дело — в существенном отставании во времени, обусловленном не только неблагоприятными факторами развития России, но и чрезвычайно благоприятными факторами развития Европы. Среди последних Герцен, находившийся тогда под влиянием классической немецкой диалектики, особо выделял следующее обстоятельство: в отличие от России Европа развивалась в условиях столкновения многообразных противоречий, которые и «высекали искры прогресса». «Доселе развитие Европы была непрерывная борьба варваров с Римом, пап с императорами, победителей с побежденными, феодалов с народом, царей с феодалами, с коммунами, с народами, наконец, собственников с неимущими. Но человечество и должно находиться в борьбе, доколе оно не разовьется, не будет жить полною жизнью, не взойдет в фазу человеческую, в фазу гармонии, или должно почить в самом себе, как мистический Восток. В этой борьбе родилось среднее состояние, выражающее начало слития противоположных начал, — просвещение, европеизм». Итак, только в борьбе противоречий и складываются прогресс, просвещение, европеизм, развитая цивилизация.

Двойственность России, таким образом, состоит в том, что, будучи по происхождению частью европейской цивилизации, она, лишенная исторического динамизма, «сложившаяся туго и поздно», не развилась в Европу. В силу особенностей своего географического положения («огромное растяжение по земле») и истории Россия оказалась более склонна к «восточному созерцательному мистицизму» и «азиатской стоячести»: «В удельной системе не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю... Двухвековое иго татар способствовало России сплавить в одно целое, но снова не произвело оппозиции. Основалось самодержавие — а оппозиции все не было».

Эта же мысль об односторонности и дефицитности продуктивного противоречия в русской жизни будет впоследствии прослеживаться в работе «О развитии революционных идей в России»: «В славянском характере есть что-то женственное; этой умной, крепкой расе, богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии. Сла-

вянской натуре как будто недостает чего-то, чтобы самой пробудиться, она как бы ждет толчка извне».

Именно здесь находил молодой Герцен разгадку того мощного цивилизационного импульса, который был задан российскому обществу преобразованиями Петра Великого — человека «с наружностью и духом полуварвара», но «гениального и незыблемого в великом намерении приобщить к человеческому развитию страну свою». Гений Петра, по Герцену, заключается именно в том, что он впервые породил в России оппозицию... в своем собственном лице: «Явился Петр! Стал в оппозицию с народом, выразил собою Европу, задал себе задачу перенести европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь». Бесспорная заслуга этого царя — в честном осознании бесперспективности косной московской Руси, в понимании необходимости ее «очеловеченья»: «В этом невежественном, тупом и равнодушном обществе не чувствовалось ничего человеческого. Необходимо было выйти из этого состояния или же сгнить, не достигнув зрелости».

Принято считать, что Герцен долгое время оставался в России одним из лидеров «западнической партии». Но, как представляется, изначальный выбор в пользу «западничества» служил для него не столько рычагом односторонней и тотальной победы над «самобытниками», сколько способом наиболее результативного решения проблемы продуктивного синтеза в России «новации» и «традиции». Ведь не зря он неоднократно подчеркивал двуединство комплекса «западничество — славянофильство» и то глубинно-общее, что объединяло «друзей — недругов»: «Головы смотрели в разные стороны — сердце билось одно».

По всей видимости, раннего Герцена не устраивала в «славянофильстве» вовсе не защита «традиции» как таковой, а неконструктивность упора на реанимацию порушенной и к тому же мифологизированной традиции, неспособность славянофилов продуктивно разрешить потенциально живительное противоречие «традиция — новация». Западник Герцен и сам не утаивал свою основную претензию к славянофильству: он видел в нем скорее «инстинкт» и «оскорбленное народное чувство», нежели полноценное «учение» или — тем более — «теорию». Поэтому и «западничество» для него имело смысл не столько как партия, добивающаяся одностороннего выигрыша, сколько как более осмысленный (т.е. более рациональный), чем у славянофилов, путь к достижению продуктивной интегральной формулы в конфликте традиции и новации. Ведь изначальная посылка русских западников, по мнению Герцена, исторически бесспорна: «Кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». А потому более осмысленна и плодотворна и конечная цель «европейцев»: «Европейцы... не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников».

В связи с этим уже у молодого Герцена резко вычерчивается и критическая по отношению к царю-реформатору линия: петровская практика «варварской борьбы против варварства» не в состоянии была обеспечить

«Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа...»

искомой «человеческой вольности». Насильственное озападнивание, европеизация «из-под кнута» ведет не к свободе, а к утрате последних остатков русской свободы: «Гнет, не опирающийся на прошедшее, революционный и тиранический, опережающий страну, — для того чтоб не давать ей развиваться вольно, а из-под кнута, — европеизм в наружности и совершенное отсутствие человечности внутри — таков характер современный, идущий от Петра». Отсюда вывод: насильственное насаждение на Руси Европы не привело к европейскому результату — свободе личности. Как ранее «азиатская» безальтернативность давила русского человека, так ныне реформаторская «безальтернативность», убившая потенциал животворного диалога нового со старым, парализовала становление российской личности...

Но если Петр все-таки затеял с Россией сложнейший культурный эксперимент с определенными шансами на выигрыш, то его менее талантливые и творческие преемники быстро растранили доставшееся им наследство. Вместо насилия во имя все-таки просвещения от петровского замысла осталось голое, бессмысленное насилие. В работе «Молодая и старая Россия» (1862) Герцен констатирует окончательное вырождение послепетровской государственности — не только в годы «николаевщины», но и в период «александровских метаний»: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не львиный, а телячий... Неурядица в России и лихорадочное волнение идет оттого, что правительство хватается за все и ничего не выполняет, что оно дразнит все святые стремленья человека и не удовлетворяет ни одному, что оно будит — и бьет по голове проснувшихся».

Вопреки распространенному мнению, будто Россия — страна по природе своей предельно консервативная, Герцен — одним из первых — заметил, что беда ее заключается, напротив, в практическом отсутствии культурного консерватизма в точном смысле слова: «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России. Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить». Сама российская государственность предстает у него не оплотом традиции, а разнородным и полным противоречий «разностильным зданием» — «без архитектуры, без единства, без корней, без принципов»: «Смесь реакции и революции, готовая и продержаться долго, и на завтра же превратиться в развалины».

Нестандартность мышления Герцена состояла в том, что он — безусловный европеист по культуре — не страшился указывать на издержки и опасные следствия принудительной и потому поверхностной европеизации России.

Отход его от прямолинейного западничества не означал перехода в славянофильский лагерь. В отличие от славянофилов Александр Иванович до конца остался резким критиком допетровской Руси. Главным критерием его оценок оставался все тот же — наличие в обществе «свободы лица»: «У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось

даже выступить, — говорится в работе «С того берега» (1849). — Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине». Еще энергичнее косность древней Московии описана в работе «О развитии революционных идей в России»: «Нельзя не отступить в ужасе перед этой удушливой общественной атмосферой, перед картиной этих нравов, являвшихся лишь безвкусной пародией на нравы Восточной империи».

Однако и петровское насаждение сверху европейских порядков не привело в России к существенному расширению личной свободы: «Все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписаное, нравственно обуздывающее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло». Герцен формулирует знаменитый парадокс, который потом очень часто использовался русскими антизападниками, но который свидетельствует лишь о последовательном либерализме Герцена, ставящего «человечность» выше формальной принадлежности к западной партии: «Рабство, — писал он, — у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо». Человеческая личность в России оказалась стиснутой двумя формами несвободы — принудительной азиатчиной старой Московии и принудительным же европеизмом послепетровской России: «Кнудом и татарами нас держали в невежестве, топором и немцами нас просвещали, и в обоих случаях рвали нам ноздри и клеймили железом».

В огромной литературе об А.И. Герцене ключевым моментом эволюции его политических взглядов неизменно считается «разочарование в Европе». Что же так неприятно поразило этого западника при встрече с реальной Европой? В работе «Концы и начала» (1862) он сам написал об этом, и его умонастроение выдает в нем несомненного либерала: «Я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел на беспрестаннодвигающуюся, кишашую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух... Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада, в общем потоке». По существу, он уловил первые дуновения грядущих тоталитарных форм общества, возросших там, где европейские принципы свободы утрачивали свой иммунитет перед натиском «массового общества». Эти размышления, кстати, созвучны опасениям самих европейских либералов, например современника Герцена Джона Стюарта Милля. В своем знаменитом эссе «О свободе» Милль приходит к выводу: в развитии каждого европейского народа, похоже, «есть предел, после которого он останавливается и делается Китаем». Культурное упрощение Европы, жизнь, заполненная не творческими стремлениями, а «пустыми интересами», приводит, согласно и Миллю, и Герцену,

«Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа...»

к «новой китайщине». Мещанская цивилизация, утрачивая былой импульс к развитию, может привести к полному стиранию человеческого лица, ко всеобщей нивелировке наподобие старой «азиатчины».

По сути дела, Герцен стал одним из первых европейских мыслителей, кто, задолго до Х. Ортеги-и-Гассета, Э. Фромма и Х. Арендт, подверг критике те явления, которые позднее были названы «бегством от свободы» и торжество которых породило в конечном счете европейские формы авторитаризма и тоталитаризма. Оказалось, быть европеистом — не означает безудержно восхвалять «любую Европу». Ответственный европеизм — это в большой степени критика наличной Европы с позиций фундаментальных культурных первооснов Европы, и в первую очередь — с позиции принципов «свободы лица» и личного достоинства.

Сам Герцен отлично понимал, что его постепенно накапливающееся критическое отношение к Западу может сыграть на руку противникам русского европеизма, но интеллектуальная честность для него — выше всего: «Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна». Однако до конца жизни Александр Иванович продолжал ценить Европу именно за это — за возможность свободно высказывать истину. Еще в начале эмиграции, в 1849 году, он писал друзьям, почему сознательно выбирает Европу: «Не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь... Остаюсь затем, что борьба — здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны, борьба открытая, никто не прячется... За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь...» И далее Герцен формулирует принцип, который он пронес через всю жизнь и который позволяет говорить о его несомненной приверженности либеральной идее: «Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе».

А.И. Герцен принципиальным образом различал «демократию» и «мещанство». Известные претензии Герцена — либерала и демократа одновременно — к либералам-охранителям сводились к тому, что те оказались не готовы к демократизации своих либеральных убеждений и фактически потакали «омещаниванию» и «новой китайской стоячести». Да, были времена, когда претензию на свободу личности высказывало лишь образованное меньшинство, и либеральный аристократизм был тогда естествен и оправдан: «Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать

возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина». Но защитники привилегий узкого меньшинства (в том числе и на свободу) оказались в тупике и смятении, когда на авансцену истории явился — «не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле» — «работник с черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот „несчастный, обделенный брат“, о котором столько говорили, которого так жалели, спросил наконец, где же его доля во всех благах, в чем его свобода, его равенство, его братство».

Герцен, не оставляя своих либеральных убеждений (их основа по-прежнему — «свобода лица»), был готов принять этот вызов демократизма — его идеалом общественного служения всегда оставались «политические дон-кихоты» типа Дж. Гарibaldi и Дж. Мадзини. Между тем его русские оппоненты — либералы-государственники К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и др. — предпочли охранение элитарных свобод, теперь уже не только от самовластия верхов, но и от посягательств проснувшихся низов. Результат этого спора внутри либерального лагеря известен: в России не удалось удержать ни демократии, ни либерализма...

Разработка А.И. Герценом концепции «русского социализма», вопреки многим представлениям, нисколько не отлучила его от русско-европейской либеральной традиции. Напротив, «социализм», как он его понимал, — это способ сбережения «свободы лица», форма защиты цивилизации от наступления «новой китайщины». Очень характерно, что во многих работах Герцена «русский социализм» поставлен в один ряд с «американской моделью». Он неоднократно высказывает мысль, что для своего спасения европейская цивилизация должна получить новый импульс со стороны молодых, свежих наций: «Мы ничего не пророчим; но мы не думаем также, что судьбы человека пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся». Для Герцена несомненно, что одна из этих молодых наций, которой принадлежит будущее, — это Северо-Американские Штаты; другой, возможно, станет Россия — «полная сил, но вместе и дикости».

Итак, разочаровавшийся в современной ему Европе Герцен вовсе не отказывается от принципов «свободы лица», как хотели представить дело его антизападнические, в том числе большевистские интерпретаторы. Он оказывается вовлечен в общеевропейский кризис жизни и сознания и — вместе с западными мыслителями — настойчиво ищет пути разрешения этого кризиса, ибо, по его глубокому убеждению, исход борьбы «старого европеизма» и «новой китайщины» еще вовсе не предрешен. Спасти личностное начало или окончательно утратить его — процесс вероятностный, и Герцен неоднократно подчеркивает, что все зависит от способности свободных личностей противостоять давлению среды и принудительной нивелировке. Позднее выдающийся русский либеральный

«Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа...»

мыслитель П.И. Новгородцев особо подчеркивал это достоинство герценовской мысли — приоритет открытости и вероятности истории перед верой в заранее сконструированный общественный идеал. Действительно, Герцен так оценивал состояние и политические перспективы Европы: «Эпоха линянья, в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога, — там трещина, тут трещина... Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно...» Будучи внимательнейшим аналитиком европейской жизни, Герцен предельно конкретен: «Вопрос действительно важный, до которого Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь?.. А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии... Вопрос этот разрешат события — теоретически его не разрешишь. Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы».

Размышления о судьбе Европы всегда оборачивались для Александра Ивановича выражением боли за те «колоссальные уродства», которым подвергается человеческая личность в России. В работе «С того берега» (1849) эти мотивы звучат особенно отчетливо. Впрочем, слова, написанные полтора века назад, абсолютно применимы и по отношению к русскому XX веку, да и к сегодняшним дням — в немалой степени: «Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как... Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель... Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору».

В итоге в России, по мысли Герцена, начал доминировать тип «псевдоевропейцев» — людей, которых он часто называл «амфибиями» и главными видовыми признаками которых считал неумение ни сохранить русскую традицию, ни усвоить западную цивилизацию. В поздних «Письмах противнику» (1865) отмечается, что в результате ориентации русского самодержавия на «пруссские образцы» худшие свойства немца приобрели в России гипертрофированное и опасное выражение: «В мешанском мизере немецкой жизни фельдфебельству негде было расправить члены; на русском черноземе благодаря помещицкому закалу оно быстро развилось до заколачивания в гроб и до музыки в шпорах». Герцен определял существо правящего класса в России как сращение «немецкого бюрократа» с «византийским евнухом».

Между тем, по его мнению, не менее опасный тип личности формируется и в среде русской оппозиции. Горестные оценки изуродованной русской личности с особой силой ставили перед Герценом вопрос: кто

же в таких условиях способен в России взять на себя инициативу освобождения? Его очень беспокоил нарождающийся тип человека, в сегодняшнем дне абсолютно «лишнего» и именно поэтому часто готового все растоптать в истовом стремлении в «день завтрашний». Герцен называл эту новую породу русских, появившуюся в годы николаевского безвременья, «желчными людьми», «желчевиками»: «Первое, что нас поразило в них, — злая радость их отрицания и страшная беспощадность... Там, где наш брат останавливался, оттирал, смотрел, нет ли искры жизни, они шли дальше пустырем логической дедукции и легко доходили до тех резких, последних выводов, которые пугают своей радикальной бойкостью. В этих выводах русский вообще пользуется перед европейцем страшным преимуществом — у него нет ни традиции, ни родного, ни привычки». Таким образом, проблема состоит в том, что новый тип русского оппозиционера — прямой результат насильственной, а потому поверхностной и ненадежной европеизации: «Всего безопаснее по опасным дорогам проходит человек, не имеющий ни чужого добра, ни своего. Это освобождение от всего традиционного доставалось не здоровым, юным натурам, а людям, которых душа и сердце были поломаны по всем составам... Чему же удивляться, что юноши, вырвавшиеся из этой пещеры, были юродивые и больные?» Герцен очень опасался, что именно эти «новые люди», которым в России «нечего терять», начнут в скором времени определять будущее страны. К несчастью, он не ошибся...

В каком же направлении Герцен ищет выход из тисков псевдоевропеизации? Его европеистская ипостась не приемлет возвращения назад, в допетровскую Московию. Ведь «кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». Но и идти вперед по дороге, по которой ведет «цивилизатор с кнутом в руке, с кнутом же в руке преследующий всякое просвещение», он не хочет. И приходит к нетривиальному выводу: вернуться надо, но не к «диким формам» допетровской Руси, а к ее преображенному «человеческому содержанию»: «Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству — другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли». Между этими выводами зрелого человека и рассуждениями человека молодого есть разница. Теперь Герцен полагает, что на место волевого усилия «царя-реформатора», которого прежде он искренне считал адекватным заменителем европейской Реформации («у нас целый переворот, кровавый и ужасный, заменился гением одного человека»), должна прийти подлинная Реформация как переосмысление национальных первоисточков — низовой демократии, не покоренной ни «татарством», ни «немецкой».

Фактически именно русскую Реформацию Герцен и называл «русским социализмом». Но и эту стадию он не считает ни обязательной, ни последней: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий,

«Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа...»

до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестной нам революцией... Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение». Прав П.И. Новгородцев: «Самую веру в социализм Герцен растворяет в вечном потоке истории».

Только в этом контексте можно понять его отношение к русской общине. Именно в сложности герценовской позиции лежит разгадка того факта, что спустя несколько десятилетий деятели русского земского движения смогли с полным правом записать Герцена в ряд родоначальников «либерального земства».

Он никогда не идеализировал общину, но не мог не отметить, что община, при всех ее недостатках и даже пороках, — едва ли не единственный институт, который во всех драматических коллизиях русской истории оказывался способным уберечь остатки «свободы лица». В работе «Русский народ и социализм» (1851) перечислены эти несомненные заслуги русской общины в деле сбережения личности от натиска внешних, принудительных форм: «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти...»

А в известных «Письмах Линтону» (1854) автор в наиболее четком виде сформулировал те принципы, которые русская община имеет шанс (именно шанс — не более!) реализовать, чтобы обеспечить в конечном счете свободное развитие личности. Главное здесь в том, что община для Герцена — это возможный фундамент «очеловеченной собственности», народного низового самоуправления и представительства, модель, которую затем необходимо распространить на все общество: «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное самоуправление (selfgovernment) по городам и всему государству, сохраняя народное единство, — вот в чем состоит вопрос о будущем России».

Герценовский расчет на общинное самоуправление как прообраз будущего общенационального гражданского общества оказался несостоятельным. Но это была еще одна попытка ответить на общий вопрос, волнующий русских либералов: как в России пройти между Сциллой Реакции и Харибдой Революции? Как уберечь на этом пути человеческую личность и ее достоинство? «Третий путь» Герцена не реализовался — впрочем, точно так же как и все иные либеральные предложения.

Что ж, Александр Иванович Герцен был абсолютно русским человеком и, несмотря на собственную гениальность, вполне подпадал под им же самим сформулированные гениальные определения русскости: «Нам хочется алхимии, магии, а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами».

ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ
ТУРГЕНЕВ

«Я всегда был
„постепеновцем“,
либералом старого
покроя...»

Исследование истоков и эволюции мировоззрения человека, тем более человека выдающегося, — дело столь же увлекательное, сколь и рискованное. Особенно если речь идет не о кабинетном ученом-теоретике или, например, политике, а о литераторе, гении образного мышления и мастере художественного слова. «Технически» не так сложно проследить истоки образованности, начитанности, даже энциклопедичности знаний Ивана Сергеевича Тургенева. Он с детства свободно владел тремя основными европейскими языками (потом добавил к ним итальянский, испанский, польский, сербский, болгарский), позднее хорошо изучил латынь и греческий, профессионально знал всемирную историю и историю философии. Гораздо сложнее понять историю становления душевного склада, мировосприятия Тургенева.

Известный культуролог Г.С. Кнабе заметил однажды, что «признание Тургенева либералом, а его мировоззрения — либеральным образует одно из самых устойчивых клише истории литературы»: «Оно опирается на признания самого писателя, на суждения современников, на традицию литературоведения и сомнений вызывать не может. Сомнения возникают там, где требуется определить содержание такого либерализма» (выделено мной. — А.К.).

Для верного понимания особого содержания тургеневского либерализма Кнабе настаивает на необходимости учитывать двоякое понимание термина «либерализм» во времена Тургенева, восходящее к аутентичной латинской этимологии этого слова, связанного с понятием «свободы»: *liber* — «свободный» и *liberalis* — «достойный свободного человека». В этом смысле либерал в эпоху Тургенева — это, во-первых, человек, свободный, независимый от диктата власти, а во-вторых, личность, свободная, независимая от господствующих идей времени и диктата общественного мнения, от социальных и политических сил, эти идеи воплощающих.

В таком контексте можно согласиться с Кнабе, что Тургенев был либералом не только и, наверное, не столько в первом, узкополитическом значении, сколько — и главным образом — во втором, глубинном смысле: «Отношение Тургенева к сложившейся универсальной духовной ситуа-

ции — всегда разобщенной, конфликтной, ориентированной на выбор — поражает свободой от предвзятых предпочтений. Он чаще всего стремится не выбирать между полюсами конфликта, а понять каждый, стремится исходить из противостояния, обнаруженного в жизни, а не подчинять ее односторонне понятой ценности — той, которая представляется говорящему более высокой». Но как сформировался этот своеобразный, не корпоративно-партийный, а глубоко личный и нравственно окрашенный либерализм Тургенева?

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 года в Орле, в семейном доме своих родителей: кавалергарда кирасирского полка, участника войн с Наполеоном Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны, урожденной Лутовиновой, — богатой помещицы, наследницы крупного состояния. В 1821 году отец вышел в отставку в чине полковника, и семья оставила Орел, перебравшись на постоянное жительство в имение Спасское-Лутовиново Мценского уезда. Орловская земля навсегда осталась любимой для Тургенева, который провел значительную часть жизни и умер за границей. Биограф Тургенева, писатель Б.К. Зайцев (тоже орловец) полагал даже, что именно «малая родина» обусловила особый язык Тургенева, естественный и вольный: «Фраза шла у него вольно, без длиннот... Фраза будто и незаметная, естественно-кругловатая, без остроты, но и не утомляющая повторением любимых оборотов, — этим именно вольная, как река, та Ока, на которой стоит его Орел... Был и западник, и барин, а вскормлен народом, писание его шло из народной стихии русской, возведенной лишь на верхи. Через него Орел говорит и Ока, но прошедшие сквозь пушкинский мир».

...В истории «эволюции души» каждого человека всегда можно обнаружить вехи, которые обозначают последовательность соприкосновений и сопереживаний с другими людьми — людьми прошлого, даже отдаленного, и людьми настоящего, твоими современниками. В богатом семейном предании древнего рода Тургеневых, происходившего от татарского мурзы Тургена, приехавшего в 1440 году из Орды на службу к московскому великому князю Василию Васильевичу, И.С. Тургенев особенно выделял две фигуры. В 1606 году дворянин Петр Никитич Тургенев бесстрашно обличил в Кремле самозванца Лжедмитрия, за что его пытали и казнили отсечением головы на Лобном месте Красной площади. Другой Тургенев — Тимофей Васильевич, воевода в Царицыне, — был зверски убит в 1670 году в присутствии самого Стеньки Разина: его схватили, надели на шею веревку, привели на крутой берег Волги, прокололи копьем и утопили. Личное самостояние человека, опирающееся на внутреннюю силу, гордость и честь перед лицом как сильных мира сего, так и непросвещенной черни, — вот что выделял Иван Тургенев в обеих этих историях из жизни своих предков.

Что касается современников, то в процессе своего нравственного становления сам Тургенев отмечал прежде всего влияние двух людей — Тимофея Николаевича Грановского и Николая Владимировича Станкевича.

Знакомство с Грановским (еще одним орловцем) состоялось в 1835 году. Тургенев вспоминал, что от Грановского «веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано редкое и благодатное свойство не убеждениями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого, он был идеалист в лучшем смысле этого слова». «К нему, как к роднику близ дороги, — писал Тургенев, — всякий подходил свободно и черпал живительную влагу изучения, которая струилась тем чище, чем сам преподаватель меньше прибавлял в нее своего».

Будущий лидер русского университетского западничества и либерального просветительства, Грановский собственным примером показал Тургеневу, что либерализм (в глубинном смысле) есть не декларативность и назидательство, а личное подвижничество, прежде всего духовное. Знакомство с Грановским было продолжено в Берлине, куда 19-летний Тургенев приехал для углубления своих познаний в области философии, истории и древних языков. Грановский и познакомил Тургенева с Николаем Станкевичем.

В биографической литературе о Тургеневе неоднократно отмечено, что тот с юных лет невзлюбил молодежную «кружковщину» — экзальтированно-восторженную и кланово-непримиримую. В этом смысле русский студенческий Берлин рубежа 1830–1840-х годов представлял собой характерную картину, хорошо описанную Б. Зайцевым: «По русскому обыкновению, Гегеля обратили в идола. Поставили в капище, и у дверей толпились молодые жрецы, начетчики и изуверы. Воевали и сражались из-за каждой мелочи. „Абсолютная личность“, „перехватывающий дух“, „по себе бытие“ — из-за этого близкие друг другу люди расходились на целые недели, не разговаривали между собой». Коллективное помешательство русских студентов «на Гегеле», клановая борьба вызывали у студента Тургенева внутреннее раздражение. Осмысляя «феномен Тургенева», Б. Зайцев писал: «Был ли слишком вообще одиночка? Или слишком уже художник? Он любил сам говорить, но больше рассказывал, изображал. От кружков же его отталкивали доктринерство, дух учительства. Тургенев смолоду любил духовную свободу, ведущую, конечно, к одиночеству».

Но как быть тогда со Станкевичем, бесспорным вожаком русских молодых гегельянцев в Берлине? Зайцев и здесь отвечает точно: «Станкевич... как раз никого не подавлял, ничего не навязывал и ни перед кем не блистал. Действовал тишиной и правдой. Можно было сколько угодно разглагольствовать о Гегеле и разных других модных предметах — Станкевич просто излучал нечто и этим воспитывал... Вначале Станкевич держался отдаленно. Тургенев робел перед ним, внутренне стеснялся. Но очарование этого болезненного (иногда, впрочем, и очень веселого) юноши было огромно. Тургенев в него влюбился. Попривыкнув, вошел в воздух Станкевича, в ту высокую искренность, простоту и вместе — всегдашний полет, которые для Станкевича характерны».

В Берлине, в русском салоне супругов Фроловых, который посещали Тургенев, Грановский, Станкевич, по воспоминаниям близкого друга

«Я всегда был „постепеновцем“, либералом старого покроя...»

последнего, Януария Неверова, шла речь о «преимуществах народного представительства в государстве, о всеобщем участии народа в несении государственной повинности и о доступе ко всякой государственной деятельности». Однажды, когда поздно вечером Станкевич, Тургенев и Неверов вернулись домой, Станкевич произнес слова, ставшие потом идейным кредо Тургенева: «Масса русского народа остается в крепостной зависимости и потому не может пользоваться не только государственными, но и общечеловеческими правами. Нет никакого сомнения, что рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, но и тогда народ не сможет принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития... А потому кто любит Россию, тот должен желать распространения в ней образования». При этом, вспоминает далее Неверов, Станкевич «взял с нас торжественное обещание, что мы все наши силы и всю нашу деятельность посвятим этой высокой цели».

Но еще более значительным для духовного становления Тургенева стало его почти ежедневное общение с Николаем Станкевичем в 1840 году в Риме. Об этом Тургенев написал через несколько дней после смерти Станкевича (это случилось 26 июня 1840 года в лигурийском местечке Нови) своему другу Михаилу Бакунину: «Как для меня значителен 40-й год!.. В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот или — нет, начало развития моей души?!» В этом своем письме 22-летний Тургенев попытался несколько сумбурно изложить характер того влияния, которое оказал на него Станкевич. Удивительно, но, как и в случае с Грановским, речь опять идет не о наставлениях и назидательности старшего товарища по отношению к младшему, не о нацеливании на некую «борьбу», а скорее напротив — о заботливом убережении от юношеского максимализма, о поощрении работы не только мысли, но и души. К чести самого Тургенева, он сумел понять и оценить это: «Как жадно внимал ему я, предназначенный быть последним его товарищем, которого он посвящал в служение истине своим примером, поэзией своей жизни, своих речей! Я его увидел — и прежде, еще не примиренный, я верил в примирение: он обогатил меня тишиной, уделом полноты — меня, еще недостойного... Я видел в нем цель и следствие великой борьбы и мог, отложивши ее начало, без угрызения предаться тихому созерцанию мира художества: природа улыбалась мне. Я всегда живо чувствовал ее прелесть, веяние Бога в ней; но она, прекрасная, казалось, упрекала меня, бедного, слепого, исполненного тщетных сомнений; теперь я с радостью протягивал к ней руки и перед алтарем души клялся быть достойным жизни!»

Очень точно описал этот процесс «перевоспитания» молодой души Тургенева Б.К. Зайцев: «Станкевич... принял Тургенева, полюбил таким, каков он был, ни белого, ни черного, а пестрого, живого Тургенева. И тем, что принял, любовью своей его перевоспитывал... Главная прелесть жизни римской, конечно, вне дома, в блужданиях и экскурсиях. Тургенев со Станкевичем много вѣхали, много высмотрели... „Царский сын,

не знавший о своем происхождении“ (так называл друга впоследствии Тургенев) доблестно водил его по колизеям, ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи „Афинской школы“ и „Парнаса“ Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича — дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидал, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда в этом патриции». Тогда, в Риме, Тургенев, по его собственным словам, узнал о себе главное: «Перед одним человек безоружен: перед собственным бессилием или если его духовные силы в борьбе... теперь враги мои удалены из моей груди — и я с радостью, признав себя целым человеком, готов был с ними вступить в бой. Станкевич! Тебе я обязан своим возрождением, ты протянул мне руку и указал мне цель».

Были, разумеется, и иные фигуры, оказавшие несомненное влияние на духовное становление молодого Тургенева: Михаил и Татьяна Бакунины, Виссарион Белинский, Петр Анненков, Василий Боткин... Но были и некие внешние обстоятельства, которые периодически побуждали будущего великого писателя делать тот или иной жизненный выбор. Что, например, побудило юного Тургенева отправиться за продолжением образования за границу?

«Запад» манил его еще в университете. По свидетельству младшего друга Тургенева, американского писателя Генри Джеймса, Тургенев часто вспоминал о годах своего студенчества: «В юности, когда я учился в Московском университете, мои демократические тенденции и мой энтузиазм по отношению к североамериканской республике вошли в поговорку, и товарищи-студенты называли меня американцем».

Переведясь из Московского университета в Петербургский и окончив там полный курс по филологическому факультету, Тургенев весной 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Через тридцать лет он описал мотивы этого шага во «Вступлении» к своим «Литературным и житейским воспоминаниям», открывавшим, в свою очередь, новое собрание его сочинений: «Мне было всего девятнадцать лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых пригрозительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей... Стремление молодых людей — моих сверстников — за границу напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его земля (я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоинстве каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет». Тургенев вспоминал, что в 1838 году, покидая Россию и отправляясь в Германию, он «весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос». Но «делать было нечего»: «Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал: полоса помещицья, крепостная, — не представляли

«Я всегда был „постепеновцем“, либералом старого покроя...»

ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив, почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования — отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя „всех и вся“, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в „немецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился „западником“ и остался им навсегда».

В 1842 году, уже в России, Иван Тургенев успешно сдал магистерские экзамены в расчете получить место профессора философии в одном из столичных университетов, но цепочка случайностей помешала этому — судьба словно расчищала ему путь к иному поприщу. Когда в 1847 году Тургенев снова и надолго уезжал в Европу, его антикрепостнические убеждения были уже окончательно сформированы. «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что возненавидел; для этого у меня, вероятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости характера, — писал он в 1868 году. — Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить...» Добавим, что в этом описании причин своего «исхода на Запад» Тургенев выставляет на первый план мотивы исключительно идейные и умалчивает о «сердечных». Между тем немалую роль в той поездке сначала в Германию, а затем во Францию (и друзьям это было отлично известно) сыграло его увлечение испано-французской певицей Полиной Виардо-Гарсиа...

Три года Тургенев провел тогда за границей и лишь в 1850 году вернулся в Россию, уже известным автором, и в первую очередь — «Записок охотника», в которых Иван Аксаков увидел «стройный ряд нападений, целый батальонный огонь против помещичьего быта России». А весной 1852 года Тургенев неожиданно обрел на родине печальный опыт месячной тюремной «отсидки», а потом и годичной ссылки в Спасское за достаточно безобидную, как ему казалось, провинность — публикацию в одном из московских журналов некролога на смерть Гоголя. Демонстративная и неадекватная жестокость властей, похоже, нанесла Тургеневу сильнейшую и до конца жизни не изжитую травму. Он пытался тогда обращаться к наследнику престола, великому князю Александру Николаевичу; меры в отношении Тургенева были действительно несколько смягчены (в 1853 году ему было разрешено посещать столицу), и писатель посчитал это прямым следствием вмешательства цесаревича.

Кончина императора Николая Павловича и воцарение Александра II, окончание Крымской войны сыграли важную роль в судьбе многих рус-

ских интеллектуалов. О серьезных реформах пока не было речи, но тысячи русских вновь обрели возможность свободно выезжать за границу. Получил заграничный паспорт и Тургенев: «Позволение ехать за границу меня радует, — писал он в июне 1856 года графине Ламберт, — и в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу — значит определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни. Что делать! Видно, такова моя судьба. Впрочем, и то сказать: люди без твердости в характере любят сочинять себе „судьбу“; это избавляет их от необходимости иметь собственную волю — и от ответственности перед самими собою». Причины такого положения Тургенев объяснил далее особенностями русской жизни: «У нас нет идеала — вот отчего все это происходит. А идеал дается только сильным гражданским бытом, искусством (или наукой) и религией. Но не всякий рождается афинянином или англичанином, художником или ученым, и религия не всякому дается — тотчас. Будем ждать и верить — и знать, что пока мы дурачимся. Это сознание все-таки может быть полезным».

Когда-то Европа дала Тургеневу возможность сначала учиться, а потом свободно писать, но она не могла всякий раз гарантировать ему, русскому писателю, душевный комфорт. Как и предвидел Тургенев, Париж середины 1850-х годов не стал для него возделанным раем, стимулирующим творчество. Более того, письма самым близким людям обнаруживают тяжелейший нравственный и творческий кризис: «Обанкротился человек — и полно; толковать нечего. Я постоянно чувствую себя сором, который забыли вымести... Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть в подражание Гоголю), но изорвал и бросил в water-closet все мои начинания, планы и т.д. Все это вздор. Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет; были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали; повторяться не хочется — в отставку! Это не вспышка досады... это выражение или плод медленно созревших убеждений» (из письма В.П. Боткину от 11 февраля 1857 года); «О себе говорить много нечего: я переживаю — или, может быть, доживаю нравственный и физический кризис, из которого выйду либо разбитый вдребезги, либо... обновленный! Нет, куда нам до обновленья — я подпертый, вот как подпирается бревнами завалившийся сарай. Бывают примеры, что такие подпертые сараи стоят весьма долго и даже годятся на разные употребления» (из письма П.В. Анненкову от 3 апреля 1857 года). Некоторый шанс на выход из тупика дала поездка в Германию, на Рейн, где Тургенев начал свою «Асю». Но подлинный прилив творческих сил произошел позднее, в Италии, где (отметим это важное обстоятельство) активное сочинительство сопровождалось столь же активным участием в либеральных политических проектах.

Приехав в Рим в ноябре 1857 года, Тургенев сделал ставку на уже знакомый ему Вечный город как на свой последний шанс: «Если я и в Риме ничего не сделаю — останется только рукой махнуть. В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которые прошедшее умирает

«Я всегда был „постепеновцем“, либералом старого покроя...»

и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне теперь быть поумнее. Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла, и пора мне сделаться если не дельным человеком, то по крайней мере человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором, — но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет» (из письма Е.Е. Ламберт от 3 ноября 1857 года).

Действительно, осень, а потом зима и весна 1857–1858 годов стали важнейшими в судьбе Тургенева: тогда, в Риме, несмотря на досадные приступы застарелой болезни, он закончил повесть «Ася» и начал «Первую любовь» и «Дворянское гнездо» — переломные вещи в его творчестве. Об этом втором посещении Тургеневым Рима литератор Борис Зайцев (сам известный римский обожатель) красиво написал в своей «Жизни Тургенева»: «Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала — не отвечала на письма... Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения... Вечность входила в него, меняла, лечила... Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли — о судьбе, смерти, бренности — именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал».

Занимаясь литературной работой, Тургенев в Риме был еще и постоянным участником политического кружка, собиравшегося в салоне великой княгини Елены Павловны и сыгравшего большую роль в идейной подготовке будущих Великих реформ. Участниками этого «римского кружка» были ставшие позже известными деятелями реформ князь В.А. Черкасский, князь Д.А. Оболенский, Н.Я. Ростовцев, баронесса Э.Ф. Раден и др.

Как и его товарищи, Тургенев в Риме жадно следил за событиями на родине. «Я здесь, в Риме, все это время много и часто думаю о России: что в ней делается теперь?» — вопрошал Тургенев в письме к Е.Е. Ламберт. В европейских газетах тогда чуть ли не ежедневно писали о строительстве в Англии самого большого в мире парохода «Левиафан», и Тургенев сравнивал с этим гигантом огромную Россию, готовившуюся встать на путь реформ: «Двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) и войдет ли в волны, или застрянет на полпути? До сих пор слухи приходят все только благоприятные; но затруднений бездна, а охоты, в сущности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда — великое слово! — поднимет и этого медведя из берлоги».

Тургенева радовали первые шаги нового императора Александра II. Особенно вдохновили его смелые рескрипты об учреждении комитетов для обсуждения крестьянского вопроса, в которых официально заявлялось о необходимости начать подготовку к освобождению крестьян от

крепостной зависимости. Думая о возвращении в Россию, Тургенев предполагал лично включиться в дело крестьянского освобождения. В конце 1857 года он сообщал из Рима Л.Н. Толстому, что «решил посвятить весь будущий год на окончательный раздел с крестьянами, — хоть все им отдам, а перестану быть „баринном“. На это я совершенно твердо решился и из деревни не выеду, пока всего не кончу». Свое возвращение в Россию Тургенев связывал и с началом серьезной общественной деятельности: 9 января 1858 года он отправил в Петербург «Записку» одному из лидеров российской «реформаторской партии» А.В. Головнину (будущему министру народного просвещения). В ней Тургенев подробно изложил идею издания специализированного журнала «Хозяйственный указатель», должно объединить эмансипаторские принципы с прагматикой аграрного дела.

Между тем некоторые другие известия из России не могли не настораживать Тургенева. В частности, он заметил попытки отдельных чиновных карьеристов второго ряда, придевшихся во входящие в моду одежды «либералов», устроить погром русского славянофильства, используя само понятие «либерализм» как административную дубинку для сведения личных счетов. Настоящий русский либерал Иван Тургенев направил тогда в европейскую прессу статью в защиту славянофилов, подчеркнув их бесспорные гражданские достоинства, их роль в деле борьбы за русскую свободу. Западник Тургенев не ошибся в своих друзьях: такие лидеры славянофильства, как Ю.Ф. Самарин или князь В.А. Черкасский, сыграли большую роль в подготовке и осуществлении Великих реформ.

Можно сказать, что именно на рубеже 1850–1860-х годов у Тургенева окончательно сложился тот либерально-западнический мировоззренческий комплекс, который был впоследствии кратко изложен во «Вступлении» к новому собранию сочинений. Именно этот небольшой текст, написанный в Баден-Бадене в 1868 году, можно считать подлинным credo зрелого Тургенева. Отвечая на распространенные среди русских консерваторов упреки в «непатриотизме», Тургенев написал тогда: «Я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. „Записки охотника“, эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; некоторые из них — в тяжелые минуты раздумья о том, вернуться ли мне на родину или нет?» «Мне могут возразить, — продолжает заочную полемику с оппонентами Тургенев, — что та частичка русского духа, которая в них („Записках охотника“. — А.К.) замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете; знаю только, что я, конечно, не написал бы „Записок охотника“, если б остался в России».

В противовес вновь окрепшим тогда в России охранителям-самобытникам, понимающим патриотизм как примитивное антизападничество, Тургенев прямо декларировал выношенную им идею о том, что Россия — неотъемлемая часть Европы и восточные славяне по историческому праву

«Я всегда был „постепеновцем“, либералом старого покроя...»

принадлежат к семье европейских народов: «Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которой порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша, славянская раса — в глазах филолога, этнографа — одной из главных ветвей индогерманского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим и обоих их вместе на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого — что ни говори — родственного, однородного мира на нас?» По мнению Тургенева, люди, которые под видом защиты самобытных начал стараются отлучить Россию от Европы, демонстрируют как раз крайнее неверие в русскую самобытность: «Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы оно нас не испортило? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой — нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец!» Тургенев ссылается при этом на собственный пример естественного соединения самобытной русскости и европейского универсализма: «Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным западною жизнью, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу».

Именно на этих общих принципах Тургенев старался твердо стоять в 1860–1870-е годы, апеллируя одновременно и к правительственным верхам, и к тем из своих друзей, которые (подобно Герцену) все больше уходили от здравого конструктивного европеизма в сторону революционного радикализма и возрождаемой на новый манер «русской исключительности».

Положение либерала-центриста, стремящегося не впасть ни в охранительное чиновничество, ни в радикальный нигилизм, всегда непросто, а часто и драматично. Парадоксально, но Тургеневу всегда в жизни больше нравились активные, пусть идеалистически настроенные дон-кихоты, нежели излишне рассудочные гамлеты (у писателя даже есть работа, построенная на сопоставлении этих двух «типов»). В европейской политике того времени его больше увлекали люди типа бесстрашного революционера Гарибальди, нежели осторожного либерала Кавура, — либерал Тургенев прекрасно отдавал себе отчет в этом явном противоречии. «Какая каша происходит в Италии! — писал он 1 августа 1859 года П.В. Анненкову. — Вот где бы хорошо провести с месяц. Одно беда: пожалуй, досада возьмет нашего брата, исконного зрителя — и заставит сделать какую-нибудь глупость. Вдруг закричишь: *viva Garibaldi* или: *a basso* кого-нибудь другого — и глядь, с трех сторон розги хлещут по спине. В молодые годы это только кровь полирует; под старость — стыдно, или, как говорил при мне один

отечески наказанный мужик лет 50: „Оно не то что больно, а перед бабой зазорно“. У нас с Вами бабы нет, а все — зазорно...»

Поклонник европейского прогресса, Тургенев верил в разумное преобразование мира и даже иногда называл это рукотворное чудо революцией. Но грязной стороны революций он боялся, более рассчитывая на «реформаторство сверху». Он, например, искренне симпатизировал императору Александру Николаевичу, верил в его личное расположение к себе. В конце 1860 года Тургенев составил даже (но так в итоге и не отправил) специальный «адрес» императору с изложением ряда принципов, серьезность которых дала основание народнику-эмигранту П.Л. Лаврову говорить об этом документе как о «проекте конституции».

В тексте «адреса» Тургенев прямо указал, что полностью отдает себе отчет в том, что подобное «выражение искренних убеждений... может встретить недоверие» со стороны царя, ибо «в нынешние смутные времена самое правдивое слово потеряло свою силу, самые чистые намерения возбуждают сомнение». Тургенев поспешил от имени «инициаторов» заверить императора: «Мы принадлежим к числу людей, которые верят в Вас; которые не только не мыслят о перемене правительства, но зывают к власти. Мы не забыли, и вся Россия не забудет вместе с нами, что эта власть освободила крестьян! (К моменту начала распространения „адреса“ освобождение крестьян от крепостной зависимости считалось делом решенным. — А.К.) Мы верим в Вас, государь, но мы желаем также разумных свобод нашему отечеству, правильного и успешного развития нашим силам. Мы честно и откровенно приближаемся к престолу и просим нашего царя выслушать голос общественного мнения, обратить внимание на желание его народа». Тургеневский «адрес» декларировал ряд важных принципов: полную отмену телесных наказаний; гласность судопроизводства; прозрачность государственных доходов и расходов; расширение полномочий земства; сокращение срока солдатской службы; уравнивание в правах староверов с прочими подданными.

Характерно, что Тургенев как автор «адреса» точно воспроизвел классическую либеральную логику рассуждений, восходящую к знаменитым «Трактатам о политическом правлении» англичанина Джона Локка. Смысл этой логики таков: либеральные преобразования есть меры неизбежные и необходимые, призванные укрепить, а не ослабить государственный порядок. «Государь! Вам скажут, что подобные слова преступны или безумны; назовут нашу просьбу требованием и прибавят, что уступать подобному требованию — значит вывести страну на путь насильственных переворотов; но мы умоляем Ваше величество не верить тем, которые будут говорить так. Мы, напротив, смеем думать, что, удовлетворив справедливые желания Вашего народа, Вы навсегда устраните возможность таких потрясений, соберете вокруг себя все лучшее, все живые силы общества, подсечете под корень всякие нетерпеливые и необдуманые увлечения».

В завершение «адреса» Тургенев напомнил, что император Александр Николаевич сам уже успешно действовал в этой либеральной логике —

«Я всегда был „постепеновцем“, либералом старого покроя...»

подразумевалось в том числе обращение Александра II к московскому дворянству весной 1856 года, ставшее прологом целенаправленной работы по освобождению крестьян. «Государь, Вам угодно было сказать некогда, собравши дворян: „Дайте мне возможность стать за вас...“ Дайте же и нам, всем Вашим подданным, возможность дружно и твердо встать за Вас, как за нашего вождя, не допустите мысли о разъединении блага России с Вашей властью, процветанием Вашего дома... Вы уже много сделали... двиньтесь вперед по начатому Вами пути, и мы все пойдем за Вами».

Перспективу распространения своего «адреса» в целях его подписания «серьезными людьми» Тургенев связывал с Артуром Бенни, идеалистом-англичанином, с которым его познакомил Герцен. Однако миссия Бенни, который до конца скрывал имя автора, успехом не увенчалась: «серьезные люди» обращения к царю не подписали, и в конечном счете «адрес» так и не был отправлен императору. В довершение всего Бенни получил еще и разнос в Лондоне от Герцена, в благожелательной поддержке которого ранее не сомневался. «Предполагаемый вами адрес мог бы, при теперешней реакции, погубить вас и многих, — выговаривал ему Герцен. — Адрес умеренный, о котором вы пишете, может, и недурен (хотя о главном вопросе — о выкупе крестьянских земель — там и не упомянуто), но вы вряд ли успеете что-нибудь сделать... Недостаточно иметь верную мысль; надобно ясно знать средства под руками».

Надеясь на «реформы сверху», Тургенев старался всемерно умерить антиправительственный пыл своего друга Герцена, эмигрировавшего в 1847 году из России. Высоко оценивая роль герценовского «Колокола», Тургенев долгое время пытался корректировать его тактику. Он был уверен, что «Колокол» должен не огульно критиковать русскую власть вообще и по любому поводу, а, напротив, поощрять и поддерживать любые ее реформаторские начинания. Это касалось в первую очередь действий самого императора Александра II, который, по мнению Тургенева, лично желает реформ, но вынужден считаться с консервативной партией в своем окружении. 26 декабря 1857 года Тургенев писал из Рима Герцену: «Не брани, пожалуйста, Александра Николаевича, а то его и без того жестоко бранят в Петербурге все реаки (реакционеры. — А.К.). За что же его эдак с двух сторон тузить — эдак он, пожалуй, и дух потеряет».

Тургенев также советовал Герцену активнее поддерживать и без особой нужды не критиковать либеральную группу в правительстве, которую тогда возглавляли великий князь Константин Николаевич (младший брат императора) и другой лидер реформаторов — Александр Васильевич Головин. В письме Герцену в Лондон от 20 декабря 1860 года Тургенев передавал просьбу русских либералов-постепеновцев: «Также просят тебя очень щадить великого князя Константина Николаевича в твоём журнале, потому что, между прочим, он, говорят, ратоборствует как лев в деле эмансипации против дворянской партии — и каждое твое немилостивое слово больно отзывается в его чувствительном сердце». В другом письме, от 30 января 1862 года, Тургенев просит Герцена уже за Головина, на-

значенного незадолго до того управляющим Министерством народного просвещения: «В России точно кутерьма, но прошу тебя убедительно, не трогай пока Головнина. За исключением двух, трех вынужденных, и то весьма легких уступок все, что он делает, — хорошо... Я получаю очень хорошие известия о нем. Не беспокойся; если он свихнется, мы тебе его „придставим“, как говорят мужики, приводя виноватых для сечения в волость...» Однако «дружеские советы» Тургенева все менее и менее принимались в расчет Герценом — бывших друзей все более разделяли не только тактические, но и глубокие мировоззренческие различия.

Место И.С. Тургенева в русской общественной жизни было парадоксальным: радикалы считали его чуть ли не охранителем; сами охранители, напротив, — чуть ли не радикалом. Любое новое произведение писателя тут же попадало под пристальный анализ партийных интерпретаторов на предмет того, «что на самом деле хотел сказать и на чьей стороне автор?». Тургенев как-то отметил, что после выхода романа «Отцы и дети» в русском обществе сложилась ситуация, которая его глубоко расстроила и обеспокоила: «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатичных людях; я получал поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов...»

Причиной, разумеется, был образ Базарова, по-разному истолкованный различными общественными силами. «В то время как одни обвиняют меня в оскорблении молодого поколения, в отсталости, в мракобесии, извешают меня, что „с хохотом презрения сжигают мои фотографические карточки“, — поражался Тургенев, — другие, напротив, с негодованием упрекают меня в низкопоклонстве перед самым этим молодым поколением. „Вы ползаете у ног Базарова! — восклицает один корреспондент. — Вы только притворяетесь, что осуждаете его; в сущности, вы заискиваете перед ним и ждете, как милости, одной его небрежной улыбки!“»

Тургеневу пришлось даже написать специальную статью «По поводу „Отцов и детей“» (1869), где он попытался показать, что в своем литературном творчестве руководствуется художественными, а не политическими принципами. «Не однажды слышал я и читал в критических статьях, — отмечал Тургенев, — что я в моих произведениях „отправляюсь от идеи“ или „провожаю идею“; иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали; со своей стороны я должен сознаться, что никогда не покушался „создавать образ“, если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы». «Господа критики, — продолжал писатель, — вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора... Они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что „проводит свои идеи“, не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». И далее Тургенев привел действительно удивительный и показательный пример: «Я — коренной, неисправимый западник и нисколько этого не скрывал и не

«Я всегда был „постепеновцем“, либералом старого покроя...»

скрываю, однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в „Дворянском гнезде“) все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого „разбить его на всех пунктах“. Почему я это сделал — я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому, что в данном случае таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, а я прежде всего хотел быть искренним и правдивым».

Однако странная судьба его художественных произведений и в первую очередь «Отцов и детей» в какой-то момент побудила Тургенева искать новые формы литературного самовыражения. В романе «Дым» (1867) он в форме сатирического памфлета, по сути дела «симметрично» разоблачил и высмеял обе «русские партии», Реакцию и Революцию — и «генералов-охранителей» (баденский кружок Ратмирова) и «нигилистов-радикалов» (кружок Губарева). Более чем за десять лет до «пушкинских торжеств» в Москве Тургенев уже дал свой либеральный ответ на ту проблему, которую, казалось, так остро поставил Достоевский в 1880 году в своей знаменитой «пушкинской речи». Концовка той речи: «Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек!» — заставила, как известно, дружно аплодировать как русских западников, так и славянофилов (высоко оценил речь и присутствовавший Тургенев).

Диагноз беды, наступающей на отечество в двуединой форме — гордыни и праздности, «нового варварства», — был поставлен Достоевским верно, но вот «изгонять», как известно, он призывал главным образом «бесов-нигилистов». То, что новое варварство может прийти в Россию не только снизу, из подполья, но и с самодержавно-бюрократического верха — такую опасность бывший узник «Мертвого дома», а ныне убежденный консерватор, похоже, в расчет уже не брал.

Но в 1867 году либерал И.С. Тургенев показал: «дым» заволакивает и одолевает русскую жизнь с обеих сторон; не только со стороны «нигилистов», но и со стороны «охранителей». Обе «партии» вполне стоят друг друга: обе обуяны беспредельной гордыней (т.е. абсолютно нечувствительны к какой-либо критике и считают свой корпоративный мирок единственно правильным), и обе же абсолютно праздны и социально непродуктивны. В «Дыме», вопреки литературоведческим изысканиям, нет (да и не задумывалось) «положительных героев». Не являются такими ни Литвинов, ни Ирина, ни даже западник-резонер Потугин, хотя он и высказывает некоторые близкие автору-Тургеневу идеи. Тургенев, похоже, вообще иронизирует в «Дыме» над необходимостью выведения «положительного героя». Проветрить и очистить Россию от опасных «дымов» должны не героини-одиночки, а принципиально новые общественные отношения, способные превратить вчерашних «одиночек» в социально значимый и распространенный тип личности.

Между тем русское общество, похоже, совсем не поняло глубинно либеральной, т.е. принципиально надпартийной сути романа Тургенева.

Тургенев разоблачил больше: «ратмировцев» или «губаревцев»? Клань активно включилась в политическую интерпретацию «Дыма». Имели место молодежные сходки, в том числе среди русских студентов за границей, на которых молодые радикалы «выносили порицания» писателю «за критику демократии и революции». Не отстали и сановные охранители: собравшиеся в Английском клубе генералы совсем было собрались писать «коллективное письмо» Тургеневу, где отказывали ему в своем обществе. Писатель потом досадовал, что его приятель В.А. Соллогуб «отговорил их тогда от этого, растолковав им, что это будет очень глупо». «Подумайте, — восклицал Тургенев, — какое бы торжество было для меня получить такое письмо? Я бы его на стенке в золотой рамке повесил!»

Однако весной 1879 года случилось неожиданное, в первую очередь для самого И.С. Тургенева. Критикуемый еще недавно со всех сторон, приехав в Россию, он обнаружил свою крайнюю востребованность в новой, снова качнувшейся к либерализму общественной ситуации. П.Л. Лавров писал: «Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, надлежащим образом понятые, должны были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству».

Обе русские столицы встретили писателя триумфом. Когда 13 марта Тургенева чествовали петербургские профессора и литераторы, он высказал идею единения всех культурных людей России. Отдельно обратившись к молодежи, он пожелал, чтобы в отечестве сбылись наконец слова из пушкинских «Стансов», немного переиначенные оратором: «В надежде славы и добра глядим вперед мы без боязни...» Печать разных направлений поспешила отметить: то был прямой намек на Конституцию. Через некоторое время в номер Тургенева на четвертом этаже гостиницы «Европейская» явился флигель-адъютант императора «с деликатнейшим вопросом»: «Его Императорское Величество интересуется знать: когда Вы, Иван Сергеевич, думаете отбыть за границу?»...

Вернувшись в Париж, Тургенев в первых числах апреля 1879 года имел интересную беседу с видным немецким дипломатом Хлодвигом Гогенлоэ. Тот потом вспоминал, что русский писатель был поражен, что в России его чествовали как политика. Сам Тургенев объяснял это тем, что русское общество начало понимать, что только либералы способны предложить объединяющую идею, но беда в том, что правительство все еще отождествляет либералов с нигилистами-заговорщиками. Тургенев, по словам Гогенлоэ, напротив, считал, что, поддержав либералов, правительство может привлечь на свою сторону большинство общества. «Неверно утверждают некоторые, что в России нет людей, способных к руководству делами», — говорил Тургенев и с ходу назвал с десяток дельных провинциальных либеральных чиновников и юристов. Однако если момент будет упущен, наступит общий крах, ибо революция не способна принести

«Я всегда был „постепеновцем“, либералом старого покроя...»

стране пользу. Свои мемуары опытный политик Гогенлоэ (впоследствии, как известно, ставший рейхсканцлером и прусским министром-президентом) заключил весьма характерным образом: «Если бы я был царем Александром, я бы поручил Тургеневу составить кабинет...»

Уже через несколько дней из России пришла весть о новом покушении террористов на императора. Тургенев почти сразу написал Я.П. Полонскому: «Последнее безобразное известие меня сильно смутило; предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая, именно вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ: всякая реформа у нас в России, не сходящая свыше, немыслима. Все это прекрасно... но в результате выйдет то, что именно эта партия и пострадает... Очень я этим взволнован и огорчен... вот две ночи, как не сплю: все думаю, думаю — и ни до чего додуматься не могу».

Летом 1879 года И.С. Тургенев получил за свои «литературные заслуги» степень доктора естественного права Оксфордского университета. Понятные радость и удовлетворение омрачались печальным предчувствием: «То-то, я воображаю, на меня прогневаются иные господа в любезном отечестве!»

В 1880 году Тургенев решил снова непременно ехать в Россию, чтобы лично ответить на новую волну травли в охранительной прессе, третиравшей его чуть ли не за «тайные симпатии к террористам». Тогда в «Вестнике Европы», редактируемом другом Тургенева, либералом М.М. Стасюлевичем, был напечатан ответ Тургенева на оскорбления одного из самых ретивых его критиков, писавшего в «Московских новостях» под именем Иногородний обыватель. «Если бы г. Иногородний обыватель, — так начал свой ответ Тургенев, — ограничился одними посильными оскорблениями, я бы не обратил на них никакого внимания, зная, из какой „кучи“ идет этот гром; но он позволяет себе заподозрить мои убеждения, мой образ мыслей — и я не имею права отвечать на это одним презрением... В глазах нашей молодежи — так как о ней идет речь, — в ее глазах, к какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до сих пор остался „постепеновцем“, либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, принципиальным противником революций...»

Среди множества встреч, состоявшихся у приехавшего в 1880 году в Россию Тургенева, была и встреча с «демократическими литераторами» на квартире у Г.И. Успенского. Один из молодых писателей, Н.С. Рusanов, задал тогда Тургеневу непростой вопрос: не думает ли он, что в России «на носу революция»? Разве нет сходства нынешней России с предреволюционной Францией конца XVIII века? Тургенев возразил: «В то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различные мнения, соглашались в одном: старый строй должен быть заменен новым». Но так ли единодушны сегодня общественные силы России? В стране есть реакционеры, либералы, революционеры,

и их взгляды прямо противоположны. «А пока нет общего могучего течения, в котором сливались бы оппозиционные ручьи, — заключил Тургенев, — о революции, мне кажется, рановато говорить».

Весной 1882 года во Франции у Тургенева обнаружили первые признаки смертельной болезни: привычные, казалось, подагрические боли врачи диагностировали как прогрессирующий рак позвоночника. Иван Сергеевич умер 22 августа 1883 года в Буживале близ Парижа. Отпевание прошло в православном соборе Св. Александра Невского на улице Дарю; на Северном вокзале Парижа была устроена «траурная часовня», где состоялся митинг перед отправкой свинцового гроба в Россию.

Первым выступил знаменитый французский историк и писатель Жозеф Эрнест Ренан. Один из русских слушателей подробно записал его речь: «Он характеризовал Тургенева как представителя массы народа, которая в целом безгласна и может только чувствовать, не умея ясно выразить свои мысли. Ей нужен истолкователь, нужен пророк, который говорил бы за нее, умел бы изобразить ее страдания, отвергаемые теми, кому выгодно их не замечать, ее назревшие потребности, идущие вразрез с самодовольством меньшинства. Таким человеком по отношению к своему народу был в своих произведениях Тургенев, соединяя в себе впечатлительность женщины с нечувствительностью анатома и разочарованность мыслителя с нежностью ребенка». Выступивший затем от имени французских литераторов Эдмон Абу сказал, что «для славы умершего не нужен будет величавый памятник, а несравненно дороже будет простой обрывок разорванной цепи на белой мраморной плите...».

Следование тела Тургенева по России — России уже Александра III — вызвало чрезвычайные опасения у новых руководителей русских охранных ведомств — графа Д.А. Толстого и В.К. Плеве, отдавших приказ до предела сократить остановки траурного поезда и беспощадно отсекал людей, желающих попрощаться с Тургеневым. Ездивший на пограничный пункт Вержболово, чтобы принять печальный груз, друг Тургенева, историк и журналист М.М. Стасюлевич, наблюдая многочисленные препятствия, чинимые траурному кортежу, написал впоследствии, что можно было подумать, что по России везут не прах великого писателя-гуманиста, а самого «Соловья-разбойника»...

«Основой преобразований
должен быть
существующий порядок...»

Либерализм в России XIX века пережил известную эволюцию. В 1840-х годах быть либералом значило быть «человеком мысли», значило рисковать если не свободой, то по крайней мере служебным положением. После крымского поражения и реформ Александра II либерализм получил ореол государственной политики. «По счастливому стечению обстоятельств, — язвил К. Леонтьев, — русскому либерализму не представлялось никакой нужды быть началом оппозиционным. Напротив, при освобождении крестьян, равно как и при последующих реформах, так называемые „либералы“ являлись вполне правительственной партией». Собственно, похожего взгляда на либерализм придерживались и русские радикалы. Однако, если взглянуть в эту проблему с исторического расстояния, мы можем заметить постоянную оппозиционность русских либералов. Даже в эпоху Александра II они старались дистанцироваться от наиболее одиозных правительственных действий и заявлений.

Сложность либеральной позиции в ту эпоху понятна. Дело в том, что либерализм утвердился в России в параллель с революционным и нигилистическим движением. И, безусловно, либералы боялись как нигилизма, так и возбужденного им восстания масс, новой пугачевщины. Поэтому порой они шли на союз с государством, опасаясь революционного движения. Ключевой фигурой в данном случае представляется редактор-издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» Михаил Никифорович Катков (1818–1887). Он начинал как сторонник и даже идеолог классического либерализма в его англоманском варианте, но затем, в своем отстаивании либеральных ценностей, не просто пошел на союз с государством, но попытался в этих целях использовать всю силу и традицию самодержавного правления. Таковы парадоксы исторического развития, но разобраться в них совершенно необходимо...

Первый этап жизни и деятельности М.Н. Каткова (примерно до 1855 года) есть своего рода увертюра, пролог, в котором намечились темы, получившие развитие впоследствии, когда он стал уже не просто многообещающим молодым критиком и не рядовым профессором Московского университета, а вождем целого направления. Беглый обзор этого периода позволит понять, как формировался Катков, ибо к изданию «Русского

вестника» он приступил уже совершенно зрелым человеком, сложившимся как мыслитель и идеолог.

М.Н. Катков родился 1 ноября 1818 года в Москве. Его отец, небогатый канцелярский чиновник, выслуживший личное дворянство, скончался, когда сыну исполнилось пять лет. Наследства мальчик не имел, роду был незнатного, но желал пробиться, был при этом даровит и верил в свои силы — классический вариант молодого буржуазного честолюбца. В 1834 году Михаил Катков поступил в Московский университет на филологическое отделение. Занимался столь успешно, что его ответы собирались слушать студенты всех курсов. Ему прочили блистательную ученую карьеру, и он упорно, трудолюбиво ее добивался. Ученая карьера обеспечивала спокойную жизнь в достатке. Однако какие возможности имелись в тот период в России, чтобы полностью реализовать стремления молодого честолюбца, чтобы добиться не только обеспеченности, но и известности, славы, чтобы как-то воздействовать на развитие России в духе своих идеалов?

Литература? Катков успешно занимался литературной критикой. «Какая даровитость, какая глубокость, сколько огня душевного, какая неистощимая, плодотворная и мужественная деятельность! — отзывался о первых его литературных опытах Белинский. — Во всем, что ни пишет он, видно такое присутствие мысли, его первые опыты гораздо мужественнее моих теперешних». На какой-то период Катков, по существу, отказался от карьеры ученого и ввязался в борьбу литературных партий на стороне западников-прогрессистов, примкнув к кружку Станкевича и Белинского и став самым молодым его членом. Он активно сотрудничает в журналах, пишет статьи и обзоры, ведет библиографию, переводит немецких эстетиков и стихи Гейне; его перу принадлежит первый полный перевод «Ромео и Юлии» Шекспира. «„Отечественные записки“, — писал Белинский, — издаются трудами трех только человек — Краевского, Каткова и меня».

Однако позиция М.Н. Каткова отличалась от позиции Белинского. Он западник, но далеко не демократ. Как и для Белинского, для него совершенно неприемлема идея «официальной народности», однако он защищает буржуазную европейскую культуру с ее традицией личной независимости, самостоятельности. Катков в восторге от петровских реформ, принимает их целиком. В идеализации Петра как просвещенного монарха, перестраивавшего Россию на европейский лад, явственно проглядывает оппозиция николаевскому режиму, совершившему, по сути, антипетровскую контрреформу.

Полемизируя с идеологами и апологетами николаевской политики обособления России от Западной Европы, Н.М. Катков в 1839 году пишет: «Только с Петра возникла Россия, могучее, исполинское государство; только с Петра русский народ стал нацией, стал одним из представителей человечества, развивающим своею жизнью одну из сторон духа; только с Петра вошли в его организм высшие духовные интересы, только с него начал он принимать в себя содержание развития человечества. А до Великого у нас не было ни искусства, в собственном смысле этого слова,

ни науки». Российская империя, Российское государство, по Каткову, есть порождение русского народа, и в этом его величайшая историческая заслуга, поскольку именно созданная Петром империя привнесла в Россию европейскую цивилизацию, введя страну в круг мировых держав. «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все времена своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил?.. Разве ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу и по изумительной силе ассимилирования?» Творческая потенция теперь только у самодержавия, считает Катков, которое с помощью европейской культуры вдохнуло жизнь в огромный государственный организм, созданный народом.

Таков вкратце смысл историко-культурной концепции раннего Каткова. Его поездка 1840 года в Германию (там он проводит два года: бедствует, но упорно занимается философией, с благоговением слушает лекции «позднего Шеллинга») есть не что иное, как поиски философского обоснования уже сложившейся концепции. По возвращении он окончательно расходится с Белинским.

Разрыв назревал давно. Признавая в молодом человеке незаурядный талант, утверждая даже, что видит в нем «великую надежду науки и русской литературы», Белинский постепенно осознает разность их позиций. Особенно его настораживает индивидуализм Каткова, его самолюбие, эгоизм: «Самолюбие ставит его в такое положение, что от случая будет зависеть его спасение или гибель, смотря куда он поворотит, пока еще время поворачивать себя в ту или другую сторону». Существенную роль в разрыве сыграли политические мотивы: Белинский все стремительнее шел к радикализму, Катков же, при всем своем европеизме, сохранял взгляды либерально-консервативные, в которых еще более укрепился после поездки в Германию.

М.Н. Катков отходит от литературы. Быть в николаевский период литератором означало полную невозможность житейского преуспевания для человека, у которого хотя бы немного развито чувство собственного достоинства. Существовали либо путь Белинского — путь полного разрыва с официальной идеологией, грозивший тяжкими лишениями или гибелью, либо путь Булгарина и Греча, принципов не имевших. Надежного положения эта профессия не гарантировала даже людям, до конца разделявшим официальную идеологию, чего о себе молодой Катков сказать пока не мог. Не было у него ни поместья, ни денег, позволявших, как, например, славянофилам, редкое выступление в печати. Но существовал иной способ «выбиться в люди», традиционный, проверенный веками, — приобретение чинов. Как заметил однажды С.М. Соловьев, начиная с XVIII века «в России значительный чин был тот же револьвер, необходимый для известной безопасности».

Чин значил чрезвычайно много — это Катков прекрасно понимал. Однако путь по ступеням государственной службы был долог, ненадежен и зависел, как правило, не от деловых качеств человека, а от связей, родственных отношений и знакомств. Ученая карьера, давая те же чины, определялась в какой-то мере и личными способностями. Но к этому надо добавить, что ученая карьера являлась в описываемый период той же службой, немногим отличавшейся от других: царизм создавал слой так называемой «правительственной интеллигенции». И то, что ученые люди, по существу, приравнивались к чиновникам, служило им во спасение в самые мрачные годы николаевского режима. М.Н. Катков видел в звании, чинах и определенном служебном положении гарантию независимости личности в России и защищенности от резких смен политического климата. И поэтому возвратился к науке.

М.Н. Катков ищет покровителей, помнивших его ученые успехи; находит новых после защиты магистерской диссертации «Об элементах и формах славяно-русского языка», получает кафедру философии в Московском университете. По своим взглядам он типичный западник либерально-буржуазного толка, не очень еще проявившийся — так сказать, «либерал в подполье».

Согласно известной мысли Герцена, с Николая I правительство и просвещение перестали идти рядом. Сил у русского либерализма никаких еще нет, опоры в культуре и традициях тоже — Россия пока страна далеко не буржуазная. И Катков не похож еще на того будущего, всесильного Каткова, смещавшего своим словом министров. Университетская служба для него — якорь спасения. Однако режим достал его и там: кафедру философии закрыли, ибо стремление рационально понять мир, особенно следуя идеям немецкой философии, стало казаться подозрительным. Бывший профессор философии в 1851 году вынужден стать редактором университетской газеты «Московские ведомости». Газета вдвое увеличила подписку, но не более того. Зато жизнь самого редактора оказалась полна своеобразных приключений.

Об одном из них стоит сказать два слова. В эти годы чуть не случилась дуэль между Михаилом Бакуниным — будущим отцом русского и мирового анархизма и нигилизма, воспевавшего разбой как социальную революцию, воспитателем Нечаева, и Михаилом Катковым — будущим защитником права, государственности, прочного положения страны, создателем классических гимназий с опорой на античную культуру как антитезу нигилизма. Ситуация в известном смысле символическая. Да и причина дуэли любопытна: Бакунин случайно застал довольно фривольную сцену, где действующими лицами выступали Катков и первая жена Огарева (тоже фигура для русской культуры не проходная). Бакунин понес сплетню по знакомым. Катков вызвал его. Бакунин от поединка благоразумно уклонился, уехав за границу. Но характер обоих здесь проявился в полной мере.

В начале 1850-х Катков женится на дочери известного своей бездарностью поэта князя Шаликова. Дочь его была бедна и тоже не отличалась

«Основной преобразований должен быть существующий порядок...»

особой сообразительностью. Причину этого брака не поняли даже друзья, а Тютчев пустил острогу: «Катков решил посадить свой ум на диету».

Смерти Николая I не ждал никто. Всякий деспотический режим претендует на вечность и пробуждает чувство безнадежности в подданных. Делать нечего, лучше спать: отсюда Обломов как символ русской жизни. Крымское поражение, свобода, которой повеяло с 1855 года в общественной атмосфере, разбудила многих, в том числе и Каткова. С этого времени окончательно оформляются его взгляды, и он превратился в общественного и культурного деятеля, идеолога целого направления.

В царствование Александра II происходит становление русского варианта капиталистических отношений. Для развития буржуазной самодеятельности необходим хотя бы минимум свобод, а этих свобод были лишены все слои общества, даже те, которые по своему социальному положению являлись чем-то вроде западноевропейской буржуазии, но по мироощущению оставались столь же бесправными, как и все прочие подданные российского самодержавия. Великие реформы царя-освободителя были явным отказом от самодержавной политики отца, Николая I, возвратом к имперской реформистской позиции Петра Великого, о чем писали практически все публицисты тех лет. Катков стал выразителем настроений этого слоя людей, которые радовались возможности свободно говорить законные вещи на законных основаниях. Для России и это было неслыханно. Официально, положим, никогда не поощрялись взяточничество, воровство, подкупы, казнокрадство и тому подобное, но и никогда нельзя было вслух сказать о том, что пороки эти в России имеются.

М.Н. Катков (вместе с несколькими московскими либералами: Е.Ф. Коршем, А.В. Станкевичем, П.Н. Кудрявцевым и др.) обращается к правительству с просьбой об издании журнала. И вскоре, после некоторого промедления, в 1856 году получает разрешение издавать «Русский вестник». А с 1858-го он, отгеснив остальных, становится единоличным его редактором. Шаг решительный со стороны человека, бездействовавшего пятнадцать лет. Значит, почувствовал, что пришло его время.

Какую же позицию занимает среди журналов той поры «Русский вестник»? Экономические и философские споры вокруг крестьянской реформы еще не начались — идет эстетическая полемика. В первом же номере — статья Каткова о Пушкине. «Характер общего воззрения, — написал тогда Чернышевский, — которым „Русский вестник“ намерен руководиться при рассмотрении вопросов, касающихся истории нашей литературы, определился, кажется, с более или менее достаточной для его читателей ясностью направлением статьи г. Каткова, „Пушкин“. Автор занят исследованием художественной стороны в произведениях нашего великого поэта, определением и уяснением законов творчества, которые с особенною точностью могут быть подмечены в его таланте. При этой высокой точке зрения, конечно, историческая связь художника с его веком, биографические мелочи и общественное значение его созданий имеют только второстепенное значение, и все клонится к разрешению чисто

эстетических задач. Большая часть рецензий, помещенных в „Русском вестнике“, подтверждают своим характером уверенность, возбуждаемую этой капитальной статьей журнала: он хочет быть органом художественной критики».

Но если другие художественные критики (например, Дружинин или Анненков) старались не выходить за пределы собственно эстетического спора, отстаивая независимость художника от практической жизни, то Катков подошел к вопросу принципиально иначе: он утверждал связь эстетических взглядов с определенным типом общественных отношений, с развитием и становлением буржуазного общества. «Точно ли есть такие разобщенные сферы, которые бы не оказывали взаимного друг на друга влияния и не действовали на всю совокупность человеческого сознания и жизни? — иронизирует он в статье о Пушкине. И далее пишет: — Вы хотите, чтобы художник был полезен? Дайте же ему быть художником, и не смущайтесь тем, что он с полным усердием занят изучениями и приготовлениями, которые имеют свою единственную целью дело искусства. Когда дело исполнится, когда оно явится на свет, оно непременно окажет влияние на все стороны человеческого сознания и жизни, и окажет тем сильнейшее влияние, чем более будет соответствовать условиям своей внутренней природы».

Для Каткова свобода в искусстве есть показатель и предшественник свободы во всех других областях общественной жизни. Вот как он формулирует свое теоретическое кредо: «Поэзия ознаменовывает первое пробуждение народа к исторической жизни, искусство и знание сопутствуют его развитию и служат самым лучшим выражением силы и свойства развития. Народы самые практические отличались высоким и сильным развитием умственной и художественной деятельности, которая, по-видимому, была совершенно чужда текущих вопросов и дневных интересов, но которая в самом-то деле была совершенно необходима для успехов жизни... Линии Рафаэля не решали никакого практического вопроса из современного ему быта; но великое благо и великую пользу принесли они с течением времени для жизни; они могущественно содействовали к ее очеловечению. Действие великих произведений искусства остается не в одной лишь ближайшей их сфере, но распространяется далеко и оказывается там, где об идеалах художника нет и помина». Катков, по сути дела, пересказывал здесь идеи великого английского мыслителя Давида Юма, тесно соединявшего искусство и принцип экономической независимости, буржуазной жизни. Юм писал: «По мере совершенствования искусств люди становятся более общительными... Совершенствуясь от полученных научных знаний и свободных искусств, люди неизбежно станут более человечными вследствие самой привычки взаимного общения, принимая друг друга и доставляя друг другу взаимное удовольствие. Таким образом, предприимчивость, знания и гуманность связаны вместе неразрывной цепью; в своей основе они, как нас учат опыт и разум, присущи более культурным эпохам, именуемым обычно эпохами изобилия». Этого изобилия и хотел

«Основной преобразований должен быть существующий порядок...»

для России Катков, свято веря в силу буржуазного предпринимательства. Надо сказать, что несколько позже русские либералы (К.Д. Кавелин прежде всего) тоже стали искать идейную опору в идеях английского сенсуализма, у Джона Локка, но первым сделал шаг от немецкой философии к английской именно Михаил Катков.

Катков требовал развития в России чувства личной независимости, личного достоинства и самоуважения, развития правосознания, выступал за свободу печати, свободу высказываний во всех областях общественной жизни, даже в религиозной. «Богатство литературы и жизни возможно только там, где люди действуют по внутреннему убеждению... Кто знаком с нашим духовным миром, тот знает, что в настоящее время у нас обыкновенно говорят и пишут о том, о чем всего менее думают. Пугало ереси, в лицо духовной цензуры, парит над нашею церковною жизнью и леденит все, что находится в границах этого царства». Однако он — мыслитель консервативный, спокойный. Его симпатии именно к Англии не случайны. По тем временам это страна наиболее развитого и укоренившегося капитализма и буржуазного индивидуализма. Укоренение новых принципов, считал Катков, возможно только там, где оно идет постепенно, приучая народ к новому мировосприятию годами и веками; насильственный же переворот обречен на провал. Поэтому так близок ему английский вариант: когда принцип личности на высоте, когда традиции культуры не нарушены, а пронизаны этим принципом, укрепились им, стали без него невыносимы.

Монархия не мешает буржуазии, а буржуазия монархии, — это было особенно важно идеологу капитализирующейся России. «Разумное преобразование, — утверждал Катков, — есть улучшение существующего; сродство разумного преобразования — устранение недостатков, обнаруживающихся в существующем порядке, и, следовательно, сохранение в нем всего того, что удовлетворительно. Основой преобразований должен быть существующий порядок».

М.Н. Катков мечтал в конце 1850-х — начале 1860-х годов о возникновении в стране «русского торизма», который бы организовал влиятельные консервативные силы, чтобы они, как в Англии, отстаивали идеи разумных реформ и самоуправления. Как вспоминал его современник, известный чиновник Е.М. Феоктистов в своей книге «За кулисами политики и литературы», «Катков задался мыслью, что для России необходима система самоуправления в широких размерах... Самоуправление дало пышный цвет на английской почве — отсюда преклонение Михаила Никифоровича перед Англией».

Впервые, опираясь на принципы построения английских журналов, Катков вводит в русский журнал раздел политических новостей и политических обозрений, категорически запрещенных при Николае I. Затем добивается создания еженедельной газеты «Современная летопись», а в 1861 году берет в аренду уже известную ему газету «Московские ведомости». Этим он сильно политизировал вялую общественную мысль

России, а сам стал тем влиятельным публицистом, власть которого порой превосходила власть самых высоких чиновников. Можно даже вспомнить о таком парадоксальном эпизоде, как поездка Каткова в Лондон к Герцену. Он пытался убедить знаменитого эмигранта перейти на умеренно либеральные позиции для более успешного продвижения реформ. Не удалось. Тогда он осмелился вступить в открытую борьбу с кумиром русской публики. Правда, здесь его поддержал либеральный мыслитель весьма высокого класса — Борис Николаевич Чичерин, догадавшийся, что «призыв к топору» исходил не из России, а из узкого круга герценовских друзей.

М.Н. Катков выступает против общинного принципа в русской культуре, полагая, что община сковывает частную инициативу в развитии экономической и культурной жизни. Он полемизирует со славянофилами, винит их в идеализации прошлого, в слепоте к действительности, но основным удар направляет против идей Чернышевского. Общинный принцип как таковой представляется Каткову «неразумно консервативным», подавляющим индивида. Но в «общинности» русских демократов он видел худший вариант общинности, враждебной всему новейшему искусству начиная с искусства Возрождения. В позиции русских демократов он усматривал предвестие, угрозу коммунистического изменения общества. Не будем сейчас спорить, имел ли, скажем, Чернышевский отношение к этим коммунистическим идеалам; на мой взгляд, его антиплатоновская позиция вполне близка идеям буржуазного рационализма. Но важно понять, как Катков понимал коммунизм. «В коммунизме, — писал он, — исчезает все человеческое, всякая возможность человеческого существования. Если бы какая-нибудь магическая сила, послушавшись прельщения этих утопий, решилась вывести их из фантазии в действительность, то совершилось бы нечто совершенно противоположное ожиданию; возвратилось бы мгновенно то состояние, из которого таким медленным, таким тягостным трудом вырабатывалось человечество; вместо исцеления от недуга исчезло бы только то, что чувствует его, исчез бы самый организм, который ищет здоровья, и безгранично разлилась бы та самая стихия, которой не вполне замиренное присутствие в современном обществе составляет всю силу его недуга. Насильственный передел собственности возобновил бы все варварство завоевания, воскресил бы эпоху переселения народов, и человечеству предстоял бы старый путь».

Катков был уверен, что русские нигилисты отрицают культуру, еще не успев вкушать ее плодов, отрицают личность, которая и сложиться-то толком в России не успела, и зовут к варварству страну, и без того далеко не цивилизованную. Поэтому он пытается провести и утвердить в русской культуре буржуазные принципы жизни. Как видим, на этом этапе своей деятельности Катков безусловно находится в кругу идей классического либерализма. Однако начиная с 1862–1863 годов его позиция усложняется. В стране усиливается радикализм; либеральные реформы отрицаются нигилистами, но одновременно тормозятся чиновничеством, которое поневоле связывало Великие реформы с развитием нежелательной свободы.

«Основной преобразований должен быть существующий порядок...»

Государство пребывало в растерянности. Опаснее всего казалась Каткову в этой ситуации как раз неустойчивость русского государства, которое способна пошатнуть любая революционная акция. А из-за этого Россия может потерять и те реформы, что уже совершились.

Первой важной политической акцией М.Н. Каткова стало требование решительного подавления вооруженной силой польского восстания 1863 года. Если русская империя, напуганная угрозами западноевропейских держав, пыталась вначале решить дело миром, то Катков сразу же, несмотря на запрещения и огромные штрафы, налагаемые на его газету цензурой, заговорил о необходимости военных акций против Польши. В «Московских ведомостях» 18 апреля 1863 года он писал: «Отныне для прекращения мятежа нужно не столько истребление шаек, сколько крепкая и надежная администрация края. Не все в Польше радуются восстанию. Напротив, большинство народонаселения страдает от мятежа и, без сомнения, желает, чтобы приняты были все нужные меры для ограждения собственности и жизни людей от терроризма революции».

1863-й — год взлета популярности Каткова среди российского дворянства и чиновничества. Польша посягнула на Русское государство — потрясение было сильное, царь и сановники растерялись. И тут на защиту государства и его основного принципа, принципа «сильной руки», выступил неожиданный и незванный защитник, посчитавший это делом своей жизни. Так «частное лицо», человек, не находящийся на службе, газетно-журнальный издатель, т.е. буржуа-предприниматель, почувствовал себя «государственным человеком», выразителем «русского государственного самосознания», как именовали его в посмертных панегириках.

Сохраняется ли при таком резком повороте приверженность либерализму? Очевидно, что перемена общественно-политической позиции — откровенное (и непривычное для профессорского либерализма, например кавелинского типа) выступление в защиту целостности империи — не могла не заставить Каткова иначе подойти к проблеме либеральных свобод. Теперь он заявляет, что высшее проявление свободы — в служении престолу и государству. «Плодотворно только то право, которое видит в себе не что иное, как обязанность». В 1862 году в статье, написанной по поводу «Отцов и детей» Тургенева, Катков выступает с чисто публицистическим прочтением романа. Его интересует не эстетическая его сторона, а возможность, опираясь на истолкованные под определенным углом зрения образы, нанести удар по русскому нигилизму. Перечислив пороки нигилизма, против которых, как считает автор статьи, бороться почти невозможно, ибо ими заражено едва ли не все русское общество, он заключает: «Есть только одно верное радикальное средство против этих явлений — усиление всех положительных интересов общественной жизни. Чем богаче будет развиваться жизнь во всех своих нормальных интересах, во всех своих положительных стремлениях, религиозных, умственных, политических, экономических, тем менее будет оставаться места для отрицательных сил в общественной жизни».

«Русский вестник» становится органом, ведущим непримиримую борьбу с нигилизмом. Почти все русские антинигилистические романы опубликованы именно в этом журнале. Катков был жестким редактором: все, что не отвечало его запросам, его политическим требованиям, он беспощадно вычеркивал или переписывал своей рукой. Страдали не только рядовые, но и крупнейшие писатели России — Достоевский и Лесков. Правке подверглись, скажем, такие романы Достоевского, как «Преступление и наказание» и «Бесы». Преклонения перед литературными репутациями Катков не испытывал. Последняя часть «Анны Карениной» показалась ему не отвечающей его идеологическим устремлениям, и он потребовал исправлений. Толстой отказался, напечатав эту часть отдельным изданием: он был, в отличие от Достоевского и Лескова, в материальном отношении человек независимый.

С 1860-х годов Катков пытается утвердить буржуазную цивилизацию в России, опираясь на государство. И вопрос о народном образовании в этом смысле оказался среди основных. После крымского поражения стало ясно, что николаевский откат от идей петровского просветительства губителен, что без внедрения новейших научных и технических достижений Россия неминуемо потеряет свое положение сильной державы. Однако, как полагал министр народного просвещения Д. Толстой, русское образование должно ориентироваться на классическую древность: это поможет отвлечь молодежь от современных проблем. Публицистическим выразителем возврата к «имперскому просветительству» стал Катков, активно содействовавший созданию в России классических гимназий. Себя он считал одним из самых верных последователей Петра, утверждавшего русский вариант европейской буржуазной цивилизации под монаршей властью и опекой. Катков заявлял, что именно Славяно-греко-латинская академия, которой покровительствовал Петр, создала Ломоносова, следовательно, и его гимназии послужат формированию новых великих российских ученых.

Вместе с тем М.Н. Катков выступал и как активный сторонник земства, т.е. тех представительных низовых учреждений, которые должны были бы стать основой гражданского общества. Он писал 12 апреля 1863 года: «10 апреля открылась наконец новоустроенная городская Дума в Москве... Вслед за Москвой и другие города не замедлят получить то же учреждение. А вместе с городами то же начало единения сословий в общественном деле распространят по всему лицу Русской земли земские учреждения, уже приготовляемые законодательным порядком. Нет сомнения, что из этих начатков сама собой разовьется новая общественная организация вместо доселе господствовавшей у нас. Сословия еще остаются, но они сближаются между собой и соединяются в совокупной деятельности. Из этого сближения существующих сословий не преминет выработаться сам собой новый тип общественной организации». Другое дело, что общество должно быть структурировано, и без высшего культурного слоя, который послужит ориентиром для всех сословий, невозможно задать

«Основной преобразований должен быть существующий порядок...»

верное направление общественного развития — свободное, просвещенное и антинигилистическое.

Катков ратовал за просвещение элиты, за создание слоя людей рафинированных, образованных, утонченных, которые могли бы служить Российскому государству на пути его вхождения в европейско-буржуазную систему ценностей. Редактор «Русского вестника» полагал, что высокий уровень культуры этого слоя способен компенсировать его немногочисленность. Интересно, что возникновение независимо мыслящей элиты казалось ему залогом оживления всех сторон российской жизни, в том числе и церковной. В 1868 году он писал: «Что бы ни говорили защитники папства, ей (церкви. — В.К.) не может принадлежать государственная власть, но по тому же самому она не может быть также и полицейским учреждением, не слабея в своем существе, не лишаясь своего духа. Ошибочно было бы думать, что церковь, опираясь на силу ей не свойственную, может в то же время сохранять в себе и ту силу, которая ей свойственна. Нет, одно из двух. Чем более церковь, как и всякое духовное дело, опирается на силу ей внешнюю, тем более бездействует она внутренне. Дух, без которого люди начинают обходиться, отлетает от них, и дело, лишенное жизни, подпадает под закон механизма. Истина только там, где есть убеждение в ней, где есть вера в ее силу. Если люди привыкают поддерживать свое дело механическими способами, то дело мертвеет в их руках, и они теряют веру в него».

Характерно, что на протяжении всей жизни М.Н. Каткова именно отношение к Пушкину и пушкинской поэзии служило ему ориентиром в общественной жизни. И его общественно-эстетическая позиция получила окончательное выражение в статье 1880 года, посвященной юбилею поэта. Как уже упоминалось, основной заслугой русского народа Катков считал создание мощного государства. Но «жизнь народа и его призвание», пишет он в этой статье, не исчерпываются делом государственной нужды: «Чем производительнее творчество мысли среди народа, чем выше подъем духа в его избранных людях, чем обильнее и плодотворнее раскрываются в нем дары Божии, тем возвышеннее становится его положение в мире и тем он любезнее и дороже для человечества... В Пушкине всенародно чувствуется великий дар Божий. Ему не доводилось спасать отечество от врагов, но ему было дано украсить, возвысить и прославить свою народность».

На торжественном банкете в честь пушкинского праздника мирились старые враги, лились слезы и шампанское, русские литераторы на короткий миг ощутили свою общность, почувствовали, что все они — выразители русской культуры во всем ее противоречивом единстве. Произнес слово примирения и Катков — подняв бокал и обращаясь к И.С. Тургеневу, который когда-то опубликовал в его журнале три крупнейших романа: «Накануне», «Отцы и дети» и «Дым». Близкими казались и их позиции: Тургенев — либерал по убеждениям, порвавший из-за своего либерализма с радикальным «Современником», человек, тридцать лет проживший

в Западной Европе, чтобы избавиться от борьбы, которая ведет к утилитаризму в искусстве. Но впоследствии писатель и издатель разошлись. И вот на празднике, когда Тургенев только что произнес панегирик красоте, искусству, сказал о «чувстве единодушия, которое проникает теперь нас всех, без различия звания, занятий и лет», Катков решил сделать шаг к примирению. Однако Тургенев опустил свой бокал и накрыл его ладонью. Потом он говорил: «Я старый воробей, меня на шампанском не обманешь!» Демонстрация была очевидная. Это заметили, истолковали как факт символический, почти все газеты и журналы того времени.

Но и Катков остался непреклонен: «У нас теперь все толкуют о политических партиях. Не принадлежал ли и Пушкин к какой-либо партии? Да, принадлежал... Он принадлежал к Русской партии... На русскую патриотическую партию, если только это партия, вот на что единственно может опереться наше правительство или вот какой партии должно быть наше правительство». После гибели Александра II Катков перестает верить в просветительскую силу либеральных слов и институтов. Радикализм показал всю свою беспощадность и все свое безумие, убив царя-освободителя. Отныне только жесткая самодержавная власть, на его взгляд, может спасти элементы либерально-европейской цивилизации в России. Для этого он готов пожертвовать старыми соратниками, которые поддались радикалам (вроде Тургенева) и не понимают всей опасности ситуации.

Владимиру Соловьеву принадлежит, возможно, самая объективная оценка деятельности Каткова: «Он был увлечен политической страстью до ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своекорыстным и дурным человеком он не был никогда». А великий маргинал К.Н. Леонтьев потребовал, чтобы Каткову установили памятник напротив памятника Пушкину, ибо редактор «Русского вестника» был «великим поэтом государственности российской»: «Он видел жизнь, он понимал горькую правду нашей действительности».

Смерть М.Н. Каткова (20 июля 1887 года) стала событием государственным. По всей России в церквях служили панихиды по усопшем «болярине Михаиле». Иностранные представительства возложили венки на его могилу. Из всех городов Российской империи шли в редакции «Московских ведомостей» и «Русского вестника» телеграммы и письма с соболезнованиями. Кто авторы этих посланий? В основном столичное и провинциальное дворянство и чиновничество. Эти послания были изданы сразу же отдельными сборниками — пожалуй, ни один русский писатель не удостоился такого государственного признания.

Но вот что писал Н.С. Лесков на смерть М.Н. Каткова: «Если эти свежие картины (похорон Каткова. — В.К.) прикинуть к тому, как и на нашей памяти и по живому преданию старины наша вялая и сонная родина провожала в последний путь земли не только Тургенева или Достоевского, но даже Гоголя или Пушкина, то, пожалуй, будущий ее летописец, учитывая в каждом случае степень проявленной ею скорби, по воплям усердных плакальщиц и воздыханиям телеграфных причитальщиков признает

«Основной преобразований должен быть существующий порядок...»

кончину Каткова утратой более горестной, чем смерти названных только что ее лучших писателей, а Михаилу Никифоровичу усвоит титул „князя от князей“ русской письменности».

«Князем от князей» русской литературы Катков не стал, но не забудем, что «князья» лучшие свои романы («Война и мир», «Братья Карамазовы») печатали в его журнале. Что же касается позиции Каткова-политика, то она осталась серьезной проблемой для русской мысли, которая не раз оказывалась перед этой дилеммой: революционный радикализм или самодержавный авторитаризм.

Дмитрий
Олейников

ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ
АКСАКОВ

«Фальшь и пошлость
общественной атмосферы
дают нас...»

Иван Аксаков — один из ярчайших представителей того своеобразного направления российского либерализма, которым было либеральное славянофильство. Однако место «связующего звена между ранним и поздним славянофильством», отведенное Аксакову в истории русской общественной мысли, довольно схематично. Его жизнь, в которой лишь пятнадцать лет были посвящены метаниям от идей отца и старшего брата Константина к мысли о том, что славянофильство — явление «исторически отжившее», значима и интересна сама по себе. «Кем я только не был, — писал Иван Аксаков. — Был и судьей, и администратором, и поэтом, и публицистом, и журналистом, и статистиком, и воином, и казначеем, и путешественником, и уж не знаю чем!»

Известный общественный деятель Юрий Самарин дал Ивану Аксакову такую характеристику: «В нем не только много жизни, но даже есть какая-то возбудительная сила, действующая на других. Я особенно ценю в нем его беспощадную строгость к самому себе; этот человек менее всех балует себя... А все-таки хорошо иметь таких друзей — суровых, взыскательных, несправедливых и резких!»

Два села Аксаковых, потомков выходца из Орды Ивана Хромого (потюркски Оксака), — книжное Багрово и реальное Абрамцево — стали воплощением российской патриархальности, размеренной и спокойной жизни провинциальной России. Такой же была жизнь Сергея Тимофеевича Аксакова. Иван Тургенев, сравнивающий его книги с воспоминаниями Герцена, назвал их «двумя электрическими полюсами одной и той же жизни», описанной с разных точек зрения. На одном полюсе — патриархальная статика, на другом — общественное движение. Человеком, соединившим в себе эти полюсы, стал младший сын Сергея Аксакова, Иван.

Он родился 26 сентября 1823 года в Оренбургской губернии, неподалеку от городка Белебея, в селе Куроедово, переименованном Сергеем Аксаковым в Надежино, но не ставшего от этого более любимым. Из этого невыразительного степного села, полученного С.Т. Аксаковым от отца в качестве собственного надела, семейство Аксаковых вернулось в Москву, оставленную в 1816 году. В год переезда — 1826-й — Ивану Аксакову

не было и трех лет. Так что его сознательная жизнь начиналась в обновленной «послепожарной» Москве, в царствование императора Николая Павловича.

В шумной, открытой и хлебосольной семье Аксаковых не существовало понятия «детская». Дети не росли в отгороженной от взрослых «оранжерее» и наравне со взрослыми общались с многочисленными гостями. А дом Сергея Аксакова (в 1826–1832 годах — весьма терпимого московского цензора) был полон интереснейших людей. Сами гости больше обращали внимания на старшего сына — Константина («силач, горлан, открытый, добродушный», — отзывался о нем С.М. Соловьев). Иван не спешил выделяться: он любил слушать. Его застенчивость и боязнь показаться неловким скрывали начитанность (страсть к чтению газет с десятилетнего возраста привела к обзаведению очками). Впрочем, родные ценили рано проявившийся литературный дар Ивана. Сергей Тимофеевич считал, что Иван станет великим писателем, и был близок к истине: в будущем писательский дар Ивана Аксакова, скрещенный с его страстью к газетам, породил яркого публициста.

Первым шагом в будущее стало расставание с родной семьей и поступление в Петербургское училище правоведения. Это училище было основано в 1835 году по инициативе М.М. Сперанского. Давший жизнь «Своду законов Российской империи», Сперанский хотел начать подготовку профессиональных юристов. Заложенная идея дала плоды несколько десятилетий спустя: из правоведов вышло немало деятелей Великих реформ. Взгляды многих формировались как раз на рубеже 1830–1840-х годов, когда среди молодых правоведов царили западнические идеи. Любимым чтением молодых людей был журнал «Отечественные записки» (в кофейнях он буквально зачитывался до дыр), а властителем дум — смягченный редакторами и цензурой Виссарион Белинский. Много позже повидавший Россию Аксаков заметит: «Если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастиям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, ищите таковых в провинции между последователями Белинского».

И именно Белинским семнадцатилетний Иван Аксаков был благословлен на общественную деятельность. Критик написал в 1840 году: «Славный юноша! В нем много идеальных элементов, которые делают человека человеком, но натура у него здоровая, а направление действительное, крепкое и мужественное... Молодое поколение лучше нас, оно многое обещает».

С окончанием в 1842 году Петербургского училища правоведения Иван Сергеевич всерьез задумался над вопросом, который в одной из его поэтических версий звучал так: «Служить иль не служить? ...Не я ль мечтал для общей пользы жить? <...> Но службою достигну ль цели я?» Аксаков выбрал служебное поприще — шестой (Уголовный) департамент Сената в Москве. Поначалу он занимался скучным перебиранием бумажек, что плохо соотносилось с представлениями молодого человека о трудах на благо Отечества.

Но в 1843 году Аксаков оказался в составе комиссии князя П.П. Гагарина, отправленной для ревизии в Астраханскую губернию. Он один трудился почти столько, сколько остальные одиннадцать чиновников. «Астраханское сидение» 1844 года закончилось увольнением бездеятельного и жадного губернатора.

Дальнейшая работа Ивана Аксакова в провинции (Калуга, Бессарабия, Пошехонье, Ярославль) привела его к разочарованию в возможности противостоять бюрократической системе, даже будучи честным и работоспособным человеком. Не принес утешения и переход в Министерство внутренних дел (1848): «Я решительно убеждаюсь, — замечал он, — что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, то есть не брать взятки, 2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон...» При этом Аксаков успевал делать многое: он помогал страдающим от помещицкой несправедливости крестьянам выкупаться на волю, одновременно собирал средства для учреждения коммерческого училища и хлопотал, например, о возвращении легендарного угличского колокола, сосланного в Сибирь «за соучастие» в убийстве царевича Дмитрия.

К 1849 году Иван Аксаков вступает в жизнь как литератор: его стихи, мистерия «Жизнь чиновника» и неоконченная поэма «Бродяга» полны патетики: «И мы, трудясь, трудам своим не верим, И тайне мы не верим ничему...» («После 1848 года»); или «И дерзко я на сердце положил тяжелый гнет упорного терпенья...» («Усталых сил я долго не жалел», 1850). Цензура такие произведения в печать не пропускала, но они не умерли «в столе» и впоследствии увидели свет. Поэма «Бродяга» по сюжету и местами по стихотворному размеру предвоярляла хрестоматийную некрасовскую «Кому на Руси жить хорошо», да и сама частично вошла в хрестоматию.

17 марта 1849 года Иван Аксаков попал под арест: его на основании перехваченных писем к московским друзьям заподозрили в создании совместно с Ю.Ф. Самариным «подпольной организации». Император Николай, ознакомившись с материалами допроса Аксакова, сделал там личные замечания (весьма доброжелательные) и дал ставшую знаменитой инструкцию начальнику III отделения А.Ф. Орлову: «Призови, прочти, вразуми и отпусти!»

Аксаков оказался на свободе, но под негласным надзором. В 1851 году министр Л.А. Перовский предъявил ему фактический ультиматум: либо служить, либо заниматься литературной деятельностью — и Аксаков подал в отставку. Это был единственный способ отстоять свои права. «А как вы думаете, спросил ли бы Пушкин, какую карьеру ему выбрать?» — подбодрила его А.О. Смирнова-Россет.

В 1840–1850-х годах Иван Аксаков был еще «чистым и ярым западником» — об этом свидетельствует в своих записках А.И. Кошелев. Аксаков не разделял ни восхищения допетровской Русью, ни преклонения перед «особенностями» русского народа. Он слишком много повидал в российской провинции и желал не построения теорий, а конкретных практических улучшений действительности, в том числе отмены крепостного

«Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы давят нас...»

права и реформирования судебной системы. Славянофильские крайности старшего брата Константина нередко вызывали у Ивана иронию. Снимок Константина на дагерротип он, например, комментировал так: «Истый москвич с татарскою фамилиею и нормандского происхождения, в русском костюме XVII столетия, сшитом французским портным, изобретением западным XIX века, передал свои черты лица медной доске...»

В более серьезных спорах с братом Константином (заслужившим прозвище «передовой боец славянофильства») Иван Аксаков призывал прежде всего считаться с действительностью. А действительность иногда доводила его до отчаяния: «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых, мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов — отцов и благодетелей взяточников... Вы ко всему этому относитесь отвлеченно, издали, людей видите по своему выбору только хороших или одномыслящих, поэтому вы и не можете понять тех истинных мучений, которые приходится испытывать от пребывания в этой среде, от столкновения со всем этим продуктом русской почвы. Там, что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!»

В 1850-х годах славянофильство теоретика Константина казалось практику Ивану лишь отвлеченной теорией. И он критиковал «деспотизм теории над жизнью», как «худший из деспотизмов», поскольку попытки подчинить народ чуждой ему теории делают жертвами целые поколения. «Допетровской Руси сочувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началам, не выработанным или даже ложно направленным русским народом, — но ни одного скверного часа настоящего я не отдам за прошедшее!»

Все это не помешало Аксакову выступить в 1852 году редактором славянофильского «Московского сборника» (с оговоркой в предисловии о том, что «не все участники сборника думают одинаково»). Сборник получил известность благодаря своей «честной физиономии», однако, поскольку в «мрачное семилетие» 1848–1855 годов «честные физиономии были непозволительны», вызвал недовольство одновременно и в III отделении, и в Главном цензурном комитете, и у министра просвещения.

В результате второй том сборника, где сам Иван Аксаков, вспомнив свой чиновничий опыт работы в Калуге, «отвалял на обе корки» губернское общество, просто не допустили к печати. Аксакову вообще запретили что-либо печатать и даже редактировать без разрешения Главного комитета цензуры. Впрочем, в 1853 году в Петербурге всю ходили списки аксаковских «сцен» «Присутственный день в Уголовной палате». Это был первый ручеек того потока самиздата, который хлынул в общество в последний год несчастной Крымской войны.

Крымская война застала Ивана Аксакова за изучением ярмарок на Украине: он выполнял поручение Русского географического общества. В 1855 году он вновь оказался на Украине — но уже казначеем и квартирмейстером Серпуховской дружины Московского ополчения. На недовольство отца

и брата Константина он отвечал: «Вступить в ополчение не значит согласиться на разыгрываемую комедию, а значит изъявить готовность участвовать в опасностях, угрожающих России, чьей бы виной они ни были навлечены». Иван хотел, чтобы было что ответить совести, если она спросит: «А ты где был, когда решалась судьба Отечества?» Честный и работоспособный штабс-капитан Иван Аксаков поставил дело так, что красть в дружине стало невозможно. Впрочем, война уже перешла в стадию «странной», и ополчение дожидалось ее конца в составе гарнизонов Одессы и Бендер (лишь один раз Аксаков видел издали английский пароход-фрегат).

По окончании войны Аксаков вошел в комиссию князя В.И. Васильчикова, занимавшуюся «беспорядками» в продовольственном снабжении русской армии. Судя по письмам, даже у повидавшего много злоупотреблений Ивана Аксакова от подробностей «волосы дыбом становились». Он пришел к убеждению, что Севастополь должен был пасть хотя бы для того, чтобы «явилось на нем дело Божье, то есть обличение всей гнили правительственной системы». На этом закончилась служебная карьера Ивана Аксакова, дослужившегося до чина надворного советника, который «никаким награждениям не подвергался».

Вместе со служебной карьерой прекратились и поездки Аксакова по России. Но «оттепель» нового царствования настолько облегчила возможность выехать за границу, что сотни и тысячи русских подданных буквально хлынули в Европу. Одним из них стал в 1857 году и Иван Аксаков. Отец благословил его поездку довольно своеобразно: «Увидишь своими глазами, до каких жалких результатов довела народы так называемая цивилизация... Снисходительнее взглянешь на все наши недостатки и неустройства...» Иван Аксаков действительно смотрел на Европу критично, но в его подробных письмах-отчетах домой нет желчности. Ему интересны «жизнь и быт действительных народов» Европы. Аксаков восхищается Германией (Нюрнберг — «чудная средневековая игрушка»), испытывает в Париже «чувство провинциала, приехавшего в столицу, восхищение капитана Копейкина», в Италии прикуривает сигару от горячей лавы Везувия, пленяется Венецией. Больше всего критики достается французам, и это вполне понятно. На войну с ними Аксаков уходил всего три года назад, а в Париже ему пришлось быть свидетелем триумфа победителей: по бульварам проходят батальоны зуавов с наградами за взятие Севастополя, со знаменами, разорванными русскими пулями. Звучат новые парижские названия: Альма, Малахофф...

В письмах Аксакова нет ничего о поездке в Лондон (недалеко ушла Россия от эпохи тотальной перлюстрации писем). В Лондоне Аксаков встречался с Герценом. Конечно, это был не просто визит одного из сотен русских туристов, для которых Герцен был специфической лондонской достопримечательностью. Впечатления от личной встречи у обоих были весьма теплые. Герцен писал о собеседнике: «Человек большого таланта... немного славянофил, человек с практической жилкой и принципиальностью»; «Мы с ним очень и очень сошлись...».

«Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы давят нас...»

Основные чаяния Герцена и Аксакова действительно сходились: освобождение крестьян, гарантии прав личности, проведение демократических реформ. Аксаков становится одним из «тайных корреспондентов» «Колокола» и «Полярной звезды» (наряду с И. Тургеневым, Б. Чичериным, К. Кавелиным). Герцен публикует сатирические «Судебные сцены» Аксакова, мистерию «Жизнь чиновника», корреспонденции о современной жизни России. Связь с Герценом сохраняется до 1863 года, когда «лондонский пропагандист» разрывает со многими российскими либералами. Во второй половине 1850-х годов Аксаков сыграл заметную роль в налаживании связей Герцена с кругом славянофилов. Благодаря этому, как заметил Н.Я. Эйдельман, «еще одна группа русских либералов отныне „работала“ на демократическую печать».

Общий вывод Аксакова от путешествия по Европе довольно интересен: «Если бы я был богат, то после семи-восьми месяцев упорного труда и подснежной жизни я бы уезжал каждый год месяца на четыре или пять за границу».

В эпоху Великих реформ Иван Аксаков выбрал для себя редакторско-издательское поприще («это поважнее, чем участие в ополчении»). Возможность влиять на общественное мнение казалась ему весьма важной — недаром на юбилее актера М. Щепкина в 1856 году Иван Аксаков предлагает тост за общественное мнение...

Аксаков признавался: «Я гораздо умнее на бумаге и в стихах, чем в разговоре». 1857 год — его первые тайные корреспонденции в «Колоколе». 1858 — начало 1859 года — негласное редактирование газеты брата Константина «Молва» до самого ее закрытия, «Русской беседы» и «Сельского благоустройства» Кошелева; попытка издавать свою газету «Парус». Вышли всего два номера «Паруса» — в нем свобода слова слишком опережала дозволенную «гласность».

В качестве члена Московского славянского комитета Иван Аксаков побывал в 1860 году в славянских странах, встречался с лидерами местного освободительного движения, слышал от них постоянное: «Знают ли в России, как мы ей преданы, славянской державе? Скоро ли вы к нам?» Здесь Аксаков понял, что истинное славянофильство — в идее достижения свободы славянских народов, обеспечения им возможности развития и самореализации. С таким славянофильством он был согласен. Об этом он писал: «У нас еще вопрос славянофильский может казаться праздным, но здесь это вопрос жизненный, который не нынче завтра разрешится кровопролитием». Вместе с тем Аксаков по-прежнему критиковал преклонение перед допетровской Русью. «Ничем... мы из Древней Руси воспользоваться не можем, и наше единственное спасение и упование — народ... Все, в чем заключаются наши надежды на будущее, все залогом наши лежат в народе нам современном, а не в древней государственности Руси, которая логически разрешилась Петром: он есть ее последнее слово и ее венчает» — так писал Иван в продолжение долгого спора с братом Константином (увы, и в окончание — Константин достаточно рано умер).

После заграничного путешествия 1860 года Иван Аксаков окончательно расстался со своей страстью к странствиям. Он осел в Москве и сблизился с кругом либерального купечества (И.Е. Гучков, В.А. Кокорев, К.Т. Солдатенков, С.И. Мамонтов, С.И. Щукин). Это обеспечило Аксакову финансовую поддержку в его издательских начинаниях, и в 1861 году он начал издание газеты «День». В ней Аксаков хотел продолжить дело умерших уже отца и брата Константина, А.С. Хомякова, братьев Киреевских (в начале новой эпохи судьба уже свела с исторической сцены самых ярких славянофилов 1840-х годов). По его замыслу газета должна была стать «внешним центром» славянофильства. Так он начал пропагандировать идеи славянофилов еще более рьяно, чем его идеологи. Именно с того времени Иван Аксаков «вдруг» вошел в историю как «последний могикиан славянофильства».

Впрочем, в старые славянофильские построения Иван Аксаков внес свою лепту. Он обращается к современной народной жизни не как к идеалу, а как к главной основе развития общества, которое не следует смешивать с государством. Именно поэтому его идеи оказываются близки к идеям либерального народничества. Он писал: «Мы желаем и прогресса, и преобразований, но мы хотим в то же время, чтобы они не были порождением бесплотных отвлеченных систем... Мы хотим, чтобы сама жизнь пустила ростки».

Само понимание Аксаковым истории как движения («ход истории не останавливается») говорит о его вполне западническом, прогрессистском взгляде на исторический процесс. Идеальным отношением к Западу было для Ивана Аксакова отношение его тестя (с 1866 года) Ф.И. Тютчева. Он, по Аксакову, «хотя и жадно впитывал в себя сокровища западного знания, но не только без благоговения и подобострастия, а с полной свободой и независимостью». Аксакова поразило, что Тютчев, вернувшийся в Россию после многолетней жизни в Европе, «на чистейшем французском диалекте, не надевая ни мурمولки, не святославки, а являясь вполне европейцем и светским человеком, на основании собственной аргументации, проповедует учение почти одинаково дикое, как и учение Хомякова...». Сам Чаадаев «не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского — более европейского, чем он сам, Чаадаев; перед ним был уже не последователь, не поклонник западной цивилизации, а сама западная цивилизация, сам Запад в лице Тютчева...».

По Аксакову, призвание России в том, чтобы «примирить в себе односторонности Востока и Запада, претворить духовные богатства того и другого в одно великое целое», — в этом слышны идеи будущих евразийцев. И если говорить о предвосхищении идей XX века, нельзя не вспомнить оброненное в 1867 году: «через два поколения Россия будет иная»; почти «веховскую» критику Аксаковым русской интеллигенции — «питомицы казенной теплицы». «Потому-то и замечательна наша историческая „глупость“, — пишет Аксаков, — что людей не только даровитых,

«Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы давят нас...»

но и умных, и даже ученых у нас немало... но в том и горе, что этот ум, даровитый, даже обогащенный наукою, воспитывается, развивается, творит в отвлеченном пространстве, в атмосфере искусственной, без прикосновения с живым воздухом, без непосредственной связи с родною реальною жизнью, а потому и нет в нем здоровья, и весь проникается он отрицанием... И какими призраками, нелепыми, чудовищными, населена эта атмосфера — от насаждения кукурузы (Sic! — Д.О.) в Архангельске до аристократических на английский манер конституций... до белой горячки замыслов нигилизма...»

Аксаковские идеи о возрождении «нравственного равновесия» призывали к разрешению противоречий между «землей» и «государством» путем создания «общества». Это общество должно было возникнуть от слияния дворянства и крестьянства в особую, народную интеллигенцию.

Аксаков не скупился на резкую критику правительственных действий (вплоть до личностей министров), и это было его способом борьбы за свободу слова. На смену потрепанному цензурой, довольно пасмурному по настроению «Дню» пришла еще более резкая «московская купеческая газета» «Москва» (1867–1868). Недаром Аксакова называли «стратотерпцем цензуры всех эпох и правительств». За год жизни его новая газета пережила девять цензурных предостережений, три «штрафные» приостановки выхода и в конце концов была окончательно закрыта за «вредное направление», а именно — критику «антирусской политики» высшего чиновничества в Литве и Польше.

В своем отношении к Польше Аксаков придерживался собственной «славянофильской» идеи о праве наций на свободу и развитие своих естественных сил. Он считал, что «мы отравились Польшею», что «безумны те, кто полагает, что можно подавить польскую народность». «Против такой общественной силы бессильно государство, хотя бы опиралось оно на сто тысяч штыков. Польша, настоящая Польша (т.е. без претензий на русские города, Смоленск и Киев. — Д.О.), должна быть вполне самостоятельной. Системы насилия не выдержит само правительство, ибо не поддерживается общественным мнением ни России, ни Европы, а полумеры не удовлетворят Польшу», — писал Аксаков.

Двенадцать лет после закрытия «Москвы» (период, когда Аксаков решил, что старое славянофильство умирает, не оставив наследников) — время активной деятельности Ивана Аксакова в Славянском благотворительном обществе. Влияние панславистских идей Тютчева и книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869) отразилось в выступлениях Аксакова о «могучем средоточии» славянских племен под крыльями двуглавого орла — по примеру объединяющихся Италии и Германии. В годы славянского и восточного кризисов (1875–1878) Иван Аксаков особенно деятелен. Он пишет воззвание к «русской общественной совести», организует сбор средств на помощь воюющим с Турцией Сербии и Черногории и заем сербскому правительству, помогает переправлять на Балканы генерала М.Г. Черняева и русских добровольцев. Как вспоминал современник,

«Аксаков был тогда буквально Мининым в Москве. К нему валили толпы с приношениями, как духовному вождю в битве за славян. Его слово творило чудеса. Толпы юношей приходили за благословением...»

Это было время, когда, по словам Аксакова, «все литературные партии, лагеря и фракции перемешались, все очутились, чуть не к всеобщему своему удивлению, согласными и единодушными в самом главном, жизненном для России вопросе; вчерашние противники встречались союзниками». О том же писал Достоевский, принимавший многие идеи Аксакова: «Славянская идея в высшем смысле ее перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдруг, вследствие напора обстоятельств, в самое сердце русского общества, высказалась отчетливо в общем сознании...»

В годы Русско-турецкой войны Иван Аксаков собирал средства для покупки и переправки оружия и амуниции болгарским дружинам. Имея связи (через московских предпринимателей) с директорами железных дорог, он договорился о бесплатном провозе снаряжения и продовольствия для болгар. Даже униформа болгарского ополчения («пехотная болгарка») делается по эскизам Аксакова. Неудивительно, что во время Русско-турецкой войны болгары называли своих ополченцев «детьми Аксакова».

Отказ России от занятия Константинополя и позор «куцега» Берлинского мира, заменившего «идеальный» Сан-Стефанский, стали для Аксакова сильным ударом. Произнесенная по этому поводу речь (22 июня 1878 года) считается вершиной его политико-публицистической деятельности. В ней он выразил горькую обиду, вызванную уступками российской дипломатии. «Ты ли это, — вопрошал он, — Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница... молишь простить тебе твои победы?»

Следствием этой речи был небывалый подъем авторитета Ивана Аксакова среди славян — группа болгарской молодежи даже выдвинула его кандидатуру на болгарский престол. И сто лет спустя имя Аксакова носили улицы нескольких болгарских городов, включая Софию, да еще одна деревня в Варненском округе.

Другим — печальным — следствием речи было снятие Ивана Аксакова с поста председателя Славянского общества, высылка его на полгода из Москвы и закрытие Славянских обществ в России.

Последняя газета, которую издавал и редактировал Иван Аксаков, называлась «Русь» (1880–1886). Советские историки усматривали в ней только «патриотические и консервативные крайности, нападки на либерализм и интеллигенцию» и удивлялись, как это «Русь» при этом критиковала многие несовершенства общественного устройства страны и последовательно отстаивала свободу печати? Как это газете, считавшейся славянофильской, министр внутренних дел объявил предостережение за тон, «несовместимый с истинным патриотизмом», за стремление возбудить «неуважение к правительству»? Внимательное чтение статей Ивана Аксакова, главного и практически единственного идеолога газеты, открывает принципиально иную картину.

«Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы давят нас...»

Аксаков говорит о преходящем периоде «отрезвления», о наступившем сроке «уплаты по долгам», наделанным или не возвращенным эпохой 1855–1881 годов. Он пишет о трудной для славянского характера необходимости перейти от лихого реформаторского «раззудись плечо, размахнись рука» к работе, заставляющей «засадить себя за мелочный, невзрачный, ежедневный труд, для которого вовсе и не требуется развернуть во всю ширь нашу мощь и отвагу...». Аксаков критикует, как сам объясняет, «не либерализм вообще, а либерализм доктринерский, которым щеголяет некоторая часть русской печати и который мы признаем мнимым».

В 1882 году по инициативе Аксакова через министра внутренних дел Игнатьева Александру III, ненавидевшему идею конституционализма, было предложено «посрамить все конституции в мире», провести «нечто шире и либеральнее их, в то же время удерживающее Россию на ее исторической, политической и национальной основе». Для этой цели предлагалось созвать ко дню коронации нового императора (в мае 1883 года) традиционный для России Земский собор — фактически всесословное представительное учреждение, о котором десятилетиями мечтали российских либералы. Аксаков публикует в «Руси» статью в поддержку Земского собора как «союза государства и земли», при котором государство «только и станет на твердую землю... почувствует под своими несомненно здоровыми ногами крепкую народную почву». В частной переписке Аксаков прямо признавался, что принцип «самодержавие и самоуправление... есть венец либеральных вожделиний общества, основа действительного для всякого в нужном случае представительства...».

Попытка Аксакова (и вдохновленного им графа Игнатьева) была последней в ближайшее десятилетие попыткой приблизить Россию к представительному правлению. Она не удалась из-за решительного противодействия Победоносцева, имевшего тогда сильное влияние на царя.

Чем шире разворачивалась новая политика «успокоения общества» (путем усиления государственного контроля), тем пессимистичней становился Аксаков. «Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы, и чувство безнадежности, беспроглядности давят нас», — писал он в одном из последних писем. «Нужно какое-то новое слово современному русскому миру, — признавался Аксаков, — наше старое слово его уже не берет, — новое, которое было бы логически тесно связано со старыми, но секретом этого нового слова я, очевидно, не обладаю. Но и никто не обладает...»

И все же Аксаков работал и работал — до того мгновения, когда 27 января 1886 года в собственном кабинете его настигла скоропостижная смерть от разрыва сердца.

В последний путь Ивана Сергеевича Аксакова провожало сто тысяч человек...

«Пуще всего нам должно
избегать фанфаронить
либерализмом...»

Кто-то прожил жизнь, богатую яркими событиями, кому-то повезло на встречи с интересными людьми; один оставил после себя много идей, другой запомнился большими делами. Нашему герою довелось быть свидетелем войн и революций, Великих реформ и народных восстаний, пережить трех российских императоров, близко знать крупнейших отечественных и зарубежных политиков, ученых, людей искусства. Он был одним из лидеров либерального славянофильства, автором проектов общегосударственных преобразований, учреждал газеты и журналы, много писал сам и издавал сочинения других. Несмотря на прекрасное хозяйство и огромное состояние, он — враг праздности — никогда не сидел без дела. Он опережал свое время, но не забывал жить в нем широко и полнокровно.

Александр Иванович Кошелев родился в Москве 9 мая 1806 года. С детства будущий славянофил оказался в поликультурной среде. Мать — Екатерина де Жарден — француженка из семьи эмигрантов, покинувших родину под угрозой революционного террора. Отец — Иван Родионович — отставной генерал-адъютант, известный в Первопрестольной как «либеральный лорд», убежденный англоман. Он учился в Оксфорде, служил под началом Г.А. Потемкина.

Семья жила на широкую ногу, а юный Александр рос в пестром окружении заезжих иностранцев, от которых «веяло крамолой», и московских аристократов, соединявших в себе европейский лоск и дух русской старины. Его домашним образованием вначале занималась мать, давшая сыну великолепную языковую подготовку — он в совершенстве овладел не только французским, что было нормой для того времени, но и английским, немецким, мог свободно изъясняться по-итальянски, знал латынь и испанский (позже он без труда овладеет еще и польским). В отроческие годы появились приглашенные учителя. Вместе со своими сверстниками братьями Киреевскими Александр брал уроки риторики и изящной словесности у А.Ф. Мерзлякова, политической экономии — у Х.А. Шлецера-младшего. Шестнадцати лет от роду Кошелев поступил на филологический факультет Московского университета, но через год его бросил: не понравилось то, что приходилось учить одновременно по восемь предме-

тов, к тому же без всякой системы. Самообразование для него представлялось более эффективным и полезным.

В 1824 году он окончил Московский университет экстерном. К этому времени его интересы и виды на будущее обозначились уже довольно отчетливо. С 1822 года Кошелев — член веневетиновского литературного кружка, с 1823 года — участвует в литературном обществе С.Е. Раича, а вскоре вместе с князем В.Ф. Одоевским, поэтом Д.В. Веневетиновым, И.В. Киреевским создает кружок «Общество любомудрия» — союз приверженцев философии романтизма, Фихте и Шеллинга.

В 1823 году Кошелев поступил на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел — хранилище дипломатических документов допетровской эпохи и начала петровского царствования. При архиве уже состояли представители золотой молодежи того времени: Одоевский, Веневетинов, С.П. Шевырев, через которых Кошелев познакомился с будущими декабристами Е.П. Оболенским, И.И. Пущиным, К.Ф. Рылеевым, М.А. Фонвизиним. Служба не была обременительной, и начальник архива А.Ф. Малиновский, чтобы как-то занять «архивных юношей», заставлял их описывать по годам дипломатические отношения России с тем или иным государством. В свободное время юноши упражнялись не только в любомудрии и литературной полемике, но также совершенствовали навыки верховой езды и фехтования: казалось, что эти умения понадобятся в случае «решительных действий». В преддверии событий декабря 1825 года «любомудры» заняли более радикальные позиции, а Кошелев на собраниях, проходивших у его троюродного брата М.М. Нарышкина, даже высказывался о «необходимости произвести в России перемену правления». Предчувствие революционных потрясений, атмосфера конспиративности, ассоциации с 1789 годом во Франции даже несколько охладили интерес «любомудров» к немецкой философии, актуализировав идеи французских политических мыслителей XVIII века.

Восстание на Сенатской площади взбудоражило Кошелева и его товарищей: каждый день ожидали новых известий, ежедневно тренировались в манеже, готовились к любому развитию событий, в том числе к аресту. Правда, до «аннибаловой клятвы» дело не дошло. Воодушевление вскоре сменилось разочарованием и укрепило в них уверенность в неприемлемости революционного пути, в необходимости просвещения и нравственного самосовершенствования.

Такова была эволюция мировоззрения молодого Кошелева: от космополитизма домашней обстановки и культуры классицизма — через немецкий романтизм с кратковременным вкраплением якобинского радикализма — к идее национальной самобытности, религиозности, народности. В 1827 году у постели умирающего Веневетинова он познакомился с А.С. Хомяковым и вскоре окончательно присоединился к славянофилам.

В 1826 году Кошелев получает назначение в Петербург в Канцелярию министра иностранных дел К.В. Нессельроде, где готовит обзоры иностранной прессы о России для императора Николая I. Очень пригоди-

лось не только владение языками, но и полученное в Московском архиве Министерства иностранных дел знание истории взаимоотношений России с другими государствами. Кошелев добросовестно исполняет свои обязанности, успешно продвигаясь по службе. В 1829 году его переводят в Департамент духовных дел иностранных исповеданий для разработки «Общего устава для лютеранских церквей в Империи».

Кошелев живет у своего дяди Р.А. Кошелева — известного в то время мистика, близкого к окружению императора, дом которого, как магнит, притягивал самую разную публику. Столичная жизнь целиком захватила молодого аристократа: он принят в модных салонах, посещает балы, театры; ширится круг знакомств, властительницы его сердца сменяют одна другую. Наконец он влюбился — страстно и безответно. Предложение, сделанное им А.О. Россет (в замужестве она более известна как Смирнова-Россет), было отвергнуто, и кто знает, чем бы этот неудачный роман закончился, если бы в 1831 году не «подвернулось» (не без дядиной протекции) назначение в качестве атташе российского посольства в Лондоне. Кошелев уехал, поставив крест на светских развлечениях и своей несчастной любви.

В 1831 году он в свите А.Ф. Орлова участвовал в подписании Лондонского договора об учреждении Бельгийского королевства. К этому времени относится один колоритный эпизод его биографии.

А.Ф. Орлов был практически всемогущ: любимец императора, герой Отечественной войны 1812 года, государственный сановник высшего ранга. Перед ним лебезили, заискивали; ему не смели перечить. Он вел себя соответственно — бесцеремонно, фамильярно, свысока. Кошелев с неприязнью наблюдал подобные сцены: служить он готов был честно, но прислуживаться ему было тошно.

Однажды Орлов, обращаясь к свитским на «ты», спрашивал их поочередно, поедут ли они с ним на охоту. «Эдак он и нам „тыкнет“, — заметил Кошелев одному своему товарищу, и в тот же миг Орлов, остановив на нем взгляд, в упор спросил: — „А ты?“ Пауза была недолгой. „С тобой я везде поеду“, — не дрогнув, отвечал Кошелев».

В Англии он встречался с лордом Греем и будущим премьером Г. Пальмерстоном, присутствовал на парламентских дебатах. После Лондона Кошелев много путешествовал: во Франции общался с Ф. Гизо и Ж. Мишле, бывал на политических диспутах, которые устраивал А. Тьер; слушал лекции Ф. Шлейермахера, Э. Ганса и Ф.К. Савиньи в Берлинском университете, а в Женеве посещал частные лекции П.-Л. Росси, давшие кошелевскому либерализму надежную теоретическую основу. В своих странствиях он пытался не только увидеть, но и понять жизнь людей в Европе. В 1831–1832 годах аристократ Кошелев с котомкой за плечами пешком прошел вдоль левого берега Рейна, наблюдая последствия отмены крепостного права в Германии. Карьера интересовала Кошелева все меньше. По возвращении в Россию он еще пару лет служит советником Московского губернского правления, а в 1835 году выходит в отставку.

«Пуще всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом...»

Отставка для Кошелева стала началом нового, гораздо более интенсивного периода жизни. Как сложившийся либерал, он хорошо понимал цену и выгоду свободы, возможности самому строить и осуществлять свои жизненные планы. А планы были грандиозные: «Постараюсь сделаться первым агрономом России. Менее чем в пять лет я удвою свои доходы и произведу чувствительное улучшение в положении крестьян. За границей буду обращать особое внимание на агрономию и относящиеся к ней науки. Я устрою сельское хозяйство по новому способу, я буду производить сахар, примусь за всевозможные предприятия, — одним словом, постараюсь с возможной пользой употребить свое время», — писал он в своем дневнике. По наследству Кошелев получил имения в Рязанском уезде Рязанской губернии и Новоузенском уезде Самарской губернии, но для осуществления своих замыслов он специально приобрел большое имение Песочня в Сапожковском уезде Рязанской губернии, где и проводил летом большую часть времени. Песочня стала не только резиденцией Кошелева, но и административным центром его огромного хозяйства, включавшего, кроме имений, дома в Москве и Рязани, административные конторы на территориях, где Кошелев держал винные откупа. Откупные операции в то время были довольно распространенным видом предпринимательства как в купеческой, так и в дворянской среде. Это был не самый благодидный, но очень эффективный способ обогащения. Ветхий винокурный завод, доставшийся ему в 1835 году вместе с имением Песочня, после модернизации стал весьма рентабельным (его оборот составлял до 43 000 рублей в год). В 1838 году ввиду падения цен на зерно Кошелев все свои хлебные запасы пустил на винокурение, а также взял на откуп города Сапожок, Коломну, Зарайск, Егорьевск, Рязк и Спасск. Позже он расширил территорию своей винной монополии за счет некоторых населенных мест Тамбовской губернии. Уже в первый год доход от откупных операций перевалил за 100 000 рублей серебром; только в 1848 году он откажется от откупов, став за десять лет одним из богатейших людей империи.

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
КОШЕЛЕВ

Впрочем, богател Кошелев не только откупами: его программа «агронической революции» неуклонно выполнялась. Если при покупке Песочни он вообще не обнаружил господской запашки, то после расчистки бросовых земель в сельхозоборот были введены 1300 десятин пашни, и эта площадь в дальнейшем все увеличивалась. На него работали около 5500 крепостных. В Песочне Кошелев очень жестко регламентировал крестьянские повинности, установив для большинства крепостных трехдневную барщину, а для оброчных — сумму в двадцать пять рублей серебром с тягла (в среднем по губернии было меньше двадцати рублей). 3607 десятин лесных угодий, которые крестьяне считали своими (нередко они возили лес на продажу в город), Кошелев велел окопать рвом и отпускал их только за деньги или натуральные повинности. Те же порядки действовали и в отношении пастбищ. За порубку леса и потраву лугов налагались штрафы или чувствительные наказания.

Кошелев постоянно мучился вопросом: «Как противодействовать русской лени?» — и в начале 1830-х годов даже хотел создать для этого особое общество. Он всегда подозревал в лености своих крепостных. Будучи человеком деятельным и неутомимым, он готов был требовать этого от других со всей возможной жесткостью.

В Песочне, кроме винокуренного, строятся маслосыродельный, крахмально-паточный и сахарный заводы, мастерские по ремонту сельскохозяйственного инвентаря, кожевенный цех, две мельницы, кирпичный завод. Развивается племенное животноводство (1000 голов крупного рогатого скота, из них 300 — дойных коров). Для улучшения породы выписывали холмогорских, английских, голландских и тирольских быков. В результате возникла проблема с кормами, потребовались новые посевные площади, культура травосеяния, специальные машины. Кошелев все чаще выезжает за границу, знакомится с передовой агрономией и уборочной техникой. С середины 1840-х годов он ежегодно посещает сельскохозяйственные выставки в Генте (Бельгия), о которых с восхищением рассказывает на заседаниях Московского и Лебединского обществ сельского хозяйства. Во время посещения в 1851 году Всемирной выставки в Лондоне Кошелев познакомился с герцогами Бедфордом и Нортумберлендом и побывал в их владениях, где более всего интересовался хозяйствами фермеров, арендующих у них землю. По возвращении в Россию он приглашает членов Московского и Лебединского обществ сельского хозяйства на съезды в Песочню. Там он впервые в России демонстрировал купленные в Лондоне жатку Мак-Кормика и плуг Смаля, сеялку и пропашник Гаррета, конные грабли Смита, молотилку Голмеса, зернодробилку и соломорезку Баррета. В конце 1840-х — начале 1850-х годов Кошелев опубликовал десятки статей об использовании сельскохозяйственных машин в «Трудах императорского Вольного экономического общества», «Земледельческой газете» и других изданиях.

Рассказывая о зарубежном опыте, Кошелев не пренебрегал и отечественными изобретениями: увидев на испытаниях, что жатка Мак-Кормика уступает аналогичному агрегату М.П. Петровского, он выделил последнему значительную сумму денег на продолжение работ, купил ему мастерскую, живо интересовался ходом дела и сам участвовал в усовершенствовании машины. В 1856 году крепостной Кошелева Т. Хохлов, служивший управляющим мельницей в деревне Смыково, вместе с сапожковским кузнецом И. Казаковым усовершенствовал конную молотилку Эккерта с «барретовским» приводом, сделав стационарную машину переносной. «Смыковка» — так назвали новую модель — быстро нашла спрос среди землевладельцев, заказы стали поступать даже из других губерний. Предприимчивые крестьяне скоро организовали собственное дело по производству сельхозмашин.

Планы Кошелева вполне реализовались. Он стал крупнейшим рязанским помещиком-предпринимателем, нажил огромный капитал, создал одно из лучших в России многоотраслевых хозяйств. В 1847–1857 годах он

«Пуще всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом...»

был официальным поставщиком хлеба в казну для нужд армии и флота. Его заслуги в развитии сельского хозяйства в 1852 году были отмечены золотыми медалями Московского и Лебединского обществ, а авторитет среди местных помещиков уступал разве что его богатству; в 1840 году его избрали сапожковским уездным предводителем дворянства.

Давняя дружба Кошелева с А.С. Хомяковым, братьями Киреевскими и другими участниками кружка славянофилов не прерывалась даже в годы его службы за рубежом. В летние месяцы в песочинское имение часто навещали также Ю.Ф. Самарин и В.А. Черкасский, ставшие членами Лебединского общества. Зимой, когда Кошелев жил в Москве, его гостеприимный дом был распахнут не только для любителей практической агрономии, но и для всех, интересующихся вопросом о путях развития России. Следуя тогдашней моде, он устраивал приемы — кошелевский салон по средам был полон. Обедать и ужинать к нему почти ежедневно были званы И.С. Аксаков и Т.Н. Грановский, А.С. Хомяков и С.М. Соловьев, И.В. Киреевский и К.Д. Кавелин. Именно на кошелевских «средах» за большим обеденным столом происходили знаменитые словесные баталии славянофилов и западников. Соловьеву, молодому профессору Московского университета, которого Кошелев упрямо усаживал в середине стола, между Грановским и Аксаковым, хозяин дома казался «горланом»; он — завзятый славянофил — был нарочито нейтрален, пытался примирять оппонентов, потчuya их разносолами. Соловьев увидел перед собой старомосковского барина, а не аристократичного дипломата школы Нессельроде. В одном он был прав: Кошелеву был интересен не схоластический, а прикладной аспект славянофильства, абстрактное философствование его совсем не занимало.

Никто из славянофилов не был так активен в политическом плане, как Кошелев. И вряд ли кто-то из западников спорил со славянофилами больше, чем славянофил Кошелев. Самое серьезное противоречие заключалось в том, что для него славянофильство было естественной формой существования либеральной идеологии, тогда как большинство его товарищей по лагерю чурались либерализма. Идею народности Кошелев прямо связывал с освобождением крестьянства, созданием законосовещательной земской думы и широким единением сословий на антибюрократической основе. Соборность для него — совместная (всех сословий) ответственность за судьбу России перед будущим, но ни в коем случае не безличностное нивелирующее начало. Кошелев любил подчеркивать роль частной инициативы, священную для него свободу личности: «Общество не есть лицо, а лишь форма для свободного развития личностей. Соединяйте людей верою, наукой и прочим, но не касайтесь личной свободы, не налагайте на нее оков извне».

Самодержавие он считал наиболее подходящей для России формой правления, но предлагал расширить участие дворянства в законодательстве и местном управлении (эти идеи получили развитие в брошюре «Конституция, самодержавие и земская дума», изданной в Лейпциге

в 1862 году). Русский царь представлялся ему своего рода демократической альтернативой западноевропейскому правителю, поскольку олицетворял собой волю всего народа, а не узкого слоя дворян или аристократии.

В вопросах религии Кошелев проявлял веротерпимость, допуская возможность участия в государственном управлении наряду с православными представителями других конфессий. Горячий сторонник объединения славянских народов, он, боясь оттолкнуть славян-католиков, не считал православие подходящей основой для такого союза. Кошелев глубоко сожалел, что официальная церковь мало заботится о распространении православия среди населения, считал вредным для общества удаление церкви от современных проблем. Не будучи фанатично религиозным человеком, он считал веру величайшей ценностью народа, связующей его мысли и дела. При Кошелеве в Песочне, где ранее уже была церковь, были построены еще два храма. Серьезные противоречия возникали у него с И. Киреевским по вопросу о православном государстве: Кошелев не мог принять этой концепции, считая ее совершенно утопичной: «Евангелие переносить в иную сферу — в политику, — значит перепутывать все мысли. Власть в государстве, которая хотела бы облечь учение Христово в форму закона, породила бы жестокий, невыносимый деспотизм».

Англоман в душе, Кошелев, с одной стороны, чуждался идей национального изоляционизма, с другой — предостерегал от бездумного заимствования западноевропейских политических институтов, считал нигилизм и атеизм плодами европейского просвещения, привитого на неподготовленную русскую почву. На практике он пытался соединить в одном лагере все общественные силы либерального направления, утверждая, что в этом случае обществу не стоит опасаться узкого слоя революционеров. Кошелев верил в способность крестьянской общины предотвратить «пролетаризацию» России, отводил общине ведущую роль в преобразовании крестьянского быта на началах личной свободы и круговой поруки, во введении общественного суда и самоуправления. Община, по мысли Кошелева, должна была стать и гарантом экономических интересов землевладельцев в процессе освобождения крестьян.

Прозападническая либеральная бюрократия периода Великих реформ стала объектом довольно жесткой критики со стороны Кошелева за непоследовательность и половинчатость преобразований, заигрывание с нигилистами и «либеральничанье невпопад». Главные вопросы жизни страны, по его мнению, должны решать не чиновники, а лучшие представители народа: «Пусть царь созовет в Москву, как настоящий центр России, выборных от всей земли русской, пусть прикажет изложить нужды Отечества, и выборные с общего совета определят способ осуществления готовности пожертвовать всем». Мысль о введении общегосударственного представительного органа в России не покидала его в течение всей жизни.

Главным делом жизни стало для Кошелева участие в подготовке и проведении крестьянской реформы. Он вошел в историю прежде всего как автор самого радикального дворянского проекта освобождения крестьян.

«Пуще всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом...»

Убеждение в необходимости отмены крепостного права, основанное на традициях семьи и знакомстве с жизнью народа за рубежом, укрепилось, когда Кошелев начал свои сельскохозяйственные опыты в Песочне. Сначала была критика указа «Об обязанных крестьянах» 1842 года, который, с точки зрения Кошелева, не гарантировал выгоды помещику, затем — положительная реакция на указ 1844 года об освобождении дворовых. Этим указом Кошелев воспользовался, «отпустив» на волю без земельного надела 200 душ, взяв за мальчика по 150 рублей, за взрослого мужчину — по 300, а за обученных ремеслу — по 420 рублей серебром (выкуп осуществлялся в течение двадцати лет). Экономическая несостоятельность института дворовых и практические преимущества вольнонаемного труда были для Кошелева самым весомым аргументом.

В 1847 году он решил действовать. В «Земледельческой газете» выходит его статья «Охота пуще неволи», а на имя министра внутренних дел Л.А. Перовского поступает его «Записка об улучшении быта крестьян». Следующие «эмансипационные» проекты Кошелева были представлены правительству в 1849 и 1850 годах, т.е. не в самое подходящее время (дело петрашевцев и начало Крымской войны). В них предлагалось облегчить освобождение дворовых людей и запретить перевод из крестьян в дворовые, кроме того, существовал проект предложений по освобождению крестьян с землей за выкуп.

Новая записка «О необходимости уничтожения крепостного состояния в России», содержащая этот проект, появилась в обстановке общественной эйфории, вызванной воцарением Александра II и провозглашением реформаторского курса правительства. В феврале 1857 года эта записка вместе с проектами А.М. Унковского, В.А. Черкасского и Ю.Ф. Самарина была передана в Главный комитет по крестьянскому делу, а затем в Редакционные комиссии.

«Пришел крайний срок, и освобождать крестьян надо не завтра, а ныне», — говорилось в проекте Кошелева. Его план предполагал освобождение крестьян с двенадцатилетним сроком выкупа земли (три года — по официальному максимуму цен, три года — на условиях, выработанных соглашением выборных от дворянства и крестьян, за оставшиеся шесть лет — общий обязательный выкуп на условиях правительства; дворовые при этом подлежали освобождению без земли).

В 1858 году по представлению рязанского губернатора М.К. Клингенберга (а фактически стараниями вице-губернатора М.Е. Салтыкова-Щедрина) Кошелев был назначен членом от правительства в Рязанский губернский комитет по крестьянскому делу. Кошелев был среди восемнадцати депутатов от губернских комитетов, потребовавших представить на их рассмотрение окончательный проект крестьянской реформы, выработанный Редакционными комиссиями. Он критиковал работу последних и считал, что в окончательном проекте ущемлены вотчинные права помещиков. «Слово „свобода“, — писал Кошелев, — не должно быть употребляемо в указах; это тем удобнее, что слова „отпуск на волю“ однозначны и не возбуждают в народе никаких ложных понятий».

В 1861 году, после оглашения манифеста Александра II, Кошелеву пришлось вызывать батальон Сибирского гренадерского полка для усмирения крестьянского бунта в Песочне — так его бывшие крепостные отреагировали на условия выкупа земли. Дворяне Сапожковского уезда, которых он с 1847 года убеждал в необходимости реформы, также возненавидели своего бывшего предводителя. Правительство, знакомое с его предложениями о введении представительных институтов, подозревало в нем конституционалиста. Даже друзья-славянофилы, с которыми у него не было расхождений по крестьянскому вопросу, укоряли Кошелева в излишней лояльности и стремлении к сотрудничеству с властью. И они были недалеки от истины.

Еще в 1854 году, в условиях жесточайшего финансового кризиса, вызванного войной, Кошелев составил записку «О денежных средствах России в настоящих обстоятельствах» и в 1855 году подал ее императору Александру II. В 1859–1860 годах он был членом Комиссии по проектам нормативного устава поземельных банков и ипотечного положения, а в 1860 году — председателем Винокуренной подкомиссии, разработавшей проект свободной виноторговли с установлением акцизного сбора в четыре копейки с градуса алкоголя. В 1862 году, став председателем Московского общества сельского хозяйства, Кошелев выступает с проектом созыва земской думы. Это компромисс, который он предлагает правительству в ситуации, когда отношения в обществе накалены, а процесс освобождения крестьян еще не дал положительных результатов.

В период Польского восстания 1863–1864 годов Кошелев одобрял действия виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева, считал невозможным существование самостоятельного польского государства: «А Муравьев хват: вешает да расстреливает! Дай Бог ему здоровья». В 1864 году Кошелев принял предложение правительства и был назначен управляющим финансами в Царстве Польском (кроме того, он заведовал горными заводами Западного края). На этом посту он выступил против русификаторской политики князя Черкасского, добился разрешения на привлечение польского дворянства в Комиссию о налогах в Царстве Польском и включение их в аппарат управления, составил проекты питейного устава и положения «О преобразовании прямых налогов в Царстве Польском».

Кошелев сумел стабилизировать финансовое положение в крае, способствовал распространению русского языка в делопроизводстве (документы, написанные по-русски, принимались вне очереди и рассматривались при его личном участии). Опытный дипломат, Кошелев часто устраивал в своем доме приемы для польской знати. В 1866 году из-за конфликта с Н.А. Милютиным и М.Х. Рейтерном он вышел в отставку, оставив о себе добрые воспоминания среди польской шляхты, интересы которой он защищал, в отличие от остальной русской администрации. Правительству он представил записку «О прекращении военного положения и введении общегосударственных учреждений в Царстве Польском».

«Пуше всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом...»

Участие Кошелева (а также князя Черкасского) в действиях правительства в Польше вызвало негативную реакцию в среде славянофилов. Ф.В. Чижов даже назвал их «рenegатами славянофильства». Кошелев не мог принять такую позицию: «Я в душе за власть; с прискорбием вижу, когда она спотыкается, а не намерен высказывать к ней ни малейшей неприязненности... Впрочем, я глубоко убежден, что у нас оппозиция неплодотворна. Пуще всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом».

Как самый богатый из славянофилов, Кошелев финансировал многие славянофильские издания, часть из них редактировал сам. В 1852 году на его средства был издан первый том «Московского сборника» (под редакцией И.С. Аксакова), в 1856 году основан журнал «Русская беседа», в 1858-м — газета «Сельское благоустройство» (до августа 1858 года Кошелев сам редактировал оба издания). В 1861 году Кошелев издал полное собрание сочинений И.В. Киреевского, в 1871–1872 годах субсидировал журнал «Беседа» (редактор С.А. Юрьев), в 1880–1882 годах — газету «Земство» (редактор В.Ю. Скалон). При этом его позиция была умеренной, во многом проправительственной. «Убедительно вас прошу, — писал он И.С. Аксакову, — и в „Парусе“, и в „Беседе“ не становиться в оппозицию с правительством. Вы этим дело убьете. Что нам Герцен и компания?.. Я желаю слыть органом правительства, только либерального правительства».

С 1865 года и до конца дней Кошелев был гласным Сапожковского уездного и Рязанского губернского земских собраний; с 1870-х годов — гласным Московской городской думы. Он активно поддержал статистические исследования, предпринятые Московским земством, и организовал подобные в Рязанской губернии, где в 1870–1874 годах руководил работой оценочной комиссии земства, привлек к участию в ней видного статистика В.Н. Григорьева.

Основное внимание и усилия (в том числе и финансовые) Кошелев сосредоточил на работе в Сапожковском уездном земстве, где с 1868 года был председателем Уездного училищного совета, добился открытия в Сапожке уездного земского училища, выделения значительных сумм на нужды народного образования. Кошелев был одним из инициаторов организации стационарного медицинского обслуживания населения в уезде, в 1874–1883 годах участвовал в губернских съездах врачей, разработал устав Александровской учительской семинарии, готовившей учителей для сельских земских школ. Современники уже называли его не иначе как «старик Кошелев», но сам он был энергичен и полон идей.

Из его крупных финансовых предприятий в этот период выделяется попытка покупки Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. В 1868 году вместе с В.А. Кокоревым он возглавил специально созданное для этого Московское товарищество, но сделка не состоялась.

В основном же Кошелев занимался публицистикой, написал и опубликовал десятки статей в журнале «Русская мысль», газетах «Голос», «Рязанские губернские ведомости», «Русь». Он обращал внимание читающей публики на непомерность государственных расходов, доказывал

необходимость жесткой экономии в финансовой сфере, развивал идею единения дворянства с другими сословиями в целях постепенного преодоления всевластия бюрократии, критиковал земские учреждения за развитие в них «дворянско-крепостнического и адвокатско-либеральнического направления», отмечал слабое представительство крестьян в земствах. В 1882 году он разработал проект привлечения уездных выборных — по два человека от крестьян, дворян и горожан — в губернские комитеты по переустройству местного самоуправления. В общегосударственный комитет по этому вопросу должны были войти по два человека от каждой губернии без различия сословий.

Некоторые работы Кошелева, которые, по цензурным соображениям, нельзя было опубликовать в России («Какой исход для России из нынешнего ее положения?», «Наше положение», «Общая земская дума в России», «Об общинном землевладении в России», «Что же теперь делать?»), печатались в Берлине и Лейпциге. Он считал своим долгом предостерегать правительство от ошибочных действий даже тогда, когда само оно не желало его слушать.

«...Но не лишать прочих возможности развивать свои силы и способности» — так продолжил Кошелев свою мысль в дневниковых записях. Отношение его к благотворительности было нетрадиционным для того времени. Он довольно прохладно относился к мероприятиям церкви в сфере социальной помощи, критически оценивал практику закрытых форм призрения (богаделен и инвалидных домов), отдавая предпочтение общественной медицине и земским благотворительным заведениям. Он буквально ненавидел лентяев, паразитирующих на «нищелюбии» русского обывателя, видя в благотворительности такого рода совершенно тупиковый путь, ведущий не к преодолению бедности, а к ее росту, к нравственному растлению и просящих, и подающих милостыню.

В отношении к общественному призрению Кошелев стоял на позициях земского либерализма. Помощь нуждающимся, считал он, является обязанностью общества, но не может быть его главной целью. Деятельность государства и различных общественных союзов должна быть направлена на то, чтобы создавать условия для нормального функционирования основных производительных сил общества. Земство должно в первую очередь вкладывать средства в прогрессивные направления культурно-хозяйственного развития, а затем уже думать о немощных и обездоленных. Современники считали Кошелева не просто бережливым, но даже скупым в расходовании земских денег, имея в виду, что он не позволял раздавать их всем подряд.

Наиболее целесообразным и перспективным видом помощи «низшему» классу Кошелев считал просвещение, а самым эффективным средством такой помощи — широкое общественное самоуправление, организующее и направляющее деятельность школы, церковной общины, представителей земской интеллигенции, развивающее медицинское об-

«Пуще всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом...»

В этом отношении показательна его полемика с В.И. Далем, который в «Письме к издателю А.И. Кошелеву», опубликованном в третьем номере «Русской беседы» за 1856 год, между прочим заметил, что для распространения грамотности среди народа еще не пришло время и просвещение будет лишь способствовать падению его нравственности. Даль предлагал вначале устроить быт крестьян, поднять их материальный уровень, укрепить основы мирского управления. Кошелев в статье «Нечто о грамотности» возражал ему: «Разве учреждение школ, сообщение народу грамоты мешает нам заботиться об улучшении сельского управления, об утверждении крестьянского быта на основаниях разумных и законных, об улучшении как духовного, так и материального положения поселян и прочее? Я думаю, напротив, что грамотность есть к тому пособие, и притом весьма сильное и совершенно необходимое пособие. Вы хотите лучше устроить сельское управление. Вот это легче с грамотным, чем с безграмотным». В подтверждение своей точки зрения он писал о собственных имениях: «У меня несколько школ. Одна существует двадцать лет, другие пятнадцать, десять, восемь и четыре года. Из первой выпущено более четырех сотен учеников, в итоге обучилось у меня под тысячу человек. Крестьяне из школ возвращаются к своим обязанностям, и они не только не становятся худшими, а напротив: грамотные чаще ходят в церковь, чем неграмотные, ведут себя гораздо лучше, пьяниц между ними почти нет; многие из них поступили в начальники, ключники и прочее, и я ими остаюсь вполне доволен».

При этом и в вопросах развития образования, распространения грамотности Кошелев активно выступал против принудительности, насильственного насаждения грамотности. Так, он критиковал идею поголовного обложения всех крестьян Сапожковского уезда «образовательным» налогом (пять копеек с десятины земли): «Считаю обязательность совершенно непригодною при раздаче благодеяний. Грамотность есть благо, выгода. Как же людям под страхом наказания навязывать благо, выгоды?» Не жалея собственных средств на развитие народного образования (например, весь гонорар от сборника «Голос из земства» он отдал на устройство уездного земского училища в городе Сапожке), Кошелев настаивал на том, что народные школы не менее чем наполовину должны содержаться крестьянами из их средств. Для этого необходимо их убеждать, разъяснять им пользу и выгоды образования, но не принуждать законодательно. И ни в коем случае, предостерегал он, нельзя оставлять открытие и содержание школ в ведении одних только сельских обществ — иначе тогда и школ у населения не будет. Еще одна важная мысль сформулирована Кошелевым гениально просто: «Непрочна, ограничена будет грамотность у нас в народе, пока она не распространится между матерями». В конце 1860-х годов постановка вопроса о женском образовании применительно к крестьянской среде была весьма смелой не только для России, но и для Европы.

Славянофильские взгляды не мешали Кошелеву видеть негативную роль церкви в деле просвещения народа. Он едко высмеивал «педагоги-

ческую» деятельность духовенства в церковно-приходских школах: «Священник получает от прихода пособие в тридцать, сорок, пятьдесят или шестьдесят рублей; он собирает учеников в своем доме или в церковной сторожке; они ему носят воду, рубят дрова, посылаются на гумно за соломой или с другими поручениями и в свободное от этих занятий время долбят азбуку или псалтирь. Эти школы просто вредны, ибо тут мальчики не развиваются, а привыкают к напрасной трате времени...» Зная отношение народа к церковно-приходским школам, Кошелев довольно скептически отзывался от их участи в будущем. Еще более жестко он высказывался о роли духовенства в развитии школьной сети, отмечая, что оно, «вообще усердное по сбору своих доходов, весьма небрежно относится ко всему, что не доставляет ему рублей и гривен».

Таким образом, в вопросах благотворительности Кошелев исповедовал передовые (иногда даже радикальные) для своего времени взгляды, был сторонником просвещения, наиболее прогрессивных форм социальной помощи, осуществляемых обществом в рамках широкой программы культурно-хозяйственного развития.

Теракт 1 марта 1881 года перечеркнул надежды Кошелева на реализацию его политического идеала — земской думы, стал для него серьезной моральной травмой. Но он не сдался, хотя сил для работы оставалось все меньше, а дел не убавлялось. В день своей смерти 12 ноября 1883 года Кошелев успел посетить заседание Московской городской думы. Хоронили его на кладбище Донского монастыря рядом с могилами друзей-славянофилов.

Кошелев был талантливым предпринимателем, способным решать сложнейшие организационно-управленческие задачи. Оставшееся после него огромное имение вскоре перестало приносить доход — без личного участия рачительного хозяина оно разваливалось. Переданное в 1889 году наследниками Александра Ивановича на конкурсное управление, имение было затем продано Крестьянскому поземельному банку, который перепродал его часть крестьянам, а центральную усадьбу с винокуренным заводом и участком строевого леса передал в 1899 году Министерству земледелия и государственных имуществ.

К концу XIX века население Песочни увеличилось до 3693 человек (в 1859 году — 2500), число дворов выросло в два раза (с 245 до 484 единиц). В селе было две школы, больница, почтово-телеграфное отделение, базары, ярмарка. Работали четыре завода. В 1907 году при казенном имении была создана трехклассная сельскохозяйственная школа первого разряда на шестьдесят учащихся (тридцать получали казенные стипендии); при ней действовало учебное хозяйство. Созданное Хохловым и Казаковым в селе Смыково предприятие по производству сельхозмашин разрослось до масштабов крестьянского промысла. В конце 1860-х — начале 1870-х годов молотилки стали производить в городе Сапожке, селах Песочня, Чучково, Канино, Канинские Выселки, Новокрасное, Курган, Рязжский Хутор, Малый Сапожок, Коровка, Путятино, Морозовы Борки и Черная Речка.

«Пуще всего нам должно избегать фанфаронить либерализмом...»

Усовершенствованные «смыковки» покупали земства и крестьянские общества, заказов было столько, что кустари не успевали их выполнять. После голода 1891–1892 годов, сократившего спрос на сельхозтехнику (тогда закрылись пять литейных заводов и около ста мастерских), происходит новый рост и укрупнение предприятий; в 1911 году работали одиннадцать литейных заводов и двадцать два крупных сборочных предприятия. Кроме молотилок, производили веялки, просорушки, соломотрясы, грохоты, позже — шерсточесальные, трепальные и сукновальные машины. «Бабушкой» этого промысла была неуклюжая молотилка Эккерта, привезенная Кошелевым.

В 1917–1918 годах песочнинские крестьяне основательно разграбили бывшее кошелевское имение. Из того, что уцелело, в 1920-х годах были созданы областная селекционная станция, два колхоза, сельхозтехникум. С 1996 года все песочнинское хозяйство в качестве учебной опытной базы передано Рязанской государственной сельхозакадемии. На месте усадьбы Кошелева сохранились некоторые хозяйственные постройки, часть чугунной ограды, угадываются очертания великолепного когда-то парка. В селе Песочня при том же (приблизительно) числе дворов население едва превышает тысячу человек...

Имя Александра Ивановича Кошелева прочно вошло в историю, хотя и не всегда вспоминалось потомками с благодарностью. Большая его жизнь, его идеи и труды — это еще и биография российского освободительного движения, русского либерализма, это великолепная иллюстрация того, что может сделать один человек, превыше всего ценящий труд и свободу мысли.

«Наше больное место —
пассивность, стертость
нравственной личности...»

Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) — один из самых крупных и влиятельных русских мыслителей 1840–1880-х годов. Историк, философ, правовед, публицист и мемуарист, он оказал огромное влияние на разработку ключевых проблем русской истории и культуры. Прежде всего Кавелина интересовала проблема личности в России. Об этом он писал: «У нас не было начала личности: древняя русская жизнь его не создала; с XVIII века оно стало действовать и развиваться». То есть с наступлением Нового времени личность в России все-таки появилась, и вместе с ней — шанс на выход из мировой изоляции, на появление новой, светской культуры.

Подобно другим историкам, Кавелин не мог не размышлять о том, что обозначило этот перелом и когда он произошел. Его внезапность подметил и Пушкин, писавший, что «словесность наша явилась вдруг в XVIII столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной...». XVIII век — период Петровских реформ, укрепления государственного могущества и выхода России на сцену европейской истории. Случайно ли происходит так, что в России процессы становления личности и укрепления государства начинаются одновременно? Того самого государства, которое чуть не раздавило Чаадаева и Гоголя, которому так отчаянно сопротивлялся Лермонтов и о котором Пушкин писал, что оно «единственный европеец в России», напрямую связывая появление новой литературы с западническими реформами Петра.

Проблема соотношения личности и государства становилась одной из центральных проблем русской духовной жизни, крайне важной для самоопределения культуры и внутренней политики России. Как раз этой проблеме во многом посвящено творчество Константина Дмитриевича Кавелина.

Выросший в семье, принадлежавшей, по определению Достоевского, к «средневысшему кругу» русского дворянства, Кавелин отказывается от традиционной для этого сословия военной или чиновной карьеры. Его влечет научная деятельность, желание понять окружающую действительность. Учеба в университете укрепила его тягу к занятиям наукой. Несмотря на сопротивление семьи (профессорство казалось матери Кавелина

лакейской должностью), он с начала 1840-х годов читает в Московском университете лекции по истории русского права. Тогда же он тесно сходится с А.И. Герценом, который позднее, в 1861 году, в «Колоколе» с любовью вспоминал Кавелина, ставя его в ряд ведущих деятелей русской культуры: «Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин — все это наши товарищи, студенты Московского университета...»

Первые лекции и первые, еще не вызвавшие заметного шума в публике журнальные публикации Кавелина обратили на себя внимание одного из самых пронизательных критиков 1840-х годов — В.Н. Майкова. В статье 1846 года он сравнил научную деятельность Кавелина с переворотом, произведенным в литературе Гоголем: «В то же время как зарождалось у нас славянофильство, зарождался и противоположный взгляд на прошедшее и настоящее России. Это был взгляд спокойного, беспристрастного анализа, взгляд, который сначала произвел такой же ропот в науке, как сочинения Гоголя в искусстве, но который мало-помалу делается господствующим. В последнее время представителями его являются профессора Московского университета, господ Кавелин и Соловьев, которым, может быть, суждено сделать для русской истории то же, что сделал Гоголь для изящной литературы...»

Но подлинная слава и влияние Кавелина на русскую общественную мысль начинаются с 1847 года, когда в журнале «Современник» публикуется его статья «Взгляд на юридический быт древней России». Статья эта была составлена из курса лекций по просьбе В.Г. Белинского, считавшего выраженную в этих лекциях точку зрения «гениальной».

Прежде чем формулировать культурно-историческую позицию Кавелина, стоит посмотреть, в контексте каких идей и проблем она зародилась и ответом на какую позицию была. Как известно, в XIX веке первой попыткой философии русской истории явилось «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, появившееся в 1836 году в «Телескопе». Журнал, опубликовавший это письмо, был закрыт, цензор отстранен от должности, редактор сослан, а сам автор объявлен сумасшедшим. Причиной тому был поразительно мрачный взгляд мыслителя на историю России и ее настоящее. Современники восприняли письмо как «обвинительный акт против России». Действительно, оптимизма в первом письме Чаадаева было немного: «В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и донныне. Вот горестная история нашей юности... Мы живем в каком-то равнодушии ко всему в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего... Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас безвозвратно. Все это есть следствие образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, самобытного...»

По сути дела, Чаадаев заявил, что Россия и Западная Европа развиваются на разных началах, ибо в России не было личностей, способных определить ее прогрессивное движение. Славянофилы, споря с Чаадае-

вым, тем не менее признали «разность оснований», объявив случайностью все заимствования у Запада и подражания ему; они искали национальную самобытность в общинности и православной соборности. Иными словами, все те характеристики России, которые для Чаадаева были несомненно отрицательными, получили у славянофилов положительную окраску.

Однако и Чаадаев, и славянофилы, по замечанию П.Н. Милюкова, «искали идей в истории... стояли высоко над материалом, над действительностью в русской истории, не только не объясняя ее, но даже и не соприкасаясь с ней».

К.Д. Кавелин стал первым профессиональным историком, начавшим работать с «материалом» и при этом предложивший свою концепцию русской истории. Противопоставляя кавелинскую историческую модель взглядам славянофилов, его ученик, а потом и коллега либерал-правовед Б.Н. Чичерин отмечал: «Как далек был этот здравый, трезвый и последовательный взгляд на русскую историю от всех бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, ничего не видели в ней, кроме собственных своих фантазий».

В своей знаменитой статье в «Современнике» Кавелин подчеркивал, что «внутренняя история России — не безобразная груда бессмысленных, ничем не связанных фактов. Она, напротив, стройное, органическое, разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после реформ. Исчерпавши все свои исключительно национальные элементы, мы вышли в жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были и прежде, — русскими славянами...»

В отличие от славянофилов Кавелин искал через свою «формулу российской истории» путь не к «самодостаточной», а к универсальной, «общечеловеческой жизни». Точкой отсчета мирового прогресса он считал возникновение личности. На Западе, писал он, «человек давно живет и много жил, хотя и под односторонними историческими формами, у нас он вовсе не жил и только начал жить с XVIII века. Итак, вся разница только в предыдущих исторических данных, но цель, задача, стремления, дальнейший путь один». Кавелин хотел доказать, что появление в России личностного самосознания — закономерное явление русской истории. Необходимо было дать историческое обоснование этому феномену.

Строго говоря, Кавелин распространил на Россию тезис западников о том, что история движется лишь там, где есть развитая личность, что только при этом условии страна становится цивилизованным государством, в котором развиваются промышленность, система образования, распространяется просвещение. Для народов, утверждал он, призванных ко всемирно-исторической деятельности, существование без начала личности невозможно. Личность есть необходимое условие духовного развития народа. Спустя много лет, в 1863 году, на чтениях в «профессорском клубе» в Бонне об освобождении крестьян он в своем «Кратком взгляде на русскую историю» четко сформулировал: «Если мы европейский народ и способны к развитию, то и у нас должно было обнаружиться стремление

«Наше большое место — пассивность, стертость нравственной личности...»

индивидуальности высвободиться из-под давящего ее гнета; индивидуальность есть почва всякой свободы и всякого развития, без нее немислим человеческий быт».

Именно в этом позиция Кавелина отличалась от чаадаевской и славянофильской. Чаадаев утверждал, что русские — не европейцы; славянофилы считали, что русские — другие европейцы, нежели на Западе, с другой (истинной) христианской верой и ментальностью (общинностью вместо западной индивидуальности). Кавелин, напротив, дал личностную и в этом смысле антиславянофильскую версию русской истории. По Кавелину, распадение родового быта, укрепление быта семейного, последующий его кризис привели к возникновению могучего государства в России. А «появление государства было вместе и освобождением от исключительно кровного быта, началом самостоятельного действия личности».

«Наше больное место, — писал позднее Кавелин в статье „Наш умственный строй“, — пассивность, стертость нравственной личности. Поэтому нам предстоит выработать теорию личного, индивидуального, личной самостоятельности и воли». Однако, будучи убежденным западником, Кавелин резко возражал против бездумного заимствования западных идей и теорий без учета российского «коэффициента преломления». Личность, по его мнению, есть продукт воспитания, а не подражания: «Нам не следует, как делали до сих пор, брать из Европы готовые результаты ее мышления, а надо создать у себя такое же отношение к знанию, к науке, какое существует там. В Европе наука служила и служит подготовкой и спутницей творческой деятельности человека в окружающей среде и над самим собой. Ту же роль должны мысль, наука играть и у нас... Такой путь будет европейским, и только когда мы на него ступим, зародится и у нас европейская наука...»

Первой свободной личностью в истории России Кавелин считал императора Петра: «В Петре Великом личность на русской почве вступила в свои безусловные права, отрешилась от непосредственных, природных, исключительно национальных определений, победила их и подчинила их себе. Вся частная жизнь Петра, вся его государственная деятельность есть первая фаза осуществления начал личности в русской истории». Именно пробуждающимся в России личностным началом объяснял Кавелин просветительский западнический радикализм Петра: «В обществе, построенном на крепостном начале, личность могла заявить себя не иначе как с большою ненавистью к порядку дел, который ее давил со всею необузданностью и гневом угнетенной силы, рвущейся на простор, с пристрастием к цивилизованной Европе, где личность служит основанием общественного быта и права, свобода ее признана и освящена».

Найдя «первую свободную личность» в России в образе самодержца-просветителя, Кавелин последовательно связывал развитие личностного начала России с европеизацией русской государственности, именно от государства ожидая распространения в обществе личностных свобод.

Кавелин полагал, что царская власть всегда была в России «действенным

органом развития и прогресса в европейском смысле». Более того, он считал, что в России все благотворные перемены шли сверху — начиная с крещения Руси: «Это великое событие было делом князя и меньшинства народа и шло, как и все великие реформы у славян, сверху вниз». Сверху шло и постепенное раскрепощение сословий — от дворянства до крестьянства.

Сторонник просвещенного абсолютизма, либеральный западник, Кавелин был столь же стойким и жестким противником антипросветительских и антилиберальных действий власти. Уход Кавелина в 1848 году из Московского университета совпал с наступлением так называемого «мрачного семилетия». Европейские революции повлекли за собой внутрироссийские репрессии. В своих «Записках» историк С.М. Соловьев так вспоминал это время: «В событиях Запада нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза. Николай не скрывал своей ненависти к профессорам... Грубое солдатство упивалось своим торжеством и не щадило противников, слабых, безоружных... Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать возвращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось...»

Все это, однако, не изменило взглядов Кавелина на русскую историю. В сентябре 1848 года он писал Т.Н. Грановскому: «Я верю в совершенную необходимость абсолютизма для теперешней России; но он должен быть прогрессивный и просвещенный. Такой, каков у нас, только убивает зародыши самостоятельной, национальной жизни». А в том, что культура, просвещение, национальная жизнь и литература должны быть самостоятельны и что это совместимо с абсолютизмом, Кавелин был уверен вполне. Поэтому он так резко выразился по поводу смерти императора Николая спустя семь лет, в марте 1855 года: «Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству, в течение тридцати лет вырезавший лица у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I, это исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской природы окошел наконец, и это сушая правда! До сих пор как-то не верится! Думаешь, неужели это не сон, а быть?.. Экое страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного! Говори после этого, что случайности нет в истории и что все совершается разумно, как математическая задача. Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности!»

Впрочем, николаевское время Кавелин — «оптимист» и «вечный юноша», по определению современников, — считал лишь исторической случайностью. Исследования русской истории, все новые и новые выступления Кавелина в печати, лекции, которые он возобновил после смерти

«Наше большое место — пассивность, стертость нравственной личности...»

Николая в Санкт-Петербургском университете и которые вызывали восторг и энтузиазм молодежи, оказывали бесспорное влияние на духовную жизнь общества.

В последние годы «николаевщины» Кавелин был занят и другой, потаенной работой. Б.Н. Чичерин вспоминал: «На юбилей прибыл из Петербурга Кавелин. Однажды он приехал ко мне и стал говорить, что положение с каждым днем становится невыносимее и что так нельзя оставаться. О каком-либо практическом деле думать нечего, печатать ничего нельзя; поэтому он задумал завести рукописную литературу, которая сама собою будет ходить по рукам». Характерно, что издаваемые в Лондоне герценовские «Голоса из России» начались именно статьями Кавелина, опубликованными, разумеется, без подлинного имени автора.

В годы правления Александра II авторитет Кавелина как историка и прогрессивного деятеля в научных и придворных кругах был столь высок, что его даже пригласили в воспитатели к наследнику-цесаревичу Николаю Александровичу. Перед Кавелиным возникает перспектива служения обществу, аналогичная позиции В.А. Жуковского, воспитавшего Александра II. Однако этого Кавелину было недостаточно — он хотел активного участия в общественной борьбе, как можно скорее добиваться отмены крепостного права. Несмотря на то что новый император явно собирался действовать в этом направлении, говорить об отмене крепостного права в печати было тем не менее запрещено. В продолжение этой «рукописной литературы» Кавелин пишет своего рода трактат — широко разошедшуюся по рукам «Записку об освобождении крестьян». Часть этой записки (также без имени автора) печатает в «Голосах из России» А.И. Герцен; другую часть тоже безымянно публикует в «Современнике» Н.Г. Чернышевский.

Читатели «Записки» сразу обратили внимание на то, что автор ставит вопрос об освобождении крестьян весьма широко, выступая не только за освобождение помещичьих крестьян с землей (через ее выкуп), но и против «государственного крепостничества», к которому он относил позорную практику солдатской рекрутчины. Впрочем, подлинное имя автора «Записки» быстро становится известным, и Кавелина отстраняют от преподавания наследнику, отлучают от двора.

Когда в 1862 году в Петербурге случились известные пожары, Кавелин, как и многие его современники (Достоевский, Лесков), поверил, что это дело рук «революционной партии». Начинается расхождение, а затем и разрыв Кавелина с радикальной частью общественного движения. В 1862 году он писал Герцену в связи с арестом Чернышевского: «Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтоб сбросить правительство, а оно защищается своими средствами». И это письмо, и многие другие тексты часто вменялись Кавелину в вину как «реакционные»: поздний Кавелин окончательно разошелся, например, с эмигрантом Герценом.

В 1862 году Кавелин печатает за рубежом брошюру «Дворянство и освобождение крестьян», в которой скептически оценивает правительственный вариант освобождения крестьян. Кавелин исходил из того, что крестьянская реформа проведена правительством вопреки желанию большинства дворян, опасавшихся губительных для себя последствий. Неизбежное напряжение между дворянством и крестьянством может привести к революционному взрыву, что, на взгляд Кавелина, отбросило бы Россию далеко назад. За революционным хаосом могла бы возникнуть еще худшая диктатура. В одном из писем Герцену в июне 1862 года Кавелин замечал: «Выгнать династию, перерезать царствующий дом — это очень нетрудно и часто зависит от глупейшего случая; снести головы дворянам, натравивши на них крестьян, — это вовсе не так невозможно, как кажется... Только что будет затем? То, что есть, не создаст нового, по той простой причине, что будь оно новым, — старое не могло бы существовать двух дней. И так выплывает меньшинство, — я еще не знаю какое, — а потом все скристаллизуется по-старому...»

В своих политических расчетах либерал Кавелин не делал серьезной ставки на «средний класс». «Третье сословие», по его мнению, малочисленно и слабо, соответственно, не может приниматься в расчет. Стало быть, говорить о всеобщем представительном правлении, по Кавелину, можно только в расчете на крестьянство, на «мужицкое царство», составлявшее 80% населения. Крестьяне же, полагал Кавелин, не готовы еще ни к общенациональному представительству, ни к гражданскому самоуправлению. «Россия, — писал Кавелин, — еще во всех отношениях печальная пустыня; ее надо сперва возделывать...» Оппонент Кавелина Герцен, в очередной раз обидевшись за народ, обвинил бывшего друга во вражде к народу, публично утверждая, что свои рассуждения Кавелин основывает на том, что «народ русский — скот, выбрать людей для земства не умеет, а правительство — умница...».

Спор о сроках и степени готовности народа к демократическому правлению в России так и не был разрешен. Фактом остается то, что спустя всего несколько десятилетий революция в России победила конституцию. Многие позднейшие отечественные историки (Н.Я. Эйдельман, например), изучая истоки большевистской трагедии, полагали, что своевременное принятие конституции могло бы еще до возникновения радикальных революционных партий направить Россию на европейски-эволюционный путь развития, вводя в общественное сознание понятие свободы.

Известно, что преобразования в России, необходимые для выживания страны, чаще всего проводились властью при опоре на бюрократию. Поэтому Кавелин полагал, что политическая эмансипация и конституционное ограничение самодержавия могут затормозить политику «реформ сверху». С другой стороны, он опасался, что конституция в России может оказаться лишь «верхушечной», дворянской и власть тем самым окажется в руках аристократической олигархии, сопротивляющейся реформам. Между насущными реформами государственного управления и демо-

«Наше большое место — пассивность, стертость нравственной личности...»

кратизацией общества либерал Кавелин однозначно выбирал реформы управления. А это управление, как местное, так и центральное, требовало, по его мнению, коренных преобразований: «Наши законы спутаны и обветшали; наше финансовое положение беспорядочно, расстроено и опасно; судопроизводство никуда не годится; полиция ниже критики; народное образование встречает на каждом шагу препятствия; гласность предана произволу, не ограждена ни судом, ни законом... Преобразования, вводящие прочный, разумный и законный порядок в стране взамен произвола и хаоса, по самому существу дела должны предшествовать политическим гарантиям, ибо готовят и воспитывают народ к политическому представительству».

В 1870–1880-х годах Кавелин становится все более пессимистичным. Его надежда на «великий компромисс» между сословиями и партиями явно терпела неудачу. Договариваться могут только ответственные личности, а их-то в России он и не видит. В «Задачах психологии» он писал о перспективе «обезличивания» российской жизни и политики: «Личностям предстоит обратиться в безличные человеческие единицы, лишённые в своем нравственном существовании всякой точки опоры и потому легко заменимые одни другими... Мы уже больше не боимся вторжения диких орд; но варварство подкрадывается к нам в нашем нравственном растлении, за которым по пятам идет умственная немощь...» В конце 1870-х годов он согласен с И.С. Тургеневым, открыто полемизирует с «пушкинской речью» Ф.М. Достоевского. Упрекая последнего в несправедливом шельмовании либеральной интеллигенции, Кавелин закончил одно из своих писем к Достоевскому достаточно резко: «Стало быть, — скажете вы мне, — и вы тоже мечтаете о том, чтоб мы стали европейцами? — Я мечтаю, отвечу я вам, только о том, чтобы мы перестали говорить о нравственной, душевной, христианской правде и начали поступать, действовать, жить по этой правде!» Но, к несчастью, безумные, трагические герои Достоевского больше говорили о возможном будущем России и тем самым были много реалистичнее, чем публицистические суждения историка.

Допустить, что не все подчиняется рационально ориентированной науке, ее логике, Кавелин не мог. Даже в романе «Новь» близкого ему по духу Тургенева он не заметил тревожной ноты, на которой заканчивается произведение. «Безымянная Русь!» — так устами Паклина определяет Тургенев будущих творцов русской истории. Выступая в защиту «Нови», используя ее образы в своих статьях, в опубликованной за рубежом брошюре «Разговор с социалистом-революционером» (1880), Кавелин словно сознательно закрывал глаза на нелиберальные взгляды, характерные не только для героев Достоевского, но и для персонажей Тургенева.

Самодержавный запрет на политическую свободу личности, часто оправдываемый либералами во имя «прагматических реформ», естественно, сказался на радикализации подпольных революционных кружков и партий. Пытаясь реформировать, «воспитывать» самодержавие, либералы упустили из виду радикалов, чувствовавших себя «орденом

меченосцев», ибо только этот обезличенный психологический тип мог противостоять самодержавному государству, а в перспективе — построить его новый, тоталитарный вариант.

В последние годы жизни Кавелин пишет интереснейшие письма и трактаты, проповедуя труд в качестве основы человеческой жизнедеятельности; пытается восполнить недостаток психологических разработок проблемы личности (трактат «Задачи психологии», 1872); надеется на воспитательную силу искусства («О задачах искусства», 1878); пишет трактат по этике, посвященный молодежи («Задачи этики», 1884). Россия может превратиться в деловую созидательную страну, а русские люди — из обломовых в штольцев, полагал он. Кавелин чувствовал себя призванным проделать эту подготовительную работу в умах русских образованных людей. В 1885 году он писал графу Д.А. Милютину: «Смейтесь, а мне ужасно улыбается роль девицы Орлеанской...»

Однако все кавелинские призывы к труду, к нравственности, к насаждению грамотности словно повисали в воздухе, не получая особого общественного резонанса в стране, раздираемой самодержавным охранительством, с одной стороны, и радикальной революционностью — с другой.

Скончался К.Д. Кавелин 3 мая 1885 года. Он был похоронен на петербургском Волковом кладбище рядом с другом своей юности Тургеневым. Его провожали в последний путь как одного из выдающихся мыслителей своего времени. «Учителю Права и Правды» — так было написано на серебряном венке, возложенном на могилу его учениками.

**«В настоящее время
в России потребны две
вещи: либеральные меры
и сильная власть»**

Борис Николаевич Чичерин родился 26 мая 1828 года в семье крупного тамбовского помещика. Получив хорошее домашнее воспитание, он по достижении шестнадцати лет отправился в Москву готовиться к поступлению в университет. Его репетитором согласился быть профессор Т.Н. Грановский. Семь месяцев подготовки в университет, наполненные лекциями-беседами с наставником и общением с кругом близкой ему московской профессуры, стали, по воспоминаниям самого Чичерина, решающими в становлении его западных воззрений. Он выбрал юридический факультет, где ему довелось слушать лекции того же Грановского, С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина, П.Г. Редкина и других известных профессоров. Среди них Чичерин особо выделял своего первого учителя, считая себя обязанным Грановскому «большую половиною своего духовного развития». В ту пору умами историков и юристов владел Гегель, и на Чичерина сильно повлияла гегелевская философия, ставшая одним из основных факторов формирования его мировоззрения.

По окончании университета в 1849 году Чичерин решает посвятить себя научной деятельности. Успешно сдав магистерские экзамены, он уже в 1853 году представил диссертацию «Областные учреждения в России в XVII веке». Но защитить ее Чичерину удалось лишь после смерти Николая I, поскольку изображение молодым соискателем государственных порядков допетровской Руси было тогда расценено как излишне критическое и не соответствовавшее официальным канонам.

Идейная атмосфера, в духе которой воспитывалась вся образованная элита николаевской России, была двойственной. Утверждение представления об особом пути исторического развития России не исключало признания необходимости ее обновления на основе западных образцов в военной, дипломатической, социально-экономической и культурной областях. Но результаты крымской схватки с «англо-французами» дали явный перевес идеям европеизма. И Чичерин вместе с К.Д. Кавелиным принял самое активное участие в создании рукописной литературы, ставшей на известное время главным способом выражения либеральных идей, быстро расходившейся по рукам, а подчас печатавшейся за границей —

в особенности у Герцена в «Голосах из России». Вскоре подошло время и для либеральных выступлений в русской подцензурной печати. И западники, и славянофилы получили возможность основать свои периодические издания и в них публично отстаивать идеи реформ, параллельно полемизируя друг с другом. Споры развернулись и среди русских европеистов...

Наиболее популярным органом либерального направления стал «Русский вестник», издававшийся с 1856 года М.Н. Катковым и П.М. Леонтьевым. Политическая публицистика этого журнала строилась в основном на поучительной для послениколаевской России антитезе негативного опыта Франции периода авторитарной империи Наполеона III и позитивных уроков викторианской Англии. Непрерывное чередование во Франции с конца XVIII века революций, диктатур и шатких конституционных режимов вынуждало некоторых либеральных публицистов задаваться в 1858 году рядом недоуменных вопросов: «Способна ли вообще французская нация к политической свободе?.. Не совершила ли уже Франция всего круга своего развития, не угрожает ли ей судьба южноамериканских республик, не предстоит ли ей в будущем переходить постоянно от анархии к диктатуре, от господства масс к военному деспотизму?» Перспективы политического развития Франции и в дальнейшем вызывали серьезные сомнения в русских либеральных кругах, чему давали повод поражение Франции в войне с Пруссией и наступившие вслед за этим «междоусобица, анархия и слабосилие». Тогда-то один из виднейших представителей либерального крыла высшей бюрократии — экс-министр народного просвещения А.В. Головнин сформулировал аналогичный вопрос: «Неужели Франции предстоит судьба Мексики или Южно-Американских республик, где в течение сорока лет пребывает пятнадцать правительств и где царствует полная анархия, и от того невозможны ни умственное, ни материальное развитие?»

Но среди сторонников реформ в России высказывались и другие мнения насчет восприятия французского опыта. В 1850-е годы до падения бонапартистского режима было еще далеко. Наоборот, то было время экономического подъема и внешнеполитических успехов Второй империи, а проведение Великих реформ совпало с началом серьезной трансформации внутренней политики Наполеона III — с переходом от авторитарной к либеральной империи. Именно Чичерин в серии статей, опубликованных в 1856–1858 годах, предпринял смелую попытку извлечения из французского опыта позитивных уроков назревшим в России большим реформам.

Во-первых, это был вывод о закономерности революций в тех случаях, когда сама власть оказывалась не на высоте в решении встававших перед ней исторических задач. Во-вторых, указание на возможность предотвращения подобных исходов своевременными и отвечающими потребностям того или иного исторического момента реформами. В-третьих, устанавливался «хронометраж» преобразований и подчеркивалось, что

политическая свобода, как цель, не стоит в повестке дня развития тогдашней России, а главная задача — обеспечение гражданских прав, отмена крепостной зависимости крестьян. В-четвертых, особый акцент был сделан на активной роли сильной, централизованной власти в процессе продвижения общества к свободе и благоденствию, на преемственности задач, которые решали с разным успехом старый абсолютистский порядок и послереволюционные бонапартистские режимы. Королевская власть порицалась за слабость и непоследовательность, а оба Наполеона выступали у Чичерина в роли демиургов исторического прогресса. И хотя сам Борис Николаевич неоднократно разъяснял, что он вовсе не поклонник наполеоновских порядков и считает их «только временным неустройством не приготовленной к управлению демократии», ход его мысли в культурных кругах России был близок не всем.

«Правду говаривал покойник Грановский, что изучение русской истории портит самые лучшие умы, — откликнулся уже на первые «французские» очерки Чичерина в 1856 году либеральный публицист и издатель М.Н. Катков. — Привыкнув следить в русской истории за единственным в ней жизненным интересом — собиранием государства, невольно отвыкаешь брать в расчет все прочее, невольно пристращаешься к диктатуре и, при всем уважении к истории, теряешь в нее веру».

Но Чичерин стойко держался своей «государственнической» системы. И так же, как он разошелся с либеральным англоманом Катковым из-за оценки роли «централизации», так и его предложения в крестьянском вопросе способствовали расхождению со славянофильским кружком. Очень точно общий смысл этих разногласий передал князь В.А. Черкасский. «Ваш проект, — говорил он Чичерину, — предполагает разумное, вполне сознающее свою цель и твердо к ней идущее правительство, чего мы ожидать не можем. Мой же проект предполагает только проблеск здравого смысла, на который можно рассчитывать».

Не найдя понимания у тогдашних общественных деятелей в стремлении, по словам одного из них, «во все вмешивать правительство», Чичерин, однако, вызвал интерес к себе со стороны руководителей официальных ведомств, специально занимавшихся разработкой крестьянского вопроса. В частности, Н.А. Милютин, директор хозяйственного департамента, а затем и товарищ министра внутренних дел, приглашал Чичерина к сотрудничеству, сожалел, что его не оказалось среди членов Редакционных комиссий 1859–1860 годов, готовивших законодательство о крестьянской реформе. Но все было напрасно. Еще в апреле 1858 года Чичерин надолго, до весны 1861 года, уехал за границу.

Вообще-то длительная отлучка из России была делом вполне обычным для людей его времени, круга и состояния. Мало ли образованных русских отправлялось тогда в Европу, даже не располагая большими средствами? Недаром заграничный паспорт после смерти Николая I подешевел в сто раз! (Вместо 500 рублей он стоил теперь всего 5 рублей!) Впрочем, у Чичерина как раз была сложившаяся репутация путешественника. Но

на этот раз момент отъезда был выбран им не случайно. «Я уехал за границу, — рассказывал он впоследствии, — в самую знаменательную для России пору, в минуту величайшего исторического перелома, когда готовилось преобразование... С тем вместе кончался чисто литературный период нашего общественного развития; наступала пора практической деятельности». И что же? Один из главных кандидатов в деятели тогдашней эпохи, не испытав даже тени страха за ход начинавшихся преобразований, за успех «команды реформаторов», ехал за границу, объясняя Милютину, что работу в Редакционных комиссиях лучше исполняют другие, более знакомые с практическим делом, а у него есть свое «специальное призвание» — научное творчество, от которого никак нельзя отказаться. Зная общественный темперамент Чичерина, в это трудно поверить. Но факт, вызывающий иногда недоумение и у современных исследователей, остается фактом: Чичерин покинул Россию, когда его присутствие там было необходимо, как никогда. На самом деле это был принципиальный поступок. Он уехал с абсолютной уверенностью в несокрушимости реформ, оставив «команду», обреченную на успех...

Резко очерченные взгляды и строгие суждения Чичерина получили особый общественный резонанс после его открытой полемики с Герценом на страницах зарубежного «Колокола» осенью 1858 года. Публичному выступлению Чичерина против основателя Вольной русской типографии предшествовала их личная встреча в Лондоне. Русский подданный, которому предстояло заложить основы политической науки в России, приехал к соотечественнику в изгнании, давно отвергшему государственную политику и как способ организации социальной жизни, и как новую, гражданскую форму религии — «религии рабства». Они не смогли найти общего языка. «Я говорил ему, — вспоминал Чичерин свои долгие споры с Герценом, — о значении и целях государства, а он мне отвечал, что Людовик-Наполеон ссылает людей в Кайенну. Я говорил, что преступление должно быть наказано, а он отвечал, что решительно не понимает, каким образом учиненное зло может быть исправлено совершением другого такого же зла...»

Герцен, в свою очередь, рассказывая в «Былом и думах» об этих спорах, участники которых расходились «во всем», писал: «Он был почитатель французского демократического строя и имел нелюбовь к английской, не приведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним... Он был гувернементалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России...»

«Зачем вы хотите быть профессором и ищите кафедру? — с нескрываемой иронией обращался к своему молодому гостю хозяин лондонского дома и затем, переводя разговор в практическую плоскость, советовал: — Вы должны быть министром и искать портфель». А собеседник Герцена лишь удивлялся неполитичности его ума, равнодушного ко всем нюансам того,

«В настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть...»

что как раз и составляло излюбленный предмет забот и размышлений Чичерина. Не скрывая любви к свободе и свободным учреждениям, он полагал, что свобода лица может существовать лишь в государстве и в рамках закона. Свобода не любит крайностей. Она является преимуществом умеренных правлений, где граждане более или менее обеспечены против злоупотреблений власти. Во всяком образе правления необходимы ограничения; как скоро они исчезают, так правление превращается в деспотию. Свои мысли по этому вопросу русский ученик Аристотеля и Монтескье старался доводить до сведения высших государственных чинов России.

Накануне поездки Чичерина к Герцену в Лондон у него состоялся примечательный диалог с ближайшим сподвижником великого князя Константина Николаевича виднейшим либеральным бюрократом А.В. Головинным. Речь зашла о планах государственных преобразований. На замечание Чичерина о недостатке людей, способных «не только быть орудиями, но и служить задержкою, если правительство пойдет по ложному пути», Головин откликнулся предложением: «всякий раз, как проявляется дух независимости, давать награды». Оказавшись на берегах Темзы, Чичерин не преминул рассказать этот «анекдот» своему лондонскому собеседнику. Дружный смех до упаду растопил лед взаимного отчуждения страстного свободолюбца и убежденного государственника. К счастью для обоих, они были достаточно свободны и в применении своих воззрений на практике. «Сент-Жюст бюрократизма», как прозвал Чичерина Герцен, постоянно оказывался в неладах с реальным миром чиновничьей иерархии, а его «легкомысленный» собеседник, тщетно пытаясь избавиться от «политики», оставался подчас весьма трезвым политиком. Настаивая на освобождении крестьян с землею и отдавая предпочтение мирному пути, Герцен все же не ставил вопрос о средствах, ибо «в этом поэтический каприз истории — мешать ему не учтиво». Пришедшее вместе с годами испытаний и размышлений сознание бессилия разума обуздать «демоническое начало истории» породило в уме Герцена эту метафору — в ней не было ни капли политического цинизма. Но за философскими наблюдениями и поэтическими образами герценовской публицистики Чичерин увидел допущение «кровавой развязки».

«Право народа на восстание» никогда не было для Чичерина правом в собственном смысле слова. «Восстание может быть крайним прибежищем нужды; в революциях выражаются иногда исторические повороты жизни, но это всегда насилие, а не право». Так же как и его лондонский оппонент, признавая закономерность революций «там, где господствует упорная охранительная система» и вместе с ним усматривая в этом «печальную необходимость», Чичерин решительно возражал Герцену в том, какой должна быть их собственная роль в развертывавшейся в России социальной драме.

Кто вы — «политический деятель, направляющий общество по разумному пути» или «артист, наблюдающий случайную игру событий?» — так ставил вопрос Чичерин, памятуя о том, что «поэтические капризы исто-

рии» всегда есть дело рук человеческих, и имея в виду «не только цель, но и средства». Для Чичерина существовал только один путь к свободе — через «возвышение права».

По прошествии нескольких лет участники этого теоретического спора пройдут «испытание мятежом». Правда, не русский мужик, а польский повстанец даст им такой шанс. Нравственный выбор Герцена в пользу борющейся за свободу страны означал политическую смерть его любимого детища: к «Колоколу» перестали прислушиваться в России. А сочувствовавший поработенной Польше Чичерин встал на сторону самодержавного правительства, проводящего реформы и подавляющего бунтовщиков.

Среди либеральных общественных деятелей пореформенного времени Б.Н. Чичерин стоял особняком, поскольку в новых условиях он был вынужден играть роль консерватора как по отношению к тем, кто, по его мнению, слишком забегал вперед, так и к тем, кто тянул Россию назад. В отстаивании незыблемости возведенного в 1860-х годах фундамента отечественной гражданственности — суть политических воззрений Чичерина первых пореформенных лет. В палитре либеральных тонов и красок чичеринский склад ума отличался глубоким уважением к существующей власти и каким-то особенным высокомерием по отношению к «обществу», с присущими ему оппозиционными настроениями. Себя самого Борис Николаевич считал представителем «спокойного, серьезного и разумного либерализма», чуждого как духу «упорной рутины», так и «поиску уличной популярности».

Рисуя отдаленный идеал конституционной монархии, Чичерин находил в преобразованиях Александра II политический оптимум для России на достаточно долгий срок. «Русскому человеку, — полагал Борис Николаевич, — невозможно становиться на точку зрения западных либералов, которые дают свободе абсолютное значение и выставляют ее непременным условием всякого гражданского развития. Признать это значило бы отречься от всего своего прошедшего, отвергнуть очевидный и всеобъемлющий факт нашей истории, который доказывает яснее дня, что самодержавие может вести народ громадными шагами по пути гражданственности и просвещения». В то же время и дворянство, «сдержанное высшей властью», как верховным арбитром между сословиями, могло бы, по мнению Чичерина, сделаться «одним из самых полезных политических элементов в России». Стать «вместе с опорой престола и защитником свободы», ибо только оно обладает хоть «каким-нибудь сознанием своих прав» и образованием: «В нем одном есть зародыши политической жизни». Вместе с тем Чичерин подчеркивал опасность использования дворянством своих сословных прав в переходный период, когда на первый план выдвинулся вопрос о крепостном праве, в развязке которого «интересы помещиков прямо противоположны интересам крестьян». В связи с этим он выступал против введения даже законосовещательного представительства, предпочитая «честное самодержавие несостоятельному представительству».

«В настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть...»

Не скрывая своего презрения к «беснующемуся» общественному мнению, Чичерин был всегда чуток к тем откликам, которые вызывали в обществе его отношения с властью, опасаясь дать повод для подозрений в угодничестве и пресмыкательстве. Щепетильность Чичерина не позволила ему вскоре после окончания публичной полемики с Герценом сразу же принять почетное и перспективное предложение стать наставником царского первенца — великого князя Николая Александровича. Борис Николаевич ответил тогда вежливым отказом, не пожелав, чтобы его приглашение ко двору было воспринято как награда за отповедь, данную им лондонскому пропагандисту. Впрочем, выдержав необходимую паузу, он все-таки стал одним из преподавателей наследника с надеждой вырастить из него конституционного монарха.

Да и сама жизнь выступала тогда в роли своеобразной наставницы. Царский сын достигал шестнадцатилетия, страна вступала в реформационный период; чем взрослее становился наследник, тем быстрее шли преобразования. То было время самых смелых либеральных надежд: казалось, династия использует свой шанс! Обнаруживая в своем воспитаннике «милую обходительность», «непринужденную разумность», «широкое понимание вещей и отношений», «изумительное самосознание», а также «сочетание крепких и разумных религиозных убеждений с самой широкой терпимостью», Чичерин, увлекаясь своей учительской миссией, восклицал: «Ах, если бы он хорошенько поработал!» Но тут же возникало сомнение: «А впрочем, Бог знает. Человек работающий часто приобретает специальный взгляд, который в его положении может быть вреден. Россия вышла из той поры, когда все должно было направляться сверху. Общество должно уже действовать само, лишь бы на вершине была разумная и просвещенная воля, сдерживающая и указывающая путь. В этом отношении я не могу представить себе ничего лучше Великого Князя». К несчастью, этот прообраз либеральной мечты слишком рано угас от неизлечимой болезни.

Начало недолгой (1861–1867) профессорской карьеры Чичерина совпало с так называемой «студенческой историей», разыгравшейся в столичных университетах осенью 1861 года. Не одобряя «мелочно-стеснительных» мер правительства в отношении прав студентов, Чичерин в то же время выступил против попыток студенчества играть какую-либо общественную роль, считая возможным для поддержания порядка в университете лишь «разбудить немного дремлющую власть». Являясь сторонником самой широкой свободы и автономии для университетов, он в то же время полагал, что государство не должно допустить превращения этих учебных заведений в «центры и орудия разрушительной пропаганды...».

Но, уже имея в оппозиционных кругах репутацию «охранителя», Борис Николаевич не сумел достигнуть взаимопонимания и с правительством. Сначала недоразумения возникли вследствие бестактного стремления Министерства народного просвещения поддержать консервативные призывы Чичерина административными средствами. Вступительная лекция,

прочитанная Борисом Николаевичем перед началом курса в Московском университете и появившаяся в печати, настолько понравилась властям, что цензорам было дано указание не пропускать полемические выпады против лекции профессора, ценимого правительством. В ответ на такое неуклюжее обхождение Чичерин, справедливо полагая, что он вовсе не обыкновенный чиновник, исполняющий приказания начальства и нуждающийся в его защите, обратился к министру с просьбой снять с него «клеймо», оскорбительное для чести независимого автора.

Через несколько лет после студенческих волнений внутри коллегии московских профессоров вспыхнул конфликт, осложненный вмешательством министерской власти, не посчитавшейся с решением ученого совета и, по убеждению Чичерина, нарушившей установленный законом порядок. «Где есть беззаконие, там должен быть и протест. Он может быть практически бесполезен, но он всегда нравственно необходим. Это не только право, но и обязанность каждого члена коллегии, обязанность, от исполнения которой зависит прочное утверждение законного порядка в русском обществе» — так Борис Николаевич объяснил мотивы своего участия в этом переросшем свои первоначальные рамки конфликте. Единственным выходом из этой скользкой ситуации для Чичерина было уйти в отставку. Покидая университет навсегда, он решает перебраться в деревню. Там, в спокойной, несуетной обстановке провинциального поместного быта, он продолжает много и увлеченно размышлять о ходе внутренних и международных событий, создавать научные трактаты, пробовать свои силы в политической публицистике, участвовать в земской деятельности, мечтать о новой политической роли.

Уже к исходу первого пореформенного двадцатилетия в традиционных размышлениях Чичерина о соотношении идеального и осуществимого на практике в той или иной стране возникает новый мотив. Необходимо все-таки постепенно приобщать и приучать общество к участию в государственных делах. Отсюда и желательность представительства законосовещательного типа как подготовительной меры. Меры, против которой Чичерин решительно возражал еще в 1866 году, считая ее бесполезной и даже вредной, поскольку, дескать, выйдет одно «собрание обличителей», не обремененных никакой ответственностью. Теперь же Чичерин рассуждает иначе, подчеркивая и обратное воздействие представительного учреждения на формирование основ гражданского общества. «Парламент, — пишет он, — нужен еще более для политического воспитания народа, нежели для государственного управления».

Но события в России на рубеже 1870–1880-х годов развивались очень быстрыми темпами. Сразу после убийства Александра II народолюбцами 1 марта 1881 года Чичерин составляет записку «Задачи нового царствования», в которой, анализируя корни «зла», находит их «в самом состоянии русского общества и в быстроте, с которою совершились в нем преобразования». В связи с этим на первый план, с точки зрения Чичерина, снова выступают охранительные задачи. Вопрос состоял в том, как, какими путями и способами

«В настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть...»

следует укреплять в стране власть и порядок? О конституции в полном смысле этого слова Чичерин и прежде речи не вел. Свободу печати (точнее говоря, широкую гласность) — лозунг, поддерживавшийся всей либеральной печатью вместе с идеей введения представительства, — Чичерин «лекарством» тоже отнюдь не считал. «Свобода печати, главным образом, периодической, которая одна имеет политическое значение, необходима там, где есть политическая жизнь; без последней она превращается в пустую болтовню, которая умственно развращает общество», — писал он.

Если «свобода необходима для научных исследований — без этого нет умственного развития», то периодическая печать, по мнению Чичерина, требовала «сдержки, а не простора». Первые две трети текста записки «вполне» одобрил К.П. Победоносцев, которому Чичерин ее и послал. Но у записки была концовка, выдержанная уже в ином духе. С нигилизмом одними внешними средствами правительство не справится, утверждал Чичерин. «Нужна нравственная поддержка народа, не та, которая дается официальными адресами, а та, которую может дать только живое общение с представителями земли... Надобно создать орган, в котором могли бы вырабатываться общественная мысль и общественная воля... Эта цель может быть достигнута приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному совету...»

Но вместо подобия «народного представительства» Россия получила «народное самодержавие» Александра III. Наиболее вероятными последствиями избранного курса Чичерин уже в самом начале 1880-х годов назвал «войну, банкротство и затем конституцию, дарованную совершенно не приготовленному к ней обществу».

Еще одна попытка Чичерина повлиять на формирование политики самодержавия была связана с его деятельностью на посту московского городского головы. В мае 1883 года во время коронационных торжеств в Москве он произнес речь, в которой правительству для борьбы против террора рекомендовалось содействие самостоятельных и организованных во всероссийском масштабе общественных сил. Прямым следствием этой речи и публикации ее в заграничной печати стала новая отставка Чичерина. «Самое худшее, — писал по поводу происшедшего Чичерин в частном письме, — заключается в том, что это триумф для всех врагов правительства. Вот вам городской голова (скажут они), который открыто заявляет о том, что он консерватор и что готов идти рука об руку с властью; но не проходит и двух лет, как его отправляют в отставку. Нет более очевидного доказательства того, что эта ситуация просто невыносима для любого мало-мальски независимого человека... Если при этом воображают, что подобным образом действий удастся произвести на свет что-нибудь иное кроме рассадника Желябовых и Рысаковых (убийц царя. — С.С.), то это лишь странное заблуждение».

Свою последнюю обобщающую работу, имевшую открыто политическое звучание, Чичерин был вынужден издать за границей под псевдонимом «Русский патриот», дав ей название «Россия накануне двадцатого столетия».

Ведя речь об утверждении в народе «начал свободы и права», он видел основные пороки и опасности русской жизни, с одной стороны, в бюрократическом управлении и произвольной власти монарха, а с другой — в социалистической пропаганде и практике леворадикальных действий.

В связи с бытующими ныне представлениями о российском консерватизме конца позапрошлого века, особый интерес представляет непримиримая критика Чичериним тогдашнего правительственного курса с позиций того нового консерватизма, отправной точкой для развития которого в России стали, по его мнению, реформы 1860–1870-х годов. Признавая закономерность правительственной и общественной реакции на революционную деятельность и убийство императора, Чичерин отказывался видеть в политике, возобладавшей затем, консервативное содержание. На его взгляд, скорее происходила ломка созданных реформами институтов, понятий и прав — политика не менее опасная и деструктивная, чем то, чему она должна была противостоять.

Чичерин скончался 3 февраля 1904 года в имении Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии, словно не пожелав своими глазами увидеть то, что им было давно предсказано для российской власти: «войну, банкротство и затем конституцию, дарованную совершенно не подготовленному к ней обществу»...

Чичерин был человеком, безусловные либеральные устремления которого сочетались с идеологическим преклонением перед самодержавным государством, вступившим на путь реформ. В его политической судьбе наглядно проявились все минусы доктринального оптимизма. Родовитый русский дворянин, всей душой стремившийся стать первородным российским гражданином, Чичерин видел в таком превращении естественный результат развития права из привилегий. Но все его усилия вывести из словесных преимуществ нечто более широкое и значительное разбивались об лед непонимания со стороны правительства, не желавшего признавать за собой обязанности соблюдать им же изданные законы и право других отстаивать эти законы вопреки произволу власти. Апологет реформаторства 1860-х годов, не пошедший рука об руку с пореформенным самодержавием; философ, своей жизнью не сумевший подтвердить чрезмерно оптимистичной концепции происхождения российской свободы, основанной на синтезе гегельянства и московско-петербургской политической традиции, — таков был Чичерин. Как ученый, мыслитель и публицист, он оставил заметный след в отечественной истории. Но как политик — либерал и консерватор в одном лице — он просто не мог себя реализовать.

Вспоминая на склоне лет и на исходе века о своих «мечтах и надеждах, связанных с благоденствием и славою Отечества» еще в пору наставничества при первом наследнике царя-реформатора, Чичерин писал: «Россия рисковала иметь образованного Государя с возвышенными стремлениями, способного понять ее потребности и привлечь к себе сердца благороднейших ее сынов. Провидение решило иначе. Может быть, нужно было, чтобы русский народ привыкал надеяться только на самого себя...»

«В настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть...»

**«Самоуправление требует
искреннего обращения
к земле, к истинному труду
и к народу...»**

Александр Дмитриевич Градовский (1841–1889) родился в семье помещика Валуйского уезда Воронежской губернии. Дома он получил хорошее начальное образование, продолженное в частных пансионах и гимназии. В 1858 году поступил на юридический факультет Императорского Харьковского университета. Из преподавателей наибольшее влияние на него оказал профессор международного права и государственного права европейских держав Д.И. Каченовский. «Вообще, — писал Александр брату в 1861 году, — я намерен посвятить свою жизнь науке и поэтому решительно не хлопочу о своей будущности; был бы кусок хлеба и только».

Окончив университет, Градовский работал редактором газеты «Харьковские губернские ведомости», а также чиновником по особым поручениям при харьковском и воронежском губернаторах. Это дало ему определенный практический опыт, тем более интересный, что наступила эпоха Великих реформ. Переехав в 1865 году в Петербург, он становится доцентом правоведения; в 1867-м — экстраординарным профессором, а в 1869-м — ординарным профессором по кафедре государственного права Санкт-Петербургского университета. Одновременно преподает государственное право в Александровском лицее и блестяще защищает диссертации: магистерскую («Высшая администрация в России XVIII века и генерал-прокуроры», 1866) и докторскую («История местного управления в России», 1868).

Теоретические воззрения ученого складывались под влиянием немецкого гегельянства и споров между славянофилами и западниками; исследователи относят его идеи к «либеральному славянофильству». Но в конечном счете Градовский, человек энциклопедически образованный и обладающий практическим опытом (в период либеральных реформ 1860-х он много работал экспертом правительства), стоял на позициях академической науки, не принимая крайних взглядов. И в то же время — в отличие от позитивистов — он полагал, что явления общественной жизни следует не только констатировать, но и оценивать с точки зрения идеала и этот идеал должен иметь конструктивный характер. Научное творчество ученого и его общественная позиция находились в полной

гармонии между собой и составляли, по словам его ученика Н.М. Коркунова, «одно стройное целое... словно с самого начала он составил себе определенный план работы на всю жизнь». Цельность идей отразилась в блестящих лекционных курсах по теории государственного права, государственному праву европейских государств и Российской империи.

Политическая философия Градовского определялась преимущественным влиянием западного либерализма и российской государственной (юридической) школы, одним из ведущих представителей которой он стал. Испытав поначалу мощное влияние Гегеля, он принял основные выводы его политического учения — об отношении гражданского общества и государства, конституции, свободе как истинной цели развития. Профессор-правовед внимательно изучал политическую литературу своего времени, посвятил ряд очерков основным идеологиям — консерватизму, либерализму и социализму, анализировал социологические построения Конта и Спенсера. Но основное влияние оказали на него произведения либеральных мыслителей: Д.С. Милля, Б. Констан, И. Тэна, классическая немецкая и английская правовая литература. Об этом ярко свидетельствуют такие труды Градовского, как «Политические теории XIX столетия», «Что такое консерватизм?», «Социализм на Западе Европы и в России», «Между Робеспьером и Бонапартом». Их общее содержание: поиск среднего пути между консерваторами и революционерами, деспотизмом и террором; критика социализма и коммунизма; обоснование реформационной стратегии в решении социального вопроса; концепция правового государства; правовой путь политических преобразований; смысл понятий свободы, прогресса, воли, цели и долга у интеллигенции.

А.Д. Градовский начинал научную и педагогическую деятельность в тот период развития европейской науки, когда метафизические философские теории общества (связанные с философией Гегеля) начали сменяться эволюционистскими доктринами; перед учеными стояла задача выведения законов социального развития из анализа исторических данных разных народов. Это были теории К. Маркса, О. Конта, Г. Спенсера, исторической школы права в Германии — своеобразным аналогом которой становилась государственная (юридическая) школа в России. Если старшее поколение ее представителей (С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) сформулировало общие принципы этого учения, то Градовскому принадлежит определяющая роль в систематизации сравнительного юридического материала. Социологический в основе своей подход к праву и государству позволил ему рассмотреть социальные институты и учреждения как конкретно-исторические проявления отношений собственности, власти и личности.

Этот подход прослеживается в ряде монографий Градовского, посвященных истории центрального и местного управления. Рассматривая в духе государственной школы государство (а точнее — правовое государство) как орудие социального прогресса, как силу, регулирующую отношения в обществе, исследователь вводит в то же время особый и очень

важный момент в учение о государстве. Он пишет, что для органического учения о государстве и сходных с ним организаций «необходимо понятие интереса». Иначе говоря, из области идеального воззрения он делал важный шаг к пониманию реальной природы социальных отношений, т.е. социальных интересов. Градовский следовал здесь, судя по всему, за крупным австро-германским юристом Лоренцем Штейном. Тот, исходя из гегелевской философии права, именно таким образом интерпретировал историю социалистических доктрин и классовых противоречий эпохи французских революций.

Принадлежа к государственной (юридической) школе, Градовский разделял идеи Б.Н. Чичерина, К.Д. Кавелина, С.М. Соловьева относительно роли государства в русском историческом процессе. Как и другие представители этого направления, он придавал большое значение «географическому фактору», освоению новых земель на Востоке и Севере, а позднее в Поволжье и Сибири; он говорил даже о «страсти к передвижению». Новое здесь — интерес исследователя к взаимодействию территории и хозяйства, землевладения и землепользования, с чем он связывал проблему формирования сословий. Сопоставление российской поместной системы и служилого государства с западным феодализмом привело к выводу о специфике российского развития.

Отсюда — особое внимание к правовому статусу землевладения в России. Градовский подчеркивает оригинальность модели служилого государства, в котором практически все сословия объединены «тяглом» — служилой функцией по отношению к государству. Правовой статус поместья непосредственно связан с функцией несения государственной военной службы, но и наследственное владение (вотчина) далеко отстоит от представлений о собственности на землю, поскольку также связано определенными правовыми ограничениями. Обращение к истории права и хозяйства, характерное для Градовского, стало в его работе одним из важных способов понимания перспективы русского гражданского общества.

Механизм перестройки социальных отношений — закрепощения и раскрепощения сословий государством — в новое время должен быть использован для формирования гражданского общества. В связи с этим анализу подвергались особенности российского служилого государства: создание единой и чрезвычайно монолитной системы сословных отношений, отсутствие независимого от власти привилегированного слоя аристократии, фактическое слияние дворянства и бюрократии. Именно этим темам посвящены две диссертации Градовского. В центре внимания первой, «Высшая администрация в России XVIII века и генерал-прокуроры», находится конфликт рационального бюрократического начала (рациональный принцип административного устройства) и личного начала (приказная система поручений и генерал-прокуроры), имевший место в ходе административных реформ Петра Великого. «История местного управления в России» являет собой попытку реконструкции основных институтов Российского государства и способов их функционирования.

В основе этого труда — анализ правовых норм и их социологическая интерпретация. С позиций государственной школы автор анализирует факторы, определявшие формирование российской системы административного управления. Речь идет о колонизации и попытке центральной власти установить контроль над ней; о соотношении периферии (окраин) и центра обширного государства; о способах интеграции этой системы в единое целое (закрепощение сословий государством); об условном характере земельной собственности и зависимом положении служилого класса; о механизмах обеспечения ее рационального функционирования (поместная система); об особенностях управления в служилом государстве. Раскрытие этих общих социальных факторов позволило не только объяснить формирование российской модели местного управления и показать связь ее реформ в новое время с процессом социальных преобразований, но и сформулировать некоторые прогностические рекомендации. Развитая система местных общественных учреждений выступала в этой перспективе альтернативой сверхцентрализации абсолютистской эпохи и могла послужить в будущем «гарантией повсеместного и прочного господства закона».

В отличие от сословий на Западе, как полагал вслед за Б.Н. Чичериным Градовский, русские сословия представляли собой не результат «органического развития», но результат политики правительства, направленной на обеспечение тяглых функций населения. Из потребности обеспечить выполнение государственных податей и повинностей, с одной стороны, и службы — с другой, и возникло, согласно концепции Градовского, крепостное право. Поскольку для государственной школы проблема крепостного права являлась главным вопросом времени, каждый крупный специалист стремился обосновать свою точку зрения. Соловьев, Чичерин, Кавелин исходили при этом из зависимости закрепощения крестьянства главным образом от географических условий: в крепостном праве они видели средство предотвратить безудержное рассредоточение населения, собрать его воедино и подчинить интересам служилого государства.

Градовский, принимая в целом этот взгляд, вносит существенное дополнение: крепостное право — средство предотвращения обезземеливания крестьянства. Согласно его концепции, обезземеливание крестьян в XVI-XVII веках было в полном разгаре и вело в перспективе к превращению крестьян в холопов. Процесс этот носил объективный характер (так как земли представляли все большую ценность для владельцев) и поэтому не мог быть остановлен законодательными мерами. Следовательно, решение государства о введении крепостного права исторически оправданно и единственно возможно: оно «сохранило по крайней мере человеческую личность, сделало крестьян частью земли, но не домашней вещью владельца, и эта мера, несмотря на все ее грустные стороны, дала впоследствии возможность освободить крестьян с землей, которую они столько столетий обливали своим потом и слезами».

«Самоуправление требует искреннего обращения к земле, к истинному труду и к народу...»

А.Д. Градовский принимал активное участие в общественной жизни периода конституционных дебатов — характерны в этом смысле его выступления в газете «Голос» А.А. Краевского; особое внимание он уделял вопросам свободы печати от цензурных ограничений. Многие его публицистические статьи посвящены внешней политике, особенно проблеме национального самоопределения. В отношении Русско-турецкой войны Градовский поддерживал славянофилов. Национальное освобождение Болгарии он связывал с ее конституционным самоопределением. И, наряду с администраторами и общественными деятелями этой страны, а также с другими русскими юристами, участвовал в разработке проекта конституции Болгарии (1879), стремясь, в частности, более последовательно провести принцип разделения властей в политической системе, которая представляла собой конституционную монархию. Важное направление его исследований — взаимосвязь национальных движений с формированием независимых государств: процесс, набравший силу в Европе 1870-х годов. Сюда следует отнести работы, посвященные объединению Италии и Германии, восстанию в Герцеговине и Русско-турецкой войне, польскому вопросу, славянскому единению.

Переход России к гражданскому обществу Градовский связывал с деятельностью государства. В центре его внимания — проблемы перехода от институтов абсолютизма к правовому государству и гражданскому обществу в духе консервативных идей германской правовой традиции. Для ученого характерна связь политических идей, исследований в области науки государственного права — и стремления расширить правовые представления общества. Связь действующего права и политики с просвещением должна, по его убеждению, создать личность «русского гражданина»; сильную монархическую власть необходимо совместить с гарантированными фундаментальными правами.

Градовского следует признать одним из основателей российской школы сравнительного конституционного права. Он видел в западных конституционных идеях определенный образец прогрессивного развития и посвятил этой теме ряд исследований. В разработанном им курсе «Государственное право важнейших европейских держав» (впервые опубликованном в 1886 году) исследуется переход от абсолютизма к конституционному строю на примере Великобритании, США, Франции, Италии, Испании, Скандинавских и Балканских стран, даже некоторых государств Латинской Америки (Мексика). Этот переход автор описывает как процесс объективный. Важнейшими параметрами «нового государственного порядка» признаются: принятие конституционного акта, определяющего полномочия государственной власти и их границы; провозглашение и обеспечение личных прав, которые не могут подвергнуться произвольному нарушению со стороны государственной власти; распределение отдельных функций власти между различными органами, способными сдерживать друг друга и тем обеспечивать законность и свободу; участие народа в отправлении законодательной, судебной и отчасти административной

власти. Это целостная программа преобразований, необходимых для «обеспечения общественных интересов и контроля над действиями властей правительственных». Становление конституционализма в Германии для российской правовой мысли и политической практики представлялось ученому особенно интересным — ввиду аналогий с Россией. Ему посвящено специальное исследование «Германская конституция» (1875–1876).

Градовский изучал те составляющие русской общественной жизни, в которых видел действенные механизмы для модернизации; одним из первых занялся проблемами высшей администрации и систем местного управления в России. В условиях реформ и контрреформ, которых он стал свидетелем, исследователь представил сравнительно-правовой и социологический анализ потенциала бюрократии: для осуществления реформ, с одной стороны, и контрреформ — с другой.

А.Д. Градовский был сторонником эволюционного развития, в определенной мере даже консервативным либералом, и считал, что резкие изменения могут привести к дестабилизации государства и общества. Отсюда — его осуждение революционных доктрин и их российских адептов. Причина популярности социалистических идей в пореформенной России усматривалась им в низкой культуре населения, наивности и максимализме интеллигенции: реформа 1861 года освободила крестьян, прозябавших на уровне животных, но не дала учителей, школы, чтобы воспитать их для гражданской жизни.

Известен его призыв к молодежи отказаться от хождения в народ: «Нет, не будить зверя, а выгнать его, чтоб дать место человеку: не продолжать деморализацию общества, разжигая и поощряя животные инстинкты, а морализировать его — такова задача, налагаемая на вас Россией и действительными пользами русского народа». Преодоление отсталости Градовский связывал с продолжением реформ и культурной работой интеллигенции. Понятна его теоретическая роль в разработке земского движения, в частности основополагающая концепция «мелкой земской единицы». Суть концепции состоит в движении к гражданскому обществу через общесословные земские выборы на региональном уровне, которые постепенно вовлекут широкие народные массы в конструктивную государственную работу (механизм описан в работе «Крестьянские выборы в гласные уездных земских собраний»).

«Начала русского государственного права» стали не просто первым обобщающим курсом на данную тему. По словам Коркунова, в этом, главном для автора труде «все вообще вопросы русского государственного права изложены Градовским с такою полнотою и обстоятельностью, какой нельзя найти ни в каком другом сочинении». Это, «бесспорно, лучший и самый обстоятельный курс русского государственного права», фундаментальный вклад в исследование его теории, истории и практики. Последующие работы других специалистов (в частности, самого Коркунова) опирались на эту книгу как на отправной пункт всех дискуссий. В центре внимания — проблема «определения существа неограниченной монархии

«Самоуправление требует искреннего обращения к земле, к истинному труду и к народу...»

как юридической формы государства». Градовский подробно раскрывает отличия российского самодержавия как от конституционной монархии, так и от деспотических государств (самодержавие имеет неограниченный характер, но при этом верховная власть действует на основании закона). Констатация этого положения позволяла ставить сакраментальные вопросы о критериях законности решений власти, о соотношении собственно законов (актов, составленных и утвержденных в соответствии с определенной процедурой) и распоряжений императора, принимаемых им в виде указов и высочайших повелений (фиксированных в письменной форме или отдаваемых устно). (Проблема соотношения закона и указа в российском праве стала затем предметом специального исследования его ученика Н.М. Коркунова.)

В «Началах русского государственного права» рассмотрена также деятельность высших государственных учреждений — Сената, Государственного совета, которые разрабатывали и принимали законы перед их утверждением монархом. Развитие российской государственности предстает перед читателем в виде последовательного движения от абсолютизма к правовому государству, при котором указное право постепенно вытесняется законом.

Этот труд стал прекрасным теоретическим выражением идей либеральных реформ Александра II. В основе подхода лежит концепция отношений общества и государства в России, разработанная государственной школой и получившая у Градовского четкое выражение. Она раскрывает специфику российского сословного строя (по сравнению с западным), показывает роль государства в формировании сословных отношений, рассматривает административные реформы как инструмент модернизации традиционных социальных отношений. Если на Западе бюрократия формировалась из среднего класса и вступала в союз с королевской властью против феодализма, то в России «дворянство само сделалось бюрократией». Бюрократия определена как «особый организм должностей, даже особый класс лиц, резко выделенный из остального общества и связанный исключительно с центральной властью».

А.Д. Градовский выступал за переход от государства «механического» к государству «органическому», от централизации (свойственной абсолютистским системам периода их формирования) — к децентрализации, от полицейского государства (с жесткой системой вертикального контроля и административного подавления) — к самоуправлению (суть которого состоит в передаче административных обязанностей самому населению). Эти тенденции представлены Великой реформой 1861 года, которая (несмотря на объективно компромиссный характер) внесла в управление начало «всесословности», заложила основы преобразования судебных и хозяйственных учреждений. Градовский констатировал переходный характер российской ситуации: «Мы стоим на распутье. Возвращение к старому порядку невозможно; новый порядок не установился, даже пути к достижению его не избраны». Выход он, как и К.Д. Кавелин, видел не

в одних только политических реформах (связанных с немедленным переходом к конституционной монархии). Важнейшее условие, по его мнению, — развитие самоуправления как основного инструмента вытеснения бюрократии из этой сферы. (В том числе выдвигалась идея губернской реформы: ослабление власти губернатора за счет местного земского самоуправления.) «Самоуправление требует великого общественного покаяния, искреннего обращения к земле, к истинному труду и к народу. Настанет ли это великое время? Можем сказать евангельскими словами: „верую Господи — помоги моему неверию“».

Идеи Градовского оказали влияние на русский либерализм и земско-конституционное движение, в частности на взгляды Н.М. Коркунова. Оба они считали, что в России невозможна непосредственная рецепция западных конституционных норм, так как здесь отсутствуют соответствующие социальные институты. Пристальное внимание к институтам управления, характерным для российской реальности, объясняется тем, что ученый акцентировал внимание на тех механизмах, которые способны были реформировать эту реальность, способствуя эволюционному типу правовой и политической модернизации. Отсюда его интерес к деятельности высших учреждений, а также к проблемам цензуры и гласности, ко всем формам земского движения и самоуправления.

Когда после 1881 года наступила эпоха контрреформ, правовед открыто примкнул к оппозиционному лагерю. Однако с запретом «Голоса» активную публицистическую деятельность пришлось прекратить. Биограф Градовского Б.Б. Глинский написал о последних годах его жизни: новые реалии «были губительны его сердцу, страдавшему пороком... развивалась все сильнее и сильнее сердечная болезнь, которая и свела его наконец в могилу».

Александр Дмитриевич Градовский скончался в Санкт-Петербурге 6 ноября 1889 года, не дожив до сорока семи лет.

КОНСТАНТИН
НИКОЛАЕВИЧ
РОМАНОВ

«Обратиться к России,
чтобы она сама собою
правила...»

26 ноября 1846 года в Большой церкви Зимнего дворца девятнадцатилетний великий князь Константин Николаевич (1827–1892), второй сын царствующего императора Николая I, принял воинскую присягу и принес торжественный обет «служить за Веру, Царя и Отечество всеми силами души и сердца, не щадя живота своего и даже последней капли крови». В первый день своего совершеннолетия молодой князь чувствовал себя вполне подготовленным к испытаниям судьбы и своему главному предназначению — управлению морским ведомством империи. К моменту присяги он имел звание генерал-адмирала и освоил все премудрости мореплавания, которым обучали его Ф.П. Литке, участник полярных экспедиций и кругосветного плавания в команде В.М. Головнина, а также капитан-лейтенанты А. Озеров и Ф. Лутковский.

Ф.П. Литке воспитывал великого князя с 1832 года и всегда оставался для него непрекаемым авторитетом. Спустя много лет Константин Николаевич так оценил влияние Литке на становление собственной личности: «Помимо всех его достоинств и ученой знаменитости, преобладающая черта характера его была постоянная прямота и честность в исполнении своего долга. Целые полвека мы с ним были связаны дружбою, и я ему был обязан всем тем, что я есмь, что из меня вышло... Он меня поставил на ноги».

Много сделал для становления Константина Николаевича поэт В.А. Жуковский, который не только раскрывал перед ним общие истины, но и учил его искать гуманитарный смысл в высокой политике: «В наше время нужны не дела славы, озаряющие только немногих избранных, а дела благодетельные для всех и каждого». Всегда помнил Константин и строгие наставления отца, императора Николая Павловича, утверждавшего, что великие князья «созданы для серьезной, даже для черной работы, а не для снятия сливок...»

Первым серьезным делом великого князя стала подготовка проекта Морских уставов, которая продолжалась ни много ни мало десять лет (1850–1860-е). Его помощником был назначен чиновник особых поручений Министерства внутренних дел коллежский секретарь А.В. Головин, сын известного мореплавателя В.М. Головнина. С этого момента началась

их многолетняя крепкая дружба. Старший по возрасту и более опытный в канцелярских делах, Головнин оказался не только его верным соратником, но и «вдохновителем» многих реформаторских инициатив. Современники считали, что Головнин сделался при его высочестве «чем-то вроде первого министра» и без него «великий князь, генерал-адмирал, не был бы тем, что он есть, не играл бы своей роли». В морской реформе особая роль Константина Николаевича проявилась в способности определить ее стратегию, руководствуясь не узко бюрократическими интересами, а реальными потребностями страны и достижениями науки мореплавания.

Наведение порядка в Морском министерстве великий князь начал с отказа от канцелярской парадности и бумажной отчетности, которые прятали истинное положение дел. «Взгляните на годовые отчеты, — советовал великий князь чиновникам своего ведомства, — везде сделано все возможное, везде приобретены успехи... Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумаги, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды, и редко, где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блеск, внизу гниль...»

В ломке старого великий князь опирался на офицерский корпус флотов, считая полезной «децентрализацию» системы его управления. Поэтому и проект Морского устава разрабатывался по новому сценарию, гласно и публично. Первоначальный его вариант рассылался «по всему морскому миру», офицерам Балтийского и Черноморского флотов, и переделывался по их отзывам и замечаниям. В его принципах был учтен законодательный опыт морских стран Европы. Головнин свидетельствовал, что великий князь «приказывал составить подробные обозрения всех прежних узаконений» для сравнения с «постановлениями иностранными».

Местом, где великий князь и Головнин наиболее плодотворно работали над проектом морской реформы, стала Венеция. Бывало, в редкие перерывы между поездками «по всем европейским дворам» великий князь начинал грустить по «тихой, спокойной и рабочей жизни» в Венеции. «Этак таскаться и ничего не делать ужасно скучно. Скоро ли мы опять с тобой засядем за работу?» — писал он Головнину в апреле 1852 года.

Помимо правовых аспектов морской реформы, усилия Константина Николаевича были направлены на техническое переоснащение отечественного флота. Для этой цели тщательно изучались им «образчики» европейского кораблестроения. Во время своего пребывания во Франции в апреле 1857 года он с пристрастием осматривал адмиралтейство, поражаясь «колоссальности» размеров фрегата «Императрица Евгения» с двигателем в 800 сил для обеспечения хода в 12 узлов, заводом «с огромными станками, который составлял огромную экономию рук и работы». В чертежном отделе его внимание привлекли «детальные планы» новых кораблей. Из этих посещений он старался извлечь «во всех подробностях» все, что только может быть полезно дома, «все, что пойдет нам впрок».

Вскоре после подписания Парижского трактата (1856) и по мере накопления финансовых ресурсов началась модернизация российского флота. Стартовой площадкой новых военных кораблей-броненосцев, оснащенных паровым двигателем, стали гавани Балтики — Петербург, Кронштадт, Стрельна, Охта. В конце 1858 года великий князь с гордостью докладывал брату-императору о фрегате «Светлана», «которым любой флот мог бы гордиться»: «Он будет носить сплошную шестидесятифунтовую артиллерию и ходит по двенадцать узлов». С азартной увлеченностью вел он будничные дела большого корабельного хозяйства, в течение дня успевая побывать на пороховом и пильном заводах, в адмиралтейских мастерских, в доках, посмотреть на переоборудование старых шлюпочных сараев, поговорить о купленных за границей «винтах и машинах» и проконтролировать, как идет их установка на стоящих под кранами судах. «В восемь утра отправился в Кронштадт, — записал Константин Николаевич в дневнике 22 марта 1860 года. — Приехавши, отправился прямо на Пороховой завод. Котлы „Гремящего“ шибко подвигаются вперед. В кузнице видел сварку второй пушки, а в токарной — сверление первой. Обошел все мастерские завода, везде большая деятельность...»

Таким ритмом достигалось многое, но не все из задуманного в морской реформе ему удалось осуществить. Ошутимым его поражением стала кадровая политика. Великому князю «не хватило поддержки» для изменения порядка выдвижения на должность по личным качествам, «не стесняясь чинами». Головнин объяснял этот неуспех тем, что противники его идеи «видели в уничтожении чинов меру демократическую, которая стремилась ко введению между людьми равенства...».

Участие великого князя Константина Николаевича в государственных делах не ограничивалось морским ведомством. В царствование брата, императора Александра II (1855–1881), он занимал посты, делавшие его одной из ключевых фигур российской политики. С 1857 года он был членом Секретного (затем Главного) комитета по крестьянскому делу (с 1860 года — его председателем); членом Финансового и Сибирского комитетов; с 1861 по 1864 год — наместником в Царстве Польском; с 1865 по 1881 год — председателем Государственного совета.

Именно единомышленники великого князя — «константиновцы» — обеспечили реализацию императором курса либеральных реформ. Помимо А.В. Головина, возглавившего с 1861 года Министерство народного просвещения, его ближайшими сподвижниками были министр финансов М.Х. Рейтерн, военный министр Д.А. Милютин и др.

«Константиновцы» имели в некотором смысле свой печатный орган — «Морской сборник», издававшийся с 1848 года на средства Морского министерства. Добившись освобождения журнала от контроля общей цензуры, великий князь превратил его в общественную трибуну, где на рубеже 1850–1860-х годов, помимо морской реформы, широко обсуждались преобразования в других сферах государственного управления.

Со второй половины 1850-х годов центральным вопросом внутренней политики стала подготовка отмены крепостного права. Активной поддержкой идеи освобождения крестьян великий князь обеспечил себе репутацию главы «либеральной партии», «партии красных» в окружении императора. Сразу же вступил он в противоборство с председателем Секретного комитета князем А.Ф. Орловым, пытавшимся завести реформу в тупик и даже упразднить Комитет. Константин Николаевич отстаивал вариант освобождения крестьян с передачей им земли в собственность, но с сохранением общинного начала там, где этому способствовали местные условия. В тот момент такая позиция опережала готовность императора согласиться на освобождение крестьян с землей и вызывала ненависть крепостников.

Влияние великого князя на ход крестьянской реформы значительно усилилось после назначения его председателем Главного крестьянского комитета. Но этому событию предшествовала описанная А.В. Головным ситуация серьезного психологического кризиса. В течение лета 1860 года, рассказывал Головнин, он каждую неделю сообщал великому князю сведения, собираемые им в поездке по внутренним губерниям. Туда он отправился с согласия его высочества для изучения мнения о предстоящей реформе широкого круга лиц — губернаторов, предводителей дворянства, помещиков и крепостных крестьян. Главный результат наблюдений Головнина сводился к мысли о необходимости ускоренного завершения начатого дела, о невозможности откладывать его еще на несколько лет. По возвращении Головнин нашел великого князя в Павловске в «странном расположении духа», которое его крайне огорчило и в котором он увидел влияние людей, «не любящих Россию».

В разговоре с Головным Константин Николаевич сказал тогда, что не хочет заниматься этим делом, которое требует специальных знаний, признает себя только моряком, а занятия крестьянским вопросом его отвлекут от флота, что он желает отправиться на «нашу эскадру», находящуюся тогда у берегов Сирии. Он даже намеревался просить государя уволить его от участия в Главном комитете.

Головнин «с ужасом и горестью» воспринял попытку демарша великого князя. Он полагал, что тому виною доктор Гауровиц и супруга Константина Николаевича, великая княгиня Александра Иосифовна, желавшие отплыть в свите великого князя за границу исходя из своих личных целей и эгоистичных расчетов — крестьянская реформа мало их интересовала. Жена Константина Николаевича, «находясь под влиянием людей крайне ограниченных, из консерваторов, желала удалить великого князя от так называемых красных, которые составляли крестьянское положение». Отстранив его от всякого участия в крестьянском деле, великая княгиня не хотела его ссорить окончательно с русским дворянством, «которое враждебно смотрело на все это», — констатировал Головнин. Сам же великий князь, по свидетельству биографа, часто соглашался с их доводами из-за «природной скромности».

«Обратиться к России, чтобы она сама собою правила...»

В конце концов душевные колебания и скепсис великого князя были преодолены. С 10 октября 1861 года начались почти ежедневные заседания Главного комитета, куда уже поступил разработанный Редакционными комиссиями Заключительный проект крестьянской реформы. Эти заседания продолжались до января 1861 года и проходили в жарких спорах, взаимных колкостях между сторонниками и противниками реформы.

Нередко присутствовавший на заседаниях Комитета император Александр II не выходил, по выражению Головнина, «из системы молчания», допуская полную свободу прений. Тем весомее было слово великого князя в поддержку введения института мировых съездов, чтобы оградить интересы крестьянства против «преобладающего влияния дворянства, их корыстолюбия». Константин Николаевич умело сдерживал полемический задор генерала М.Н. Муравьева и князя В.А. Долгорукова, стремившихся убедить царя в необходимости уменьшить земельные наделы крестьян и увеличить их повинности. Уже к ноябрю он вполне овладел искусством сдерживания своих оппонентов и «не допускал споров пустых», затягивающих дело. Поэтому работа Комитета под председательством его высочества была завершена менее чем за полгода. 19 февраля 1861 года Александр II подписал Манифест об освобождении крестьян.

Однако противники этой великой исторической развязки материализовали свое затаенное недовольство в «ненависти, клевете и злобе» по отношению к брату царя. Головнин считал, что результатом интриг «ретроградной партии» стало последовавшее вскоре удаление великого князя из Петербурга через назначение его наместником Царства Польского (1861). По ощущениям самого великого князя, его придворные недоброжелатели никогда не могли забыть и простить его роли в крестьянской реформе и того, что он и в дальнейшем, «как цепной пес», оставался на страже принципов 1861 года.

В отличие от многих российских сановников великий князь Константин Николаевич видел ценность науки как опоры политики. Вероятно, именно поэтому его энергичная, нацеленная на реформы государственная деятельность сочеталась с активным участием в научной жизни России. Особенность этого участия состояла в том, что, не будучи ученым, он помогал организации творческих сил страны благодаря своему председательству в научных обществах — Географическом, Археологическом, Техническом и др.

Его первым научным поприщем стало Русское географическое общество. 6 августа 1845 года император Николай I утвердил ходатайство учредителей Общества, известных ученых, путешественников и мореплавателей — К. Бэра, Ф. Врангеля, К. Арсеньева, Ф. Литке, В. Даля, В. Струве, П. Кешпена и др., — с отпуском значительной суммы в пользу Общества из государственной казны. Тем же указом император согласился на избрание своего сына Константина Николаевича председателем Общества. Так, еще до присяги, до совершеннолетия, перед великим князем открылась перспектива тесных контактов с научной общественностью России.

Включившись в большую политику, Константин Николаевич научился использовать свое положение для выгод науки. На средства Русского географического общества и Морского министерства печатались труды по этнографии, географии, статистике, снаряжались экспедиции за Урал, в Заполярье, Среднюю Азию, Сибирь. По инициативе великого князя в 1856 году была отправлена литературная экспедиция для исследования жизни русской деревни. Среди участников экспедиции были приглашенные великим князем известные русские писатели — С.В. Максимов, Д.В. Григорович и др.

В 1859–1861 годах при отделении статистики Общества работал Политико-экономический комитет, который стал своеобразным общественным форумом, соединившим представителей высшей администрации (министров, управляющих департаментами министерств, членов Государственного совета), а также науки, литературы и промышленности. На публичных собраниях, которые Константин Николаевич посещал не для проформы, но активно участвуя в дискуссиях, обсуждались острые злободневные вопросы — о налогах, о землеобеспечении крестьян в России, о колонизации. Они совпали по времени с самым острым периодом в разработке нового крестьянского законодательства. Это совпадение указывает на то, какое большое значение великий князь придавал научной полемике для правильного решения трудных вопросов русской политики. С его точки зрения, наука должна была определять вектор государственной политики, помогая правительству прогнозировать ее результаты, предупреждая ошибки. Эту мысль он выразил в 1872 году, выступая на восьмой сессии Международного статистического конгресса в Петербурге: «Статистика является неизбежной помощницей всякого органа общественно-государственной жизни. Слова эти исходят не из теоретического убеждения, а из личного опыта, приобретенного в качестве Председателя Государственного Совета».

Осенью 1866 года, находясь в своем крымском имении Ореанде, великий князь, к тому времени уже назначенный председателем Государственного совета, составил краткую записку о приглашении делегатов от мест для совещания с правительством. Государственному совету в его проекте отводилась роль «верхней палаты». В декабре того же года Константин Николаевич показал свой проект министру внутренних дел П.А. Валуеву, инициатору «Конституционного проекта» (1863), в котором была выражена та же идея совещательного представительства. Валуев одобрил начинание, и вскоре великий князь представил свой проект государю.

Между тем шли месяцы, а записка великого князя все еще лежала на столе императора. Виной тому был целый ряд обстоятельств, но прежде всего исконное отношение Александра II к самой идее народного представительства. Император, например, резко отрицательно отнесся к предложению московских дворян (1865) предоставить дворянским собраниям законодательные полномочия и даже распорядился закрыть Московское губернское дворянское собрание. В специальном рескрипте П.А. Валуеву

«Обратиться к России, чтобы она сама собою правила...»

им было сказано: «Право вчинания по главным частям постепенного совершенствования государственного устройства принадлежит исключительно мне и неразрывно сопряжено с Самодержавною властью, Богом мне вверенной... Никто не призван принимать на себя предо Мною ходатайство об общих пользах и нуждах Государства...» На том же основании отвергал император и претензии земских деятелей созвать Собор и, чтобы не допустить популярности их требований, в декабре 1866 года подписал Высочайший указ, ограничивающий земскую гласность и запрещающий публикацию стенограмм заседания земских собраний. Очевидные изменения в направлении самодержавной политики в сторону от либеральных реформ были вызваны первым покушением на жизнь императора (4 апреля 1866 года).

На таком фоне проект великого князя был неизбежно обречен на неудовольствие государя. Однако Константин Николаевич все же вернулся к своей «конституционной» идее через тринадцать лет, в январе 1880 года. Тогда он рассчитывал сотрудничать с либерально настроенным графом М.Т. Лорис-Меликовым, которого царь призвал возглавить Верховную чрезвычайную комиссию (февраль 1880 года) «для борьбы с крамолой». Программа и принципы Лорис-Меликова, его попытки вернуть власть на путь реформ начала 1860-х годов глубоко импонировали великому князю. Как твердый сторонник либерального курса, он ожидал от личных договоренностей с министром начала активных совместных действий. Но Лорис-Меликов этого шага не сделал. «Своя своих не познаша», — сокрушался позднее великий князь.

Как огромную личную и великую историческую драму воспринял он гибель брата, императора Александра II, 1 марта 1881 года, которая обрекла на «канцелярский конец» все реформаторские начинания Лорис-Меликова, включая и созыв в комиссию с совещательными правами избранных от общества депутатов.

Тем не менее и в дальнейшем, оказавшись при Александре III отставленным со всех государственных постов, Константин Николаевич был убежден, что «дело далеко не потеряно», и верил в то, что главная задача государственной политики по-прежнему в сотрудничестве с общественными силами. «Надобно было обратиться к России, чтобы она сама собою правила», так как «невозможно более править ни армией солдат, ни армией чиновников», — это приведет Россию к «погибели». «Если б нас призвали, — мечтал он в 1882 году, — то, разумеется, мы бы обратились к самому обществу, к земству, ко всем живым силам, присущим в России». Но его не призвали.

После 1 марта 1881 года обрывается государственная деятельность великого князя Константина Николаевича. В царствование своего племянника, императора Александра III, он был не по своей воле отправлен в отставку. Причем, чтобы «организовать» его смещение, молодой царь призвал для посреднической роли А.В. Головнина, как человека, близкого Константину Николаевичу. Поскольку великие князья по придворному

статусу не могли быть уволены, Александр III, настроенный на удаление Константина Николаевича из администрации («новые обстоятельства требуют новых государственных деятелей»), просил Головнина написать его высочеству, чтобы тот сам инициировал свое увольнение.

Вызов в Гатчину, где тогда размещался двор, разговор с императором и это поручение глубоко потрясли Головнина. Он чувствовал какую-то жгучую боль оттого, что «принужден нанести столь чувствительный удар» великому князю, от которого в течение тридцати лет «видел только добро, только доверие, только ласку...». Но он не осмелился не исполнить воли царя.

В мае 1881 года Головнин известил о разговоре с императором великого князя в двух письмах в Ореанду — официальном и частном. Вскоре Головнин получил ответ его высочества, где тот написал о том, что «уже был подготовлен к этой развязке», что не намерен препятствовать воле государя и просил бы того «не стесняться об увольнении меня от каких Ему угодно должностей», раз «в виду теперешних, новых обстоятельств, его долговременная тридцатисемилетняя служба оказывается ныне более не нужною». 13 июля 1881 года был подписан Высочайший указ об увольнении великого князя со всех постов, «снисходя к просьбе» его.

«Моя политическая жизнь этим кончается; но я уношу с собою спокойную совесть своего исполненного долга, хотя с сожалением, что не успел принести всей той пользы, которую надеялся и желал», — так резюмировал великий князь одно из самых горьких событий своей жизни. «Тяжело и грустно покидать Матушку Русь опальным! Когда и как ворочусь и что застану? Тяжело на душе... Ну, прощай, любезнейший мой Головнин! Бог с тобой, и не забывай опального друга», — писал великий князь 26 октября 1881 года, отправляясь в Европу.

В конце 1881-го и в 1882 году великий князь Константин Николаевич много путешествовал, побывал в Вене, Венеции, Милане, Флоренции, Риме. Потом он несколько месяцев прожил во Франции. Тихая, внешне безмятежная жизнь в Париже, посещение музеев, театров, концертов и вернисажей, встречи с французскими политическими и общественными деятелями не врачевали его душевного смятения «и горя, и гнева, и скорби, и озлобления, и ожесточения» от осознания своей отрешенности от государственных дел. Он искал утешения и находил его только в общении с близкими ему по духу людьми, в переписке с оставшимися в России единомышленниками.

Самая доверительная переписка («как разговор с самим собой») продолжала связывать его с В.М. Головниным. «Я принадлежу к числу таких лиц, которых чувства и ощущения не высказанные, но затаенные внутри, просто давят и душат! Разумеется, я с ними не выступлю на народную площадь, чтоб их трубить во всеуслышание! Но мне необходимо, до разреза необходимо их высказывать в кругу близких людей», — так объяснял великий князь беспокоившемуся за него Головнину несдержанность и опасную откровенность своих писем. Он убеждал Головнина в том, во

«Обратиться к России, чтобы она сама собою правила...»

что, вероятно, не верил сам: «Ты, я думаю, легко поймешь, что я горжусь быть опальным, горжусь тем, что меня считают непригодным при новом направлении дел и не причисляют к новым людям. Хорошо направление и хороши люди! Я горжусь тем, что принадлежу людям 60-х годов. По всему этому я и предпочитаю мое теперешнее опальное положение. Точно так же не были бы в моем вкусе временные наезды в Петербург, которые ты так заманчиво рисуешь. Середины тут нет — или оставьте меня так, как есть, или возвращайте к делам, но не меня одного, а всех оставшихся ветеранов 60-х годов! Одно или другое».

Корреспонденции из России рисовали ему «неприличную картину петербургских деяний». Он соглашался с ее оценкой: «Мы с 1 марта как бы вышли из колеи...» И добавлял: «Вышли из колеи не силою обстоятельств, а потому, что сами этого захотели. Первый выход из колеи совершился в достопамятный день 8 марта в... Совете министров, когда вместо того, чтобы идти по колее указаний покойного Государя, мы с нее добровольно сошли. За этим первым выходом из колеи пошли неотвратимо один выход за другим. Манифест 11 апреля и увольнение Лориса, Милютина и меня были выходами из колеи. Как и неутверждение единогласного решения Государственного Совета по выкупному делу, как затем назначение Игнатьева, — все это суть выходы из колеи, фатально следующие один за другим. Дурное начало ведет за собою фатально дурное продолжение. Потому стала возможна и Священная дружина, и подпольное влияние катковых и победоносцевых, и положение о поднадзорных, вполне понятно преследование прессы, еврейские погромы и многое, что творится перед нашими глазами».

Одним из «неблаговидных дел» петербургской власти он считал назначение графа Д.А. Толстого министром внутренних дел, которое встретил такой репликой: «Из огня да в полымя, из царства лжи, в царство тьмы, в чистую катковщину!.. Страшнее насмешки над Россией трудно себе вообразить!» Он воображал, каким может быть неожиданный визит к нему, парижскому затворнику, Толстого и был готов с ним говорить не о погоде, а о делах, хотя и понимал, что в этом случае «масса желчи с обеих сторон пришла бы тогда в движение». Он бы ему сказал, «какую вредную и бесполезную штуку он сделал», имея в виду Временные правила по делам книгопечатания 1882 года, которыми отменялась судебная ответственность деятелей печати и устанавливался для контроля над печатным словом комитет четырех министров. Новые Правила великий князь считал «бесполезными», потому что и «теперешний закон дает ему совершенно достаточную власть давить, уничтожать всякое свободное слово, всякую свободную мысль»; и «вредными», потому что «давление слова и мысли никогда, нигде к добру не приводили, что мы знаем не только по истории, но и по собственному опыту». Его возмущал порядок, которым был принят «этот скверный закон» в обход Государственного совета, потому что Толстой, по его убеждению, «наперед сознавал, что он там встретит такую критику, такую сплошную оппозицию, при которой его проект не смог бы пройти».

В этом мысленном разговоре с Толстым великий князь, распаяясь, уличал его в попытках «сломать Университетский устав 1863 года», изменить отношение к земству, которое «он хочет давить». Хватило бы у него претензий и к другим министрам (Сольскому, Шестакову, Грейгу), позволившим ломать «принципы и предания» эпохи 1861 года...

С другой стороны, Константин Николаевич убеждал себя и своего корреспондента Головнина в том, что вовсе не жаждет этих споров, которые не имели бы иного результата, кроме ссоры, и были бы не чем иным, как «бросанием гороха об стену». В то же время он не мог освободить своего сознания от мучившей его мысленной полемики. Его удивляла способность Головнина «быть зрителем, так сказать, со стороны, тогда как я, хотя и живу в действительном уединении, не могу не принимать горячо к сердцу то, о чем слухи до меня доходят». И эти слухи убеждали его в том, что «у нас само правительство воспитывает народ для революции и приготавливает, пропагандирует ее почище всяких нигилистов!»

Зиму 1883/84 года он провел в Петербурге, где болел невротическими болями лица и головы. Его лечил доктор Боткин и рекомендовал ему отправиться в южные края. 24 апреля 1884 года великий князь выехал в Крым, в Ореанду, где пребывал в уединении, «не выходя из своей берлоги» и не занимаясь никакими делами, кроме музыкальных. Он соблюдал все посты (был «счастлив говеть»), много времени проводил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной на его средства в Ореанде. В таком уединении и прошли последние годы его жизни.

Пережитая великим князем драма отставки усиливалась тем свойством его натуры, которую верно определил А.Ф. Кони: «Он не был способен к роли равнодушного созерцателя, и его живая восприимчивость, подчас даже переходившая в нервную впечатлительность, заставила его раньше многих понять потребности времени и ближайшие задачи России после Севастопольского погрома...»

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛОВНИН

**«Либерал означает
человека, который...
не допускает на практике
преобладания своего
произвола над другими
и не подчиняется сам
произволу других...»**

Министр народного просвещения, член Государственного совета, Александр Васильевич Головнин родился в Петербурге 25 марта 1821 года. Вспоминая позднее о трудном детстве (до пяти лет он не говорил и не ходил), Головнин всегда с нежностью писал о родителях, забота которых сохранила ему жизнь. В отце, Василии Михайловиче, он видел «идеал ума, знания и благородства». Известный мореплаватель вице-адмирал В.М. Головнин в 1828 году отпустил крепостных из своего села Берны Калужской губернии Масальского уезда «в свободные хлебопашцы со всею землею». Его возмущали увиденные им во время кругосветного плавания картины колониального рабства, резко осуждал он и российских «работладельцев».

Безвременная кончина отца летом 1831 года во время эпидемии холеры была самым горьким событием детства А.В. Головнина. Опорой семьи, в которой, помимо старшего Александра, росли четыре дочери, стала мать, Евдокия Степановна (урожденная Лутковская). До тринадцати лет Головнин учился дома. Хроническая болезненность и постоянные боли отвлекали мальчика от игр и привычных для детей развлечений: его занимали лишь чтение и рисование. В библиотеке отца он рано прочитал Карамзина, Державина, Фонвизина, Плутарха. В 1834 году Евдокия Степановна выхлопотала через Морское министерство оплачиваемое из государственной казны место в первой мужской гимназии в Петербурге, куда ее сын вскоре и был определен пансионером в третий класс. Через год Головнина, как отличника, перевели во второй класс Царскосельского лицея, который он окончил в 1839 году, получив большую золотую медаль и самый высокий для выпускника чин титулярного советника.

Начавшаяся в канцелярии управления учебными и благотворительными заведениями ведомства императрицы Марии Федоровны служба не приносила радости. После «златых дней» лицея пустое сочинение бумаг

казалось юному Головнину занятием весьма нудным. От канцелярских тягот его спасало чтение. Но самое яркое впечатление этого времени (1841) было связано с поездкой в село Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии. Здесь, на берегах реки Истья, располагалось родовое имение Головниных, включавшее, кроме Гулынок, село Лебяжье в Раненбургском уезде, деревню Озерки — в Спасском. Когда-то оно принадлежало помещикам Вердеревским. Александра Ивановна Вердеревская, бабушка будущего министра, получила его в приданое, став женой М.В. Головнина. Впоследствии поместье наследовал их старший сын Василий Михайлович. Оно было небольшим — около 350 душ. Им и стала распоряжаться Евдокия Степановна, «соблюдая строжайшую бережливость в домашних расходах».

В Гулынках Головнин заинтересовался системой управления имением и подружился с гулынкскими крестьянами, которым он искренно желал сделать добро. Этот визит завершился тем, что Евдокия Степановна заменила притеснявшего мужиков старосту «толковым и набожным» крестьянином Петром Григорьевым, отменила все сборы на содержание барского дома, барщину заменила оброком, а дворовых отпустила на волю. В дальнейшем «преобразования» в Гулынках продолжались. Оброк установили с учетом обеспеченности крестьян скотом: для тяглых — 15, полутяглых — 7,5 рубля серебром (у соседей оброк был до 25 рублей и выше); барин покупал лошадей тем, у кого они пали, и коров для семей с маленькими детьми. Все эти меры вызывали удивление и недовольство помещиков округи, которые придерживались более традиционных взглядов. «Дурные наклонности и страсти, — замечал Головнин по этому поводу, — находили здесь обширное для себя поприще».

В 1848 году, воспользовавшись временной отставкой из-за болезни, Головнин по собственной инициативе в течение восьми месяцев ездил по губерниям Центральной России, собирая сведения о положении крепостных, их нравственном быте, отношении к помещикам. Итогом его наблюдений, разговоров не только с помещиками и губернаторами, но и с крестьянами стали записки «О крепостных крестьянах». В результате этой поездки Головнин пришел к выводу о том, что при отмене крепостного права необходимо учитывать особенности местной жизни, традицию отношений помещиков и крестьян, типы их хозяйства. Крестьян, выполняющих для помещика меньше повинностей, чем «сколько они получают от него выгод», можно было бы с успехом превратить в фермеров, других — менее обеспеченных — в арендаторов.

В годы подготовки крестьянской реформы при Александре II Головнин получил возможность громче заявить о своей позиции. К этому времени (1850–1860) он тесно сотрудничал с великим князем Константином Николаевичем, помогая ему в качестве личного секретаря готовить проекты морских уставов. Летом 1857 года великий князь Константин Николаевич был назначен членом Секретного (с 1858 года Главного) комитета по крестьянскому делу, а с октября 1860 года стал его председателем.

Тогда же (июль 1857 года) Головнин предпринял попытку освободить собственных крестьян в Гулынках. Однако крестьяне отказались от предлагаемой барином свободы, объяснив ему свои мотивы: «Когда ты от нас совсем отступишься, нас всякий теснить будет, а мы твоею милостью много довольны». Этот эпизод Головнин описал в записке для Секретного комитета. Он совсем не подчеркивал, что его вотчина не совсем типичный для крепостнической России уголок социального мира, где крестьяне не знали притеснений со стороны помещика. Гулынская картинка понадобилась ему для других целей. Головнин убеждал высшую администрацию в том, что слухи о свободе не произвели никаких беспорядков и «не внушили гулынским крестьянам желания выйти из-под власти помещика». «Не доказывает ли это, — спрашивал Головнин, — что крайне преувеличены опасения последствий, которые могут произойти от печатания в официальных журналах наших статей о способах освобождения крестьян от крепостного права?» Отсюда следовала мысль о пользе привлечения журналистики для гласного обсуждения крестьянского вопроса, остававшегося тогда еще строго секретным. Кроме того, поддержка реформы прессой, в которой Головнин не сомневался, помогла бы ослабить голоса ее противников в окружении императора.

В июне 1860 года Головнин повторил путешествие по Центральной России. Теперь он пошел «в народ» по прямому поручению Константина Николаевича в момент завершения крестьянской реформы. Обоих интересовало мнение крестьян о заключительном проекте, подготовленном Редакционными комиссиями Главного комитета. Прогнозы Головнина были пессимистичны. «Неизгладимо грустное впечатление» произвело на него дворянство, которое действовало, «заботясь только о своей сегодняшней материальной выгоде и не произнося слова в пользу и в защиту» крестьян. Головнин составил из отзывов крестьян специальную записку для Главного комитета. Он не скрывал недовольства крестьян многоступенчатой системой управления, специально для них созданной, сохранением монополизма общины, временнообязанным состоянием, высокими оброками и др. Все это, по его мнению, уводило реформу от ее истинной цели погасить взаимное нерасположение, вражду обоих сословий или, по крайней мере, достигнуть того, «чтоб они были равнодушны одно к другому».

Тем не менее Головнин воспринял Манифест 19 февраля 1861 года как великое событие и сразу же применил новый закон в Гулынках. К тому времени за ним числилось 213 душ. В 1861 году он подписал уставную грамоту, по которой крестьяне должны были выкупаться по требованию помещика. Такой порядок исключал длительное временнообязанное состояние и обеспечивал крестьянам двадцатипроцентную уступку выкупной суммы. В 1864 году Головнин получил выкупное свидетельство и стал «соседом» своих бывших крепостных, теперь уже свободных поземельных собственников. Причем крестьяне получили высший для той местности размер полевого надела и некоторое время, до погашения 80% его стоимости, платили в казну свой прежний небольшой оброк.

Построив таким образом отношения с гулыньскими крестьянами, Головнин продолжал интересоваться их жизнью. Социальный эксперимент в Гулыньках продолжался. На свои сбережения он построил там каменную церковь, начальное училище для мальчиков, каменный дом с двумя квартирами для учителей. В училище была устроена метеорологическая станция, кабинет физики, две библиотеки. Одна из них, в 5000 томов, была открыта для всех. Позднее, в 1870 году, появилось училище для девочек в деревянном доме.

Церковь Святой Троицы была сооружена специально приглашенным рязанским архитектором А. Щеткиным в память 19 февраля 1861 года. Храм, по мысли Головнина, должен был стать для прихожан школой христианской нравственности, чтобы, приходя к нему, они «почерпали правила нравственности, узнавали сущность учения Христианства». Этой же цели служила и церковная библиотека. В ее каталоге, опубликованном в качестве приложения к брошюре «Заметки о двух церквях Рязанской Губернии Пронского уезда при селе Гулыньках», указано 771 наименование книг. Здесь встречаются труды по истории христианства и христианской философии, этике, «Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами» (1861), «Сборник исторических повестей» (1863) и другие книги. Приобщая крестьян к серьезному чтению, Головнин бесплатно раздавал им книги духовно-нравственного содержания. Его стараниями в каждой семье был экземпляр Евангелия. С благодарностью принимали крестьяне и другой его подарок — перламутровые кресты, привезенные им из Иерусалима.

Гулыньские учебные заведения создавались как школа для народа. Позднее (1869) Головнин передал их в ведение Пронского земства с капиталом в 12 000 рублей. Учебные пособия, программы, правила для учащихся, приглашение учителей и директора — все это осуществлялось по его рекомендациям и на его личные средства. Не прекращалась и переписка с гулыньскими учителями (в архиве одного из них, Н. Федотьева, сохранилось 227 писем Головнина). После кончины Головнина школы Гулынок, по словам местного земского деятеля, «осиротели».

За время подготовки крестьянской реформы опытность Головнина как политика и его престиж значительно выросли. Он был замечен высшей властью. В декабре 1861 года состоялось его назначение на пост управляющего Министерством народного просвещения; в январе следующего года он получил портфель министра.

Предшественники Головнина (А. Норов, Е. Ковалевский, Е. Путятин), при всем различии их натур, оказались одинаково беспомощны перед университетскими беспорядками, в столкновениях с фрондирующей профессурой и журналистикой. Они ушли со сцены, так и не реализовав какой-либо продуктивной реформаторской идеи, оставив неразрешенными проблемы своего ведомства, главными из которых были кризис цензурной системы и, как следствие, пугающая царя неуправляемость прессы и университетов. Путятин даже усугубил ситуацию попыткой примене-

«Либерал означает человека, который... не допускает на практике преобладания своего произвола над другими и не подчиняется сам произволу других...»

ния по-военному жестких мер в отношении журналистики и студентов. Скандальный опыт Путьягина убеждал императора в необходимости иного подхода.

Общество связывало с Головниным ожидание серьезных перемен. Публике импонировало первое появление Головнина-министра не в мундире, а в штатском костюме. В этом увидели символ отречения от «старой сухой формалистики», «знак наступления новых времен». Сам Головнин стремился действовать, «следуя общему духу и смыслу преобразований, которые вводили законность взамен произвола, равенство перед законом вместо привилегий, свободу и простор вместо стеснений, гласность вместо прежней тайны». Однако очень скоро он столкнулся с непреодолимыми барьерами, и первый камень преткновения ждал его на пути к цензурной реформе. По установкам царя, она должна была сделать административный контроль над печатным словом более эффективным, ориентироваться на интересы государственной безопасности, которым, по мнению Александра II, серьезно угрожали претензии прессы.

Головнину предстояло подготовить такой проект цензурной реформы, который одновременно угождал бы требованиям императора и успокаивал общество реальными переменами к лучшему в делах печати. Поручив подготовку проекта нового закона учрежденной при его министерстве комиссии князя Д.А. Оболенского, Головнин избрал «либеральный способ действия». Смысл его разъяснил В.А. Цеэ, лицейский товарищ и соратник Головнина, занимавший тогда должность председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета: «При всеобщем требовании отмены цензуры нельзя цензуре действовать на жандармском праве и грубом произволе. Надо, напротив, употреблять представителей умственной деятельности всего русского общества на защиту порядков, закона и самого правительства, а этой цели нельзя достигнуть без доверия литераторов, а доверие это приобретается... постепенно открытым, добросовестным, благородным способом действия». Следуя этому принципу, Головнин пригласил литераторов, редакторов периодических изданий высказаться в печати по вопросам цензурной реформы. Кроме того, он рассчитывал «смелым образом действия нескольких даровитых писателей в пользу религии, нравственности, законности и правительства» сбалансировать общественное мнение, создавая противовес «ложным теориям». Он даже вынужден был делать шаги назад: исполняя волю императора, рассылал грозные циркуляры цензорам с требованием усилить строгость цензуры, согласился на временное приостановление выпуска «Современника» и «Русского слова». И все это для того, чтобы оппозирующая власти журналистика «не спугнула» правительство своим радикализмом, что могло бы отрицательно сказаться на результатах реформы.

Только в одном случае Головнин изменил тактике балансирования, отказавшись подписать подготовленный комиссией Оболенского проект нового цензурного устава, куда были внесены нормы об административном преследовании прессы «вредного направления». В записке на Высо-

чайшее имя Головнин уклончиво объяснил свой поступок тем, что в проекте он обнаружил недостатки, не раскрывая при этом их сути. Там же он просил императора освободить его от управления цензурным ведомством и получил согласие. 12 января 1863 года цензура была передана министру внутренних дел П.А. Валуеву.

Уступив в цензурных делах, Головнин сосредоточился на подготовке университетской и школьной реформ, чтобы здесь отстоять курс на либеральные преобразования. Университетский устав 1863 года серьезно менял статус высшей школы — сводились к минимуму властные полномочия попечителей учебных округов и министра, восстанавливалась выборность ректора и деканов. Значительно возрастала роль кафедр, расширялись преподавательские штаты, обеспечивалась материальная поддержка профессуры. Устав закреплял право университетов на издание без предварительной цензуры учебной литературы. Иностранная научная литература могла приобретаться также без вмешательства цензуры и без пошлины. Сторонник широких научных контактов с европейскими учеными, Головнин выделял из фондов министерства средства для пособий командироваемым за границу лучшим выпускникам университетов.

Но все эти реформаторские успехи Головнина не гарантировали прочности его положения. Более того, в них видели проявление «крайних» либеральных воззрений. Инакомыслие улавливалось и в его стремлении опереться на общественное мнение, развязать газетную полемику, в том, что, управляя министерством, он никогда «не употреблял шпионов, не допускал доносов», а министерские ревизии учебных заведений осуществлял только гласно, стараясь «сколь возможно менее быть полицмейстером и сколь можно более — педагогом». Именно поэтому его имя вызвало злобную критику консерваторов. Самым громогласным критиком Головнина стал московский публицист, редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника» М.Н. Катков, который называл министерство Головнина олицетворением «измены и предательства в самом средоточии правительства». Головнин не стал «своим человеком» для Александра II, его не приглашали «за кулисы» власти, где обсуждались закрытые для общества темы. Царь не доверял Головнину, полагая, что тот «подстрекал брата» (великого князя Константина Николаевича) на смелые реформаторские идеи, включая конституционный проект.

Сам же Головнин иронично воспринимал эти слухи и считал себя не вправе называться либералом. «По моему понятию, слово либерал означает человека, который, считая в теории других людей себе равными, не допускает на практике преобладания своего произвола над другими и не подчиняется сам произволу других, который подчиняется только закону... и жертвует своими выгодами для осуществления своих идей. Можно ли после этого назвать либералами покорных слуг самодержавия, которые дорожат придворными званиями и звездами и никогда еще ничем не пожертвовали для осуществления либеральных теорий, то есть теорий равенства и законности с отрицанием всякого произвола? Неужели, не делаясь

«Либерал означает человека, который... не допускает на практике преобладания своего произвола над другими и не подчиняется сам произволу других...»

крайне смешным, я мог бы назвать себя либералом после того, что уживался двенадцать лет при дворе, принял дюжины две крестов и звезд и до сорокалетнего возраста оставался владельцем крепостных крестьян?» — писал он В.А. Цеэ в 1865 году, на исходе своей министерской карьеры. В этой тираде легко обнаруживается понимание министром невозможности полноценно реализовать исповедуемые им либеральные принципы в ситуации, когда самодержавная власть обозначила предел уступок обществу. «Мы все храбры у себя в кабинете, — признавался он позднее, — а не в тот момент, когда приходится сказать Государю неприятные истины... Гражданское мужество и гражданская доблесть отсутствуют там, где нет граждан, а встречаются только покорные верноподданные...»

И все же то, что Головнин успел сделать в годы управления Министерством просвещения, стиль его поведения во власти разрушали привычный образ мундирного чиновника, вступали в противоречие со стереотипами придворной жизни. Поэтому, как только представился повод, Головнин был отправлен в отставку, став по сути первой жертвой начинавшейся политической реакции.

Поворот к ней был связан с покушением Д. Каракозова на императора 4 апреля 1866 года. Противники либеральных реформ в окружении Александра II использовали это событие, чтобы настроить царя на проведение жесткого курса в отношении печати и университетов. Система Головнина, открывшая в том числе простор естественным наукам, представлялась им почвой для формирования материализма и нигилизма. 14 апреля 1866 года Головнин был смещен. Его преемник, граф Д.А. Толстой, больше отвечал требованиям грозного царского рескрипта (от 13 мая 1866 года) действовать в охранительном духе, оберегая начала христианской религии и существующего самодержавного порядка.

Отставка не выключила Головнина из политической жизни. Он использовал свое пожизненное назначение членом высшего законосовещательного учреждения Российской империи, Государственного совета, для активной поддержки принципов 1861 года, соединив свои усилия с усилиями великого князя Константина Николаевича, который в те годы (1865–1881) занимал пост его председателя. Теперь он был более свободен, так как изменился характер служебной ответственности. В стенах Государственного совета Головнин оппонировал Д.А. Толстому, А.Е. Тимашеву и другим сторонникам контрреформ в области просвещения, печати и суда. «Я не могу согласиться с тем, что в литературе нашей господствовало вредное направление, и постараюсь доказать ошибочность поименованного воззрения» — так начал он свою замечательную речь в защиту свободы слова в Общем собрании 20 марта 1872 года. Речь Головнина прозвучала как открытый протест против предложения министра внутренних дел генерала Тимашева заменить судебное разбирательство по делам печати (на том основании, что вся печать «враждебна правительству») исключительным правом министра или Комитета министров «окончательно задерживать» напечатанные без предварительной цензуры издания «вредного направления».

Столь же убежденно отстаивал Головнин принцип независимости судей и высказывался против ревизий судебных мест чиновниками, поскольку это «неминуемо» уменьшило бы самостоятельность судей. «Надобно, — утверждал Головнин, — чтоб судья решал дело, с одной стороны, нисколько не стараясь угодить влиятельным лицам администрации, а с другой — не страшился бы упреков того общества, в котором живет, не боялся бы газетной статьи». Инспекция судов сановными лицами представлялась Головнину покушением на основной принцип судебной реформы 1864 года «относительно полной самостоятельности судебной власти», поэтому, чтобы не допустить его искажения, он ратовал за внешний (общественный) контроль в этой области.

При обсуждении финансовых вопросов Головнин выступал за необходимость «расходовать не более той суммы, которую можно получить без отягощения народа», за сокращение государственного аппарата, за пересмотр законов, стесняющих частную деятельность. С трибуны общих собраний членов Государственного совета звучали его речи в пользу такой политики, целью которой являются права и свободы личности, а инструментом — реформы, основанные на принципах законности и гласности. Эти выступления не были публичной акцией, но дарили ему ощущение личного противостояния и даже маленьких побед над ретроgrадами.

И все же диспуты в Государственном совете в 1870-е годы, завершавшиеся, как правило, утверждением императором такого законопроекта, который более отвечал репрессивному курсу, вызывали сомнение Головнина в способности этого учреждения влиять на высокую политику. Пополняемый отставными министрами Государственный совет представлялся ему слишком корпоративным и в силу этого оторванным от общественных интересов. Чтобы поправить положение, по мнению Головнина, следовало «сделать заседания Государственного совета публичными, допустить в них слушателей, стенографов, журналистов. Тогда весь ход представления дел, обработки оных, изучения, рассматривания и решения изменился бы к лучшему». Он уповал на введение такого «устройства», при котором «большее число людей делались бы известны, имели случай высказать свои познания, свои способности, свои взгляды и убеждения». В этом отношении серьезные перспективы он связывал с земством, с расширением его прав и круга деятельности.

Развитие российской государственности в дальнейшем, по мысли Головнина, должно пойти по пути соединения Государственного совета с представителями земских собраний. Похожую модель выстраивали авторы конституционных проектов П.А. Валуев (1863) и великий князь Константин Николаевич (1866), но в отличие от них Головнин был сторонником не совещательного, а законодательного представительства. По его программе, объединенное собрание Государственного совета и депутатов от земства стало бы тем учреждением, без согласия которого «не издавались и не изменялись законы и не утверждался Государственный бюджет».

«Либерал означает человека, который... не допускает на практике преобладания своего произвола над другими и не подчиняется сам произволу других...»

Правда, все эти конституционалистские мечтания Головнина остались тайной. Ее хранят записки, написанные им в 1867 году в Гулынках. Вместе с другими бумагами личного архива он завещал потомкам открыть их не ранее чем через пятьдесят лет после своей кончины.

3 ноября 1886 года в возрасте 65 лет Александр Васильевич Головнин скончался. А.Ф. Кони писал тогда: «У всякого, кто встречался с Головниным, при известии о его смерти, с чувством глубокого сожаления соединяется воспоминание об очень сутуловатом старичке небольшого роста, который умел соединять утонченную, чрезвычайно редкую и даже забытую в наше время, вежливость с трезвостью взглядов и математической точностью выражений». Многие современники, знавшие его жизненный путь, служение России, истинному патриотизму, по достоинству оценили «высокую и нравственно плодотворную» государственную деятельность А.В. Головнина.

ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ЗАМЯТНИН

«Верность однажды
сознательно избранному
знамени...»

По мнению многих исследователей, годы пребывания Дмитрия Николаевича Замятина в должности российского министра юстиции (1862–1867) были особым временем в истории отечественной юриспруденции: именно при Замятнине выработывалась судебная реформа, были приняты Судебные уставы и началось их внедрение в судебную практику.

Один из первых историков судебной реформы Г.А. Джаншиев писал в 1883 году, что после 19 февраля 1861 года самым славным днем должно быть признано 20 ноября 1864 года — день утверждения знаменитых Судебных уставов. До известной степени этот день даже может с успехом конкурировать с днем крестьянского освобождения.

Действительно, судебные учреждения, порожденные двадцатым ноября, охватили значительное пространство, затронув материальные и духовные интересы многих лиц; учреждение нового гласного суда, независимого суда общественной совести, касалось всех слоев населения, всего государства. Только теперь, писал Джаншиев, «это колоссальное дело насаждения скорого, правого и гласного суда совести на место бесконечной, продажной приказно-судебной волокиты и водворение начал благоустроенного правового порядка в исконной стране господства произвола представляется во всем своем величии и блеске».

Многие современники Д.Н. Замятина ценили его «первостепенную роль» в выработке и особенно в реализации Судебных уставов, то место, которое он занимал среди деятелей судебной реформы, будучи, по всеобщему признанию, истинным олицетворением ее гуманных и либеральных принципов. И после того как Замятнин покинул Министерство юстиции, его продолжали считать живым воплощением основных начал судебной реформы.

Дмитрий Николаевич Замятнин родился в дворянской семье 31 января 1805 года в селе Пашигореве Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Здесь в низеньком одноэтажном доме он провел на попечении матери, урожденной Граве, все детство. Учился Замятнин сначала в лицейском пансионе, затем в Царскосельском лицее. В крепко сплотившемся лицейском кружке так называемых «жителей литературного квартала» Замятнин, несомненно, играл выдающуюся роль — и в ученическом быте, и в интеллектуальной жизни, и в литературных предприятиях.

Окончив лицей в 1823 году с серебряной медалью, он по рекомендации директора Царскосельского лицея Е.А. Энгельгардта был принят на службу к М.М. Сперанскому в Кодификационную комиссию по составлению законов. После преобразования Комиссии в 1826 году во II отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии Дмитрий Николаевич оставался в ней до конца 1840 года. За это время он приобрел репутацию способного, трудолюбивого и честного чиновника. Не было ни одной части разрабатывавшегося тогда обширного Свода законов, которая за семнадцатилетнюю службу Замятина не прошла бы через его руки. Благодаря этой работе Замятин блестяще освоил российское законодательство.

1 января 1841 года он получил должность герольдмейстера в Министерстве юстиции. Сам император Николай I связывал с назначением Замятина на этот пост особые надежды — Дмитрию Николаевичу было поручено заняться искоренением злоупотреблений, господствовавших в Департаменте герольдии, и прежде всего — взяточничества. Определяя Замятина на это место, царь предупреждал, что ему придется иметь дело с «шайкой разбойников». И это было не так уж далеко от истины.

Уже в первый год работы на новом поприще Замятин успел показать себя способным администратором, выявив и искоренив многочисленные злоупотребления. В 1842 и 1845 годах министр юстиции докладывал императору (в связи с наградными делами), что благодаря усилиям Замятина улучшился состав герольдии, уменьшились беспорядки и исчезли жалобы на медленность движения дел.

Благодаря высокому профессионализму Замятин быстро шел в гору. В 1852 году он был назначен обер-прокурором 2-го департамента Сена-та и сенатором. 9 мая 1858 года занял пост товарища министра юстиции. С июня 1859 года — во время отпуска министра Панина — временно управлял министерством, 21 октября 1862 года стал управляющим министерством, а 1 января 1864 года был утвержден в должности министра.

Время управления Замятиным Министерством юстиции, по свидетельству современников, было периодом самой активной деятельности по подготовке, составлению и введению в действие Судебных уставов. Это был очень важный период в жизни Дмитрия Николаевича, когда «богатые духовные дары этого человека ожили в атмосфере Великих реформ». «У него действительно была прекрасная, возвышенная, чистая душа, — писал Джаншиев. — В его нравственном облике доминировала необычайная доброта. Делать добро ближнему было для него истинным наслаждением, неодолимой потребностью его нравственной природы. Другими заметными чертами его характера были: безусловная честность во всех поступках, добросовестное до педантизма отношение к своим обязанностям, верность однажды сознательно избранному знамени».

В отношениях с равными себе и подчиненными Замятин демонстрировал прямоту, простоту и ровность, умение пробудить у них лучшие стороны души. Замечательны в нем были и скромность, и открытое жела-

ние учиться у более сведущих, отсутствие мелкого самолюбия, которое не выносит рядом с собой выдающихся талантов. Он охотно выдвигал и в министерстве, а впоследствии и в судебных учреждениях даровитых деятелей, радовался их успехам.

Незлобивость, отвращение к пересудам были присущи Замятнину и в личной жизни, и в официальной деятельности. В отношениях с просителями Дмитрий Николаевич отличался доступностью и внимательностью. Он говорил: «Просителю, как больному, нужна помощь немедленная или объяснение, что ему помощь невозможна».

С назначением Замятнина в Министерство юстиции самый дух этого ведомства преобразился, воцарились новые порядки. «После такого черствого, безжизненного бюрократа, каким был граф Панин, олицетворения бездушного формализма, — отмечали биографы, — вдруг занимает министерский пост человек мягкий, ласковый, приятный в обращении, доступный для всех. Граф Панин, никогда не покидавший своего недоступного бюрократического олимпа не только для объяснения с публикою, но и для выслушивания докладов, чуть ли и с курьером своим объяснялся не иначе как письменно». Преемник же его впервые ввел в министерстве приемные часы, а управитель его канцелярии всегда принимал просителей, ходатайства которых уже на следующий день докладывал министру. Отношения нового министра с чинами министерства были ровными и доброжелательными. Еще раньше Замятнин, будучи товарищем министра, «успел приобрести расположение департаментского персонала простотою своего обращения, составлявшего такой бьющий глаз контраст с недоступностью тогдашнего министра юстиции».

Один из ближайших сотрудников Замятнина, Д.Б. Бэр, вспоминал: «Всему ведомству (Министерству юстиции. — В.Ш.) уже давно была известна в высшей степени гуманная, симпатичная личность нового начальника. С полным к нему доверием ведомство принялось готовиться к предстоящей судебной реформе. Всегда спокойный, хладнокровный, чуждый мелочного самолюбия, он требовал серьезного отношения к делу... Исполнитель, которому поручена была какая-либо работа, был уверен, что, придя к своему начальнику, он будет выслушан им без малейшей тени неудовольствия и досады, хотя бы он представлял свои соображения о невозможности исполнить отданное приказание. Каждое малейшее сомнение обсуждалось, подвергалось строгой критике, весьма часто коллегиально, и дело от таких приемов выигрывало; притом же начальник этим путем узнавал своих подчиненных. Это было не нерешительностью, а, напротив, желанием отыскать правду, наилучшим образом осуществить ее и поставить дело на законную твердую почву».

Замятнин сгруппировал около себя целую когорту деятелей, преданных началам новой судебной реформы. Первую скрипку среди них играл товарищ министра юстиции Н.И. Стояновский, «заложивший один из первых камней судебной реформы еще в должности статс-секретаря Государственного совета». Среди ближайших сотрудников Замятнина по

«Верность
однажды
сознательно
избранному
знамени...»

Министерству юстиции были директор департамента министерства барон Е.Е. Врангель, вице-директор Б.Н. Хвостов, начальник законодательного отделения Н.Н. Шрейбер, старший юрисконсульт Д.Г. фон Дервиз, начальник гражданского отделения О.В. Эссен, юрисконсульт Г.К. Репинский, правитель канцелярии министра юстиции Д.Б. Бэр и др. Подбор необходимого персонала исполнителей Замятнин считал важнейшим элементом подготовки реформы. В докладе царю в 1863 году он писал: «На обязанности Министерства юстиции лежит изыскание контингента лиц, преданных началам, вложенным в разрабатываемые новые уставы, которым можно было бы вручить осуществление великой реформы».

Но одновременно с подбором сотрудников Замятнин «расчищал поле» для будущей реформы: он упростил делопроизводство и повысил эффективность работы аппарата министерства, благодаря чему резко сократилось количество нерешенных дел, ведомственный механизм стал работать без резких перегрузок и сбоев. При Замятнине произошло важное событие, выходящее по своему значению далеко за рамки министерской «новации»: Указом 17 апреля 1863 года в России отменялись жестокие телесные наказания — плети, шпицрутены, наложение клейм и штемпелей.

Подготовка судебной реформы продвигалась с необычайной быстротой. В октябре 1861 года Александр II повелел предварительно выработать «Основные положения» судебной реформы. Менее чем через год Государственный совет уже рассмотрел «Основные преобразования судебной части в России», утвержденные царем 29 сентября и ставшие фундаментом будущего судебного законодательства. Тогда же была образована при Государственной канцелярии под председательством В.П. Буткова комиссия для составления проектов судостройства и судопроизводства согласно «Основным положениям». Следует подчеркнуть, что эти положения были опубликованы для всеобщего сведения: комиссия Буткова специально обратилась к судебным и административным деятелям и профессорам, а через периодические издания и ко всему обществу с просьбой оказать содействие своими замечаниями. На приглашение комиссии откликнулось 448 лиц, замечания которых составили шесть томов. Это был первый опыт обращения к общественности за содействием. Замечания вместе с иностранными законодательствами и теоретическими исследованиями послужили материалом, над которым работала комиссия. Через год с небольшим ее проекты были внесены в Государственный совет.

Замятнин образовал под своим председательством особые совещательные органы для обсуждения внесенных в Государственный совет проектов. Это была поистине «могучая кучка» способных и преданных реформам людей, воодушевленных высотой предстоящей работы и искренним желанием поработать на пользу России. Ему пеняли на то, что он дает себя «начинять департаментским либерализмом», но министр неуклонно вел свою реформаторскую линию. Заседания продолжались в течение четырех месяцев по три раза в неделю по вечерам. Каждое длилось по пять и более часов. Замятнин поражал всех на этих заседаниях

своим терпением и неутомимостью. Даже когда уставали молодые люди, он, несмотря на свой возраст, засиживался до двух часов ночи, внимательно выслушивая всякое замечание, давая каждому высказаться, поощряя словом и личным примером.

В ходе этих плодотворных обсуждений были внесены замечания по 1000 статьям Уставов, в том числе по 600 статьям Устава гражданского судопроизводства, по 300 статьям уголовного судопроизводства, по 800 статьям Устава по нарушениям закона, подведомственным мировым судьям, и по 120 статьям проекта учреждения судебных мест. В целом «Замечания министра юстиции» составляли целый фолиант, превышающий 500 страниц.

Неоценимая заслуга Замятина, по оценке его современников, «заключалась в кропотливой, в высшей степени добросовестной работе, с которой тонкому юридическому анализу была подвергнута каждая статья уставов». Подавляющее большинство замечаний было принято Государственным советом. Замятин расширил юрисдикцию мирового суда, предоставил каждому подсудимому право просить о назначении ему защитника, высказался за право председателя и членов суда задавать подсудимому вопросы, внес важные коррективы в порядок составления присутствия присяжных заседателей и правила их отвода и пр.

Но утверждение уже выработанных Уставов едва не было остановлено запиской, поданной царю в октябре 1864 года председателем Государственного совета князем П.П. Гагариным, который предлагал ввести повсеместно в действие положение о мировых судьях «с соединением этой должности с существующей тогда должностью мировых посредников по освобождению крестьян». Князь высказался за подчинение будущих мировых судей одновременно Министерству юстиции (по делам судебным) и Министерству внутренних дел (по делам о заведовании крестьянским управлением). Д.Н. Замятин воспротивился самым решительным образом. В своем докладе Совету министров 5 ноября 1864 года он доказывал, что характер деятельности мировых судей и мировых посредников различный. Мировой судья отвечает за свои действия только перед судом, а мировой посредник — перед административной властью, и, таким образом, «пришлось бы нарушить первую статью основных положений реформы, в силу коей власть судебная отделяется от исполнительной и административной». Замятин предупреждал, что предложение Гагарина в конце концов может привести к тому, что «придется задержать введение всей судебной реформы». Гагаринская трактовка роли мировых судей «не прошла».

Судебные уставы были утверждены императором. В указе Сенату говорилось, что Уставы «соответствуют желанию нашему водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших. Возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего».

«Верность
однажды
сознательно
избранному
знамени...»

Поскольку старый порядок в судебных делах не мог быть заменен повсеместно и сразу, Замятнин добился введения временных правил, одобренных 11 октября 1865 года, которые модернизировали старое судопроизводство, подвели его к новому. Эти правила были любимым детищем Замятнина. Они устанавливали в старых судах гласность и устность судебного разбирательства, из уездных судов были изъяты уголовные дела по преступлениям, по которым следовало серьезное наказание, существенно был пересмотрен порядок вызова в суд, сроки явки, сокращены апелляционные сроки и т.д.

Замятнин держал в поле зрения весь спектр проблем судебной реформы. На его долю, как подчеркивал А.Ф. Кони, выпала завидная и вместе с тем трудная задача введения и открытия первых судов по Уставам 20 ноября 1864 года.

В деле осуществления грандиозного проекта реформы судебной системы Замятнин не признавал мелочей. За границу был командирован архитектор Афанасьев для изучения принятого в Западной Европе внешнего устройства судебных мест. Одесский ученый Гессель составил стенографический ключ русского языка; ключ этот был послан Министерством юстиции на заключение Дрезденского стенографического общества и им одобрен.

Все делалось быстро, радостно, празднично. Участники введения судебной реформы вспоминали, что это были полные жизни дни, хотя стоившие большого и тяжелого труда. Требовалась неустанная энергия и твердая вера в необходимость скорейшего и коренного обновления судебной системы. Предстояло принять самые разнообразные меры, сгладить противоречия и практически осуществить реформу. Но особенно важной заботой министерства было избрание должностных лиц вновь открываемых судов. Много для этого сделал и лично Замятнин, тщательно подбиравший кандидатов на судебские должности. Ему удалось привлечь в свое ведомство прекрасных специалистов, убежденных сторонников судебной реформы. Уже в первые месяцы деятельности Московского и Петербургского судебных округов следовало назначить 8 сенаторов, 50 председателей судебных учреждений и их товарищей, 144 члена судебных палат и окружных судов, 190 следователей и 120 чинов прокурорского надзора. Увеличение окладов и штатов, а также изменение условий судебной службы должны были привлечь в судебное ведомство новые силы и вернуть в него ушедшие. Еще 24 февраля 1864 года Замятнин испросил и получил Высочайшее соизволение, чтобы замещение должностей губернских и уездных стряпчих было изъято из ведения начальников губерний и зависело непосредственно от Министерства юстиции. Благодаря этой и другим мерам к началу 1866 года из 1698 должностных лиц, назначение которых зависело от министра юстиции, были 821 человек с высшим образованием, 496 — со средним и только 351 — с низшим.

Замятнин приложил немало сил, доказывая «на самом веру» необходимость увеличения окладов в судебном ведомстве, он придавал этому

первостепенное значение. «Если этого не сделать, — считал он, — то лучше отказаться от судебной реформы, ибо равновесие между „судебным сословием“ и адвокатурой нарушится, а самые способные уйдут в присяжные поверенные».

Александр II оценил деятельность Замятнина. В конце 1865 года на отчете министра юстиции о подготовительных мерах к судебной реформе он написал: «Искренне благодарю за все, что уже исполнено. Да будет благословение Божие и на всех будущих наших начинаниях для благоденствия и славы России».

14 апреля 1866 года царь посетил здание судебных мест и закончил свое обращение к судейским чинам словами: «Итак, в добрый час начинайте благое дело». Сбывалось то, что наперекор скептикам и противникам судебной реформы предрекал Дмитрий Николаевич: «А все-таки новые суды будут в назначенное время открыты».

16 апреля помещение суда и судебной палаты было освящено, а в здании Сената было открыто первое собрание кассационных департаментов. Но настоящее торжество происходило днем позже — 17 апреля, в день рождения Александра II. Теплую, взволнованную речь сказал и Замятнин: «Завязывая свои глаза перед всякими посторонними и внешними влияниями, — обращался он к соратникам, — вы тем полнее раскроете внутренние очи совести и тем беспристрастнее будете взвешивать на весах правосудия правоту или неправоту подлежащих вашему обсуждению требований и деяний».

В Москве открытие судебных установлений произошло 23 апреля. В ноябре и декабре 1866 года начали работу четырнадцать провинциальных окружных судов. В скором времени в десяти губерниях заработали и мировые суды.

Уже во всеподданнейшем отчете за 1866 год сам Замятнин высоко отзывался о начавшейся судебной реформе: «Деятельность общих судебных установлений оказалась столь же благотворною, как и мировых учреждений». Даже консервативный по своим убеждениям князь В.П. Мещерский писал тогда о новом суде: «Первые годы введения и действия новых судебных учреждений были блестящими страницами честных нравов во всей области русской Фемиды: это был какой-то весенний воздух, где ободряюще веяли ароматы честности и где каждый из нас в то время чувствовал, что этот новый слуга юстиции исполнял задачу честности, на себя принятую, собственным вдохновением. Это был какой-то праздник честности».

Действительно, это был «медовый месяц» судебной реформы. Но он был недолог. «Некоторые слои общества, — как писал зять Замятнина, один из деятельных участников судебных преобразований, А.Н. Куломзин, — коих заветное мечтание заключалось в восстановлении патримониальной юрисдикции, не могли примириться с независимостью суда. С провозглашением действительным равенства... в особенности ненавистен был этим лицам институт присяжных заседателей». Разбор постоянных, хотя и мелочных, наветов на Замятнина, как отмечает тот же

«Верность однажды сознательно избранному знамени...»

Куломзин, «утомлял государя», вследствие чего последовало назначение «для рассмотрения важнейших вопросов по судебному преобразованию Особого совещания под председательством великого князя Константина Николаевича». Это был тревожный звонок. 1 января 1867 года у Замятина отняли его «правую руку» — товарища министра Н.И. Стояновского, горячего приверженца реформы. Его назначили в Сенат, а товарищем министра юстиции царь назначил псковского губернатора графа К.И. Палена, откровенно сказав при этом Замятнину, чтобы тот готовил графа в министры.

Масла в огонь подлило и некое происшествие в начале 1867 года, которое, кстати, весьма ярко характеризует Дмитрия Николаевича Замятина как гражданина. Императору доложили об участии кассационного сенатора М.Н. Любощинского в заседании петербургского земства. На нем «под предлогом вопроса о жалобе Сенату на министра внутренних дел по поводу оставления им без последствий двенадцати из двадцати шести ходатайств земств, собственно, обсуждалось оставление без последствий ходатайства земства, постановленного в предшествовавшую сессию, о созыве центрального земского собрания». Император гневно потребовал у Замятина увольнения Любощинского. Замятин не послушался. Он заявил, что по новым судебным учреждениям члены судов пользуются правом несменяемости. «Но не для меня», — сорвался на крик Александр II. Вскоре был подготовлен указ об увольнении сенатора, но царь одумался, и бумага осталась неподписанной.

В марте 1867 года Д.Н. Замятин подал свой первый и последний всеподданнейший годовой отчет о введении судебной реформы, а затем доложил монарху о том, что граф Пален готов занять пост министра юстиции. Последний циркуляр, изданный министром Замятиным, рекомендовал прокурорам вставать перед судом.

Однако, сняв Замятина с должности, с назначением К.И. Палена решили повременить, и министром на полгода стал С.Н. Урусов. 16 апреля 1867 года император «отменно милостиво отпустил» Дмитрия Николаевича, оставив его членом Государственного совета и пожаловав орденом Святого Александра Невского с алмазами.

В истории российской юстиции с именем Замятина связано введение новых судов. И оставшись в Государственном совете, бывший министр непоколебимо стоял за реформу. Он ушел с министерского поста с горечью, но без колебаний и остался верен делу, которому служил.

Всю свою жизнь Замятин живо интересовался развитием нового суда и радовался успехам лучших судебных деятелей. Все, кто его знал, платили ему тем же. Когда отмечалось пятидесятилетие его службы, Д.Н. Замятин «как знаменосец судебной реформы» имел великое утешение видеть преданность ему всех судебных деятелей. Отовсюду шли поздравительные телеграммы и адреса. Судебные деятели понимали, что во многом именно ему они обязаны тем, что новые судебные учреждения с самого начала пустили прочные корни. 1 января 1877 года Замятнину был

пожалован орден Владимира 1-й степени. В 1881 году он получил председательствование в Департаменте гражданских и духовных дел.

В частной жизни Дмитрий Николаевич был отличным семьянином, большой хлебосол и приятный собеседник. «Высокий, прямой, с красивой седою головою, гордою походкой и ясною речью, он до конца сохранял свежесть духа и бодрость тела». Был большим любителем ходить пешком и, несмотря на свои семьдесят четыре года, делал ежедневно по три-пять верст. И при этом вел предельно скромную жизнь.

В день лицейской годовщины, 19 октября 1881 года, он утром пришел на свою квартиру пешком с Васильевского острова, где с 1858 года безвозмездно управлял хозяйственной частью двух институтов — Патриотического и Елизаветинского. Почувствовал себя очень усталым, но поехал на товарищескую встречу. После обеда он присел на диван, закурив сигару. Все думали, что он дремлет, но, когда подошли к нему, обнаружили, что сердце «лицеиста до гроба» перестало биться...

Похоронен Д.Н. Замятнин на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
МИЛЮТИН

«Предпочитаю
быть кредитором,
чем должником...»

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912) оставил яркий след в истории России. В молодые годы он блестяще проявил себя как боевой офицер и военный историк, в тридцать восемь лет получил генеральский чин. После Крымской войны стал одним из наиболее видных представителей группировки либеральных бюрократов, возглавившей Великие реформы 1860–1870-х годов. Два десятилетия он занимал пост военного министра в правительстве Александра II и сыграл выдающуюся роль в преобразовании российской армии. В «либеральную весну» 1880–1881 годов Дмитрий Алексеевич выступил за возобновление политики реформ и подал в отставку после поворота правительства к консервативному курсу. На всех постах он демонстрировал широкую образованность, высокую компетентность и профессионализм, незыблемые нравственные устои и несомненный талант государственного деятеля. На склоне лет бывший министр написал воспоминания, которые по сей день остаются крупнейшим памятником той эпохи.

Милютин родился 28 июня 1816 года в Москве, в небогатой дворянской семье. Его отец, Алексей Михайлович, имел чин действительного статского советника, но на государственной службе себя не проявил, в основном жил в деревне, занимаясь делами имения. Мать, Елизавета Дмитриевна, доводилась сестрой графу П.Д. Киселеву, крупнейшему реформатору николаевского царствования, стороннику освобождения крестьян. На воспитание детей она оказала большое влияние. Семья Милютиных стала «кузницей» выдающихся людей. Младшие братья Дмитрия — Николай, знаменитый государственный деятель, возглавивший подготовку отмены крепостного права и земской реформы, и Владимир, известный экономист и писатель, профессор Петербургского университета.

В 1832-м Д.А. Милютин окончил Благородный пансион при Московском университете, в следующем году поступил на военную службу и получил первый офицерский чин прапорщика. Уже в годы учебы проявились его способности к научным исследованиям. Он начал писать статьи в различные научные и литературно-общественные издания. В 1833–1836 годах Дмитрий Алексеевич сотрудничал в «Энциклопедическом лексиконе»

для которых написал свыше ста пятидесяти статей в разделы математики, механики, астрономии, геодезии, физики и военных наук. С 1835 по 1836 год он учился в Императорской военной академии; окончив ее с малой серебряной медалью, был направлен в Гвардейский корпус, а через год переведен в Гвардейский генеральный штаб. В 1839–1840 годах Милютин служил на Кавказе и участвовал в боевых действиях против горцев. За отличие получил очередной чин капитана и в дальнейшем успешно продвигался по службе.

В 1840–1841 годах Дмитрий Алексеевич совершил продолжительное путешествие за границу, побывал в Германии, Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Голландии, Швейцарии и некоторых других европейских странах. В Европе он почувствовал всю глубину контраста между Западом и Россией. «На каждом шагу бросается в глаза что-нибудь, возбуждавшее во мне грустные сравнения с родиной. С первого шага на германскую почву понял я, насколько наша бедная Россия еще отстала от Западной Европы», — записано в путевом дневнике 1840 года. С интересом изучая государственные институты Запада, Милютин признавал, что парламентская форма правления во многом способствовала превращению Англии в страну передовой культуры. При посещении палат депутатов и пэров в Париже его поразили речи знаменитых ораторов (Ф. Гизо, А. Ламартина, А. Тьера и др.) и содержание обсуждаемых законопроектов. Присутствие на заседаниях французских судебных учреждений убедило его в полном превосходстве гласного суда над российским закрытым судопроизводством. Впечатления о европейском правопорядке, уровне промышленного производства, организации и вооружении армий сыграли значительную роль в формировании мировоззрения Милютина, дали импульс его размышлениям о необходимости коренных преобразований в России. Однако он считал, что следует с осторожностью относиться к прямому заимствованию западных моделей и всякий раз учитывать особенности каждой страны.

В 1843 году Дмитрий Алексеевич получил должность обер-квартирмейстера войск Кавказской линии и Черномории, вновь участвовал в войне против горцев. В 1845-м вернулся в Петербург и занял должность профессора Императорской военной академии по кафедре военной географии (с 1847 года — военной статистики). Милютин, ставший основоположником этой науки в России, издал двухтомник «Первые опыты военной статистики» (СПб., 1847–1848). Под его руководством проводилось широкомасштабное военно-статистическое описание губерний Российской империи, результаты которого составили семнадцать томов (1848–1858).

Одновременно Милютин увлекся военной историей. В 1848 году Николай I поручил ему продолжить едва начатое исследование умершего историка А.И. Михайловского-Данилевского об итальянском походе А.В. Суворова. В 1852–1853 годах вышел в свет фундаментальный пятитомный труд «История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I». В научных кругах труд сразу признали классическим.

В 1853 году его автор был избран членом-корреспондентом Императорской академии наук. Спустя несколько лет книгу перевели на немецкий язык. В 1866-м Петербургский университет присвоил Милютину степень доктора русской истории.

В годы преподавания и научных занятий Дмитрий Алексеевич близко сошелся со многими образованными и просвещенными людьми петербургского общества. Он регулярно посещал брата Николая, служившего в Министерстве внутренних дел и уже известного своими реформаторскими замыслами. В его доме собирался кружок друзей, который стал одним из центров формирования либеральной идеологии. В него входили чиновники разных ведомств: И.П. Арапетов, К.К. Грот, А.П. Заблоцкий-Десятовский, К.Д. Кавелин; экономисты В.П. Безобразов, К.С. Веселовский и Г.П. Небольсин; профессор энциклопедического права П.Г. Редкин и другие представители столичной интеллигенции. Это сообщество современники называли «партией петербургского прогресса».

Большинство участников кружка входили в недавно учрежденное Русское географическое общество, которое превратилось в крупнейший научный и культурный центр страны. Милютин вступил в члены общества в 1846 году. Председателем РГО был великий князь Константин Николаевич, второй сын Николая I. Программа общества далеко выходила за рамки чисто географических исследований. На заседаниях рассматривались актуальные вопросы современности, обсуждались проблемы социальных отношений и экономического развития России. Здесь будущие реформаторы приобретали научные и практические знания, навыки общественно-политической деятельности. В РГО сложилась группа единомышленников, выступившая на историческую сцену в эпоху Великих реформ. Либерально мыслящие бюрократы и общественные деятели встречали радушный прием в салоне великой княгини Елены Павловны и в Мраморном дворце великого князя Константина Николаевича, которые покровительствовали реформаторскому движению.

Летом 1853 года, накануне войны с Турцией, военный министр князь В.А. Долгоруков привлек Милютина к работе в своем ведомстве. В сентябре он в составе Военно-походной канцелярии императора сопровождал Николая I в заграничном путешествии в Ольмюц и Потсдам. В апреле 1854-го был произведен в генерал-майоры, а через год — зачислен в свиту его императорского величества. В годы Крымской войны Дмитрий Алексеевич не участвовал в боевых действиях. Его работа протекала в совещательных учреждениях, занимавшихся разработкой мероприятий по укреплению обороноспособности империи. С октября 1854 года Милютин был делопроизводителем Особого комитета о мерах защиты берегов Балтийского моря, образованного под председательством цесаревича Александра Николаевича. Он познакомился с будущим императором, при котором пройдут наиболее плодотворные годы его государственной деятельности.

Поражение России в Крымской войне окончательно убедило Милютина в несовершенстве государственного механизма и военной системы

империи. В обстановке начавшейся «оттепели» и пробуждения общественной активности он решил довести свои соображения до высшего начальства. В феврале 1856 года Милютин вошел в состав Комиссии для улучшений по военной части во главе с генералом Ф.В. Редигером. И уже через месяц представил записку «Мысли о невыгодах существующей в России военной системы и о средствах к устранению оных». Автор предлагал провести коренную военную реформу и отказаться от рекрутской повинности, неразрывно связанной с крепостным правом — главным препятствием на пути реорганизации армии.

Однако эти идеи не встретили поддержки в верхах. Более того, назначенный в апреле 1856 года новый военный министр Н.О. Сухозанет отказался утвердить Милютина в должности директора канцелярии, как это предполагалось ранее. В конце мая он подал в отставку, решив посвятить себя научным занятиям. Однако размышлять о предстоящих реформах не перестал. Вскоре Дмитрий Алексеевич составил записку о необходимости освобождения крестьян и представил ее великому князю Константину Николаевичу. В этом документе вновь подчеркивалась связь отсталости военной системы с крепостным правом. Ссылаясь на примеры Австрии и Пруссии, автор записки выступил за освобождение крестьян с выкупом земельных наделов в собственность. Эти предложения были созвучны рекомендациям других записок по крестьянскому вопросу, подготовленным в петербургском кружке К.Д. Кавелиным и Н.А. Милютиным.

Дмитрий Алексеевич недолго оставался не у дел. Он согласился на предложение кавказского наместника князя А.И. Барятинского (с 1859-го — генерал-фельдмаршала) и в октябре 1856 года стал исполняющим должность начальника Главного штаба Кавказской армии (утвержден в должности в декабре 1857-го). На Кавказе удалось реализовать многие идеи записки, составленной для комиссии Ф.В. Редигера. Милютин провел реорганизацию управления войсками и военными учреждениями края, что стало «репетицией» его будущих реформ. При непосредственном участии Дмитрия Алексеевича был разработан план окончательного покорения горцев Чечни и Дагестана. В 1858 году он получил чин генерал-лейтенанта, а в августе следующего года стал генерал-адъютантом. Неоднократно участвовал в рекогносцировках и перестрелках с горцами, а в августе 1859-го присутствовал при штурме укрепленного аула Гуниб и пленении имама Шамиля.

В разгар блестящих успехов на Кавказе Дмитрий Алексеевич получил Высочайший указ от 30 августа 1860 года, в котором ему повелевалось возвратиться в Петербург и занять пост товарища военного министра. Это назначение состоялось по рекомендации А.И. Барятинского и вопреки желанию Н.О. Сухозанета. Поэтому на первых порах положение Милютина было сложным. Военный министр, не допуская нового помощника к важным делам, обрек его тем самым на роль пассивного наблюдателя рутины и застоя, в котором пребывало ведомство. Весной 1861 года в знак протеста Дмитрий Алексеевич подал рапорт о предоставлении ему

«Предпочитаю
быть креди-
тором, чем
должником...»

длительного отпуска. Но в мае того же года Сухозанета назначили исполняющим должность наместника Царства Польского, а Милютин вступил в управление Военным министерством и в ноябре был утвержден в должности министра.

С этого момента в деятельности военного ведомства произошел резкий перелом, во всех его структурах закипела работа. Новый министр приступил к реорганизации вооруженных сил, которую рассматривал как составную часть общего реформаторского процесса. Энергичный, исключительно трудоспособный, полный новых замыслов, он являл собой полный контраст со своим предшественником. Общая программа преобразований была подготовлена в двухмесячный срок и 15 января 1862 года представлена Александру II в форме всеподданнейшего доклада. Высочайшая резолюция гласила: «Все изложенное в этой записке совершенно согласно с моими давнишними желаниями и видами». Отныне положения доклада стали официальной программой действий Военного министерства.

Свою главную цель Милютин видел в создании массовой армии европейского типа. Это означало сокращение непомерно высокой численности войск в мирное время (более миллиона человек) и способность к быстрой мобилизации в случае войны. Эффективность существовавшей в России рекрутской системы была очень низкой и несопоставимой с организацией вооруженных сил в европейских странах, где армия обходилась гораздо дешевле и в то же время обладала достаточной боеспособностью. В докладе министра ставились задачи реорганизации центрального военного управления и создания местных территориальных органов в виде военных округов; усовершенствования подготовки войск; преобразования системы военного образования; перевооружения армии и др.

Военные реформы проводилось поэтапно в течение целого десятилетия. По «Положению» 1864 года территория России была разделена на пятнадцать военных округов. Управления округа (артиллерийское, инженерное, интендантское, военно-медицинское) имели двойное подчинение — командующему войсками и соответствующим главным управлениям Военного министерства. По инициативе Милютина старое деление войск на корпуса упразднили, и высшей тактической единицей стала дивизия, однако через несколько лет корпуса восстановили. Военно-окружная реформа обеспечила оперативное руководство войсками в целях их быстрой мобилизации. В итоге реформы 1867 года была создана стройная система центрального военного управления, упразднены дублирующие структуры, аппарат министерства сократился почти на тысячу человек, вдвое уменьшилась канцелярская переписка. В 1868 году император утвердил «Положение о полевом управлении войск в военное время», которое уточняло функции главнокомандующего и его штаба, координацию их действий с окружными управлениями. Однако это нововведение страдало серьезными недостатками и на практике привело к излишней бюрократизации военного управления. «Положение» 1868 года считается специалистами наименее удачной реформой Милютина.

Приоритетное внимание министерство уделяло подготовке офицерских кадров. В середине 1860-х годов была проведена реформа системы военного образования. Милютин считал раннюю военную специализацию вредной для формирования личности молодого человека. В кадетских корпусах традиции лихого удалства и корпоративный дух сочетались с рутинностью преподавания, профессиональной некомпетентностью и солдафонством. Министр упразднил кадетские корпуса и учредил военные гимназии — средние учебные заведения с программой близкой к курсу реальной гимназии. Таким образом предполагалось повысить общеобразовательный уровень будущих офицеров. Кроме того, на основе специальных классов бывших кадетских корпусов создавались военные училища, куда принимались лица, получившие среднее образование. В итоге значительно повысилось качество преподавания в военных гимназиях, улучшился контингент поступающих в военные училища. Офицерский корпус ежегодно стал пополняться более образованными и квалифицированными кадрами в количестве 600 человек. В ходе перестройки были созданы также юнкерские военные училища с двухгодичным сроком обучения. Для поступления в них требовались знания в объеме четырех классов среднего учебного заведения. Юнкерские училища ежегодно выпускали около полутора тысяч офицеров. Министерство проявляло заботу и о высшем военном образовании: в соответствии с новыми научными достижениями систематически пересматривались программы и учебные планы академий. Помимо уже существовавших трех академий (Генерального штаба, Артиллерийской и Инженерной), открылась Военно-юридическая академия.

Большая работа проводилась и с рядовым составом. Милютин, приверженный гуманистическим ценностям, действовал в соответствии с духом времени, апеллируя к личности солдата. Он стремился освободить низшие чины от изнурительной муштры, повысить уровень их обучения. В войсках была усовершенствована боевая, строевая и физическая подготовка, многое было сделано для распространения грамотности, регулярно стали выходить специальные издания «Солдатские беседы» и «Чтение для солдат», были организованы полковые и ротные библиотеки. Министерство значительно улучшило систему армейского здравоохранения, развернуло строительство казарм, увеличило размеры провиантского и фуражного довольствия, ввело более удобное обмундирование. Одновременно с принятием закона об отмене телесных наказаний 17 апреля 1863 года Милютину удалось добиться упразднения наиболее жестоких видов наказаний, применявшихся в армии (таких, как кошки, шпицрутены, плети, клеймение). Либеральная судебная реформа 1864 года позволила военному ведомству принять в 1867-м новый военно-судный устав, основанный на началах гласности и состязательности.

Венцом реформ стал Устав о воинской повинности от 1 января 1874 года. Теперь повинность должны были отбывать лица мужского пола всех сословий по достижении 21 года. Срок действительной военной службы

«Предпочитаю
быть креди-
тором, чем
должником...»

ограничивался шестью годами для сухопутных войск и семью — для флота. Устав предоставлял населению ряд льгот по семейному положению: для единственного сына; для старшего сына при наличии братьев моложе 18 лет; для лица, непосредственно следующего по возрасту за братом, находящимся на военной службе. Устанавливались льготы и по образованию: срок действительной военной службы для лиц с высшим образованием составлял шесть месяцев, для окончивших гимназии — полтора года, прогимназии и городские училища — три года, для получивших начальное образование — четыре года. Введение всеобщей воинской повинности уничтожило одну из основных привилегий дворянства. Правда, реформа не была достаточно последовательной: устранялась от службы в армии значительная часть «инородческого» населения, освобождались от призыва лица духовного звания, допускались многочисленные отступления от закона в пользу представителей «высших» классов. И все же Устав обеспечил условия для создания обученных резервов и формирования в России массовой армии.

Милютин делал все возможное для перевооружения, строительства стратегических железных дорог и развития отечественной военной промышленности в целях сокращения зависимости от закупок за границей. При нем начался переход от гладкоствольных ружей и пушек к штуцерам и нарезным орудиям, заряжающимся с казенной части. В пореформенные десятилетия были построены новые военные предприятия, переоборудованы старые пороховые, ружейные и орудийные заводы, артиллерийские арсеналы. В 1869 году в Петербурге вступил в строй первый в России патронный завод. Однако низкие производственные мощности отсталой страны затрудняли техническую модернизацию вооруженных сил.

Нехватка средств очень тормозила реформы. На этой почве у Милютина обострились отношения с министром финансов М.Х. Рейтерном, который отказывался удовлетворять запросы военного ведомства. Этим государственных деятелей многое сближало: оба были выдвинутыми великого князя Константина Николаевича, формировались в одной идейной среде, принадлежали к когорте либеральных бюрократов, имели во многом общие представления о путях развития страны. Но в отстаивании интересов своих ведомств оказались непримиримы. Александру II не раз приходилось выступать в роли арбитра между двумя министрами. Впрочем, у Милютина не было особых оснований для жалоб на жесткую позицию финансового ведомства. В 1865–1875 годах ежегодные расходы на армию составляли треть государственного бюджета. При скудости казны дальнейшее увеличение ассигнований было просто невозможно.

Несмотря на исключительную занятость, Милютин не ограничивал свою деятельность военным делом. Он оказывал всемерную поддержку либеральным реформам, последовавшим за отменой крепостного права; отстаивал в верхах основные принципы преобразований: всеословность, гласность, равенство всех граждан перед законом. Для этого деятеля были характерны умеренность либеральных взглядов и взвешенность полити-

ческих оценок. Он надеялся, что России удастся избежать как крайностей деспотизма, так и революционного экстремизма. Интересы государства он ставил выше сословных интересов дворянства, призывал «проститься навсегда с правами одной касты над другой» и отменить «отжившие привилегии», которые мешают развитию страны и укреплению государственной власти.

Дмитрий Алексеевич всячески содействовал своему другу, министру народного просвещения А.В. Головнину в реформировании системы образования, защищал основные начала земской реформы, разработанные его братом Николаем еще накануне освобождения крестьян, выступал за расширение компетенции и самостоятельности местного самоуправления. При обсуждении закона о печати 1865 года Милютин конфликтовал с министром внутренних дел П.А. Валуевым, считая жесткое ограничение свободы слова препятствием для развития гласности. Он отводил печати важную роль в обновлении России. Благодаря его усилиям газета «Русский инвалид» (с 1862 года — официальный орган Военного министерства) превратилась в авторитетное общественно-политическое издание, на страницах которого обсуждались не только специальные военные вопросы, но и актуальные проблемы российской жизни. Министр уделял газете много внимания, лично следил за подготовкой каждого номера.

Отстаивая реформаторский курс, Милютин, как и большинство либералов, продолжал верить в творческие силы монархии, в ее способность преобразовать Россию. Он был всецело предан Александру II, видел в нем Царя-освободителя и основной оплот происходящих в стране прогрессивных перемен. В одной из его записок середины 1860-х годов сказано: «реформа у нас может быть произведена только властью», так как в стране еще слишком сильны «брожение» и «разрозненность интересов». Поэтому «мысли о конституционных проектах должны быть отложены на многие лета». Дмитрий Алексеевич считал совершенно необходимыми для политической стабильности России «сильную власть и решительное преобладание русских элементов». Однако, в его понимании, подобная власть не исключала ни личной свободы граждан, ни общественного самоуправления, а приоритет русской нации не означал подавление других народностей. «Тот, кто хочет истинного блага России и русского народа, кто думает более о будущем их, чем о настоящих эгоистических интересах, тот должен отвергать решительно все, что может или колебать власть единую и нераздельную, или подстрекать и потворствовать сепаратизму некоторых частей».

Лозунгу о единой и неделимой России при господствующем положении «русского элемента» Милютин оставался верен всю жизнь. Он принадлежал к сторонникам активной имперской политики, направленной на внешнюю экспансию и расширение границ государства. Приверженность либеральным идеям вполне органично сочеталась в его мировоззрении с крайней жесткостью и даже нетерпимостью в проведении подобной политики. Милютин выступил за беспощадное подавление польского

«Предпочитаю
быть креди-
тором, чем
должником...»

восстания 1863–1864 годов, одобрил карательные меры генерал-губернатора М.Н. Муравьева («Вешателя») в Северо-Западном крае. Такой же линии он придерживался и по отношению к Остзейскому краю и Финляндии. Несмотря на возражения министра иностранных дел князя А.М. Горчакова, опасавшегося осложнений в отношениях с Великобританией, Милютин настаивал на завоевании Средней Азии. В 1867 году по его предложению туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками округа был назначен генерал К.П. Кауфман, который стал претворять в жизнь наступательные планы военного министра.

При осуществлении реформ Милютину приходилось преодолевать сопротивление мощной оппозиции в верхах. После покушения Д.В. Каракозова на Александра II в 1866 году во внутренней политике усилились консервативные тенденции. Ведущее положение в правительстве заняла группировка начальника III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии графа П.А. Шувалова. В нее входили также сменивший А.В. Головнина министр народного просвещения граф Д.А. Толстой, министр внутренних дел А.Е. Тимашев, министр юстиции граф К.И. Пален, председатель Комитета министров князь П.П. Гагарин и некоторые другие высшие сановники. Пересмотр либерального законодательства 1860-х годов сочетался в планах консерваторов с замыслом о введении в России конституции в олигархическом варианте. Поэтому ярко выраженный «антиконституционализм» Милютина тех лет во многом объяснялся тактическими соображениями — и его, и других либеральных бюрократов тревожили притязания аристократической верхушки на раздел власти с тронем.

Консервативная группировка начала против военного ведомства настоящую кампанию. Военного министра подозревали в скрытом либерализме, считали, что он, как и его брат Николай, стоит на радикальных позициях. Консерваторы встречали в штыки его выступления против дворянских привилегий. В 1868 году Шувалов и Тимашев обвинили «Русский инвалид» «во вредном направлении», докладывали Александру II, что газета «возбуждает неосуществимые надежды крестьян». В результате этой интриги Милютин потерял свое любимое детище. В следующем году «Русский инвалид», ставший официальным органом Генерального штаба, сосредоточился на публикации чисто военных материалов.

Острая борьба по вопросам народного просвещения разгорелась между Милютиным и Толстым — ярым сторонником классического образования. В Государственном совете военный министр неизменно вступал со своим оппонентом в жаркие споры. Он доказывал, что классическое образование, при всех его достоинствах, нельзя развивать за счет технических и естественно-научных дисциплин, что древние языки и знание античной культуры сами по себе не смогут отвлечь молодежь от революционных устремлений: «благодетельное или вредное влияние обучения зависит от приемов обучения, а не от сущности самой науки». При этом Дмитрий Алексеевич не ограничивался одними речами, а принимал деятельное участие в создании противовеса толстовскому «классицизму» — сети

реального образования, ориентированного на изучение прикладных наук, в которых крайне нуждались промышленность и реформируемая армия.

Немало противников у министра было и в военных кругах. Некоторые генералы с беспокойством восприняли многие нововведения, возмущались их социальной направленностью. С наиболее ожесточенными нападками на реформы, в частности на систему военных округов и нового полевого устава, выступил А.И. Барятинский, бывший начальник Милютин. Фельдмаршал предполагал, что русская армия будет перестроена по прусскому образцу, министр станет ведать административным управлением и снабжением, а сам он займет ключевой пост начальника штаба. Но Милютин ориентировался на пример Франции, где министр являлся единственным руководителем военного ведомства. Поэтому в 1868 году разочарованный Барятинский ушел в отставку. Вдохновляемый им известный военный публицист Р.А. Фадеев в серии статей резко раскритиковал мероприятия Военного министерства.

В какой-то момент показалось, что положение Милютина в верхах заметно пошатнулось. Однако молниеносный разгром Франции в войне с Пруссией в 1870 году заставил правительственные круги задуматься о состоянии армии и повышении ее боеспособности. Глава военного ведомства воспользовался этим, чтобы поставить вопрос о введении всеобщей воинской повинности. Шуваловская группировка резко выступила против этой инициативы, защищая привилегии дворянства. Борьба растянулась на несколько лет; Дмитрий Алексеевич проявил твердость и даже заявил о своей готовности уйти в отставку. Тем не менее эта конфронтация завершилась его победой: Александр II предпочел поддержать военного министра, внутренне сознавая его правоту.

Принятие в 1874 году закона о всеобщей воинской повинности совпало с падением всесильного начальника III отделения. Отныне Милютин стал самым влиятельным лицом в высших сферах власти. К нему постоянно обращались с просьбами о содействии, его мнение запрашивали при решении всех принципиально важных вопросов внутренней и внешней политики. Канцлер А.М. Горчаков из-за преклонного возраста потерял прежнюю активность, и роль военного министра в иностранных делах значительно возросла. С уходом П.А. Шувалова германофильская группировка в верхах частично утратила прежнее влияние. И все же Милютину, который всегда выступал противником этого направления, не удалось добиться пересмотра внешнеполитической ориентации. Династические связи между двумя императорскими семьями были слишком тесными. Поэтому военный министр с тревогой наблюдал за действиями канцлера О. фон Бисмарка, всячески демонстрировавшего сближение с Россией и стремившегося вторично разбить Францию, чтобы обеспечить Германии гегемонию в Европе.

Одновременно Милютин внимательно следил за развитием отношений России с Турцией. За два месяца до начала русско-турецкой кампании он представил Александру II записку, в которой, признавая пагубность войны

«Предпочитаю
быть креди-
тором, чем
должником...»

для России, указал на необходимость прямого военного вмешательства в события на Балканах. По его словам, восточный вопрос является «русским», что означает «исключительное право» России оказывать покровительство христианам, страдающим под турецким игом. Своей запиской Милютин рассчитывал в разгар балканского кризиса побудить императора к решительным действиям. Сторонники войны в окружении Александра II составляли большинство, однако были и противники. Министр финансов М.Х. Рейтерн выступил против столкновения с Турцией, грозившего России расстройством государственных финансов и экономическими потрясениями. Однако император пренебрег интересами народного хозяйства. После долгих колебаний он уступил давлению общественного мнения и требованиям военной «партии» во главе с Милютиным.

Война 1877–1878 годов стала проверкой эффективности военных реформ. Первая в истории России мобилизация была проведена достаточно оперативно. Войска успешно форсировали Дунай и вступили на болгарскую землю. Но последующие действия складывались для русской армии неудачно. Главная причина заключалась в некомпетентности и бездарности Верховного командования. Назначение на высшие военные посты оставалось прерогативой императора. Порочность этой практики проявилась и в русско-турецкую кампанию. В ней участвовали двенадцать великих князей, каждый из которых отнюдь не блистал полководческими дарованиями. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и его окружение открыто враждовали с Милютиным, не желая прислушиваться к его рекомендациям. Они отвергли план стремительного наступления на Константинополь через центральные районы Болгарии в обход турецких крепостей, выработанный начальником Главного штаба Н.Н. Обручевым. Великий князь предпочел рассредоточить войска для решения второстепенных задач. В итоге армия оказалась в «котле» между четырехугольником турецких крепостей на востоке, Плевной — на западе и Балканами — на юге.

Однако и Милютин несет свою долю ответственности за неудачи и огромные человеческие жертвы. Его реформы в целом не привели к пересмотру устаревшей тактики, доказавшей свою полную несостоятельность еще в Крымскую войну. В армии продолжали исповедовать суворовский принцип «пуля — дура, штык — молодец». Приверженцем этой национальной традиции был и сам Дмитрий Алексеевич. Войска шли в атаку густыми ротными колоннами и не открывали огня, пока не приближались к противнику на несколько сотен шагов, а иногда и вообще не стреляли. Знаменитый генерал М.Д. Скобелев вел полки на турецкие позиции плотными массами, с развевающимися знаменами и под бодрые звуки оркестра. Это приводило к колоссальным потерям. Лишь постепенно офицеры и солдаты усваивали необходимость атаковать в стрелковых цепях, учились рассредоточиваться, окапываться и укрываться.

Успешному ходу войны не способствовали также личное присутствие Александра II на театре боевых действий и его постоянное вмешатель-

ство в управление войсками. При самодержце военный министр лишился реальных полномочий. Тем не менее, когда после третьего неудачного штурма Плевны император и командование склонялись к отводу армии за Дунай на зимние квартиры, именно Милютин настоял на проведении четвертого штурма, который привел к падению крепости. В конце ноября 1877 года, вручая военному министру орден Св. Георгия 2-й степени, Александр II сказал ему с благодарностью: «Я не забыл этой заслуги твоей; тебе мы обязаны нынешним нашим успехом». В августе 1878 года Дмитрий Алексеевич был возведен в графское достоинство.

В послевоенные годы влияние Милютина в верхах еще более усилилось. С уходом А.М. Горчакова в длительный отпуск он стал фактически направлять внешнюю политику государства. Его международный авторитет необычайно возрос. В дипломатической переписке он фигурирует как один из тех, в чьих руках «покоится европейский мир». Бисмарк в письме к баварскому королю Людвигу II прямо утверждал, что «руководящим министром, насколько таковой имеется ныне в России, стал военный министр Милютин». Дмитрий Алексеевич оказался дальновиднее многих видных сановников и самого Александра II, своевременно осознав опасность для России роста экономического потенциала и военной мощи Германии. Позиция министра вызывала тревогу у Бисмарка и других правителей соседней империи, которые видели в нем противника проводимой ими европейской политики.

Дмитрия Алексеевича занимали также вопросы внутреннего положения в стране. Его настораживали рост революционного движения и склонность радикально настроенной молодежи к терроризму. Осенью 1879 года он составил записку «Мысли о необходимых преобразованиях в управлении, в учебной части и духовенстве». В ней предлагалось реформировать Государственный совет: ввести в его состав выборных представителей от земств в равном количестве с членами по назначению; по замыслу автора это стало бы логическим продолжением земской реформы. Рекомендовалось также укрепить центральную исполнительную власть — создать Совет министров, т.е. единое правительство, которое будет вырабатывать общую программу, проводить согласованную политику и нести за нее коллективную ответственность.

В феврале 1880 года, в обстановке общественного брожения и череды покушений со стороны террористов, Александр II призвал на пост председателя вновь учрежденной Верховной распорядительной комиссии генерала М.Т. Лорис-Меликова и наделил его чрезвычайными полномочиями. После упразднения комиссии в августе этого же года Лорис-Меликов стал министром внутренних дел. «Диктатор» сделал ставку на возобновление политики реформ и союз с лояльными монархии общественными силами. Милютин, с его авторитетом, стал для него незаменимым союзником. В коалицию либеральных бюрократов вошел также председатель Департамента государственной экономии Государственного совета А.А. Абаза, занявший в октябре 1880 года пост министра финансов. «Триумвиров»

«Предпочитаю
быть креди-
тором, чем
должником...»

поддерживал председатель Государственного совета великий князь Константин Николаевич. Либеральные министры выдвинули программу, которая предусматривала: меры по преодолению крестьянского малоземелья, реформирование налоговой системы, пересмотр паспортного устава, урегулирование взаимоотношений наемных рабочих и предпринимателей, дарование прав раскольникам, преобразование губернских административных учреждений, смягчение цензуры и др.

Для создания механизма разработки и обсуждения намеченных реформ был подготовлен проект образования двух временных подготовительных комиссий (административно-хозяйственной и финансовой). Они состояли из назначенных чиновников разных ведомств и «сведущих лиц» из числа специалистов-практиков, находящихся на государственной и частной службе. Для рассмотрения законопроектов, подготовленных в этих комиссиях, предполагалось создать общую комиссию, включающую членов подготовительных комиссий и выборных представителей земских и городских учреждений. Одобренные комиссией законопроекты должны были передаваться для окончательного обсуждения в Государственный совет. Все эти комиссии носили чисто совещательный характер и не обладали правом законодательной инициативы. Проект получил название «конституции» Лорис-Меликова. Несмотря на крайнюю ограниченность декларированного в нем «народного представительства», реализация подобной инициативы могла стать принципиальным шагом на пути преобразования государственной системы.

Проект был одобрен в Особом совещании, это решение 17 февраля 1881 года утвердил Александр II. Он назначил на 4 марта заседание Совета министров, чтобы заслушать доклад Лорис-Меликова и обсудить текст правительственного сообщения о созыве подготовительных комиссий. Однако убийство императора 1 марта в корне изменило ситуацию в стране. Новый самодержец, испытавший шок от гибели отца, не был склонен идти на уступки обществу. Фактически судьба «конституции» решилась на заседании Совета министров 8 марта. Большинство присутствующих выступили за утверждение проекта. Милютин заявил, что «почти все прежние реформы разрабатывались также с участием представителей местных интересов» и что «оставить это ожидание неудовлетворенным гораздо опаснее, чем предложенный призыв к совету земских людей». Однако Александра III гораздо больше впечатлило отрицательное мнение меньшинства. Самой непримиримой была речь обер-прокурора Святейшего синода К.П. Победоносцева, назвавшего Великие реформы «преступной ошибкой». В итоге император распорядился еще раз обсудить проект.

Милютина переполняли самые мрачные предчувствия относительно будущего России. «Реакция под маской народности и православия — это верный путь к гибели для государства», — записал он в дневнике в те мартовские дни. И все же некоторое время еще оставалась надежда на благоприятный исход дела. Однако манифест 29 апреля 1881 года о незыблемости самодержавия означал крах замыслов либеральных мини-

стров. В начале мая Лорис-Меликов и Абаза подали в отставку; 22 мая за ними последовал Милютин. Но и после ухода из Военного министерства он продолжал пользоваться в верхах и обществе большим авторитетом. Дмитрий Алексеевич остался членом Государственного совета и сохранил звание генерал-адъютанта. Накануне отставки ему пожаловали украшенные алмазами портреты Александра II и Александра III.

В дальнейшем Милютин почти безвыездно жил в своем имении Симеиз на Южном берегу Крыма; писал мемуары и приводил в порядок свой архив. Правительство не забывало о его заслугах. В мае 1883 года его пригласили в Москву для участия в коронации Александра III. В августе 1898-го, когда Дмитрий Алексеевич приехал в Москву на открытие памятника Александру II, он был произведен в генерал-фельдмаршалы. Он — последний военный императорской России, получивший это звание. 11 апреля 1904 года, в день пятидесятилетия состояния в генеральских чинах, ему были пожалованы украшенные алмазами портреты Николая I и Николая II. Скончался Милютин 25 января 1912 года, на три дня пережив свою жену Наталью Михайловну, с которой прожил почти семьдесят лет.

Дмитрий Алексеевич сделал все возможное, чтобы в эпоху Великих реформ использовать появившийся у России исторический шанс для назревшей глобальной перестройки. В этом стремлении он видел свой высший гражданский долг. Как государственный деятель не поддавался растлевающему соблазну власти, был честен и бескорыстен. «На пути своем служебном никогда я не гонялся за наградами, никогда не придавал им значения. Предпочитаю быть кредитором, чем должником», — так выразил однажды Милютин свое жизненное кредо. Даже противники военного министра признавали его высокие деловые и моральные качества. «Дай Бог, чтобы в России было поболее Милютиных», — заявил генерал В.Д. Кренке, не раз критиковавший его нововведения. А один из высших чиновников Министерства внутренних дел Е.М. Феоктистов, отнюдь не однозначно относившийся к Дмитрию Алексеевичу, признал, что «ни в ком не заискивая и никому не угождая, он пролагал себе дорогу лишь своими заслугами».

«Правительству, и только
ему одному, принадлежит
всякий почин в каких бы
то ни было реформах
на благо страны...»

История российской государственности предреволюционного века сохранила не так уж много имен, ставших по-настоящему знаковыми для современников и потомков; имен, олицетворявших собой целую программу политического и социального развития страны. Сейчас, благодаря отечественным и зарубежным исследованиям последних десятилетий, в первую очередь работам Б. Линкольна, Ф. Старра, Д. Филда и Л. Захаровой, появление имени Николая Алексеевича Милютина (1818–1872) в ряду государственных деятелей масштаба Сперанского, Витте или Столыпина уже никого не удивит. А между тем в начале XX века о нем мало кто помнил (одна из немногочисленных его биографий того времени называлась «Забывтый государственный человек»), его роль в реализации крупнейшего реформаторского проекта Нового времени — так называемых Великих реформ Александра II — оставалась неясной, а смысл программы, которую отстаивали он и его единомышленники, интерпретировался порой диаметрально противоположно.

В достижениях и неудачах каждого государственного деятеля отражается его собственная историческая эпоха, в судьбе лишь немногих — еще и будущее. В не слишком богатой событиями, но полной внутреннего напряжения и парадоксов жизни Н.А. Милютина несложно различить мотивы, многие десятилетия звучавшие потом (порой — оглушительно громко) в жизни Российского государства.

Николай Алексеевич родился 6 июня 1818 года в Москве. Дворянский род Милютиных не отличался ни древностью, ни большими заслугами перед отечеством. Еще в 1803 году на двадцатитрехлетнего отца Николая, Алексея Михайловича, не успевшего толком начать самостоятельную жизнь, обрушилось тяжкое бремя — наследство, которое принесло с собой не благосостояние, а колоссальные долги. Ему пришлось прикладывать огромные и безнадежные усилия для поддержания доброго имени, чести и социального статуса семьи (в конце концов, после многих лет борьбы он все-таки обанкротился). Так что жизнь Николая, его братьев и сестер началась в обстановке, когда приходилось считать каждый

рубль; думая о своем будущем, они могли надеяться исключительно на собственные силы. Правда, мать, урожденная Киселева, связала Милютиных с весьма влиятельным в обеих столицах дворянским родом. (Один из его представителей, Павел Дмитриевич, пользовался расположением Александра I, а позже стал одним из любимцев Николая I и крупнейшим государственным деятелем его царствования.) Но родственники Елизаветы Дмитриевны не без основания считали ее брак мезальянсом и, хотя не раз выручали Милютиных в трудные минуты, все же подчеркнуто выдерживали дистанцию.

Семья много времени проводила и в родовом доме в Москве (в сохранившем свое название до наших дней Милютинском переулке), и в подмосковном имении. Однако Николай (как и самый, пожалуй, близкий ему человек — старший брат Дмитрий) не испытывал позже никакой ностальгии ни по помещному быту с его стабильностью, патриархальной расслабленностью и чувством социальной защищенности, ни по жившей на широкую ногу аристократической Москве. Вплоть до 1869 года, когда уже смертельно больному Н.А. Милютину был пожалован за заслуги майорат в Царстве Польском, у него не имелось никакой земельной собственности — факт нередкий в среде петербургской бюрократической элиты, но тоже сыгравший определенную роль в формировании симпатий и пристрастий государственного деятеля.

Парадоксально, но будущий ярчайший представитель так называемой просвещенной бюрократии получил весьма поверхностное образование. Сначала оно было домашним (уже в восемь лет Николай вместе с десятилетним Дмитрием читали одно из самых популярных литературных произведений того времени — «Историю» Карамзина), затем продолжилось в московской гимназии, а завершилось в Благородном пансионе при Московском университете. Уровень гимназического образования в первой половине XIX века был очень низким, а социальный состав учащихся не отличался блеском. Да и Благородный пансион — вроде бы элитарное заведение — давал лишь некий эрзац знаний. К тому же порывистый и горячий Николай, в отличие от аккуратного Дмитрия, не мог похвастаться ни усидчивостью, ни аккуратностью в учебе. «Натуры их были совершенно различные, — вспоминал много позже близко знавший обоих братьев мемуарист. — Николай Милютин был весь огонь, страсть, увлечение; с неудержимым пылом высказывал он все, что накопилось у него в душе, это нередко коробило Дмитрия Алексеевича». Николая увлекали литература и театр, романтические внутренние переживания, ждала же — карьера чиновника...

В 1835 году семнадцатилетний юноша отправляется в Петербург устраиваться на службу. Благодаря протекции могущественного дяди он получает место помощника столоначальника в Хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел. Функции этого ведомства в тогдашней Российской империи были необычайно широки и многообразны, атмосфера в нем царил по-настоящему мертвящая. На низших уровнях бюро-

кратической иерархии, куда, собственно, и попал Милютин, человек его психологического склада должен был просто задыхаться от отсутствия живого дела. При этом крайняя ограниченность средств и скромное происхождение не позволяли ему окунуться в светскую жизнь, которая облегчала многим молодым людям прохождение начальных этапов служебной карьеры. Неудивительно, что Николай находился, по собственным словам, «в меланхолическом и самом раздраженном состоянии». «Читаешь подъяческие создания, распутываешь мошеннические увертки, борешься с безграмотностью, злонамеренностью, глупостью — и вот встаешь со стула, истратив последние силы ума, убив последнюю живость свою...» — так описывал он свои впечатления брату Дмитрию.

Вдохнуть живой воздух получалось, лишь вырвавшись из «тлетворной петербургской атмосферы». К счастью для Милютина, он попал в департамент, отвечавший за состояние «местного хозяйства» — т.е. за разнообразную, хотя и не слишком увлекательную тогда жизнь российской провинции. По справедливому наблюдению современного американского биографа Милютина и известного специалиста по николаевской бюрократии Брюса Линкольна, сделать успешную карьеру в той системе можно было, лишь став признанным и незаменимым для начальства «экспертом» в какой-либо сфере. Для Николая Алексеевича такой сферой стали статистика и знание условий местного, провинциального хозяйства.

Дело в том, что одна из фундаментальных проблем тогдашней администрации — отсутствие сколько-нибудь надежной информации с мест. Государство, претендовавшее на то, чтобы направлять и регулировать все стороны жизни страны, и казавшееся современникам всемогущим, на деле было полуслепым, а потому в значительной степени бессильным. Между столичными канцеляриями и местными органами власти (особенно на уездном уровне) простиралась глубокая пропасть. Мелочный контроль и регламентация во многом рождались из обоснованного недоверия центральных учреждений к своим местным агентствам. Однако всякая попытка усилить контроль вела лишь к его формализации и заполнению скудных каналов коммуникации тоннами бумаги. Реально следить за ходом дел центральная власть была не в состоянии; *de facto* она была вынуждена навязывать исполнение своих задач многочисленным местным органам, в том числе и выборно-сословного характера, которые воспринимали эти обязанности как тяжкую обузу. Да и государственная статистика находилась в младенческом состоянии, занимаясь рутинным описанием того, что удавалось увидеть чиновникам. Были случаи, когда правительство годами продолжало выделять средства на содержание давно упраздненных казенных заведений.

В конце 1830-х и в 1840-х годах Николай Милютин сравнительно много и плодотворно ездил по России, составляет многочисленные аналитические записки по вопросам народного продовольствия, казенных имуществ, организации городского хозяйства, железнодорожного строительства. Многому приходилось учиться с нуля. Едва ли уже тогда у Николая

Алексеевича сложился некий план всеобъемлющих преобразований. И по форме, и по существу его взгляды в это время не выходили за пределы камералистской доктрины «хорошо управляемого государства». В соответствии с ней именно правительственная власть, должным образом рационализированная и опирающаяся на профессиональную бюрократию и на знание собственных ресурсов и условий народного быта, является главной движущей силой развития страны. Именно правительству, стоящему над частными, порой эгоистическими интересами отдельных групп, принадлежит преимущественное право заботы об «общем благе». Такое представление в целом соответствовало как традиционной идеологии самодержавия со времен Петра I, так и европейским просвещенческим доктринам. Правда, в первой половине XIX века гораздо более влиятельной в Европе (за пределами германоязычного мира) была иная, либеральная экономическая концепция. В соответствии с принципом *laissez faire, laissez passer* она предполагала максимально возможное невмешательство государства в социальную и экономическую сферы, в жизнь подданных вообще.

Понятно, что для крепостнической России эта доктрина, у которой в Петербурге середины столетия появилось уже немало приверженцев, оставалась не более чем отвлеченной, умозрительной конструкцией. Проблема заключалась не только в том, что власть не позволяла обществу и экономике «саморегулироваться», но и в инфраструктурной отсталости экономики, в неготовности самого общества к самоорганизации и самодеятельности. Характерным примером может служить история с Нижегородской ярмаркой. В середине 1850-х годов под руководством Н.А. Милютина (тогда уже директора департамента) правительство разработало целый ряд мер по рационализации торговли на этой крупнейшей в империи «рыночной площадке». Здесь в порядке эксперимента организовали торговую биржу с маклерами, коммерческий банк для кредитных операций и т.п. Однако, посетив ярмарку в 1857 году, Милютин — уже зрелый, сложившийся государственный деятель — был глубоко разочарован. «То, что я видел в губерниях, поколебало много последних иллюзий, — сообщал он брату. — Я пожил на ярмарке, которую недаром называют всемирным торгом, где устанавливаются цены на целый год, где решаются экономические интересы чуть ли не целой России. И что же? Миллионные дела решаются точно так же, как мелкое барышничество... Все предано случаю, взаимному надуванию, кулачеству... отсюда отсутствие всякой гласности, всякой правильности, всех удобств, которые считаются первою потребностью рынка». Предложенные Милютиным улучшения оказались неостребованными, и он, вынужденный признать их непригодность, отозвал из Государственного совета уже подготовленный законопроект.

Воплощение другого, более раннего реформаторского проекта Милютина также имело далеко не однозначные послышки и итоги. В 1842 году Николаю Алексеевичу фактически поручили разработку новых оснований устройства управления городским хозяйством (пользуясь современными терминами — муниципальной реформы). Созданные еще Екатериной

«Правительству, и только ему одному, принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны...»

Великой учреждения (императрица считала, что городами должны управлять «городские» сословия — купцы, мещане и ремесленники) к этому времени в полной мере продемонстрировали свою мертворожденность. Предложения Милютина, реализованные после 1846 года (правда, не во всей империи, а лишь в Петербурге), были достаточно скромными. К участию в Городских думах (Общей и Распорядительной) допускались дворяне и почетные граждане, обладавшие в городе недвижимостью, повышался имущественный ценз, а значит, способность выборных реально участвовать в обсуждении дел. Примерно 6000 горожан выбирали из своего состава 600–700 гласных Общей думы и 12 депутатов — Распорядительной. При этом министерство и не думало доверять выборным всю полноту власти над городом: функции самоуправления в значительной степени оставались формальными, а само оно было поставлено под полный контроль правительства. Тем не менее заинтересованность выборных в городских делах серьезно выросла, а за Милютиным закрепилась совершенно не заслуженная им слава «красного». Бюрократов «старой школы» пугали само наличие многолюдного представительства и его «несовместимость с самодержавием», многих дворян оскорблял его чрезмерный, как им казалось, демократизм и при этом — «зависимость от бюрократии».

На самом же деле в основе реформы лежало желание улучшить качество управления и одновременно пробудить, расшевелить общество, не затрагивая при этом основ существовавшего административного порядка. Как и во многих менее масштабных милютинских проектах николаевской эпохи, в этом в полной мере проявились его качества профессионального бюрократа новой генерации: прагматизм, основательность проработки информации, отсутствие сословно-классовых предрассудков, оперативность, умение сформировать команду единомышленников и опираться на нее. Это последнее качество заслуживает особого внимания. Каким образом в недрах консервативной, стагнирующей системы сложился целый слой людей, прогрессивно мыслящих, понимающих необходимость перемен и при этом не склонных к тотальному ниспровержению существующего порядка, словом — слой реформаторов? Этот вопрос привлекал и продолжает привлекать внимание исследователей. Появились ли они благодаря или вопреки системе, представляли ли в ней маргинальный элемент или являлись авангардом бюрократической элиты? Ответить однозначно едва ли возможно, однако ясно, что реформаторская генерация появилась не случайно; что стала она не совокупностью одиночек, а именно слоем людей с близким мировоззрением, уровнем образования и социальным статусом; что выросла она в рамках не одного, а многих столичных ведомств; наконец — что ее представители не замыкались в пространстве петербургских канцелярий. Способом выйти за их пределы служили командировки в провинциальную Россию и реальное знакомство с условиями народного быта.

Другое, принципиально новое для страны явление возникло в 1840–1850-х годах, когда сложился некий прообраз публичного пространства

(основы гражданского общества). Преодолевая ведомственные, профессиональные, групповые и корпоративные границы, в нем встречались и обменивались идеями чиновники и ученые, публицисты и писатели. Особую роль играли литературные и некоторые светские салоны и кружки, немногочисленные прогрессистские журналы («Современник», «Отечественные записки»), ученые общества (особенно созданное в 1845 году под председательством либерально настроенного великого князя Константина Николаевича Русское географическое общество). В числе единомышленников Милютина мы находим много будущих деятелей реформ: А.П. Заблоцкого-Десятовского, К.И. Домонтовича, Я.А. Соловьева, князя Д.А. Оболенского, К.К. Грота, В.П. Безобразова, К.С. Веселовского, Г.П. Небольсина, И.В. Вернадского, Ю.А. Гагемейстера. На вечерах у Н.И. Надеждина и И.И. Панаева Николай Алексеевич встречался с Н.А. Некрасовым, В.П. Боткиным, П.В. Анненковым, К.Д. Кавелиным, Б.Н. Чичериным, И.С. Тургеневым и многими другими блестящими представителями интеллектуальной элиты.

В придворных кругах глубокий интерес к новым идеям проявляла великая княгиня Елена Павловна — жена Михаила Павловича, брата Николая I. Милютин, появившийся в ее салоне еще в конце 1840-х и ставший там завсегдатаем, вводил великую княгиню в круг «прогрессистских идей». В начале царствования Александра II именно покровительство Елены Павловны, к которой новый император прислушивался, обеспечило успех многим начинаниям реформаторов. Наконец, молодое поколение бюрократов не смогло бы ничего достичь при Николае I (если не в реализации своих планов, то хотя бы в карьерном продвижении) без сочувствия и поддержки некоторых сановников «старой школы». В жизни Милютина большую роль сыграли его начальник — министр внутренних дел граф Л.А. Перовский, и особенно родной дядя — граф П.Д. Киселев. В 1840–1850-х годах его прежняя отчужденность от племянников постепенно исчезает, он часто встречается с Николаем Алексеевичем, ведет с ним «продолжительные беседы с глазу на глаз». Влияние опыта киселевской реформы государственной деревни 1840-х годов на «милютинскую» программу отмены крепостного права несомненно. Позже, на рубеже 1850–1860-х, роль сановных покровителей Милютина возьмут на себя министр внутренних дел С.С. Ланской и друг Александра II Я.И. Ростовцев.

С восшествием на престол Александра II в 1855 году и поражением в Крымской войне на повестке дня оказалась разработка программы всеобъемлющих реформ. Внимание правительственных и общественных кругов обратилось прежде всего на критическое состояние военной, административной и финансовой сфер. Однако ни один сторонник перемен не сомневался: камнем преткновения на пути любых преобразований всегда будет оставаться крепостное право.

Первая — и главная — трудность в деле его отмены заключалась в том, что, вставая на этот путь, правительство вторгалось в сферу, которая фактически не входила в «зону» его ответственности. Помещичья деревня

«Правительству, и только ему одному, принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны...»

всегда ускользала от бюрократического контроля, во-первых, из-за отсутствия у власти реальных инструментов получения информации и воздействия на местах, а во-вторых, из-за признанной невозможности посягать на «частную собственность» помещиков без их на то воли. Но ожидать, пока такая воля сформируется и выразится, означало бы вообще отказаться от реформы. Вырисовывался замкнутый круг: правительство не только политически, но даже технически, за неимением данных и достаточного количества чиновников, ничего не могло сделать с крепостным правом помимо помещиков, обращение же к ним за содействием связывало его по рукам и ногам. Существовало здесь и финансовое измерение: в условиях банковского кризиса и бюджетного дефицита финансирование реформы государством считалось нереальным, признать же ее зоной «частных соглашений» и «свободных контрактов» помещиков и крепостных опять-таки значило похоронить все дело. Отмена крепостного права осложнялась также тем, что единого взгляда на смысл реформы в верхах не существовало, а потенциальные реформаторы типа Милютина, которые могли бы взять на себя ответственность за ее разработку, не располагали нужным для этого влиянием.

Тот факт, что реформа в подобных условиях все-таки была подготовлена и принята, причем в рекордно короткие сроки, всего за четыре года, выглядит поистине удивительным. Сложно переоценить роль, которую сыграли в ее продвижении всего несколько человек — лидеры так называемых Редакционных комиссий: Ю.Ф. Самарин, князь В.А. Черкасский и — последний в перечне, но не по значению — Н.А. Милютин. Он был среди них единственным профессиональным чиновником, прекрасно знакомым с подводными течениями и узкими местами бюрократических рек. Тонкий политик и при этом необычайно горячий, преданный делу и способный работать над ним день и ночь человек, Николай Алексеевич был, по выражению председателя Редакционных комиссий Я.И. Ростовцева, «нимфой Эгерией» этого необычайного органа, а фактически — коллектива единомышленников, который был создан в начале 1859 года.

У Милютина не было специального опыта в крестьянском вопросе. Он лишь совершил продолжительную поездку по деревням Центральной России в 1840 году, во время неурожая, и участвовал в разработке мер по его преодолению, а кроме того, конечно, внимательно наблюдал за реформированием государственной деревни, которым занимался П.Д. Киселев. Тем не менее уже в октябре 1856 года — т.е. еще до первого правительственного «приступа» к реформе — Николай Алексеевич выступает с программной запиской. В ней пока еще в общих чертах сформулированы стратегические принципы: правительственная инициатива; постепенность; «дружное взаимное действие правительства и помещиков» (заведомая нереалистичность этого тезиса выдает его риторический характер); гласность «под непосредственным надзором правительства» — чтобы «в обществе сложились финансовые и экономические понятия»; но самое важное — необходимость избежать появления класса «бездомных

сельских пролетариев, всегда находящихся в брожении и готовых стать орудием политических смут и переворотов». Отсюда проистекала бесспорная для Милютина задача: гарантировать освобождение крестьян с земель за выкуп.

Записка была подана императору Еленой Павловной и отклонена им, но легла в основу проекта, частным образом составленного как образец для одного из крупных имений великой княгини — Карловки. При его разработке Милютин впервые высказал принципиальную идею, которую позже предложил и в Редакционных комиссиях: по его мнению, необходимо иметь некий фонд свободных земель, из которого в будущем можно было бы наделять новые крестьянские тягла. Таким образом, речь шла уже не об обеспечении данных крепостных крестьян, а о некоей постоянной правительственной программе социального обеспечения крестьян, или, иными словами, воспроизводства их в этом социальном качестве. С одной стороны, эта мысль в век, когда рыночно-индивидуалистическая теория господствовала в умах экономистов, а концепция «социально ориентированного государства» только начинала оформляться в Западной Европе, была по-настоящему революционна для России. С другой, она, несомненно, корреспондировала с традиционной попечительской идеологией, предполагавшей, что самодержавная власть обязана заботиться о благосостоянии «меньшой братии». Это соответствие Милютин мастерски использовал и в дальнейшем, не раз затрагивая чувствительные струны в душе Александра II и нейтрализуя любые обвинения в колебании «частнобственнических устоев» указанием на классовый эгоизм обвинителей.

Конечно, раздававшиеся в адрес Милютина упреки многочисленных врагов и недоброжелателей (в основном из помещичьей среды) в «социалистической ереси» необоснованны. Вместе с тем нельзя его отнести и к числу «классических либералов». Да и откуда за пределами сугубо школьной доктрины взяться таковым в крепостнической стране? Глубоко антипатичен был Николаю Алексеевичу и тот тип крикливого либерала, который появился в пореформенной России. Позже, будучи отправлен в 1861 году в отставку, путешествуя по Франции и получая с родины известия о многочисленных оппозиционных выступлениях дворянских собраний (обиженные реформой помещики критиковали «бюрократический произвол» и требовали конституции, причем многие — вполне искренне), Милютин еще раз подтвердил свое кредо. Он настаивал на том, что именно правительство должно быть ответственным, помимо прочего, за создание общественной опоры для себя самого. «Две характеристические черты обрисовывают, как мне кажется, нашу русскую оппозицию, охватившую, по-видимому, все общество, — писал он брату. — Во-первых, наружу выходят только крайние мнения... во-вторых, либеральные стремления не получили еще определенных образов, все это слишком общо, смутно, шатко и исполнено противоречий. Такая оппозиция бессильна в смысле положительном, но она, бесспорно, может сделаться сильною отрицательно. Чтобы отратить это, необходимо создать мнение, или, пожалуй, партию серединную.

«Правительству, и только ему одному, принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны...»

Говоря парламентским языком: *le centre*, которой у нас нет, но для которой элементы, очевидно, найдутся. Одно правительство может это сделать, и для него самого это будет лучшим средством упрочения». Надо ли напоминать, что подобные сценарии с редким постоянством возникали в верхах и десятилетия спустя после смерти Милютина? И всякий раз правительство обнаруживало, что сил у него гораздо меньше, чем у барона Мюнхгаузена, все-таки вытянувшего себя за волосы из болота...

Но вернемся на несколько лет назад. Редакционные комиссии, несомненно, стали звездным часом Милютина. При этом реальная его роль в разработке и продвижении реформы далеко не соответствовала его формальному служебному статусу. Лишь в начале 1859 года Ланской представил его на должность своего товарища (заместителя) — и получил отказ императора. Лишь после нескольких попыток Александр II согласился на это назначение, но с обидной приставкой «временно исполняющий должность». В верхах Милютин слыл «радикалом» и чуть ли не «революционером». Зато в кругу единомышленников его авторитет был огромен. Вообще, сама организация работы комиссий как будто строилась в соответствии с его беспокойной, страстной и увлекающейся натурой и ни в малейшей степени не походила на бюрократическую рутину: «Всякое стеснение и принуждение с самого начала были изгнаны из собрания. Подавали чай, курили, и беседа шла свободно». Работали буквально день и ночь. По воспоминаниям одного из членов комиссий, «заседания у Милютина... оканчивались зачастую по восходе солнца. Мы вообще занимались крайне ретиво, и помню случаи, когда после заседания комиссий, возвращаясь часа в 4 утра домой, я садился за исправление корректуры своего доклада... окончив работу часам к 7 утра, спешил отправить ее в типографию». И так почти ежедневно в течение полутора лет! Стоит добавить, что с Милютина при этом никто не снимал других обязанностей по текущей работе в министерстве, а также в целом ряде межведомственных комиссий, параллельно разрабатывавших другие реформы.

Фантастический темп работы казался жизненно важным. Ростовцев использовал яркую метафору: «Откладывать... нам нельзя, нужно спешить; все мы должны понимать, что Россия снята, так сказать, с пьедестала — она теперь на блоках». Сделать как можно больше, пока не начнется откат, пока государство не начнет «сыпаться» от возбуждения и неопределенности! Такая логика заставляла «временного исполняющего должность» не просто спешить — она вынуждала «спрямлять углы» в головоломном деле реформы, откладывать на будущее решение многих важных проблем, находить простые (порой — слишком простые) ответы на сложные вопросы, наконец — идти до конца в публичной и закулисной борьбе с политическими противниками. Не зря один из экспертов комиссий, либеральный помещик Г.П. Галаган, в одном из личных писем не смог удержаться от несколько наивной оценки манипуляций, свидетелем которых ему пришлось быть: «Видя изнанку вещей... нельзя иногда надивиться, как много у нас не прямых действий и хитросплетений, и убеждаешься, что прямой

дорогой нельзя дойти ни до какого дела и что сам крестьянский вопрос оттого так идет успешно, что одни перехитрили и надули других».

«Хорошо, если успеем бросить семя», — считал Милютин. Удалось сделать гораздо больше. Здание реформы 1861 года поражало современников и потомков (в том числе — ее противников) монументальностью и завершенностью. «Положения 19 февраля», как прекрасно показала в своих исследованиях Л.Г. Захарова, как будто задавали направление развития русской деревни на десятилетия вперед — и в то же время были весьма непрозрачны; рациональность сплавлена в них с символизмом и утопией, прошлое — с будущим.

Суть реформы сводилась к тому, чтобы «развести» крестьян и помещиков в социальном, экономическом и правовом отношениях, но при этом не нарушить, насколько возможно, привычного уклада жизни тех и других. Крестьяне получили определенное правительством количество земли и капитальный долг за нее; помещики — деньги от правительства (выступившего в роли кредитора) и возможность нанимать бывших крепостных для работы на своих полях; правительство — весьма «мягкий» переход от старого к новому и целый букет неразрешенных проблем. Последнее обстоятельство во многом было неизбежным и не пугало Милютина. Развязав вековой узел, правительство может и должно и в дальнейшем оставаться не «ночным сторожем», а активным участником социальных процессов, считал он.

Параллельно крестьянской реформе под руководством Милютина как председателя Комиссии о губернских и уездных учреждениях разрабатывалась реформа местного управления. По мнению американского историка Фредерика Старра, 1850-е годы стали в России временем бурного расцвета новой «регионалистской» идеологии. Нападки на «централизацию» и отстаивание «самоуправления» (последнее понятие не употреблялось вплоть до этого времени и представляло собой кальку с английского *self-government*) являлись, считает Старр, следствием некритического заимствования западных идеологических парадигм, сторонники которых превозносили преимущества англосаксонского самоуправления как необходимого условия развития гражданских и политических свобод. «Децентрализация» превратилась в необычайно модное слово, которым не стеснялись щеголять директора департаментов, не говоря уже об общественных деятелях.

Вместе с тем едва ли можно говорить о чрезмерном увлечении «децентрализаторской» идеей профессиональных бюрократов из Министерства внутренних дел. Активная роль государства в наполеоновской Франции и вообще построенная на централизации французская административная система вызывала у Н.А. Милютина гораздо больше симпатий, чем английская. Самоустранение государственной власти из провинциальной жизни никак не входило в планы «просвещенной бюрократии». По справедливому утверждению Старра, административная и финансовая децентрализация в условиях неразвитости общественных институтов и отсталости российской провинции означала бы лишь отказ от регулярной

«Правительству, и только ему одному, принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны...»

связи с более развитым центром, от кадровой и финансовой подпитки, в то время как растущие местные нужды далеко опережали местные возможности. Но под этими словами подписался бы и Милютин! Разумеется, это совсем не означало, что он выступал противником самоуправления. Однако, отводя проектировавшимся земским учреждениям строго определенную роль — управления местными хозяйственными нуждами — и соглашаясь предоставить им в этих рамках полную самостоятельность, он был против присвоения ими какой-либо политической роли, признавая последнюю исключительно за правительством.

Основную проблему для историков традиционно представляет «много-слойность» Земского положения и подготовительных материалов к нему. Подготовка растянулась на пять лет (1859–1863). За это время подходы, представления о структуре новых учреждений и сами их названия неоднократно менялись. Изучение реформы еще более осложняется тем, что сохранились лишь фрагменты «милютинских» проектов (на самом деле являвшихся плодом коллективного творчества).

Эти проекты касались как уездного, так и губернского уровня управления, причем не только земств, но и коронной администрации. Планировалось, в частности, подчинить действия губернатора «коллегиальному, постоянному, на твердых правилах установленному местному надзору». Предполагая обеспечить такой контроль, «милютинцы» стремились добиться единства в действиях губернских учреждений и одновременно расширить власть губернаторов за счет центра. Предположения же Комиссии относительно земств базировались на идее об отделении административно-полицейской власти от хозяйственно-распорядительной. Милютин четко выразил свой взгляд: «Хозяйственное управление, как чисто местное, очевидно, не может и не должно нисколько касаться государственных дел, ни интересов государственной казны, ни суда, ни, наконец, полиции исполнительной, сего главного местного органа центральных учреждений. Вне этих отраслей собственно правительственной деятельности остается обширный круг местных интересов, большей частью мелочных, так сказать, обыденных и для Высшего Правительства не важных, но составляющих насущную потребность местного населения». В этом кругу деятельность местного самоуправления следует освободить от всякой опеки, предоставив ему полную самостоятельность.

Но как же определить, где именно кончаются «государственные» интересы и начинаются «местные»? Проблема разграничения компетенции администрации и земств имела не только теоретическое или административное, но и финансовое измерение, поскольку новые земские органы должны были заниматься составлением смет и раскладок земских сборов и дальнейшим их расходованием на самые разнообразные нужды. Кроме того, органы самоуправления, не получив никакой связи с полицией на местах, словно лишались «рук, ног и глаз». В свою очередь, административно-полицейская «вертикаль» по-прежнему не имела опоры на «местные силы».

Были ли вызваны эти очевидные просчеты «просвещенной бюрократии» «регионалистской» идеологией? А может быть, Милютин и его соратники предчувствовали, что будущая власть попытается «поприжать» земство, и думали таким образом обезопасить его? Или, стремясь превратить земство в колыбель того, что мы называем гражданским обществом, и понимая неразвитость современных общественных институтов, они не хотели возлагать на новые органы непосильную ношу? Наиболее эвристичным выглядит последний из возможных ответов: жесткое разделение компетенции земств и государственных структур позволяло не только сохранить в руках правительства политическую инициативу, но и не допустить «прорастания» новых органов самоуправления на низший и высший административные этажи. А ведь именно там, в рамках гипотетической «всесословной волости» и центрального «законосовещательного представительства» поместное дворянство, которое «просвещенная бюрократия» оценивала как силу, угрожающую ее планам, могло бы реально влиять на подготовку и реализацию реформ. Seriously относясь к подобным претензиям, Милютин заявлял еще в 1859 году: «Никогда, никогда, пока я стою у власти, я не допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициаторов в делах, касающихся интересов и нужд всего народа. Забота о них принадлежит правительству; ему и только ему одному принадлежит и всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны». Видимо, так Милютин, убежденный противник ограничения самодержавия, отводя для деятельности земства некое «огороженное поле», пытался, помимо прочего, заблокировать бесплодные, на его взгляд, конституционные поползновения высшего сословия.

Впрочем, самому Николаю Алексеевичу не пришлось взяться за воплощение крестьянской и земской реформ. Спустя два месяца после обнародования «Положений 19 февраля 1861 года» он вместе с министром С.С. Ланским был отправлен в почетную отставку — ради «умиротворения» возмущенного поместного дворянства. В течение двух лет после этого он путешествует по Европе, много времени проводя в Париже у дяди, П.Д. Киселева, и в Риме.

Новому министру внутренних дел П.А. Валуеву, убежденному англофилу, конституционалисту и стороннику дворянского преобладания в местном самоуправлении, «милютинские» проекты земской реформы были, разумеется, глубоко антипатичны. Однако он не смог добиться не только их полного пересмотра, но даже сколько-нибудь существенной корректировки. Самодержцу оказался ближе тот вариант реформ, который вроде бы снимал возможные вопросы об ограничении его власти.

Летом 1863 года Николай Алексеевич, во многом неожиданно для себя самого, вновь оказался в гуще политических событий. На западных окраинах империи, входивших некогда в Речь Посполитую, разгорелось восстание. Цель мятежных поляков — восстановление независимой Польши с включением в ее состав территорий со смешанным населением (нынешней Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы). Особенно

«Правительству, и только ему одному, принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны...»

тяжелое положение центральной власти сложилось в Царстве Польском, т.е. на землях, где непольского элемента не было вообще. У наместников — великого князя Константина Николаевича и сменившего его графа Ф.Ф. Берга — отсутствовала сколько-нибудь внятная программа действий. Не находя поддержки ни в одном из сегментов польского общества, они полагались исключительно на военно-полицейские меры, ожидая, пока восстание затихнет само. Конечно, возложить на Милютина подготовку радикальных социальных и административных преобразований в Царстве Александр II решил не случайно. В этом деле его репутация «красного» оказалась весьма кстати. Помимо военных операций, эффект от которых не считался прочным, у власти оставался лишь один вариант действий: расколоть польское общество, изолировав мятежную элиту от гораздо более аморфной крестьянской массы, «поднять крестьянское население, высвободив его из-под гнета панов и шляхты, и тем приобрести в нем надежную опору для упрочения русской власти в Польше».

Таким образом, первоочередными задачами для Милютина вновь становились крестьянская реформа и реорганизация местного управления. Неудивительно, что в качестве сотрудников он привлек друзей по Редакционным комиссиям Ю.Ф. Самарина, В.А. Черкасского, Я.А. Соловьева, а также А.И. Кошелева и В.А. Арцимовича. Реформу подготовили не просто быстро, а молниеносно. Осенью 1863 года Милютин с друзьями в сопровождении конвоя совершили ознакомительную поездку по польским деревням, а уже 19 февраля 1864-го «Положение об устройстве сельских гмин и крестьянского быта в Царстве Польском» было утверждено.

Крестьяне в Царстве получили личное освобождение еще при Наполеоне I, в 1807 году, однако свобода не столько улучшила, сколько ухудшила их положение, поставив в полную экономическую и полицейскую зависимость от помещиков. Реформа 1864-го предполагала — и в этом она гораздо радикальнее российской — немедленное и повсеместное наделение крестьян землей в собственность за минимальный выкуп и прекращение всяких отношений их с землевладельцами. Исполнение реформы возлагалось на специально сформированный корпус «комиссаров по крестьянским делам», состоявший исключительно из русских чиновников и офицеров, прежде никак не связанных с Царством. Другим важным направлением деятельности Милютина стало ограничение влияния в Польше католического духовенства, считавшегося наряду со шляхтой одной из наиболее антирусски настроенных сил.

Решительность и бескомпромиссность нового курса в Царстве Польском дала быстрые результаты. И хотя у политики Милютина нашлось много противников внутри России (о Польше говорить не приходится), император по достоинству оценил его деловые качества. Карьера Николая Алексеевича вновь пошла в гору. Он получает звание статс-секретаря, становится членом Главного комитета об устройстве сельского состояния, Государственного совета, главным начальником Собственной императорской канцелярии по делам Царства Польского. В конце 1866 года

обсуждается даже вопрос о его назначении на ключевой в правительстве пост министра финансов.

В этот, по-видимому, решающий момент жизни Милютина и произошло несчастье, мгновенно и навсегда оборвавшее его государственную деятельность. Напряжение сил оказалось слишком велико. 20 ноября 1866 года Николай Алексеевич перенес тяжелейший инсульт, от последствий которого уже не смог оправиться. Даже спустя несколько лет контраст с прежним, живым и полным огня человеком был слишком велик. Скончался Н.А. Милютин 26 января 1872 года в Москве, в окружении родных и друзей — Самариных, Черкасских, К.Д. Кавелина, И.П. Арапетова и многих других. «Брат чрезвычайно дорожил вниманием и участием друзей; общество их, разговоры, споры составляли для него насущную потребность до последних дней», — вспоминал Дмитрий Милютин. Прочность уз, связавших этих людей, и радость от общения с ними, возможно, стали для Милютина самым важным итогом жизни.

МИХАИЛ
ХРИСТОФОРОВИЧ
РЕЙТЕРН

**«Я всю жизнь готовился
к должности министра
финансов...»**

Михаил Христофорович Рейтерн (1820–1890) жил и действовал в переломный момент российской истории. После поражения в Крымской войне задачи экономической модернизации выдвинулись на первый план. О необходимости коренных преобразований в сфере народного хозяйства размышляли и спорили многие ученые и государственные деятели. Однако именно М.Х. Рейтерну было суждено возглавить проведение реформ. Современники называли его одним из ближайших сподвижников царя-освободителя Александра II. Шестнадцатилетнее пребывание Рейтерна на посту руководителя финансового ведомства Российской империи составило целый этап в экономической политике правительства второй половины XIX столетия.

Михаил Христофорович Рейтерн родился 12 сентября 1820 года в городе Поречье Смоленской губернии. Дальний предок семьи — выходец из Голландии Герард Рейтерн, в 1520 году обосновавшийся в немецком городе Любеке. Его правнук, Иоганн-Даниэль, в середине XVII века переселился в Ригу. Он был богатым негодичантом, занимал должности ратсгера (члена городского магистрата) и председателя торгового суда. В 1691 году шведский король Карл XI возвел его в дворянское достоинство под именем фон Рейтерна. Иоганн-Даниэль и стал родоначальником российских Рейтернов. В семье с давних пор господствовали военные традиции. Отец будущего министра финансов, Христофор Романович (Христоф Адам), — кавалерийский генерал, участник итальянской кампании 1799–1800 годов, войны 1812 года, заграничных походов 1813–1814 годов, Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Мать, Екатерина Ивановна (Юлиана Каролина Элеонора), урожденная фон Гельфрейх, была фрейлиной императорского двора.

Михаил Рейтерн получил образование в Царскосельском лицее, который представлял собой настоящий питомник государственных деятелей. Среди его сокурсников будущие министры народного просвещения А.В. Головин и А.П. Николаи, член Государственного совета П.И. Саломон, сенатор В.А. Цеэ. В лицее Михаил Христофорович нашел свое призвание: все свободное время он посвящал изучению экономических дисциплин. Большое влияние оказали на него блестящие лекции по политической экономии, которые читал профессор И.А. Ивановский. Позднее

Рейтерн говорил Александру II, что «всю жизнь готовился к должности министра финансов».

Михаил Христофорович изменил семейной традиции, избрав стезю гражданской службы. В 1839 году, вскоре после окончания с серебряной медалью Царскосельского лицея, он поступил в Особенную канцелярию по кредитной части финансового ведомства, но уже в 1843-м перешел в Министерство юстиции. Карьере Рейтерна во многом способствовала протекция близкого к императорской семье В.А. Жуковского, женатого на его двоюродной сестре. М.Х. Рейтерн успешно продвигался по службе: в 1845 году, по поручению министра юстиции, собирал сведения о практике судопроизводства в остзейских губерниях; в 1846-м работал в комиссии по созданию судебных учреждений в Таврической и Херсонской губерниях; в 1847-м временно исполнял обязанности товарища герольдмейстера Сената и заведовал Первой экспедицией Департамента герольдии.

Привлекала Рейтерна и общественная жизнь. В 1847 году он был избран членом Русского географического общества — одного из крупнейших научных и культурных центров страны. Так сложилось, что именно здесь формировались кадры будущих реформаторов, выступивших на историческую сцену в 1860-е годы. Михаил Христофорович познакомился с председателем общества — генерал-адмиралом российского флота, великим князем Константином Николаевичем, который сочувствовал либеральным идеям. В январе 1853 года великий князь принял управление Морским министерством; благодаря его усилиям это ведомство первым в России приступило к подготовке преобразований. Константин Николаевич собирал вокруг себя преданных и энергичных сотрудников. И в 1854 году Рейтерн был принят в Морское министерство на должность чиновника для особых поручений.

Выдвиженцев великого князя в обществе прозвали «константиновцами» или «константиновскими орлами». Под эгидой своего могущественного покровителя они держались сплоченной группировкой. Неудачный ход крымской кампании стал стимулом для реформирования флота, обнаружившего полную небоеспособность. Михаил Христофорович вошел в комиссию по разработке свода морских постановлений и хозяйственного устава и в комитет о сметах Судостроительного департамента, участвовал в ревизиях разных структур министерства. Как знатоку финансов, ему поручили составить проект устройства пенсионной кассы морского ведомства. Рейтерн фактически выполнял функции консультанта великого князя по экономическим вопросам, и тот высоко ценил специальные знания и редкую исполнительность нового сотрудника.

Весной 1855 года Константин Николаевич отправил его в длительную поездку для ревизии портовых сооружений и госпиталей в Архангельске и Астрахани. Возвращенный в петербургских канцеляриях, М.Х. Рейтерн плохо знал российскую провинцию. Теперь он проехал с севера на юг всю Россию, осмотрел центральные губернии, побывал на Нижегородской ярмарке, с большим интересом изучал экономические особенности каждого

края. Это путешествие очень много дало ему для будущего управления Министерством финансов.

В обстановке послевоенного общественного подъема морское ведомство превратилось в подлинное «министерство прогресса». Мероприятия, проведенные там во второй половине 1850-х годов, явились прообразом Великих реформ. Перестройка счетоводства, отчетности и контроля представляла собой зародыш будущих финансовых преобразований. Однако Михаил Христофорович уже не принимал участия в бурной деятельности министерства. Генерал-адмирал готовил ему иное назначение. Константина Николаевича не удовлетворяли узкие рамки второстепенного морского ведомства, он стремился к более масштабной роли в предстоящих реформах. Накануне грядущих перемен ему требовались люди, которые могли бы возглавить различные отрасли государственного управления.

Осенью 1855 года Рейтерн выехал за границу для изучения «финансового строя» западных государств — Пруссии, Франции, Англии, США. Командировка продолжалась почти три года. Наиболее сильное впечатление на него произвело пребывание в Америке. Михаил Христофорович подметил поразительное сходство национальных качеств русских и американцев: «механическую ловкость, умение применяться к обстоятельствам, преодолевать неожиданные препятствия, присутствие духа, смелость». Он так и остался американофилом. В кругу друзей его даже окрестили «янки».

Возвратившись на родину в сентябре 1858 года, Рейтерн представил Александру II содержательный отчет о поездке и был пожалован званием статс-секретаря, что свидетельствовало о начале блестящей карьеры. В последующие несколько лет заметно укрепились его связи с высшей бюрократической элитой. Михаил Христофорович стал завсегдатаем салона великой княгини Елены Павловны, которая оказывала поддержку либеральным деятелям. В верхах о нем заговорили как о возможном претенденте на пост министра финансов. С марта 1858 года финансовым ведомством руководил А.М. Княжевич — ему выпала нелегкая задача ликвидации тяжелых последствий войны. Россия находилась на грани государственного банкротства. Военные расходы превысили полмиллиарда рублей. Для покрытия хронического бюджетного дефицита правительство широко использовало займы, заимствования из государственных кредитных учреждений и эмиссию кредитных билетов. Выпуск огромной массы бумажных денег привел к росту инфляции и падению курса рубля. Размен кредитных билетов на золото и серебро прекратился. Финансовое расстройство сопровождалось разразившимся в 1857–1859 годах экономическим кризисом.

Брат нового царя, великий князь Константин Николаевич привлек Рейтерна к обсуждению экономических реформ. Михаил Христофорович был последователем либерально-фритредерской концепции с ее апологией частной собственности, свободы предпринимательства и конкуренции.

А. Смит и другие теоретики классической школы рассматривали экономи-

ческую жизнь как «естественный порядок», определяемый объективными универсальными законами. По их мнению, «невидимая рука» свободного рынка создает наиболее благоприятные возможности для развития народного хозяйства и регулирования социальных процессов. Интересы отдельной личности («экономического человека») они ставили выше общих интересов и заявляли, что государство должно воздерживаться от вмешательства в экономическую жизнь, ограничиваясь ролью «ночного сторожа». Подобные идеи получили после Крымской войны широкую популярность в либеральных кругах России. Их разделяли как крупнейшие авторитеты экономической науки, так и многие высокопоставленные чиновники. Это стало закономерной реакцией общества на полную этатизацию экономики при Николае I.

М.Х. Рейтерн видел причину хозяйственного застоя во всевластии государства и подавлении «личной экономической инициативы трудящихся» с помощью крепостного права, сословного деления общества, прикрепления сельского населения к определенной местности средневековой подушной податью, жесткими паспортными правилами и тотальным полицейским надзором. Ориентируясь на опыт Запада, он выступал за пробуждение «духа предприимчивости» среди населения и освобождение частной инициативы от оков бюрократии. Правда, реальные условия крепостнической России заставляли его вносить коррективы в свои теоретические установки.

В декабре 1858 года Рейтерн был назначен управляющим делами Комитета железных дорог и принял активное участие в выработке основных принципов железнодорожной политики. Крымская война показала, что без современной промышленно-транспортной базы Российская империя не в состоянии сохранить статус великой державы. (В 1855 году в стране насчитывалось лишь 980 верст дорог, т.е. всего 1,5% мировой железнодорожной сети.) В экономико-географических условиях России это направление народного хозяйства стало ведущим.

В июле 1859 года Михаил Христофорович получил должность члена Совета министра финансов, а в январе 1860-го занял пост управляющего делами Комитета финансов. Многие члены комитета были слабо знакомы со спецификой финансовых вопросов, поэтому мнение его главы нередко играло решающую роль. В финансовом ведомстве при А.М. Княжевиче сгруппировались экономисты. В этот кружок, кроме Рейтерна, вошли его давние знакомые по Русскому географическому обществу: исполняющий обязанности товарища министра внутренних дел Н.А. Милютин, чиновники Министерства финансов Ю.А. Гагемейстер и Министерства государственных имуществ — Е.И. Ламанский, профессор политэкономии Киевского университета Н.Х. Бунге.

Эта «пятерка» составила ядро новообразованной Комиссии по реформе банков. Кризис 1857–1859 годов завершился полным крахом старых кредитных учреждений. Комиссия подготовила и направила в Комитет финансов доклад с предложением создать систему частных банков

«Я всю жизнь готовился к должности министра финансов...»

и учредить центральный эмиссионный банк на акционерных началах по европейскому образцу. Однако комитет не пошел на столь радикальное преобразование. Основанный 31 мая 1860 года Государственный банк стал чисто казенным учреждением. Он был лишен функции денежной эмиссии и долгосрочного субсидирования промышленности и торговли; подавляющая часть его средств расходовалась на покрытие дефицитов, погашение займов и другие нужды казны.

Рейтерн и его коллеги стали также членами финансовой комиссии — структурной единицы Редакционных комиссий (1859–1860), образованных для подготовки отмены крепостного права. Им досталась наиболее трудная миссия: разработка операции по выкупу крестьянами своих наделов у помещиков. Хотя на Михаила Христофоровича не возлагалось составление самого проекта, по свидетельству члена комиссий П.П. Семенова, ни одна его статья «не была принимаема без окончательного заявления Рейтерна, что исполнение ее не представит затруднений в будущем для Министерства финансов».

Одновременно Михаил Христофорович трудился в комиссии по пересмотру системы податей и сборов. С отменой крепостного права возникла острая необходимость перехода от чисто фискального к стимулирующему порядку налогообложения. Подушная подать, введенная еще Петром I, уже не могла считаться главным источником поступлений прямых налогов. Объектом взимания податей должна была стать не личность плательщика, а его реальные доходы. В ноябре 1860 года Рейтерн вошел также в состав комиссии по подготовке питейной реформы. Усиление коррупции в торговле спиртными напитками и рост общественного недовольства заставили правительство пойти на упразднение винных откупов. Составленный комиссией проект «Положения о продаже питей» был утвержден 4 июля 1861 года. Новый закон ликвидировал откупа и провозгласил с 1 января 1863 года введение на всей территории страны единой акцизной системы.

Трехлетняя деятельность в различных комитетах и комиссиях позволила Рейтерну ознакомиться как с общими направлениями экономической политики правительства, так и с текущими делами финансового ведомства. В январе 1862 года по рекомендации Константина Николаевича император назначил М.Х. Рейтерна министром финансов. Это событие в верхах встретили благожелательно. Михаил Христофорович отличался удивительной ясностью суждений и даром воздействия на собеседника. Его называли «замечательным здравомыслом». Росту авторитета нового министра финансов весьма способствовали его обстоятельные и аргументированные выступления на заседаниях Государственного совета, Главного комитета по крестьянскому делу и других высших инстанций.

Деятельность финансового ведомства сразу же оживилась. Новый министр придерживался делового и оперативного стиля руководства, был «врагом канцеляризма и многоглаголания» и с безразличием относился к нюансам бумаготворчества. Не выносил пространных докладов и тре-

бывал от сотрудников предельной краткости. Властность сочеталась в нем с уважением к мнению подчиненных. По словам одного из чиновников министерства Ф.Г. Тернера, Рейтерн «был очень деликатен: давая служащим у него какое-либо особенное поручение, он перед тем всегда спрашивал их на то согласие».

Ставка на частный капитал рассматривалась Рейтерном и его окружением как важнейшее условие модернизации. Но при этом они стремились использовать развитие предпринимательства прежде всего в интересах государства. Их программа основывалась на принципе «смешанной» экономики и предусматривала партнерство государства и частного капитала в развитии народного хозяйства. Казна должна была инициировать участие предпринимателей в той или иной приоритетной отрасли и вкладывать часть необходимых средств. В своей политике министерство стремилось решить две взаимосвязанные задачи: упорядочить расстроены финансы и обеспечить экономический подъем с помощью поддержки частной инициативы.

В борьбе с экономическими трудностями Рейтерн имел опору в лице государственного контролера В.А. Татаринова и председателя Департамента государственной экономии Госсювета К.В. Чевкина. Но решающее значение имело покровительство самого Александра II. Император не раз защищал Михаила Христофоровича от критики со стороны руководителей других ведомств. Все записки и проекты по экономическим вопросам, поступавшие на Высочайшее имя, обязательно передавались на заключение министра финансов. С симпатией относился к нему и цесаревич Александр Александрович (будущий Александр III).

С целью преодолеть хронический бюджетный дефицит министр финансов попытался ввести режим строгой экономии государственных средств. По его настоянию правительство ужесточило порядок выдачи сверхсметных ассигнований, которые наносили казне значительный ущерб. Указом от 6 октября 1866 года всем министрам предписывалось испрашивать дополнительные кредиты в особых случаях и только в форме всеподданнейшего доклада. Однако, несмотря на требования закона, сумма сверхсметных ассигнований в пореформенные десятилетия продолжала возрастать. Требования Рейтерна сократить расходы на армию и флот заставили Военное министерство умерить требования о новых кредитах, и тем не менее его расходы в 1865–1875 годах составляли почти треть государственного бюджета.

В бюджетно-сметном деле стараниями министра финансов и государственного контролера Татаринова был осуществлен настоящий переворот. В декабре 1861 года Комитет финансов принял решение о публикации со следующего года государственной росписи доходов и расходов. Это подняло престиж российских финансов за границей и укрепило кредит страны на мировом рынке. С 1866-го в газетах стали печататься также отчеты государственного контролера. 22 мая 1862 года Александр II утвердил новые «Правила», которые устанавливали принципы бюджетного и кассового

«Я всю жизнь готовился к должности министра финансов...»

единства. В стране вводилась общая система бюджетного учета и отчетности. Отныне каждое министерство должно было представлять подробные сметы с указанием отдельных статей и после их утверждения строго соблюдать данную номенклатуру расходов. Ведомственные кассы упразднились, а особые капиталы и доходы передавались Министерству финансов. Все финансовые средства государства сосредоточивались в кассах Казначейства. Государственный контроль превращался в единый ревизионный орган с правом документальной проверки всех государственных учреждений. Реформа способствовала стабилизации российских финансов и частичному смягчению произвола и расточительности в расходовании казенных сумм.

Забота о бюджетной экономии сопровождалась мерами по увеличению государственных доходов. Рейтерн не пошел на отмену подушной подати, так как опасался в трудной экономической ситуации лишиться традиционного источника налоговых поступлений. Более того, для пополнения казны Министерство финансов в 1860-х годах неоднократно повышало этот налог; подушная подать продолжала тяготеть над крестьянством вплоть до середины 1880-х. Министр предпочел даровать льготы отдельным категориям налогоплательщиков, не затрагивая основ старой податной системы. В этой области сделано немного: подушная подать с мещан заменена налогом на городскую недвижимость (1863), государственный земский сбор — поземельным налогом (1875), изданы правила о земских повинностях, изъявшие их из ведения местной администрации и передавшие в распоряжение земских учреждений (1864).

С большими трудностями финансовое ведомство столкнулось при осуществлении выкупной операции. В первые же годы после отмены крепостного права обнаружилось несоответствие между выкупными платежами и материальными возможностями крестьянства, о чем свидетельствовал постоянный рост недоимок. Министерство старалось смягчать участь крестьян тех или иных местностей, предоставляя длительные рассрочки в платежах, понижая оклады на несколько лет, слагая недоимки и пр. Однако частные меры не решали проблемы. По распоряжению Рейтерна в губерниях начали исследовать соразмерность платежей с доходностью наделов. Общее понижение взимаемых с крестьянства выкупных сумм состоялось только в начале 1880-х годов.

В целом Министерство финансов не проявило заметной активности в делах сельского хозяйства. Между тем правительство убеждалось, что его развитие во многом идет вразрез с расчетами авторов «Положений» 19 февраля 1861 года. Болезненный для крестьянства ход реализации реформы и неурожай 1867 и 1871–1873 годов заставили задуматься о будущем деревни. М.Х. Рейтерн пришел к выводу о необходимости следующего этапа аграрных преобразований. На первое место он ставил облегчение перехода крестьян от общинного землевладения к частному, отмену круговой поруки и пересмотр паспортного устава. Однако эти замыслы не вышли за рамки простых пожеланий.

Существенные изменения претерпело при Рейтерне косвенное обложение. С 1 января 1863 года торговля спиртными напитками стала предметом вольного промысла. Новый способ взимания питейного налога (акциз с винокуров и патентный сбор с оптовых и розничных продавцов) способствовал систематическому приращению государственных доходов. Уничтожив крупнейший очаг злоупотреблений и одну из самых живучих сословных привилегий, реформа окончательно установила государственную монополию в налогообложении. Ликвидация откупов высвободила львиную долю частных капиталовложений и переориентировала их в наиболее продуктивные отрасли народного хозяйства: банки, железные дороги, внешнюю торговлю, нефтяные промыслы и др. Указ от 14 мая 1862 года объявил о прекращении казенной добычи и продажи соли. Государственные соляные источники передавались в частные руки, торговля солью становилась свободной, соляной доход облагался акцизом. Но очень скоро обнаружилась непомерная тяжесть этого налога для населения, и в 1880 году он был отменен. В первые пореформенные десятилетия произошло значительное повышение акцизов на сахар и табак.

М.Х. Рейтерн первым из руководителей финансового ведомства стал советоваться с предпринимателями, приглашая их для обсуждения различных законопроектов. Коммерсантов привлекали в нем деловитость, доступность, внимательность, верность данному слову. Как вспоминал известный предприниматель В.А. Кокорев, «Рейтерн всякому полезному делу, нуждающемуся в поддержке, помогал денежными ссудами, дабы не уронить движения народной промышленности». По инициативе Михаила Христофоровича были проведены всероссийские промышленные выставки в Москве (1865) и Петербурге (1870), учреждены тринадцать новых бирж, при Министерстве финансов создан Совет торговли и мануфактур (1872).

Вместе с тем торгово-промышленное законодательство 1863–1865 годов носило компромиссный характер. С одной стороны, декларировались свобода частного предпринимательства и ликвидация всех сословных стеснений; приобретение купеческого «звания» становилось доступным для каждого лица, обладающего достаточным капиталом; иностранцы уравнивались в правах с российскими подданными; отменялись свидетельства, выдававшиеся ранее крепостным крестьянам для занятия торговлей и промыслами. С другой стороны, сохранялись средневековые гильдейская и цеховая организации предпринимателей; провозглашенный принцип бессословности не был последовательно зафиксирован в законах; открытие фабрик и заводов, оптовая и розничная торговля остались преимущественным правом гильдейского купечества; почти не претерпела изменений патентная система налогообложения. Взимание налога за право торгово-промышленной деятельности по-прежнему базировалось на внешних признаках, без учета размера оборота и доходности предприятия. Лишь в целях оживления экономической жизни был снижен общий уровень обложения, а большинство сельских промыслов вообще освобождено от налога.

«Я всю жизнь готовился к должности министра финансов...»

Промышленному развитию в особой степени должна была способствовать либерализация таможенной политики. Проведение в жизнь принципа свободы торговли фритредеры считали одним из основных условий экономического прогресса России. Для снижения таможенных пошлин в первые пореформенные десятилетия существовала объективная причина: отечественная промышленность остро нуждалась в притоке сравнительно дешевых иностранных товаров (машин и оборудования для фабрик, заводов, железных дорог). Еще в 1850 году, взамен запретительной таможенной системы, была введена не столь жесткая охранительная. Тарифы 1857 и 1868 годов еще более снизили таможенные пошлины.

В эпоху Великих реформ широкое распространение получило мнение о том, что система казенного хозяйства давно отжила свой век. Правительство продало частным владельцам принадлежащие государству угольные шахты и предприятия в Царстве Польском, золотые прииски Урала и Сибири и ряд других промышленных объектов. В 1866 году было принято решение об отчуждении ряда нерентабельных казенных горных заводов. Но в итоге из обширного перечня назначенных к продаже предприятий в частные руки перешло лишь незначительное их количество. Государственный совет рассудил: нельзя отказываться даже от убыточных заводов, обеспечивающих нужды армии и флота, поскольку казне важно сохранять независимость в производстве вооружения от собственной частной промышленности и от поставок из других стран.

Во второй половине 1860-х годов в народном хозяйстве начались перемены к лучшему. Оживление экономической жизни было связано с невиданным размахом частного предпринимательства. Правительство сделало ставку на сооружение железных дорог акционерными обществами, но при содействии государства. Казна гарантировала предпринимателям 5% чистого дохода, предоставляла различные субсидии, передавала в аренду казенные линии на льготных условиях и др. Выгодные условия концессий вызвали грандиозный железнодорожный бум, продолжавшийся до середины 1870-х. Возникли десятки новых компаний; за 1865–1875 годы протяженность железнодорожной сети увеличилась с 3,8 тыс. до 19 тыс. верст.

Министерство финансов всячески поощряло развитие частного кредита. При создании Государственного банка предполагалось, что он будет центром, вокруг которого образуется сеть частных банков. В 1862 году было утверждено положение о городских общественных банках, в 1863-м — устав первого частного учреждения краткосрочного кредита (Петербургского общества взаимного кредита); в 1864 году в столице возник первый акционерный коммерческий банк. Ипотечный кредит обеспечивали акционерные земельные банки. В период учредительской горячки 1870–1873 годов были основаны 259 компаний, из них — 53 банка. Однако развитие учредительства сдерживалось устаревшей концессионной системой, при которой каждый устав нового акционерного общества утверждался Государственным советом как сепаратный законодательный акт. В 1860-х годах европейские страны перешли к явочной системе, когда для создания

компания требовалась только формальная регистрация ее устава в судебных или административных органах. В 1870-м в Министерстве финансов приступила к работе комиссия по подготовке акционерной реформы.

Одной из ключевых задач министр финансов считал восстановление курса рубля до серебряного номинала и открытие свободного размена кредитных билетов на звонкую монету. Подобную попытку он предпринял в самом начале своей министерской деятельности. Для возобновления разменной операции от лондонских и парижских Ротшильдов был получен заем в 15 млн фунтов стерлингов. Сумма недостаточная, но Рейтерн надеялся, что с началом размена доверие к рублю возрастет и европейские кредиторы предоставят новые займы. 25 апреля 1862 года был опубликован указ: приступить с 1 мая в Государственном банке к размену бумажных денег на золото и серебро. Однако момент оказался неподходящим. Реформе не благоприятствовали ни экономические, ни политические обстоятельства. Ошибкой стало и предварительное объявление Государственным банком цен на продажу и покупку звонкой монеты: это породило азартную спекуляцию. В январе 1863 года вспыхнуло польское восстание, подавление которого потребовало огромных расходов. Доверие к способности Казначейства продолжать размен поколебалось. Востребование золота и серебра резко увеличилось. Министру не удалось заключить новый заем и пополнить опустевший металлический фонд. Убедившись в крушении своих планов, он прекратил размен. Казна понесла огромные убытки, для покрытия которых вновь пришлось прибегнуть к выпускам бумажных денег.

Мечтая взять реванш за провал разменной операции, Рейтерн провел серию подготовительных мероприятий. Экономический подъем и рост налогообложения позволили значительно увеличить поступления в казну. В первой половине 1870-х обыкновенный бюджет (за исключением 1873 года) сводился с излишком доходов, хотя дефициты по общему бюджету из-за чрезвычайных военных и железнодорожных расходов по-прежнему сохранялись. И все же за счет превышения доходов над расходами по обыкновенному бюджету к 1 января 1876 года удалось накопить свободную наличность казначейства на сумму 40,5 млн рублей. С 1867 года министерство осуществляло закупку драгоценных металлов для пополнения разменного фонда. Благодаря относительному упорядочению бюджета и накоплению золотого запаса произошло заметное повышение курса рубля.

Финансовое ведомство достигло таких результатов, несмотря на пассивный торговый и расчетный балансы. Отказ от запретительной системы имел отрицательные последствия. Ослабление таможенной охраны было целесообразно лишь на первой стадии становления российской индустрии. Со временем, по мере развития внутреннего производства, конкуренция западной продукции стала наносить все больший ущерб развитию отечественной промышленности. Понижение таможенных пошлин привело к стремительному росту импорта. Рейтерн стремился обеспечить России внешнеторговое преимущество и всячески форсировал вывоз

«Я всю жизнь готовился к должности министра финансов...»

хлеба, который являлся важнейшей статьёй экспорта. Но его попытки избежать преобладания импорта над экспортом оказались тщетными. Со второй половины 1860-х торговый баланс за редким исключением сводился с пассивным сальдо. Не удалось добиться и увеличения таможенного дохода. Пассивность расчетного баланса объяснялась не только превышением импорта над экспортом, но и постоянно увеличивавшимися расходами за границей русских путешественников, число которых за 1866–1875 годы возросло в пять раз. Кроме того, рост государственной задолженности (4,5 млрд рублей на 1 января 1877 года) повлек за собой увеличение выплат процентов и дивидендов западным кредиторам.

Тем не менее к середине 1870-х министр финансов счел, что подготовил необходимые условия для упорядочения денежного обращения. Металлический фонд Казначейства, возросший за 1867–1875 годы в три раза, позволял надеяться на успех. Но уже в этот радужный для Рейтерна период обнаружились все перекосы его экономической системы. Развитие частного предпринимательства с самого начала сопровождалось многими негативными явлениями. Неоднократно вскрывались факты расхищения акционерных капиталов. Компании всячески пытались обойти законодательные ограничения. Невиданные масштабы приобрела биржевая игра с железнодорожными акциями и банковскими ценностями.

На железнодорожном транспорте концессионная лихорадка выродилась в спекулятивное грюндерство, сопровождавшееся коррупцией и злоупотреблениями казенными субсидиями. Железнодорожная сеть была расчленена между десятками акционерных обществ и не представляла собой единого структурного целого. В погоне за сверхприбылью железнодорожные «короли» не заботились о качестве и рентабельности дорог. Подкупая должностных лиц, концессионеры добивались сдачи в эксплуатацию незавершенных линий. Обладая монополией на железнодорожном транспорте, они творили произвол в системе тарифов и по своему усмотрению устанавливали классификацию и номенклатуру грузов. Большинство акционерных обществ находилось в бедственном положении и было не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства перед казной. Правительство выделяло на финансирование строительства огромные суммы. Растущая задолженность компаний Казначейству явилась одной из главных причин бюджетных дефицитов и роста государственного долга России.

В сфере кредита процветали биржевой ажиотаж и спекуляции акциями. Частные банки занимались не столько субсидированием торговли и промышленности, сколько выгодными операциями по реализации выпусков акций разных компаний. Многие из них понесли огромный ущерб, разорив множество вкладчиков. Министерство финансов ввело ограничения эмиссионных операций банков и приняло меры для сдерживания акционерного учредительства. В 1872 году вышел закон, запрещающий создание новых банков в городах, где уже действовали подобные. Биржевой крах, поразивший в 1873 году страны Западной Европы, заставил

руководство финансового ведомства усомниться в целесообразности свободы акционерного учредительства. Проект акционерной реформы, разработанный министерской комиссией, был отклонен.

Осенью 1875-го в стране начался кризис перепроизводства, осложненный неурожаями 1875 и 1876 годов. Из-за полного опустошения железнодорожного фонда прекращается выдача новых концессий. После банкротства Московского ссудного банка происходит массовое востребование вкладов из других частных кредитных учреждений. Промышленный кризис и биржевой крах подорвали доверие западных деловых кругов к финансам России. Курс рубля и русских ценных бумаг понизился, иностранные капиталы отхлынули за границу.

Эти события происходили в накалившейся международной атмосфере. Россия стояла на пороге войны с Турцией. В начале октября 1876 года Александр II дал Рейтерну указание найти средства для предстоящих военных расходов. Это глубоко потрясло министра. По опыту Крымской кампании он хорошо знал, что означает новая война для народного хозяйства. На его глазах гибли плоды многолетних усилий финансового ведомства. Пытаясь переубедить самодержца, Михаил Христофорович представил ему записку, где доказывал: война приведет «к погрому наших финансовых и экономических интересов», и Россия «будет подвергнута такому разорению, с которым никакие бедствия в ее прошедшем сравниться не могут». В другом документе предупреждал Александра II о возможности социальных катаклизмов в империи. «Я глубоко убежден, что война остановит правильное развитие гражданских и экономических начинаний, составляющих славу царствования Его Величества; она причинит России неисправимое разорение и приведет ее в положение финансового и экономического расстройств, представляющее приготовленную почву для революционной и социалистической пропаганды, к которой наш век и без того уже слишком склонен». Но император не внял этим предостережениям.

На плечи М.Х. Рейтерна легла вся ответственность за финансирование будущей военной кампании. Ему пришлось обратиться к традиционным способам: заимствованиям из Государственного банка, выпуску бумажных денег, заключению займов на невыгодных условиях. 10 ноября 1876 года был издан указ о взимании таможенных сборов золотой валютой, что, согласно тогдашнему курсу рубля, означало повышение пошлин на 50%. Эта мера придала таможенной политике протекционистский характер и послужила прологом к введению в России золотого монометаллизма. Следующим шагом, по мнению Рейтерна, должно было стать допущение сделок на звонкую монету. Однако в марте 1877 года Комитет финансов отклонил это предложение, расценив его как подрывающее доверие к рублю и несвоевременное в преддверии эмиссии бумажных денег.

В годы войны, начавшейся в апреле 1877-го, Рейтерну удавалось покрывать экстренные расходы. Однако столкновение с Турцией имело крайне тяжелые последствия для государственных финансов. С 1877 по 1880 год

«Я всю жизнь готовился к должности министра финансов...»

государственный долг возрос на 1,5 млрд рублей. Количество кредитных билетов в обращении увеличилось на 300 млн; золотой и серебряный фонд за 1876–1881 годы сократился на 60 млн рублей; металлическое обеспечение массы бумажных денег уменьшилось более чем в два раза; курс рубля упал, как никогда, низко.

Крушение надежд на экономическое возрождение Рейтерн воспринял как личную драму, его здоровье резко ухудшилось. По словам племянника Михаила Христофоровича, барона В.Г. Нолькена, «из сильного, жизнерадостного и часто веселого он превратился в несколько лет в молчаливого, дряхлого старика». В июле 1878 года, сразу же после заключения мира, министр подал в отставку. А перед уходом вручил своему преемнику С.А. Грейгу «Финансовое духовное завещание». В нем, напоминая о губительных результатах предпринимательской горячки, Рейтерн советовал временно остановиться на достигнутых рубежах: прекратить стимулирование акционерного учредительства, отказаться от строительства новых железных дорог; для ограждения интересов промышленности и торговли — усилить таможенное обложение и сократить импорт. Рейтерн признал беспочвенность надежд на возвращение рублю номинальной стоимости. По его мнению, следовало девальвировать денежную единицу по установившемуся курсу и только тогда открывать свободный размен на золото и серебро. В ожидании лучших времен надлежало принять действенные меры для активизации расчетного баланса и пополнения металлического фонда, узаконить сделки на звонкую монету между частными лицами.

«Завещание» свидетельствовало о том, что его автор пересмотрел свои прежние фритредерские воззрения и перешел на протекционистские позиции. Ему на собственном опыте пришлось убедиться: переносить центр тяжести финансирования промышленности и транспорта на частный сектор — шаг излишне рискованный. Правительство не сумело всесторонне учесть хозяйственную специфику страны: слабость отечественной буржуазии, острую нехватку капиталов, узость внутреннего рынка и пр. При выработке экономической политики не была в должной степени принята во внимание важнейшая особенность России — традиционно мощное, всепроникающее влияние государства на все сферы жизни общества. Поэтому уже в середине 1870-х годов начался возврат к тотальному государственному регулированию экономики: сдерживание акционерного учредительства, прекращение выдачи железнодорожных концессий, установление высоких таможенных барьеров, предоставление Государственным банком неуставных ссуд предприятиям и кредитным учреждениям. Курс на усиление государственного вмешательства в экономику продолжился при преемниках Рейтерна, прежде всего в годы министерской деятельности Н.Х. Бунге.

Уход М.Х. Рейтерна в отставку был обставлен почетно. В правительстве его имя продолжало пользоваться уважением. Между тем к недомоганиям прибавилась болезнь глаз: Михаил Христофорович погрузился в темноту.

Но после убийства царя-освободителя он вернулся к работе. Александр III всячески выказывал расположение к соратнику покойного отца. В октябре 1881 года, по просьбе императора, Рейтерн принял пост председателя Комитета министров. Бывший министр финансов как нельзя лучше соответствовал этой должности: научившись знакомиться с делами на слух, он вникал в детали каждого рассматриваемого вопроса, искусно руководил прениями и подводил итоги совещаний. Он председательствовал также в Главном комитете об устройстве сельского состояния (1881–1882) и Комитете финансов (1885–1890).

В первой половине 1880-х годов Рейтерн принимал участие в обсуждении принципиально важных вопросов внутренней политики и не раз демонстрировал преданность традициям Великих реформ. Он критиковал проект консервативного университетского устава, осуждал репрессии против раскольников и попустительство властей еврейским погромам, поддерживал преобразовательную деятельность нового министра финансов Н.Х. Бунге. Однако окончательная потеря зрения заставила Рейтерна в конце 1886 года уйти с поста председателя Комитета министров. За ним сохранилось членство в Государственном совете и председательство в Комитете финансов. В январе 1890 года, в день пятидесятилетия служебной деятельности, император даровал бывшему министру графский титул. 11 августа этого же года Михаил Христофорович скончался.

Как государственный деятель М.Х. Рейтерн отличался осторожностью и предпочитал постепенное движение к цели, избегал коренных преобразований и гораздо охотнее занимался разработкой частных законодательных актов. Он во многом был «чистым финансистом» и потому меньше внимания уделял проблемам социальной политики. Крестьянский вопрос и преобразование прямых налогов, лежащих в основном на сельском населении, не занимали подобающего места в деятельности министерства. Финансовое ведомство осталось равнодушным также и к законодательному урегулированию взаимоотношений рабочих и владельцев частных предприятий, которое встало на повестку дня после падения крепостного права.

Современники уважали Рейтерна за обширные знания, исключительное трудолюбие, сдержанный и волевой характер, личную честность и бескорыстие, аскетизм в быту. Он так и не обзавелся женой и детьми и все свое время отдавал государственным делам. Уклад его жизни строго подчинялся служебным интересам. Не имея значительного состояния, Михаил Христофорович привык довольствоваться малым. По выражению чиновника финансового ведомства К.А. Скальковского, «он являл поучительный в наш век пример человека, жившего со спартанской простотой среди окружавшей его роскоши».

«Я всю жизнь готовился к должности министра финансов...»

ЕВГЕНИЙ
ИВАНОВИЧ
ЛАМАНСКИЙ

**«Иностранные капиталы
только тогда серьезно
обратятся в Россию,
когда сами русские
капиталы покажут
возможность правильного
употребления...»**

Евгений Иванович Ламанский (1825–1902) принадлежит к числу наиболее известных банковских деятелей России XIX века. Получив блестящее образование и оставаясь крупным ученым — экономистом и географом, он внес значительный вклад в становление и развитие в России акционерных коммерческих банков. Е.И. Ламанский сам основал Общество взаимного кредита в Петербурге, в разное время возглавлял Русский для внешней торговли банк и Волжско-Камский банк, являлся акционером многих известных компаний. Он был не только создателем нового Государственного банка, но и фактическим его руководителем на протяжении 1860-х — начала 1880-х годов.

Хотя с 1860 по 1866 год управляющим Государственным банком официально являлся Александр Людвигович Штиглиц, бывший владелец одного из известных петербургских банкирских домов, именно Е.И. Ламанский выступал основным организатором новой банковской жизни. И сам Штиглиц, по мнению многих, занятием такой высокой должности обязан Ламанскому. Именно он посоветовал кандидату в министры финансов М.Х. Рейтерну предложить место престарелому банкиру, который готов был вот-вот свернуть свои дела в Петербурге и переселиться в Германию. Решающее согласие барона А.Л. Штиглица было получено на званом обеде, устроенном на даче Нессельроде на Каменном острове в Петербурге. Крупный государственный чиновник, министр иностранных дел в отставке К.В. Нессельроде пригласил ведущих представителей кредитно-финансовой сферы страны, в том числе М.Х. Рейтерна, Ю.А. Гагемейстера и Е.И. Ламанского. «Он сперва было отказывался, — вспоминал Е.И. Ламанский, — но когда ему сообщили, что товарищем управляющего предполагается назначить меня с поручением мне ближайшего заведования администрацией банка и операциями и что, таким образом, на нем будет лежать лишь главное руководство деятельностью нового кредит-

ного учреждения, барон Штиглиц принял условно сделанное нам предложение».

А.Л. Штиглиц — европейски известный банкир, и назначение его управляющим Государственным банком оказалось как нельзя более удачным решением правительства для укрепления доверия к новому учреждению. К тому же назначению способствовал и другой, «деликатный» момент. А.Л. Штиглиц находился под покровительством великого князя Константина Николаевича, человека, сыгравшего важную роль в осуществлении либерального курса первой половины царствования Александра II. «Покровительство» Константина легко объяснимо: в семье Штиглиц воспитывалась его внебрачная дочь Н.М. Юнина. В 1861 году она вышла замуж за А.А. Половцова, чье восхождение к вершинам государственной службы тоже началось не без участия великого князя.

В сложившихся условиях Е.И. Ламанскому определили удобную нишу в должности товарища (заместителя) управляющего Государственным банком. Высшее чиновничество России едва ли стерпело бы на таком высоком посту человека, который проходил в свое время по «делу петрашевцев», в эпоху «николаевской реакции» ратовал за освобождение крестьян и придерживался новейших европейских идей, в том числе идеи акционерного эмиссионного центрального банка. Всем необходимо было свыкнуться с новой фигурой. Это понимали как Ламанский, так и благоволившие к нему крупные государственные чиновники.

Образованность была семейной чертой Ламанских, что определило широкий кругозор представителей этой семьи — восьми братьев, в том числе и самого Евгения. Их отец, директор Кредитной канцелярии, а впоследствии сенатор Иван Иванович Ламанский (1794–1879) отдал все силы воспитанию детей. Один из его сыновей, Владимир, стал известным славистом, профессором Санкт-Петербургского университета. Другой сын, Сергей, — химик; он изучал свойства ацетилена, газов, смазочных масел, а также занимался разделом физики, касающимся тепловых спектров света. Яков Иванович Ламанский был директором Технологического института.

Ламанских воспитывали в духе демократизма, в николаевскую эпоху считавшегося крамольным. В лицейских ученических тетрадах Евгения за 1841–1842 годы мы находим следующие записи: «Свобода была единственной целью граждан Рима, и всегда они защищали ее до последней капли крови»; «Деспотизм глубоко пустил свои корни, и униженное рабство надолго осталось в народе русском». Молодой Евгений вместе с братом Порфирием посещали кружок М.В. Петрашевского, за что в 1849 году оба находились под секретным надзором.

Евгений Иванович, несомненно, один из выдающихся представителей своей семьи. Как ученый он получил европейское признание; с 1857 года состоял членом-корреспондентом Венского геологического общества, Французского географического общества, а также корреспондентом Бельгийского статистического комитета. В 1859-м избран членом Российского вольного экономического общества и членом-корреспондентом Петер-

бургской академии наук; в 1861-м — членом-корреспондентом Парижского статистического общества и председателем отделения статистики Русского географического общества. Е.И. Ламанский является автором двух фундаментальных работ по истории денежного обращения в России (написанных в основном на базе законодательных актов и архива отца): «Исторический очерк денежного обращения в России с 1650 по 1817 год» и «Статистический обзор операций государственных кредитных установлений с 1817 года до настоящего времени» (СПб., 1854).

В конце 1850-х в высших кругах о Ламанском говорили как о «восходящем светиле в русской финансовой науке». Еще в 1855 году он был утвержден секретарем Русского географического общества, а в 1857–1858 годах командирован обществом за границу, где познакомился с экономическим и финансовым устройством европейских стран. Во время командировки он посетил А.И. Герцена, и это обстоятельство заметно осложнило его участие в Редакционных комиссиях по отмене крепостного права в России. Известный географ и государственный деятель П.П. Семенов-Тянь-Шанский вспоминал: «Шеф жандармов князь В.А. Долгоруков сообщил Ростовцеву (председателю комиссий. — А.Б.), что во время своего пребывания за границей Е.И. Ламанский посещал Герцена. Яков Иванович по своему прямодушию через меня прямо спросил Ламанского, справедливы ли эти слухи, и, получив утвердительный ответ, поручил мне съездить к шефу жандармов и передать ему, что на государственной службе во время своего посещения Герцена Ламанский не состоял, революционером никогда не был, а ныне назначается членом редакционных комиссий от Министерства финансов по соглашению председателя с министром как очень талантливый финансист».

Среди высоких должностных лиц, вставших на защиту Е.И. Ламанского, был министр государственных имуществ М.Н. Муравьев. Он, вспоминал Евгений Иванович, «всегда относился ко мне с самым горячим расположением». И именно он ходатайствовал перед императором Александром II за молодого ученого и экономиста, которого, вследствие интриг высмеянного впоследствии в прессе министра финансов П.Ф. Брока, обвиняли в «неблагонадежности».

Активно участвуя в работе Редакционных комиссий, Е.И. Ламанский выступал одним из составителей законопроекта о выкупе крестьянских наделов. П.П. Семенов-Тянь-Шанский полагал, что это обстоятельство стало для него своеобразной «путевкой в жизнь» — в создаваемый Государственный банк. На самом деле работа в Редакционных комиссиях была лишь одной из нагрузок Ламанского, который и без нее мог претендовать на влиятельное место в образуемом кредитном учреждении, так как уже занимал высокую должность в Коммерческом банке.

Своим назначением в государственный Коммерческий банк (1859) Е.И. Ламанский обязан министру финансов А.М. Княжевичу и другу семьи, директору Кредитной канцелярии Ю.А. Гагемейстеру. Молодой финансист получил высокую должность старшего директора и начал предпринимать

шаги по реформированию кредитной системы. Одним из важных мероприятий реформы стало создание нового Государственного банка.

На посту товарища управляющего, а с 15 мая 1867 года — управляющего Государственным банком Е.И. Ламанский развернул энергичную деятельность по новому устройству банка. Он написал его устав, 31 мая 1860 года одобренный императором, ввел отчетность и счетоводство по двойным записям по образцу Банка Франции, создал новый порядок обслуживания клиентов вне зависимости от социального положения. Его принципом стал девиз: «Повернуться лицом к клиенту». Родовитость, дорогое шитье на мундирах, роскошные экипажи, обладателям которых сотрудники бывшего Коммерческого банка отдавали предпочтение, теперь утратили прежнее значение: клиентов обслуживали в порядке общей очереди.

Е.И. Ламанский создал собственно коммерческий Государственный банк, содействовавший развитию банков и крупных российских фирм. Только кредит, считал он, является действенной силой развития промышленности, а не сдерживающие конкуренцию искусственные меры, такие как, например, пошлины. Еще находясь в должности товарища управляющего банком, он фактически возглавлял его. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что факсимиле его подписи красовалось на кредитных билетах 1860–1866 годов, хотя это право обычно принадлежало управляющему. Заняв этот пост, Е.И. Ламанский привел устройство и делопроизводство вверенного ему учреждения в полное соответствие с уставом 1860 года. Это касалось как мер в отношении учетно-ссудных комитетов, направленных на сменяемость их членов, так и расширения учетно-ссудных операций.

Ламанский выступил сторонником активного развития вексельного обращения; в качестве пробы начал даже внедрять чековое обращение, не получившее, правда, особого развития вплоть до 1910-х годов. При нем был значительно облегчен перевод денежных сумм и введена система единства кассы. Он создал удобную систему снабжения учреждений Государственного банка кредитными билетами: помимо оборотной кассы были установлены особые запасы бумажных денежных знаков. «Благодаря этому, — вспоминал Евгений Иванович, — усиление нуждающегося в кредитных билетах учреждения банка за счет изобилующего этими билетами учреждения могло быть осуществлено без пересылки билетов из одной кассы в другую».

Е.И. Ламанский приложил большие усилия к увеличению филиальной сети главного банка империи. По его мнению, это — наряду с основанием акционерных коммерческих банков — было частью программы создания новой кредитной системы. Неудача реформы «свободного размена» 1862–1863 годов показала, что преобразования в денежно-кредитной системе не могут проходить лишь в столицах — для их успеха необходимо создание разветвленной сети государственной кредитной системы, распространение ее «вширь». Ламанский вплотную занялся этой проблемой. 10 декабря 1863 года он представил М.Х. Рейтерну план открытия отделений «в ви-

«Иностран-
ные капиталы
только тогда
серьезно
обратятся
в Россию,
когда сами
русские капи-
талы покажут
возможность
правильного
употреб-
ления...»

дах усиления наличности банковской кассы», т.е. в качестве средства для преодоления последствий неудавшейся денежной реформы. Отделения рассматривались как более простая по сравнению с конторами форма провинциальных учреждений. Министр финансов одобрил план и представил его царю. Уже 20 декабря 1863 года Александр II подписал указ об открытии в провинции учреждений Государственного банка.

Напомним, что в 1860 году Государственный банк унаследовал от своего предшественника, Коммерческого банка, всего семь контор; а к 1881 году функционировали уже пятьдесят пять контор и отделений, разбросанных по всей стране и активизировавших торговлю и кредит в разных областях Российской империи. При этом Е.И. Ламанский не ограничивался пребыванием только в Петербурге, он выезжал знакомиться с положением дел в Москву, Нижний Новгород и в южнорусские губернии. Благодарные слова в его адрес посылали купцы разных областей, тихая провинциальная жизнь которых резко изменилась с появлением учреждений Государственного банка. 1 марта 1868 года ему было присвоено звание почетного гражданина города Моршанска, а в начале 1870-х он удостоился высоких отзывов таганрогских купцов.

1870-е годы — кульминационные в деятельности Е.И. Ламанского на этом поприще. Россия преображалась: возникали акционерные коммерческие банки, шло бурное строительство железных дорог, финансы обнаруживали признаки оздоровления. Понятно, что глава Государственного банка играл в этих условиях значительную, иногда — решающую роль.

Государственный банк под началом Ламанского получил большую самостоятельность в структуре Министерства финансов, являясь органом, осуществляющим кредитную политику в стране. Один из недоброжелателей Евгения Ивановича оставил о нем весьма любопытную зарисовку: «Е.И. Ламанский долго играл в русских финансах первенствующую роль. По званию управляющего Государственным банком он был *alter ego* министра финансов, распоряжаясь почти бесконтрольно кредитом, Казначейством (кредитные билеты), торговлей и промышленностью. Только вопросы о налогах были вне его компетенции, хотя и при обсуждении их он играл всегда роль в качестве выдающегося члена податной и тарифной комиссий». О том, что управляющий банком стал одной из самых влиятельных фигур, свидетельствует и тот факт, что его поддержкой хотели заручиться различные благотворительные общества и предпринимательские объединения. В 1869 году он был избран сотрудником попечителя Дома призрения малолетних бедных в Петербурге; в 1875-м — членом Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах. Кроме того, в 1872 году его назначили в члены Совета торговли и мануфактур, а в 1878-м он принимал участие в работе Комитета по созданию добровольческого флота.

Экономический кризис 1873 года и банковский — 1875-го стали неприятными событиями на фоне в целом благополучного развития хозяйства страны. Вопреки укрепившемуся мнению, они не имели сильного

резонанса в обществе и воспринимались как естественные. Судя по прес-се, общество больше интересовало другое: голод в Самарской губернии 1875 года и события в российской Средней Азии — Туркестанском генерал-губернаторстве. К появившимся в печати нападкам Ламанский относился с олимпийским спокойствием, не считая нужным вступать в бесполезные газетные дискуссии.

Служащие, с почтением относившиеся к своему управляющему, вспоминали его времена как едва ли не лучшие для экономического развития страны. Ф.А. Юргенс, высокий чиновник главного банка империи, боготворивший Е.И. Ламанского в 1860–1870-х годах, вспоминал: «Обаятельное его обращение со своими подчиненными, как будто с близкими друзьями, способствовало тому, что служащие старались наилучшим образом исполнять предначертания выдающегося управляющего банком». При этом, по свидетельству современника, Евгений Иванович обладал замечательным свойством: он мало менялся в зависимости от смены должностей или присвоения званий.

Ламанского можно назвать англоманом — не только за его выдержку и тактичность, сочетавшиеся с жесткостью, но и за увлечение английским «экономическим чудом». Англичане, по его мнению, практичны и умны; они превосходно наладили свою денежную систему и окультурили отсталые аграрно-сырьевые колонии. Англия для Евгения Ивановича была образцовой страной, показавшей все преимущества системы свободной торговли.

Он исповедовал фритредерство — идеи свободной торговли и минимального вмешательства государства в экономику. Один из его активных оппонентов, профессор И.Н. Шилль, выражавший интересы дворянства, осуждал Ламанского за «излишнюю западность и буржуазность». Другой называл «единственным фритредером самой чистой воды из русских». Обвинения в «западничестве» стали главными аргументами его противников. Даже благожелательно настроенный к нему директор Кредитной канцелярии Ю.А. Гагемейстер считал, что молодой реформатор не учитывает «исключительного положения» России, пытаясь примерить к ней европейские одежды. Особое возмущение вызвала одна из речей Е.И. Ламанского. В ней он призывал «смягчить» завышенный, по его мнению, таможенный тариф 1857 года, который не только не обогащал казну, а, напротив, — сокращал поступления в бюджет. Финансист считал, что покровительственные таможенные тарифы не способствуют развитию отечественной промышленности. Оппонентом Е.И. Ламанского выступил дворянин и промышленник А.П. Шипов, председатель Московского отделения Мануфактурного совета и Нижегородского ярмарочного биржевого комитета. Речь об отмене таможенного тарифа восприняли критически в связи с последними европейскими событиями. В 1864 году Германский коммерческий съезд вынес решение добиваться понижения таможенных пошлин на немецкие товары. В том же году в России был опубликован перевод записок съезда о заключении торгово-таможенного договора

«Иностран-
ные капиталы
только тогда
серьезно
обратятся
в Россию,
когда сами
русские капи-
талы покажут
возможность
правильного
употреб-
ления...»

с Россией, которая рассматривалась как аграрный придаток Германии, обширный рынок для товаров немецкой промышленности. В заключение обосновывался вывод о необходимости ее развития как сельскохозяйственной страны. Подобные официальные заявления возмутили часть русских купцов.

Понятно, что позиция Е.И. Ламанского насторожила А.П. Шипова. В 1865 году он публикует ставший известным «Ответ г. Ламанскому», в котором настаивает на сохранении покровительственного тарифа. «Предполагая уничтожение наших мануфактур через уничтожение протекционных пошлин, казна может лишиться значительных доходов от акцизов и других налогов, собираемых внутри страны... Направление нашего производства одних сырых продуктов совершенно невозможно по физическому строю нашего государства». Автор статьи признавался, что до 1849 года и сам разделял фритредерские взгляды, но, познакомившись ближе с жизнью России, понял, что жестоко ошибался.

Евгений Иванович всегда отличался корректным отношением к своим оппонентам и вообще не любил заострять внимание на мелочах. Однако по-прежнему был уверен: будущее России — в буржуазном укладе «западного образца», в акционерных коммерческих банках, в строительстве железных дорог и, главное, в крепком и крупном российском капитале. Он понимал, что иностранный капитал сильнее российского и имеет более спекулятивный характер. Кроме того, полагал Ламанский, «дружественная Европа» до тех пор не станет помещать капиталы в России, пока российские капиталы не покажут свою прочность и силу.

Протекционизм Е.И. Ламанский всю жизнь считал ошибочной позицией, «голословными заверениями, проистекающими более из чувства, чем оправдываемые какими-нибудь выводами науки». Впоследствии это определило его скептицизм относительно политики нового министра финансов И.А. Вышнеградского. После повышения в 1887–1889 годах таможенных пошлин практически на все импортные товары Ламанский счел своим долгом сделать публичное заявление против протекционизма. Речь под названием «О важнейших экономических явлениях последнего времени» стала реакцией на инициативу Вышнеградского повысить в 1889 году таможенные тарифы на импортные железнодорожные вагоны и шерсть с декларированной целью собрать в казну дополнительные денежные средства и облегчить конкуренцию отечественных товаров на внутреннем рынке.

В опубликованной речи говорится, что развитие протекционизма в России находится в общей связи с аналогичными процессами в США и европейских странах, исключая Британскую империю. Начало победы протекционизма в Европе связано с 1883 годом — годом экономического кризиса. Кризис был порожден внедрением в производство новых достижений науки, прежде всего использованием энергии пара и электричества, а также изменениями в денежном обращении этих стран, с 1867 года переходивших на золотомонетный стандарт. Однако под благовидными

предложениями поступательного развития национальных экономик, защиты рынка сбыта и рынка рабочего труда от иностранной конкуренции протекционизм приносит обратные плоды. В странах, где он дал обильные всходы, — во Франции, в Германии, Италии, США — замечаются снижение темпов экономического развития, уменьшение торговых оборотов, обострение рабочего вопроса. Протекционизм, который некоторые страны считали лекарством от экономического недуга, лишь усилил болезнь — «только одна Англия осталась верной своим принципам, которые она приняла после уничтожения Пилем хлебных законов». Это не замедлило сказаться на экономическом росте Великобритании и на сглаживании рабочего вопроса. А все потому, что Англия последовательно придерживалась фритредерства — «системы, возникшей на практической почве».

Е.И. Ламанский возглавлял Государственный банк вплоть до 1881 года — года убийства Александра II и резкого понижения курса рубля на мировом рынке. Неудачная попытка управляющего банком поддержать курс путем продажи части золотых резервов не спасла положения: российские и европейские дельцы стали в больших количествах скупать золото и перепродавать его по завышенным ценам. Причину этого явления Е.И. Ламанский объяснял характером акционерных коммерческих банков, которые являлись основными участниками биржевых торгов. Как вспоминал он сам, «основанные в Петербурге частные банки с течением времени приняли характер иностранных банков и контор на акциях, за исключением лишь Волжско-Камского банка, который являлся исключительно русским кредитным учреждением». По его мнению, купцы поступили в этот сложный для России год непатриотично. Тем временем чиновники винили его в том, что он не умеет продавать золото, и говорили о злоупотреблениях (связанных в том числе с участием в акционерных компаниях).

Недолюбливавшие финансиста высокие государственные чины ждали только повода, чтобы избавиться от него. В Государственном банке назначили подписку на очередной заем, и однажды Ламанский приехал туда довольно поздно. По воспоминанию Ф.Г. Тернера, «его стали упрекать в том, что его запоздание воспрепятствовало отчасти успеху займа». Приказом императора Александра III по Министерству финансов от 31 июля 1881 года Е.И. Ламанский был уволен с поста управляющего Государственным банком. Очевидно, здесь сказалось влияние Н.Х. Бунге, незадолго до этого назначенного министром финансов. Хорошо знавший Евгения Ивановича, он не хотел иметь во главе подчиненного ему ведомства независимого управляющего и предпочел назначить его чиновником, «состоящим при министре финансов». Это оскорбило Е.И. Ламанского, который долгое время сам курировал Н.Х. Бунге. Поспешное ходатайство министра сохранить Евгению Ивановичу прежнее годовое жалованье в 6000 рублей не изменило положения — Ламанский подал в отставку. Кресло управляющего занял А.В. Цимсен, известный как послушный и исполнительный чиновник Министерства финансов.

«Иностранные капиталы только тогда серьезно обратятся в Россию, когда сами русские капиталы покажут возможность правильного употребления...»

Надо сказать, что неудача с продажей золота в 1881 году была для Е.И. Ламанского не единственной. Вместе с Н.Х. Рейтерном он разделяет ответственность за огромный убыток (40 млн рублей), вызванный крахом реформы «свободного размена» 1862–1863 годов. Однако даже такие тяжелые для страны потери перевешены достижениями: созданием Государственного банка и формированием новой банковской системы страны.

Еще будучи управляющим, Ламанский принял активное участие в деятельности сразу нескольких кредитных учреждений, созданных по частной инициативе. По оценке историка российских банков И.И. Левина, он «был положительно вездесущ: состоял Председателем Совета Волжско-Камского коммерческого банка... одним из первых акционеров Московского купеческого банка, Председателем Совета Русского для внешней торговли банка, председательствует на первом общем собрании акционеров Сибирского торгового банка; ему принадлежит мысль об учреждении первого общества взаимного кредита; он разработал его устав, предоставил помещение в Государственном банке, был членом Правления с основания до 1870 года, а в Совете состоял до 1879 года». Сам Ламанский вспоминал: «Я остановился на мысли прийти на помощь торговому сословию устройством кредита, специально приспособленного для мелкого люда. Припоминая меры коммерческих потрясений, которые были пережиты в Бельгии и Франции, я пришел к заключению, что достижением намеченной цели должен был содействовать взаимный кредит». Заручившись поддержкой Н.Х. Рейтерна, он начал осуществлять задуманный план. И встретил понимание со стороны торговавших в Петербурге иностранных купцов Э.М. Мейера и Д. Моргана, а также среди таких известных русских капиталистов, как владелец крупного торгового дома Г.П. Елисеев и банкир И.И. Смирнов.

Поводом к учреждению Общества взаимного кредита послужил пожар в Петербурге 28 мая 1862 года, спаливший Шукин и Апраксин дворы со складами разнообразных товаров. Как писал Е.И. Ламанский, большие убытки, которые претерпели русские купцы, во многом произошли из-за отсутствия системы правильно организованного кредита. Следовательно, «учреждение подобного банка, не возбуждая напрасно несбыточных надежд на расширение кредита свыше средств и надобностей, могло вывести кредит на правильную дорогу и дать ему соответственное потребностям удовлетворение».

Евгений Иванович начал реализовывать идею создания Общества взаимного кредита с ее популяризации: написал брошюру, читал публичные лекции в городской думе, чтобы объяснить свою мысль возможно большему числу купцов. Устав общества был скопирован с устава 1848 года Брюссельского общества взаимного кредита (Union du Credit), которое хорошо зарекомендовало себя на родине и послужило образцом для создания подобных организаций в других странах, в частности известного Disconto-Gesellschaft в Берлине.

В 1863 году проект устава Петербургского общества представили на рассмотрение Государственного совета. С некоторыми изменениями, вве-

денными в него Советом (как вспоминал Е.И. Ламанский, «чисто по незнанию дела»), устав был утвержден в том же году. И 17 мая 1864 года Петербургское общество взаимного кредита открылось. Первоначальный его состав определился в триста человек, стоявших у основания, а капитал — в 14 000 рублей. Помещение для общества предоставил Государственный банк. Это было первое в России пореформенной эпохи негосударственное кредитное учреждение. Теперь российские купцы, получившие возможность взять небольшой кредит, почувствовали себя увереннее, стали меньше зависеть от оптовиков и импортеров. В основном членами общества становились купцы 1-й и 2-й гильдий, делавшие взносы от 30 до 5000 рублей. Общество взаимного кредита по своим функциям было акционерным коммерческим банком. Оно принимало вклады и выдавало ссуды из небольшого процента и очень скоро стало отказываться от услуг Государственного банка, предпочитая вести «дело» своими средствами. Как писал Е.И. Ламанский, «успех общества взаимного кредита был полный. Члены общества впервые почувствовали, что они работают у себя дома и что они сами хозяева своего дела и могут не обращаться с просьбами о кредите к учреждению казенному, где надо стараться приобрести благорасположение какого-то начальства. Каждый шел в общество взаимного кредита как к себе, переговаривал о своих нуждах и нес свои наличные деньги со знанием пользы их употребления для своих товарищей».

Состав членов общества заметно расширился: помимо купцов всех трех гильдий оно включило чиновников и разночинцев. Уже на третьем году прибыль на внесенный капитал составила 15% — небывалое прежде явление. В пору промышленного подъема в имевшее успех общество вошли биржевики и спекулятивные дельцы. Разросшийся капитал стал искать новые области размещения. Это происходило в пору зарождения других акционерных коммерческих банков и фирм, в пору бурного развития железнодорожного строительства. Неудивительно, что «новое помещение» денежных средств общество нашло в инвестиционной деятельности, скупая бумаги железнодорожных компаний.

Железнодорожный бум в России начался в 1864 году. Предтечей его было строительство в 1843–1851 годах силами зарубежных специалистов Николаевской железной дороги, которая соединила две российские столицы, и основание в 1857 году Общества российских железных дорог. Такие специфические российские условия, как протяженность расстояний, делали железнодорожное строительство жизненно необходимым. Е.И. Ламанский внес здесь свою лепту: он предложил смотреть на железные дороги как на коммерческое предприятие, приносящее прибыль и обоюдную пользу участникам и потребителям. Он считал, что оптимальным способом строительства железных дорог в России стало бы «соединение капиталов»: российского частного, российского государственного и инвестиционного западного.

После I съезда представителей акционерных коммерческих банков, состоявшегося 24 ноября 1873 года, был образован комитет Съезда. Уже

«Иностран-
ные капита-
лы только тогда
серьезно
обратятся
в Россию,
когда сами
русские капи-
талы покажут
возможность
правильного
употреб-
ления...»

21 декабря 1874-го было утверждено Положение о комитете, который стал постоянно действующим органом этого банковского объединения. Он решал вопросы о единообразии форм отчетности в акционерных коммерческих банках и правил ведения банковских операций, о взаимоотношениях акционерных коммерческих банков между собой и с Государственным банком и т.д. Функции комитета сводились к координационной и унификационной.

Евгений Иванович с момента зарождения Комитета принимал активное участие в его работе. Он был председателем I съезда и руководил его пятой секцией (на ней разбирались вопросы о взаимоотношениях акционерных коммерческих банков с Государственным). Он стал и первым председателем комитета, оставаясь на посту управляющего Государственным банком. Это позволило Е.И. Ламанскому проводить активную политику по отношению к кредитным учреждениям, которым Государственный банк оказывал всемерную поддержку. Его соратниками по комитету выступали известные российские банкиры И.К. Бабст и Г.О. Гинцбург.

Благодаря инициативе Е.И. Ламанского, в деятельность акционерных коммерческих банков была внесена предельная ясность — за счет двойной бухгалтерии «французского» образца. Деление бухгалтерских книг на правую и левую стороны, записи друг против друга по активу и пассиву, дебету и кредиту сменили примитивную форму отчетности. «Французская» система, конечно, по своим корням не была французской — записи по дебету и кредиту восходят к бухгалтерии итальянских банкиров Средневековья; о них говорится в известном «Трактате о счетах и записях» Луки Пачоли конца XV века. Однако опыт работы в Банке Франции, где Ламанский усвоил четкость такой системы, позволил именовать ее «французской». Этот опыт, по его признанию, был использован «для создания целой школы банковских бухгалтеров в России».

Ламанский сформулировал концепцию кредитования Государственным банком акционерных коммерческих банков: выдаваемые кредиты не служат расширению операций, а идут на формирование резервного фонда, который расходуется на покрытие возможных убытков. Этим достигается большая устойчивость банков. Таким образом, государственный кредит — это «временный и запасный ресурс, открытый... на случай нужды и к которому обращаться следует только в исключительных случаях, в особенности при внезапном значительном востребовании вкладов и текущих счетов».

Деятельность комитета протекала неравномерно, и после активного начала наступило некоторое затишье — до тех пор, пока им вновь не занялся банкир и чиновник, общественный деятель, трудолюбивый и очень напористый человек Е.И. Ламанский. К тому времени он занимал кресло председателя Совета Волжско-Камского коммерческого банка, и в начале 1895 года, по инициативе чиновника особых поручений при министре финансов А.К. Голубева, взялся за возрождение Комитета. Ламанский обратился с циркулярным письмом к правлениям акционерных коммер-

ческих банков, предложив принять участие в финансировании деятельности канцелярии комитета. Большинство банков откликнулись на призывы. Благодаря их финансовой поддержке возобновилась издательская деятельность комитета. Ближайшее руководство деятельностью канцелярии взял на себя Евгений Иванович, и с 1895 года в свет выходили сводные ежемесячные балансы акционерных коммерческих банков и балансы обществ взаимного кредита. Начиная с 1896 года комитет стал издавать справочную книгу «Русские банки»; она имела большой успех и быстро раскупалась. Кроме того, был издан обширный труд «Статистика краткосрочного кредита», посвященный операциям акционерных банков коммерческого кредита в 1894–1895 годах. Комитет сделался издательским центром акционерных коммерческих банков обширной Российской империи. Е.И. Ламанский оставался его председателем до 1902 года — года своей кончины.

С выходом в отставку в 1882 году он не занимал крупных государственных постов. Правда, сосредоточившись на деятельности в комитете и Волжско-Камском коммерческом банке, этот энергичный человек находил время и для других организаций. Участвовал в работе Петербургской городской думы и Петергофского уездного земства; три года был председателем III отделения Вольного экономического общества. Е.И. Ламанского нередко приглашали читать лекции — в научных кругах его знали не только как экономиста, но и как географа. В 1880-х годах он занимался вопросами банковской системы, денежного обращения и кредита в Италии, а также собирал материалы по истории, культуре и экономике Индии.

В глазах крупных чиновников он потерял прежнее влияние — некоторые бывшие знакомые отошли от него. Граф Н.П. Игнатьев, посещавший известные в свое время в Петербурге «экономические обеды», где дискутировались различные экономические и политические проблемы, выступил одним из инициаторов его отставки. Ф.Г. Тернер, занимавший высокие посты в Министерстве финансов, проявлял высокомерие. Худшая черта чиновничьего Петербурга: человека забывали после его ухода с должности. Тем не менее фигура Е.И. Ламанского оставалась в поле зрения известных деятелей. В частности государственный секретарь А.А. Половцов одно время считал возможным привлечь его к работе Государственного совета. Однако резкие высказывания против министра финансов Н.Х. Бунге и проводимой им денежно-кредитной политики заставили чиновника быть более осторожным в этом вопросе.

Дружеские отношения между Е.И. Ламанским и Н.Х. Бунге испортились в результате ревностного отношения Ламанского к своему бывшему подчиненному, которого в 1862 году именно по его рекомендации назначили управляющим Киевской конторой Государственного банка. Евгений Иванович болезненно воспринимал повышение Бунге до министра финансов и в то же время свою отставку. В декабре 1885 года, когда над Бунге «сгушались тучи», в качестве его возможных преемников звучали фамилии А.А. Абазы, Д.М. Сольского, М.Н. Островского — и Е.И. Ламан-

«Иностран-
ные капита-
лы только тогда
серьезно
обратятся
в Россию,
когда сами
русские капи-
талы покажут
возможность
правильного
употреб-
ления...»

ского. Однако и на этот раз фортуна обошла стороной бывшего управляющего: кресло министра финансов в 1887 году занял И.А. Вышнеградский, которого считали креатурой консервативных кругов.

Академик В.П. Безобразов (как и Е.И. Ламанский, выпускник Царско-сельского лицея) был одним из немногих, кто сохранил с Евгением Ивановичем дружественные отношения. Хотя и склонный говорить о злоупотреблениях Е.И. Ламанского, он возмущался двуличием вчерашних коллег. Когда в апреле 1887 года избирали председателя «экономических обедов», большинство приглашенных крупных чиновников и экономистов проголосовали против кандидатуры Евгения Ивановича. Как вспоминал В.П. Безобразов, бывший управляющий «с удивительным смирением все-му подчинился».

Управляющий Государственным банком очень болезненно переживал свою отставку с этого поста. И в отчаянии подал просьбу о полной отставке с государственной службы, отказавшись от получения причитавшейся ему пенсии. Он говорил А.А. Половцову: «При учреждении Государственного банка мне дали 15 миллионов, и в течение двадцати лет я давал правительству ежегодно 8 миллионов прибыли; что касается до денег, розданных мной в займы, то, во-первых, еще ни одна копейка не пропала, а во-вторых, я исполнял определительно выраженное мне Рейтерном и самим государем желание, чтобы война (имеется в виду Русско-турецкая война 1877–1878 годов. — АБ.) прошла без внутренних финансовых потрясений, без банкротств, как это и делалось».

Оставаясь в стороне от управления, Е.И. Ламанский живо интересовался банковской политикой Министерства финансов и взглядами на решение макроэкономических задач. Он болезненно воспринимал отход от принципов автономии главного банка империи и его коммерческого характера. И поэтому положительно отзывался о деятельности М.Х. Рейтерна, критикуя при этом политику Н.Х. Бунге, который, по мнению Ламанского, превратил Государственный банк в подчиненное Казначейству учреждение: «банк сделался оброчной статьей в государственном бюджете». Нарекания финансиста вызывали такие действия министерства, как задержка распределения прибыли и ее зачисление в ресурс Казначейства, «устранение банка от возложенных на него ликвидационных операций» (по ликвидации долгов дореформенных казенных банков. — АБ.). Это способствовало «вторжению государства в область частных коммерческих интересов» и замещению основных функций банка, призванного поддерживать в стране «как самостоятельное развитие торговли и промышленности, так и прочный государственный кредит, основанный на собственных силах народа». Ламанский полагал, что сформулированные им в конце 1850-х — начале 1860-х годов принципы устройства Государственного банка совершенны, и никогда не подвергал их сомнению. А их нереализованность считал лишь следствием ряда причин, в частности сопротивления представителей высшего слоя бюрократии, слабо подготовленной к пониманию его идей.

Осторожно Ламанский относился и к новациям нового министра финансов И.А. Вышнеградского. В феврале 1888 года глава финансового ведомства представил в Государственный совет законопроект о допущении «при обязательном и неразменном обращении кредитных билетов сделок, в виде исключения, на золотую валюту». Правда, проект был взят обратно для предварительного обсуждения с представителями от биржевого комитета в специально созданной комиссии, которая заседала в марте 1888 года. Реакция бывшего управляющего Государственным банком проявилась очень скоро: 19 марта того же года он опубликовал статью «Сделки на золотую валюту как средство к улучшению бумажно-денежного обращения». «Что могут сделать в этих условиях сделки на звонкую монету, когда нет оснований и потеряна всякая система в бумажном неразменном обращении?» — спрашивал автор. На примере финансовой истории Италии 1860–1880-х годов он показал, что достижение свободного размена возможно лишь при поэтапном осуществлении ряда продуманных мер. Как известно, в Италии свободный обмен банкнот на звонкую монету ввели в 1883 году, хотя осуществление необходимых мер началось уже в 1870-х. В 1874 году в этой стране был принят закон о частичном допущении сделок на звонкую монету. Путем консолидации внутреннего государственного долга и увеличения золотого запаса, в том числе за счет большего собирания налогов, Италии удалось провести реформу свободного размена.

Е.И. Ламанский считал, что для России проект 1888 года — лишь официальные полумеры, которые ни к чему не приведут. Во многом такое скептическое отношение было связано с воспоминаниями о провале реформы свободного размена 1862–1863 годов. Недооценив высокие способности И.А. Вышнеградского, Ламанский ожидал, что он на посту министра финансов повторит его более ранние ошибки. Однако, как показала история, именно Вышнеградскому удалось создать бездефицитный государственный бюджет и устойчивое высокое положительное сальдо во внешнеторговом балансе, а также накопить большой золотой запас. Благодаря чему стало возможным проведение долгожданной денежной реформы 1895–1897 годов, в результате которой бумажный рубль стал свободно размениваться на золотую монету.

Пришедший в 1892 году министр финансов С.Ю. Витте уважал Ламанского; их роднили некоторые черты характера: напористость, трудолюбие, ответственность. Витте пригласил шестидесятилетнего Ламанского, остававшегося все еще подвижным и активным, в Особую комиссию по пересмотру устава Государственного банка. Евгений Иванович принял в работе самое деятельное участие. Однако его мышлению и экономическому кругозору не хватало новизны; казалось, он пребывал в экономических реалиях любимых им 1870-х. Не разделяя взглядов протекционистов и осторожно относясь к политике Витте по расширению кредитования отечественных производителей, Ламанский был уверен, что устав Государственного банка 1860 года не нуждается в коренных изменениях.

«Иностран-
ные капиталы
только тогда
серьезно
обратятся
в Россию,
когда сами
русские капи-
талы покажут
возможность
правильного
употреб-
ления...»

Опасения вызвала прежде всего брошенная заместителем министра финансов А.Я. Антоновичем фраза о «валюте честности и ума» — такое «обеспечение», по мнению Евгения Ивановича, могло способствовать только росту убытков банка по учетно-судным операциям. Несогласие обнаружилось и по вопросу о расширении компетенции управляющих учреждениями банка. В декабре 1892 года, по инициативе министра финансов, было испрошено разрешение императора на учет векселей учреждениями Государственного банка самостоятельно, без оценки учетно-судного комитета. Узнав об этом, Ламанский заметил: найдутся такие управляющие, которые «охотно в своем личном интересе будут учитывать векселя». Это замечание, к сожалению, скоро оправдалось.

Ламанский показал себя сторонником «банковской политики» Государственного банка, решительно протестуя против соло-векселей как недостаточно обеспеченных в платеже и осторожно относясь к подтоварному кредиту, кредиту крестьян и кустарей. По его мнению, неизблежным оставалось то основание кредита, которое заложено в его надежном обеспечении. Очевидно, несогласие Ламанского с Витте по вопросам денежно-кредитной политики привело к тому, что Евгения Ивановича не пригласили к участию в комиссиях по денежной реформе 1895–1897 годов, в удачном завершении которой он, судя по всему, сомневался.

Параллельно с деятельностью в комиссии по пересмотру устава Государственного банка Ламанский готовил к изданию обширный труд, посвященный экономике и истории Индии и составленный из материалов публичных лекций. Он вышел в 1893 году в петербургской типографии газеты «Новости» под названием «Индия: I. О неурожаях в Индии. II. Современная Индия». Нетрудно догадаться, что при довольно конкретном уме автора в этой работе отразились конкретные российские реалии: неурожай 1891 года и последовавший за ним «голодный» 1892-й (по признанию Витте, самый страшный голод в истории России XIX века).

Ламанский обнаруживает много общего между Индией и Россией и в области сельского хозяйства вообще, и в определяющем влиянии неурожая на развитие общества. В предисловии он пишет, что с этой точки зрения Россия приближается к Востоку. В Европе, несмотря на высокую плотность населения, даже в самые трудные годы неурожая не имели таких последствий, как в азиатских странах. Исследователь хочет познакомить читателя с тем, что сделали в Индии «практичные англичане», «тем более что характер сельской промышленности, некоторые формы землевладения, способы обработки земли и другие черты индийского населения до некоторой степени напоминают то, что мы наблюдаем в нашем Отечестве».

В книге рассмотрены главным образом государственное устройство и экономика Индии, в том числе и вопросы денежного обращения. Значительная ее часть посвящена проблеме неурожая; автор подробно останавливается на государственных мероприятиях по борьбе с ними. Роль государства велика как в России, так и в Индии. Однако, полагает Ла-

манский, необходимо известное ограничение его функций: государство «безусловно должно держаться принципа невмешательства в обычные обороты хлебной торговли». Правительство может оказывать помощь землевладельцам путем налоговых льгот (при условии что землевладельцы подобные льготы будут предоставлять своим арендаторам), а также путем выдачи ссуд мелким землевладельцам, оказавшимся из-за неурожая в затруднительном положении. Ссуды целесообразно выдавать и крупным землевладельцам — при условии что они воспользуются ими для производительных расходов.

Ламанский подробно останавливается на государственных мерах помощи местностям, пострадавшим от неурожая: создание оптимального плана действий с учетом сбора всех сведений о положении в стране; раздача бесплатных пособий; организация домов для бедных; надзор за деревнями и снабжение их продовольствием; устройство запасных хлебных магазинов. Таким образом, книга об Индии написана как руководство для решения российской проблемы голода — периодически возникающей и пагубно сказывающейся на народном хозяйстве.

31 января 1902 года просвещенная Россия узнала о смерти Е.И. Ламанского. Его похоронили 3 февраля на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. От Государственного банка на его могилу возложили золотой венок, что для того времени было проявлением большого уважения к заслугам усопшего. Почти все известные столичные газеты сообщили о кончине известного финансиста, написав о «большом значении в правящих сферах и огромной популярности в обществе».

На страницах «Нового времени» А.С. Суворин вспоминал: «Я не раз слышал его речи и в думе, и на лицейских юбилейных обедах 19 октября, и всегда речи эти производили впечатление, выделялись среди прочих речей. В них чувствовалась самобытный ум и сильный характер». Автор некролога, помещенного в журнале «Народное хозяйство», описал Е.И. Ламанского как «человека большого ума», который «обладал редкими для непрофессионального ученого специальными познаниями», как «крупную личность», формировавшую вокруг себя среду единомышленников: «Ламанский являлся душой всей нашей банковской политики, как она определилась в 1860–1870-е годы. Таким образом, история ему поставит и хорошее, и дурное этой политики в актив и пассив его деятельности».

В 1903 году была опубликована небольшая книга об этом «выдающемся деятеле». Книгу написал хорошо знавший его (особенно в последние годы) Ф.А. Юргенс: «Ламанский выделялся по широте и глубине мыслей и представлял наиболее яркий тип характера великой преобразовательной эпохи 60-х годов. Его крупная заслуга состояла в направлении развития и умножения материального благосостояния государства и поднятия экономического положения, за что на страницах истории имя Ламанского причислится к числу наиболее выдающихся лиц, способствовавших культурному развитию России».

«Иностран-
ные капиталы
только тогда
серьезно
обратятся
в Россию,
когда сами
русские капи-
талы покажут
возможность
правильного
употреб-
ления...»

В память о Евгении Ивановиче сослуживцы установили в здании Общества взаимного кредита на Екатерининском канале в Петербурге его бюст, а также памятную доску. В Государственном банке был создан специальный фонд имени Е.И. Ламанского: из него давались пособия детям малоимущих служащих на получение образования.

Уходя из жизни, Е.И. Ламанский оставил абсолютно изменившийся мир, отличный от времен его молодости. «Великие реформы», банки и железные дороги, прочный государственный кредит — в этих достижениях эпохи Евгений Иванович принимал самое активное участие. Но главным и зримым памятником его деятельности останется, пожалуй, Государственный банк — детище, созданное под влиянием европейских образцов и надолго пережившее своего основателя.

НИКОЛАЙ
ХРИСТИАНОВИЧ
БУНГЕ

«Калоши и зонтик мои
в порядке — я готов уйти
отсюда каждую минуту...»

Среди преобразователей России Николай Христианович Бунге (1823–1895) до сих пор остается недооцененным реформатором. Между тем это одна из интереснейших политических фигур XIX столетия: видный ученый-экономист, известный общественный деятель и публицист, участник Великих реформ 1860-х годов. Уже на склоне лет судьба вознесла его на самую вершину бюрократической пирамиды. На посту министра финансов (1881–1886) Бунге инициировал ряд социально-экономических преобразований. Он вошел в историю как крупнейший реформатор царствования Александра III, непосредственный предшественник С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.

Н.Х. Бунге родился в Киеве 11 ноября 1823 года в дворянской семье немецкого происхождения. На склад его ума и характера заметное влияние оказали образ жизни и традиции многочисленного семейного клана, в котором издавна культивировались трудолюбие и любовь к знаниям. Дед Н.Х. Бунге, Георг-Фридрих, переехавший в Киев из Восточной Пруссии в середине XVIII века, был фармацевтом и владельцем первой в городе частной аптеки, избирался членом Вольного экономического общества. Его сыновьям и внукам удалось многого достичь на научном поприще. Отец будущего министра финансов, Христиан Георг, получил в Йенском университете степень доктора медицины и специализировался главным образом на лечении детских болезней, служил в Киевской духовной академии, военном госпитале, а после выхода в отставку занимался частной практикой. Мать, Екатерина Николаевна (урожденная Гебнер), происходила из обрусевшей немецкой семьи.

В 1841 году Николай Христианович с золотой медалью окончил 1 киевскую гимназию и поступил на юридический факультет Университета св. Владимира. На студенческой скамье началось увлечение вопросами экономики и финансов, которое и определило круг его научных интересов. Получив степень кандидата законовещения, Бунге с 1845 по 1850 год читал курс о законах казенного управления в лицее кн. Безбородко в Нежине. В своих лекциях он сверх установленной программы излагал основы политической экономии. В 1847 году Николай Христианович защитил магистерскую диссертацию о торговом законодательстве Петра I. По

образованию и воспитанию он был либералом-западником, истинным «человеком 40-х годов» и с юных лет испытывал неприязнь к крепостничеству, деспотизму, произволу и коррупции. В Нежине Бунге сблизился со свободомыслящими преподавателями и, по словам своего ученика Е.Э. Картавцова, стал «душой и главой кружка, горячо сочувствовавшего проповеди Грановского и Белинского, — кружка, не скрывавшего отрицательное отношение свое к тогдашним язвам русского общества — крепостному праву и взяточничеству — и искавшего идеалов на Западе».

В 1850 году Бунге был переведен в Университет св. Владимира, где на протяжении трех десятилетий преподавал политическую экономию, статистику и полицейское право. В 1852 году он защитил докторскую диссертацию по теории кредита и получил звание профессора; с 1859 по 1862 год, с 1871 по 1875 и с 1878 по 1880 год занимал пост ректора. Его научные воззрения формировались под влиянием школ западной политэкономии. В 1840–1850-е годы Бунге выступал сторонником идей экономического либерализма с их апологией частной собственности, свободы предпринимательства и конкуренции. Он во многом разделял мнение А. Смита и других теоретиков классической школы о невмешательстве государства в экономическую жизнь. В своих работах резко критиковал теории социализма, называя его «злом, от которого гибнут нравственность, долг, свобода, личность». Особое неприятие у Бунге вызывали идеи марксизма. Причину их популярности он видел в том, что К. Маркс «обращается к хищническим инстинктам обездоленного человечества»; в действительности же следование его рецептам может привести только «в царство деспотизма большинства и всеобщего рабства». В этом духе Николай Христианович воспитал многих учеников, создав «киевскую школу экономистов», одну из крупнейших в России. Его последователей (Д.И. Пихно, А.Д. Билимовича и др.) объединяли критика трудовой теории стоимости, преимущественное внимание к практическим вопросам экономической политики и отрицание социалистической доктрины.

Авторитет Бунге как ученого и педагога был настолько высок, что в 1863 году он был приглашен для преподавания «науки о финансах» наследнику престола великому князю Николаю Александровичу. Интеллигентный и эрудированный профессор из Киева понравился царской семье. Вскоре к изучению финансов на некоторое время присоединился и другой сын императора — великий князь Александр Александрович, вскоре, после смерти старшего брата ставший наследником. Будущий Александр III пленился ясным умом и обаянием личности наставника. Знакомство с императорской фамилией имело впоследствии огромное значение для взлета карьеры Бунге.

Николай Христианович был деятельной натурой, не замыкался в тиши профессорского кабинета и стенах университетских аудиторий. В годы общественного подъема, начавшегося после поражения России в Крымской войне, он принял активное участие в движении либеральной интеллигенции. В Киевском университете возникла «прогрессивная партия», ядром

которой стал триумвират: Н.Х. Бунге, профессор отечественной истории П.В. Павлов и профессор всеобщей истории В.Я. Шульгин. Несмотря на свою молодость, Николай Христианович был главой этой группы. Он поддерживал также тесные связи со столичными либералами, прежде всего с петербургским кружком К.Д. Кавелина и братьев Н.А. и Д.А. Милютиных, в котором разрабатывались теоретические основы и конкретные проекты будущих преобразований. Бунге выдвинулся и как известный публицист, выступавший в печати по самым актуальным проблемам современности. Он — постоянный автор «Русского вестника», «Отечественных записок», «Экономического указателя» и других ведущих периодических изданий.

Бунге принадлежит к плеяде творцов Великих реформ. В 1859–1860 годах он был членом-экспертом Редакционных комиссий, учрежденных для подготовки проекта освобождения крестьян от крепостной зависимости. Николай Христианович сразу же примкнул к либеральному большинству и на заседаниях общего присутствия комиссий последовательно отстаивал основные принципы будущего преобразования: освобождение крестьян с землей за выкуп, их право на бессрочное пользование наделами и неизменность повинностей. Особенно велика его заслуга в разработке важнейшего звена реформы — выкупной операции. Одновременно Бунге входил в состав комиссий по реформированию системы кредитных учреждений и устройству земских банков. В 1861–1862 годах участвовал в комиссии Министерства народного просвещения и внес свой вклад в разработку либерального университетского устава, утвержденного в 1863 году.

Бунге навсегда сохранил верность идеалам этой эпохи. Тогда окончательно сформировались его политические убеждения, он прочно усвоил западные ценности с их гуманистической направленностью. В его воззрениях отразились особенности российского либерализма 1850–1860-х годов. Признание приоритета человеческого разума, вера в самоценность свободной личности, преданность идеям гласности и правопорядка сочетались у либералов с представлением о самобытности российской государственности и ее исключительном значении в истории России; с приверженностью монархической форме правления; ярко выраженным антирадикализмом; отказом от конституционных лозунгов (но без отрицания конституционализма в принципе).

Бунге считал самодержавную форму правления наиболее соответствующей историко-географическим условиям страны и особенностям национального самосознания. Он рассматривал абсолютную монархию как «всесловный» институт и верил в ее способность к решению назревших экономических и политических задач. Приверженность тезису об инициативной роли государства в проведении преобразований вообще характерна для либеральных кругов того времени. Вместе с тем Бунге выступал за европеизацию «верховой власти», органический синтез западных и исконно русских начал. Его политический идеал — монархия, основанная на законности, гласности и местных выборных учреждениях.

«Калоши
и зонтик мой
в порядке —
я готов уйти
отсюда каж-
дую минуту...»

Со второй половины 1860-х годов в политике правительства усилились консервативные тенденции, и Бунге перестали приглашать в Петербург для участия в разработке реформаторских проектов. Но он находил применение своей энергии. Еще в 1862 году Николая Христиановича назначили по совместительству управляющим третьей в стране по величине и значению Киевской конторой Государственного банка. Это позволило ему на практике овладеть искусством финансовых операций и заслужить репутацию опытного администратора. По инициативе Бунге в 1868 году были основаны Киевское городское общество взаимного кредита (некоторое время он являлся его управляющим) и первый в России провинциальный акционерный банк (Киевский частный коммерческий), а в 1871 году — Киевский промышленный банк. При поддержке Николая Христиановича в городе возникло Биржевое общество (1869), которому он помог получить земельный участок и средства для строительства здания биржи. Причем сам Бунге, человек редкого бескорыстия, не принимал никакого личного участия в коммерческой деятельности. Когда в городе ввели общественное самоуправление, его сразу же избрали гласным Думы. Он с увлечением погрузился в дела городского хозяйства, председательствовал в финансовой комиссии, которой поручались составление городских смет и контроль над их исполнением. Дума неоднократно просила Бунге занять пост городского головы, но он всякий раз отклонял эти предложения, ссылаясь на занятость в университете.

Своим главным делом Николай Христианович считал изучение проблем народного хозяйства России. В своих научных и публицистических работах он много размышлял о задачах экономической политики и выдвинул ряд предложений, которые в совокупности составили комплексную программу преобразований. Для смягчения крестьянского малоземелья Бунге выступал за отмену фискально-принудительных функций сельской общины (круговой поруки крестьян в уплате податей и жестких паспортных правил), за организацию массового переселения малоземельных крестьян на окраины империи и создание мелкого ипотечного кредита. В целях облегчения финансового бремени крестьянства он рекомендовал упразднить соляной налог и подушную подать, понизить выкупные платежи и вместе с тем установить налоги на доходы от земли, недвижимых имуществ и промыслов. По его мнению, эти меры в будущем стали бы основой для введения единого подоходного налога. После освобождения крестьян остро стояла также проблема урегулирования взаимоотношений между наемными рабочими и хозяевами. Бунге предлагал принять законы об охране труда, разрешить создание рабочих ассоциаций и допустить участие рабочих в прибылях предприятий.

В целях реорганизации финансового управления Бунге считал необходимым завершить преобразования, предпринятые министром финансов М.Х. Рейтерном и государственным контролером В.А. Татариновым. Речь шла о введении единого финансового плана, обязательного для всех министерств; строгом соблюдении принципов бюджетного и кассового

единства; ограничении несоразмерных с ресурсами казны ассигнований на содержание государственного аппарата; усилении контроля и гласности при осуществлении ведомственных расходов. Особое значение для стабилизации финансов Бунге придавал упорядочению расстроеного в Крымскую войну денежного обращения. В ряде статей он изложил свой проект повышения курса рубля до серебряного номинала путем извлечения из оборота неразменных на звонкую монету кредитных билетов и накопления значительного золотого и серебряного фонда.

Много места в трудах Бунге отведено проблеме соотношения частного предпринимательства и государственного участия в экономической жизни. Их автор продолжал рассматривать личную инициативу как главный двигатель прогресса. В пореформенные десятилетия выступал за отчуждение в частные руки государственных имуществ (земель, лесов, фабрик, заводов) и широкое развитие акционерного учредительства. Вместе с тем он учел отрицательные явления периода предпринимательской свободы: биржевой ажиотаж, спекулятивное грюндерство, расхищение акционерных капиталов, злоупотребление казенными кредитами, массовое разорение акционеров и вкладчиков частных банков и т.д. Больше внимания, чем прежде, Бунге начал уделять особенностям народного хозяйства России. Он пересмотрел свои прежние фритредерские взгляды и эволюционировал к умеренному протекционизму.

Как экономист Бунге стал главным образом ориентироваться на идеи теоретиков немецкой исторической школы (В. Рошера, Б. Гильдебрандта, К. Книса). Стремлению фритредеров к всемирной глобализации они противопоставляли национально-государственные интересы, критиковали А. Смита за «космополитизм», оспаривали трактовку «естественных» экономических законов как универсальных для всех стран и времен. Отвергая «абстрактную» модель, В. Рошер и его последователи выступали за «национальную» политэкономия, предметом которой должна стать хозяйственная эволюция определенного народа. Интересы нации историческая школа ставила выше интересов отдельного индивидуума и считала государственное регулирование экономики не только возможным, но и необходимым.

Эти идеи получили отражение в программе Бунге, который признал за протекционизмом «историческое значение» и высказался за таможенное покровительство отечественной промышленности. Иначе стал он подходить и к задачам развития железнодорожного транспорта. Поначалу ратуя за пробуждение «духа предприимчивости» в строительстве новых линий, к середине 1870-х он высказался за выкуп нерентабельных частных линий в собственность государства и указал на некоторые преимущества казенного железнодорожного хозяйства. Это было связано с негативными последствиями учредительской горячки, кризисным состоянием железнодорожной сети и ростом задолженности акционерных обществ Казначейству.

Рассуждая о проблемах народного хозяйства России, Бунге учитывал опыт передовых индустриальных держав. Его заслуга заключалась в пропаганде западных экономических теорий и оценке возможностей их

«Калоши
и зонтик мой
в порядке —
я готов уйти
отсюда каж-
дую минуту...»

практического применения в России. Вместе с тем он стремился к рациональному применению европейских моделей в специфических условиях отсталой страны. Направленность его программы на подъем жизненного уровня и укрепление правового статуса «низших классов» отличали ее от программных документов финансового ведомства, которые, как правило, составлялись из чисто фискальных соображений. Причины такого «народолюбия» объяснялись как гуманистическим мировоззрением, так и здравым смыслом экономиста-прагматика, понимавшего, что при нищете населения невозможно полноценное развитие народного хозяйства. По мнению Бунге, последовательная социальная политика, проводимая «верховой властью», является залогом не только экономического прогресса, но и мирной эволюции государства, лишая почвы всевозможные «разрушительные» теории.

В целом программа эта достаточно реалистична. Она соответствовала потребностям страны в корректировке законодательства 1860-х годов, так как к концу царствования Александра II стало ясно, что освобождение крестьян и другие реформы не дали ожидаемых результатов. Вопросы, поднятые в работах Бунге, в те годы были у всех на устах, их обсуждали в публицистике, земских собраниях и правительственных комиссиях. Его программа, отражавшая чаяния либеральных кругов, получила известность и признание в обществе. Все это способствовало привлечению Николая Христиановича к государственной деятельности. Он оказался лицом к лицу с задачами, которые были поставлены на очередь отменой крепостного права, но так и не решены правительством в первые пореформенные десятилетия.

Назначение Бунге на министерский пост состоялось в момент национального кризиса, наступившего после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Страна переживала настоящую финансовую катастрофу: бюджет сводился с огромным дефицитом, резко возрос государственный долг, курс рубля неудержимо падал. Экономика была поражена промышленным и мировым аграрным кризисами. Террор «Народной воли» вызвал в верхах настоящее смятение. Давление на правительство усиливалось и со стороны растущей земской оппозиции. Самодержавие оказалось перед дилеммой: либо немедленно выдвинуть новую программу реформ, способную увлечь общество, либо пойти на ужесточение режима. В этой ситуации преследуемый террористами Александр II предпочел первый путь.

С февраля 1880 года власть в правительстве перешла к группировке либеральных бюрократов во главе с председателем Верховной распорядительной комиссии (с августа 1880 года — министром внутренних дел) графом М.Т. Лорис-Меликовым. Он рассматривал возврат к реформаторскому курсу как единственную гарантию сохранения в России существующего строя и стал выдвигать на руководящие посты людей, солидарных с его замыслами и пользующихся доверием общества. По его рекомендации и при поддержке великого князя Александра Александровича в июле 1880 года Бунге получил должность товарища министра финансов С.А. Грейга.

В сентябре 1880 года Бунге, по распоряжению императора, составил всеподданнейшую записку, в которой наметил основные пути антикризисной политики финансового ведомства. Казалось, подобное поручение свидетельствовало о намерении Александра II сделать Бунге министром финансов. Но Лорис-Меликов спустя месяц предпочел «испросить» этот пост для своего ближайшего единомышленника — председателя Департамента государственной экономии Государственного совета А.А. Абазы, который обладал большим весом в верхах и мог оказать графу более действенную поддержку. Однако по уровню компетентности в специальных финансовых вопросах Н.Х. Бунге заметно превосходил своих коллег по либеральной коалиции: Лорис-Меликов и его окружение при подготовке преобразований старались опереться на его высокий научный авторитет.

Обновленное руководство Министерства финансов совместно с Министерством внутренних дел в ноябре 1880 года добились отмены соляного налога; вынесло на обсуждение в Государственный совет вопрос о понижении выкупных платежей, сложении накопившихся недоимок и переводе бывших помещичьих крестьян на обязательный выкуп; приступило к упорядочению денежного обращения, выкупу железных дорог в казну и пересмотру таможенных пошлин. Но период либеральных надежд оказался кратковременным. Бомба, взорвавшаяся на Екатерининском канале 1 марта 1881 года, не только сразила Александра II, но и разрушила планы Лорис-Меликова и его соратников. Новый император, не склонный к реформаторским устремлениям, издал знаменитый манифест 29 апреля 1881 года о незыблемости самодержавия. Предложение Лорис-Меликова о привлечении «общественных элементов» к участию в разработке и обсуждении законов было отвергнуто. Однако самодержец во многом соглашался с инициативами, касающимися оздоровления экономики и финансов. Поэтому, несмотря на отставку ведущих либеральных деятелей с министерских постов, Н.Х. Бунге был назначен главой финансового ведомства. Немалое значение имело и личное расположение императора к Николаю Христиановичу: Александр III считал его «превосходным, благородным, без задних мыслей человеком».

Назначение Бунге в общество восприняли с воодушевлением. В этом видели признание авторитета науки и необходимости специальных знаний для руководства экономической политикой. И действительно, Николай Христианович и на министерском посту во многом оставался профессором: действовал всегда осторожно, с обдуманностью ученого, тщательно взвешивая последствия каждого шага. В чиновничьем Петербурге он выглядел инородным элементом. Современников поражали в нем глубокая интеллигентность, скромность, полное отсутствие бюрократических амбиций и склонности к саморекламе. О демократизме Бунге ходили легенды. Стремительное возвышение никак не отразилось на его характере и поведении. Он был по-прежнему прост, доступен и вежлив с любым человеком, будь то канцелярист или министр. Николай Христианович никогда не был женат и, по собственному признанию, любил

«Калоши
и зонтик мой
в порядке —
я готов уйти
отсюда каж-
дую минуту...»

«уединение среди жизни шумной». Главный казначей огромной империи отличался поразительной неприхотливостью в быту: он отказался от большей части роскошной министерской квартиры, на доклад к императору отправлялся на простом извозчике и при этом регулярно жертвовал деньги на нужды учащейся молодежи.

Новую должность Бунге принял с неохотой, сознавая всю трудность своей миссии. Деятельность эта осложнялась не только экономическим кризисом и финансовым расстройством, но и политическими обстоятельствами. Призванный из Киева для участия в преобразованиях, он возглавил финансовое ведомство в тот момент, когда с воцарением Александра III начался поворот к консервативному курсу. Самодержавие приступило к постепенному пересмотру либерального законодательства 1860-х годов. Огромную роль в верхах стал играть лично близкий к императору обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев. Министром внутренних дел был назначен известный ретроград граф Д.А. Толстой. Апогея в эти годы достигло влияние идеолога консерватизма, редактора-издателя «Московских ведомостей» М.Н. Каткова. Ему вторила петербургская газета «Гражданин», издававшаяся кн. В.П. Мещерским — другом юности Александра III. Консерваторы выступали против искусственного «прививания» в России западного «биржевого» капитализма; проповедовали создание «национальной экономики», отгороженной от Запада высокими таможенными барьерами; выступали за усиление государственного вмешательства в развитие народного хозяйства (ужесточение контроля над частным предпринимательством, введение табачной и винной монополий, выкуп всех частных железных дорог в казну); требовали финансовой поддержки поместного дворянства и сохранения бумажно-денежного обращения.

Министр финансов понимал зыбкость своего положения. На следующий день после назначения он сказал своим знакомым: «Калоши и зонтик мои в порядке — я готов уйти отсюда каждую минуту». Старый профессор даже полностью не распаковывал чемоданы, чтобы в любой момент покинуть казенную квартиру. Он мог рассчитывать на поддержку только собственной команды, которую ему удалось собрать в финансовом ведомстве. При этом Бунге не обращал внимания на политическую «благонадежность» подчиненных — директором Департамента окладных сборов был А.А. Рихтер, в 1860-х годах скрывавшийся за границей от преследования полиции, а его заместителем — В.И. Ковалевский, два года отсидевший в Петропавловской крепости по знаменитому «нечаевскому делу». Содействие Николаю Христиановичу пытались оказывать и либеральные бюрократы, осевшие в Государственном совете после увольнения с высших административных постов.

Опираясь на своих немногочисленных единомышленников, министр финансов предпринял целый ряд реформаторских начинаний. В 1881 году были понижены выкупные платежи, а в 1882–1886 — отменена подушная подать. Переводом бывших помещичьих (1881) и государственных (1886)

крестьян на обязательный выкуп было завершено дело, начатое провозглашением отмены крепостного права. В Министерстве финансов развернулась подготовка к отмене круговой поруки и пересмотру паспортного устава, сковывавшего мобильность сельского населения. В целях смягчения земельного голода Бунге предлагал облегчить крестьянам выход из общины и организовать переселенческое движение на окраины страны. Чтобы помочь крестьянам в покупке дополнительных участков земли, в 1882 году был основан ипотечный Крестьянский банк. Вместе с тем Бунге возражал против учреждения в 1885 году Дворянского банка для льготного кредитования помещиков.

По инициативе министра финансов состоялось утверждение первых актов фабричного законодательства. В 1882 и 1885 годах были приняты законы о регламентации труда женщин, детей и подростков. Для контроля над их исполнением вводилась фабричная инспекция. В 1886 году последовал закон об урегулировании отношений рабочих и предпринимателей — порядке найма и увольнения рабочих, выдаче заработной платы, наложении штрафов и т.п. По словам видного экономиста М.И. Туган-Барановского, «Бунге явился в полном смысле слова новатором, создавшим чрезвычайно важную отрасль социальной политики, которой совершенно не знала прежняя Россия». В министерстве началась также подготовка проекта о страховании рабочих от несчастных случаев. В отличие от Министерства внутренних дел финансовое ведомство склонялось даже к разрешению экономических забастовок, если они не нарушали общественного порядка, и допускало создание организаций взаимопомощи рабочих.

Социальная политика сочеталась с антикризисными и стабилизационными мероприятиями. Одной из первоочередных задач Бунге считал увеличение налоговых поступлений и сбалансирование дефицитного бюджета. Для восполнения потерь казны после понижения выкупных платежей, отмены соляного налога и подушной подати были увеличены гербовые сборы, государственный поземельный налог и налог с городской недвижимости; введены налоги с наследства и с доходов от денежных капиталов; преобразовано торгово-промышленное обложение. Возросли и косвенные налоги — питейный сбор, акцизы с сахара и табака. Чтобы усовершенствовать порядок взимания налогов, при губернских казенных палатах учредили институт податных инспекторов (1885).

Одновременно Бунге прилагал большие усилия для соблюдения бюджетной экономии. Он сочувствовал миролюбивой политике Александра III и неустанно повторял, что российские финансы не выдержат очередной войны. С 1881 по 1884 год министр финансов сумел почти втрое уменьшить сверхсметные ассигнования. Однако уже в 1885 году вследствие конфликта с Англией в Средней Азии они снова резко возросли. В итоге кризисное состояние экономики и внешнеполитические осложнения не позволили избавиться от бюджетных дефицитов. Правда, они больше не достигали такой величины, как после Русско-турецкой кампании, но тем не менее оставались хроническими.

«Калоши
и зонтик мой
в порядке —
я готов уйти
отсюда каж-
дую минуту...»

Много внимания уделялось упорядочению расстроенного денежного обращения. Со времен Крымской войны в стране царил инфляция, звонкая монета давно исчезла из оборота, курс кредитных билетов резко упал. Бунге убедился в невозможности вернуть рублю номинальную стоимость и пришел к выводу о неизбежности девальвации. Министерство осознало также обреченность всех попыток стабилизировать денежную единицу на прежней серебряной основе. Поэтому министр высказался за переход к золотому монометаллизму по примеру других западных стран. К середине 1880-х годов в финансовом ведомстве сложилась концепция будущей денежной реформы. Накопление золотого запаса осуществлялось с помощью внешних займов и поступлений в уплату таможенных пошлин.

При Бунге усилилось участие государства в экономической жизни. Это выразилось в усилении таможенной охраны, создании системы казенного ипотечного кредита, огосударствлении частных железных дорог и т.д. Для защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции были повышены ставки таможенного обложения на ввоз многих сырьевых продуктов и промышленных изделий. Тем самым завершился переход к протекционистской системе, начатый правительством еще накануне Русско-турецкой войны. Сокращение импорта сопровождалось форсированием экспорта, главным образом хлебных культур. Бунге удалось обеспечить России небольшое, но устойчивое активное сальдо торгового баланса. Однако расчетный баланс, несмотря на широкое привлечение иностранных капиталов, оставался пассивным. Его активизации препятствовали огромные ежегодные выплаты по заграничным долговым обязательствам.

Министерство финансов приступило к реорганизации железнодорожного хозяйства, которое представляло собой настоящую «язву» российской экономики. Кредитование акционерных обществ, существовавших только благодаря поддержке государства, ложилось на бюджет тяжелым бременем. Совместно с Государственным контролем и Министерством путей сообщения финансовое ведомство провело серию мероприятий по ужесточению контроля над деятельностью частных компаний, поставивших их в более тесную зависимость от Казначейства. Бунге пошел по пути возобновления казенного строительства и выкупа мало доходных линий у частных компаний в собственность государства. Сооружение дорог частными компаниями не прекратилось, но осуществлялось в значительно меньших масштабах, чем прежде. Вместе с тем Бунге выступал против полного огосударствления железнодорожной сети, так как считал, что «государственная предприимчивость не может заменить частную предусмотрительность».

Политика Министерства финансов вызывала сильное недовольство консервативных кругов. Их не устраивали разбазаривание казенных средств на податные преобразования и Крестьянский банк, курс на восстановление металлического денежного обращения, слишком «медленное» огосударствление железных дорог, совершенно «недостаточное»

повышение таможенных пошлин, «незначительность» льгот, дарованных помещикам уставом Дворянского банка и пр. Консерваторы начали травлю Бунге в печати и бюрократических кругах. Посыпались обвинения в незнании российской действительности и слепом следовании западным доктринам. Известный историк А.А. Кизеветтер вспоминал, что каждая предпринятая мера «вызывала в реакционной прессе новый взрыв возмущения против либерально-демократического министра, который своей фигурой положительно портил общую картину контрреформационного правительства».

Под давлением своего окружения Александр III в конце 1886 года заменил Бунге ставленником консервативных кругов И.А. Вышнеградским. Однако вопреки ожиданиям отставка не стала опалой. Неожиданно для всех император назначил Николая Христиановича на почетный, хотя и менее влиятельный пост председателя Комитета министров. А кроме того, поручил прочесть курс финансового права своему сыну, будущему Николаю II. Между наставником и учеником установились доверительные отношения. Бунге пытался привить ему либеральные идеалы и разъяснить «благодетельное» значение для России Великих реформ. Правда, постоянно приходилось преодолевать влияние другого наставника — К.П. Победоносцева, который внушал цесаревичу противоположные взгляды. В 1892 году император назначил Николая Христиановича вице-председателем Комитета Сибирской железной дороги, который возглавил наследник престола.

Пользуясь расположением самодержца, Бунге пытался оказывать влияние на ход государственных дел. Он не смирился с поражением и продолжал выступать против консервативного курса: осудил политику Министерства внутренних дел по укреплению общинного землевладения и выступил против принятия законов об ограничении семейных разделов (1886) и общинных земельных переделов (1893), о неотчуждаемости крестьянских наделных земель (1893). В ходе прений в Государственном совете по поводу этих проектов Бунге призывал правительство делать ставку не на консервацию средневековой общины, а на развитие частного крестьянского землевладения. Он ссылаясь на пример Франции, «где личная земельная собственность более всего распространена и где благосостояние в сельском населении оказывается наиболее всеобщим, а земледельцы наиболее чужды социализму вообще и революционному в особенности». Вместе с тем Бунге отнюдь не призывал к насильственному разрушению общины. Он выступал лишь против ее искусственной поддержки и был убежден, что она естественным образом распадется в ходе аграрной эволюции. Однако аргументы Бунге не встретили понимания в верхах.

После кончины Александра III в октябре 1894 года Николай Христианович вошел в ближайшее окружение нового царя. Его роль при дворе сразу же возросла: говорили, что Александр III перед смертью рекомендовал сыну советоваться с Бунге. Опекунство наставника над учеником сохранялось. Николай II считал его «верным и опытным советником», обсуждал с ним важнейшие вопросы. Под влиянием ментора император согласился на

«Калоши
и зонтик мой
в порядке —
я готов уйти
отсюда каж-
дую минуту...»

организацию переселений малоземельных крестьян в зону строящейся Сибирской магистрали. Позднее, в апреле 1896 года, был утвержден закон, который отменил практику насильственного возвращения самовольных переселенцев; упростил порядок выдачи разрешений на переселения; установил льготный тариф на проезд по железной дороге и право посылки крестьянами партий для осмотра земель, предназначенных для заселения.

В обществе ожидали, что председатель Комитета министров сумеет убедить императора в необходимости возобновить политику реформ. «В России, в особенности в земской России, с трепетом и надеждой следили за Николаем Христиановичем, — вспоминал Е.Э. Картавцов. — Там помнили, что он был деятелем освобождения крестьян, что при нем сняты подушные; там помнили это и надеялись, что и в третий раз он выдвинется в том же направлении и в той же области». Но этим надеждам не суждено было сбыться. 3 июня 1895 года Бунге скоропостижно скончался. Николай II с горечью воспринял скорбную весть. «Кончина его ставит меня в очень трудное положение!» — записал он в дневнике.

При разборе бумаг Бунге обнаружили его политическое завещание, получившее название «Загробных заметок». Его окончательный вариант предназначался для Николая II. Автор изложил свои идеи об укреплении индивидуальной крестьянской собственности на землю; о привлечении «фабричного люда» к участию в прибылях частных предприятий и разрешении рабочих ассоциаций; о расширении прав местных выборных учреждений; реорганизации государственного аппарата; проведении гибкой, либеральной политики при решении национально-религиозных проблем и др. На этих страницах Бунге выступил против поспешных «конституционных экспериментов»: по его мнению, переход к системе народного представительства в условиях России возможен только в перспективе, когда самодержавие исчерпает свои реформаторские потенции. По распоряжению Николая II «Загробные заметки» были размножены типографским способом и переданы для ознакомления многим видным сановникам.

Как государственный деятель Бунге во многом представляется реформатором-неудачником. Ему не удалось выполнить большую часть своей программы. Внешние итоги его деятельности выглядели неудовлетворительно: бюджет по-прежнему сводился с дефицитом, колебания курса рубля продолжались, еще более возросла задолженность Казначейства. На пути оказалось слишком много препятствий: тяжелое военное «наследство», неурожай, кризис в промышленности и сельском хозяйстве, увеличение расходов на армию, флот и железнодорожное строительство, постоянная конфронтация с консервативной оппозицией. Социальные мероприятия министра финансов (податные реформы, учреждение Крестьянского банка, фабричное законодательство) должны были стать прологом более масштабных преобразований, но в той ситуации казались паллиативами, остаточным явлением быстротечной «либеральной вес-

ны» 1880–1881 годов. При И.А. Вышнеградском произошел отход от основных принципов политики Бунге: началось ужесточение налогового пресса и выколачивание недоимок с крестьянства по уже отмененной подушной подати, произошло сокращение операций Крестьянского банка, прекратилась дальнейшая разработка фабричного законодательства.

Однако последствия деятельности Бунге позднее проявились в полной мере. Он внес существенный вклад в создание благоприятных условий для последнего этапа промышленной революции в России. Таможенная охрана защитила отечественных предпринимателей от иностранной конкуренции и дала импульс развитию внутреннего производства. Мероприятия в области налогообложения и государственного кредита обеспечили в дальнейшем финансовую основу для стимулирования правительством индустриального роста. Курс на стабилизацию рубля и переход к золотому монометаллизму завершился денежной реформой 1895–1897 годов, укрепившей доверие Запада к российским финансам и усилившей приток иностранных капиталов. Политика Бунге способствовала мощному промышленному подъему 1890-х, в ходе которого окончательно сложился комплекс крупных предприятий тяжелой индустрии, качественно изменивший экономическую структуру страны.

Значение социальных преобразований 1881–1886 годов с точки зрения исторической перспективы тоже довольно велико. М.И. Туган-Барановский назвал Бунге «первым провозвестником в официальной России необходимости социальной политики». Он заложил «реформаторскую базу» для деятельности преобразователей следующего поколения. Его идеи оказали заметное влияние на правительственную политику конца XIX — начала XX века. Особенно это относится к С.Ю. Витте, который неоднократно заявлял о своем глубоком уважении к выдающемуся предшественнику и даже о «преклонении» перед ним. Он часто ссылаясь на «Загробные заметки» в своих всеподданнейших записках и докладах. На посту министра финансов (1892–1903) Витте продолжил линию Бунге в области аграрного законодательства: смягчил паспортный режим (1894), преобразовал Крестьянский банк (1895), упразднил круговую поруку (1903). В период его премьерства (1905–1906) были отменены выкупные платежи и разработан проект перехода крестьян к индивидуальной земельной собственности, на который впоследствии опирался П.А. Столыпин. Витте возобновил политику Бунге и в рабочем вопросе — инициировал законы о нормировании рабочего дня (1897) и об ответственности предпринимателей за увечья и смерть рабочих (1903). Денежная реформа и введение золотого стандарта также стали осуществлением замыслов бывшего министра финансов.

В феврале 1900 года министр внутренних дел Д.С. Сипягин получил экземпляр «Загробных заметок». Взгляды их автора на сотрудничество рабочих и хозяев в трансформированном виде были использованы руководством министерства при проведении политики «полицейского социализма» и создании «зубатовских союзов». В ноябре 1904 года с «Заметками» ознакомился министр внутренних дел князь П.Д. Святополк-Мирский.

«Калоши
и зонтик мой
в порядке —
я готов уйти
отсюда каж-
дую минуту...»

Некоторые их положения отразились в его всеподданнейшем докладе, послужившем основой для указа 12 декабря 1904 года, в котором декларировались обещания правительства пересмотреть крестьянское законодательство, расширить права земских и городских учреждений, ввести государственное страхование рабочих. Торжеством идей Бунге стали столыпинские аграрные преобразования: отказ от общины как формы землепользования и насаждение частной крестьянской земельной собственности, развитие переселенческого движения, расширение операций Крестьянского банка.

Если ставить вопрос об альтернативах в нашей истории, то царствование Александра III можно назвать временем упущенных возможностей. Это те самые «двадцать лет покоя», о которых мечтал П.А. Столыпин. Особую важность имело решение крестьянского вопроса. Отмена круговой поруки, пересмотр паспортного устава, организация переселений, облегчение выхода из общины, создав более благоприятные возможности для становления частного крестьянского землевладения, позволили бы избежать столь мощного нарастания аграрной революции в начале XX века. Столыпину уже не хватило времени для введения нового землеустройства. Ему пришлось действовать в условиях резкого обострения социальной конфронтации и открытого противостояния между самодержавием и обществом. Таким образом, отказ верхов от проведения в жизнь программы Бунге и других либеральных бюрократов в 1880-е годы — тот фатальный просчет, который в конечном итоге привел монархию к гибели.

АЛЕКСАНДР
ИЛЛАРИОНОВИЧ
ВАСИЛЬЧИКОВ

«Укротить порывы
к государственному
благоустройству, покуда
не обеспечено народное
благосостояние...»

Князь Александр Илларионович Васильчиков (1818–1881) был выходцем из той социальной среды, которая кем-то с иронией и раздражением, а кем-то с неподдельной завистью именовалась «высшим обществом». Русское дворянство было далеко не однородным, и верхушка его, близкая к императорскому двору, а потому проводившая свое время преимущественно в Северной столице, являлась миром замкнутым и малодоступным даже для собратьев по сословию. Петербургский *beau monde* (по-английски *high life*) не был «аристократией» (как известно, слово это переводится как «власть наиболее знатных и достойных») хотя бы потому, что принадлежность к нему не определялась лишь знатностью, размерами состояния или личными заслугами. Куда бóльшую роль играла личная благосклонность монарха, неизбежное искательство которой вкупе с «аристократизмом» манер и образа мыслей создавали ту странную смесь гордости и холопства, утонченного вкуса и мелочного тщеславия, которая в эпоху «высоких идеалов» не могла не отталкивать многих молодых представителей высшего света. Александр Васильчиков в николаевское царствование был как раз одним из таких неудовлетворенных юношей.

Он родился 27 октября 1818 года в семье видного боевого генерала, командующего гвардейским корпусом Иллариона Васильевича Васильчикова (1775–1847). Васильчиков-отец был близок и к Александру I, и к Николаю, который всю жизнь был благодарен генералу за его твердую и решительную позицию в памятный день 14 декабря 1825 года (Васильчиков был одним из тех, кто настаивал на расстреле восставших картечью). Он был назначен сначала командующим войсками в Петербурге и окрестностях, затем — генерал-инспектором кавалерии, председателем Государственного совета и Комитета министров, в 1831 году получив графский, а спустя восемь лет княжеский титул.

В отличие от остальных сыновей И.В. Васильчикова, сделавших предсказуемо успешную военную карьеру, Александр Илларионович в 1835 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. Выбор, может быть, странный, но не экстравагантный: достаточно сказать,

что вместе с ним учились такие высокородные молодые люди, как граф П.П. Шувалов, князя Г.А. Щербатов, А.М. Дондуков-Корсаков и П.П. Вяземский, В.Н. Карамзин. Оправившееся от шока 1825 года русское общество испытывало в то время заметный интерес к образованию и «гуманитарной» культуре — в моду вошли Гегель и Шеллинг, огромная популярность Пушкина и Карамзина как будто облагородила традиционно не считавшиеся «аристократическими» литературу и науку, начиналась великая эпоха славянофилов и западников... Впрочем, качество университетского образования во второй половине 1830-х годов было еще, мягко говоря, средним, а юноша «из общества», конечно, не мог отличаться «плебейской» усидчивостью. В итоге он так и остался, несмотря на полученный в 1839 году диплом кандидата прав, скорее образованным дилетантом, хотя и достаточно уверенным в энциклопедичности своих знаний.

Более важными университетские годы были для становления характера и взглядов Васильчикова. Необычайно честолюбивый, он, по воспоминаниям одного из товарищей, «пользовался властью трибуна в весьма анархической республике своих товарищей, соединившихся в корпорацию по немецкому образцу». Примечательно, однако, что это «тайное» студенческое общество, главой которого стал молодой князь, по его инициативе приобрело отчетливую антинемецкую направленность. «Русские, — писал он в то время, — почувствовав свою собственную силу, воспрянули от долгого сна и выбросили из себя вкоренившееся мнение, что мы без немцев ничего не сделаем!» Подобные эскапады, возможно, были по-юношески несерьезны, однако они отражали не только противостояние эфемерных «немецкой» и «русской» партий при дворе Николая I, но и важные особенности формировавшейся полуоппозиционной «национальной идеологии». Устойчивую (и рационально не вполне объяснимую) антипатию ко всему «немецкому» Васильчиков сохранил до конца своих дней.

По окончании университета князь становится одним из членов так называемого «кружка шестнадцати» — своеобразного сообщества молодых фрондирующих аристократов, несомненным лидером которых был М.Ю. Лермонтов. «Каждую ночь, — вспоминал позднее один из „шестнадцати“, граф К.В. Браницкий, — возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии вовсе и не существовало...»

Сохранившиеся о «шестнадцати» сведения скудны и противоречивы. Известно, однако, что в 1840 году большинство членов кружка покинули Петербург, причем их отъезд имел все признаки наложенной свыше опалы. Васильчиков в составе целой группы чиновников был отправлен в Закавказье для реформирования гражданского управления края. С характерной для своего поколения демонстративной усмешкой, столь ярко запечатленной в «Герое нашего времени», он писал перед отъездом се-

стре: «Принести в жертву блестящую карьеру — в этом есть что-то таинственное, сентиментальное и мизантропическое, что мне нравится бесконечно. Вполне уместно для молодого человека, который в течение полугода предавался тяжелому ремеслу светского человека».

Никаких жертв рассчитанная на год вполне мирная поездка, конечно, не подразумевала. По ее окончании Васильчиков отправился отдыхать в Пятигорск и именно там 15 июля 1841 года вписал свою страницу в историю отечественной литературы, став секундантом на дуэли М.Ю. Лермонтова с майором Мартыновым, окончившейся гибелью поэта. Дуэли, конечно, были запрещены, и Васильчикову грозило очень суровое наказание. Прощен он был, по официальной формулировке, «во внимание к заслугам отца его».

Неприятная история отразилась бы на карьере Александра Илларионовича, если бы он хоть немного был озабочен восхождением по лестнице чинов и должностей. Однако амбиции князя, судя по всему, были несколько иными: никакого служебного рвения он не проявлял и даже прослыл в Петербурге «вольнодумцем». Биографы Васильчикова любили впоследствии пересказывать историю о том, как его призвал к себе император и потребовал «перемениться», на что Васильчиков отвечал, что никакой вины за собой не знает, и вновь услышал строгое: «Переменись!» Стоит, впрочем, добавить, что заработать репутацию «опасного либерала» при Николае I было не очень сложно. Другое дело, что Александр Илларионович, очень болезненно относившийся к намекам на высокое положение своего отца, просто не мог реализоваться на службе, поскольку любой успех в этой сфере не был бы воспринят как отражение его собственных способностей («мученик фавора» — так метко охарактеризовал кто-то из современников эту своеобразную ситуацию).

Между тем атмосфера в Петербурге становилась все более мрачной, и в год европейских революций и наступления беспросветной реакции князь испрашивает разрешения оставить столицу и уехать в провинцию для «службы по дворянским выборам». Это, несомненно, был вызов, и граф Блудов, начальник II отделения Императорской канцелярии, где числился Васильчиков, даже отказался докладывать императору (не особенно жаловавшему дворянскую корпорацию) о просьбе своего подчиненного. Впрочем, разрешение в конце концов было даровано, и в 1848–1854 годах Александр Илларионович был сначала уездным, а затем и губернским предводителем дворянства Новгородской губернии, где находилось фамильное поместье Выбуты.

Судя по всему, никакого удовлетворения новая деятельность ему не принесла, что неудивительно: дворянские органы при Николае I пребывали в беспробудном летаргическом сне, располагаясь где-то на задворках административно-бюрократической системы. Но хотя предводительский опыт Васильчикова трудно было назвать бесценным, он, несомненно, был очень важен для превращения столичного аристократа в человека, не понаслышке судящего о проблемах российской провинции.

«Укротить порывы к государственному благоустройству покуда не обеспечено народное благосостояние...»

Смерть Николая I и восшествие на престол его преемника, будущего царя-освободителя, застали Васильчикова в Ковенской губернии в рядах ополчения (шла Крымская война). Зная последующую биографию князя, трудно объяснить, почему он не принял более активного участия в подготовке крестьянской реформы, которой горячо сочувствовал. Видимо, для немногочисленной и сплоченной группировки реформаторов, центральными фигурами которой стали, с одной стороны, представители либерально-бюрократической элиты (Н.А. Милютин, Я.А. Соловьев), а с другой — славянофилы (Ю.Ф. Самарин, князь В.А. Черкасский), он не стал еще вполне «своим». Как бы то ни было, в 1861 году он занимает должность члена Новгородского губернского по крестьянским делам присутствия, т.е. оказывается в первых рядах тех, кто взял на себя нелегкое бремя реализации реформы. Присутствия являлись губернской инстанцией, контролировавшей действия мировых посредников и решавшей наиболее сложные споры помещиков и их бывших крепостных. В России, где всегда особенно много зависело от того, как претворяются в жизнь принятые законы, роль крестьянских учреждений была огромной. В первые годы после освобождения крестьян в числе их сотрудников оказались, по почти всеобщему признанию, лучшие представители поместного дворянства. Их задача была тем более сложной, что в среде собратьев по сословию они (если только не занимали откровенно продворянской позиции) неизбежно приобретали репутацию «красных», «ненавистников дворянства» и т.п.

Необходимость постоянного нравственного выбора, конечно, была тяжела; предполагала она и выбор политический. Чем в новых условиях должно стать дворянство? Сословием землевладельцев, открытым для пополнения из других классов общества, замкнутой корпорацией, оберегающей свои ряды от проникновения чуждых элементов, основой для создания ценовой общественности, которой следует передать политические права? А может быть, оно должно раствориться в народной массе?

Точка зрения Васильчикова была сформулирована им в письме к известному эмигранту князю П.В. Долгорукову: «Надо следовать примеру английской аристократии, которая, однажды убедясь в народном мнении, старается не только согласиться, но даже и опередить его требование. Поэтому я и думаю, что надо принять программу широкую, весьма либеральную, которая бы обезоружила противников с любой стороны». Это кредо в общем виде разделяли с Александром Илларионовичем очень многие представители «передового» дворянства. Вопрос, однако, заключался в том, что именно следует вкладывать в понятие «либеральная программа».

Васильчиков присоединился к голосу тех противников немедленного ограничения самодержавия, которые полагали, что «в стране, где подавляющее большинство населения не имеет понятия о политических правах, народное представительство было бы только театральным представлением», к тому же исполняемым исключительно в интересах высших классов. Подобная точка зрения была одновременно и руководством

к действию. Подобно Николаю Милютину и Юрию Самарину, князь считал, что необходима длительная подготовка к политической свободе, которая может и должна проходить в рамках народной школы и местного самоуправления.

1 января 1864 года было принято Положение о земских учреждениях, а уже в следующем году князь Васильчиков был избран гласным Старорусского уездного и Новгородского губернского земских собраний первого созыва. Однако деятельность земств, как и следовало ожидать, с самого начала оказалась осложненной взаимоотношениями новых учреждений с администрацией. Дух противостояния, как правило, преобладал над идеей сотрудничества. Губернаторы и Министерство внутренних дел относились к органам самоуправления с нескрываемым подозрением, отчасти обоснованным: русское общество бурлило, долго подавлявшаяся жажда деятельности, нетерпение и раздражение выплескивались наружу и земские собрания действительно очень часто, забывая о своих прямых обязанностях, превращались в своеобразные политические клубы. Всего через пару лет после их открытия правительство уже начало обсуждать возможные меры по «умиротворению» оппозиционных учреждений. В этом противостоянии позиция Васильчикова была совершенно определенной. Министр внутренних дел П.А. Валуев (в былые времена брат Васильчикова по «кружку шестнадцати») неоднократно предлагал ему пост губернатора в нескольких губерниях (на выбор), но неизменно получал отказ.

Маятник внутриполитического курса окончательно качнулся в сторону реакции после 4 апреля 1866 года (день покушения Каракозова на императора). В Петербурге все громче раздавались голоса о необходимости «охранительной», консервативной политики. Но ведь и в эти понятия мог вкладываться совершенно разный смысл. Существовал выбор: ограничиться усилением административной власти, благо, что такой путь был вполне привычным, или попытаться реализовать программу, подразумевавшую усиление роли поместного дворянства в земствах и крестьянских учреждениях, разрушение общины, а в конечном счете — предоставление дворянству политических прав, словом, осуществить тот комплекс идей, активным сторонником которых были граф В.П. Орлов-Давыдов и его единомышленники.

Правительство, как это часто бывает, не решалось на действия, ограничиваясь декларациями. Одной из таких деклараций стала распространявшаяся в верхах записка псковского губернатора Б.П. Обухова, как поговаривали, инспирированная новым шефом жандармов графом П.А. Шуваловым. Сравнив быт немецких фермеров-колонистов с жизнью русских крестьян, губернатор пришел к предсказуемому выводу о необходимости насаждения участкового землевладения взамен общинного; много писал он и о возможных мерах по обузданию земств, настаивая на усилении в них помещиков и необходимости «собрать разрозненные охранительные элементы».

«Укротить порывы к государственному благоустройству покуда не обеспечено народное благосостояние...»

Именно с этой запиской был связан первый значительный опыт Васильчикова публичной политической полемики, опыт, сразу поставивший его в первый ряд отечественных публицистов. В 1868 году под ставшим крылатым названием «Русский администратор новейшей школы» записка Обухова была издана в Берлине с предисловием Ю.Ф. Самарина и резкими комментариями «псковского землевладельца» А.И. Васильчикова.

«О русском консерватизме весьма трудно составить себе ясное понятие, потому что все партии у нас называют себя охранительными», — писал Александр Илларионович. Консерватизм — «слово, за которым нет ни определенных понятий, ни ясных представлений», «отличный конек, на котором можно провозить к нам всякого рода контрабанду польского и немецкого происхождения». В основе его лежит, по мнению Васильчикова, представление о русском народе как о «стихийной силе», которую должны направлять «другие силы, разумные, умственные... то есть европейская цивилизация и представители ее».

На первый взгляд все здесь перевернуто с ног на голову. «Охранитель» Обухов обращается в поисках идеала к Европе, а либерал Васильчиков оказывается защитником самобытности русского народа, выступая против «инородческих» учений. Однако это не просто один из парадоксов, которыми так богата история отечественной политической мысли. Вероятно, можно говорить о важнейшей особенности российского либерализма эпохи Великих реформ: он развивался в противостоянии не только расцветшему в России в 1860-е годы революционному радикализму, но и классическому европейскому либерализму. И если в основу последнего легла концепция права, то русский либерал ориентировался скорее на идею правды (иначе говоря, пусть не социальной справедливости, но хотя бы социальной ответственности имущих классов). Возможно, это утверждение верно по отношению не ко всем либералам пореформенной поры, но оно, безусловно, приложимо к убеждениям и деятельности князя Васильчикова. По точной формулировке придерживавшегося близких взглядов А.Д. Градовского, «в нем крепка была одна, чисто русская черта характера. Как ни велико казалось ему известное благо, он заранее от него отказывался, если для усвоения его нужна была неправда. Если блеск и высокий уровень цивилизации должен иметь в основании своем экономическую неправду, князь Васильчиков заранее отрекался от нее». Нет нужды говорить, почему такой подход был столь же симпатичен с точки зрения нравственной, сколь уязвим с экономической.

В 1868 году нечерноземные губернии поразил голод — первый после освобождения ощутимый симптом того, что сами собой крестьянские хозяйства едва ли встанут на ноги. А на рубеже 1869–1870 годов в петербургском доме Васильчикова стихийно сложился немногочисленный кружок земцев, экономистов и либеральных чиновников, поставивших своей целью создать учреждения, которые стали бы для народа школой экономической свободы, подобно тому как земства призваны были превратиться в школу воспитания свободы гражданской. Так возник проект знаменитых ссудо-сбе-

регательных товариществ — массовых кредитных артелей, объединявших небогатых крестьян, каждый из которых вносил очень небольшой первоначальный взнос и получал право на краткосрочный заем под невысокий процент. Потребность именно в таком кредите была чрезвычайно велика из-за обычной в русских деревнях нищеты, которая вынуждала крестьян занимать деньги (или хлеб) под чудовищный ростовщический процент или крайне невыгодные отработки.

В основу товариществ был положен принцип взаимной ответственности по долгам, который должен был дисциплинировать участников, привить им те качества, которых так недоставало бывшим крепостным. По признанию одного из членов кружка, трудно представить, «до какой степени народ привык к неаккуратности, к обману, до какой степени мало заботится он о своих интересах и до какой степени мало можно ему доверять».

Примечательно, что за образец были взяты получившие широкое распространение в Германии «народные банки», пропагандировавшиеся одним из основателей европейского кооперативного движения — Г. Шульце-Деличем. Однако немецкие рецепты все-таки не признавались полностью применимыми на русской почве. Шульце уповал на самоорганизацию масс, а по мнению Васильчикова, только содействие «образованных классов» и государства могло дать необходимый импульс масштабному внедрению народного кредита. Проект действительно получил серьезную поддержку либеральной общественности и был в целом благосклонно воспринят министром финансов М.Х. Рейтерном, обеспечившим кредитование товариществ Государственным банком.

Бурный рост числа ссудо-сберегательных товариществ в первой половине 1870-х годов (к 1878 году их уже было около 700 со 150 000 членов) как будто оправдывал надежды «петербургских кооператоров». Однако к концу десятилетия в деятельности этих кредитных учреждений наметился ощутимый спад. Ожидаемого подъема крестьянских хозяйств они не вызвали (и не могли вызвать, поскольку не устраняли причин кризисных явлений). В общем, не произошло переворота и в экономическом сознании народных масс, зачастую продолжавших воспринимать льготный кредит как вид безвозвратной благотворительной помощи. Справедливости ради надо отметить, что многие представители образованного общества также не понимали или не хотели понимать разницы между добровольным, а значит, ответственным кредитом, который не может быть одинаково доступен всем поголовно, и уравнительным распределением тех или иных экономических ресурсов. Радикальные критики «васильчиковцев» обвиняли товарищества в «подрыве общинного духа», «распространении ссуд для кулаков» и т.д. В то же время консерваторы усматривали в них же «социалистические» тенденции, ссылаясь на генетическое родство кооперативных идей с концепциями Прудона, Луи Блана и Фердинанда Лассалья.

Некоторая противоречивость во взглядах Васильчикова и его товарищей действительно существовала: с одной стороны, товарищества

«Укротить порывы к государственному благоустройству покуда не обеспечено народное благосостояние...»

не должны были ставить основной своей целью получение коммерческой прибыли (и потому их существование во многом зависело от «подпиток» извне), с другой — кредитные учреждения могли функционировать только по законам рынка. Поиски некоего «третьего», «срединного» пути между свободой и необходимостью, классической либеральной доктриной и социальными проектами занимали Васильчикова до конца его дней.

Те проблемы, с которыми с самого начала своей деятельности столкнулись земские учреждения, способствовали появлению обширной аналитической литературы. Юристы, экономисты, историки пытались осмыслить историю самоуправления в России, европейские концепции и практику подобных учреждений в Англии, Франции, Пруссии, место земств в государственном строе Российской империи. Непосредственно участвовавший в становлении земств Васильчиков сумел внести в тогда еще только начинавшуюся полемику свой, достаточно оригинальный вклад.

В 1869 году вышел в свет первый том его труда «О самоуправлении». Обзорный характер, доступность формы, дефицит подобного рода энциклопедических изданий, наконец, принадлежность автора к «высшему обществу» моментально сделали книгу чрезвычайно популярной. Но у этого успеха была еще одна, более глубокая причина. Взгляд Васильчикова, может быть, и не отличался глубиной, зато удивительно соответствовал ожиданиям большей части русского общества — передовой, но при этом весьма умеренной.

Состояние и значение самоуправления, по Васильчикову, зависят не столько от формально-юридического и даже не от политического положения его органов, сколько от уровня гражданской зрелости общества. Поэтому «не механизм избрания, не состав избирательных съездов, не умножение числа голосов и беспредельное расширение выборного права решают участь свободы и самоуправления». Своеобразным идеалом для князя являлись местные реформы в Англии, где расширение народных прав происходит «не насильственно, не повелениями и указами, а сознательно, в виде предложения от правительства, принимаемого народом». Там же (читай: в России), где народные массы «переходят внезапно от совершенной бесправности к политической самодеятельности», неизбежно появляется антагонизм между народом и правительством. В результате правительство не воспринимает всерьез местные нужды, а народ рассматривает законы как «стеснительные условия, которые могут быть обойдены при всяком удобном случае».

С таким диагнозом трудно было не согласиться. Однако, переходя от общих выводов к рассмотрению положения в пореформенной России, Васильчиков оказывался на чрезвычайно шаткой почве: логика требовала столь же трезвой оценки ситуации в русской деревне, где правовые нормы прививались с громадным трудом из-за изолированности крестьянства, буквально «замурованного» в общине. Между тем во многом именно на общине покоилось все здание крестьянской и земской реформ. Выступить

против нее значило лить воду на мельницу столь нелюбимой князем за космополитизм «аристократической партии»; признать же за общиной счастливую будущность значило присоединиться к хору разнообразных утопистов, к которым князь испытывал объяснимую для человека его происхождения антипатию. И вновь он пытается нащупать тонкую грань между двумя «крайностями». Антагонизм между общиной и частными землевладельцами вымыслен, утверждает он, да и вообще ей придают «несколько преувеличенное и ошибочное значение». С другой стороны, как своеобразный орган самоуправления и как гарант от пролетаризации крестьянства она имеет безусловно положительное значение, хотя и создает определенные препятствия для агротехнического прогресса.

Видимо, окрыленный публичным признанием (за короткий срок его книга выдержала два переиздания), Васильчиков решился более подробно рассмотреть весь комплекс проблем, связанных с самым болезненным для дореволюционной России вопросом — аграрным. В 1876 году был издан его двухтомный труд «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах», также очень сочувственно встреченный обществом, однако подвергнутый резкой и даже уничижительной критике в книге авторитетных ученых Б.Н. Чичерина и В.И. Герье «Русский дилетантизм и общинное землевладение». Возможно, Васильчикову не стоило углубляться в историю древней и средневековой Европы и России: ничего нового здесь он сказать не мог, зато предоставил повод для иронии критиков, цепким взглядом профессионалов обнаруживших в книге массу ошибок и противоречий. В итоге даже К.Д. Кавелин, поначалу восторженно оценивший труд князя, вынужден был признать, что он «более принадлежит к публицистической, чем к ученой работе».

Полемика вокруг этой книги Васильчикова чрезвычайно показательна для судеб русского либерализма. Конечно, возмущение Чичерина и Герье вызвали не фактические ошибки, а то, что они восприняли как «социалистическую ересь»: резкая критика европейских порядков за социальную несправедливость, отказ признать ценности классического либерализма (наемный труд, считал Васильчиков, так же несвободен, как и крепостной, а в результате свободной конкуренции неизменно выигрывают высшие классы). «Князь Васильчиков, — указывал Чичерин, — проповедует социализм так же, как известное лицо в комедии Мольера говорило прозой, само того не ведая». Социалисты, продолжал он, «мечтают о том, чтобы всех подвести под один уровень, „сглаживая по возможности социальные неровности“, как говорит князь Васильчиков. Но результатом этих наделений и уравнений может быть только равенство рабства и нищеты».

Свой «ответ по существу» князь дал спустя несколько лет в книге «Сельский быт и сельское хозяйство в России», вышедшей в 1881 году — в год его смерти (умер Александр Илларионович 2 октября 1881 года), смены царствования и очередной перемены политического курса.

Наверное, именно «завещанием» можно назвать эту книгу, писавшуюся в тревожную пору разгула народнического террора, растерянности

«Укротить порывы к государственному благоустройству покуда не обеспечено народное благосостояние...»

и равнодушия в обществе, отовсюду приходящих известий о катастрофическом положении в деревне. В 1880 году, с назначением на пост фактического главы правительства графа М.Т. Лорис-Меликова, правительство, казалось, очнулось от тяжелого сна. В верхах стремительно, даже лихорадочно стали разрабатываться проекты новых реформ. «Теперь опять много благих предначертаний, — писал Васильчиков Дмитрию Самарину, — но это уже не наше дело; я, по крайней мере, почувствовал после смерти Вашего брата (Юрия. — И.Х.) и Черкасского полнейший упадок сил и живу только воспоминаниями».

Он действительно подводил итоги... «Мы предприняли одним разом слишком много, не рассчитав наперед наших сил, — обобщал князь опыт реформ, — мы устроили много наиболее полезных учреждений, ввели много лучших порядков, не сделав предварительно сметы, что они будут стоить, и не определив источников, из которых будут покрываться расходы». Окончательной ревизии подвергся и западный либерализм, именовавшийся не иначе как «либеральным доктринерством, которое придавало преувеличенное значение формам правления и суда, свободе слова, печати, равноправности и свободе труда и торговли». «Отрицать пользу либеральных учреждений, — спешил уточнить князь, — было бы, разумеется, безрассудно, но ожидать от них разрешения социальных замешательств нашего времени, воображать, что под охраной свободы... низшие классы будут постепенно сознавать яснее свои нужды и пользы, — это нам кажется опасным самообольщением». Либеральное общественно-политическое устройство, по Васильчикову, лишь форма, которую необходимо наполнить социальным содержанием: «Как бы ни были высоки цели, надо в первую очередь подумать о средствах и укротить порывы к гражданскому и государственному благоустройству, покуда не обеспечено и не упрочено народное благосостояние».

Васильчиков и не думал отвергать базовые либеральные ценности или настаивать на уникальности пути, который предстоит пройти России. «Переход имущества из слабых и несостоятельных рук к самостоятельным владельцам есть общий закон всех человеческих обществ», — подчеркивал он. Кроме того, демократизация земельной собственности, «представляя большие выгоды в социальном отношении, имеет бесспорно и ту опасную сторону, что развивает хищническую [агро]культуру». И все-таки «в критические минуты для народных масс нужно разумное и твердое руководство, помощь кредита, содействие правительства и образованных классов». При этом «предположения об обеспечении продовольствия и других нужд целого населения надо бы раз и навсегда признать несбыточной мечтой». Уравнительная благотворительность может существовать, но она не должна быть ни основным средством, ни целью государственной политики.

Б.Н. Чичерин в своих воспоминаниях передает со слов В.И. Герье любопытный эпизод: известный европейский писатель социал-демократического толка Георг Брандес, присутствуя в качестве почетного гостя на

ежемесячном обеде московской интеллигенции, поинтересовался направлением обедающего кружка и, получив ответ, не вытерпел, вскочил и обратился к собравшимся: «Что я слышу, господа? Мой почтенный сосед уверяет меня, что вы социал-демократы и вместе с тем считаете себя либералами. Да ведь это невозможно! Это монстр! Это теленок о двух головах!» Однако то, что для Брандеса и Чичерина было свидетельством интеллектуального сумбура и даже невежества, для Васильчикова являлось лишь признанием необходимости активной социальной политики, которая позволила бы избежать революционных потрясений.

Впрочем, и здесь он парадоксальным образом в чем-то повторил путь, пройденный политической мыслью нелюбимой им Германии, где аналогичные тенденции привели к созданию в 1872 году знаменитого «Союза социальной политики», идеологи которого (государствовед Гнейст, экономисты Шмоллер, Brentano, Шенберг) противопоставляли себя как классическим либералам-фритредерам, так и социалистам.

Стоит добавить, что в среде российской интеллигенции, действительно весьма склонной к самым подлинным социалистическим увлечениям, Васильчиков всегда держался особняком. По отзыву первого его биографа А. Голубева, принадлежавшего именно к этой среде, «начиная с внешнего вида и кончая его отношением к людям Александр Илларионович до самой смерти остался барином».

«Арена истории
не от тебя зависит,
но поприще внутреннего
мира твое...»

Пожалуй, наши современники, изучающие корни отечественного либерализма, реже всего вспоминают профессора А.В. Никитенко (1804–1877). Он общался с крупнейшими политиками и писателями, сам не будучи ни политическим деятелем, ни великим философом или писателем — академик по Отделению русского языка и словесности. В 1868 году Никитенко записал в дневнике: «Ко мне пристали, чтобы я указал все мои сочинения. Я было решительно этому воспротивился, так как сам я мало уважаю собственные писания, и если бы их позабыли другие, как позабыл их я сам, то, право, не огорчился бы этим».

Он прославился не публичной деятельностью, а, наоборот, тем, что делалось для самого себя, в одиночестве. Его «памятником» стал дневник, опубликованный в трех томах его дочерью с помощью И.А. Гончарова уже посмертно. Первое появление дневника стало событием общественной жизни: тихий профессор оказался зорким и злым наблюдателем российской действительности.

«Интерес, который вызывает „Дневник“ Никитенко у советского читателя, — лукаво написал советский издатель этого потрясающего документа, — менее всего обусловлен личностью самого Никитенко». Между тем история жизни этого профессора-либерала незаурядна. Отец его был певчим из капеллы знаменитого мецената графа Шереметева и затем, оставаясь крепостным, с благословения барина стал учителем. Его сын, тоже крепостной, выучился грамоте, окончил Воронежское уездное училище. Поступить в университет он не мог: туда принимали только лиц свободного состояния. Тогда юноша стал одним из организаторов отделения Библейского общества в городке Острогжске Воронежской губернии и так познакомился с князем А.Н. Голицыным, министром духовных дел и народного просвещения. Тот вызвал Никитенко в Петербург. Именно там он подружился с поэтом Рылеевым, который и поднял шум, возмущаясь крепостным состоянием высокообразованного юноши. Так, благодаря взволновавшемуся общественному мнению и помощи поэта В.А. Жуковского двадцатилетний Никитенко получил вольную и поступил в университет. Он общался с декабристами, А.С. Пушкиным, Ф.И. Тютче-

вым, В.П. Боткиным, А.К. Толстым. Цензор Никитенко фактически спас «Мертвые души», зарубленные московской цензурой, и «Антон-Горемыку» Григоровича. Вместе с Н.А. Некрасовым и И.И. Панаевым Никитенко первое время готовил журнал «Современник». Руководил диссертацией Н.Г. Чернышевского и дружил с И.А. Гончаровым; общался с Александром II и с М.Н. Катковым; вращался в высших кругах петербургского чиновничества и среди профессоров Санкт-Петербургского университета. Не забудем и того, что бывший крепостной мальчик стал академиком и тайным советником — судьба поистине фантастическая.

Наибольший интерес у читателей вызвали страницы дневника, посвященные николаевскому царствованию. За них автор удостоился, например, самых высших похвал Д.С. Мережковского, который даже сравнил петербургского профессора с великим римским историком: «Никитенко не Тацит; но иные страницы его напоминают римского летописца, может быть, оттого, что нет во всемирной истории двух самовластий более схожих по впечатлению сумасшествия, которое производит низость великого народа. Ибо что такое самовластье, возведенное на степень религии, как не самое сумасшедшее из всех сумасшествий?»

В дневниках Никитенко мы сталкиваемся с удивительной летописью жизни образованной части российского общества — летописью ироничной, памятливей и аналитически точной. Это были годы очевидного современникам поворота вспять, совершенного Николаем I после декабристского восстания. Знаменитый историк Михаил Погодин уже в годы николаевского правления писал в статье «Петр Великий», что период от Петра Великого до Александра I можно назвать европейским, а с Николая начинается период национальный. Точнее, даже ксенофобский, ибо Европу стали не любить и бояться. Герцен говорил о том, что потребность в просвещении, которую привил Петр, правительство Николая душило, превращая страну в казарму и возвращая ее к допетровскому, «московскому» периоду. Это была отчаянная и довольно успешная попытка удержать Россию в изоляции от Европы. Герцен называл это тридцатилетие «моровой полосой». «Человеческие следы, замеченные полицией, пропадут, — писал он, — и будущие поколения не раз останутся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли...»

В конце 1847 года, когда грянул гром над литературой и искусством, удрученный окружающей обстановкой профессор Никитенко отмечал в дневнике: «Жизненность нашего общества вообще хило проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естественного ужаса». Называя николаевскую Россию «Сандвичевыми островами», Никитенко в 1848 году писал: «На Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв, как бы он ни был скромн, клеймятся и обрекаются гонению и гибели. И готовность, с какою они гибнут, ясно свидетельствует, что на Сандвичевых островах и не было в этом роде ничего своего, а все чужое, наносное».

Хуже всего было вступающим в жизнь молодым писателям, мыслителям, поэтам. Любая их просветительская деятельность сразу же оказывалась под запретом. Вспомним хотя бы смертный приговор петрашевцам и Достоевскому, приговоренному «к смертной казни расстреливанием» за чтение вслух письма одного литератора другому (Белинского — Гоголю). Ссылки и каторга — вот что ждало многих.

В этой атмосфере Никитенко выстоял, исповедуя ценности европейской культуры с ее уважением личности, идеей правового сознания. «Я хотел содействовать утверждению между нами владычества разума, законности и уважения к нравственному достоинству человека, полагая, что от этого может произойти добро для общества. Но общество на Сандвичевых островах еще не выработалось для этих начал: они слишком для него отвлеченны; оно не имеет вкуса к нравственным началам; вкус его направлен к грубым и пошлым интересам. В нем нет никакой внутренней самостоятельности: оно движется единственно внешнею побудительною силой; где же тут место разуму, законности?» — писал он.

Ему была близка позиция римских стоиков — выстоять, несмотря на сумасшествие мира. Так, вся жизнь русских либералов являла собой отстаивание ценностей, непривычных и почти немислимых в этой стране.

Быть либералом означало постоянно работать, неустанно сопротивляясь окружающей жизни. «Жить не значит предоставить лодке плыть по течению, а значит неусыпно бодрствовать у руля. Кто умеет плавать, тот спасается, даже если лодка опрокидывается, а кто не умеет, тот тонет», — писал Никитенко.

И бодрствовать стоило. Когда московская цензура запретила «Мертвые души», Гоголь через Белинского передал рукопись В.Ф. Одоевскому в Петербург. После некоторого промедления и неудачных попыток держателей рукописи добраться до «верхов» поэма попала к петербургскому цензору — западнику и либералу Никитенко. Никитенко осмелился дать разрешение на ее публикацию. Стоит привести слова крупнейшего нашего специалиста «по Гоголю» Ю.В. Манна, подробно рассказавшего (в своей книге «В поисках живой души») о судьбе «Мертвых душ»: «Решение Никитенко оказалось историческим, принесло неопределимую услугу и Гоголю, и русской литературе. И это решение потребовало от Никитенко мужества: как раз ко времени рассмотрения рукописи в Петербурге резко усилился „цензурный террор“».

Это стало возможно только благодаря твердой и неизменной позиции нашего либерала: «Главное — быть достойным собственного уважения, все прочее не стоит внимания. Ты иначе воспитался, иным путем шел, чем другие, иною судьбою был руководим и искушаем, а потому имеешь право не уважать их правил и обычаев. Ограничение внешней деятельности умей заменить внутренней деятельностью духа и возделыванием идей. Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое».

Никитенко прекрасно знал, что все ходило под ударом. В своем «Очерке развития русской философии» Г. Шпет писал, что николаевское «обще-

ство и государство никогда не могли преодолеть внутреннего страха перед образованностью. Отдельные лица кричали об образовании, угрожали гибелью, рыдали, умоляли, но общество в целом и государство пребывали в невежестве и оставались равнодушны ко всем этим воплям». Оставались равнодушными, пока их умоляли о необходимости просвещения, но пришли в ужас, когда этому равнодушию была дана беспристрастная оценка — в «Философическом письме» Чаадаева. «Письмо это, — писал Герцен, — было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. Он желает знать, что мы покупаем такой ценой, чем заслужили свое положение... Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей заслугой. Не надобно нас шадить: мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах». Герцен считал, что «письмо разбило лед после 14 декабря». Но это было лишь его мнение. Как же реагировали общество и правительство?

Вот наблюдения профессора А.В. Никитенко. 25 ноября он записал в свой дневник: «Ужасная суматоха в цензуре и в литературе. В пятнадцатом номере „Телескопа“ напечатана статья под заглавием „Философские письма“. Статья написана прекрасно; автор ее Чаадаев. Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном свете. Политика, нравственность, даже религия представлены как дикое, уродливое исключение из общих законов человечества. Непостижимо, как цензор Болдырев пропустил ее... Журнал запрещен. Болдырев... отрешен от всех должностей. Теперь его вместе с Надеждиным, издателем „Телескопа“, везут сюда на расправу...»

Не привыкшее к свободному изъятию мыслей общество начало гадать о «настоящих» целях написания и публикации чаадаевского письма, отвечающих логике поведения в условиях самодержавного диктата. Об этом свидетельствует и Никитенко: «Я сегодня был у князя; министр крайне встревожен. Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум, подобный тому, который был вызван запрещением „Телеграфа“. Думают, что это дело тайной партии».

Правительство скоро разобралось и незамедлительно ответило на искренность мысли — Чаадаев был объявлен сумасшедшим, Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а цензор, профессор и ректор университета Болдырев был отставлен со всех должностей. Тем не менее Никитенко «пробивает» «Мертвые души» в печать, потом помогает молодому литератору Д.В. Григоровичу опубликовать крамольный по тем временам роман о жизни крепостного мужика «Антон-Горемыка». Желание бывшего крепостного предать гласности правду о сущности крепостного права понятно. Но желания мало, нужна была смелость, и смелости Никитенко хватило.

«Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое...»

Российские «почвенники» любят повторять, что легенду о непонимании, о вражде Николая к Пушкину придумали либералы, а царь якобы заботился о поэте. Дневниковые, спокойные строки Никитенко развенчивают этот миф. После гибели Пушкина Николай старается сделать так, будто бы поэта и не было. Запрещались даже некрологи. Вот очередная дневниковая запись Никитенко: «Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, — так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему».

В дневнике Никитенко мы находим, возможно, невольное трагическое совпадение с известным наблюдением самого Пушкина. Вспомним «пушкинский ужас» на кавказской дороге, когда поэт увидел в телеге гроб, обернутый рогожей, и, поинтересовавшись, кто же там, услышал равнодушный ответ: «Грибоеда везем». А вот никитенковские строки: «Жена моя возвращалась из Могилева и на одной из станций неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом. — Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. — А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи — как собаку...»

«Почвенники» любят также говорить, что именно при Николае мы видим расцвет русской литературы: ведь какие замечательные люди творили тогда! Из дневника профессора Никитенко мы узнаем об общей ситуации в русском образованном обществе в те годы. Николаевский режим оказался катастрофичным для образованных людей, как искоренение тех ростков европейской культуры, которые пытались насадить просвещенные люди едва ли не с эпохи Ивана Грозного (вспомним призыв к законности и правовой защищенности людей в России в письмах дипломата Федора Карпова). И уж конечно, с реформ Петра. «Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему. Еще немного — и все, в течение полутора лет содеянное Петром и Екатериной, будет вконец низвергнуто, заглопано... И теперь уже простодушные люди со вздохом твердят: „видно, наука и впрямь дело немецкое, а не наше“», — писал Никитенко.

Удары по российскому просвещению были следствием западноевропейских событий 1848 года: «События на Западе вызвали страшный переполюх на Сандвичевых островах. Варварство торжествует там свою дикую

победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться». Никитенко с горькой иронией замечает, что те, кто считал «мысль в числе человеческих достоинств и потребностей», теперь обратились «к бессмыслию и к вере, что одно только то хорошо, что приказано... произвол, облеченный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне». Вот это последнее, быть может, было самым страшным для российских либералов...

Реформы Александра Освободителя, казалось, утвердили позиции либералов в общественной и политической жизни. По словам Т.Г. Масарика, «писатель и цензор А. Никитенко, на себе испытывавший гнет крепостничества... назвал коронацию Александра II, состоявшуюся 18 февраля 1855 года, поворотным пунктом своей эпохи». Вместе с тем появилась новая и неожиданная опасность. В русском обществе возникло движение, которое с легкой руки И.С. Тургенева стали называть «нигилизмом». Круг его приверженцев был велик: от стриженных курсисток и волосатых студентов до страшной «нечаевщины» и тотальной критики Л.Н. Толстым всех структур Российской империи — государства, церкви, армии, искусства, науки и техники, того, что Ленин называл «срыванием всех и всяческих масок...». И пожалуй, наиболее последовательными критиками нигилизма оказались русские просвещенные либералы.

«Есть две точки опоры, на которых держится нравственная деятельность народа, — идея чести и религия, — писал в дневнике Никитенко. — О первой пока нечего у нас говорить: она может развиваться только со временем, вместе с другими плодами, которые нам сулит эмансипация. Религия... Народ наш не получает религиозного образования. Существует еще третья точка опоры, на которой у нас и держалось все, — страх, но эта пружина за последнее время сильно заржавела и ослабела; пора заменить ее новою, более целесообразною. Надобно подумать и как можно скорее позаботиться о нравственно-религиозном образовании народа. Разумеется, к этому должно быть призвано духовенство. Но увы! Духовенство наше само лишено образования и того духа деятельности, которым совершаются хорошие, общественные дела. Оно само требует подъема».

Именно поэтому был так опасен разлившийся в обществе нигилизм: церковь была не в силах ему противостоять. А вот «образованные» на народ влияние имеют...». Поэтому либеральный профессор Никитенко попытался увлечь студенчество своими идеями и тем самым вырвать его из лап радикализма. Впрочем, радикалы-студенты с иронией вспоминали об этих попытках. Так, известный критик «Отечественных записок» А.М. Скабичевский писал: «Когда я пришел к Никитенко представить на его усмотрение кандидатскую диссертацию, он не мог удержаться, чтобы не заговорить со мною о злобе дня. — Не понимаю, чего хотят студенты? Чего они добиваются? Я полагаю, что университет существует для наук и студенты должны ходить в него специально для того, чтобы учиться, а не на сходках бушевать».

«Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое...»

Мы слышим здесь высказывание человека, с помощью науки поднявшегося в образованное общество и понимающего не только эвристическую, но и социальную ценность образования. Вот, например, его испуг перед прокламаторской деятельностью: «Поразительное невежество относительно всего, что касается России, ее народного духа, ее нравственных, умственных и материальных средств, видно в каждой фразе. Они требуют от нее, чтобы она для осуществления утопий, выходящих из лондонских типографий, лила кровь как воду. А угодно это России или нет, — они о такой безделице не заботятся. Опыт французской резни ничему не научил наших мудрых реформаторов. Он не научил их тому, что ужасы и разбой анархии ведут к диктатуре, да еще такой, хуже которой трудно себе что-нибудь представить, — к диктатуре реакционной, вооруженной, вместо вырванного ею из рук анархии ножа, мечом и секирою палача. И неужели в самом деле это проповедует Герцен?»

Обращения Герцена к студенчеству действительно звучали радикально и безжалостно: «Не жалейте вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей истории...» Никому тогда не дано было знать, что поздний Герцен отречется в «Письмах старому товарищу» и от Огарева, звавшего Русь к топору, и уж тем более от Бакунина и Нечаева, проповедовавших ненависть к образованию. Никитенко оказался прав, предвидя недалекое будущее: «Не пришлось бы нам удивить мир бессмыслием наших драк, наших пожаров, нашего поклонения беглому апостолу Герцену, из Лондона, из безопасного приюта командующему на русских площадях бунтующими мальчиками...» Пришло время, и удивили.

Бытует весьма устойчивая точка зрения, что «либералы не понимали русский народ». Однако, если вчитаться в дневник Никитенко, видно, что он понимал народ не меньше, скажем, Достоевского, полагавшего себя проповедником народного мнения. В сущности, Никитенко пишет о том же, что и Достоевский: в России нет укорененного представления о законе и нравственных ценностях, и страна переживает полное нравственное растрепывание («деморализацию») населения. «Поджоги у нас делаются чем-то вроде мании, чем-то вроде препровождения времени. Недавно поймали одного поджигателя. У него спросили, что побудило его к поджогу: мщение, желание воровать? Он отвечал, что ни то, ни другое, а он поджег так, и сам не знает, почему. Другой сам донес на себя и на подобные вопросы отвечал таким же образом. Вот широкая натура! Однако ж, что это такое? Аксаков скажет, что это — великие силы великой национальности, не направленные как должно и потому проявляющие в себе преимущественно элементы разрушения. А, в сущности, я думаю, это объясняется проще. Русский человек в настоящий момент не знает ни права, ни закона. Вся мораль его основана на случайном чувстве добродушия, которое, не будучи ни развито, ни утверждено ни на каком сознательном начале, иногда действует, а иногда заглушается другими, более дикими инстинктами. Единственной уздой его до сих пор был страх. Теперь страх этот снят с его души. Слабость существующей еще над ним правительственной опеки

такова, что он опеку эту в грош не ставит. Безнаказанность при полном отсутствии нравственных устоев подстрекает его к подвигам, которые он считает простым молодецеством, а нередко и корысть руководит им... Безнаказанность и „дешевка“ — вот где семя этой деморализации, которая свирепствует в нашем народе и превращает его в зверя, несмотря на его прекрасные способности и многие хорошие свойства».

Некоторые эпизоды, известные нам по романам Достоевского, оказываются, имели место в действительности. Все помнят, как герой романа «Бесы» Ставрогин попросил губернатора наклониться к нему, чтобы-де нечто шепнуть на ухо. Бедолага наклонился и едва не поплатился ухом, в которое Ставрогин впился зубами.

В дневнике профессора Никитенко мы читаем: «Страшное и гнусное злодейство. Студент Медицинской академии женился на молодой и милой девушке, но вскоре начал ее ревновать и даже задумал ее убить, поразив ее толстою булавкою во время сна. Но это ему не удалось: она проснулась в ту минуту, когда он готовился вонзить ей булавку в шею. Произошла страшная сцена, и молодая женщина ушла к отцу. Спустя некоторое время студент прикинулся раскаивающимся. Он явился к отцу и матери своей жены и начал умолять последнюю о прощении. Последняя после некоторого сопротивления наконец уступила, и, когда в знак примирения согласилась его поцеловать, он откусил ей нос. Несчастная молодая женщина теперь в клинике, и неизвестно, что с нею будет. Каковы у нас нравы!» Чем вам не ставрогинские фокусы, добавлю я от себя!

Не менее ясно профессору-либералу и то, что российская бюрократия не желает реформ, ибо все возможные преимущества от них уже получены, а дальнейшее чревато неожиданностью. Потому он прекрасно понимал причины, вызывающие оппозиционное движение: «Настоящий глубокий смысл движения нашей интеллигенции в настоящее время есть, без сомнения, вопиющая необходимость ограничения правительственного произвола и утверждения законности как в умах, так и на деле. Без этого все реформы, самые благодетельные, будут строиться на песке». С тоской писал он, что по-прежнему, кроме императора-освободителя, в верхних эшелонах власти нет никого, кого всерьез заботили бы судьбы страны: «Если между нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, искренно желающий блага для России, то это один Государь». Другое дело, что молодые радикалы, возможно, еще опаснее для России: «Эти жалкие молодые люди, бросившиеся сломя голову в омут революционных замыслов и покушений, сделали огромное зло России. Они по крайней мере на полвека отодвинули ее от истинного просвещения, свободы и разных улучшений».

Рассуждая о сложности мышления, Никитенко, возможно, вслед за пушкинским «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» писал: «Где мысль, там и страдание, — но там же должно быть и врачевание зла».

В своем дневнике он рефлексировал и над другими философскими проблемами. Так, размышляя о многогранности человеческого духа, он заме-

«Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое...»

чал: «Истинная человечность в том, чтоб в каждом человеке уважать его особенности, его личность...» Поводом к этому рассуждению Никитенко послужили патриотические стихи поэтессы К. Павловой: «Павлова, написавшая „Разговор в Кремле“, ужасно хвастает фразой: „Пусть гибнут наши имена — да возвеличится Россия“. Любовь к отечеству — чувство похвальное, что и говорить. Но выражение этой любви хорошо, когда оно истинно, когда оно не пустая звонкая фраза, а мысль реальная и верная. Сказать: „пусть гибнут наши имена, лишь бы возвеличилось отечество“, — значит сказать великолепную нелепость. Отечество возвеличивается именно сынами избранными, доблестными, даровитыми, которые не гибнут без смысла, без достоинства и самоуважения. Оно первое чтит славные имена этих сынов, сохраняет их в своей благодарной памяти как святыню и гордится ими, указывая на них грядущим поколениям как на образец для подражания. То, что говорит Павлова, — гипербола и фальшь».

Эти «доблестные и избранные сыны» должны иметь силу духа, способность противостоять всем внешним давлениям: «Жить научает одна только жизнь. В настоящее время недостаточно одной обыкновенной твердости. Нужно геройство, чтобы спасти в себе святые верования и не дать угаснуть в себе искре Божьей». Иными словами, по Никитенко, получается, что быть «либералом-постепеновцем» — позиция действительно героическая.

Либерализм требует постоянной душевной и духовной работы, которая предполагает уважение к Другому. Жизнь нестабильна и на любое представление о том, что хуже не бывает, может ответить ухудшением еще большим: «Никогда не унывай в настоящей скорби, помня, что ты еще счастлив тем, что с тобой не случилось хуже, ибо худшее всегда возможно».

Глубины метафизики были вполне доступны этому, казалось бы, позитивистски ориентированному либеральному уму. «Мир без провидения — какая страшная, бесконечная пустыня при всем разнообразии и обилии жизненных процессов, сил, явлений! Это все равно что огромный дом, наполненный слугами и гостями без хозяина; или корабль, брошенный в неизмеримый океан без кормчего, без компаса, преданный бурям и обреченный погибнуть, не зная пристани и никакой цели своего блуждания; или это мастерская, в которой работают тысячи рук, машин без мастера, который бы в работах этих рук и этих машин видел исполнение какого-то предприятия. Наконец, это чудовищное тело с костями, кровью, дышащее и движущееся, но лишенное души, — живой мертвец». Эти переживания вели не к утопическим построениям, оборачивающимся порой крайним экстремизмом, как в случае Льва Толстого, а к попытке выстроить эволюционную позицию, которая позволила бы избежать социальных катаклизмов.

Закончить очерк хотелось бы словами позднего Никитенко, в которых он изложил нравственное кредо русского классического либерализма: «Я всегда был врагом всяких крайностей, исключая тех минутных увле-

чений, когда меня поражала какая-нибудь несправедливость и побуждала к неумеренным излияниям моих чувств. Главное начало, служащее основанием моего мировоззрения, есть закон уравновешения. Он господствует в природе и должен господствовать в отношениях людей в общественном строе, во всем, где человеку приходится мыслить и действовать. Я враг всякого абсолютизма, будь он политический, умственный, абсолютизм системы или мнения. Мнение или идея, старающаяся поглотить все другие и присвоить себе господство над умами, мне так же противна, как и власть, которая хочет подклонить под свое иго всех людей с их действиями и правами».

НИКОЛАЙ
АНДРЕЕВИЧ
БЕЛОГОЛОВЫЙ

«Только конституция
возводит жителей
государства в народ...»

Выдающийся врач и крупный либеральный публицист Николай Андреевич Белоголовый родился 5 октября 1834 года в Иркутске в старинной купеческой семье. Его отец, человек начитанный, стремился дать детям хорошее образование. Восемилетнего мальчика отправили учиться к ссыльному декабристу А.П. Юшневскому, живущему в деревушке Малая Разводная, в пяти верстах от Иркутска. Познакомился он и с другими декабристами — А.З. Муравьевым, А.В. Поджио, П.И. Борисовым. Общение оказалось плодотворным. Вспоминая о роли декабристов в своем становлении, Белоголовый писал: «Они сделали меня человеком, своим влиянием разбудили во мне живую душу и приобщили ее к тем благам цивилизации, которые скрасили всю мою последующую жизнь».

Дальнейшее образование Николай Андреевич получил в одном из лучших московских пансионов Эннеса, который окончил в 1850 году вместе со своим другом С.П. Боткиным. Оба они поступили на медицинский факультет Московского университета, закончив который в 1855 году Белоголовый уехал в Иркутск, где одновременно работал окружным, городовым и ветеринарным врачом. Иркутский округ был огромный — больше, чем многие европейские государства. Приходилось зимой, проехав несколько сот верст, жить в какой-нибудь захолустной деревне, принимая больных или поджидая, пока оттает труп, подлежащий вскрытию. А в это время в городе накапливались другие дела. Обременяло и составление по трем должностям текущих отчетов.

Через три года Белоголовый вновь едет в Москву, где практикуется, совершенствуется в знаниях, готовит докторскую диссертацию. В России в то время назревали серьезные реформы. Николай Андреевич внимательно следит за надвигающимися событиями и оценивает правительственные меры предосторожности. Из Москвы он писал своим родным в Иркутск: «Стягивают войска, солдатам обеих столиц уже розданы на всякий случай патроны, а полиции — револьверы. Гм! Что-то дико и странно!» Возмущен Белоголовый и политикой правительства в области просвещения, тем, что началось наступление на университеты, в которых власти увидели «зерно революции». Несколько сотен студентов были заключены в Петропавловскую крепость и Кронштадт. «Шпионы и палачи, — писал

Николай Андреевич, — вот свита, с которой вступает монархия наша во второе тысячелетие. Фу, мерзость, вонь, гниль!»

Так у честного, образованного, интеллигентного человека выработывалось критическое отношение к самодержавному государственному строю. Конец 1850-х — начало 1860-х годов было, вероятно, тем периодом, когда окончательно сформировались либеральные принципы Белоголового — идея ограничения царизма конституцией становилась главной в его раздумьях.

В 1862 году, после блестящей защиты докторской диссертации, Белоголовый возвращается в Иркутск на должность старшего городского врача. Его талант и известность позволили активизировать медицинскую службу в городе. Основанное им медицинское общество вобрало всех местных врачей для обсуждения новых научных и практических идей, появляющихся в литературе. Авторитет Белоголового, искусного врача, ученого, симпатичного и гуманного человека, рос день ото дня. Когда в 1864 году Николай Андреевич заболел тифом, то у постели больного безотлучно дежурили врачи. По выздоровлении друга Белоголового устроили напротив его дома, расположенного на Большой улице, обед для всего медицинского персонала. Дело было зимой, но, по воспоминаниям очевидца, «все с бокалами в руках и без шапок переходили Большую улицу и поздравляли больного с выздоровлением. Это было торжество науки и дружбы».

Через несколько лет Белоголовый по совету С.П. Боткина перебирается в Петербург, где он прожил до 1881 года, ежегодно выезжая на отдых за границу. В столице Николай Андреевич занял одно из первых мест в медицинском мире, уступая, возможно, лишь С.П. Боткину. Проницательный диагност с первых же месяцев практики имел в Петербурге большой успех, приобрел обширный круг пациентов, всецело доверяющих ему. «Богатый и бедный, знатный и простолюдин шел к нему с любовью и доверием, зная заранее, что никакие инквизиторские расспросы, никакой торг о гонораре не ждет его у порога медицинской знаменитости», — писал современник Белоголового.

Николай Андреевич становится лечащим врачом и другом руководителей «Отечественных записок» — Н.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.А. Некрасова; его пациентами были также И.А. Гончаров, А.Н. Плещеев, В.М. Гаршин, Я.П. Полонский. Не только медицинские обстоятельства связывали именитого терапевта с этими людьми — во многом совпадали их воззрения на общественную жизнь, культуру, просвещение. В начале 1880-х годов Белоголовый неоднократно навещал тяжелобольного И.С. Тургенева в Париже и Буживале, консультировал лечащих врачей, помогал установлению диагноза.

С детских лет Николай Белоголовый увлекся декабристами, буквально влюбился в А.В. Поджио, и с тех пор на протяжении всей жизни (Поджио умер в 1873 году) эти два человека не теряли друг друга, стали преданными друзьями, встречались в России и за границей, обменивались подробными доверительными письмами. Белоголовый ценил Поджио не только как

порядочного, честного, умного человека, но и как мыслителя, взгляды которого были весьма близки либеральным настроениям самого Николая Андреевича.

С М.Е. Салтыковым-Щедриным Белоголового связывала многолетняя дружба. Они познакомились в 1875 году — как врач и пациент. Дальнейшему сближению способствовало то, что оба были убежденными врагами деспотизма, много размышляли над переустройством российской действительности. Правда, Салтыков-Щедрин больше предпочитал говорить о своем здоровье, чем о делах политических. Он с иронией замечал: «Все доктора со мной беседуют больше о вольномыслии, нежели о моей болезни».

Были добрыми знакомыми, а потом и друзьями Белоголовый и П.Л. Лавров — несмотря на большие политические расхождения (один был либералом, другой — революционером-народником). Жена Белоголового, Софья Петровна, переписывала рукописи Лаврова, предназначенные для русских журналов; сам же Николай Андреевич стал тайным посредником между редакцией «Отечественных записок» и Лавровым, чье имя было запрещено в России. Активизация террористической деятельности народовольцев, взрыв С. Халтурина в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года — все это ставило перед мыслящими людьми вопрос о целесообразности и цене насилия. В октябре 1880 года Белоголовый писал Лаврову: «Ваша жизнь, без сомнения, пошла теперь полнее, потому что социалистическое движение за последние месяцы сильно оживилось, партии становятся в угрожающее положение и взрыв почти неизбежен: за кем останется победа? Готов пари держать, что не за вами; даже кратковременный ваш успех только больше сплотит против вас консервативные силы и сделает еще тяжелее гнет последующей реакции». Многочисленные письма Белоголового к Лаврову свидетельствуют и о большом обоюдном интересе к деятельности графа М.Т. Лорис-Меликова — приведет ли она к конституции?

Первая встреча Белоголового с самим Лорис-Меликовым произошла в 1878 году в Петербурге — пациент хотел выяснить у знаменитого врача состояние своего здоровья. Прошло шесть лет, и они встретились вновь — на этот раз в Висбадене. Инициатором был Николай Андреевич, узнавший из информационного листка для приезжих, что в городе проживает граф. Лорис-Меликов, давно отставленный от высоких постов, радушно принял гостя: «Я слышал, что вы очень скучаете, я тоже; давайте составим, как говорит Шекспир, одно горе: вдвоем нам и скучать будет веселее». В своих воспоминаниях Белоголовый подробно описал, как бывший всемогущий царский сановник, с которым когда-то связывалось столько либеральных надежд, искренне рассказывал о своей жизни, исповедовался в совершенных в прошлом ошибках. После этого, писал Белоголовый, «расстояние, отделявшее нас, тотчас же разрушилось, и я увидел перед собой не царедворца, не важную персону, а обыкновенного человека, без всякой драпировки и фраз...»

Что же «родственного по духу» почувствовал либерал Белоголовый во взглядах Лорис-Меликова, бывшего министра внутренних дел и шефа

жандармов? Многочисленные беседы, имевшие место в разных курортных городках Европы, убедили Белоголового, что с годами Лорис-Меликов окончательно стал «умеренным постепенцем», отрицая революционные перевороты и полагая, что правительство само должно поощрять динамичное развитие общества и этим способствовать вовлечению России в прогресс человечества. Особенно близки были Белоголовому мысли о развитии науки, о распространении народного образования, о расширении самоуправления, о том, что выборные от общества должны быть привлечены «к обсуждению законодательных вопросов в качестве совещательных членов». Привлекала Белоголового и широкая эрудиция графа, его знание стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, его преклонение перед Салтыковым-Щедриным.

Тайная публицистическая деятельность врача и ученого Белоголового началась в какой-то мере случайно. Весной 1877 года в Берлине Николай Андреевич купил экземпляр первого номера «Общего дела», заинтересовался умеренно либеральной направленностью газеты и стал искать пути к издателю. Вскоре в Париже познакомился с А.Х. Христофоровым. Договорились о сотрудничестве — тогда и началась публицистическая работа Белоголового. А после смерти в 1882 году редактора газеты В.А. Зайцева, человека более радикальных взглядов, роль Белоголового в «Общем деле» стала решающей: он стал не только ведущим автором газеты, но и, по его собственному выражению, ее «закулисным редактором».

Первая программная статья Белоголового «Источники деспотизма» появилась в «Общем деле» в 1878 году. Она начиналась с сопоставления российской действительности и жизни Западной Европы. Это привело автора к «отчаянным выводам». С одной стороны, европейские страны Запада постепенно «сбрасывали все путы, задерживавшие их развитие» и, таким образом, совершенствовали свое государственное устройство. В России же отсутствовало прогрессивное развитие, следовали какие-то «конвульсивные потуги»: «белый террор сменяется красным и наоборот». В чем же причины различий? Их Белоголовый видит в том, что России недостает деятелей, вооруженных солидным образованием и твердыми нравственными принципами. Только в результате «глубоких знаний» и «серьезного труда» можно развить в себе ту силу, которая «разнесет в щепки то ветхое здание абсолютизма и несправия, в котором мы заточены теперь».

«Только конституция возводит жителей государства в народ...»

Против самодержавия активно выступают и социалисты, однако их движение будет непрочно до тех пор, пока оно «представляется стихийным, а не основанным на солидной подготовке к нему масс». Нельзя обвинять нашу «честную и благородную молодежь» за ее хождение в народ. Но будет ли успешно это движение? Предположим, пишет Белоголовый, что народ сумеет разрушить «правительственные плотины» и «разнести весь старый строй». Но ведь затем должен последовать «период созидания», а кто за это возьмется? Без образования и исторического опыта невозможна плодотворная организаторская деятельность. В случае успеха

народной революции, скорее всего, может произойти другое: «Погуляет на свободе народ православный, сокрушит все, приведет страну к давнему патриархальному и докультурному состоянию и затем, увидав невозможность прийти к какому-нибудь порядку, отправится опять в костромские дебри отыскивать, не осталось ли там еще какой-нибудь ветви Романовского дома, уцелевшей от погрома, или же призовет со стороны новых варягов — руссов княжити и володети Русью».

Белоголовый утверждал, что стихийная революция может только ожесточить политику правительства, привести к усилению реакции. Но где же выход, по какому пути должен развиваться общественный протест, чтобы найти рациональное решение кардинальной проблемы — преобразование государственного строя самодержавной империи? Белоголовый, смело и решительно критикующий российское самодержавие, все более склонялся к необходимости активных и последовательных действий культурных классов, которые должны были заставить правительство согласиться на принятие конституции. Но как это сделать? Вот, отмечает автор, появилось «скромное напоминание» о несовместимости неограниченного самодержавия с предпринимаемыми реформами — об этом говорилось в прокламации «Великорусс», адресах тверского дворянства и Московской думы. И что же? «Царю жаль стало расставаться со своими неограниченными правами». Он не последовал мудрым советам «умеренных людей», призывавших к эволюционным реформам, и этим усугубил социальное напряжение, приведшее к революционным действиям. В результате назревают трагические последствия: «Россия попадет в тот доисторический хаос, когда разнузданные стихии революции сметут все — и романовский престол, и неокрепшие зачатки интеллигенции — и надолго выбросят русскую народность из среды европейских народов».

С восшествием на престол Александра III акценты в публицистике Белоголового меняются. Разоблачения самой личности нового царя и его придворного окружения становятся основными мотивами в его многочисленных публикациях. В них утверждается, что «трудно представить что-нибудь ничтожнее, безличнее Александра III», воцарение которого означает «великий исторический момент»: быстро приближается «расплата за перзрелость самодержавия, за необузданность чиновничества и за невежество общества».

Николай Александрович рассуждал так: с одной стороны, действуют люди, задумавшие насильственным путем «водворить на земле всеобщее счастье»; с другой — самодержавный деспотизм, сковавший интеллектуальную жизнь страны. В таких условиях положение «среднего человека было воистину трагическим». Таким «средним человеком», русским либералом, ощущал себя и Белоголовый. Истинный либерал, писал он, прежде всего «человек прогресса», который «строго держит свой нейтралитет», не сочувствуя «ни самодержавной, ни террористической партии». Тайный публицист неподцензурного «Общего дела» был озабочен тем, что российская реакция, наступившая при Александре III, поставила под угрозу

реформы Александра II и может «затравить насмерть поверженный на землю и еле дышащий либерализм». Эта надвигающаяся угроза и определяла характер публикаций Белоголового.

Материалы, разоблачающие самодержавные порядки, призывающие к государственному переустройству, более всего концентрировались в разделе «Хроника», занимающем иногда чуть ли не половину газеты. Например, коронация Александра III оценивалась следующим образом: самодержавная Россия, «как устаревшая блудница», подумянилась и пригласила всю Европу полюбоваться «своею наштукатуренною красотой». Это был «праздник самодержавия», которое ничего не способно дать для людей, стремящихся обновить Россию конституционным путем. Но и общество по-прежнему «с сонною апатией» относится к окружающему безобразию, а народ, «как голодный зверь, начинает грабить и бить евреев», и «до крайних пределов» дошла его ненависть к землевладельцам.

После покушения 1 марта 1887 года на Александра III, когда реакционеры стали именно в либералах искать виновников происшедшего, Белоголовый стремился вселить уверенность в правоту либерального движения. Он писал, что шесть лет усиленных гонений на либералов не остановили это движение интеллигенции. Напротив: «идея об ограничении самодержавия, едва пробывавшая в эпоху диктатуры сердца и едва считавшая тогда своих приверженцев сотнями, считает их теперь тысячами и, ушедши с поверхности в глубину, стала давать ростки по всем направлениям».

В материалах «Хроники» большое место уделялось реакционной роли М.Н. Каткова в государственной жизни страны. Он характеризовался как «торжествующий зверь реакции», который «с необыкновенным задором» выступил против всех ранее проведенных реформ. В результате самодержавная власть от династии Романовых фактически перешла, по мнению Белоголового, в руки Каткова, а столица России вновь перенесена в Москву, откуда знаменитый публицист «руководит и царем, и его министрами, а через них и судьбами всей России».

Катков проводил свой политический курс в союзе с обер-прокурором Святейшего синода К.П. Победоносцевым и министром внутренних дел, шефом жандармов Д.А. Толстым. «Триумвират, — писал Белоголовый, — всемогущ и всемогущ; он все может и все дерзает; он может прекратить всю враждебную ему литературу, обратить университеты в конюшни, а конюшни в университеты, упразднить законы». В стране процветают воровство и разврат, а честность признается «вредным предрассудком». «Пожелаем же нам, — заключает Белоголовый, — поскорее дожидаться такого зрелища, когда на развалинах теперешнего Карфагена будет развиваться и крепнуть иная молодая и свежая жизнь, в которой шпионы и честные люди займут подобающие им места и первые осядут на дно общественной жизни, как грязные подонки, а последние поднимутся на ее поверхность...»

Однако надежды либерала-идеалиста, призывавшего общество поднять знамя протеста, осудить ложь и обман, объединить силы прогресса

«Только конституция возводит жителей государства в народ...»

для борьбы с самодержавным злом, не сбылись: режим имел еще силы для выживания. 1892–1894 годы Николай Андреевич провел в Ницце, в известном русском пансионе «Оазис», где в свое время жили Герцен и Салтыков-Щедрин. Там он в годы русского голода начала 1890-х годов организовывал сбор пожертвований в пользу голодающих. В 1894 году Белоголовый вернулся в Москву, как он сам выражался, «для медленного умирания». 6 сентября 1895 года бескорыстный и светлый человек, знаменитый врач-гуманист, убежденный деятель либерального движения скончался.

ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛЬЦЕВ

«Мой девиз: труд
и политическая
свобода...»

Подобно многим светлым периодам в истории, эпоха «бури и натиска», наступившая в России после Крымской войны, была воспринята многими как решительный разрыв с прошлым. Молодежь демонстрировала повышенную восприимчивость к новым веяниям. В 1861 году выпускники Академии Генерального штаба, представлявшие императору, «гробовым молчанием» ответили на его прочувствованный призыв «служить опорой трона». С оттенком запоздалого раскаяния один из них, заслуженный генерал, на склоне лет вспоминал, что столь вызывающее поведение молодых офицеров явилось лишь результатом «временного настроения» и этот выпуск дал, за ничтожным исключением, «самых верных слуг государя». То действительно было время, когда в переливах либерально-радикальных тонов зачинались самые разные политические судьбы.

Первое пореформенное поколение под воздействием новой эпохи преодолеvalo в себе тяжелую наследственность, отягощавшую социальное устройство России. Одни, у кого «гипноз времени» перешел во внутреннюю убежденность, дали примеры восхождения по ступеням гражданственности и свободомыслия; другие вслед за наступившим «отливом» ушли «назад».

Преобразования 1860-х годов внесли в российский политический процесс новые ориентиры и образцы. Согласно новому законодательству помещики должны были выдвигать из своей среды не только дворянских предводителей, но и мировых посредников. На смену подневольным судебским чиновникам пришли независимые судьи и свободное сословие присяжных поверенных. Россия стала управляться не одними тайными советниками, но и гласными уездных и губернских земств и городских дум. Но, если «великий гражданин» был все еще невозможен на Руси, о чем с горечью писал на заре 1880-х годов журнал «Русская мысль», намекая на отсутствие необходимых для этого конституционных гарантий, то преобразования Александра II подготавливали исподволь появление новых действующих лиц политической истории России. Этот процесс на первых и решающих фазах своих был скрыт от постороннего глаза, но остался запечатленным в переписке и мемуарных заметках видных деятелей будущих десятилетий. Одним из важных истоков формирования политических запросов

и взаимоотношений новых поколений русской общественности служили их гимназические и университетские связи.

Эпоха 1860-х годов оказала большое влияние на формирование взглядов нашего героя, хотя сам он не успел принять участия в ее делах и заботах. И все-таки 1861 год вошел в биографию В.А. Гольцева (1850–1906): именно тогда он впервые переступил порог тульской гимназии. «С ранней молодости я поставил себе определенные политические задачи, и, насколько сам могу судить, я неуклонно шел к намеченным целям», — писал Виктор Александрович в своих мемуарах.

Истоки гольцевской одержимости либеральной идеей восходят к годам его детства. Он был глубоко верующим ребенком. В гимназии писал стихи на библейские темы. Однажды во время посещения церкви двенадцатилетнему мальчику явился Спаситель и беседовал с ним. Об этом потрясшем его видении юный Гольцев доверительно сообщал своим товарищам. Гимназисты из уст в уста передавали волнующий таинственный слух. К концу гимназического курса от «некогда горячей и искренней религиозности» остался только «чистый деизм». А «лето между гимназией и университетом» прошло для Гольцева в мучительной борьбе между верой и безверием. Настойчивый поиск доказательств в защиту бессмертия души не увенчался успехом. Догматы христианства подверглись разрушительному сомнению: тому способствовала вся атмосфера 1860-х годов. Но потребность веры и жажда деятельного служения определенному идеалу сохранилась в душе Виктора Александровича на всю жизнь.

Новой страстью Гольцева — студента Московского университета (1868–1872) — стало участие в «тайном обществе, которое имело целью пересоздание мира в самом близком будущем». В результате он сумел основательно познакомиться с некоторыми политическими трактатами и произведениями «крупнейших социалистов». Среди русских мыслителей Гольцев особенно высоко ценил Белинского и Герцена, подчеркивая, что их идеи послужили основой его собственного мирозерцания.

Поклонение социальной идее вслед за полученным в детстве христианским воспитанием в судьбах русской интеллигенции не раз завершалось обращением к революционному действию. Но судьба Гольцева сложилась иначе...

В переписке университетских товарищей 1870-х годов, сохранившейся в гольцевском архиве, вспыхивает любопытный спор о выборе жизненного поприща, путей и средств реализации усвоенных в юности идеалов, поднимаются нравственно-политические вопросы, издавна волновавшие русскую интеллигенцию, сталкиваются альтернативные позиции, возникают неизбежные реминисценции. Гольцев был настроен тогда достаточно радикально, а его сверстник, однокашник по Московскому университету и оппонент, Николай Зверев придерживался более осторожных взглядов.

«...Нужно ли, чтобы „адепт идеи“ непременно голодал и страдал?»; «Что труднее — „сломоть себя“ или же высказаться откровенно?»; «Не

потому ли передовые идеи так медленно проникают в нашу жизнь, что их сторонники слишком часто одеваются в сердитые красные мантии?»; «Кто выше, скромный Милютин, „эманципатор и тайный советник“, или „популярный каторжник“ Чернышевский?»; «Что привлекательного в кафедре, если нельзя свободно высказаться даже на магистерском диспуте?»; «А разве Грановский и в более тяжелое время не справлялся с исполнением „великих, святых задач“ профессора?»; «Как обойти препятствия, заграждающие свободный путь к самостоятельному умственному труду в духе Белинского и Добролюбова?»...

По-разному сложатся и дальнейшие судьбы участников этого спора: Н.А. Зверев сделает блестящую служебную карьеру, займет должности профессора, товарища министра народного просвещения, сенатора, члена Государственного совета, а его университетский приятель Гольцев лишится кафедры и будет поставлен под гласный надзор полиции...

В конце 1875 года Гольцев был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. Из Парижа он обратился к одному из лидеров революционных народников Петру Лаврову с письмом, в котором, осудив насильственные методы политической борьбы, призвал революционеров вместе с либералами добиваться конституции для России. Письмо было опубликовано в эмигрантском журнале «Вперед» за подписью «Русский конституционалист». В 1878 году в Московском университете Гольцев защитил магистерскую диссертацию на тему «Государственное хозяйство во Франции XVII века», где доказывалась пагубность абсолютизма как формы государственного устройства. В том же году Гольцев, избранный доцентом Московского университета, не был утвержден в этой должности министром народного просвещения Д.А. Толстым.

На рубеже 1870–1880-х годов Гольцев выдвинулся в первые ряды либеральных общественных деятелей России нового поколения, сформировавшихся уже в обстановке больших преобразований и изменившихся условий пореформенного времени. Среди них — П.Г. Виноградов, В.Д. Держужинский, Н.А. Каблуков, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, И.В. Лучицкий, С.А. Муромцев, И.И. Петрункевич, А.С. Посников, Ф.И. Родичев, В.Ю. Скалон, А.Ф. и С.Ф. Фортунатовы, А.И. Чупров, И.И. Янжул и др. Политическое настроение этого общественного круга один из его представителей — историк Н.И. Кареев — характеризовал в целом как «более либеральное, чем у старой профессуры; конституционализм, дополненный социальным реформаторством».

Вместе с тем различия во взглядах вовсе не мешали дружескому общению молодых московских либералов, начинавших свою профессорскую карьеру, с Константином Кавелиным. Их знакомство состоялось во время пребывания Кавелина в Москве в середине 1880 года. Члены этого «милейшего» (по определению Кавелина) кружка, в особенности Ковалевский, Чупров, Гольцев, и патриарх русского либерализма Кавелин испытывали большой взаимный интерес и симпатию. Общине Гольцева с Кавелиным продолжалось до самой смерти этого друга Грановского и Герцена,

«Мой девиз:
труд и по-
литическая
свобода...»

подчас при драматических обстоятельствах, когда Кавелину пришлось даже хлопотать о вызволении Виктора Александровича из тюрьмы. «От последнего моего пребывания в Москве, наших свиданий и бесед, на меня так и повеяло сороковыми годами, — писал Кавелин Гольцеву 13 июня 1884 года. — Люди другие, обстоятельства и обстановка другие, вопросы другие, — а дух тот же самый! Невольно и незаметно молодеешь в вашем кружке, — не воспоминаниями о прошедшем невозвратном, а потому, что это прошедшее есть вместе и продолжающее жить под новыми формами, вечно свежее, молодое, живучее...»

Год 1880-й — последний из целиком отмеренных Александру II лет — был назван в передовице «Московских ведомостей» от 1 января 1881 года «годом кризиса и перехода», «годом, который не досказал своего слова и передает теперь своему преемнику неизвестное наследие». В этой меткой и настороженной характеристике, принадлежавшей Михаилу Каткову, действительно отразилось своеобразие переживаемого Россией периода. Это было время обманчивого революционного затишья (с 5 февраля 1880 года до 1 марта 1881 года «Народная воля» не провела ни одного террористического акта). И это был год последнего всплеска либеральных надежд.

В этот год в Москве стал выходить новый либеральный журнал «Русская мысль», автором внутренних обозрений которого, а затем и редактором всего издания стал В.А. Гольцев. В феврале 1881 года он был наконец утвержден и в должности доцента Московского университета, а осенью, с началом нового учебного года, открыл курс «Учение об управлении»...

Отвечая позднее на анкету «Русской мысли», Виктор Александрович по существу набросал основные штрихи политического автопортрета: «Чем бы я быть желал?» — «Политическим деятелем»; «Где бы я желал жить?» — «В России, но только свободной»; «Мои любимые писатели-прозаики?» — «Тургенев и Гончаров, Писемский и Толстой, Белинский и Герцен»; «Любимые мои герои действительности?» — «Вашингтон, Гарибальди, Гамбетта»; «Что я всего более ненавижу?» — «Деспотизм»; «Военный подвиг, который приводит меня в восторг?» — «Такого нет»; «Реформа, наиболее мною чтимая в истории?» — «Освобождение крестьян в России»; «Мой девиз?» — «Труд и политическая свобода...».

В пореформенные годы точкой опоры для политики в настоящем и своеобразным мостом в политическое будущее страны стала земская формула российской свободы, выведенная в результате совмещения результатов освобождения крестьян с движением за введение в стране центрального выборного представительства, народившимся в дворянской среде 1860-х годов. На признании земского самоуправления сошлись старые «эмансипаторы», видевшие в «конституции» лишь прикрытие для корыстных помещичьих вождедений, и неопиты конституционной идеи, нашедшие в земстве опору для реализации своих планов; «объевропеечные» либералы и «почвенные» консерваторы. В принципе это было уже немало, поскольку сама свобода в либеральном понимании всегда компромисс

между единичным и множественным, частной волей и общественным порядком, личностью и государством. Расширение поля этого компромисса, как казалось многим, есть дело времени. И уже в первые пореформенные десятилетия ключевым становится вопрос о гарантиях прав личности и участия «общества» в процедуре выработки и принятия государственных решений. «Непредрешенчество» в вопросе о «средствах» и готовность «принять результат» (т.е. освобождение крестьян, откуда бы оно ни пришло), наиболее последовательно выраженные в канун 1861 года А.И. Герценом, уходят в прошлое вместе с эпохой Освобождения.

Через два десятка лет после крестьянской «эмансипации» акценты были расставлены по-другому. Предложенный М.Т. Лорис-Меликовым в 1881 году способ подготовки назревших социально-экономических реформ полностью перетянул внимание общества: он вошел в историю под неточным, но выразительным именем — «лорис-меликовская конституция».

Убийство Александра II народовольцами 1 марта 1881 года стало роковым рубежом в истории России. Это событие сразу же вызвало не только прилив охранительно-националистических настроений, но и мрачные предчувствия тех, кто рассчитывал на иной исход политического кризиса. Состояние общественной атмосферы в Москве после убийства царя нашло отражение в переписке профессора А.И. Чупрова. «Вы представить себе не можете, что у нас творится со времени 1 марта, — писал он по прошествии трех недель профессору И.И. Янжулу, находившемуся в ту пору за границей. — Злодеи, убившие государя, и их сообщники, вероятно, торжествуют при виде того сумбура и сумятицы, которые созданы в нашем обществе их позорным делом. Призыв к террору, к повальному шпионажу, натравливание народа на всех разномыслящих без различия оттенков — вот настроение той многочисленной части общества, для которой служат органами „Московские ведомости“ и „Русь“. Либералы, социалисты, террористы — все сливаются для этих сумасшедших в один цвет. Присмотритесь к средствам, какие предлагают эти люди против крамолы. Перенесение столицы в Москву, общество взаимного шпионства, какой-то „знак печали“, который растопится, если его кто-либо наденет неискренне, — и в приправу ко всему этому сыскное сикофанство... Как тяжело при таких условиях всем тем, кому противен как красный, так и белый террор. Больно и страшно становится, что эта сумасшедшая реакция внутри общества неизбежно затянет на многие годы успокоение нашей истомленной и истерзанной страны».

Короткую лорис-меликовскую «оттепель» в начале 1880-х быстро сменили политические «заморозки». На престол взошел Александр III — «неограниченный монарх, но ограниченный человек», согласно позднейшему отзыву даже такого «идеалиста самодержавия», каким был умеренный либерал Михаил Стахович. Если ранее, после долгих и бесплодных попыток голой силой подавить революционный террор, в окружении Александра II все же возобладала здравая мысль о необходимости допустить общественных представителей к участию в обсуждении и выработке некоторых за-

«Мой девиз:
труд и по-
литическая
свобода...»

конопроектов, то убийство царя оказалось на руку доктринерам с обеих сторон: фанатикам революции и апологетам самодержавия. В результате политика как организационно-регулирующее начало взаимодействия власти и общества так и не стала практикой государственной жизни.

Апеллируя к безгласному «народу», власть презрительно обходилась с образованным обществом. Исчерпывающую характеристику этих отношений дал сам К.П. Победоносцев в блестяще сыгранной (если верить В.В. Розанову) политической пантомиме. На слова, сказанные по поводу какой-то правительственной меры: «Это вызовет дурные толки в обществе», обер-прокурор Святейшего синода «остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше».

Для русской общественности настали времена, которые писатель Петр Боборыкин, умевший подбирать выразительные глаголы для характеристики поведения своих излюбленных персонажей — либеральных интеллигентов, определял словами: «съежились» или «сжались». «Точно все мы притворяемся, что живем вплотную, а жизни нет, веры в свое дело нет, смелости нет!..», «все идет „на ущерб“, все попрятались по углам...» — подводит безрадостные итоги общественной жизни к середине 1880-х один из таких персонажей в романе с выразительным названием «На ущербе».

По словам младшего товарища Гольцева П.Н. Милюкова, в эпоху, на которую пришелся расцвет творческих сил Виктора Александровича, «даже простой литературный обед уже составлял общественный факт, а смелая застольная речь уже целое событие». Неудивительно, что и ресторан «Эрмитаж» за отсутствием других форм представительства общественных интересов прослыл тогда среди ироничных московских либералов «государственным учреждением». В этих условиях именно Гольцев, по свидетельству Боборыкина, был «одним из самых выдающихся пробудителей общественного чувства и протестующей мысли. Не было ни одного начинания в сфере литературы, прессы, земского движения, просветительной инициативы, не устраивалось никакого сборища, обеда, вечера, публичного чтения, поминок или чествования с освободительным характером, где бы он ни принимал живого участия, где бы он ни был председателем, строителем, оратором или руководителем».

Гольцев, как он сам себя характеризовал в переписке с Кавелиным, был «немножко маньяком». Речь шла о его искреннем и глубоком увлечении идеей конституции в стране, где даже в либеральных кругах еще преобладали надежды на верховную власть. Само это слово «конституция» нередко употребляется им в переписке с друзьями в горько-ироническом смысле: то он обещает «вводить свое самолюбие в конституцию», то, «опровергая» скептиков, утверждавших, что Гольцев не доживет «до конституции», дает знать о даровании ему по Высочайшему повелению «конституции» в виде интернирования в Москве под надзор полиции.

Повсюду откровенно проповедуя свои свободолюбивые взгляды, Гольцев очень скоро оказался лишенным возможности занимать не только университетскую кафедру (уже в августе 1882 года его вынудили уйти в от-

ставку), но и какую-либо выборную должность в земстве или городском самоуправлении. «Жизнь, — как писал впоследствии один мемуарист, — насильно втиснула его в рамки работы, для него органически необходимой». Гольцев стал постоянным автором многих русских периодических изданий и редактором «Русской мысли» — крупнейшего из «толстых» либеральных журналов 1880-х годов (до 10 000 подписчиков).

Еще во время четырехмесячного тюремного заключения в 1884 году Гольцев написал большую часть книги «Законодательство и нравы в России XVIII века». Это сочинение было опубликовано в Москве в 1886 году. Одно время Гольцев даже подумывал представить его в качестве докторской диссертации.

Но все написанное Гольцевым «не было так талантливо, как был талантлив его дух». Современники дружно отмечали то, что оставалось за рамками его печатных выступлений, — присущее ему «влиятельное обаяние» и «шумный успех, постоянно его сопровождавший».

Вместе с тем к этому роль Гольцева не сводилась. Либеральное движение 1870–1880-х годов, как отмечал впоследствии П.Б. Струве, «имело два фланга, из которых один соприкасался с русским консерватизмом, другой — с революционным движением». Своеобразие Гольцева заключалось в том, что он в одно и то же время выступал на обоих флангах. Со студенческой скамьи и до вполне зрелых лет Гольцев конспирировал и проповедовал в среде радикально настроенной молодежи, вместе с тем наглядно доказывая всей своей деятельностью, что за пределами революционного подполья есть место для гражданского подвижничества. Заметим, кстати, что гольцевский идеал — это не только конституционный строй для России, но и «культурное государство», которое, сохраняя лучшие особенности государства правового, берет на себя еще и выполнение задач социального благосостояния.

В конце 1880-х годов в оппозиционных кругах Москвы и Петербурга получила широкое распространение рукописная брошюра Гольцева «Земский собор», в которой выдвигалась задача объединения усилий либералов и революционеров на основе пропаганды необходимости политических и социальных перемен и созыва общероссийского выборного представительства. В начале 1890-х годов Гольцев был причастен и к деятельности одной из первых нелегальных организаций либерального толка — партии «Народного права».

Годы безвременья заметно притупили острые углы в характере Гольцева, научив его приемам тактического лавирования и отступления. В пору, названную М.М. Ковалевским временем «неосуществившихся надежд и несбывшихся мечтаний», Гольцев шел на установление прямых связей с флигель-адъютантом Александра III П.П. Шуваловым — то ли настоящим конституционалистом, то ли выдававшим себя за такового (историки до сих пор не разобрались), руководителем «Святой дружины» — тайной организации, созданной специально для охраны особы царя и противодействия революционному терроризму. Гольцев откровенно разго-

«Мой девиз:
труд и по-
литическая
свобода...»

варивал и с К.П. Победоносцевым, излагая ему свои конституционные взгляды, а позднее вел уже «арьергардные бои»: через своего университетского товарища, сотрудничавшего в «Московских ведомостях», пытался даже заручиться поддержкой М.Н. Каткова в борьбе за сохранение женских медицинских курсов. Так, из убежденного конституционалиста и несостоявшегося парламентского бойца российская действительность 1880-х годов делала ходатая по частным вопросам, вынужденного искать себе союзника в лице консервативного московского журналиста, влиятельного в правительственных кругах.

Несмотря на бодрость духа («Бог не выдаст, свинья не съест!» — любил говаривать Виктор Александрович), он все чаще впадает в тоску. Охватывающее его порою уныние проскальзывает и на страницах многочисленных писем. «Кругом все (то есть почти все) так мелкогато, пошлогато, подчас зло, что несомненный рост доброго заслоняется подлыми господами положения, — писал Гольцев в одном из писем августовским вечером 1891 года. — Эти дни я в Москве один, много работаю, мало сплю, и по ночам мучают иногда меня невеселые думы. Полагаю усилить дозу работы, поменьше видеть людей, чтобы не превращаться в мизантропа». Уход в работу становился главным спасением от продолжавшегося безвременья. Но и это средство не могло спасти Гольцева от тоски, боли и, наконец, зависти. Все эти чувства выразились в горьком восклицании, которым он подытоживал свои трудовые планы: «Читаешь иностранные газеты: как сильно, ярко, умно бьется жизнь!»

На передовой западноевропейский опыт еще в большей мере ориентировалось и новое поколение молодых русских либералов, вступавших в общественную жизнь с конца 1880-х годов. В глазах этих людей, составивших основу поколения первоумцев, Виктор Александрович уже выглядел человеком отсталым, уставшим от изнурительной борьбы. И они призывали его «не уставать и не отставать». В 1896 году было намечено устроить очередной либеральный обед в связи с шестнадцатилетней годовщиной введомой Гольцевым «Русской мысли» (по тогдашним меркам человеческой жизни журнал достиг «совершеннолетия»). Свои поздравления виновнику торжества прислал из Рязани и Павел Милюков, сосланный туда за оппозиционную деятельность. Будущий лидер Конституционно-демократической партии в согласии с обычаями времени придал своему посланию форму тоста, который он поручал Гольцеву огласить на банкете. В намеренно шутливой форме застольной речи угадывалась и шадящая полемика с самим юбиларом. Отметив, что «брак» «Русской мысли» с русским обществом «не переставал приносить великие и обильные плоды в пору величайшего бесплодия нашей общественной жизни», Милюков решительно заявлял: «Теперь, господа, эта пора прошла безвозвратно. Я не устану повторять это вопреки осторожному скептицизму моих более зрелых и благоразумных коллег...»

Свой воображаемый «тост» Павел Николаевич завершал пожеланием: «Пусть „Русская мысль“ будет вечно юна — или, если это не противоре-

чит законам природы, — пусть переживет она, вдохновляемая весенним дыханием русской общественности, вторую молодость!»

На «вторую молодость» Гольцеву, в отличие от таких его сверстников, как, например, Муромцев, Ковалевский, Кареев, заседавших в первом российском парламенте, уже не хватило сил. История, как будто в насмешку, вывела его на сцену политической жизни в канун крушения либеральных надежд, рожденных политикой Лорис-Меликова, и заставила уйти из жизни в год созыва и разгона I Государственной думы.

Политическая драма Гольцева предвосхитила драму всей русской либеральной интеллигенции, готовой уже в начале 1880-х годов вступить на путь открытой политической деятельности, но лишенной затем еще почти на четверть столетия возможности политически реализовать себя.

«Судьбу свою создавать
по своей воле, а не из-под
палки...»

Биография Михаила Ивановича Венюкова (1832–1901), военного по образованию и профессии, исследователя-путешественника по призванию, либерального демократа по убеждениям и политического эмигранта по воле судьбы (со стажем в четверть века!), удивительна и интересна. Его жизнь была насыщена не только многими событиями, но и общением с широким кругом весьма известных политических деятелей, ученых, писателей и журналистов.

Родился М.И. Венюков 5 июня 1832 года в русской глубинке, в Рязанском крае, в селе Никитенском. Он был шестым ребенком в мелкопоместной дворянской семье, где после него родилось еще пятеро детей. Михаил рано пристрастился к чтению. Позднее, вспоминая свои детские годы, Венюков писал: «Я не знал бы, что делать в доме родителей, если бы по счастью не попала в руки география Арсеньева. Ею я зачитывался целые часы и, вероятно, тут впервые приобрел страсть к изучению Земли, которая потом уже не оставляла меня никогда».

Вместе с тем и семья Михаила оказала влияние на формирование его характера и политических интересов. Отец был участником войн с Наполеоном и к двадцати шести годам уже имел «владимирский крест с бантом и майорский чин, что было недурно для армейского офицера». Уже в николаевское царствование, служа на казенных и дворянских должностях в своей губернии, Венюков-старший, будучи как-то в Рязани под новый, 1840 год, достал там ходившую по рукам рукопись одного из произведений казенного поэта-декабриста К.Ф. Рылеева — поэму «Войнаровский». Возвратившись домой, ветеран Наполеоновских войн переписывал эту запрещенную рукопись «три ночи подряд» и затем «охотно читал» свой список «знакомым, которые хотели слушать». Особенно благодарным слушателем и читателем рылеевской поэмы оказался его собственный сын. Совсем еще юного Михаила рукопись «Войнаровского» приводила «в восторг»!

В 1845 году, учитывая нелегкое материальное положение семьи, родители решили определить тринадцатилетнего сына «на казенные хлеба» в кадетский корпус в Петербурге. Блестяще сдав вступительные экзамены, он был принят сразу во второй класс. В годы пребывания в корпусе

юный кадет старательно занимался естественными науками, увлекался «Космосом» Гумбольдта. Читал передовую литературу 1840-х годов: философские «Письма об изучении природы» и художественные произведения «Кто виноват?», «Доктор Крупов» Герцена, переписку Белинского с Гоголем, исторические статьи Грановского. Эти произведения, как писал впоследствии Венюков, «сохранились в памяти многих моих сверстников. И никто не станет отрицать благотворного влияния их на свое развитие, никто не бросит камнем в их авторов, стоявших на таком высоком уровне нравственной чистоты и работавших так неустанно в пользу света среди окружавшей их тени. Благородные, светлые личности, незабвенные в русской истории».

Выпущенный из корпуса в чине прапорщика Венюков с 1850 года начал профессиональную военную службу в артиллерийской батарее в Серпухове. Продолжая много читать, он переписывает от руки в 1851 году роман Герцена «Кто виноват?», на всю жизнь ставший для него реликвией. Не переставал артиллерийский прапорщик заниматься и естественными науками. В Серпухове он написал свои первые научные заметки. В 1853 году Венюкова отзывают в Петербург и назначают репетитором по физике в его родном кадетском корпусе. Оказавшись в столице, он стал сразу же ходатайствовать о допущении его вольнослушателем в университет. Получив разрешение, Венюков слушал лекции П.Л. Чебышева и В.Я. Буняковского по математике, С.С. Куторги по зоологии, Э.Х. Ленца по физике, И.И. Ивановского по международному праву. Но в августе 1854 года, не дослушав университетского курса, Венюков поступил в николаевскую Академию Генерального штаба, которую успешно закончил в 1856 году.

В конце того же 1856 года двадцатичетырехлетний офицер получил назначение в штаб генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского — одного из самых колоритных российских «проконсулов», высоким покровительством которого пользовался даже такой знаменитый бунтарь, как Михаил Бакунин в пору своей сибирской ссылки. Вскоре по прибытии к Муравьеву Венюков отправился в свое первое путешествие, получив предложение от самого генерал-губернатора о поездке вместе с ним на Амур. «Лучшего поощрения к работе нельзя было придумать, — писал впоследствии Михаил Иванович. — Мечта моя быть на Амуре, представлявшем в то время крупный политический интерес, сбывалась...»

Путешествие по Амуру стало лишь начальным этапом в исследовании Венюковым Дальнего Востока. В 1858 году ему было поручено организовать и провести первую русскую экспедицию вдоль всего течения реки Уссури. С маленьким отрядом казаков Венюков тщательно обследовал бассейн реки, первым из русских перешел Сихотэ-Алиньский хребет и вышел к Японскому морю, составив подробное научное описание Уссурийского края и положив начало изучению этих земель.

В годы пребывания в Восточной Сибири Венюков близко сошелся с тамошней интеллигенцией, группировавшейся вокруг сибирского отдела Русского географического общества. Он был знаком с М.А. Петрашевским,

которого высоко оценил в своих воспоминаниях: «Ум многосторонний, резко аналитический и в то же время глубоко сочувствовавший всему гуманному без фальши, без экивоков, не склоняясь ни перед чьим авторитетом».

В 1859–1860 годах старшего адъютанта в штабе Отдельного Сибирского корпуса Венюкова занимают уже другие, отдаленные и малоизвестные территории России. Сначала он возглавляет разведывательную экспедицию в долину реки Чу, а затем руководит геодезическими съемками на озере Иссык-Куль. Итоги проделанной работы вылились в обширную научную публикацию, удостоенную серебряной медали Русского географического общества.

В 1861–1863 годах Венюков служит на Северо-Западном Кавказе в должности командира батальона Севастопольского пехотного полка. Одним из результатов предпринятого им изучения истории, этнографии и статистики этого края стало составление его первой этнографической карты.

В конце 1863 года Венюкова переводят на службу в Польшу, где с апреля следующего года он становится председателем Люблинской комиссии по крестьянским делам. В ту пору Н.А. Милютин и его сподвижники проводили в «замыренной» Польше аграрную реформу на гораздо более выгодных для крестьян условиях, чем в самой России. Параллельно с активным участием в делах реформы Венюков успевает написать учебник по физической географии, который увидел свет уже в 1865 году. В начале 1867 года Михаил Иванович получил отпуск от службы с сохранением за ним прежнего жалованья в течение двух лет. Это дало ему возможность приступить к осуществлению давней мечты «о путешествии по Европе, а может быть, и вокруг света».

Непосредственное знакомство с Западом вызвало в русском европейце, каким по своему воспитанию и характеру уже был к тому времени Венюков, множество мыслей и чувств, в общем-то типичных для многих образованных русских, посещавших ту часть Евразии. Позднее, когда речь пойдет об эмиграции, Михаил Иванович в сжатом виде изложит эти соображения в частном письме к брату. Это кредо русского европейца и патриота в одном лице: «Я служил и всегда готов служить России, кроме нее у меня нет симпатий, ей одной принадлежит и моя мысль, и мои чувства. И будь она под теперешним игом и даже николаевским, павловским и прочее, или же процветай, как Англия, Бельгия и прочее, я одинаково ее люблю. Но дело не в одной платонической привязанности. Кого любишь, тому прежде всего желаешь движения вперед, нравственного и умственного преуспевания и, что главное, свободы от тягостных условий развития, свободы судьбу свою создавать по своей воле, а не из-под палки. И восемьдесят ли миллионов народа, считающего себе от роду вторую тысячу лет, не стоят этой свободы, этого выхода из крепостного состояния? Им ли кажется не желать и не добиваться тех же форм быта, которые составляют счастье и славу Европы и Северной Америки, форм, которые у меня врезаются в память неизгладимыми чертами. Ты знаешь, что нас ненави-

дят везде. Ненависть эта большею частью бессознательна, но она, скажем прямо, не лишена оснований. Кто легко относится к ярму, надеваемому на шею, кого это ярмо не тяготит настолько, чтобы в нем проявилось желание сбросить его, во что бы то ни стало, тот унижает в себе, выражаясь метафорически, образ и подобие Божие, становится ниже прочих людей и делается достойным их сожаления...» И далее Венюков пишет: «Я давно знаю склад русского общества, давно изучаю общества европейские, знаю слабость последних, сухость сердца в них господствующую, преобладание корыстных расчетов и, наоборот, нашу откровенную общительность, нашу слишком барскую распушенность и ширину русской натуры... И как ни симпатичны мне самые эти недостатки русских людей и ни противны [западноевропейские] жадность и нахальство, я не могу не признаться перед совестью, что эти нахалы, что эти торгаши вырабатывают своими трудами великую идею освобождения человеческой личности от всяких уз предания, а мы — мы ничего не делаем».

Первую корреспонденцию для герценовского «Колокола» Венюков написал еще в 1861 году, в пору всеобщего увлечения основателем вольной русской печати и его изданиями. Для доставки письма в Лондон пришлось воспользоваться услугами посредника, но тогда корреспонденция до Герцена не дошла, хотя и была опубликована в «Таймс».

Когда же Венюков выехал на Запад, одним из главных событий его европейского турне стало личное знакомство в 1867 году с Герценом и Огаревым, к тому времени переехавшими из Лондона в Женеву. Старые эмигранты и русский офицер, странствующий по Европе, несколько раз обменялись визитами. Особое впечатление на путешественника произвел, конечно, Герцен. По отзыву Венюкова, «такого всестороннего и остроумного собеседника» ему не приходилось встречать ни раньше, ни позднее. «Чтение его книги „Былое и думы“, тогда бывшей новостью, не могло затмить его самого. Огарев же был скушноват...»

Как вспоминал Михаил Иванович «под влиянием женевского „вольного воздуха“ и отчасти бесед с Герценом», пульс у него «так повысился, настроение мозга так поюнело», что он даже написал два стихотворения. Одним из них стал русский перевод «Марсельезы», который по желанию Герцена был напечатан в его типографии «вместе с французским текстом на листке, который удобно было распространять...». В герценовском «Колоколе» 1 августа 1867 года была опубликована и статья Венюкова о русских завоеваниях в Азии с примечаниями самого издателя и положительной оценкой этой статьи.

В 1869–1870 годах Венюков на средства, полученные от Военного министерства, совершил путешествие в Японию и Китай. По возвращении он опубликовал двухтомное «Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии» и «Очерки современного Китая». В этих работах Михаил Иванович отметил преимущества географического положения Японии с точки зрения развития торговли с другими странами, описал приемы земледелия и агротехники, быт, обычаи страны, особо

«Судьбу свою
создавать по
своей воле,
а не из-под
палки...»

подчеркнув трудолюбие японцев и их вклад в прогресс своей страны. С теплотой и симпатией Венюков отзывался и о китайском народе, в то же время возмущаясь «грубым, если не сказать зверским» обращением колонизаторов с коренным населением Китая.

В 1871 году Венюков был прикомандирован к Главному штабу «для учебных работ» и трудился там в течение пяти лет. Михаил Иванович составлял описание русско-азиатских окраин. Одновременно читал публичные лекции в Академии Генерального штаба о современном состоянии военных сил и средств Японии и Китая. В 1871 году Венюков был удостоен золотой медали Русского географического общества, а в 1873-м — избран секретарем этого общества, одного из самых авторитетных научных объединений старой России. По инициативе Венюкова начались работы над составлением этнографической карты Азиатской России.

На II Международном географическом конгрессе, состоявшемся в Париже в 1875 году, Венюков был в составе русской делегации и представлял там карту русских путешествий в Азию. По словам Михаила Ивановича, эта карта наглядно показывала иностранцам «то обширное пространство величайшего материка, которое сделалось достоянием европейской науки благодаря усилиям и трудам длинного ряда русских деятелей».

Другим занятием Венюкова в последние годы жизни на родине была публицистика. С учетом критического склада ума и характера Михаила Ивановича, эта деятельность, поглощавшая немало умственных и нравственных сил, грозила серьезными неприятностями для генерал-майора действительной службы. Тем не менее он много печатался на страницах различных газет и журналов, употребляя «разные обходные приемы, недоговаривания, метафоры и прочее». Последние годы своего пребывания в России Венюков назвал в мемуарах «хорошим временем», отметив, что «в смысле удовлетворения жажды умственной деятельности» он считает этот период «одним из лучших в своей жизни».

На решение Венюкова уйти со службы и покинуть Родину повлияли несколько факторов. У этого выдающегося человека, либерала и демократа по убеждениям, много сделавшего для России, было много причин быть не удовлетворенным своим положением. Вольнодумство и критические высказывания Венюкова, как, впрочем, и зависть к его успехам на поприще науки, создавали вокруг атмосферу недоброжелательности, мало способствовавшую официальному признанию его несомненных заслуг. Вместе с тем чувство собственного достоинства не позволяло Михаилу Ивановичу мириться с неопределенностью своего служебного статуса — генерала, даже не зачисленного, а лишь «прикомандированного» к Главному штабу без каких-либо точных указаний круга обязанностей, но с унижительной необходимостью ежегодного возобновления этого прикомандирования.

В феврале 1876 года он подает прошение об отставке, уже решив покинуть Россию. «Не многим, как мне, — напишет он в воспоминаниях, — приходилось оставлять родину по заранее обдуманному плану из сознания неосуществимости своих лучших надежд и желаний при известных приемах

и стремлениях так называемых руководящих сфер». Принятое решение было, безусловно, самым драматическим моментом в биографии Венюкова. «Там, сзади, оставалось все, что было дорого сердцу в течение сорока пяти лет, а тут впереди не виделось ничего... ничего, кроме свободы... И я взял свободу, конечно, не без сожалений о некоторых счастливых, исключительных минутах рабства, но с твердою решимостью, оставаясь русским, не возвращаться в Россию иначе, как на службу свободе же».

Венюков уехал из России в 1877 году, отказавшись от положенной ему по выходе в отставку генеральской пенсии. Из Парижа он обратился с письмом к Александру II, где были и такие слова: «Можно лишить меня полученных в течение сорока пяти лет высших отличий, которых суетность мне всегда была совершенно ясна; можно вычеркнуть мое имя из списка русских граждан, но нет силы, которая бы могла исключить меня из числа преданных сынов Русской земли...»

Все двадцать четыре года, прожитые в эмиграции, Венюков оставался русским гражданином-патриотом. Путешествуя по Европе и Турции, Африке и Америке, занимаясь научными изысканиями, став членом географических и топографических обществ Швейцарии, Франции, Англии, он не утрачивал интереса к России, продолжал общаться и переписываться с большим числом соотечественников. «Мне хочется жить в Европе не даром, а изучать ее так же обстоятельно, как двадцать лет изучал Азию. Может быть, от этих занятий будет какая-нибудь польза и другим», — писал он в одном из писем на родину.

Находясь в эмиграции, Венюков издал в русской бесцензурной печати четырехтомный труд «Исторические очерки России со времен Крымской войны до заключения Берлинского договора (1855–1884)» и свои трехтомные мемуары «Из воспоминаний (1832–1884)».

...Скончался он в первый год нового века в одной из парижских больниц, в нищете и одиночестве. Всего тремя краткими некрологами отозвалась на эту смерть его родина.

Еще в 1881 году Михаил Иванович составил завещание, согласно которому его обширная библиотека и все собрание карт и атласов передавались селению Хабаровке на Амуре, откуда началась его первая экспедиция по Уссурийскому краю. Туда они и поступили десять лет спустя после его смерти вместе с оставшимся рукописным архивом и фотографиями. Местом поступления стала Николаевская публичная библиотека Приамурского отдела Русского географического общества в Хабаровске. Но долгие годы факт возвращения архива Венюкова на родину был неизвестен даже ученым. Лишь спустя более чем полвека после смерти Михаила Ивановича материалы архива были перевезены в Москву и переданы в Отдел рукописей главной библиотеки страны. Здесь они были разобраны, описаны и хранятся по настоящее время в ожидании, когда наследие этого выдающегося путешественника и гражданина найдет своего исследователя.

Если Венюкова-путешественника все-таки помнят на родине, то Венюков-либерал принадлежит к числу почти неизвестных фигур. И это

«Судьбу свою создавать по своей воле, а не из-под палки...»

вызывает сожаление, поскольку он воплощал в себе не только многие характерные черты русских вольнодумцев, чьи взгляды формировались под мощным воздействием подготовки Великих реформ, а затем и самих преобразований, но и выдающиеся человеческие качества. Либерал и вольнодумец, он был в высшей степени патриотом России, желавшим ей прежде всего «свободы судьбу свою создавать». Принадлежа к кругу русских западников, «европейцев», он даже в этой среде выделялся широтой взглядов и подлинным универсализмом своего интереса к миру.

МИХАИЛ
МАТВЕЕВИЧ
СТАСЮЛЕВИЧ

**«Где правительство
называют кормильцем
и благодетелем,
то государство останется
навсегда в состоянии
детства...»**

«Я не знаю в России человека, который заслуживал бы большего уважения, чем этот „либерал“...» — отзывался об историке и издателе Михаиле Матвеевиче Стасюлевиче известный русский философ и общественный деятель В.С. Соловьев. Имя Стасюлевича было на слуху у образованного русского общества на протяжении более четырех десятилетий: популярность его была настолько велика, что Стасюлевич стал единственным русским издателем, удостоившимся посмертной персональной пятитомной публикации личных документов и переписки...

Михаил Матвеевич Стасюлевич родился 28 августа 1826 года в Петербурге в семье врача. Его родители происходили из обедневших дворян, так что, лишенный в материальном смысле надежного «семейного тыла», он с ранних лет привык рассчитывать исключительно на собственные способности и трудолюбие. В 1837 году «по уважению крайне бедного состояния» десятилетнего Михаила зачислили на бесплатной основе в четвертую (Ларинскую) гимназию в Петербурге. В 1843–1847 годах Стасюлевич — студент историко-филологического отделения философского факультета Петербургского университета, под влиянием популярного профессора М.С. Куторги избравший своей специализацией античную историю. В 1849 году он защитил магистерскую диссертацию на тему «Афинская игемония», в 1851 году — докторскую «Ликург Афинский».

Однако Стасюлевич не представлял себя только в роли кабинетного ученого. Да и сама наука все больше интересовала его как ключ к решению злободневных общественных проблем, средство для обоснования необходимости реформ в России. К тому же Стасюлевич всегда особенно ценил живое общение с людьми, возможность непосредственного влияния на свою аудиторию, формируя у нее «определенные политические взгляды не только на прошлое, но и на будущее, создавая в них отрицательное отношение к отжившим учреждениям и положительные идеалы лучшего общественного строя».

«Родной стихией» для молодого историка стала преподавательская деятельность — сначала в Ларинской гимназии (1847–1853), затем в Патриотическом институте (1852–1856), состоявшем в ведении великой княгини Марии Николаевны, которая пригласила Стасюлевича обучать и своих детей. С 1852 года он доцент; с 1858-го — профессор кафедры всеобщей истории Петербургского университета.

Важным этапом в становлении Стасюлевича как ученого и будущего общественного деятеля стала заграничная командировка. В 1856–1858 годах он изучал опыт преподавания истории в Италии, Франции, Англии, Германии, знакомился с политическим строем европейских государств. Позднее Стасюлевич вспоминал с чувством «величайшего удовольствия и даже счастья» о том, как в крупнейших центрах европейской науки (например, Гейдельбергском и Берлинском университетах, Сорбонне и Коллеж де Франс) ему довелось слушать лекции ученых с мировыми именами — Э.-Р.Л. Лабулэ, Ф. Гизо, Ж. Мишле, Л. фон Ранке, К. Фишера, И.Г. Дройзена, Ф.К. Шлоссера, быть лично знакомым с некоторыми из них. Стасюлевич отмечал то огромное влияние, которое оказали на него, в частности, взгляды Лабулэ: «Он каждую лекцию повторяет нам одну и ту же идею: напрасно правительства говорят своим народам „спите спокойно, мы за вас сделаем все, и города построим, и в них университеты, заведем фабрики, устроим флот, проведем дороги“; что же из всего этого? Правительство прибегает к централизации и с каждым годом находит себя все более и более в необходимости централизоваться; жизнь государственная исчезает в провинциях и сосредоточивается в одной столице, положение правительства все делается затруднительнее, и за тем один шаг до политической смерти... Всякое государство, где администрация берет на себя даже и пережевывание пищи, как делает то кормилица с новорожденным, где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства. Таков закон истории!..»

Зарубежные впечатления и собственный многолетний опыт кропотливой исследовательской работы убедили Стасюлевича в общности исторического развития России и Западной Европы, неизбежности буржуазного развития России: «Всеобщая история называется всеобщей потому, что она предполагает во всех народах общую человеческую природу. Нет такого великого народа, который не считал бы человечество своею второю родиною; и чем выше предназначение какого-нибудь общества, тем родство его с человечеством ближе и живее...» Стасюлевич, мечтавший о том, чтобы «граница, лежавшая между нами и Западом, совершенно стерлась», был убежден в том, что благодаря успехам исторической науки «найдена дорога к решению исторических вопросов» и «чтобы дойти до результатов, не нужно ничего более, кроме времени и труда».

По мнению ученого, идеал государственного устройства — это Англия и Америка, где предоставлена широкая свобода «самодеятельности» народа. Стасюлевич, делясь с другом своими впечатлениями от пребывания за границей, в частности, замечал, что английская конституция «написана

не на бумаге, а в сердце каждого гражданина»: «Здесь ценится человек, и каждый отвечает за себя; отсюда и проистекает в Англии и порядок, и образованность, и богатство».

Любимый девиз англосаксов (по сути, жизненное кредо самого Стасюлевича) — «Помоги себе сам!» — он характеризовал как «весь курс конституции Англии и Северо-Американских Штатов, а вместе секрет их могущества». Стасюлевич как-то вспоминал: «Один мой знакомый, увидя этот девиз, заметил мне, что в нем много самоуверенности, если применить его к отдельному человеку и если применить его к целому обществу, то в этом девизе — что-то бесчеловечно-эгоистическое. Так судят всегда об Англии и Северо-Американских Штатах на континенте, где так много человеколюбия... У нас так много человеколюбия, отчего же никто не счастлив?.. Во Франции и вообще у народов материка, где до сих пор еще не погибли предания римской и византийской централизации, исторический процесс совершается весьма забавно или, лучше сказать, печально. Народ и общество убеждены, что их задача состоит в том, чтобы выработать себе правительство, а затем жизнь народа прекращается или, что все равно, эта жизнь продолжается в жизни правительства; народ с того времени засыпает, убежденный, что правительство сделает за него все... Опыт же показал, чем кончается история таких государств. В Северо-Американских Штатах правительство остается только при своей роли; народ не прекращает жить ни на минуту... Мы же на континенте со своим человеколюбием, со своею широкою любовью к ближнему забываем, что именно от этого-то человеколюбия, которое заставляет каждого отказываться от своей личности, мы и нуждаемся в человеколюбии...»

Стасюлевич на протяжении всей жизни последовательно выступал против «усилий администрации заменить собою самодеятельность народа». Вместе с тем одна критика явлений действительности никогда не могла удовлетворить запросов созидательного ума ученого. Не просто выразить свое отношение к какому-либо вопросу, важному для общества, но найти возможность оказать конкретное влияние на его разрешение — вот к чему всегда стремился Стасюлевич. Так, в 1864 году в письме к своему учителю и другу П.А. Плетневу Стасюлевич изложил основные мысли, сформулированные им в записке к тогдашнему министру финансов М.Х. Рейтерну: «Худо то, что все основано на увеличении финансов; это частная точка зрения, перенесенная на жизнь государства, и наши финансы между прочим и именно худы от того, что правительство делает все на свой счет, то есть на счет того же народа, и как всякое правительство тратит рубль там, где народ истратил бы копейку. Можно сказать, что вся Россия поставлена в стойло и содержится на казенный счет; между тем во многих случаях было бы лучше пустить ее на подножный корм; но для этого, конечно, нужно снять узду, а именно этого-то и избегают всеми мерами; содержание лошади в конюшне обходится дороже, но оно спокойнее, а выпустить ее в поле дешево, но труднее управиться с нею... Государство начинается там, где в первый раз встретились два человека

«Где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства...»

для того, чтобы поднять общими усилиями камень или сорвать плод с высокого дерева; мы каждую минуту присутствуем при таком зародыше государств...» Стасюлевич задается вопросом: «В чем тут состоит роль государства и выделяющегося из него правительства?» И сам отвечает: во-первых, «устранить все то, что может помешать деятельности соединенных сил» и, во-вторых, «направить все силы так, чтобы они не сталкивались друг с другом...». «Сделать что-нибудь большее значило бы принять себя за третью силу, а это будет самообольщение, потому что тот, кто правит, не имеет силы, но только расчищает дорогу другим силам...»

Заметим сразу, что наряду с общностью развития России и западных стран Стасюлевич вполне осознавал и существенные различия как в темпах, так и в самом характере исторического пути разных народов и государств. Всегда выступая с критикой теорий быстрой коренной ломки традиционных форм социальной жизни, отдавая предпочтение эволюции перед революцией, он призывал государственных деятелей и политиков считаться с особенностями собственной страны. «Нельзя сердиться на людей и общество... В природе мы видим то же самое: на все есть свое время — в одном месяце поспевают огурцы и бобы, в другом — капуста... Можно сказать одно, что мы теперь не в виноградной поре...» — делился Стасюлевич своими размышлениями в письме к другу в 1864 году.

Еще один непреложный закон вывел Стасюлевич из наблюдений за современной жизнью и изучения жизни народов в прошедшие эпохи: «отсутствие политической нравственности ведет за собою и отсутствие общественной». Он в полной мере разделял убеждение своего друга и соратника К.Д. Кавелина: «Правда, нравственность и выгода соединены нерасторжимыми узами». Политика должна основываться на принципах морали — приверженность этой идее Стасюлевич пронес через всю жизнь, несмотря ни на какие внешние обстоятельства...

«Истина и откровенность составляют важнейшее условие здоровой педагогики» — так определял Стасюлевич свое профессиональное кредо. Совсем не удивителен поэтому огромный интерес, который проявляли слушатели к его лекциям. У известного профессора, естественно, не было недостатка и в частных уроках. Судьбе угодно было привести его в этом качестве в семью петербургского купца-миллионера И.О. Утина, на дочери которого, своей ученице, Любови Иосифовне Утиной, Стасюлевич женился в 1859 году. Несмотря на отсутствие детей, вместе они прожили в любви и согласии пятьдесят два года...

Еще об одном его ученике следует сказать особо — наследнике престола, цесаревиче Николае Александровиче (1843–1865). В 1860 году Стасюлевич был приглашен в императорскую семью в качестве преподавателя всеобщей истории. Высокая честь подготовки будущего самодержца была оказана также С.М. Соловьеву (русская история), Ф.И. Буслаеву (русская литература), К.П. Победоносцеву (юридические науки), Н.Х. Бунге (политэкономия и финансы), М.И. Драгомирову (военные науки). Стасюлевич нашел в своем ученике «родственную душу». Размышляя о необходимых

преобразованиях в России, он возлагал на цесаревича большие надежды, которым, однако, не суждено было сбыться из-за ранней смерти Николая Александровича...

Вспоминая свое последнее занятие в императорском дворце, посвященное событиям Великой французской революции, Стасюлевич писал: «Я убеждал его (Николая Александровича. — Н.Х.) не верить, что в революции нет ничего, кроме дурных страстей... просил его усвоить себе великую истину, что стремление к свободе есть не результат праздной мысли философов, но потребность физиологического развития общества; что задача правительства состоит в том, чтобы делаться все более и более излишним, и тогда само общество найдет для себя такое правительство необходимым... Обвиняют общество, говорил я, что оно не хочет признавать действительных условий жизни и мечтает о небывалом, одним словом, страдает утопией будущего; но и правительство часто не хочет признавать действительных условий и старается управлять обществом на основании отживших условий и, следовательно, страдает утопией прошедшего. Обе утопии происходят от невежества...»

Стасюлевич был удален от наследника престола за «неблагоденность» в результате «подземных интриг» недоброжелателей, связанных с III отделением. Не ко двору пришелся Стасюлевич и в Петербургском университете. Там он пытался реализовать свои идеи по общественному переустройству вместе с другими членами кружка молодых профессоров (К.Д. Кавелиным, В.Д. Спасовичем, А.Н. Пыпиным, Б.И. Утиным), выступавших за демократизацию системы высшего образования — автономию университетов, свободу студенческих организаций, равные права женщин. В 1861 году в знак несогласия с действиями властей (жестокая расправа с участниками студенческих волнений и временное закрытие Петербургского университета) Стасюлевич и его единомышленники подали в отставку. Их поступок, шедший вразрез с вековыми традициями «непротивления начальству», был расценен верхами чуть ли не как преступление. Несмотря на сочувствие опальным профессорам нового министра народного просвещения А.В. Головнина, ни одному из пяти оставшихся не у дел «возмутителей спокойствия» так и не удалось больше никогда возвратиться к любимой преподавательской работе. «Снизу считают нас ретроgrадами и почти что подлецами, а сверху на нас смотрят чуть не как на поджигателей, — делился грустными размышлениями Стасюлевич в письме к другу в июне 1862 года. — Теперь люди благоразумные, попавшись между двумя фанатизмами, без сомнения, отойдут совершенно в сторону и составят, так сказать, партию воздержания».

Оказавшись не у дел, Стасюлевич, полный сил и энергии, тем не менее не оставлял надежды на возможность оказывать сильное влияние на преобразования в сфере народного образования. Поначалу он сосредоточился на реализации своего давнего замысла: под влиянием работ французского историка О. Тьерри создал и опубликовал оригинальную трехтомную хрестоматию «История средних веков в ее писателях и ис-

«Где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства...»

следованиях новейших ученых» (1863–1865), четырежды переиздававшаяся до 1917 года и не утратившую своего значения до сих пор. Эта книга включает в себя, помимо сжатого изложения событий, обширные цитаты из источников, трудов историков, биографические и библиографические сведения и т.д. Хрестоматия Стасюлевича, сразу же получившая многочисленные одобрительные отзывы учителей, была ориентирована на развитие творческой самостоятельности и свободы мышления учащихся, знаменовала собой качественный прорыв в российской традиционной методике преподавания, страдавшей формализмом.

В 1866 году Стасюлевич завершил еще один крупный научный проект — издал монографию «Опыт исторического обзора главных систем философии истории». Высоко оценивая значение этой книги, известный историк Н.И. Кареев замечал, что Стасюлевич «один из первых дал русской публике связное изложение целого ряда историко-философских теорий и притом в такое время, когда и в других литературах почти ничего не было в подобном роде...».

Стасюлевич — сторонник идеи неизбежности исторического прогресса, взгляда на историю как на «продукт человеческого разума». Он анализирует две наиболее распространенные теории мирового исторического развития — «вечного исторического круговращения» и «вечного исторического прогресса», солидаризируясь с приверженцами последней: «Прошедшее в истории человечества есть только постепенное поднятие его на новую высоту... Прошедшее никогда не повторяется; человек должен в каждую эпоху жить своим умом, открывать новые средства против нового зла; а следовательно, изучать беспрерывно две великие природы — природу внешнего мира и природу собственного духа: в них заключены секреты настоящего и будущего». Возражая противникам идеи закономерности развития человеческого общества, Стасюлевич замечал: «Над нашей головой висит и под нашими ногами копошится множество случаев, но мы, тем не менее, продолжаем строить дома и жить в них, имея уверенность, что сумма уже изведанных нами законов природы достаточна, чтобы не бояться случаев... Теории наук суть такие же жилища нашего духа, как дом служит убежищем для тела; быть может, эти теории шатки, но шатки и наши дома; а между тем нельзя перестать их строить...»

Стасюлевич впоследствии признавал, что работа над этой книгой по философии истории послужила «введением» к его обширной редакторско-издательской деятельности, начавшейся в середине 1860-х годов и имевшей наиболее яркое общественное звучание в 1870–1890-х годах.

Решение Стасюлевича сосредоточить свои усилия именно на этом поприще объяснялось просто. Дело в том, что в середине 1860-х годов в России еще не было по сути никакой политической жизни. Общественная же самостоятельность, которая крохотными дозами отпускалась привыкшим к самовластию правительством, была крайне ограничена и распространялась в основном на вопросы местной жизни. Простор для инициативы был открыт лишь в одной области — печати, особенно после закона 6 апреля

1865 года, отменившего для столичных периодических изданий предварительную цензуру. Печатное слово стало для Стасюлевича до конца его дней важнейшим средством в борьбе за преобразование Отечества. Много сил и энергии было отдано им делу защиты свободы печати в России не только на страницах журнала «Вестник Европы», но и в разных комиссиях и совещаниях по данному вопросу.

Либеральное движение в России во второй половине XIX — начале XX века во многом опиралось на издательский комплекс Стасюлевича, который включал в себя наряду с журналом «Вестник Европы» типографию (с 1872 года) — одно из крупнейших полиграфических предприятий дореволюционной России; книгоиздательское дело; книготорговое предприятие, занимавшееся распространением художественной, общественно-политической, научной и учебной литературы.

Современники отмечали первостепенное значение для Стасюлевича идейной стороны издательского дела (проповедь «идей свободы и европеизма»). По свидетельству одной из сотрудниц редакции «Вестника Европы», проработавшей там около двадцати пяти лет, «дух наживы и все нераздельные с ним методы и приемы были совершенно чужды характеру Стасюлевича. Он тяготился „коммерцией“, мирился с нею как с неизбежным злом и в ущерб личной выгоде ставил ему пределы, покоряясь неизбежной необходимости быть „хозяином“ и „купцом“. Торговать-то торговать, да как бы честь не потерять! — говорил он в ответ на всевозможные старания вовлечь его в ту или другую предпринимательскую спекуляцию ради больших барышей...».

Несмотря на строгие самоограничения, издательский комплекс Стасюлевича стал одним из наиболее процветающих и долговечных предприятий подобного рода в дореволюционной России. Хорошо знавшие Стасюлевича люди объясняли этот успех прежде всего его исключительным организаторским талантом, а также выдающимися нравственными качествами. Но, как представляется, не только природные задатки Стасюлевича сыграли здесь решающую роль. По сути, история его жизни и общественного служения — это сознательно поставленный им самим эксперимент по «оживлению» в ткань российской действительности новой политической культуры.

Личные качества Стасюлевича — концентрированное выражение особых «родовых» признаков целой когорты российских либералов-центристов второй половины XIX — начала XX века. Это прежде всего патриотизм, ярко выраженная гражданская позиция (обостренное чувство сопричастности к судьбе Родины), «вера в право и способность своего народа на лучшее будущее». Отличительной чертой этих людей были также поразительная сила духа и характера (умение «стоять на бреши», или «держат удар», как принято выражаться сегодня), «неизлечимый оптимизм», гуманизм. Абсолютно неприемлемо для них было насилие в любой форме, в том числе «закрепощение» личности с сопутствующими этому, как правило, фанатизмом и нетерпимостью. Всеми доступными

«Где правительством называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства...»

им средствами они отстаивали право человека на свободу критического осмысления окружающей действительности.

Несмотря на многие тревоги и огорчения, сопутствовавшие общественной деятельности Стасюлевича, внешне он всегда выглядел ровным и спокойным. Его наружная сдержанность порой производила на некоторых впечатление душевной сухости. «А между тем, — как замечал А.Ф. Кони, — этот холодно корректный и „застегнутый на все пуговицы“ человек, строго аккуратный и вечно занятый, преображался весь... когда перед ним возникала действительная потребность в помощи, сочувствии, добром слове, а нередко и добром деле, которое он умел делать так, что оно было слышно и видно лишь для того, кого оно касалось».

Характерный пример стиля Стасюлевича-предпринимателя и общественного деятеля, «фирменным знаком» которого всегда являлись безусловная порядочность, обращение не к чувствам, а к разуму, европеизм мышления, — это постановка дела в его типографии, славившейся своими порядками уже в 1880-х годах. По воспоминаниям одной из работниц, «первое впечатление при входе туда было такое, как будто вы переехали из Белоострова на первый полустанок Финляндии. Только что опустилась за Вами рогатка — и все уже другое: и дороги, и люди, и постройки, и даже самый воздух — все чище, свежее, бодрее и основательнее... Вокруг все как будто люди свободные, и себя чувствуешь как-то вольнее... Вместо несправедливых обчетов, штрафов и вычетов, вместо грубой брани и даже жестоких побоев здесь при всякой серьезной провинности обращались к „верховой инстанции“, в „кассационный департамент“, как любил шутя называть себя Михаил Матвеевич. И „кассационный департамент“, внимательно разобрав, в чем дело, постановлял неизменно одно и то же решение: простить, и если еще раз повторится — попросить нас оставить; можете идти в другую типографию». Так же шутя Михаил Матвеевич называл хозяйство свое (книжный склад и типографию) «монархическим государством: не деспотическим, но ограниченным установленными порядками». И нарушения этих порядков не допускал не только для посторонних, но и для самого себя прежде всех. «Джентльмен-хозяин» — называли его за деликатность обращения.

Своеобразие деятельности Стасюлевича состояло в том, что он был не только издателем, но и редактором всех своих изданий. Крупная издательская акция Стасюлевича, имевшая широкий общественный резонанс, — создание «Русской библиотеки», преследовавшей прежде всего просветительские цели (издание доступных по цене для широкой читательской аудитории «однотомников» избранных произведений выдающихся русских поэтов и прозаиков XIX века). Первый том серии, включавший сочинения Пушкина, стал первым же общедоступным изданием поэта (1874). В «Русской библиотеке» Стасюлевича вышли произведения Лермонтова, Гоголя, Жуковского, Грибоедова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина.

Основное направление деятельности типографии Стасюлевича — издание научной и научно-популярной литературы. В начале XX века его

издательство осуществило выпуск серии учебников по истории России и стран Западной Европы, издавало труды виднейших идеологов либерализма, а также представителей других течений общественной мысли. Всего в типографии Стасюлевича было отпечатано около 4000 наименований книг.

Однако главная заслуга Стасюлевича перед русским обществом и главная причина его широкой известности связаны с многолетней деятельностью на посту руководителя «Вестника Европы» — крупнейшего и старейшего либерального журнала в России. «Вестник Европы», выходящий в Петербурге с 1866 по 1918 год, стал центром издательского комплекса Стасюлевича, а сам он являлся бессменным редактором-издателем журнала вплоть до 1908 года включительно. Без преувеличения «Вестник Европы», которому, по словам друга и единомышленника Стасюлевича известного русского экономиста А.И. Чупрова, «принадлежит честь политического воспитания нескольких поколений русской интеллигенции», стал главным делом жизни Стасюлевича, его «гражданским подвигом». Приведем лишь один из отзывов современников по этому поводу: «Журнал... заменил ему университетскую кафедру, потому что перед ним стояла уже не тесная аудитория молодых слушателей, а вся образованная Россия, которая сама задыхалась в тисках безгласности и бездеятельности и жадно ловила всякое освежающее слово... Журнал заменил ему науку, потому что страницы его были всегда открыты для научных работ, которые в периодическом ежемесячном издании имели то преимущество, что были свежи и злободневны, приобретая характер общедоступности и непосредственного влияния на многих, а не на избранных. Наконец, журнал возместил ему и службу, общественную и государственную, являясь могучим и неотразимым орудием воздействия на общество и правительство, возбуждая в первом инициативу и энергию и направляя второе в смысле наилучше понятых интересов и наибольшего достижения общего блага».

У истоков «Вестника Европы» стояли также известный историк Н.И. Костомаров и П.А. Плетнев — один из старейших профессоров Петербургского университета, литератор, издатель «Современника», друг А.С. Пушкина. С ходатайством о новом журнале перед министром внутренних дел Валуевым выступил поэт Ф.И. Тютчев, в ту пору член Совета Главного управления по делам печати и председатель Петербургского комитета иностранной цензуры.

Костяк редакторского круга «Вестника Европы» с самого начала составила пятерка профессоров, вместе со Стасюлевичем покинувших Петербургский университет в 1861 году. Однако очень быстро к этому небольшому кружку «рыцарей круглого стола» (шутливое выражение К.Д. Кавелина), еженедельно собиравшихся в неформальной обстановке в гостеприимном доме Стасюлевича, стали присоединяться новые силы. Уже с первого года издания журнала на его страницах появляется имя С.М. Соловьева, не сходившее с них до самой смерти знаменитого историка. С 1869 году в «Вестник Европы» поступало почти все, выходящее

«Где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства...»

из-под пера И.С. Тургенева, который, кстати, выступал в роли не только автора журнала, но и активного члена редакции, много сделавшего, в частности, для привлечения к сотрудничеству в «Вестнике Европы» иностранных корреспондентов (например, Э. Золя). Такое взаимодействие с зарубежными публицистами в 1860-х годах было новаторством для русской прессы.

Одновременно с Тургеневым пришел в журнал А.К. Толстой. Крупным событием русской литературно-общественной жизни стала публикация в 1872 году в «Вестнике Европы» романа И.А. Гончарова «Обрыв». Творческое сотрудничество писателя с журналом также переросло в глубокую личную привязанность Гончарова к коллективу «Вестника Европы» и его редактору. Не случайно Гончаров назначил Стасюлевича своим душеприказчиком.

Со временем круг ближайших сотрудников журнала расширялся. В разное время в него входили многие другие известные литераторы, публицисты, ученые, общественные деятели. Среди них — В.С. Соловьев, А.Ф. Кони, В.А. Гольцев, А.А. Головачев, П.В. Анненков, Д.Н. Овсянко-Куликовский, М.М. Ковалевский, А.С. Посников, Н.А. Котляревский, М.О. Гершензон, А.А. Мануилов, К.И. Тимирязев и многие другие.

Однако «лицо» журнала Стасюлевича определяли прежде всего ведущие ежемесячных обзоров внутренней и зарубежной жизни — Л.З. Слонимский (впоследствии главный редактор первой в России «Политической энциклопедии», издававшейся в Петербурге с 1906 года), Л.А. Полонский, В.Д. Кузьмин-Караваев и др. Без преувеличения «звездой первой величины» среди авторов этих наиболее злободневных публикаций в «Вестнике Европы» был К.К. Арсеньев, постоянный сотрудник журнала на протяжении всей его истории, наряду со Стасюлевичем один из патриархов русского либерализма, во многом определявший направление издания. В 1880–1912 годах Арсеньев — автор раздела «Внутреннее обозрение», в 1882–1905 годах — ведущий «Общественной хроники». «„Обозрения“ К.К. Арсеньева представляют собой летопись русской жизни за ряд десятилетий, какую никто еще так не вел в нашей публицистике», — замечал в 1908 году П.Д. Боборыкин, популярный русский беллетрист, также тесно связанный с «Вестником Европы».

При всей самостоятельной значимости многих авторов журнала, разнообразии их темпераментов и частных взглядов объединял этих людей в общем направлении и задавал тон всему изданию один человек — Стасюлевич, делая это со свойственным ему «спокойным радушием и участливым пониманием, чуждым фамильярности, но проникнутым тою внимательностью, за которую чувствуется стыдливое во внешних проявлениях, но чуткое сердце».

О «гениальной простоте» механизма ведения «Вестника Европы» вспоминал один из старейших сотрудников журнала — Л.З. Слонимский: «Редакция такого большого периодического издания... помещалась в небольшом личном кабинете Стасюлевича... Ничто не решалось и не делалось

без его санкции, и многое делал он лично, не желая затруднять своих помощников. Он выслушивал их мнения, но исполнял то, что считал нужным; в делах журнала он стоял за принцип единовластия и не признавал конституции. Он, несомненно, имел нравственное право действовать таким образом, и ближайшие сотрудники считали это вполне естественным с его стороны... Как превосходный организатор, он легко и просто достигал таких результатов, которые другим казались бы совершенно недоступными и неосуществимыми... Ни одна частица дня не пропадала у него напрасно; в течение многих лет он ежедневно сам читал корректуру журнала, просматривал рукописи и поддерживал обширную переписку...»

Само название журнала Стасюлевича свидетельствовало не только о его близости к западным течениям общественной мысли, но и символизировало преемственность нового издания от «Вестника Европы», основанного Н.М. Карамзиным в 1802 году и послужившего образцом для всех последующих русских «толстых» журналов. Основными положениями программы нового журнала стали: всесторонняя европеизация России, трансформация самодержавия в конституционную монархию, защита и пропаганда курса реформ 1860-х годов, объединение сторонников либерального пути развития России, чуждых крайностей революционно-демократического и консервативно-охранительского течений общественной мысли. Лейтмотив публицистики «Вестника Европы»: России требуется «второе 19 февраля» с тем, чтобы догнать Запад, однако без повторения кровавого опыта европейских революций... И впоследствии, в те «пестрые и изменчивые годы», какие пережила страна с 1866 года (когда, по словам одного из современников Стасюлевича, «у нас на Руси сменилось три поколения, а сколько перемен во взглядах, направлениях, системах, теориях — и не перечесть!»), журнал ни разу не изменил своим убеждениям.

К середине 1860-х годов «партия центристов» имела уже глубокие корни в русском обществе. Идеи редакции «Вестника Европы» разделяли многие земские и городские деятели, представители интеллигенции, а также либеральной бюрократии. Усилия Стасюлевича и его соратников по формированию общественного мнения, их стремление оказывать влияние на политику правительства, высоко оценивали сторонники реформ в самых верхних эшелонах власти. В 1860–1870-х годах — это высшее чиновничество, группировавшееся вокруг великого князя Константина Николаевича (Н.И. Милютин, А.В. Головин, М.Х. Рейтерн, Н.Х. Бунге, Д.М. Сольский и др.). К этой же когорте «органов и носителей духа великой эпохи» реформ Александра II принадлежали и сам Стасюлевич, и его ближайшие друзья и сотрудники — К.Д. Кавелин, В.А. Арцимович, В.Д. Спасович, К.К. Арсеньев. В начале 1880-х годов общие представления и заботы о благе России связывали редакторский круг «Вестника Европы» с графом М.Т. Лорис-Меликовым, Н.С. Абазой, в начале XX века — С.Ю. Витте и др.

«Вестник Европы» Стасюлевича, попав в резонанс с настроениями образованного русского общества в пореформенный период и в течение

«Где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства...»

более трех десятилетий оставаясь единственным изданием подобного рода, не случайно стал одним из самых читаемых и долговечных изданий в истории российской прессы. В 1866–1873 годах его тираж вырос с 2500 экземпляров до 8200. В конце 1870-х — начале 1880-х годов «Вестник Европы» по числу подписчиков среди «толстых» журналов занимал третье место, уступая лишь «Отечественным запискам» и «Делу». Заметим, что основная читательская аудитория «Вестника Европы» — это жители Петербурга, Москвы, Херсонской, Киевской, Харьковской, Полтавской губерний. Лишь в начале XX века, в обстановке накала общественных страстей, читательский интерес к прессе умеренно прогрессивного направления, олицетворением которого являлся «Вестник Европы», заметно снизился (1906 год — 5291 экземпляр, к 1908 году — около 4000).

Государственное и общенациональное значение имела постановка на страницах «Вестника Европы» вопроса о выборе пути России. Журнал Стасюлевича открыл возможность для выработки либеральных концепций политического и экономического развития страны. На рубеже 1870–1880-х годов на страницах этого издания были провозглашены основные принципы либеральной оппозиции — платформа для трансформации самодержавия в правовое государство. Главную причину усиления радикальных настроений в обществе Стасюлевич и его единомышленники видели в недостаточном развитии социально-экономической и политической жизни России, отсутствии в стране легальных форм гражданской жизни. По мнению либералов, борьба с революционным террором не должна ограничиваться правительственными репрессиями. Прежде всего верховная власть должна стремиться к изменению общественных и политических условий, породивших крайние течения.

Красной нитью в публицистике «Вестника Европы» проходила мысль о том, что единственное спасение от распространения радикальных идей — это безотлагательное решение аграрно-крестьянского вопроса, преобразование судебной системы, забота о народном просвещении, гласность, расширение самодеятельности общества в лице земского и городского самоуправления. Прибегая в условиях усиления реакции к эзопову языку, авторы журнала Стасюлевича взяли также под свое покровительство и защиту идею введения в России конституции и созыва органа народного представительства, наделенного законосовещательными правами.

Краткий период надежд русских либералов на то, что верховная власть пойдет по тому пути, который они предлагали, был связан с приходом к власти в феврале 1880 года М.Т. Лорис-Меликова. Он возглавил тогда Верховную распорядительную комиссию по охране государственного порядка и общественного спокойствия, а в ноябре 1880 года был назначен министром внутренних дел. «Вестник Европы» поддержал либерализацию правительственного курса, неизменно проводя на своих страницах мысль о том, что главная задача правительства — создавать «такие учреждения, которые благоприятствовали бы развитию хороших сторон человеческой

природы, не давали пищи ее дурным инстинктам, поднимали умственный и нравственный уровень народа».

Пока Лорис-Меликов был влиятельной фигурой в политике, Стасюлевичу удалось осуществить свой давний замысел. Для того чтобы сделать связь журнала с читателями более мобильной, а также в целях усиления своего влияния на общество, редакция «Вестника Европы», воспользовавшись некоторой «оттепелью» в правительственной политике, добилась разрешения на издание начиная с января 1881 года еженедельной газеты «Порядок» тиражом в 5000 экземпляров. Кстати, первоначальное название — «Правовой порядок», воплотившее главное требование русских либералов, все-таки не было разрешено властями. Стасюлевич как редактор-издатель газеты видел ее главную задачу в обсуждении общественных вопросов «с точки зрения права и нравственного долга»: «Нет порядка без ясного и свободно сложившегося сознания каждым своих прав и своего долга...»

В марте 1880 года при содействии Стасюлевича Лорис-Меликову была передана «Записка о внутреннем состоянии России», авторами которой являлись руководители московской либеральной оппозиции С.А. Муромцев, В.Ю. Скалон, А.И. Чупров. Взгляды идеологов либеральной общественности, несомненно, оказали влияние на программу изменений в государственном устройстве (так называемую «конституцию Лорис-Меликова»), представленную министром внутренних дел в январе 1881 года Александром II. В этой программе предполагалось развитие местного самоуправления и привлечение представителей земств и городов (с совещательным голосом) к обсуждению общегосударственных вопросов. Программа была одобрена императором, однако после его убийства народолюбцами 1 марта 1881 года — отвергнута, а сам Лорис-Меликов отправлен в отставку...

Надеждам русских либералов на близкое установление в России конституционных порядков тогда так и не суждено было сбыться. «Катастрофу первого марта» Стасюлевич и его ближайшие сподвижники пережили как личную трагедию. Однако опускать руки они не собирались...

Реакцией Стасюлевича на контрреформы Александра III стала, в частности, его брошюра «Черный передел реформ императора Александра II». К написанию брошюры редактора «Вестника Европы» побудило назначение графа Д.А. Толстого министром внутренних дел. Стасюлевич, понимая невозможность открытой борьбы с этим человеком в пределах России и вместе с тем сознавая, что она необходима, не видел иного способа такой борьбы, как с помощью иностранного печатного станка за пределами Отечества. Брошюра была издана анонимно в Берлине в 1882 году и имела широкий общественный резонанс в России.

Критикуя «торжествующую партию черного передела реформ» в лице К.П. Победоносцева, Д.А. Толстого, Н.П. Игнатьева, М.Н. Каткова и других, Стасюлевич выступил с обличением «той черной партии, которая у нас всегда эксплуатировала Верховную власть в свою пользу», превращая российскую государственную систему в «колосса с глиняными ногами»,

«Где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства...»

лишая внутреннюю политику логической и исторической последовательности. Отсюда неутешительные выводы Стасюлевича... «Верховная власть в России... окружена страшными атрибутами могущества, а в действительности не может сравниться с властью даже какого-нибудь станового пристава... В России все могут быть властны, кроме Верховной власти, несмотря на громкие ее атрибуты самодержавия и неограниченности...» По мнению редактора «Вестника Европы», этой «черной партии... всегда было нужно, чтобы она оставалась самодержавною и неограниченною, так как будь она ограничена хотя законом, ее уже нельзя было бы тогда ограничить эту партию; неограниченное самодержавие в руках этой партии есть то же самое, что всемогущество Юпитера в руках жрецов; жрецы всегда объявят атеистом всякого, кто усомнится во всемогуществе Божием не потому, что такое сомнение оскорбительно для божества, а потому, что в практике жизни это всемогущество Божие есть не что иное, как их собственное всемогущество, и жертва, которую вы приносите божеству, это их доход, а не божества; но попробуйте не приносить жертв — они станут жаловаться вовсе не на убыток, который они терпят от вас, а на ваше безбожие и вредный либерализм, посягающий на величие Божие (читай: их личные выгоды)».

Взгляд современного читателя брошюры непременно задержится и на следующих наблюдениях Стасюлевичем российской действительности: «В России нельзя быть государственным человеком в общеевропейском смысле этого слова... а потому у нас ничего не остается, как быть... государственным актером и только казаться государственным человеком»; «У нас привыкли ожидать всего от личных перемен... Между тем корень добра и зла заключается всегда в системе... Меняя министров, мы похожи на больного, который переменяет врачей, но не хочет изменить своей диеты...»

«Не помню, кто именно сказал, что есть архитекторы, которые думают, что надо заложить камнями трубы, чтобы печи перестали дымить, а когда дым идет назад, они сердятся и неспособны догадаться, что всему виною их невежество. Это невежество ползет теперь со всех сторон» — так Стасюлевич характеризовал внутреннюю политику Александра III и Николая II. И, как всегда, не довольствуясь критикой правительства «на словах», Стасюлевич взваливает на свои плечи (наряду с «Вестником Европы») еще и обязанности члена общественного самоуправления Петербурга. С головой уйдя в эту новую для себя сферу деятельности, он на протяжении многих лет прилагал немалые усилия для укоренения на российской почве новой модели взаимоотношений власти и общества.

В 1881–1909 годах он гласный Петербургской городской думы. С первых же шагов на этом поприще пятидесятипятiletний Стасюлевич — зрелый, умудренный не только знаниями, но и житейской опытностью человек — проявил столько энергии, знания и таланта, интереса и любви к городскому благоустройству, что уже два года спустя, в 1883 году, Дума избрала его товарищем городского головы. Однако кандидатура Стасюлевича так

и не была утверждена из-за противодействия министра внутренних дел Толстого, давнего недоброжелателя Стасюлевича...

Не обескураженный этой неудачей, Стасюлевич продолжал с неизменной энергией работать в самых разнообразных отраслях обширного столичного хозяйства, уделяя особое внимание вопросам, затрагивающим наиболее важные жизненные интересы населения. «На заседаниях городской думы своими спокойными, деловыми, всегда серьезно обоснованными речами он способствовал правильному разрешению вносимых на обсуждение думы вопросов», — вспоминал один из его сотрудников. За время тридцатилетнего пребывания в составе гласных Стасюлевич всегда находился в рядах прогрессивного меньшинства. Вместе с тем отношение к нему преобладающего большинства держателей муниципальной власти долгое время оставалось неизменно корректным. Это объяснялось не только авторитетом Стасюлевича в обществе и административных сферах, но и являлось свидетельством признания его поистине выдающихся организаторских способностей.

Один из ярких эпизодов деятельности Стасюлевича на благо города — «водопроводный подвиг», совершенный им на посту председателя исполнительной комиссии по надзору за водоснабжением и получивший широкий общественный резонанс в 1889 году. Суть судебной тяжбы, затеянной по инициативе Стасюлевича городским управлением с акционерным обществом водопроводов, состояла в том, чтобы обязать это общество установить новые фильтры для невской воды, потребляемой городом. Несмотря на то что интересы водопроводного общества в судебных инстанциях защищали такие блестящие адвокаты, как П.А. Потехин и В.Д. Спасович (последний, кстати, являлся близким другом Стасюлевича), успех был на стороне Стасюлевича и городской думы.

Однако важнейшей составляющей его общественного служения на протяжении многих лет, в том числе как деятеля городского самоуправления, была работа по организации народного образования. Необходимым условием мирного прогрессивного развития России он считал устранение «громадной разницы» между российской и западноевропейской образованностью: «В то время как на Западе образованность является опирающейся на широком базисе народного просвещения, у нас она представляет... базис в обширной пустыне народного невежества, светлое, даже яркое пятно на темном его фоне...»

«Общественные силы слабы без известного капитала знания и образованности» — убежденность в этом определяла плодотворную работу Стасюлевича в качестве организатора народного образования. Наиболее яркой страницей его деятельности на данном поприще стала проведенная по его инициативе коренная реорганизация школьного дела в Петербурге.

С 1884 года Стасюлевич состоял членом Петербургской городской комиссии по народному образованию, а в 1890–1900 годах избирался ее председателем. Именно в этот период в Петербурге была заметно расширена сеть начальных училищ, а в 1899 году открыто первое городское

«Где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства...»

четырёхклассное училище. «По окончании постройки он целые дни проводил за устройством училища: каждый гвоздь вбит там по его указанию, каждая вещь приобретена или сделана не иначе как по его выбору и одобрению», — вспоминал один из ближайших помощников Стасюлевича в этом деле. Он же так описывал реакцию Стасюлевича на неудовольствие некоего высокопоставленного в администрации лица по случаю постройки «чуть не дворца для кухаркиных детей»: «На это М.М. отвечал: „Мы следуем вашему примеру: вы строите Божьи храмы по преимуществу для кухаркиных детей, а мы для них же — храмы начального обучения“...» Стасюлевич постоянно жертвовал значительное количество книг и журналов центральной городской библиотеке для учащихся, которая также находилась в его ведении. Характерно еще одно свидетельство современника о Стасюлевиче в те годы: «Ни одна сторона детской школьной жизни не оставалась без его внимания: М.М. устраивал завтраки для детей, хлопотал о снабжении их теплою одеждою, заботился об устройстве детских праздников и елок, об учреждении детских летних санитарных и лечебных колоний. Он пользовался каждым подходящим событием, чтобы устроить детский праздник, или выхлопотать новые стипендии, или открыть сверх сметы новые училища, читальни и тому подобное... Он изумлял всех своею работоспособностью... Редкий такт, идеальная честность и безусловная скромность — таковы были отличительные черты Стасюлевича».

В 1900 году вследствие разногласий с новым городским головой, стремившимся везде и всюду заменять систему коллегиального решения дел единоличным управлением, Стасюлевич сложил с себя звание председателя училищной комиссии. Тем не менее и впоследствии, на протяжении более десяти лет, он продолжал заниматься училищными делами с тою же любовью, как и прежде (на правах утвержденного попечителя). В знак признания заслуг Стасюлевича перед родным городом нескольким столичным учебным заведениям было присвоено его имя, в честь его неоднократно учреждались стипендии для лучших учеников. В 1909 году, по случаю двадцатипятилетия деятельности Стасюлевича в комиссии по народному образованию, городская дума поднесла ему звание почетного гражданина города Петербурга.

«Россия, можно подумать, хочет покончить свою историю самоубийством!.. Мы утратили инстинкт самосохранения...» — таков один из отзывов Стасюлевича на события революции 1905–1907 годов. Однако его журнал продолжал выступать «за всякий прогресс, но легальный, за всякую эволюцию, но не за революцию, за установление порядка по соглашению всех партий на арене парламента без кровопролития и убийств».

В период первой русской революции концепция переустройства России, предложенная Стасюлевичем и его единомышленниками на страницах «Вестника Европы», нашла отражение в программе Партии демократических реформ, опубликованной во втором номере «Вестника Европы» за 1906 год. Учредителями партии стали члены редакции журнала: Стасюлевич, К.К. Арсеньев, В.Д. Кузьмин-Караваев, видные экономии-

сты А.С. Посников, И.И. Иванюков, известный адвокат Д.В. Стасов, профессора Петербургского политехнического института К.П. Боклевский, А.Г. Гусаков, И.И. Иванюков, А.П. Македонский, Н.А. Меншуткин, М.И. Носач. Наряду с «Вестником Европы» проводником взглядов партии являлась газета «Страна» (редакторы — М.М. Ковалевский и И.И. Иванюков).

Государственное устройство России определялось в программе партии как наследственная конституционная монархия. Предусматривалось осуществление принципа разделения властей, созыв двухпалатного парламента, главная роль в котором отводилась нижней палате — Государственной думе. Как неотъемлемая часть нового государственно-правового порядка рассматривалась политическая ответственность правительства перед Думой. Важнейшей функцией Государственного совета признавалась выработка национальной политики России с правом предоставления отдельным народам культурно-национальной автономии в рамках единого государства. Партия выступала также за значительное расширение полномочий местного самоуправления, распространение его на все губернии России, создание волостного земства. Земство должно было стать центральным звеном системы народного представительства, основанной на принципе «для народа, через народ». Обеспечение гарантий гражданских и политических прав и свобод населения предусматривало преобразование системы судопроизводства на основе принципов судебной реформы 1864 года. Программа реформ в сфере народного образования включала: создание условий для введения всеобщего, бесплатного и обязательного обучения, предоставление простора инициативе частных лиц и общественных учреждений в организации учебных заведений и внешкольного образования и т.д. Партия считала одной из основных задач государственной политики ограничение крайностей имущественного неравенства, создание условий для обеспечения «возможно большему числу лиц доступа к земле и заработка, достаточного для покрытия издержек существования».

Приверженность партии мирному, эволюционному пути развития России в тесной связи с многовековым опытом становления ее государственности, экономики, культуры находила отклик в среде интеллигенции, торгово-промышленной буржуазии, казачества, помещиков, крестьян. Ее программа оказала влияние на формирование программ других политических партий центристской ориентации (Конституционно-демократической партии, Партии мирного обновления, Партии прогрессистов и др.).

Уже с конца 1890-х годов Стасюлевич стал терять зрение. В конце 1908 года в возрасте восьмидесяти трех лет он, «вследствие слабости здоровья и значительного утомления», передал «Вестник Европы» в надежные руки своих давних единомышленников — М.М. Ковалевского и К.К. Арсеньева. Новая редакция полностью сохранила прежний курс «Вестника Европы».

Последний номер «Вестника Европы» вышел в начале 1918 года. В рубрике «Хроника. На темы дня» Арсеньев осуждал роспуск Учредительного собрания, предупреждал об опасности гражданской войны. Журнал оце-

«Где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства...»

нивал Брестский мир как «катастрофу для русской государственности и для русского народного хозяйства», называл «идеологами разрушения» Ленина, Троцкого, Зиновьева. Основная идея материалов последнего номера «Вестника Европы»: «Русский большевизм показал миру всю красу социалистического рая...» Вскоре журнал был закрыт как «контрреволюционное издание».

Стасюлевич не дожил до этого события... Он умер 21 января 1911 года у себя дома, в Петербурге. А.Ф. Кони писал о последних месяцах жизни своего друга: «Он был по-прежнему отзывчив на все вопросы общественного значения и не допускал в своих взглядах на жизнь и на людей тех слабых уступок, за которыми чувствуется нравственная небрежность... До последнего своего дыхания это был человек живой, а не „уволенный в отпуск труп“, как называл Бисмарк переживших себя стариков».

Похоронен Стасюлевич в Петербурге, на Васильевском острове, в приделе церкви «Утоли Моя Печали» на Смоленском кладбище.

«У нас решают дело
совесть и ум...»

В общественном мнении существует устойчивое представление о том, что политика и нравственность — вещи несовместимые. Однако российские либералы, воспитанные на морально-этических принципах, стремились их совместить — прежде всего путем общественной деятельности в различных сферах, важнейшей из которых была работа в органах местного самоуправления.

Одним из видных провинциальных земских деятелей был Александр Николаевич Попов. Он родился 12 марта 1840 года в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Родители делали ставку на военное образование своего сына, отдав его во 2-й Петербургский кадетский корпус. После его окончания в 1858-м А.Н. Попов поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, обучение в которой успешно завершил в 1862 году. Однако военная карьера не привлекла молодого человека — в 1863 году он вышел в отставку в чине штабс-капитана и поселился в родовом имении Малечкино Череповецкого уезда Новгородской губернии. С началом земской реформы Попов полностью отдается общественной деятельности. В 1865 году его выбирают гласным уездного земства, хотя на момент избрания ему еще не было 25 лет. Земское собрание обратилось с депешей к новгородскому губернатору об «оставлении Попова гласным» как человека образованного и «могущего быть весьма полезным для земства». Губернатор согласился, и вслед за этим А.Н. Попов был избран первым председателем череповецкой уездной земской управы и членом училищного совета. Свою деятельность он начал с открытия 35 школ в уезде со сравнительно небольшим бюджетом: «...предлагалось сельским обществам от земства от 75 до 125 рублей на школу на жалование учителю, с тем чтобы помещение и отопление было от общества».

В 1865–1872 годах новгородское земство переживало бурный период. Это было время «горячих речей и широких планов», за которым последовала будничная повседневная работа. Наступил организационный период становления земств, и в лице А.Н. Попова череповецкое земство, по словам лично знавшего его историка Б.Б. Веселовского, нашло своего «талантливого выразителя». В частности, он прославил свой уезд хорошим состоянием проселочных дорог и организацией на высоком уровне «медицинской части». Попов сумел привлечь к себе реальные силы в лице

городских и земских гласных, ряда землевладельцев и сельских обществ. В 1873 году его избирают председателем новгородской губернской земской управы, а затем дважды переизбирают на очередной срок. Его популярность как земского деятеля растет. Обычно Попов не выступал в качестве оратора, его сферой была практическая деятельность. Он организовал первую земскую (Колмовскую) колонию для душевнобольных, Череповецкую учительскую семинарию, подготовил реформу добровольного страхования в Новгородской губернии и пр. В 1873 году по его инициативе был созван I новгородский губернский съезд врачей и организованы статистические работы. При нем был издан один из первых губернских сборников постановлений, составленный известным публицистом Н.В. Шелгуновым.

Попов оставался наиболее деятельным гласным и в Череповецком уезде. В 1878 году корреспондент «Недели» писал: «Череповецкое собрание шло как-то вяло благодаря неудовлетворительному выбору гласных; все дело пришлось нести на плечах А.Н. Попову: и за секретарским столом, и в комиссии — везде слышался его голос и скрипело его перо». Главное внимание в своей работе Попов уделял развитию народного образования — открытию новых сельских училищ, подготовке учительских кадров для сельских школ. Эта деятельность принесла свои плоды: к середине 1880-х годов в Череповецком уезде была ликвидирована нехватка сельских учителей.

Известный общественный деятель Новгородской губернии, череповецкий городской голова И.А. Милютин так оценивал земскую деятельность Попова: «Он не задавался широкими планами, шел вперед малыми шагами, но настойчиво». В своих воспоминаниях Милютин приводил суждения Попова о трудностях земской деятельности: «У нас в земстве, говорил Попов, мы все делаем с тою же хорошою целью, но у нас много умов, авторитетов мы не признаем, обязанности не любим, любим одни права и свободу без самодисциплинирования, а главная беда — что всякое улучшение есть в то же время налоговое бремя, чего город может избежать, развивая промышленную жизнь, а с нею и косвенные доходы... Возьмите наши школы, знание, получаемое в них. Что же будет после школы с мальчиком, не имеющим поприща для своего дальнейшего развития? Ведь он в большинстве случаев остается среди грубой семьи, среди общей нужды и нередко — разгула населения, гложет, ничего не перенося на тошную жизненную почву. Далее возьмите народное здравие, например самое лечение слабогрудного или ревматика, находившегося в земской больнице: при хорошем уходе разве может быть устранен одним этим лечением корень болезни и предупреждены последствия, которые его ожидают, когда этот больной возвратится в свое жилище — в избу, в которой и двери, и окна обмерзли обледеневшими сосульками, а изпод полу обдаёт стужей, и притом еще в этом жилище иногда приходится голодать по-волчьи?»

После убийства народолюбцами Александра II у Попова осложнились отношения с новгородским губернатором, которому давно не нравился

демократизм председателя губернской управы. В 1882 году из-за «административного воздействия» Попов уходит с должности председателя Новгородской губернской земской управы. Он переезжает в имение, полученное в наследство после смерти его тетки Е.А. Страховой, — в село Воробьево с прилегающими к нему селом Соболево и деревней Кузнецово Краснинского уезда Смоленской губернии. Отдавая дань уважения Попову, новгородское земство в 1895 году учредило в женской гимназии стипендию его имени, а череповецкое постановило присвоить имя Попова одной из школ и поместило его портрет в управе.

На Смоленщине до 1896 года за А.Н. Поповым сохранялся негласный надзор полиции, что не помешало ему продолжать активную земскую деятельность: в 1885-м его избирают в гласные краснинского уездного собрания и смоленского губернского собрания, где он быстро становится одним из самых активных и уважаемых членов. Смоленское земство не относилось к числу передовых, отличаясь инертностью, «земской мертвечиной», игнорированием народных нужд. Попов и его единомышленники пытались по мере сил изменить ситуацию. В 1893 году у него даже была возможность стать во главе смоленской губернской земской управы — он получил большинство по избирательным запискам. Однако Попов не видел в губернии подходящей опоры для широкой и плодотворной работы и предпочел остаться в положении оппозиции. В этом качестве он, по словам Б.Б. Веселовского, «сыграл в земстве видную роль благодаря широте своих взглядов, большому личному авторитету и детальному знакомству с практикой земского дела». Он выступил инициатором создания санитарного и агрономического бюро, работал в комиссии по народному образованию, добился восстановления добровольного страхования в городах, субсидирования уездных школ и библиотек, на протяжении двух сроков возглавлял ревизионную комиссию губернского собрания.

В 1901 году А.Н. Попова выбирают председателем краснинской уездной земской управы на очередные три года. Приоритетным направлением его работы оставались культура и просвещение. Попов полагал, что если русскому мужику дать образование, приобщить его к передовой культуре, то изменятся и условия его жизни, и сама жизнь. По инициативе Попова земское собрание ходатайствовало о том, чтобы преподавание в начальных школах грамматики велось не в ущерб другим предметам. В собственном имении он создал ремесленную школу, народный театр, читальню, образцовый скотный двор, знаменитый в округе сад; способствовал распространению культуры садоводства и скотоводства среди окрестных крестьян. В его имении около восьми лет прожил Н.В. Шелгунов, написавший здесь три цикла очерков. Некоторое время жила там и известная писательница и общественная деятельница М.К. Цебрикова.

С возникновением Конституционно-демократической партии в годы первой российской революции А.Н. Попов вступает в ее ряды, видя в партийной деятельности продолжение своего общественного служения. Каде-

«У нас решают
дело совесть
и ум...»

ты считали себя партией реальной политики в том смысле, что пути к осуществлению своих идеалов они намечали на основании «строгого учета реальных жизненных условий. Идеалы партии народной свободы широки и вечны. Эти идеалы — свобода и социальная справедливость». В то же время кадеты не стремились достичь поставленных целей любым путем, полагая, что способы и приемы политической борьбы за правовое государство не только не могут противоречить идеалам свободы и справедливости, но и сами по себе должны воспитывать граждан в духе этих начал. Отсюда — важнейший тезис кадетов: нельзя насаждать свободу посредством произвола. Из этого положения вытекало отрицательное отношение партии к насильственным «якобинским» приемам, которые широко использовали крайние фланги политического спектра. По словам А.А. Кизеветтера, из этого положения вытекала вся политическая программа «партии народной свободы», сводящаяся к установлению таких политических учреждений, которые обеспечивали бы осуществление «правомерного народовластия». Подобный подход полностью соответствовал взглядам А.Н. Попова, стремившегося к установлению народовластия на земском уровне. Недаром на V съезде партии в октябре 1906 года он говорил о ней: «У нас решают дело совесть и ум».

В апреле 1906 года А.Н. Попова избирают депутатом I Государственной думы от общего собрания выборщиков Смоленского губернского избирательного собрания как кандидата от Конституционно-демократической партии. В Думе он занимал левые позиции в кадетской фракции, подписал «проект 42-х» по аграрному вопросу и Выборгское воззвание с протестом против роспуска Думы, за что был приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав.

Верным соратником Попова по общественной деятельности была его супруга Ольга Николаевна (1848–1907) — известная книгоиздательница, переводчица, журналистка, писательница. Она активно участвовала в работе съездов учителей, сотрудничала в их обществах. В 1877–1880 годах Попова издавала совместно с мужем журнал «Воспитание и обучение», а в 1894–1895 годах — журнал «Русское богатство».

В мае 1895 года О.Н. Попова покупает петербургский журнал «Новое слово»; с октября 1895-го А.Н. Попов становится его официальным редактором, но главную роль в редакции играет известный народник С.Н. Кривенко. «Новое слово» превращается в заметное научно-литературное и политическое издание, главный орган либерального народничества. Важнейший лозунг журнала — опора на действительность (экономическую, политическую, культурную). Исходя из существующих общественных условий, задачи интеллигенции виделись в подъеме экономического и культурного уровня деревни. Главный упор делался на развитие общественной самодеятельности и частной инициативы, на активизацию деятельности земских и крестьянских учреждений, различных кооперативных союзов. Вся земская работа А.Н. Попова — яркий пример реализации этой программы на практике.

Весной 1897 года из-за недостатка средств О.Н. Попова перепродала журнал марксистам, которые использовали его для пропаганды своих взглядов. Это вызвало скандал: народники в знак протеста ушли из ее издательства. В декабре 1897 года «Новое слово» закрыли постановлением Особого совещания четырех министров «за вредную деятельность», что сказывается и на А.Н. Попове: его выслали из столицы под надзор полиции в его имение в Краснинском уезде.

О.Н. Попова начала книгоиздательскую деятельность в 1894 году, пригласив на должность главного редактора своего издательства известного просветителя и библиографа Н.А. Рубакина, который проводил исследование читательского спроса и контингента потребителей продукции. С издательством активно сотрудничали К.А. Тимирязев, И.М. Сеченов, А.О. Ковалевский, А.Н. Бекетов и др. О.Н. Попова издавала художественную, научную и научно-популярную литературу, рассчитанную на трудящуюся интеллигенцию и рабочих. Значительную часть своей продукции издательство выпускало по высоким ценам, но в основном работало на массовый спрос. Так, Попова выпустила сочинения Н.А. Добролюбова, Н.В. Шелгунова, В.Г. Белинского, труды И.М. Сеченова, Ч. Дарвина (впервые в русском переводе), Г. Спенсера и др. Книги издательства по общественным наукам, естествознанию, истории и истории литературы занимали заметное место среди книг того периода.

Издательство О.Н. Поповой находилось под постоянным наблюдением Департамента полиции. В одном из полицейских документов так характеризуется деятельность главного редактора издательства Н.А. Рубакина: «Обширная переписка с лицами, проживающими во всех концах империи, притом в большинстве — политически неблагонадежными, рисует его как личность крайне деятельную, принимающую на себя поддержку нарождающихся в разных местах кружков для чтения и библиотек, в которые им посылаются книги тенденциозного содержания, преимущественно популярного изложения. Вместе с тем, как видно из содержания адресуемых ему писем, Рубакин, пользуясь своими связями и знакомствами, устраивает на учительские места рекомендованных ему лиц либерального и даже противоправительственного образа мыслей, преподает советы и указания по вопросам систематического чтения, рекомендуя при этом приобретать такого характера сочинения, как произведения Маркса, Минье „История французской революции“, Лавеле „Социализм“ и т.д. Независимо от сего Рубакин лично и при участии других лиц (О. Поповой и др.) занимается издательской деятельностью, содействует появлению в свет переводов сочинений в высшей степени тенденциозного направления».

В 1906–1907 годах издательство выпускало ориентированные в первую очередь на марксистскую литературу дешевые серийные издания «Темы жизни», где были изданы А.В. Луначарский, П.П. Румянцев, А.М. Коллонтай и др. Не была также забыта современная и классическая художественная литература — в издательстве впервые увидели свет книги И.А. Бунина,

«У нас решают
дело совесть
и ум...»

печатались Л. Толстой, И. Франко, К. Станюкович, Г. Успенский, А. Доде, В. Гюго, Э. Золя, Р. Киплинг, Ги де Мопассан.

В 1895 году О.Н. Попова приобрела библиотеку-читальню видного участника общественного движения 1860-х годов А.А. Черкесова в Санкт-Петербурге, значительно пополнила ее фонд новыми и популярными изданиями. В библиотеку поступал «Энциклопедический словарь», издаваемый Брокгаузом и Ефроном, «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» С.А. Венгерова, книги Г.В. Плеханова, К. Каутского, новые издания по философии, истории литературы и искусства. Значительную часть книг составляла литература научного характера, среди которой особенно много было книг по истории и социально-экономическим дисциплинам. Библиотека пополнялась изданиями об общественных движениях и революциях в Западной Европе. Постепенно читальня О.Н. Поповой приобрела устойчивый авторитет: многие считали ее лучшей частной библиотекой в Петербурге. В 1898 году Попова открыла книжный магазин (Невский проспект, 54), при котором помещались склады издательств В.Д. Бонч-Бруевича, В.В. Вересаева, товарищества «Знание» и др. Оптовый склад Поповой принимал на комиссию книги разных издательств, снабжал ими рабочие библиотеки, причем часть книг отпускал бесплатно.

После смерти О.Н. Поповой (в августе 1907 года) ее дело продолжил муж, А.Н. Попов. По его предложению в 1908 году было создано «Товарищество издательского дела и книжной торговли О.Н. Поповой», в которое вошли издательство, книжный магазин и библиотека. В 1894–1917 годах издательство выпустило около 790 названий книг.

В память о супруге в 1908 году А.Н. Попов приступает к созданию в своем имении Соболевской женской учительской семинарии. На свои средства он построил для нужд семинарии шесть двухэтажных корпусов, в которых размещались классные комнаты, библиотека, общежития, квартиры для преподавателей и технического персонала, столовая, базовая школа. При семинарии имелись учебное хозяйство и 20-гектарный сад, парковая зона с разнообразной растительностью. В ноябре 1910-го в семинарии начались занятия, но Александр Николаевич не дожид до этого дня: он умер от сердечного приступа 20 мая того же года. На состоявшейся через три дня общепартийной конференции «партии народной свободы» делегаты почтили его память вставанием. Б.Б. Веселовский посвятил ему третий том своей «Истории земства» (все тома этого уникального издания были опубликованы в свое время в издательстве О.Н. Поповой). Общественно-политическая деятельность А.Н. Попова и его супруги — яркий пример внесения нравственных начал в политику.

АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
ПОПОВ

КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВИЧ
АРСЕНЬЕВ

**«Свобода печати,
свобода совести и личная
неприкосновенность:
вот три блага, потребность
в которых чувствуется
все больше...»**

Наследие Константина Константиновича Арсеньева (1837–1919) — одного из патриархов русского либерализма и основоположников отечественной адвокатуры, известного публициста и литературного критика — не было обделено вниманием исследователей. Однако до сих пор биография этой незаурядной личности представлена лишь фрагментарно, с акцентом на пореформенные годы — период расцвета его общественно-литературной деятельности. Вместе с тем и в начале XX века, в пору очередной российской смуты и выхода на политическую арену нового поколения лидеров, фигура Арсеньева продолжала оставаться на виду, занимая особую нишу в общественном движении.

Пожалуй, главную роль в становлении взглядов и определении жизненного пути Арсеньева сыграл его отец — Константин Иванович Арсеньев (1789–1865), статистик, историк, географ, действительный член Российской академии. Известность и авторитет он заслужил не только благодаря своим научным успехам, но и общественным взглядам. Защитник принципов личной свободы, веротерпимости, широкого народного образования, Арсеньев-старший оказал влияние на формирование мировоззрения декабристов А.И. Одоевского и Н.А. Бестужева. В 1819 году он подвергся репрессиям «за осуждение крепостных отношений, бессудия и несправия», а в начале 1828 года был приглашен наставником к Великому князю Александру Николаевичу (будущему императору Александру II). Арсеньев не только преподавал ему историю и статистику, но и использовал близость к престолу для ходатайства (предпринятого вместе с В.А. Жуковским в 1837 году) за сосланного А.И. Герцена. Унаследовав умонастроения отца, Константин Арсеньев-младший был прочно связан с русской либеральной традицией.

По окончании в 1855 году Императорского училища правоведения, одного из наиболее престижных высших учебных заведений дореволюционной России, Арсеньев поступил на службу в Министерство юстиции (в 1859–1860 годах он был помощником редактора «Журнала Министерства

юстиции»). «Кто был молод сорок, тридцать лет тому назад, тот, вероятно, помнит, какую роль играли тогда сочинения Гизо, Минье, Огюстена, Тьерри, Баранта, Мишле, Нибура, Шлоссера, Ранке, Гервинуса, Грота, Сисмонди, Маколея, нашего Грановского или Кудрявцева, как много они способствовали самообразованию, пробуждению интереса к политической жизни, — вспоминал Арсеньев в 1890 году период своего личного и гражданского становления. — Многие из этих авторов не утратили своего значения и теперь, и к ним присоединилась масса других, из которых достаточно назвать сочинения Леки, Тэна, Ренана, Буассье, Сореля, Зибеля, Моммзена, Дункера, Курциуса, Трейтшке, Гаусрата, Костомарова, Соловьева».

Поставив целью подготовку к профессуре, Арсеньев усиленно занимался древними языками, посещал лекции М.М. Стасюлевича (1826–1911) по истории в Петербургском университете. Тогда же вкус к литературным занятиям и стремление делиться мыслями с широкой аудиторией привели Арсеньева в публицистику. Его дебют на этом поприще состоялся в журнале «Экономический показатель» (1857, выпуск 21). Затем последовало сотрудничество в «Русском вестнике» и «Веке» (1858–1861) и далее — в «Отечественных записках» (в марте–октябре 1862 года — ведущий раздела «Иностранное обозрение») и «Санкт-Петербургских ведомостях» (с июня 1863 до весны 1864 года — зав. иностранным отделом), где молодой автор продемонстрировал широкую эрудицию и глубокий анализ политических проблем современности. В двух последних изданиях судьба вновь свела Арсеньева со Стасюлевичем. С 1866 года их пути сольются — уже до конца жизни — в одну «колею», которую они будут прокладывать в русском либерализме как отцы-основатели журнала «Вестник Европы» (1866–1918), а с 1906 года — как зачинатели либерально-центристского (условно, между кадетами и октябристами) течения в российской партийной системе.

Несмотря на сохранявшийся у Арсеньева вплоть до середины 1860-х годов настрой на серьезные занятия наукой (в 1864–1865 годах он слушал лекции по философии, истории и политической экономии в Боннском университете, посещал занятия в семинаре Г. фон Зибеля — автора 10-томной «Истории революционной эпохи. 1848–1849»), он в конце концов отказался от профессорской карьеры. Сыграло роль его стремление посвятить знания и энергию коренному преобразованию российской правовой системы, оформившееся в атмосфере предчувствия Великих реформ Александра II и под влиянием еще одной судьбоносной встречи, состоявшейся в 1858 году, — с Д.В. Стасовым (1828–1918). Представитель прославленного семейства, члены которого внесли значимый вклад в русскую культуру и развитие общественного движения, Стасов по окончании Училища правоведения (1847) служил чиновником Герольдии Правительствующего сената, в качестве герольда летом 1856 года участвовал в коронации Александра II, был пожалован бриллиантовым перстнем с рубином. С 1858 года он занимал должность обер-секретаря Гражданского

департамента Сената. В 1859 году Стасов организовал в Петербурге один из первых юридических кружков, целью которого было «приготовление к судебной реформе». Заседания кружка, обычно проходившие в его доме, привлекали внимание не только юристов, но и известных ученых, художников, литераторов. Среди завсегдатаев этих собраний был и Арсеньев. Начинаящего юриста не устраивала служебная карьера сама по себе, в рамках давно сложившихся «правил игры». Главное место в системе его жизненных ценностей уже тогда прочно занимали идеи законопроятия, просвещения и свободы.

Как и другие участники стасовского кружка, Арсеньев был убежден, что крестьянская реформа абсолютно необходима. «Что крепостное право было явным анахронизмом, что уничтожение его если не сверху, то снизу было неизбежно — это понимали даже самые ретроградные советники императора», — вспоминал он общественные настроения к концу 1850-х годов. Однако, по его свидетельству, членов кружка тревожило чувство «неустойчивости и непоследовательности правительственной политики», окончательно окрепшее после отставки в апреле 1861 года министра внутренних дел С.С. Ланского и его сподвижника Н.А. Милютин, одного из главных разработчиков крестьянской реформы. «Поворот в направлении крестьянского дела заставлял опасаться не только за его дальнейшую судьбу, но и за участь других реформ, уже поставленных на очередь и необходимых для обновления русской жизни», — этим Арсеньев объяснял тот факт, что «год освобождения крестьян стал годом первых антиправительственных выступлений». Вместе со Стасовым он был тогда в числе общественных деятелей, причастных к сбору подписей под обращением к Александру II о помиловании привлеченных к ответственности участников студенческой демонстрации в Петербурге 25 сентября 1861 года. После этой акции Стасов, как предполагаемый инициатор, был уволен из Сената и с тех пор навсегда оставил государственную службу. Этот факт никак не повлиял на отношения соратников. Арсеньев, тогда же получивший назначение на должность чиновника по особым поручениям, продолжал сотрудничать с опальным Стасовым, выступая в защиту свободы слова и мысли. Так, весной 1862 года он вместе со Стасовым, а также В.Д. Спасовичем и В.П. Гаевским участвовал в защите тверских мировых посредников, преданных суду Сената.

Арсеньев был хорошо осведомлен не только о ситуации в «верхах». У него тогда имелся и собственный, заслуживающий доверия источник информации о положении дел в провинции, его брат Юлий (1818–1873) — смоленский (1861–1862), олонекский (1862–1870), тульский (1870–1873) губернатор. По долгу службы он участвовал в сенаторских ревизиях Калужской, а затем (в 1862–1863 годах) Владимирской губерний. Константин Арсеньев считал результаты этих мероприятий весьма показательными. Согласно отчетам ревизоров, работавших под руководством В.А. Арцимовича — человека «широко просвещенного, непреклонно честного», близкого к Н.А. Милютину, — работа по проведению в жизнь крестьянской

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

реформы в Калужской губернии шла «быстро и успешно, вызывая вопли крепостников, но успокаивая и умиротворяя массу населения». В то же время во Владимирской губернии было обнаружено немало ошибок и злоупотреблений, связанных с деятельностью губернатора А.П. Самсонова, «подавшегося влиянию помещичьей партии». Тем не менее Арцимович, «вполне оправданный сенатором-ревизором, все-таки должен был оставить свой пост, а во Владимирской губернии и после ревизии положение дел изменилось мало».

Такой поворот дел «бросал яркий свет на печальные плоды „нового курса“, водворившегося в министерстве внутренних дел», — приходил к выводу 26-летний Арсеньев. Ему и самому пришлось вкусить упомянутых «плодов». В начале июня 1863 года он вышел в отставку. Решающую роль в этом сыграл политический мотив — нежелание работать в Северо-Западном крае вместе с генералом М.Н. Муравьевым («вешателем»). Служебные перипетии не прошли для Арсеньева даром. Вплоть до августа 1865 года он лечился за границей от сердечного невроза. По возвращении на родину главным полем самореализации, средоточием его гражданской и политической активности стало общественное поприще.

«Я в то время, еще менее чем потом, был прямолинейным, и это делало меня иногда как бы колеблющимся, — вспоминал Арсеньев о своих взглядах и убеждениях, сложившихся к середине 1860-х годов. — Сознывая неудовлетворенность современного социального строя, я не был социалистом; понимая неизбежность, при известных условиях, насильственного переворота, я не был революционером, хотя бы только в теории. Мой либерализм имел отчасти характер того, что тогда называли постепенщиной; несмотря на признаки реакции, к 1866 году уже весьма ясные, я верил в торжество реформ».

В марте 1866 года Арсеньев подал прошение о зачислении в адвокатуру, а в апреле был утвержден в числе первых в России 27 присяжных поверенных (вместе со Стасовым, Спасовичем и др.). По его словам, адвокатура с момента своего учреждения была одним из «ферментов», противодействовавших застою в общественной жизни. Объясняя это явление, Арсеньев обращал внимание на политический «подтекст» суда присяжных и адвокатуры в глазах «образованного меньшинства», которому было хорошо известно, что «суд присяжных входил в состав оппозиционных программ недавнего общеевропейского движения, что из среды адвокатов вышли многие борцы за политическую свободу». Вместе с тем, замечал Арсеньев, «не один только политический ореол привлекал тогда к адвокатуре прогрессивную часть русского общества; для нее было ясно значение представительства в гражданском, защиты — в уголовном процессе, ясна невозможность правильно организованного суда без правильно организованной адвокатуры».

В 1867–1874 годах Арсеньев возглавлял Совет присяжных поверенных округа Петербургской судебной палаты. Первым обобщением результатов корпоративной деятельности столичных присяжных поверенных стала его

книга «Заметки о русской адвокатуре» (СПб., 1875). В ней впервые в русской юридической литературе были разработаны приемы адвокатской техники и правила адвокатской этики. Добиваясь «единства слова и дела», Арсеньев считал необходимым допускать к адвокатской практике только специалистов с безукоризненной репутацией. Его давний коллега и единомышленник А.Ф. Кони вспоминал, что за время пребывания Арсеньева в составе Совета присяжных поверенных «по нравственным соображениям было отказано в приеме в присяжные поверенные 24 лицам; но и по отношению к уже принятым в сословие Совет высказал, что... если впоследствии откроется что-либо, бывшее не известным Совету и возбуждающее основательное сомнение в добросовестности принятого и в правильном понимании им обязанностей своего звания, то на Совете лежит долг удалить такое лицо из среды, с которою он нравственно не может иметь ничего общего». Сам Арсеньев приобрел известность не только как один из лучших судебных ораторов, но и как юрист с безупречной репутацией. Современники отмечали, что «самый блестящий гонорарий» не мог побудить его взяться за дело «нечистое».

Книга Арсеньева стала настольной для каждого адвоката, своего рода «катехизисом русской адвокатуры» (Л.Д. Ляховецкий), «драгоценным материалом» (А.Ф. Кони) для научных трудов, посвященных изучению основ деятельности русской адвокатуры. Среди других его крупных работ — первые руководства для практических судебных деятелей, вышедшие в пореформенный период. Это — «Предание суду и дальнейший ход уголовного дела до судебного следствия» (СПб., 1870) и «Судебное следствие» (СПб., 1871). Их содержание во многом определялось обширной и насыщенной адвокатской практикой Арсеньева по гражданским, уголовным, политическим делам. Своим долгом он считал выступления в суде в защиту печати, в результате которых ему удалось добиться оправдательных приговоров по делам А.С. Суворина (август 1866 года), А.Н. Пыпина и Ю.Г. Жуковского (август 1866 года), Ф.Ф. Павленкова (июнь 1868 года).

В последний раз Арсеньев выступил в суде осенью 1884 года, успешно защитив интересы петербуржцев в тяжбе городских властей с Обществом водопроводов, прежде отказывавшимся устанавливать дорогостоящие водоочистительные фильтры. Однако гораздо раньше, еще в 1874 году, он фактически завершил адвокатскую деятельность, так как, по его словам, она «слишком располагает к некоторому формализму, т.е. смешению правоты по закону с правотой в высшем смысле слова». Тем не менее до конца своих дней Арсеньев выступал в защиту адвокатуры и в целом принципов судебной реформы Александра II.

В 1874 году состоялось и возвращение Арсеньева на государственную службу: на этот раз — в качестве товарища обер-прокурора Гражданского кассационного департамента Сената. В 1880 году он был назначен членом консультации при Министерстве юстиции. Знаменательным событием в его жизни стала беседа в декабре 1880 года с М.Т. Лорис-Меликовым. Глубокое впечатление на Арсеньева тогда произвели «намекы» министра

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

внутренних дел на «сознанную им необходимость финансовых и хозяйственных реформ в пользу народа и большей свободы для всего общества».

Последовавшее вскоре убийство Александра II Арсеньев пережил как личную трагедию. Это означало для него крушение надежд на продолжение реформ. Тогда же он выступил в печати с предостережением властей, подчеркивая тщетность «белого» террора, который лишь провоцирует «красный» террор. «Опыт искоренения зла одними репрессивными мерами сделан был в 1879 г. в таких размерах, дальше которых идти нельзя (имеется в виду создание в апреле 1879 года по указу императора Александра II шести временных военных генерал-губернаторств, во главе которых встали высшие чиновники с диктаторскими полномочиями. — Н.Х.); его исход устраняет всякую мысль о его повторении». «Решительно-отрицательное отношение» Арсеньева к смертной казни было неизменным: по его убеждению, «между страхом смертной казни и заговором или бунтом трудно усмотреть какую-либо причинную связь».

В 1882 году Арсеньев получил чин действительного статского советника, а в апреле того же года окончательно «поставил крест» на государственной карьере. К этому времени главной трибуной для него, испытывавшего давнюю страсть к литературно-публицистической деятельности, стал журнал «Вестник Европы». В течение нескольких десятилетий (с 1880 по 1912 год) Арсеньев вел в этом издании «Внутреннее обозрение», а в 1882–1905 годах — «Общественную хронику», которые оценивались современниками как крупнейшие явления пореформенной публицистики (всего — свыше 400 выпусков «Внутреннего обозрения» и «Общественной хроники», общим объемом более 500 печатных листов). Отмечая значимость этой работы для будущих историков («летопись русской жизни, какую никто еще так не вел в нашей публицистике»), писатель П.Д. Боборыкин особо подчеркивал, что Арсеньев давал «руководящую нить» всем сторонникам освободительного движения, учил «корректному отношению к противнику, уважению к законности, нераздельному с критическим отношением к закону, участливому и вдумчивому отношению к явлениям общественной жизни, признанию необходимости серьезных, основательных знаний для суждения об этих явлениях». По словам В.М. Гессена, публикации Арсеньева в «Вестнике Европы» представляют исключительную ценность для историка царствования Александра III. Общую оценку его правления, данную в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1894 год, Гессен считал «лучшей в русской литературе». Публикации в «Вестнике Европы» принесли Арсеньеву известность и как литературному критику: большая их часть вошла в его книгу «Критические этюды по русской литературе» (СПб., 1888).

С 1909 года, после отхода от дел М.М. Стасюлевича, издателем «Вестника Европы» стал М.М. Ковалевский, а редактором — перешагнувший за 70-летний рубеж Арсеньев. В феврале 1912 года Ковалевский, обеспокоенный намерением Арсеньева покинуть редакторский пост, называл такую

лым, что издатель вообще ставил под вопрос дальнейшую судьбу «Вестника Европы». «Ведь Вы и живая связь старой редакции с новой, и наше связующее звено, — объяснял Ковалевский серьезность ситуации, надеясь на то, что Арсеньев еще не принял окончательного решения. — Ведь мы все люди мало спевшиеся и способные идти в разные стороны». В конечном итоге, фактически до начала 1917 года, Арсеньев продолжал выполнять редакторские функции (с 1 декабря 1912 года совместно с Д.Н. Овсяннико-Куликовским, а с января 1913 года — неофициально, как он писал в дневнике, «в качестве совещательного редактора, конечно, без вознаграждения»). И впоследствии, вплоть до закрытия «Вестника Европы» весной 1918 года, Арсеньев регулярно выступал на страницах журнала, одновременно сотрудничая в «Русских ведомостях», а также в разные периоды — в «Праве», «Вестнике права», «Речи», «Слове», «Русской молве», «Утре России», «Свободной России» и еще множестве других периодических изданий.

Ко времени заката своей карьеры на государственной службе Арсеньев-публицист успел проявить себя и как земский деятель. В марте 1878 года им было приобретено имение Покровское, располагавшееся в нескольких часах езды от Царского Села (на окраине деревни Нежадово Лужского уезда Петербургской губернии). Туда Арсеньев и переселился с семьей, полагая, что «на обязанности людей более достаточных и образованных лежит сделать все возможное... для сближения с народом и для улучшения его положения, что особенно удобно и легко в деревне». С 1880 года он неоднократно избирался уездным и губернским земским гласным, почетным мировым судьей, членом уездного и губернского училищных советов.

Проявления глубокого интереса Арсеньева к земской деятельности были многообразны. Со второй половины 1880-х годов Арсеньев являлся участником (наряду с П.Н. Милюковым, В.А. Мякотинным, Ф.И. Родичевым, М.С. Свешниковым, А.А. Кауфманом, В.Ю. Скалоном, А.С. Посниковым и др.) так называемых земских бесед, которые часто проходили в его доме в Петербурге и ставили целью разработку земской экономической программы, вопросов просвещения и правового положения земств. В ходе земского съезда (апрель 1903 года) Арсеньев фактически поставил вопрос о серьезной государственной реформе, предложив «ходатайство о приглашении представителей земства — по выбору губернских земских собраний — в центральные государственные учреждения при выработке законопроектов местной реформы». Он был заметной фигурой и на земских съездах в Москве 1893–1894 и 1904–1905 годов (в марте 1894 года — председатель съезда), собраниях либерального кружка «Беседа», члены которого «не мечтали о революции, не видели в ней способа восстановить „законность и право“, а «верили в то, что без катастрофы власть может пойти по пути соглашения с обществом» (В.А. Маклаков). В 1902 году Арсеньев и другие «староземцы» (кн. П.Д. Долгоруков, В.Д. Кузьмин-Караваев, кн. Г.Е. Львов, Н.Н. Львов, Ф.Ф. Кокошкин, Н.Н. Шепкин, Н.Н. Хмелев, кн. Д.И. Шаховской и др.) на страницах журнала «Освобождение»

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

подтвердили свою приверженность тактике исключительно легальной деятельности: «Как раньше, так и теперь, мы остались противниками всякого насилия, откуда бы оно ни исходило, сверху или снизу. Поэтому мы намерены в земстве и через земство действовать путем распространения и уяснения наших идей и организации сплоченной партии, стремящейся к осуществлению этих идей, будучи убеждены, что ясное сознание и твердо выраженное требование общественного мнения есть такая сила, с которой принуждено будет считаться и правительство».

Характерным эпизодом общественной активности Арсеньева стало участие в кампании по оказанию помощи пострадавшим от неурожая 1891 года. Для него важно было лично поддержать людей в постигшем их бедствии. С этой целью он посетил охваченные голодом уезды Тамбовской губернии, в ходе поездки выступил с благотворительными лекциями. На пожертвованные им денежные средства были устроены столовые.

Особо заслуживает внимания вклад Арсеньева в борьбу против земской контрреформы (1890). Посвященные этой теме статьи Арсеньева А.Ф. Кони называл его «лучшими публицистическими работами». Подводя главные «земские итоги» к 1890 году, Арсеньев отмечал: «Почти все лучшее, сделанное в последнее время, стоит в прямой связи с земскими ходатайствами, давно наметившими и пути, и средства к поднятию народного благосостояния. Сюда принадлежат, например, понижение выкупных платежей, отмена акциза на соль и подушной подати, законы фабричные, железнодорожный, лесоохранный, содействие переселениям, поощрение кустарных промыслов, облегчение для крестьянских обществ арендования казенных земель. Земством возбуждены также многие из числа вопросов, близких к разрешению, — например, вопрос о неотчуждаемости крестьянских наделов, вопрос об ответственности предпринимателей за вред, причиненный рабочим». Арсеньев отмечал «выдающуюся роль» деятельности земства «по охране народного здоровья и по развитию народного образования» («одно только земство создало в России настоящую народную школу»). Он обращал внимание на «отличительную черту земской деятельности за последнее десятилетие» — распространение «и в ширину, и в глубину», что, по его словам, опровергало «как нельзя лучше часто повторяемую фразу об упадке земских учреждений, об овладевшей ими апатии и рутине».

Арсеньев неизменно выступал за расширение функций местных органов самоуправления, полагая, что русское земство «при самых тяжелых условиях оказалось хорошей школой для развития политических способностей и навыков». Он особо подчеркивал воспитательную функцию земства — его важную роль в преодолении характерного для России «истинного нигилизма», под которым он еще в 1870-е годы подразумевал «эгоизм особого рода... недостаток солидарности, личную мелочность, господствующую в уме человека над теми высокими побуждениями, какие могут возникать только из глубокого чувства солидарности с семьей и затем с обществом». По вопросу о пределах распространения сферы действий

правительственной власти в обществе он разделял мнение, что «многое зависит здесь от обстоятельств времени и места, от организации власти, от степени развития народа, от способности и привычки его к самостоятельности; никаких неподвижных, всегда и везде обязательных правил в этой области быть не может», однако, — убежденно заявлял Арсеньев, — «никакому сомнению не подлежит только одно: рядом с государственным вмешательством непременно должен оставаться широкий простор для частной и общественной инициативы».

Сопричастность Арсеньева народным нуждам отразилась в серии его статей, опубликованных в 1882 году в «Вестнике Европы» и объединенных им впоследствии под заголовком «Программа русских либералов». По мнению Арсеньева, во главу угла преобразований следовало поставить: свободу печати и совести, неприкосновенность и свободу личности, общедоступность образования (высшего, среднего и начального), конституционное ограничение верховной власти, демократизацию и расширение самостоятельности местного самоуправления. Изначально характерной особенностью «Вестника Европы» являлось сочетание усиленного стремления к политической свободе с не менее глубокой и настойчивой проповедью социальных реформ. Современники отмечали особую роль Арсеньева в установлении данной традиции. «И чем ближе к современной эпохе, тем ярче и многочисленней социальные нити, вплетенные в либеральную ткань его творчества», — отмечалось в журнале «Русская мысль» в связи с 80-летием публициста. Убежденный в том, что прогрессивной может быть только «либерально-социальная» программа, а «без правильного разрешения» проблем народного хозяйства «невозможно достигнуть последней цели государственного управления — народного блага», он еще в 1882 году сформулировал основные положения экономической программы либералов: «Поддержание общинного владения как главной гарантии против обезземеления массы; правительственное и земское содействие к переходу земель во владение крестьян, в особенности там, где они наиболее страдают от малоземелья; организация переселения и мелкого поземельного кредита; освобождение крестьян от стеснений, налагаемых на них паспортной системой и круговую порукою; дальнейшее понижение выкупных платежей там, где они превышают доход с надельной земли; отмена подушной подати; увеличение налогов, платимых более достаточными классами, с соответствующим уменьшением податного бремени, тяготеющего над народом; значительное сокращение непроизводительных государственных расходов».

В 1884 году, полемизируя с аксаковской «Русью», известной своей славянофильской «тенденцией», Арсеньев заявлял по поводу мнения этой газеты о сотрудниках журнала Стасюлевича как «легитимистах буржуазного общеевропейского либерализма»: «Пусть нам укажут в нашем ли журнале, в тех ли сферах, которые признаются к нему близкими, признаки тех тенденций, которыми характеризуется общеевропейский буржуазный либерализм. Пусть нам укажут статьи или речи, направленные в защиту

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

имущественного ценза, неограниченных прав капитала или поземельной собственности, безусловного невмешательства власти в экономические вопросы, покровительства меньшинству в сфере земледелия или фабричного производства, в сфере финансовой, в сфере местного самоуправления. Стоять за Крестьянский поземельный банк, за налог на наследство, за дополнительное обложение крупной промышленности и торговли, за скорейшее введение прогрессивного подоходного налога, за радикальную реформу фабричного законодательства в смысле возможно большей охраны рабочих, за такое устройство местного самоуправления, которое не делало бы его монополией одного класса и не отдавало бы его в распоряжение „властной“ помещичьей руки, за право законодательной власти... устанавливать, в видах общественной пользы, ограничения частной собственности, — значит ли это быть „легитимистом общеевропейского буржуазного либерализма“?»

Показательна позиция публициста по отношению к еще одному большому вопросу русской жизни — свободе религиозных убеждений. Наиболее полное выражение взгляды Арсеньева в этой области нашли в сборнике его статей «Свобода и веротерпимость» (1905). Эта книга имеет важное значение и для определения места Арсеньева и его соратников — либералов-центристов в системе координат «западники — славянофилы». Приведем суждение А.Ф. Кони на этот счет: «В своей защите свободы совести К.К. Арсеньев — убежденный и „неисправимый“ западник — явился союзником старых славянофилов, лучшие из которых находили, что „истинная церковь гнушается принужденного единства или вынужденного послушания, ибо в деле веры такое единство есть ложь, а такое послушание — есть смерть“ (Хомяков), что „церковь немыслима вне свободной совести, свободно восприявшей свет любви и свободно приведенной в свободный плен истины и любви“ (Конст. Аксаков) — и утверждали, что „костер мученика — торжество веры; крестовый поход — ее могила“ (Хомяков). Но голос корифеев славянофильства не проникал в широкие круги общества и звучал лишь для немногих, — статьи же „Внутреннего обозрения“, из которых составилась сборник К.К. Арсеньева, постоянно обращали внимание именно этих кругов на постыдную язву в нашем внутреннем организме и тревожно, время от времени, пробуждали его вновь. Одна эта сторона деятельности его, поддерживавшая „свет, светящийся во тьме“, даже если бы последняя не заключала в себе никаких других видов служения нравственному развитию общества, заслуживала бы особого признания и уважения». Солидарен с мнением Кони был В.М. Гессен, заявлявший, что «блестящие страницы, написанные Арсеньевым в защиту свободы совести и печати, роднят его с благородными тенями прошлого, с Мильтоном и Миллем, Б. Констаном и Токвилем».

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше и больше, по мере того, как растет вширь и глубь с одной стороны уважение к человеку, к его достоинству, к его праву на самостоятельную мысль, с другой —

сознание солидарности между гражданами. Свобода печати играет такую же роль в общественной жизни, как свет — в жизни органического мира. Нарушая обманчивую тишину, приподнимая завесу, отделяя правду от лжи, реальное от кажущегося, проникая во все концы страны и во все сферы деятельности, она является незаменимым двигателем прогресса, неоценимой охраной всякого права, всякой другой свободы», — так сам Арсеньев определял главную мысль своего сборника статей «Законодательство о печати» (1903), который представлял собой, по словам Кони, «систематический обзор положения печати, мер к ее „обузданию“ и законов о ней за 48 лет, считая с 1855 г.». Убежденный в недопустимости административного произвола по отношению к печати, Арсеньев в 1895 году, в числе 78 литераторов, подписал петицию императору Николаю II с просьбой о пересмотре законов о печати. Приложением к документу стала «Записка о пересмотре законов о печати», авторами которой, наряду с Арсеньевым, были Стасюлевич, Спасович и др.

Далекий от утопизма крайних политических течений, Арсеньев никогда не сходил с «реальной почвы осязаемого и возможного». Вместе с тем, по словам В.М. Гессена, он менее, чем кто-либо, заслужил упрек «в излишней умеренности», поскольку сквозными темами его публицистики всегда были «больные и проклятые» русской жизни, так и оставшиеся нерешенными к 1917 году. Наглядным доказательством этого являлся сборник статей Арсеньева, написанных «за четверть века», с 1871 по 1894 год, вышедший в свет в 1915 году. Вдохновленный успехом книги у читателей, автор весной 1917 года обдумывал план еще одного подобного издания.

Как удавалось Арсеньеву, не изменяя своим принципам, обсуждать на страницах журнала злободневные темы, не подвергая себя и журнал репрессиям со стороны власти? В.М. Гессен объяснял это тем, что критика публициста, как правило, имела «имманентный характер»: «Арсеньев критикует явление с точки зрения тех самых принципов, которые лежат в его основе. Он стремится, например, доказать, что дореформенное законодательство о печати или реакция в области самоуправления отнюдь не являются следствием существующего в России государственного строя, что свобода печати или независимость самоуправления совместимы с режимом абсолютизма». Признавая право сомневаться в объективности подобных утверждений, Гессен утверждал, что в условиях русской действительности 1880–1890-х годов только такая критика была возможной и плодотворной: она освобождала Арсеньева от необходимости по поводу каждого явления в отдельности «восходить к первопричине зла», открывала перед ним широкую возможность всестороннего рассмотрения и оценки явлений политической и социальной действительности.

Наряду с общероссийской трибуной в лице «Вестника Европы» и других периодических изданий, Арсеньев использовал для распространения дорогих ему взглядов и сплочения единомышленников объединения деятелей местного самоуправления, а также целый ряд других возможно-

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

защитник ее устоев), он являлся членом Юридического общества при Петербургском университете со времени его основания (1877), оставив след в его истории как председатель гражданского и административного отделений, затем — как помощник председателя Общества (1895–1897), почетный член (с января 1900 года) и председатель Общества (1907–1909).

С 1867 года Арсеньев состоял в комитете (в 1889–1891 годах — был его председателем) Литературного фонда России, способствовал созданию Кассы взаимопомощи литераторов и ученых. Признанный авторитет среди коллег, он был избран на съезде писателей (1908) членом «суда чести». Огромная эрудиция, просветительский талант Арсеньева в значительной мере обеспечили блестящий успех энциклопедических изданий, в которых он принимал участие и которые до сих пор сохраняют свою ценность. Так, с июня 1891 года (по приглашению И.А. Ефрона) он был редактором гуманитарного отдела только что основанного тогда «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»; разделяя обязанности с И.Д. Андреевским, а после его смерти (осень 1891 года) — с Ф.Ф. Петрушевским, Арсеньев в 1907 году довел это издание до конца. В 1911–1916 годах он — главный редактор «Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Его статьи: «Адвокатура», «Земство в политическом отношении», «Оппозиция» — были опубликованы также в «Политической энциклопедии», вышедшей в 1906–1907 годах под редакцией Л.З. Слонимского, давнего соратника Арсеньева по «Вестнику Европы».

В 1900–1906 годах К.К. Арсеньев — вице-президент, почетный член, председатель Вольного экономического общества, которое уже к середине 1890-х годов превратилось, по мнению Петербургского охранного отделения, «в зловерное гнездо крамолы и оппозиции, в парламент, обсуждающий... всегда при громадном стечении публики, решительно все вопросы нашей внутренней государственной жизни». Ничто не могло заставить Арсеньева промолчать в случаях несправедливости, торжества «права силы». Он всегда был в первых рядах общественности, осуждавшей несправедливые действия властей. Так, вместе с Д.В. Стасовым, Н.П. Карабчевским, В.Н. Герардом и др. подписал заявление 95 лиц на имя министра внутренних дел Д.С. Сипягина с протестом против разгона и избиения студенческой демонстрации в Петербурге 4 марта 1901 года.

Еще осенью 1874 года Арсеньев организовал у себя на квартире частные собрания («шекспировские беседы»), где обсуждались вопросы политэкономии, философии, литературы, события в России и за рубежом. Участники «вечеров», продолжавшихся и в начале XX века (только в период 1887–1898 годов состоялось более ста собраний кружка), — сослуживцы и знакомые Арсеньева, члены редакции «Вестника Европы», юристы, преподаватели столичных вузов, представители творческой интеллигенции, государственные и общественные деятели. По воспоминаниям О.В. Синакевич, педагога, в 1890-х годах студентки Высших женских (Бестужевских) курсов, на журфиксах у Арсеньева «много собиралось и молодежи, с интересом и уважением прислушивавшейся к высказываниям именитых ста-

риков». В ее памяти запечатлелось «общее впечатление от уютных и таких содержательных вечеров в обширной, тонущей в полумраке арсеньевской гостиной»: «Вот все собравшиеся разместились на диванах, в креслах, и на стульях — вдоль стен, у столов, и посреди комнаты — все лицом к столику, за которым уже расположился докладчик. Воцаряется тишина — и чтение начинается. Две или три настольные керосиновые лампы, затененные абажурами, в разных концах комнаты освещают... ближайšie предметы и группы сидящих вокруг них людей. <...> В перерыв лакей в белых нитяных перчатках обносит гостей чаем, а на столах и столиках появляются сахарницы и сухарницы с печеньем. Приступают к обсуждению доклада. И тут начинается самое интересное: сдержанно, но умно и убедительно высказывается К.К. Арсеньев, доброжелательно и остроумно говорит А.Ф. Кони, горячится Боборыкин, возникают оживленные прения, в которые постепенно вступают все новые оппоненты. Иногда почтительно просит слова кто-нибудь из представителей молодежи, толпящейся у входа; студенты здесь не спорят и ничего не утверждают, они делятся своими сомнениями и недоумениями, они просят разъяснений у старшего поколения, они спрашивают, им отвечают».

Наращение революционной смуты совпало с периодом активной деятельности К.К. Арсеньева в столичном самоуправлении. В 1904–1906 годах он избирался гласным Петербургской городской думы, состоял членом городской комиссии по народному образованию. Арсеньев был в числе гласных Думы, которые на своем частном совещании 1 декабря 1904 года поддержали постановление Московской думы от 30 ноября (требования демократических свобод, отмены действия исключительных законов, установления контроля общественных сил за законностью действий администрации). Именно эту акцию кн. В.М. Голицын, возглавлявший тогда Московскую городскую думу, впоследствии считал не реализованным по вине верховной власти шансом предотвратить разрастание революции и начать мирное обновление России.

Петербургская общественность, в свою очередь, тоже пыталась удержать власть от шагов, которые угрожали взорвать ситуацию в стране. Так, Арсеньев вошел в состав делегации (А.М. Горький, историки В.И. Семевский и Н.И. Кареев, литераторы-публицисты Н.Ф. Анненский, В.А. Мякотин и А.В. Пешехонов, присяжные поверенные — Е.И. Кедрин, И.В. Гессен) к министру внутренних дел П.Д. Святополк-Мирскому и председателю Комитета министров С.Ю. Витте, предпринятой с целью предотвратить столкновение народа с властями. Он тяжело переживал неудачу этой акции и последовавший 9 января 1905 года расстрел мирной демонстрации. В ночь на 11 января Арсеньев, вместе с другими членами делегации, был арестован, но быстро освобожден «по возрасту». Не оставляя надежды на перемены к лучшему, он, по приглашению Витте, в феврале 1905 года вошел в состав Особого совещания для подготовки нового Устава о печати (председатель — Д.Ф. Кобеко, члены — А.Ф. Кони, М.М. Стасюлевич, В.О. Ключевский, А.С. Суворин, Д.И. Пихно, кн. В.П. Мещерский,

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

гр. А.А. Голенищев-Кутузов и др.). Думая прежде всего об интересах дела, Арсеньев счел неприемлемым призыв группы петербургских литераторов ограничить работу совещания «категорическим заявлением о несовместимости существующего строя с истинною свободой печатного слова». Вместе со Стасюлевичем он пошел «против течения», выступив в «Вестнике Европы» с заявлением, в котором действия излишне радикальных коллег расценивались как «нарушение долга перед русской литературой». В ситуации нарастания революции Арсеньев вошел также в состав подготовительной комиссии Петербургской думы, образованной 9 марта 1905 года для разработки «предположений по вопросам усовершенствования государственного благоустройства и улучшения народного благосостояния» (председатель — В.О. Люстих, члены — гр. А.А. Бобринский, Е.И. Кедрин, бар. П.Л. Корф, П.А. Потехин, М.М. Стасюлевич, И.М. Тютюмов и др.).

«Тяжелый, ужасный 1905-ый год...» — страницы дневника Арсеньева были наполнены тревожными предчувствиями. Как один из «проблесков» на пути выхода страны из кризиса Арсеньев оценивал проект «булыгинской» конституции (август 1905 года): «Как ни плоха и в особенности как ни запоздала булыгинская „конституция“, все же это шаг вперед... Ожидания мои вовсе не розовые, но я не теряю надежду, что, по выражению Л. Толстого, всё образуется...»

В связи с обнародованием Манифеста 17 октября 1905 года Арсеньев замечал: «Нужно надеяться, что это успокоит страну, но вполне уверенным быть нельзя; все у нас делается слишком поздно». «В политическом движении я очутился в рядах сравнительно умеренных», — подводил он итоги 1905 года, с одной стороны, критически оценивая взгляды октябристов («эти господа мне в политическом отношении не по шерсти»), а с другой — признавая, что и кадеты пользовались его сочувствием лишь «за неимением лучшего». Оказавшийся на распутье, он, как один из «идейных вождей русской интеллигенции» (П.Н. Милоков), был, однако, весьма привлекательной фигурой для руководства Конституционно-демократической партии, стремившегося заполучить его имя в свои ряды. В ноябре 1905 года Арсеньев дал согласие баллотироваться в кадетский ЦК, однако через три недели (23 ноября) вышел из партии, по его словам, «не желая безусловно подчиняться партийной дисциплине».

В конце ноября 1905 года он поддержал инициативу своего давнего соратника А.С. Посникова и вместе с ним в январе 1906 года основал Партию демократических реформ (ПДР), возглавив ее Центральное бюро. В руководящий орган партии вошли также другие члены редакции «Вестника Европы» (М.М. Стасюлевич, В.Д. Кузьмин-Караваев), Д.В. Стасов, М.М. Ковалевский, многие профессора Петербургского политехнического института (К.П. Боклевский, А.Г. Гусаков, И.И. Иванюков, А.П. Македонский, Н.А. Меншуткин, М.И. Носач).

Особое место ПДР в российской многопартийности определялось категорическим неприятием насилия как «сверху», так и «снизу»: пред-

ложенная ею модель модернизации России представляла собой один из вариантов синтеза либеральных и демократических идей. Идеологи «демреформаторов» явились к тому же первопроходцами в создании «партии нового типа», фактически пытаясь реализовать «сетевой» принцип ее построения. Программно-организационные и тактические установки ПДР получили впоследствии наиболее заметное воплощение и развитие в деятельности Партии мирного обновления и Партии прогрессистов, обозначивших центристское течение в русском либерализме начала XX века.

Арсеньев являлся автором политической программы ПДР, а также большинства передовых статей по вопросам политической жизни России в газете «Страна», ставшей наряду с «Вестником Европы» неофициальным органом «демреформаторов». По-прежнему в центре внимания Арсеньева оставались вопросы обеспечения насущных нужд народных масс: служение их интересам, по его мнению, требует «такого распоряжения средствами народа, которое не налагало бы тяжкого бремени на неимущих и малоимущих; оно требует такого вмешательства в экономическую жизнь, которое ограждало бы права труда в различных его видах и формах».

Арсеньев признавал «допустимость и справедливость» частичного отчуждения земли у помещиков в ходе неизбежной аграрной реформы: «Можно спорить о целесообразности такой меры, о ее практической осуществимости и государственной необходимости — но нельзя отрицать ее легальность, ее юридическую корректность». Арсеньев был убежден в том, что опыт крестьянской реформы 1861 года был применим и в конкретных условиях России начала 1900-х годов («в таких же — или еще больших — размерах, на таких же основаниях и с таким же правом»). При этом он считал полезным перенесение этого вопроса с юридической почвы на почву политическую и экономическую: «Законы пишутся и издаются в виду ближайшего, а не отдаленного будущего. Если настоятельная крестьянская нужда может быть удовлетворена принудительным отчуждением значительной доли частновладельческих земель, то против этой меры нельзя возражать указанием на вероятную или хотя бы неизбежную недостаточность ее впоследствии. С изменением условий изменяются и потребности, и способы удовлетворения потребностей... Нет надобности, поэтому, жертвовать реальными интересами живущих ради предполагаемых интересов еще не родившихся поколений». Что касается пользы сохранения «культурных» хозяйств, Арсеньев не сомневался, что живущие по соседству с ними крестьяне без труда поймут это.

Весной 1906 года, в период предвыборной кампании в I Государственную думу, Арсеньев высказался против идеи бойкота выборов. Что же касается перспектив собственного участия в работе первого российского парламента, то, реально оценивая ситуацию, он признавал: «Никаких шансов на избрание. <...> В Лужском уезде и во влиятельных губернских земских кружках преобладает „Союз 17 октября“, а в Петербурге он разделяет влияние с Конституционно-демократической партией. Я об этом

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

впрочем отнюдь не жалею, потому что и возраст, и расстроенный слух, и слабый голос делают меня непригодным к этой обязанности».

На выборах в I Думу имя Арсеньева было включено в списки выборщиков Петербургским комитетом Конституционно-демократической партии. В прессе отмечалось, что его безупречная репутация не требует дополнительной рекламы, однако в Думу он все-таки не был избран. На завершающем этапе выборов во II Думу он также потерпел поражение, оказавшись слишком умеренным для петербургских избирателей. Согласно своей привычке «не отступать перед возможным или даже вероятным поражением» Арсеньев участвовал и в следующей избирательной кампании, осенью 1907 года, однако и на этот раз успеха не имел.

Не имея возможности непосредственно участвовать в парламентской деятельности, К.К. Арсеньев продолжал обращаться к обществу с печатной трибуны. Понимая объективные причины народных выступлений (стачек, забастовок и даже вооруженных восстаний), признавая в отдельных случаях их определенный эффект, Арсеньев расценивал эти методы борьбы как «обоюдоострое оружие» и продолжал считать путь насилия тупиковым. По его убеждению, возможности мирного решения назревших проблем и постепенной трансформации России в конституционную монархию на путях реализации начал, провозглашенных Манифестом 17 октября 1905 года, были далеко не исчерпаны. Арсеньев обосновывал идею ответственности правительства перед Государственной думой, полагал, что интересы страны могут быть обеспечены лишь при наличии гармонии между Думой и кабинетом министров. Чем серьезнее и глубже разногласия между правительством и народным представительством, — замечал он, — тем неизбежнее отставка первого, так как спокойствие государства, благосостояние народа важнее, чем авторитет нескольких министров. Выступление Столыпина в Думе 6 марта 1907 года Арсеньев прокомментировал следующим образом: «Слова „не запугаете“ должны быть начертаны на знамени каждого правительства. Иначе оно не будет властью». Однако он считал, что в конституционном государстве не может быть и речи об отождествлении государства и правительства. «„L'état c'est moi“ — не может говорить даже конституционный монарх, не только правительство».

Призывая к объединению сил умеренной оппозиции и образованию в Думе и стране конституционного центра, Арсеньев, в частности, проводил мысль о том, что между либерализмом и социализмом в России никогда не существовало непримиримого противоречия, той «китайской стены», которая разделяла их на Западе: «Идеалы партий, которые можно объединить под именем левого центра, и партий, составляющих левый фланг русской политической армии, различны, но не противоположны». Характеризуя эту особенность русского освободительного движения, он отмечал: «Либеральной партии у нас нет, может быть, потому, что нет и ничего похожего на тот общественный класс, из которого она исходила и видам которого она служила на западе Европы. С искреннею предан-

ностью конституционным началам у нас неразрывно связано стремление к коренным реформам в главных сферах народного труда — рабочей и аграрной. <...> Государственному вмешательству в экономические отношения отводится такая роль, с которой решительно несовместима охрана узких классовых интересов».

Арсеньев подверг критике политику властей, направленную на ограничение деятельности политических партий: «В конституционном государстве существование партий, представляющих собою все цвета политической радуги, совершенно неизбежно и совершенно необходимо. <...> Неизбежно — потому, что общность целей естественно влечет за собою согласованность действий; необходимо — потому, что без прочных организаций слишком велик был бы хаос перекрещивающихся взглядов и стремлений». Он подчеркивал, что требование регистрации партий противоречит основам конституционного строя: «Раз есть налицо условия, ведущие к образованию партии, она образуется и будет существовать, сколько бы на нее ни налагалось запрещений. <...> Утверждение партии правительством — явный абсурд, как потому, что правительство является здесь судьей в собственном деле, так и потому, что отказом в утверждении не прекращается, а лишь затрудняется деятельность партии. Все партии законны и официальной регистрации не подлежат». Реестр партий с правдивой их оценкой может быть составлен только историей — таков был главный вывод Арсеньева. В период работы II Думы он выступал за предоставление широкой свободы выражения депутатам-социалистам: «Необходимо открыто и прямо признать их существование, отказаться от полицейского и судебного их преследования, ввести их в сферу действия общего права. Опасны не идеалы социализма — опасны средства, пускаемые в ход для их немедленного, насильственного осуществления... Нужно отказаться от предубеждения и ближе изучить требования противников в виду старинного афоризма: есть чему и у врага поучиться!»

1907-й год, ставший рубежным в истории Первой русской революции, совпал со знаковой годовщиной в судьбе Арсеньева — 50-летием литературной и общественной деятельности. Совет Петербургского университета удостоил его степени доктора государственного права, а Московский университет избрал почетным членом. Из многочисленных откликов на это событие приведем оценку места и роли Арсеньева в освободительном движении, принадлежащую А.Ф. Кони, его давнему соратнику. Он высоко оценил «цельность нравственного образа и последовательность в слове и деле», «громадную эрудицию» Арсеньева, «точность и изящность» его анализа общественных учений и явлений. Характеризуя Арсеньева как яркого представителя эпохи реформ Александра II, неизменного приверженца принципов политической свободы, веротерпимости, уважения к человеческой личности «вне всяких племенных или религиозных „межевых знаков“», Кони замечал: «Вся его публицистическая деятельность, несмотря на его всегда уравновешенный тон и умеренный язык, есть, в сущности, восторженное исповедание непреложных начал добра,

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

справедливости и нравственной красоты». Называя Арсеньева «упорным оптимистом», Кони свидетельствовал: «Он был им, когда волна общественного настроения несла его с собою, — он оставался им в эпоху малодушных сомнений и колебаний, — он был тверд в своей вере и тогда... когда круг людей, верных традициям 1860-х годов, бывший когда-то цельным материком, стал делаться маленьким островком, затерянным среди безбрежного моря пошлости, лицемерия и самохвальства».

Отвечая на обвинения в адрес своего друга в «прямолинейном либерализме», Кони замечал: «Да! Арсеньев всегда оставался „прямолинейным либералом“. В проведении своих взглядов на основы гражданской свободы и на условия ее осуществления он не допускал компромиссов и приспособлений, не признавая — ни чтобы цель могла оправдывать средства, ни чтобы желанный и светлый исход мог быть достигнут нечистыми способами. Нравственный компас в его статьях, речах и др. работах постоянно и неуклонно показывал на север в то время, когда все румбы смешались в глазах у большинства и почти все вопросы сводились к тому, — как бы не выйти случайно из гавани, в стоячей воде которой приходилось так уютно и безмятежно гнить, или как бы поскорее в нее вернуться, если мимолетный ветер из нее вынес». Кони считал также незаслуженными упреки в адрес своего единомышленника в «отрешении от жизни» и в некоторой «утопичности» взглядов: «Глубокое знание истории привело Арсеньева к признанию, что последние факторы очень часто лишь кажутся прочными и неустрашимыми... и то, что сегодня считалось чуждым и навязываемым жизни, завтра оказывается ею-то именно и порожденным и властно требуемым. При поступательном движении человечества вперед, несмотря на отдельные периоды остановок и даже обращения к уже пройденным этапам, те, которые презрительно обзывают носителей пылливо смотрящей в будущее мысли утопистами, похожи, как это кем-то замечено, на людей, смотрящих назад с задней площадки последнего вагона в поезде, не замечая, что и они мчатся вперед, но только задом... Вообще надо заметить, что трудно решить — не являются ли „отрешенными от жизни“ не те, кто упорно стремится к нравственному и политическому преобразованию человеческого быта, а те, которые, в своей духовной близорукости, считают возможным остановить ход истории, и властно сказать ей — „до сих пор!“ Будущее рано или поздно показывает — насколько жизненно и жизнеспособно бывает то, что писатель рисует как достижимый идеал. Важно лишь, чтобы он был правдив с самим собою и со своими читателями, — чтобы он искренно считал за истину то, что он рисует, как таковую. „Истину нельзя урезать по действительности, — писал граф Л.Н. Толстой Страхову. — Уж пускай действительность устраивается по отношению к ней, как знает и умеет“».

Об адекватности попытки А.Ф. Кони приблизиться к постижению сущности характера Арсеньева свидетельствует, в частности, позиция последнего в полемике с авторами сборника «Вехи» (1909). Известный публицист подверг справедливой критике идею «веховцев» о том, что

«коренной ошибкой интеллигенции» является признание «безусловного примата общественных форм», а исправлением данной ситуации должно стать утверждение «теоретического и практического первенства личной духовной жизни над внешними формами общежития», главенства принципа «самовоспитания ради самосовершенствования». В отличие от своих оппонентов, Арсеньев был убежден, что «в нашем современном образованном обществе, к которому исключительно обращена проповедь „Вех“» абсолютно отсутствует «что-либо похожее на течения, приводящие к покаянию, к перелому в душевной жизни». Развивая свой взгляд на «пути и приемы покаяния», Арсеньев утверждал: «Признание примата общественных форм — своего рода категорический императив: оно предполагает своеобразное самовоспитание, мало похожее на то, к которому стремятся авторы „Вех“, но также требующее усилий, внутренней борьбы, а может быть, и жертв. И разве нельзя допустить, что чем полнее готовность к жертвам, чем беззаветнее все личное подчинено общему, тем ближе с субъективной точки зрения можно считать себя к понимаемому на известный лад совершенству? То состояние духа, против которого восстают „Вехи“, представляет собой своего рода веру — и против него нельзя бороться, как против безверия. Кто считает нравственным долгом стремиться к достижению лучших общественных форм, тот не может отнестись иначе как с недоумением или негодованием к призыву: стань человеком, верь, люби. Он не может не ответить: именно потому, что я сознаю и чувствую себя человеком, солидарным со всеми другими, я считаю необходимым осуществление условий, вне которых немислимо ограждение человеческого достоинства; именно потому, что я люблю и верю, для меня отступает на второй план все касающееся личной моей жизни». Не ограничившись статьей в сборнике «Интеллигенция в России» (1910), Арсеньев отстаивал свою позицию на страницах журнала «Запросы жизни» (по определению А.С. Изгоева — «еженедельные Анти-Вехи») и других изданий.

В унисон с Арсеньевым выступил тогда и М.М. Ковалевский. Он также доказывал несостоятельность «противоположения индивидуального коллективному», подчеркивая, что «прогресс личности немислим без прогресса общественности», а «эмансипация индивида связана с развитием опирающейся на равенство солидарности». Оба идеолога либерального центризма были убеждены в том, что будущее человечества зависит от согласования двух не противоречащих друг другу начал — свободы и равенства. Вот как это формулировал Ковалевский: «Как бы широко ни понимали свои задачи общественные и политические реформаторы, ни один из них не может рассчитывать на проведение в жизнь своей схемы, если в ней требование общественной солидарности — справедливость не будет признано в равной степени с требованием автономии личности — свободой ее физических и нравственных проявлений».

Отдавая себе отчет в недостатках партийной системы как таковой и пытаясь найти организационные формы, наиболее адекватные поли-

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

тической ситуации после завершения революции 1905–1907 годов, К.К. Арсеньев и другие лидеры ПДР были сосредоточены, в частности, на поиске внепартийных форм объединения оппозиции. Эту цель преследовали в том числе инициированные ими собрания, находившие отклик у членов редакции политического еженедельника «Без заглавия», сотрудников газет «Наша жизнь», «Товарищ» С.Н. Прокоповича, В.Я. Богучарского, лидеров партии народных социалистов Н.Ф. Анненского, А.В. Пешехонова, М.И. Туган-Барановского, кадетов С.А. Муромцева, Н.А. Гредескула и др. «Патриархи» либерального центризма приветствовали прилив свежих сил в ряды своих сторонников, поддерживали деятельность фракции прогрессистов в III и IV Думах, нацеленную на единение сторонников «мирного обновления» страны. Ряд давних соратников Арсеньева (М.М. Ковалевский, А.С. Посников и др.) в 1912 году вошли в состав ЦК Партии прогрессистов.

«Оригинальным эпизодом» своей летней жизни в Висбадене в 1913 году К.К. Арсеньев считал неожиданно проявившийся у него на склоне лет стихотворный дар. Иронизируя над сопутствовавшими этому обстоятельствами («во время лечения... при сиденьи по ½ ч. и больше с ванночками на глазах я сочинил от скуки 5 стихотворений»), Арсеньев в то же время не скрывал радости по поводу того, что новая грань его творчества вызвала живой интерес и благожелательные отзывы коллег. С «благословения» Д.Н. Овсяннико-Куликовского один из первых поэтических опытов маститого публициста появился в сентябре того же года в его «родном доме», журнале «Вестник Европы»:

Вперед, без страха и сомненья!
Когда-то голос молодой
Так звал младое поколение
На мирный подвиг, в честный бой...
...И пред раскрытою могилой,
На склоне долгих, долгих лет,
Пусть раздается с новой силой
Свободе будущей привет!

КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВИЧ
АРСЕНЬЕВ

Несмотря на заголовок («Голос старости»), автор, по сути, представил в зарифмованной форме свое неизменное политическое кредо.

Впоследствии еще не раз, подводя итог своему земному пути и пытаясь «прозреть будущее», Арсеньев облакал свои сокровенные мысли и переживания в стихотворную форму. Уход в прошлое прежнего миропорядка и закат собственной жизни порождали тесное переплетение личного и общественного в поэтических строках. Не случайно именно его словами, попавшими в резонанс с атмосферой эпохи Первой мировой войны, открывался «Невский альманах», изданный в Петрограде в 1915 году по инициативе «Общества русских писателей для помощи жертвам войны»:

Когда короткий день склоняется к закату
И сумрак осени объемлет все кругом,
Живей, большее сердце чувствует утрату,
Мрачнее кажется осиротелый дом...

Вступление России в Первую мировую войну Арсеньев глубоко пережил как общественную и личную драму. «Ничего, кроме газет, не читал. <...> Очень дурное настроение, ничего почти не мог делать. <...> Долго не мог заснуть. <...> Настроение дурное, поднимающееся только при чтении вестей о наших победах», — подобные свидетельства душевной смуты нередки на страницах дневника в военные годы.

Впечатляющим был итог торжеств в честь 80-летия К.К. Арсеньева (конец января 1917 года): на имя юбиляра пришло свыше двухсот телеграмм, многочисленные поздравительные «адреса», десятки писем, в том числе с фронта, «от русских солдат». «Сочувственные» статьи были опубликованы в многочисленных периодических изданиях — столичных и провинциальных. В частности, в еженедельном приложении к популярной газете «Русское слово» Арсеньев характеризовался как «лучший современный публицист и критик», «горячий, опытный и сильный заступник законности, справедливости и терпимости в общественных отношениях». Большинство современников разделяли оценки его как «безупречного и чистого, как кристалл, человека» (А.Ф. Кони), «хранителя заветов общественного развития», «общественной совести» (Н.С. Таганцев). «Никогда не был Арсеньев ни трибуном, ни проповедником, — замечал в те дни В.М. Гессен. — Он — учитель, в лучшем значении этого слова. Он апеллирует к разуму, а не к чувству, к знанию, а не к вере. Он доказывает, а не утверждает. Духу его творчества удивительно соответствует форма его литературных произведений; фраза ему органически чужда. <...> Прозрачная ясность и безыскусственная простота — существенные особенности литературного стиля Арсеньева. И тот, кто упрекнул бы Арсеньева в поверхностности мысли, явился бы жертвой оптического обмана: мутная вода всегда кажется глубокой, и, наоборот, сквозь призму кристаллически-чистой воды видны каждый камень и каждая песчинка глубокого дна. Учитель нескольких поколений, Арсеньев в истории русской публицистики оставил глубокий, незабываемый след...»

Пришедшийся на время войны 50-летний юбилей «Вестника Европы» стал для редакции журнала поводом подтвердить приверженность курсу Великих реформ. «Еще не время расставаться со старыми девизами, — заявлял Арсеньев. — Нужно только присоединять к ним новые, диктуемые безостановочным ходом жизни». Несмотря на трагизм военного времени и неопределенность грядущих судеб России и мира он призывал современников оставаться оптимистами. «Теперь настоящее оставляет мало места для оглядок на прошлое, а в будущее, как бы оно ни было омрачено страданиями, неразрывно связанными с войною, открываются просветы, о которых еще недавно нельзя было и мечтать», — замечал Арсеньев в ноябре 1914 года.

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

Улучшение земельного обеспечения крестьян, несущих основное бремя войны, уравнение их в правах с другими сословиями — Арсеньев убеждал в неотложности этих мер наряду с другими социальными реформами, которые он рассматривал в контексте «организации страны для содействия победе и поддержания внутреннего мира». В один ряд с заботой о массах крестьянства ставилось им решение национального вопроса: «Кому же, кроме добровольных слепцов, война не доказала несправедливость и опасность притеснения инородцев?» — восклицал Арсеньев, выражая уверенность в том, что «война, освободительная по своему духу и своим целям, не может не стать освободительной и внутри государства». Вместе с тем он указывал на то, что сторонники «полнейшей национальной равноправности», к числу которых всегда принадлежал «Вестник Европы», не испытывали иллюзий по поводу возможности осуществления в период войны радикальных изменений в данной сфере, во всяком случае, «пока во главе управления стоят крайние „националисты“ в специфически русском смысле этого слова».

Тем не менее Арсеньев и его единомышленники признавали необходимым если не разрешить до конца, то поставить практически вопрос о законодательном обеспечении прав всех народов, входивших в состав Российской империи. При этом они обращали внимание на еще один значимый ракурс проблемы, а именно вопрос об обязанностях (а не только правах) коренных жителей окраин, прежде всего имея в виду встававшую перед ними задачу научиться уважать права тех народностей, с которыми их связала история. «Надо пользоваться каждой возможностью для того, чтобы сблизить враждующие стороны и внести в их отношения элементы взаимного понимания, согласия, мира и терпимости. В пределах национального самосохранения борьба останется, но она может и должна вестись только идейными, культурными способами», — таков был предложенный Арсеньевым вариант решения межнациональных проблем.

Подобный настрой в целом определял и позицию публициста по вопросу, вызывавшему в российском обществе бурные дискуссии в годы войны — об отношении к немецкой нации. Для Арсеньева были категорически неприемлемы попытки возбудить в русском обществе вражду ко всему немецкому. В то же время он признавал, что распространению германофобства во многом способствовали сами немцы, точнее коллективные заявления немецких ученых и художников, выставлявшие их «как бы сообщниками или, по крайней мере, апологетами гнусностей и зверств, творимых германским правительством и, по его приказанию или с его безмолвного согласия, германскими войсками». Объяснение этого явления публицист видел в том, что «умами многих, слишком многих выдающихся немецких людей овладело нечто вроде острого помешательства: они видят то, чего нет, и не видят того, что есть». Большая доля истины, по мнению Арсеньева, содержалась в утверждении кн. Е.Н. Трубецкого о «гипнозе государства» как первоисточнике указанного «помешательства». «Победоносное, в эпоху Бисмарка, государство стало суро-

во властвовать над личностью, относящейся к нему благоговейно, почти религиозно, — писал Е.Н. Трубецкой. — Оно сделалось для нее идолом, земным богом. Отсюда общее понижение уровня духовной жизни, материализация всех жизненных интересов, неспособность понимать тех, кто не разделяет поклонения государству — германскому государству; отсюда свирепое ожесточение, овладевшее немцами, когда их соседи оказались непослушными германскому императору. Немецкие добродетели „действуют лишь в тех пределах, на которые простирается покровительственно-доброжелательное отношение немецкого государства. За этими пределами все дозволено: врагов немецкого государства дозволительно грабить, убивать, обманывать и пытаться, а жен и дочерей их можно подвергать всякому насилию“».

Вместе с тем Арсеньев предостерегал от подобного «одноцветного» восприятия общественных настроений в Германии. Он обращал внимание на то, что далеко не все оказались там под «гипнозом» внешней силы и военных побед, а «силы, прокладывающие пути к лучшему будущему», по его словам, не переставали действовать в Германии и во времена «ослепления». Кроме того, Арсеньев призывал учитывать при объяснении общественных настроений в Германии особые условия военного времени, крайне затруднявшие критическое отношение к действительности и облегчавшие официальной пропаганде задачу превращения «добродушной, в общем, массы людей в ревуший и мечущийся от злобы зверинец».

Безусловное сочувствие выражал Арсеньев мнению кн. Е.Н. Трубецкого о том, что поражения Германии «нужны не только для спасения других народов — они благодетельны для нее самой... только удар грома может пробудить ее от нынешнего духовного ее усыпления. Тогда из силы, враждебной человечеству, немецкий народ вновь станет одним из могущественных двигателей мировой, общечеловеческой культуры». Арсеньев солидаризировался с резолюцией общего собрания членов «Общества Мира» в ноябре 1914 года, автором которой был кн. Пав.Д. Долгоруков. В этом документе особо подчеркивалось, что «Россия, втянутая в войну, ведет ее против германского милитаризма, но не против германской народной культуры». «Такие слова не заграждают дорогу к сближению между народами, для общей деятельности которых на общую пользу должно, рано или поздно, наступить время», — заключал Арсеньев.

Выступления публициста по национальному вопросу затрагивали и проблемы российской многопартийности, также переживавшей трансформацию под влиянием войны. В этой связи он с тревогой наблюдал за новой тенденцией в либеральной среде, а именно за попытками создания «своего рода национал-либеральной партии или хотя бы национально-либерального настроения». Среди его оппонентов в дискуссии о национальном начале в либерализме — один из авторов новой доктрины, П.Б. Струве, провозгласивший безоговорочное признание национального начала единственно правильной позицией не только для власти, но и для русского образованного общества с целью поставить заслон «реакционному

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

использованию национального принципа и вообще нездоровым проявлениям национализма». Сочувствие попытке Струве «привить иссыхающему древу российского либерализма свежий росток национализма» выразила редакция газеты «Утро России», в свою очередь, пропагандировавшая мысль о возможности и необходимости синтеза идей «чистого, здорового национализма», патриотизма и либерализма. О популярности идей национал-либерализма в России в годы Первой мировой войны свидетельствовала, в частности, попытка создания Национал-либеральной партии, предпринятая лидером прогрессистов И.Н. Ефремовым и беспартийным депутатом М.А. Карауловым в IV Думе незадолго до образования Прогрессивного блока.

Арсеньев стремился разъяснить российской общественности суть дискутируемого явления и указать на вероятные крайне негативные последствия «национализации русского либерализма». В частности, он был уверен в отрыве от реальности и утопичности призыва национал-либералов к их оппонентам из либерального лагеря — «пожертвовать» местными особенностями в пользу «общенационального начала». «На почве национального вопроса больше, чем где-либо, приходится считаться с предрассудками, сознательными и бессознательными, — убеждал публицист. — Между „местными особенностями“ есть много таких, которые приросли к сердцу населения; нельзя жертвовать ими ради отвлеченного начала». По мнению Арсеньева, с «либеральной точки зрения» можно утверждать только одно: «оценка культуры и языка никому навязываема быть не может. Как бы ясно ни было для одних превосходство данного языка, данной культуры, они не в праве требовать от других усвоения этого взгляда. Если у него есть твердые основы, он будет мало-помалу распространяться в глубь и ширь, без искусственной поддержки, на самом деле легко обрастающей в помеху».

Рассматривая проблему в международном контексте, Арсеньев считал полезным обратиться к опыту Германии, где идеи национализма были исторически укоренены, а национал-либеральная партия существовала с 1867 года. При этом публицист обращал внимание на различный исторический контекст употребления терминов «национальный» и «национализм»: «В Германии они возникли на почве политического распада, шедшего вразрез с общим происхождением и общим, до известной степени, прошлым; в России они пускаются в ход на почве государственного единства и глубоких племенных различий. Германия стремилась к превращению нации в государство; в России это превращение совершилось несколько веков тому назад, после чего государство, образованное нацией, включило в свой состав множество других, разнородных национальных элементов». По мнению Арсеньева, этим объяснялось коренное различие в характере и развитии националистических стремлений в двух странах: «В Германии их острие было направлено первоначально против внешних врагов, против соседей, считавших для себя выгодным расчленение, т.е. бессилие германского народа; в России оно сразу направилось

против „внутренних врагов“, к числу которых были отнесены все нарушающие единообразие и единоцветность громадного целого». Выделяя основные этапы эволюции указанного явления в России («национализм, еще не вполне сознательный, вошел, под именем „народности“, в состав знаменитой трехчленной формулы графа Уварова; смягченный, с легким налетом гуманизма, он стал краеугольным камнем первоначального, подлинного славянофильства; грубым и узким он явился на страницах „Московских ведомостей“, спустился еще ниже у продолжателей Каткова и, наконец, достиг крайней степени падения в среде новейших „истинно-русских людей“»), Арсеньев приходил к выводу о том, что «в Германии национализмом, в первом его фазисе, могли увлечься либералы, не изменяя своему символу веры; он не только не грозил ничьей свободе, ничьему праву, но обещал, в обновленном и сильном государстве, такие личные и общественные гарантии, каких не могли дать десятки слабых и именно потому боязливых государей. В России пропасть между национализмом и либерализмом с самого начала оказалась непреходимой».

Прослеживая логику развития германского национализма, Арсеньев указывал на закономерность в конечном итоге сближения данного явления с аналогичным русским. Он отмечал, что в объединенной Германии, справившейся с внешними врагами, также оказались «враги внутренние» (поляки, после войны 1864 года — жители северного Шлезвига, а вследствие войны 1870–1871 годов — жители Эльзас-Лотарингии). Основную причину изменений в настроении и положении немецких национал-либералов Арсеньев видел в последовательном утверждении в их взглядах «притязаний национализма» над требованиями последовательного и искреннего либерализма. «Если партия этого имени все еще существует, то только по инерции, по привычке; серьезное значение и внутренний смысл она потеряла уже давно. Это позволяет судить о том, насколько желательно — и целесообразно было бы образование национал-либеральной партии, в настоящую минуту у нас в России».

Предвидя опасность поглощения либерализма национализмом, Арсеньев заявлял: «Прежде чем говорить не только о слиянии, но хотя бы о сближении национализма с либерализмом, нужно было бы доказать, что под именем первого разумеется отныне нечто совсем другое, чем прежде. В состав „либеральной“ программы, самой умеренной, неизбежно входят два основных требования: равенство перед законом и свобода, во всех тех формах, в которых ее признает и охраняет правовое государство. Национализм, как боевой принцип, как партийное знамя, отрицает и то, и другое, обуславливая полноту прав принадлежностью к господствующей нации... и следовательно, ограничивая свободу передвижения, свободу избрания места жительства и занятий, свободу преподавания и учения. „Национально-либеральной“ программы мы поэтому еще не видали и, без сомнения, не увидим, пока национализм сохраняет у нас свои типичные черты. <...> Национал-либералы, если им суждено появиться на нашей почве, будут столь же мало либералами, как и нынешние одноименники

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

их в Германии», — приходил к заключению Арсеньев. Для него самого воплощением искомого синтеза национальных и либеральных начал являлся И.С. Тургенев, показавший «всей своей жизнью и всеми своими трудами, что можно быть русским, всецело русским по сердцу и по духу и вместе с тем европейцем в самом полном и широком смысле этого слова».

Не приемля идею образования национал-либеральной партии, Арсеньев определял как «просветы в будущее» иные формы консолидации общественности, кристаллизовавшиеся под влиянием войны. По его словам, «поистине блестящими» были результаты широкой работы Земского и Городского союзов на фронте и в тылу. «На почве общей опасности зародились условия внутреннего мира и единения во имя общего блага», — комментировал он образование в августе 1915 года Прогрессивного блока.

Отмечая широкое сочувствие, которым было встречено это объединение, Арсеньев обосновывал «генетическую связь» между программой блока и адресом I Думы, приходя к заключению об итогах 10-летнего опыта парламентаризма в России: «Многое, считавшееся несбыточным, несвойственным русскому духу, непримиримым с русской действительностью, настоятельно требуется жизнью и укладывается в ее рамки, хотя, быть может, и не в тех формах, в каких оно намечалось сначала. Казавшееся крайним усваивается „золотой серединой“. <...> И если многое в требованиях адреса могло быть приписано... увлечению, необдуманности, незнанию народных нужд, непониманию народных взглядов, то ничего подобного о программе Прогрессивного блока сказать нельзя: она представляет собою результат „ума холодных наблюдений“, постепенно накопившихся, постепенно бравших верх над предрассудками и рутинной». Публицист указывал на легитимность блока как «голоса русской земли». Уверенный в жизнеспособности этого «союза во имя идеи» (с целью «создания условий, необходимых для правильного функционирования нового государственного строя»), Арсеньев считал, что «побудительная причина объединения» останется в силе, пока задачи оппозиции не будут решены.

Анализируя драматичную судьбу Прогрессивного блока, публицист констатировал многосложность преград на пути реализации его программы, объясняя этим, в частности, причины «непраздничного настроения», в котором русское общество встретило юбилей Манифеста 17 октября 1905 года. Главным препятствием на пути становления в России конституционной монархии Арсеньев считал не прекращавшиеся в течение десятилетия попытки свести на нет разрыв с прошлым. «Одной из вопиющих аномалий переживаемой нами эпохи» назвал он прозвучавшее на открытии 4-й сессии Государственной думы (19 июля 1915 года) мнение депутата Маркова 2-го, согласно которому «в России нет конституции». Публицист указывал на опасность этой «политической ереси», поскольку данное «учение» поддерживалось правительственными кругами и их «неофициальными союзниками» (своего рода «кадровым резервом» высшей бюрократии) — правыми партиями, суть доктрины которых сводилась к признанию «неприкосновенности исконного политического строя, с внешней стороны

слегка измененного государственными актами 1905 и 1906 годов, но сохранившего все свои существенные черты, по-прежнему не имеющего ничего общего с западноевропейским конституционным укладом». Возмущение публициста вызывал отказ приверженцев политической старины («так называемых „монархистов“») признать за собственным «самоназванием» какой-либо другой смысл, кроме традиционно-самодержавного, а также игнорирование ими, по мнению Арсеньева, очевидного факта: «монархия не приурочена к одной неподвижной форме... и не в закостенелости, которую хотела бы навязать ей известная категория ее опасных друзей, заключается ее сила».

Обращая внимание на уникальность российского опыта перехода от неограниченной монархии к конституционализму, Арсеньев напоминал, что в Западной Европе подобная трансформация получила в свое время принципиально иную оценку: никто не сомневался в том, что переход состоялся, а значит, возвращение к прежнему государственному порядку возможно лишь путем насилия, а не путем закона. «Ненормальность» функционирования правительственного механизма в России Арсеньев подтверждал, проводя сравнение отечественного опыта государственного управления с западным и по ряду других характеристик. Так, на фоне поразительно быстрых перемен в российском правительстве на протяжении 1916 года он обращал внимание на длительность пребывания у руля исполнительной власти английских политиков, таких как Г.Г. Асквит, занимавший кресло премьер-министра с 1908 по 1916 год, а также Д. Ллойд-Джордж (с 1905 года — член правительства, с 1916 года — премьер-министр). Арсеньев также отмечал разнообразие политических взглядов, представленных в правительствах союзных держав и довольно полно отражавших палитру политической жизни этих стран. Однако больше всего удручало Арсеньева различие между российским и западными правительствами по признаку компетентности министров. Сравнивая в этой связи «сделанное и делаемое во время войны в Англии и в России», Арсеньев замечал: «там — решительная постановка неожиданно возникших задач и смелый приступ к их исполнению, здесь — запоздалое, неполное признание их неотложности и колебания при переходе от мысли к делу». «Напрасно было бы искать в наших правительственных сферах таких богато одаренных людей, как Асквит, Ллойд-Джордж, Мак-Кеннан, Бальфур — в Англии, Бриан, Вивiani, Рибо — во Франции, — объяснял публицист сложившуюся ситуацию. — А между тем в беспримерно тяжелое время, какое теперь переживает Россия, более чем когда-либо важно было бы сосредоточение власти в руках министерства, которое можно было бы назвать, по образцу английского кабинета 1806 года, „ministry of all the talents“». Обозначая таким образом одну из целей назревшей реформы исполнительной власти, Арсеньев вместе с тем осознавал трудность (фактически — невозможность) ее осуществления, поскольку система государственной службы, существовавшая в предшествовавшие «годы застоя и реакции», в принципе исключала возможность формирования каче-

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

ственно новой «породы» управленцев, так как «не могла воспитать ни инициативы, ни творчества, ни способности откликаться на постоянно растущие и усложняющиеся требования жизни».

Отчасти соглашаясь с критиками Манифеста 17 октября 1905 года, Арсеньев считал «поистине несчастьем для России» недостаточно определенную форму, в которую был облечен этот «великий акт» («не над всеми i поставлены ясные точки»). В то же время он проводил мысль о том, что содержание этого документа, «подтвержденное несколькими статьями новых Основных законов», не оставляло места для последующих «разъяснений», шедших вразрез со смыслом этих законов. В частности, не отсутствием конституции, а ее нарушением объяснял Арсеньев «безбрежно широкое применение чрезвычайно-указного права». «Конечно, война принесла с собою немало „чрезвычайных обстоятельств“, подходящих под действие 87-й статьи, но на один уровень с ними ставилось многое из сферы нормальной жизни, подлежащее разрешению путем нормального законодательства», — компетентно заявлял Арсеньев.

Признавая одной из причин подобной ситуации «чрезмерно долгие перерывы законодательной сессии», он видел корень проблемы в устойчивости традиций и взглядов правительственной бюрократии, стремившейся под покровом либеральной риторики (словами о сплочении власти с обществом как залого плодотворной деятельности правительства, провозглашении Государственной думы крупной творческой силой и т.д.) сохранить монополию на высшую государственную мудрость: «Вынужденная при новом политическом строе допустить участие общественных сил в государственной работе, бюрократия не могла не стремиться к уменьшению размеров, к сдерживанию его — и одно из средств, ведущих к этой цели ею было найдено в статье 87-й, перетолкованной *ad hoc* или просто обращенной во флаг, под которым провозится желанный товар».

В этом смысле характерной приметой времени Арсеньев считал широкое использование в правительственных заявлениях термина «благожелательность», пущенного в ход председателем Совета министров И.Л. Горемыкиным в связи с открытием очередной сессии Думы 19 июля 1915 года. Отмечая «растяжимость» этого понятия, Арсеньев особо указывал на коренную характеристику «благожелательности» («благосклонности») как «свойства, охотно подчеркиваемого властью в обращениях к подвластным, высшими в обращениях к низшим. Оно знаменует собою готовность спуститься на мгновение с горных вершин в житейскую низменность, выслушать голос „ограниченного ума подданных“, и кое-что, при случае и по собственному усмотрению, исполнить из заявленных им „ходатайств“, ни к чему не обязываясь и ни в чем существенном не уступающая». Синонимом «благожелательности», по словам Арсеньева, являлась «умеренность в пользовании произволом». Характеризуя это свойство как один из атрибутов патриархальности, публицист подчеркивал: «для нее нет места там, где должна господствовать справедливость, где подвластным доступно понятие о праве».

Еще один характерный принцип государственной морали («всяк сверчок знай свой шесток») озвучил в конце 1916 года представитель меньшинства в Государственном совете, бывший министр внутренних дел Н.А. Маклаков. По его словам, общественность «может быть здоровым и сильным государственным фактором только тогда, когда она спокойно и скромно несет свои обязанности на благо родине на законно предугазанном ей месте, не бросаясь в открытое море новых политических завоеваний».

Сохраненный в неизменности «символ веры» бюрократии («Дума — не что иное, как преграда и помеха, общественные организации — покорные исполнители приказаний, свободы — достояние привилегированного меньшинства, покупаемое рабством») определял и призывы правящих кругов к обществу в годы войны. Реагируя на пожелание верхов «изгнать политику» из общественной жизни («меньше думать о правах, больше — об обязанностях»), Арсеньев напоминал о предназначении Государственной думы. В этой связи он утверждал: «частное лицо, ответственное только перед самим собою, может, в видах общей пользы, пожертвовать своим личным правом; для учреждения, ответственного перед страной, свобода жертвы существует далеко не всегда. Да и сами жертвы, на этой почве, слишком легко могут оказаться бесплодными или прямо идущими вразрез с намеченною целью».

Протест Арсеньева вызывала убежденность верхов в несовместимости войны и реформ. Разумное применение мер предосторожности, обусловленных войной, не только совместимо с преобразованиями, из года в год отодвигаемыми на задний план (ввиду «интересов и предрассудков немногочисленных, но влиятельных и властных общественных групп»), но и должно идти с ними рука об руку — такова была неизменная позиция редакторского круга «Вестника Европы». Арсеньев и его коллеги не раз критиковали стремление правительства подчинить законодательную работу во время войны исключительно организации победы («сначала победа и мир, потом реформы»), полагая, что это неизбежно приведет к застою и регрессу во всех областях законодательства и управления.

Арсеньев неустанно разъяснял очевидную, на его взгляд, истину: как бы велик ни был общий интерес к войне, как бы горячо ни было желание победы, этим не исчерпывалась народная жизнь, не упразднились ее очередные задачи. «Недостатки государственного и общественного строя особенно живо чувствуются именно в минуты народных бедствий, и если окончательное их устранение — задача мирного времени, то ничто не мешает уже теперь их открытому признанию, не мешает подготовке к необходимым реформам», — в этом смысле он считал характерной ситуацию, сложившуюся в годы войны вокруг законопроекта о введении прогрессивного подоходного налога. Настаивая на том, что эта мера является «существенно важной, необходимой частью разумной налоговой системы», Арсеньев отдавал свой голос за то, чтобы наконец-то «сдвинуть с мертвой точки этот вопрос, возбужденный еще 30 лет тому назад, при

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

Н.Х. Бунге». Он разъяснял: «Нельзя говорить: или подходящий, или военный налог; они оба могут и должны быть созданы теперь же, один как — постоянная составная часть нормальной финансовой системы, другой — как временная мера, вызываемая чрезвычайными обстоятельствами». Знаменательно, что принятый в апреле 1916 года Государственной думой законопроект о прогрессивном подоходном налоге фактически являлся детищем сподвижника Арсеньева — Посникова. Отмечая его большой личный вклад в разработку и принятие документа, современники определяли последний как *lex Posnikoff*.

В «продвижении» вопросов, жизненно важных для страны, Арсеньев призывал законодателей руководствоваться принципом «промедление смерти подобно», поскольку «упущенная удобная минута повторится не скоро». В марте 1916 года Арсеньев с удовлетворением отмечал: «Силою вещей рушатся одна за другой все формальные преграды, возведенные властью на пути к лучшему будущему. Пала сама собою пресловутая формула „сначала победа и мир, потом реформы“; приступив к пересмотру положений земского и городского, к разработке вопроса о волостном земстве, министерство потеряло право возражать [Прогрессивному] блоку ссылкою на особые условия военного времени». Примером «здорового смысла» в политике Арсеньев считал и деятельность министра народного просвещения гр. П.Н. Игнатьева, характеризуя его отставку в январе 1917 года, как «потерю, понесенную русским обществом», и заявляя в связи с этим: «В течение двух лет гр. П.Н. Игнатьев был единственным министром, не только не примкнувшим к торжествующей реакции, но вступившим, в своей специальной сфере, на путь прогресса». С чувством уважения и солидарности Арсеньев не раз высказывался также о деятельности военных министров — генералов А.А. Поливанова, Д.С. Шуваева, М.А. Беляева. Их заявления о необходимости совместной дружной работы правительства и общественных сил отличались, по его мнению, «печатью» здорового смысла.

Как «единственный путь к лучшему будущему» сторонники Прогрессивного блока оценивали «исходную точку» его программы, своего рода завет I Думы, а именно положение о «необходимости объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны и готовых действовать в согласии с законодательными учреждениями». Разъясняя суть ключевого слова в приведенной формулировке, Арсеньев отмечал три главных условия завоевания властью «доверия» народа, а именно: последовательность («согласованность между прошедшим и настоящим, заключающая в себе ручательство за будущее»); успех; солидарность взглядов верхов с мнением народного представительства. Общественное доверие будет обеспечено только тому министерству, которое прямо и открыто признает Россию конституционным государством, — этот мотив в годы войны неизменно звучал на страницах «Вестника Европы». Однако, оценивая в конце 1916 года реальность такой перспективы, Арсеньев и его коллеги и единомышленники не испытывали иллюзий. Они не сомневались в су-

ществовании «заколдованного круга», из которого нет выхода при господстве влияния правых политических сил на политику верхов. «Бессильные создать что-либо прочное, они передают свое бессилие присоединяющимся извне... и только этим и можно объяснить непрекращающуюся вот уже полтора года смену министров, — констатировал Арсеньев. — И нет основания думать, чтобы поиски в той же среде могли привести к другому результату». Отсюда делался вывод о неспособности крайне правых к исполнению возлагаемой на их среду роли «рассадника министров». Подчеркивая тупикий характер ситуации, деятели круга «Вестника Европы» призывали к реализации предложения Прогрессивного блока о создании качественно нового правительства. Арсеньев обосновывал необходимость «вливать новое вино в новые меха» ссылкой на то, что в истории крайне редки случаи, когда с переменой политического направления не совпадала бы смена лиц, облеченных властью. «Чтобы такой случай стал возможным, нужна не только исключительная талантливость лица, стоящего во главе управления, но и исключительное стечение благоприятных обстоятельств», — обращал внимание публицист, приводя в качестве примера успешную карьеру О. Бисмарка. — Ничего подобного мы не видим у нас; не было ни отказа от прошлого, ни примирения с внутренними противниками, ни торжества над внешним врагом, ни широкой программы преобразований».

В колебаниях между старым и новым, почти всегда заканчивавшихся победой старого, Арсеньев видел и главную причину кризиса судебной системы — углубления противоречия между «должным и действительностью». «Стремление обратить суд в орудие власти никогда не достигало такой силы, как в последние годы», — констатировал он в 1915 году. Арсеньев считал характерным симптомом раздавшийся во всеуслышание в ноябре 1914 года, в дни 50-летнего юбилея судебной реформы 1864 года, вздох сожаления о старом суде, обнаруживший, «что таится под гладью кажущегося примирения с вошедшею в жизнь новизною», а именно присутствие в русской действительности начала 1910-х годов не только немалого числа завязтых крепостников и врагов нового суда, но и откровенных апологетов старых судебных порядков. Публицист доказывал несостоятельность их попыток «обелить» старый («екатерининский») суд указанием на то, что «это был суд немецкий, т.е. западноевропейский по своему строю», а «во взяточничестве были повинны не столько суды, сколько их канцелярии, и самая взятка имела характер не столько платы за неправоудие, сколько благодарности за ускоренный или внеочередной труд». Возмущение публициста вызвало стремление оправдать прежние порядки среди прочего ссылками на то, что в рядах тогдашних служителей Фемиды состояли не сплошь «черные мерзавцы», да и сами деятели судебной реформы были «вскормлены» все тою же дореформенной Россией. Арсеньев разъяснял, что «лицо» дореформенного суда определяли не столько отдельные одиозные фигуры, сколько основная масса служителей Фемиды, для которых характерны были такие широко распространенные ка-

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

чества, как невежество, лень, непонимание судейского долга, невысокий уровень гражданской нравственности. Признавая, что «у нас не было тех условий, благодаря которым на Западе выработался тип сведущего законника-судьи», публицист подчеркивал, что «лучшие люди дореформенной России создались не благодаря господствовавшим тогда порядкам, а вопреки им, в неустанной и часто безнадежной до трагизма борьбе с ними. То же самое можно сказать и о деятелях судебной реформы; именно потому они и могли совершить великое дело, что хорошо видели и понимали весь ужас старого суда».

С попыткой реабилитации старого суда Арсеньев связывал и не менее откровенное стремление противников прогресса поколебать доверие к самой идее нового суда. Доводы оппонентов представлялись ему — современнику и деятельному участнику судебных преобразований эпохи Александра II — не более, чем курьезом, как и попытка объяснить судебную реформу 1864 года исключительно данью моде и «выводить» отсюда вероятность возвращения к старому суду. Характеризуя главное отличие новой судебной практики от курса, намеченного «отцами судебной реформы», Арсеньев подчеркивал, что «для них руководящим девизом судебной деятельности служили слова „правда и милость“; теперь „непреложными началами“, на которых должен покоиться суд, провозглашаются государственность и национальность». При этом, как замечал публицист, «никакого точного, для всех одинаково ясного представления слово государственность не вызывает... Переносимое в судебный мир, оно становится источником сделок с совестью. Суду, озабоченному стремлением к „государственности“, неизбежно приходится думать о том, не окажется ли его решение идущим вразрез с господствующим и обязательным ее пониманием. Во имя государственности, — так могут рассуждать судьи, — следует быть до крайности строгим ко всему, не укладывающемуся в рамки господствующей в данную минуту правительственной системы». Не переставая разъяснять опасность развития ситуации по этому сценарию, Арсеньев выступал с предостережением: «Государственные интересы — понятие неопределенное, до крайности эластичное; противопоставить их категорическому велению закона, положить их на одну чашку весов, в то время как другая занята требованиями правосудия, — значит, в большинстве случаев, предрешить исход, неблагоприятный для последних».

В правовой системе России Арсеньев видел единственную «точку опоры для веры в будущее» — присяжную адвокатуру, которая через полувековые испытания «пронесла неприкосновенным свое корпоративное устройство, свое самоуправление... создала, можно сказать — из ничего, стройный институт помощников присяжных поверенных, выработала кодекс адвокатской этики. <...> В делах политических она сумела охранить свою самостоятельность, осуществить свободу речи; защищая подсудимых, она не отступала, когда было нужно, перед защитой основных начал справедливости и права». «Живой историей русской адвокатуры и воплощением лучших ее сторон», показавшим своим примером, что работать на

пользу правосудия можно «даже при самых трудных условиях», Арсеньев называл своего коллегу и политического единомышленника Д.В. Стасова. То же самое, без преувеличения, можно сказать и о самом Арсеньеве.

Последовательный — день за днем и месяц за месяцем — анализ ситуации в стране, в неразрывном единстве происходившего в тылу и на фронте, нередко позволял Арсеньеву фиксировать то, что ускользало от внимания современников. Так, в октябре 1915 года публицист выступил с собственным мнением по вопросу о «точке» перелома общественного настроения в стране, обозначившей начало нарастания критики верховной власти и процесс консолидации оппозиции. Арсеньев отмечал, что это произошло не сразу после начала военных неудач русской армии (в апреле 1915 года), а лишь спустя примерно два месяца, когда неприятельские силы стали проникать в глубь России и одновременно раскрылись причины наших поражений. По его словам, мобилизация общественных сил ускорилась с середины мая 1915 года и привела к открытию очередной думской сессии (в июле 1915 года). Впоследствии — констатировал Арсеньев — быстрый подъем политического сознания в стране, широко распространившееся убеждение в том, что «дальше идти по прежней дороге было бы неблагоприятно и неосторожно», обусловили «комбинацию условий, небывалую в России».

Очередным переломным моментом в общественно-политической жизни страны он считал конец ноября — начало декабря 1916 года, когда единодушная оценка настоящего и ближайшего будущего была выражена в трех документах («идущих из столь разных источников») — коллективных мнениях Прогрессивного блока, Государственного совета, а также резолюции съезда объединенного дворянства. Большинство членов обеих палат парламента, а также представительная организация «первейшего сословия» сошлись на мысли о том, что для окончательной победы над врагом и «дружного сотрудничества правительства с законодательными учреждениями» необходимо решительное устранение влияния на государственные дела «скрытых безответственных сил» путем образования работоспособного правительства, опирающегося на доверие и сочувствие страны. В этой связи Арсеньев обращал внимание на еще одну характерную приметку времени — радикализацию настроений в среде православного духовенства. Он полагал также, что «неоднократная присылка рабочими петроградских фабрик депутатий к председателю Государственной думы... дает право думать, что сознание значения, приобретенного Думой, начинает проникать в среду, до сих пор стоявшую в стороне от законодательных учреждений».

В общем, «Россия теперь не та, какую она была, или, по крайней мере, казалась еще недавно», — убежденно заявлял Арсеньев. Отмечая, что история не знает другого подобного примера изолированности власти от общества, какая проявилась в стране к началу 1917 года, он писал: «На стороне правительства нет ни одной законодательной палаты, ни одного сословия, ни одной партии, кроме безнадежно и быстро тающей группы

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

крайних правых, ни одного органа печати, кроме содержимых на казенные средства, ни одной общественной организации, кроме окончательно дискредитированных „союзов“, именующих себя монархическими, но менее всего служащих истинным интересам монархии. Правда, — прочествовал публицист, — на стороне власти остается сила; но не при всяких условиях внешней силой достигается и обеспечивается внутренняя крепость». Несмотря на зафиксированную им в январе 1917 года «обостренность и серьезность положения, беспрецедентного в прошедшем России», в феврале того же года он тем не менее все еще старался вселять в своих читателей надежду на лучший исход событий, в том числе «восстановление внутреннего мира».

Арсеньев с восторгом приветствовал «блестящее торжество» Февральской революции: «Кто помнит первые дни пробуждения русского общества после Крымской войны, первые порывы, первые остановки, первые шаги назад; кто пережил вторую, бледную зарю реформ и последовавшую за нею бесконечную политическую ночь 1880-х и 1890-х годов; кто был свидетелем мгновенной победы и длительного подавления первой русской революции — тот не может не сознавать с особенною ясностью всю громадность результатов, уже достигнутых великим февральским переворотом. В течение немногих недель сделано то, для чего при других, даже не слишком неблагоприятных условиях, потребовались бы долгие годы. Один за другим разрубаятся гордые узлы, распутыванье которых или вовсе не ставилось на очередь, или едва подвигалось вперед, то отрицаемое в принципе, то всячески задерживаемое в действительности. <...> Все сдвинулось с места, как в сказочном замке, внезапно очнувшись от навеянного злым волшебством сна. <...> Ярко горит заря счастливых светлых дней, которых так долго и так мучительно ждала исстрадавшаяся Россия». Состояние эйфории, в котором пребывал Арсеньев в начале весны 1917 года, исцелило его от потрясения, испытанного 1 марта в связи с «эпизодом», косвенно связанным с революцией. В этот день в квартиру Арсеньева в Царском Селе «ворвался пьяный солдат, бесчинствовавший с прислугой», а от него самого «потребовавший денег и взявший бумажник, где было более 200 руб.» Как выяснилось, тот же солдат нанес подобный визит еще нескольким знакомым публициста. С удовлетворением он отмечал в дневнике, что в тот же день грабитель был арестован «солдатами, наблюдавшими за порядком по поручению нового правительства», которые вернули всем пострадавшим отнятые у них деньги.

Стремясь, как всегда, внести посильный вклад в общее дело, Арсеньев принял на себя весной 1917 года целый ряд дополнительных забот. В частности, по предложению Временного комитета Государственной думы 16 марта он написал «статью, призывающую к единению, для распространения в армии и народе». По сообщению «Русских ведомостей», с середины апреля 1917 года Арсеньев наряду с другими «выдающимися законоведами» (А.С. Зарудный, Н.К. Муравьев, Н.П. Карачевский, О.О. Грузенберг и др.) был причастен к работе Комиссии по восстановлению основ Судеб-

ных уставов 1864 года. Однако получив 25 апреля 1917 года телеграмму от товарища министра юстиции Г.Д. Скарятин с предложением занять пост сенатора I Департамента, «без колебаний отказался», не находя возможным («при моем зрении и слухе») вступать на новую ответственную стезю. Тем не менее, несмотря на отказ, его назначение сенатором состоялось («очевидно, не ради будущего, а ради прошлого», — грустно замечал Арсеньев). Впоследствии он «усердно занимался сенатскими делами», регулярно посещая заседания и выступая там с докладами, вплоть до ноября 1917 года, когда по приезде из Царского Села в Петербург, встретившись с коллегой-сенатором В.О. Дерюжинским, они «поехали в Сенат, но по дороге узнали, что он занят солдатами и туда никого не пускают».

Характеризуя трансформационные процессы в первый месяц после свержения самодержавия, Арсеньев обращал внимание на многотрудность задач, вставших перед Временным правительством и во многом определявшихся давно «перезревшими» проблемами, которые годами и десятилетиями не находили должного решения. Это, в свою очередь, определило и еще одну особенность модернизационного транзита страны в связи с падением монархии, а именно — необходимость одновременного решения как политических, так и социальных вопросов. Успех «громдой» преобразовательной работы Временного правительства («состав которого не оставляет желать лучшего») в первый месяц после революции и рост доверия к нему могли служить, по мнению Арсеньева, гарантией против гражданской войны.

Важнейшим условием развития завоеваний революции он считал ликвидацию «внешней опасности» («только одна победа может упрочить новый порядок»). Приветствуя курс на «скорейшее достижение всеобщего мира», Арсеньев оставался неизменным противником идеи сепаратного мира. Критически отзывался публицист и о необходимости «мира без аннексий и контрибуций», провозглашенной Временным правительством. Он отмечал ее смысловую зыбкость и непроясненность и, по сути, популистский характер, призывал к конкретно-историческому подходу в понимании общеизвестных терминов. В частности, Арсеньев утверждал, что возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии, отторгнутых от нее в 1871 году в результате Франко-прусской войны («именно по праву завоевания, т.е. вопреки истинному праву»), не имело бы ничего общего с «захватной политикой», с «аннексией» в смысле обычного завоевания.

Несколько более сложным представлялось ему решение вопроса о контрибуциях. «Под именем контрибуции налагаемой, по окончании войны, на побежденную сторону, понимается обыкновенно вознаграждение победителя за военные издержки, к которому иногда присоединяется произвольно, по праву сильного определяемая, гораздо более значительная сумма», — констатировал публицист, приходя, по его мнению, к закономерному выводу о том, что отказ от подобного рода контрибуции (фактически — «дани») соответствовал бы чувству «элементарной политической честности», а также новому, «освященному» революцией идеалу

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

международных отношений. «Другое дело — вознаграждение за потери, понесенные населением во время войны вследствие явного, ничем не оправдываемого и прямо противоречащего общепринятым правовым нормам злоупотребления силой», — развивал свою мысль Арсеньев. И далее: «Покрытие хотя бы части невероятно тяжелых потерь, причиненных нашествием германских и австрийских войск, не имело бы ничего общего с контрибуцией в одиозном значении этого слова; самые его размеры могли бы быть установлены в таком порядке, который исключал бы возможность „грабительского“ произвола».

Обращение при анализе ситуации в России к истории революционных эпох в других странах — характерный «тренд» отечественной политической прессы после февраля 1917 года. Публицистика Арсеньева, глубокого знатока всемирной истории, являла собой, пожалуй, своего рода эталон этого жанра. Сравнивая революцию в России с февральской революцией 1848 года во Франции, он отмечал значительно бóльшую сложность задач, которые предстояло решить «нашему Временному правительству» в связи с созывом Учредительного собрания. Преимуществами аналогичной ситуации во Франции, по его словам, являлись «сравнительно небольшое пространство страны, сравнительная немногочисленность, однородность и культурность ее населения, значительное число территориальных единиц, гораздо более, чем наши губернии, приспособленных к обращению в избирательные единицы, повсеместное и давнее распространение более или менее независимых органов печати, более или менее организованные партийные кадры, многолетняя привычка к политической жизни, далеко не вполне свободной, но все же не сдавленной безграничным произволом». К тому же, подчеркивал публицист, Франция «целые десятилетия до 1848 пользовалась благами мира», в отличие от России, «почти три года страдающей от войны, беспрецедентной по своей жестокости и изнурительности». Все это объясняло тот факт, что подготовка к выборам заняла во Франции всего два месяца. Отводя подобной работе в России «гораздо более продолжительное время», Арсеньев выступал против поспешного созыва «первого всероссийского парламента, созданного революцией и призванного упрочить лучшие ее результаты, — парламента, который должен быть свободным, чтобы положить основание свободе». По его убеждению, работа Учредительного собрания должна была совершаться «в сравнительно успокоившейся стране, не встречая ни угроз, ни искусственных задержек, ни упорного непонимания».

Публицист особо подчеркивал «отличие нашего временного правительства от своего французского прототипа» — «широко и глубоко идущую созидательную работу». В отличие от ситуации во Франции в 1848 году, Арсеньев видел в России весной 1917 года реальные предпосылки для того, чтобы привести страну в «спасительную гавань Учредительного собрания» путем соглашения и уступок между политическими силами в составе Временного правительства, которое с самого начала направляло свою работу в целом «по социалистическому руслу». По его мнению, «жи-

вым символом единения» между элементами, выдвинутыми революцией на первый план и воплотившими в себе влияние и власть, являлся А.Ф. Керенский — одновременно член Временного правительства и представитель Исполнительного комитета Государственной думы и Совета рабочих и солдатских депутатов. Оптимизм публициста подкрепляли и выступления лидеров меньшевиков И.Г. Церетели, Г.В. Плеханова, которые указывали на эффективность объединения усилий пролетариата и «буржуазных классов» в целях укрепления нового демократического строя, недопустимость борьбы за власть. Арсеньев обращал внимание и на «третью силу», не менее важную в процессе построения новой России, — кооперацию. Он солидаризировался с мнениями, прозвучавшими на кооперативном съезде (Е.Д. Кускова, А.И. Шингарев), согласно которым, «миссия кооперации в этот момент — быть цементом между различными партийными группами», и более того — «организующим началом мира».

По мнению публициста, исторические аналогии при объяснении современных реалий «как бы открывают просвет в будущее». Отдавая должное широко применявшемуся тогда приему, он вместе с тем указывал на необходимость соблюдения при этом обязательного условия — корректного изложения и истолкования фактов, служащих материалом для сравнения. В противном случае, выступал он с предупреждением, «исторические параллели, не соответствующие этому требованию, — не указатели пути, а блуждающие огни, заманивающие в болото». Поводом для этого заявления послужила опасная тенденция, обозначившаяся вскоре после событий 3–5 июля в Петрограде, когда на рассмотрение соединенных демократических организаций внесена была резолюция о необходимости «решительной борьбы со всякими проявлениями контрреволюции и анархии». Тогда «представитель одной из крайних левых партий просил собрание вспомнить, что дело французской революции было прочно, пока меч был в руке Робеспьера и разил только направо, когда же меч был направлен не только направо, но и налево, судьба революции была решена». Уличив оратора в «целом ряде ошибок», Арсеньев утверждал обратное: «Судьба революции была в сущности решена именно тогда, когда меч находился всецело в распоряжении Робеспьера, когда закон 22-го прериаля положил конец немногим уцелевшим еще гарантиям правосудия, когда безмерно разрастающийся и свирепевший террор подготовлял реакцию в среде измучившегося и разочаровавшегося народа». «Нарушение справедливости никогда не проходит бесследно; никогда победителями в конце концов не остаются те, волею которых „меч правосудия“ систематически, неуклонно и безмерно направляется только в одну сторону», — предупреждал публицист, выступая против предложения руководства Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов фактически узаконить «новый вид неравенства», т.е. ввести защиту на предварительном следствии в качестве частной меры, другими словами, применительно лишь к лицам, проходящим «по делу о событиях 3–5 июля». Заявляя о недопустимости подобного шага, Арсеньев расцени-

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

вал его как «создание привилегии, прямо идущей вразрез с духом истинно демократического режима».

С лета 1917 года тревога Арсеньева за судьбу страны стремительно нарастала. Наряду с катастрофическим ухудшением экономической ситуации он указывал на главное, по его мнению, препятствие успешной деятельности обновленного правительства: «Усложнениями грозит не разногласие между министрами-социалистами и министрами-представителями „демократической буржуазии“, а разногласие в среде социалистических партий, в среде самого Совета рабочих и солдатских депутатов». Под особым наблюдением Арсеньева-публициста находилась «группа эмигрантов, вернувшихся через Германию» в начале апреля 1917 года и вскоре обеспечивших перелом в ходе революции вследствие стремительного расширения поля действия. Он категорически отвергал предложенный большевиками («крайними левыми») в качестве средства спасения страны «захватный» путь — «массовое революционное насилие» по типу московского вооруженного восстания в декабре 1905 года. «Мыслимо ли вооруженное восстание, когда в ближайшем будущем решающее слово должно и может быть свободно сказано народом? В 1905 году московскому восстанию предшествовал арест Петербургского совета рабочих депутатов; теперь на стороне Временного правительства стоят организации рабочих, солдат и крестьян, представленные в его среде и поддерживающие его своим доверием. „Массовому революционному насилию“ должны, следовательно, подвергнуться именно те, которых революция облекла властью?» — обращался публицист с риторическим вопросом к оппонентам из радикального лагеря.

Несовместимыми с демократией Арсеньев считал и призывы крайних левых к установлению «диктатуры пролетариата»: «Не-пролетарии — такие же люди, такие же граждане, как и пролетарии, искусственно устанавливать неравенство между теми и другими — значит идти не вперед, а назад, создавать новые виды бесправия, новые категории неполноправных граждан». Комментируя «мрачные стороны» российской действительности от февраля к октябрю 1917 года, в том числе «события 3 и 4 июля», публицист все же сохранял надежду на то, что «самый избыток зла открывает путь к его устранению». При этом он не представлял другой альтернативы спасения страны, кроме созыва законного органа народного представительства.

В сентябре 1917 года, в связи с сообщением о начале работы Предпарламента, тревожные мысли навевала на Арсеньева «историческая параллель» с подобным учреждением в Германии в 1848 году. Он высказывал глубокие сомнения в необходимости и своевременности осуществления данной инициативы в России, продолжая утверждать, что создать власть «прочную и твердую» может «только истинное, свободно избранное народное представительство» в лице Учредительного собрания.

В середине октября Арсеньев выступил с предостережением от увлечения идеей федерации: «Можно приветствовать ее развитие, можно

желать ей конечного успеха, но под одним условием: чтобы не встретила в ней препятствий защита независимости России». В этой связи он обращал внимание на «великий пример» первой Французской республики (1792–1804), которая, торжествуя над внешними врагами, провозгласила себя «единой и нераздельной; преступным признавалось всякое стремление к федеративному строю».

Тогда же Арсеньев фактически солидаризировался с «мрачным предсказанием» «одного из наиболее уважаемых ветеранов революционного движения», председателя московской городской думы О.С. Минора. Выступая в заседании Демократического совещания 19 сентября 1917 года, тот заявил о возможности «повторения времен Великой французской революции» в России, подразумевая под этим «резню» в различных вариантах: «гражданскую войну (Вандею), ряд казней по судебным приговорам (террор) и ряд убийств без суда, массовых и единичных (сентябрьские дни 1792 года)».

Большевистский переворот, обстановка, сопутствовавшая выборам в Учредительное собрание («право уступило место силе»), и его разгон («факт беспрецедентный, небывалый, не предусмотренный никаким законом и произведенный неуполномоченною на то властью») — все это усугубило, по словам Арсеньева, и без того «бедственное, критическое» положение дел в стране. Его тягостное настроение усиливалось и в связи с большевистскими «нововведениями» в области юридической теории и практики. С тяжелым чувством он свидетельствовал, что суждено было остаться невостребованными наработкам комиссии по пересмотру Судебных уставов 1864 года, действовавшей после Февральской революции и предложившей меры, способные поставить присяжную адвокатуру в России «в такое положение, которому могли бы позавидовать ее собратья в любом западноевропейском государстве». «Вместо решительного шага вперед нашей адвокатуры предстоит теперь громадный шаг назад, или, лучше сказать, переход в небытие», — заключал он в конце ноября 1917 года. По его словам, «разрушительное поветрие, свирепствующее над Россией», не оставляло шансов на «выживание» и прокуратуре («признается право, но не обязанность обвинять и защищать»). Арсеньев выступил также с разоблачением «вопиющих недостатков» верховного военно-революционного трибунала, бросавших «мрачную тень на ближайшее будущее», а также критикой новых местных судов, заменявших мировых судей.

Возражая большевикам, он настаивал на том, что Учредительное собрание никак не может быть заменено советами, избираемыми «не всеобщим и не прямым голосованием, без широкой гласности, без свободной, доступной для контроля избирательной агитации, на неопределенное время, с неопределенными правами и неопределенной компетенцией». По его словам, роковой ошибкой очередных «хозяев положения» в стране стало устранение от нового государственного строительства «тех классов, которые подготовили начало этой работы и могли бы послужить ей своими знаниями, своей опытностью». Арсеньев отмечал и «ненормаль-

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

ное распределение влияния» между «старыми и новыми революционерами». «Когда в критическую минуту неиспользованными и непризнанными остаются крупные силы, потерю несут не только непосредственно близкие к ним партии и группы, — потерю несет вся страна», — полагал Арсеньев, констатируя «оставление за штатом» тех, кто в значительной степени подготовил ее победу (Плеханов, Кропоткин, Брешко-Брешковская, Засулич и др.). «Несправедливость к отдельным лицам становится общей бедой: увеличивается опасность, затрудняется выход из тяжелого положения».

Весной 1918 года Арсеньев говорил о том, что последствия гражданской войны, вызванной октябрьским переворотом, обрисовались уже достаточно ясно. Наиболее важным из них (наряду с человеческими жертвами и материальным ущербом) он считал «накопление взаимного озлобления», когда «черствеют сердца, падает уважение к правам личности, уменьшается ценность человеческой жизни... все больше и больше стесняется свобода; не может быть равенства между победителями и побежденными; мечтам о братстве не остается места при господстве настроения, когда-то выраженного в формуле: *homo homini lupus*».

Откликаясь на зверское убийство Ф.Ф. Кокочкина и А.И. Шингарева, Арсеньев стремился хоть в какой-то мере повлиять на нарастание негативных процессов в общественном настроении. Он предлагал изъять из обращения термины «враги народа», «преступники против революции и народа», поскольку «слишком ясно, какое толкование эти термины могут получить в представлении малосознательного „человека с ружьем“». Судя по записям в дневнике, в буквальном смысле убийственное впечатление произвела на Арсеньева в марте 1918 года «весть о ратификации ужасного мира» («Очень худо чувствую себя, никакой охоты ни к чему. <...> Писал кое-что на случай смерти»).

Арсеньев был убежден, что бедствия гражданской войны не подлежат оправданию, даже если они обусловлены, согласно уверениям большевиков, стремлением к обеспечению блага народных масс. «Остается еще доказать, что иными средствами, помимо террора и гражданской войны, они достигнуты быть не могли и что достигнутое с помощью этих средств окажется неотъемлемым и безусловно прочным. Ни то, ни другое несомненным считать нельзя. Не был испытан путь мирных преобразований, не было дано Учредительному собранию приступить к исполнению его задачи; не принята в расчет возможность реакции, так часто, по свидетельству исторического опыта, следующей за торопливым разрушительным порывом. С этой точки зрения гражданская война, быть может, еще опаснее, чем террор. Принося обильные жертвы людьми, она расшатывает народное хозяйство и наносит трудно поправимый удар народному благосостоянию».

Показательно, что завершая записи в дневнике за 1918 год, Арсеньев (впервые за всю историю летописи своей жизни!) не нашел слов, чтобы выразить всю глубину переживаний и предчувствий в связи с «триумфаль-

ным шествием Советской власти» — итоги года так и остались не подведенными... К этому моменту и его собственная семья уже сполна ощутила на себе наступление «мучительного времени». Это — тягостная, в неведении, разлука с сыновьями, оказавшимися в конце концов в эмиграции, а также болезни и лишения, которые омрачали жизнь самого Арсеньева и остававшихся рядом с ним домочадцев (жены и дочери). В начале января 1918 года суровая необходимость («страшная дороговизна» и значительное сокращение семейного бюджета в связи с окончанием работы в Сенате и в качестве главного редактора «Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона») вынудила Арсеньевых сдать царскосельскую квартиру и переехать («в битком, до невозможности набитом вагоне», в сопровождении двух солдат, данных им в спутники квартирантимаателями) на постоянное место жительства «в деревню» (имение Покровское). О том, что ситуация была действительно отчаянная, говорит тот факт, что переселение состоялось несмотря на тревожное предчувствие («имение очевидно будет отобрано без вознаграждения»). Не остановила Арсеньевых и рискованность переезда в «Покровку» из-за разгула хулиганствующих элементов, одним из эпизодов которого стал «разгром» ворами деревенского дома Арсеньевых в декабре 1917 года.

Дневниковые записи периода Гражданской войны — еще одно свидетельство стойкости и верности Арсеньева собственным принципам, несмотря на слабеющие силы («доктор нашел, что увеличивающаяся моя слабость зависит от недостатка питания: необходимо мясо») и бытовые неурядицы («Керосина мало. <...> Очень тяжела необходимость проводить долгие часы в темноте <...>. Слишком много сплю, вследствие темноты. <...> Тоска...»). Последние земные заботы Константина Константиновича — это, прежде всего, поиск средств для содержания семьи. В этом немалую услугу оказала ему А.И. Ефрон, вдова издателя знаменитого Словаря, купившая у Арсеньева, хотя и по невысокой цене, акции издательского общества. Стимулом для занятий Арсеньева по составлению систематического каталога личной библиотеки (с июня 1918 года) стали его переговоры с Д.М. Пинесом о продаже собственного книжного собрания «Государственной библиотеке» (судя по всему, библиотеке Государственного Румянцевского музея). Договор о покупке книг спас Арсеньева от решительных действий представителей местной власти, явившихся вечером 19 февраля 1919 года к нему в дом с намерением опечатать библиотеку.

По-прежнему частыми гостями в доме Арсеньевых были священники. Их визиты и беседы с ними глава семьи отмечал в дневнике среди значимых событий своей жизни, наряду с посещением церковных служб и чтением ему супругой по вечерам духовной литературы. Поддержкой накануне ухода служило ему и творчество любимых поэтов («за последнее время многое выучил наизусть из Лермонтова и Некрасова»). Однако жизненные перипетии до последнего «не отпускали» его. Поразительно, но за две недели до смерти Арсеньев записал в дневнике, что вошел в состав

«Свобода печати, свобода совести и личная неприкосновенность: вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше...»

местного (Нежадовского) сельского совета «в качестве председателя» (!). Неоднократные посещения его представителями милиции и налоговой службы «с требованием уплаты 50% подоходного налога», взыскиваемого Царскосельским советом за 1917 год, побуждали Арсеньева, отстаивая свои права, вникать в «тонкости» большевистской юстиции: «читал „первый кодекс“ советских законов... книгу Стучки о новом суде». Однако «тяжба» с новыми властями, сопровождавшаяся «сильным пароксизмом грудной жабы» и общим резким ухудшением самочувствия, оказалась не под силу 82-летнему Арсеньеву.

Он умер во сне, в ночь на 22 марта 1919 года — либерал-государственник, обладатель редкого таланта служить «скрепой» общественных сил и, подобно компасу, указывать в любой ситуации путь к утверждению начал правды и справедливости.

Таким представляется главный жизненный урок Арсеньева. Об этом говорит и высокая оценка его трудов многими современниками. В качестве примера приведем отрывок из письма к Арсеньеву главного редактора «Русских ведомостей» В.М. Соболевского. Последний видел «главную беду нашего безысходно-смутного времени» и «корень нашего зла» в «главном историческом недуге русского общества: недостатке в людях, которые своей работой, своей энергией, своим знанием выводили Россию на более светлый путь». Задаваясь, по сути, риторически-провидческим вопросом: «Не придется ли еще и нашим детям оказаться не совсем подготовленными для серьезного, коренного переустройства?», соратник Арсеньева признавал, что «крепостные привычки и нравы насквозь пронизывают сверху донизу и по сие время русское общество». Обозначая долговременную перспективу «взросления» сограждан («нам нужно еще воспитываться, учиться»), Соболевский указывал на исключительную важность в этом деле «человеческого фактора»: «Нам нужны педагоги, учителя, светочи, освещающие путь. Их все еще мало, а таких, как Вы — и совсем нет...»

Арсеньев был похоронен в селе Нежадово (в настоящее время — Плюсский район Псковской области), на территории Воскресенско-Покровского монастыря, под стенами Покровского собора, разрушенного в конце 1950-х годов; могила не сохранилась.

«Предоставьте простор
личности... и страна
в короткое время
переродится...»

Александр Иванович Чупров (1842–1908), известный экономист и публицист, занимает особое место в истории отечественной науки и общественной мысли. Его личность, не поддающаяся однозначным трактовкам в рамках общепринятых «направлений», явилась своеобразным слепком русской жизни на очередном переломе истории, сфокусировав в себе болевые точки современности. Незаурядность этого ученого и гражданина отмечали многие из тех, кого сводила с ним судьба. «Талантливый живой человек из категории „мыслью честных, сердцем чистых либералов-идеалистов“, «энтузиаст западного прогресса», самоотверженный защитник курса Великих реформ Александра II, он был прежде всего «носителем и апостолом деятельной любви к ближнему».

«Я не видал в практическом, книжном отношении жизни более последовательной, чем жизнь А.И. Чупрова, более гармоничной в слове и деле», — вспоминал, выражая мнение многих, известный литератор А.В. Амфитеатров, племянник Александра Ивановича. Он же обращал внимание и на еще одну характерную черту Чупрова — «прогрессиста-постепеновца», «Грановского 80-х годов» (на юбилее 25-летия научно-литературной деятельности Чупрова в 1895 году ему даже поднесен был В.А. Гольцевым от имени редакции «Русской мысли» портрет Грановского): «Всегда мягкий, всегда ровный, всегда враг крайностей и эксцентричных выходов, он умел и не боялся являться умиротворителем даже в моменты самых бешеных кризисов... Особенно умел он влиять на молодежь... Много матерей молит Бога за Александра Ивановича, потому что много горячих голов спас он своим словом и ходатайством на краю неминуемой преждевременной гибели и, направив их своим ласковым, разумным влиянием в русло спокойного и рабочего прогресса, сохранил и целыми, и полезными как для самих себя, так и для русского общества... У московской интеллигенции, и в особенности у молодежи, за 70–90-е годы переменилось много любимцев... Но не было более верных симпатий, не было более постоянной дружественности между человеком и обществом». «Человек без частной жизни» (по словам А.В. Амфитеатрова, «весь он был — добрый общественный подвиг»), Чупров многое успел за отведенный ему судьбою век.

Сын священнослужителя, первоначальное образование Александр Иванович получил в Калужской духовной семинарии. Среди своих учителей той поры, вызвавших в нем «горячие порывы к знанию, к общественному благу» и развивших «зачатки того идеализма, которым были проникнуты сами», Чупров называл В.Н. Амфитеатрова (1836–1908). Известный впоследствии православный священник, протоиерей, почитаемый ныне в Москве как чудотворец, в 1859 году он был назначен в Калугу преподавателем истории и греческого языка. Духовное сближение, а затем и дружба учителя и ученика (сохранявшаяся на протяжении всей их жизни) были скреплены в 1860 году узами семейного родства: одна из сестер Чупрова, Елизавета, вышла замуж за Амфитеатрова.

Что касается Чупрова-семинариста, то, пожалуй, наиболее значимый объем усвоенных им знаний не вписывался в рамки официальной программы. Активно занимаясь самообразованием, он проявил глубокий интерес к изучению иностранных языков, приобщился к передовым течениям западноевропейской мысли, штудировав, в частности, труды Г.Т. Бокля, Дж.С. Милля, Т.Б. Маколея, О. Тьерри. Живой отклик у юноши находили идеи Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского. Он был завсегдатаем собраний кружка молодежи — поклонников этих «властителей дум».

Вполне закономерным и в духе времени стало «преображение» Чупрова в 1862 году из студента Петербургской духовной академии, куда он поступил в 1861-м по окончании семинарии, в первокурсника юридического факультета Московского университета. Уже в студенческие годы проявилась тяга Чупрова к просветительству: он был одним из организаторов «чтений для рабочих». Считая необходимым существовать самостоятельным трудом, Чупров зарабатывал на жизнь, участвуя в переводах на русский язык «Всемирной истории» Ф.-К. Шлоссера (т. 1–18, СПб., 1861–1869, под ред. Н.Г. Чернышевского), «Истории философии» К. Фишера (т. 1–4, СПб., 1862–1865, пер. Н. Страхова). Однако его главный интерес заключался в пополнении собственного научного багажа.

Среди блестящей профессуры той поры Чупров особенно выделялся знатока истории европейского парламентаризма, одного из основоположников конституционного права в России Б.Н. Чичерина, специалиста по римскому праву, ученика М.М. Сперанского, Н.И. Крылова, крупного историка русской литературы Н.С. Тихонравова. Откликом на потребности русской жизни, вступившей в полосу невиданных ранее перемен на пути к «свободе и свету», стал его интерес к экономическим дисциплинам. Своим первым руководителем и «проводником» на этой стезе Чупров называл профессора И.К. Бабста, известного уже тогда своей критикой крепостничества, работами о «современных нуждах нашего народного хозяйства». Именно по его рекомендации Чупров по окончании университета (1866) был оставлен на кафедре политэкономии и статистики для подготовки к профессорскому званию.

Это событие явилось, пожалуй, главным поворотом в судьбе Чупрова, навсегда определившим круг его основных интересов и единомыш-

ленников, личностное и профессиональное становление которых также прошло под знаком Великих реформ. «Всё, чем красна наша жизнь, идет оттуда, из 60-х годов», — каждый из них пронес это убеждение через всю жизнь.

Реформаторская модель, разработанная «командой» Александра II и сочетавшая в себе мощный демократический потенциал с либеральными установками, являлась для Чупрова и его соратников образцом государственной политики. Они высоко ценили сочетание гуманно-нравственного подхода и политического реализма во взглядах сподвижников Александра II, их стремление действовать крайне осмотрительно и осторожно, не допуская насилия над жизнью и резкого разрыва с исторической традицией, чреватого социальным хаосом. Настрой не на разрушение, а на созидание, не на разъединение, а на консолидацию общества — в этом они видели залог успеха мирного обновления Родины на путях прогресса.

Чтобы догнать Запад, России требуется «второе 19 февраля», но без повторения кровавого опыта европейских революций, — эта мысль звучала рефреном на страницах ведущих либеральных изданий пореформенного периода («Вестник Европы», «Русские ведомости» и др.), направление которых определяли Чупров и люди его склада, из плеяды так называемых семидесятников. Та же идея была путеводной звездой в их научных исследованиях, сверхзадачей которых была разработка адекватного вызовам времени и потребностям российского общества варианта социально ориентированных преобразований, чуждого крайностям радикально-социалистического и консервативно-охранительного течений общественной мысли. Подобный подход обусловил характерные черты этих деятелей, которые применительно к Чупрову современники определяли как универсальность («экономист в широком смысле слова») и «всеотзывчивость» (готовность воспринимать лучший опыт теории и практики независимо от «направлений», в чьих рамках этот опыт сформировался), дар «чутья действительности» и «научного предвидения».

Переосмысливая труды классиков разных научных школ, Чупров приходил к выводу о том, что в каждой из них «оказывается своя доля истины». По воспоминаниям одного из современников, «все, что было превеличенного и одностороннего в доктринах этих школ, было разгадано уравновешенным умом А.И. Чупрова... Ошибкам этих школ сразу было отведено подобающее место, но то большое, ценное, что в них заключалось, широко было использовано в воззрениях Александра Ивановича».

Так, он считал заслугой А. Смита и его последователей установление определенной закономерности хозяйственных явлений («Народное хозяйство не есть бессвязный материал, который может принять ту или другую форму под рукой искусного зодчего»). Однако, по его мнению, законы экономики вовсе «не стоят выше пространства и времени» и «не остаются неизменными при всякой перемене явлений». Кроме того, Чупров не разделял убежденность А. Смита в том, что «единственная цель

«Предоставьте простор личности... и страна в короткое время переродится...»

всего общежития» — исключительно «частная выгода индивидуума». История XIX века, отмечал русский ученый, опровергла веру основателя классической школы политической экономии и в то, что единственный путь к желанному общественному благоденствию лежит через освобождение производительных сил от государственной опеки: «...свободная конкуренция, давшая пышный расцвет некоторым сторонам хозяйства», в то же время привела «к порабощению целых общественных классов и к появлению в обществе еще больших бедствий, чем при прежней системе» (крайняя неравномерность в распределении имущества, появление пролетариата, периодические экономические кризисы, возникновение социального вопроса).

Идейный заряд Великих реформ 1860–1870-х годов, вдохновлявший Чупрова и его коллег, был созвучен интенсивному поиску путей общественного переустройства, происходившему в мире на протяжении XIX — начала XX веков. «На наших глазах повсюду идет процесс разрушения старых хозяйственных форм, оттесняемых наплывом новых идей и отношений... Отсюда крайняя шаткость всех отношений, тревожная сомнительность каждого человека», — замечал Чупров, констатируя обострение ситуации к концу XIX века, а вместе с тем и кризис общественных наук в связи с бурным техническим прогрессом, ускорением процесса мировой интеграции. Свободное владение иностранными языками позволяло русским ученым постоянно быть в курсе новейших достижений и проблем общественнознания. Аккумулируя в собственных исследованиях опыт зарубежных коллег, они нередко корректировали его, сообразуясь с отечественными реалиями, вносили свой вклад в копилку новаторских идей.

Пристальный и сочувственный интерес Чупров и деятели его круга проявляли к социалистическому учению, развитие и рост популярности которого стали приметой эпохи утверждения промышленного капитализма как в странах Запада, так и в России. Важным достижением социалистической мысли Чупров считал обоснование идеи кооперации: на протяжении всей жизни он занимался изучением теории и практики кооперативного движения в России и за рубежом. Этой теме он посвятил свою первую публикацию (Успехи кооперации в Италии и Германии // Отечественные записки. 1867. № 11). Явно проецируя иностранный опыт на Россию, Чупров обращал особое внимание на такие стимулы кооперативной деятельности, как энтузиазм лидеров, общественная солидарность («Единение богатых и ученых с народом на мысли о том, что кооперация должна составлять общую религию труда»), определенный уровень культуры участников общего дела. По словам ученого, итальянский опыт ясно показал, что «кооперация, как она ни благодетельна, не может служить во всех местах и во всякое время чудесным лекарством против страданий трудящихся», а потому «успех кооперации возможен только там, где население подготовлено к ней правильным образованием и здоровым нравственным и экономическим воспитанием». Применительно к России Чупров подчеркивал необходимость соблюдения принципа посте-

пенности и последовательности в развитии кооперации при поддержке государства. Сторонник коллективных форм организации хозяйственной деятельности, он был одним из учредителей Комитета о сельских ссудосберегательных и промышленных товариществах (1871), участвовал в составлении его программы (вместе с кн. А.И. Васильчиковым, А.В. Яковлевым, Н.П. Колюпановым, Е.В. де Роберти, Н.В. Верещагиным).

Разделяя убеждение в том, что прогресс человечества обеспечен на путях утверждения социалистических идей, Чупров и его соратники испытывали особое тяготение к немецкой исторической школе. К началу XX века именно она заняла господствующее положение в экономической теории, почти повсюду вытеснив представителей прежнего, «смитовского» направления. Особенно плодотворным было личное общение и творческое взаимодействие русских ученых с идеологами социально-этического учения в рамках указанной школы, получившего известность как катедер-социализм. Показателен в этом смысле и пример Чупрова. Летом 1872 года он был командирован университетом на два года за границу. Занимаясь в европейских научных центрах (Вена, Мюнхен, Лейпциг и др.), молодой исследователь слушал лекции известных экономистов и философов, среди которых — В.Г. Рошер, Г.Ф. Кнапп, К.Г.А. Книс, а также Л. фон Штейн, автор идеи социального государства, первопроходец в историческом изучении социализма и его научной критике. Обосновывая мысль о несбыточности упований своих современников-социалистов на скорое воплощение их теории в жизнь, Л. фон Штейн тем не менее признавал, что цель общественного развития, провозглашенная социализмом, «соответствует самым благородным идеалам человеческого сердца», а ее осуществление зависит от способности данной доктрины трансформироваться в религиозно-этическое учение, обогатившись религиозными (не в догматическом смысле этого слова) элементами и нравственными идеями.

Личное знакомство Чупрова с видными представителями катедер-социализма (собравшимися в 1872 году на свой первый съезд в г. Эйзенахе, а в 1873-м учредившими экономическое сообщество — Союз социальной политики) укрепляло его уверенность в необходимости нового понимания роли общественных наук — не только как средства постижения истины, но и как способа «изучения и изыскания средств для лучшего обеспечения народного благосостояния». Чупрова и его единомышленников особенно привлекала идея, определившая главную цель Союза: через научное исследование социально-хозяйственных вопросов искать пути их практического решения. Созвучным настроению русских прогрессистов было проповедование немецкими профессорами-экономистами социальных реформ как важнейшего средства обеспечения прав и свобод личности, способа примирения между высшими и низшими классами (их слияния «в гармонии и мире с организмом общества и государства») и в конечном итоге надежного механизма реализации политической стабильности и поступательного роста экономики.

«Предоставьте простор личности... и страна в короткое время переродится...»

Катедер-социалисты и их русские приверженцы считали важным условием успеха реформ широкую общественную самодеятельность, различные формы самопомощи трудящихся (рабочие союзы и т.д.). В то же время в их среде заметным было влияние сторонников так называемого государственного социализма, признававших в качестве главного средства к осуществлению лучшего общественного порядка «принудительную деятельность государства», его планомерное воздействие на ход развития общества. «Государственный социализм смотрит на государство не только как на учреждение для ограждения порядка, но как на великое орудие для достижения культурных целей, которые не могут быть осуществлены отдельными лицами», — заявлял Чупров с явным сочувствием к учению А. Шеффле, А. Вагнера и др. Он неизменно отводил значительное место государству как органу социальной политики, стоящему на страже интересов большинства населения.

Методологические принципы немецкой историко-реалистической школы (признание исторической обусловленности экономических явлений, их эволюции в зависимости от конкретного места и времени) легли в основу капитальных научных трудов и учебных курсов многих представителей русской профессуры. Одной из звезд первой величины среди них был Чупров. Творчески освоив опыт западных коллег, он не только расширил границы предмета политической экономии (исследовал проблемы истории денежного обращения, финансов, кредита, статистики), но и заложил основы истории этой науки. Характеризуя новаторство своего коллеги и соратника, И.И. Иванюков замечал спустя почти два десятилетия после выхода книги Чупрова «История политической экономии» (1892): «В Западной Европе история политической экономии до сих пор излагается как история идей, вне связи с их историей народного хозяйства. А.И. Чупров был первым, кто написал историю политической экономии в связи с историей экономического быта. Он вполне справедливо утверждал, что экономические идеи, теории, школы могут быть хорошо поняты лишь при одновременном ознакомлении с главными фактами из истории хозяйства». Иванюков обращал внимание на то, что «прекрасное сочинение» Чупрова послужило образцом для последующих работ русских историков-экономистов, а его многократно переиздававшиеся курсы лекций пользовались огромной популярностью.

«Примеряя» к России идеи катедер-социалистов, их русские последователи расставляли собственные акценты в программе грядущих преобразований у себя на родине, выдвигая на первый план необходимость политической реформы. Весной 1873 года в Гейдельберге (Германия) состоялся негласный «съезд» молодых русских ученых-экономистов. Несмотря на малочисленность этого мероприятия (Н.И. Зибер, И.Ф. Ковалев, А.С. Посников, В.М. Соболевский, А.И. Чупров), его участники задались целью обсудить главный вопрос русской жизни: «Что делать?» Убежденные в том, что «одним из основных условий движения России вперед и социального прогресса является переход от абсолютного режима к представитель-

ному строю», они определили главную цель — добиваться Конституции. По мнению известного публициста В.А. Розенберга, признание важности преобразования политического строя сближало участников «съезда» со «старыми либералами», подобными Б.Н. Чичерину. Но в отличие от последнего, Чупров и его сотоварищи органично сочетали конституционализм с демократизмом. Конституция была важна для них «прежде всего как средство для достижения широких демократических реформ в хозяйственном и общественном строе родной страны». Впоследствии Чупров и его союзники стремились донести эту идею до власти и общества, в первую очередь через прессу. Среди изданий, в которых они выступали как публицисты, особое место принадлежало старейшим либеральным органам — журналу «Вестник Европы» и газете «Русские ведомости». Последняя их усилиями была превращена в авторитетное умеренно-либеральное издание. Чупров сотрудничал в «Русских ведомостях» с 1867 года на протяжении почти 30 лет, являясь автором публикаций практически по всем насущным вопросам русской жизни. М.М. Ковалевский, отмечая, в частности, ценность его статей, посвященных экономике, обращал внимание на то, что они создали «как бы кинематографическое изображение нашей хозяйственной жизни и давали не только ее описание, но и содержали научную оценку в разные моменты ее развития».

В марте 1880 года члены редакторского круга «Русских ведомостей» А.И. Чупров, С.А. Муромцев и В.Ю. Скалон стали авторами «Записки о внутреннем состоянии России весной 1880 года», представленной тогда же председателю Верховной распорядительной комиссии по борьбе с революционным движением графу М.Т. Лорис-Меликову. В документе содержались требования гласности, раскрепощения «самодеятельности» общества, созыва центрального представительного учреждения (поскольку «вывести нашу страну из того заколдованного круга, в который она попала, не может ничто, кроме призыва в особое самостоятельное собрание представителей земства к участию в государственной жизни и деятельности, с прочным обеспечением прав личности на свободу мысли, слова и убеждения»).

Следует подчеркнуть, что если в начале 1870-х годов лозунг конституции еще не мог быть воспринят широкими кругами русской молодежи и, более того, был рискован, то со временем политико-социальная концепция, намеченная в главных чертах на гейдельбергском съезде, воплотилась в широком общественном движении. «Не будет преувеличением, если мы примем, что многие оппозиционные партии, действующие теперь на политической арене и значительно расходящиеся по своим тактическим и даже программным требованиям, должны считать своей колыбелью этот съезд кучки русских ученых в Гейдельберге», — замечал В.А. Розенберг в 1915 году. Он констатировал очевидный факт: знамя, поднятое Чупровым и его друзьями, «впоследствии собрало вокруг себя многие тысячи убежденных сторонников, усердных, самоотверженных работников на различных поприщах общественной деятельности».

«Предоставьте простор личности... и страна в короткое время переродится...»

По возвращении из зарубежной командировки Чупров с октября 1874 года неизменно трудился в родном университете: доцент (1875), ординарный профессор (1878–1899), заведующий кафедрой политической экономии и статистики. Во второй половине 1870-х годов он защитил диссертации: магистерскую («Железнодорожное хозяйство. Его экономические особенности и его отношение к интересам страны», 1875) и докторскую («Железнодорожное хозяйство; условия, определяющие движение и сборы по железным дорогам; валовой доход и его факторы, количество товарных грузов», 1878). Уже благодаря этим работам он закрепил за собой место основоположника отечественной экономики железнодорожного транспорта. Современники оценивали исследования ученого по железнодорожному хозяйству как выдающееся явление не только в русской, но и в западноевропейской литературе. Высоко отзывался о его трудах К. Маркс.

Важнейшими детерминантами развития человечества на рубеже XIX–XX веков Чупров считал науку и образование, рассматривая их как «единственную прочную основу блага и счастья народов». Эти же факторы определили и главное русло судьбы самого ученого. Один из основателей «московской школы» экономистов, отличавшейся особой активностью в 1880–1914 годах благодаря связям с земством и международным академическим сообществом, Чупров был удостоен звания члена-корреспондента Императорской академии наук (1887). Сочетая научные занятия с насыщенной публицистической деятельностью, он оставил богатое наследие: о нем «дают весьма внушительное представление три объемистых тома (каждый — почти в 40 печатных листов) его речей и статей, которые изданы после его смерти и которые заключают в себе далеко не все его речи, доклады, газетные и журнальные статьи. Почти столько же должны составить не вошедшие в упомянутое издание его специальные научные труды и университетские курсы лекций» (Н.А. Каблуков). Чупров-ученый оставил о себе благодарную память и как труженик на ниве просвещения. В 1869 году ему (наряду с Н.А. Умовым и Б.Б. Фишером) принадлежала инициатива организации в Москве Общества распространения технических знаний, он принимал непосредственное участие в создании Политехнического музея в Москве (1872). В марте 1894 года Чупров был избран председателем Комиссии по вопросу о всеобщем обучении, учрежденной при Комитете грамотности, одной из структур Московского общества сельского хозяйства. Он был известен и как талантливый организатор высшего образования, во многом определивший постановку в российских вузах преподавания экономических наук.

Кроме того, Чупров вошел в историю как один из видных воспитателей «московского конституционализма» (наряду с С.А. Муромцевым, М.М. Ковалевским, В.А. Гольцевым и др.). Спустя много лет, когда он уже был в эмиграции, близко знавшие его люди вспоминали: «В 1870–1880-х годах имена таких профессоров, как Н.С. Тихонравов, А.Н. Веселовский, В.О. Ключевский, С.А. Муромцев, В.А. Гольцев, И.И. Янжул, М.М. Кова-

левский и особенно А.И. Чупров, были популярнейшими в Москве. Каждого из них окружал нимб уважения к их научным заслугам и публицистическим талантам. Но нечто особенное чувствовалось в отношениях к Александру Ивановичу Чупрову. Он привлекал как крупный ученый, как писатель, владевший редким даром популярного изложения, как замечательный оратор — товарищи-профессора прозвали А.И. Чупрова Московским златоустом. К нему влекли и обаятельные черты его характера — чистота и душевная мягкость, — не мешавшие ему, однако, быть твердым в своих взглядах и, когда нужно, строгим в суждениях и решительным в действиях... Моральный авторитет А.И. Чупрова был исключительно громаден. Без преувеличения, со времен Грановского ни один из московских университетских деятелей не мог бы сравниться с ним по широте влияния не только на умы, но и на сердца слушателей, учеников, сотрудников, вообще людей, соприкасавшихся с ним». Один из лучших университетских лекторов, Чупров помнил и исполнял завет Грановского: «...рассматривать преподаваемый предмет как продукт и орган своего убеждения».

«Излучение света», исходившее от личности Чупрова, испытали на себе члены кружков московской либеральной интеллигенции, а также многочисленных научных, просветительских и благотворительных организаций, деятельным участником которых он был.

Еще в 1868 году избранный гласным мосальского уездного земского собрания, Чупров и впоследствии всегда проявлял глубокое деятельное сочувствие идее развития местного самоуправления. Несмотря на занятость, он всегда находил время для встреч с земскими работниками, обращавшимися к нему за консультациями по вопросам экономики, народного образования и т.д. Чупров — один из организаторов статистической службы в России — был убежден в том, что любым реформам должно предшествовать научное «прояснение» вопроса о реальном положении дел. В сотрудничестве с В.И. Орловым, Н.А. Каблуковым, А.Ф. Фортунатовым, А.Н. Исаевым, Н. Карышевым и др. он «поставил на ноги» и земскую статистику. В январе 1882 года Чупров (вместе с И.И. Янжулом и А.С. Посниковым) руководил переписью населения в Москве. Именно тогда впервые было «статистически установлено, что громадное большинство жителей Москвы — пришлое», а «уроженцы ее составляют в ее населении какой-то незначительный процент». Исследование подтвердило вывод о том, что «Россия питает Москву живую человеческой силой... и культурными силами, которые издавна притекают в старую нашу столицу отовсюду...».

В 1882–1899 годах Чупров занимал пост председателя статистического отделения Московского юридического общества, игравшего роль общественного центра статистической работы в стране; при нем трижды устраивались совещания земских статистиков (1887, 1889 и 1898). Под руководством Чупрова подводились итоги земским статистическим исследованиям («Итоги экономического исследования России». Вып. 1. М., 1892; Вып. 2. Дерпт, 1892, и др.). По воспоминаниям современников,

«Представьте простор личности... и страна в короткое время переродится...»

именно Чупров «являлся истинным дирижером земской статистики этого времени», а «статистическое отделение, заседания которого в здании старого университета неизменно проходили при полных сборах сторонней публики, являлось истинным центром для крупного общерусского движения, направленного к познанию родины».

Автор ряда работ по теории и практике статистики, Чупров считал своим долгом передать свой опыт молодежи и подготовил специальный учебник «Курс статистики» (1886). Его заслуги на данном поприще были признаны международным научным сообществом: он являлся членом Лондонских королевских экономического и статистического обществ, был избран действительным членом Международного статистического института (1885), участвовал в его заседаниях в Лондоне, Берлине, Петербурге. В современных исследованиях имя Чупрова упоминается в ряду основателей экономико-математической школы в России (наряду с В.К. Дмитриевым, Е.Е. Слуцким, Ю.Г. Жуковским и др.).

В 1907 году, возмущенный многочисленными гонениями на земскую статистику со стороны Министерства внутренних дел (репрессии против специалистов, запрет земствам проводить местные переписи, ограничения в публикации данных текущей статистики и т.д.), Чупров замечал: «Если бы, преследуя земские начинания по части статистики, правительство само заменило их чем-либо лучшим или равным по ценности, то с такой переменной еще можно было бы кое-как примириться; но ничего подобного не произошло. Правительственное статистическое дело остается у нас доселе почти в том же состоянии, в каком оно находилось пятьдесят лет тому назад, перед Крестьянской реформой... Необъятная империя ассигнует на свое центральное статистическое учреждение не больше, нежели некоторые второстепенные немецкие государства».

В отношениях с властью Чупров не ограничивался критикой деятельности «верхов». Не раз он откликнулся на предложения выступить в качестве эксперта по вопросам общегосударственного значения. Так, в самом начале своей научной карьеры он участвовал в трудах Особой высшей комиссии по исследованию железнодорожного дела в России (1876–1881; председатель — гр. Э.Т. Баранов), разработавшей «Общий устав российских железных дорог». В 1888 году Чупров вошел в состав Комиссии (под руководством министра внутренних дел В.К. Плеве) по исследованию причин падения цен на сельскохозяйственные продукты.

В 1896 году Чупров председательствовал на совещаниях, созванных при Министерстве финансов с целью выяснить ситуацию в российской экономике в связи с понижением мировых цен на зерно. Дело в том, что лейтмотивом обращений крупных землевладельцев в правительство тогда было настойчивое требование государственной поддержки их хозяйств. «Продавливая» свои интересы, они тем не менее старались представить дело так, что якобы все сельское хозяйство переживает кризис в связи с низкими ценами на хлеб и что это всенародное бедствие. С.Ю. Витте поручил Чупрову и А.С. Посникову организовать научное исследование

и дать обоснованный, правдивый и точный ответ на вопрос, какое же все-таки влияние на различные слои населения и на различные стороны русской экономики оказывают изменения в уровне урожая и цен на хлеб.

Итогом проделанной работы стал солидный по объему двухтомник («Влияние урожая и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства»), вышедший под редакцией двух авторитетных ученых в 1897 году и включавший статьи ряда либеральных и народнических экономистов (Чупров был автором раздела «Влияние хлебных цен и урожая на движение земельной собственности»). «Мало нашлось бы в русской литературе книг, — отмечал Посников, — появление которых сопровождалось такой бурей в прессе, поднявшейся чуть ли не на следующий день после ее выхода из типографии». Причем это был вовсе не огонь критики, а исключительно поток раздражения и неприкрытой злобы. «Главное положение... книги заключается в том, что современный сельскохозяйственный кризис, выражающийся в крайнем понижении хлебных цен, затрагивает интересы не большинства, а меньшинства русских земледельческих хозяйств, — разъясняли ситуацию редакторы. — Наши критики не могут переварить этого положения, не могут примириться с тою мыслью, что в стране, которая издавна считалась и до сих пор именуется житницей Европы, для большинства хозяйств или безразличны, или даже выгодны низкие цены хлеба. Это господствующий мотив, который дает основной тон всей критике. Наше утверждение объявляется какой-то ересью, вопиющим нарушением не только общепризнанных аксиом науки, но даже простого здравого смысла». Наряду с мифом о «России — житнице Европы» («Никакого обилия хлеба в России нет, отсюда давно уже вывозится за границу то, в чем сами нуждаемся, а крестьяне сплошь и рядом набивают свои желудки разными суррогатами хлеба») авторы двухтомника опровергли еще одно распространенное заблуждение: о том, что с обесценением главного производимого в стране продукта обесценивается и труд, а значит, большинству крестьян в России якобы выгодны высокие цены на хлеб. В этой связи Чупров и Посников заявляли: данное правило справедливо для Западной Европы, а в «нашей земледельческой стране, еще только совершающей переход к системе денежного хозяйства, эта формула практически не осуществляется: с обесценением хлеба труд у нас дорожает».

Результаты исследования позволили сорвать маску с влиятельного землевладельческого лобби, представители которого утверждали: поскольку зерно в России — основной экспортный товар, значит, государству выгодно, чтобы цены на него были высокими, а следовательно, верховная власть должна в первую очередь защищать интересы крупных помещиков — основных поставщиков товарного хлеба. Чупров и другие создатели книги, напротив, были убеждены, что нельзя даже сопоставлять эти величины: с одной стороны, выгоды крупного хозяйства, которое продает сотни тысяч пудов зерна и выигрывает при поднятии цен на хлеб десятки тысяч рублей, а с другой — потери нескольких тысяч хозяйств,

«Предоставьте простор личности... и страна в короткое время переродится...»

покупающих хлеб пудами и потому испытывающих немалые трудности при его вздорожании. Сопоставлять эти величины, по мнению редакторов, значило бы «забывать человека из-за товара»; они были убеждены в том, что «драгоценнейшие блага» — это прежде всего «силы и здоровье народа», и государственный интерес должен всегда состоять в поддержке нужд большинства населения.

Авторитет Чупрова был высок не только среди высшего чиновничества, но и в предпринимательских кругах. Он входил в московское отделение Совета торговли и мануфактур, был одним из активных участников торгово-промышленных съездов.

В 1899 году Чупров вынужден был покинуть Россию по состоянию здоровья (тяжелая форма стенокардии) и уехать для лечения за границу. До конца своих дней он жил в Италии, Франции, Швейцарии, но в основном в Германии (Дрездене и Мюнхене). Международный авторитет Чупрова, интерес к очередным результатам его исследований делали ученого желанным гостем и участником дискуссий на различных научных форумах. Однако в этот период вынужденной «эмиграции» он не отдалился от российских проблем, по-прежнему сообразуя темы своих научных изысканий с потребностями родины, поддерживая постоянные контакты с соотечественниками, выступая на страницах отечественной прессы, прежде всего в «Русских ведомостях».

В пору зарождения и стремительного развития многопартийности на родине Чупров, оставаясь беспартийным, сочувствовал Конституционно-демократической партии, в рядах которой было немало его учеников (кадетом был и его сын Александр). В то же время узы идейного родства и крепкой дружбы по-прежнему связывали Чупрова с давними верными соратниками, которые всегда «жили с ним общим образом мыслей, одинаковыми надеждами и идеалами». По словам А.В. Амфитеатрова, «с особенною нежностью любил он М.М. Ковалевского». Столь же близкими ему оставались А.С. Посников, И.И. Иванюков. Убежденные конституционалисты, все они тем не менее, не пожелав надевать на себя «кадетское ярмо», предпочли создать собственную Партию демократических реформ (ПДР), ставшую первым опытом партийной организации либералов-центристов, своего рода предтечей Партии мирного обновления, а впоследствии — Партии прогрессистов.

Чупров и его ближайшие единомышленники из ПДР были сторонниками равновесного сотрудничества интересов (личного и общественного) и в своих научных трудах фактически предприняли попытку построения новой экономической модели, отличной как от социалистической, так и от либеральной. Они стремились обосновать своего рода «третий путь», основанный на принципах свободы и справедливости, русло которого было намечено Великими реформами Александра II, — иначе говоря, создать российский вариант «социального рыночного хозяйства». Эта модель предусматривала сосуществование на равных правах хозяйственных форм, вырастающих из народного быта (община, крестьянские артели),

различных видов кооперации, образцовых помещичьих хозяйств, широкое развитие частной предпринимательской инициативы, значительный государственный сектор.

В 1901 году Чупров с готовностью откликнулся на предложение А.С. Посникова принять участие в разработке программы его «детиса» — экономического отделения Петербургского политехнического института, первого опыта подобного рода в российских вузах. В последующие годы Александр Иванович состоял в переписке с преподавателями и студентами этого учебного заведения, многие из которых посещали его за границей. Чупров горячо поддержал идею М.М. Ковалевского об организации Русской высшей школы общественных наук в Париже (1901–1906) и стал его помощником в этом деле, а осенью 1904 года читал там лекции по сельскохозяйственному кредиту и организации народных банков в Италии и Германии. Он не только искренне радовался известиям о распространении народных университетов в России, но и сам активно участвовал в этом процессе в качестве ближайшего советчика А.Л. Шанявского, основателя Народного университета в Москве (1908).

Оказавшись за пределами Родины, Чупров продолжил свои занятия аграрно-крестьянским вопросом, который с начала 1890-х годов, в силу особой остроты, вышел на передний план в его исследовательских интересах. В поисках оптимального решения проблемы ученый, как всегда, считал полезным использовать зарубежный опыт. С этой целью Чупров в 1900–1908 годах неоднократно посещал Италию, где изучал организацию сельского кредита, деятельность сельскохозяйственных ассоциаций, приемы распространения в народе сельскохозяйственных знаний. Чупров был первым, кто познакомил русского читателя с уникальным порождением творческой мысли и энтузиазма итальянских ученых, нашедшим поддержку со стороны местной общественности («Сберегательные кассы, народные банки, аграрные комитеты, сельскохозяйственные общества, земледельческие синдикаты, сельские и городские общества, торговые палаты и пр.») и вызвавшим широкий отклик в массах сельских труженников. Это так называемые странствующие кафедры земледелия, главной целью которых было сделать доступными и понятными для народа достижения науки, «расшевелить косную массу населения при помощи горячего и убежденного слова», «придумывать пути к улучшению местного хозяйства». «Странствующие учителя», по словам Чупрова, — «истинные подвижники», «святые люди, которые всех себя целиком отдали на служение народу. Это нечто вроде наших земских агрономов, но только с гораздо более широкой и более активной ролью». Побывавшая весной 1907 года в Северной Италии («под влиянием брошюр А.И. Чупрова») соотечественница ученого впоследствии признавала, что увиденное «в этой стране вчерашней нищеты и сегодняшнего расцвета» превзошло все ее ожидания.

Чупров был также одним из первых в России, кто обратил серьезное внимание на роль обществ взаимопомощи как формы самоорганиза-

«Предоставьте простор личности... и страна в короткое время переродится...»

ции трудящихся в Западной Европе в целях обеспечения их насущных материальных интересов и культурно-образовательных запросов. Он исследовал данный вопрос на примере Италии, руководствуясь личными впечатлениями и официальными изданиями министерства земледелия, промышленности и торговли этой страны. В специальном очерке он охарактеризовал главные черты организации и деятельности итальянских *Società di mutuo soccorso* (своего рода «начальной школы кооперации»). Чупров видел в этом опыте урок для России: быстрое и широкое развитие обществ взаимопомощи в Италии в значительной степени объяснялось свободой их деятельности, гарантированной законодательством.

Зарубежные впечатления в очередной раз укрепляли Чупрова в мысли о великой миссии образования, науки и культуры, в том числе в развитии хозяйственной жизни. Так, попав в Германию после 17-летнего перерыва, он свидетельствовал: «Прогресс удивительный и не показной только, а вошедший в быт, так сказать, переваренный народом», а подтверждение этому — «замечательное, до роскоши доходящее изобилие средств к образованию... Германия не умом только, а сердцем поняла, что все ее богатство основано на знании, и не щадит ничего для накопления и распространения этого знания...».

По словам М.М. Ковалевского, желая «поставить на вид увенчавшиеся успехом опыты Запада всем ревнителям поднятия хозяйственного уровня русского крестьянства», в своих публикациях начала 1900-х годов Чупров проводил мысль о том, что «с 1870-х годов в Европе установилась та форма сельского хозяйства, которую можно охарактеризовать словами „производство растительного и животного вещества с наименьшей затратой труда и капитала, но с приложением наибольшей суммы знаний“. Европейские хозяйства, по сравнению с нашими, обладают огромным капиталом — запасом знаний. И не формами землепользования добываются эти знания; они получают иным путем — густою сетью научно-опытных учреждений, а у нас таковые только в зародыше».

Чупров приводил убедительные аргументы, ставившие под сомнение официальный тезис о «чудодейственной» силе хуторов и отрубов. «Г-н Столыпин и его сподвижники уверяют, — писал он, — что „существовавшее доселе землеустройство привело крестьянское население к нищете, к упадку хозяйства и к ежегодному кормлению земледельцев на государственный счет“, и, очевидно, надеются разрушением общины и переводом крестьян на отрубные участки положить конец этим бедственным явлениям народной жизни. Нетрудно, однако, убедиться, что подобная надежда построена на песке... Прежде всего нельзя не отметить, что округленные владения, которыми министерство в интересах борьбы с аграрным кризисом стремится заменить общинную и подворную чересполосицу, отнюдь не обладают магической силой превращать землю из бесплодной в производительную и хозяйство из убыточного в выгодное. Посмотрим на наших дворян-помещиков. Уж у них ли не отрубные участки! Большинство их не страдает ни от чересполосицы, ни от принудительного севооборота;

они вольны завести какую угодно хозяйственную систему, пользуются широким кредитом и всякими льготами и пособиями со стороны правительства. И что же, однако? Достигли ли они хозяйственного процветания? Статистика показывает, что их урожаи всего, в среднем, на какие-нибудь 15% превышают крестьянские; скота у них в 4–5 раз меньше, чем у крестьян; земля уходит у них из рук к тем же мужикам, на низкий уровень хозяйства которых несутся отовсюду жалобы. С другой стороны, тысячи общеизвестных фактов показывают, что менее совершенные формы землепользования отнюдь не служат препятствием к поднятию хозяйства на высокую степень совершенства, когда это вызывается и поощряется экономическими и культурными условиями», — отмечал Чупров. При этом он ссылаясь на «примеры поразительной чересполосицы и мелкополосицы, господствующих на западе и юге Германии»: «Бавария, Баден или Гессен стоят в этом отношении ниже самых отсталых из наших сельских общин, и между тем сельское хозяйство достигло там гораздо большего процветания, нежели, например, в прусских провинциях к востоку от Эльбы, в которых особенно усердствовало прусское чиновничество над водворением отрубных участков».

«Главным источником нервного расстройства» для Чупрова до его последних дней служили «наши русские дела». В начале 1908 года он писал А.Ф. Кони: «Особенно удручает меня мысль о голоде. Шутка сказать, третий год четверть России собирает меньше десятка пудов на десятину. У нас, конечно, все валят на стихии; но отчего же в том же Самарском уезде, где мужики собрали по 3 пуда с десятины, местный агроном Жуков на опытном поле в оба года получал больше 100 пудов с десятины? Ясно, что приемы хозяйства изжили свой век и должны быть заменены новыми. Такие приемы уже выработаны и проверены; нужно только распространить их. А кто же будет распространять, когда агрономов отовсюду гонят в шею частью администрация, частью же черносотенные элементы в земствах. Наряду с организацией продовольственной помощи следовало бы подумать об организации распространения общих и сельскохозяйственных знаний в голодном крае».

Чупров подчеркивал неэффективность «единоспасающих лозунгов», подобных столыпинскому призыву «Долой общину, и да здравствуют сильные дворы!». По мнению ученого, государственная политика по подъему благосостояния народных масс должна опираться на целый комплекс мероприятий. Наряду с обеспечением «широкого прилива в народную среду знаний и капитала» и организацией агрономической помощи населению он считал важнейшим условием решения проблем русской деревни ликвидацию крестьянского малоземелья. В этом смысле его наибольшим сочувствием пользовались аграрные проекты Конституционно-демократической партии и Партии демократических реформ, направленные к «плановому распределению государственного земельного запаса между малоземельными дворами». В случае реализации этого плана, полагал Чупров, «при некоторой заботливости образованных классов о рас-

«Предоставьте простор личности... и страна в короткое время переродится...»

пространении сельскохозяйственных знаний, можно было бы ожидать широкого и быстрого расцвета крестьянского трудоинтенсивного хозяйства». По поводу же «аграрных мероприятий министерства» Столыпина в одной из своих последних статей ученый приходил к выводу, что они, напротив, «загораживают дорогу наиболее доступному в настоящее время для крестьян роду земледельческих улучшений и чрез то даже в будущем лишают новые слои безземельных надежды на приложение их сил в крестьянских хозяйствах».

Подчеркивая специфичность российской экономики, связанную с иными, чем на Западе, почвенно-климатическими условиями и характеристиками общественной среды, Чупров отстаивал тезис об устойчивости мелкого крестьянского хозяйства. Осознавая недостатки поземельной общины, он был категорически против радикального и поспешного разрушения этой традиционной хозяйственной формы, которая к тому же на рубеже XIX–XX веков демонстрировала восприимчивость к новой агрономической технологии, представляла собой благоприятную основу для кооперации. Необходимость внимательного и бережного отношения к общине ученый обосновывал также ее важной социальной функцией — предохранением крестьянства от обнищания.

Сторонник умеренных реформ, Чупров считал столыпинскую аграрную политику прологом социальной революции: характеризовал указ от 9 ноября 1906 года как «скороспелый продукт бюрократического творчества», «резкий вызов русскому народу», разрушающий «вековой порядок сельскохозяйственных отношений» и ведущий к «полному хаосу и безнадежной анархии». «Нашего крестьянина целые века водили на помочах сначала помещики, потом мировые посредники и наконец земские начальники; его опекали на каждом шагу и держали в духовной слепоте. И вдруг этого полуслепого человека, с отуманенными еще глазами, бросают в омут современной меновой жизни. Без знаний, без образования, часто без простой грамоты, без капитала, без элементарнейших зачатков правильного кредита, с навыками, воспитанными многовековым патриархальным бытом и укрепленными новейшей опекой, наш крестьянин ставится лицом к лицу с современным рынком с его бесчисленными, непонятными деревенскому человеку изворотами. Нетрудно предвидеть, каковы будут последствия. Их предсказывает нам английская история и более близкие к нашему времени метаморфозы немецкого крестьянства. В Англии под влиянием раздела общинных земель мелкие собственники и арендаторы быстро превратились в безземельных пролетариев; в Германии после водворения личной собственности на развалинах общины мелкое крестьянство частью лишилось своих земель, перешедших в руки помещиков, купцов и зажиточных мужиков, частью же попало в кабалу к движимому капиталу, обременив свои земли неоплатными долгами. То же будет и у нас, и даже еще скорее, чем в Англии и Германии, потому что нынешнее положение нашего малоземельного крестьянина несравненно хуже, чем было положение сельских жителей в Англии или Германии

в эпоху разрушения общинного строя. Желая приравнять русское крестьянство к западноевропейскому в смысле норм земельного права, наши законодатели забывают колоссальное различие, существующее между Россиею и Западной Европой в характере земледелия».

Еще в 1904 году Чупров выступил с прогнозом развития ситуации в России: «Десять лет свободы и разумной работы без помех сделают Россию просвещенной, богатой и довольной; еще десять лет исключительных законов — и наш народ превратится в толпу полуголодных нищих». «Дайте людям подъем духа, — призывал Чупров, — влейте в сердца их бодрость, вызовите уверенность в завтрашнем дне, и вы увидите, что они сделают чудеса. Предоставьте простор личности, снимите путы, сковывающие у нас мысль и совесть, закрепите законами невозможность возврата к господству произвола, и страна в короткое время переродится, подобно тому, как под лучами весеннего солнца в несколько дней покрывается зеленью обледенелая земля. Немедленно исчезнет как дым „смута“, питаемая угнетением. Рассадники образования без всяких понудительных мер сделаются аренной усердного труда, отовсюду явятся скрытые силы, доселе томившиеся в бездействии, и разнесут по всем углам страны общую грамотность и специальные знания, поднимут доход земледельца, создадут базис для прочного процветания мануфактур и торговли. Производительный труд нашего даровитого и переимчивого народа в короткое время восстановит потери, которые накликала политика произвола, всем жертвовавшая для мнимой безопасности, но не сумевшая оградить ее ни вне, ни внутри страны». По словам В.А. Розенберга, это было своего рода «политическое завещание» Чупрова, считавшего свободу «единственным средством против упадка сил в лучшей части общества, против этого ужасного зла, которое может грозить гибелью самому нашему национальному существованию».

По мнению А.С. Посникова, критические статьи Чупрова, посвященные столыпинской аграрной реформе, принадлежали «к лучшему из всего того, что было написано на эту тему». На страницах «Русских ведомостей» Чупров характеризовался как «народник», но при этом подчеркивалось, что «его народничество не носило характера идеализации деревенского быта, крестьянского хозяйства и самого крестьянина»: «Он скорее может быть назван... народником-западником. Проще говоря, он подходил к русской жизни очень трезво, во всеоружии западноевропейского образования, с острым ножом анализа, но в то же время и с глубокой любовью к крестьянскому хозяйству, с мучительной болью за нелепые условия быта русского крестьянина».

По словам одного из учеников Чупрова, агронома и статистика А.Ф. Фортунатова, «общее впечатление от личности А.И. Чупрова характеризуется, прежде всего, словом гармония»: поразительная гармоничность ума и знания с силой любви; слияние социального и личного; слияние с народом в области мысли; слияние чувства и дела; слияние жизни и науки в одно целое; счастливое сочетание ума и нравственных сил».

«Предоставьте простор личности... и страна в короткое время переродится...»

«Бескорыстный сеятель и деятель», «безупречный, кристально-чистый человек», Чупров представлял собой еще и «оптимиста в лучшем смысле слова». В декабре 1906 года он делился размышлениями в письме к А.Ф. Кони: «Сколько еще придется пережить, прежде нежели наше Отечество дождется свободы и хоть сколько-нибудь сносного существования! Кажется, нигде еще трагедия всемирной истории не была так печальна, как у нас. И все-таки, думается мне, каждому, кто за завтрашним днем умеет видеть послезавтрашний, не следует терять голову: среди великих мук, лучшие времена в конце концов наступят...»

«Старые уходят, новых не видно», — как бы в упрек современным деятелям отозвался С.Ю. Витте на смерть Александра Ивановича Чупрова. Он умер 8 марта (н.ст.) 1908 года в Мюнхене, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

ИВАН
ИВАНОВИЧ
ИВАНЮКОВ

«Определить условия,
при которых достигается
наибольшая свобода,
благосостояние
и всестороннее развитие
человека...»

Иван Иванович Иванюков (1844–1912), экономист, историк, публицист, принадлежал к славному поколению русской интеллигенции 1870-х годов, хранителей заветов Великих реформ Александра II. По окончании 1 Кадетского корпуса в Петербурге перед молодым дворянином открывалась перспектива блестящей военной карьеры (Иванюков начал службу в одном из конных гвардейских полков, успев получить знак отличия за храбрость), но под влиянием просветительных идей «великой освободительной эпохи» он пренебрег сословной традицией и пошел по жизни своим путем. После добровольной отставки из армии в начале 1860-х годов Иванюков поступил вольнослушателем на естественный факультет Петербургского университета, посещал лекции на историко-филологическом факультете, а закончил «курс наук» с дипломом юриста (1867).

Эпоха бурных перемен в России рождала тягу к познанию новых путей общественного развития, стремление своими глазами увидеть жизнь других народов, осмыслить их опыт. В 1868 году 24-летний Иванюков пересек океан и около года прожил в США. Свои впечатления от Америки спустя месяц после приезда он изложил в письме, вскоре напечатанном в «Отечественных записках» (1868. № 8). В этом первом публицистическом опыте Иванюкова — калейдоскоп зарисовок из американской жизни, поразившей его множеством контрастов с русской действительностью: от кулинарных пристрастий и быта американцев до политического устройства их государства и традиций общественной жизни.

«Сладкий пирог из ягод — это национальное блюдо Америки. Вы его встретите везде... В 10 часов утра я был представлен одному семейству... Предполагая, что я проголодался... мне подали закусить стакан вина и — сладкий пирог!» В Кембридже — «улицы, усердно поливаемые водою и усаженные по бокам деревьями», а также поразившее его своим видом местное кладбище — «одно из лучших мест прогулки»: «Всюду мраморные памятники, в довольно значительном один от другого расстоянии, и пото- му имеющие вид не могильных памятников, а украшений сада. Волнистая

местность, усыпанные песком дорожки, скошенная ровно трава, ручейки, пруды, плавающие лебеди, цветы. Среди кладбища — башня в готическом вкусе, взойдя на которую вам представится очаровательный вид Бостона с окрестностями».

Размышляя над обстоятельствами, превратившими США в «сильное, богатое, передовое государство», Иванюков отмечал факт заселения Америки «инициативными силами» из Европы. Вместе с тем, наблюдая празднование Дня независимости, он обращал внимание на одну из заключительных «картин» фейерверка — символ основ процветания страны: «Посреди стоит Вашингтон, по бокам — фигуры женщин, из которых одна держит меч и весы; над головою надпись: Правосудие, в ногах — Безопасность; над головой другой женской фигуры надпись: Свобода, а в ногах — Единство». Одно из ярких впечатлений русского путешественника от праздника — восхищение именно «единством в многообразии» американской культуры: «Утренний концерт начался национальной арией „Starspangled Banner“, которая сопровождалась маханием шапками, платками и криками энтузиазма. Между прочим, в состав играемых пьес входили: русский гимн „Боже, царя храни“, национальная французская ария „Partant pour la Syrie“, английская национальная ария „God save the Queen“. Попурри состояло из немецкой арии „Vaterland, Marseillaise“». «Замечу, между прочим, — не без удивления констатировал Иванюков, — что американцы проводят праздник очень скромно. Пробыв целый день в саду и на улице, мне не пришлось встретить ссор, драки или лиц, действующих не по собственному желанию, а по желанию спиртного напитка...»

Особый интерес начинающего политэконома — к «трудовой», прежде всего земледельческой Америке, к организации там сельского хозяйства. «Что такое американская деревня?» Отвечая на этот вопрос, он упоминал «прямые и чистые улицы... по обеим сторонам тротуары и деревья»: «Красные домики, как наши лучшие каменноостровские дачи, перед домиком — несколько деревьев, цветы, иногда фонтан. Сзади — поля, огороды. Вот на поле работает, в простом платье, хозяин этого изящного домика; он не богат, и земли у него немного — столько, сколько он может сам обработать (есть и такие, которые держат работников). Кроме сельского хозяйства, он занимается и производством обрабатывающим...»

«Например, деревня Holstin обрабатывает кожу и сбывает ее на фабрику, — подмечал Иванюков черты сходства американских фермеров с русскими крестьянами-кустарями, занимавшимися промыслами как дополнением к своему основному труду. — Кончит земледелец работу, наденет хорошее платье, и по платью не отличить богатого от человека, имеющего немного. В деревне несколько церквей, банк, почтовая контора, большое зало, где собираются граждане для выбора представителей, школа... Несколько таких деревень, с окружающими их фермами, составляют town, общину (что неправильно переводят город), самостоятельную политическую единицу, которая является полным хозяином в своем деле, не испрашивая ни у кого разрешения и утверждения».

«Никакая власть в Соединенных Штатах, ни власть штата, ни власть союзного правительства не может вмешиваться в распоряжения town, если они не превышают сферу его власти, а сфера его власти очень велика, — обращал особое внимание Иванюков на роль местного самоуправления. — Ходишь по этой счастливой village и силишься уверить себя, что это не сон, что это не резиденция богатых людей, приезжающих сюда отдохнуть от шумной городской жизни, а это жилище работника-земледельца... Это не дачи, а деревня, „деревня“, повторяешь себе».

Чувствуя невольную зависть, Иванюков как бы мысленно беседует с американским сельским тружеником: «Да отчего же это так? Что вы, люди другие? Из другого тела сотворены?» И сам за него отвечает: «Нет, люди мы те же, и не больно много мы учены, да жить-то нам никто не мешает, как думаем, лучше будет, так и делаем». «Дело выходит простое, — делает Иванюков ключевой вывод, — каждый сумеет устроиться, только не мешай ему, да дай с чего устроиться». При этом русский ученый, неизменно соотнося американские «картины» с русскими крестьянскими хозяйствами и размышляя об их будущем, с удовлетворением констатировал: несмотря на промышленные успехи США, мелкое крестьянское хозяйство там устойчиво, среди граждан преобладают «поселяне-собственники», да и фабричные работники и «рудокопы» сохраняют крепкую связь с землей.

Не довольствуясь взглядом «со стороны», Иванюков на практике изучал организацию североамериканского сельского хозяйства, устроившись рабочим («чуть не батраком», по воспоминаниям одного из современников) на ферму в штате Нью-Йорк. Специальный интерес он проявил к изучению быта социалистических общин, основанных на североамериканском континенте последователями Шарля Фурье.

По воспоминаниям М.М. Ковалевского, одного из ближайших друзей Иванюкова еще с 1880-х годов (в 1885-м, в компании с С.И. Танеевым, они совершили этнографическую поездку по Кавказу), пребывание в Америке имело для молодого исследователя серьезное значение: «Он прекрасно усвоил английский язык и познакомился, путем личных наблюдений, с хозяйственным бытом быстро прогрессирующей демократии, что позволило ему впоследствии установить новый угол зрения на условия нашей сельской и фабрично-заводской промышленности».

Вскоре по возвращении в Россию недавний выпускник университета заявил о себе как сложившийся ученый с широким взглядом на предмет и задачи политической экономии. Об этом свидетельствовала защищенная им в «альма-матер» магистерская диссертация «Экономическая теория Генри Маклеода» (СПб., 1870). Иванюков критически оценил взгляды своего зарубежного коллеги, признанного в ту пору на Западе одним из самых выдающихся представителей экономической науки. Он выступил категорически против «сведения всех задач политической экономии к одной теории обмена», полагая, в отличие от Маклеода, что предметом «науки о народном хозяйстве» должны быть «и производство, и обмен,

«Определить условия, при которых достигается наибольшая свобода, благосостояние и всестороннее развитие человека...»

и распределение, и потребление». Этот вывод ученого, основанный на его собственных научных наблюдениях, находился в русле напряженных поисков экономической теории, более адекватной современности, чем популярные тогда в Западной Европе. М.М. Ковалевский, в частности, обращал внимание на влияние идей Дж.С. Милля, проявившееся и в первом научном труде молодого Иванюкова.

Важной вехой в развитии взглядов И.И. Иванюкова стало знакомство с марксизмом. По словам В.Г. Яроцкого, Иванюков был одним из первых (наряду с Н.И. Зибером) популяризаторов экономического учения К. Маркса в России. Тезис о базисной роли экономики в жизни общества он, в частности, развивал на страницах «Отечественных записок» в январе 1881 года. Его статья «Один из вопросов русской культуры» явилась откликом не только на брошюру общественного деятеля Н.Н. Неплюева «Историческое призвание русского помещика», но и на речь Ф.М. Достоевского о Пушкине (1880), возбудившую в печати полемику по давнему вопросу: «Что чему предшествует — улучшение нравственной стороны человечества социальным учреждениям, или социальные учреждения нравственным свойствам?» Или: «Являются ли изменения в учреждениях единственно как результат прогресса нравственности, внутреннего самосовершенствования людей, или сами изменения, улучшение нравственных свойств могут совершаться не иначе, как после крупных перемен в учреждениях?» В противоположность «реакционным органам прессы» Иванюков отстаивал второе положение упомянутой дилеммы: «Экономическая сторона общественной жизни есть главнейшая, существеннейшая. Все остальные социальные явления, вплоть до нравов и понятий, суть только обуславливаемые фундаментом надстройки...»

Знаменательным фактом эволюции взглядов И.И. Иванюкова, их «переключки» (в смысле не только совпадений, но и критического восприятия) с опытом западных коллег стала его докторская диссертация «Основные положения теории экономической политики с Адама Смита до настоящего времени», защищенная в Московском университете в 1881 году. Фундаментальный труд сохранял свою значимость вплоть до начала XX века, о чем свидетельствуют неоднократные переиздания книги (последнее — в 1904 году). Разделяя принципы новейшего направления экономической мысли в лице катедер-социалистов — представителей немецкой историко-реалистической школы (с ее признанием исторической обусловленности экономических явлений, их эволюции в зависимости от конкретного места и времени, провозглашением идеалов социальной справедливости как главного критерия в оценке экономических явлений), Иванюков подверг критике «ортодоксальную экономическую доктрину» так называемой манчестерской школы о «неограниченной свободной конкуренции». Он указывал на объективную ограниченность влияния этого учения определенными хронологическими рамками: «Соответствие теории свободной конкуренции интересам имущих классов, отсутствие до последнего времени обширных, целесообразно-классифицированных

данных по экономической статистике, недостаточное знакомство экономистов с существующими статистическими данными были причинами, что эта школа в течение семидесяти лет сохраняла за собой господство в экономической науке». Ученый констатировал закономерность утраты позиций данной теории уже ко второй половине XIX века, в связи с развитием научной мысли и под влиянием рабочего движения, когда «на университетские кафедры взошли профессора, не считающие ее учение десятью заповедями; явилась пресса, вступившая в борьбу с нею, сомнение в ее благотворности проникло в советы министров и парламенты».

Иванюков убедительно обосновывал несостоятельность «антисоциального учения манчестерской школы», далекого от подлинной защиты человеческой свободы, настаивал на том, что декларируемая ею «система свободной конкуренции» оказывается на деле «системой монополий»: «Либерализм хотел сделать труд свободным, а вместо того подчинил его игу капитала. Он мечтал об общественном благосостоянии, а создал крайнюю шаткость, необеспеченность общественных отношений, нищету и крайнюю бедность большинства населения. Он поставил себе целью уничтожение монополий, но устраненные им юридические монополии заменились гигантской фактической монополией». В итоге Иванюков приходил к выводу о том, что «либерализм по-манчестерски» «как теория есть утопия», а «представления, которые соединяются с понятием „либерализм“, „свободная конкуренция“, не соответствуют их реальному значению...»

Однако в отличие от наиболее радикальных представителей «научного социализма» И.И. Иванюков, как и его немецкие соратники-«реалисты», не видел предпосылок для быстрого переустройства общества «на социалистический лад»: «Только профаны в социологии и мало знакомые с действительной жизнью фантазеры могут считать возможным осуществление в любое время социалистических идеалов». В то же время он полагал возможным и необходимым пройти между Сциллой свободно-конкурентной системы и Харибдой социалистического уклада путем установления «такой организации общественного хозяйства, которая, соответствуя современным условиям жизни и по возможности не умаляя производительности народного хозяйства, распределяла бы блага культуры между всеми классами населения и приближалась к обоснованию распределения на труде и заслуге».

Кроме того, Иванюков расходился с «научными социалистами» по вопросу о будущем частной собственности и частного капитала. Он видел в стремлении социалистов утвердить тезис о «неизбежности гибели частной собственности» всего лишь ни на чем не основанную «претензию». Однако, подчеркивал Иванюков, «право частной собственности не есть естественный факт, данный самою природою человека, а учреждение общественной власти, писаного или неписаного закона». Отсюда — уверенность русского экономиста в целесообразности и необходимости государственного регулирования частнохозяйственной системы.

«Определить условия, при которых достигается наибольшая свобода, благосостояние и всестороннее развитие человека...»

По словам Иванюкова, «государство должно принимать на себя те действия к удовлетворению потребностей граждан, которые не могут выполняться ни частными, ни свободно-общественными хозяйствами, или были бы выполнены ими не вполне удовлетворительно».

Иванюков был одним из первых российских ученых, познакомивших научную общественность нашей страны с взглядами представителей «новой исторической школы» в Германии. Его убежденность в том, что большая часть социально-экономических проектов катедер-социалистов может быть «удобно применена к условиям нашей жизни», разделяли тогда многие российские ученые.

Историко-эволюционный подход был характерен также и для труда Иванюкова «Политическая экономия как учение о процессе развития экономических явлений», вышедшего в 1885 году и выдержавшего три издания (последнее — в 1891-м). М.М. Ковалевский обращал внимание на то, что уже само название публикации свидетельствовало о «желании автора постоянно следить за взаимодействием теории и жизни, видеть в первой синтез и оценку современной ей экономической действительности, а в последней — ближайший стимул для возникновения самой доктрины». Книга, содержащая рассмотрение «целого ряда вопросов русского экономического строя» (включая проблему общинного землевладения), получила широкий научно-общественный резонанс. По воспоминаниям В.Г. Яроцкого, она отличалась «живостью и оригинальностью изложения», была встречена читающей публикой «с восторгами» и «сделалась почти обязательной для чтения почти каждого образованного человека». В этой работе Иванюкова также красной нитью проходила мысль о главной задаче социальных наук — определении, наряду с наиболее общими законами прогресса, «условий общественной жизни, при которых достигается наибольшая свобода, благосостояние и всестороннее развитие человека». Он был убежден в том, что «такие идеальные построения, когда они гармонируют с культурными идеями века и воспринимаются массами, имеют целью стать путеводной звездой для общественной и государственной деятельности».

Тот же круг идей определял преподавательскую деятельность Иванюкова, его дружеские «сближения», публицистическое сотрудничество. Получив после защиты магистерской диссертации назначение в Варшавский университет, в 1871 году он был зачислен в штат кафедры финансового права (приват-доцент, затем профессор), совмещая эту работу с чтением лекций в Варшавской женской гимназии. По воспоминаниям одного из студентов, Иванюков был «самой обаятельной личностью из преподавателей»: «Красавец собою, изящный, он представлял тип русского былинного богатыря вроде Алеши Поповича. Иванюков считался самым либеральным профессором и за студентов стоял горой... ученицы женской гимназии поголовно были влюблены в него».

Расцвет научно-общественной деятельности Иванюкова пришелся на 1880-е годы, московский период его жизни. С 1874-го, почти двадцать лет (до 1892 года), труды ученого были связаны с Петровской земледельче-

ской и лесной академией, где он был профессором кафедры политической экономики и статистики. В одно время с ним там преподавали такие выдающиеся ученые, как К.А. Тимирязев, И.А. Стебут, А.Ф. Фортунатов, А.П. Людоговский и др.

Одним из показателей авторитета Иванюкова как ученого и практика стал факт его приглашения в 1877 году в группу специалистов, командированных в Болгарию в целях оказания помощи этой стране в ее возрождении в связи с Русско-турецкой войной 1877–1878 годов (состоял при князе В.А. Черкасском в качестве комиссара финансов).

Именно в Москве сложился круг близких друзей и коллег Иванюкова, который сохранялся до конца его жизни. Прежде всего это молодая профессура Московского университета, которая, по свидетельству современников, представляла собой «один из центров умственного и общественного движения, ставившего целью сближение с народом, тесное знакомство с его бытом, усиленное удовлетворение его нужд и, одновременно, воспитание руководящих кругов в сознании их долга перед крестьянской и рабочей средой». Охваченными этим благородным порывом оказались наряду с Иванюковым многие из числа тех, кто обеспечил мировое значение русской науки и культуры (М.М. Ковалевский, А.И. Чупров, С.А. Муромцев, И.И. Янжул, Ю.С. Гамбаров, В.О. Ключевский, Н.В. Бугаев, К.А. Тимирязев, Н.В. Склифосовский, Ф.Ф. Эрисман, А.Г. Столетов и др.). В «московский период» Иванюков сблизился также с рядом известных литераторов, активных общественных деятелей — Н.В. Шелгуновым, В.А. Слепцовым, Н.К. Михайловским, Г.И. Успенским, Л.Н. Толстым.

По воспоминаниям И.И. Петрункевича, Иванюков был одним из влиятельных и уважаемых москвичей (В.И. и Н.Е. Вернадские, Д.И. Шаховской, А.А. Корнилов, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, М.Я. Герценштейн, С.А. Дриль, Н.И. Миклашевский, Н.А. Каблуков, В.А. Гольцев и др.), откликнувшихся на народное бедствие — голод 1891–1892 годов: он лично содействовал «привлечению жертвователей, а также людей, готовых взять на себя самую работу помощи голодающим на местах».

Для Иванюкова и его соратников «многозначимую роль всероссийской трибуны» играла периодическая печать. Он входил в редакторский круг таких авторитетных умеренно-либеральных изданий, как газета «Русские ведомости» (публиковался там с 1884-го) и журнал «Русская мысль» (в 1893–1898 годах — ведущий «Внутреннего обозрения», автор ежемесячных обзоров «Очерки провинциальной жизни», которые принесли ему широкую популярность). «Такие вопросы, как обеспечение крестьянина землей, расширение школьной сети, устройство читален для народа, развитие кустарных промыслов с помощью дешевого кредита, доставляемого государственным банком, земледельческие артели и банки, создание сословной волости, подобной во многом англо-американской общине, или town, расширение самодеятельности уездного и губернского земств, устройство сословного городского управления, постоянно привлекали его внимание», — вспоминал М.М. Ковалевский, свидетельствуя о том,

«Определить условия, при которых достигается наибольшая свобода, благосостояние и всестороннее развитие человека...»

что и в 1912 году проблемы, волновавшие Иванюкова, не утратили своей актуальности. В разное время статьи ученого появлялись в «Вестнике Европы», «Юридическом вестнике», «Вестнике самообразования», «Запросах жизни» и ряде других газет и журналов.

Важной вехой в научной биографии Иванюкова стал выход в 1882 году книги «Падение крепостного права в России», в основу которой была положена серия статей («Роль правительства, дворянства и литературы в крестьянской реформе»), напечатанных им в 1880–1881 годах в журнале «Отечественные записки». Эта работа принесла автору широкую известность и была удостоена Московским университетом премии Ю.Ф. Самарина, учрежденной в 1876 году «За лучшие исследования по крестьянскому вопросу». В состав авторитетной комиссии, принимавшей решение о награждении Иванюкова, входили А.И. Кошелев, К.Д. Кавелин, М.М. Ковалевский.

На примере важнейшего события в русской истории автор развивал ряд идей, содержащихся в его докторской диссертации. В частности, он признавал недопустимой прямую аналогию общества с животным миром, где, согласно дарвиновской теории, идет непрерывная борьба за существование. Сторонник многофакторного изучения истории, ученый указывал на то, что социальные явления «суть явления самые сложные, результаты многих причин. На эти явления, кроме причин физических, действует также вся совокупность качеств природы человека, как эгоистических, так и альтруистических, и ни одно из этих качеств не действует в слабой степени, чтобы его можно было не принимать в рассмотрение».

По-прежнему относясь с уважением к К. Марксу, Иванюков вместе с тем полагал, что «ход жизни указал на ошибочность многих весьма существенных положений марксистской теории». В частности, считая исключительной заслугой Маркса обоснование важности экономического фактора в изменении социальной жизни, он предостерегал от того, чтобы все объяснять только влиянием экономики, поскольку «факторов много, и все они находятся во взаимодействии». Наряду с классовой борьбой Иванюков обращал внимание и на «другой социальный фактор, обуславливающий изменения в общественных учреждениях, а именно: влияние на умы гуманно-прогрессивных идей», подчеркивал «громадное значение в человеческих делах идеи и чувства правды».

Ученый утверждал, что «сила просвещения, расширяющая кругозор, побеждает препятствия к правильному пониманию вещей, создаваемые личным интересом». При этом он не только отмечал постоянное усиление («в геометрической прогрессии») указанного им фактора «в новейшей истории Европы» (трактуя это явление как «бесспорнейший и важнейший социальный закон»), но и выражал уверенность в том, что именно ему «предстоит в дальнейшем ходе исторического развития заменять все более и более элемент борьбы, имевший донныне преобладающее значение в деле изменения социальных форм жизни». Отводя науке важную роль в формировании убеждений людей, автор предсказывал: «По мере разви-

тия социальной науки и проникновения ее в общественное сознание, элемент борьбы в деле изменения социальных условий жизни, игравший до сих пор преобладающую роль, будет более и более заменяться элементом просвещенного научного сознания; и последний, по естественному ходу вещей, сделается когда-нибудь господствующим, а может быть, и единственным руководителем в установлении социальных условий жизни, покоящихся на солидарности и гармонии интересов людей».

Наглядным подтверждением данной закономерности Иванюков считал отмену крепостного права в России — мирным путем, по доброй воле правительства и дворянства, побуждаемых к реформаторской деятельности передовой литературой и журналистикой. Книга оказала значительное влияние на отечественную историографию крестьянской реформы 1861 года (труды Г.А. Джаншиева, А.А. Корнилова и др.). По словам одного из современников, труд Иванюкова и спустя тридцать лет после выхода из печати оставался «единственным полным исследованием истории крестьянской реформы 1861 года, написанным на основании первоисточников». Он был «настойной книгой для всех желающих познакомиться с ходом правительственных работ по составлению Положений 1861 года»: «Иванюков внимательно, шаг за шагом следит за судьбой главных начал реформы: права крестьян на земли, размера крестьянских наделов, размера повинностей, возлагающихся на крестьян за отводимую землю и устанавливаемых положением реформ крестьянского землевладения. И в каждой из этих сторон ясно и выпукло вырисовывается под его пером роль правительства, роль литературы и роль дворянства». Примечательно, что в 1890 году особый отдел Ученого комитета Министерства народного просвещения предписал изъять работу Иванюкова из государственных библиотек.

Оценивая экономические последствия крестьянской реформы 1861 года, Иванюков обосновывал тезис о том, что она во многом не удовлетворила возлагавшихся на нее надежд и далеко не во всем соответствовала интересам крестьян. Однако огромное значение реформы исследователь видел в изменении ею «базиса государственного здания»: «...на место юридической подчиненности одних сословий другим является принцип гражданской равноправности». Для Иванюкова было очевидным, что данные изменения сделают логически неизбежным преобразование «всех государственных учреждений, которые покоились на крепостном праве», «обновление всей государственной жизни вплоть до основных законов, ее определяющих». «Пережив в молодые годы зарю освобождения крестьян, Иванюков был счастлив на склоне лет пережить другую зарю — политической свободы своей родины, той, которую он предвидел, к которой неустанно стремился и за которую столько боролся и страдал», — вспоминал один из сподвижников Иванюкова его отклик на Манифест 17 октября 1905 года.

Развивая мысль о многосложности взаимосвязей личности и общества, Иванюков подвергал сомнению расхожее утверждение, согласно которо-

«Определить условия, при которых достигается наибольшая свобода, благосостояние и всестороннее развитие человека...»

му «каждый народ достоин своего правительства». Он настаивал на том, что, «хотя общественные учреждения вполне соответствуют природе людей, тем не менее люди лучше своих учреждений. И это потому, что личные свойства как отдельного человека, так и целых классов, понимание ими значения своей деятельности далеко не вполне соответствуют объективному смыслу их деятельности». Подобные рассуждения приводили ученого к выводу о «благотворном привлечении общества к участию в общественных делах»: «Устраненное же от них, оно засыпает в бездействии, впадает в апатию, силы его не только пропадают даром, но мельчают, что отражается на всех сторонах жизни: семейной, умственной, нравственной, экономической; словом, бюрократизм и ограничение деятельности общества узкою сферою домашних интересов неизбежно ведут за собою измельчение и опошление его. И кто говорит, что самодеятельность общества и народа является полезною лишь по достижении нацією значительного развития цивилизации, тот или умышленно обманывает, или совсем не знает истории».

В центре внимания Иванюкова находился также и вопрос «о влиянии учреждений на нравы». Полезным для его уяснения ученый считал иностранный опыт, в частности США — страны, где самоуправление и гражданское равенство получили наибольшее развитие, а государственные учреждения «действуют на громадном пространстве и осуществляются населением в шестьдесят миллионов человек». «Американцы правы в своем горделивом сознании, что они делают в самых обширных размерах самый замечательный эксперимент новой системы управления, какой еще никогда никто не испытывал; что они выработали более высокий тип свободы, равенства и цивилизации, чем какой когда-либо был достигнут другими государствами, и уверены, что их дело служит и будет служить на пользу всего человечества», — писал Иванюков в 1891 году в статье, посвященной американской демократии. Он полагал, что «из всех факторов, способствующих смягчению нравов, уравнивание общественных положений является самою могущественною причиною», а развитию в американском народе чувства равенства способствовали такие «важнейшие характерные основы общественного строя Америки», как «общий материальный достаток, распространенность образования в массах, отсутствие аристократии и других социальных рангов, политическая равноправность». Вывод Иванюкова гласил: «Такая нация, которая руководствуется в своей деятельности не интересами некоторых общественных классов, но благосостоянием всей народной массы, может рассчитывать найти в своей среде достаточно и законодательного искусства, и политико-экономической мудрости, чтобы без потрясений развивать свои государственные учреждения и умножать благоденствие народа».

Научные взгляды и общественная позиция Иванюкова находили отклик у С.Ю. Витте, который в 1898 году пригласил его для работы при Ученом комитете Министерства финансов. К этому времени ученый уже около шести лет жил в провинции и занимался почти исключительно

журналистикой. Однако долго в «верхах» Иванюков не задержался, сделав выбор в пользу преподавательской работы. Осенью 1899-го он возглавил кафедру политической экономии в только что открывшемся Варшавском политехническом институте. Но уже в 1902 году ученый переехал в Петербург, где и оставался до конца жизни. Решающую роль сыграло приглашение, поступившее от А.С. Посникова — давнего (с 1873 года) коллеги и единомышленника, сподвижника С.Ю. Витте в деле организации Петербургского политехнического института, а также инициатора организации там же первого в России экономического отделения.

Иванюков был членом Совета отделения, читал лекции по сельскохозяйственной экономии, первым в России начал преподавать экономическую историю («историю хозяйственного быта»). Тогда преподавание этой дисциплины было недостаточно распространено и на Западе, а немногие публикации на эту тему ограничивались характеристикой развития экономики в отдельных странах и в определенные периоды времени. По свидетельству М.М. Ковалевского, отличительными чертами учебных курсов профессора Иванюкова были «совершенно исключительный по широте размах» в сравнении с подобными примерами в западных университетах, а также «качества простоты, ясности, общедоступности и логической последовательности, умение жертвовать деталями для более выпуклой передачи основной мысли, удачный выбор терминов и примеров, наконец, изящество самой речи».

По предложению Витте, продолжавшего держать ученого в «поле зрения», Иванюков в конце 1904 — начале 1905 года участвовал в работе Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. По его убеждению, «благосостояние крестьян есть первостепенный национальный интерес России; от экономического, умственного и нравственного состояния крестьянского населения зависит весь наш быт». В своих выступлениях он призывал не «рубить сплеча», принимая решения по аграрно-крестьянскому вопросу, учитывать его исключительную сложность, поскольку «ни в законе, ни в теории, ни в самой жизни нет твердо установленного взгляда на право крестьян на землю... да и в самом народе нет ясного представления о своих правах на землю».

Защитник исторически сложившихся в России форм хозяйства (община, артель), Иванюков, по словам В.Г. Яроцкого, видел в них прежде всего «лучшую школу» для развития кооперативного движения и постепенного перехода к «дальнейшим высшим коллективным формам хозяйства»: «Он не считал поэтому необходимым переживание, по шаблонной доктрине развития, промежуточного периода всех прелестей капитализма, в том числе и в земледелии, на почве развития начал... частной собственности на землю». Однако Иванюкову было чуждо и слепое поклонение общинному землевладению как некоей застывшей и в то же время наивысшей форме землевладения и землепользования. Он предлагал «поставить общину в такое же положение, какое занимает частный собственник», предоставить крестьянам полную свободу и реальное самоуправление в их

«Определить условия, при которых достигается наибольшая свобода, благосостояние и всестороннее развитие человека...»

хозяйственных и имущественных делах. Таким образом, полагал ученый, судьбу общины должна определить сама жизнь.

Безотлагательными мерами по решению аграрно-крестьянского вопроса Иванюков считал также расширение крестьянского землепользования (в том числе путем продуманной колониционной политики), предоставление крестьянам дешевого кредита, развитие народного образования, расширение прав уездного и губернского земств, создание всесословной волости, упразднение института земских начальников и т.д.

Вполне закономерно, что начиная с 1906 года, в пору проведения столыпинской аграрной реформы, Иванюков выступил ее противником. По словам В.Г. Яроцкого, он видел в ней «насилие над духом, бытом и правосознанием нашего крестьянства». «Новейшая земельная ломка» с ее «ставкой на сильных» происходила вразрез с убежденностью Иванюкова в возможности и благотворности постепенного перехода крестьян к высшим формам обработки земли «на готовой почве навыков к совместной работе и улучшению систем хозяйства». Он считал неизбежным следствием столыпинской политики ускорение процесса пролетаризации крестьянства.

К голосу авторитетного ученого прислушивались и представители предпринимательских кругов. Так, в январе 1906 года Иванюков стал одним из основных докладчиков на открытии в Петербурге I съезда Союза промышленных и торговых предприятий Российской империи. Выступая на тему «Промышленно-торговые организации за границей», он свидетельствовал о значительном влиянии торгово-промышленных союзов Великобритании, Германии, Франции, Австро-Венгрии, Италии на экономическую политику и законодательство этих стран, формирование общественного мнения. Ученый считал, что успехи русской промышленности в области металлургии, хлопчатобумажного и сукноткацкого производства, горном деле, строительстве железных дорог настоятельно диктовали неотложность разработки торгово-промышленного законодательства и в России. Важную роль в этом деле Иванюков отводил деятельности Союза, который, по его мнению, должен был стать «представителем интересов промышленности и торговли... перед Государственной думой, правительственными и общественными учреждениями», способствовать развитию статистики, экономического образования и просвещению широких масс.

В событиях революции 1905–1907 годов И.И. Иванюков не считал для себя возможным примкнуть ни к одной из наиболее крупных политических партий. Сохраняя верность либерально-демократическим принципам и надежду на «мирное обновление» России, вместе со своими давними единомышленниками и коллегами из числа питерцев, деятелей круга «Вестника Европы» и «Русских ведомостей», преподавателей столичного Политеха (М.М. Стасюлевич, К.К. Арсеньев, М.М. Ковалевский, Д.В. Стасов, В.Д. Кузьмин-Караваев, Н.А. Меншуткин, М.И. Носач, К.П. Боклевский, А.Г. Гусаков), он вошел в состав Организационного комитета Партии

демократических реформ (ПДР) — первого опыта партийного объединения русских либералов-центристов (условно — союза кадетов и октябристов). Именно Иванюкову была отведена одна из главных ролей в издании фактически органа ПДР — газеты «Страна» (1906–1907). Ее основатель и руководитель М.М. Ковалевский характеризовал своего незаменимого помощника как «благожелательного и мирно настроенного радикала», занимавшего позицию «между либералом и радикалом». Ковалевский отмечал, что успех газеты был во многом связан с «обширными связями Иванюкова, общим доверием, каким он пользовался». Личные качества и авторитет ученого, взгляды на общественное переустройство вскоре обусловили его сближение с Партией мирного обновления — своего рода «преемницей» ПДР, «генетически» связанной с ней на уровне идей и руководящего состава. В декабре 1906 года, в преддверии выборов во II Думу, он был включен в избирательный список этой партии по Петербургу уже как «внепартийный кандидат». Верность либерально-центристскому течению Иванюков сохранял до последних дней, еще в феврале 1912 года (незадолго до своего ухода из жизни) посещая собрания думской фракции прогрессистов во главе с И.Н. Ефремовым.

В период революции 1905–1907 годов выявилась новая грань просветительского таланта Иванюкова. Редактор-издатель влиятельной газеты «Биржевые ведомости» С.М. Проппер, сочувствовавший идеям «мирного обновления» (и даже упоминаемый современниками в составе членов ПДР), пригласил Иванюкова в качестве редактора популярных общественно-политических брошюр, выходивших отдельными выпусками в серии «Политическая библиотека „Биржевых ведомостей“». Имя Иванюкова в качестве редактора стояло тогда и на обложках «книжек политического и общественного содержания», публиковавшихся в серии «Библиотека самообразования», основанной известными учеными П.И. Броуновым и В.А. Фаусеком. Только в 1906 году через его руки прошло более двух десятков подобных изданий («очерков»), охватывавших широкий круг тем (гражданские и политические свободы, избирательное право, национальный вопрос, аграрная и налоговая реформы, мелкая земская единица, история освободительного движения, политические партии в России и т.д.).

В последние годы жизни исследовательский интерес Иванюкова был во многом сосредоточен на новом явлении в экономике — формировании «мирового хозяйства» и его влиянии на развитие человечества, укреплении международных экономических связей. Ученый был убежден в том, что «основное условие успехов в мировом хозяйстве» — «качество населения», «средний тип, который выработан историей народа». В связи с этим он разделял мнение, согласно которому «англо-германцам принадлежит первое место в мире хозяйства», поскольку они «развили в себе более, чем другие народы, волю, работоспособность, телесную, умственную и нравственную силу... послужили также основой величия Соединенных Штатов Америки».

«Определить условия, при которых достигается наибольшая свобода, благосостояние и всестороннее развитие человека...»

Он признавал благотворные последствия передвижения «миллионов людей... из среды народов старой культуры в территории со слабо развитой гражданственностью или в местности, населенные дикарями и полудикарями», что способствовало распространению европейской культуры во всех частях земного шара: «Вместе с передвижением европейцев в малокультурные области в последних распространяются все виды европейской техники, начинается разработка естественных богатств и, как следствие, расширяется международная торговля». Успехи страны на внешнем рынке Иванюков связывал прежде всего с устройством так называемых торговых музеев (в целях распространения сведений о мировом рынке), правильной постановкой консульской деятельности, активностью «разъездных приказчиков», устройством промышленных выставок, созданием собственных кредитных учреждений за границей, совершенствованием железнодорожных тарифов, организацией синдикатов и трестов.

Иванюков отмечал «увеличение взаимной хозяйственной зависимости между народами» вследствие международного разделения труда, а также неоднозначные последствия этого процесса: «По мере развития мирового хозяйства, народ наилучшим образом приурочивает свой труд к естественным богатствам своей страны; но в то же время резко уменьшенный ввоз сырья, нужного для фабрик страны, не только отражается неблагоприятно на промышленности, обрабатывающей данное сырье, но задевает и другие промышленные страны, а равно и интересы многих потребителей... Не чем другим, как расширением мирового хозяйства, объясняется угнетенное состояние в странах старой культуры сельских хозяев за последнюю четверть XIX века. Именно оно заставило их искать защиты в повышении таможенных пошлин на сельскохозяйственные продукты. Но, с другой стороны, мировое хозяйство благоприятствует смягчению кризисов, которые переживала бы страна, продолжай она оставаться в изолированном или мало затронутом внешней торговлей положении».

Характеризуя процесс передвижения капиталов из одной страны в другую, он указывал на общую закономерность — «народные хозяйства богатых стран являются кредиторами народных хозяйств в странах бедных», «оплодотворяя» хозяйственную жизнь последних: «Русская промышленность представляет также обширное поле для наблюдений такого рода. С самого начала XIX века русское правительство старалось водворить чугуноплавильное производство на юге России. Попытки эти были безуспешны до начала 70-х годов, когда за дело взялся англичанин Юз, образовав в Лондоне общество с капиталом в 300 000 фунтов стерлингов. Сходна с этим и история Кривого Рога. Дело стало на торную дорогу только в 1880 году, после учреждения в Париже французского общества криворожских руд, с капиталом в 5 млн франков. По следам этого общества направились французские и бельгийские капиталисты и за короткое время развили металлургию в южной России. Сооружение русской железнодорожной сети стало возможным только потому, что из-за границы непрерывно приливали капиталы для этой цели; в русском железнодорожном хозяйстве

их помещено больше 4 млрд рублей. Можно уловить тесную связь между приливом иностранных капиталов в Россию и теми новейшими успехами, которые сделала русская промышленность». Наблюдая за развитием мирового хозяйства, Иванюков к концу жизни все более склонялся к мнению о том, что объективный ход событий ведет к «дальнейшим завоеваниям капитализма, достижению им наивысшего процветания, а вместе с тем образованию условий, которые облегчают переход к социализму».

Пытаясь определить место Иванюкова в истории европейской и русской общественно-экономической мысли, следует признать его принципиальную «невписываемость» в прокрустово ложе традиционных «направлений». Предоставим слово М.М. Ковалевскому, который, выделяя характерную черту Иванюкова-ученого — большую способность к синтезу, чем к анализу, замечал: «Установивши свои основные точки зрения под влиянием Дж.Ст. Милля и всей вообще школы экономистов-классиков, Иванюков с большой широтой взглядов и с научной терпимостью... охотно пошел навстречу и катедер-социализму, и доктрине автора „Капитала“. Поскольку симпатии Иванюкова были на стороне крестьян-общинников и развития аграрного коммунизма, он не мог принять целиком учения столько же катедер-социалистов, сколько и Маркса, пророчившего неизбежное разложение архаического мирского хозяйства. Он поэтому не сделался социал-демократом и охотно присоединился к той критике, какой ревизионисты, и в числе их Туган-Барановский, подвергли основные теоремы автора „Капитала“. В результате получилось то, что Иванюков в своей „Экономии“ остался на точке зрения экономистов-классиков, модернизируя их доктрину восприятием многих сторон той критики капиталистического хозяйства, которая представлена была одновременно катедер-социалистами и ушедшим значительно дальше их в этом отношении Марксом. Если его можно назвать эклектиком, то в той же мере, в какой этот эпитет может быть приложен и к Миллю... От катедер-социалистов Иванюкова отличает меньшее пристрастие к индуктивному методу и верность тем приемам обратной дедукции, которые мы встречаем у Милля. От Карла Маркса — уверенность в поступательном ходе развития человечества без коренной и внезапной ломки современного капиталистического строя. Более же всего отразилось на нем увлечение нашим мировым порядком землевладения, кустарной промышленностью, артельным устройством, — увлечение, разделяемое не одними славянофилами, но также Герценом и Чернышевским. В ранней молодости Иванюков проникся идеалами 1860-х годов и остался верен им до конца. И он ждал развития в будущем социального строя, опирающегося не на частную собственность, а на сосредоточение орудий производства в руках земледельческих и промышленных общин. Но только в отличие от социал-демократов он надеялся, что эта эволюция совершится непосредственно, путем дальнейшего развития мирской общины и артели. В этом он ближе стоит к Герцену и Чернышевскому, чем к Карлу Марксу».

«Определить условия, при которых достигается наибольшая свобода, благосостояние и всестороннее развитие человека...»

П.Б. Струве, после смерти Иванюкова принявший эстафету в чтении курса истории хозяйственного быта в Петербургском политехническом институте, называл своего старшего коллегу «самым типическим представителем русского катедер-социализма», ведущим свое происхождение «не только от Шеффле, Вагнера, Шмоллера, Брантано, не только от Родбертуса и Маркса, но и от Герцена и Чернышевского, пожалуй, даже от славянофилов, в учении которых были зародыши русского народничества».

В.Г. Яроцкий, вспоминая, что в 1890-х годах Иванюков был отнесен сторонниками тогдашнего «неомарксизма» к категории «старых народников, т.е. к типу людей и ученых, устарелых или совсем отживших свое время», разъяснял возможность применения этого определения к Иванюкову следующим образом: «Он был, несомненно, народником, но в самом лучшем и широком смысле этого слова, и прежде всего в силу горячей любви к народу, как чистый демократ и, в частности, как человек, ближе всего принимавший к сердцу нужды и интересы крестьян». В то же время, отмечал Яроцкий, Иванюков «не имел ничего общего с крайними, узкими, изуверскими формами народничества», сводившимися «к слепому поклонению всем сторонам крестьянского духа и быта и в особенности к отрицанию роли интеллигенции в общем процессе нашего культурного развития».

Неприятие догматизма, открытость новому знанию, стремление видеть «зерно истины» в разнородных «направлениях» — эти особенности Иванюкова-ученого отражали коренные черты его личности: «крайнюю терпимость и уступчивость». Его отличали также «необычайная мягкость и вошедшая в поговорку деликатность». Однако он «отнюдь не был человеком индифферентным, склонным поступаться своими убеждениями; напротив, он выступал в серьезные моменты очень решительно в защиту своих верований» (А.С. Посников).

В памяти многих Иванюков остался как великий труженик, образец «сердечной доброты, теплоты душевной и рыцарского благородства» (А.Г. Гусаков), неизменный оптимист с «бодрым взглядом» на жизнь и непреклонной верой в торжество справедливости. Известный историк и социолог Н.И. Кареев, знакомый с ним без малого сорок лет, с первой половины 1870-х годов, в шутку называл Иванюкова «легкомысленным юношей», относил его к редкому типу людей: «У него был неистощимый запас того не надуманного, догматического оптимизма головного происхождения, который заставляет закрывать глаза на существование зла в мире, а оптимизма непосредственного, органического, который не исключает ни признания того, что зло все-таки существует, ни негодования на существующее зло. Иван Иванович умел и восторгаться, и негодовать, но общим основным тоном его отношения к жизни и ко всему живому было радостное любованье. Это не было, однако, эгоистическое любованье человека, которому в жизни повезло и для которого мир хорош лишь потому, что ему самому хорошо в мире, а жизнерадостность альтруистическая, вся соединенная с необычайно доброжелательным отношением

к людям». Кареев объяснял данное свойство личности Иванюкова его верой «в хорошие стороны человеческой природы», убежденностью в том, что «добро — правило, а зло — исключение»: «Иван Иванович мерял людей на свой аршин, и в его оптимистическом отношении к человеческой природе проявлялась его собственная хорошая природа. Это был человек, которому было чуждо чувство зависти и который по личным мотивам не умел ненавидеть. Он искренне радовался всякому успеху в хорошем деле и не ради только хорошего дела, но и ради человека».

Несмотря на слабое здоровье (одно время грозившее развитием чахотки) и врожденный порок сердца, Иванюков никогда не ограничивал круг своих забот и общения, «был рыцарски честен, мало заботился о собственной карьере и так далек от всякого стяжания, что по смерти оставил всего-навсего капитал в три тысячи рублей. Его сердечное участие к чужому горю сказывалось не только в щедрой помощи всякому, кто просил о ней, но и в готовности оказать нравственную поддержку людям, сбившимся с правильного пути и искавшим, чтобы кто-нибудь протянул им руку. Этим объясняется, что его влияние выходило за рамки педагогической или журнальной деятельности. В течение полустолетия он был живой совестью для многих людей. Они искали его совета и радовались тому, если их поведение встречало оправдание в его глазах. Своей мягкостью и добродушием Иванюков невольно вызывал всякого на откровенность. Кто только не рассказывал перед ним своего внутреннего „я“, кто не отдыхал душой в его обществе! Сколько несходных характеров искали его дружбы и находили в нем объединяющий их центр!.. На Иванюкове, как на корифее близкого, если не тождественного с ним направления — я разумею А.И. Чупрова, — воспитывался в течение сорока лет ряд поколений — не одних русских студентов, но и всей той разнообразной массы читателей, которых в большей степени интересуют вопросы экономической политики, чем вопросы теории народного хозяйства» (М.М. Ковалевский).

Умер Иван Иванович Иванюков 26 марта 1912 года в Санкт-Петербурге от паралича сердца. Похоронен на Волковском кладбище («Литераторские мостки»), могила его сохранилась.

ВАСИЛИЙ
ЮРЬЕВИЧ
СКАЛОН

«В местном
самоуправлении лежит
вся будущность нашей
страны...»

Предки Василия Юрьевича Скалона (1846–1907), выдающегося деятеля российского земства, крупного публициста, принадлежали к французской аристократии, родословие которой уходит вглубь веков, в эпоху Крестовых походов. В 1686 году гугенот Жорж де Скалон, спасаясь от религиозных гонений, переселился в Швецию, а первым из Скалонов, «пустившим корни» в России, стал его сын Стефан (Степан), служивший в первой половине XVIII века в инженерных войсках в чине капитана. В 1817 году, при жизни Степана Степановича Скалона, представителя второго поколения «русских Скалонов», их фамилия была внесена в дворянскую родословную книгу Владимирской губернии, а сам он впоследствии погребен в Золотниковской пустыни Суздальского уезда (могила сохранилась).

Его наследник, подпоручик Юрий Степанович Скалон (1819–1858), выстроил по соседству с отцовским имением еще одну усадьбу (в сельце Савино). В первом браке — с Екатериной Васильевной Калачевой, дочерью предводителя дворянства Юрьев-Польского уезда, — у него родился сын Василий, герой настоящего очерка. По окончании гимназии он продолжил образование в Московском университете, на историко-филологическом факультете, а в 1868 году поступил на службу в Московский архив Министерства юстиции. Однако в числе «архивных юношей» Василий оставался недолго. Идейный заряд Великих реформ Александра II вселил тогда во многие сердца самоотверженный общественный энтузиазм. В 1871 году, по достижении необходимого возрастного ценза, 25-летний Скалон принял участие в земских выборах по Московскому уезду и прошел в члены уездной управы. С этого времени средоточием его усилий стало земское дело, а о блестящем старте говорят следующие факты: уже на следующее трехлетие его избрали председателем московской уездной управы (с 1874 года), причем он сохранял за собой эту должность еще в течение трех избирательных периодов, вплоть до 1883-го.

Деятельность В.Ю. Скалона «вдохнула жизнь» в обширное земское хозяйство Московского уезда, придав ему планомерный характер и значительный размах. По мнению Б.Б. Веселовского, в истории московского земства «период 1873–1880 годов можно назвать „скалоновским“ в такой же

мере, в какой 1893–1904 годы являются „шиповскими“». Современники отмечали, что инициатива и труды Скалона были важны не только для уезда, где благодаря его руководству была обеспечена образцовая постановка народного просвещения и здравоохранения. Свидетели его земской карьеры обращали внимание на то, что Скалон, несмотря на молодость, пользовался авторитетом и в московском губернском собрании, где в качестве гласного оказал влияние на принятие целого ряда решений. Так, являясь в начале 1870-х годов членом Комитета о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществах при Императорском Московском обществе сельского хозяйства, Скалон активно «продвигал» данные формы хозяйственных объединений. В 1872 году он поддержал инициативу подольского земства и Г.Н. Львова по оказанию помощи ссудо-сберегательным товариществам, в результате чего губернское земское собрание предоставило целевой кредит в размере 180 тыс. рублей. В 1876 году он стал организатором съезда представителей ссудо-сберегательных товариществ Московской губернии.

«Скоро Скалону пришлось, однако, разочароваться в этом начинании, использованном главным образом зажиточными элементами деревни», — замечал Б.Б. Веселовский. Однако неудачи не ослабляли напора Скалона в реализации значимых для него целей. Об этом свидетельствовали, в частности, его неоднократные (в 1875-м и в 1876–1877 годах, совместно с проф. В.Н. Лешковым) попытки провести через московское губернское земское собрание проект образования всесословных продовольственных капиталов. В 1880 году он выступил с протестом против специального сбора со скота как обременительного для крестьянского населения. В 1878–1879 годах московское уездное земство поддержало проект содействия крестьянам в приобретении земли, выдвинутый по инициативе Скалона и князя П.Н. Туркестанова. Несмотря на критику со стороны членов губернского собрания (Д.Ф. Самарин, Д.А. Наумов, А.А. Оленин), проект был утвержден и с 1881 года начал осуществляться.

Благодаря настойчивым усилиям В.Ю. Скалона губернское земское собрание (вопреки сопротивлению кн. В.А. Черкасского, А.А. Оленина) с 1873 года приступило к выдаче долгосрочных ссуд на постройку школ (в 1873–1887 годах было выделено с этой целью 91 687 рублей). В результате, по свидетельству Б.Б. Веселовского, за десять лет (1873–1883) число школ в Московском уезде возросло почти в девять раз (с 7 до 62).

Заботясь о качестве народного образования, Скалон в 1879 году первым заявил о необходимости организации «школьной статистики», полагая, что развитию народного просвещения должно предшествовать выяснение «тех условий жизни, в которые поставлена школа». Ратуя за основательность подхода к земскому делу, Скалон еще ранее, в 1873 году, заявил в губернском собрании о важности статистических исследований. Благодаря его инициативе в 1875 году этот вопрос не только был впервые поставлен на практическую основу в Московской губернии, но и приобрел здесь широкий размах благодаря таким специалистам, как В.И. Орлов, А.А. Исаев и Н.А. Каблуков.

Побуждаемый стремлением вынести свое мнение по коренным проблемам русской жизни на «всероссийскую трибуну», В.Ю. Скалон с начала 1870-х годов регулярно выступал на страницах периодической печати. Как публицист, он отличался обширной эрудицией, серьезным, тщательным подходом к работе, основанным на всестороннем изучении явлений, попадавших в сферу его интересов и деятельности. Ни один из острых вопросов местного самоуправления, прежде всего земской политики (крестьянское самоуправление, создание мелкой земской единицы — всесословной волости, проблема коррупции в земской среде и др.), не был оставлен им без внимания. По словам коллег, «статьи Скалона по земским вопросам, по различным сторонам народной жизни (артели, кредит) имели весь авторитет и все достоинства специальных исследований», сохраняя значимость и актуальность на протяжении десятилетий, включая 1900-е годы.

Уже первые его опыты на журналистском поприще, ставшие событием в общественной жизни, подтверждают данный отзыв. В 1872 году в журнале «Грамотей» Скалон поместил ряд статей, в которых выступил пропагандистом коллективных форм труда (артели ссудо-сберегательные, потребительские, производственные, сельскохозяйственные), будучи уверен в том, что «артельное дело, войдя в сознание народа... все более и более будет развиваться, упрочивая благосостояние русского крестьянства, а с ним вместе — и всего нашего Отечества». В 1873 году эти статьи были изданы отдельной книгой («Артели на Руси»), запрещенной к распространению особым распоряжением Комитета министров.

«Главная задача нашего времени состоит в том, — убеждал В.Ю. Скалон, — чтобы доставить труду более достойное вознаграждение, чтобы сделать мелкие хозяйства и мелкие промыслы более доходными, — настолько, по крайней мере, чтобы приносимый ими доход был достаточен для удовлетворения хотя бы главных человеческих потребностей. Необходимо поставить труд в такое положение, чтобы сам работник пользовался плодами своего труда, чтобы выгоды производства доставались тому, кто принимал в нем главное участие». Хорошо знакомый с историей артельного дела на Руси автор констатировал: «Значительное распространение у нас артельного начала не принесло, однако, крестьянам всех тех выгод, которые оно может приносить при других условиях. Происходит это от того, что у них нет капитала». Заявляя о необходимости «оказать артелям прямую денежную помощь», он высоко оценивал роль земств в этом деле. Вместе с тем Скалон считал финансовую поддержку артелей обязанностью прежде всего государства: «Кто, как не государство, может взять на себя такое громадное дело, кто располагает нужными для этого средствами? Не говоря уже о нравственной обязанности, можно указать и на то, что государству, получающему свои доходы из карманов граждан-плательщиков, просто выгодно, чтобы граждане богатели, потому что чем богаче плательщики, тем богаче и государство». Отвечая критикам, полагавшим, что, «раздавая деньги артелям, состоящим из бедняков, государство рискует и легко может потерять их, и что таким образом оно

будто бы раздаст беднякам деньги, собранные с богатых», Скалон настаивал: «Правительства должны быть последовательны: помогая тем, кто легко может обойтись без их помощи, они тем самым обязываются помогать и тем, кто без их помощи бессилен и только от нее может получить спасение. Если, в самом деле, правительство, давая ссуду артели, отдает беднякам деньги, принадлежащие богатым, то, помогая богатым, разве оно не отдает им денег, собранных с бедняков. В государственную кассу стекаются деньги всех подданных без различия, а потому нельзя решить, чьи деньги отдаются в ссуду — бедняков или богачей. Во всяком случае, суммы, доставляемые именно бедняками, занимают далеко не последнее место в государственном бюджете».

Уже к началу 1880-х годов о Скалоне сложилось мнение как о «лучшем знатоке земской жизни, земских вопросов». Его многообразный опыт в сфере местного самоуправления оказался востребован в эпоху «новых веяний» графа М.Т. Лорис-Меликова, министра внутренних дел с августа 1880 по май 1881 года, — в то «переходное время», когда «под влиянием проявленного правительством доверия общество ожило, исполнилось надежд». Скалон стал одним из активных участников движения земских либералов за реформирование системы местного управления в целом, выступал за демократизацию земских учреждений и расширение сферы их деятельности. Принципиально новым явлением земско-либеральных проектов переустройства государственных учреждений России конца 1870-х — начала 1880-х годов (по сравнению с идеями либерально настроенных дворян конца 1850-х — начала 1860-х годов) стало положение о своевременности созыва в России выборного органа всесословного народного представительства, призванного «увенчать здание» российской государственности. По мнению современных исследователей, в конкретных исторических условиях того времени эти проекты имели шанс быть осуществленными, что создавало предпосылки к утверждению парламентского строя в России.

Обладавший обширными связями в земских и научно-литературных кругах, в конце 1880-х годов В.Ю. Скалон был приглашен общественным деятелем и предпринимателем А.И. Кошелевым к изданию газеты «Земство» в качестве редактора. «Эта уния старого славянофила-земца [Кошелева] с земцами-либералами вроде Скалона доказывала, что под доктринальными разногласиями лежало глубокое единство практических задач, то единство, которое, с той же исторической необходимостью, в наше время привело в либерально-конституционный лагерь таких людей, как Д.Н. Шипов», — отмечал в 1907 году П.Б. Струве.

Руководители нового издания, ставшего одним из очагов либеральной оппозиции, были убеждены в том, что именно «в местном самоуправлении лежит вся будущность нашей страны: в его тесном кругу русское общество приучается к сознательному и разумному заведыванию своими делами, в нем пробует и упражняет оно свои силы, в нем выясняются самые насущные его потребности». Главный залог «правильного развития и земских учреждений, и общества вообще» Скалон и его единомышленники видели

«В местном самоуправлении лежит вся будущность нашей страны...»

в «безусловном господстве для всех равного, для всех одинаково обязательного закона»: «Личность, не обеспеченная в своих правах, не огражденная от посягательств сильного и власть имущего, не способна к свободной общественной деятельности, а общественная деятельность может быть плодотворной только тогда, когда она свободна». Однако, подчеркивал редактор в первом же номере газеты, наряду с этими устоями «всякого благоустроенного общества» необходимы и другие меры «для обеспечения будущности наших общественных учреждений и восстановления утраченного ими доверия». В этой связи Скалон обосновывал государственное значение земских учреждений, которые «должны быть выведены из положения учреждений частных и войти в систему государственного управления как органическая составная часть его, облечены надлежащей властью, поставлены в тесную органическую связь с другими общественными установлениями, снабжены полной независимостью в кругу вверенных им дел местного управления, под надзором и контролем власти правительственной». Причем, подчеркивал главный редактор, «сфера этого надзора должна быть точно и определенно очерчена законом; в ней не должно быть места произволу и усмотрению». Мысль Скалона, созвучная настроениям широких земских кругов и растиражированная тогда либеральной печатью, стала одним из центральных пунктов программы русских либералов.

«„Государево и земское дело“ — есть одно дело, одинаково близкое к государству и обществу, а учреждения общественные суть не что иное, как органы государственной власти», — говорил В.Ю. Скалон. В рамках данного подхода, в перспективе подразумевавшего расширение политического горизонта земства, местное самоуправление рассматривалось либералами как фундамент будущего представительного учреждения. Однако в отличие от идеологов старшего поколения (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин), склонявшихся к необходимости выборного совещательного органа от земств в Государственном совете, Скалон принадлежал к либеральным деятелям, занимавшим более радикальные позиции. По его мнению, опыт развития земства, начиная с 1864 года, свидетельствовал об углублении «ненормальных отношений» между органами местного самоуправления и исполнительной властью, неуклонном упадке земской деятельности вследствие «расщепления самоуправления и общегосударственного управления».

Один из свидетелей и деятельных участников эпохи второй половины 1860-х — начала 1870-х годов, когда «все, что было лучшего в русском обществе, ринулось было на земскую службу, чтобы верой и правдой послужить на пользу государства и общества», Скалон замечал, что «скоро все мечты, все надежды должны были рассеяться, земские деятели должны были узнать, что они увлеклись, что они неверно понимали свое положение. Они скоро узнали, что многие затронутые ими вопросы выходят из их компетенции; что многие ходатайства, с любовью ими обдуманые и разработанные, не только не получают удовлетворения, но и совсем не удостоиваются ответа, теряясь в канцеляриях подлежащих министерств. Оказалось даже, что земство не имеет права касаться многих сторон народного быта, и при-

том самых важных, именно таких, на которых зиждется народное благосостояние; что даже исследование экономического положения местности выходит из круга его ведения». Фактически, приходил к выводу Скалон-публицист и землец-практик, на местном уровне были созданы две системы органов власти, которые находились в перманентной конфронтации, а в общественном сознании сформировался феномен противопоставления земских и административных учреждений: «Две эти силы, имеющие одни и те же задачи и цели, часто занимают пререканиями в ущерб делу». Корень проблемы он видел в традиционной для России практике реформирования системы местного управления: параллельно с преобразованием земских органов разрастался бюрократический аппарат.

Вынужденные, таким образом, констатировать очевидную несовместимость самодержавия с земским самоуправлением (отсутствие доверия, взаимной связи и поддержки, разрозненность действий), Скалон и его сподвижники ставили в «повестку дня» политической реформы ограничение российского «единовластия» независимым центральным представительством на основе земств. Россия «не менее Болгарии созрела для свободных учреждений», — эта мысль проводилась в записке общественных деятелей, представленной в марте 1880 года председателю Верховной распорядительной комиссии по борьбе с революционным движением графу М.Т. Лорис-Меликову. Одним из авторов документа был Скалон. Среди его единомышленников — москвичи из числа молодой университетской профессуры, чьей «трибуной» стал журнал «Юридический вестник»: С.А. Муромцев и А.И. Чупров (авторы, наряду со Скалоном, упомянутой «Записки»), а также М.М. Ковалевский, В.А. Гольцев, Н.И. Кареев и др. В Петербурге в том же «русле» рассуждали о назревших реформах ведущие публицисты «Вестника Европы» — Л.А. Полонский и К.К. Арсеньев. Настроение этого «крыла» русских либералов Н.И. Кареев характеризовал как «более либеральный, чем у старой профессуры, конституционализм, дополненный социальным реформаторством».

Провозвестники в России нового — социального и демократического — либерализма, они с начала 1880-х годов выступали за снижение ценза для выборов в гласные земских учреждений, а также дополнение имущественного ценза образовательным. Для них также не подлежало сомнению, что «общественная деятельность нуждается в самом широком контроле со стороны общества: все действия его представителей должны быть гласны, открыты; всякий шаг их должен быть известен местному населению, подлежать всестороннему и откровенному обсуждению как устному, так и печатному». Скалон писал также о необходимости распространить выборное начало на все должности местного управления и подчинить местную полицию земствам.

В.Ю. Скалон выражал надежду своих соратников на то, что «вслед за упорядочением местного самоуправления и весь государственный строй подвергнется преобразованию, и правительство призовет общественных представителей на более важные посты в области правительственной

«В местном самоуправлении лежит вся будущность нашей страны...»

деятельности». Он верил в осуществление в будущем «счастливой перспективы», когда «три силы — печать, правительство и земство — придут в ближайшее соприкосновение между собою» с целью «общей работы, успеху которой должна помогать полная свобода мнений». Поводом для очередного заявления редакции «Земства» о ее приверженности «мирному обновлению» страны послужило убийство императора Александра II. В газете проводилась мысль о бесперспективности государственной «политики устрашения», сохранения в стране «системы репрессий и террора, системы угнетения личности и общественной деятельности, системы бюрократически-полицейской», которая исторически не оправдала себя. Полагая единственным выходом из создавшейся ситуации продолжение «мирной политики», начатой Лорис-Меликовым, ведущие публицисты газеты выступали за «созыв земских представителей для совещания о современных нуждах».

В этой связи В.Ю. Скалон на страницах «Земства», «Юридического вестника», «Русской мысли» ставил вопрос о необходимости объединения и сплочения земских сил, координации их деятельности во всероссийском масштабе. Им предпринимались и практические шаги по реализации намеченных целей. Так, в 1882 году, откликнувшись на инициативу новгородского земства по созыву земского съезда, Скалон состоял в переписке по этому поводу с новгородским гласным Н.Н. Нечаевым. В письмах той поры Скалон размышлял уже и о будущей «партийной самоорганизации» русских либералов, предвидя немалые трудности на этом пути ввиду многообразия «типов» данной когорты общественных деятелей — от аристократически-буржуазных конституционалистов до народников.

В 1882 году он подготовил очерк «Мнения земских собраний о современном положении России», посвященный земско-конституционному движению начала 1880-х годов и явившийся, по сути, своего рода аналитической запиской, призванной стать для общественности «руководством к действию». По цензурным соображениям текст не был опубликован в журнале «Русская мысль» и увидел свет в одноименном вольном издании (Берлин, 1883). По воспоминаниям П.Б. Струве, эта работа Скалона явилась «лучшей для своего времени, прямо драгоценной справкой по истории земско-политического движения конца царствования Александра II и начала царствования Александра III»: «По этой статье Скалона (напечатанной анонимно) молодежь 1880-х и 1890-х годов знакомилась с историческими фактами первостепенной важности, о которых в течение более двадцати лет цензура не позволяла говорить в русской литературе».

Тогда же, в 1882 году, вышла в свет книга Скалона «Земские вопросы: очерки и обозрения», совпавшая с началом работы так называемой Кахановской комиссии. В ситуации очередной «развилки» в судьбе земства публикация труда авторитетного публициста оказала, по словам А.А. Кизеветтера, «существенное влияние на работу русской общественной мысли — сознательное уяснение того, чем должно быть местное наше управление и самоуправление».

Газета «Земство», благодаря сотрудничеству в ней известных публицистов и ученых (А.А. Исаев, Н.А. Каблуков, В.Н. Лешков, И.И. Янжул и др.), а также широкой корреспондентской сети, всесторонне освещая общественную самодеятельность в России и полезный зарубежный опыт местного управления и самоуправления, не оставляла без внимания ни одну из актуальных проблем русской жизни. Особое место среди них принадлежало аграрно-крестьянскому вопросу. Накануне двадцатилетия крестьянской реформы 1861 года Скалон констатировал «крайне бедственное» положение народа: «Голод, вызванный целыми рядами один за другим следовавших в самых плодородных местностях неурожаев, болезни, уносящие в могилу множество жизней и обусловливаемые нуждою, общей неудовлетворительностью всей жизненной обстановки... Народ обеднел, „обессилел“, земля выпалхалась и перестала давать урожаи, скот выпал от бескормицы или распродан для уплаты податей; народ, обремененный непосильными платежами, „опускает“ землю, ищет заработка на стороне; связь с кормилицею-землею, не дающей пропитания, порывается, в селениях развивается пролетариат во всем ужасном значении этого слова; среди разоренного крестьянства царит „мирод“, высасывающий из него последние соки. Нищета народная, с одной стороны, все виды эксплуататорства, с другой — вот картина современного сельского быта, картина, согласно изображаемая „либералами“ и „охранителями“. Факт обеднения крестьянского населения признается всеми; спор идет лишь о степени общности этого явления».

Главной причиной упадка крестьянского хозяйства Скалон считал малоземелье, отмечая влияние и таких факторов, как неудовлетворительность финансовой системы, далекой от народных нужд, тяжесть выкупных платежей, недостаток просвещения и отсутствие у крестьян гарантий каких-либо прав — их беззащитность перед произволом административных властей и «экономически господствующими над ними эксплуататорами». В 1902 году Скалон участвовал в подготовительных работах, предшествовавших открытию Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (председатель — министр финансов С.Ю. Витте), составил «Записку по вопросу о способах содействия правительства земским учреждениям в их деятельности на пользу сельского хозяйства», состоял в переписке по этому поводу с И.П. Шиповым, управляющим делами Совещания.

Задолго до начала столыпинской аграрной реформы В.Ю. Скалон выступил противником государственного насилия по отношению к общине: «Артельный способ обработки земли выгоднее мелкого одиночного хозяйства; западноевропейские крестьяне-собственники обращаются к нему для получения большего дохода со своих участков, а потому желательно, чтобы наша община, эта исконная основа русского быта, не была насильственно разрушаема, а чтобы естественным путем перешла в свободную артель, минуя опасного пути измельчения наделов и обезземеления. Что русские крестьяне не хуже немцев могут вести свое хозяйство, притом хозяйство общинное, доказывается примером молокан и духоборцев, кото-

«В местном самоуправлении лежит вся будущность нашей страны...»

у себя общественную запашку, делили между собою жатву и т.д., и достигли высокого благосостояния». Выступая в защиту общины, Скалон вовсе не идеализировал ее, прекрасно отдавая себе отчет в преимуществах частной собственности: «При разумном использовании каждый собственник стремится улучшить свое достояние, а меж тем в крестьянском быту мы видим совершенно противоположное». Он разделял мнение о необходимости обеспечить общине и частному собственнику равные законодательные права, выступал за свободную эволюцию и конкурентное сосуществование различных форм хозяйства, что, по его убеждению, не противоречило требованию государственного контроля над текущей ситуацией в экономике в целях поддержки интересов большинства трудящихся.

«Земская газета Скалона» (так называли современники издание Кошелева) просуществовала около двух лет (с декабря 1880 по июль 1882 года) и была закрыта из-за преследований цензуры. По словам ее редактора, «слабые, едва начавшие сознавать себя общественные силы» оказались неспособны противостоять «всесильной бюрократии». Закономерным стал и «закат» в начале 1880-х земской деятельности самого В.Ю. Скалона. Еще в 1880 году, в результате давления на московское земство владельцев кирпичных заводов («кирпичники»), он был забаллотирован в гласные от землевладельцев и избран от сельских обществ. На следующих выборах, в 1883 году, Скалон и другие члены оппозиции оказались окончательно вытесненными из земства. Но тогда же он оказался востребованным в московском городском самоуправлении и в 1883–1885 годах был членом московской городской управы. В конце 1885-го, по завершении срока очередной общественной службы, Скалон переехал в Петербург и навсегда отошел от практической работы в местном самоуправлении.

Однако его дело не пропало. До конца жизни он оставался на страже земских интересов, а газета «Земство», по отзывам коллег, вплоть до начала 1900-х годов сохраняла «высокий авторитет» и «выдающееся место» среди органов русской печати. Коллеги публициста из «Русских ведомостей» констатировали в 1907 году: «Все занимающиеся в области вопросов местного самоуправления не могут обойтись без поучительных справок в старом „Земстве“, как не могут обойтись и без руководства вообще статей самого В.Ю. Скалона».

Коренное преобразование земских учреждений вновь встало в повестку государственных преобразований в 1904–1905 годах, на волне роста революционных настроений в стране, после 15-летнего опыта, убедительно доказавшего полную несостоятельность произведенной в 1890-х земской контрреформы. «Для земства начинается новая эра: оно вступает в новую жизнь, получает новое государственное значение», — отмечал В.Ю. Скалон, вдохновленный веяниями «либеральной весны» кн. П.Д. Святополк-Мирского (министра внутренних дел с августа 1904-го по январь 1905-го), а также Высочайшим рескриптом Николая II от 18 февраля 1905 года, предписывавшим очередному министру внутренних дел А.Г. Булыгину приступить к разработке закона о создании выборного представительного учрежде-

ния. Скалон надеялся, что уж на этот раз, в отличие от начала 1880-х годов, «одряхлевшая бюрократия» окажется неспособной выдержать «могучий натиск выросшего, окрепшего и уверенного в своих силах общества...».

По мнению публициста, вновь приобретал актуальность опыт многолетней борьбы земства за право «укоренения» в русской жизни. Руководствуясь убеждением, что изучение предшествующего периода работы земских учреждений «даст много полезных указаний и предостережений для будущего, много данных для разрешения насущных вопросов», Скалон предпринял в 1905 году издание сборника своих статей («По земским вопросам. Очерки, обозрения, заметки»), опубликованных им в разных газетах и журналах с 1880 года. Посвятив очередную книгу «памяти Александра Ивановича Кошелева», особое место в ней он отвел статьям из газеты «Земство».

К этому времени Скалон находился «на пике» своей литературно-общественной деятельности. В «петербургский период» его опыт обогатился не только впечатлениями от государственной службы в аппарате Министерства финансов. Будучи членом Совета Крестьянского банка, он расширил свой «горизонт», участвуя в проведении ревизии в Оренбургской и Уфимской губерниях (лето 1887 года), где познакомился с Г.И. Успенским, собиравшим материал о жизни переселенцев. Скалон был причастен к деятельности старейшей в России общественной организации — Вольного экономического общества, в 1886–1888 годах был редактором его «Трудов». Среди новых вопросов, основательно им разработанных, особое место принадлежало так называемому финляндскому (положение сельской общины, народное образование в Финляндии и др.). Богатая эрудиция, обширный опыт и литературный талант обусловили приглашение Скалона в число сотрудников «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»: ему принадлежат статьи «Продовольствие народное», «Земские финансы», «Земские учреждения» и др.

В конце 1880-х — 1890-х годах В.Ю. Скалон был завсегдаем частных «бесед» по вопросам земской экономической программы, просвещения и правового положения земства. В Петербурге земцы, съезжавшиеся из разных губерний, а также представители либеральной интеллигенции (П.Н. Милюков, М.М. Свешников, А.А. Кауфман, В.А. Мякотин и др.) чаще всего собирались в доме у К.К. Арсеньева, одного из идеологов журнала «Вестник Европы».

Не прерывалась связь Скалона и с газетой «Русские ведомости», печататься в которой он начал еще в первой половине 1870-х годов, а в 1883-м вошел в состав товарищества по ее изданию. Некоторое время он заведовал внутренним отделом газеты (совместно с М.А. Саблиным), а с середины 1890-х годов вел раздел «Земская хроника», регулярно предоставляя место на страницах авторитетной газеты для выступлений земских служащих. Именно в это время «Русские ведомости» стали приобретать либерально-демократический, в известной мере либерально-народнический характер.

«В местном самоуправлении лежит вся будущность нашей страны...»

Насыщенная публицистическая деятельность, многообразные связи с первопрестольной обусловили в 1899 году переезд В.Ю. Скалона в Москву после отставки со службы в чине действительного статского советника (1896). Сторонник «самодеятельности общества», Скалон в начале 1900-х годов был членом московского отдела Всероссийского общества народных университетов, почетным членом Московского общества сельского хозяйства. Однако главным делом его жизни продолжало оставаться сотрудничество в «Русских ведомостях». Утвержденный одним из официальных редакторов газеты, он по-прежнему ставил во главу угла поддержку земства. По мнению редакции, «для популяризации идеи земского самоуправления в нашем Отечестве никто не сделал больше Скалона». «Одно из первых мест в литературе о земстве и в земской публицистике» отводил ему и П.Б. Струве.

Вместе с тем еще современники отмечали, что значимость В.Ю. Скалона не ограничивается его вкладом в развитие местного самоуправления и публицистики. В частности, А.Н. Максимов, известный ученый, член ЦК кадетской партии, уже после Февральской революции 1917 года, выражая мнение многих, называл своего коллегу по работе в «Русских ведомостях» «одним из наиболее видных политических деятелей старой доконституционной России». Несмотря на то что сфера приложения их сил, замечал Максимов, в условиях самодержавия была ограничена участием в земстве и печати, труды этих людей были объединены «идеями общеполитического порядка» — создания народного представительства, «правовых основ для развития внутренней жизни». Поэтому не случайно, что в 1904 году, «на заре русского освобождения», именно Скалон первым в русской легальной печати поднял вопрос о созыве народного представительства («Русские ведомости». 1904. 14 октября. № 286). Приветствуя политику доверия верховной власти к общественным учреждениям, провозглашенную тогда министром внутренних дел князем Святополк-Мирским, Скалон настаивал на необходимости превратить это доверие «из субъективного чувства отдельного лица в объективную правовую норму, обставленную настолько прочными гарантиями, чтобы отношения правительства к обществу не могли изменяться в зависимости от такой случайности, как перемена отдельных лиц во главе управления». Насущнейшей потребностью современности он называл «правильную постановку законодательной деятельности в смысле обеспечения ее сферы от вторжения администрации и придания ей большей жизненности»: «Ввиду последней необходимо предоставление участия в законодательной работе народным представителям. Пора, наконец, признать за русским народом право законно влиять на свои судьбы и на законодательное разрешение касающихся его жизненных вопросов... Русское общество страдает от неуверенности в завтрашнем дне. Нужно, чтобы кошмар, который давил его, больше не повторился».

Наблюдая стремительное развитие революции в России, начиная с осени 1904 года В.Ю. Скалон, как считал П.Б. Струве, не играл активной роли «в новейшем политическом движении». Однако верным это мнение

можно признать только отчасти. Действительно, Скалон не считал для себя возможным вступить в ряды крупнейших либеральных партий; его имя не звучало с трибуны первого российского парламента. В начале 1906 года он оставил пост редактора «Русских ведомостей» и покинул Москву, поселившись в своем имении Михайловское в Ярославской губернии.

Сторонник исключительно мирного обновления Родины путем последовательного осуществления демократических реформ в интересах большинства населения, Скалон, казалось, «с некоторым недоумением и скептицизмом взирал на взбаламученное море политических страстей и партийной борьбы и не находил себе в нем места», — писал Струве, подчеркивая вместе с тем, что «это недоумение и скептицизм имели свои глубокие основания, и в них чувствовалась больше здоровая критика умудренного опытом деятеля, чем старческая усталость и желание покоя».

С февраля 1906 года В.Ю. Скалон принимал деятельное участие в формировании «центристского течения» в русском либерализме начала XX века. Уже в середине марта 1906 года он возглавил московское отделение Партии демократических реформ (ПДР), инициаторами образования которой в Петербурге стали его давние единомышленники из круга «Вестника Европы» — К.К. Арсеньев и А.С. Посников. Ядро партии в Москве, наряду со Скалоном, составили представители разных сословий и родов занятий, равнодушные к судьбе страны и имевшие собственное представление о ее развитии на путях прогресса. По сведениям «Голоса Москвы», московское отделение ПДР в сентябре 1907 года насчитывало около 100 человек.

В начале апреля 1906 года, в преддверии работы первого в истории России народного представительства, В.Ю. Скалон в письме к сыну Николаю, юристу, кандидату прав, делился тревожным предчувствием: «Хотелось бы думать, что Государственной думе удастся дать надлежащее направление аграрному вопросу и успокоить народное волнение; но предвидеть что-либо хотя бы с некоторой вероятностью — невозможно. Кадеты шумно празднуют свою победу, но как бы их ликования не оказались преждевременными: выборы еще не закончены, и перед нами огромный икс в лице крестьян, которым в Думе будет принадлежать большое влияние. К сожалению, о том, что думает „мужик“, мы ничего не знаем».

Можно только догадываться о тягостном впечатлении, произведенном на Скалона роспуском I Думы. Представляется, что во многом он разделял в ту пору переживания А.А. Лопухина, бывшего директора Департамента полиции, с которым его связывали доверительные отношения. «Настроение, конечно, отвратительное, ибо помимо всех ужасов, которые происходят у всех на глазах и которые правительство рассматривает как признаки „относительного спокойствия“ (по выражению Столыпина), все с тревогой видят наглядный рост революции и реакции за счет либерализма; явление тем более грозное, что оно усиливается не по дням, а по часам агитацией правительственных органов в пользу реакции, что естественно увеличивает революционное настроение, — делился Лопухин в письме

«В местном самоуправлении лежит вся будущность нашей страны...»

к Скалону (11 августа 1906 года) своими наблюдениями за текущими событиями. — Нельзя себе представить, какие огромные деньги расходуются правительством на эту агитацию. Газеты напуганы больше, чем когда-либо, и поступают не только тоном, но и сообщениями, чтобы уцелеть при чрезвычайной охране, более страшной и придирчивой, чем старая цензура, в некоторых случаях... погромы несомненно подготавливаются в разных местах вновь при участии властей, а войска безобразничают больше, чем когда-либо. Министерство обо всем этом слышать не хочет».

В конце января 1907 года, за месяц до начала работы II Думы, А.А. Лопухин сообщил Скалону о реакции петербургской общественности «на последний циркуляр о невмешательстве администрации в выборы» и «новую теорию „доверия монарха к Думе“»: «Я еще не видел ни одного человека, который поверил бы искренности этого циркуляра: все убеждены, что рядом с ним издан конфиденциальный циркуляр, которым первый отменяется. Вот до чего правительство изолгалось: ни одному слову его никто не поверит».

Несмотря на общую гнетущую атмосферу в стране, В.Ю. Скалон, на своем веку уже переживший не одну «реакцию», не падал духом. Еще в пору деятельности I Думы он приветствовал усилия депутатов из числа так называемых беспартийных прогрессистов по объединению своих сторонников. Он был близок к деятелям Партии мирного обновления, являясь на протяжении 1906 — начала 1907 года участником встреч и совещаний лидеров «мирнообновленцев» и ПДР. Лично знакомый с графом Петром Александровичем Гейденом, Скалон не раз виделся с ним «по партийным делам».

Внезапная смерть 19 апреля 1907 года, в один из приездов в Москву, оборвала дела и замыслы В.Ю. Скалона. Коллеги и друзья, характеризуют его как «крупную силу и славного человека», выражали убежденность в том, что Скалон как «практический земец, земский публицист, ученый исследователь русского земства никогда не будет забыт в истории нашего времени».

В.Ю. Скалон принадлежал к плеяде общественных деятелей, сформировавшихся в эпоху Великих реформ Александра II. До конца своих дней эти люди оставались хранителями идей прогресса на путях «мирного обновления» и общественной солидарности, защитниками идеи сильного государства, последовательно осуществляющего принцип социальной справедливости. Этим объясняется их «невписываемость» в жесткие рамки известных идейных направлений. «Западник, конституционалист, демократ» (Б.Б. Веселовский), «либерал-народник» (П.Б. Струве) — каждая из характеристик Скалона, данных ему сочувствующими современниками, содержит «зерно истины». Пожалуй, наиболее полная картина его своеобразного политического мировоззрения представлена в воспоминаниях А.Н. Максимова: «У него были нотки сочувствия славянофильству, и в то же время он был убежденным конституционалистом в самом подлинном смысле этого слова. Его можно было бы назвать до известной степени не только государственным, но и националистом, но его на-

ционализм свободно уживался с признанием чужого права, и потому он все время был горячим защитником неприкосновенности финляндской конституции от посягательств русской бюрократии, а в эпоху 1900–1905 годов одним из первых, и притом самым решительным образом, высказался в пользу автономии Польши. Он не был демократом в прямом смысле этого слова, но у него были самые подлинные и искренние симпатии к крестьянству, и последнему он уделял главную роль в будущем строительстве жизни России. Представитель в общем более умеренных оттенков политической мысли русского общества, он, однако, отнюдь не был в то же время и представителем буржуазного либерализма».

Подчеркивая многомерность и неоднозначность политического «направления» Скалона, Максимов считал необходимым заметить, что это своеобразие не имело ничего общего с «расплывчатостью или неустойчивостью» взглядов: «Человек, много читавший и много думавший, он хорошо проработал свою программу, и она действительно представляла у него нечто целостное, где все части были хорошо прилажены друг к другу и крепко спаяны между собою. К этому надо прибавить, что он был глубоко убежденный человек, умевший энергично отстаивать свои взгляды... Оставаясь всегда самим собою, стоя несколько особняком и не примыкая ни к одному из руководящих течений русской политической мысли, он тем не менее играл крупную роль в общественном движении своего времени и пользовался большим авторитетом».

«В общем, В.Ю. Скалон не дал всего того, что он мог бы дать и чего от него можно было бы ожидать»: подводя черту своим воспоминаниям о соратнике, Максимов указывал как на одну из причин жизненного итога Скалона недостаток у него «боевого темперамента», особенно в последние годы жизни. Однако главным препятствием для самореализации Скалона Максимов называл отсутствие надлежащего «простора для работы»: «Таким людям, как Скалон, было труднее всего развернуться при старом режиме, потому что и по своим взглядам, да и по своему характеру они больше всего тяготели к непосредственной практической работе, к прямому строительству жизни, а именно эти пути и были крепче всего закрыты. Свою молодость Скалон отдал земству, единственному уголку русской жизни, где старое самодержавие оставляло хоть маленький простор для практической работы. Но и от земской деятельности Скалон был отстранен в расцвете лет... Правда, Скалон оставался публицистом и почти до последних дней не покидал пера, но людей его типа литературная деятельность не могла удовлетворять полностью, потому что для них всего важнее было непосредственное претворение слова в дело...» «Не будем, однако, задаваться вопросом о том, что мог бы сделать В.Ю. Скалон при других условиях политической жизни, — завершал свои рассуждения о сподвижнике Максимов, — а удовольствуемся тем, что он действительно сделал. Этого достаточно, чтобы сохранить о нем теплую память».

В.Ю. Скалон был похоронен в своем имении Михайловское Ярославского уезда Ярославской губернии; могила его не сохранилась.

«В местном самоуправлении лежит вся будущность нашей страны...»

«Несостоятельность
правительства
и несостоятельность
общества...»

«Краеугольный камень — правда, правда во всем... Искать ее, добиваться ее, вносить ее с собою, выражать и проводить ее — вот истинная цель всех деяний наших, нашего труда...» Несмотря на ее пафос, эта запись в дневнике князя Владимира Михайловича Голицына (1847–1932), московского губернатора (1887–1891) и московского городского головы (1897–1905), вполне адекватно выражает жизненное кредо автора, характеризует стиль его административной и общественной деятельности. Потомственный дворянин, представитель прославленного в российской истории рода, он родился в Париже 10 июля 1847 года, сохранив на всю жизнь особое отношение к этому городу — «камертону мировой культуры», средоточию «всех лучей света человеческого просвещения».

Выпускник естественного отделения физико-математического факультета Московского университета (1869), Голицын превыше всего ценил научное знание. «Истинным своим призванием» он считал «определение растений и вообще флористику», с неослабевающим интересом занимался этим на протяжении всей жизни. В 1906–1907 годах он представил результаты своих исследований на суд научного сообщества, опубликовав ряд статей в «Трудах Ботанического сада Императорского Юрьевского университета». Профессиональный интерес к ботанике сочетался у него с любовью к художественной культуре, а также с обширными познаниями в области истории и философии. Огромная эрудиция, любовь к размышлениям над проблемами человеческого бытия и путями общественного развития, тайнами природы и мироздания — все это подкрепляло Голицына и как мыслителя, обеспечивало глубину и проницательность его взгляда на ход истории.

Определяющую роль «в судьбах народов и государств» В.М. Голицын отводил не «деяниям человеческим», а исключительно идеям («их развитие, последовательному росту, степени восприятия их народами»), полагал, что «эти идеи руководят народными вождями; и вождями они могут быть названы лишь постольку, поскольку олицетворяют в себе и собою эти идеи». По его мнению, невозможно «искусственными преградами остановить рост и развитие идей, вмещающих в себя стремление к свету,

к благу, регулировать их течение и распространение, установить для них нечто вроде цензуры», так как «это сила, подобная воздуху или воде, которая ничему не подчиняется». Среди такого рода идей («идеи о правах личности, о свободе личности и собственности и многие другие») Голицын отводил центральное место «идее о прогрессе» как «истинному рычагу человеческого бытия» («жребий человека, лица и коллективности — развиваться, совершенствоваться, просвещаться... противодействие этому, борьба с этим превышают силы человеческие»). Заявляя о своей вере в прогресс («вере абсолютной, не допускающей принципиального сомнения в его силе, какие бы единичные факты ни показывали противного»), он считал служение прогрессу «истинной задачей общественного и государственного деятеля...».

«А что мы видим у себя? — восклицал Голицын. — Отрицание прогресса, самой его идеи, желание бороться с нею... Какая праздная мечта! Думающие так справедливо видят в прогрессе источник или начало кризиса и переворота, но нельзя победить его борьбою, а можно только руководить им». «Идеалы человечества должны быть впереди, а не позади, — убежденно заявлял князь. — Объект этих идеалов, их цель — созидание будущего, а не воскрешение прошлого, стремление вперед, а не задержка сзади. Мы призваны жить и работать с живыми людьми и для них, а не для мертвых и с ними. А многие не хотят это понять... Мы упрямо держимся своей слепоты и продолжаем верить в какие-то фантастические палладиумы, вроде русского строя, русской самобытности. Полнейшая негодность всего этого ясно доказана, и держаться этого — значит идти навстречу новым кризисам, еще более сложным, еще более острым».

В.М. Голицын указывал на «истинное значение повсеместного общественного движения», которое «уже не простое отрицание, не стремление к разрушению, а одушевлено желанием, — и это-то и создает его силу, — новых форм общества и государства». Глубокое впечатление на него произвела теория Г. Спенсера «об аналогии общества и государства с живым организмом». Странник общественной солидарности, князь выражал стремление «обстоятельно изучить» явление, «происходящее во Франции и носящее название *mutualité* (и по-русски подходящего слова нет!)». По его мнению, данное явление свидетельствовало о выработке «общественно-экономического начала, рационального и правильного, на котором создадутся постепенно формы будущего строя, общественного и государственного».

Голицын был убежден в том, что защита прав и свобод личности ни в коей мере не противоречит заботе об «общем благе», причем общее дело — выше частных, групповых интересов. А потому «сила — в единении», поскольку личность есть не что иное, как орудие в руках судьбы, «а все делается и совершается либо трудом коллективным, либо силою обстоятельств, не зависящих от воли человека». Заявляя о том, что «будущее — удел социализма», князь выражал «глубокое сочувствие» к одной

из «формул» этого учения — «возможно большее благо для возможно большего числа людей». В ней, по его словам, заключалась «высочайшая цель человеческого труда, деятельности государства, общества и отдельного лица». Вместе с тем он полагал, что все предлагаемое социалистами для применения на практике этой «формулы» является «либо исключительно теоретическим, безжизненным, либо исключительно же отрицательным, разрушительным». «А и то и другое одинаково противоречит самой задаче, ибо она имеет целью — жизнь, бытие, реальное. Много пройдет времени, пока это не выработается», — предвидел Голицын.

За несколько лет до революции 1905–1907 годов он свидетельствовал о возрастании самосознания русского народа, считал первоочередными задачами внутренней политики аграрно-крестьянский вопрос, меры по развитию народного образования, обеспечение «безусловного равенства» для всех в сфере правосудия. Признавая важность духовной составляющей в общественных преобразованиях, Голицын был убежден в том, что «должно стремиться к примирению веры с разумом на почве религиозного самосознания». Главным условием для этого он считал «предоставление широкого простора разуму, а, стало быть, и знанию», следствием же — «право индивидуализации религиозного самосознания», которое нельзя «замыкать в тесные, раз навсегда установленные, неподвижные рамки». Вместе с тем, оценивая состояние церковной организации в России, князь приходил к заключению, что «появление нашего Лютера не должно долго себя заставить ждать», поскольку «церковное управление дошло у нас до состояния полного упадка и разложения».

Голицын критически относился к русской аристократии, чиновничеству. Он выражал сомнение в готовности верховной власти к осуществлению ее исторической миссии, указывал на отсутствие последовательности в деятельности правительства («система обратного хода»), его пристрастие к полумерам. Характеризуя опасную традицию отношения «верхов» к общественности, князь замечал: «История России есть борьба царской власти с Россией... Во все эпохи, за весьма немногими исключениями, обществу отказывалось в какой бы то ни было самостоятельности, всякие ее проявления считались чуть не революцией». В дискуссиях на тему о том, «обязана ли Россия своей силой самодержавию, или она создавалась, несмотря на это», Голицын склонялся к последнему варианту ответа. Он не считал «образ правления случайным явлением, не имеющим органических связей с характером, духом и потребностями народа». По его мнению, пример Германии и Америки свидетельствовал о том, что «образ правления вырабатывается народом на своих исторических основах, и в силу этого он представляет прочную гарантию народного строя, народного развития и культуры». «Когда же образ правления создается самим правлением, ради его собственных, личных, так сказать, потребностей и интересов, без внимания к характеру народа, то является царство произвола, случайности, грубой силы или столь же грубого бессилия», — так Голицын объяснял происхождение самодержавия.

Князь негодовал по поводу распространенного мнения о том, «будто бы русский народ не дозрел до какого бы то ни было политического строя»: «Да при царствующем режиме он никогда до этого не дозреет! Отсутствие всякого гражданского воспитания и боязнь его, неуважение к закону, к личности и к собственности, систематически проводимое в нашу жизнь ради охраны общественной — читай, своей собственной — безопасности, страх перед всяким просвещением и развитием, полицейская опека над каждым шагом — да разве все это может воспитать народ, может ли породить в нем что-либо иное, кроме озлобления, ненависти, и притом тупых, диких? Великий грех лежит на тех деятелях, которые на этом основывают государственный быт наш».

Сравнивая переживаемую Россией эпоху с периодом накануне Великой французской революции, Голицын приходил к выводу о неизбежности революции в России, сочувствовал росту общественного недовольства правительственной политикой («гражданские права народов завоевываются ими самими и не даются извне»), в частности, одобрял деятельность П.Б. Струве как издателя журнала «Освобождение». В 1900 году он заявлял о себе как о стороннике конституции. Выражая поддержку идее конституционной монархии, князь критически отзывался о «монархиях единоличных», в которых «преобладание всегда имеют ничтожные люди из-за своей угодливости и удобства обращения с ними, особенно же когда глава — ничтожество». «Как ни много недостатков заключается в парламентаризме, а все же он предпочтительнее всяких охран, единых властей и прочих прелестей нашего режима», — указывал он, полагая, что незавершенность выработки «окончательной формулы народовластия, даже в Англии» несколько не умаляет достоинств парламентского строя.

«Культурный багаж» В.М. Голицына, искренность и порядочность, активная гражданская позиция определяли притягательность его личности в глазах многих окружающих, способствуя и служебным успехам. Камергер (с 1888 года), действительный тайный советник, он посвятил свои труды обустройству московского управления и самоуправления. Голицын был избран гласным Московской городской думы, когда ему было 26 лет, и продолжал исполнять эти обязанности на протяжении 35 лет (1873–1908), участвуя и в работе губернского земства. Солидный опыт был приобретен им на посту московского вице-губернатора (апрель 1883 — май 1887 года), затем — губернатора (май 1887 — декабрь 1891 года).

Общественная деятельность Голицына всегда отличалась многообразием и насыщенностью. Почетный мировой судья в Москве (1894–1908), он был инициатором образования, членом и главой многих благотворительных заведений, разного рода комитетов и обществ: председатель Попечительского совета Третьяковской галереи (с 1899 года), товарищ почетного председателя Комитета по устройству Музея прикладных знаний (Политехнического) в Москве (с 1895 года), член попечительских советов Московского городского народного университета имени А.Л. Шанявского

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

(председатель — с 1912 года), Высших женских курсов, Мазуринского приюта, член Комиссии по устройству Бахрушинского приюта-колонии и др.

«Звездным часом» В.М. Голицына стало пребывание в должности московского городского головы — с апреля 1897-го до конца октября 1905 года. Его стараниями была проведена широкомасштабная модернизация городского хозяйства (водоснабжение, канализация, транспорт и др.), обеспечены рост и качественное обновление социально-культурной сферы (здравоохранение, общественное призрение, образование, культура). С конца 1890-х годов муниципальные предприятия впервые стали доходными. По инициативе Голицына к 1901 году был реконструирован Мытищинский водопровод, а в январе 1904-го завершено сооружение нового, Москворецкого (в целях усиления санитарного контроля за качеством воды с октября 1903 года велась работа по установке английских фильтров). Приметой того времени стали расширение и муниципализация трамвайной сети, осуществлялся переход с конной тяги на электрическую. Развитие городских железных дорог происходило с учетом расселения москвичей и удобства сообщения между разными районами Москвы. С именем Голицына связана реконструкция старых и строительство новых мостов, постепенная замена керосиновых фонарей электрическими и газовыми, появление (в 1890 году) нового московского района — Сокольники. В 1903 году Дума ввела бесплатное лечение для постоянных жителей Москвы. При Голицыне же впервые было обеспечено всеобщее начальное образование для москвичей, создана сеть бесплатных городских библиотек. Во многом финансирование городских программ осуществлялось за счет частных пожертвований. Причем приток этих денег в городскую казну был самым большим именно при Голицыне — благодаря его авторитету среди деловой элиты. Немалые заслуги принадлежат ему и в развитии музейного дела в Москве. В частности, он способствовал принятию П.М. Третьяковым решения о передаче Москве своей знаменитой галереи. Под руководством Голицына как попечителя галереи была проведена реконструкция здания, воздвигнут ныне существующий фасад по проекту В.М. Васнецова, коллекция пополнилась картинами. Галерея работала триста дней в году, посещение ее было бесплатным.

Даже этот далеко не полный перечень заслуг В.М. Голицына в качестве городского головы характеризует его как действительно эффективного руководителя, управлявшего восемь с половиной лет Москвой, которая уже в то время была «городом-миллионником». Князь представлял собой новый, нехарактерный для России тип администратора, выкристаллизовавшийся на рубеже XIX–XX веков как закономерный ответ общества на вызовы времени. Его стараниями Москва превратилась в источник передового опыта городского самоуправления. По словам Голицына, даже во «враждебных» ему сферах (к ним принадлежал, например, московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович) признавали, что он «небывало высоко поднял престиж городского управления». Московская городская дума, в знак заслуг своего руководителя, в ноябре

1905 года избрала его почетным гражданином города Москвы и заказала В.А. Серову его портрет, размещенный впоследствии в зале заседаний Думы (время создания картины, согласно дневниковым записям князя, — с 1 декабря 1905-го по 17 апреля 1906 года). Выйдя за пределы хозяйственных полномочий, Московская городская дума превратилась тогда в один из центров либеральной оппозиции в России.

«Фирменный» деловой стиль В.М. Голицына обусловил и его характерные черты как политика. Прежде всего это безусловное отрицание авторитарных методов руководства. Определяя основные черты своей «натуры», неизменные со времени «самой далекой, самой ранней юности», князь заявлял: «Всеми силами души своей я ненавижу деспотизм, какой бы он ни был, откуда бы он ни исходил и в чем бы и как бы он ни проявлялся, деспотизм государственный, анархический, личный и всякий иной. Ненавижу я мрак, произвол, злобу, вражду, безразлично, какого бы ни были они происхождения и в чем бы они ни проявлялись. Наоборот, безгранично — скажу, безумно — люблю я свободу, знание, свет, дарование, поэзию».

«„Поменьше опеки, побольше свободы и самостоятельности“ — вот что должно бы лежать в основе нашей жизни и нашего развития!» — эти мысли князя В.М. Голицына звучат рефреном на страницах дневника, который он вел в течение 67 лет (с 1865 года). Современники отмечали, что Голицын предпочитал строить свою управленческую деятельность на основе предоставления широкой инициативы и полномочий гласным Московской городской думы, благодаря чему «при нем общественная работа развивалась больше, чем при его предшественниках». Он соглашался с определением его как «человека компромиссов», полагал, что это «один из лучших комплиментов, какой можно сделать общественному деятелю», поскольку «вся эта деятельность зиждется на соглашениях, и это мы видим в любом парламенте, но почему-то у нас вкоренено предубеждение, что компромисс есть сделка, не всегда чистая... Это совершенно неправильный взгляд на дело, и своим опытом и своим примером я показал, что путем своевременных компромиссов можно многого достигнуть, и с успехом. А ломать копыя, рубить сплеча — никогда не ведет к цели». В то же время князь предостерегал соратников от тяготения к «золотой середине», которую трактовал как «приверженность к полумерам, чтобы не сказать к посредственности».

Категорически неприемлем для Голицына был взгляд на служебные обязанности как на «способ к прислуживанию, карьере, к материальным выгодам». Он признавал своей заслугой на посту городского головы умение «парализовать зловерное течение», когда «коллективный труд отравляется личными соображениями, интересами, страстями даже... а самое дело, во имя которого этот труд предпринят, как бы отодвигается на задний план». Для него, всегда придерживавшегося правила «быть, а не казаться», понятия идейности, принципиальности, порядочности, патриотизма не обозначали «парадные» ценности, а были наполнены глубоким смыслом.

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

Пик политической деятельности В.М. Голицына совпал с подъемом освободительного движения в России, начиная с осени 1904 года. У него не было сомнений в том, что спусковым крючком революции 1905–1907 годов послужила Русско-японская война («преступная, безумная эпопея»). Еще в 1890-е он предсказывал неизбежность переворота («в смысле свободы и падения чиновничьего самодержавия и произвола») вследствие «толчка извне». По мнению Голицына, военная ситуация диктовала правительству необходимость вступить «на путь требуемых реформ и громко призвать все общество к содействию и труду в этом направлении». «Мы забыли уроки истории, — замечал князь, — а они нам говорят, что во всякой войне побеждает тот, у кого дома все в порядке». Голицын тяжело переживал сведения о потерях русской армии, в мае 1905 года был потрясен гибелью 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала З.П. Рожественского (хотя и признавал, что «иначе быть не могло»): «Я не мог читать подробности. Сколько погибло молодежи, здоровой, начинающей только жить!.. А находятся люди, которые стоят за продолжение войны. Слепцы или безумцы — трудно определить». В связи с разразившейся трагедией Московская городская дума приняла («громадным большинством») резолюцию «о немедленном созыве представителей». «Черноморские события показывают, до чего развращены наши ведомства, военное и морское. Такого позора нигде и никогда не было», — записал вскоре Голицын, уже в связи с восстанием на броненосце «Князь Потемкин Таврический» в июне 1905 года. Он считал долгом Московской городской думы организацию помощи больным и раненым воинам, а также выдачу пособий их семьям, сам лично явился одним из создателей приюта для беспризорных детей, оставшихся сиротами.

В период Русско-японской войны значительно усилились антивоенные настроения Голицына. Разделяя уверенность в том, что «мир — это правило народной и международной жизни, а война — исключение», он заявлял о себе как об «убежденном пацифисте». «Только один род войны, или скорее — борьбы, я допускаю, — писал князь. — Это восстание народа во имя свободы и самостоятельности». По его мнению, категорически неприемлем взгляд на войну как «орудие цивилизации», движущую силу общественного развития. Глубокое возмущение вызывала у него трактовка изобретений новых «орудий смерти» как свидетельства прогресса. «Какое издевательство! Какая глупая насмешка над здравым смыслом! — восклицал Голицын. — Неужели знание, изобретательность, труд человеческий могут иметь подобные цели?.. Как понимаю я психологию Нобеля, основавшего крупную премию во имя мира из раскаяния об изобретении динамита! Это высокогуманитарная черта, достойная подражания...»

Оспаривая выдвигание историками на первый план «войн, разбоев, придворных интриг, светских мелочей», Голицын призывал «отрешиться от этих обветшалых взглядов, противоречащих разуму человеческому и чувству справедливости», и признать, что «истинная летопись человечества» заключается в «умственной жизни народов и отдельных людей,

истории просвещения и прогресса». Этим объяснялась его особая тяга к изучению трудов по истории литературы и науки, а также биографий «великих мыслителей, творцов слова и тружеников науки». «Я люблю всех, кто трудился над развитием умственной жизни, просвещением и совершенствованием человечества и водворением счастья, света и свободы, и, наоборот, ненавижу всяких завоевателей, героев народных эпосов, слава которых окрашена кровью, — писал князь. — Исключение одно — Наполеон, но в нем я вижу олицетворение идеи обновления отжившего мира».

В декабре 1908 года, по предложению кн. П.Д. Долгорукова, В.М. Голицын вступил в Лигу мира. Свои надежды в деле установления «всеобщего мира» он связывал не с «правительственным почином вроде Гаагского конгресса», а прежде всего с широкой проповедью антимилитаризма в народных массах («тогда все эти вооружения и ополчения сами собою падут»). «Но пока судьбы народов и стран находятся в руках чиновников и фельдфебелей, такого не дождешься», — признавал он.

«Я не верю в нашу мощь, в наш разум, не верю, поэтому, в нашу победу, но душа болеет и терзается при виде того, до чего довели бедную, многострадальную Россию, в какую пропасть втолкнули ее мнящие себя патриотами вершители ее судеб. И вот в этой боли, в этих душевных терзаниях звучит моя любовь к родине как идее, как представлению о чем-то близком, дорогом, что исковеркано, испорчено, развращено, в чем все хорошее, все святое нарушено, сломано», — выражал Голицын свое понимание патриотизма. Не раз возвращаясь к данной теме, он утверждал, что «патриотизм — это то, чего у нас нет, что из нас исчезло, т.е. любовь к Отечеству, как идея, стремление видеть его счастливым, растущим, совершенствующимся, сильное содействие ему, самоотверженное и идейное, и т.д. Долгие годы под словом „патриотизм“ разумелась слепая приверженность к существующему строю, воплощение его в носителях этого строя, смешение идеи об Отечестве с идеей о власти. Когда эта власть, этот строй показали полную свою несостоятельность, этого рода патриотизм исчез, а настоящего, идейного, истинной любви и привязанности к родине налицо не оказалось. В нас не воспитывали патриотов, а плоды этого мы видим теперь...»

Голицын заявлял, что в нем «нет и тени» патриотического чувства в смысле «возвеличения своего отечественного и, рядом с этим, унижения и даже отрицания всего чужого». Не приемля подобного рода «мелочный патриотизм», он склонялся к тому, что «в нас первенствовать должен не гражданин, а человек, не патриот, особенно в узком смысле этого слова, а филантроп в смысле любви к человечеству». «Сама жизнь народная и международная выдвинет на первый план интернационализм, равенство и братство народов», — предсказывал Голицын. Разъясняя свою позицию, князь подчеркивал, что этим вовсе не исключается любовь к Отечеству, «служение ему до самопожертвования». Задаваясь же вопросом, «справедливо ли называть антипатриотизмом то чувство озлобления, пре-

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

зрения, которое мы (говорю я не об одном себе) чувствуем по отношению к современной России, к ее положению, до которого ее довели многолетний режим, слепота и эгоизм», Голицын приходил к выводу о том, что «презрение к строю современному есть симптом искренней любви к Отечеству». Характеризуя «уродства так называемого патриотизма», Голицын обращал внимание на то, что «патриоты эти жмурят глаза перед действительностью и не видят, что она поставила Россию на край гибели, чему этот патриотизм немало способствует». «Я могу назвать себя антипатриотом в том смысле, что ненавижу этот режим и введших и поддерживающих его, а патриотом — в том, что беспредельно люблю Россию, но ту, которая представляется мне в моих идеалах. Из сопоставления этих двух чувств проистекают жестокие душевные страдания», — эта мысль не раз звучала на страницах дневника князя.

Подчеркивая важную роль Русско-японской войны в разрастании революционной смуты, Голицын при этом был убежден в том, что революция явилась прежде всего закономерным итогом внутренней политики Александра III и Николая II. По его словам, «ошибаются те, кто видит в охватившем нас общественном движении нечто случайное, вызванное беспокойными умами или преступными внушениями. Движение это есть неизбежный логический плод царствовавшего у нас в течение 24 лет режима». За исключением «первых годов Александра II», Голицын определял историческую роль русских самодержцев как «отрицательную, вредоносную, противную смыслу, истории, реальным потребностям России». Голицын и впоследствии не изменил своего мнения о причинах революции: «Смешно и грустно вспоминать теперь разговоры и суждения об устоях, о земле и проч. Эти „устой“ показывают теперь себя, и горько ошибаются те, кто воображает, что переживаемые нами явления — плоды пропаганды, агитации. Это прямые результаты векового режима, который царствовал у нас, но, главным образом, того, который водворился за два-три последних десятилетия». Высоко оценивая Великие реформы 1860-х годов, он замечал: «С той минуты, когда Россия, двинутая было в одном направлении к свету и свободе, насильно повернута была по обратному пути и последовательно тащилась по нем чиновничьими руками, нельзя было не предвидеть, к чему и куда это приведет... Можем ли мы обвинять молодежь, профессоров, учителей, когда сами мы их развратили? Можем ли порицать земцев и общественных деятелей, когда мы же их сбили с пути? Надо взглядеться, как жили мы, особенно с 1881 года, под каким гнетом нас держали, как умышленно заграждали всякий свет во имя благонадежности или усиленной охраны. Вот и пожинаем мы теперь плоды всего этого, и удивляться тут нечему...»

«После царствования Александра II, понимавшего, что надо идти в уровень своего времени и его требований, последовало царствование тупого эгоиста, в свою очередь замыкаемое бесхарактерным мистиком, не знающим, что делать и куда идти. Это последнее совершенно объясняет все то, что ныне происходит у нас и чему выхода нет, кроме радикальной пере-

мены всей системы правления», — такой представлялась В.М. Голицыну внутренняя логика развития драмы российской истории в пореформенный период. «Радуются рождению Наследника. Напрасно...» — предрекал он еще в 1904 году.

«Был у нас Николай первый, теперь у нас Николай последний», — в этой «остроте, привезенной из Петербурга», В.М. Голицын видел «удачное отражение настоящего нашего положения и будущности». «Наш убогий Государь», «тщедушный и двуличный монарх» — таким предстает на страницах дневника образ последнего российского императора. «Наше несчастье в том, что неограниченная власть находится в руках более чем ограниченного человека», — подчеркивал Голицын трагизм ситуации.

«Продвинуть дело обновления во имя свободы настолько далеко, чтобы возвращаться уже нельзя было», — на подъеме революционной волны в 1904–1905 годах именно в этом В.М. Голицын видел гарантию от возврата к «прежней „охране“ со всякими ее прелестями». По его мнению, «небывало благоприятная минута для поворота к свету» настала при министре внутренних дел кн. П.Д. Святополк-Мирском. Приветственная речь московского городского головы в его адрес, произнесенная в Думе 21 сентября 1904 года, вызвала широкий общественный резонанс и «громадное возвышение» авторитета Голицына. «Похоже, что я дал толчок весьма крупному движению», из которого, «будь оно единодушным и общим, что-нибудь и выйдет», — замечал он, последовательно и с нарастающей энергией продолжая продвигать идею о необходимости конституции и созыва народных представителей через Московскую городскую думу, на земско-городских съездах 1904–1905 годов, в обращениях к представителям верховной власти.

Особую роль в истории русского освободительного движения начала XX века сам В.М. Голицын отводил акции Московской городской думы, состоявшейся 30 ноября 1904 года. Тогда группа прогрессивных гласных (при поддержке городского головы) внесла на голосование документ («заявление 44-х»), содержавший демократические требования (ограждение личности от внесудебного разбирательства, отмена исключительных законов, обеспечение свободы совести, вероисповедания, слова, печати, свободы собраний и союзов), в том числе пожелание «провести вышеуказанные начала в жизнь на обеспечивающих их неизменность незыблемых основах, выработанных при участии свободно избранных представителей населения; установить правильное взаимодействие правительственной деятельности с постоянным, на законе основанным, контролем общественных сил над законностью действий администрации». Выполняя предложение гласных довести до правительства мнение Думы по вопросам, которые она считает неотложными, В.М. Голицын направил министру внутренних дел уведомление о постановлении, принятом московским городским самоуправлением 30 ноября 1904 года.

Инициатива московских гласных получила масштабную общественную поддержку. Солидарность с принятыми резолюциями выражали многие города, объединения интеллигенции. В письмах и телеграммах на имя

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

В.М. Голицына его называли «поборником лучших начал самоуправления», «светлым борцом чести и правды». Однако со стороны властей последовала негативная реакция на почин Московской городской думы. Губернатор Москвы Г.И. Кристи приостановил постановление Думы, которое было передано на рассмотрение в губернское по земским и городским делам присутствие, отменившее постановление как «превышающее круг ведомства городского самоуправления». Данное решение присутствия было, в свою очередь, отменено 24 января 1906 года указом Правительствующего сената, куда Голицын отправил жалобу на вердикт губернского присутствия. Министр внутренних дел А.Г. Булыгин (доводившийся Голицыну свояком) предписал московскому градоначальнику предупредить князя о возможности привлечения его к уголовной ответственности за должностные преступления. Но министру не удалось напугать городского голову. В письме Булыгину Голицын не скрывал своей уверенности, что «Московская городская дума не останется равнодушною ко всему происходящему в настоящую минуту». Осознавая свою ответственность «за течение дел в Московской думе», князь указал Булыгину на «неизбежность... возникновения в составе Думы... вопросов и стремлений», касающихся государственного устройства, которые он будет допускать к обсуждению. Активная деятельность Голицына по отстаиванию думского решения не увенчалась тогда успехом. Впоследствии он неоднократно вспоминал акцию Городской думы как упущенный верховной властью шанс «мирного обновления» России: «О, если бы правительство послушалось нашего постановления 30 ноября 1904 г. и тогда еще принялось честно и откровенно созидать народное представительство. Картина теперь была бы совсем иная! Во всем, что происходило с того времени и что происходит ныне, оно одно виновато, а отнюдь не общественные деятели...»

«Что бы было, если бы вместо платонического постановления Городской думы 30 ноября в то время введена была настоящая конституция? — размышлял Голицын вскоре после роспуска I Думы. — Я уже не говорю о более ранних эпохах, когда такой шаг был бы естественным развитием реформ Александра II и когда конституционный строй „исторически“ сложился бы на наше благо. Я глубоко убежден, что даже 1½ года тому назад такая конституция, т.е. парламент и ответственное правительство, могла бы быть якорем спасения нашего». Голицын не раз подчеркивал, что именно осенью 1904 года «была минута», благоприятная для осуществления «издавна лелеянного» им идеала (конституции), но «мы ее проглядели, и притом мы все». Он обвинял «верхи» в нежелании и неумении вовремя привлечь к совместной работе «умеренных и знающих» общественных деятелей: «...правительство предпочло втолкнуть всех нас, без разбора, в ряды опасных, неблагонадежных, чуть не революционеров».

«Мы вступаем в эру анархии и революции и двигаемся в ней исполтинскими шагами», — записал Голицын 4 января 1905 года. Анализируя события начала этого года, он замечал, что «толки о Земском соборе» (законосовещательном народном представительстве) никого не удовлет-

воряют, «ибо одни находят, что это слишком много, другие — что слишком мало». «По-моему, лишь бы и это осуществилось, а там само собою выработается и создастся нечто очень крупное», — выражал князь свою приверженность «мирному обновлению», эволюционному пути развития.

Вместе с тем государственные акты 18 февраля 1905 года (Манифест, указ Сенату и Высочайший рескрипт на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина, в котором объявлялось о намерении «привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений») Голицын характеризовал как «набор громких, но пустых фраз». Несмотря на отсутствие у «верхов» серьезного настроя на перемены, его не покидала надежда на осуществление «мечты о народном представительстве»: «Надо схватиться за даваемое и поднять такой вихрь, какого еще у нас не было видано, какой потом задержать или остановить нельзя будет никакими мерами...»

«Мир [с Японией] и широкая свобода внутри», — на этих путях Голицын видел улучшение ситуации в стране. 11 марта 1905 года он возглавил депутацию, представившую А.Г. Булыгину ходатайство Московской городской думы о том, чтобы в состав Особого совещания для разработки Положений о всероссийском выборном учреждении были включены выборные представители от Думы, а печатные издания могли бы свободно обсуждать вопросы, рассматривавшиеся Совещанием.

Современники также ставили в заслугу В.М. Голицыну то, что на Общероссийском съезде городских деятелей (Москва, 15–16 июня 1905 года) он в качестве председателя поддержал обсуждение еще не обнародованного тогда проекта «булыгинской» Думы. На съезде впервые было публично произнесено слово «конституция». В резолюции признавалось неотложным «введение в России народного представительства на конституционных началах, т.е. предоставление народному представительству решающего голоса в вопросах законодательства, государственного бюджета, ответственности министров и контроля над действиями администрации, а равно права законодательного почина». Кроме того, документ содержал требование немедленного введения неприкосновенности личности, жилища, свободы слова и печати, права союзов и собраний, а также восстановления в правах всех лиц, пострадавших за свои политические и религиозные убеждения. По поручению участников съезда Голицын представил принятые постановления в Совет министров и «на Высочайшее Государя Императора благовоззрение», однако это не повлияло на решения верховной власти.

«Свобода есть право каждого жить и действовать без нарушения чужой свободы и без ущерба общественному строю, в свою очередь свободному», — такова, по словам Голицына, «основная формула общественного быта», которая должна определять государственную политику. «Чем более личность находится под опекой, тем народы неразвитее, и благосостояние идет по ложному пути»; отмечая данную закономерность «во всех странах

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

и во все эпохи», он считал наиболее показательным пример двух «народов, стоящих во главе человечества»: Англии («обеспечившей свободу личности еще в средние века») и Америки («сделавшей то же в более новейшие времена»). Князь видел еще одно объяснение передовых позиций англичан и американцев — в их особом отношении к своему прошлому: «...традиции у них есть, но они не стесняют их, или, скорее, они ими не стесняются...»

При этом Голицын с досадой отмечал особенность «развития нашего мирозерцания»: «...в воспитании молодых поколений отличительную черту составляет стремление сохранить прошлое, какой-то предвзятый традиционализм, а вовсе не будущее, не подготовка себя и других к нему. Мы не решаемся сказать себе, что продолжение прошлого невозможно, что жизнь идет вперед, предъявляет все новые и новые требования, на которые мы должны быть готовы ответить, а удовлетворять этим требованиям с устарелыми средствами прошлого нельзя...»

В конце августа 1905 года, приветствуя подписание мирного договора с Японией («гора свалилась с души, кошмар исчез»), В.М. Голицын обращал внимание на то, что война «сослужила большую и благотворительную службу России: она раскрыла нам глаза на самих себя», произвела «пертурбацию в умах». Однако князь испытывал тревожные предчувствия по поводу того, сумеет ли, с одной стороны, общественность воспользоваться сложившейся в результате войны ситуацией, а с другой — «захотят ли там, чтобы мы этим воспользовались».

В конце сентября 1905 года, констатируя нарастание «брожения» в стране, он выражал серьезную тревогу по поводу будущего: «Отшатнув от себя умеренных прогрессистов-земцев, правительству теперь не на что опереться... Никто из нас не может предвидеть, к чему все это идет и чем оно разрешится». «Теперь уже идет не борьба против правительства, неспособного и несостоятельного, а междоусобие общества», — отмечал московский городской голова опасную тенденцию «вползания» страны в гражданскую войну. «Удивляешься при виде того, как у нас не умеют или не хотят понять, что свобода и обеспечение личности есть главная, если не единственная основа государственного и общественного благосостояния. Раз это установлено и прочно, все остальное на этой основе вырастет и разовьется. У нас же царствующий режим направлен на то, чтобы подавить личность, не выпускать ее из-под опеки, опутывать ее требованиями безопасности, охраны, благонадежности, т.е. делать из личности игрушку произвола, самого дикого, самого бессмысленного. Не замечают, что государство составляется из людей, а раз эти люди обращены в ничто, то и государства нет», — записал он в дневнике в октябре 1906 года.

Известие о Манифесте 17 октября 1905 года В.М. Голицын встретил с огромной радостью («Конституция обнародована!.. великий день для истории... возврата к прошлому нет») и одновременно — с тревогой за будущее («Надо поскорее опомниться, возвратиться к спокойствию и самообладанию и безотлагательно взяться за труд»). Однако этим надеждам

не суждено было сбыться. Уже 19 октября Голицын констатировал: «Общее настроение вместо радостного сделалось снова весьма тревожным благодаря усилиям революционных партий... Манифест уже как-то отодвинут в мыслях на второй план...» И следом (21 октября) — настоящий крик души: «Неужели наше общественное сознание так расшатано, что мы уже не в силах твердою ногой стать на открытый путь и следовать ему? Неужели мы способны только на предъявление требований, на гоньбу за идеалами, на отрицание, а раз требования получили удовлетворение, идеалы готовы осуществиться, дело принимает положительную форму, хотя, быть может, неполную и несовершенную, мы оказываемся бессильными и вновь требуем, идеализируем, отрицаем?»

Еще с весны 1905 года, отмечая раскол в земской среде и нарастание «раздрая» в рядах Московской городской думы, в октябре того же года В.М. Голицын вынужден был признать, наряду с «несостоятельностью правительства», еще и «несостоятельность общества, отсутствие в нем созидательных способностей, сознания положительных идеалов и путей к их осуществлению». Корень проблемы виделся ему в отсутствии «фактического центра» в политической жизни России, «а потому нет опоры ни для правительства, ни для общества»: «Все разбилось, все раздробилось, фактически движение находится в руках революционной партии... Нам, людям умеренным, нечего более делать, кроме удаления в жизнь замкнутую...»

Возлагая ответственность «за разрушение нашей бедной России («в котором все мы, от первого до последнего, виноваты») не только на власть, но и на общественных деятелей, Голицын в то же время разъяснял, что не следует считать это признание раскаянием со стороны своих соратников, «т.е. что, либеральничая, мы вдруг испугались того, что впоследствии»: «Мы, либералы-конституционалисты, наоборот, недостаточно смело и настойчиво действовали и говорили и, главное, слишком поздно, а потому торопливо начали свой поход». По его словам, этими «грубейшими, непростительными ошибками искренних либералов и конституционалистов» воспользовались «крайние»: сначала «левые», выхватив дело «из рук настоящих вождей», а впоследствии — «правые» («ради гонения на всякое подобное движение»).

Последним общественно-политическим актом В.М. Голицына на посту московского городского головы стала его реакция на похороны большевика Н.Э. Баумана. Князь не раз высказывался о сложности борьбы с революционным движением, поскольку «с этим последним очень легко смешать политическое, что представляется очень опасным». Возглавляемая им делегация гласных Московской городской думы ходатайствовала перед московским генерал-губернатором П.П. Дурново о том, чтобы полиция и войска не препятствовали проведению похорон. Во время прохождения траурной процессии через центр города сам Голицын и некоторые служащие Думы вышли с непокрытой головой на крыльцо городской управы. Эта акция была расценена властями как знак солидарности с революционерами.

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

25 октября 1905 года В.М. Голицын неожиданно для многих подал прошение о сложении с себя обязанностей городского головы (приказ о его увольнении вступил в силу 18 ноября 1905 года). Тяжело переживая свою оторванность от любимого дела и болезненно реагируя на укоры в «бегстве с поля боя», он называл главные причины нелегко давшегося ему решения. Помимо подрыва нервных и физических сил в течение последнего года работы в Думе, князь указывал на тупиковую для него ситуацию, фактически «вытолкнувшую» его из рядов активных политических деятелей: «Я стоял перед дилеммой: взять в руку красный флаг или сделаться агентом охранного отделения». Для него, всегда руководствовавшегося требованиями высокой нравственности, были неприемлемы новые «правила игры» — необходимость «вступать в известного рода сделки, плыть по течению». Совершенно не способный к метаморфозам подобного рода, Голицын характеризовал себя в этом смысле как человека, «отставшего от времени». «Нет, не малодушие, не страх, а именно разочарование, обманутые надежды, разрушение идеалов толкнули меня в уединение, в удаление от всего, в замкнутость келейную, отчужденную от всей этой оргии, которая охватила собою всё», — отмечал он в дневнике (декабрь 1905 года), приходя к выводу о том, что в беспросветной ситуации «убежище одно — человек сам для себя, его личный, обособленный мир, обставленный всеми сокровищами знания, науки, искусства». При этом Голицын неизменно оберегал себя от другой крайности — «отречения от интересов жизни, от связей с нею, опасности обратиться в мумию бездушную по отношению к современному...».

«Мы теперь очутились в революции и контрреволюции, и столкновение их друг с другом может быть чрезвычайно опасным», — записал В.М. Голицын в дневнике 22 октября 1905 года. Он сомневался в способности С.Ю. Витте («при всем его уме и даровитости») справиться со стоящими перед властью задачами: «Желающих помогать Витте не оказывается, а врагов много, и сплотились они». В ноябре 1905 года возможный выход из создавшейся ситуации виделся ему в том, чтобы «заседающему еще земскому съезду поехать *in cogroge* в Петербург и составить из себя, под председательством Витте, подготовительную Государственную думу, хотя бы только для производства выборов и для успокоения всякого рода движений».

Тогда же, потрясенный расправой над восставшими моряками («ужасные севастопольские события»), Голицын характеризовал положение в стране как «полную анархию» («там вверху совсем потеряли голову»), высказывал солидарность с мнением Д.Н. Шипова о «полной беспрограммности правительства». Осуждая правительство, князь в то же время был настроен весьма самокритично и не раз признавался в дневнике: «Многое, что вижу я теперь, для меня совершенно непонятно... Одни говорят, что начинаются умиротворение и усиление власти, другие — что начались анархия и разложение, и обе стороны, быть может, по-своему правы!» Подчеркивая трудность «распознавания действительных требо-

ваний жизни», для чего «нужны разум, окрашенный культурой, чувство, освещенное разумом», Голицын был убежден в необходимости для всех, и прежде всего для правительства, не «пребывать в иллюзиях», а «прямо и откровенно сказать себе, что начинается новая жизнь, общественная и государственная, наступают новые формы ее, к которым всем следует приспособляться, а не вести с ними бесплодную борьбу...»

«Безрассудность — с одной стороны, преступная несостоятельность — с другой», — так характеризовал он события, связанные с вооруженным восстанием в Москве в декабре 1905 года, приходя к выводу о том, что события эти «как нельзя лучше сыграли на руку реакционной части высших правительственных сфер, которым не надо искать теперь оправдания для всякого рода репрессий и задержки преобразований, не только предположенных, но даже и объявленных». «Досада берет, когда чувствуешь свое бессилие чему-либо помочь, в чем-либо принять участие», — записал Голицын 13 января 1906 года.

Откликаясь на уговоры соратников «выйти из затворничества», В.М. Голицын в то же время признавал, что «при общем разладе» партий, кружков и т.д. «трудно что-либо сделать». Констатируя «измельчание партий на кусочки, и притом не без участия личных интересов и стремлений», князь считал отсутствие солидарности «одним из признаков недостатка нашей воспитанности гражданской, гуманитарной или общественной»: «Мы основываем коллективные учреждения ради известных целей... мы расточаем громкие фразы о единении, общности целей, стремлений, интересов, а все же всегда и во всем остаемся чуждыми друг другу... Никому из нас нет никакого дела до другого, пока этот „другой“ или эти „другие“ самим нам не нужны для наших индивидуальных нужд и интересов. Равным образом в деле проведения в жизнь своих политических и социальных идеалов мы все идем врозь». Он обращал внимание на противоречие, лежащее в основе общественной жизни: «Теоретически вполне сознаем, что единение, братство, согласие должны быть коренным законом для людей в жизни их частной, общественной, народной. Но когда дело идет о практической действительности, мы считаем идею этого единения утопией и все свое бытие — частное, общественное и народное — основываем на борьбе, вражде и соперничестве». «Мастера мы судить, критиковать сделанное другими, даже насмехаться над этим, а создать положительное, свое собственное — этого мы не умеем»; Голицын замечал, что «нигде это так не очевидно, как в деятельности современных политических партий». По его наблюдению, «мы не миримся с мыслью, что прежний строй России исчез навсегда», что придает деятельности партий «какой-то отрицательный характер, ибо одни хотят воскресить мертвое, другие же борются против того же мертвого», а в результате «бесплодные старания — с одной стороны, столь же бесплодная критика и борьба — с другой не в силах что-либо создать в положительном, реальном смысле». «Наши партии оказываются сильными в отрицании ненавистного или враждебного им, во взаимных пререканиях и т.д. Спрашивается: если

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

которая из нас призвана была бы к власти, что будет? Прежде всего будет гонение на всё, что не подходит под ее понятия, затем она уперлась бы в стену, которая отделяет ее от беспредельно широкого поля положительного труда и которую она соорудила сама». В итоге Голицын приходит к выводу о том, что «правительство и враждебные ему партии одинаково забыли Россию, и все деяния той и другой стороны отодвигают ее назад, подтачивают ее. Благодаря этому вся жизнь ее остановилась и даже пошла назад...»

Оставаясь «беспартийным прогрессистом», В.М. Голицын занял среднюю позицию между крайними флангами русского либерализма (кадетами и октябристами), фактически примкнув к центристскому течению либеральной мысли и практики. Деятели этого направления отличало особое понимание политики: борьба за власть не была для них приоритетом. Они стремились донести до правящих верхов и общества свое видение решения общероссийских проблем, обозначить исключительную значимость в этом деле науки, образования («партия культуры»), сплотить единомышленников, развернув «над знаменами отдельных партий одно великое знамя русской свободы и законности». Наиболее яркое и последовательное воплощение идеи либерального централизма получили в деятельности партий «демократических реформ», «мирного обновления» и «прогрессистов», и князь В.М. Голицын был одной из наиболее крупных фигур в этом лагере.

В начале января 1906 года он поддержал инициативу московских «умеренно-прогрессивных» кругов из числа представителей известных московских предпринимательских династий, деятелей московского городского самоуправления, интеллигенции (А.С. Вишняков, Д.Н. Шипов, князя Е.Н. и Г.Н. Трубецкие, Н.Н. Львов, В.А. Бахрушин, А.С. Алексеев, Н.В. Давыдов, А.И. Шамшин и др.) по созданию «партии центра», участвовал в совещаниях (проходивших и в его доме), на которых было решено создать «ядро» для будущего «политического центра» в лице Клуба независимых и издаваемой при нем газеты. «Я на это все гляжу как на последнюю попытку свою в деле общественного сплочения», — записал Голицын 16 января 1906 года, обозначив цель, побудившую его «выйти из уединения». С радостью отмечал он сочувствие многих известию об «организуемом кружке», а «неудовольствие» некоторых расценивал как свидетельство того, что «кружок попадает в цель». В то же время сообщения об учредительном собрании Клуба независимых (3 февраля 1906 года) и избрании Голицына его президентом соседствуют на страницах дневника с мыслью об утрате им веры «в возможность сколько-нибудь лучшего в ближайшем будущем». Он выражал сомнение в «состоятельности и успехе всех наших конституционных партий, кружков и прочего, раз вынуждены они действовать среди двухстороннего террора». Поводом для опасений по поводу будущности «политического центра» служили и внутренние разногласия среди лидеров движения: «А как мы любим властвовать над другими, и как в каждом из нас запрятан более или менее глубоко — деспот!»

Своей главной целью организаторы Клуба считали консолидацию общества под знаменем конституционно-демократической монархии. Предполагалось, что Клуб послужит вспомогательным учреждением для уже существующих конституционных партий, став своеобразным «мостиком» между ними. Руководящим принципом деятельности провозглашалась борьба против нарушений конституционной свободы справа и слева: «Мы избираем путь мирного прогресса, конституционной борьбы, конституционного решения социальных вопросов». В основу государственного строя предлагалось положить идею эволюционного демократизма, т.е. постепенного, органического осуществления демократических начал. Приближаясь к программе Конституционно-демократической партии, Клуб считал своей отличительной чертой больший реализм политики. Планировалось создание на его базе площадки для разработки вопросов земского и городского самоуправления. Позицию, близкую к общественно-политическому направлению Клуба, занимал «Московский еженедельник» (1906–1908, редактор — князь Е.Н. Трубецкой). Деятельность Клуба подвергалась преследованиям со стороны администрации (запрет собраний, «идейно-нелепое неутверждение» устава под предлогом «усмотрения в нем потрясения основ» и т.п.). Клуб просуществовал до весны 1908 года, способствуя консолидации «беспартийных прогрессистов», и был ликвидирован по решению учредителей.

Несмотря на пессимистичное настроение, В.М. Голицын приветствовал обнадеживающие «проблески зари новой эры». «Историческим днем» князь называл начало работы I Думы. В связи с этим он считал «крупным промахом правительства» его отказ от объявления политической амнистии («чиновники не поняли, как этим они скомпрометировали Государя»). «Что за слепота там! Что за ничтожество сам-то!» — реагировал Голицын на отказ царя принять депутацию Думы с ответным адресом на тронную речь. С тревогой он наблюдал за реакцией Думы на декларацию правительства от 13 мая 1906 года, возлагал надежду на «новое министерство» с участием народных представителей. «Положение таково, что выхода никакого не видишь, кроме честной и добросовестной политики правительства, но на это пока надеяться трудно», — беспокойство за судьбу страны в тот период перемежалось в дневнике с серьезным беспокойством за будущее семьи в связи с волнениями крестьян в их имении в Тульской губернии. Голицыну пришлось лично участвовать в урегулировании этого конфликта (хотя не обошлось без вызова «драгун» для наведения порядка). В конце июня он отмечал опасную тенденцию («разочарование Думой»), таившую угрозу «водворения либо правительственной, либо революционной реакции». Несмотря на «антиконституционный шаг» Думы («непосредственное обращение к народу»), Голицын был поражен известием о роспуске нижней палаты, характеризуя Высочайший манифест 9 июля 1906 года как «набор пустых фраз и бестактных выражений». Решение правительства отложить созыв очередной Думы до февраля 1907 года он называл «глупостью», которая не может пройти «мирно и безнаказанно...».

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

«Пошли опять репрессии, гонения, аресты, словом, восстановление прежнего режима, который так плодотворен был для нас и так умел обеспечить личность и собственность», — с грустной иронией бывший московский городской голова в который раз проводил мысль о бесполезности «всякого рода охран». С негодованием реагировал он на распространённое мнение о том, что «нам нужна сильная власть»: «Нет, не власть нужна. А нужны головы, которые умели бы руководить этой властью, а их-то у нас нет, и вдобавок ни в каком лагере». В конечном итоге последствием «безумного режима, так преступно проявившегося по отношению к I Думе», Голицын считал и приход к власти большевиков в 1917 году. «Если бы послушались I Государственной думы и пошли по указанному ею пути, мы не видели бы того, что теперь происходит», — записал он в дневнике 16 ноября 1917 года.

Голицын считал ошибочным подписание Выборгского воззвания бывшими членами I Думы, поскольку тем самым они дали повод к устранению их от будущих выборов: «Как, однако, мало в нас истинно государственного ума, даже в лучших людях!» Впоследствии он характеризовал судебный процесс над «выборжцами» как «торжество петербургского чиновничества над лучшими людьми России, над идеей правды и свободы». После роспуска I Думы, приветствуя в очередной раз слухи о привлечении в правительство общественных деятелей (граф П.А. Гейден, М.А. Стахович, Н.Н. Львов и др.), Голицын вместе с тем слабо верил в «успешность их миссии»: «На первых порах им представится дилемма: вступить в борьбу либо с обществом, стремящимся к свободе, либо со „сферами“, отрицающими эту свободу, и эта дилемма парализует их деятельность».

Под впечатлением «ужасного покушения на министра Столыпина» 12 августа 1906 года Голицын вновь выражал категорическое неприятие террора, убежденность в том, что «фанатизм какого бы то ни было рода и как бы и в чем бы ни проявлялся он, есть уродство, безумие, даже преступность». «Нельзя не удивляться тому, что у нас как будто не видят истину, где-то так прекрасно высказанную Толстым, — истину, по существу своему неопровержимую и всецело подтверждаемую историей, — что насилие никогда не побеждает зло... оно всегда бессильно в области положительных идеалов, и не только в смысле борьбы со злом, но и в насаждении блага», — заявлял он.

В.М. Голицын отмечал характерную черту общественной атмосферы в период после роспуска I Думы — утрату веры в будущее многими современниками, «разрыв между монархией и народом»: «Если народ и боготворит царя, то только как отвлеченную идею, а не как носителя власти». Он не видел ничего удивительного в том, что «общество, народ враждебно настроены по отношению к правительству»: «А что оно делало в течение 40 лет, кроме давления, стеснения, эксплуатации всякого рода и приключений в виде войны?.. Как же могла на этом создаться привязанность к правительству?»

Трезво оценивая слабые шансы на успех своих соратников — умеренных либералов (прогрессистов), — в октябре 1906 года Голицын

продолжал посещать внепартийные совещания в целях образования «конституционного центра», проходившие у Д.Н. Шипова (при участии гр. П.А. Гейдена, кн. Е.Н. и Гр.Н. Трубецких, Н.Н. и Г.Е. Львовых, М.А. Стаховича, Н.А. Котляревского, А.А. Кауфмана, П.Б. Струве и др.). В очередной раз он связывал осуществление своей «заветной мечты» («образование центра, на который может опереться настоящее правительство») с «объединением всех прогрессивных партий» в период избирательной кампании во II Думу. Возмущаясь препятствиями, «чинимыми правительством делу выборов», Голицын восклицал: «Чего они хотят? И неужели новая, неизбежная победа левых не раскроет глаза кому следует?» В преддверии начала работы II Думы он сетовал на то, что «ничего положительного не видно»: «Программы нет ни у правительства, ни у партий, хотя слов тратится много. Если правительство думает, что его программа — сохранение status quo, ему придется разочароваться». Сравнивая общественные настроения накануне открытия I и II Думы, Голицын приходил к выводу: «Тогда были надежды, теперь — страх», поскольку «банкротство, экономическое, политическое и всякое иное — неизбежно». «Добились-таки! Как ни виноваты многие из наших депутатов, как ни безрассудны были они, а все же шаг этот ошибочен по существу своему», — отреагировал он на Манифест 3 июня 1907 года о роспуске II Думы.

Некоторую надежду вселяли в В.М. Голицына его искренняя вера православного христианина и присущее ему чувство исторического оптимизма: «Сколько бы ни пережил и ни переиспытал человек на всем пути житейском... а эта вера в будущее, вера в то, что в жизни всегда все ведется к лучшему, — великое, богатое сокровище души, и жалок тот, кто так или иначе утрачивает ее». Провиденциализм Голицына сочетался у него с убеждением в необходимости продолжать, несмотря ни на что, целенаправленные усилия по сплочению единомышленников.

«Выборы мне не понравились: преобладают по губерниям октябристы, которых подлежало бы называть оппортунистами. С ними далеко не уйдешь, и созидательного ничего они не представляют»; «Читал список депутатов и пожимал плечами: ни одного нет имени, которое внушало бы надежду на крупную роль, — знаменательный симптом современной нашей общественной жизни», — записывал Голицын впечатления от избирательной кампании в III Думу. «Сегодня открывается Дума, третья по счету и, кажется, и по качеству»; «Нет, эта Дума — не представительница России», — резюмировал он свои наблюдения, предвидя, что обеспечена «только отсрочка конечной катастрофы».

Обозначая историческую развилку, на которой находилась Россия в период III Думы («эпоху мрачной реакции и шулерства»), Голицын замечал от лица «умеренных и здравых элементов»: «Для нас выбора нет. Или конституция, четкая, полная, откровенная, или революция, но такая, с которою нельзя будет бороться». В конце 1907 года князь считал проблемным надежды на лучшее известие о «крупной роли в Думе мирнообновленцев», сообщенное ему Д.Н. Шиповым. «Прискорбно то, что настоящего руко-

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

водителя у них нет», — записал он по этому поводу 7 декабря 1907 года, вскоре отметив, что «вокруг Партии мирного обновления» в Думе и Государственном совете происходит «что-то похожее на образование центров» («притом эти центры сплачиваются друг с другом»).

В конце 1907 — начале 1908 года Голицын посещал собрания Партии мирного обновления (они проводились у Д.Н. Шипова, а также в Художественном клубе, при участии кн. Г.Н. и Е.Н. Трубецких, Вишнякова, Кновалова, Четверикова, Ефремова, Н.Н. Львова и др.), где высказывалась мысль о «неизбежности катастрофы благодаря ослеплению высших сфер и реакции», обсуждалось «положение партии в Думе» и дальнейшая тактика «мирнообновленцев». С пометкой «политическая исповедь» тогда же он изложил в дневнике суть своего взгляда на события в стране: «Вот уже скоро четыре года, что вступили мы в период революции, и конца не видно, но видно вполне очень, что ее нельзя ни отвлечь репрессиями, ни ускорить... Удивительно то, что одна сторона считает этот кризис, эту „крамолу“ мимолетною смутой, с которою легко справиться, а другая видит в строе, против которого она борется, нечто настолько сгнившее, что одного щелчка довольно, чтобы он разрушился и чтобы настал золотой век. Были минуты, когда можно было разрешить кризис (речь идет об осени 1904 года. — Н.Х.), но крайние левые умнее и решительнее действовали, и сели на шею умеренным и разумным, и этим вызвали реакцию с обратной стороны, что мы теперь и видим. Если снова восторжествуют конституционалисты, повторится опять то же. Выход из этого заколдованного круга один — переворот. И идем же мы к нему, идем быстро, сами подготавливая ему путь произволом власти, разорением, алкоголизмом и проч. Я поражен тем, как мало сознают это у нас, как не видят грядущего, неизбежного и неотвратимого».

Развивая мысль о грозящей России «неизбежной катастрофе», Голицын указывал на невозможность предугадать, «в какой форме она воспоследует», но отмечал «неотвратимое»: «...раскол между правительством и обществом, т.е. образованною его частью, дойдет до полного обессиления первого и отвержения второго. Вследствие этого выступит третья сила, т.е. массы, народ, и выдвинется она на первый план. В этом репрессиями ничего не поделаешь, еще менее — реакцией». Анализируя ситуацию, Голицын еще в 1908 году приходил к выводу о том, что «существующий у нас режим ведет... к извращению всего, к анархии» и что «проводники и носители его действуют исключительно из чувства самосохранения». В то же время «союзником и пособником их является само общество, впавшее в апатию, оробевшее, смутившееся воображаемыми призраками, сбитое с толку и не знающее, за что ему ухватиться». В этих условиях князь не только «потерял веру в достижение — по крайней мере, скорое — своих конституционных идеалов», но и предупреждал о последствиях «глухой борьбы» между обществом и правительством («неумелой с той и другой стороны»), о «выходе наружу самых вредных элементов общества, всяких проходимцев», которые могут «наделать таких дел, что

не опомнишься: найдись теперь предприимчивый человек, и он повернет все вверх дном»; «на почве разлагающейся, деморализованной ничего создать нельзя, и элементам революционным — с одной стороны, хулиганским — с другой будет где себя показать. Удивляюсь я тому, что никто, по-видимому, об этом не помышляет».

В начале 1909 года, предвидя «в близком будущем нашествие немцев», В.М. Голицын предрекал в результате этого «полный наш разгром» и вновь делился в дневнике предчувствием: «Неужели останется только революционный путь для спасения?» При этом, по его мнению, «безумная реакция» приведет «не к революции в общепринятом смысле этого слова, ибо мы и для этого показали полнейшую свою несостоятельность, а последует постепенное, но быстрое гниение, которое кончится внезапным падением... как падает здание на деревянных столбах, когда столбы эти подгнили».

В 1909 году Голицын не видел «ничего неправдоподобного» в слухах о готовившемся дворцовом перевороте, поскольку «трудно описать, до чего выросло за это последнее время общее разложение — в правительстве, в обществе, в партиях». А «обычная фраза, сама по себе довольно-таки пошлая, что „так продолжаться не может“, теперь имеет глубокий смысл, как нельзя лучше характеризующий переживаемое время» и указывающий на то, что «исхода этого мы не увидим, пока не изменится режим...».

В апреле 1909 года В.М. Голицын «с захватывающим интересом» следил за событиями в Турции, где младотуркам удалось свергнуть султана Абдул-Хамида II, а в начале июля 1909-го — за событиями в Иране, где был низложен шах Мухаммед Али, к власти пришло либерально настроенное правительство и была восстановлена Конституция («Как это поучительно для тех, кто нарушает ими же данную Конституцию, и как это показывает, что Конституция, как бы несовершенна она ни была, все же выше всякой, самой даже неограниченной власти»). В июле 1909-го еще одним («четвертым по счету», считая более ранние события в Португалии) «доказательством того, что Конституцию нельзя безнаказанно нарушать, как бы ни казались основательными поводы к тому», князь считал «крупные события вроде всеобщего восстания» в Испании («трон зашатался»). «Происходящее в Испании еще раз доказывает, что при правильной Конституции народ высказывается через представительство, а при отсутствии такового это делается на баррикадах», — констатировал Голицын.

Размышляя над упомянутыми зарубежными событиями, В.М. Голицын склонен был считать их «примером, достойным подражания и у нас» («одного щелчка, но умелого и искусного, довольно, чтобы ненавистный режим наш рухнул»). Вместе с тем он вполне осознавал серьезную преграду на пути переустройства России: «Вся беда — наша некультурность!» При этом, по его словам, «правительство всеми мерами старается затормозить стремление людей к культуре и просвещению, прикрываясь, однако, громкими, но лживыми фразами, и оно понимает, что с просвещенны-

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

ми массами народа ему не справиться». Отсюда — колебания в настроении Голицына: оптимизм, вера в возможность устройства жизни в России «на началах правды и свободы» зачастую сменялись чувством безысходности. «Когда же дорастем мы до сознания, что народное образование, просвещение, культура есть самая жизнь народа, ее сущность?» — с болью в душе Голицын не раз задавался риторическим вопросом. Особую тревогу у него вызывали такие российские проблемы, как правовой нигилизм; «полный застой у нас знания, науки, просвещения, прогресса» под влиянием революции («Все свелось у нас к полемике, даже к пасквилью, к „платформам“ и партийным вопросам и интересам»); распространенное в массах отрицание ценности образования и культуры («Отцы наши прожили без знания, так и мы благополучно проживем без него»); отсутствие кадров для государственной и общественной службы, которые отвечали бы требованиям современности («Наши государственные „мужи“ — по большей части люди, случайно попавшие на ту или другую должность и заботящиеся прежде всего об этой должности и о сохранении ее, а не о деле, которое с нею сопряжено»; «Ничем не разобьешь слепоту государственных „мужей“, всегда думающих, что Россия для них, а не они для России»; «Люди моего поколения вовсе не пригодны к какому-либо плодотворному, созидательному труду, у нас не хватает умения приложить к делу свои руки, и мы ограничиваемся рассуждениями о нем... да и в молодежи что-то мало видно обещающего...») «Целое поколение — а может быть, два или три — должно отжить и исчезнуть, должно уступить место другому, более состоятельному и иначе развитому, дабы достигнуто было совершенствование жизни вообще, о котором лучшие умы мечтают».

«Я больше не верю в политический прогресс у нас, в достижение идеала строя, по крайней мере в скором времени, пока мы не перевоспитаем себя коренным образом», — выступая с этим признанием в 1908 году, Голицын предлагал начинать «с развития самодеятельности как в обществе, так и в личности», «напрячь все свои силы на образование в самом широком смысле этого слова», поскольку «это — единственный путь для приготовления будущего и — скажу даже — для спасения. Всякие иные задачи помимо этой бесцельны».

«Что за ничтожество наша политика рядом с наукой, со знанием! — эта мысль постоянно звучала на страницах дневника Голицына. — А мы, пигмеи, увлекаемся ею, воображая, что эта политика должна чему-то служить, что-то одушевлять, быть даже конечною целью всякого человеческого труда. Пора бы отказаться от подобных взглядов, пора бы выбросить политику за борт ради знания и саморазвития, ради культуры своей собственной и общей. Только во всеоружии этой культуры можно людям властвовать и над политикой». Вызвать в народе «стремление к свету знания, к культуре, искать пути к удовлетворению его» — в этом Голицын видел «громадную задачу» наших «лучших людей». Важным условием успеха он считал, наряду с обеспечением широкого доступа к образованию, внедрение в массовое сознание мысли о единстве науки и жизни

(«Наука без связей с жизнью есть отвлеченность, а жизнь без науки не жизнь»), а также преодоление внутреннего сопротивления среды (причем не только в крестьянстве) распространению просвещения: «Печально не отсутствие самого знания, недостаточность его, а отсутствие сознания потребности его. Общество, несущее это в себе, обречено на бессилие». «Кульٹ науки, знания» должен служить у нас основой жизни как частной, так и общей» — развивая этот тезис, князь ссылался на опыт англичан, немцев и французов, занявших «первое место в области науки, мысли, искусства» исключительно благодаря постановке во главу угла «культуры, зиждущейся на самобытном сознании и на свободе мысли и труда». Убежденный в том, что без широкого развития культуры, науки и образования у России нет будущего, он всерьез обдумывал проект создания в стране «вместо политических партий, союзов, кружков» «всероссийского союза или общества во имя развития знания, просвещения, культуры» — причем как организации «в самых широких размерах, с самой обширной программой и без примеси политики».

Увлеченный идеей популяризации историко-научного наследия, В.М. Голицын с конца 1907 года занимался созданием на базе Политехнического музея в Москве издательского центра по выпуску научно-популярных журналов (по аналогии с западноевропейским опытом). Обосновывая актуальность своего проекта, он особо подчеркивал спасительную роль «света благого просвещения в смутные времена». «Наука — единое и верное убежище, никогда не обманывающее», — делился Голицын собственным опытом.

«Нечего надеяться на правительство, которое думает только о себе и о своей сохранности, на Думу, которая показала свою несостоятельность в творчестве, на общество, которое отреклось от каких бы то ни было идеалов», — заявлял Голицын, делая ставку на «завоевание свободы и света снизу». Отводя от себя подозрения в призыве к революции, он разъяснял, что имеет в виду «упорядочение и развитие местной жизни, ее органов и элементов, развитие самостоятельности в их деятельности, а главное — просвещение в самом широком смысле этого слова». По его мнению, для реализации данной перспективы надлежало «слиться воедино всем нашим культурным силам, всем людям науки ради совместного труда». «Но, окидывая взором окружающее, современное, говорю я себе: какой это далекий идеал, настолько далекий, что не решаешься верить в его осуществимость», — приходил Голицын к неутешительному выводу в 1909 году, и впоследствии не находя оснований для оптимизма.

Подобный настрой был характерен тогда и для его надежд на утверждение в России конституционных начал. «Обидно мне думать, что вряд ли доживу я до того дня, когда снова произойдет рассвет свободы, света и обновления. А рассвет этот будет, как завтра будет рассвет дня — я в этом твердо уверен, несмотря на то что с каждым днем все более кажется, что заря этого благодатного дня все удаляется». Сохраняя веру в то, что «в жизни всегда все ведется к лучшему», Голицын продолжал

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

поддерживать объединительные тенденции в рядах либеральной оппозиции. В 1912 году он был избран членом московского комитета Партии прогрессистов. Реализацией давней мечты Голицына и других либералов-центристов о создании «конституционного центра» стало образование в августе 1915 года Прогрессивного блока в IV Думе.

По воспоминаниям С.М. Голицына, внука Владимира Михайловича, в канун свержения самодержавия его дед «предвидел, куда приведет бессмысленная политика царских министров, и, как истинный патриот, глубоко страдал, чувствуя свое бессилие изменить что-либо». Трактую революционные события 1917-го как «естественный плод нашего многолетнего режима», В.М. Голицын летом того года отмечал закономерность: «Наша хваленая монархия создала революцию, а революция готова создать диктатуру!» При этом он считал бесперспективным поиск виновников: «Все мы одинаково виноваты, но и все оказались одинаково слепыми и бессознательными орудиями рока, в том числе и Николай». Он обращал внимание на созвучие старых мыслей Ф. Гизо ситуации в России: «Много зла наделало то, что под понятием о свободе подразумевалась революция, а под понятием о порядке — деспотизм и произвол... Действительно, мы свергли иго проклятого режима и завоевали свободу, но по уши увязли в революционной анархии, обманывая или теша себя громким словом „свобода“, а многие из тех, кто это сознает, кто сокрушается о „разрухе“ всякого рода и втайне мечтает о восстановлении порядка, очень склонны видеть этот порядок в образе городского, государственная и общественная роль которого состоит только в том, чтобы „тащить и не пущать“. Между тем история и опыт с неумолимой логикой оправдывают такое смешение понятий, а именно: революция в крайнем своем развитии всегда приводит к диктатуре, то есть к деспотизму одного и к произволу его приспешников, а деспотизм и произвол, возведенные в систему и не знающие ни ограничений, ни ответственности — каково было наше самодержавие, — неизбежно ведут к революции. Это мы и видим, и дальнейшее тоже увидим у себя».

Под впечатлением событий 1917 года В.М. Голицын убежденно заявлял: «Прелести старого режима и затопившей его анархии в равной степени доказывают нам, как были мы правы, всеми силами стремясь к правому строю. Это был единственный путь к спасению как от бесшабашного произвола первого, так и от неотъемлемого его продукта, разрушительного легкомыслия второй. Никто не скажет, что из обоих зол лучше. Разве сказать, что обе хуже друг друга. Но до чего же оба лагеря были и доселе остаются слепы: монархический, выдавший в конституции посягательство на самые устои монархии и ставивший сторонников ее на одну доску с революционерами, и анархический, считающий конституцию буржуазным измышлением, а сторонников ее — своими врагами, не понимающими ни роли, ни потребностей народа, то есть пролетариата. А не слепы ли были и мы, конституционалисты, не видевшие, насколько анархизм был зрел, широко распространен и организован? Но вот что меня крайне удивляет:

в обоих лагерях словно одинаково забыта России, а на первом плане стоят интересы классовые, партийные и личные».

Продолжая до конца жизни оставаться «искренним поклонником и служителем правового строя», В.М. Голицын в 1917 году был временами близок к «печальному разочарованию»: «Всё совершившееся у нас за последние двенадцать лет сделало то, что я готов счесть русский народ не заслуживающим такого строя... и предназначенным остаться навеки под игом и в состоянии рабства. Сначала было иго царского режима и его темных сил, теперь — иго толпы и кучки случайных людей-пролетариев, а потом — иго либо одного диктатора, либо другого народа, вражеского или союзного, который наложит на нас свою руку, и не военной силой, а мирным порабощением. Сказать надо, что это логика вещей. Как яблоня производит яблоки, так беспринципный, бездушный и безнравственный народ производит анархию или отдает себя в чужие руки». Незадолго до большевистского переворота он констатировал «всеобщий развал»: «Россия уже перестала быть государством, а русские — народом. Как ни грешат нынешние революционные деятели, а виновник сего — Николай и его предки».

По мнению Голицына, приход к власти Ленина и его соратников означал начало гражданской войны в России. «Борьба кланов — буржуазии и пролетариата», взамен общественной солидарности («коллективной культурности, двигающей группы, общество, массы на одну и ту же общую для всех работу по строительству»), «непонимание народных и государственных задач» — эти явления Голицын считал плодом «нашей некультурности... рабства крепостного состояния, темноты, в которых так долго пребывали мы». «Часто слышатся у нас сетования на то, что мы мало заботимся об образовании или подъеме культуры „простого“ народа, ограничивались обучением его грамоте и катехизису. Относится ли это только к „простому“ народу? А сами-то мы учимся ли быть людьми, работниками над потребностями времени и жизни?» — делился Голицын грустными размышлениями по поводу «несостоятельности наших лучших людей».

Единственным «бесспорно, благодетельным и многообещающим результатом нашей анархии» он считал «идею о федерализме», в поддержку которой выступал в дневнике задолго до большевистского переворота. В начале 1918 года, подчеркивая неизбежность создания в России федеративного строя, Голицын рассматривал это как «единственное надежное средство избежать расчленения национального или географического». В то же время князь указывал на сложность реализации этого принципа: «Самоопределение народа и создание им своего государственного строя — бесспорная истина. Но как осуществлять ее на практике? Народные плебисциты — путь трудный и громоздкий, а выборы всюду — и у нас больше чем где-либо, — дело случайности и злоупотреблений».

В январе 1932 года, незадолго до своего ухода из жизни, отвечая на вопрос «Какова дальнейшая судьба России, и будет ли когда-нибудь ликвидирован советский режим?», Голицын оставил своего рода «предсказа-

«Несостоятельность правительства и несостоятельность общества...»

ние»: «Режим этот не обладает созидательными способностями... поэтому его падение воспоследует силой инерции, под собственной тяжестью, то есть непригодностью к реальному окружающему его миру... А что падение это рано или поздно совершится, в этом я ни минуты не сомневаюсь... Но каково будет его преобразование в другой, более отвечающий требованиям времени? Этого теперь никто сказать не может. Лично я думаю, что возникнет диктатура, но не коллективная, а диктатура личности, наподобие того, как это было с Наполеоном после его побед в Италии и Египте».

К этому времени сам Голицын и члены его семьи как «социально чуждые элементы» сполна испытали на себе «прелести» новой власти. После 1917 года последовала череда арестов, прервавшаяся на время лишь после личной встречи в 1918-м бывшего князя с председателем исполкома Моссовета Л.Б. Каменевым. В результате этой встречи Владимир Михайлович получил (в память своих заслуг перед москвичами, а также в знак признания его сочувствия к политическим заключенным в бытность московским городским головой) своего рода «охранную грамоту».

Однако в силу общей ситуации, стремительно менявшейся к худшему в отношении «бывших», в 1929 году В.М. Голицын был лишен избирательных прав, выселен с семьей из столицы и жил в Сергиевом Посаде, а с 1931-го — в Дмитрове с семьей сына Михаила. Наряду с огромным дневником (более 30 томов записей) его литературное наследие включает в себя обширные мемуары, ныне частично опубликованные.

В.М. Голицын умер 29 февраля 1932 года и был похоронен в селе Подлипечье под Дмитровом, на местном кладбище возле церкви Казанской иконы Божией Матери. Его могила не сохранилась.

**«Цари со временем
переведутся: это мамонты,
которые могут жить лишь
в допотопное время...»**

Василий Осипович Ключевский (1841–1911) сыграл в истории русского либерализма особую роль. Он не только выработал ту концепцию русской истории, которая в основных чертах стала важной составляющей отечественного либерального мировоззрения, но и оказал влияние на развитие многих либеральных деятелей, бывших его учениками (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.А. Маклаков, А.А. Кизеветтер и др.). Как замечал Г.П. Федотов: «Это не одна из многих, а единственная Русская История, на которой воспитаны два поколения русских людей. Специалисты могут делать свои возражения. Для всех нас Россия в ее истории дана такой, какой она привиделась Ключевскому».

Родись Василий Ключевский хотя бы десятилетием раньше — не в 1841-м, а, например, в 1831 году — его судьба была бы предрешена уже в детстве. Сын священника, рано оставшийся без отца, мог пойти только по своей сословной дорожке: Пензенское духовное училище, семинария, провинциальный приход... Тем более что скромная стипендия семинариста — важное подспорье в тощем бюджете осиротевшей семьи (мать, две младших сестры). Но время взросления Василия пришлось на эпоху оттепели и гласности — во второй половине 1850-х годов была нарушена даже «вековая тишина» российской глубинки. Вечерами, вырвавшись из плена семинарских догматов, Ключевский зачитывался журналами «Отечественные записки» и «Современник», историческими сочинениями Соловьева и Костомарова. От этих работ веяло «новым духом, который проникал тогда во все отношения, в самые сокровенные углы русской жизни». Эти работы отрывали от вялотекущей повседневности и звали в Москву, туда, где сиял сказочный чертог науки и просвещения — университет.

В те самые весенние дни 1861 года, когда по деревням читался императорский указ об освобождении крепостных крестьян, Василий Ключевский в последний раз переступил порог семинарии: он получил желанное свидетельство об увольнении, чтобы отправиться в Москву... «Вечная память тебе, патриархальная незабвенная школа. Ты больше поучала, чем учила». Больше в Пензу Ключевский не возвращался никогда...

В августе 1861 года Василий Ключевский стал студентом историко-филологического факультета Московского университета. Это был год бурных студенческих волнений. Однокурсники читают «рьяные раздражительные» прокламации, кричат «пусть закроют наш университет», как закрыли за беспорядки Петербургский и Киевский! «Как легко сказать это! — возмущается Ключевский. — А думал ли кто, что все эти крики не стоили одного слова лекции Буслаева или кого другого...»

Вначале Ключевский довольно тесно общался с «молодыми штурманами будущей бури» — земляками-пензенцами из кружка ишутинцев. Сохранилась легенда: глава радикального кружка Ишутин, узнав о попытке товарищей втянуть Ключевского в тайную организацию, сам «отпустил» земляка в науку. Этот «волосатый силач в красной рубаше, ходивший как истый студент-нигилист 60-х годов, с огромной палкой-дубинкой», положил мощную длань на жиденькое плечо Василия Осиповича и твердо заявил: «Вы его оставьте. У него другая дорога. Он будет ученым».

Молодому Ключевскому хотелось участвовать в общественной жизни, но не так и не в такой. Он уговорил себя «безотчетно и безраздельно отдаться науке, сделаться записным жрецом ее, закрыв уши и глаза от остального, окружающего, но только на время». В желании студента Московского университета проявилось не стремление отгородиться наукой от действительности, но осознание недостатка сил, знаний и опыта для деятельности по преобразованию России. Ключевский приходит к выводу, что слово тоже дело. Он находит целую категорию людей «мысли и знаний», которые «принялись за свое слово, как за жизненное дело, как за святое верование, как исповедники первых веков христианства». Да, у них дело ограничивается словом, но «это слово — жизнь, оно бросает в энергетическое одушевление и дает силы и средства к делу».

Необходимость зарабатывать на жизнь репетиторством приводит Ключевского в дом известного земского деятеля князя С.М. Волконского. Здесь он часто встречается и общается с мировыми посредниками, теми, чьи руки проводятся в жизнь крестьянская реформа, «слушает о крестьянских делах», убеждается, что образ «незаметного деятеля» имеет в пореформенной России немало реальных воплощений. В размышлениях о типах «житейских борцов» Ключевский иронически отзываясь о «любителях борьбы», для которых обязательны «энергические жесты, размахивание руками, высокие ноты в голосе и так далее». С гораздо большей симпатией он говорит о тех, кто ведет «бесславную, бесшумную, никого не беспокоящую борьбу на заднем дворе человечества», о «гномах», добывающих драгоценные металлы для живущих на поверхности людей. Они незаметны для наблюдателей и даже боятся любопытных глаз, «но горько почувствовало бы человечество их отсутствие, если бы на минуту прекратили они свою подземную, незримую и неслышную работу для человечества».

«В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли». Этот афоризм Ключевского, включенный

в статью о С. М. Соловьеве, автобиографичен. Начальной ступенью жизни Ключевского как ученого и писателя стала монография «Сказания иностранцев о Московском государстве XVII века», впервые опубликованная в 1866 году.

По книге видно, что Ключевский — западник, но западник не в ругательном значении «низкопоклонства» и нелюбви к отечеству. Для него западничество — традиция московских профессоров, начатая историком Т.Н. Грановским и продолженная юристами К.Д. Кавелиным и особенно повлиявшим на Ключевского Б.Н. Чичериным. В их представлении Россия с запозданием развивается тем же путем, что и остальная Европа, и поэтому Запад может служить ориентиром будущего развития России. Его опыт может и помочь, и предостеречь. «Сказания» иностранцев в интерпретации Ключевского показывают, как на протяжении веков происходит постепенное сближение Европы и России, как растет понимание Московии европейцами.

Благодаря «Сказаниям» Ключевский получает аттестат о первой ученой степени кандидата. Он оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Все, что нужно, — сдать три профильных экзамена, написать магистерскую диссертацию и при этом уложиться в два года.

В два года Ключевский не уложился. Его новая работа «Жития святых как исторический источник» потребовала шести лет. День защиты — 26 января 1872 года — стал днем окончательного научного «крещения» Ключевского. На защиту пришли не только студенты и профессора университета, но и чиновники, офицеры, коммерсанты и «особенное множество дам». Защита стала событием в интеллектуальной жизни Москвы. Интересно, что на защиту пришли раскольники — ведь Ключевский разбирал жития святых дониконовской эпохи.

Защита диссертации изменила положение Ключевского в научном мире и принесла материальный достаток. Став магистром, он получил возможность преподавать хоть пока и не в университете, но сразу в трех высших учебных заведениях Москвы, каждое из которых в своей отрасли было лучшим: в Александровском военном училище, в Духовной академии и на Московских высших женских курсах Герье. Именно здесь Ключевский начал чтение своего систематического «Курса русской истории». Позже многие из почитателей Ключевского с удивлением узнавали, что «Курс русской истории» Ключевского, с которым они знакомились в XX веке, сложился в целом уже в начале 1870-х годов.

На достижение высшей степени профессионализма у Ключевского ушло двадцатилетие, почти вся эпоха Великих реформ: поступивший в университет в 1861-м, он сдал свою докторскую диссертацию в печать в 1881 году. Мимо проходил огромный кусок русской истории: от отмены крепостного права до убийства Александра II. Но мимо ли? Ключевский выбрал для себя путь изучения проделанной народом «подготовительной работы», путь, ведущий к историческому воспитанию общества: его труды

и знания должны были показать ищущим активной деятельности места действительного и действенного приложения сил.

Докторская диссертация Ключевского называлась «Боярская дума в Древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества» и затрагивала вопрос, мучивший поколение «шестидесятников» все последнее десятилетие правления Александра II. Это был вопрос о формах общественного представительства в управлении самодержавным государством. Ключевский как историк поворачивался при этом к прошлому, но к такому, с которым можно было посоветоваться по проблемам настоящего. Его диссертация рассматривала Думу как «конституционное учреждение (пусть без конституционной хартии) с обширным политическим влиянием». В годы, когда создавалась эта работа, либеральные круги настойчиво говорили об «увенчании здания народного»; министр Лорис-Меликов вынашивал план привлечения общественных представителей к обсуждению государственных вопросов; народники мечтали созвать всероссийское учредительное собрание; славянофилы вспоминали Земский собор... Ключевский рассказывал об участии общества, народа в управлении страной на протяжении почти восьми веков и предлагал понимать народ не только как крестьянство, а как совокупность «всех социальных групп и классов в процессе их общежития». «Как только великими реформами последних десятилетий стала обновляться наша жизнь, — писал Ключевский, — мы стали заботливо думать», а не было ли «в нашем прошедшем таких общественных отношений, которые еще могли бы быть восстановлены и послужить интересам настоящего».

Окончание работы над «самой главной» диссертацией совпало с занятием Ключевским кафедры истории Московского университета. Он заменил на ней своего учителя, С.М. Соловьева, скончавшегося 4 октября 1879 года.

Вскоре после первых университетских лекций Ключевского в «Русской мысли» появились начальные главы «Боярской думы». Как вспоминал замечательный русский мыслитель Г.П. Федотов, «читающая Россия впервые ознакомилась в художественном воплощении с совершенно новой схемой русской истории. В „Боярской думе“ заключены уже идеи всего знаменитого „Курса“, который студенты Московского университета могли слушать с 1879 года. С этих пор схема Ключевского царствует почти неограниченно».

Именно в «Боярской думе» Ключевский предложил вместо соловьевско-чичеринской истории государственного механизма историю социальных групп русского общества. Основными элементами «периодической системы Ключевского», основными силами, строящими людское общежитие, были «человеческая личность, людское общество и природа страны». Государство у Ключевского лишь одна из составляющих «людского общежития».

В 1882 году «Боярская дума» вышла отдельной книгой и была успешно защищена как докторская диссертация. В том же году сами собой пришли

чины и награды: орден Анны (за службу в Духовной академии) и чин статского советника (выше военного полковника и в полушаге от штатского генерала). На рубеже 1870–1880-х годов Василий Ключевский стал Ключевским учебников и книжек, символом историка, ученого, интеллигента.

Мастерство Ключевского-лектора оттачивалось ежедневно. Воспоминания рисуют потрясающий артистизм Ключевского на кафедре. Недаром один из самых устойчивых эпитетов Ключевского — «историк-художник». Его младшие современники жалели, что никто не догадался записать Ключевского на фонограф, как записали Шаляпина и Нежданову...

Первая же университетская лекция Ключевского (о преемниках Петра) опровергала устоявшуюся студенческую аксиому, что «русской историей заинтересоваться нельзя». Сохранились студенческие конспекты лекций Ключевского первых лет преподавания: они передают дух и стиль, в котором читались эти лекции. До Ключевского так лекций не читали. Вот, например, императрица Елизавета: «У нее в гардеробе было пятнадцать тысяч платьев, два сундука шелковых чулок... (пауза, Ключевский отрывается от конспекта, хитро смотрит на аудиторию и как бы импровизирует) ...И ни одной разумной мысли в голове!» Этот гардероб Елизаветы именно из лекций Ключевского перешел во все популярные издания по русской истории.

С самого начала лекции Ключевского стали особым родом интеллектуального театра, места в котором занимали задолго до начала. Курсистки для того, чтобы проникнуть на лекции Ключевского, переодевались студентами и остригали волосы. Слушатели загодя занимали не только все пятьсот мест аудитории, но и проходы, и подступы — задолго до появления лектора, чья сухая фигурка напоминала одним допетровского подьячего, другим — типичного древнего летописца...

Лектор вовсе не потрясал публику громовыми трагическими раскатами голоса: он говорил тихо, но выразительно. Даже остатки детского заикания — маленькие паузы между словами — Ключевский использовал для придания своей речи особых смысловых оттенков, своеобразного колорита. При этом слушатели отмечали необыкновенную музыкальность, ритмичность речи Ключевского, ее «чеканность» и неторопливость. В самых патетических местах голос Ключевского не взвивался вверх, а понижался до шепота. Слушатели вспоминали, что таким шепотом Ключевский рассказывал о страшном возвращении Грозного из Александровской слободы (начало опричнины): историк будто боялся, что Иван Васильевич услышит и рассердится. Впечатление получалось такое, что грозный царь стоит чуть ли не за дверью аудитории...

Выразительность поддерживали мимика и актерская жестикация. Глаза Ключевского то вытягивались в узкие щелочки, то зажмуривались, то «на краткий миг сверкали на аудиторию черным огнем, довершая своим одухотворенным блеском силу обаяния этого лица».

Все это, конечно, было связано с содержанием лекций. Ключевский предупреждал студентов, что будет читать «со всею страстностью публи-

«Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могут жить лишь в допотопное время...»

циста», поскольку это жизнь, которая затронула его. Весь ход русской истории предстал перед слушателями Ключевского таким, что основными задачами современной эпохи оказывалось «уравнение сословий перед законом и введение их в совместную государственную деятельность». Вот как представлял Ключевский «основные вопросы времени» в 1880-х годах: «Социально-политический, состоявший в установлении новых отношений между общественными классами, в устройстве общества и управления с участием общества; к ним — вопрос кодификационный, состоявший в упорядочении нового законодательства, вопрос педагогический, состоявший в руководстве, направлении и воспитании умов, и, наконец, вопрос финансовый, состоявший в новом устройстве государственного хозяйства».

За четверть века, прошедшую от начала чтения курса, изменилось немногое. Вот как заканчивается «Краткое пособие по русской истории» Ключевского 1906 года: «В непрерывном взаимодействии правительственной власти и народного представительства, крепнущего в борьбе с ее преобладанием, и заключается залог будущего развития государства и усвоения правительством культурных начал конституционной монархии».

Было у Ключевского и свое представление о грядущем России. В не опубликованной при жизни «Истории сословий» Ключевский предложил свою картину будущего. По его мнению, политическая история России — это история постепенного исчезновения сословных различий. «Может быть, — пишет он, — и капитал утратит свой политический вес, уступив свое место другой силе, например, науке, знанию; по крайней мере, о возможности управлять обществом посредством этой силы давно мечтали многие, мечтают и теперь. В государственном механизме, который будет приводиться в движение этой силой, также не будет ни равенства, ни сословий; их место займут ученые степени». Будущее государство тогда «будет разделено на учеников и учителей и с подразделением последних на старших и младших». Капитал перестанет быть движущей силой общества и будет заменен авторитетом знания.

За три десятилетия преподавательской работы Ключевский передал свои воззрения множеству будущих знаменитостей России. Вместе с Ключевским рассуждали о значении русской истории такие его студенты, как будущий лидер октябристов Александр Гучков, будущий лидер кадетов Павел Милоков, будущий большевик и монополист исторической науки СССР Михаил Покровский... В Училище живописи, ваяния и зодчества Ключевский вдохновлял своими лекциями А. Васнецова и В. Серова, несколько позже там его слушал молодой Б. Пастернак.

Слава Ключевского-лектора достигла самых верхов. В 1893 году к Ключевскому обратилась царская семья: его пригласили как наставника великого князя Георгия Александровича, сына Александра III (и некоторое время наследника Николая II, до рождения у того сына Алексея). Ключевскому предстояло прочитать ему свой курс всеобщей истории.

Это преподавание, заставившее Ключевского на год оставить чтение всех остальных курсов истории (пришлось ехать на Кавказ), и речь, произ-

несенная в 1894 году в память почившего царя Александра III, вызвали негодование левого студенчества, ранее считавшего Ключевского «своим». Ключевского обвиняли в нарушении интеллигентской этики. Впервые на его лекции раздавались свист, крики «Долой с кафедры!» и «Лукавый царедворец», правда, тут же заглушаемые аплодисментами и криками «Браво!».

Выступление против Ключевского подняло новую волну студенческих беспорядков: начальство арестовало зачинщиков. В московском обществе поползли слухи: «Попович по происхождению... человек даровитый и талантливый, но хитрый, неискренний и, что называется, „себе на уме“ — он метит в победоносцевы...»

Ключевский очень тяжело переживал эти события: он никуда не метил. Он искренне жалел пострадавших студентов и был среди профессоров, подписавших петицию в защиту наказанных за очередные беспорядки. И именно в 1894 году в ответ на печально знаменитую речь Николая о «бессмысленных мечтаниях» интеллигенции о народном представительстве он произнес фразу, ставшую пророческой: «Николай будет последним царем. Если у него родится сын, он царствовать не будет». Это пророчество проистекало из всего опыта понимания Ключевским русской истории, ход которой доказывал ему необходимость взаимодействия правительственной власти и народного представительства. А новый царь публично декларировал свое намерение остановить поток истории.

И речь в память Александра-миротворца, и пророчество о Николае, и вовлеченность в историю со студенческими волнениями — все затыкало Ключевского в водоворот политических событий сильнее, чем он сам того желал. Тем более что и до этого (в начале 1890-х годов) он предчувствовал и предсказывал и скорую мировую войну («воевать будут не армии, а учебники химии и лаборатории, а армии будут нужны, чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лабораторий»), и русскую революцию...

Первые семинары со студентами Ключевский вел у себя дома (в Замоскворечье, на Житной улице, 14; тогда — окраине Москвы). После семинара студенты (среди них — известные в будущем либералы) оставались на чай и поднимали политические вопросы, причем буквально осаждали Ключевского, желая знать его мнение. «Он отделялся шутками, сыпал парадоксами, с которыми согласиться было трудно, а не согласиться не деликатно, и так проходил вечер».

Но замкнутость для учеников не означала отсутствия политических интересов и взглядов у Ключевского. Самые сокровенные размышления историк привык доверять дневнику. Даже в сохранившихся частях дневника (а многое Ключевский время от времени уничтожал) политические высказывания резки и нелицеприятны. Вот, например: «С Александра III, с его детей вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила и последнюю»

«Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могут жить лишь в допотопное время...»

(имеется в виду датская принцесса Дагмара, жена Александра III). Или высказывание от 7 апреля 1904 года: «После Крымской войны русское правительство поняло, что оно никуда не годится; после болгарской войны и русская интеллигенция поняла, что ее правительство никуда не годится; теперь, в японскую войну, русский народ начинает понимать, что и его правительство, и его интеллигенция никуда не годятся. Остается заключить такой мир с Японией, чтобы и правительство, и интеллигенция, и народ поняли, что все они одинаково никуда не годятся, и тогда прогрессивный паралич русского национального самосознания завершит последнюю фазу своей эволюции». Вот о церкви: «Русской церкви как христианского установления нет и быть не может; есть только рясофорное отделение временно-постоянной государственной охраны». А вот о политике министра внутренних дел Плеве в самый канун революции 1905 года: «Мельник, спасая старую плотину своей мельницы от напирającego паводка, снимает пену, взбиваемую у запруды потоком». Оценка 9 января 1905 года: «Стрельба в Петербурге — это наш второй Порт-Артур». Обобщение: «Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могут жить лишь в допотопное время».

Ком революции растет к 1905 году так быстро, что Ключевский перестает опасаться и публичных высказываний. Его реакция на расстрел 9 января — публичное повторение десять лет назад сказанного пророчества: «Николай последний русский царь. Алексей царствовать не будет».

А «наверху» Ключевского воспринимают как преданного и умеренно-передового мыслителя (к тому же укрепились связи при дворе: в 1901–1902 годах Ключевский читал еще один курс — у великого князя Сергея Александровича). В 1905 году ему приходит приглашение в Петербург, в Мариинский дворец, для работы в Особом совещании для пересмотра имевшихся законов и распоряжений о печати, а затем — принять участие в Петергофских совещаниях по проекту создания Государственной думы. В Купеческом зале Большого дворца Петергофа лично Николай II собрал пять великих князей, восемь министров, десять членов Государственного совета, нескольких сенаторов, начальника полиции Трепова, обер-прокурора Победоносцева и двух экспертов-историков — профессора Н.М. Павлова и академика Ключевского (Ключевский стал академиком в 1900 году) — обсуждать добровольное ограничение собственной власти. И даже у скромного «булыгинского» варианта Думы на совещании нашлись противники справа. Ключевский оказался в выгодном положении: он защищал от этих противников государственный вариант избирательного закона, пытался показать, что разбиение выборов по сословиям возродит в народе «мрачный призрак» сословного дворянского царя. Как историк, он выстраивал в своих выступлениях историческую традицию народного представительства при русском монархе, цитировал и слова царя Алексея Михайловича «мира все слушают», и Екатерину Великую, созвавшую подобие французских генеральных штатов и узнавшую «от своих людей, где башмак жмет ногу».

Через сорок лет после бурных политических событий эпохи Великих реформ судьба подарила Ключевскому возможность окунуться в гущу происходивших событий и участвовать в них так, как он себе предписал еще в молодости: не делом, а словом, которое «бросает в энергетическое одушевление и дает силы и средства к делу».

Совещания были конфиденциальными (чтобы не сказать секретными), но на них Ключевский выступил еще и как тайный агент русских либеральных кругов. Дело в том, что ежевечерне после совещаний Ключевского навещал его бывший студент Павел Милюков, давно сменивший историю на политику (в 1902 году Ключевский ходатайствовал перед правительством об «облегчении участи» арестованного Милюкова). Милюков выслушивал подробнейшие рассказы Ключевского о том, что происходило в Петергофском дворце, и обсуждал с ним программу на следующий день. Все это позволило Милюкову проделать «осведомленный» анализ нового закона о Думе (6 августа 1905 года) и немедленно выступить в прессе в качестве эксперта. А вскоре последовал очередной арест Милюкова (за проведение политического собрания либералов), и начальник полиции Трепов с удивлением узнал, что среди изъятых бумаг либерального лидера — не подлежавшие распространению бумаги недавнего «булыгинского» совещания, принадлежавшие Ключевскому.

Осень 1905 года — пора расцвета и формирования политических партий. Ключевскому приходится определить свое отношение к разнообразным политическим программам и манифестам. Он был шире этих программ и манифестов и в дневнике свое отношение к политическим партиям выражал поначалу весьма скептически: «Я не сочувствую партиям, манифесты которых сыплются в газетах. Я вообще не сочувствую партийно-политическому делению общества при организации народного представительства». Почему? Потому что это «1) Шаблонная ретепция чужого опыта, 2) Игра в жмурки. Манифесты выставляют политические принципы, но ими прикрываются гражданские интересы. А представительство частных интересов — это такой анахронизм, с которым пора расстаться».

Для Ключевского создание Думы — это не борьба интересов, а их примирение. Общась со своим бывшим студентом Гучковым по поводу создания партии октябристов, Ключевский высказал свой взгляд на партийность: «Я могу проявить сочувствие, но не могу принять участия». Однажды он сам назвал себя «диким» — «ни к Богу, ни к черту».

Но революционные события затягивают. Зимой 1905/06 года Ключевский приходит к решению баллотироваться в Государственную думу. Светлый идеал мировых посредников 1860-х годов с их примиряющими функциями порождает желание самому выступить объединителем интересов разных сословий и классов. Для достижения этой цели Ключевский выбирает партию конституционных демократов. Именно по кадетскому списку выборщиков он баллотировался в Сергиевом Посаде.

Неудивительно, что в истории собственно кадетской партии имя Ключевского практически не фигурирует. Сам Милюков признавал, что «пар-

«Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могут жить лишь в допотопное время...»

тийную принадлежность Ключевского надо понимать со всеми оговорками, необходимыми, когда речь идет о такой самостоятельной и оригинальной личности». Зимой 1906 года цель Ключевского была узка: по спискам кадетов попасть хотя бы на первую ступень голосования (выборы выборщиков). Март — время голосования — оказывается пиком политической деятельности Ключевского. Он ждет результатов с нетерпением, но, увы, место выбрано неудачно: обыватели Сергиева Посада не голосуют за пришлого старика-ученого. За неудачей «слева» следует неудача «справа»: на новое государственное совещание в апреле 1906 года (по поводу предложенных Витте основных законов) кадета Ключевского уже не приглашают.

Сила разочарования Ключевского такова, что он решает оставить все попытки непосредственного участия в политической жизни страны. Когда историку присылают весть о том, что его выбирают членом Государственного совета (верхней палаты новорожденного «парламента») от Академии наук и российских университетов, он спешит ответить отказом и письменно слагает с себя звание члена Госсовета. Официальная причина отказа: «Я не нахожу положение члена Совета достаточно независимым для свободного в интересах дела обсуждения возникающих вопросов государственной жизни». Политика снова возвращается на страницы дневника, в размышления и разговоры. Ключевский остается приверженцем Думы, «как самого надежного органа власти». С одной стороны он противопоставляет ей кровавую революционную волну, с другой — Николая, двор и Столыпина, которого считает главой заговора против народного представительства. Появившийся в дневниковой записи образ университета, сжатого в тиски администрацией справа и «максималистами», угрожающими бомбами, слева («и если не сладит с положением, должен погибнуть»), очень похож на сложивший у Ключевского образ революционной России.

Осенью 1906 года Ключевский окончательно сосредоточивается на своей непосредственной работе. Отказы от различных предложений он объясняет так: «Осложнение занятий в Университете и необходимость ускорить издание моего курса истории лишают меня... необходимого досуга для всякой иной работы». Лекции для Ключевского превращаются в «борьбу за зрителя»: студенты встречают его настороженно, молча, «дичась». Правда, провожают шумным одобрением. Главным делом Ключевского на оставшуюся жизнь становится подготовка публичного издания «Курса русской истории».

Какими бы бурными ни были политические события первых лет XX века, Ключевский не мог забыть свое главное ремесло — ремесло историка. Четверть века читал он курс русской истории, а если вытянуть чтение в пяти разных заведениях в одну цепочку, то получится период в 108 лет! Но всю четверть века этот курс ходил по рукам в плохеньких литографированных изданиях студенческих конспектов, которые сам профессор не одобрял. Годами коллеги и друзья уговаривали историка сделать настоящее «книжное издание». И снова «долго запрягающего» Ключевского подтолкнуло внешнее событие.

В 1902 году в Петербурге вышло шикарное издание его лекций, предназначенное для царской семьи. Пусть это был маленький тираж в несколько десятков экземпляров; на титульном листе все равно стояло «Лекции по русской истории профессора Московского университета Ключевского» (хотя в углу было добавлено «как рукопись»). А потом этот же «царский курс» на бумаге попроще перепечатали тиражом в несколько тысяч экземпляров в подпольной типографии одной из нелегальных революционных организаций. После этого Ключевский всерьез принялся за «Курс» и решил, что на «его» издании обязательно будет стоять «Единственно подлинный текст» (так и случилось).

В 1902–1903 годах впервые по собственной надобности Ключевский взял «академический отпуск». Формально этот отпуск было очень удобно оформить как «командировку с научной целью за границу сроком на один год». За границу Ключевский не поехал; немного отдохнул в Ялте и уселся корректировать старые студенческие конспекты. Теперь они сослужили благую службу: заново Ключевский писал трудно и долго.

Первая часть «Курса», посвященная домонгольской Руси, увидела свет в первые дни Русско-японской войны, в январе 1904 года. Сразу стало понятно, что это — заметное продвижение исторической науки от давнего тяжеловесного многотомника С. Соловьева. Прежде всего привлекало внимание отличие в стиле: Лев Толстой отмечал, что «Соловьев писал длинно и скучно, а Ключевский — для собственного удовольствия». В этой фразе звучит ирония, но удовольствие Ключевского в основном оборачивалось удовольствием читателей. Сам курс лекций как форма был новым. Карамзин писал беллетризованную летопись. Соловьев — строгую историю. Ключевский как бы возвышал читателя до уровня лучшего в стране университетского образования; он постоянно поддерживал в изложении иллюзию лекции — вплоть до обещаний продолжить изложение в следующей лекции и повтора в начале новой лекции концовки предыдущей. Легкость и художественность лекций достигались близостью их языка к простому разговорному (но разговорному языку русского профессора). Перед читателем предстал живой сценарий знаменитых лекций-представлений Ключевского. Текст был сдобрен большим количеством афоризмов, которые Ключевский десятилетиями заготавливал в специальных тетрадах. Тонкие характеристики действующих лиц и периодов русской истории легко запоминались читателями, а иногда заучивались наизусть, как хорошая художественная проза.

Помимо стиля, совсем другой представляла общая панорама русской истории. У Соловьева древняя история — это движение от родовой раздробленности к спасительной централизованной государственности. У Ключевского — широкая и глубокая общественная жизнь: развитие экономики, подъем торговли, роль деревни и монастыря в освоении («колонизации») диких северо-западных земель, формирование великорусской народности, критическое отношение к верховной власти, когда она того заслуживает.

«Цари со
временем
переведутся:
это мамонты,
которые могут
жить лишь
в допотопное
время...»

В 1905 году вышла вторая часть «Курса» Ключевского, в 1908-м — третья, в 1910-м — четвертая. Незаконченную пятую издали уже ученики Ключевского после его смерти.

Решившись на издание «Курса», Ключевский сделал подарок не только современникам. Давно уже нет на свете тех, кто, читая напечатанный текст лекции, непременно слышал за ним живой голос своего преподавателя. Между тем многие положения Ключевского по-прежнему живут, уже «принятые на веру» в современных вузовских программах. Цитаты и афоризмы из «Курса» до сих пор, век спустя, украшают научную и учебную литературу по истории — по стилю, к сожалению, больше «соловьевскую».

«Его высокопревосходительство», академик и кавалер орденов Анны и Святослава, шестидесятипятилетний Василий Осипович Ключевский встретил 1907 год нерадостно. Неудачные попытки заняться политической деятельностью, переживание разгона первой Думы и не меньше — слабости разогнанных, ответивших, по его мнению, беспомощно — Выборгским воззванием, окончательно сформировали у историка резко критическое восприятие общей ситуации в стране. Незадолго до нового года Ключевский записал в дневнике: «Флота нет, ни Балтийского, ни Тихоокеанского, нельзя сказать, что его не было, но его нет. Финансы потрясены; кредит заграничный [выродился] в заграничное попрошайничество, внутренний — в переписку сумм из одной сметной цифры в другую, доверие к правительству — выражение, вышедшее из оборотного языка, как архаизм, требующий ученого комментария». Рядом с этими записями — короткая, но скорбная фиксация непрекращающихся политических убийств...

Смерти, естественные и от руки террористов, все чаще овладевают размышлениями Василия Осиповича. Умирает Победоносцев — Ключевский откликается: «Презирал все, и что любил, и что ненавидел, и добро, и зло, и народ, и себя самого». Черносотенцами убиты видные кадеты Михаил Герценштейн и Григорий Иоллос — Ключевский реагирует на эти смерти статьей в газете «Русские ведомости»: «С покойным Григорием Борисовичем судьба свела меня в конце восьмидесятых годов, в памятную тяжелую пору. Мы тогда разделили с ним много дружеских печальных бесед. Мне глубоко симпатичен был прямой и ясный взгляд покойного в оценке исторических явлений, полный тонкого понимания жизни, чуждый догматизма. Увидавшись после многих лет при ином настроении умов, при новом складе общественных отношений, мы встретились старыми друзьями. Герценштейн пал за русский народ, за русского земледельца, и Иоллос обогатил своей кровью чисто русскую землю, землю города Москвы, собирательницы и устроительницы русской земли. Пусть такие смерти останутся в русской памяти символом обновленной России, объединяющей в своем сердце собранные ими народности».

1907 год можно назвать годом начала неспешного ухода легендарного, великого Ключевского из мира исторического образования. В этом году он прекращает чтение лекций в Духовной академии (где читал их дольше

всех — 36 лет). На его университетских лекциях начинает звучать пессимистическое: «Я человек XIX века и в ваш XX век попал случайно, по ошибке судьбы, позабывшей обратить меня вовремя».

Пессимизм и новое печальное пророчество звучат и в отношении Ключевского к правящей династии: «Эта династия не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна, и будет прогнана. В этом ее счастье и несчастье России и ее народа, притом повторное: ей еще раз грозит бесцарствие, Смутное время...»

Смутное время — одна из главных тем третьего тома «Курса русской истории», над которым Ключевский работает как раз в 1907 году. Вводная лекция с общей характеристикой периода показалась Ключевскому такой важной, что он передал ее для публикации в журнал «Русская мысль». Зная, что профессор намеренно подводил свое историческое изучение «вплоть к практическим потребностям текущей минуты», можно представить, сколько вольных и невольных параллелей с современными событиями проведено в этой статье-введении и вообще в третьем томе «Курса». Именно здесь брошен Ключевским один из его самых известных исторических афоризмов, по универсальности применения к русской истории сопоставимый разве что с карамзинским «воруют». Вся эпоха Романовых уместилась в парадоксе: «Государство пухло, а народ хирел».

Рассуждения о Смуте полны широких обобщений, пригодных и к другим эпохам русской истории. Ключевский, то рассказывая, то рассуждая, ищет в прошлом положительные уроки. «Это печальная выгода тяжелых времен, — пишет он в лекции о ближайших последствиях Смуты, — они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен того дают опыты и идеи. Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так в смутные времена в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди... невольно... начинают думать, что они доселе видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления». В другом месте Ключевскому важен механизм, отвративший гибель страны, механизм гражданского мира: «Общество не распалось, расшатался лишь государственный порядок. Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались еще крепкие связи национальные и религиозные: они и спасли общество». Враждующие классы общества соединились «не во имя какого-либо государственного порядка, а во имя национальной, религиозной и просто гражданской безопасности, которой угрожали казаки и ляхи». От начала Нового времени Ключевский ведет длинные линии выводов прямоком в XX век: «Общество, предоставленное самому себе, поневоле приучалось действовать самостоятельно и сознательно, и в нем начала зарождаться мысль, что оно, это общество, народ, не политическая случайность, как привыкли чувствовать себя московские люди, не пришельцы, не временные обыватели в чьем-то государстве, но что такая политическая случайность есть скорее династия».

В характеристике царя Алексея Михайловича проглядывает портрет Николая II: «Царь... был добрейший человек, славная русская душа. Я готов

«Цари со
временем
переведутся:
это мамонты,
которые могут
жить лишь
в допотопное
время...»

видеть в нем лучшего человека Древней Руси, но только не на престоле. Это был довольно пассивный характер. Природа или воспитание были виною того, что в нем развились преимущественно те свойства, которые имеют такую цену в ежедневно житейском обиходе, вносят столько света и тепла в домашние отношения. Но при нравственной чуткости царю Алексею не доставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра. Потому что не хотел, чтобы они своим горем и жалобами расстраивали его тихие личные радости... Но он был мало способен и мало расположен что-нибудь отстаивать, как и с чем-нибудь долго бороться... Этому-то царю и пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних движений». Неудивительно, что даже пресыщенная свободой печать публика раскупала новый том лекций Ключевского.

После 1907 года Ключевский все больше замыкается в узком кругу домашних дел. Скудеет переписка с друзьями, совсем пропадают записи в дневнике. Только коллекция афоризмов по-прежнему пополняется. Но и тут нотки прощания: «Счастье не действительность, а воспоминание...»

В декабре 1909 года прошло чествование тридцатилетней преподавательской деятельности Ключевского. А следом, зимой 1910 года, надвинулись серьезные болезни. Последний раз «общественность» видела живого Ключевского на многолюдных похоронах профессора и политика С.А. Муромцева в октябрьский день 1910 года. Последняя его лекция — в Училище живописи, ваяния и зодчества — 29 октября. Последние записи — уже в больничной палате, превращенной в рабочий кабинет. Говорят, что Ключевский работал даже в день смерти, занимаясь подготовкой статьи к пятидесятилетию отмены крепостного права...

ПЕТР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕЙДЕН

«Думают реакцией
водворить порядок — это
грустное заблуждение еще
много вреда принесет...»

Петр Александрович Гейден родился 29 октября 1840 года в Ревеле, где его дед по отцу (голландец по происхождению, зачисленный Екатериной II на русскую службу) был военным губернатором и командиром порта. Кажется, все складывалось так, что и юный граф Петр Гейден пойдет по военной стезе. Он блестяще закончил Пажеский корпус — самое привилегированное военное учебное заведение императорской России. В его «формулярном списке о службе и достоинстве» говорилось: «Имя корнета графа Гейдена, не имевшего из товарищей себя выше, как в поведении, так и наградах, помещено в Пажеском Его Императорского Величества Корпусе за сей 1858-й год на светло-мраморную доску, учрежденную для сохранения имен отличнейших камер-пажей. Сверх того, корнет граф Гейден, будучи признан по испытанию отличнейшим, удостоен награды, определенной для первого класса, и в этом качестве внесен под номером первым в особую книгу, на сей предмет в корпусе имеющуюся».

Распределили Петра Гейдена в лейб-гвардии Уланский полк с прикомандированием к Михайловской артиллерийской академии. Пройдя полный академический курс, он в 1860 году «был наименован отличнейшим и выпущен с правами по гражданскому чиновному производству первого разряда и с правом носить аксельбант». Однако к новым служебным обязанностям новоиспеченный артиллерийский поручик так и не приступил: сначала он взял полугодовой отпуск, а затем по высочайшему распоряжению был уволен от службы «по домашним обстоятельствам». В действительности никаких таких «обстоятельств» не было: просто Петр Гейден, по его же словам, осознал, что не имеет никакого призвания к военной службе.

В октябре 1863 года двадцатитрехлетний Гейден поступил на гражданскую службу в качестве чиновника для особых поручений при орловском губернаторе. В Орле он присоединился к кружку людей, «проникнутых чувством радости под впечатлением совершившейся реформы и преисполненных стремлением к труду в атмосфере, созданной проводившимся в жизнь освобождением крестьян». В феврале 1865 года молодой граф женился на девятнадцатилетней княгине Софье Михайловне Дондуковой-Корсаковой. Через некоторое время он увольняется со службы. Но

уже в январе 1866 года он вновь при губернаторе, уже теперь при воронежском, «старшим чиновником особых при нем поручений». Через полгода Гейден — директор воронежского Тюремного комитета. Дальнейший его путь — служение Фемиде: в общей сложности он проработал в судебных учреждениях 18 лет. За это время граф был членом Воронежского окружного суда, членом Санкт-Петербургского окружного суда и товарищем председателя этого суда, членом Санкт-Петербургской судебной палаты. На приемах просителей он, по воспоминаниям коллег, интересовался «не только содержанием бумаг, которым ограничиваются заматерелые судьи, но, пожалуй, даже больше душевную физиономию и индивидуальностью каждого просителя».

Близким другом графа стал видный юрист А.Ф. Кони, который посвятил Гейдену свою книгу «На жизненном пути». Оба они принадлежали к «шестидесятникам», с воодушевлением встретившим александровские реформы. В этих людях жил и бескорыстный труд, и высокое чувство долга, и возвышенное понимание звания судьи. А.Ф. Кони потом писал, что общение с графом Гейденом «укрепляло и ободряло нравственно».

Занимая высокий пост начальника канцелярии по принятию прошений на Высочайшее имя (1886–1890), Гейден всегда стремился действовать по закону, последовательно боролся против чиновничьего бюрократизма, с разного рода «протекциями». Однако, по его собственному признанию, он «пришелся не ко двору» и вынужден был выйти в отставку, правда, с весьма хорошей пенсией (3000 рублей). К тому времени Гейден имел высокий чин тайного советника (произведен 1 января 1890 года) и три ордена (Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Владимира 3-й степени).

Вместе с женой и дочерью граф Гейден жил то в Петербурге, то в своем имении Глубокое, под Псковом. Он занялся хозяйством — выписывал из-за границы новейшие машины, нанимал хороших специалистов, следил за иностранными книжными и журнальными новинками по сельскому хозяйству. Особой его гордостью было известное на всю Россию племенное стадо. Не чурался он и постановки фабричного дела, прекрасно ориентировался в банковских, финансовых хитросплетениях. Неудивительно, что и мать, и сестра, и другие родственники просили наладить и их хозяйства, что он охотно и делал.

Еще состоя на службе, П.А. Гейден активно занялся общественной деятельностью. В 1883 году он был избран уездным гласным в Опочечком уезде Псковской губернии, а с 1889 года — губернским гласным. С 1895-го он стал к тому же уездным предводителем дворянства. Тогда же Гейдена избрали президентом Вольного экономического общества (ВЭО). Время его президентства совпало с походом бюрократии против Общества, являвшегося средоточием экономической мысли и одним из центров притяжения оппозиционной интеллигенции. Гейден, по определению секретаря ВЭО Хижнякова, являлся идеальным президентом, давал простор для творчества и в то же время мужественно защищал организацию от натиска властей. В апреле 1898 года министр внутренних дел И.Л. Горе-

мыкин и министр земледелия А.С. Ермолов в письме Николаю II просили изменить устав ВЭО, отмечая, что оно стало «ареной борьбы политических страстей при явно антиправительственном направлении большинства докладчиков». Со своей стороны, граф Гейден полагал, что любое подавление инакомыслия несовместимо с человеческим достоинством. Он дважды обращался к царю с всеподданнейшими докладами, в которых отрицал противозаконную деятельность ВЭО и обвинял Министерство внутренних дел в клевете. Тогда же он писал министру Ермолову, что нападки на Общество есть не что иное, как поход против проявления какой-либо самостоятельной инициативы, на которую не испрошено было предварительного административного разрешения. «Между тем такая самостоятельная инициатива, — настаивал граф, — крайне желательна и необходима. Всеми признано, что Россия отстала от других стран на поприщах торговли, промышленности и сельского хозяйства. Везде на окраинах иностранцы вытесняют русских, неспособных пробудиться от своей апатии, своей вековой спячки. А хотят люди проснуться и пользоваться своими правами в пределах закона и устава, так сейчас хотят их урезать».

Гейден всегда исходил из того, что государство сильно духом своего народа, а не усердием чиновников. Такой президент ВЭО, естественно, был неприемлем для бюрократии, и в начале 1900 года она мобилизовала все силы для того, чтобы на очередных выборах провести на пост президента Общества своего человека. 23 марта 1900 года на выборы явились даже чиновники, никогда не посещавшие Общества, присутствовали начальники различных канцелярий, департаментов, даже некоторые заместители министров. Был настоящий бой, и он окончился поражением бюрократии — Гейден был вновь избран 115 голосами против 70.

О самостоятельности, инициативности Петра Александровича говорит уже тот факт, что он еще до своего первого президентского срока (в ВЭО он состоял с 1885 года, а президентом избирался четыре раза: в 1895, 1897, 1900, 1903 годах), в 1891–1892 годах, когда разразился голод, вместе с двумя англичанами, привезшими в Россию 50 000 рублей для голодающих, выезжал в Симбирскую губернию и без участия официальных властей (таково было условие жертвователей-англичан) раздавал деньги голодающим. Был он и попечителем больницы, а во время Русско-японской войны готовил санитарный отряд для отправки на фронт.

П.А. Гейден был одним из очень немногих в высших кругах империи, кто сумел отрешиться от узкосословной точки зрения на развитие событий в России, на ее судьбу. Понимая, что страна «на переломе», он бросается в самый водоворот общественно-политической жизни. Он хотел, чтобы Россия пошла по эволюционному пути, без крови и насилия.

В 1900–1905 годах П.А. Гейден входил в политический кружок «Беседа», где встречались многие будущие лидеры различных политических партий и организаций. Уже тогда, за несколько лет до первой русской революции, он заявлял, что «самодержавие так же несовместимо со свободой, как солнце с ночью... Самодержавие есть путь к революции!» А революцию

он называл «акулою», по-видимому предчувствуя, что та в конце концов «проглотит» Россию.

В 1902–1905 годах граф Гейден был активнейшим участником земско-городских съездов, избирался их председателем. И здесь он старался содействовать «мирному, спокойному разрешению надвигающегося кризиса», работать для установления «правового государственного строя». В известном письме к новому министру внутренних дел В.К. Плеве Петр Александрович писал, что он и его единомышленники убеждены в необходимости коренных реформ — экономических, социальных и политических, но желают провести их «мирным путем, а не тем революционным, на который бессознательно толкает всю страну правительственная система». Он подчеркивал, что Россия «живет жизнью всей Европы», а «русский народ подлежит мировым законам, а не особенным своим, ему якобы присущим, от которых он будто бы никогда не отступит». Ответственность за революционный кризис, который переживала страна, Гейден возлагал прежде всего на правящие круги, постоянно опаздывавшие с проведением назревших реформ. В том же письме к Плеве он призывал перейти от слов к делу и считал, что «действовать иначе просто преступно».

Для Гейдена были органически неприемлемы «реакция сверху и террор снизу». С произволом, считал он, надо всеми силами бороться. Монархистов-охранителей он называл «обскурантами», «квасными патриотами» и «дикарями». Печальнее всего то, полагал он, что «думают реакцией и строгостью водворить порядок. Это грустное заблуждение еще много вреда принесет». 6 июня 1905 года на приеме у императора депутации земских городских деятелей он пытался повлиять на Николая II «в либеральном духе».

Не принял Гейден и попытку революционного «водворения свободы» в декабре 1905 года, полагая, что «пока свободу смешивают с революцией, ничего путного не выйдет». Все его упования были связаны с реформами и введением умеренной конституции. В противовес и охранителям, и радикалам П.А. Гейден замыслил создать центристскую либеральную партию, куда собирался вовлечь всех твердых сторонников конституционного строя.

Уже современники графа Гейдена отмечали, что одним из самых блестящих, хотя и тяжелых периодов его жизни было время вскоре после объявления царского Манифеста 17 октября 1905 года. В Псковской губернии, где он жил, чувствовалась растерянность, ожидание лучших порядков и вместе с тем опасение погромов. Местная администрация явно потеряла почву под ногами. Один из сподвижников Гейдена писал потом: «Нисколько не растерялся, кажется, один граф Гейден. Он нашел, что теперь самый подходящий момент для внушения крестьянам истинного конституционализма, и стал устраивать в больших размерах собеседования с крестьянами». Собrania были довольно бурными. Вековая вражда к барину давала себя знать. Но на этих собраниях Гейден сильно импонирует всем своим необыкновенным хладнокровием, и его спокойный голос, по воспоминаниям очевидцев, как-то магически действовал на толпу.

Поддержав объявленные в царском манифесте конституционные принципы, граф П.А. Гейден явился одним из основателей умеренной, либерально-консервативной партии «Союз 17 октября» (октябристов). На выборах в I Государственную думу за него проголосовали 38 псковских губернских выборщиков, против — 21. В Думе П.А. Гейден стал весьма заметной фигурой. Он состоял в пяти думских комиссиях и часто выступал с ее трибуны (190 раз!), высказывая свой взгляд по каждому сколько-нибудь крупному вопросу. В.А. Маклаков писал о нем: «С лицом американского „дяди Сэма“, он не был ни многословен, ни красноречив, не искал словесных эффектов... Но был всегда содержателен, всем доступен, и его речи не только производили впечатление, но внушали лично к нему уважение даже противников».

Граф Гейден и его немногочисленные сторонники из октябристов сделались, как это ни парадоксально, самыми большими консерваторами в леволиберальной, кадетской Думе. «Но вся моя правость в том, — писал Гейден в те дни жене, — что я враг революционных приемов и стою за мирную борьбу...»

В Думе Гейден повел энергичную борьбу против левых радикалов и решительно возражал против любого политического шага, не опиравшегося на законную почву. Полагая, что «рано сманивать нас с мирного законодательного пути», он так формулировал свою позицию: «Я и многие из моих товарищей пришли сюда с целью не революционизировать страну, а с целью ее успокоить, и я думаю, это достижимо только при спокойной, планомерной работе».

Между тем, представляя умеренное крыло Думы, граф Гейден весьма откровенно высказывался о правительстве: «Представителями власти должны быть представители современных идей, а не носители тех ветхозаветных мыслей, того ветхозаветного строя, каким является большинство теперешнего министерства, и мое глубокое убеждение, что это министерство должно уступить место другому, пользующемуся доверием Думы».

Осуждение произвола и насилия, от кого бы они ни исходили, от реакции или революции, легло в основу Прогрессивной партии мирного обновления, которую граф П.А. Гейден начал формировать весной 1906 года в I Думе. Ему казалось возможным объединить не только либеральных октябристов, но и умеренных кадетов, и «группу демократических реформ» М.М. Ковалевского, и часть беспартийных крестьянских депутатов. Оценивая расклад сил в Думе, он писал: «Примерно двести депутатов ни у кадетов, ни у трудовиков... И вот, когда мы соорганизуемся, то разговор пойдет другой».

Однако усилия графа Гейдена сделать партийную группу «мирного обновления» центром притяжения всех умеренных конституционалистов и образовать думское большинство в целях умиротворения страны и ее мирного развития не увенчались успехом. Гейден вынужден был констатировать: «Мы генералы без армии». Депутат Госдумы М.А. Сухотин, зять Л.Н. Толстого, человек весьма наблюдательный, отмечал в дневнике: «И кадеты, и трудовики вели свою линию, и все ухищрения Гейдена

«Думают реакцией водворить порядок — это грустное заблуждение еще много вреда принесет...»

только докучали им и заставляли понапрасну терять время. Убедительность ораторов может иметь значение лишь тогда, когда жизнь вступает в спокойное будничное русло, когда революционные и партийные страсти потухают».

Страна переживала не конституционный, а революционный кризис, и именно это обстоятельство было причиной роспуска I Государственной думы. Гейден считал этот шаг правительства «бесконечной глупостью»: «Всякая новая Дума будет левее и радикальнее, и с нею будет еще труднее». В это же время Гейден стал активным участником переговоров о создании «общественного министерства», которые вели правящие верхи с думскими лидерами. Он стремился повлиять на Столыпина, «чтобы не смахивал в реакцию», старался убедить премьера, что «вполне либеральная и законная деятельность его может спасти положение, привлечь всю благомыслящую часть населения».

Как и другие умеренно либеральные общественные деятели (Д.Н. Шипов, А.И. Гучков, Н.Н. Львов, А.Ф. Кони, М.А. Стахович), граф Гейден был готов войти в правительство — обсуждалось его назначение на пост государственного контролера. «Мы, — писал Гейден жене, — долго этот вопрос обсуждали и, сознавая трудности дела, риск, которому мы подвергаем свою популярность, и утрату возможности продолжать общественную деятельность, тем не менее решили, что долг наш идти вперед и тотчас начать менять произвол законностью и подчинению нашим условиям... Мы решили жертвовать своим положением и идти в состав кабинета. Может быть, это единственно возможный способ обращения правительства на добрый путь. Может быть, нам поверят, и положение улучшится. Мы заявили, что при несогласии с программой мы тотчас уйдем».

Между тем в стране не произошло обострения революции, чего так опасались правящие верхи. Правительство, отделившееся легким испугом, прервало консультации с общественными деятелями, не нуждаясь теперь в ширме переговоров. Д.Н. Шипов вспоминал, что граф Гейден, сообщив ему о своих последних разговорах со Столыпиным и отрицательно оценив маневры премьер-министра, со свойственной ему меткостью выражений и юмором сказал: «Очевидно, нас с вами приглашали на роль наемных детей при дамах легкого поведения...»

С другой стороны, казалось, оправдывались партийные расчеты Гейдена на раскол кадетской партии, которая всегда казалась ему рыхлым конгломератом группировок, чуждых друг другу, удерживаемых вместе лишь силой дисциплины и необходимостью солидарно реагировать на репрессии правительства. Умеренные кадеты все дальше дистанцировались от радикального («милюковского») ядра своей партии. Укреплялась надежда и на эволюцию взглядов коллег из «Союза 17 октября»: Гейден надеялся, что антиконституционность правительственных мероприятий лишит Столыпина ореола «Дульцинеи октябристов» и их значительная часть встанет под знамена Партии мирного обновления. Сближение двух флангов либерализма привело бы, как думалось Гейдену и его сторон-

никам, к созданию конституционного центра, который мог бы противостоять на грядущих выборах любому радикализму.

Однако «партстроительство» шло с большим трудом. Сама легализация новой партии потребовала немалых усилий: вначале власти отказались регистрировать ее, и только личный визит графа к Столыпину привел к ее официальному разрешению. В качестве лидера партии 66-летний граф Гейден проявлял поразительную для своего возраста активность, организуя целую серию совещаний «мирнообновленцев», принимавших и рассылавших на места воззвания с призывом к единению всех прогрессивных сил для «борьбы за свободу и за культуру против всяких нарушений конституционных начал, откуда бы они ни исходили».

Поначалу казалось, что деятельность партии имела осязательные результаты: были образованы ЦК, местные отделы (их к осени 1906 года в стране насчитывалось 25 с двумя тысячами членов партии), устраивались предвыборные собрания и т.д. Но за фасадом относительного благополучия шел процесс внутреннего разрушения партии — резко усилились разногласия среди вождей. М.А. Стахович все сильнее тянул к «Союзу 17 октября», а Д.Н. Шипов и Е.Н. Трубецкой, демонстративно отстраняясь от «октябрей», «косили глазами налево», в сторону кадетов. Граф Гейден, находясь в центре, изо всех сил старался удержать фланги. Это «внутреннее нестроение вождей» отражало все более очевидную проблематичность объединительных попыток «мирнообновленцев». Их мечта — создать в стране конституционный центр на основе этических начал в освободительном движении при определенно оппозиционном отношении ко всяким антиконституционным действиям, откуда бы они ни исходили, — отторгалась российским политическим муравейником.

В избирательной кампании по выборам во II Государственную думу П.А. Гейден и его Партия мирного обновления подверглись острой критике и слева, и справа. «Мирнообновленцы» терпели одну неудачу за другой — и в столицах, и на периферии. Избиратели ее не воспринимали; администрация относилась с подозрением и неприязнью. В Киеве власти закрыли отдел партии, в Одессе черносотенцы разгромили местное партийное бюро и т.д. В итоге во II Думу «мирнообновленцам» удалось провести лишь трех своих депутатов. Забаллотирован был и граф Гейден. Лидерам партии пришлось констатировать, что «их надежды объединить достаточное число лиц, которым дорого было мирное преобразование нашего государственного строя, представляются неосуществимыми». Газеты писали о Гейдене и его партии, что «они оказались между двумя стульями». Характерно, однако, что провалу Гейдена на выборах не радовались даже противники, «многие из которых чувствовали себя как-то сконфуженными...».

Как и предполагал Гейден, II Дума оказалась еще радикальнее, чем ее предшественница. Граф мало верил в ее жизнеспособность, но, как и все истинные либералы, придерживался тактики «бережения Думы», пытался использовать малейшие шансы, чтобы заложить и в ней основы

«Думают реакцией водворить порядок — это грустное заблуждение еще много вреда принесет...»

конституционного центра. Он старательно фиксировал все изменения в конфигурации политических партий, их взаимоотношения: «всякие с.р. и с.-д. оплевывают кадетов, и те перейдут к центру и образуют умеренную массу»; «кадеты только говорят, что идут влево, а в действительности переходят вправо» (и Гейден тут же предлагает Д.И. Шаховскому перейти в свою партию, ибо «кадеты к нам подошли...»).

Однако «мирнообновленцы», имея всего трех депутатов, не могли серьезно влиять на политический расклад во II Думе. Стахович, Искрицкий и Константинов не только отказались создавать фракцию, способную сплотить беспартийных, но и сами сознательно вошли в «беспартийную группу». В конце концов и сам Гейден настолько отчаялся создать «оркестр» в Думе, что махнул на это рукой, меланхолически заметив: «С этим надо мириться и просто ждать лучших времен...»

3 июня 1907 года правительство распустило II Думу, а потом изменило избирательный закон. «Тяжелые времена переживаем мы из-за глупости правительства», — писал Гейден своему другу А.Ф. Кони. Но его взор уже был устремлен вперед, на III Думу. Многие либералы прочили Гейдена в ее председатели.

Однако родная земская среда кипела раздражением против Гейдена: помещики, напуганные «иллюминациями» и другими эксцессами революции, открыто выражали недовольство либерализмом своего лидера. В ходе работы по организации очередного земского съезда Гейден все больше убеждался в том, что «со многими трудно ладить; дикари, да и только... Многие готовы шипеть против меня». Он не исключал того, что ему придется уйти со съезда, на котором, по его словам, «я опять волею судеб буду левым». Но и в начале июня 1907 года Гейден, как всегда, был деятелен и настроен на лучшее: «Четырнадцатого хотим собрать нашу партию и говорить о подготовительной работе к выборам (в III Думу. — В.Ш.)».

Жизнь внесла свой трагический корректив в новые планы графа. В июне 1907 года, во время земского съезда в Москве (на нем, в отличие от съездов 1904–1905 годов, доминировали не либералы, а консерваторы, что сказалось и на голосовании; за Гейдена как председателя было подано лишь 28 записок, а за М.В. Родзянко — 79), граф заболел воспалением легких и умер 15 июня в гостинице «Метрополь». Похоронен он был в своем имении Глубокое в Псковской губернии. При погребении в сельской церкви о нем было сказано, что покойный граф «ярко освещал путь к мирному государственному устройению», «предохранял от того опасного пути, на котором разбросаны подводные камни политических учений», что ему было свойственно «глубокое понимание народного блага...».

Российская либеральная общественность восприняла кончину графа Гейдена как тяжелейшую утрату для страны. В прессе появились десятки некрологов и откликов на его смерть. В них отмечалось, что среди отошедших в вечность общественных деятелей «немного найдется людей, столь единодушно оплакиваемых». Известный философ Е.Н. Трубецкой писал, что «кончина графа Гейдена представляет крупное общественное

горе». Его роль в освободительном движении уникальна; в нем ценили живую личность, которая «стояла в центре конституционного движения и для конституционалистов олицетворяла общее всем им знамя». Газета «Биржевые ведомости» писала: «В гробу граф Гейден, „Белый граф“, как многие называли покойного... Не его белые волосы и не серебряная борода — не эта видимая белизна дала повод к такому названию. Человеческая мысль, искреннее чувство, серьезные побуждения, постоянная во всем прямота, непоколебимая вера в истину своих стремлений, преданность работе обновления родины, чистота души, которая не окроплена ни одной каплей лжи или лицемерия, а ведь граф П.А. Гейден был политическим деятелем в это кошмарное время... — вся эта внутренняя белизна создала покойному имя „Белый граф“. И оно останется за ним!»

Полностью разделял это мнение о П.А. Гейдене и вождь кадетской партии П.Н. Милюков: «Провести эти горячие годы в самом пекле политической борьбы и выйти из нее без малейшей царапины — это счастье, которое достается немногим. Вот почему живые могут только позавидовать умершему. Его жизненный путь окончен — память его будет чиста и нетленна».

Пожалуй, единственным диссонансом в откликах печати на смерть П.А. Гейдена была статья В.И. Ленина «Памяти графа Гейдена (Чему учат народ наши беспартийные демократы?)». Автор не отрицал, что само появление его статьи было вызвано беспрецедентным обилием некрологов о Гейдене и особенно участием в этом хоре социал-демократической газеты «Товарищ», писавшей: «Прекрасный образ покойного Петра Александровича привлекал к себе всех порядочных людей без различия партий и направлений. Редкий и счастливый удел!»

Для начала всех, кто в уважительном духе отозвался о Гейдене, Ленин обозвал «хамками», «холопами», «дурачками», у которых и «душонка насквозь хамская», и «образованность — лишь разновидность квалифицированной проституции»... Пытаясь дискредитировать образ либерала и гуманиста Гейдена, Ильич явно чувствовал опасность «делу развития классово-борьбы» (ее «растравления», по определению самого П.А. Гейдена). «Налицо, — писал Ленин, — заражение широких масс, способное принести действительный вред, требующее напряжения всех сил социализма для борьбы с отравой».

Парадоксально и горько, что именно ленинская интерпретация идей, имен и событий получила со временем в России статус «официальной истории». Об этом трагическом парадоксе написал в эмиграции Петр Бернгардович Струве. Вспоминая, что ему «выпало счастье полюбить таких людей, как граф Гейден, Д.Н. Шипов, М.А. Стахович, и полюбить их», признавшись в том, что он всю жизнь «боготворил незабвенного графа П.А. Гейдена», Струве назвал в сущности и главную причину политической неудачи этих русских либералов — основателей Партии мирного обновления: «Партия эта совсем не удалась, „не вышла“ в стране, которая каким-то роком была влеккома не к миру, а к вражде и крови».

«Думают реакцией водворить порядок — это грустное заблуждение еще много вреда принесет...»

ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ШИПОВ

«Внутреннее устройство
личности — главная основа
улучшения и устройства
всего социального строя...»

Выдающийся деятель русского земского движения Дмитрий Николаевич Шипов родился 14 мая 1851 года в семье Н.П. Шипова, отставного гвардейского полковника и Можайского уездного предводителя дворянства. После окончания Пажеского корпуса камер-юнкер Д.Н. Шипов поступил в 1872 году на юридический факультет Петербургского университета. Вскоре он женился на Надежде Александровне Эйлер, праправнучке академика Петербургской академии наук Леонарда Эйлера. После окончания университета в 1877 году возвратился с семьей в родовое имение Ботово Волоколамского уезда Московской губернии, где активно включился в хозяйственную и общественную деятельность. В том же году Д.Н. Шипов был избран уездным земским гласным, одновременно исполняя обязанности мирового судьи. В 1891-м его избрали председателем Волоколамской уездной земской управы, а в 1893 году — председателем Московской губернской земской управы. Семья Шиповых переехала в Москву.

По собственному признанию Шипова, его мировоззрение формировалось «на почве воспитанного с детства религиозного сознания» и окончательно сложилось под влиянием двух русских мыслителей — Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Разделяя понимание Толстым смысла христианского учения, Шипов не был согласен с отрицательным отношением писателя «к общественным установлениям и к участию в их жизни». Признавая приоритет в человеке за «внутренним устройством личности» и разделяя убеждение, что никакой прогресс немислим, пока не произойдет «необходимой перемены в основном строе образа мыслей большинства людей», Дмитрий Николаевич был твердо убежден в том, что религиозно-нравственное устройство личности и улучшение общественной жизни не только не исключают друг друга, но и составляют единое органическое целое.

Ощущение глубокой взаимосвязи духовной и общественной жизни явилось основой для конструирования Шиповым «идеального» общественно-политического устройства. Дмитрий Николаевич считал, что современный строй русского общества и государства сложился в противоречащих христианскому учению условиях. И так как эти условия являются

серьезным тормозом для духовного роста личности, их следует устранить. Поэтому, полагал Шипов, человек по «закону христианской любви» должен всеми своими духовными и нравственными силами «содействовать постепенному обновлению общественного строя в целях устранения из него господства насилия и установления условий, благоприятствующих доброжелательному единению людей».

Признавая «внутреннее устройство личности главной основой улучшения и устроения всего социального строя», Шипов был убежденным сторонником постепенных и ненасильственных реформ, поскольку насильственные преобразования происходят вопреки массовым общественным настроениям и потому не могут быть прочными. Государство — необходимый элемент общественной жизни — не является, согласно Шипову, самодовлеющей целью своего существования: «Государственный строй и установленный в нем правопорядок должны исходить из признания равенства всех людей и обеспечения каждой личности полной свободы в своем духовном развитии и в своих действиях, не причиняющих ущерба и не производящих насилия по отношению к своим ближним в христианском значении этого слова».

По мнению Шипова, установленные государством правовые нормы имеют целью оградить общество от посягательств со стороны злой воли людей, но, с другой стороны, они находятся в тесной связи со степенью развития нравственного сознания общества. То, что признавалось правильным и было узаконено правовыми нормами в былые времена, с развитием человечества, с ростом его духовного сознания представляется не только устаревшим, но даже преступным.

Не ставя под сомнение историческую необходимость власти с ее функциями принуждения, Шипов вместе с тем подчеркивал, что она «всегда оказывает некоторое развращающее влияние на обладающих ею и вызывает в них нередко склонность к злоупотреблению предоставленной им властью». Сравнивая возможности злоупотреблений властью при единодержавии и при народоправстве, Шипов считал наследственную монархию наиболее оптимальной формой государства. Организация народного представительства и отношения между ним и монархом должны быть созданы «не во имя разделения их прав, а во имя сознания необходимости разделения и наилучшего выполнения лежащих на них обязанностей перед государством, в целях постепенного осуществления в жизни идеалов добра и правды».

Идея самодержавия, которая имела своей основой моральную солидарность государя и народа и воплощалась в Земских соборах, не отождествлялась Шиповым (чьи исторические взгляды были близки раннему славянофильству) с идеей абсолютизма. По его мнению, с воцарением Петра I самодержавие в России утратило свой прежний идейный характер и превратилось в неограниченное самовластие. «Живая связь и взаимодействие, — подчеркивал Шипов, — были нарушены, и государственная власть присвоила себе исключительное право направления всей государ-

ственной жизни по своему усмотрению, не считаясь ни с волей, ни с голосом народной совести». Поэтому историческая задача, стоящая перед Россией, заключается в восстановлении «всегда необходимого в государстве взаимодействия государственной власти с населением и в привлечении народного представительства к участию в государственном управлении».

Эти исходные общетеоретические представления были положены Шиповым в основу его общественно-политической деятельности.

Одним из первых начинаний Д.Н. Шипова на посту председателя Московской губернской земской управы был созыв совещания председателей уездных управ 15 апреля 1893 года. В масштабах губернии это был прообраз общероссийского представительства, о котором мечтало не одно поколение земских либералов.

Организаторские способности Шипова на посту председателя ведущей губернской земской управы привлекли внимание властных структур. В начале февраля 1896 года его пригласил в Петербург министр земледелия А.С. Ермолов и предложил занять должность директора департамента земледелия. Как вспоминал сам Шипов, после продолжительной беседы с Ермоловым он поблагодарил министра за предложение, но отказался от высокой должности, так как не чувствовал склонности к административной деятельности — его более привлекала земская работа.

В то время земская общественность стала осознавать принципиальное значение и большую пользу от общения между собой председателями губернских управ, и было решено организовать их периодические совещания для обсуждения наиболее важных вопросов. Переговоры по этому поводу с министром внутренних дел И.Л. Горемыкиным были поручены Д.Н. Шипову. Горемыкин сказал, что разрешить подобного рода совещания он не может, но не имеет права запретить частные собеседования председателей управ. Первое такое совещание состоялось 8 августа 1896 года в Нижнем Новгороде — в дальнейшем оно сыграло заметную роль в деле объединения земства.

В начале 1900 года Д.Н. Шипов вступил в кружок «Беседа», созданный в Москве в 1899 году и регулярно в течение шести лет собиравшийся полуполюгально на квартирах видных общественных деятелей. Выступая на заседаниях кружка, Шипов последовательно отстаивал позицию, согласно которой «всякое государственное преобразование должно совершаться с осторожностью и постепенно, не вызывая обострения политических отношений в стране». По его мнению, необходимость реформы должна быть, с одной стороны, «осознана и признана широкими кругами населения», а с другой — чтобы «необходимые преобразования происходили в условиях, примиряющих с ним государственные и общественные элементы, игравшие руководящую роль в изменяемом государственном строе». В принципе отстаивая идею созыва народного представительства (Земского собора), Шипов тем не менее считал возможным на данном этапе ограничиться введением в состав комиссии при Государственном совете выборных представителей общественных учреждений, что послу-

жило бы первым шагом для «дальнейшего развития народного представительства и для создания его взаимодействия с самодержавной властью на основе сознания обеими сторонами лежащего на них одинакового нравственного долга».

По поручению «Беседы» Шипов подготовил вариант программы предстоящих преобразований из девяти тезисов. Констатируя «ненормальность настоящего порядка государственного управления», выражающегося в отсутствии «взаимного доверия между правительством и обществом», Шипов настаивал на необходимости «свободы совести, мысли и слова»; предоставлении обществу права «доводить до сведения самодержавного государя о своих нуждах и о действительном положении вещей на местах»; привлечении представителей общественных учреждений «к участию при обсуждении законопроектов в комиссиях при Государственном Совете»; чтобы к «обсуждению в центральных государственных учреждениях законопроектов и различных государственных мероприятий привлекались представители общества исключительно по его избранию, так как только при этом условии эти лица могут являться представителями общественного мнения, и будет исключена возможность преднамеренного подбора лиц».

Обсуждение тезисов Шипова вызвало разногласия среди участников «Беседы». Странники «идеального самодержавия», Ф.Д. Самарин и другие, усмотрели в требовании привлечения избранных общественных представителей к законодательной деятельности первый шаг для перехода к конституционному режиму, который, по их мнению, был преждевременным. В свою очередь, сторонники более радикальных преобразований, в частности князь С.Н. Трубецкой, князь Пав.Д. Долгоруков, считали идею созыва Земского собора и восстановления «идейного самодержавия» утопичной и настаивали на немедленной замене «приказного строя строем конституционным». В ходе многочисленных дискуссий, проходивших весной — осенью 1901 года, члены кружка «Беседа» так и не пришли к определенному решению.

Оппозиционная деятельность Шипова на посту председателя Московской губернской земской управы вызвала негодование властных структур, и при его избрании на очередное трехлетие 14 февраля 1904 года министр внутренних дел В.К. Плеве не утвердил его в должности. Однако, несмотря на вынужденный переезд из Москвы в Ботово, Шипов продолжил активно участвовать в земском движении.

После убийства эсерами В.К. Плеве и назначения на пост министра внутренних дел князя П.Д. Святополк-Мирского, казалось, можно было надеяться, что идея организации съездов земских деятелей, созревавшая в либеральных общественных кругах, не встретит со стороны правительства прежнего непримиримого к ней отношения. 8 сентября 1904 года председателем Московской губернской земской управы Ф.А. Головиным было создано Организационное бюро земских съездов, на заседании которого было решено провести в Москве 6–7 ноября 1904 года съезд зем-

«Внутреннее устройство личности — главная основа улучшения и устройства всего социального строя...»

ских деятелей, где предстояло рассмотреть вопрос об общих условиях государственной жизни и желательных в ней изменениях.

1 ноября, за пять дней до съезда, когда уже были оповещены земские и городские деятели, а значительная часть их прибыла в Москву, было получено известие о том, что съезд не разрешен. Однако Организационное бюро решило проигнорировать правительственное запрещение и полунелегально провести съезд в Петербурге. Его заседания начались 6 ноября 1904 года и продолжались в течение четырех дней. Они проходили на квартирах видных общественных деятелей И.А. Корсакова, А.Н. Брянчанинова и В.Д. Набокова. Председателем съезда единогласно был избран Шипов.

Ноябрьский съезд 1904 года оказался весьма представительным. В его заседаниях приняло участие 105 делегатов от 33 губерний. Это был цвет русского земства. Среди делегатов было семь князей, два графа, два барона, семь предводителей дворянства. Ноябрьский съезд и последующие за ним события явились важным этапом, отражающим, с одной стороны, углубляющуюся политическую дестабилизацию в стране, а с другой — дальнейшую дифференциацию в русском либерализме, приведшую вскоре к его расколу на два крыла — консервативное и радикальное. Либерал-консерваторы во главе с Шиповым, опиравшиеся на умеренную формулу: «Царю власть, народу мнение», оказались в меньшинстве.

Потерпев поражение на ноябрьском съезде, Шипов с группой единомышленников (князь П.Н. Трубецкой, князь В.М. Голицын, князь Г.Г. Гагарин, М.А. Стахович) разработали и предложили на суд общественности собственную программу реформ, изложенную в брошюре «К мнению меньшинства частного совещания земских деятелей 6–8 ноября 1904 года». Суть ее заключалась в следующем: во-первых, народное представительство «не должно иметь характера парламентарного, с целью ограничения царской власти, но должно служить органом выражения народного мнения, для создания и сохранения всегда тесного единения и живого общения царя с народом»; во-вторых, «народное представительство должно быть организовано как особое выборное учреждение — государственный Земский совет». В программе подчеркивалось, что «народное представительство должно быть построено не на всеобщем и прямом избирательном праве, а на основе реформированного представительства в учреждениях местного самоуправления, причем последнее должно быть распространено по возможности на все части Российской империи». В функции Земского совета входило: 1) обсуждение государственного бюджета; 2) рассмотрение законопроектов и отчетов по исполнению государственной росписи и деятельности ведомств; 3) возбуждение вопросов о необходимости новых законов или изменения старых; 4) право запросов министрам.

Однако эта умеренная программа преобразования государственного строя России не встретила поддержки ни со стороны Организационного бюро земских съездов, в котором руководящая роль принадлежала конституционалистам, ни со стороны либеральной общественности, груп-

пировавшейся вокруг «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов».

Революция 1905 года разрушила надежды на мирное урегулирование конфликта между властью и либеральной оппозицией. Либералы вынуждены были отказаться от ожидания «эпохи великих реформ» и совершить тактическую переориентировку: от попытки уговорить правительство и царя провести реформы «сверху» к попытке убедить леворадикальные группы умерить свои требования и согласиться на совместные действия с либеральной оппозицией.

Между тем Д.Н. Шипов еще некоторое время сохранял надежду на то, что ему все же удастся убедить хотя бы часть земских деятелей в бесперспективности выдвижения радикальных требований, которые могут заставить правительство отказаться от намечаемых реформ и возвратиться на путь репрессивной борьбы с либеральной оппозицией. Вполне закономерно, что после издания Манифеста 17 октября 1905 года Шипов одним из первых согласился принять участие в переговорах с премьер-министром С.Ю. Витте о формировании нового состава правительства.

Витте предложил Шипову, пользующемуся большим доверием в широких кругах населения, занять в формирующемся правительстве пост государственного контролера. Согласившись, Дмитрий Николаевич тем не менее посоветовал премьер-министру пригласить в состав кабинета не только «представителя правого крыла земства», как он сам себя называл, но и деятелей более либерального направления, что способствовало бы созданию «атмосферы доверия со стороны общества». 23 октября 1905 года в Петергофе состоялась встреча Дмитрия Николаевича с Николаем II, на которой Шипов вновь повторил идею о желательности привлечения к участию в государственном управлении не одного человека, а целой группы лиц, принадлежащих к «различным течениям политической мысли». Только при этом неременном условии, по его мнению, в России установится «необходимое между правительством и обществом доверие» и общество получит уверенность в возможно полном осуществлении прав, дарованных ему Манифестом 17 октября. Однако назначение общественных деятелей в правительство не последовало.

6–13 ноября 1905 года в Москве состоялся съезд земских и городских деятелей, по существу завершивший процесс идейно-политической дифференциации в либеральной среде, распавшейся на различные партийные группировки. Еще в октябре 1905 года была создана конституционно-демократическая партия, в которую вошли радикальные земцы и представители интеллигенции. Относительно умеренные элементы земско-городских съездов приступили к формированию партии октябристов. Учредителями «Союза 17 октября» стали Д.Н. Шипов, граф П.А. Гейден, А.И. Гучков, М.В. Красовский, М.А. Стахович, князь Н.С. Волконский и другие. Шипов был избран первым председателем «Союза 17 октября».

Обострившаяся конфликтная ситуация между I Думой и правительством И.Л. Горемыкина привела к возобновлению переговорного процесса

«Внутреннее устройство личности — главная основа улучшения и устройства всего социального строя...»

между властью и представителями либеральной общественности. 27 июня 1906 года состоялась встреча министра внутренних дел П.А. Столыпина с Шиповым. В ходе беседы Столыпин заявил о возможности образования коалиционного кабинета под председательством Шипова. Предполагалось, что в правительство войдут как приглашенные Шиповым общественные деятели, так и представители бюрократических кругов, в том числе и сам Столыпин. Однако лидеры кадетской партии во главе с П.Н. Милюковым не поддержали предложение Столыпина о создании коалиционного кабинета под председательством Шипова, ибо, ведя параллельные переговоры со Столыпиным и Д.Ф. Треповым, рассчитывали на создание своего кабинета министров.

Итак, Шипов, отстаивавший идею создания кабинета из представителей кадетского большинства I Думы, отрицательно отнесся к предложению Столыпина возглавить правительство и отказался войти в его состав. По мнению Шипова, они со Столыпиным принципиально расходились в понимании текущих и перспективных задач правительственной власти. «Я, — вспоминал Шипов о Столыпине, — вижу в нем человека воспитанного и проникнутого традициями старого строя, считаю его главным виновником роспуска Государственной думы и лицом, оказавшим несомненное противодействие образованию кабинета из представителей большинства Государственной Думы; не имею вообще никакого доверия к П.А. Столыпину и удивляюсь, как он, зная хорошо мое отношение к его политике, ищет моего сотрудничества». Программа Шипова, его требование о предоставлении либеральной оппозиции перевеса в правительстве были отвергнуты сначала Столыпиным, а затем и Николаем II.

Незадолго до открытия II Государственной думы Шипов сложил с себя обязанности председателя Центрального комитета «Союза 17 октября». Председателем ЦК стал А.И. Гучков, уже давно заявивший себя последовательным сторонником правительственного курса, включавшего жесткие репрессивные методы борьбы с обществом. Шипова до глубины души возмутило введение в стране военно-полевых судов, которые поддержал Гучков. 7 ноября 1906 года он опубликовал в газете открытое письмо Гучкову, в котором объяснял свое несогласие с проводимым им курсом и заявлял о своем выходе из состава «Союза 17 октября»: октябристы по существу превратились в правительственную партию, с которой Шипову было уже не по пути.

После роспуска II Думы многие общественные деятели, исповедовавшие те же взгляды, что и Шипов, оказались в трудном положении. Перед Шиповым со всей остротой встал вопрос об отказе от участия в активной политической деятельности. Однако принять такое решение для него оказалось непросто. Как вспоминал он впоследствии, «устраняясь от активных политических выступлений, я, однако, не мог, в предвидении надвигающейся катастрофы, не сознавать своего долга посильно содействовать осуществлению всякого рода попыток объединения в стране всех прогрессивных элементов».

Выйдя из «Союза 17 октября», Шипов одно время принимал участие в создании нового политического объединения — Партии мирного обновления, костяк которой составляли хорошо ему известные умеренные либералы — граф П.А. Гейден, И.Н. Ефремов и Н.Н. Львов. Лидеры новой партии выступали против правительственного произвола, настаивали на мирном разрешении конфликта между властью и обществом. «Осуждение произвола и насилия, от кого бы они ни исходили, — вспоминал Шипов, — легло в основу вновь образуемой партии».

Однако уже в скором времени учредителям партии пришлось убедиться в том, что их надежды объединить достаточное число лиц, которым дорого было мирное преобразование государственного строя, неосуществимы. Шипов, выставивший свою кандидатуру на проводившихся по новому закону выборах в III Думу, оказался слишком либеральным и не только не был избран депутатом, но и не попал в число выборщиков губернского избирательного собрания. Это было последней каплей, переполнившей чашу его терпения. На этот раз он принял окончательное решение вообще отказаться от политической деятельности и вновь сосредоточиться на земской работе. Но и участие в работе губернского земства, и деятельность в Московской городской думе уже не приносили ему должного удовлетворения, и Шипов принял решение о сложении с себя полномочий земского гласного.

В феврале 1911 года Шипов принял предложение М.И. Терещенко стать управляющим «Товарищества братьев Терещенко» по производству сахара с окладом 30 000 рублей в год. Оставив детей в Москве, Д.Н. и Н.А. Шиповы переехали в Киев. Можно предположить, что Шипов возвратился из Киева в Ботово в начале Первой мировой войны. Здесь он завершил работу над мемуарами «Воспоминания и думы о пережитом», которые вышли в свет в московском издательстве Сабашниковых уже после большевистского переворота.

Закончив работу над мемуарами в мае 1918 года, Д.Н. Шипов переехал в Москву. Известно, что в первой половине 1918 года было создано несколько оппозиционных большевикам подпольных объединений, в том числе и Всероссийский национальный центр, созданный тремя влиятельными членами ЦК кадетской партии — Н.И. Астровым, В.А. Степановым и Н.Н. Щепкиным. В руководящее ядро Центра ими был приглашен и Д.Н. Шипов, который с ноября 1918 года по апрель 1919-го, после отъезда на Юг многих основателей Центра, исполнял функции председателя московского отделения.

При непосредственном участии Шипова была разработана и принята программа, включавшая следующие пункты: «борьба с Германией, борьба с большевизмом, восстановление единой и неделимой России, верность союзникам, поддержка Добровольческой армии, как основной русской силы для восстановления России, образование всероссийского правительства в тесной связи с Добровольческой армией и творческая работа для создания новой России, форму правления которой может установить сам русский народ через свободно избранное им народное собрание».

«Внутреннее устройство личности — главная основа улучшения и устройства всего социального строя...»

Национальный центр энергично занимался разработкой законодательных проектов по всем отраслям государственного управления (экономике, финансово-кредитной системе, железнодорожному транспорту, рабочему, аграрному и национальному вопросам). «Национальный центр, — писал Н.И. Астров, — полагал, что недостаточно сломить большевиков, но одновременно необходимо создать условия, обеспечивающие быстрое восстановление нормальной жизни в опустошенной большевиками стране».

Однако с весны 1919 года деятельность Национального центра стала все менее удовлетворять Шипова. Совещания Центра, отмечал Котляревский, «казались ему достаточно академическими и бесплодными... В разговорах с членами совещания Шипов больше ссылался на свое здоровье, но не скрывал и своих разочарований».

Согласно имеющимся в нашем распоряжении материалам ЦА ФСБ, Шипов первый раз был арестован Московской ЧК в ночь с 29 на 30 августа 1919 года и был конвоирован в Бутырскую тюрьму. Однако имеющихся в распоряжении ЧК материалов было явно недостаточно для начала крупномасштабного расследования, и 19 сентября Д.Н. Шипов был освобожден из тюрьмы.

В ночь с 21 на 22 октября Шипов был вновь арестован, но на этот раз Особым отделом ВЧК, был конвоирован во внутреннюю тюрьму Особого отдела ВЧК на Лубянке и помещен в общую камеру размером в шесть аршин, где сидело восемь человек заключенных. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Три раза (25 октября, 1 и 11 ноября 1919 года) Дмитрий Николаевич обращался с заявлениями в Президиум Особого отдела ВЧК с просьбой ускорить рассмотрение его дела. Так, в своем заявлении от 11 ноября он писал: «Я остаюсь в полном неведении о причинах моего задержания, ввиду этого прошу Президиум на основании 2 пункта декрета ВЦИК об амнистии сделать распоряжение о моем освобождении, приняв во внимание: мою старость (68 лет), мое болезненное состояние и сильно развивающийся упадок сил за время моего заключения. Дальнейшее задержание меня грозит подорвать окончательно мое здоровье и мою работоспособность».

6 ноября в Особый отдел поступила записка за подписью Ф.Э. Дзержинского, в которой сообщалось, что допрошенный в Президиуме ВЧК некий моряк Яновский дал показания, что Д.Н. Шипов являлся председателем Национального центра. В три часа ночи 12 ноября Шипова вызвали на допрос, который проводили известные лубянские следователи В. Аванесов и К. Ляндер. Об этом ночном допросе Шипов подробно рассказал в одном из писем: «Аванесов и Ляндер начали с заявления, что им все известно о моем участии в Национальном центре и что поэтому мне лучше рассказать все откровенно. Я выразил сожаление, что они поспешили составить себе предвзятое мнение, и попросил объяснить, на чем основывается их предположение. Они указали на какие-то бумажки на столе, говоря, что в них содержатся указания ряда лиц, назвали имена и фамилии каких-то юных офицеров, мне совершенно неизвестных». 15 ноября 1919 года со-

стоялся второй допрос, который также закончился безрезультатно: Шипов категорически отрицал свое участие в деятельности Национального центра. 19 ноября 1919 года он был переправлен под конвоем в Бутырскую тюремную больницу на Лесной улице.

В своих письмах Д.Н. Шипов подробно рассказал о своих тюремных мытарствах. «Условия заключенных там (имеется в виду внутренняя тюрьма Особого отдела ВЧК. — С.Ш.) ужасные и могут быть характеризованы как ограниченное мучительство арестованных в материальном и моральном отношениях и как постоянное издевательство над их человеческим достоинством. Благодаря таким условиям болезни среди арестованных быстро распространяются и получают угрожающее для жизни арестованных развитие. Администрация на это никакого внимания не обращает, и больных отправляют в больницу очень поздно». В Бутырской тюремной больнице условия были чуть лучше, но, как писал Шипов, и здесь «нет медикаментов и перевязочных средств». «Силы с каждым днем оставляют, а с 5 декабря я все время лежу, с трудом пробираясь в уборную. Но сейчас я еще в силах, если буду освобожден, дотащиться до извозчика и как-нибудь возвратиться к себе на шестой этаж. Но если мое освобождение задержится еще несколько дней, то тогда и оно окажется запоздалым и приходится издыхать здесь».

13 января 1920 года Ляндер подготовил заключение по делу Шипова: «Согласно показаниям, а также по данным дела о Национальном центре, Д.Н. Шипов является одной из центральных фигур Национального центра, в качестве старого земского деятеля возглавляющим эту организацию. Хотя следствием документально не установлено, но ряд данных приводит к заключению, что Д.Н. Шипов намечался на пост председателя Национального центра и должен был войти в состав правительства по захвате заговорщиками власти в Москве. Установлено сношение Шипова с отделами Национального центра в провинции. Исходя из данных следствия по настоящему делу и принимая во внимание, что хотя активная деятельность Д.Н. Шипова по Национальному центру не установлена, но как политическая фигура он возглавлял эту организацию, находился в связи с видными деятелями ее, — его, Д.Н. Шипова, как видного политического деятеля враждебного нам лагеря, имеющего тесные связи с Национальным центром и крупного заложника, — заключить в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны».

Однако об этом постановлении Д.Н. Шипов уже не узнал. 14 января 1920 года в пять часов утра он умер в Бутырской тюремной больнице от катарального воспаления легких. Родные обратилась в Особый отдел ВЧК с просьбой выдать тело умершего для захоронения. Эту просьбу ВЧК удовлетворила. Похоронен Дмитрий Николаевич в фамильном склепе Шиповых на Ваганьковском кладбище в Москве.

«Внутреннее устройство личности — главная основа улучшения и устройства всего социального строя...»

РОССИЙСКИЙ
ЛИБЕРАЛИЗМ:
ИДЕИ
И
ЛЮДИ

Выпускающий редактор
Татьяна Григорьева

Редакторы
Елена Мохова, Марина Драпкина

Дизайн
Дарья Яржамбек, Юрий Остроменцкий

Корректоры
Надежда Власенко, Светлана Крючкова

Верстка
Тамара Донскова

Производство
Сергей Николаев

Новое издательство
125009, Москва
Тверская улица, дом 27
строение 2, подъезд 9, этаж 2
телефон/факс (495) 699 9124
e-mail: info@novizdat.ru, sales@novizdat.ru
www.novizdat.ru

Подписано в печать ??? 2017 года. Формат 70×100 1/16. Гарнитуры Parmigiano Piccolo, Giorgio Sans. Объем ??? условного печатного листа. Бумага офсетная. Печать офсетная. Заказ №

Отпечатано